

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovnikolai.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://leskovnikolai.ru/> Приятного чтения!

Статьи. Николай Семенович Лесков

ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ
С.-Петербург, суббота, 16-го июня 1862 г.

В №№ 99–101-м “Северной почты” помещена “Программа для составления соображений относительно улучшения городского общественного управления”. По этой программе требуются министерством внутренних дел от местных начальств необходимые сведения и соображения для предполагаемых преобразований во внутреннем устройстве городских обществ, устройстве, которое до сих пор было крайне неудовлетворительно и которое не соответствовало ни первоначальной цели наших законодательных постановлений, ни тем преобразованиям, которые совершились уже в управлении сельских обществ.

Из № 153-го нашей газеты читатели могли получить некоторое понятие об общем смысле этой меры. Что касается упомянутой программы, то по обширности ее мы не можем поместить ее здесь в полном составе. Ограничимся лишь тем, что поговорим об общем значении предпринимаемой реформы для городских обществ и коснемся самой программы настолько, насколько содержание ее может объяснить виды и цели правительства по настоящему предмету.

Нынешнее общественное устройство городов империи[1] имеет основанием изданное в 1785 году городское положение, которое, лишь за некоторыми частными изменениями, сохраняет до сих пор полную силу и действие. Но как в этом положении определены только главные начала общественного устройства без подробнейшего развития их, то местные власти и городские общества были крайне затруднены в точном применении этого основного постановления, и особенно в приспособлении к нему изданных впоследствии новых узаконений, имевших ближайшее отношение к общественному устройству; вследствие чего повсеместно были допущены значительные отступления от коренных начал положения 1785 г. Естественно, что такое неправильное и разнообразное применение этих начал породило запутанность в составе и устройстве как самих обществ, так и управления ими, и на деле установился совершенно произвольный порядок, укоренившийся временем и обычаем.

Неустройства эти, отразившиеся особенно на хозяйстве городов, не могли не обратить на себя внимания правительства. Правительство убедилось, что улучшение городского хозяйства возможно лишь при изменении самой системы городского общественного управления. В этих видах положено было приступить к преобразованию общественного устройства городов, начав это преобразование со столиц, с тем, чтобы потом вводимый в них порядок распространить с нужными изъятиями на другие города.

Первый опыт улучшения общественного управления сделан был в Петербурге на основании изданного в 1846 г. положения, представляющего собою более полное органическое развитие начал городской грамоты 1785 г.

Опыт оказался вполне успешным, потому что с приведением в действие означенного положения обнаружилось видимые улучшения как в общественном хозяйстве столицы, так и в делах, касающихся отдельных сословий. Такие благоприятные последствия послужили поводом к ходатайствам со стороны многих губернских начальств, а также дворянских и городских обществ о применении правил петербургского положения к другим городам, вследствие чего и разрешено было на первый раз приступить к составлению предположений по сему предмету в Москве и Одессе.

Между тем бывший с. – петербургский военный генерал-губернатор, генерал-адъютант Игнатьев возбудил несколько вопросов насчет применимости и практической некоторых начал, выраженных в положении 1846 г. Последствием этого был пересмотр означенного положения, которое в некоторых частях изменено и дополнено. С этими изменениями и дополнениями с. – петербургское положение и согласованное с ним положение для Москвы внесены были в октябре 1861 года в государственный совет и удостоились уже утверждения.

Существенное изменение, сделанное в петербургском положении и примененное к Москве, касается состава общей думы. По положению 1846 г. на эту думу,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
составленную из гласных от всех городских сословий и разделенную по числу сословий на пять отделений, возложено было заведывание как делами городского хозяйства, в которых должны принимать участие все городские сословия, так и делами сословными, имеющими отношение лишь к отдельным сословиям. Такое соединение в одном учреждении дел, в сущности, разнородных представляло на практике много неудобств, последствием чего было то, что сословные отделения общей думы получили характер особых самостоятельных учреждений, которые соединялись лишь в тех случаях, когда представлялась надобность обсуждения дел, касавшихся нескольких сословий или всего городского общества. Притом соединение всех отделений общей думы, состоявших каждое из 100 до 150 гласных, в одно собрание по многочисленности казалось неудобным, так что общие собрания происходили редко и общие городские дела обсуждались также по отделениям.

Такой порядок, конечно, не мог содействовать правильному обсуждению дел. Поэтому, чтобы доставить возможность гласным от всех сословий собираться всегда вместе для обсуждения хозяйственных дел столицы, состав общей думы ныне ограничен только одною третью гласных, по 50 от каждого сословия; заведывание же делами сословными возложено на особые собрания выборных, соответствующие прежним отделениям общей думы.

Вместе с утверждением этих правил министерству внутренних дел разрешено безотлагательно приступить к улучшению общественного управления во всех прочих городах империи, применяясь к основным началам общественного управления в С.-Петербурге и Москве. Хотя таким образом основания нового порядка должны быть одинаковы, но применение их будет очень разнообразно; смотря по степени развития городской жизни в том или другом центре. Есть города, где существуют все элементы правильной городской жизни и где эти элементы получили уже более или менее полное развитие; наоборот, есть такие города, которые, сделавшись административными пунктами, сохранили первобытный земледельческий характер. Очевидно, что управление в тех и других должно подчиняться совершенно различным условиям. В центрах с более зрелым развитием городской жизни оно может быть более сложно; в центрах с меньшим развитием городской жизни оно должно быть по возможности упрощено, приближаясь к формам управления сельского.

Само собою разумеется, что лучшими судьями в подобном деле могут быть местные начальства и самые общества, и с этою-то целью министерство внутренних дел, прежде чем приступить к преобразованиям, требует подробных об этом соображений от местных начальств, с участием представителей от городских сословий, для чего и разослана программа.

Программа требует ответов на следующие главные вопросы:

- 1) Какие условия городской жизни включает в себе город (или посад), в котором предполагается преобразовать общественное управление?
- 2) При каких условиях поселившиеся там жители должны считаться членами городского общества и на какие разряды или сословия жители эти могут быть разделены?
- 3) В чем состоят общественные дела городского общества и отдельных городских сословий?
- 4) Какие учреждения и должности надлежит установить для заведывания общественными делами?
- 5) При каких условиях городские обыватели могут получать право голоса в выборе уполномоченных (выборных и гласных)?
- 6) Какие условия должны соединять в себе лица, избираемые в общественные должности?
- 7) Каким образом должны быть определяемы права избирателей и избираемых?
- 8) Какой порядок должен быть установлен относительно составления общественных собраний для выборов, а также каким образом должны производиться самые выборы?
- 9) Должны ли быть составляемы и какие именно собрания для выборов некоторых сословий в частности?

10) На какой срок должны быть избираемы должностные лица и какие преимущества надлежало бы присвоить лицам, состоящим в городской службе?

Вот существенные пункты программы. Очевидно, что самый важный из них есть вопрос об учреждениях и должностях для заведывания общественными делами. По важности этого вопроса, для разрешения которого особенно необходимы местные сведения и соображения, программа дает полный простор всякому мнению, выражаемому с сознанием общей пользы.

“Здесь предлагаются, – сказано в программе, – только общие указания для руководства при соображениях относительно образования общественных учреждений и должностей в городах, но указания эти не должны стеснять в составлении предположений по сему предмету, если по местным обстоятельствам признано будет необходимым принять иные формы; если бы только при сем удержаны были главные основания, признанные уже полезными при устройстве общественного управления в обеих столицах. Вообще, – продолжает программа, – где можно будет упростить и сократить состав общественных учреждений, следует войти о том в подробнейшие соображения, стараясь всемерно, чтобы с правильным разграничением обязанностей число общественных должностей не только не увеличилось без надобности, но уменьшилось бы против прежнего к облегчению общества”.

Таков общий смысл предполагаемой реформы.

Желательно, чтобы городские общества сознали цель, к которой ведут настоящие распоряжения, и занялись этим делом со всем вниманием, какого оно заслуживает. Тут речь идет не об удовлетворении административной любознательности, не о статистике, над которой иногда так глумятся местные власти. Тут речь идет о правах граждан, а для человека сколько-нибудь развитого ничто не может быть столь дорого, как сознание и определение своих прав.

Говоря словами программы, в настоящем случае “от местных обывателей будет зависеть воспользоваться делаемым им доверием и оказать правительству свое содействие к установлению правильных оснований в предпринимаемом преобразовании, столь тесно связанном с их собственным благосостоянием; равнодушие и небрежность их в настоящем случае могут отразиться на них же самыми неблагоприятными последствиями”.

Настоящее дело тем важнее для городских обывателей, что от успешного разрешения этой задачи будет зависеть также изменение в бюджетном хозяйстве городов. Таким образом, реформа в общественном устройстве, разумно выполненная, кроме удовлетворения современным потребностям, будет заключать в себе элементы к широкому развитию в будущем общей автономии городских корпораций.

ДВА МНЕНИЯ ПО ВОПРОСУ О БРАКАХ

Люди “древнего благочестия”, именуемые на общеразговорном языке “раскольниками”, всю силу своей узкой логики вооружают против брачных связей “людей древнего благочестия” с православными и вообще “еретиками”. Разрешение православным браков с католиками и лютеранами “люди древнего благочестия” ставят в непростительную вину церкви православной и порицают ее за это содействие осквернению истинного христианства. Разговор об этом идет с давних пор и давно уже обогатился различными хитрыми доводами с той и с другой стороны.

Стремясь убедить, что Творец оскорбляется счастьем католика, соединенного с лютеранкою, или евангелички, сопряженной с православным, законники “древнего благочестия” приводят правила вселенских соборов: 14-е четвертого и 72-е шестого, также 10-е и 31-е правило собора Лаодикийского и сочинения Матвея Властаря, Никона игумена, Токтикона и многих других. Наши православные законоучители смотрят на это гораздо толерантнее и приводят с своей стороны разные места из духовных писателей, пользующихся церковным авторитетом, доказывая, что брачное соединение людей разных исповеданий не противно духу христианства или по крайней мере может быть терпимо. Вопрос этот долгое время был предметом жарких прений, в которых “люди древнего благочестия” нападали на “вводимый в христианство разврат”, а православное духовенство более или менее искусно отстаивало позволительность браков православных с христианами неправославными. Потом вопрос этот замолк: “люди древнего благочестия” остались при своем мнении, а православное духовенство при своем. Все время частою минувшего уже стеснения раскольничьей пропаганды об этом вслух почти не спорили,

потому что и спорить-то было нельзя: шансы у спорящих были слишком неравны. Нынче, как известно, “людям древнего благочестия” повольготнело, они свободно заявили свои сочувствия к современным политическим событиям и, заявляясь таким образом сами, стали снова поспаривать друг с другом: поморяне-беспоповцы с федосиянами, королевцы с поморянами и т. д. Словом, улегшиеся под запретом глаголения междоусобные раскольничьи распри готовы, кажется, снова проявиться в горячей полемике, которая лучше всего докажет недогадливым людям, что наши “люди древнего благочестия” очень узкие религиозные фанатики и никакие политики. Устные и письменные прения законоучителей разных толков необыкновенно любопытны и при всей своей узости и несовременности достойны большего внимания, но пока эти прения идут только устно или письменно, они, к сожалению, совершенно недоступны критическому взгляду общества и прессы, способной отнестись к этим спорам с тем беспристрастием, которого они в самом деле заслуживают. Знаменитый вопрос “об изучении раскола” сам подошел к воротам и, постукивая клюкою, тынет свое скитовое: “Господи Иисусе Христе сыне Божий! помилуй нас”. Ему стоит ответить из-за ворот условное: “аминь” – и откроется великая тайна, разоблачатся великие загадки раскола, с которыми великие современные публицисты носились как с писаной торбой. Этот “аминь” будет произнесен в тот день, когда раскольники перейдут от устных и письменных прений к открытой печатной полемике, хотя бы только друг с другом. Очевидно, кто может произнести этот магический “аминь”. Это – правительство, которое имело полную возможность удостовериться, что “нынешний раскол вовсе не политическая оппозиция правительству и что правительство смело может дать “людям древнего благочестия” полнейшее равноправие со всеми гражданами царства и свободу совести”. Теперь, когда горячее желание наше частью уже удовлетворено правительством и правительство не имеет никакого основания сожалеть о том, что им сделано для “людей древнего благочестия”, мы ступим в этом вопросе один шаг далее: мы пробуем заявить еще одно желание. Нам остается желать, чтобы для низведения раскола с его пьедестала, задернутого завесой таинственности, ему была дозволена открытая литературная полемика одному толку с другим и даже с православным духовенством. Желание это некоторым людям может показаться несколько смелым, пожалуй даже дерзким, а пожалуй, чего доброго, и опасным. “У всякого барона своя фантазия”. Но, по нашей фантазии, желание наше выходит не только вполне законным и весьма умеренным и безопасным, но даже крайне полезным в интересах чистоты высоких истин евангельского учения.

Самая слабая сторона раскола есть узость его мировоззрения, нетерпимость и несовременность стремлений, не отвечающих ни условиям современной жизни, ни требованиям нынешней цивилизации, ни привычкам и нравам современного русского общества. За сферой вопросов чисто религиозно-догматических, в которых полемизаторы православные всегда найдут возможность отстаивать свои принципы с неменьшим успехом, чем полемизаторы “древнего благочестия”, которые станут отрицать эти принципы, возникает ряд вопросов житейских, на которые господствующая церковь смотрит совершенно иначе, нежели как смотрят учителя “древнего благочестия”. К большинству таких вопросов православная церковь относится гораздо гуманнее и толерантнее, чем “люди древнего благочестия”. В этом ее сила, в этом ее смелая надежда на возможность выйти победительницей в каждом спорном вопросе.

Возьмем затронутый нами вопрос о браке. В нем, как известно, прежде всего и сильнее всего у людей развитых играет первую роль чувство, взаимная любовь, взаимная привязанность супругов. Сердцу повелевать, говорят, нельзя, да, может быть, и незачем. Пусть любит, кого любит, – лучше, чем никого не любит. Полюбит православный лютеранку, евангеличку, католичку, англичанку, кальвинистку или другую какую “еретичку” – церковь православная велит своему слуге освятить такой союз и молиться за него, а церковь “древнего благочестия” видит в таком союзе оскорбление истинного христианства и не только отвергает его, но клеймит именем разврата, наложничества и конкубинатства. Самый “сводный брак” на севере законен только со своими, а с “еретичкой” – блуд, за который человек “отмечается от общения с истинными христианами”.

Недавно наше духовенство[2] вошло снова в полемику с “древним благочестием” по брачному вопросу и самым успешным образом доказало несостоятельность суровых, диких бредней, в силу которых раскол лишает человека права на брак с милым ему существом, если это существо не принадлежит к одному с ним религиозному толку. Православное духовенство не только нашло, что поставить против догматических доводов, поставленных раскольниками в защиту варварской теории, не уважающей союза любви и глумящейся над естественным правом сердца, но оно блистательно

разбило эту дикую теорию даже на почве исторической. Вот что сказано в конце статьи, делающей честь автору и редакции журнала “Православный собеседник”:

“Для большего еще удостоверения в законности браков православных лиц с неправославными и с неверными можно представить примеры таких браков, как из Священного писания, так и из истории. Патриарх Иаков, например, женился на дочери неверного Лавана (Бытия, гл. 29), Иосиф – на дочери египетского жреца Пентефрия (Бытия, гл. 41), Моисей – на дочери Иофора, мадиамского священника (Исход, гл. 2), Самсон – на филистимлянке (Судей, гл. 14), Вооз – на Руфи, моавитянке (Руфь, гл. 4), Давид – на дочери царя гефсурского (Царств, кн. 2, гл. 3), Соломон – на дочери царя египетского (Царств, кн. 3, гл. 3). Эсфирь была женою Артаксеркса, царя персидского (Эсфирь, гл. 3); св. апостол “Тимофей сын бе некия жены иудеани, отца же елина”. (Курсив подлинника.)

Ну, где же хотя малейшее равенство шансов на общественное сочувствие у этих двух препирающихся законотолкователей? Есть ли микроскопический атом вероятия, чтобы современное русское общество обнаруживало что-нибудь, кроме презрения, к теории, запрещающей брак двум любящим друга друга людям за то, что над купелью одного Символ веры прочитан не совсем так, как над купелью другого, или трегубили, а не двугубили аллилуйю? От кого скорее будет ждать это общество еще больших уступок в пользу повсюду заявляемого желания изменения брачных законов: от узкого понимания рутинного начетчика или от людей, пишущих курсивом, что “св. апостол Тимофей сын бе некия жены иудеани, отца же елина”? Двух ответов быть не может.

Прежде чем заключить нашу статью, предложим общественному вниманию еще один вопрос, естественно вытекающий из нового положения раскольников в русском царстве.

Теперь их права стали значительно шире; мы желаем, чтобы они стали еще шире, и даже высказываемся в пользу предоставления им возможности отстаивать истину своего учения путем открытой полемики, необходимой, по нашему понятию, в интересах истории раскола и как нельзя более отвечающей высшим соображениям правительства и выгодам государства. С тех пор как мы знаем о намерениях нынешнего министра народного просвещения познакомиться с системой и сущностью первоначального обучения детей в обществах “древнего благочестия” и предоставить им возможность лучшего, более полного, правильного и современного образования, не нарушая строго сохраняемых их обществами преданий, мы не сомневаемся, что результатом всех этих хороших мер, разумеется, явится просвещение, в размерах, не касавшихся до сей поры замкнутой в самой себе среды “людей древнего благочестия”. Плоды просвещения одинаковы почти на каждой почве. Свет гонит тьму отовсюду, из каждой головы, самой темной, самой засоренной предрассудками. Несмотря на несовместимость истинного просвещения с узкими преданиями фанатически религиозных “людей древнего благочестия”, оно все-таки принесет свой светлый, здоровый плод. Развитому сыну поморского начетчика не по сердцу придется подруга, способная только детей качать да клопов давить, а нравственно чистому федосиянину станут претить ложные отношения к своему посестрию. И чего не сделали Петровы крючья, плахи и каленые клещи, то легко и мирно создается двумя-тремя кроткими разумными мерами, открояющими расколу путь победить самого себя. Он давно созрел для этого дела и давно на него просится. Имея некоторое знакомство с самыми заповедными преданиями раскола и зная по пальцам его слабые стороны, мы высказываем наши мысли и наши надежды совершенно сознательно и не боимся ошибиться. Нам ясно, и мы повторяем это еще раз, что “люди древнего благочестия” подошли к воротам. Привычным ухом мы слышим у этих ворот их скитовое: “Господи Иисусе Христе, сыне Божий! помилуй нас” и ждем... когда для них раздастся давно желанный “аминь”.

ДВА СЛОВА ПО ПОВОДУ ТОЛКОВ О МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЯХ

С.-Петербург, воскресенье, 30-го июня 1863 г

Две наши статейки об отношениях русского рядского купечества к детям, взятым для обучения торговому делу, прошли, кажется, не даром. В петербургском гостином дворе возник на нас весьма нам приятный ропот негодования, и, как нам сказывали, два нумера “Пчелы”, в которых помещены эти статьи, тщательно сокрыты, дабы в головах гостинодворских мальчиков не родилось своего рода опасного вольнодумства. Ну, что ж делать!

Полагаем, что петербургским рядовичам не поможет истребление двух зловерных для них номеров нашей газеты, потому что, с другой стороны, наше ходатайство за малолетних, кажется, принято к сердцу, и ни волчец, ни терние его не подавят.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Ждав три года какого-нибудь внимания к этому делу, можно уже быть терпеливым, когда чувствуешь, что под ободом хоть одна песчинка хрустнула, и своим хрустом дает знать, что авось либо и все колесо повернется на давно заржавевшей оси.

А тем временем, питая сладкие надежды на внимание к нашему ходатайству, ответим на два возражения и на одну угрозу наших торговых желчевиков.

“Что на нас нападают! – говорят они. – Нас и так разоряют и грабят наши приказчики. Наши приказчики плут на плуте едет, плутом погоняет и плутом след замечает. Мальчонки шельмецы тоже все в них растут. Так и норовят, чтобы ловче смошенничать. А мы их кормим, как следует, и чаем завсегда поим вместе с приказчиками, и одеваем чисто, в сертучки и в брючки. Заводить же за ними надзор это значит только взяточничество распространять, потому что вон с ремесленных заведений уж берут взятки. Опять же, если мы захотим, так уж будет не по-нашему, не по-вашему, а по-Божьи, возьмем да и распустим ребятишек. Тогда им еще не в пример хуже будет, чем у нас. Это верно”.

Мы не хотим нимало противоречить тому, что приказчики очень часто и очень ловко переобувают наших коммерсантов из своих сапогов в чужие лапти. Еще менее мы намерены спорить, что вся эта порода ходит постоянно с пушком на рыльце и своим примером научает шкодливости смотрящее на все из-под его руки молодое поколение; но, собственно говоря, мы не понимаем, как рядское купечество может так строго относиться к самому себе! История наших купеческих капиталов известна: одна генерация работает, давится, алчничает и наживает гроши; другая безобразничает, бьет зеркала по трактирам и дает обирать себя приказчикам, а в третьей хозяйский сын живет в молодцах у бывшего приказчика своего отца и рассчитывает, как скоро он сам будет дергать за волосенки сына теперешнего своего хозяина. Это у нас круговая порука. Но это, разумеется, не значит, что мы заступаемся за приказчиков. Ничуть не бывало! Нам до них нет вовсе никакого дела. Но мальчики, дети – другое дело.

Мы требуем для них свободы в праздник, чтобы они росли детьми и знали детские радости; стула в лавке, чтобы у них не было ножных болезней, и грамоты, чтобы они были хоть на волосок светлее и доступнее голосу совести, чем их принципалы, на которых уж все махнули рукой и не хотят мешать им по очереди превосходить друг друга в уменье подать, принять, разбить и забросить. Мальчики растут шельмецами! Да это и не диво. Примеры-то каковы? Сертучки им также нужны, и дает этот сертучок хозяин для себя, а не для мальчика, который есть только лавочная его мебель. О взятках с ремесленных заведений (кроме одного случая в швейном заведении) мы решительно не слыхали и полагаем, что если полицейская власть раз положит точно определенные границы хозяйскому произволению, то дальнейший контроль за этими границами совершенно смело можно вверить той же институции, которая смотрит за хозяевами ремесленных заведений. Ни новых учреждений, ни сочинения новых инструкций – ничего не надобно; нужно только новое право тем же людям, которые ходят, например, в сапожную мастерскую Г., заходить, например, и в магазин А. В. и tutti fruttì.[3]

А что касается насчет страхоты, что, дескать, “мы ребетенки совсем повышвыриваем за ворота”, то этому кто же поверит?

Это все равно, как если бы человек, разозлившись на свою руку, угрожал не брать в нее ложки с супом. Это вздор! Вместо мальчика нужно будет иметь “молодца”, а молодца нельзя ублаготворить тем, чем довольствуется мальчик, обучаясь шесть лет жить без всякой потребности. Купечество делает только то, что ему выгодно.

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЭДЕЛЬСОН

Литературный некролог

В С.-Петербурге скончался от аневризма известный литературный критик Евгений Николаевич Эдельсон.

Человек этот простился с жизнью в полном развитии своих сил. Он умер рано, как умирает большинство русских людей, избравших себе литературную дорогу, тягчайшую из всех дорог, если избравший ее неспособен ни торговать своею совестью, ни вертеться, как волчок, под переменчивыми ветрами модных направлений.

Е. Н. Эдельсон был идеалист самый искренний и самый жаркий поклонник своих идеалов. Его идеалистическое направление, отражавшееся во всех его критических произведениях, в глазах некоторых из русских периодических изданий:

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
“Современника”, “Искры”, “Русского слова”, было достаточным поводом к бесконечному ряду обид, издевательств, которым нельзя подвести никакого итога. Е. Н. Эдельсон был выше всякого желания считаться со своими обидчиками, но близким ему людям известно, что некоторые из направленных против него выходов, переходя всякие пределы приличий дозволенной полемики, иногда тяжело его огорчали. Мальчишеское подтрунивание над ним и над его верованиями очень оскорбляло его, и не только оскорбляло его за него самого, но и за тех, кто решался так легко трунуть над ним, человеком, считавшимся с каждым своим словом.

“Я одного не понимаю: как это можно написать, не боясь ответственности перед самим собою!” – воскликнул он один раз, прочитав стихотворение, в котором говорилось:

Написавши эту сказку,
Я уснул и видел сон,
Будто я не Монументов,
А эстетик Эдельсон.

Но покойник язвим был не только мезтью литературных врагов своих: язвили его порою холодные отзывы о нем друзей его по направлению. Евгения Николаевича Эдельсона люди его собственной партии часто упрекали за слишком мягкий, “слишком нерешительный” будто бы тон его статей.

Искренно его любившие люди позволяли себе иногда говорить ему это и в глаза:

– Отчего вы не высказываетесь порезче, порешительнее? – спрашивали его один раз, настоятельно требуя у него на этот вопрос ответа.

– Не могу, – отвечал Эдельсон.

– Но отчего именно не можете?

– Да я немножко слишком хорошо воспитан, чтобы состязаться в теперешнем решительном тоне. Мои чувства мне этого не позволяют. Это по сегодняшнему времени порок. Но я уже не могу себя переделать, – скромно заключил покойник.

Этим, то есть личною его мягкостью и благовоспитанностью, оскорблявшимися нарушением всякой чинности, эстетичности и благопристойности отношений, и в самом деле должна быть в значительной степени объясняема та бесконечная мягкость статей Эдельсона, благодаря которой статьи эти для любителей резких мнений казались неопределенными и бесцветными.

При том редком уже в наше время литературном образовании, которое имел Эдельсон, ему, конечно, было бы весьма нетрудно найти много средств резко отпаривать жестокие и, смело скажу, бесчестные удары, наносимые одновременно его самолюбию. Но это было не в его натуре. В приятельской беседе он иногда еще и позволял себе добродушно указывать на некоторые грубейшие промахи литературных невежд, нагло выдающих себя за гениев, способных произносить непогрешимые речи” но при первом слове о том, чтобы он печатно обличил это невежество и наглость, и обличил со всею тою горячностью, которой они заслуживают, покойный Эдельсон застенчиво отвечал:

– Нет, зачем же резко: я этим могу обидеть, – и он или совсем не писал об этом, или действительно писал, касаясь всего с такою щепетильною деликатностью, что статья его чрез это в самом деле утрачивала много силы, казалась водянистою и утешала тех же его неприятелей, против которых была направлена. Эдельсон это знал, и знал, что и он мог бы заговорить резко, но никогда не прибегал к этому в наше время победоносному средству, потому что он был действительно очень хорошо воспитан в преданиях, достойных благоговейного уважения.

Служение литературе для Эдельсона было делом наисвятейшим. Никто не боялся так обескуражить своим отзывом молодого писателя, как Эдельсон. Никто не был так строго воздержан в осуждениях и так искренен в советах молодому писателю, как тот же Эдельсон.

Любовь его к литературе простиралась так далеко, что он даже рискнул для чужого издания, в которое некогда верил, значительнейшею частью своего весьма малого состояния, и рискнул неудачно: он потерял все, чем рискнул. Я говорю: “он потерял все”, если лицо, столь неосторожно воспользовавшееся доверием Эдельсона,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

не вспомнит многочисленность оставленного Эдельсоном семейства и не заставит себя быть по отношению к своему долгу покойнику несколько великодушнее, чем велит казенный наказ о расплате.

Как частный человек, как друг, приятель, товарищ и знакомый, Е. Н. Эдельсон пользовался всяческим уважением. Я думаю, нельзя встретить ни одного мало-мальски порядочного и уважающего себя человека, который мог бы сказать об Эдельсоне что-нибудь недостойное памяти честнейшего человека. Из живущих теперь литературных людей он больше всего надеялся на А. Н. Островского и всегда с необыкновенною верою и теплотою говорил о его таланте. В последнее мое свидание с Эдельсоном только и говорил об Островском и все жалел о том, что его “воевода” не пользуется у публики тем вниманием, на которое имеет всякое право. Говоря очень редко о личных своих привязанностях, Эдельсон с особенно святым, почти, так сказать, трепетным благоговением относился к своей супруге и с особенною нежностью к своей дочери, обучающейся в школе св. Анны.

После смерти Аполлона Александровича Григорьева, с которым покойный Эдельсон был приятельски близок, он часто говорил шутя, что рьяные реалисты уже слишком строги и суровы к нему: “Что им все хочется меня пришибать? Меня уж для антика можно бы оставить дожидать: я ведь уж в некотором роде последний из могикан”, – говорил он мне, встретясь со мною очень больной в последних числах декабря тысяча восемьсот шестьдесят седьмого года, – и покойный был прав: русская литература в нем схоронила самого наискреннейшего идеалиста, который имел право, даже и не шутя, считать себя последним могиканином этого направления.

Впервые напечатано в 1868 году.

ЕЩЕ О МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЯХ

С.-Петербург, среда, 26-го июня

Вчера мы высказали, отчего страдают рядские мальчики, а сегодня намерены поговорить о том, что именно, по нашему мнению, нужно сделать для улучшения их безотрадного быта.

Им нужно: 1) гарантировать их от хозяйского и приказчиьего невежественного гнета настолько, насколько гарантирован ремесленный мальчик; 2) определить число рабочих часов в день и род занятий, которые не вредили бы правильному развитию молодого организма; 3) отдать им в полное их распоряжение воскресный день и дни двенадцатых праздников и 4) дать им возможность просветить свою голову хотя какими-нибудь знаниями.

Так как рядское купечество слишком далеко от всякой мысли добровольно сделать все эти реформы в содержании детей, то нужно его заставить дать то, что оно обязано дать детям, и запретить ему под страхом наказания бить детей и отнимать у них воскресный день и будничные вечера.

1) Гарантировать рядских мальчиков от невежественного гнета хозяев и приказчиков настолько, насколько гарантирован мальчик ремесленный, можно тем же самым способом, как устроено это для ремесленных заведений. Опыт показал, что надзор за ремесленными заведениями устроен очень удовлетворительно, а от добра, добра не ищут.

Мы только предложили бы обязать хозяев снабжать каждого мальчика книжкою, в которой должны быть коротко и ясно определены взаимные права и отношения мальчика и хозяина.

2) Определить часы работы так, чтобы мальчик, пробыв в лавке или магазине, например, с 8-ми часов утра до 8-ми часов вечера, более не нес уже никаких обязанностей. 12-ти часов для десятилетнего или двенадцатилетнего ребенка очень довольно, даже много, и по возвращении домой он имеет право на отдых. Кто не может обойтись без лакея, тот может нанять его, а не обращать в холопство ребенка. Ребенок должен спать более взрослого человека, а у купцов мальчик обязан вставать ранее оплывшего жиром хозяина и “эманистого” приказчика, а ложиться позже их. Это должно быть запрещено. Глупый обычай, по которому дети обрекаются на двенадцатичасовую стойку, также должно искоренить непременно и немедленно, обязав хозяев иметь в их торговых помещениях стулья или скамьи, на которых дети могли бы сидеть, когда пожелают и когда позволяет время.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

3) Воскресные дни и большие праздники должны принадлежать детям. Хозяева и приказчики могут торговать в эти дни, но без мальчиков. Хозяин преследует собственную корысть, – пусть он себе и торгует; приказчик торгует по условию, по найму – он может тоже делать, что ему угодно; но мальчик, не входящий своим лицом ни в какие условия и договоры, не обязан жертвовать днями отдохновения выгодам хозяйского кармана. Он имеет неотъемлемое право распорядиться этими днями в собственную пользу. Это право принадлежит каждому.

Все это должно быть введено обязательно и контролировано неусыпно.

4) Учиться рядские мальчики могут только по воскресеньям, а по воскресеньям нет классов во вседневных школах. Увлечения нескольких молодых преподавателей послужили поводом к закрытию воскресных школ; но думаем, что закрытие это не вечно, что правительство не откажет в средстве учиться детям, лишенным возможности учиться в будни.

Представляется совершенно справедливым и неотяготительным обязать каждого рядского торговца, имеющего мальчика, вносить по одному рублю в год на его образование. На эти деньги может быть нанято помещение для школы и приобретены нужные книги. А учителей, способных и готовых заниматься с детьми без всякого возмездия и без увлечений, всегда можно найти.

Нужно только, чтоб все это двинулось по правительственной, административной инициативе, ибо всякой другой инициативы в этом деле мы не ожидаем и верить ей не можем.

ИЗ КИЕВА

Мысли о врачевстве душевном и телесном

“Аптека для души” с подлежащею вывескою, как значится из газет, до сих пор была открыта только в Киеве капитаном и кавалером Должиковым. В других городах обходятся без таких аптек, или они существуют там просто под именем публичных библиотек, и изобретательному человеку нужно много думать, чтобы добыть себе между своими согражданами такую репутацию, какую стяжал в Киеве тамошний душевный аптекар, кавалер и капитан Должиков. Однако, серьезно говоря, библиотека, которою владел г. Должиков и которую он выдавал за “аптеку для души”, была очень плоха. Медикаменты в ней находились несвежие, а цены на них взимались весьма солидные. Аптекар был доволен судьбою, а нищие духом, исцелявшие свои недуги переводами Вальтер-Скотта и другими печатными микстурами, гордились еще, что их душевный аптекар приводит их в некоторое, так сказать, соотношение с дрогистом, пользующимся в провинциях большою известностью.

Но на счастье прочно

Всяк надежду кинь,
звезда киевского душевного аптекаря померкла, и помрачил ее не гигант, не могучий богатырь и не сказочный рыцарь, а просто местный 3-й гильдии купец Василий Гаврилов сын Борщевский, торговавший чаями. Г. Борщевский, не просвещенный большим книжным разумением, но снабженный природною славянскою сметкою, “собственным умом дошел”, что в Киеве может существовать другая библиотека, не стесняясь “аптекою для души”. Съездив в Петербург, Борщевский завел сношения с тамошними и московскими книгопродавцами, выписал все периодические издания, сделал читателям разные облегчения, рассрочки платежей и т. п.

Дело пошло не Бог весть как шибко, но все-таки пошло и окончательно подорвало “аптеку для души”, так что аптекар, навьюченный хламом, которым снабдили его известные дрогисты душеполезных материалов, представляет печальную фигуру верблюда, стоящего в знойной пустыне и безнадежно помавающего своею главою.

С появлением библиотеки В. Борщевского оказалось, что в Киеве, где не очень любят врачевать души произведениями российской словесности, находится еще достаточное число персон, готовых черпать струи сего живоносного источника и промывать ими слепоту своих духовных очей. Наблюдательные люди, которыми Киев не перестает славиться со времен преподобного Нестора до наших дней, свидетельствуют, что число людей, читающих сочинения русских авторов, в Киеве растет заметным образом и что в возрастании числа читателей много виновата библиотека Борщевского, удовлетворяющая потребностям любознательных и просвещенных граждан г. Киева. Стало быть, и в настоящем случае верно, что не только запрос открывает предложение, но и предложение рождает запрос; душевный

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

аптекарь г. Киева этому не верил и ошибся в своих соображениях; не верят этому и все прочие аптекари, а с ними и талантливый сотрудник нашей киевской медицинской газеты "Современная медицина" г. Добычин, и все они тоже будут иметь честь поздравить друг друга с почтенною дозой недалёковидности и нерасчетливости.

Мы знаем, что гг. врачи особы в высшей степени почтенные и обладающие обширными и весьма многосторонними сведениями; не неизвестно нам также, что политическая экономия не всеми ими признана за практическую науку, а верят они в существование того только, во что можно пальцем ткнуть или, по крайней мере, понюхать. Зная эту добродетель медицинской философии, мы сочли необходимым самым тщательным образом избегать всякого упрека в идеализме и начали свою речь примером, имеющим в наших глазах известное доказательство и хорошо известным если не талантливому сотруднику "Современной медицины" г. Добычину, то самой трехчленной редакции этого почтенного издания. Наши читатели должны простить нам, что мы занимали их сказаниями о гг. Должикове и Борщевском, так как это учинено нами страха ради медицинского. Но начнем ab ovo. [4]

В наше время, чреватое возрождающимися из русской жизни вопросами, стали рассуждать: как бы дать русскому человеку возможность хоть кое-как облегчать свои телесные недуги? Может быть, что об этом прилично было бы подумать и несколько пораньше, но... тогда мы не тем были заняты: все спорили "о матерьях важных", да рассуждали о патентованных средствах умерщвлять в человеке человека, для того чтобы из него вышел другой человек, по лекалу, вытесанному г. Аскоченским. В конце 1861 г. и в начале нынешнего периодическая литература не с коротким пристала к врачебному вопросу. Поднятый год тому назад "Современной медициной", издающейся в г. Киеве, под редакцией гг. профессоров Вальтера и Эргардта и г. не профессора Фененко, вопрос этот восходил на рассмотрение многих столичных газет и наконец подвергнут обсуждению в толстом журнале (см. "Время", 1862 г., кн. 2). Суммировать всего высказанного по настоящему вопросу всероссийскими публицистами почти невозможно, но можно сказать, что всеми, писавшими о настоящем деле, признана и достаточно доказана совершенная несостоятельность существующего врачебного управления и почти абсолютная беспомощность сельских сословий. Сколько думано и гадало – об этом говорить не стоит. С этим вопросом случилось то же, что бывает вообще с вопросами, обставленными всеми прелестями немецкой изобретательности, то есть что уладить его в духе старых стремлений нет никакой возможности и приходится попросту взять его, выворотить наизнанку и отдать обществу: тебе, мол, кушать, на свой вкус и готовь. Средство, конечно, очень хорошее и верное, недаром, пока до него договорились, исписано столько бумаги, что не знаешь даже, что в нее теперь заворачивать. Больше всего в этом смысле содействовала успехам отечественной писчебумажной промышленности упомянутая трехчленная редакция "Современной медицины", и, в силу ее специальности, ей же было суждено высказать наибольшую цифру всех несообразностей, выраженных по вопросу об устройстве врачебной части в России. "Современная медицина", со всеми лицами, прикрываемыми ее благовоным знаменем, никак не обикнет допускать в русском обществе никакой способности к самостоятельности и потому все не изловчится поставить ни одного административного вопроса так, как следует его поставить, имея в виду опытные выводы и благо страны, неудобной к усвоению немецкой централизации. Она строит такие планы, высказывает такие соображения и делает такие выводы, что просто (как говорят герои г. Островского) порядочному человеку претит. То напечатает, что для общей пользы нужно устроить в России "институт будочников", [5] который станет наблюдать за всеми женщинами и, при малейшем подозрении насчет того, что им скоромные сны снятся, водить их к лекарям на свидетельствование; то рекомендует держать солдат так, чтобы они совсем не соприкасались с миром, как жидове с самарянами; то рвется дать всем эскулапам права австрийских жандармов и совать свой нос во все, во что носа совать даже неприлично никакому человеку; то, наконец, вознегодует на недостаток в России централизации и полноправия чиновников и на греховную дерзость народа, не соглашающегося верить в то, во что он не верит. Словом, несмотря на то, что мы люди привычные, читаем всякую штуку и можем подчас одолевать даже полемические статьи "Киевского телеграфа" с "Киевским курьером", которые тешат нас своим боем, вроде стычек "Мерримака" с "Монитером", но и нам, как мы сказали, претит от статей "Современной медицины".

Во "Времени" довольно обстоятельно выведено, что русский народ не лечится у теперешних городских и уездных врачей потому, что они чиновники, что поэтому нужно прежде всего дать народу врачей, не делая их чиновниками и не возлагая на них никаких фискальных обязанностей; после этого нужно общинам предоставить право избирать себе врача и устранять того, который не будет люб общине и не

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

станет радеть о ее выгодах, затем снабдить врачей поземельною собственностью, как снабжено ею сельское духовенство, и таким образом сделать интересы сельского врача как можно более солидарными с выгодами поселян, а вместе с тем допустить неограниченное число аптек, где будут желающие завести их, и дозволить медикам отпуск лекарств там, где нет аптек. Этими средствами, кажется, Россия вполне располагает, и можно надеяться, что, при подобном простом устройстве врачебной части, русские поселяне скорее познакомились бы со всеми выгодами врачебного пособия и на самом деле доказали бы, что они вовсе не враждуют с медициною, а не пользуются ею до сих пор потому, что наши врачи – чиновники, и потому, что медицинская помощь недоступна крестьянину, которому не по силам платить рубль за рецепт, да ехать за 50 верст в аптеку, а в больницах, как известно, со дня первого представления “Ревизора”, лечат “не столько медикаментами, сколько честностию и порядком”, и оттого больные там “как мухи, выздоравливают”.

Но трехчленная редакция “Современной медицины”, определившая для практических русских вопросов нижний этаж своего органа, извергает им другие суждения. Вот что, например, высказывается в этом этаже. [6] “Нигде, может быть, так не применимо право монополии, как при учреждении аптеки в известном округе или участке народонаселения, так как известно, что монополия, централизирующая капиталы в одних руках, дает более возможности иметь то, что недоступно бедности. Хотя в последнее время против монополии аптек многие восставали, но нам кажется (помилуйте! ведь многим и кит кажется рыбой), что других средств поправить их плохое состояние почти нет. Где нет монополии, там никогда не может быть благосостояния аптеки, вследствие ее бедности, влекущей неминуемо недостатки (вот вам и орех с маслом). Русские законы также стоят за монополию аптек, но охранительное право ее (законы уголовные) весьма слабо, чтобы вполне консервативировать эту монополию. Это мы видим из того, что 1) продажа лекарств и ядов производится у нас в уездных городах почти повсеместно из лавок. Врачи и содержатели аптек не могут следить за этим, потому что освидетельствование лавок не составляет по закону их прямой и всегдашней обязанности. (Экое горе, подумаешь!) По смыслу 904-й статьи XIII тома Свода законов, наблюдение за продажей лекарств и ядов из лавок принадлежит врачебным управам, а в уездных городах свидетельствование лавок, без поручения врачебных управ (курсив в подлиннике), производимо быть не может. 2) Ведомство удельное и государственных имуществ и помещичьи больницы также имеют свои аптеки, которые вручаются в ведение (на слог и толковитости уж не взыщите) также продающих лекарства кому попало, без всякой таксы. Наконец, лекарства продаются и разными другими лицами, для которых медицина составляет ремесло: всевозможного рода проделки, нередко гибельные результаты такой торговли составляют явление обыкновенное”. – “Если бы все эти центры (то есть места, из которых производится отпуск лекарств в уезде) зависели от одного общего центра, тогда результат был бы совсем другой, и монополия привилегированной аптеки охранялась. Напротив, децентрализацию их, вследствие слабых охранительных прав, допускающих конкуренцию с шарлатанизмом (!), можно рассматривать как одну из главных причин несостоятельного положения аптек в малых городах”.

Вот и извольте рассуждать с этими милыми шалунами, заботящимися о монополии привилегированных аптек, когда нужно заботиться о выгодах русского народа! Г. Аскоческого и в Англии нельзя еще показывать за деньги, ибо и там есть люди его калибра, но автора, позволившего себе написать такое безобразие в 1862 году, и редакторов, поместивших это сквернословие, можно и стоит свозить на предстоящую всемирную выставку и собранные за показ их деньги употребить на усиление средств сельских аптек.

Господи милостивый! неужто склонность к доносам, которую г. Щербальский вменяет русским в родовую добродетель, а другой местный ученый “философ и летописец” относит к разряду качеств благоприобретенных, до такой степени вошла в нашу плоть и кровь, что такие просвещеннейшие люди, как врачи и профессеры, редактирующие русские газеты, не видят никакого способа помочь делу без усиления фискальничества и доносов? Нет, это уж “за человека страшно” становится! Не чернилами, а слезами нужно писать о таком микроскопическом маломыслии и громадном растлении. Поймите же, господа, что нам не нужны ваши “привилегированные аптеки” и врачи с правами брать на осмотр женщин и перерывать, по слепому подозрению, всякую лавку, а бьемся мы, чтобы у нас были люди, способные лечить тяжкие недуги нашего народа, знакомя его мирным и тихим путем с выгодами науки, хотим, чтобы у каждого из наших крестьян не далее, как за 5–10 верст, было место, где он может одним заходом получить, за посильную для него цену, и совет сведущего человека, и лекарство. А вы чего хотите? Вы

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

думаете, что нельзя просвещенной стране жить без такс, монополий и фискалов! По возвращении из Англии, где мы желаем вам показаться, вы этого думать не станете. Если не умеете понимать жизнь народа, среди которого живете, то поймите же хоть жизнь той нации, которую сами вы считаете каким-то всесовершеннейшим идеалом. Может быть, там вам станет понятнее, что лучше дать человеку вовремя английской соли, чем через пять дней каломелю; может, там вы уразумеете, что, кому хочется убить себя или своего ближнего, тот может достичь своей цели с помощью топора, обрывка, чемерки, мухомора или кукельвана, входящего в состав русского пива. На что ж все ваши запрещения и охраны? На что ваше фискальничество в лавках? На что, наконец, нам сами вы, совмещающие в себе с обязанностями врача права какого-то австрийского медицинского жандарма?

Следя за направлением “Современной медицины”, мы были постоянно благодарны профессорам Вальтеру и Эргардту за их усилия обрабатывать вопросы, касающиеся быта наших врачей и устройства врачебной части, но с прискорбием замечаем, что редакция этой газеты с некоторого времени становится мало похожей на самое себя. Она со смыслом и достоинством отрицала старые, отжившие порядки, но без всякого достоинства проектирует порядки новые. Что за причина всему этому? Конечно, отрицать легче, чем указывать средства исправления, но все-таки нельзя заблуждаться до того, чтобы, вместо лекарства для общественных мозголей, рекомендовать выдавливание их каблуком немецкого ботфорта. Мы предполагали больше такта в гг. Вальтере и Эргардте.

ИСКАНИЕ ШКОЛ СТАРООБРЯДЦАМИ

Статья первая

Ходатайство московских старообрядцев о разрешении учредить школы. – Права русских старообрядцев сравнительно с правами татар, евреев, немцев и поляков. – Начало систематическому обучению раскольничьих детей. – Ковылинская школа в Москве. – Причины ее закрытия. – Новые ходатайства о разрешении школ. – Гребенщиковская школа в Риге. – Правила, на основании которых существовала рижская школа и способ ее закрытия. – Хитрости и тонкости раскольников, как обойти требования правительства. – Раскольники соглашались реформировать свою школу и потом отказываются. – Все требования и настояния начальства оказываются бессильными. – Рига остается без школы.

Русские раскольники ищут света. На днях “Московские ведомости” сообщили, что московские раскольники ходатайствуют у правительства о разрешении им учредить для своего юношества школы. “Московские ведомости” говорят, что ходатайство это внесено уже в высшие правительственные сферы и, как полагает сказанная газета, вероятно, будет разрешено в интересе просителей.

Известие это возбудило одновременно самое живое участие во всех старообрядцах, составляющих столь значительную часть русского населения, и обратило на себя внимание всего общества. Раскол ищет света. Движение это чрезвычайно ново для общества, которое никогда не думало, что раскол может искать путей к просвещению. В обществе сложилось убеждение, что раскол остается в нынешней его тьме по его собственной вине, что он никогда не хотел учиться и что просвещение ему ненавистно. От этого в обществе полагают, что нынешнее искание раскольниками права поучать своих детей в особых школах есть вещь совершенно новая, что этим раскол делает шаг, которого он до сих пор никогда не делал. В сущности, все рассуждающие таким образом заблуждаются. Русский раскол давно ищет средств учить своих детей, не смущая их детской совести религиозными противоречиями. Русский раскол давно ищет такого права, какое имеют на русской земле татарин, еврей, немец, поляк и француз, – словом, раскол давно ищет права учить детей в русской школе с освобождением их от наставнического влияния законоучителей православного исповедания.

Доселе в такой свободе, великодушно даруемой русскою веротерпимостью татарам, полякам, евреям, немцам и французам, отказываемо было одним русским старообрядцам. Но, как полагают, ныне настало время и старообрядцам, людям русского происхождения, быть сравненными в правах свободы совести с проживающими в России иностранцами; нынче полагают, что и старообрядцы будут так же свободно учить своих детей в русских школах, как учатся и теперь проживающие в России чужеземцы; нынче даже утверждают, что это непременно будет так, потому что этого требует дух времени, историческое развитие государства, сочетание событий... Одним словом, утверждают, что даже всякое сомнение в том, что школы раскольникам будут разрешены, неуместно.

В таком взгляде общества на требования нашего времени очень много утешительного,

но мы, к сожалению, не можем всецело разделить всех этих светлых упований и не беремся предрешать вопроса о раскольничьих школах ни в какую сторону и будем ждать, как разрешат этот вопрос власти, от которых зависит его разрешение. Нас в настоящую минуту занимает не решение вопроса о раскольничьих школах, а общеинтересная история этого дела в его прошедшем.

В противность общераспространенному мнению, что раскол, ища в настоящее время школ, выкидывает, так сказать, совершенно новое па, мы должны сказать, что русский раскол давно уже с свойственным ему упрямством стремился становиться в эту позицию. Русские староверы давно добиваются возможности учить своих детей, и искание школ расколом составляет целую историю, может быть, интересную не менее истории искания расколом священства. История эта, любопытная сама по себе, по фактам и событиям, из которых она складывается, будет иметь большое значение в истории русской цивилизации. Мы имеем намерение в настоящее время, когда общество заинтересовано возбужденным вопросом о раскольничьих школах, познакомить интересующихся этим вопросом читателей с любопытной историей искания раскольниками школ в России.

У русских старообрядцев, или раскольников, в настоящее время нет школ, дозволенных правительством, но они некогда были. Начало систематическому воспитанию малолетних раскольников положено московским купцом Ильею Васильевичем Ковылиным в первой четверти текущего столетия. Из истории Преображенского кладбища в Москве мы знаем, что: "в одном из зданий этого кладбища было устроено Ковылиным училище, где мальчики с бойкими способностями обучались чтению и письму церковному под руководством наставника Осипова. Потом очередные наставники толковали им катехизис. Образование оканчивалось изучением главных пунктов отличия федосиевского учения от учения православной церкви. Для учеников была открыта кладбищенская библиотека, состоявшая из старопечатных книг и раскольничьих сочинений, которою они пользовались под руководством своих учителей". Эта особая раскольничья школа, существовавшая в Москве, учреждена была на Преображенском кладбище, в тех соображениях, что раскольники не желали посылать своих детей в общие школы, а не желали они посылать своих детей в общие русские школы потому, что в этих русских школах детям старообрядцев преподавался бы закон Божий и вообще религиозные правила в духе новшества, которое составляет основу религиозного разномыслия раскольников с господствующею церковию. Вот откуда возникла потребность в особых школах.

Ковылинская школа на Преображенском кладбище существовала до тех пор, пока в общине были хорошие радетели, умевшие ее отстаивать. Затем, во время всеобщего гонения на раскол, школа эта была закрыта. Люди, имевшие возможность близко ознакомиться с старыми делами Преображенского кладбища, заявляли у нас печатно, что все образование (Преображенской) кладбищенской школы "было направлено к тому, чтобы внушить детям отвращение к церкви и церковникам-никонианам" ("История Преображенского кладбища", стр. 46). Мы не можем утверждать полную верность этого заключения; но, принимая во внимание общие тенденции раскола и исключительные воззрения покойного Ковылина, мы не станем и опровергать сделанного вывода. Может быть, в преображенской кладбищенской школе в ее цветущее время и действительно преобладало упомянутое направление, но ниже в нашем рассказе мы будем иметь возможность показать, что собственно вовсе не это направление было поводом к закрытию раскольничьих школ и к оставлению детей староверов без всякого образования, а простое желание во что бы то ни стало закрыть их и тем принудить раскольников посылать детей в общие русские школы. Впрочем, мы теперь на минуту все-таки остановимся на ковылинской школе.

Школа Преображенского кладбища была весьма неблестящая. Сколько известно, познания в науках и искусствах, выносимые воспитанниками из этой школы, вообще были до крайности бедны. О науках, способствующих развитию самостоятельного мышления, в школе ковылинской, разумеется, не было и помину. В ней учили счислению, но и то слегка, настолько, насколько это необходимо по соображению русского лавочника. В искусствах шли также очень недалеко. Некоторые из членов кладбищенской школы приобретали, впрочем, замечательное искусство писать по-уставному, а потом занимались переписыванием богослужебных книг, которые по дорогой цене продавались в конторе кладбища иногородным федосиевским общинам и зажиточным федосиевцам. Другие занимались иконописным искусством и делали копии с древних икон, достигая в этом искусстве такой высоты и такого совершенства, что самые известные знатоки с трудом могли отличить их копии от оригиналов. Весьма искусно воспитанники умели подделываться и под древние рукописи, изменяя при том и цвет бумаги и соблюдая малейшие остатки древности.

Кроме внушения вражды к господствующей церкви и церковникам-никонианам, в этом, сколько известно, заключалось и все образование в большой ковылинской школе на Преображенском кладбище, и в этом же оно заключалось больше или меньше во всех общинах федосеевского согласия, находившихся во времена Ковылина в зависимости от Преображенского кладбища. Иначе это и не могло быть, потому что все эти общины от Преображенского кладбища получали наставников и в его же конторе покупали свои книги. Школа эта закрыта, как закрыты и все раскольничьи школы, в то время, когда правительство, озабочиваясь привлечением раскола в лоно господствующей церкви, полагало достигать этого путем преследования. С тех пор дозволенных правительством раскольничьих школ нет, и память о них, мало-помалу изглаживаясь, чуть-чуть вовсе не исчезла даже в самом расколе. По крайней мере, к нашим временам слава московской ковылинской школы настолько померкла и забылась, что идеалом школ, об учреждении которых никогда не переставали мечтать раскольники, у них являлась не ковылинская, а другая, уже тоже тридцать лет назад уничтоженная школа. В 1862 г. старообрядцы Петербурга и вообще всего северо-западного края, утешенные милостями и льготами, дарованными им в царствование нынешнего Государя, возымели надежду, что, рядом с этими льготами, им, вероятно, не отказано будет и в праве снова учредить школы, в которых могло бы обучаться их юношество. Тогда, высказывая эти надежды, раскольники северо-западных общин заявляли, что они желали бы иметь школы не такие, какие были в Москве, где будто бы "все образование было направлено к тому, чтобы внушить детям отвращение к церковникам-никонианам", а такие школы, какие были и какие будто бы и поднесь потаенно существуют у старообрядцев Риги. При всех этих ходатайствах заметно было, что русские старообрядцы, указывая на рижскую общину, представляют себе эту общину идеалом всестороннего благоустройства и желанной свободы. Правительственное лицо, к которому простирались эти ходатайства, прежде, чем отвечать на них, желало ознакомиться с тем, что такое была прежняя уничтоженная рижская школа; что такое ныне потаенно там существующая школа, и вообще, что такое составляет в образовании рижан идеал старообрядцев, стремящихся к учреждению у себя школ?

Раскольничья школа существовала в Риге при так называемом гребенчиковском богоугодном заведении (заведение это называется "гребенчиковским" потому, что оно устроено щедротами некоего старообрядца Гребенщикова – радетеля об общественном благе).

Школа при гребенчиковском заведении помещалась в одном здании с больницей, приютом для требующих общественного призрения, большою моленною, певческою и кельями. Заведение это состояло в ведении рижского приказа общественного призрения; а школа на общих основаниях приходских училищ подчинялась надзору местного директора училищ. Учителем в этой школе был шкловский мещанин Емельянов, обучавший детей чтению, письму и арифметике. Чтобы учитель Емельянов внушал воспитанникам рижской школы вражду к господствующей церкви и к церковникам-никонианам и чтобы в рижской школе вообще держалось такое раздражающее направление, этого из дел архива не видно.

Из представления же рижского гражданского губернатора г. Егора фон-Фелькерзама генерал-губернатору барону Палену от 15 августа 1830 г. за № 72 узнаем, что и названный нами учитель, шкловский "мещанин Дорофей Дмитриев Емельянов был человек экзаменованный, имел от губернского директора училищ свидетельство, выданное ему 28 сентября 1828 г. за № 649, в удостоверение, что он имеет право преподавания наук в первоначальной школе".

Так, школа при гребенчиковском заведении существовала открыто; обучала и выпускала воспитанников, и никто не обращал на нее никакого внимания и не находил в существовании ее никакого вреда ни для нравов, ни для государства. До 1830 г. гребенчиковская школа идет тихо и мирно, и история школы за весь этот спокойный период ее существования не представляет ничего занимательного. Наибольший интерес в это время она представляет не как педагогическое учреждение, а как приют, в который подбирали с улицы бедных детей. В гребенчиковской школе учили детей чтению, письму да арифметике и потом обученных всему этому мальчиков пристраивали в лавки к торговцам или в ученики к ремесленникам; а из тех, у которых оказывались хорошие голоса, формировали хор для молитвенного пения. Из разговоров с бывшими учениками гребенчиковской школы (из которых некоторые уже оставили раскол и присоединились к православию) оказывается, что в гребенчиковской школе отнюдь никогда не было такого вредного направления, которое было в свое время обнаружено в московской школе Ковылина.

Рижская гребенщиковская школа имела только то сходство с московской школой Преображенского кладбища, что она была в образовательном отношении учреждения довольно слабая. Умнейшие из рижских раскольников, сколько-нибудь способные понять и оценить достоинство школ, не выражают никакого сочувствия ни к курсам, ни к методам преподавания уничтоженной гребенщиковской школы, но при всем том они сетуют о ее закрытии. Они сетуют об упразднении этой школы потому, что, как ни плоха была, она все-таки давала возможность огромному количеству сирот, тяготящих рижскую раскольничью общину, обучаться грамоте и делаться полезными детьми, тогда как ныне дети эти, шатаясь без всякого дела, занимаются ремеслом, которое дало им название “карманщиков”.

Как и по какому поводу в Петербурге вспомнили о рижской гребенщиковской раскольничьей школе, я не встретил в делах рижского генерал-губернаторского архива никаких сведений; но покойный попечитель рижской общины Петр Андреевич Пименов говорил мне, что обществу вздумалось будто бы попросить правительство не то о какой-то субсидии для школы, не то о расширении ее программы, и эта просьба была причиною того, что на школу обратили внимание и закрыли ее. В какой степени этот рассказ Пименова заслуживает вероятия, – теперь отвечать трудно, а из дел генерал-губернаторского архива видно лишь то, что в начале этой истории лифляндский, эстляндский и курляндский генерал-губернатор и попечитель дерптского учебного округа барон фон дер Пален в августе 1830 года нашел себя обязанным “довести до Высочайшего сведения: с чьего дозволения заводит школы совет рижского старообрядческого общества? Какие учителя находятся в означенных школах? И имеют ли они законное на то право?” Когда таким образом барону Палену представилась надобность представить категорический отчет на этот вопрос, то его это очень затруднило, и он, будучи попечителем учебного округа, в котором находилась школа, сам на этот вопрос отвечать не мог, а нашел нужным потребовать спрашиваемых у него сведений от рижского губернатора Егора фон Фелькерзама. Г. фон Фелькерзам, хотя и не обязан был ведать дела школы ближе попечителя, однако 15 августа 1830 года за № 72 отрапортовал барону Палену, что “совет рижского старообрядческого общества ныне вновь школ не заводит, а содержит школу при молельне и богадельне своей с самого основания этих заведений и что в школах воспитание детей руководствуется назначениями, изображенными в правилах, утвержденных 20 февраля 1827 года предместником барона Палена, для управления богадельни, больницы, сиротского отделения и школы рижского старообрядческого общества”. При этом губернатор Егор фон Фелькерзам представил попечителю и самые правила на управление богадельни, больницы, сиротского отделения и школы рижского старообрядческого общества. Правила эти, утвержденные 20 февраля 1827 года предместником барона Палена, маркизом Паулуччи, представляют собою очень немалый интерес. При рассмотрении этих правил оказалось, что школа утверждена не произвольно, а существовала на основании этих правил, утвержденных маркизом Паулуччи. По нашему мнению, этот интересный и до сих пор никому почти не известный документ заслуживает внимания и в настоящее время.

Правилами, утвержденными маркизом Паулуччи (гл. 12 ст. 22 о сиротах, подкидышах и новорожденных), было постановлено:

§ 114. “Принимаемых в богадельню воспитанников до восьмилетнего возраста распределять между богаделенными женского пола, наиболее здоровыми и хорошего поведения, внушая этим женщинам иметь бдительное смотрение за детьми, радуя о них, как то родители о своих собственных детях учинить обязаны, со всею осторожностью и человеколюбием. О принимаемых воспитанниках объявлять каждый раз полиции и сверх того вести о них с большою точностью книгу, замечая в оной, какого именно он вероисповедания”.

§ 116. “По староверскому обряду можно воспитывать таких только детей, коих родители принадлежали к старой вере, всех же прочих детей – по тем религиям, в коих состояли родители их. Если же родители не были известны, то в таком случае младенцев крестить и воспитать по обряду греко-российской церкви”. (Под словом греко-российской должно разуметь господствующую православную церковь, которую раскольники не хотят называть православною, считая, что православные одни они.)

§ 118. “Всех сих сирот снабжать от богадельни всеми потребностями”.

§ 119. “Воспитательницы, попечению коих таковые малолетние сироты вверяются, должны печься о них, как были бы их дети собственные, всякий день поутру и к вечеру умывать им лице и руки, а поутру вычесывать им головы и вообще содержать детей в чистоте и опрятности; белье переменять еженедельно, а если понадобится,

то и чаще, и смотреть, чтобы платье и обувь были целы и чтобы младенцы не ходили босиком, особливо на двор или на улицу. Наблюдение за сим возлагается и на попечителя”.

§ 120. “По достижении двухлетнего возраста каждому дитяти прививать предохранительную оспу в назначенное тому врачом время, не оставляя отнюдь никого из оных без прививания”.

§ 121. “Для изучения прививания предохранительной оспы выбрать одного или двух оказывающихся к тому способными из прислужников богадельни и отдать таковых для изучения к врачу”.

§ 123. “По достижении младенцами обоего пола восьмилетнего возраста отдавать их в школу для обучения чтению, а младенцев мужского пола и писанию и арифметике, по крайней мере первых пяти правил или специй”.

§ 124. “По достижении двенадцатилетнего возраста обучать их в религии, заставляя их несколько часов каждодневно читать Священное Писание и обучать во всех отношениях различать добро от зла; изъяснять им несчастные последствия от злых, а хорошие от добрых деяний, предостерегая от первых, соделать их тем полезными гражданами и сочленами гражданского общества. Сверх того, по достижении двенадцатилетнего возраста, отдавать купцам для обучения торговле, или ремесленникам или земледельцам, или же в услужение, чтобы, с одной стороны, дети могли приобрести познания, нужные для полезного общежития и приобретения промышленности, а вместе с тем и обеспечивающие их будущее существование; с другой же стороны, чтобы заведение освободилось от не нуждающихся более в его пособиях”.

§ 125. “Учитель имеет обязанность наблюдать, чтобы все в предыдущих параграфах назначенные правила на счет содержания малолетних сирот и детей были выполняемы со всею точностию”.

§ 126. “Он, как учитель и воспитатель юношества, должен пещись об образовании оного прилежным обучением и внушениями нравственных и человеколюбивых правил и тем соделать их полезными сочленами гражданского общества”.

§ 127. “Ни одно дитя без матери или воспитательницы не должно быть отпускаемо из заведения, и за сим смотреть и строго наблюдать учителю”.

§ 128. “Школьники должны являться в школу, кроме праздничных и воскресных дней, каждодневно по утрам, с апреля месяца и по октябрь, в семь часов, а с октября месяца и по апрель в восемь часов; пополудни же в час и пробыть в школе до полудня по двенадцатый час и пополудни до седьмого часу”.

“Если же школьники будут не из богаделенных жителей, в таком случае время прихода их в школу остается вышеозначенное; для выхода определяется: с апреля по октябрь в 5 часов, а с октября по апрель в 4 часа вечера”.

§ 129. “Учитель обязан вести верные списки не токмо ученикам своим, но и всем детям, находящимся в богадельне, не достигшим еще учебного возраста, не касаясь в том до обязанности попечителя, ведущего по себе списки обо всех жителях в богадельне и больнице находящихся”.

§ 130. “По достижении восьмилетнего возраста малолетних (живущих в семействах), учитель настаивает об отдаче их в школу для обучения”.

§ 131. “В школе дети мужского пола не должны сидеть вместе с таковыми же женского пола, а иметь каждому полу особые скамейки. Равномерно не должны и житьствовать вместе, а иметь каждому полу свои отдельные покои”.

§ 132. “Каждый раз, по приходе в школу и по окончании учения, учитель с учениками своими совершает молитву по обряду христианства”. Но какая это молитва должна читаться “по обряду христианства” – того не сказано. Говорят, это был известный старообрядческий “начал”, то есть “Господи Иисусе Христе Сыне Божий” и т. д.

§ 133. “Дети должны обучаться в означенных науках по § 123 сего положения; дети же женского пола в свободные часы и в рукоделиях”.

§ 134. “Из обучающихся в школе детей, подчиненных во всем учителю, без ведома его никто ни в какое время из заведения отлучаться не смеет, и в том даже попечитель не должен употреблять своего влияния, ибо за поведение школьников отвечает один учитель”.

§ 135. “В свободные от учения часы и в хорошую погоду учитель сам водит детей на прогулки, наблюдая, чтобы шли смирно и тихо и никто никуда не отлучался”.

§ 136. “К родственникам никого из обучающихся детей не отпускать иначе, как ежели сами родственники придут за ними, и то только в праздничные дни и с дозволения учителя”.

§ 137. “По окончании наук, как учителя, так и попечители стараются приготовленных детей отдавать к добрым хозяевам в услужение, кто к чему способен окажется, с подпискою, что принимающих к себе во услужение употреблять будут в честные и добрые занятия и удерживать от непозволительных поступков”.

§ 138. “Выпуск детей разрешает совет заведения и записывает всякий раз в журнал, в который и заносит имя взявшего кого к себе во услужение”.

§ 139. “О каждом выпуске, как равно о каждом новорожденном и подкидыше, от совета в тот же день посылается объявление в полицию с испрошением для последних узаконенных видов”.

Вот правила, на основании которых существовала и которыми руководилась возбуждающая зависть старообрядцев гребенщиковская раскольничья школа в Риге. Генерал-губернатор и попечитель учебного округа барон Пален так и донес, что школа существует на основании этих, даже и для нынешнего времени весьма нехудых правил. Какие соображения последовали в Петербурге по поводу представления, сделанного бароном Паленом после собрания этих сведений, – неизвестно, но в июле 1832 г. попечителем дерптского учебного округа вскоре за сим была получена из министерства народного просвещения бумага следующего содержания:

“Г. министр внутренних дел, по Высочайшему Государя Императора повелению, по делу о рижских раскольниках и их заведениях, сообщил мне, что раскольническая школа в Риге не может существовать в настоящем ее положении, ибо учреждена в противность начал, на коих заведены народные школы, и управляется учителем из шкловских мещан, раскольником, между тем, как постановлением 1820 г. воспрещено выбирать из раскольников в общественные должности, а потому еще менее можно допустить раскольнику быть наставником юношества, чтобы вследствие сего я принял меры закрыть оное училище, на основании изданных по сему предмету узаконений, и не иначе дозволил вновь учредить школу в Риге, как по уставу уездных и приходских училищ, 8 декабря 1828 г. Высочайше утвержденному, хотя оный устав и не распространен на дерптский учебный округ, но приличнее уравнивать школу сию с другими подобными в государстве; ибо она, может быть, в Риге и даже во всем округе одна такая школа”.

“К сему г. министр внутренних дел присовокупляет, что находящиеся в означенной раскольнической школе малолетние круглые сироты мужского пола, как могущие остаться без призрения, вследствие Высочайшего повеления, будут определены в рижский баталион военных кантонистов”.

“Во исполнение сего Высочайшего Его Императорского Величества повеления покорнейше прошу ваше превосходительство сделать надлежащие распоряжения о закрытии существующей в Риге раскольнической школы и о недозволении вновь учредить школу в Риге, иначе, как на основании устава уездных и приходских училищ 8 декабря 1828 г. Высочайше утвержденного, не допуская ни под каким видом, чтоб учителем в оной был назначаем раскольник”. Подлинное подписал: министр народного просвещения генерал от инфантерии князь Карл Ливен (23 июня 1832 г. № 742).

Барон Пален, как генерал-губернатор и попечитель учебного округа, по-прежнему возложил исполнение этого распоряжения на того же губернатора Егора фон Фелькерзама. Г. Фелькерзам взялся за это дело энергически и 17 октября 1832 г. за № 281 донес попечителю следующее:

“Во исполнение Высочайшей воли, бывшая прежде раскольничья школа закрыта, и

старшины здешнего старообрядческого общества, на общем совещании сего предмета в присутствии губернского директора училищ и рижского полицеймейстера, изъявили готовность устроить означенную школу на точном основании вышеприведенного устава и представить в оное учителя не из раскольников к губернскому директору училищ на испытание.

Как исполнение сего со стороны их замедлилось, то я 24 минувшего сентября предписал рижскому полицеймейстеру понудить старшин к исполнению их обещания, с тем, что если в течение 8 дней оно не будет исполнено, то они подвергнутся строгой ответственности.

Ныне попечители рижского старообрядческого общества представляют мне, что общество отказало в выборе учителя в их школу не из раскольников, потому что, якобы, не имеет способов производить ему содержание и определило закрыть лучше эту школу вовсе. А как учреждение сей школы, на основании устава уездных и приходских училищ и определение в оную знающих учителей не из раскольников требуются по Высочайшей воле, то от меня предписано вместе с сим рижскому полицеймейстеру объявить старообрядческому обществу, что если они сами не выберут такового учителя, то он будет назначен в школу по выбору губернского учебного начальства и именно на их счет, потому что школа сия учреждается единственно для их общества, и в таком случае будет сделана на них раскладка”.

Но энергия губернатора, столкнувшись с непреклонностью раскола, не имела, по-видимому, столь желанного в Петербурге успеха. Дело тянулось; барон Пален настаивал в Риге на немедленном выполнении петербургских требований у г. Егора фон Фелькерзама; г. Егор фон Фелькерзам, в свою очередь, строго понуждал полицеймейстера, а полицеймейстер подшпоривал общественных старшин, и в следствие всего этого взаимодействия 18 ноября 1832 г. последние подали полицеймейстеру нижеследующую оригинальную бумагу, которую назвали: “требуемое покорнейшее объяснение”. Вот этот интереснейший по своей оригинальной раскольнической тонкости документ:

“Его высокоблагородию, господину рижскому полицеймейстеру, подполковнику и кавалеру Ивану Павловичу Вакульскому 2-му,

от попечителей убогого и больничного заведения рижского старообрядческого общества

требуемое покорнейшее объяснение.

Ваше высокоблагородие изволили требовать, чтоб мы объяснились о том, сколько, в случае если наше старообрядческое общество желает иметь школу в нашем убогом заведении, можно определить на покупку книг, жалованье учителю, ежегодное содержание и прислугу особую, приличную для учителя квартиру, и чем можно обеспечить впредь такой доход? Ссылаясь на поданное уже 14 октября его превосходительству г. лифляндскому гражданскому губернатору покорнейшее представление, имеем честь представить вашему высокоблагородию еще следующее: для исполнения выписанного вашего требования созывали мы еще 24 октября и 16 сего ноября членов старообрядческого общества и, сообщив им упомянутое требование, пригласили их объявить свое мнение касательно содержания школы, с обозначением: из каких источников можем мы получать нужные средства на исправление вышеозначенных расходов к содержанию школы и учителя, как поступающие в сие убогое заведение добровольные подаяния имеют назначенную целию единственно содержание убогих и больных и недостаточны даже на сии необходимые потребности; бывшее же доселе в сем заведении обучение членов старообрядческого общества и вероисповедания нескольких бедных старообрядческих детей первоначальным основаниям грамоты происходило из усердия безденежно, не причиняя заведению дальнейших расходов.

На сие бывшие в собраниях члены старообрядческого общества, ссылаясь на изложенные уже в вышеупомянутом нашем представлении от 7 октября обстоятельства, объявили, что если не благоугодно будет высокому начальству дать или исходатайствовать нам в вышнем месте позволение продолжать в своем заведении обучение грамоте старообрядческих детей, избираемых из сего же общества и вероисповедания членом в силу Высочайшего указа от 8 декабря 1828 г., под надзором губернского господина директора училищ, то старообрядческое общество не желает вовсе иметь в нем школу на ином основании, а для обучения детей своих грамоте и наукам будет пользоваться предоставленными каждому сословию и

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
партикулярным лицам способами: посылать детей своих по удобности для каждого
обывателя, в рассуждении жительствова и других обстоятельств, в общественные
училища”.

Подписали: “Вашего высокоблагородия покорнейшие попечители старообрядческого
учебного заведения: Иван Игнатьев Лисицын, Андрей Семенов Пуговишников, Павел
Данилов, Никон П. Волков, Павел Егоров Леонтьев”.

Рига 18 ноября 1832 года.

Вот все, чего добились от раскольников губернатор Егор фон Фелькерзам и рижский
полицеймейстер, подполковник и кавалер Иван Павлович Вакульский 2-й.

Раскольники, очевидно, упорствовали и хотели поставить на своем. Губернатор фон
Фелькерзам и полицеймейстер Вакульский, вероятно, это видели, но не нашли
никаких средств переупрямить раскольников.

Получив это “требуемое покорнейшее объяснение”, губернатор Егор фон
Фелькерзам, по-видимому, нашел положение свое столь затруднительным, что более
ни на чем не настаивал и даже не выразил никакого собственного мнения о том, что
бы следовало в настоящем случае предпринять с непокоряющимися “покорнейшими
попечителями” старообрядческого общества, а представил вышеприведенное их
“требуемое покорнейшее объяснение” барону Палену. В этом представлении от 24
ноября 1832 г. за № 292 губернатор Егор фон Фелькерзам докладывал
генерал-губернатору, что он представляет приведенный казус на его
благоусмотрение и “будет иметь честь ожидать предписаний”.

Тогда, чтобы положить всему этому конец, школу гребенщиковского заведения,
существовавшую на основе правил, утвержденных генерал-губернатором Паулуччи, не
стесняясь этими правилами, закрыли, а новой, устроенной сообразно общим
правилам, раскольники не приняли.

Последствия закрытия раскольничьей школы. – Вредный класс, с которым не
управилась рижская полиция. – Сирот берут в кантонисты. – Обращение в
православие. – Мальчик, который бросился в воду. – Секретные школы.

Закрытие раскольничьей школы в Риге составляет наипечальнейшее событие в истории
русского населения в Риге. Раскольники, разумеется, обманули администрацию,
уничтожившую их школу и предложившую им завести другую с православными
учителями. В “требуемом покорнейшем объяснении” они, хотя и обещали посылать
детей в общие школы, но и в самом обещании этом тогда же, когда оно давалось, не
трудно было увидеть одно лукавство и желание как-нибудь отвязаться от докучного
вмешательства. Раскольники не стали посылать детей своих в общие русские школы.
Шесть или семь, так сказать, раскольничьих аристократов составляли
незначительное исключение, но и эти хотя и не оставили своих детей в невежестве,
однако не послали их в русские училища, а отвели в частные школы к немцам, где
православное духовенство ничем не командуется. Гонимые своими православными
соплеменниками, раскольники предпочитали обращаться к немцам. Дело было
поставлено так, что они более полагались на лютеранский индифферентизм немцев,
чем на веротерпимость русского православия. Отсюда началось онемечение в Риге
нескольких богатых русских раскольничьих домов. Между тем, правила маркиза
Паулуччи, на основании которых существовала раскольничья школа, были упразднены,
и упразднены весьма оригинальным образом: они были вытребованы для дополнения и
не возвращены. Вместо них даны новые правила, устранявшие коллегиальность
общинного правления и сосредоточивавшие все в руках одного попечителя, для
надзора за которым был поставлен еще другой попечитель от правительства,
преимущественно местный жандармский штаб-офицер. Общинное правление и хозяйство
начали колебаться. Бедные дети стали болтаться без всякого присмотра, предаваясь
с самого раннего детства крайнему разврату. Община с ужасом смотрела на
страшную картину и ясно предвидела еще худшую, но все-таки оставалась
непреклонною. Детям открывалась широкая дорога к гибели, с каторгою в
перспективе, но упорные раскольники охотнее выпускали детей на эту дорогу, чем в
православную школу, где законоучитель должен был представлять им веру их отцов
как нелепое заблуждение. Хранящиеся в архиве прибалтийского генерал-губернатора
дела о раскольниках представляют такие ужасы деморализации рижского

раскольнического юношества, что рассказ о них покоробил бы самого небрюзгливого человека.

В 1849 г. деморализация раскольничьей молодежи в Риге достигла крайних пределов. Мы выше сказали, что 30 апреля 1838 года последовало повеление об обращении в кантонисты сирот, бывших на воспитании в упраздненной раскольничьей школе, а 11 июля 1844 г. генерал-губернатор князь Суворов просил бывшего министра внутренних дел Льва Алексеевича Перовского “ходатайствовать о дозволении распространить в Риге, без изъятия на всех бродяжничающих и нищенствующих по городу малолетних раскольников, правило 30 апреля 1838 г.” (то есть отдавать их всех в батальон военных кантонистов). Ходатайство свое об этой мере генерал-губернатор князь Суворов подкрепил тем, что “число бездомных и бесприютных раскольников в Риге, известных здесь под именем карманщиков”, постоянно возрастает и становится большою тягостию для общества. “Городская полиция, – писал князь Суворов, – бессильна, чтобы с успехом следить за вредным классом карманщиков”. Этот “вредный класс”, перед которым являлась бессильною рижская полиция, по расчету, образовался из поколения раскольников, народившегося после уничтожения в 1832 году гребенчиковской школы, в которой, как мы выше видели, по правилам, утвержденным маркизом Паулуччи, было принято воспитывать сирот и пристраивать их к местам. Большая и сильная рижская раскольничья община, никогда не бросавшая своих сирот и детей бедняков, теперь ничего для них не делала, потому что была лишена права содержать для них приют и школу, а генерал-губернатор, находя себя не в силах “подбирать детей”, как подбирало их общество, находил одно спасение: пристроить их в кантонисты.

Ходатайство об этом князя Суворова, шедшее чрез Л. А. Перовского, было уважено: детей, составивших “вредный класс”, с которым не могла совладеть рижская полиция, решено было сдать в кантонисты. По этому поводу рассказывают ужасы! Стон, плач и сетование огласили русские слободы Риги. Московский форштадт, узнав о том, что детей будут обирать в кантонисты, зарыдал поголовно. “Это был плач в Раме”, – говорят раскольничьи старики на своем торжественном языке. “Древлепечатная Рахиль рыдала о детях своих, и поднесь еще не хочет утешиться”. А между тем, вызванные бездомными и ничему не обученными детьми суровые меры шли одна за другою, – одна одной круче, одна другой неожиданнее. Того же 11 июля, когда князь Суворов за № 807 просил Л. А. Перовского исходатайствовать ему разрешение сдавать всех раскольничьих сирот в военные кантонисты, он за № 808 предписал рижскому полициеймейстеру: “немедленно, но с осторожностью, внезапно и совершенно негласно, взять в распоряжение полиции круглых раскольничьих сирот, как мальчиков, так и девочек”. Полициеймейстер тотчас же это исполнил. В списке взятых к этому распоряжению сирот есть дети обоего пола, включительно от двух с половиною до девятнадцати лет. Даже, неизвестно по каким соображениям, “в числе малолетних была взята купеческая дочь Евдокия Лукьянова Волкова 21 года”.

Все эти, как выразился в одной бумаге чиновник князя Суворова, граф Соллогуб, – все “эти облавы” имели ужасное впечатление на раскольников и врезались в их памяти огненными неизгладимыми чертами. Дети бегали и прятались, – их преследовали и ловили. Это опять, как и все здесь излагаемое, не преувеличенные рассказы озлобленных староверов, а факты, записанные черным на белое и сохраняемые во всей неприкосновенности крепкими сводами архивов. Об облавах на русских сирот в Риге при делах прибалтийского генерал-губернаторства есть донесение рижского полициеймейстера, полковника Грина, от ноября 1849 г. за № 2862, из которого видно, что дети, несмотря на позднюю осень, прятались в незапертых холодных балаганах, на конных рынках; но ночные патрули находили их и там, ловили и доставляли прямо оттуда в полицейскую чижовку. Забираемые дети чаще всего были совершенно нищие, а иногда даже и нагие. Так, например, ночью под 5 ноября 1849 были взяты где-то под колодою на площади семь русских мальчиков, “у которых все имущество заключалось в одних мешках, в которых они и прятались”.

Пока в Риге забирала детей ее полиция, граф Л. А. Перовский приводил меру, проектированную лифляндским генерал-губернатором, и 26 ноября 1849 г., за № 5752, уведомил князя Суворова, что его светлость может распространить правило 30 апреля 1838 г. на всех бродяжничающих, – даже и на православных, – о чем князь Суворов Л. А. Перовского и не просил.

После получения генерал-губернатором такого полномочия, забранных детей, “с некоторыми усиленными этапными предосторожностями, препроводили по пересылке, в том же ноябре месяце, в Псков, и там сдали их в батальоны военных кантонистов”.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Мера эта, кажется, грозила быть не единовременною, а постоянно действующею; так можно полагать по тому, что “облавы” не прекращались, и 2 января 1850 г. вновь были взяты какие-то одиннадцать “карманщиков”, но только этих князь Суворов не послал в кантонисты, а велел отослать их к духовному начальству, для присоединения к православию, и епископ Платон поручил совершить это присоединение священнику Благовещенской церкви Светлову. Отчего этих мальчишек постигла иная участь, а не та, которая выпала на долю первой партии? – неизвестно.

Священник Светлов убеждал в истинах православия и необыкновенно скоро и бесповоротно. В первых числах января, как мы сказали, было только сделано распоряжение отослать к нему взятых одиннадцать карманщиков, а 23 того же января преосвященный епископ Платон прислал уже князю Суворову нижеследующий письменный акт их присоединения. Акт этот имеет вид расписки, а содержание его следующее:

“Мы нижеподписавшиеся рижских умерших мещан дети: Иосиф Иванов (четырнадцати лет), Василий Васильев (восьми лет), Назар Семенов (двенадцати лет), Леон Семенов (девяти лет), Татьяна Федорова (десяти лет), Екатерина Филатова (восьми лет) и Федосья (восьми лет) сим изъявляем решительное наше намерение из раскола присоединиться к православию кафолическия восточныя церкви и обещаемся быть в послушании ея всегда неизменно. Января 16 дня 1850 года. К сему показанию, вместо неграмотных вышеозначенных детей, расписался мещанин Михаил Яковлев”. Строкою ниже этого находится следующая приписка: “Кроме означенных в показании сирот, 17 января еще присоединен младенец Иоанн двух с половиною лет. Подписали: квартальный надзиратель Станкевич 2-й, свидетель орловский мещанин Федор Тиханов Дмитриев. Показание отбирали рижские благовещенския церкви: священник Сергей Светлов, дьякон Нил Назаревский и дьячок Иван Кедров”.

К довершению искренности этого “присоединения” или, как говорят раскольники, “примазывания” детей, которые 2 января были взяты, а 16 дня убеждены в своем заблуждении, в делах архива записаны на память потомству весьма странные случаи. Так, например, при присоединении этих самых, изъявивших священнику Светлову решительное намерение присоединиться к православию, детей, случилась история, о которой рижский полицеймейстер, полковник Грин, 20 января 1850 г. за № 35, доносил, что тетка сирот Назара и Леона Семеновых, здешняя рабочая, раскольница Домна Семенова, во время присоединения несколько раз сильным образом врывалась в церковь, произнося ропот с шумом. А сестра сироты Василия Васильева, здешняя рабочая, раскольница Федосья Иванова, у церкви и при выходе из оной ее брата, идучи за ним по улицам, громко плакала.

Потом исполняющий должность рижского полицеймейстера 13 февраля 1850 г. за № 87 доносил князю Суворову, что на данное помощнику квартального надзирателя поручение представить мальчика Андриана Карпова Михеева для присоединения, он рапортовал, представя Михеева и его сестру, Марфу Карпову Михееву, что “последняя, дорогою к церкви, всячески старалась брата своего отклонить от присоединения, выразив притом: “хоть и голову тебе отрежут – не поддайся”. Притом она громким плачем возбудила внимание проходящей публики, и несколько человек сопровождали ее к церкви. По прибытии на место Марфа Карпова Михеева насильно ворвалась в церковь, стала позади своего брата, произнося жалобы, и когда священник хотел приступить к обряду присоединения, Андриан Карпов сего не дозволил, так что святое миропомазание должно было оставить. По учинении такового поступка, Михеев и его сестра отведены под арест. После того Андриан Карпов Михеев объявил, что он обдумал и просил представить его священнику, что тотчас и учинено, и он без всякого помешательства присоединен. Сестра же его содержится при полиции”.

Проходит и еще семь лет. Рига все-таки остается без школ, и правительство и духовенство ничего от этого не выигрывают. Невежество и развращенность раскольничьих детей увеличиваются, воровство и бродяжничество не прекращаются, десятилетние девочки предаются самому циническому разврату, между мальчиками распространяется порок, почти неизвестный в русском народе, является мужская проституция (содомский грех). Присоединений к православию все-таки почти нет. Чиновник особых поручений прибалтийского генерал-губернатора, граф Сологуб, имя которого мы упомянули несколько выше, 24 июля 1860 года за № 5, прислал князю Суворову донесение, ходящее между раскольниками северо-западного края в тысячах списков. Мы укажем здесь только на одно место этого донесения:

“В комнату мою, – писал граф Сологуб, – ворвались крестьянин и крестьянка. С

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

воплем и слезами кинулись они на пол и начали просить защиты против носовского священника. Сбежавшаяся семья моя не могла утешить почти ослепшую, рыдающую мать, вопиющую, что у нее отнимают детей. По сделанной мною справке, дело подтвердилось. Крестьянин деревни Ротчины, Осип Васильев Дектянников, хотя и утверждает, что он родился от родителей, всегда бывших в расколе, но записан по метрическим книгам дерптской Успенской церкви родившимся в 1810 г. и крещенным в православии.

Это послужило поводом, что чрез 47 лет, т. е. в 1857 г., дети его были вытребованы к увещанию, по представлению носовского священника. Детей было трое: Иван 16 лет, Василий 13 и Андрей одного года. Старший, немый и подверженный эпилептическим припадкам, оставлен в покое, но Василий и еще неразумный Андрей были перекрещены. Последний очевидно не мог понять, что с ним сделали, но тринадцатилетний Василий тотчас же кинулся в реку”.

Эти и другие, сему подобные и еще большие, безобразия чиновник граф Сологуб весьма логично и резонно объяснял невежеством раскола, поддерживаемым упразднением школ и отсутствием всякой логической системы в администрации раскола. Граф Сологуб, видевший все это на месте, поднял свой голос не только за полезность дарования раскольникам права возобновить закрытые у них школы, но даже представил необходимость введения обязательного обучения между раскольниками. Вслед за сим мнение графа Сологуба поддерживал другой чиновник прибалтийского генерал-губернатора, Г. Шмидт. Донесение Шмидта, о котором мы будем говорить ниже, неизвестно раскольникам; но все, что писал о них граф Сологуб, они знают; донесение его, как выше сказано, распространено между раскольниками северо-западного края во множестве списков и пользуется обширную популярностью. Мысли и мнения графа Сологуба пришлись по нраву лучшим людям раскола, и с того времени в раскольниках снова начинает бродить мысль просить у правительства разрешения устроить у себя школы; а вслед за тем начинается целый длинный ряд просьб и ходатайств, целию которых было добиться, во что бы то ни стало, права поучить своих детей. С этих пор начинается, так сказать, новая эпоха искания школ старообрядцами, и одновременно с тем, в ожидании просимого разрешения, то там, то сям открываются по местам секретные школы, окутанные от призора очес таинственностью. Переходим ко второй эпохе искания школ.

К ВОПРОСУ О ДОРОГОВИЗНЕ ЗДАНИЙ И КВАРТИР

С.-Петербург, среда, 18-го апреля 1862 г

Во внутреннем обозрении № 277 “Северной пчелы” 1861 г. сказано, между прочим, что саратовскому городскому архитектору Курзакову Г. главноуправляющий путями сообщения предоставил, в виде опыта, право разрешать незначительные поправки и починки в частных домах. К этому прибавлено: “Прежде, бывало, без строительной, она же и дорожная, комиссии и шагу в постройках нельзя было сделать; теперь, конечно, жители чрезвычайно облегчены в этом отношении”.

Многие из читателей “Северной пчелы” не обратили, вероятно, особенного внимания на эту меру Г. главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями; а между тем она очень важна и заслуживает общего внимания и общей признательности, несмотря на то, что относится к одной только местности. Удачный опыт, вероятно, побудит нашу администрацию распространить со временем и в большей или меньшей степени эту меру и на другие местности, а подобное распоряжение может быть встречено не иначе, как с искреннею признательностью – по крайней мере людьми, которые понимают значение подобных мер и влияние их на экономический быт общества.

Известно, что не везде позволено строить что и как кому угодно. В Петербурге, например, равно как и в других городах, не дозволяется не только постройка и перестройка зданий, но и малейшая внешняя починка их без разрешения администрации. Понятно, почему правительство вмешивается в частные постройки. Цель такого вмешательства благодетельна в высшей степени, ибо состоит в том, чтоб здания и жилища по возможности были прочны, безвредны для здоровья обитателей, не безобразны и, в случае пожара или наводнения, представляли возможность спасти жизнь людей и их имущества.

Ясно уже из этого, что подобная цель достойна заботливой о благе общем администрации, а потому и обязывает граждан содействовать ей в разрешении относящихся к этому делу вопросов.

Но все прочное, все положительно-полезное приобретается людьми не даром, а

только путем усилий, трудов, жертв, расходов. Так точно и достижение цели вмешательства правительства в построение частных зданий и жилищ невозможно без большего или меньшего количества регламентативных мер, иногда более или менее стеснительных, но стеснительных, конечно, не по цели администрации, а по совершенно другим причинам.

Но каковы ни были бы эти причины, подобные меры сопряжены обыкновенно с расходами, которые падают на домовладельцев и отзываются на цене квартир. Чем дешевле, при других одинаковых обстоятельствах, обходится постройка зданий, тем дешевле и квартиры, тем дешевле и жизнь вообще. Жалующиеся на нынешнюю дороговизну квартир и обвиняющие в том домовладельцев несведущи ни в политико-экономических законах, ни в причинах настоящей дороговизны квартир. Обвинять большинство наших русских домовладельцев можно и должно, пожалуй, во многом, но никак не в дороговизне домов и квартир. Капитальная цена домам и наемная цена квартирам, в общей сложности, зависит не от воли домовладельцев, а от совершенно других обстоятельств. Вот тому доказательства.

Можно было бы, конечно, перестроить почти все дома и переделать почти все квартиры и в каком-либо городе так, чтобы почти вовсе не было на них требователей. Например, если в городе с бедным народонаселением превратить почти все квартиры в большие, роскошные и дорогие жилища, то, конечно, почти никто не наймет их, и они будут почти все стоять без жильцов, а многие домовладельцы не будут получать и малейшего дохода. Если же в городе с преимущественно богатым и привыкшим к роскоши народонаселением превратить почти все квартиры в такие, какие нанимаются только людьми крайне бедными, то, конечно, большинство богатых людей будет этим крайне недовольно, и цена оставшимся в городе удобным для них квартирам подымется не в меру, а на мелкие и бедные квартиры окажется менее требователей, нежели прежде, потому что таких квартир будет более прежнего. Количество, как больших и роскошных, так и небольших и нероскошных квартир в городе, должно соответствовать количеству, средствам, привычкам и требованиям его обитателей. В большей части русских городов потому уже невозможна постройка особенно роскошных жилищ, что никто или почти никто не нанимает их. Вот почему, если бы администрация наша потребовала, например, чтоб все дома строились в России из каррарского мрамора, и притом с наивозможной роскошью, то приостановились бы у нас все по стройки частных домов; с увеличением городского народонаселения оказался бы недостаток в количестве квартир, поднялась бы страшно цена на них, и тогда только домовладельцы решились бы на постройку домов из каррарского мрамора и с возможной роскошью, когда наемная цена квартирам поднялась до того, чтобы покрывать расходы на постройку таких почти вовсе невозможных в России домов. Цена квартирам никоим образом не может зависеть от прихоти домовладельцев, что доказывается тем, между прочим, что никто или почти никто не даст двухсот или полтораста рублей за квартиру в каком-либо доме, если такую же квартиру можно нанять в другом доме хоть бы только 10-ю рублями в год дешевле. Предполагать же стачку домовладельцев в больших городах значит предполагать дело невозможное. Разумеется, предпочитают чистые квартиры и в чистых домах – грязным квартирам и в грязных домах, и за первого рода квартиры требуется и платится дороже, нежели за грязные; но такое требование домовладельцев законно и основательно уже потому, что содержание домов и квартир в чистоте и опрятности невозможно без расходов.

Есть города в России, в которых почти все дома деревянные, и это несмотря на то, что постройка каменных домов более покровительствуется, прямо и косвенно, нашею администрациею, нежели постройка домов деревянных. Причина такого покровительства, конечно, понятна. Почему же не все строят каменные дома? А потому, во-первых, что постройка таких домов в большей части местностей требует более капиталов, нежели постройка домов деревянных, а Россия небогата, относительно, капиталами. Во-вторых, в каменных домах, при других одинаковых обстоятельствах и условиях, квартиры дороже, нежели в домах деревянных, уже вследствие одной дороговизны постройки каменных домов, а требователей на дешевые квартиры несравненно более, нежели на квартиры дорогие. Вот почему противодействие какими-либо мерами постройке деревянных строений ведет у нас очень часто не только к тому, что уменьшается количество деревянных построек без увеличения количества каменных строений, но и к тому, что подымаются цены на квартиры.

В некоторых частях Петербурга (например, в дальних линиях Васильевского острова, на Петербургской и Выборгской сторонах), равно как и других городов, постройка деревянных домов несравненно выгоднее и для домовладельцев, и для жильцов,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
нежели постройка домов каменных. В каменных домах квартиры по необходимости слишком дорогие для беднейшего городского народонаселения.

Все это очень хорошо сознает, конечно, нынешнее начальство главного управления путями сообщения и публичными зданиями, ибо в последнее время принято эту часть нашей государственной администрации несколько мер, имеющих целью облегчить для частных лиц условия построек новых домов и исправления старых. Прежде, например, редко допускалась починка домов, построенных не по новым правилам; теперь же подобная починка допускается в большей части случаев, а это важная статья не только для домовладельцев, но и для большинства городского народонаселения, ибо подобное дозволение противодействует возвышению цен на квартиры. Вообще всякое облегчение в деле построек частных зданий ведет к такому же благодетельному результату; по этой-то причине нельзя не порадоваться, между прочим, и тому, что главноуправляющий путями сообщения предоставил г. Курзакову право разрешать починки и поправки в частных домах. Желательно, конечно, чтоб г. Курзаков оправдал такое доверие к нему начальства, между прочим потому, что желательно было бы распространение этой меры и на другие местности. С развитием этой меры связано не только устранение важных затруднений для домовладельцев, но и значительное облегчение для самой администрации.

К этому позволим прибавить еще следующее. В разных частях, как Петербурга, так и других городов, есть здания, преимущественно деревянные, которые построены довольно прочно, но, по старому обычаю, без фундамента, низко, а потому и сыры и скоро приходят в ветхость. Чтобы исправить и поддержать такого рода здания без особенно больших расходов для домовладельцев, иногда ничего не имеющих, кроме крошечных домишек, необходимо только подвести фундамент под эти здания и поднять их; но это не всегда, сколько нам известно, разрешается местными начальствами по строительной части. Есть и некоторые другие неудобства и затруднения для домовладельцев, желающих поддерживать свои дома и производить в них починки. Устранение подобных затруднений было бы делом в высшей степени желательным и благодетельным, и нельзя сомневаться в том, что оно вполне соответствует благим видам и целям нынешнего начальства главного управления путями сообщения и публичными зданиями.

Разъяснение и устранение подобных затруднений возможны различными путями и способами. Один из этих способов доступен, по существующим законам, всем и каждому. Он состоит в том, что частное лицо подает прошение, которым просит о чем-либо ту или другую инстанцию той или другой части администрации. Но некоторые из таких просьб не удовлетворяются только потому, что не доходят до высшей административной инстанции, обыкновенно всегда более внимательной, нежели низшие, к нуждам и просьбам народонаселения. Вот почему желательно было бы, между прочим, учреждение в наших городах (при думах, ратушах или городских частях) временных и периодических комиссий или комитетов, или просто сходок домовладельцев и как коронных, так и частных архитекторов, для обсуждения некоторых вопросов по части построек и починок частных домов и для представления начальству главного управления путями сообщения и публичными зданиями донесений или рапортов о выражаемых в этих комиссиях или комитетах мнениях и желаниях как домовладельцев, так и архитекторов. Подобное учреждение представило бы собою одно из самых отраднейших явлений в нашей жизни общественной и увеличило бы собою количество тех благодетельных мер, которыми общество наше уже обязано нынешнему начальству главного управления путями сообщения и публичными зданиями.

К ВОПРОСУ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПОЛИЦИИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ

С.-Петербург, суббота, 3-го февраля 1862 г

В некоторых из наших периодических изданий (например в № 283-м "С.-Петербургских ведомостей" за прошлый 1861 г.) было напечатано объявление г. с. – петербургского военного генерал-губернатора о доставлении в адресный стол возможно полных, законом предписанных, сведений о имени, отчестве, фамилии, звании и как о новом, так и о прежнем месте жительства лиц, прибывающих в столицу, выбывающих из нее, а также переезжающих из одного дома в другой.

Всем известно, что при втором департаменте с. – петербургской управы благочиния учрежден адресный стол, с той целью (как сказано в объявлении г. с. – петербургского военного генерал-губернатора), чтобы в нем всякий мог получить, в данное время, верный адрес каждого из жителей столицы. Для достижения этой цели установлены правила, обязывающие домовладельцев или их управляющих и смотрителей казенных зданий доставлять в конторы местных надзирателей особые (адресные) листки о лицах, прибывающих в дома на жительство или выбывающих из них.

Надзиратели, по получении этих листков, передают их в адресный стол, где размещенные в алфавитном порядке, по фамилиям и сословиям, листки эти и служат для справок.

Легко видеть, говорится далее в вышеозначенном объявлении, что неверности в сведениях, заключающиеся в адресных листках, хотя и проходят, таким образом, через руки полиции, но ею не исправляются, да и не могут быть исправляемы, так как полиция сама получает сведения о обывателях от домохозяев. Таким образом, неверности в листках остаются в адресном столе на неопределенное время и вводят справляющихся в заблуждение, иногда и весьма вредное, вовсе не по вине полиции, а исключительно по неточности, с которою собираются и передаются полиции домовыми управлениями нужные сведения о обывателях.

Неточность эта замечена главным образом в следующем: 1) листки доставляются в конторы надзирателей несвоевременно; 2) в случае перемены звания, сословия, чина обывателей, выбытия или смерти кого-либо из них, как об этих переменах, так и об остающихся семействах, не доставляется особых листков, между тем как это именно требуется установленными правилами; 3) имена, отчества, фамилии, звания или сословия показываются неполно и неверно; простолюдины, весьма часто, в листках первоначально значатся с фамилиями, а впоследствии только с отчествами, и наоборот; нередко не имеется отчеств таких лиц, которые носят обыкновенные именные фамилии; от этого при одинаковых именах и сословиях, даже при верном их обозначении, невозможно отличить однофамильцев; 4) наконец, многие лица, обязанные иметь отдельные виды на жительство, показываются на одних листках с своими родителями и родственниками.

По изъяснении, что открытие подобных упущений со стороны заведывающих домами влечет за собою взыскание с виновных определенного законом штрафа, объявление г. военного генерал-губернатора заключается следующим обращением к жителям столицы:

“С.-петербургский военный генерал-губернатор, имея в виду все изложенное, считает долгом обратить внимание столичных жителей на то, что адресный стол им же приносит главную пользу, так как во всякое время для своих надобностей за ничтожную плату обыватели могут получить в этом учреждении нужные справки, и что верность этих справок зависит безусловно от них же самих, не требуя никаких усилий. Очевидно, что посылка от времени до времени, по мере надобности, листков с краткими сведениями никого не может обременить, равно как едва ли стеснит кого-либо и плата за эти листки по одной копейке за штуку.

Почему военный генерал-губернатор, в видах общей пользы, просит всех, до кого может касаться содержание настоящей статьи, принять меры к приведению адресного стола в должную исправность передачу полиции верных и своевременных сведений о всех обывателях столицы и тем доставить средства достигнуть по возможности цели, предположенной при учреждении этого полезного, по существу, места”.

Без сомнения, уже многие из жителей Петербурга обратили должное внимание на это объявление главного начальника нашего города. Уже один истинно благородный тон этого объявления обязывает каждого здравомыслящего человека ответить на него не только желанием, чтоб цель его была вполне достигнута, но и полным, по возможности, содействием своим к достижению этой цели. Вот почему мы и взялись за перо с намерением разъяснить вопрос, который поднимает это объявление. Мы уверены, что печатное разъяснение и обсуждение этого вопроса лучше и скорее всего разрешит его, а потому и вполне соответствует цели объявления г. с. – петербургского военного генерал-губернатора. Этот вопрос не так несложен и прост, как, вероятно, кажется многим, а поэтому и необходимо не кое-какое одностороннее, а многостороннее обсуждение его; многостороннее же и притом вполне соответствующее цели обсуждение возможно только тогда, когда не одно и не несколько, а более или менее значительное число лиц принимают участие в этом деле. Лучшее поприще и средство для такого участия представляют органы гласности, то есть журналы и газеты. Журналистика наша оказала уже не одну услугу нашему обществу в разрешении общественных вопросов; без сомнения, окажет она услугу и окажется состоятельной и полезной для общего дела и в разрешении настоящего вопроса. Вышеозначенное объявление г. с. – петербургского военного генерал-губернатора знаменательно. Оно доказывает, что цель учреждения адресного стола покуда не вполне достигнута и что это учреждение, в настоящем состоянии своем, не соответствует вполне ни видам правительства, ни общественной цели или пользе. Между тем, как всем домохозяевам и управляющим домами известно, адресные листки и столкновения по поводу их полицейского управления с обывателями и

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
наоборот составляют не слишком-то легкую и приятную обязанность как для полиции, так и для обывателей, в особенности же для тех лиц, которые заведуют домами. Бесспорно, цель адресных листков полезна; но соответствуют ли они цели? вот вопрос.

На этот вопрос отвечает некоторым образом и объявление г. военного генерал-губернатора. Цель этих листков общепользна – это несомненно; но она, покуда по крайней мере, не вполне достигается. Что же служит тому причиной?

Для ответа на этот вопрос припомним обязанности как лиц, заведывающих домами, так и местной полиции по отношению к адресным листкам.

При своем въезде или прибытии в дом обыватель обязан представить адресной листок о себе домовладельцу или заведывающему домом, а владелец или заведывающий домом обязан представить этот листок местному полицейскому управлению. На первый взгляд кажется, что такая обязанность нисколько не затруднительна, и действительно она была бы очень легка, если б все делалось так, как того желает в этом отношении администрация. К сожалению, на деле бывает не так, по крайней мере далеко не всегда так. Это уже потому, что, при своем прибытии в дом, новый обыватель его не может тотчас же представить заведывающему домом своего адресного листка, ибо адресной листок находится в это время или еще у владельца или заведывающего домом, в котором до того времени жил обыватель, или же этот листок находится еще в конторе местного надзирателя. Поэтому обыватель через день, два или три по своем прибытии в дом должен отправляться из нового местожительства своего в прежнее за адресным листком. Иногда (впрочем, довольно часто) приходится ему делать такое путешествие не один раз, даже не два, и все только за адресным листком. То этот листок еще не возвращен или не получен из квартала, то он неверно написан, а потому должен быть переделан, то одним днем просрочен, потому, например, что случились праздничные дни, то дворник загулял и т. п. Понятно, что такие путешествия, хотя бы и по городу только, не обходятся без траты времени, имеющего почти для всех свою цену; не обходятся иногда и без траты денег, то есть траты, какой не имеет в виду и вовсе не предписывает в этом случае администрация. Таким образом, оказывается, что и самое незначительное, по-видимому, требование полицейской власти представляет затруднения, которых она, конечно, не желает для обывателей.

Кроме того, правилами, напечатанными на каждом адресном листке, предписывается, между прочим, каждому лицу, прибывшему в Петербург или выбывающему из него или переходящему в нем из одного дома или здания в другое, представить такой листок о себе владельцу или заведывающему тем домом, из которого переходит. При этом требуется, чтоб листок был написан правильно, четко и чисто.

Это правило никогда или почти никогда не соблюдалось так, как оно предписывается, ибо адресные листки пишутся не самими обывателями, а домохозяевами или заведывающими их домами, или же в полиции. Иначе у нас и быть не может, потому что, во-первых, почти все наше так называемое простонародье не знает грамоте, а во-вторых, и грамотные, не зная всех тонкостей полицейских требований, не сумели бы вообще писать такие листки так, чтоб удовлетворять полицию.

Неисполнение этих правил влечет за собою штрафы для домовладельцев и жильцов, и, вероятно, немного найдется в Петербурге жителей, в особенности из простонародья, которые не заплатились уже за свое незнание, каким образом удовлетворять вполне требованиям полицейского начальства об адресных листках. Немало внесено уже по той причине денег в управу благочиния или в конторы надзирателей и самими домовладельцами. Нечего было бы особенно жалеть о подобных расходах, если б они вели к чему-нибудь хорошему; но ни к чему хорошему не ведут они, ибо, судя по вышеупомянутому объявлению г. военного генерал-губернатора, цель учреждения адресного стола покуда еще не вполне достигается. Вообще можно смело сказать, что адресные листки и паспорта составляют у нас довольно тяжелую и обременительную как в нравственном, так и в денежном отношении часть домоуправления. Большая часть из тех домовладельцев, которые не сами управляют своими домами, нанимают управляющих единственно с целью избавиться от заведывания паспортами и адресными листками. Пожалуй, и тут иной скажет, что нет худа без добра, что таким образом некоторые бедные люди, берущие на себя заведывание домами, находят себе лишней, а иногда крайне необходимый кусок хлеба. Конечно, это так; но и при этом не следует терять из виду и другой стороны медали, а именно того, что каждый расход домовладельцев входит в

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
приходо-расходную смету домов и что, чем более расходов, тем дороже квартиры, отчего теряют, и притом немало, все, хотя, может быть, получают кое-что немногие.

Не менее затруднений, а также и неприятных, притом совершенно лишних столкновений с обывателями, представляют адресные листки и для самой полиции, то есть для квартальных надзирателей и их ближайших помощников. Правда, эти листки, вместе с паспортами, составляют одну из статей доходов, притом законных доходов, для управления кварталами; но вряд ли доходы этого рода, в особенности, когда к ним не примешиваются доходы, не определенные законами, всегда достаточны для точного и строго законного исполнения обязанностей, возложенных на управления кварталами по части паспортов и адресных листков. Всем известно, что для ведения этой части квартальные надзиратели нанимают особых писцов, иногда нескольких, ибо сами квартальные надзиратели и их официальные помощники не имеют, за множественством других дел и занятий, никакой физической возможности исполнять лично эту обязанность и потому ограничиваются преимущественно одним только наблюдением за действиями нанятых ими для этой цели лиц. Писцы, довольствуясь крайне ограниченным жалованьем от надзирателей, иногда даже вовсе не получая его, не могут, конечно, при таком условии радеть о своем деле и вести его так, как того требуют законы, полицейские постановления и вообще виды правительств. Если для законов и правительства обыватель есть член государства, а потому и имеет право пользоваться, в случае надобности, защитой законных властей, то для вышеупомянутых писцов или большинства их каждый обыватель есть, конечно, только источник дохода. Понятно, что таким образом далеко не всегда правильно и законно ведутся паспортные книги и исполняются обязанности по адресным листкам и в самих управлениях кварталами. Понятно также, что если эта часть квартального управления сопряжена для обывателей с большими, очень часто по крайней мере, расходами и неприятностями, то и для начальников кварталов, в особенности для тех из них, которые добросовестно смотрят на свое назначение, эта часть обязанностей также сопряжена и с неприятностями, и с тратой времени, и с расходами, ни к чему путному не ведущими.

Надеемся, что, читая эти строки, никто не припишет нам желания и намерения дурно отзываться о полиции вообще. Уже прошло или по меньшей мере проходит и у нас то время, когда дурной отзыв, в особенности печатный, о чем-нибудь или о ком-нибудь составлял своего рода заслугу и считался полным отзывом, как бы неоснователен и односторонен ни был он. Подобные отзывы принесли, как известно, немного пользы, и немного они могут принести ее в особенности при изъяснении столь важных для большинства народонаселения учреждений, мер и правил, каковы полицейские. Ни с какими учреждениями и властями так часто не сталкивается, по необходимости, гражданин государства, как с полицейскими. Полиция есть ближайший к местным обывателям страны представитель государственной власти, и легко понять не только необходимость и важность полицейских учреждений, соответствующих общественной пользе, но и настоятельность для государства благоустроенного, чтобы полиция соответствовала во всех отношениях своему назначению.

Тот, кто знает, что было и творилось у нас прежде и что есть и творится у нас теперь по части полицейских мер, приемов и лиц, тот, конечно, согласится с нами, что в последние годы улучшается у нас помаленьку и местная полиция. По крайней мере, это можно смело сказать о петербургской полиции. Тем не менее, и теперь, конечно, она не представляет еще собою своего рода идеала совершенства, ибо и правительство находит необходимым ее преобразование, в чем удостоверяет нас, между прочим, наша новая официальная газета "Северная почта" объявлением своим, что в числе проектов, находящихся на рассмотрении государственного совета, есть и проект о полном преобразовании всей городской и земской полиции.

Не знаем, допускает ли этот проект или нет существующие теперь правила о записывании в квартале паспортов и об адресных листках. Но смеем положительно утверждать, что, при существующих об этом правилах, цель высшего полицейского начальства не может быть и никогда не будет вполне достигнута, как не достигают ее и теперь, что видно, между прочим, из вышеозначенного объявления г. с. – петербургского военного генерал-губернатора.

Не зная видов правительства о необходимых в нашей полиции вообще реформах, мы не имеем и повода представить здесь на благоусмотрение высшего начальства с. – петербургской полиции свои предположения о том, как, при будущем устройстве нашей полиции, достигнуть цели ведения паспортов и адресных листков, а потому позволим себе здесь сказать несколько слов лишь о том, как цель эта могла бы

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
быть лучше нынешнего достигнута при настоящем устройстве с. – петербургской полиции.

Мы думаем, что для этого прежде всего необходимо увеличить вполне законные денежные средства полиции на необходимые расходы по квартальным управлениям. Чтобы местная полиция вполне достигала своего назначения, соответствующего цели поистине благоустроенного государства, она должна быть поставлена на такую ногу во всех отношениях, чтобы и люди, наиболее образованные и способные к общественной службе, могли и желали служить по полиции. Мы очень хорошо знаем, что увеличение законных денежных или вообще материальных средств полиции не может обойтись без новых расходов для общественной казны и даже, может быть, без новых налогов, если казна не имеет таких средств; но и новый, незначительный, конечно, налог на обывателей не будет столь обременительным для них, как некоторые из существующих полицейских правил по части паспортов и адресных листков. При обсуждении этого вопроса необходимо иметь в виду весьма важное обстоятельство, а именно то, что местная полиция вообще стоит (как деньгами, так и тратой времени и пр. и пр.) русскому обществу, городским и сельским обывателям России несравненно более того, что местные и государственные власти собирают с них на полицию. Ясно, что увеличить несколько некоторые из существующих налогов, с целью уменьшить незаконные доходы одних лиц и не определенные законами расходы других, и при этом достигнуть такой цели, не значит обременить, а напротив, значит облегчить подданных государства таким увеличением налогов, если только эта цель недостижима иным путем. Не налоги в большей части случаев бывают бременем для народов, а способы их взимания и употребления. Часто и самые незначительные сборы в пользу той или другой казны бывают более обременительными для подданных государства, нежели и самые высокие налоги, рационально взимаемые и рационально употребляемые. В особенности обременительны для подданных и враждебны вообще государственному благоустройству те поборы, которые не определены законами и в большей или меньшей степени преследуются ими. Мы смело утверждаем, что увеличение рациональными налогами средств наших городских казен или нашей государственной казны, с положительной целью преобразования к лучшему нашей полиции, будет большим благодеянием для России, если, разумеется, цель эта будет таким образом достигнута.

Средства квартальных управлений должны быть, по нашим понятиям, увеличены на столько, чтобы эти управления решительно не нуждались в средствах, не определенных законами, чтобы квартальные надзиратели могли нанимать или иметь вообще способных официальных или неофициальных помощников, секретарей и писцов, за честность которых они имели бы основание ручаться, а это возможно, между прочим, только при надлежащем вознаграждении за службу таких лиц.

Во-вторых, для полного достижения цели объявления г. с. – петербургского военного генерал-губернатора необходимо уничтожение существующих обязанностей городских обывателей по составлению адресных листков, а также необходимо улучшение нашей паспортной системы.

Адресные листки не достигают, вполне по крайней мере, цели учреждения адресного стола; стало быть, необходимо придумать такую меру, которая вполне достигала бы этой цели. Учреждение адресного стола имеет цель общепользную, а как притом сама государственная администрация наша стремится к достижению этой цели, для чего и учредила она адресный стол, то цель эта есть государственная в полном смысле слова. Общественные же и государственные цели должны и могут быть вполне достигнуты. Для этого требуется только одно условие, а именно, чтобы средства соответствовали цели. Мы утверждаем, что одно уничтожение адресных листков, то есть избавление обывателей от очень легкой, по видам и целям нашей администрации, но на деле, очень часто по крайней мере, довольно тяжелой и дорого стоящей обязанности, одно уничтожение, говорим мы, адресных листков более соответствует каждой истинно государственной, а потому и общепользной цели, нежели сохранение их и существующих о них правил.

Может быть, сохранение нынешних адресных листков или листков вроде адресных и необходимо для адресного стола; но в таком случае желательно было бы, чтобы они составлялись по паспортам и видам вообще обывателей в самих квартальных управлениях, а не обывателями и не теми, кто заведывает домами, для чего между прочим мы и предлагаем увеличение денежных средств квартальных управлений. Одно уже то обстоятельство, что и штрафы, определенные законом за неисполнение существующих правил об этих листках, штрафы вовсе нелегкие и не ничтожные по своей величине для большинства городских обывателей, не помогают вполне делу,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

одно уже это обстоятельство свидетельствует о недействительности существующих правил для полного достижения цели учреждения адресного стола. Увеличение штрафов не поможет делу, а только обременит обывателей и увеличит не определенные законом доходцы квартальных писцов и некоторых им подобных лиц.

Составление же таких листков (если только они безусловно необходимы для достижения цели учреждения адресного стола) в квартальных управлениях было бы рационально и соответствовало бы настоящему назначению большинства лиц, занимающихся письменною частью в этих управлениях. Это значительно облегчило бы обывателей и могло бы доставить городской казне на увеличение необходимых и законных средств полиции 50, даже 100 и более тысяч рублей сер. в год, притом без обременения обывателей, ибо теперь адресные листки стоят обывателям не менее 500000 р. сер. в год штрафами, тратой времени, противозаконными приношениями и т. п.

Для увеличения же законных доходов петербургских квартальных управлений на 50 и более, в случае надобности, тысяч рублей серебром в год, стоит только увеличить ту плату, которая и теперь взимается, по закону, при прописке паспортов в кварталах. Конечно, есть и другие способы для получения таких доходов, но мы считаем лишним распространяться здесь о них.

Мера, предлагаемая нами, окажется, в случае надлежащего исполнения ее в квартальных управлениях, тем действительнее для полного достижения цели учреждения адресного стола, чем лучше окажется наша будущая паспортная система, для составления которой состоит, или, по крайней мере, в прошлом году еще состояла особая комиссия при министерстве внутренних дел.

КАК СЛАГАЕТСЯ РЕПУТАЦИЯ ЛИТЕРАТОРА В ОБЩЕСТВЕ И В ЛИТЕРАТУРНЫХ КРУЖКАХ. – ДЕСПОТИЗМ ЛИБЕРАЛОВ. – ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПОДПОЛЬНОЙ ПРЕССЫ. – ВЗГЛЯД ОБЩЕСТВА НА ЭТИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. – ЧТО НАМ НУЖНО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
С.-Петербург, воскресенье, 20-го мая 1862 г

“Если ты не с нами, так ты подлец!” По мнению автора статьи “Учиться или не учиться”, это лозунг нынешних русских либералов. Мы совершенно согласны с автором, что приведенная фраза есть действительно лозунг наших либералов. “Если ты не с нами, так ты подлец!” держась такого принципа, наши либералы предписывают русскому обществу разом отречься от всего, во что оно верило и что срослось с его природой. Отвергайте авторитеты, не стремитесь к никаким идеалам, не имейте никакой религии (кроме тетрадок Фейербаха и Бюхнера), не стесняйтесь никакими нравственными обязательствами, смейтесь над браком, над симпатиями, над духовной чистотой, а не то вы “подлец”! Если вы обидитесь, что вас назовут подлецом, ну, так вдобавок вы еще “тупоумный глупец и дрянной пошляк”.

При таких-то воззрениях в наше время слагаются репутации многих или почти всех общественных деятелей. Мы не хотим касаться репутации лиц, действующих в сфере правительственной, а скажем только кое-что о репутации нынешних литераторов в обществе и в своем литературном кружке.

Общество и кружок смотрят на литератора разными глазами. Общество уверено, что литературный круг есть круг самый свободолюбивый, самый либеральный. Одни очень почитают литераторов и охотно раскупают их фотографические карточки, а другие считают их опаснейшими людьми и не только не покупают их карточек, но не могут равнодушно слышать никакого намека о литературе. Всякий литератор, по понятиям сих последних, якобинец и санкюлот, а русский литератор сверх того еще непременно пьяница и невежда. Людей, хранящих такое мнение о русских литераторах, конечно, не стоило бы и вспоминать, но мы вспомнили их для того, чтобы показать, что почитатели литературы точно так же, как ее враги и ненавистники всей пишущей братии, совершенно сходятся в том, что все литераторы – либералы. Несмотря на различные точки зрения тех и других, понятия их о либерализме совершенно тождественны. В нашем суетном и неразвитом обществе самые святые слова получают нередко совершенно превратные значения, и это особенно ярко заметно в понятии об эмансипации, о либерализме и о либералах. У людей, смотрящих на жизнь трезвыми глазами, либерален тот, кто готов, не щадя собственных интересов, до последнего истощения сил стоять за законную независимость каждого гражданина и за свободу каждого действия, не нарушающего блага и спокойствия общества. У людей невежественных или дурно воспитанных и не понимающих ни причин человеческих стремлений, ни явлений, вызываемых анархией и деспотизмом, в какой бы форме они ни проявлялись, либерал есть враг существующего порядка. Тревожные и дурно воспитанные люди не понимают, что можно

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
быть *con amore*[7] врагом всякого существующего порядка и не быть либералом, то есть не чувствовать в себе способности, не щадя своих интересов, стоять до последнего источника сил за законную независимость каждого гражданина и за свободу каждого действия, не нарушающего блага и спокойствия общественного. Они, кажется, даже не понимают, что неаполитанские разбойники хотя и враги существующего порядка, но их нельзя назвать либералами, а король Виктор-Эммануил, лорд Шевтесбюри и наш покойный Мордвинов – либералы во всем значении этого слова. Но нередко общество в деле определения личных качеств писателя бывает гораздо дальновиднее литературного кружка. Честность или благородство тех, кого оно знает, у него определяются совсем иначе. Например, допустим, что общество знает двух литераторов: один князь, человек не без дарований, но и не без средств, живет то в аристократической квартире, на Английской что ли набережной, то в казенном доме, хоть у Михайловского театра. Князь – человек вполне деликатный и добрый, человек, готовый помочь всем и каждому, не разбирая ни политических, ни иных убеждений того, кто нуждается в его помощи. В числе литературных рабочих очень много людей, обязанных князю деликатною поддержкою в самые крутые минуты, и ни в одном литературном воспоминании нет материалов для очернения личности этого князя. Что же? Общество скажет, что князь NN прекрасный человек, и общество будет право! Другой литератор, человек с большими дарованиями, в каждой странице своей прозы, в каждой строфе своих стихов плачет хамелеоном над бедностью и пролетариатом и держит лакея, который с холопским высокомерием встречает бедного литератора и не допускает его видеть светлых очей проповедника абсолютного равенства и гуманнейших начал. А гуманист, задыхающийся от забот, чтобы у всех было всего поровну, и ухом не ведет, что литературному рабочему нужно было видеть его, а не его соболью шубу. Тут начинается ходьба, и бедняга труженик узнает, что от слова до дела очень далеко, а общество, поглядев на эту процедуру, говорит: ваш либерал не добрый и не благородный человек! В литературном же кружке этого не скажут, потому что не смеют сказать правды тому, у кого чувствуют силу, для этого нужны независимость и свобода мнения, а их нет у наших литераторов и либералов, не умеющих уважать в человеке человека, а не его фразы и не его плебейское происхождение, которым теперь гораздо удобнее гордиться, чем графскою или княжескою кровью. Общество труднее обманывается подобными вещами и судит людей по делам их, зная хорошо, что иное унижение бывает паче гордости. Но мы уже сказали, что наше общество до сих пор мало знакомо с направлением и с жизнью русских литераторов и считает их всех зауряд почти одинаковыми либералами. Исключение составляет г. Аскоченский, как присяжный защитник тьмы и застоя.

В литературном кружке, где почти все более или менее знают один другого, далеко не все пользуются репутациею людей либеральных. Одним здесь говорят или дают чувствовать, что “если вы не с нами, так вы..”; другим “и вы не с нами, так вы тупоумные глупцы и дрянные пошляки”; либералами же называются только те, которые сами называют людей, поступающих по своим убеждениям, тупоумными глупцами и дрянными пошляками. Тупоумными глупцами и дрянными пошляками они называют честных людей, которые не верят в пользу форсированных движений и признают незаконным навязывать обществу обязательства делать то, чего оно не хочет делать, потому что, вероятно, еще неспособное кое-чего делать.

Подлецами чествуются те, кто не отвергает человеческого права в лицах, не благоприятствующих видам либералов, кто чтит право всякого свободного убеждения и не оправдывает гнусных мер для достижения великих целей уравнивания всех во всех отношениях, не исключая и имущественного. Тех же, которые позволяют себе хоть слегка опровергать в печати эти мнения, при случае называют и доносчиками. Вот как слагается в наши дни репутация литераторов и даже целых редакций в русском литературном мире!

Что же значат слова подлец, глупец и пошляк на языке этого почтенного кружка? Есть ли между нашими литераторами люди, торгующие своими убеждениями или избалованные в преступлениях, отвергающих человека от честного сообщества? Кто же они, эти люди? Зачем же терпеть их?.. Пересматривая внимательно составы всех известных нам редакций, припоминая все вероподобные и вовсе невероятные толки о постоянных литературных рабочих, мы не можем встретить ни в одном неофициальном журнале или газете ни одного человека, который откуда-нибудь получал бы что-нибудь за направление, в котором он проводит свое учение. Обстоятельства позволяют нам говорить откровенно. Одна меньшая часть меньшинства действует по своим личным убеждениям, имея целью свободу права личного и неприкосновенность интересов общих; другая часть меньшинства (несколько большая) сознательно стремится к подчинению свободы личной деспотизму утопической теории о полнейшем

равенстве дурака с гением, развратного лентяя с честным тружеником. Прелесть этого идеального блаженства при существовании такой милой теории и совершенное отсутствие познаний, которые не допускают человека стоять за химеру (если у него нет задних мыслей), увлекают все молодое, все пылкое, все враждебное рутине и жаждущее реформы, с которой пойдет новая жизнь, откроется новое широкое поле. Это большинство. У них нет задних мыслей и нет сторонних, нечистых побуждений. Нечистых побуждений, вроде тех, которыми были движимы французские литераторы известного направления, мы у себя, слава Богу, пока еще не знаем и не смеем подозревать способности к нему ни за одним из представителей нашей современной литературы. Сокровенные надежды (если они есть) могут быть только или у той крошечной части литературы, которая стоит за право личной свободы, или у людей, руководящих увлечением большинства. Такие надежды в головах литераторов, стоящих за право личной свободы и уважения к законам, религии и нравам – невозможны. Люди этого направления очень хорошо знают, что история всегда повторяется, ибо человечество больше или меньше везде одно и то же, а везде, где оно переживало тот фазис развития, в который вступила Россия с освобождением крепостных людей, ему в такую пору не по силам было внимать искреннему призыву к любви, терпимости, просвещению и порядку. Везде в такие эпохи у общества развивались другие симпатии, которым более приятен лживый язык проповедников крайних, а не прямое слово людей, знающих настоящий тон бубен, славных только за горами.

Людям, которыми недовольны крайние либералы, нечего ждать и из других сфер, ибо и в этих сферах ими недовольны, и недовольны очень искренно. За ними только одно сочувствие горсти истинных друзей свободы и сознание собственной правоты перед святой идеей свободы, отвергающей и деспотизм одного лица, и деспотизм масс. У людей этого направления не может быть никаких своекорыстных расчетов, им не на кого и не на что надеяться в нынешнем обществе, и они могут полагаться только на то, на что полагался наш благодущный Государь, подписывая увековечивший его имя манифест 19-го февраля, то есть на здравый смысл нашего народа. Между тем представители сказанного направления в литературном кружке слышат за людей либеральных, “тупоумных глупцов и дрянных пошляков”!..

Литературная полемика так давно испытывает терпение русских читателей, что уж пора наконец не обвиняясь то сказать, что давно хочется сказать и от чего мы, в свою очередь, “долго удерживались”.

Мы уже слышали, что во всей русской литературе, держащейся двух главных направлений, из которых во главе самого распространенного стоит “Современник”, а второе вначале имело своим представителем “Русский вестник”, мы не знаем ни одного органа, даже ни одного сотрудника, который торгует своими убеждениями, а потому часто слышатся слова: “он честный литератор” или “он...” не имеют никакого основания. Может быть, одни действуют искреннее других, что весьма натурально находится в прямой зависимости от основательности взятых принципов; но людей, пишущих по каким-нибудь корыстным расчетам, низводящим писателя на ступень публичного лжеца и подкупленного клеветника, мы не знаем в современной русской литературе, а если есть у нас такие люди, то их следует обличить. Но марать всех людей несогласного с большинством направления за то только, что они не симпатизируют смешным штучкам и не увлекаются утопиями, – нечестно, и такая постановка в глазах всякого здравомыслящего человека ставит порицаемого выше порицателей. Живя преимущественно в своем довольно тесно очерченном кружке, наши журналисты упускают из вида публику, для которой они пишут, и тем в одно и то же время свидетельствуют и о собственной бестактности, и о своем неуважении к обществу, об интересах которого они столько печалются. Если бы журналы прислушались к общественному мнению, которое они должны выражать, то, может быть, многие убедились бы, что самое распространенное в русской журналистике направление не есть направление общества, и сознались бы, что навязывать его обществу значит деспотствовать над его развитием. А еще столько толков о предоставлении нации самобытного развития!.. Где же цель-то? Ведь это все слова и слова, а на деле всякий, “кто не с нами, тот подлец”! Это предоставление самобытного развития? Это свобода мысли и совести? Это либерализм? Нет, это насилие французских монтаньяров, это грубое невежество русских раскольников поморского согласия, замирающих от злобы, что им “повольготнело, да и белокриницкие подняли носы”, тогда как им хотелось только одним поднять носы. Ведь это явление современное, и между раскольниками и между литераторами вырастает как раз одно и то же отношение, в которое стало большинство либеральных писателей теоретического направления к писателям, желающим порядков, дающих счастье народу, а не вручающим ничьей головой в руки невежественных инстинктов слепой массы или маленьких демагогов, в которых лежат зародыши

У нас честность литератора еще часто определяется опасностью его тенденций. “У нас любят похвастаться: каким-де я опасным делом занимаюсь”, – заметил как-то “Русский вестник”, и заметил очень справедливо: у нас смерть любят этим похвастаться. Оно и в самом деле очень эффектно. Но что пользы, спрашиваем, во многих опасных занятиях? Что от них выигрывает или может выиграть общество? Ведь и фальшивую монету делать операция очень опасная, но что же за заслуга в этом деле? И крестьянам очень опасно разъяснять значение библейского бытописания; даже не при дедах наших был случай, когда один, покойный уже, передовой человек испытал на себе опасность такого разъяснения; но что же мы можем питать к таким людям кроме сожаления о их несообразительности и незнании жизни? Истинный либерализм не нуждается в подобных мерах и своею верною, открытою и честною дорогою дойдет до своей задачи – до возведения общества на ту степень развития, при котором немислим ни открытый деспотизм, ни волки в овечьей шкуре.

Еще один упрек слышится от литераторов литераторам. У кого-нибудь ясно сквозит мысль, которая по цензурным правилам не должна быть сказана, а сказана только между строк, благодаря ловкому замаскированию ее. Другой, возражая на эту мысль, разовьет ее несколько поянее. “Батюшки! – закричат. – Донос делают!” Кому, какой донос? Неужели же те, к кому мог бы адресоваться донос, так близоруки, что за формою не видят существа мысли? Был ли хоть один случай в истории современной русской прессы, чтобы по поводу спорной статьи началось какое-нибудь преследование лица, написавшего статью, возбуждившую спор? Если что бывало, то не вследствие литературного спора, а прежде, чем он мог начаться. Из-за чего же лишать общество возможности знакомиться с воззрениями писателей различных направлений? Из-за чего лишать нашу страну разностороннего обсуждения каждого касающегося ее вопроса? Не понимаем этого маневра, а что это маневр – в том мы нимало не сомневаемся. Будем еще более откровенны: нам довелось слышать несколько замечаний, что мы нападаем на один журнал в то время, когда ему и без того нездоровится. Упрек этот мы в свое время сочли совершенно неосновательным и не отвечали на него, но теперь к слову о том, как легкомысленно и недостойно литераторы одного направления обращаются с репутациею литераторов другого направления, скажем слово и на этот упрек. Мы поставили себе правилом не обременять нашей газеты полемикою, смысл которой вполне доступен только литературному кружку, понимающему всякий литературный полунамек и недомолвку. Поэтому мы никогда не нападаем ни на один журнал, но у нас есть один журнал, с стремлениями которого мы положительно не согласны, и мы этого нимало не скрываем; журнал этот есть “Современник”. Мы уважаем талантливых сотрудников этого издания, но не разделяем их убеждений. Что ж тут худого? Чем мы кого оскорбили? Ведь “Современник” и вся большая половина литературы, которая идет под его знаменем, не согласны же с нашими убеждениями и поступают с нами так бесцеремонно, как никогда не поступали с человеческою мыслью никакие деспоты; мы же против этого не вопием! А кто из нас имел бы в настоящее время более права жаловаться на свое положение, про то мы знаем. Но мы никогда не станем жаловаться ни на какие толки и перетолки, распускаемые досужими людьми, и не отступим от своего знамени ни на шаг, ни на волос! Мы знаем, что дело, безопасное сегодня, может завтра быть очень опасным, и опасное сегодня, завтра очень безопасно; но при каких бы обстоятельствах ни пришлось нам делать свое дело, мы будем делать его в духе наших убеждений до тех пор, пока можем его делать в духе своих убеждений, не называя никого ни “тупоумными”, ни “дрянными пошляками”, и не склонимся к либерализму, имеющему своими лозунгом: “Если ты не с нами, так ты подлец!”

Мы чтим в коноводах наших литературных противников их искренность и никогда не относимся к ней с тою легкостью, с которою непозволительно, по нашим понятиям, охуждать чужое убеждение, не опровергая его доводами. Мы готовы верить, что во главе несогласного с нами литературного кружка стоят люди, убежденные в правоте своего учения, но не допускаем такого убеждения в других поборниках этого учения: ибо для того, чтобы отвергать что-нибудь разумно, нужно хорошо знать отвергаемое, а этого знания мы, грешные люди, не видим, а чего не видим, в то и не верим. Все те, с чьими строками постоянно знакомы читатели “Северной пчелы”, связаны единством своих убеждений и готовы спокойно встречать все нарекания, которыми угодно их честить вблизи и издали. Мы сказали не обинуясь и наши воззрения, и наши верования, и наш пароль и лозунг. Нам нечего стыдиться и ни у кого нечего заискивать: это не в духе нашего либерализма, и мы пойдем своею дорогою, не обращая внимания ни на кого, а тем менее на людей, не умеющих уважать свободу мысли и независимость взгляда. Нашими оппонентами могут быть

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

только те, кто умеет спорить, не ругаясь, а нашими врагами – враги свободы и спокойствия наших сограждан. Нам дела нет, у кого в каком состоянии здоровье после того, когда он напишет то или другое. Мы возражаем на мысль, и справляться о здоровье нам некогда, да мы и не думаем, чтобы кому-нибудь уж очень нездоровилось. А если бы и действительно кому нездоровилось, то чем же мы этому причинны? Мы всем желаем самого цветущего здоровья и никому кукельвану не подмешиваем, а благо страны, по нашим понятиям, требует отклика на всякую мысль, с которой мы не согласны. “Современник” и “Искра” тоже, кажется, этого убеждения, ибо они не справлялись о здоровье Н. И. Пирогова и Политико-экономического комитета, существовавшего при Географическом обществе, когда и Пирогову, и комитету было не по себе... Да и наконец, ведь не мы же в самом деле хотим чьей-нибудь лихой болести! Но не со всеми же нам соглашаться! Ну, например, если какой-нибудь мальчик напечатает какой-нибудь преполозней, по его ребяческому разуму, смешной и бессильный ультиматум, а кто-нибудь сочтет эту гиль опасною, и оттого положение сочинителя сделается действительно опасным, то неужели нам сочувствовать и ребяческим бредням только потому, что они изданы при опасных обстоятельствах? Ведь это было бы смешно, и наши читатели могли бы усомниться в здоровом состоянии нашего мозга! Кто же из мало-мальски смыслящих людей поверит в силу каких-нибудь клочков, например, хоть той подпольной прессы, произведения которой преследуются полицией и легко могут сделаться причиною несчастий для своих производителей? Наше сердце обливается кровью, когда мы подумаем о семейных катастрофах, которые могут быть внесены в семьи энтузиастов, идущих с завязанными глазами к пропасти и не замечающих, что они одни идут к ней, а ближние и искренние стоят одалече... и из всего этого никому никакой пользы. Мы уверены, что неразумными увлечениями их руководят не корыстные побуждения, не черные страсти, и оттого большим грехом против своей совести считаем не просить тех, кто имеет уши, да слышат нашу мольбу о спасении этих энтузиастов, увлеченных прелестью опасных занятий. Мы просим всех и каждого сообщить тем, кто способен увлекаться прелестью этих занятий, что общество, приемлющее с улыбкой праздного любопытства плоды “опасных занятий”, смотрит на все опасное производство как на моду, как на фатовство. В прежнее время, говорят, люди известного сорта выражали свою удаль в том, что, постучав вечером в васисдас немецкого булочника, обрызгивали отворившую васисдас германскую персону из клистирной трубки, а нынче тот же разбор любителей небезопасных развлечений шутит другим образом – вот и все!

Мы не хотим видеть ничьей гибели и особенно гибели напрасной, бесполезной для общества, а потому смело обращаемся с нашей просьбой подумать, “стоит ли игра свеч”, и смело встретим листок, в котором нас мерят на тысячи, и только об одном просим наше правительство: человеколюбиво взглянуть на порывы увлечения энтузиастов и не надевать на шалунов венца мученического, способствующего новым увлечениям, а прессе даровать права, исключаящие возможность называть несогласное с кем-нибудь мнение доносом или официозностью, от которой мы оправданы теми же честными устами, которые произнесли это обвинение. Мы просим также наших собратий, способных ставить интересы общества выше своих личных интересов, измерять заслуги издания не цифрой подписчиков, а степенью доверия к ним общества и пользою, которую они могут принести России, чтобы в нашей молодой литературе умер дух нетерпимости. Различие направлений в литературе – дело самое естественное, и оно выражает ее жизнь. Около 30-ти лет вся русская журналистика была одного направления, и было очень скверно. Теперь начинается партийность, выходят способные люди того и другого направления: дайте же им выговориться! Кто ошибается и кто прав – “толкач муку покажет”, но измените лозунг, дающий право обществу, которое вы поучаете гражданским добродетелям, засмеяться вам в глаза и сказать: врачу! исцелился сам! А потеряв кредит в обществе, подумайте: кому вы его отдадите? – злу и неправде, с которыми сражались, “и будет последняя вещь горче первой”. Между всеми нами нет ни одного человека, заподозрить неподкупность которого по литературной его деятельности было бы какое-нибудь основание; недостойно же нас ради острого словца, ради лозунга “кто не с нами, тот подлец”, марать нашу честную семью намеками и обвинениями, в которые нисколько не верят те, кто их произносит, а те, кому еще лучше известна неподкупность литературы, смеются над ее бестактностью.

Мы, не поклонники “Современника”, очень помним его выражение, что “у нас в литературе все хотят счастья русскому народу”, и желаем, чтобы эта праведная мысль жила в сердце каждого русского журналиста и изгнала из него вражду за мнения, а лучше будем спорить о том, что не бесспорно, и если мы люди честные (в чем мы не хотим сомневаться), то неправый согласится с правым, жертвуя личным самолюбием пользам русского общества. Если же мы не способны это сделать, то мы

фразеры, и голос наш будет гласом вопиющего в пустыне, и народная тропа не пройдет к могиле, в которой русская литература схоронит свою могучую опору: общественное уважение!...

КАРИКАТУРНЫЙ ИДЕАЛ
УТОПИЯ ИЗ ЦЕРКОВНО-БЫТОВОЙ ЖИЗНИ
(критический этюд)

I

Есть сочинения, которые настойчиво требуют критической оценки, не по их литературному значению (которого они могут и совсем не иметь), а по свойству затрагиваемых ими вопросов и по условиям времени, при которых они появляются в свет. Таково во всех отношениях недавно вышедшее сочинение имеющего довольно своеобразную известность московского писателя Ф. В. Ливанова. Книга эта называется “Жизнь сельского священника – бытовая хроника из жизни сельского духовенства”; она мне кажется достойною разбора, которому я и посвящаю наступающие строки.

Мне, может быть, не следовало бы писать об этой бытовой хронике, потому что я сам напечатал хронику под заглавием “Соборяне”; но моя хроника представляла совсем иное время – в ней описан не век нынешний, а век минувший, – “догорающие свечи старой поповки”, которой ударил час обновления. Я не намечал новых типов и, по совести говоря, убежден, что это еще невозможно: типы эти еще не выработались, не определились, и художественное воспроизведение их не может дать ничего цельного. Конечно, среди епархиального духовенства по местам обнаруживается весьма заметное и давно желанное оживление, но все это пока еще – как тесто на опаре – пузырится и всходит, а мудроно сказать, каково оно выходит. Я всегда был того мнения, что воспроизведением новых типов из духовенства лучше не торопиться и подождать, но ожидание, вероятно, так утомительно, что после моих “Соборян” явились уже две хроники с “новыми попами”, – одна принадлежит перу светского человека и называется “Изо дня в день, – записки сельского священника”, [8] другая – едва не погибшая в муках рождения – предлежащая нам книга Ливанова. О первой из этих книг совсем нельзя говорить, потому что автор ее вовсе не владеет знанием условий быта, который он хотел воспроизвести; во второй же, написанной г. Ливановым, есть и знание быта, и есть нечто иное, тоже весьма ценное: это, если можно так выразиться, субъективная объективность автора в воспроизведенном его фантазией идеале нового сельского священника. Сочинить такой идеал и такие положения, какие придуманы г. Ливановым, может только пылкий, мечтательный семинарист, знающий скорби духовного быта, но имеющий слишком поверхностные и уносчивые понятия о средствах для выхода из области этих скорбей. Но и самые, как говорят, “фантазировать” семинаристы, грезящие такими мечтами в свои юные годы, не доносят их до конца семинарского курса, а г. Ливанов сохранил эти мечтания до своего солидного возраста и изданием этой книжки стремится к их распространению среди читателей, которых, по заявлению этого писателя, у него чрезвычайно много.

Его книжка, всеконечно, может быть прочитана людьми, которые заметят близкое и довольно основательное знакомство автора с одной (отрицательной) стороной бытовой жизни сельского духовенства и, может быть, не сразу отличат сильную фальшь, какая находится в других частях хроники.

Задача настоящей статьи: показать по возможности серьезность представленного в хронике “идеала нового сельского священника”, его борьбы, поражений, побед и окончательного торжества. Задача эта не может быть бесплодна в наши дни, когда тип “нового человека” на месте приходского пастыря действительно формируется, но еще неясен. Самый же предмет так жив и благодаря г. Ливанову поставлен так забавно, что читатели “Странника”, конечно, не соскучатся и не посетуют за являющийся пред ними отчет об оригинальном новаторе сельского прихода.

II

История начинается в губернском городе с приездом туда из Петербурга нового архиерея Хрисанфа, который до того был в Петербурге ректором... Читателю может показаться это чем-то знакомым? – конечно, – имя архиерея и его прежнее служение с первого же раза что-то и кого-то напоминают; но таких сюрпризов впереди еще много, и потому не будем на этом останавливаться.

Новый архиерей Хрисанф не говорит ректору семинарии, “как прежние” (стр. 3): “что за вздор ты несешь” и даже “дурак”. Он очень мягок и благороден. – Происходит публичный экзамен, на котором присутствует, между прочим, “светская

девушка, племянница советника губернского правления, Вера Николаевна Татищева". Племянницы советников губернских правлений, "светские девушки", – разумеется, "светские" только в том же смысле, как всякая девушка не из духовенства; но как автор понимает эту "светскость", – неизвестно. Кажется, он ее понимает не совсем так. Тут же, на семинарском экзамене, сидят "дамы высшего круга", – они "говорили с важными господами и нюхали букеты" (5). Автор полагает, что "дамы высшего круга" все нюхают букеты и, получив малосвойственное им желание посетить семинарский экзамен, непременно и там будут "нюхать букеты". Это, конечно, свидетельствует о его полном незнакомстве с обычаями "дам высшего круга", которых он без всякого для себя ущерба мог бы и не описывать; но это теперь модная слабость наших писателей, из коих один, вероятно, столь же, как и Г. Ливанов, знакомый со "светом", писал: "Я, как все великосветские люди, встаю поздно и сейчас же иду в трактир пить чай". На экзамене отличается студент Алмазов, производящий сильное впечатление на "светскую" племянницу советника Веру Татищеву. Фамилия "Татищева" опять может показаться поставленною так же нецеремонно и неловко, как и имя архиерея Хрисанфа; но уже это у автора такая привычка, которая неизвестно куда заведет его. Студент Алмазов – это будущий герой хроники, а Вера Татищева – героиня. Обед кончен, владыка Хрисанф уезжает, но... "в городских церквях не звонят" (6). Архиерей Хрисанф тоже новый тип: он не только доступен, прост и вежлив, но он отменил и трезвон во время своих переездов по городу.

"Я не хочу, – сказал он ключарю, – чтобы о моих обедах и закусках, о моих выездах в гости трезвонили по городу"[9] (7; курсив подлинника).

Отличившийся богослов Алмазов оказывается в затруднительном положении (11): он, во-первых, назначен в академию, во-вторых, влюблен в светскую девушку, а в-третьих, пред ним ежедневно почти валялся на коленях его горемыка отец, заштатный пономарь, умоляя сына не ездить в академию. Любовь ему приключилась на уроках, которые он давал в доме, где встретился с Верой Татищевой, "институткою петербургского Николаевского института" (12), которая уже "была в четырех домах гувернанткою" (13), что, пожалуй, не составляет для нее особенно хорошей аттестации. Впрочем, не удивительно, что она переменяла так много мест: очень уже она бойка. Богослов влюбился в нее, когда она "в качестве племянницы советника много выезжала, видела много людей и пришла к заключению, что на свете больше скверных людей, чем хороших". Тут ей пообычался Алмазов, и она "решилась, сблизившись с ним короче, развивать его"... Это развивание институткою богослова как две капли воды напоминает известные нигилистические романы, где герои прежде всего друг друга "развивали". Но как же эта шустрая девица берется за восполнение того, чего с ее возлюбленным не умели сделать профессора семинарии? – Очень просто: она исполняет это по общеизвестному рецепту тех же нигилистических романов: она дает богослову читать книги Тургенева, Гоголя, Пушкина и Лермонтова, а "потом перешла к Шекспиру, Гете и Вальтеру Скотту", и все кончено: "Алмазов, имея двадцать три года, вырос в год так, как не вырос бы в три года при рутинной замкнутости семинарской жизни". Так многомощна оказалась эта институтка, поправившая над богословом "тупость семинарского учения". Дело еще больше поправил ее дядя-советник: он стал "вывозить" Алмазова в свет (13), и богослов, очутившись в обществе, "блестящее которого есть круги, но умнее нет" (15), стал совсем "разносторонне развитым человеком" (14). Одно еще не ладилось: богослов хотя и был уже влюблен в Веру, но только при всем своем "многостороннем развитии" и светскости никак не мог с нею об этом объясниться; а между тем ему надо было ехать в академию, и дело могло этим кончиться. Но тут в бойкой институтке "сказалась женщина" (15), – она взяла да просто-напросто и отрезала развитому ею богослову:

"Напрасно скрываетесь; вы влюблены в меня два года и теперь любите... да?"

Он, бедный, не успел ей ничего ответить, как она ему сейчас же ткнула:

"Вот вам моя рука".

Тот сначала "сжал руку", и так "прошло долго, долго", потом "сжал еще крепче"; потом "хотел поцеловать, но не решился". Бедовая девушка видит, что он опять очень долго копаются, и сама "позволила ему поцеловать руку", и сама "поцеловала его в голову". Богослов и замечтал, – и полезло ему в голову, что нет ему нужды идти в академию, потому что он и так может счастливо устроиться. Он будет образцовым приходским священником, а жена его образцовою сельскою попадьею. Тут и начинают "фантазироваться" семинарские мечтания (18): "я делаю общие

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
распоряжения, даю общие справедливые пособия (?), завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские, и она с своею хорошенькою головкой, в простом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в сельскую больницу, к несчастному мужику и везде утешает..." Ее обожают, на нее смотрят как на ангела, на привидение (sic!). Она все это скрывает от мужа, "но я все знаю, – говорит размечтавшийся богослов, – я крепко обнимаю ее и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы..." Автор очень кстати здесь ставит многоточие. Развитие Алмазова, как видите, уже несомненно (21): "в нем развилась живая сила, и он уже задается задачей быть идеальным пастырем сельским и в этом найти высокое наслаждение". Вот что сделала с молодым богословом институтка Николаевского института, – она дает нам "идеального сельского пастыря", а не духовная школа, от которой мы, как показывает г. автор, ждали этого совершенно напрасно...

Пусть так: станем смотреть в эту сторону – что сулит нам в устройстве нашего клира участие "николаевской институтки". Алмазов так расхотелся, что сейчас же написал Татищевой записку с предложением быть его женою, и послал эту записку "с мальчиком семинаристом". Этот бедный маленький Меркурий сейчас же слетал и примчал ответ: "приходите к нам сегодня вечером, – вопрос решится". Богослов "опрометью побегал" с вопросом: "да или нет?" Ответ, конечно, был: "да", и затем решено от академии отказаться и просить места сельского священника. Институтка так и рвется быть попадьёю: ее влечет к этому (22) "общий голос, который признает жен священников счастливицами" на том основании, что "семинарист вступает в семейную жизнь, не растратив сил, и бережет жену, так как другой ему не дадут". Практические соображения девушки в этом роде поддерживает одна опытная особа – "дама, урожденная княжна Шаховская, аристократка по рождению". Эта кн. Шаховская, по уверению автора, узнав свет, говорила, что "если бы только она могла возвратиться опять к девичьей жизни, то ни за кого другого не вышла бы, как за священника". Но как урожденной княжне Шаховской уже нельзя было "возвратиться к девичьей жизни" затем, чтобы сделаться "попадъёю", то это делает Татищева, – она выходит за Алмазова и приносит ему пять тысяч приданого. Алмазов знал, что начальство его "неблагосклонно" смотрит на женитьбу духовных на светских девушках, но решил не отступаться от Веры, а в случае несогласия архиерея "поступить в губернское правление".

Таким образом, мы чуть было не лишились "идеального сельского пастыря" в самом начале его карьеры, но архиерей Хрисанф и советник спасли дело. Советник "с орденом Анны на шее вошел в переднюю архиерея, и лакей преосвященного встретил его как давнего знакомого" (25) и "доложил о нем". Тут в книге вставлено несколько весьма интересных замечаний об архиерейских лакеях как о весьма своеобразном и вредном сорте людей. На 26-й странице автор говорит о типе архиерейских лакеев "в манжетах и нарукавниках". Они будто бы получают архиереями преемственно от каких-то "вельмож" и, попав к архиереям, делаются страшными взяточниками и держат себя весьма даже перед "великолепными благочинными и протоиереями". Жизнь эти лакеи проводят такую, что г. Ливанов, изображая (27) многосторонние выгоды лакейского положения у архиереев, кратко, но искренно замечает: "блажен лакей", – но на 28-й странице он к этому добавляет: "только смотри, лакей!" Значит, есть что-то такое, что и хорошо и худо; "блажен лакей, но смотри, лакей!" – в общем, формула очень замысловатая и назидательная. Но не похожий на многих других архиерей Хрисанф и лакея имел совсем особенного: автор объясняет, что этот архиерей взял себе лакея не от вельможи, а (27) "у одной дамы", отчего выбор вышел несравненно удачнее. Алмазову разрешается жениться на "светской особе" и назначается место в селе Быкове. Происходит обручение, на которое советник пригласил "нового письмоводителя архиерейского", рассуждая, что "всегда пригодится". Предусмотрительность, напоминающая гоголевского Осипа в "Ревизоре" и, вероятно, не совсем излишняя: "все пригодится" на жизненном пути. Хрисанф хорош, а всё письмоводителя не мешает иметь на своей стороне даже и при Хрисанфе... Это резон: запас беды не чинит и хлеба не просит. Потом ряд небезынтересных анекдотов об архиерейских письмоводителях, между которыми, если верить автору, совсем будто бы нет порядочных людей. Между тем во время этого пира Вера отыскивает "на кухне" своего будущего тестя и приводит его в комнаты, – богослов этим тронут и "готов упасть перед нею на колени и молиться" (35). Вера, по словам автора, все "вырастает", а при этом, надо сказать, и очень сильно огрызается: она (36) держится "в границах светской учтивости от подлых намеков", которые делают разные лица и между другими одна "губернаторская гувернантка, воспитывающая "будущего олуха". Отчего губернаторский сын непременно должен быть "олухом" – это секрет г. Ливанова, и мы не стремимся его ни опровергать, ни разгадывать, но

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
не можем не подивиться: какую непонятную ноту держит наш странный автор? Он восстает будто бы против каких-то непочтительностей к порядкам, но сам защищает порядки весьма забавно. В десятой главе хроники у него изображается архиерейский эконом, отец Мардарий, который тоже не задачнее губернаторского сына, – он исповедует ставленников (43) “только за немалое приложение”.

Поисповедавшись, Алмазов посвящается и (44) “делается батюшкой – отцом Александром, а Вера Николаевна матушкой”.

На этом поворот солнца на лето, а зимы на мороз: повествование вступает в новую фазу, с которой начинается большее оживление и большая bestолковщина.

III

Молодые супруги перед отъездом из города делают визит ректору

семинарии, архимандриту Вениамину, выпуская которого на сцену автор отмечает в его кондуите, что этот архимандрит “во время одного пожара, забывши свой сан, явился на пожарище простым христианином” (sic!). Почему архимандрит может “явиться простым христианином” только “забывши свой сан”?.. Это, вероятно, так, “с языка сорвалось”. Выставив, однако, такую черту архимандрита, автор продолжает так (45):

“Читатель подумает: вот это будет архиерей так архиерей! Не торопись, читатель, заключением своим: в С. губернии лет восемь тому назад ректор семинарии был тоже необычайно энергичный человек. Все говорили: вот будет архиерей так архиерей! И что же вышло: сделавшись архиереем, он с трудом и отвращением подписывал даже срочные бумаги”. “Что за причина такой апатии?” – спрашивает автор и отвечает: “причина та, что надо добыть “ключи Петровы”, а добывши их, можно и успокоиться, да и обстановка архиерейская много ослабляет деятельность владык: “торжественные повсюду встречи, колокольный звон” и т. п. – все это, по словам г. Ливанова, увлекает архиереев “помечтать”. И г. Ливанов очень интересно говорит об этих “архиерейских мечтаниях”. Они будто бы для сих мечтателей (46) “несравненно приятнее консисторских протоколов, которых накаплиются целые груды”. Правду или неправду говорит об этом г. Ливанов – это уже его дело, – его и ответ, а мы следуем за повестью. Ректор хвалит Веру, что она “не побрезговала названием матушки”, но пожалел, что Алмазов “архиереем был бы”, что, надо сказать, со стороны о. ректора не совсем тонко и деликатно. Молодые супруги делают крик и заезжают к родителям Алмазова, в село Кольвань. Село это – “почти дикое, и потому, когда хороший городской возок, запряженный тройкою почтовых лошадей, подъехал к маленькой, покрытой соломой избушке пономаря, то сбежалось к этой избушке чуть не целое село”. Старики, поджидая гостей, решили, что они (47) отдадут молодым “горницу, а сами переселятся на сеновал”. Разумеется, это несколько рискованно для старых людей, так как зимою на сеновалах очень холодно; но, по счастью для престарелых родителей Алмазова, тут со временами года совершается нечто странное: свадьба и посвящение происходят вслед за выпуском студента – стало быть, по осени; едут молодые уже в “городском возке”, стало быть, по санному пути, а между тем встречающие их старики хотят спать на сеновале... Все это как-то не вяжется и “не по сезону”, но дальше мы увидим на этот счет нечто еще более удивительное. Обыватели “дикого села” приветствуют о. Александра с отменным простодушием: “ай-ай, Сашка, какую жену тебе бог дал”; родители суетятся, а “в это время горничная Веры, разодетая по-городски, носит разные узлы и картонки”. Молодые назначают своим старикам пенсию; горничная молодых, “накормленная до пресыщения”, после ужина приносит от старой попадьи “двуспальную кровать красного дерева”, ставит ее “посреди комнаты, убирает новым бельем и подушками, вынув и шелковое одеяло для молодых”... Словом – справили их очень основательно и оставили в тепле и в холе, на двуспальной постели; а “старики” разбрелись так: пономарь пошел “на сеновал”, старушка – “на погребницу”, щеголеватую же горничную “положили в сенцах, под пологом, чтобы ее мухи не беспокоили...” (?) Вот как все это оборотилось: куда девался и зимний “возок”; как понадобилось автору – все вдруг так потеплело, что даже в холодные сени и мухи залетали!

“Так, – говорит автор, – вошла в семью новых родителей своих (вместо мужниных родителей) Вера Николаевна”, – и, добавим от себя, она вошла прескверно и неодобрительно: на первых же шагах она заняла бесцеремонно их единственную комнату; разлеглась там на кровати красного дерева под шелковым одеялом, а стариков отпустила “на сеновал” да “на погребницу”.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

“О, если бы все наши поповны подражали ей!” – восклицает автор. Да; но что же бы тут было хорошего? Напротив, делает честь “поповнам”, что они гораздо скромнее и не склонны к такому подражанию.

“Идеальный священник” с своею супругою едут далее, в село Быково (53); и по этому случаю в атмосфере опять происходит что-то непостижимое: на дворе вдруг делается “сентябрь месяц”, мухи исчезают, как прежде исчез возок, и супруги Алмазовы, к немалой для всех неожиданности, въезжают уже не в возке, а в тарантасе...

“Эка какой форсистый! – говорят мужики. – Чопорно очень ездит”.

Да и в самом деле – и форсисто и чопорно: одну путину и на полозьях и на колесах делает. – В своем селе молодые помещаются в церковной “сторожке”, которую (56) бойкая горничная “идеальной попадьи” обратила в довольно комфортабельное помещение, с “спальной за перегородкою”. Опять является эта постель, кисейная занавесь с бахромою – украшением, которому, кажется, нет никакой нужды появляться на временном ночлеге с приезда, да еще в сторожке. Алмазов говорит крестьянам речь (57), открываясь в ней, что он “хочет быть пастырем добрым, душу свою полагающим за овцы свои”. – Ниже мы увидим, как он это сдержит.

Положение дел в приходе г. Ливанов описывает так (60): “причетники, особенно дьяконы, почти везде недовольны священником; последний со всем своим причетом редко похвалится благочинным, – никогда не скажет доброго слова о консистории; шепотом и оглядевшись, пожалуется и на более высокую власть; опишет множество поборов, взятки, чуть не податей, которые ему нужно платить предустановленным над ним властям... То старшина с ним обращается слишком гордо, то помещик притесняет его, то крестьяне составляют против него, или, лучше сказать, против его доходов заговоры” (61), “мироеды требуют, чтобы он пил с ними – иначе поп у них останется без куска хлеба”. Алмазов был не таков и за то “потерпел полное фиаско на сходе”. Но все это тем для нас интереснее, что Алмазов, приехавший “положить душу свою за овцы”, в качестве “идеального попа” все это превозмогает и переделает по самому совершенному способу, который может нам служить образцом реформаторских фантазий рьяных нетерпеливцев вроде автора рассматриваемой нами утопии.

Пятнадцатая глава называется: “Кабинет священника”, – это очень курьезно: Алмазов нанимает дом в селе за 300 рублей; употребляет 200 рублей, чтобы “поставить его на порядочную ногу”, – дом имеет “зальце, хорошенькую гостиную, женский будуар (?!), спальную и кабинет, убранный оригинально” (62). Вот эта оригинальность, или, лучше сказать, – юродство (*ibid.*): “над письменным столом своим о. Алмазов велел столяру устроить шатер деревянный, оканчивающийся крестом”, и обложил книгами, – одних книг Веры “доходило числом до 200 названий”, но что это за названия, автор не объясняет, хотя это очень интересно. Если можно держаться поговорки: “скажи, с кем знаком, и я скажу тебе, кто ты таков”, то так же удобно сказать: покажи, какие ты книги читаешь, и я скажу, “коего ты духа”, – число же книг само по себе не выражает физиономии чтеца. “Идеальную попадью” Веру Николаевну более характеризуют мелочи ее домоустройства (62): “к ней пришла на подводах рояль и все будуарные вещи”. В доме явились “белые кисейные занавесы на всех окнах, ковры в гостиной, будуаре, спальне и кабинете, картины и зеркала на стенах, городская мебель”. И Вера, “обозрев” дом, нашла, что все добро зело, – теперь, говорит, “можно жить по-человечески”; но только что учредилась эта благодать, как сейчас же погнал на нее грех: на “идеального” священника восстали весьма материальные враги сельского пастыря. Отсюда начало борьбы.

IV

Вводя рассказ в эту фазу, автор говорит: “ничто так не убило духовенства в России, как унижительная система поборов” (курсив подлинника). Этим “заградили ему уста к правде” (60). На 61-й странице автор продолжает: “19 числа февраля 1861 года едва ли не сделало положение сельского духовенства еще хуже прежнего”. – “Новая сельская аристократия, несмотря на свое аристократическое происхождение, успела заразиться спесью бар”. Алмазов вышел на борьбу с этим злом; после первой же отслуженной им обедни он является с проповедью, после которой (70) “о нем не могли уже сказать, что это поп, каких много: он прямо ударил на жизнь современную”.

Чрезвычайно интересно, в чем “идеальный священник” видит из-под своего балдахина

эту современность в приложении к людям сельского прихода. Это и раскрывается из его проповеди, из которой мы позволим себе сделать небольшую выписку:

“Все теперь говорят, что народ нам нужно вести к лучшему. Но что такое это лучшее? Какие тут идеи, какие начала, какие цели? Вы укажете на народное просвещение, развитие народной деятельности и так далее, а мы скажем, что если все это не основано на началах строго нравственных, не проникнуто высоким духом нравственным, если при этом не имеется в виду нравственная жизнь народа, с ее потребностями и законами, тогда все это – пустоцвет, гниль. Что такое народ? – народ есть сила живая, сознательная, нравственная. Его нельзя усовершенствовать пустыми учебниками, как машину... Хотим ли мы в самом деле, чтобы народ был истинно образованнее, гражданственнее, деятельнее и крепче в своей жизни общественной, чтобы он умел хорошо пользоваться своими народными силами и правами?..” И так далее “идеальный священник” все говорит “слова, слова и слова” – слова громкие, едва ли понятные сельскому люду, – слова, привезенные из города за один подъем в зимнем возке и в тарантасе и слепленные под балдахин, который уже, видимо, приносит помеху. Не взмостись о. Алмазов так торжественно сочинять под балдахин, он бы, может быть, понял, что крестьянам совсем не нужны все эти рации о народе и общие взгляды об образовании, и он стал бы просто-напросто изъяснять писание и вести простые – гомилетические, или нравственные, – беседы, без подмеси острых специй полемики. В народе нет теоретиков, и сам автор почувствовал это и должен был придумать “идеальному священнику” врагов не из крестьянства. Проповедью Алмазова обиделись (71) “помещики, бывшие в церкви”, и особенно “нигилистка Кашеварова” (sic)... Да, г. автору понадобилась и “Кашеварова” – иной фамилии он как будто не мог сочинить для своей “нигилистки”... Престранная эта у г. Ливанова игра с известными именами; то архиерей Хрисанф, то княгиня Шаховская, то Татищева, и, наконец, еще Кашеварова, с закрепленным за нею титулом “нигилистки”... Не хитрый, но удивительно непосредственный прием, очевидно, возможный не для всякого. Автор говорит, что “Кашеварова росла дико среди ухаживаний военного своего батюшки за деревенскими бабами и, подросши, уехала в Петербург, где возилась с медицинскими студентами, родила ребенка в каком-то подвале и, наконец, брошенная шаршавым либералом, возвратилась просвещать народ (курсив подлинника)”. У нее “в комнате два человеческих скелета, карты с изображениями типов обезьян, анатомические рисунки и портреты Дарвина и Сеченова” (77). И перед всеми-то этими страстями отцу Алмазову довелось петь тропарь и предлагать к целованию крест, от чего Кашеварова отказалась и на вопрос о религии отвечала, что ее “религия – труд” (78). Словом, она, как патентованная нигилистка, в бога не верит; но тогда зачем же она приходила в церковь? – можно думать, как будто нарочно, чтобы возненавидеть “идеального священника” и отомстить ему, заставя его у себя дома петь тропарь перед скелетами, обезьянами и портретом Сеченова... Это с ее стороны очень коварно: но зачем же г. Ливанов повел своего священника в такой дом и заставил петь там перед такими страшилищами? Нынче и не “идеальные”, а весьма обыкновенные, но благоразумные священники не навязываются с праздничными хождениями в те дома, где их не жалуют и не приглашают, и эти священники хорошо делают, что так осторожны. Зачем же идеальный священник добивался петь в доме Кашеваровой, которая его не звала петь? – Это, кажется, не резонно.

Но можно думать, что он все это делает с тем, чтобы “штудировать среду”, так как его бойкая светская жена при приближении праздника сказала ему (74): “Ныне, наконец, случай тебе познакомиться с твоими прихожанами – помещиками”, а идеальный священник у своей жены в послушании. И вот “заложен был троичный фэтон отца Алмазова, в котором с дьяконом и пономарем он отправился по чину (?) к помещикам”. – “Приехали прежде всего к Скалону (опять фамилия всем известная), тонкому и богатому аристократу, гвардейцу в отставке”. У аристократа духовных прежде всего держат в передней; потом вводят в зал, где были у хозяина гости: исправник, становой, дворянский заседатель и почтмейстер уездного города (75). “На столе закуска – и тонкий аристократ с первого же слова произнес: Водочки, отцы” (курсив подлинника). Потом побывали у Кашеваровых, у Жигаловых; у Кашеваровых видели скелеты типов обезьян и портрет Сеченова, а у Жигаловых наслушались таких разговоров (80):

“Ваш муж все еще не перестает с бабами возиться?”, – спросил неперемный жену Жигалова, разговаривавшую с священником.

“– Ах, и не говорите! – отвечала та, – никому спуску не дает – просто срамота. Его недавно на гумне мужики избивали было за это.”

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

– Это все пустяки, – вмешивается Жигалов. – Нет, вот когда я на службе был, – вот это было житье! – сенные девушки, когда их господа постегают, бывало, плетью... бегут прямо в суд и кричат: “Спасите, защитите!” Извольте, мол, приходите поодиночке для объяснения дела. И с каждою, как объяснишься среди пантамин... ну и будет о любви сладкой помин” (sic).

Священнику “сунули в руку 2 рубля” и выпроводили. Скромно и вежливо приняли его у одних старичков Осокиных, живших на отлете. Эти Осокины, вероятно, были “по чину” всех ниже, потому что к ним фаэтон о. Алмазова подъехал всех позже.

Идеальный священник, вернувшись домой, все это рассказал жене и на другой день едет к “нигилисту Болтину” (опять известная фамилия?), который учился в Московской петровской академии. Он принимает о. Алмазова “небрежно”, а о. Алмазов рассказывает ему о своем намерении украсить получше церковь (85 и 86 – два номера на одной странице).

“Болтин, запустив в свои взъерошенные волосы пальцы рук, надменно, но с энтузиазмом сказал:

– Довольно! – Чтобы не играть нам с вами комедии, я выскажусь вам откровенно: все, что вы наговорили мне о религии и о боге, – бабьи сказки”.

С этою резолюциею священник уезжает... Было зачем ему и приезжать!

Но вот повествование вступает еще в новую фазу: “идеальный священник” доживает до “хороших дней” (87) и начинает чудить на иной манер.

У

“Чтобы быть истинным пастырем, а не наемником, Алмазов решил изучить каждый двор, каждую семью своего прихода”. Простой, добрый священник делает это просто: он живет, служит, знакомится с людьми в живых с ними сношениях и не только узнает весь свой приход, но делается другом прихожан и часто врачом их совести, примирителем и судьей. Это, конечно, не часто так бывает, но никак нельзя отрицать, что такие примеры есть. “Идеальный же священник” и в этом случае поступает по нигилистическому рецепту; он “изучает” людей и ставит это для себя особою задачею. Все это у него обдуманно под балдахином, из-под которого он выходит для выполнения всей процедуры изучения прихода “с памятною книжкою в кармане”. Всех приемов его невозможно представить в кратком извлечении, да они и неинтересны. Довольно сказать, что и здесь, как в описании помещиков, нет никакой живой образности и художественности, а везде опять тенденциозная карикатура с одною неизменною болезненною маниею везде видеть эмансипацию, нигилизм и их пагубное влияние. Так, например, мужик Васька Завертаев не любит жены и “живет с солдаткою” – событие, каких, кажется, немало повсюду; идеальный священник идет к нему в дом, чтобы его усювестить, – это прекрасно: но Васька Завертаев, выслушав “самую строгую мораль” (96), отвечает:

– Это наше дело, батюшка, сами понимаем, что делаем.

– Вот в том-то и дело, что не понимаете, – отвечал священник и думал про себя: “И сюда уже спускается наша женская эмансипация”.

Автор полагает, что если женатый мужик Васька Завертаев живет в связи с солдаткою, то это не оттого, что мужик Васька – просто развратный мужик. Нет, – по мнению г. Ливанова, это случилось оттого, что в обществе есть возбуждение в пользу освобождения женщин от некоторых ограничений на право более производительного труда известной, совершенно законной, независимости от деспотизма, который действительно может быть тяжок и губителен. Автору как будто кажется, что до перевода на наш язык известных сочинений Жюль Симона и Джона Стюарта Милля в России не было и мужиков, которые не любили своих жен и грешили с солдатками. Плохой же он знаток истории России, и особенно нашего русского простонародного быта, если он полагает, что в разврате Васьки Завертаева виновата “эмансипация женщин”. Всегда были такие Васьки, и всегда они отличались тем, что чего им не представляй, “а Васька слушает да ест”. Со стороны священника очень грубая ошибка относить все подобные явления к “эмансипации женщин”, “нигилизму” и вообще навязывать так называемым “новым идеям” вину весьма старых грехов – старых не как Россия, а как само человечество, как сам мир, от коих пор он обитает разумными существами, низводимыми побуждениями страстей к многообразным и многообразным безумиям. Ничего не может быть

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
неосторожнее и вреднее, как валить все это бремя греха на одно поколение, которое будто бы могло испортить даже самую натуру человека, и притом в тех слоях общества, где все так примитивно, что самые корни пороков там кроются в грубости чувства, а не в извращении их научным отрицанием. Как мог не знать этого “идеальный священник”?

Отцу Алмазову в этом его пустомыслии есть одно извинение, что он читал книги, предлагаемые ему институткою, – прежде книг, более достойных его внимания: так, на 109 странице мы узнаем, что, познакомься с своею паствою, после двух проповедей к приходу и избирателям гласных, он “выписывает себе из синодальной лавки книги “отцов церкви” и “Деяния соборов” и погружается в их чтение. – “Тут он увидел, какой непроходимой схоластикой набивали его голову в семинарии, какая необъятная бездна лежала между истинно Христовою церковью и церковью, которую выработала рутина, и до чего посрамлена и унижена истина евангельская”. Как этот чудак дочитался в выписанных им книгах до вышеупомянутого вывода, понять весьма трудно, но еще непонятнее, как священник, с отличием окончивший курс духовной семинарии, не имел понятия о “деяниях соборов” и о творениях св. отцов? Если он, “погрузясь в чтение” “этих источников”, и мог усмотреть в них много нового и интересного, то все-таки общее-то понятие об этом он, конечно, должен был получить в семинарии, где не скрывают же от воспитанников, что есть творения св. отцов и деяния вселенских соборов?.. Как же могло случиться, что такой идеальный священник вышел таким невеждою?! Повторяем: не следует ли искать разгадки этого странного явления именно в том, что он в богословском классе своего семинарского курса сильно подпал под влияние бойкой институтки, которая развивала его по беллетристам, тогда как ему надлежало доучиваться? Это – обстоятельство, на которое стоит обратить внимание, потому что ежели институтки, со слов кн. Шаховской, так заинтересовались “нерастраченностью сил” наших семинаристов, что стремятся развивать их и потом женить на себе, то желательно по крайней мере, чтобы это не мешало семинаристам доучиваться. Очевидно, надо принять какие-то меры против этих барышень... Это смешно, но что делать, если все это так, как представляет г. Ливанов?..

Однако продолжаем историю: мужик Васька написал на Алмазова донос благочинному, “человеку с претензиями на светское знакомство” и женатому “на воспитаннице, – вернее, горничной, – знатной губернской барыни-ханжи”.

“Светское знакомство”, оказавшее такое, по мнению автора, благотворное влияние на о. Алмазова, – на благочинном отразилось совсем иначе: дело, значит, не в светскости, а в субъективности того, кто подвергается этому влиянию.

Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат.

О. Алмазов – булат, а благочинный – стекло, которое раздробилось от соприкосновения с “светом”.

Благочинный этот приезжает в село и, как назло, останавливается в нигилистическом доме у Кашеваровой, где, как нам уже известно, собраны скелеты, типы обезьян, портрет профессора Сеченова и другие непозволительные вещи. Сюда призывают и Алмазова (113): “Благочинный ему едва кивнул, не вставая из-за карточного стола, а Кашеварова рассказывала благочинника о внутренностях кошек и собак – затем переходила к душе собак. Благочинника подобострастно слушала и благоговела перед Кашеваровою. Кашеварова напала было и на о. Алмазова, но он, послушавши бредни шаршавой девицы, ответил, что не след барышне заниматься внутренностями дохлых кошек и собак, ибо это дело живодееров...” Опять очень удивительно, что о. Алмазов не знал, что живодееры внутренностями кошек и собак не занимаются и что это совсем не “их дело”, но, быть может, он сказал это, потому что был очень не в духе: его рассердил благочинный, и они наговорили друг другу порядочных грубостей. Солнце и зашло и опять взошло во гневе их, и когда благочинный на другой день стал облачатся, чтобы служить вместе с Алмазовым обедню, тот заметил ему:

“Вы, кажется, вместо правила играли накануне службы в карты”. Автор изобразил такую сцену, по-видимому и не подозревая, что его “идеальный священник”, так зорко назирающий спицу в глазу благочинного, всегда более напоминает не кроткого служителя православного алтаря, а представленного у Рабле Панюржа, который швыряет камнем в епископа, задремавшего при обедне.

Благочинный проглотил поднесенную ему о. Алмазовым пилюлю, но зато у них

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
возгорелось неудовольствие, для противодействия которому о. Алмазов, посоветовавшись с своею женою, опisał все советнику, а тот сейчас же к архиерею Хрисанфу, у которого (121) “все шло как по мановению волшебной палочки”. Этим и было все предупреждено. Архиерей сказал:

“Будьте покойны: когда донос дойдет до меня, он останется без всяких последствий”.

Конечно, архиерей Хрисанф очень прозорлив и милостив, но нельзя совсем отнять значение и у советника, который весьма кстати поспевает во всех затруднительных случаях отца Алмазова. Не будь он так удобоподвижен и не раскланивайся с ним архиерейский лакей “как с старым знакомым”, может быть и “мановения волшебной палочки” не были бы так благопослушны затеям незримо правящей всем этим делом институтки Николаевского института.

Во всяком случае, приготавливающиеся к духовному званию молодые люди, прочитавши хронику г. Ливанова, для блага своего должны еще где-нибудь обстоятельнее удостовериться: приготавливает ли сказанное женское учебное заведение специально таких сообразительных “матерей-командирш”, или это просто случайность? Ошибка в этом случае может дорого стоить.

Алмазову, однако, все становится труднее: правда, он идет очень бодро и даже задорно, но беды за ним по пятам гонятся, к чему, надо сознаться, немало поводов дает его собственная несообразительность. О. Алмазов завел, например, попечительство, которым положено было (148) “все кабаки в селе закрыть, и оставить из них лишь один (стало быть, все, кроме одного) и на 1000 р., взятую за аренду этого кабака, построить сельское училище”, но “против него восстали помещики Жигалов, Кашеваров и Скалон”. И за что же, вы думаете, восстали? – “как смел не приехать к ним со славлением на рождество”... Чего бы, кажется, таким неверующим людям воспретендовать на это; но вот, однако же, воспретендовали! К ним присоединились еще волостной старшина, писарь и становой; на Алмазова пошел донос, грозящий ему уголовным судом; но, к счастью, на страницах хроники (156) опять замелькали имена советника, Веры Николаевны и архиерея Хрисанфа, “облеченного в правду”, и дело “по мановению волшебной палочки” улаживается, к новому торжеству Алмазова. Он немножко поотдохнул и опять ринулся в бой, и притом в бой еще более отважный (165): он увидел “красных в земстве”. Красные поддерживали употребление в школах книжек, изданных бароном Корфом, Водовозовым и Ушинским. О. Алмазов заговорил (167): “Пусть школа научит ученика по учебникам Корфа ловить блох; пусть ученик затвердит по Ушинскому и Водовозову всю номенклатуру естественных наук, – и познание душевных качеств свиньи и пивки” и т. д. Но “пусть ни одна копейка земская не истребится на такие книги”. [10] О. Алмазову возражают, и он возражает и много говорит о том, сколь многим наукам сам он учился в семинарии. На 169-й странице он подробно и пространно исчисляет все эти науки, после чего становится совсем непонятно: как он не имел сведений о соборах и о творениях св. отцов и почему считал семинарский курс “мертвящей схоластикой”? Бой о. Алмазова кончается тем, что (173) “красные в земстве остались побежденными”.

Полнейший недостаток этого турнира заключается, однако, не в петушьем азарте Алмазова и жалкой шаткости его аргументации, а в том, что автор позабыл о председателе съезда, который на основании точных законоположений о земстве, не мог бы дозволить таких прений, какие сочинили слишком красные земские с слишком мрачным “идеальным попом” ливановского покроя. Это равно той, “одной из тысячи причин”, по которым не звонили в колокола, встречая Фридриха, – причина была та, что “не было колоколов”, и ее одной, конечно, весьма довольно, чтобы не было звона.

И вот опять передышка: разбив “красных в земстве”, о. Алмазов учреждает приход, проповедует, учит и посещает с женою собратий своих. Вера Николаевна, которая, кажется, все знает лучше своего мужа, оказывается вовсе не знакомою с “сельскими попадьями”, из которых, однако, одна ссужала ее двуспальной кроватью для ночлега с супругом у его родителей. Неужто Вера Николаевна и тогда не поблагодарила даже эту добрую “матушку”, которая, уступив ей свою кровать, сама – чего доброго – перевалилась ночку где-нибудь на жесткой лавочке? Но (179) “Вера Николаевна была удивительная женщина! – замечает автор. – Ее живая, восприимчивая, легко волнуемая природа могла мгновенно увлечься и мгновенно превратиться из одного существа в другое, совершенно не похожее на первое” (?!), и она узнала “попадей”, и об ней заговорили: “ну, попадья!” Все от нее без ума, и совсем не

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
ведомо за что. Так все идет как по маслу, но вдруг опять задорины: “в сельскую школу врываются нигилисты”!

VI

Школа была превосходная: в ней “Алмазов занимался с мальчиками, – жена его Вера Николаевна обучала девочек”; а дома у них, вероятно, хозяйствовала экономка. О. Алмазовым “были выписаны картины священной истории Шнора и развешаны по стенам”, на что он, мимоходом заметим, едва ли имел право, так как картины эти, кажется, не одобрены для сельских школ. Вера Николаевна “завела рукодельную – первые работы детские положено было начинать с украшений для образов своего дома”, – “так шли дела”, как “вдруг недели через три приезжает в школу инспектор народных училищ”, который получил это место “по просьбе губернатора” за то, что был “исполнителем поручений губернаторши”. Чиновник министерства народного просвещения тотчас же столкнулся с о. Алмазовым, а потом, поговистив у Кашеваровой и повидавшись с Болтиным, “либеральный представитель министерства народного просвещения” предоставляет учительские обязанности нигилисту Болтину и нигилистке Кашеваровой и даже считает это “себе за честь”. Каждый, кто имеет хотя малейшее понятие о личном составе людей, служивших по министерству народного просвещения, легко может судить, насколько это типично и похоже на дело? – Алмазов летит в уездный город жаловаться па инспектора, но там ему отвечают: “Что делать – время такое”. Тут явная несообразность, потому что в уездном городе на инспектора жаловаться некому; Алмазов трогает губернский город: опять пошел в ход советник, и опять успешно: архиерей Хрисанф обещал “лично рассмотреть это дело”.

Меж тем нигилисты свирепствуют, и в школе царят ужасы: там водворился Болтин с собакою, которая постоянно лежит у его ног, и “сумасбродная женщина Кашеварова”: они встают и уходят не крестясь; дети забыли при них молиться богу, а между тем их хвалят в газете, издаваемой кем-то “с птичьей фамилией” (по скромности не сказано: Воробьев, Соловьев, Скворцов или Галкин). Это махинации Лужина, “мещанина из канцелярских служителей” (и чина такого нет). – “К этим убийцам детей присоединяется все враждебное Алмазову и даже бывший благочинный” (205)... Вот какое “народное развращение” (sic! 204) устроил инспектор! Но пока одно дело портилось, – другое налаживалось стараниями Алмазова (215): он скоро “поздравил Веру Николаевну с больницею в селе”... Точно император Вильгельм поздравляет императрицу Августу с разгромом Франции. А тем часом наезжает и архиерей Хрисанф, и наезжает без келейника, – и потому “и (218) особых хлопот по удобрению келейника не нужно”. Архиерей приехал просто и заговорил просто: “Вижу, что храм божий вы любите, но любите ли вы бога? Есть примеры, что люди строят церкви и украшают их, а все-таки плохие христиане” – “враги добра и любви”. Потом он зашел в школу, увидел там Кашеварову с ее скелетом (портрет Сеченова она, должно быть, сюда не принесла) и только что возвратился в губернский город, как Болтин с Кашеваровою были изгнаны, а школа опять перешла к Алмазову. Этот опять к советнику, с просьбою об открытии двух ярмарок в его приходе, с тем чтобы доходы от этих ярмарок употребить на постройку домов для священнослужителей. Об известном вреде ярмарок для сельских нравов о. Алмазов не подумал. Радением и, надо полагать, большим влиянием советника в губернии и это дело сделалось: Алмазов на доходы ярмарочных статей построил все дома и себе “построил еще две комнаты и украсил еще лучше дом, в котором жил” и в котором был намет с крестом над письменным столом в его кабинете. Потом он посылает “теплый возок тройкою” за своими родителями, чтобы они к нему переселились. Пономарь с пономарицею, взглянув на возок, заплакали, а когда сели и обложились подушками, проговорили: “Эко царствие-то небесное!” (224–225). Тепло старичкам показалось – и забредили. Покатили они “с колокольчиком”, что присвоено, нужно заметить, одним должностным лицам да почтовой гоньбе, и “70 верст было переехано”. В Быкове дряхлому пономарю вручают “устроить хор певчих”... Надо полагать: хорош хор мог устроить “старый пономарь”... Алмазова выбирают благочинным; священник Мансветов (опять известная фамилия) говорит речь, в которой (231) признается, что он жил “не потому, что жилось ему, а потому, что хотел и старался жить”. Далее (232) он же заявляет, что “лет сорок тому назад и десятой доли не причащалось, что ныне”. Автор, вероятно, не замечает, что, значит, дела идут не хуже, а лучше...

В новом положении о. Алмазов запирается в свой кабинет, садится под балдахин с крестом и пишет записку об улучшении быта духовенства в его благочинии, в котором, впрочем, и без того все быстро изменяется: “погребение бедного совершается точно так же, как и богатого; так и крещение, так и все; большая часть поборов по приходам упразднена; священники ни одной обедни не служат без

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
проповеди”, – словом, все поднимается и оживляется, “как по мановению волшебной палочки” архиеерея Хрисанфа. – В это время Вера Николаевна рождает отцу Алмазову дочь, которую крестят благочестивый Осокин и благочестивая же г-жа Скалон.

Здесь автор, может быть, невзначай, но очень верно и зло характеризует в лице г-жи Скалон все наше “дамское благочестие”. (Разумеется, если тут есть на кого-нибудь намеки, то мы не виноваты в этом ни перед одною г-жою Скалон, как и ни перед одною г-жою Кашеваровою) (238). “Супруги жили вместе лишь для соблюдения внешних приличий (г-н Скалон не любил г-жу Скалон). Жена сначала искала утешения в светских наслаждениях(?!), но когда расточительность мужа сделала их невозможными, она решила искать религиозных утешений”... Das ist eine alte Geschichte дамских коловращений, разрешаемых в смысле народной пословицы: “на тебе, боже, что нам не гоже”. Вера Николаевна избрала г-жу Скалон приемщицею своей дочери, тем более что муж ее на целых полгода уехал тогда за границу с своею фавориткой, одною модною разводкой, бросившей своего мужа. – Нигилизм в нашем русском обществе вступал уже в это время в “свой период”. Эти положения одно другого лучше: г-жа Скалон была избрана приемщицею, “тем более что муж ее уехал на полгода с разводкой”... Что это значит, – почему “тем более” можно взять приемщицею женщину, которую оставил муж? Что за почет такой жене быть брошенной мужем? Она, может быть, не виновата в этом несчастье, но во всяком случае почета для нее все-таки нет. Ну, а если бы муж г-жи Скалон не уехал, или если бы он уехал менее чем на полгода, или хотя и на полгода, но не с разводкою, то что же: г-жа Скалон тогда “тем менее”, что ли, могла бы годиться в приемщицы?.. Понимает ли г-н автор, что он говорит? Потом – этот нигилизм, вступивший в “свой период”. Но в чей же, как не “свой”, период мог вступать нигилизм, и чем нигилизм ответствен за разводы и за мужей, проматывающих состояние своих жен? Очевидно, г-н автор опять совсем не понимает, что говорит, если он числит браки и разводы по ведомству нигилизма. Известный русский нигилизм этим делом не интересовался, а особенно “в свой период”, когда люди этой школы били на упразднение брака, причем разводы, конечно, уже не нужны. Г-ну автору надо бы сколько-нибудь поближе знать: какое мнение имеет об этих вещах нигилизм? – тогда он не написал бы всех этих несообразностей. Но нежелание вникать в дело и неоправданная легкомысленность, позволяющая судить о бытовых явлениях, как говорят, “с кондачка”, заставляет автора говорить и еще большие несообразности, даже весьма вредные, если они малосведущим лицом будут приняты на веру. Так, например (240 и 241): по словам г. Ливанова, “наше юношество представляет из себя печальный тип разочарованного и ни во что не верящего сословия (?!) молодых старичков”... “И если вы не хотите погубить своего сына при этом направлении, то отдайте его в какой-нибудь германский университет, где разрушительные принципы нашего времени не жалуются” (sic). Автор, вероятно, хотел сказать “на разрушительные принципы не жалуются”, но сказал, что сами эти “принципы не жалуются”, – и он это хорошо сказал, потому что так око и есть: “разрушительным принципам?” по отношению к вопросам веры в германских университетах не на что жаловаться. Если бы г. Ливанов взял труд прочесть отчет берлинского генерал-супер-интенданта Бюкселя за 1875 год, – так он узнал бы, что там, куда он советует посылать нашу молодежь, “веры нет вовсе”, и нет ее до такой степени, что высшее духовное лицо страны в официальном отчете печатно объявляет об этом во всеобщее сведение, прибавляя, что “это напрасно было бы скрывать”. Вот куда г. Ливанов направляет нашу молодежь, – он шлет ее от нашего маловерия или слабоверия к самому полнейшему рациональному безверию и думает, что стоит за веру!.. Не значит ли это советовать людям – от дождя прятаться в воду?.. И как г. Ливанов не сообразил, что те самые Бюхнер и Фейербах, имена которых он теребит всякий раз, когда хочет назвать каких-нибудь ничтожных, не стоящих его внимания людей, – оба учились в тех самых “германских университетах, где разрушительные принципы нашего времени не жалуются”. Удивительно неосмотрительный автор!

Нет, мы германских университетов порицать не станем, но что касается их религиозного духа, то по поводу его можем высказаться, переменяв только одно слово в характерном ответе наших славянских предков: “не гоже нам искать веры в немцах”.

Большие ошибки допускает г. Ливанов не только по богословию и педагогике, но и по кулинарному искусству, которое изучается гораздо легче, – например (247), повествуя о похоронных обедах, он говорит: “после обеда ставят огромную миску и делают нечто вроде гоголь-моголя или жженки”... Г-ну Ливанову, по-видимому, совсем неизвестно, что гоголь-моголь и жженка готовятся совсем различными способами и вовсе одно из другое не похоже; да гоголь-моголь и не пьют после

обеда, а пьют его от кашля... Конечно, это упущение не важное, но все-таки: зачем же писать вздор? Разумеется, могло быть, что кто-нибудь на похоронных проходах промочил ноги и закашлялся, – ему сделали гоголь-моголь, а г. Ливанов обобщил это событие и легкомысленно внес его в свою серьезную книгу. Это ему урок.

Впрочем, вообще с г-ном автором к концу сочинения делается что-то совсем непостижимое: только что он оборвал г-на Скалона, кивнул неудачно на университеты и смешал гоголь-моголь со жженкой, как (247) вдруг ни с того ни с сего, без всякого права, берет за руку свободного человека, весьма почтенного старика, предназначенного к долгой еще жизни, и, не говоря худого слова, прямо толкает его в гроб. Такой жестокий и в то же время совершенно самовольный поступок (а может быть, это даже и преступление?) г. Ливанов сделал над бедным “стариком Власом”, который (247)

Ходил в зимушку студеную,
Ходил в летние жары,
Вызывая Русь крещеную
На посильные дары, –
и, таким образом, как оказывается, построил ту самую “быковскую церковь”, при которой г. Ливанов поставил попом своего о. Алмазова. Он и Власа сделал “членом попечительства”, и потом, как своего короткого человека, взял и прикончил его, – и все это единственно только для того, чтобы сделать похороны без обеда. Удивительный добряк!

“По провозглашении вечной памяти над могилою Власа о. Алмазов сказал: “Мы похоронили лучшего человека из прихода нашего” (249).

Но да позволено будет мне самым решительным образом утверждать, что достопочтенный Влас, о котором сказаны приведенные г. Ливановым четыре стиха, быковской церкви совсем не строил и никогда не был ни членом ливановского попечительства, ни их с о. Алмазовым прихожанином. “Влас – старик седой”, как очень многим людям достоверно известно, принадлежит совсем к другому приходу: его написал Н. А. Некрасов, который с г. Ливановым ничего вместе не строил; и г. Ливанов, собственно говоря, не имел никакого права определять куда бы то ни было чужого Власа, а тем более приканчивать его по собственному произволу и причитать над ним устами своего о. Алмазова.. Все это больше чем неделикатно, – это непозволительно больше, чем бесцеремонность с именами архиерея Хрисанфа, кн. Шаховской, Скалона, Болтина, Кашеваровой и других. Г-ну Ливанову, кажется, как будто даже неизвестно, что этого совсем нельзя делать в печати, и неужто он еще ожидает, чтобы ему было растолковано: почему этого нельзя? Это очень легко может быть не только растолковано, но и доказано.

И далее: схоронив Власа, без всякого на то позволения у Н. А. Некрасова, г. Ливанов так рисует “идеальное” русское почтение к памяти этого доброго крестьянина.

О. Алмазов сказал: “Не забудем никогда его могилы, украсим ее памятником”. И “скоро по подписке между крестьянами” и т. д. “воздвигнут был каменный памятник, выписанный из города”.

Вот и видно, что Власа и уморили и схоронили люди не его прихода: Н. А. Некрасов, редким чутьем чуявший русскую жизнь, конечно, не стал бы учреждать на могиле Власа “подписки между крестьянами” и не придавал бы своего легконогого старца “каменным памятником, выписанным из города”. Н. А. Некрасов, насколько мы его понимаем, ни за что бы не распорядился так не по-русски, – потому что все эти подписки и памятники – нашему крестьянству дело чуждое и никуда для нас не годное, – это нам не гоже, как вера германских университетов. Г-ну Ливанову надо бы знать, что скромному и истинно святому чувству нашего народа глубоко противно кичливое стремление к надмогильной монументальности с дутыми эпитафиями, всегда более или менее неудачными и неприятными для христианского чувства. Если такая претенциозность иногда и встречается у простолюдинов, то это встречается как чужеземный нанос – как порча, пробирающаяся в наш народ с Запада, – преимущественно от немцев, которые любят “возводить” монументы и высекать на них широковещательные надписи о деяниях и заслугах покойника. Наш же русский памятник, если то кому угодно знать, – это дубовый крест с голубцом – и более ничего. Крест ставится на могиле в знак того, что здесь погребен христианин; а о делах его и значении не считают нужным писать и возвещать, потому что все наши дела – тлен и суета. Вот почему многих и самых богатых и почетных в своем кругу

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
русских простолюдинов камнями не прессуют, а “означают”, – заметьте, не украшают, а только “означают” крестом. А где от этого отступают, там, значит, отступают уже от своего доброго родительского обычая, о котором весьма позволительно пожалеть. Скромный обычай этот так хорош, что духовенству стоит порадеть о его сохранении в простом, добром народе, где он еще держится; а не то, чтобы самим научать простолюдинов заводить на “божией ниве” чужеземную, суетную монументальность над прахом. Но последуем еще за нашим новатором.

VII

Схоронив у себя некрасовского Власа, о. Алмазов (255) уничтожает “мзду, неприличную при исповеди”; ведет борьбу против церковного канцеляризма; отменяет (258) и другие поборы и в то же время воюет и с нигилизмом и с расколом. Умирает в пьяной дебоши помещик Жигалов (268): “Алмазов отказал в христианском погребении тому, кто не хотел ни жить, ни умереть по-христиански”. Эту строгость он соблюл беспрепятственно, и пошел потом на раскольничьего попа; но раскольничий поп, с которым заговорил о. Алмазов (272), “повернулся к нему спиной и отвечал, что “внимания не возьмет с ним и разговаривать”. Впрочем, и тут дело устроилось: о. Алмазов помолился (279), и “господь услышал его молитву; этого подлеца (sic) схватили, связали веревками и отправили к жандармскому”.

“Слава богу, – проговорил священник”.

Потом опять настает отрадная тишина; жена о. Алмазова этим временем учреждает сельских “больничных сиделок” (281), а муж ее действует на пожаре. К ним приезжает врач Гедеонов (снова известная фамилия); Гедеонов с приезда долго “все кланялся”, а когда увидал одно прелестное создание, Лидочку Осокину в платье из белой кисеи в розовом, с открытым лифом и короткими рукавами и голубым фартучком, довершавшим впечатление (283), его сейчас же “ошеломило”, и он влюбился по всем правилам романической теории. Пошли шептать листья и “струиться стоячие воды” в пруде, влюбленный как бы осатанел и пришел в такое состояние, что “бревном вдребезги окно разбил” на пожаре. “У Лидочки дух замер при этой героической картине доктора”, а “доктор и священник” все еще геройствуют “в огне и в воде”. Потом они помогают погорельцам (из попечительства дали 300 р. да своих о. Алмазов ссудил 500 р.), а чтобы вперед было лучше, они учреждают сельский банк и гостиный двор. И все это не только удается и сплет “как по мановению волшебной палочки архиерея Хрисанфа”, но и нимало не утомляет досужую Веру Николаевну. Она улаживает также “дело двух горячих сердец”, то есть Лидочки и Гедеонова, и улаживает так ловко, что видевшие ее ранее этого “сельские матушки”, как видно, недаром восклицали: “ну, попадья!” Читая некоторые сцены, как эта “матушка” сблизает влюбленных, действительно не знаешь, что иное и сказать, кроме как: “ну, попадья!” или: “ну, сваха!” В октябре вся эта честная компания влюбленных и их руководителей уже пошла “гулять по гостиному двору” и закупать покупки.

В этой счастливой полосе жизни о. Алмазова в село приезжает молодой прокурор – сын Осокиных, Леонид (294), “с министерской выправкой в движениях своих”. Что это такое за “выправка”? По превосходному критическому этюду покойного Н. Ф. Павлова – это что-то противное. То ли хотел сказать автор? Кашеваровы было сунулись к Леониду, но молодой юрист уже вошел во вкус своей “выправки” и отдал приказ “никого не принимать”. О. Алмазов говорит проповедь. – Вера Николаевна “показала себя во всем блеске своего ума” (297), и прокурор с ними сблизился, – что им вскоре очень пригодилось. “У нигилиста Болтина родился ребенок от Кашеваровой, которая работала над каким-то великим вопросом, что не мешало ей, однако, родить и ребенка” (298). Трудно попятить: почему автор считает “великие вопросы” помехою чадородию? Нигилист с нигилисткою, каких невозможно встретить в природе, зовут о. Алмазова крестить новорожденного, но только так, чтобы он таинства не совершал, а “записал в метрики”. Это выходит так нескладно, что не разберешь, кто здесь кого вышучивает или дурачит; но Алмазов, разумеется, отказался, и тогда происходит нижеследующая ни на что не похожая нелепость (300):

“Через полторы недели после этого состоялось крещение новорожденного: приехали какие-то две темные личности, вызванные письмами, один из Москвы, другой из губернского города, – шаршавые, грязные, с очками на носу и в поддевах крестьянских... Вечером состоялось у них крещение ребенка. Устроили женку из вина и в вине крестили ребенка... “Это так делают наши русские в Швейцарии”, – говорил один из шаршавых пропагандистов, погружавший в вино ребенка”...

“Вместо молитв таинства крещения этот шаршавый, при погружении в вино ребенка (автор твердо стоит на том, что было погружение, а не обливанство, произнес следующую речь:

– О ты, новая единица в государстве! Отселе я крещая тебя во имя свободы, на попрание тирании правительственной! Возрастешь – бей, ломай все, пока не будешь свободен, как птица в небе.

– Аминь, – затащили хором нигилисты и начали пить жженку”.

Нельзя не признаться, что это ни на что не похоже и совсем не отвечает ни нравам, ни стремлениям того сорта людей, которых г. Ливанов желал иметь в предмете, забывая, что люди этого сорта игнорируют государство и потому не станут говорить о “новой единице в государстве”. Невозможно же ведь этак представлять “бытовую” сторону, совсем не понимая быта. И потом: если нигилистам-родителям была нужна только запись новорожденного, то на что же им вся эта процедура с выпискою “двух шаршавых” для погружательного крещения ребенка в вино? Кто сказал автору, что это так делается?.. Смеем его уверить, что он кругом обманут: людям, которых он желает изображать, все равно, – крестят ли их детей или не крестят. Если бы Кашеварова с Болтиным отвечали о. Алмазову, например, так: “пожалуй, окуните его, если это вам кажется нужным, – нам это все равно, и ребенку тоже”, – то это было бы гораздо более похоже на нигилистов; а теперь это просто нелепость, которая делает смешным не Кашеварову с Болтиным, а г. Ливанова, измыслившего такой вздор, как погружательное крещение в жженке.

Сряду после этого описано, как нигилисты закричали: “Долой попов, долой начальство! Отнимем у всех подлецов капиталы и земли”, но “дверь открыли, и вошел жандармский офицер с четырьмя жандармами”. “Скрутили веревками паршивое стадо и, посадив на телегу, повезли прямо в острог”. Прежде окунали ребенка в вино, что мало вероятно, потому что для этого нужно очень много вина и великую посуду, а теперь целое “стадо” с четырьмя жандармами увозят на одной “телеге” (301)... Это совсем что-то вроде римского огурца, который был с гору величиною. Хорошо ли идти с такими речами через мост или лучше поискать броду?

В последнем периоде книги с карикатурною важностью описывается “настоящий русский вельможа”, сенатор Обручев. Он приезжал в деревню “великим постом”, то есть именно тогда, когда все наши “вельможи” по преимуществу бывают в столице и в деревнях помещику нечего делать; к Обручеву вбегают становой (303) с радостною вестью, что ему предписано “взять кашеварову”. “Отлично!” – говорит вельможа и произносит речь против “новых идей”. Речь эта велика и, вероятно против воли автора, свидетельствует о большой ограниченности вельможи, который полагает, например, что (303) “мы затоптали в грязь патриотизм”, а лучшее средство себя исправить – нам остается (306) “скинуть шапку и поклониться” Пруссии, которая, по мнению автора, есть во всех отношениях “первое государство в мире”, а мы “ташкентцы”. Но говорящий все эти вещи “настоящий русский вельможа”, к нашему счастью, лицо не действительное, а вымышленное, что и доказывается такою его несведущностью в делах (309): он хочет, чтобы о. Алмазов (построивший в это время еще приют для нищих) был “оценен по достоинству” и говорит: “если владыка будет бесилен в этом, я в Петербурге у святейшего синода за долг почту силою выхлопотать награду, вполне достойную вас”. Он силою выхлопочет у синода! – Это недурно придумано г. Ливановым. Только не напрасно ли этот сильный заранее хвалится своею силою? В повествовании, однако, его “сила” взяла: Алмазов получает наперсный крест, и Вера Николаевна, всегда делавшая все чрезвычайно вовремя и к стати для своего мужа, и на этот раз является столь же догадливою и угодливою: она (310) “вдруг умерла”. Укорить ее в этом совершенно невозможно, так как она уже все поприделала, а мужу ее нужна другая карьера. Кроме того, смерть ее дает повод к изображению самых душу разрывающих и в то же самое время комичных сцен. Собрались “целых 12 священников” и множество людей; “все обливались слезами, – никто не осушал слез своих... голоса клира обрывались... отпевание прерывалось” (312). “вечную память запел клир, и снова голос у всех оборвался... Все священники несли на плечах своих гроб”, и так “свершилось”... И чуть это свершилось, сейчас же являются на сцену советник и архиерей Хрисанф, и участь о. Алмазова решена: владыка ему указывает: “идти в академию и быть архиереем” (313). “Эта мысль окрылила Алмазова; он вдруг понял, что смерть жены была угодна богу именно для того, чтобы открыть ему новую дорогу в своем отечестве”... Теперь этот доблестный деятель называется Агафангелом: об нем уже “заговорили” (317), и “он в недалеком будущем на дороге к архиерейству”. – Вот чего современному, идеальному священнику указывает желать г. Ливанов... Но

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
действительно ли такой просpekt жизни столь заманчив, и действительно ли
современные нам священники способны им так энергично “окрыляться”?

Мы постараемся это проверить, сколько то позволяет нам сумма наших наблюдений.

VIII

Хроника кончена: “идеальный священник” совершил все, что хотел, и теперь он на новой дороге – в новом положении, которое даст автору возможность написать новую хронику о том, что учредит Агафангел, сделавшись идеальным архиереем. Это очень интересно. Прежде всего, конечно, о. Алмазов (ныне Агафангел) захочет с архиерейского места видеть повсеместно осуществление тех идеалов и той жизнедеятельности, образцом которых был он сам на месте приходского священника. Это будет как нельзя более правильно, последовательно и законно; но совсем другой вопрос: будет ли это благоразумно и удобоисполнимо?

Над этим позволим себе на минуту приостановиться и подвергнуть благонамеренную деятельность идеального священника самой краткой критической оценке.

Если статья эта попадет как-нибудь в руки самого автора утопии, названной “хроникой”, то я лшу себя надеждою, что он не посетует на меня за одно – это за изложение содержания истории о. Алмазова. Не касаясь искусства и художественности, которых вообще в этой истории нет даже слабого признака и намек, я извлек из убористо напечатанной книги г. Ливанова все главные положения его сочинения и представил их в кратком изложении, позволяющем каждому читателю иметь общее понятие о хронике, рассказанной на 317 страницах. Все главное здесь сохранено, кроме деталей, сколько утомительно скучных и неискусных, столько же и не важных для суждения об изображенном идеале.

Я говорю не о хронике как о литературном произведении, а об “идеале”, потому что подобные идеалы предносятся, как мне случалось наблюдать, весьма многим утопистам.

Прежде всего, чем страдает этот идеал, заключается в том, что для осуществления его нужна “волшебная палочка”, без которой никакой обыкновенный смертный в положении сельского священника не мог бы настроить все то, что настроил о. Алмазов. С этим, я думаю, легко согласится всякий, кто хоть мало-мальски знаком с условиями быта русского сельского духовенства. Господин автор хроники, или, как мне кажется, правильнее сказать, утопии, не раз говорит, что теперь настало время такого “типа священников”; но изображенный им Алмазов совсем не тип, а если уже его надо считать типом, то это скорее тип своего рода фаворита, или баловня судьбы, которому во всем счастье и удача, не по разуму и не по заслугам, а именно счастье “слепое”.

Начнем с начала: он учился в семинарии, по-видимому, не совсем хорошо. Хотя он и оканчивает курс, по словам автора, блистательно, но он, однако, не знал истории вселенских соборов и был совсем незнаком с творениями св. отцов. Значит, он был и не особенно сведущ, и не отменно внимателен и прилежен, и совсем не любознателен. Словом: как бы его автор ни нахваливал, как выводного коня, мы не видим в нем типа лучшего из семинарских студентов, которые, к счастью их, вовсе не таковы. Со стороны характера он являет какую то плюгавость, низводящую его, студента, знакомого с философскими и богословскими науками, на степень мальчишки, подпадающего под руководство молодой гувернантки, “институтки Николаевского института”, которая командует им как хочет, что и неприлично и неудобно для священника. Но, к счастью, такая смешная во всем покладливость совсем не в натуре умного семинариста, с успехом прошедшего свой довольно серьезный курс, который во всяком случае никак нельзя равнять с курсом женских институтов. Жена из институток может возобладать над мужем в своем домашнем обиходе – что и случается; но она не может учить и “развивать” мужа-священника, хотя бы и не академического воспитания. Какова бы ни была институтка, – ей нечего сказать семинаристу в его научение, ибо он и старше ее летами и опытнее, потому что по преимуществу прошел тяжелую школу жизни, и уже, конечно, несомненно учение и начитаннее. Если же последнее и не так, – то есть если бы у институтки перед семинаристом и оказался некоторый преизбыток начитанности, то эта начитанность по существу своему не может быть важною в такой степени, чтобы за нею признать преимущества. Это доказывается и самую хроникой г. Ливанова, потому что и его институтка, взявшись за развитие молодого богослова, не нашла ничего другого сделать, как только предложить ему чтение Пушкина, Лермонтова и Тургенева – писателей, конечно, очень хороших, но зато и небезызвестных каждому

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru семинаристу. Притом же, ничего не отнимая от заслуженной славы этих художественных писателей, никак нельзя согласиться, чтобы чтение их сочинений было существенно важно и необходимо для человека, приготавливающегося к пастырскому служению. Такое чтение может служить в известной мере к облагораживанию вкуса – и только, от пастыря же церкви требуется еще многое другое, чего чтение Пушкина, Лермонтова и Тургенева раскрыть и развить не может. Нигилисты, за которыми так тщательно следит повсюду г-н Ливанов, в этом случае гораздо искуснее и систематичнее: их пресловутые “пять хороших книжек”, которые, по мнению одного автора этой школы, достаточно прочитать, действительно могут давать воспринявшему их мысли человеку известную определенную окраску. Сочинения же Пушкина, Лермонтова и Тургенева – особенно в его последней манере, едва ли могут даже подгрунтовать молодого человека таким образом, чтобы к нему пристали колера, какими хотел г. Ливанов живописать идеального священника.

Так шаток этот “идеал” в его прототипе со стороны его обхождения с наукою и литературою.

Еще шатче и жалче он перед женщиною: на многих страницах хроники институтка Николаевского института делает с этим богословом что хочет: она его не только “развивает”, но она сама его на себе женит... Может быть, это произошло от незнакомства автора с институтскими типами или от иной его неловкости, но только начертанная им институтка Николаевского института является в весьма странном и неприятном для скромного взгляда виде. Начиная с ее соображений насчет благонадежности семинарских студентов со стороны их физической сохранности до привода Алмазова к решимости послать ей через маленького семинаристика записку с признанием в любви – все это говорит о недостатке в ней скромности и стыдливости, составляющих лучшее украшение молодой девушки. Чтобы жениться на такой непосредственной особе, надо иметь или много смелости и отваги, или всякое отсутствие опыта и полное неведение о настоящих качествах, которые должна иметь добрая подруга человека вообще и жена священника по преимуществу. Идеальный Алмазов ни над чем этим не задумывается: он женится и является здесь не рассудительным молодым человеком, а влюбленным простофилюю, или – как Гоголь говорил – “фетюком”. По хронике выходит, что о. Алмазов, женись таким отчаянным манером, не был, однако, несчастлив, но это только потому, что в хронике нет ничего живого, потому что в ней не показано никакого развития и столкновения характеров супругов со встретившею их жизнью в приходе, а просто расписано – кто что должен сделать по авторской затее. Немало удивительного тоже представляет собою и самая склонность институтки к семинаристу. Конечно, само по себе это явление весьма редкое, и г. Ливанов сам в одном месте хроники очень справедливо говорит, что “светские девушки” не любят делаться “попадьями”, и оспаривать этого никак невозможно. Доля сельской “попадьи” во всех отношениях так непривлекательна, что не может в молодой девушке возбудить охоты посвятить себя этой бедной и полной тревог и лишений жизни об руку с человеком, для которого закрыты многие удовольствия, имеющие столько заманчивости для девицы “светского круга”. Преимуществ ума и высоты характера в Алмазове до женитьбы не видно – напротив, невеста, прежде чем женить его на себе, сама его развивает и доучивает, она даже и любить-то сама его научивает. Стало быть, и с этой стороны он ее ничем пленить не мог. Остается думать, что в этом случае, вероятно, всего сильнее и неотразительнее действовала на девушку привлекательная наружность о. Алмазова да те рассудочные соображения о свойствах семинаристов, которые ею заимствованы от кн. Шаховской; но мы, благодаря предупредительности г. Ливанова, увидим, что и это предположение места иметь не может.

Женив на себе Алмазова по собственному, довольно оригинальному способу, бывшая институтка делается сельскою “попадьею”, и с чего же она начинает? Прежде всего она спит под шелковым одеялом, не оставляя этого одеяла и занавесок даже на переездах, в тесной хате мужниных родителей. Это ей так необходимо, что она не конфузится, когда бедные старики, ради ее спанья под шелковым одеялом, сами удаляются из дому зимой на погребницу, чтобы не помешать невесткиной двуспальной постели... – Нет, – она даже не замечает этого нескромного и неделикатного поступка, а между тем она будто бы так ушла вперед, что уговаривается вести переписку с ректором, которому она только представлена и у которого с нею нет ничего общего. Не наглость ли это, достойная выскочки и озорницы? Дальше: она одевается в будуаре, играет на фортепиано, строит школы, больницы, гостинные дворы в селе, участвует в учреждении банков и приютов, и все это необыкновенно удачно, без всяких препятствий – без крючка и задоринки, как и следует при содействии “волшебной палочки”. Автор ни на минуту не остановился перед тем, что значит завести банк, – как его фонтировать и какие дать ему операции? Какая

институтка это сделать в состоянии? Также и другие навязанные этой женщине дела разве могут так легко зреть, как легко их выдумывать “под балдахин”? И замечательно, что во всех этих неудобноисполнительных чертах Вера Николаевна действует, как говорили известные нигилистические писатели, “по направлению”, а не по душе, не по побуждениям сердца, не по влечению благодатной природы, которой в ней нет никакой возможности уследить и заметить. Везде-то она появляется, делает очень трудные дела, которых не сделала еще ни одна “попадья”, и сейчас же исчезает. Некоторый проблеск совести и природы в ней замечается только при двух эпизодах: это когда она женит на себе семинариста, и потом, когда она женит на Лидочке доктора; но и тут в ней замечается только некоторая способность ловить мужчин в женские тенета, и то самого неприхотливого плетенья. Вот в этих постройках и учреждениях и весь ее ум. Ни ее начитанности, которая бы обнаружилась в разговорах, ни благородства характера, который бы показал себя в борьбе с враждебными условиями жизни, ни живой веры, кротости и упования, которые так возвышают нравственный облик женщины, – мы в ней не видим вовсе... Замечательно, что она даже вовсе не говорит о боге, даже хотя бы в той степени, в какой приятно жить в сообществе с человеком, проникнутым идеею служения божеству. Нет, она и в этом даже более ценит экономическим заботам и соображениям о сохранности семинаристов – с точки зрения, открытой ей кн. Шаховскою...

И вот это-то будто бы “идеальная представительница духовных женщин”!.. Сохрани боже!

“Духовная женщина”, или, проще и яснее говоря, жена священника или дьякона у нас поставлена неприглядно: это правда. Если сравнить нашу сельскую “матушку” с женою протестантского пастора из сельского прихода, то разница будет громадна и всю свою несоразмерность обозначит не в пользу наших матушек. Так дело стоит с вида, и таково оно благодаря различному отношению к духовенству самого общества, принадлежащего к тому или другому вероисповеданию. Положение пасторши сравнительно много лучше, и сами они много образованнее наших матушек и держат себя лучше – приятнее на вкус образованного человека, и притом очень сообразно своему положению. У нас это бывает иначе: наши “матушки” или очень просты и годны только для хозяйства, чадородия и чадолюбия, или же они желают быть “дамами”. Роль первых более чем скромна, и ни одну из них нельзя укорять, что они не строят в селах гостиных дворов и школ и не учреждают банков, а только домовничают, да и то с нуждою и с горем. Это совсем не значит, что все они или большинство из них – женщины тупые, эгоистические и узкие, – совсем нет. Кто из людей, знающих домашний быт нашего сельского клира, не знает там превосходящих по душе и по характеру женщин? Что до меня, то отвечаю, что их встречал, и знаю, и с самых ранних лет жизни любовался высоким нравственным изяществом такой попадьи, какую я старался воспроизвести в жене Туберозова в “Соборях” и в дьяконице Марье Николаевне в “Захудалом роде”. Мне кажется, что нет мирнее и прекраснее сорта русских женщин, как хорошие женщины из нашего сельского духовенства, но их, конечно, очень трудно описывать, потому, что они по преимуществу олицетворяют собою известное положение, что “самая лучшая женщина есть та, о которой нечего рассказывать”.

Но почему же во всей русской литературе так редко встречается в необезображенном виде сельская попадья или дьяконица? Почему их любят изображать робкими, застенчивыми, угловатыми, неловкими, даже неряхами и тупоумными дурочками? Потому что берут для описания одно кажущееся, одну внешность, а не скрытое от глаз духовное богатство, которое иногда бывает очень велико, и все оно изживается дома, у припечка. Такая попадья не мечется подобно Вере Николаевне Алмазовой, потому что она умна, она видит свое положение и на всякие возбуждения может коротко отвечать: “мал мой двор – тесна моя улица”, – буду лучше “дома смотреть”.

И они “смотрят дома”, и как зорко, как многополезно они смотрят! О, что бы случилось в бедном сельском домике на поповке, если бы руководящая им хозяйка стала жертвовать своими прямыми обязанностями жены, матушки и хозяйки тем широким и непосильным для бедной попадьи затеям, которыми соблазняет ее г. Ливанов. Но г. Ливанов и сам это предвидел, и для того он и дал своей “идеальной” сельской попадье пять тысяч рублей приданого, фортепиано, фазтон, возок, тарантас, тройку выездных лошадей и постель с пологом и шелковым одеялом, да еще вдобавок ко всему – дядю из советников, с которым архиерейской лакей раскланивается “как с старым знакомым” и который – о чем ему ни черкнуть, все сейчас так и повернет, как его просят... Конечно, “хорошо тому жить, кому бабушка

ворожит”, но много ли сельских попадей в таком положении? И даже... позволю себе усомниться: есть ли хоть одна из них, которая была бы так выгодно обставлена, что ей только и дела, что фантазировать, удивлять, сватать и учредить все на стороне для благополучия ближних? – Нет таких, да и быть их не может, именно потому, что наше сельское духовенство в большинстве очень бедно, и приданные пять тысяч рублей в духовном быту большая редкость, да и то не в селах. Без средств же попадье впору думать только о муже, о детях и о домашнем хозяйстве, и если она это делает как следует, то... она делает свое дело, и спасибо ей. Тогда успокоенный ею муж будет спокойно совершать свое трудное служение, находя дома отдых и одобряющее слово участия, ее дети будут расти досмотренными, в добром правиле и добром здоровье; ее дом будет светел и чист, и все знающие ее станут называть ее “матушкой” с чувством истинного почтения. – Вот что нужно прежде всего, а остальное все будет и произойдет, когда к тому на русской поповке явится возможность, зависящая от других, очень серьезных причин.

Г-н Ливанов слишком опасный новатор: он с своею хроникою взмывает женщин духовного сословия точно так, как взмывали ее известные романисты той школы, которую сам г. Ливанов называет нигилистическою и подвергает ожесточенному преследованию. И тут, как и там, женщина была соблазняема эффектною грандиозностью общественной деятельности и отрывается от дома и от всех ближайших занятий, составляющих ее основное призвание. На женщину опытную и искушенную жизнью это, конечно, не подействует, но молодые матушки и подрастающие их дочери, бог весть, может быть и способны увлечься примером Веры Николаевны, который так же соразмерен, как пример Веры Павловны из романа “Что делать?”, с тою разницею, что там все сделано без сравнения умнее и занимательнее. Но план один и тот же.

К чему же это, однако, может пригодиться? – к тому ли, чтобы напрасно взволновать покой молодой девушки или молодой попадьи возбуждением в ней бессильных желаний строить гостинные дворы в селах и делать другие несообразности, или к тому, чтобы внушить молодым людям, что они должны стараться жениться только на институтках Николаевского института с приданными не менее пяти тысяч рублей и с случайными людьми в родстве? Прекрасно; но тогда что же ждет бедных девушек из духовенства, у которых нет ни пяти тысяч рублей, ни дяди советника, знакомого с архиерейским лакеем? Улучшилась ли или ухудшилась бы их участь, если бы проводимая г. Ливановым тенденция возобладала? Не позволительно ли его спросить:

Кто ты – их ангел ли спаситель
Или коварный искуситель?

По-моему, он действует как змий, соблазняющий скромных Ев нашей сельской поповки, и совет его не опасен разве только потому, что он очень нелеп.

Что же касается до другого вида наших матушек – матушек-“дам”, которые принадлежат к городским обывательницам, то о них г. Ливанов рассказывает много дурного, и, кажется, не совсем несправедливо. Но во всяком случае они как, по уверению г. Ливанова, не хотят слушать своих мужей, так точно не захотят читать и книгу г. Ливанова. Этих “дам”, которые от одного берега отбились и к другому не пристали, ничто не переделает и не исправит. Но, быть может, большая или меньшая суетность этих “дам” в сегодняшнем строе жизни городского духовенства еще и не самое тяжкое зло, какого можно ожидать от них, если бы ими овладела страсть к общественной инициативе. Г-н автор, вероятно, не знает, что примеры в этом роде уже есть и что злополучные мужья-священники, имеющие несчастье видеть это метание своих половин, весьма охотно помирились бы с “меньшим злом” в жизни, то есть с обыкновенною женскою суетностью, которая по крайней мере хоть с годами проходит или изменяет сколько-нибудь свой острый характер, между тем как реформаторское метанье закруживает голову так капитально, что она уже никогда не в состоянии раскружиться. И сия вещь горше первых.

Русскому священнику нет никакой нужды в жене с общественною инициативою: в молодых, да и в не совсем молодых, современных русских духовных лицах очень достаточно доброй инициативы, – им нужны в женах разумные, добрые подруги на их весьма часто тернистом пути, а такими подругами бывают женщины сердечные, которые водятся в жизни не теоретическими рассудочными соображениями, а побуждением горячего чувства. Оставьте священнику хоть этот угол, где он может отдохнуть усталою головою и взволнованным, сердцем от тревог и унижений, которых так много на его житейской тропе.

Мне весьма не хотелось бы, чтобы мои слова были поняты так, как будто я считаю несовместным с положением жены священника более широкого образования и более широкой деятельности, – совсем нет: я не хотел бы только на моей родине, особенно в бедных ее селах, таких “идеальных матушек”, как та, которая изображена г. Ливановым. Я не считаю удобным для священника этих инициаторш, подобно ей выдвигающихся везде на первый план и как бы стушевывающих мужа. Скромная женщина, которая только дала бы “святой покой” мужу, священнику гораздо полезнее этих учредительниц и строительниц, свах и музыкантш, “исполняющих труднейшие пассажи” и нуждающихся в отдыхе под шелковыми одеялами. Словом, я расстанусь с Верой Николаевной без малейшего сожаления и не понимаю, для чего так страшно плакали о ней несшие ее гроб двенадцать священников? Мне кажется, им бы надо было бояться, чтобы и их жены, увлекшись ее примером, не захотели строить гостинные дворы и банки, а им, своим мужьям, запрещать брать “неприличную мзду” за требы. Чем бы они, бедные, стали тогда жить и в каких фаэтонах скакать в погоню за нигилистами? Худо было бы этим двенадцати священникам, если бы все их жены начали тоже строить...

В оправдание автора, который вздумал соблазнить женщин русского духовенства таким неподходящим типом, можно сказать только одно, что новый положительный тип молодой женщины, находящейся в замужестве за священником, в наше время не выяснился: он еще вырабатывается среди многообразных и, смею думать, благотворных движений в бытовой жизни клира; но в таком случае, пока он не обозначается, незачем его и измышлять и описывать, потому что всякое измышление не будет тип, а будет выдумка, и если она неискusstна, то из нее выйдет карикатура, – что и вышло из “идеальной попадьи Алмазовой”.

Теперь поговорим о самом муже, которого эта догадливая женщина “окрылила” своей смертью, и взвесим, по возможности, тяжеловесные достоинства этого идеала.

IX

Отец Алмазов гораздо проще своей жены. Нужно заметить, что эти супруги похожи не на живые лица, а на марионетки, двигающиеся по разводам, сочиненным автором для выражения его планов. Но в жене о. Алмазова есть по крайней мере еще нечто свое (хотя и нехорошее). Это – известная развязность, юркость и кокетство довольно дурного тона. Но в самом “идеальном священнике” нет и того; он уже совсем автомат, действующий без всякого подобия живого человека. Автор сочинил ему проповедь, – он говорит; назначил ему построить то и другое, – и он все это строит; завел его ссориться с “взбалмошною нигилисткою Кашеваровою”, – и он ссорится; поставил его на молитву, – он молится, и бог будто слушает его молитву, вследствие которой являются жандармы и вяжут и нигилистов и раскольников. Словом, как все это намечено автором по плану его утопии, так все и делается, “как по повелению волшебной палочки”. От этого тут нет ничего живого – ни следа драматического развития даже и в тех положениях, которым автор нарочито усиливается дать драматический характер. Только порою они оживляются тем, что переходят в смешное, как, например, когда о. Алмазов едет в возке, обращаясь в тарантас, когда он поет тропарь в виду скелетов и портрета Сеченова, когда по его молитве вяжут его врагов, или когда двенадцать священников несут гроб его жены и льется море слез, а петь никто не может. Своей инициативы, знания действительных нужд народа и сельского неустройства нет вовсе. Из мужиков, которые вчера были грубияны, кляузники и пьяницы, – в три года являются люди, вошедшие во все главнейшие фазы цивилизации. Это не повествование, а фокус, и в этом случае немецкий поэт Гейне гораздо обстоятельнее нашего автора: тот говорил, “что мужика прежде всего надо вымыть”, а о. Алмазов так идеален, что возгнушался этой заботы, и, строя гостинный двор, по которому глубокою осенью гуляла его жена, он не вздумал даже построить в селе сносную баню, которая на первый случай была бы гораздо необходимее гостинного двора. Но ему все равно, и о соображениях его и способностях нельзя судить по его постройкам: если бы его село было при море, он бы построил и маяк и сам бы зажег его светоч; если бы не умерла его жена и он не “окрылился” бы затем в архиереи, то он построил бы полицию и каланчу для надзора за тайными движениями нигилистов, – словом, это своего рода “белый бычок”, сказка про которого может быть и докучна и бесконечна. Ценить его не за что, потому что он не являет никаких личных сил, обнаруживаемых в борьбе, а автор делает им какие хочет ходы на доске – и только, и Алмазов послушен ему, как пешка. Весь он построен на вздоре – на случайной женитьбе с приданым, а отнимите у него это приданое, и сам он тотчас же обращается в совершенный вздор: ему не на что будет строить постройку, одолжать погорельцев, ездить то в возке, который оказывается тарантасом, то в фаэтоне, который, надо заметить, совершенно неудобен для езды

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru по проселочным дорогам. Все дело в этих деньгах, и без них не могло бы быть ничего описанного в этой истории. Без них сей “идеальный священник” был бы очень прост: он ездил бы в простой кибитке, сидел бы не под балдахином с крестом и, разумеется, брал бы преблагополучно “неприличную мзду” за требоисправления, и, может быть, вышел бы через это лучше. Занятый работами, он не мешался бы в несвойственные ему полицейские дела, думал бы больше о своем поле, не молился бы о наказании раскольников и нигилистов и не дерзал бы комментировать суды божьи, как он сделал это, когда (313) “вдруг понял”, что жена его умерла “именно для того, чтобы открыть ему новую широкую дорогу”. (Бедная жена!)

А потому о. Алмазов не разбираем и не судим: этот автомат как был, так его и нет; но за него должен быть судим автор, стремления которого представляют непостижимую путаницу. Против чего он ратует, за что хочет стоять? В начале хроники можно подумать, что он самый крепкий консерватор церковных порядков in status quo; [11] он заявляет довольно прямо, что не любит новаторов, – но это не так. Оказывается, что он сам тоже хочет обновления, но только не в том спокойном духе, в каком оно уже и совершается в епархиальной жизни почти по всей Руси. Нет, – он хочет реформ с судорожным метанием за нигилистами, в союзе духовенства с жандармами и прокуратурой.. Подумал ли автор и его герой и героиня: коего они духа? Читая, как его “идеальный поп” отрекается от доходов за себя и за своих церковников, которые его к тому не уполномочивали, вы можете подумать, что он либерал и друг народной нравственности, – но и это не так. Автор не медлит опровергнуть это мнение удачными хлопотами об учреждении ярмарок, служащих местом разгула и разврата. Автор – против эмансипации женщин, но его попадья сама эмансипирована в весьма дурном смысле, потому что она порою доходит даже до изрядного бесстыдства, к которому отнюдь не ведет здоровая эмансипация. Автор обличает беспорядки архиерейских домов, и в то же время успехи своего героя у архиерея Хрисанфа ставит в зависимость от случайного знакомства с ним дяди своей жены – местного губернского советника; он после обличения архиереев не без некоего прозрачного намека указывает на правило древней церкви... и потом говорит, что нужны архиереи-монахи, к чему и доспевает его “окрыленный смертью жены” герой; он много пишет о звоне в колокола во время архиерейских переездов по городу, делает по этому случаю разные намеки и вообще смеется над этим, а между тем без крайней необходимости и к явной несообразности (316) заставляет звонить в колокола сельской колокольни, когда уезжает в своем фаэтоне овдовевший священник Алмазов (тогда еще даже и не Агафангел). Чего ради случилась эта невозможная нелепость – даже и понять нельзя. Могли ему все “кланяться в ноги”, могли “две версты” бежать за его фаэтоном, “запряженным почтовыми лошадьми”, – все это утрировано, но еще, пожалуй, возможно; но звонить в колокола... Чем он мог внушить людям такую дикую фантазию, – разгадать так же мудрено, как то, чем он внушил глубокую, по-видимому, страсть практической институтке Николаевского института. Всеконечно, он имел в себе что-нибудь такое, внушающее к нему и особенную любовь и особенное почтение: в тексте книги это, правда, не усматривается, но к экземплярам книги прикладывается отдельная виньетка, где в ярко-красной кайме помещен “портрет студента Алмазова”. – Но это довольно грубо исполненное политипажное изображение замечательно только некоторым сходством с портретами г. Ливанова. Не в этом ли сходстве должно искать причину, почему ему начали звонить еще прежде, чем он сделался архиереем?

Что-то будет после?

Х

В заключение еще два слова о необыкновенном литературном приеме с именами архиерея Хрисанфа, разъезжающего с визитами к дамам; кн. Шаховской, “по опыту” полагающей аттестацию сохранности мужчин из духовенства; “сумасбродной женщины-нигилистки Кашеваровой”; дурного мужа Скалон, Болтина и других... разве это позволительно в какой-нибудь стране, где известны хотя мало-мальски литературные приличия? Что сказал бы г. Ливанов, если бы в печати появилась бы какая-нибудь грязная история и героем ее был выведен человек, носящий его фамилию?.. Надо думать, что это ему было бы несколько неприятно, и он имел бы полное право назвать это большою неделикатностью и даже грубостью. И это и есть большая неделикатность, которую весьма бы желательно вывести из обычая.

И, наконец, о выходке по поводу портрета Сеченова: неужто г. Ливанов серьезно думает, что портрет профессора Сеченова, весьма обстоятельного ученого, известного даже за пределами России, есть вывеска какой-то непорядочности в доме, где этот портрет поставлен на видном месте? Позволительно ли такое обращение с именем ученого человека, делающего не бесчестье, а скорее честь

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru своей родине! И за что же это: не за те ли “рефлексы”, где после интересных наблюдений делаются интереснейшие выводы и предположения? Что же в этом за вина и какие и перед кем преступления? И если не допускать этого, то как иначе можно двигать какую-нибудь науку, не только такую, с какой имеет дело г. Сеченов, а даже хоть, например, библейскую критику, с которой имеет дело известный Бодиссан, прилагающий строго критический метод к своим исследованиям о единобожии евреев. И что же: оскорбляет ли это истинно верующих и истинно ученых? – Нимало. В одной прекрасной статье, помещенной в духовном журнале о трудах Бодиссана (“Православное обозрение”, месяц апрель 1877 г.), читаем: “человеку суждено подходить к истине путем более или менее окольным. Любовь к истине так велика, что где не хватает силы ума, человек готов призвать на помощь фантазию. Но это не отнимает нашего права на благодарность к тем труженикам науки, которые из любви к истине увлекаются, чтобы уяснить то, что не ясно”, и т. д. Вот правильное отношение к трудам ученого, даже в том случае, если увлечения его очевидны, чего, впрочем, г. Ливанов по отношению к исследованиям профессора Сеченова не доказал, а только старается свести к чему-то недостойному внимания и сообщества порядочных людей...

Это ли прием человека, уважающего науку, это ли противодействие нигилизму, не есть ли это скорее проповедь невежества, или это-то и есть самый несомненный нигилизм, который, по прекрасному выражению “Московских ведомостей”, отнюдь не определенное учение, а просто особенное “умственное состояние”, в коем человек стремится отрицать все, чего он не умеет понять? – С этим определением, сделанным умною редакцией московской газеты, нельзя не согласиться, тем более что следы нигилизма как “особенного умственного состояния” весьма замечаются у многих, которые отнюдь не желают считать себя нигилистами и не крестят своих детей в винной жженке. Хроника, сочиненная г. Ливановым, относится к категории явлений, еще раз подтверждающих эти выводы.

Не для того ли и писана эта книга? – Конечно, нет; автор в своих газетных рекламных категорически объясняет “цель книги” таким образом: “1) изложить всю несправедливость огульного обвинения нашего духовенства, 2) всю неестественность отношений нашего общества к духовенству, 3) всю безучастность к этому сословию нашего общества, в следствие (вследствие) предрассудков сего последнего”.

Наш подробный отчет об этой книге представляет читателям достаточную возможность основательно судить: насколько достигается упомянутым сочинением указываемая автором цель?

По нашему мнению, цели эти не достигаются, и книга не представляет собою никакого живого интереса, а потому можно будет пожалеть, если широковетательные рекламы, распространяемые о ней автором с целью зазыва покупателей, найдут среди нашего бедного духовенства много людей, способных поддаться этому торговому обману.

Статья эта написана для того, чтобы по возможности предотвратить возможность такого увлечения и хотя частью обнаружить фальшь этой скучной, но в своем роде не безвредной утопии.

Впервые опубликовано в журнале “Странник”, 1877 год, август.

“колокол” и “РУССКИЙ ВЕСТНИК”

Имя Герцена, издающего в Лондоне русский журнал “Колокол”, известно почти всему русскому читающему миру: но в русской печати о нем до сих пор говорилось очень мало, или, лучше сказать, почти совсем не говорилось. С того времени, как Герцен, уехав за границу, остался в Лондоне и объявлен в своем отечестве изгнанником, русские типографские станки не печатали ни его имени, ни его произведений. Гласно имя его произнесено в первый раз только в 1862 году. Только в 1862 году “Современник” отнесся к нему с некоторыми намеками, а “Северная пчела” и “Русский вестник” открыто назвали по имени г. Герцена и его товарища по изданию г. Огарева. Этими отзывами до сих пор ограничивались столкновения русской прессы с русскими публицистами того берега. Разумеется, отзывы эти не давали критического взгляда на литературные произведения Герцена; они были слишком кратки и состояли из намеков, более понятных для самого литературного кружка, чем для читающей публики. Намек “Современника”, несмотря на всю свою ясность, прошел даже почти вовсе незамеченным; только в литературном кружке и в кругу самых внимательных читателей замечено было, что редакция выходившего при

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
“Современнике” “Свистка” довольно широко и серьезно расходится в мнениях с далеким нашим публицистом. В нашей газете была потом напечатана речь, сказанная Герценом в Вятке, – речь, произнесенная, конечно, не тем тоном и не в том духе, которыми отличаются статьи “Колокола”, но речь умная, спокойная и честная, такая речь, каких не произносили сослуживцы Герцена по канцелярии вятского губернатора. За это нам досталось от господ, видевших здесь преступное намерение показать, что и Герцен был когда-то вовсе не тем, чем он сделался, вступив на берег свободной Англии. Сам Герцен, в дошедшем до нас номере “Колокола”, выразил неудовольствие на перепечатание его речи и намекнул на какие-то особые, понятные для него побуждения выставлять на наших столбцах его имя. Мы удивились, что напечатание этой речи задело человека, который еще в 1846 году писал: [12] “я, как маленькие дети, боюсь темноты; мне все кажется, что в темноте сидит злой дух с рыжей бородой и с копытом. Зачем, кажется, прятать под спудом то, что не боится света; да в сущности это все равно: прячь не прячь – все облагается; с каждым днем меньше тайн”. Такой поступок нам показался непоследовательным: но, не забывая, что *errare humanum est*, [13] мы не оскорбились подозрительными намеками Герцена и старались разъяснить ему всю простоту и безыскусственность нашего обращения с его вятской речью. Мы очень хорошо понимали, что русская публичная библиотека, открываемая в присутствии вятского губернского начальства, вовсе не место, удобное для приглашения в ней мыслей, весьма удобно выражаемых в присутствии Прудона или Луи Блана; но, не удивляясь тому, что этого не поняли некоторые из сателлитов Герцена, мы впали в недоумение, что эта пустая вещь могла оскорбить его самого, человека, который считает свое положение необыкновенно серьезным и знает, что “с каждым днем становится меньше тайн”. После того Герцена еще более раздражила небольшая заметка “Русского вестника” (в “Летописи”). В этой заметке его главным образом упрекали в том, что он, “сидя за плечами лондонского полисмена”, волнует здешние пылкие умы такими воззваниями, которые кипятят молодую кровь и ведут к безрассудным поступкам, за которые люди попадают в Сибирь. Заметка “Русского вестника” была горяча, немного желчна, но правдива. Она не могла нравиться ни Герцену, ни поборникам его учения в России. “Русский вестник” попал за это в немилость и в опалу, к которой, впрочем, давно следует приготовить себя всякому русскому писателю, несогласному отстаивать теорию насильственных преобразований, анархии и “кровавых реформ”. Издатели “Колокола”, оскорбленные тем, что редакция “Русского вестника” позволила себе сказать о них: “Мы знаем, какие это люди”, энергически спрашивают: “Какие же мы люди, г. Катков? Какие же мы люди, г. Леонтьев? Вы ведь хорошо знаете, какие мы люди, какие же? Если в вас обоих есть одна малейшая искра чести (?), вы не можете не отвечать; не отвечая, вы меня (это Герцен говорит уже от своего лица) приведете в горестное положение сказать, что вы сделали подлый намек, имея в виду очернить нас в глазах нашей публики. Говорите все... В нашей жизни, как в жизни каждого человека, жившего не только в латинском синтаксисе и немецком учебнике, но в толке действительной жизни, есть ошибки, промахи, увлечения, но нет поступка, который заставил бы нас покраснеть перед кем бы то ни было, который мы бы хотели скрыть от кого бы то ни было. Да, гг. ученые редакторы, мы, поднявши голову, смотрим в ваши ученые глаза. Кто кого пересмотрит?”

Таким образом Герцен, появившийся несколько месяцев тому назад в русской печати под именем “далекого русского публициста”, вступает в открытую полемику с одним из русских журналов и доставляет нам случай, в первый раз, написать имя “Колокола” на одной строке с именем “Русского вестника”. Искандер и Огарев, Катков и Леонтьев вызваны доказать друг другу правоту своих действий и чистоту своих поступков. Будем верить, что лица, которым подчинена русская пресса, не откажут редакторам “Русского вестника” в возможности отстаивать свои убеждения так же самостоятельно, как “Колокол” делает свои возражения нашей “смирительной литературе” (*ips. verba*[14]). Иначе, конечно, победа останется не за “Русским вестником”, и полемика будет весьма неприятною и невыгодною для репутации московского журнала, бросившего перчатку журналу лондонскому.

Поместив в № 203-м нашей газеты письмо г. А. Б. (который доставил нам свой адрес и карточку), направленное против тона “Заметки “Русского вестника” для издателя “Колокола””, мы перепечатываем вслед за сим всю эту заметку, сохраняя себе право завтра сказать наше мнение и о характере действий наших лондонских публицистов, и о впечатлении, какое производит тон помещаемой ниже заметки “Русского вестника”.

КРАТКОЕ СВЕДЕНИЕ О МЕРАХ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ КОМИТЕТОМ ГРАМОТНОСТИ, И О ТОМ, ЧЕМ МОЖНО СПОСОБСТВОВАТЬ УСИЛЕНИЮ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Меры, которыми комитет предполагает способствовать распространению образования в

простом народе, обозначены в программе и в отчете о действиях его за 1861 г. и за начало 1862 г. Сведения и указания, полученные с самых мест деятельности, большей частью от духовенства, учредителей и наставников сельских школ, убедили к принятию нижеследующих мер:

1) Указание способов преподавания, учебников и книг для народного чтения. С этой целью были составлены каталоги лучшим книгам: во 2-м издании при заглавии каждой книги есть краткое объяснение методы (в учебниках) или нравственного направления (в книгах для чтения). Комитет предполагает издавать такой список книгам ежегодно; а потому дельные замечания на него и указания на пропущенные книги совершенно необходимы. Способы преподавания у нас еще не установились, а некоторые из укоренившихся очень неудовлетворительны и даже замедляют ход образования. Устранение их было бы важной услугой для всего сельского населения.

2) Устройство по губерниям небольших складов книг. Устройство по губерниям небольших складов книг, в которых школы и простолюдины вообще могли бы покупать хорошие книги по дешевой цене. [15] Условия, на которых книги могут быть отпускаемы в местные склады, объявлены во всеобщее сведение. Были сношения и с директорами училищ по учреждению складов при училищах. Очень важно содействие лиц по устройству складов книг при церквях у священников, за которых духовное начальство может поручиться в том, что они будут исправно рассчитываться с книгопродавцем, доставляющим им книги. Примечание. Эти склады могут постепенно вытеснить лубочные издания, которые одни, до сего времени, удовлетворяли народной любознательности.

3) Удешевление цен на книги. Сношениями с авторами и издателями комитет достиг понижения цен на многие книги, что и видно уже из самого списка им; кроме того, он исходатайствовал издание евангелия на русском языке ценою в 7 коп. По вопросу об удешевлении пересылки книг комитет вошел в сношение с почтовым ведомством.

4) Бесплатное пособие беднейшим школам книгами и другими учебными пособиями. При всей первоначальной ограниченности в средствах, Комитет грамотности разослал в 1861 году до 800 экз., в 1862 г. – до 5 000, а по 1-е октября 1863 г. – более 10 000 экз., а также значительное количество карандашей, грифелей и гуттаперчевых досок, преимущественно в западные губернии, где польско-католическая пропаганда работает, к сожалению, слишком деятельно. О всех пожертвованиях в пользу грамотности комитет заявляет в своих протоколах и печатает в газетах и в журнале своем “Занятия Комитета грамотности”, который издается с 1863 г. Подписная цена ему за годовое издание, девять выпусков, 1 руб. серебром с пересылкою.

5) Классы для сельских учителей. Приготовление сельских учителей [16] посредством устройства в губерниях классов, где желающие могли бы найти теоретические указания и приобрести практику под руководством опытных наставников, было предметом забот председателя комитета Лашкарева еще до учреждения комитета. К сожалению, лица, вызвавшиеся устроить учительскую семинарию, на первый раз в С.-Петербурге, не могли, по разным причинам, осуществить свои предположения, а потому в настоящее время изыскиваются другие пути достижения той же цели.

6) О распространении образования между женщинами простого народа. В начале 1863 г. комитет воспользовался предложением двух из своих членов, которые давно уже заботились о распространении образования между женщинами простого народа, посредством будущих матерей семейств, так как они могут быть главными орудиями религиозно-нравственного воспитания в народе. К достижению этой цели желательно содействие женщин всех сословий. По постановлению комитета 14-го мая 1863 г. главная из избранных мер состоит в призыве русских женщин, при содействии духовенства, помогать устройству женских школ. Между тем здесь, в С.-Петербурге, женщины – члены комитета уже действуют практически, и при V гимназии открыта от комитета женская бесплатная школа с классом для приготовления наставниц. Главные распорядительницы этой школы княгиня Мария Михайловна Дундукова-Корсакова и дочь генерал-майора Дарья Федоровна Каменская. В этой школе 24 ученицы и 5 девиц, приготавлиющихся в наставницы. Кроме того в течение лета изучали методы преподавания одна молодая девица – помещица Саратовской губернии и еще учительница из старомайнской школы, приезжавшая из Самарской губернии. На вызов к русским женщинам одна содержательница пансиона в Петербурге изъявила уже готовность устроить ремесленную школу для дочерей простолюдинов.

“КРЕМУЩИЙ КОРД” Н. И. КОСТОМАРОВА. СПБ., 1862

“Посмеемся же над недалёковидностью тех, которые думают, что их настоящее могущество в состоянии заглушить память потомства”.

Кай Корнелий Тацит

“Меня обвиняют в словах – до того дела мои безвинны”.

Кремуций Корд

Н. И. Костомаров написал новую книгу. Сочинение это называется “Кремуций Корд” и представляет один весьма интересный и назидательный пример систематического развращения нравов, вследствие утраты обществом гражданских добродетелей. Новая книга г. Костомарова с первого дня появления ее в продаже имеет здесь довольно большой успех: ее покупают, читают и над нею задумываются. Несмотря на то, что “Кремуций Корд” написан тем тяжеловатым слогом, каким обыкновенно пишет г. Костомаров, книга от доски до доски прочитывается стариками, юношами и детьми. Благородная цель автора вполне достигнута этой доброй книгой, сеющей добрые семена и отрезвляющей разум. Мы считаем себя обязанными познакомить наших читателей с новым произведением нашего исторического писателя.

Из летописи Кая Корнелия Тацита (кн. IV, гл. XXXIV) известно, что при сластолюбивом, пьяном и лукавом цезаре Тиверии гражданские добродетели римлян окончательно уступили место низкому прислужничеству и продажности. Донос следовал за доносом; нигде не раздавалось откровенного слова свободного римлянина, сенаторы, историки и поэты принимали на себя обязанности шпионов и наперерыв друг перед другом старались заискать себе расположение цезаря и его временщиков. Временщикам были нужны эти доносы для того, чтобы держать в руках ничтожного цезаря, и они поощряли шпионов. Среди общего упадка нравов Рим был покоен, и правлению цезаря, обставленного честолюбивым Сеяном и продажными сенаторами, не угрожало никакое восстание. Нужно было выдумывать преступления для того, чтобы поддерживать систему шпионства и содержать в страхе Тиверию. За этим не стало дело: закон об оскорблении величества помог изобретательной дворне цезаря. Холопские натуры не сносили честного взора последних почитателей свободного Рима и одного за другим спроваживали их далее от очей наследника “божественного” Августа. В консульство Корнелия Косса и Азиния Агриппы Кремуций Корд обвинен был в новом и до того неслыханном преступлении. Преступление это заключалось в том, что в своей летописи он похвалил Марка-Брута и назвал Кая Кассия “последним из римлян”. Обвинителями Корда были клиенты тивериева временщика Сеяна, поэт Сатрий Секунд и историк Пинарий Натт. Это обстоятельство и суровый вид, с которым Тиверий слушал записанную Тацитом оправдательную речь Кремуция, внушили продажным “отцам отечества” решение погубить честного гражданина для удовольствия ничтожного цезаря.

По этому сказанию Н. И. Костомаров написал своего “Кремуция Корда”, составляющего новое приобретение русской литературы. В этом сочинении особенно дорого нам изложение системы шпионства и продажничества, низведшей граждан свободного Рима на степень цезарской дворни. Трагедия Костомарова начинается приемом во дворце тивериева временщика. Поэт Сатрий с рабским подобострастием подносит Сеяну тетрадь и просит его позволить “со страхом благоговения насладиться неизреченным счастьем воззрения милостивых очей на слабое произведение музы”. В своем гнусном стихотворении он воспеваает деяния Сеяна и ставит его между богами, нимфами и троянскими героями. Самому Сеяну приторна эта лакейская лесть римского поэта; он чувствует ее мерзость и понимает, что ему не должно принять этих виршей, но дает Сатрию тысячу сестерций “на переписку”, благодарит его за усердие, но говорит, что “не любит лести”, но советует распространять стихотворение ради поддержания в публике хорошего вкуса. Они лгут оба и не стыдятся; да и чего стыдиться, когда возле льстеца Сатрия стоит клеветник Юлий Вибий, сын старика Вибия, известного своим доносом на Либона Друза.

– У тебя что? – спрашивает Сеян, обращаясь к Ю. Вибию.

– Донос на врага императора и отечества.

– А! на кого же?

– О, если бы язык мой присох к моему поднебью, прежде чем выговорить это ужасное, некогда столь сладкое моему сердцу имя! – говорит Ю. Вибий. – О, если б сердце мое разорвалось на части от снедающей его горести, прежде чем погаснет в нем чувство, сложенное природой! Но, – клянусь бессмертными! – нет для меня уз, священнее тех, которые обязывают меня верностью к цезарю! Это... донос на моего отца.

Чувства уже не борются в гнусном сердце Ю. Вибия; он только лжет на них, картинничает человечностью. Он играет свою роль для того, чтобы Сеян мог ловчее сыграть свою. Сеян называет его поступок “похвальным и изумительным”, но,

говорит он Ю. Вибию, “восхваляя твое усердие, я не могу воздержаться, чтобы не сделать тебе упрека. Ты сделал примерное дело, не жалея и родного отца для блага отечества, но... ты наполнил грудь мою тоскою”. Однако эта тоска не мешает Сеяну решить погибель старшего Вибия, и он обещается “облегчить его участь своею просьбою у государя”, хотя и знает, что язык его не будет произносить этой просьбы. Нужно еще погубить Кремуция Корда, который, хотя не идет против порабоощающего правительства, ибо видит, что в народе погубило стремление к независимости, но хранит независимость собственную и даже назвал Кассия “последним из римлян”. Доносчикам не приходит в голову, что Сеяну нужно спустить с рук правдивого историка, за которым они не знают ничего пригодного для доноса. Сеян сам создал донос. Он говорит поэту Сатрию, что услуга вроде той, которую делает отечеству Ю. Вибий, важнее служения музам, а историку Пинарию Натту указывает на недостаток уважения к правительству в сочинениях историков, между “которыми он бывает”, и приводит злокачественное место из анналов Корда. Он говорит, что вся история Корда “наполнена – если не явно преступными, то двусмысленными выражениями и неуместными похвалами прежней свободе, следовательно, неблагоприятным к настоящему порядку вещей. Цезарь не любит, – продолжает он, – этих возгласов о свободе и правах гражданских. Если Кремуций Корд нагло похвалил убийцу Юлия Цесаря, то, конечно, питал злобу к императору и существующему порядку. Надобно доказать это яснее”. Благородный вельможа не хочет открыто поддаться к доносу на Корда; он не клеветник, он знает, что его и так поймут, и поэт Сатрий его понял. “Молю богов, – сказал он, – да даруют возможность заслужить твое внимание”. Вельможа и шпион подали друг другу руки на погибель Корда.

Но Кремуций Корд благоразумен и осторожен. Он знает, что римский воздух пропитан шпионством; он знает своих сограждан; знает, что “один в поле не воин”, и ничего не говорит пытывающему его Сатрию. Сатрий жалуется Корду на современное правительство, на его любовь к доносам, ропщет на положение поэта. “Или хвали Ливию, Сеяна, или не пиши, – говорит он Кремуцию. – А попробуй воспевать старину... “Он не любит настоящего, – кричат тогда, – он хочет восстановить прошедшее”. А не то отыщут какую-нибудь аллегорию, какой никогда поэт и не предполагал; да, наконец, он и тем виноват, что он поэт, а не все поэты угодны цезарям. Следить за ним! А нужно только сильному сказать – следить за таким-то, и такой-то как раз попадет в беду. Цезарь и поэты не уживаются в одном государстве... Довольно, чтоб раз почли тебя неблагоприятным – не поправишь дела”. Кремуций знает свое положение; он не вверяется голосу поэта-шпиона, у которого в засаде спрятаны шпион-историк Пинарий Натт и шпион-сенатор Фирмий. “Есть одно самое ужасное горе, перед которым бессильны все бедствия, – говорит Сатрию Корд, – это горе – нечистая совесть и тяжесть чужой крови и чужих слез. На свете нет силы, способной поколебать честного человека”. Сатрий идет далее в своем достойном искусстве; он перебирает своей подкупленной рукою все чувствительные струны в нежной душе Кремуция Корда; он говорит, что “теперь нет закона, кроме произвола тирана и его любимцев. Закон погран, поруган; закон исчез вместе с добродетелью; обман, раболепство воцарились на место добродетелей. Бойся жены твоей, – говорит он. – Бойся собственных детей твоих, которым ты даровал жизнь. Если сын твой впал в распутство, – не останавливай его, иначе он донесет на тебя! Ты думаешь, его накажут как отцеубийцу, по старине – нимало: его поставят в пример юношеству как образец верности государству и отечеству. Бойся каждого, кому ты оказал благодеяние: теперь в обыкновении платить за добро доносами, и, когда узнает император, доносчику причтется в большую добродетель его неблагодарность... Но скоро, кажется, придет чреда и Тиверию: любимец отправит в Елисейские поля сперва семейство Германика, потом и Тиверия, прикажет пожаловать его богом, а потом захватит власть, и мы падем пред новым владыкой”. Кремуций не высказывает ничего гоняго (?) закона и случайно обнаруживает засаду. Три шпиона налицо перед жертвой, обреченной подлым временщиком на верную погибель. Нравы их до такой степени упали, что они уже не очень и конфузятся своего гнусного умысла. Сатрий спокойно говорит Кремуцию: “Я не враг тебе, а только друг самому себе, как и ты, как и каждый человек. Все равно другой бы воспользовался твоей ошибкой и получил бы за то выгоды: так почему же было не воспользоваться мне самому?” Вывод очень логичный, хотя очень подлый. Экономические соображения – выше всего... “Жена, дети – что будешь делать!” философия века снисходит к положениям. Люди отрицают геройство духа, и римский *pater familias*[17] бессмутен. Не таков Кремуций: он скорбит не о себе, а о своей бедной родине; он верит, что “никакая мука не в силах преодолеть горести, терзающей его сердце при мысли о ее унижении”. Унижение это становится перед (ним?) во весь свой рост, ибо он знает, что ему даже “некому завещать свою грусть!..” Он решается скорее уйти в Германию или в Сармацию, а удерживает руку

преданного раба, готового поднять ее на лукавого и злобного цезаря. Зачем в самом деле убивать Тиверия? Зачем его смерть? Зачем остаются жить Сеяны, когда живет гнилое племя, бросавшееся на Брута и Кассия? Что пользы в убийстве тирана? Кремуций Корд не мстительный честолюбец; он хлопочет не о себе, а о своей родине, родина же его в его дни есть гнездо рабства и всех пороков. Избавьте ее от одного тирана, она завтра посадила бы другого. Предсказания Сатрия могли осуществиться, даже не могли не осуществиться. Кремуций Корд понимал это и не поджег руки, искавшей цезарской крови, а спокойно предстал с эдиллом пред лицо продажного и подлого сената. И Тиверий ли был более других достоин смерти? “Я делаюсь суров и жесток, – говорит этот ничтожный цезарь. – Я презираю род человеческий, ибо люди достойны презрения, потому что их легко обманывать и поработать”. В этом звере, в этом вонючем хорьке есть еще какая-то искра человеческого чувства, но возле него стоят двуногие гады, которые ниже его зверства. “Сенат всегда осуждает врагов твоих на казнь, а ты милуешь и прощаешь их”, – говорит ему Сеян. Тиран все-таки лучше своего клеветника. “Милую, говоришь ты, – отвечает он Сеяну. – Нет, не милую я их, а усугубляю их муки. Что пользы убить врага своего? Мгновение, несколько часов, и его нет! Что даже пользы мучить? Несколько дней страдания, и он покоен, а я страдаю. Но лишиться его чести, обесславить его имя, отнять у него жену, детей, достояние – и отдать доносчику, врагу его, а его самого заслат в чужую землю и давать ему жалкий кусок хлеба, чтоб в бессильной злобе он терзался и проклинал каждую минуту своего существования, или запрятать в тюрьму и лишиться света и воздуха, и вместе с тем ножа, яда – всего, чем можно прекратить жизнь, приковать его к стене, как собаку, и посылать ему из среды живущих на свете только такие вести, которые режут сердце острее всякого кинжала: вот наслаждение!.. А тут еще другое: видеть глупость целого народа, глупость тысяч, чувствовать себя выше их и умнее... да!.. Я преследую благородного человека и уверяю всех, что он негодяй, и все веруют этому и величают меня добродетельнейшим и справедливейшим. Только голодный пролетарий ваш, поймав добычу, снedaет ее; благородный же, прежде чем задушить ее, потешится над ней, выпустит ее из лап, будто дает ей свободу, но потом опять покрывает ее убийственной лапой. Я не хочу уничтожить свободы Рима: я люблю – уничтожать ее! Римский народ глупеет, подлеет, сам того не замечая; один я это замечаю; один я разумею, что благородно, что низко; один я уважаю тех, которых преследую, и презираю тех, которым благодетельствую. Уже в Риме мало остается благородного и высокого; я начинаю стравливать доносчиков между собою; а когда эти собаки перегрызутся и заедят друг друга, – я отпущу узду своей власти, дам римлянам подышать свободнее, начну покровительствовать литературе, любовь к истине, для того, чтоб снова явились люди, а не бессмысленные скоты... для того, чтобы было кого истреблять”.

Ужасный, страшный вид представляет этот злодей цезарь, терзающий Рим и издевающийся над его нравственною порчею. Он стравливает доносчиков, и палачи секут друг друга во славу цезаря. “Надобно, – говорит он Сеяну, – проучить доносчиков, чтобы они были умнее и осторожнее; пусть думают, что мы к ним еще строже, чем к другим”, и народу объясняют, что закон *de laesa majestatis*[18] установлен не с целью умножения, а с целью уменьшения доносов. “Император желает, говорят ему, чтобы добрые граждане жили спокойно, вкушая плоды трудов своих, не беспокоимые клеветами”, и император в самом деле остается до некоторой степени в стороне. У него есть помойная яма, в которую он сваливает все свои нравственные нечистоты. Эта смердящая яма – римский сенат. Зачем цезарю показывать народу свое безобразие, когда его время выработало “отцов отечества”, осуждающих заразу и Корда, отрекающегося с высокими лицами рассуждать об истории, и именитых доносчиков, не умевших скрыть своей почетной миссии. У Тиверия одна цель – оподлеть народ, чтобы крепче вбивать кол своего самовластия; у сената одна мысль – творить волю цезаря и ждать от него милостей. Тиверий знает, что его сила заключается в нравственном бессилии общества, и он преследует все, что духовно, сильно и нравственно, а оподлевший Рим преследует не то, что вредно самому ему, а что неугодно цезарю. Кто же мерзее: цезарь или Рим? Тот ли, кто губит других для себя, или те, кто губит себя и других для удовольствия общего палача?

Дерзость цезаря разрослась до размеров поразительных, хотя и не редких даже в новой истории. “Этот Кремуций Корд должен погибнуть”, – говорит он своему кабинетному человеку, гнусному Сеяну. Хотите знать, за что должен погибнуть Корд? Не за то же, в самом деле, что он назвал Кассия “последним из римлян”! Нет, это только предлог сенату для осуждения историка, а истинная причина вот где: “Его бескорыстие, – говорит цезарь, – его неохота пользоваться нашими милостями показывают в нем благородную душу; если таких будет много, – наша

власть не тверда. Как он опирается на закон! Ты ему говоришь о моей воле, а он твердит о законе! Таких историков, как Кремуций Корд, мы уважаем, но они нам не нужны. Нам нужны историки, которые хвалили бы то, что нам нравится, порицали бы то, чего мы не любим; историки, которые бы за горсть монет, за ласковый взгляд сильного человека переворачивали наизнанку, даже сочиняли небывалое... Чем привлечешь Кремуция Корда? Золото – он презирает, милостей – он не ищет. О, это человек республики! Это – опасный человек!.. Предать его суду!..” Но цезарь еще не забыл, что для осуждения нужен закон. Вопрос этот встает в его памяти, но не останавливает его. Он не ждет законной оппозиции и потому не уважает закона. “Что за беда, что нет закона?” – рассуждает он далее. “Разве нельзя толковать закона в разные стороны? Да что, в самом деле, они так ссылаются на закон? Я покажу им, что уважаю закон только потому, что мне так хочется; закон – для слабых тварей, а для цезаря – нет иного закона, кроме его собственного произвола... А каковы доносчики?.. Все достойны одного жребия!.. О, Рим, Рим! О, народ, жадный к рабству, как игрок к деньгам, как сладострастный к женщине! Ты сам подаешь на себя бич! Я бью тебя – и уверяю, что люблю тебя; я запрягаю тебя – и уверяю, что я хранитель твоего спокойствия! Подлейте, подлейте, римляне, – утешайте презирающего вас Тиверию!”

Нужно ли досказывать? Всякому ясно должно быть, что выходит из уст судей, среди которых вырастают Тиверии. Кремуций вперед ручается, что они “для вида призовут его к оправданию и потом все-таки погубят”. Он не ошибся. Сенат принял на себя еще одно подлое дело. И Кремуций, и доносчики осуждены, осужден и старший вибий по доносу родного сына. Цезарь только милует. Он полагает отеческое наказание: “Корд идет в тюрьму на бессрочное время”. Помойная яма еще не наполнилась до краев – и Корд морит себя голодом, чтоб не видеть больше ни гнусного цезаря, ни подлого Рима с его “отцами отечества”, пишущими законы во вкусе цезаря.

Кремуций сходит со сцены, сочинения его сожигаются; два, три голоса втихомолку о нем жалеют, а “отцы отечества” замышляют доносы друг на друга. “Подлейте, подлейте, римляне, и утешайте презирающего вас Тиверию!!”

После исторических характеристик, составленных по Тациту покойным профессором Кудрявцевым, на русском языке издана самая летопись Тацита в переводе Алексея Кронеберга, и, наконец, появился “Кремуций Корд” г. Костомарова. Известно, что “Римские женщины” Кудрявцева просвещенным кружочком России были приняты с живым восторгом; летопись Тацита встречена тоже неравнодушно, но гораздо меньшим кружком. Тут виновато слово “летопись”, которого пугались наши читатели, приученные “ко всему такому легонькому”; не будь этого ужасающего слова, Тацит в русском переводе имел бы несравненно больший круг читателей.

Как теперь пойдет вне столицы “Кремуций Корд”? Мы желаем ему большого успеха. У кого есть Тацит и “Римские женщины”, тот, конечно, приобретет и новую историческую трагедию; но желательно бы видеть ее и в таких руках, которые не переворачивали листков тацитовой летописи или книги Кудрявцева. Тяжеловатость слога не отнимает главного достоинства книги г. Костомарова. Как притча в лицах, воспроизведенных из печальнейшей эпохи самопорабощения могучего народа, она близка и понятна каждому, и мы каждому советуем читать “Кремуция Корда”.

У нас есть люди, отрицающие историческую необходимость событий, еще более людей, вовсе не помышляющих о живой связи событий. Автор “Писем об изучении природы” говорил, что “все на свете причинно, последовательно и условно”; основательная вполне мысль эта затвержена очень многими, но усвоена в очень тесном смысле. Теснота рамки, в которую поставлено это положение, не дозволяет видеть последовательности в явлении Тиверия, Калигулы, Клавдия и Нерона. Она же не дозволяет понимать и условности, под влиянием которой Кремуций Корд оправдывал поступок “последнего из римлян”, от которого он удержал человека, готового доказать, что и “Тиверий не бессмертен”. Когда нация, забыв свои гражданские права, спокойно приемлет законы, составляемые сенатом в угоду властителю, а “отцы отечества” разыгрывают комедию суда, тогда отчего же цезарям не играть в милосердие? Кремуций Корд знал бесполезность жертв, приносимых среди “подлеющего Рима”. Он знал, что в этом Риме уже невозможен Кассий, что Кассию нечего было делать в Риме, и “отцы отечества” засудили бы “последнего из римлян”, если бы не для Тиверия, то для Сеяна. Смерть тиранов бесполезна там, где почва и воздух им благоприятствуют. Они рождаются как грибы в дождливое лето.

Безобразные явления в жизни народов не скальваются метким ударом кинжала. Воду потока не очистишь, если русло постоянно снабжает его своею грязью. Нужно всякое

дело начинать сначала и вести последовательно. Это, может быть, не эффектно и не так быстро, но зато крепко и верно, да и не так уж медленно, как воображают люди, крещенные в горячей воде. Не для себя же, в самом деле, хлопочет истинный сын отчизны. Потомства нет для Сеяна и “отцов отечества”; они смеются над потомством и живут для одного своего мамона; но люди чести и добра, как Кремуций Корд, не могут не ценить суда потомства и никого не пошлют удостоверяться в том, что цезарь не бессмертен. Они понимают, что нужна не смерть цезаря, оподляющего склонное к подлостям общество, а нужно одухотворение этого общества и возрождение к новой жизни. В душе людей, жаждущих этого святого процесса, нет места для безумных порывов, за которыми неизбежно утомительное *semper idem*, [19] ибо общество не может снять с себя привычек рабства, как снимает сорочку. Человек же, выросший

Среди разврата грубого

И мелкого тиранства,

к чему хорошему способен? Такой человек неспособен даже согласиться, что каждая мать, учащая сына или дочь не тому, чему научают развратные Мессалины или себялюбивые Агриппины-младшие, приносит своему отечеству больше пользы, чем люди, режущие тиранов. Потомство преклонится перед памятью матери, о сыне которой говорят, что “золото он презирает, милостей он не ищет”, и народу, в среде которого будут такие матери, ни один цезарь не скажет: “Подлейте! подлейте! Римляне – народ, жадный к рабству!”

КРЕСТЬЯНСКОЕ ДЕЛО

Очень многие из наших старого закала помещиков находятся вне себя от раздражения на бездействие мировых посредников, на произвол поступков, которые они себе позволяют, и на пристрастность, с которою они находят для себя приятным, в иных местах, всегда и во всем обвинять лишь землевладельцев и оправдывать крестьян, которые, видя себе во многом поноворку, угрожают общественному благу нарушением спокойствия до такой степени, что без высылки для усмирения их войска и без строгих экзекуций никак нельзя обойтись для восстановления тишины и мира.

Нам в эту минуту попались под руку протоколы романово-борисоглебского мирового съезда. Там идет тоже речь о возмутительных и бессовестных поступках крестьян против барина, так еще недавно имевшего над ними неограниченную, страшную власть карать и миловать по собственному благоизволению. Помещик Тихменев жаловался на крестьянина Петра Антонова и обвинял его в самовольной порубке леса. Хорошо, что мировой съезд не поверил “барину” на слово, а поручил мировому посреднику произвести дознание и, согласно с ним, постановить законное решение. По произведении строгого исследования, открылось, что Петр Антонов действительно произвел в барском лесу самовольную порубку; но что тут из мухи сделали слона, дело раздули в гору, между тем как Антонов тем только и провинился, что без спроса срубил себе одну еловую слегу. Слегу эту оценили всего в пять копеек серебром. Посредник, конечно, предписал волостному правлению взыскать эти пять копеек с самовольного порубщика; но дело в том, в какой степени прилично обременять такими дрязгами мировые учреждения, преднамеренно искажать истину и желчно чернить крестьян там, где они заслуживают полного сожаления и где они ведут себя в отношении к помещикам с тактом и достоинством, доказывающими, что они вполне достойны свободы, вполне созрели для того, чтоб идти к дальнейшему, не стесняемому уже никакими несчастными обстоятельствами развитию.

Тот же помещик Тихменев жаловался на крестьянина Дорофеева, что он не платит оброка за два года. Открылось, что крестьянин Дорофеев не доплатил оброка “барину” только за восемь месяцев 1860 года, всего 20 р., но летом следующего года он сошел с ума (вероятно, не от радости же) и, в безумии, пропал без вести, оставив без призора и поддержки жену, больную старуху, и трех незамужних дочерей. Посредник увидел невозможность взыскать с этого несчастного семейства недоимку, а того и гляди, пойдет молва на бездействие посредников и на пристрастность их решений.

Тот же помещик Г. Тихменев жаловался на крестьянина Лариона Михайлова. По его словам, Ларион пользуется полным тяглом земли, а барщины исполнять не хочет. Попадись эта жалоба недоброму человеку, сейчас бы увидел он в ней бунты и неповиновение власти: но местный посредник дознался, что Ларион высажен на крестьянство из дворовых и от помещика ничем не снабжен; землей действительно он снабжен, но пахать ее не в силах: у него животов и всего-то шесть кур, и на курах пахать не поедешь; притом же Ларион уже дряхлый старик, дома своего не имеет; его уж чужие люди приютили в своей избе, а пропитывается он только

Христовым именем да мирским подаянием. Ну как этого бунтовщика судить станешь? Посредник и решил, что он не находит возможным требовать с него полной повинности...

Присоединитесь – как к этим отзывам; взгляните – как попристальнее в эти картины; сосчитайте случаи, в которых, при воплях одной стороны на бунт и неповиновение, слышатся вопли другой стороны – тогда разве только вы убедитесь, много ли правды во всех этих жалобах и криках на пристрастие посредников; тогда только вы искренно и от души пожелаете скорейшего и окончательного разрешения дела, так недостойно затягиваемого иными из одного лишь желания подальше насладиться чарами крепостничества и не подавать уставных грамот до тех пор, пока не пробьет последний решительный час для этого.

О НЕДОСТАТКЕ ДЕНЕГ В РОССИИ. – С.-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ПОРТОВОЕ КУПЕЧЕСТВО
С.-Петербург, пятница, 2-го февраля 1862 г

Мы переживаем теперь чрезвычайно странное время. В Западной Европе, несмотря на продолжающиеся там сильные неурожаи, вооружения, на приводимые в исполнение разные предприятия, требующие затраты огромных капиталов, там всё есть деньги. Англия, два года сряду имеет сильную нужду в хлебе, заплатила за него в 1860 году 100 мил. и в 1861 году около 70 мил. рублей, а со всем тем деньги на лондонской бирже в ссуду под государственные фонды и облигации отдаются за 1 % и много что за 1 1/2 %. Франция, не имеющая теперь сбыта своих модных и шелковых товаров на главные ее потребляющие американские рынки, эта Франция понизила у себя ценность денег до 4 %, и они на рынке в изобилии.

Почему же у нас, в России, из которой в 1861 году отправлено за границу товаров почти на 20000000 руб. серебром более, нежели привезено в нее, почему же, спрашиваем мы, в России нет денег, и на главной ее бирже, в С.-Петербурге, первым домам нельзя иначе достать денег под свои векселя или под государственные фонды, как за 9 % или за 10 %? Лица, пользующиеся меньшим доверием на бирже, должны платить за займы денег 12 %, 15 %, и иногда доходит даже и до 20 %. На внутренних торговых рынках России денег дешевле 15 % достать трудно. Нет денег!

Действительно, взглядываясь часто в совершающиеся пред нашими глазами разные торговые дела, присутствуя при получении огромных сумм разными большими торговыми домами, можно видеть все разнообразие денежных знаков, находящихся в виду: кредитные билеты (звонкой монеты нет), 4 % металлические билеты, 4 32/100 % серии, купоны главного общества железных дорог и, в очень редких случаях, 5 % банковые билеты. При этих платежах виден большой недостаток в денежных знаках в России. Таким образом, кредитные билеты берут в уплату рубль за рубль, купоны железных дорог с 8 % до 10 % лажа, 4 % металлические билеты рубль за рубль, серии, смотря по году их выпуска, с учетом одного или с прибавкою двух или трех месяцев, 5 % банковые неохотно и по биржевой их цене. Все эти денежные знаки принимает плательщик от плательщика, потому что иначе последний отказывается вовсе от платежа, и он прав, говоря: “Чем же я заплачу иначе?” Между тем, смотря на деньги, как на товар, не все эти знаки имеют ту ценность, за которую их принимают в уплату. Кредитный рубль берется в уплату рубль за рубль только из-за того, что иначе нечем было бы расплачиваться.

Купоны акций железной дороги имеют настоящую свою ценность, потому что величина платимого за них лажа соотнобразуется с размерами вексельного курса из России на заграничные рынки.

Металлические 4 % билеты принимаются в уплату рубль за рубль большими домами, по необходимости. Действительно, получая на них 4 % металлом, при величине вексельного курса в 14 %, проценты на них составят 4 56/100 %, тогда как на 5 % банковые билеты, при цене их 98 копеек за рубль, получается кредитными билетами 5 1/10 %. Эта разность в 54/100 % представляет странное явление: билет, дающий менее дохода, стоит на бирже дороже билета, дающего более дохода. Что касается обеспеченности капитальной суммы билета, то она одинакова и для 5 % банковых, и для 4 % металлических, и для обыкновенных кредитных билетов.

Как долго серии будут сохранять за собою лаж – определить трудно, потому что этот лаж, по нашему мнению, происходит единственно от того, что эти, своего рода процентные бумаги, принимаются во всех казенных местах к платежу и даже к размену, с учетом процентов.

Цель нашей статьи та – возможно ли при таких затруднениях в средствах к

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

расплате, при платеже за кредит от 9 % до 20 %, возможно ли, повторяем, бороться русским товарам на иностранных потребительских рынках с товарами подобного же рода, привозимыми из тех мест, где в деньгах обилие, кредит тверже и где более способов к скорейшему обороту капитала? За границу идут наши главные сырые произведения в огромных количествах; эти произведения покупают внутри России с июля по декабрь 1861 года, а главная уплата за них будет получаться от покупателей с июля по декабрь 1862 г., следовательно, капитал будет находиться в обороте почти 12 месяцев! Не все наши купцы торгуют только на наличный капитал (такая торговля и не может много обогащать государства), но многие из них кредитуются для получения денег, так как производители в России не могут еще отпускать в кредит, потому что скупка сырых произведений производится внутри России по мелочам от крестьян, которым необходимы наличные деньги. Теперь спрашивается: какая польза может быть для торговца, получающего в ссуду деньги только за 9 % до 20 %, когда цена портовая и внутренняя, благодаря телеграфам, разнится в настоящее время всего на 15 % до 20 %, исключая ценности перевозки? Где торговцу обеспечение на тот случай, что товар по нашим путям сообщения придет к сроку, или, что ценность товара, по приходе его к порту, не упадет процентов на 10 от различных обстоятельств? Чем заплатит тогда он за кредит, ссудивший ему деньги за 9 % до 20 %? А между тем фактов для доказательств очень много. Что цена на товар может понизиться в течение года, пока товар купят, привезут и продадут, в этом никто не может сомневаться. Может ли, при таких условиях, когда-либо подняться торговый баланс России, чтобы излишком покрыть все непроизводительные расходы и таким образом понизить в ней цену деньгам?

Мы явно видим, что для улучшения нынешнего положения России необходимы деньги, дешевый кредит и дороги.

Денег в России нет. Обнародованная по высочайшему повелению роспись доходов и расходов на 1862 год показывает недостаточность доходов почти на 14000000 руб. сер.; этот недостаток покрыт суммами последнего 4 1/2 % займа. С 1863 года уничтожаются откупа, а пока новая, более лучшая система войдет в силу, может пройти некоторое время. Если бы доходы государства на 1863 год оказались от того менее, то это несчастье не так велико; Россия так богата своими внутренними средствами, что умному министру финансов весьма нетрудно развить их, и тогда постоянно будет излишек в доходах над расходами.

Весьма важен вопрос об удешевлении кредита в России. Дешевизна денег порождает всегда в государстве много новых предприятий, служащих к его обогащению. Являются новые источники произведений. Ценность товара тогда понижается, сбыт их делается сильнее, и государство богатеет. Все это истины, доказывать которые нет надобности.

В настоящее время кредит может улучшиться только от избытка денег на бирже. Иностранных капиталов, даже нашим высоким учетным процентом, при бывшем ненормальном положении курса, привлечь в настоящее время в Россию нельзя, пока банк наш не изменит своей системы учитывать векселя. На рынках всего мира учетный банковый процент выше биржевого, потому что на всех рынках частные торговые лица лучше любят иметь дело с подобными им частными лицами, чем с официальным местом, каков банк. Для большего же привлечения к себе частные банкиры всегда держат свой учетный процент ниже банкового, на некоторую долю процента. У нас же идет наоборот. Банк наш дает под учет деньги от 3 % до 4 % и более % дешевле, чем в состоянии, по обстоятельствам, давать частные лица, занимающиеся учетом бумаг. Тогда, естественно, все первоклассные дома стремятся получить для себя деньги из банка и затем раздают их, уже от себя, второклассным торговцам за более возвышенные проценты. Биржа, видя у себя требования на деньги только от второстепенных торговцев, естественно, питая к ним менее доверия, дает им деньги дороже, чем дал банк первостепенным торговцам. При таких обстоятельствах, видя, что банк обирает лучшие векселя, ни один иностранный капиталист не переведет в Россию своих капиталов, чтобы снабжать ими по высокому проценту лица, которые, говорят эти капиталисты, хотя и несправедливо, не имеют столько кредита, чтобы получить из банка по более дешевому проценту.

Для увеличения учетной операции, банк имеет средства. По отчету его по 1-е января 1862 г., банк имеет вкладов на 75 1/2 мил., текущих счетов на 16 мил., всего 91 1/2 мил. руб. на производство своих операций. Учтено же банком векселей 14 мил., акций и облигаций на 15 1/2 мил. и под товары и фонды 6 1/2 мил. рублей, всего на 36 мил. рублей. Следовательно, из одних вкладов на 75 1/2 мил. банк употребил на помощь государственной торговле всего только 14 мил., потому

что давать под акции и облигации значительные ссуды еще не значит помогать торговле.

Банк должен в настоящее время поднять свой учет, если это ему необходимо; но только значительным образом облегчить получение денег. Рискую даже потерять довольно значительные суммы на протестуемых векселях, банк должен стремиться помогать деньгами в оборотах нашего среднего и низшего из торгующих разрядов, потому что они-то именно и нуждаются в деньгах в настоящее время. У каждого из русских больших фабрикантов или оптовых торговцев более мелкие торговцы берут товары в кредит, выдавая векселя на очень долгие сроки, часто до 24 месяцев. Подобного рода долгий кредит никаким образом не может развить нашей фабричной промышленности, потому что не у всякого фабриканта хватит капитала на двухлетний оборот, рискуя притом не всегда и получить деньги по 24-месячному векселю. А между тем и мелкий торговец не виноват: не имея возможности где-нибудь достать денег за умеренный процент, он вынужден отсрочивать платеж за свой товар, а вследствие этого и возвышать цену на этот последний, отбивая тем самым покупателя, который, зная, что он платил за вещь прежде рубль, а теперь с него требуют за нее полтора рубля, уже не так охотно берет ее. Отсутствию возможности достать денег мелким торговцам за умеренный процент можно приписать нынешнюю дороговизну на все предметы ежедневной потребности человека.

Банку весьма нетрудно кредитовать мелких торговцев, произведя эту операцию чрез лиц, пользующихся доверием банка, и которые, вместе с тем, знали бы положение денежных дел мелких торговцев одного околотка. Должно сознаться, что на первое время будут большие обманы, зато в самое короткое время, как только небольшие торговцы почувствуют всю огромную пользу, получаемую ими от сделанного им в банке кредита, они сами будут способствовать банку узнавать действительное денежное положение каждого из торгующих, и тогда банку весьма нетрудно будет уберечься от выдачи денег неблагонадежному лицу.

Нам могут возразить, что банк кредитует не одних больших торговцев, но и мелких, да только немного лиц являются в банк за кредитом.

Не упоминая о многих обстоятельствах, еще отталкивающих русских небольших торговцев от всяких дел с казенным банком, мы можем сказать только об одном обстоятельстве, по причине которого мало обращаются в банк за ссудами под векселя. Это обстоятельство есть слишком ограниченный размер кредита или количества денег, положенного для выдачи каждому лицу, и притом столь малый размер, что многие лица вовсе не желают им пользоваться, потому что это оскорбляет личное самолюбие торговцев позначительнее, а мелким торговцам такой малый кредит совершенно не может оказать какой-либо помощи. Это тем более странно, что многие лица, имеющие право кредита в банке на весьма незначительную сумму, пользуются на бирже, как они того и заслуживают, кредитом в несколько раз большим банковского кредита. Векселей иных русских торговцев и не бывало на бирже, однако и для них в банке положена определенная цифра кредита. На чем она основана?

Третья необходимость для России заключается в хороших дорогах.

В то время как многие из европейских государств, проложив у себя главные линии удобных сообщений, принялись за улучшение уже проселочных и боковых дорог, в России в это время не сделано было ровно ничего. Мы не называем построенных в последнее время ни Варшавской, ни Рижской, ни Владимирской дорог, ниже Николаевской дороги, мы не называем их большим и выгодным приобретением, которое могло бы служить к увеличению богатства России, способствуя сильному развитию промышленности в пересекаемых ими путях. На эти дороги затрачены огромные капиталы, принесшие более пользы иностранцам, нежели России. Таким образом, Николаевская железная дорога выстроена на деньги, полученные посредством заграничных займов, а между тем доходы с нее не увеличены надлежащим образом, чтобы выручались проценты на уплату долга, и добавочные суммы процентов уплачиваются из государственного казначейства. При постройке Варшавской, Рижской и Владимирской дорог все усилия правлений этих дорог направлены были к тому, чтобы все эти дороги выстроить иностранцами и доставить пользу последним. Стыдно сказать, двадцать лет мы строим железные дороги, затратили на них до 300 миллионов, и чрез двадцать лет мы все еще выписываем все вещи для них из-за границы. В России нет ни одной механической, ни одной машинной фабрики для потребностей железных дорог. Грустно, очень грустно!

Два последние года показали свету, как один хлеб может обогатить государство, когда для вывоза его приняты всякого рода облегчающие средства. Это мы видим на Соединенных Северо-Американских Штатах. В течение двух лет, 1860 и 1861, из них вывезено хлеба почти на 200 до 250 миллионов руб. сер. А это могли бы сделать и мы!

На Россию нашла уже такая полоса. Голод в Англии; хлеба внутри России много; поспевают же он к портам в то время, как в Англии уже есть виды на хороший новый урожай и, тамошние покупатели удаляются с рынков, стараясь изводить купленные уже ими запасы хлеба, рассчитывая, что этих запасов хватит до новой жатвы, а в России хлеб остается на руках, и русские производители несут убытки, возвысив, без пользы для себя и для своей страны, цены на хлеб на внутренних рынках.

Наступает следующий год: голод во Франции и урожай в России. Опять была бы возможность вывезти много хлеба из России, и опять нельзя подвезти его в свое время к Одессе, за неимением дорог, и Франция снабжается другим хлебом. Теперь к Одессе свезено много хлеба, но и Франция завалена им, так что туда более его не требуется. Одесские запасы остаются на руках русских привозителей.

Мы не можем ничего сделать кстати и надлежащим образом, хотя и имеем для всего этого и достаточно средств, и достаточно смысла.

Обстоятельства всех стран показывают, что чем более удобных сообщений в государстве, тем последнее сильнее и скорее богатеет и скрепнет. Для примера довольно взять Францию и Австрию. Сырые произведения выносят дорогую перевозку по железным дорогам на дальние расстояния в таком только случае, когда на эти произведения оказывается случайное сильное требование и цены на них растут. Но между тем, и при обыкновенных обстоятельствах торговли сырые произведения тоже пойдут по этим дорогам, конечно, уже в ущерб производителям; но зато последние имеют надежду, даже в самых глухих местах государства, на постоянный сбыт своих произведений, хотя по ценам гораздо дешевле против цен местностей, ближайших к портам. Обыкновенные дороги, перевозка по которым зависит от обстоятельств погоды, доставить этого не могут.

Мы давно уже убеждены, что для увеличения богатства России необходимо покрыть всю ее множеством линий железных дорог, по всевозможным направлениям. Действия Главного общества железных дорог показали нам ясно, что для этого нам не нужны иностранцы-техники, что бывшие в этом обществе русские инженеры превосходили своими познаниями французских братьев. Главная остановка в этом деле за деньгами. Никакие комбинации, никакие компании не найдут теперь в России денег: доверие к акциям исчезло, да и денег ни у кого нет!

Крымская война потребовала выпуска 400 мил. кредитных рублей. Неужели железные дороги для государства не так существенно необходимы, чтобы нельзя было выпустить еще сотню миллионов?

Выпуск новых ста миллионов рублей кредитными билетами сильно облегчил бы платежи внутри России. Если эти 100 мил. собрать внутренним займом на выгодных условиях, то этим можно до того стеснить еще более денежный наш рынок, что можно опасаться повсеместных сильных бакутств. А выпуск новых 100 мил. очень поможет и торговле, и промышленности.

Чтобы эти деньги выпустить в обращение с пользой, хорошо было бы, если б правительство пригласило желающих строить железные дороги на свои капиталы, с обязательством уплачивать по 40000 руб. сер. за каждую версту открытой дороги, по которой может проехать паровоз, прибавляя 5000 руб. на версту, если рельсы и другие металлические принадлежности дороги будут сделаны в России, и по 5000 руб. за каждый паровоз, собранный из частей, сделанных в России же. При этом чрез 70 лет дороги должны поступать в собственность правительства.

Тогда эти 100 мил. не пропадут даром для государства. Этого капитала хватит на 2000 верст дороги, а между тем промышленность разовьется, и обстоятельства покажут, нужно ли будет повторить подобного рода помощь. Капиталов на выстройку дорог участками, верст по двадцати или на 1500000 руб., собрать можно, считая, что при искусной постройке с дозволенными крутыми уклонами, верста дороги будет стоить от 50000 до 60000 руб. на постройку таких дорог придут сюда иностранные звонкие капиталы, а убытку от вывоза их обратно не будет, если будет то условие, чтобы строить дороги русскими рабочими и из русских материалов.

Повторяем еще раз: нам нужны деньги, дешевый кредит и удобные дороги.

Мы получили преинтересную таблицу, ежегодно здесь издаваемую, о ценности товаров, привезенных и отправленных купеческими фирмами при с. – петербургском порте в минувшем 1861 году. Из упоминаемой таблицы открывается удивительный курьез, заслуживающий очень тонкого анализа и, на первый взгляд, представляющий православное наше русское купечество не с очень-то почтенной стороны. Само ли купечество русское, коренное в этом виновато, или причина всего лежит гораздо глубже – в учреждениях наших и в нашей исторически развивавшейся среде, или дело тут очень просто объясняется тем, что у нас одним немцам всюду не житье, а вечная масленица – решать мы не беремся: мы представим лишь голые факты в виде необделанного материала, предоставляя другим всесторонне анализировать смысл явлений, доказывающих все-таки ту истину, что немцем быть – отличная штука! у немцев и права, и законы привилегированные в Остзейском крае; у немцев-переселенцев управление в селениях привилегированное и нисколько не подходящее под уровень тех начал, какими управляются русские крестьяне и переселенцы; немцам и по гражданской службе лучше везет, особенно где второстепенное начальство само из немцев. Немец немца тащит из омута обыденной жизни и выволакивает его из тех неудобств и лишений, в которых купаются их русские сотоварищи. Немцам везде везет, даже и на с. – петербургском порте.

Означенная таблица представила нам перечень 328 купеческих фирм, ведущих заграничную торговлю при с. – петербургском порте. Из этого общего итога фирм тринадцать фирм, или почти 4 процента, приходится на разные компании и общества; семь фирм, или два процента, носит имена греческие или армянские; двести пятьдесят три фирмы, или более 77-ми процентов торговцев, решительно нерусские и либо англичане, либо отчасти французы, либо голландцы, либо – и это преимущественно – немцы; одних немецких фирм 160; представителями коренного русского купечества, участвующего в заграничном отпуске при с. – петербургском порте, являются лишь пятьдесят пять русских имен, или только 17 процентов всех портовых торговцев. Взгляните же, какими капиталами они ворочают.

Тринадцать компанийских фирм в прошлом году отправили за границу товаров на 9849 р., а сами получили их оттуда на 10390821 руб.

Семь греческих и германских фирм отправили за границу товаров на 1748747 руб., а выписали товару из-за границы на 1521708 р.

Пятьдесят пять русских фирм отправили товару для заграничного торга только на 2612132 руб., а сами получили его из-за границы на 15701260 рублей.

Двести пятьдесят три иноязычные фирмы выписали из-за границы товаров на 76826197 руб., а сами туда отправили на 42350254 рубля.

Стало быть, все 328 купеческих фирм, производящих дела при с. – петербургском порте, вывезли отсюда в чужие края разных товаров на 46720982 рубля, а сами получили оттуда разных товаров на 104439986 рублей. Следовательно, общий оборот торговли при с. – петербургском порте выразился капиталом в 151160968 руб., если предположить, что оценка товаров для официального ее заявления правительству показана добросовестно.

Из этого общего оборота на долю 13 компанийских фирм приходится 10400670 рублей, или 7 %.

На долю 7 греческих и армянских фирм приходится 3270455 руб., или 2 %.

55 русских домов всего оборота в заграничной торговле имели на 18313392 рублей, и их участие в этом деле составляет всего на все только 12 %.

Зато немцы всех перещеголяли: оборот дел у 253 иноязычных фирм выразился капиталом в 119176451 руб., что дает 79 %.

Выписывание машин, орудий и снарядов из-за границы разными промышленными компаниями имеет лишь временное значение, до тех пор, пока предприятия, для которых общества эти основывались, окончательно не осуществились. Поэтому нас

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
нисколько не должен ужасать средний вывод 800050 рублей, показывающий средний оборот заграничных дел 13 компанийских фирм. Для нас важнее эти выводы там, где они касаются постоянных, из года в год продолжающихся явлений.

Средний оборот каждой из 328 фирм, считая в том числе и разные общества и компании, выражается капиталом в 460856 рублей.

На долю каждой греческой и армянской фирмы, средним числом, приходится в год обороту на 467208 рубл.

На долю каждого немца, англичанина или француза, торгующего при с. – петербургском порте, средним числом, ежегодного обороту приходится по 471053 рубля.

А на долю каждой коренной русской фирмы годовой оборот ограничивается среднюю цифрой лишь в 332970 руб.

Как же не сказать, что немцам везде везет?

Немцев, французов и англичан в империи обретается раз в тридцать менее, чем русских по языку и по вере, а в иностранной торговле отношение этих двух категорий выражается 77:17, да и тут участие капиталами представляет отношение 79:12. Стало быть, куда ни кинь – все клин: все немец мешает!

ЛЕТОПИСЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ СТРАННОСТЕЙ
Быть так Чуриле сам господь повелел.

Былина о красном Чуриле Оплениковиче.
ЛИТЕРАТОР-КРАСАВЕЦ

Перед нами литературное явление такого оригинального свойства, что его совершенно неудобно не заметить и почти преступно пройти молчалием.

С литературой нашей в последнее время поступали часто весьма странно: с ней обращались как с орудием партий, как с лавочкой, в которой выгодно торгуется тем или другим товаром, но с ней еще никто никогда не обращался как с средством рекламировать перед публикою стройность своего стана, эластичность своих мышц, блеск голубых очей, свое остроумие, великое обаяние своих талантов, свою храбрость с мужчинами и свою непобедимость у женщин. Но дошло, наконец, на днях и до этого: в русской литературе явился богатырь совершенно непобедимой красоты и столь же совершенно непобедимого бесстыдства. Этот литератор – красавец Чуриле Опленикович, называется господином Авенариусом и рекламирует себя во “Всемирном труде”, издающемся в Болотной улице, в Петербурге.

Для того чтобы похвалиться перед всеми своим ростом-дородством, лицом-красотою, медовыми речами и соколиными глазками, этот находчивый литератор сочинил такую басню (мы говорим: сочинил, потому что нам все-таки не хочется допустить, что развязный литератор хвастается тем, что с ним в самом деле случилось).

Приехал будто красавец Авенариус в Сорренто, ходит он по Сорренто с мальчишками, которые просят у него мелкую монетку; а он им рассказывает, что он “сыт на свой счет: книжки пишу и за них мелкую монету получаю”. Потом он “усмотрел в горах молодого живописца, которого шутя называет преемником Сальватора-Розы и не шутя делает его дурачком, способным только “нашлепывать пятно около пятна”. Зная лучше этого преемника Сальватора-Розы и секреты колорита и правила перспективы, Авенариус дал итальянскому художнику несколько советов, по которым тот его признал за живописца, а он, Авенариус (бич нигилистического нахальства), в благодарность за этот комплимент прямо посоветовал живописцу “рядом с искусством для искусства заняться делом по той же части более хлебным, как-то: малеванием вывесок да, пожалуй, раскрашиванием стен”.

Однако оказывается, что столь нигилистически оборванный литератором Авенариусом итальянский художник был не совсем круглая бездарность, ибо в числе его произведений нашлась головка, обворожившая самого Авенариуса. Авенариус стал просить художника “свесть” его с итальянкой, с которой написана эта головка, а художник сам влюблен в нее и отговаривается.

– Познакомиться-то с нашими барышнями, – говорит он писателю Авенариусу, – при счастии, пожалуй, иностранцу и можно, да испытать на себе их страстность –

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
шалите! Как хвостом ни виляйте, не удастся: не полюбит вашего брата.

– Да разве и между нами нет молодцов из себя? – сказал в ответ на эту грубость г. Авенариус.

– Как не быть: хоть бы вы, например? – отвечал красавцу Авенариусу итальянец.

В самом ли деле г. Авенариус так хорош, как он себя хвалит, мы этого не знаем; но полагаем, что он, вероятно, красоты замечательной, ибо человеку обыкновенной наружности чужестранец такой любезности наверно бы не сказал, и лучшее тому доказательство – недавний случай с сотрудником “Московских ведомостей” г. Георгиевским, которого туркофил Лонгворт нарочно поставил лицом к лицу против хорошо сложенного турка и сделал между ними двумя сравнение довольно невыгодное для России, имевшей, к несчастью, на этот раз своим представителем не бойкого г. Авенариуса, а скромного г. Георгиевского.

Но возвратимся к нашей истории.

Въедаясь далее в фабулу повести, г. Авенариус рассказывает о своей хитрости, как он выпытал у художника, кто именно оригинал его головки, а затем уже наступает и самая любовная басня. Там, в Сорренто, живет богатый и очень жадный итальянец, у которого была красавица дочь Анджелика, которая, собственно, и есть оригинал известного нам портрета. Г. Авенариус, пленясь портретом этой девочки, еще более пленился ею самою и вздумал ею призаняться. Для этого ему надо было устроить свидания с нею, и он их себе и устроил, и устроил самым оригинальным и притом самым простым образом, делающим большой комплимент его находчивости. Он явился к ее отцу и условился с жадным богачом платить ему по четыре франка за каждый час, проведенный в его продажном доме, и во время этих посещений беседовать с его дочерью. Не забудьте – только беседовать, более красивому Авенариусу, впрочем, ничего и не нужно: в остальном он рассчитывал во всем на свои внешние и внутренние достоинства, из-под влияния которых, как видно, женщинам черт знает чего стоит вырываться. У Анджелики, конечно, были и другие адораторы: этот самый живописец, про которого выше рассказано, и франт, фабрикант Сантакроче. Оба эти поклонника Анджелики начали свои ухаживания за нею гораздо ранее г. Авенариуса; но это такому бойкому и обаятельному красавцу, каков г. Авенариус, также ровно ничего не значило. Живописца, как мы видели, он смял, стигостил и подобрал под себя с первой же с ним встречи, когда посоветовал ему идти в малярню; а другого, фабриканта Сантакроче, обуздал своим значением. “Мой итальянец (Сантакроче), – рассказывает г. Авенариус, – имел дело с литератором (на лбу, что ли, это у г. Авенариуса написано?), с корреспондентом иностранной газеты, который печатным отзывом своим мог принести ему как пользу, так и вред”.

Г-н Авенариус, как надо полагать, всем рекомендовался литератором – и нищим итальянским мальчишкам, и фабрикантам, и своей Дульцинее; но зато ему и повезло с самого первого шага: сам старик, отец Анджелики, и два ее ухаживателя – все сразу поняли и оценили важное значение г. Авенариуса в Италии и в России и держали себя с ним как нельзя деликатнее.

Получив доступ в сад жадного богача, продавшего г. Авенариусу свидания с своей дочерью, наш литературный Чурила Опленкович “окрыленным мотыльком порхнул”, “весело подпевая: не любить – погубить значит жизнь молодую, сорвал на лету свежий портагал и стал отдирать с него оболочку”. Тут является Анджелика, научает его есть апельсины и объявляет, что она в день “уплетает” этих плодов “десятка три”. Говорит эта Анджелика ужасно, не хуже любой Матрены или Федосьи, но, вероятно, таков уже странный язык ее был. Потом она учит Авенариуса брать аккорды на фортепьяно и думает, что г. Авенариусу в самом деле есть чему у нее поучиться, тогда как г. Авенариус не только хороший писатель, но и хороший музыкант и нарочно лишь прикидывается неумехою; но зато эта невинная хитрость нашего Чурилы заставляет простушку Анджелику довольно близко нагибаться к нему; а он, пользуясь ее близким присутствием, не будь промах, да и влепляет ей на ее ручки одну безешку, а она его за это называет “поганым русским”. Г-н Авенариус знает, что такая брань на восток не виснет, делает дальнейшие шаги. В другой раз он, “подскочив к роялю, присел и затянул арию “Сжался” из “Роберта”. Анджелику удивило, что этакий “поганый русский”, как г. Авенариус, в то же время такой великий музыкант, а он “продолжал арию и довел ее громовым голосом до конца” и “был готов расцеловать Анджелику”. Наконец у г. Авенариуса с Анджеликой завязывается любовь, которой никто не мешает: отец потому, что ничего, кажется, не видит, да притом, вероятно, и чувствует важность значения г. Авенариуса, как

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

русского литератора, а живописец потому, что признает г. Авенариуса молодцом и знает, что с ним у женщин не потягаешься. Тут, на этой свободе, наш Чурила Опленкович влюбился как кот, и в его “наэлектризованную душу стали сами напрашиваться звучные рифмы”, которые он, по скромности, его отличающей, так-таки и называет не более как только звучными рифмами. Но хитрый красавец и этим не ограничился: он знает, что женщину не доедешь одним стихотворством, и пускает в ход еще одну любовную хитрость: он равнодушествует с Анджеликой.

– Стихотворствую, – говорит он ей, – и потому не скучаю – даже и без вас.

– Очень, должно полагать, интересно сочиняете! Покажите-ка что-нибудь: точно ли так интересно (попросила Анджелика, и попросила вот именно этими самыми словами, которые мы приводим с скрупулезнейшей точностью).

Но эти звучные рифмы Авенариуса были русские, и потому он не показал их Анджелике, а написал ей итальянские стихи, которые и хотел было изорвать, “да жаль стало: слишком естественно чувство сказалось”. Управляющая г. Авенариусом сила особенной благовоспитанности не позволяет ему манерничать и, похвалившись хорошими стихами, скрыть их от общества в папках своего интересного портфеля. Он прилагает для русских читателей хановского журнала перевод этих стихов на русский язык, но оригинала, к сожалению, не вписал, хотя вписывать стихи и свои и чужие г. Авенариус вообще первый в свете охотник. В переводе же его звучные итальянские стихи вышли, как назло, очень дурны. Чувство в них слишком естественно сказывается такими строфами:

Мечтательно-грустно ли бровки ты сдвинешь:

Невинно вперись в меня огненный взгляд

и после со смехом головку закинешь

Надменно-грацьезно назад... etc.

Таких звучных рифм г. Авенариусом написано целых восемь куплетов, вообще очень ровненьких по всесторонним своим достоинствам; но по-итальянски они все-таки, верно, еще гораздо сего превосходнейше. Есть, правда, у г. Авенариуса враги, без которых трудно прожить замечательному человеку, и эти враги, может быть готовые посягать и на его жизнь, посягают прежде на его литературную славу: они сомневаются, что г. Авенариус умеет писать итальянские стихи. Но какие же, однако, основания у этих людей сомневаться в этом, когда г. Авенариус смело и громко говорит, что он писал эти стихи по-итальянски и потом перевел их для хановского журнала?

Стишками своими, сочинение которых г. Авенариусом непременно надо допустить, как будто оно в самом деле происходило, этот красивый писатель так зажег свою девочку, что она даже пошла с ним за это гулять в горы. На этой прогулке они сначала увидели, как бедный художник Сторачи сидел на подмостках какого-то дома и красил стену. Это их посмешило; но зато потом они попались франту Сантакроче, который, в припадке злобной итальянской ревности, забыл о всех особенностях высокого положения г. Авенариуса и грубо, как настоящий макаронник, осмеял серенькое пальтишко нашего Чурилы. Дело это, однако, окончилось без особенных последствий, потому что Анджелика защитила Чурилу и рассудительно сказала ему, что “всякий одевается по средствам”. Сантакроче так гриб и съел, а в любви русского писателя с итальянкой начинается новая фаза. У красавца Авенариуса заходит с его девочкой разговор: может ли надеяться “северянин” завладеть сердцем итальянки?

“Как человеку не взобраться вверх по этому водопаду, – надменно промолвила красавица, – так иностранцу не завладеть сердцем итальянки”.

Водопад, на который указала итальянка, был черт знает какой страшный – совсем неприступный. “Под острым углом сходились тут две неприступные голые стены, и по ним ниспадал водопад”.

Но что же может удержать писателя Авенариуса?

“В два прыжка (говорит он в своих бесценных признаниях) я был у подножия водопада и лез уж вверх по его течению!”

“Безумец! Куда вы?” – не на шутку перепугалась девушка.

“За сердцем итальянки”, – отвечал коротко Авенариус и “при известной ловкости”,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
со “смертельною опасностью”, “не хуже дикой кошки или ползучего растения”, взлез до вершины обрыва, который “восходил до самых небес”. Были там по этому пути и ущелья, сквозь которые другому бы ни за что не пронырнуть; “но я молод, тонок в талии, в движениях эластичен (рассказывает о себе наш Чурила), и протиснулся”. Дело он сделал, по его описанию, сверхъестественной трудности, и вы действительно ничего подобного не найдете даже в описании опасностей, которым подвергался Тиндаль, исследуя альпийские ледники. Были моменты в этом подвиге, когда даже сам неустрашимый Авенариус отчаивался в своем спасении и, вися над бездною, спрашивал: “Господи! ужели так и покончить? свеж, здоров, полон светлых надежд...”

Ну, а если бы он там и покончил-то! Представьте! только представьте себе, российский читатель, всю скорбность столь рановременной утраты человека на нашем теперешнем-то литературном безлюдье! Кто у нас так может писать, как г. Авенариус? Положительно никто... Но, *dei gratiae*, [20] он спасся; он долез куда-то, он “растянулся” на траве и вскоре почувствовал у себя, на самом вдохновенном челе своем, мягкую ладонь.

“ – Слава богу, жив... – слышался голос Анджелики. – Отчего он не итальянец!

я (говорит красавец) раскрыл глаза и счастливо улыбнулся.

Итальянка вспыхнула и отдернула руку.

– Я думала, вы померли, – пробормотала она”.

Извольте их разобрать, этих итальянок! Будь он их итальянец, так она б его небось зацеловала-замиловала, потому что уж видно, что нестерпимей ей совсем от своих влечений к нашему Чуриле; но как он “поганый русский”, а не их макаронник, так ей даже досадно, что “растянулся” он с остатками жизни, а не совсем мертвый!

Страшные женщины!

И действительно: чуть только наш дорогой соотечественник и наш талантливый писатель стал на свои резвые ножки, как уж эта Анджелика потребовала от него еще “нового подвига”, который, пожалуй, еще пострашнее неприступного водопада. А именно: эта скверная девчонка, чтобы еще раз испытать любовь и храбрость г. Авенариуса, послала его в горы к свирепым бандитам.

Как это вам нравится? Иди, в некотором смысле, кровь свою проливай для ее каприза?

Другой бы кто, не такой отчаянный, как г. Авенариус, разумеется, и лыжи бы завернул, – сказал бы себе: да пропади ты совсем, если ты мною так помыкаешь; но г. Авенариус не такой. Он и на это пошел. Бандиты его помяли, покрутили, поранили его в спину кинжалом и, – что уж черт знает совсем на что похоже, – сняли с него даже панталонишки и водили санкюлотом по горам, но, наконец, отпустили его, потому что с его провожатым было письмо к бандитам от Анджелики, а почему это письмо имело столь много значения у бандитов, – это вы узнаете после. Так Авенариус вернулся к Анджелике и от бандитов и опять зачитал ей стихи и свои и майковские. Ему угрожает ревность. Анджелика просит его бежать; но он решительно от этого отказывается и говорит, что “не даст себя в обиду”, и после всех этих подвигов наконец-таки допек итальянку своим умом, красотою, смелостью и талантами до того, что она решается с ним бежать в Россию. Здесь он опять делает очень много смелых и находчивых вещей для устройства ее побега, и побег удаётся: он доводит Анджелику до барки, в которой они должны были уплыть и в которую свезен уже и чемоданишко г. Авенариуса. Но тут своенравной красавице Анджелике приходит мысль спосылать “поганого русского” назад к дому, из которого она ушла, посмотреть, не гонятся ли за ними. Он, при своей находчивости-то, и поддайся на эту штуку, и побегал, и когда вернулся на берег – барка уже плыла далеко от берега, и вероломная Анджелика пела ему издали нечто вроде песни, приписываемой Платову:

Не умела ты, ворона,
Ясна сокола держать.
Анджелика укатила к начальнику тех бандитов, к которым посылала нашего храброго литератора с письмом.

“Мое личное самоуважение, – говорит тут наш бедный Чурила, – не позволяло верить факту”.

Но факт этот случился, и Анджелика через некое время прислала своему “поганому русскому” письмо, в котором просила у него прощения, что надула его ушла к бандиту, но зато сделала в этом письме следующую приятную приписку. “Возвратитесь скорее на родину: там найдется для вас множество премилых, таких же, как вы, белокурых девушек. Вы ведь, говоря по душе, в своем роде тоже очень и очень недурны, так что, не имей этих ненавистных голубых глаз да светлых волос, быть может... но блондины моя антипатия”.

Итак, начал г. Авенариус свою повесть тем, что итальянский живописец хвалил его наружность и называл его молодцом; во время продолжения всей этой повести все хвалил сам себя и заключил ее похвалой себе от бандитки, ради которой совершил свои невероятные подвиги, достойные лучшей награды. Все его лихо, как мы видели, заключалось лишь в том, что он блондин с ненавистными голубыми глазами и не под стать итальянкам; но теперь он в России, он весь к вашим услугам, mesdames, и он сделал все, что мог сделать самый развязный человек для того, чтобы всем вам огулом заочно отрекомендоваться. Оцените это, белокурые российские девы: ведь это для вас, кроме писателя Авенариуса, до сих пор ни один безумец не делал и, вероятно, никогда не сделает. Полюбите, пожалуйста, этого душку: он тонок, и здоров, и эластичен, он и поет, и играет, и романы пишет, и стихи сочиняет, и под небо лазит, и к бандитам ходит, и любовь свою предает гласности, и сам себе слагает такие мадригалы, каких ни в одной литературе еще не написал себе ни один литератор и каких, по правде сказать, кроме “Всемирного труда” не напечатал бы ни за что ни один журнал во всем подлунном мире.

Читаешь – и глазам своим не веришь, что это напечатано; думаешь – и не додумаешься, что за процесс происходил в голове человека, когда он все это слагал, исправлял, читал в корректуре и знал, что это писанье его прочтут люди, знакомые с приличиями, с законами форм литературных произведений и с понятиями о позволительном и о непристойном? Женишься, что ли, думает он и, избегая посредничества свах, сам подыскивает себе белокурую деву более удобным способом, при посредстве “Всемирного труда” в Болотной улице, или уж он наивен... так наивен, что знающие его лично могут все это извинить и в оправдание его сказать: “Быть так Чуриле сам господь повелел!”

Неимоверно! непостижимо!

И все это бездарное, исполненное неслыханного и невиданного нахальства безобразия еще украшено женским именем! Эта эпопея г. Авенариуса посвящена им даме Александре Васильевне Никитиной!.. Еще раз непостижимо!

Если эта дама не была знакома с рассказанным нами произведением красивого Авенариуса прежде появления этого нелепого произведения в печати и если она не давала этому жалкому автору свое согласие на посвящение ей истории его смешной любви, то это посвящение есть дерзость, неслыханная даже в нашей бесцеремонной литературе, и мы смеем предполагать, что г-жа Никитина не посетовала бы, если бы г. Авенариус позабыл ее имя, относя в Болотную улицу свою изумительную рукопись. Видеть свое имя связанным с деяниями такого самохвальства не радость ни для кого, тем более для женщины, хоть сколько-нибудь уважающей себя и дорожающей уважением людей, которые ценят в женщине солидность и осмотрительность, руководящие ее поступками.

Еще маленькая заметочка для истории “быстрого, но повсеместного распространения невежества и безграмотности в русской литературе”.

Этот же самый г. Авенариус, с любовными похвальбами которого мы только что кончили, в своей повести, следуя соблазнительному, как видно, примеру петербургских нигилистов, нашел случай заявить свое невежество и безграмотность, посмеявшись над Пушкиным.

Рассказывая свое путешествие в *hôte1 du Tasso* – трактирчик на обрыве над водами Неаполитанского залива, – он восклицает: “Так вот, – подумал я, –

Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной
Адриатической волной

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
в Неаполитанском-то заливе! – (восклицание г. Авенариуса)
Повторены его октавы”.

Что тут такое изумило красивого литератора? Что за несообразность, достойную своего удивительного звания, нашел он в приведенных им стихах Пушкина? Думает ли он, а с ним вместе думает ли и почтенная редакция журнала “Всемирный труд”, что Торквато величавый сидел и пел, как скворец в скворечне, только в своем маленьком домике на берегу Неаполитанского залива, а Пушкин не знал ни истории жизни Тассо, ни географии?

Все конечно у красивого Авенариуса была именно эта злодейски-меткая мысль уязвить Пушкина.

Неужто ни г. Авенариусу и никому из сотрудников, принимающих участие в издании “Всемирного труда”, неизвестно, что Торквато Тассо уехал из Сорренто восемнадцати лет и что Пушкин в осмеянном г-м. Авенариусом стихотворении, говоря об октавах Тассо, имел в виду значение этих октав для Италии, а не для трактирчика, устроенного в долине, где родился Тассо?

Италия! волшебный край!
говорит Пушкин в этом стихотворении, обращаясь с ним не к трактирчику, с которым связал октавы Тассо просвещенный Авенариус, а ко всей Италии!

Кто знает край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
Вокруг развалин тихо плещет,
Где вечный лавр и кипарис
По воле гордо разрослись,
Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во тьме ночной
Адриатической волной
Повторены его октавы,
Где Рафаэль живописал,
Где в наши дни резец Кановы
Послушный мрамор оживлял,
И Байрон, мученик суровый,
Страдал, любил и проклинал?
Италия, волшебный край!

Страна высоких вдохновений и т. д.

Какое надо иметь несчастное соображение, чтобы не понять, что все здесь сказанное идет к Италии, к “стране высоких вдохновений”, где и Канова, и Рафаэль, и Байрон, а не к трактирчику, устроенному в домике, где жил Торквато ребенком и где (то есть в трактирчике), к которому г. Авенариус так смешно припутал строфу Пушкина, гарсоны, пожалуй, могут, не зная даже ни одной тассовской октавы. Да, да, все это сказано к ней, г. Авенариус, к Италии, где (то есть в Италии) пел Торквато величавый, где (на всех итальянских водах) простые гондольеры поют стихи из его “Освобожденного Иерусалима”, где и теперь “во мгле ночной адриатической волной повторены его октавы”, ибо адриатические воды, как всем известно, есть те же воды итальянские, и на них повторялись тассовские октавы в пушкинское время и, вероятно, повторяются и ныне, в эту самую минуту, когда мы должны разъяснить красивому русскому литератору, как следует понимать читаемое по согласованию слов, ибо иначе г. Авенариус, прочитав у Лермонтова “Я, мать божия”, а у Пушкина “Христос воскрес, питомец феба”, может утверждать, что Лермонтов и Пушкин кощунствовали, первый – называя себя богородицею, а второй – величая Христа питомцем феба.

Не уместнее ли здесь, перед этими саркастическими недоумениями г. Авенариуса, тот удивительный знак, который он дерзкою рукою поставил посреди стихов Пушкина и откуда никто в целой редакции не поторопился вымарать этого знака, так громогласно свидетельствующего о быстром, но повсеместном распространении невежества и безграмотности в русской литературе? Да; здесь он гораздо уместнее. Здесь уместен целый печатный лист удивительных знаков.

Глядя на книжку, в которой с такою детскою невинностью допущено такое искреннее сознание невежества участвовавших в составлении ее людей, поневоле еще и еще раз спросишь себя: что только у нас не находит себе места в печати? Поневоле задумаешься, что у нас в нынешних наших писателях считается подготовкою, достаточною для литературной работы? Поневоле спрашиваешь себя наконец, что

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru делается с не лишенными знанием людьми, попадающими в коллегиальное собрание членов необразованных редакций? Что делает, например, во "Всемирном труде" г. Гиероглифов, у которого нельзя отнять ни ума, ни известной эрудиции, тогда как, всеконечно, по одной лишь невинности остальных руководителей журнала там печатаются любовные похвалы г. Авенариуса и совершенно умопомрачительные статьи г. Соловьева, где за серьез рассказывается, что в литературе англичан почти не было цинизма, когда в той литературе есть Свифт, Стерн, или что в нашей литературе не было романтизма, потому что мы православного исповедания (!). Начитанность этого столпа ханского журнала так велика, что ему даже неизвестно, что в нашей литературе была продолжительнейшая полоса романтизма и история нашей литературы упоминает целую вереницу известнейших имен писателей-романтиков. Он не знает, что русский романтизм имел своих больших друзей, был предметом больших рассуждений и толков; что его не отрицал в русской литературе ни один человек, прочитавший внимательно хоть одну хрестоматийку, и что о нем переписывался с Родзянко Пушкин, так и начинающий свое послание к Родзянко:

Ты обещал о романтизме,
О сем парнасском афеизме,
Потолковать еще со мной,
Полтавских муз поведать тайны..

Неужели и г. Гиероглифов не знает, что отрицать романтизм в нашей литературе – значит говорить глупый вздор, избобличающий в членах редакции непростительное невежество, круглое и всесовершенное незнакомство с теми литературами, о которых г. Соловьев ведет свои нескончаемые и лишь единством непрерывного бессмыслия связанные статьи? Что же он не спасает нового и неопытного в литературном деле г-на Хана?

При нынешней бедности наших литературных сил совершенно понятно, что новому изданию невозможно идти с блестящими статьями: их взять негде, и редактору нельзя ставить в вину, если издание его идет скромнее, чем бы желалось. Понятно и то, что и умный писатель, обмолвясь, может сказать иногда изрядную глупость. Но если глупости эти идут одна за другою в каждой книге, – идут, одна за другую цепляясь и одна другую догоняя, – то чего же может ждать такое издание в самом ближайшем своем будущем? А предприимчивые люди, подобные г-ну Хану, в нашей литературе, особенно в последнее время, так редки, что не побережь его и, стоя возле его предприятия, равнодушеествовать к ходу этого предприятия с нравственной точки зрения почти преступно. Журнал г. Хана до сих пор возбуждает лишь злорадный смех литературных свистунов да удивление серьезных друзей литературы, пожимающих только плечами при чтении печатаемого в нем хлама; между тем как журнал этот, при независимости его редактора и очевидной готовности его вести свое дело в возможно совершеннейшем виде, мог бы служить обществу серьезную службу, а не быть предметом одних насмешек, к сожалению далеко не безосновательных,

II. ЛИТЕРАТУРНЫЙ СКАНДАЛИСТ

III. СОКРЫТЫЕ ИМЕНА

IV. ЛЮБОПЫТНЫЙ ЭСТЕТИК

Нигилист с. – петербургской академической газеты был в Александринском театре. Событие это само по себе, кажется, небольшой важности; но нигилист академической газеты такой человек, который куда ни ступит, везде состроит какой-нибудь фельетонный скандал. Недавно еще, ездивши смотреть на царскосельские скачки, он надумался рекомендовать нам брать примеры воспитания с животных, а теперь в новом фельетоне почтенной газеты рассказывает, что он видел вновь поставленную на Александринском театре драму "Ледяной дом" и называет автором этой драмы г. Дьяченко, когда как автор этой пьесы нигде себя не называл этим именем. Кто занимался переделкою Лажечникова романа для сцены, это до сих пор никаким определенным путем, дозволяющим произносить имя переделывателя, не было известно. На афишах значилось просто, что драма переделана кем-то, скрывающимся под буквою Л.

Соккрытие имен под начальными буквами фамилии или под псевдонимами у нас издавна не уважается; это считается у нас как бы за некоторую низкую трусость и за ехидство. Ехидство это, по мнению одних, у хорошего литератора должно возбуждать скорбь, а по мнению других, должно возбуждать преследование и разоблачение. Представителем первого, тихого и наивного мнения до сих пор постоянно являлся один любопытный эстетик, скорбящий, что на него все нападают какие-то Пустынники да Незнакомцы. Представителями же другого взгляда, по которому анонимы и псевдонимы следует обличать и срывать долой литературные маски, были гг.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
нигилисты. Образ действия сих последних был самый решительный и состоял просто в том, что анонимного или псевдонимного автора прямо называли его настоящим именем и предавали это имя помыкательствам. Такое бесчинство было произведено с Марком Вовчком, с В. Крестовским (автором "В ожидании лучшего"), с Евгениею Тур, с Щедриным, с Incognito и с Стебницким.

Когда кто-нибудь вступался за вскрытие псевдонимов, нигилистические органы над этим заступничеством только издевались. Исключительное явление в этом роде составляла обмолвка одной московской газеты, которая, цитируя статью "Современника", подписанную " – бовъ", обмолвилась и сказала Добролюбов. Дружные в таких случаях нигилисты хватили московскую газету на зубок и посмеялись над нею, сколько хотели, и в заключение присоветовали ей считать, что статью, под которою напечатано " – бовъ", писал Крепколовов или Твердохлебов, а не Добролюбов.

В этом единственном случае упоминание имени нигилистического писателя по поводу подписи " – бовъ" было сочтено не только непростительною литературною неловкостью, но даже умышленным преступлением, достойным порицания и кары.

Но прошло некоторое время, и с прекращением "Современника" и "Русского слова" случаев такого бесчинства с вскрытием псевдонимов не замечалось; и вдруг ныне снова принимается за это рукомерло академическая газета, редактируемая Г. Коршем.

Мы спрашиваем, кто дал нигилисту почтенной газеты какое право сделать такую огласку? Где Г. Дьяченко назвал себя автором названной драмы? Кто, кроме театрального комитета, которому была представлена эта драма, да главного правления по делам печати имел право спросить настоящее имя автора переделки, скрывшего свою фамилию под одною буквою алфавита? Что общего между этою буквою и фамилиею Г. Дьяченко? Если " – бовъ" не мог быть читан Добролюбовым (что и весьма справедливо), то отчего человек, выставивший под своей работою одно Л или л – нь, может быть назван Дьяченко?

Напоминаем, что наше правительство, которое часто упрекают в недостатке либерализма по отношению к делам прессы, хотя не лишает себя права осведомляться, в случае надобности, об имени псевдонимных или анонимных авторов, но сведений этих не предаёт огласке. Оно даже дозволило Евгению Тур быть редактором ее газеты под тем же псевдонимом, под которым эта писательница известна в России. Спросим здесь мимоходом: после того, когда литература ведет себя таким образом, вправе ли та же самая литература глумиться над обществом, что оно изобличает более склонности доверяться людям, проводящим в жизнь инициативу правительственную, чем людям, пропагандирующим расходящиеся с этой инициативою мнения литературные? Несмотря на часто изобличаемую нашим обществом повальную бестактность и постоянно изобличаемую бездеятельность, мы должны сказать, что в большинстве случаев его равнодушие к литературным мнениям и его доверие к словам и действиям правительственных лиц имеет довольно крепкие основания. Настоящий случай с Г. Дьяченко позволяет нам представить обществу простое и короткое рассуждение о том, насколько ниже правительства стоят некоторые литературные органы в своем понимании причин допущения псевдонимов и в достоинстве своего поведения в отношении к сокрытым именам.

Сокрытые имена писателей, подписывающихся вымышленными именами (псевдонимами), или вовсе не подписывающихся (анонимы), есть явление, знакомое всем литераторам. Явление это не представляет ничего гнусного, ничего невежественного и ничего неудобного.

Правительства, на обязанностях которых самым прямым образом лежит забота об учинении невозможно всякой публично рассеваемой клеветы и неосновательных обвинений, могли бы, в видах противодействия этим клеветам, потребовать Бог весть какой аккуратности при печатании статей обличительного свойства.

Но все правительства, за исключением французского, столь деликатны, что не вводят никаких особых строгостей и для обличительных статей и без крайней нужды ни анонимов, ни псевдонимов не обнаруживают. В литературе Англии, где наиболее привыкли уважать права человека, не вскрыто даже имя человека, писавшего политические памфлеты под псевдонимом Юниуса, и там до сих пор известны не все

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
редакторы газеты "Times".

У нас же, где правительство относится к инкогнито псевдонимных писателей с достаточной деликатностью, нет этой деликатности в самой среде писателей. Мы беспрестанно видим образцы самого дикого бесчинства в обращении с литературными масками, и страннее всего, что мы видим эти бесчинства, совершаемыми не только со стороны литераторов, пишущих под своими настоящими именами, но и со стороны тех, которые, срывая чужую маску, сами в то же самое время остаются под маской. Анонимные и псевдонимные писатели наших сатирических журналов в прошлом году без всякого стеснения объявляли, что статьи, подписанные в "Отечественных записках" "Incognito", пишет литератор Зарин. Потом и этого еще показалось им мало, и они пояснили, что Incognito это Ефим Зарин, и даже Ефим Федорович Зарин. Теперь же человек, выставивший под своею работою букву Л, во всеуслышание назван господином Дьяченко. И кто же назвал имя г. Дьяченко, когда этот литератор не хотел этого? Какой-то человек, сам пишущий фельетоны под псевдонимом Незнакомца! Не странно ли это? Если уже по понятиям Незнакомца писателю нельзя и не следует скрывать своего имени, то зачем же он свое скрывает? Почему право Незнакомца маскироваться неприкосновеннее права г. Дьяченко, если только еще Дьяченко в самом деле написал упомянутый сценарий?

Вероятно, г. Незнакомец считает, что его писания хороши, а писания Дьяченко очень плохи, и срывает его маску, исходя из того, что под масками нельзя позволять скрываться именам только неискusstных писателей не нигилистического направления.

Мы помним, что у нигилистов было решено, что такое разоблачение имен есть кара, заслуживаемая людьми, обращающими на себя почему-нибудь их нигилистическое неудовольствие, потому что они "сила". Но кем же признана эта сила? И сколь обязательно для всех сносить ее и ей подчиняться? Не будут ли справедливым возмездием со стороны людей, которых инкогнито столь преступно нарушили нигилисты, платить тем же самым им самим имена и объявить всех Выборгских пустынников и Незнакомцев? Может быть, это и не было бы несправедливостию; но это было бы оскорблением принципа, который во всех случаях должны уважать литературные люди, и потому от этого надо отказаться. На эти дебоширства остается или жаловаться суду, или требовать от дебоширов удовлетворения тем путем, каким требовал себе от них удовлетворения редактор "Вести" г. Скарятин, или же (так как нигилисты пороку боятся и от таких удовлетворений отказываются) поступать с ними, как поступают во все времена с людьми, способными обижать и не считающими себя в обязанности давать за эту обиду удовлетворение. Одним словом, поступать так, как, вероятно, поступили бы с редактором "Русского слова" г. Благосветловым побитые им типографские работники, если бы они могли предвидеть, что раж, в который впадет г. Благосветлов, будет признан за извинение.

--

Но, кроме нигилистов, еще страшно не любит псевдонимов и совсем не переносит неподписанных статей один идеалист и эстетик мирного направления.

– Что ж, – рассуждает этот эстетик, – с кем тут схватиться? Не с кем схватываться. Кто это знает, кто такой Выборгский пустынный, или Незнакомец, или просто буква N или Z?

Еще более неудобства он находит схватываться с статьями, никем не подписанными. Просто и приняться, говорит, неловко.

Любопытный эстетик находит, что это предурный обычай печатать неподписанные статьи и, к чести его сказать, сам всегда все свои статьи аккуратно подписывает полным своим именем.

Любопытный эстетик не видит никакого резонного основания писателю не подписываться или подписываться вымышленным именем и утверждает, что произведения неподписанные или подписанные псевдонимом, или одною буквою избавляют авторов этих статей от весьма большой доли той ответственности, которой бы он побоялся, ставя под своею работою свое крестное имя и свою фамилию. В заключение всего эстетик выводит, что уважающий себя писатель должен непременно подписываться.

Постараемся показать почтенному эстетике, что он несколько заблуждается.

1) Если допустить, что уважающим себя писателем должно почитать того, который подписывает каждую свою строчку, то самым уважаемым из современных писателей будет сотрудник "Искры" г. Стопановский. Г. Стопановский что ни напишет, все подпишет. Где исправник взятку взял, где хозяин портной мальчика-ученика за волоса подрал, все это написано г. Стопановским, и все г. Стопановским подписано en toutes lettres.[21] По этому расчислению, г. Стопановский, сотрудничая в недельной газетке, подписывается не менее сорока восьми раз в год; но его еще не все признают писателем, уважающим свое искусство писания.

Второй за г. Стопановским прямо и непосредственно должен следовать Н. И. Соловьев, который, участвуя в месячном журнале, подписывается никак не менее одного раза в месяц и подписывается подо всем, что бы ни написалось; но и о г. Соловьеве как о писателе, уважающем ответственность своего печатного слова, тоже еще не говорят.

Г-ам Стопановскому, Соловьеву можно противопоставить гг. Аксакова, Каткова и Леонтьева, которые никогда не подписываются и все-таки пользуются большою известностью и без всякого спора признаются ото всех уважающими самих себя писателями.

Чтобы не ввести любопытного эстетика в заблуждение, что, стало быть, уважение легче приобрести не подписываясь, поставим против имен Аксакова, Каткова и Леонтьева имя Эмиля Жирардена, который, по обычаям французской литературы, свои статьи подписывает, но которого во Франции столь же многие уважают, как у нас уважают Аксакова, Каткова и Леонтьева.

Из этих сопоставлений любопытный эстетик может видеть, что подписыванье и неподписыванье безразлично не приносит ни чести, ни бесчестия, а что честь или бесчестие приносятся характером деятельности и достоинством своего общественного поведения.

2) Poleмика с подписанным произведением не представляет никаких трудностей. Тому, кто хочет опровергать мысли и мнения противника, а не заботиться о том, чтобы щипать и кусать самого противника, все равно, будет ли он, полемизируя, называть имя автора или его статью и издание, в котором она напечатана. Чтобы уверить любопытного эстетика, что полемизировать, не называя людей по именам, не представляет никакого особенного неудобства, мы, для примера, не называем здесь имени самого эстетика, но мы уверены, что спор наш с ним от этого ничего не теряет. Кроме того, мы поставим ему на вид опять-таки еще раз г. Каткова, который ведет полемику с целыми партиями и с высокопоставленными лицами, никогда никого по именам не называя. Нам не место говорить здесь о свойствах этой полемики; но не будет нескромностью сказать, что полемика эта не остается незамечаемою и невлиятельною на общественное мнение.

3) Степень ответственности, как перед критикою разума, так и перед законом, за подписанную и неподписанную статью совершенно одинаковы. Правительство может потребовать имя автора, написавшего вещь, подлежащую преследованию, а критику все равно считается – с Незнакомцем ли, или с каким-нибудь Сидором Карповичем; с г. Ханом, или с неподписанною статьею во "Всемирном труде", так как известно уже и всеми принято, что с неподписанною статьею редакция солидарна и должна принять за нее всю ответственность перед критикой.

Что же касается до псевдонимов, то литературный псевдоним, однажды навсегда принятый известным лицом, вполне становится для литературы собственным именем этого лица, и люди, получившие известность под этими псевдонимами, гораздо уязвимее, когда их называют принятыми или вымышленными именами, чем их собственными. Когда вы прямее уязвите псевдонимных авторов: когда будете доказывать их несостоятельность, называя их Жорж Сандом, Евгениею Тур, В. Крестовским (автором "в ожидании лучшего"), Марком Вовчком, Стебницким или Incognito, – или же тогда, когда станете выдирать подноготную, как кто из этих людей называется в жизни? Тысячная доля людей, имеющих известные понятия о деятельности этих писателей, совсем не узнает их, если вы станете называть их собственными именами.

4) Любопытный эстетик не видит еще разумного основания, почему иные авторы подписываются псевдонимами, а другие и вовсе не подписываются?

Эстетик видит в этом просто трусость, даже некоторую нечестность. Ему, может быть, даже кажется, что это делают с тем, чтобы избежать его беспощадного пера, или даже с другим злым умыслом, чтобы затруднить его в полемических приемах. Мы должны сказать любопытному эстету, что он и на сей раз ошибается. Укоренение обычая писать под псевдонимами имеет свое разумное начало и обуславливается многими причинами. Таковы, например: а) Пол автора. Женщине, при существующем взгляде на права ее пола, гораздо удобнее рассказывать роман или повесть, прикрываясь мужским псевдонимом, как это и делают: Жорж Санд, Джордж Элиот, В. Крестовский и Марко Вовчок. б) Официальное высокое положение автора, не терпящее третирувания его имени, как третируются имена простых смертных, которым, например, (как г. Аксаков недавно сказал редактору “Вести”), прямо пишут: “Какая наивная и дерзкая глупость”. Литераторствующему сенатору или министру такую штуку выслушать было бы очень неудобно, а когда он N или Z, то эти N или Z могут переносить самые резкие замечания. Это случай, где безвестность автора даже облегчает полемику, а не затрудняет ее. в) Родственные отношения автора и степень его чувствительности в связи с способом обращения литераторов с литературными именами. Положим, кому-нибудь все равно, сколько раз и при каком литературном споре ни назовут его имя; а другой этого не хочет. Не хочет не по щепетильности характера, а потому, что бережет от оскорблений имя, которое вместе с ним принадлежит и другим лицам, ни в каких литературных турнирах не участвующим, но сердцу автора очень близким и дорогим. Поостережись таким образом, зная наши русские полемические приемы, не только простительно, но даже весьма похвально. Пусть любопытный эстетик припомнит случай, когда в одном нашем журнале один развязный писатель вскрыл псевдонимы двух наших писательниц и назвал их “литературными приживалками и содержанками?” Как думает любопытный эстетик: каково это пришлось и самим оскорбленным женщинам, и любящим их мужьям их, матерям, братьям и детям? Сколько отвратительной радости эта, не обинуясь говорим, подлая выходка должна была доставить всяким мелким недоброжелателям этих достойных уважения дам? И что можно было сделать в ограждение их от гнуснейшего оскорбления? На дуэль звать обидевших их нахалов? Но, во-первых, у нас так много нахалов, что всех их не перестреляешь, а во-вторых, нигилисты пороку, как уже замечено, боятся и от дуэли отказываются; а в-третьих, дуэли запрещены и законом, и стоит вызванному нигилисту крошечку поинтриговать (на что все они так способны) – и вместо дуэли можно попасть в полицейскую чижовку, к радости и удовольствию того же самого нигилиста.. Что же с ними делать? В суд вести за оскорбление женщины? Положим, что это очень законно, но позвольте вас спросить, какая женщина, далекая от мысли о такой мерзости, как мысль о “содержании”, захочет унизиться до того, чтобы доказывать, что на нее возведена клевета и что она не содержанка? Резонеры, пожалуй, могут сказать, что оправдываться против клеветы нет ни стыда, ни позора. Это совершенная правда, но нельзя же забывать и того, что, кроме понятий юридических, есть другие понятия, понятия живучие, сложившиеся строго, – понятия старые, но которыми нравственной женщине манкировать невозможно.

Спрашиваем еще раз: что же делать с нахалами, устраивающими такие скандалы?

Делать то, что делали оскорбляемые ими наши литературные женщины, – отвечать им презрительным молчанием и потщательнее кутаться в возможно менее проницаемый вуаль псевдонима, который столь безрассудно советует всем сбросить с себя любопытный эстетик.

Резонеры могут сказать, что псевдонимы – средства паллиативные и что не к ним надо прибегать, а

Радикальное тут надобно лекарство;

что надо заставить людей уважать женское имя.

Да, ну пусть же они их прежде заставят его уважать, а до тех пор псевдоним все-таки единственное спасение.

Если бы любопытный эстетик и солидарные с ним в антагонизме против псевдонимов псевдонимные же нигилистические писатели были посообразительнее, то они сами для себя были бы за псевдонимы. Не рад бы разве теперь был Василий Курочкин, если бы стихи, которые он печатал в оные давние дни в патриотическом духе (что и не проходило без того, чтобы низводить на него в известной мере свою долю начальственных благоволений), были подписаны не его именем? Конечно, был бы рад. Не рад ли теперь поэт Некрасов, что книжечка “Мечты и звуки” была издана под

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
буквами Н. Н.? Конечно, рад. Не лучше ли было бы во многих отношениях Н. И. Соловьеву, если бы хоть половина его статей была напечатана не под его собственным именем, а с псевдонимом или вовсе без подписи? Конечно, лучше.

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛЕМИЧЕСКИЙ ВОПРОС
(К издателю “Северной пчелы”)

Один либеральный петербургский журнал в вышедшей в этих днях майской книжке снова коснулся весьма щекотливого вопроса: честно ли ратовать словом против “мнений, осужденных на безмолвие”?

Год тому назад вопрос этот рассматривался по поводу споров с писателями, отвергающими пользу постепенного общественного развития. Беспредельно смелые и, по-видимому, самоотверженные писатели этого направления объявили, что возражать им не честно, потому что они не могут свободно отражать эти возражения.

Теперьшний новый упрек в этом роде сделан московскому профессору Юркевичу и М. Н. Каткову, подрывающимся под учение материалистов.

“Чтоб судить, кто прав, – говорит либеральный журнал, – нужно выслушать обоих, а нельзя доверяться авторитету г. Юркевича или г. Каткова, которые (sic!) уже потому не стоят никакого внимания, что поступают не совсем согласно с идеей справедливости, пользуясь своим положением и ругаясь над мнениями, осужденными на безмолвие”.

Гг. Катков и Юркевич виноваты, выходит, в том, что они опровергают какие-то мнения, осужденные на безмолвие.

Мы из пустого и ложного чувства давно играем в шарады. Пора отбросить эту методику объяснений и заговорить несколько прямее.

Мнения, “осужденные на безмолвие”, есть фуриеровский социализм в устройстве экономического, республиканский демократизм в отношении политическом и философский материализм в науке.

Ни тому, ни другому, ни третьему не сочувствует М. Н. Катков, и заявил это в трех редактируемых им изданиях.

Г. Юркевич нигде не заявил, как он думает о фуриеровском социализме и демократизме; но он опровергает многие основные положения материалистов.

Несмотря на то, что г. Катков трижды виноват перед либералами социально-демократическо-материалистического направления, а г. Юркевич только во едином грехе проштрафился, либералы соц. – дем. – мат. направления сравняли их и устами одного из своих застрельщиков объявляют теперь того и другого не заслуживающими внимания. Мне нет никакого дела до М. Н. Каткова. Но мне никогда не приходит в голову мысль сомневаться, что редактор этих изданий говорит так, как думает, а думает так потому, что так уж он устроен, так додумался, глядя на все, чем чреватые дни сии. Бранить за это г. Каткова никто не имеет права, и человек, истинно либеральный, никогда бранить его не станет. Еще менее способен будет такой человек объяснять нынешнее направление экс-англоманских журналов секретарскими побуждениями. Говорить такие вещи значит не только не уважать свободной человеческой личности в г. Каткове, но даже не уважать ее в себе. Говорить такие вещи, выражаясь попросту, без затей, глупо.

А допустив, что М. Н. Катков имеет ровно столько же права защищать все им защищаемое, сколько другие имеют права обстаивать и всячески подпирать свои теории, надо признать за ним право употреблять все дозволенные, по понятиям чести, средства опровергать учения, по его мнению, вредные. То же самое нужно применить и к г. Юркевичу.

Но деспотические либералы “соц. – дем. – мат.” направления не любят вольнодумства. У них не баловаться! Думай так, как они говорят (ибо известно, что они не думают так, как говорят), а чуть не так, так “ты подлец”. Пока они ничего более не могут сделать, они ничего более и не делают. Но примириться с необходимостью не стеснять свободы никакого образа мыслей они уж не могут: желчны очень, не хватает их на это. За это одно уже я не верю их либерализму и не считаю их людьми, способными что-нибудь сделать для человеческого счастья. “Врачу, исцелися сам”.

Прошу не перетолковывать моих слов. Все, что я здесь сказал, не касается известных теорий, которых я не разбираю, а людей, странных, смешных, злых и в то же время жалких людей, полагающих, что довольно назвать себя нигилистом или социалистом, чтобы тотчас же перестать быть дурачком и плутишкой.

Теории стоят особою статьею, и их можно подпирать, вовсе не возводя на своего противника обвинения в воровстве серебряных ложек. В Англии социалисты имеют полную, безграничную свободу слова, материалисты тоже и, разумеется, пользуются этой свободой; но торжества социализма над личною собственностью или материализма над идеею христианского богопочитания мы не видим.

Допустим, что наши – народ хлесткий; разобрали бы всю эту канитель по шарнерчикам, и всю вон, как старый хлам. Допустим. Хотя, правду говоря, и нельзя этого допустить. Тем, что дома у нас сидят, далеко, например, до обширной философской начитанности и мастерского умения владеть словом.

В прошлом году, отвечая на один упрек, сделанный вам редакцией “Колокола”, вы замечали ей, что она не знает русского общества; что доставляемые ей сведения нередко ложны, а соображения и выводы, делаемые ее корреспондентами, почти всегда натянуты с бесстыднейшим легкомыслием. Вы это развивали потом в трех довольно объемистых передовых статьях и, по мере сил ваших, кажется, ясно доказывали, что подпольные типографии, заведенные молодежью по совету г. Герцена, дело у нас никуда не годное и что социально-демократической революции в России быть не может по совершенному отсутствию в народе русском социалистических понятий и по неудобству волновать народ против того, кого он считает своим другом, защитником и освободителем. Вас за это ругали, ругали да и полно. А г. Герцен тем часом все нес какую-то фантазмагорию. Вы ему рекомендовали Островского почитать, говорили ему: “Вот какие, сударь, нравы-то в нашем городе”. А он извещал, что войска русские перейдут на сторону Польши, что раскольники дышат враждою против царя и правительства. Что же вышло? Вышло, что войска бьют поляков, Россия заявляет тем или другим способом чувства своей симпатии и преданности государю, а раскольники впереди других и простирают свое усердие далее других.

Что же еще вышло?

А еще журнал “Колокол” до такой степени дискредитовался, что за ним не бегают, как во дни оны, и в Парижском Café de la Rotonde, где ежедневно встречается толпа русской и польской молодежи, номер “Колокола” лежит две недели в девственной чистоте и неприкосновенности.

Перед вами, разумеется, никто не сознался в безрассудстве тех диких упреков, которые вам делали; но в душе, верно, каждый хоть на маковое зерно смысленный человек согласен, что вы говорили только правду.

Но ваша вина была в том, что вы спорили с самим Герценом!!! А уж, кажется, ему ни крылья не связаны, ни пути не заказаны. Катков же и Юркевич виноваты в том, что возражают мнениям социалистов и материалистов, которые, по словам либерального журнала, уж очень обижены в отношении свободы.

С Герценом потому нельзя не соглашаться, что он сам Герцен, а с этими потому, что они чего-то такого очень хорошего никак выговорить не могут.

Бедненькие! что вы за вздор-то несете? Не вам бы говорить и не нам бы слушать, насколько кто поет полною грудью, насколько кто едва берет только низовые нотки. Кому это вы только рассказываете? “Современник” когда-то приглашал кого-то пожаловать в редакцию, чтобы полюбоваться чем-то очень курьезным; но этих курьезов никто, кажется, не ходил смотреть: “дома”, сказали все, “имеем”.

Социалисты, материалисты, конституционалисты, абсолютисты и всякие исты в нашей благоустроенной земле пишут что хотят, а печатают, что им позволят, так тут ворон ворону глаза не выклюет. А за то, что человек только предпочитает социализм экономическим системам или материализм богопочитанию, не жгут на кострах и в темницы не сажают. “Мысли свободны, поступки ответственны”, и, говоря, что А, В, С, D, E, F и т. д. социалисты, а X, Y и Z материалисты, я не рискую им причинить ни малейшей неприятности и приношу им высшее наслаждение выдумать себе опасное положение и ругать целую редакцию, связывая с ее

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
“подлостью” свою чистоту недосыгаемую.

А все это в существе будет ложь, гнусная мальчишеская ложь, известная только в этой милой сторонухе, где человек начинает лгать от чрева матери своей.

Не смей их трогать, потому что им не очень вольготно! Ну, а если и нам не вольготно? А если все, чего мы ждем, из-за чего бьемся, подрывают, портят; если опровергать то или другое положение известной теории нужно для уяснения истины, то что ж, нельзя этого делать? Не социалисты ли и материалисты русские так щепетильно деликатничали, осмеивая “говорильни” и прочие аксессуары представительства? Не они ли брали в расчет, каково нам ответить положительными словами на их гаерскую ругню? Нет! мы знаем их не два дня.

Пора окончить это ни к чему не ведущее деликатничанье.

Вот если бы гг. Катков и Юркевич теперь говорили то, что они говорят, а зачуяв ветер с другой стороны, запели бы иную песню: Катков бы стал проповедывать социально-демократическую республику, а Юркевич сделался бы московским Фейербахом, да и произошла бы вся эта метаморфоза единственно “страха ради иудейска” – ну, тогда другое дело. Тогда критик либерального журнала имел бы основание построить такую фразейку, по которой “нельзя доверяться авторитетам Каткова или Юркевича, которые не стоят никакого внимания”. А пока нет никаких оснований объяснять образ мыслей этих писателей побуждениями сомнительной чистоты, до тех пор относиться к ним таким образом мог только человек, гадко воспитанный с детства и долго живший в очень дурном кругу. И он-то, по всем соображениям, рискует сделаться человеком, “недостойным никакого внимания”.

Мне нужно было припомнить все то, что я привел выше, и я не мог не говорить о г. Каткове и г. Юркевиче, вовсе не желая защитить их. Я твердо уверен, что они в этом не нуждаются. Мне все это было нужно, чтобы показать, как спуталось понятие о честности в литературных спорах. Обижать, бранить человека, касаться самых нежных струн его сердца, бросать на него обвинения в продажности, в лакействе – позволительно, терпимо, даже прилично. А назвать вещи их настоящими именами – бесчестно. Итак: социалисты и материалисты могут ругать каткистов. Они могут и подрывать всячески их работу, и это все честно. А каткисты, когда захотят, отстаивая себя, сказать им слово супротивное, – это бесчестно и “несогласно с идеей справедливости”.

Это оттого, что не они сила, а когда они будут сила (если рак свистнет), тогда..... да уж тогда Каткову с Юркевичем, пожалуй, говорить будет некогда.

Что ж! Дождаться что ли такой часинки?

Нет, уж это очень много.

Обвинения в бесчестности изобретены бесчестно, и пользоваться этой уловкой, не имеющей никакого основания, бесчестно. Но во всяком споре, ученом ли или литературном, каждая сторона, без всякого упрека своей совести, должна пользоваться всеми слабыми местами противника и отстаивать то, что, по ее мнению, полезно и нужно для наибольшего счастья наибольшего числа людей. Церемониться же так, как до сих пор все церемонились с нашими социалистами, именуя их теоретиками и Бог весть какими кличками, – совершенно неуместно, а молчать, из страха недостойных намеков и оскорблений, – смешно и нечестно. Их ничто не берет. Они, “яко же мертвии, срама не имут”.

ЛИТОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

С.-Петербург, вторник, 16-го октября 1862 г

К числу предприятий, приобретающих с каждым днем большую популярность, принадлежит Литовская железная дорога. В нашей газете было уже несколько статей, которые могли познакомить читателей с сущностью этого предприятия. Теперь, когда проект новой железной дороги, следует полагать, близок к осуществлению, всякая весть, всякий факт о ходе предприятия не лишены интереса. Вот почему с особенным удовольствием спешим поделиться сведениями, полученными из местности, в которой производятся изыскания к устройству проектируемой дороги.

Для большей связи, считаем нелишним напомнить читателям ход дела с момента юридического заявления идеи о литовской железной дороге. Моментом этим следует считать день 27-го марта настоящего года, когда литовские землевладельцы: князь

Статьи. Николай Семенович Лесков teskovniko1ai.ru

Друцкий-Любецкий, г. Скирмунт, князь Владислав Сангушко, князь Роман Сангушко, граф Тарновский, г. Теодор Бобр-Пиотровицкий, граф Иван Тышкевич [22] (недавно умерший), флигель-адъютант Его Императорского Величества князь Петр Витгенштейн, граф Август Замойский, он же, в качестве опекуна малолетних графов Потоцких, и г. Ян-Завиша подали прошение на имя бывшего главноуправляющего путями сообщений, генерал-адъютанта Чевкина, об исходатайствовании им разрешения соорудить железную дорогу между Белостоком, пунктом на Петербургско-Варшавской железной дороге, и Волинью. Главноуправляющий 7-го июля в ответ на прошение учредителей сообщил им, что последовало высочайшее разрешение приступить к изысканиям по устройству литовской железной дороги, без обеспечения, однако, со стороны правительства просимой гарантии. Ввиду этого последнего обстоятельства, – лицу, облеченному доверием учредителей, предстояло или воздержаться от ведения дела впредь до получения от них полномочия, или же, не теряя времени, немедленно приступить к изысканиям, с личной за них ответственностью до той минуты, пока большинство голосов учредителей решит, отказаться или не отказаться от предприятия. Понятно, что изыскания были начаты, а между тем наступил день 7-го сентября, крайний срок, в который должно было высказаться решение учредителей, и большинство голосов, как и следовало ожидать, решило в пользу дальнейшего ведения дела. Изыскания начались в конце августа, а к 30-му сентября были уже окончены 192 версты, более чем половина всей линии. Именно от Дубровицы до Пинска, на протяжении 70 верст, и от Пинска до Пружан, на протяжении 120 верст. Оставалось затем пространство от Пружан до Белостока с Беловежской пущей, для прохода чрез которую не получено еще разрешения со стороны министерства государственных имуществ. Вот почему работы, открытые с двух сторон, от Белостока и от Пинска, сомкнутся в Беловежской пуще, как скоро получатся ожидаемое разрешение. Сколько мы слышали, местная палата государственных имуществ доставила весьма благоприятные данные касательно проведения железной дороги чрез заповедную пущу, и, вероятно, к окончанию изысканий, производимых с таким успехом, не встретится затруднений. Если позволение министерства состоится на днях – вся работа в поле будет окончена не позже 15-го ноября. Погода, как нам пишут из Пинска, необыкновенно благоприятствует работе: но главным поводом ее успеха все-таки сама местность. Она до такой степени ровна, что, при вычерчивании профилей, не приходится встречаться даже с незначительными бугорками, несмотря на то, что масштаб в профили для вертикальных отметок принимается в десять раз больший, чем для горизонтальных расстояний! Но интереснее всего пространство от Дубровицы до Пинска. Тут-то именно и находятся пресловутые болота, благодаря которым и у нас, в Петербурге, кое-что знают о Пинске. Но жестоко можно было бы ошибиться, полагая, что эти болота окружают самый город: здесь только низменный берег, заливаемый всякую весну, а иногда и осенью (но редко) вследствие разлива Пины, Струменя и многих рукавов, образующих близ города целую водную сеть. Этот низменный берег (почти) то же, что левый берег Днепра под Киевом, Десны под Черниговом, Сожи под Гомелем и Березины под Бобруйском. В Пинске, на пространстве левого берега Пины, придется устраивать весьма значительную насыпь, но отнюдь не ради каких-либо болот, а единственно по поводу весеннего разлива Пины и Струменя, возвышающего нормальный горизонт этих рек (не менее) до 9 футов. Вследствие этого насыпи нужно будет сообщить высоту приблизительно до двух сажен на протяжении всей ее длины, то есть на пространстве 28-ми верст, ибо сама местность не более полусажени выше обыкновенного горизонта реки. Эта-то насыпь составит единственную более серьезную работу на всей линии Литовской железной дороги. Южнее Нечатова, по направлению к Дубровице, затруднений в техническом отношении не предвидится: вся местность до Дубровицы, за исключением одного Марочного болота, представляет все удобства к сооружению железной дороги. О местности на север от Пинска и говорить нечего: она до такой степени ровна, что почти можно укладывать рельсы без предварительных земляных работ. Дело обойдется без больших мостов, выемок и насыпей, усложняющих и замедляющих сооружение почти всякой железной дороги. Хотя изредка встречаются незначительные болота, но подпочва на всем пространстве самый крупный песок. Жители Пинска с особым удовольствием встретили мысль об устройстве насыпи чрез низменный берег Пины. Они говорят, что этим приобретется возможность навсегда осушить и предохранить от разлива реки огромную площадь местности под самым городом, – местности, в которой теперь собирается только плохое сено, а в охотничью пору находит безопасное убежище множество дупелей и бекасов.

Собственно в Пинске работы уже закончены и даже, сколько нам известно, сделано обозрение р. Припети, книзу от Пинска, до села Бережцы, лежащего при совпадении р. Припети с Стырем. Ниже этого пункта редко все-таки реке бывают затруднения в плавании судов и пароходов: но зато плавание между Пинском и Бережцами сопряжено

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

с постоянными трудностями, так что, кажется, самой компании, которая возьмет на себя устройство дороги, придется исправить и эту часть реки. Главные затруднения заключаются в частых заворотах реки, отмелях и отсутствии бичевников. Воды тоже немного, хотя, в сущности, ее более, чем нужно было бы для удобного плавания: она расходится многими рукавами по лугу, без малейшей пользы для кого бы то ни было. При пересечении всей местности большой насыпью представится возможность собрать все рукава, находящиеся вокруг Пинска, в одно русло под мост на железной дороге и образовать значительную реку, шириною около 60 сажен. Чтобы вода, пройдя под мост, опять не разветвлялась по лугу, пришлось бы устроить, от Пинска до устья Ясиолды, более или менее обширные плотины или сделать с правой стороны реки непрерывные бичевники, в особенности там, где берега очень низменны. Такая работа обошлась бы, без сомнения, весьма дорого. Но что же выиграет Пинск, даже при устройстве железной дороги, если свободное судоходство между ним и Киевом не будет обеспечено во все продолжение навигации? До сих пор мало обращали внимания на этот вопрос, а между тем, при издержке и во сто тысяч рублей, можно было бы сделать уже весьма много. Правда, эта сумма весьма почтенная: но, ввиду необыкновенно выгодных последствий от подобной работы, будущие акционеры литовской железной дороги, вероятно, не призадумаются над затратою, сколь значительною она ни показалась бы. Мы имеем право думать, что акционерное общество, которое предполагает составить названные нами учредители, будет свободно от расходов, какими блистают книги Главного общества российских железных дорог, вроде классических премий Колиньону и другим достойным их сотоварищам (Колиньон получил 125 тыс. руб.). Будущее акционерное общество будет зато гораздо менее связано в полезных затратах, к числу которых нельзя не отнести устройство удобного судоходства между Пинском и Киевом.

Вот вкратце очерк настоящей деятельности учредителей проектируемой железной дороги. Всего пятнадцать человек работает над изысканиями и над собиранием статистических данных. Часть зимы пройдет в составлении проекта, который будет окончен не ранее 1-го февраля. К 20-му же февраля должны будут съехаться в Вильно учредители для окончательных совещаний и для представления проекта на утверждение правительства.

Мы считаем лишним распространяться о необходимости литовской железной дороги. Теперь пора уже вспомнить, что в этой части империи все пути сообщения направляются почти исключительно с востока на запад. До сих пор ничего не сделано в пользу сообщения юга с севером, а между тем, как было уже сказано в нашей газете, большинство произведений южных местностей, преимущественно сырые продукты, транспортируются в Англию, главную потребительницу наших произведений. Соединение Белостока с Пинском железною дорогою будет началом новой длинной линии, направляющейся от Петербурго-Варшавской железной дороги к Черному морю. Вот почему на литовскую железную дорогу отнюдь не следует смотреть, как на предприятие, преследующее исключительно местные интересы: нет, оно неизбежно отзовется и на всей юго-восточной половине империи.

Мы неоднократно повторяем, что нам нужны железные дороги. Они – лучший союзник всех совершаемых и предполагаемых реформ в нашем отечестве. Но слово не есть еще дело. А потому учредители литовской железной дороги заслуживают полного уважения общества за фактическую инициативу в вопросе соединения севера с югом, в вопросе, от разрешения которого Россия вправе ожидать благотворных последствий.

МЕРЫ ДУХОВНОГО НАЧАЛЬСТВА К НРАВСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАНИЮ НАРОДА

С.-Петербург, среда, 25-го апреля 1862 года

Тульское епархиальное начальство в недавнее время обнародовало в своем органе гласности, что при тамошней семинарии, по благословению местного преосвященного, молодых людей семинаристов приучают к произношению, экспромтом даже, поучений и проповедей на данный случай или на тему, добровольно избранную самим оратором, с тем непременным условием, чрезвычайно важным и донныне едва ли где-нибудь строго соблюдавшимся, чтобы будущие духовные пастыри церкви излагали свои поучения и речи популярным, самым понятным и доступным разумению простолюдина языком. Как доказательство того, что эта давно желанная мера хорошо прививается в семинарии, "Тульские епархиальные ведомости" напечатали у себя одну экспромтом сказанную воспитанником речь о том, "какой тяжкий грех называть иконы Богом, молиться им, как Богу живому, и вообще обожествлять священные изображения".

Не знаем, в какой мере семинарии других губерний последуют этому прекрасному примеру и насколько практикование молодых людей в ораторском искусстве и в ведении духовных бесед с простолюдем будет применимо в тех краях, где

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

господство рутины держится еще в прежней незабываемости. Но мы все-таки видим здесь шаг вперед и действительно шаг к лучшему. Но вот еще другой, тоже самым духовным началом одобренный документ, свидетельствующий еще о новом пути, которым благочестивое духовенство наше предполагает действовать на народ для достижения своих пастырских целей.

Начальник Пермской губернии донес министру внутренних дел, что, по соглашению его с местным преосвященным, признано особенно полезным произносимые в губернии замечательные проповеди печатать в губернских ведомостях, в тех видах, что эти ведомости получают во всех волостях у крестьян государственных и временнообязанных, и проповеди, в них напечатанные, могли бы заменять, в некоторой степени, известный недостаток книг для народного чтения. Между тем помещение всех подобного рода статей в губернских ведомостях затрудняется по случаю отдаленности от Перми духовно-цензурных комитетов (ближайший находится в Москве), без разрешения которых они, по существующим узаконениям, не могут быть напечатаны в местной газете. Губернатор просил г. министра исходатайствовать, чтобы позволено было небольшие статьи духовного содержания помещать в "Пермских ведомостях" с одобрения местного епархиального преосвященного, собственно в уважение отдаленности Пермской губернии от мест, где учреждены духовно-цензурные комитеты. В том соображении, что проповеди духовенства могут оказать благотворное влияние на мирный и нравственный ход крестьянского дела и что просмотр этих проповедей местным епископом составляет вполне достаточное за них ручательство, тайный советник Валуев дал ходатайству пермского губернатора надлежащий ход, и Святейший правительственный синод 28-го февраля текущего года опубликовал циркулярно указами, чтобы епархиальные архиереи, по усмотрению своему, разрешали печатание проповедей в губернских ведомостях по ходатайствам о том местных гражданских начальств. Достоинство этой меры, кажется, ясно говорит само за себя, и уже теперь заранее определен тот характер, которым будут проникнуты статьи этого рода в губернских ведомостях. Остается только желать, насколько это возможно, чтобы этот, так сказать, новоизбранный путь находился в гармоническом сочетании своих основ с теми, которые должны служить руководящею нитью при первом способе нравственного просвещения народа.

МНЕНИЕ РУССКИХ ЕВРЕЕВ "О ВОЗМОЖНОСТЯХ"

С.-Петербург, суббота, 19-го мая 1862 г

– ВОЗМОЖНОСТЬ ЖЕНСКОЙ ЭМАНСИПАЦИИ НА ДЕЛЕ. ОПЫТ В КАЛИНКИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ. – БАШКИРЫ И МЕЩЕРЯКИ КАК ОБРАЗЦЫ ДЛЯ РУССКИХ ЭМАНСИПАТОРОВ. – СВЯЩЕННИК КОНСТАНТИН СТЕФАНОВИЧ. – КАК БУДЕТ ИДТИ ДАЛЕЕ ВОПРОС О ЖЕНЩИНАХ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ЛЕЧИТЬ?

Мы всегда давали огромное значение практическому уму русских евреев и были уверены, что они лучше нас знают все сферы русской жизни, не исключая и той очарованной среды, которой современными писателями даровано исключительное право именовать себя "русским народом", народом, одаренным свойствами, которых никак не поймешь, если не снизойти на одну ступень умственного и нравственного развития с этим народом. Русские евреи отлично знают и народ, и власти, и порядки, какие где нужно провести, и пружинки, какие где нужно подставить, и потому очень нелишне иногда прислушаться к некоторым их воззрениям. Замечено, что они стоят в стороне от русской жизни, а со стороны ведь многое виднее. Русский еврей, когда ему нужно что-нибудь сделать, обыкновенно не стесняется тем, возможно или невозможно, по существующим условиям, то, к чему он стремится, и не падает духом от первой неудачи, а ищет других мер, других средств, и из ста дел в девяносто девяти почти всегда успевает. Спросите его, как он добился своего, когда это, по нашему мнению, невозможно? Он пожмет плечами с улыбкой, выражающей и сожаление, и презрение к вашей несообразительности, и скажет: "невозможности нет!" Ответ замечательный и беспрестанно встречающийся в разговоре с евреями западного края. Мы невольно вспомнили еврейское мнение о несуществовании невозможного, увидав женщин, имеющих право лечить, тогда как ученые персоны еще до сих пор продолжают доказывать невозможность обучения русских женщин медицине. Кто же устранил эту невозможность для женщин, получивших право лечить других и право существовать, ни от кого не завися? Вам, читатель, будет очень трудно угадать, кто это обделал. Вы, следуя логическим соображениям, конечно, можете подумать, что это дело усилий гг. Антоновича, Писарева, Бибикова и других лиц, известных в литературе независимостью своих взглядов на положение женщины. Вы подумаете, что они своими сочинениями увлекли пылкие умы наших соотечественников, что те бросились по начальству, и... наши женщины и девушки уже не будут более страдать от стыда, рассказывая мужчине такие вещи, о которых женщине неловко говорить со сторонним мужчиной. Нет, читатель! Ни Антонович, ни Писарев, ни Бибиков, ни все другие российские писатели ничего подобного не пробудили в русском обществе, где вопрос о женской

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
эмансипации развивается только в приятных разговорах и непременно между холостыми мужчинами и замужними женщинами, целый век собирающимися удалиться от своего супружеского очага “под сень струй” с Хлестаковым в современном роде.

Нечего ожидать никакой эмансипации, пока русское общество не станет обществом нравственно развитым, пока его не станут занимать вопросы посерьезнее и попрacticalнее вопросов, поднимаемых людьми, не знающими действительной жизни ни с какой стороны, и, наконец, пока у него не вырастет поколения женщин, не способных целую жизнь только рисоваться своими мнимыми несчастиями да искать скандалов. Истинный прогресс в женском вопросе у нас начинается с Востока, из Азии, и начинается не сегодня уже; но мы этого не замечали. Устранение невозможности иметь в России женщин, способных лечить, принадлежит совсем другим либералам, мещерякам и башкирам, которые не знают ни одной статьи Бибикова и Писарева. Эти “дикие сыны степей” прежде нас согласились, что женскую стыдливость нельзя называть ложным стыдом, как величают ее медики и материалисты. По ходатайству башкир и мещеряков, оренбургский и самарский генерал-губернатор 20-го августа 1860 года снесся с советом здешнего воспитательного дома о предложении женщинам родовспомогательного отделения учиться распознаванию сифилиса и, обучась этому делу, приехать к башкирам и мещерякам, которые во время учения женщин вызвались давать им средства на содержание. Из учениц родовспомогательного отделения Олимпиада Ласкова и Дарья Афанасьева изъявили желание учиться распознаванию сифилиса и были определены в калинкинскую женскую больницу, где преимущественно пользуются женщины, страдающие любострастными болезнями. Начальство калинкинской больницы и ординатор, которому довелось руководить Ласкову и Афанасьеву, не ограничились объяснением им признаков распознавания, но дали им возможность познакомиться и с лечением болезни. Олимпиада Ласкова и Дарья Афанасьева получили свидетельства, предоставляющие им право распознавать и лечить сифилис наружными средствами. Место их в калинкинской больнице, на счет тех же башкир и мещеряков, заняли Марья Журавская и Надежда Курганова, которых учили еще повнимательнее, так что после экзамена у помощника инспектора по медицинской части учреждений Императрицы Марии г. Персона эти две женщины получили аттестаты, предоставляющие им право лечить сифилис ртутными средствами и другие “легкие болезни под наблюдением врача”. 1-го января 1862 года, опять на счет тех же башкир и мещеряков, поступило в калинкинскую больницу восемь женщин (Романова, Савина, Ромзай, Самохвалова, Демидова, Борхман и еще две, имен которых мы не знаем); эти еще учатся и подают довольно хорошие надежды. Очень недавно одна из них, молодая девушка, делала, под наблюдением ординатора, вскрытие весьма болящего венерического нарыва и произвела эту операцию рукою, изобличающею твердость и опытность. Таким-то образом делаются прогрессивные и либеральные дела: башкиры и мещеряки захотели иметь женщин, способных лечить, и невозможность обучения медицине русской женщины исчезла. Башкиры и мещеряки, в качестве эмансипаторов, не вопили, не метались, не неистовствовали, а предложили нашим же здешним женщинам средства учиться, и число охотниц каждый год увеличивается. Башкиры дают из своих общественных средств каждой ученице, пока она находится при калинкинской больнице, по 28 рублей в месяц на содержание, не подвергают их никакой стеснительной опеке, дают им учиться свободно, отвозят на свой счет в войско и обеспечивают там жалованьем. Вот и все дело башкир и мещеряков, указывающих мятущемуся русскому обществу, как эмансипируют женщин те, кто в самом деле хочет помогать женской доле, не воспитывая в ней фрин, для которых первое побуждение животного чувства законнее всякого нравственного начала. Но мещерякам и башкирам принадлежит еще та заслуга, что они сумели устроить дело, которое, по мнению других, невозможно (для других, при том образе действий, оно действительно было бы невозможным), и башкирские женщины, конечно, должны крепко уважать свое общество, которое уже привезло им четырех ученых лекарок да еще приготавливает восемь. Но мы, с своей стороны, обязаны публично поблагодарить тех просвещенных и гуманных лиц, которые, уважая интересы человечества, вышли из узкой рамки форм и дали пансионеркам башкиров и мещеряков средства выучиться лечению. Лица эти: главное начальство калинкинской больницы и помощник инспектора по медицинской части учреждений Императрицы Марии, д-р Персон, экзаменовавший учениц в присутствии шести экспертов и выдававший им аттестаты с правом лечить сифилис и другие легкие болезни под наблюдением врача. Кто умеет хорошо понимать положение этих лиц, тот должен дать надлежащую цену их благородному делу и запомнить их честные имена, давшие нам право бросить господам, отрицающим возможность обучения женщин медицине, не фразы, а живой факт, уничтожающий их теорию. Если и этого им мало, то уж лучше перестать говорить, а поступать так, как поступают опередившие мещеряки и башкиры. Неприятно, конечно, такой просвещенной и самобытной нации, каковы мы, по

толкованию некоторых наших писателей, идти по следам восточных варваров, ну, да что уж делать! Кому жаль своих женщин, тот за этим не остановится, а начальство калининской больницы и д-р Персон, без сомнения, останутся верными своим благородным началам, пойдут своею дорогою дальше и дальше и помогут нам доказать, что везде все возможно, где общество идет к своим целям без фраз и фарсов, твердо, честно и решительно. Желаем от всего сердца, чтобы общество наше не забыло благородных людей, выучивших женщин лечению, и не дало бы перегонять себя башкирам и мешерякам во всем так, как они обогнали нас в открытии женщинам средств к независимому положению.

Поговорив о калининской больнице, мы не можем не сказать еще нескольких слов о священнике этого заведения Константине Петровиче Стефановиче и о двух лицах, которых мы не имеем права назвать. Мы уже говорили, что в калининской больнице лечатся почти одни сифилитички, а этой болезни подвергаются и работницы, и очень молодые женщины, сделавшиеся жертвою увлечения к нездоровому человеку, и молодые девушки, ни в чем не повинные (зараженные от житья с больными женщинами), и, наконец, большею частию женщины, тайно или явно промышляющие развратом. Священник калининской больницы Константин Петрович Стефанович, наблюдая душевное состояние больных, размещаемых по видам болезни, без всякой сортировки их профессии, нашел, что в больнице происходит то же самое, что давно замечено в тюрьмах, то есть что женщины, промышляющие своим развратом, разрушительным образом влияют на нравственность своих больных соседок, примиряя их с мыслию о своем промысле, при котором возможны и праздность, и мнимая независимость, и удовольствия. Г. Стефанович, с помощью одной дамы, имя которой, к сожалению, мы не вправе назвать, отыскали для выздоравливающих отдельное помещение в здании больницы и в этом помещении оставляют всякую женщину, которая пожелает оставить прежнее ремесло. Сюда доставляют им работу и из выручаемых за работу денег уплачивают долги, которыми хозяйки опутывают несчастные жертвы общественного разврата. К этому расчету приступают очень благоразумно, сверяют записки со стоимостью выданных нарядов и не позволяют эксплуатировать бедных женщин. Потом стараются поднять их нравственно и, освободив от желтого билета, пристраивают к честным занятиям. Все это дело ведут священник Стефанович и дама, об имени которой мы не говорим. Кажется, всем бы радоваться... так нет! Нашелся артист, который, по любви к искусству, учинил донесение, что в больничном здании, где не положено жить никому, кроме больных, живут здоровые, "кающиеся"; но, к счастью, донесение попало в честные руки, которые возвратили его доносчику с замечанием, способным отнять охоту к приятному занятию доносами.

Итак, теперь пока в одной калининской больнице эмансипируют женщин не на словах, а на деле. Там же хлопчут заменить всех фельдшеров фельдшерицами, и в одном отделении эта прекрасная мера уже приведена в исполнение. Остановятся ли все эти благие начинания *in statu quo*, [23] или им суждено будет идти далее – Бог весть! Судя по людям, сумевшим согласиться на такое дело без всякого шума и ведущим его до сих пор скромно и твердо, мы хотим верить, что они не остановятся на одних фельдшерицах, но пойдут далее и будут виновниками дарования русскому обществу того, в чем оно сильно нуждается, то есть женщин-врачей. Затем желаем успеха христианскому делу священника Стефановича и его достойной уважения сподвижницы; желаем им расширить круг своей деятельности и за стены калининской больницы, а советам больниц – подумать о той пользе, какую принесло бы отдельное содержание сифилитичек, промышлявших развратом, от сифилитичек, заболевших случайно. Содержать их вместе столь же вредно, как вредно содержать вместе мальчика, укравшего яблоки, с злостным банкротом. Мы полагаем, что правительственное вмешательство в это дело, которое для многих кажется пустяками, было бы нелишним, а достичь этого в самых небольших больницах очень нетрудно...

НАПАДАЕМ ЛИ МЫ НА СТУДЕНТОВ?

ИЗЛОЖЕНИЕ ДВУХ СТУДЕНТСКИХ ИСТОРИЙ. – ПРИЧИНЫ, ВЫЗВАВШИЕ СТАТЬЮ "УЧИТЬСЯ ИЛИ НЕ УЧИТЬСЯ?" – МНЕНИЯ ОБ А. И. ГЕРЦЕНЕ (ИСКАНДЕРЕ) И О РЕЧИ, СКАЗАННОЙ ИМ В ВЯТКЕ. – РАЗНИЦА МЕЖДУ СТУДЕНТАМИ В УНИВЕРСИТЕТЕ И В ДУМЕ. – НАШЕ МНЕНИЕ

Н. Г. Чернышевский в апрельской книжке "Современника" поместил свою статью по вопросу: "Научились ли?". Статья эта направлена прямо против "Санкт-Петербургских ведомостей", которые напечатали статью "Учиться или не учиться?" и против "Северной пчелы", перепечатавшей ее из "С.-Петербургских ведомостей". Нашим читателям известно, что статья эта очень многим не понравилась, и мы даже напечатали одно из писем, полученных нами после ее помещения. Упрек, сделанный нам автором оглашенного нами письма, мы считали ничтожным и не заслуживающим никаких объяснений: но статья Г. Чернышевского –

другое дело. Из нее видим, что нас упрекают не только люди, находящиеся в том возрасте, к которому мы относим автора напечатанной эпистолы, но г. Чернышевский говорит, что “она обрадовала людей, имеющих привычку всякую вину во всяких неприятных делах приписывать исключительно молодому поколению да литераторам”. Очевидно, что статью “Учиться или не учиться?” рассматривают как упрек студентам закрытого правительством Петербургского университета за то, что они довели университет до закрытия. Вступаясь за студентов, г. Чернышевский опровергает положения перепечатанной нами из “С.-Петербургских ведомостей” статьи. В разборе “студентской истории” устами г. Чернышевского говорит сама истина. На эту историю никто из благомыслящих русских людей не смотрит иначе, как смотрит на нее г. Чернышевский в приведенной статье, и потому возражать ему, надеемся, никто не станет.

Но начинается второй эпизод студентской истории. Университет закрыт; из разных мест России поступают пожертвования в пользу студентов; чтобы не терять времени до открытия университета, профессора, самые известные своею ученостью и чистотою своих убеждений, – профессора Петербургского университета открывают в зале здешней городской думы чтение публичных лекций, на которые сходятся потерявшие свою аудиторию ex-студенты Петербургского университета и разные частные люди, платящие за каждую лекцию по 25 копеек. Дело идет прекрасно. Желчевики, распускавшие злонамеренные толки насчет студентов, повесили носы; благопристойность, которою отличаются студенты на публичных лекциях, и единокорость их разбивают в пух и прах все толки о “мальчишестве”, которым в известных кружках была окрещена студенческая история. Друзья студентов поднимают головы и гордятся молодыми людьми, горячо отстаивавшими свое дело и, потеряв его, сумевшими создать для себя возможность продолжать свое образование путем, свободным от всякой тяжелой опеки и от всякого стеснения. Общество еще более усилило свою симпатию к студентам. Это было, можно сказать, самое выгодное время для репутации студентов в обществе, из которого в залу городской думы приходили на лекцию люди, не слушавшие отроду никогда ни одной лекции. Судите сами, чего можно было ожидать от такого прекрасного начала!.. Но чего можно было ожидать и чего ожидали люди благонамеренные и искренно преданные делу студентов, того не случилось, а случилось совсем другое, чему, конечно, лучше было бы не случаться. Подвернулась на общее наше горе печальная история с одним из профессоров Петербургского университета, читавшим свою статью на одном из литературных вечеров. Последствия этого чтения были очень неблагоприятны для читавшего профессора и как нельзя более огорчили его почитателей, которых он имел очень много и между студентами, и между обществом. Пошли толки: что делать? как помочь? Помогать все очень желали; но пока нашли какие-нибудь сильные и законные средства для этой помощи, 8-го марта 1862 года произошла другая история. 8-го марта в зале городской думы читал историческую лекцию профессор, которого год тому назад студенты Петербургского университета в благородном восторге несли на своих руках из залы, в которой он, при многочисленном стечении публики, читал о значении трудов одного умершего русского литератора в русской литературе. Мы были на том чтении и хорошо помним благородный восторг, которым были воодушевлены тогдашние слушатели этого профессора. Не можем сказать, сколько из тогдашних слушателей явились 8-го марта на лекцию в городскую думу: но можем свидетельствовать, что их было немалая часть. До начала лекции можно было заметить общее ненормальное и несколько экзальтированное состояние собравшихся посетителей. Повторившееся здесь и там имя профессора, участвовавшего на литературном чтении, объясняло настоящую причину общей встревоженности. По окончании лекции к профессору было сделано обращение, которого он не хотел принять, находя удовлетворение простираемых к нему требований бесполезным, неуместным и невыгодным для общества. Из толпы слушателей послышались пошлые и оскорбительные намеки, недостойные профессора, доказавшего долговременною ссылкою свою преданность либеральной идее. Профессор сказал, что известные поступки характеризуют не либералов, а Репетилых, из которых со временем легко выходят Расплюевы. Сказав это, он сказал святую правду, и сказал ее с тем достоинством, которым всегда отличается его прямое и честное слово, к кому бы оно ни относилось. Поднялся крик, гам, свист, шиканье и недостойные площадные выражения: кричало и шумело большинство, меньшинство не могло выразить своего мнения и было оттерто. Этот подвиг, в совершении которого г. Чернышевский не хочет допускать большого участия студентов, находившихся 8-го марта на лекции, был поводом к крутому повороту студентского дела в общественном мнении. Передние пошли назад, задние полезли наперед. Желчевики воскресли и стали смело и громко отстаивать справедливость всех мер, принимавшихся против студентов; у друзей студентов история 8-го марта отняла всякую возможность отстаивать серьезное значение их прежней протестации; в обществе, так благоволившем к студентам,

взгляд на протесты их стал сильно колебаться, а думское ополчение против профессора с извещением направлением единогласно назвало “мальчишеством”, и симпатии общества к студентам сразу рухнули. Одна, потом другая газета слабо заявили свое неудовольствие к этому происшествию, давшему большую возможность всяким ретроgrадам глумиться над либерализмом общества и выставляя на вид неспособность молодого поколения к порядку, без которого не может существовать никакое человеческое общество. Наконец, в “С.-Петербургских ведомостях” появилась статья (“Учиться или не учиться?”), напиравшая на событие в думе, и мы, не сочувствуя беспорядкам, совершившимся 8-го марта и сделавшим столько вреда для репутации студентов в обществе, перепечатали эту статью. Г. Чернышевский, относясь к этой последней истории, несколько отступает от того правдивого тона, которым писана первая половина его замечательной статьи. Он не приводит обстоятельств, сопровождавших это событие, в ту ясность, с которой, с свойственным ему дарованием, он в коротких словах очертил события, сопровождавшие закрытие Петербургского университета. Г. Чернышевский налегает на то, что достоверно неизвестно, “кто свистал и шикал в зале городской думы? По одним рассказам (пишет г. Чернышевский), большая половина присутствовавших, по другим меньшинство, но очень многочисленное. Между тем известно, что студенты составляли лишь небольшую часть публики, находившейся в зале. И если бы не хотела свистать и шикать публика, то голоса студентов были бы заглушены ее аплодисментами, если бы и все до одного студента шикали. А притом известно (кому же это все известно?), что многие из них не свистали и не шикали. Следовательно, многочисленность свиставших и шикавших показывает, что шикала и свистала публика. Это положительно утверждают и все слышанные нами рассказы: часть публики аплодировала, другая часть шикала. Если шиканье было тут дурно или неосновательно, то извольте обращать свои укоризны за него на публику, а не на студентов”.

Мы не скрываем, что свист и шиканье, происшедшие 8-го марта в зале городской думы, на наш взгляд – поступок и дурной, и неосновательный, и именно дурен он тем, что неоснователен. Нам, конечно, неизвестно, каким представляется г. Чернышевскому этот поступок, сразу отнявший у студентов все симпатии общества и последнюю возможность пользоваться профессорскими лекциями, независимо ни от какой опеки и ни от какого надзора. Разные кружки петербургского общества, которые были расположены в пользу студентов, смотрят на это последнее дело так: студенты (или кто там другой, по уверению г. Чернышевского?) высвистали своего любимого профессора. Чем он заслужил это? Тем, что читал лекции, когда, по мнению некоторых умов, эффектно было бы прекратить их! Какой же смысл был бы в прекращении лекций? Кого могло это испугать и заставить изменить свой образ действий? “Современник” сам, вероятно, знает, что прекращение лекций было бы делом совершенно бесполезным: иначе, если бы он видел серьезное значение в подобных действиях, то, конечно, скорее всего сам приостановил бы выпуск своих книжек. По крайней мере, уж это был бы фарс на всю Россию, в которой известен почтенный журнал. Но “Современник” ничего подобного не сделал; с какой же стати было делать такое дело профессору, которого многие хотели слушать и который мог ясно предвидеть, что эффект, произведенный прекращением лекций, никак не достиг бы того действия, какого от него ожидали? Не понимаем и вполне оправдываем поведение профессора. Серьезные дела совсем не так делаются, и не общество виновато, что после думской истории 8-го марта оно стало смотреть на героев этой истории не теми глазами, какими смотрело на студентов после истории университетской. Там оно видело людей, стоящих за свое право, и сочувствовало им; здесь видело один скандал и весь подвиг назвало мальчишеством. Тут судило общество, не газеты, не журналы, а глас народа – конечно, Божий глас!

Г. Чернышевский видит в статье “Учиться или не учиться?” прямое нападение на студентов; это же видят и многие студенты; значит, “знает кошка, чье мясо съела”; но, по нашему мнению, разрешение вопроса “учиться или не учиться?” в настоящее время нужно не для одних студентов, а для всей свищущей и шикающей честным людям массы, которую мы и имели в виду, помещая упомянутую статью. В обществе нашем день ото дня увеличивается число молодых людей (снова говорим, что мы не имеем в виду исключительно студентов), которые не занимаются ничем, способным содействовать их нравственному и умственному развитию. Они в каком-то угаре лезут к пропасти, которую не пополнят до верха своим падением. У них нет планов, нет определенной идеи, им нравится быть жертвами; нам жаль этих молодых энтузиастов; мы не хотим видеть их бесполезными жертвами своих увлечений, мы надеемся, что наука поможет им яснее понять обстоятельства и, определив свое положение, стать в ряды людей, истинно желающих своей стране счастья и свободы, а не передраг, в которых верх всегда будет на стороне силы. Поэтому мы советуем

учиться.

По нашему мнению, твердое стояние за свое право столь же законно и почтенно, сколь безнравственно и вредно нарушение права свободы другого, не приносящего никому вреда своею деятельностью. Выходя постоянно из этого начала, мы отвергаем всякую заслугу суетливых умов и не можем не соболезновать семьям, над которыми разразились катастрофы, не принесшие обществу никакой пользы. Мы ничего не ждем хорошего от наглого отрицания всех и всего. Мы не можем понять, какие великие идеи лежат в тех головах, которые проповедуют, что не только все, что старше их пятью годами, никуда не годится, но что даже самый Герцен, на которого подросток теперь поколение назад тому три, четыре года смотрело как на какого-то героя, для них нынче не более, не менее, как “отсталый человек”! O tempora! o mores! [24] Ведь как хотите, а Тургенев прав, говоря, что русский человек, как разойдется, так “и Бога слопают”. [25] Тот самый Искандер, которого литературные произведения, печатанные за границей, считали выше всякой человеческой критики, которого слова заучивались наизусть, и портреты его хранились, как редкость, до тех пор, пока приобретение их было затруднительно, – для наших либералов нынче “отсталый человек!”...кто ж по их понятию передовые-то люди? Не те ли, которые держатся пословицы: “обручи под лавку, а доски в печь, то и не будет ведро течь”? Они, верно? Да кто же пойдет за ними? Кто поверит такому средству помогать разуторившейся посудине? Кто из людей, стоящих в тех сферах, где встречалось наиболее противников учения Герцена, доходил до такого наглого бесстыдства? Его называли там человеком опасным, ярым, красным, но отсталым – никогда. В это звание его пожаловали хлыщи и демагоги, для которых нет никого, кто не с ними. Что ж? Недостает, чтобы нашего réfugié [26] (как называет его “Русский вестник”) обозвали со временем “тупоумным глупцом и дрянным пошляком” – оно к тому идет. С словом “отсталый” у нас уж рядом стоят и “пошляк” и “глупец”, а иногда и... слова, выражающие другие, более крепкие заключения. Мы, в одном из недавних номеров нашей газеты, напечатали речь, произнесенную Искандером, много лет назад, при открытии публичной библиотеки в Вятке. Это нам не прошло даром. Из того же лагеря, в котором “отсталость” его признается все более и более несомненною, мы услышали (непечатные, конечно) упрёки за помещение этой речи. Спрашиваем всех благомыслящих людей: чем компрометирован Герцен оглашением речи, которую он произносил, будучи чиновником вятского губернатора? Ни одной мысли нечистой; ни одного выражения, не оправдываемого обстоятельствами, при которых была произнесена речь; тон благородный и честный, слово сильное и убедительное. Эту речь мы перепечатали из “Вятских губернских ведомостей”, как документ, и придаем этой речи два важные, по современным обстоятельствам, значения: 1) призывание людей к почтению, которое человек обязан оказывать науке, и 2) указание, как Герцен держал себя тогда в тех условиях, в которые он был поставлен, и в них умел служить честному делу, не драпируясь ни в какие багряные тоги и никого не увлекая к “опасным занятиям”, в известных условиях положительно вредным. И что за разногласия такая! То желание поставить Герцена в разряд “отсталых”, к которым, как известно, принадлежат и “тупоумнейшие глупцы и дрянные пошляки”, то опасения, что его репутация пострадает от напечатания нами речи, сказанной им в то время, когда он был русским чиновником и когда современные ему чиновники подобных речей в подобных случаях не говорили! Что ж это за репутация, которую можно было бы подорвать таким легким манером? Ведь это просто смешно! Из этого мы убеждаемся, что у нас вступают на общественную деятельность люди, с которыми... говорить не стоит, и больше ничего.

Вот тот сорт людей, которых мы называем “апостолами невежества” и для отрезвления которых считаем полезным помещение статей вроде статьи “Учиться или не учиться?”, и мы всегда готовы дать место таким статьям, не разбирая, кто их неизвестный автор. Мы ручаемся нашим честным словом, что нам неизвестен автор статьи “Учиться или не учиться?”; но, кто бы он ни был, хоть бы сам г. Аскоченский или г. Лазарев, мы благодарны ему за его статью точно так же, как благодарны г. Чернышевскому за статью “Научились ли?”, давшую нам возможность высказаться. Апостолов невежества мы не ищем вовсе в рядах студентов; мы знаем, что их гораздо больше за этими рядами, и видим, как они подрастают и множатся. Мы к ним, а не исключительно к студентам, обращаемся с просьбою дать нашей стране спокойно вздохнуть и окрепнуть. Мы хотим видеть здоровые соки крепкого тела, свидетельствующего своим румянцем о внутренней силе, а не прыщи, которые выскакивают то здесь, то там как признак общего худосочия. Эти прыщи только беспокоят тело и никогда не облегчают главного недуга страждущего организма.

Итак, пусть никто не думает, что мы против студентов, как это старался истолковать г. Чернышевский. Мы, в свою очередь, кажется, доказали, что на это

дело смотрим точно так же, как смотрит г. Чернышевский и все благомыслящее русское общество; но что участники в скандале, произведенном на лекции 8-го марта, повредили репутации студентов в обществе и что поддерживать такое направление, каким отличаются люди, способные к подобным бессмысленным выходкам, – нечестно, потому что этим можно, в одно и то же время, губить молодых людей и давать ретроградам средства отстаивать свою теорию общественной неспособности.

НАСТОЯЩИЕ БЕДСТВИЯ СТОЛИЦЫ

С.-Петербург, среда, 30-го мая 1862 г

Среди всеобщего ужаса, который распространяют в столице почти ежедневные большие пожары, лишаящие тысячи людей крова и последнего имущества, в народе носится слух, что Петербург горит от поджогов и что поджигают его с разных концов 300 человек. В народе указывают и на сорт людей, к которому будто бы принадлежат поджигатели, и общественная ненависть к людям этого сорта растет с неимоверною быстротою. Равнодушие к слухам о поджогах и поджигателях может быть небезопасным для людей, которых могут счесть членами той корпорации, из среды которой, по народной молве, происходят поджоги. В несчастный день 28-го мая, когда сгорели Апраксин двор, Толкучий рынок, Щукин двор, много капитальных домов частных владельцев, дом министерства внутренних дел, [27] Чернышов и Апраксин переулки и многие дома и дровяные дворы по левой стороне Фонтанки, Троицкий переулочек от Пяти углов до Щербакова переулочка, Щербаков переулочек, барки и рыбные садки на Фонтанке, в огромных толпах стоявшего на пожарах народа толки о поджогах шли вслух. Народ нимало не скрывал ни своих подозрений, ни своей готовности употребить угрожающие меры против той среды, которую он подозревает в поджогах. Во время пожара в Апраксином дворе были два случая, свидетельствующие, что подозрения эти становятся далеко небезопасными. Насколько основательны все эти подозрения в народе и насколько уместны опасения, что поджоги имеют связь с последним мерзким и возмутительным воззванием, приглашающим к ниспровержению всего гражданского строя нашего общества, мы судим не смеем. Произнесение такого суда – дело такое страшное, что язык немеет и ужас охватывает душу... Но как бы то ни было, если бы и в самом деле петербургские пожары имели что-нибудь общее с безумными выходками политических демагогов, то они насколько не представляются нам опасными для России, если петербургское начальство не упустит из виду всех средств, которыми оно может располагать в настоящую минуту. Одно из таких могущественнейших средств – общественная готовность содействовать прекращению пожаров. В сегодняшнем номере мы помещаем письмо, в котором заявляется весьма практическая мысль о допущении в пожарную команду волонтеров. Пренебрежение силами волонтеров в настоящее время было бы неппростительно, и мы, от лица всего общества, спокойствие которого должно быть дорого начальству столицы, просим немедленно допустить желающих препятствовать общественному бедствию идти на благородное служение обществу. Следует во всех кварталах, частях, в управе благочиния и в канцелярии обер-полицеймейстера открыть записку волонтеров и раздачу им небольших условных значков для ношения на платье или фуражке во время пожаров. Этими значками могут быть нумерованные кокарды и тому подобные значки, которых можно изготовить тысячи в один час; приобретение же тысячи охотников в такое время, когда пожарная команда изнемогла от древних и ночных трудов, а пожары не прекращаются, – такая великая помощь, которой пренебречь был бы тяжкий грех. Нет никакого основания устранять людей, идущих на пожар с доброю целью, и лишать столицу тех средств, которые приносят с собою люди, сходящиеся на пожар, – а воровство этим не прекращается.

Мы хотим думать, или, лучше сказать, мы не хотим сомневаться, что наша мысль и общественное желание о допущении волонтеров, будут приняты и допущены.

Потом, для спокойствия общества и устранения беспорядков, могущих появиться на пожарах, считаем необходимым, чтобы полиция тотчас же огласила все основательные соображения, которые она имеет насчет происхождения ужасающих столицу пожаров, чтобы вместе с тем тотчас же было назначено самое строгое и тщательное следствие, результаты которого опубликовались бы во всеобщее сведение. Только этими способами могут быть успокоены умы и достигнуто ограждение имущественной собственности жителей!

Мы уверены, что сования лично на г. обер-полицеймейстера не имеют никакого основания, что он употребляет в дело все имеющиеся у него средства, и желаем, чтобы он нашел тотчас же средства воспользоваться тем благородным энтузиазмом, который предлагают столице волонтеры, а с начальниками военных команд вошел в сношение о том, чтобы присылаемые команды являлись на пожары для действительной помощи, а не для стояния.

Затем мы обращаемся к гг. Штиглицу и Ламанскому. Как представители русского государственного банка, они, конечно, знают, что Шукин и Апраксин дворы имели коммерческие связи с торговцами целой России. Несчастные торговцы этих двух дворов 28-го мая потеряли все. Они теперь разорены; но этого мало: с разорением, которое они потерпели, они, по весьма понятным причинам, теряют кредит, который мог бы восстановить их деятельность. Толпы торговых лиц остаются без дела и без хлеба. Массы рабочего народонаселения, находившего в Апраксином дворе и на Толкучем рынке единственную возможность приобретать необходимые для них вещи, теперь лишены этой возможности. Дешевого обеда за 7 копеек в обжорном ряду более не существует; у людей нет заработка и нет хлеба. Это положение ужасно. Евгений Иванович Ламанский, засвидетельствовавший свои экономические способности, которым банк обязан многими мерами, должен подумать, как открыть погоревшим торговцам Шукина и в особенности Апраксина двора кредит, способный немедленно дать им средства начать торговлю, необходимую для удовлетворения нужд всего бедного населения столицы, которое исключительно преследуется, с какими-то адскими целями, о которых ужасно и подумать. Государственный банк, если он внемлет нашей просьбе, должен немедленно объявить во всеобщее сведение о своей готовности помочь страшному бедствию торговцев столицы. Горе легче сносится, когда человек знает, что о нем заботятся, ему сочувствуют и не бросают его на произвол несчастных случайностей. Мы еще раз просим гг. Штиглица, Ламанского и их почтенных сотрудников обратить внимание на шукинцев и апраксинев, успокоить их своим участием как можно скорее, и дать им фактическое доказательство этого участия, дабы погорелые ни одного дня не терпели тех недостатков, с которыми их познакомило уничтожение самых дешевых торговых мест в столице. Банк, мы уверены, это сделает, и ум г. Ламанского найдет к этому средства. Нам ему не указывать их!

Скрываться нечего. На народ можно рассчитывать смело, и потому смело же должно сказать: основательны ли сколько-нибудь слухи, носящиеся в столице о пожарах и о поджигателях? Щадить адских злодеев не должно; но и не следует рисковать ни одним волоском ни одной головы, живущей в столице и подвергающейся небезопасным нареканиям со стороны перепуганного народа. Мы не выражаем всего того, что мы слышали; полиция должна знать эти слухи лучше нас, и на ней лежит обязанность высказать их, если она хочет заслужить себе доверие общества и его содействие.

НЕПРИЯТНОСТИ РУССКОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПАРТИИ

С.-Петербург, воскресенье, 24-го июня 1862 года

– люди, ЧЕРЕСЧУР СМЕЛЫЕ, и люди, ЧЕРЕСЧУР РОБКИЕ. – по два слова тем и другим Русский либерализм никогда не был так опозорен, как в наши дни. Никакие усилия ретроградов не низводили его до того посмеяния и порицания, до которого его довели сумасшедшие демагоги, в которых желчевики и ретрограды стараются показать представителю современной либеральной партии. Безнравственное воззвание к молодой России, составители которого договорились до чертиков, дало возможность злословить друзей прогресса в кругах людей, читающих и верующих во всякое печатное слово.

Этой услугой честная партия здравого прогресса обязана русским монтаньярам и санкюлотам, воображающим, что народ может отказаться от собственности, бросить религию, разорвать брак, отвергнуть Бога и поднять руку против руки, даровавшей личную свободу миллионам людей, бывших до того живую собственностью. Зачем же смешивать безумцев с людьми, желающими воспитать общество таким образом, чтобы Государь видел возможность расширить наши права и дать государственной машине тот ход, который открывает стране возможность самостоятельности и саморазвития? Зачем смешивать людей, верующих в добрые желания своего Царя с людьми, которых вся цель – беспорядки? Мы уже не один раз говорили в нашей газете, что история повторяется; что с большим или меньшим, но во всяком случае неважным изменением, везде одинаковые обстоятельства вызывают одни и те же последствия. Крайние учения социалистов и проповеди красных демагогов во Франции произвели в народе этой страны ту печальную реакцию, следуя которой свободолюбивые галлы смеются над всякой либеральной идеей. Такое явление в порядке вещей. Оно – прямое следствие либерализма Марата и Робеспьера, проповедывавших свободу, равенство и братство и отрубивших тысячи голов парижской гильотиной. Испуганные таким положением люди убили своих либералов и пошли под покров деспотизма, с которым хоть нет той свободы, которая дает особенную цену жизни, зато целы голова и имущество. Это тоже понятно и весьма естественно! Один из наших остроумных писателей сказал, что если в комнате прикованы на цепи два человека, один в полном уме, а другой сумасшедший, способный откусить нос, то ничего нет

мудреного, что здоровый невольник сам будет просить держать его на цепи, с условием не спускать с цепи и его сожителя, ибо иначе освобожденный сожитель непременно его изгрызет. Так люди, заявляющие свою способность изгрызть ближнего, заставляют некоторых здоровых, но робких и недалководидных людей, не нуждающихся ни в каком внешнем сдерживании, предпочитать цепь свободе в одной комнате с безумцами. Однако история, повторяясь, в то же время учит людей, чего должно избегать и к чему стремиться. “Счастлив тот, кого чужие беды научают осторожности”, – сказал один древний писатель, и сказал очень справедливо. Люди, живущие позже, могут устраивать свою жизнь лучше людей, живших раньше: опыт предков – их достояние. Народы, в известном смысле, могут быть подведены под тот же закон. История одних народов должна служить регулятором действий других, и кто пренебрегает историей, тот или сам не займет в ней никакого места, или займет такое же гадкое место, какое в ней отведено человеку, сгнившему под памятником с такою эпитафией:

Passant, ne pleure point son sort,
Car, s'il vivait tu serais mort..[28]

Наша гражданская жизнь начинается очень много позже жизни западных народов. Исторические обстоятельства, бывшие возможными на Руси, долго удерживали ее развитие. Как государство, Русь еще сама для себя почти не жила. Встать она жила для тех, кто управлял ею. Петр I заставил ее учиться, но в то же время отнял у нее всякую возможность держаться самоуправления, идея которого присуща каждому человеческому обществу и выгодна для государства, освобождаемого, через местное народное самоуправление, от множества тяжелых хлопот и ответственности. Век Екатерины II и Александра I были прекрасными годами в жизни нашего отечества, но этими годами она обязана благодущию Екатерины и Александра и вздыхала свободно по их милости, а не по праву. Их смерть изменяла положение России, и ее счастье опять совершенно зависело от душевных качеств и образа мыслей нового коронованного лица. Александр II сделал шаг к дарованию России возможности дышать свободнее по праву, не боясь, что с его кончиной опять наступят старые порядки и люди сами будут искать спасения в милости, а не в праве. Такие шаги: освобождение крепостных людей, принадлежащее Государю более, чем всем прочим, трудившимся по этому делу; скорое введение гласного судопроизводства; желание расширить свободу печатного слова; терпимость религиозного раскола и готовность даровать народу местное самоуправление! Отчасти даровав, а отчасти готовясь даровать законы, укрепляющие за Россию свободу религии, суд, свободу слова и право человека, – Император Александр II сделал больше всех сошедших в могилы правителей Руси: он радовал нас не милостями, которые непрочно, ибо “сердце царево в руке Божией”, но правами, которых у нас уже никто не отнимет и за которые мы ему нелицемерно благодарны и не понимаем никакого прогресса без народа, обязанного Царю волею и льготами, и без Царя, любимого народом за вольности и льготы. Их взаимная сила, друг в друге, и мы не видим затруднения служить им вместе. Служа народу, готовящемуся принять новые права, и Царю, желающему даровать стране права, способные вывести ее из долголетнего застоя на путь истинного прогресса, мы служим общему делу, до которого нельзя дойти ни без народа, ни без любимого им царя. Повторяем, что такое положение в настоящее время для нас не представляется затруднительным, и мы не снимем своей руки с плуга, которым начали свою борозду, если никакой камень не сломает нашего лемеха и не порвет сбури.

Зная наш народ не из одного разговора с извозчиками и чтения натянутых рассказов, мы твердо уверены, что всякая иная дорога к расширению русских прав, при нынешней генерации, невозможна; и просим всех людей, несогласных с нами, хладнокровно и спокойно поверить в наши убеждения. Для того, чтобы разъяснить дело так, как оно есть, а не как его воображают себе близорукие люди, мы решились пренебрегать всякими осуждениями и клеветами: ибо поганое к чистому не пристанет, и наш судья, наша совесть, совершенно спокойна. Мы просим людей, увлеченных разгаром модного стремления к опасным занятиям, если они еще не потеряли способности соображать и хоть мало-мальски дорожить спокойствием России более, чем своими симпатиями, одуматься и оставить свои занятия. Мы просим их почитать историю, которая вернее расскажет им, что называется делом и что безумием. Мы просим их перестать показывать свои бессильные зубы, потому что робкие люди, делающие из мухи слона, пугаются этих зубов и готовы сами просить, чтобы их не спускали с цепи, для того, чтобы на цепи же сидели и бешеные собаки, стремящиеся познакомить Русь с ужасами террора. А робких людей просим ободриться и не пятиться, потому что там назад – пропасть, а смело идти вперед, опираясь на здравый смысл народа. Знакомые с французскою литературою более, чем с русскою, робкие люди могут вспомнить слова г-жи Сталь, которая, будучи в Москве,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru сказала, что “народ, отстоявший свою бороду, отстоит в наше время и свою голову”. Нынешний наш народ тот же самый, каким характеризовала его г-жа Сталь, и никогда не вверит своей головы в руки людей, над которыми или смеется, или приходит от них в ужас, или выдает их полиции, или, наконец, бьет по первому подозрению в противодействии представителю власти, разорвавшей крепостную зависимость. Все ложное погибнет само собою, без всякой помощи; а наши демагоги есть воплощенная ложь. Они имеют много сходного с теми корреспондентами Герцена, которые содействовали распространению слуха о лживости многих сведений, сообщаемых его заграничным журналом; и как те умели повредить доверию к сему последнему, так эти, в самое короткое время, поставили против себя народ, оскорбили либеральных людей и аттестовались такими особами, в пользу которых нигде не раздастся ни одного доброго слова. Будьте же, господа, так великодушны: дайте России идти вперед, как она хочет идти и с кем она хочет идти; дайте ей развиваться самостоятельно, потому что вам известно из истории, как вредно и каких трудов стоит искусственное развитие, а ведь политическая теория резавшего головы Марата и социальное учение Прудона не свойственны русскому народу! Дайте укрепить мышцам народа, затекшим в долголетней крепостной зависимости; и он, став на ноги, сам пойдет туда, куда его поведет мирской толк, а до тех пор будьте сами нравственным примером для народа и заботьтесь о его развитии! Заслуга ваша не будет меньше людей, посвящающих свои досуги на “опасные занятия”. Не создавайте новых ретроградов и своею бессильною рьяностью не помогайте механикам, желающим дать задний ход машине! Не забывайте, что “сила – ума могила!”

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ УЧИТЕЛЯХ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ

Г. Погосский еще не так давно заявил Комитету грамотности свое предположение о том, чтобы воинским нижним чинам было предоставлено предпочтительное участие в распространении грамотности и первоначального образования между сельским населением и чтобы с этой целью наши почтенные и храбрые фрунтовики были распределены на два разряда – годных и негодных для этого дела и усилена общая педагогическая подготовка их еще на службе.

Мнение комитета по этому вопросу можно изложить вкратце следующим образом: для допущения солдат к участию в обучении народа нет существенной необходимости в разделении их на разряды, в снабжении аттестатами и тому подобными орнаментами, как того желает г. Погосский, так как все эти формальности неизбежно окажутся на практике не имеющими путного значения, и, таким образом, ко многим уже существующим лазейкам прибавят еще один лишний повод к неисполнению закона. Комитет грамотности считает более действительным: открыть для солдат свободный доступ как в воскресные школы, так и в другие низшие училища, а в зимние месяцы – в особые педагогические классы, учреждение которых в разных местах берет на себя Комитет грамотности; наконец, он предлагает свое содействие в выборе и доставлении книг в войска.

Все это, конечно, очень хорошо, даже, может быть, очень практично; никто не станет отрицать пользы для наших солдат ни в посещении воскресных школ и практических педагогических классов, ни, в особенности, в содействии Комитета грамотности по выбору книг для войск: но если взглянуть на дело еще с той стороны, которая комитетом не затронута, то сам собою представится вопрос: какая же существенная польза может произойти для общества, если мы станем готовить солдат не к той специальности, которой они добровольно уже себя обрекли, то есть не чисто к воинским занятиям, а станем вести их на многотрудное, многосложное, совершенно новое и совершенно чуждое для них дело распространения в сельском населении первоначального образования?

Первоначальное образование – дело великой важности! Для ребенка оно определяет весь его дальнейший склад мыслей, можно сказать даже, всю его будущность. Человек, мало-мальски вглядывавшийся, вдумывавшийся в жизнь, не может не согласиться с тем блистательно доказанным мнением Н. И. Пирогова, что в каждом субъекте следует заботиться прежде всего об образовании человека; что в нем нужно развить не положительные знания, а познакомить с окружающим миром, с теми отношениями, в которых он поставлен в действительности, с теми целями, к которым он должен стремиться в этой действительности. Жизнь – не легкая вещь; жизнь – борьба. Для борьбы нужна твердая, свободная воля. Но борьба эта является тогда лишь осмысленною, мы тогда только живем, когда преследуем в своей жизни известные чистые цели, наши идеалы. И не думайте, чтоб эти идеалы, эти цели, этот закон для жизни были чужды там, где дело касается простого букваря: каждая минута соприкосновения между учителем и учеником принесет последнему в будущем

либо добро, либо неисцелимое зло, а если она и бессознательна для последнего, то во всяком случае составляет материал для сознания в будущем.

Грядущее России сулит нашему народу великую и тяжелую работу на поприще общественного служения. С 19-го февраля 1861 года для него настала новая жизнь, с новыми надеждами, с новыми стремлениями, с новыми целями, с новыми идеалами – любви, свободы, братства, гражданской доблести. Подготовить его для всего этого, помочь ему посмотреть на мир Божий иначе, чем из-за забора господской усадьбы и по указке барской руки, дать ему силу отрешиться от укоренившихся в нем предрассудков и накипа прошлой безотрадной жизни – это подвиг великий, это и право, но, вместе с тем, и обязанность воспитателя, обязанность всего общества. Такой взгляд на обязанности не означает еще, чтоб мы считали неизбежно необходимым допущение к служению делу только таких воспитателей для народа, которые вполне обнимали бы все значение и весь смысл своего подвигоположничества: этого разбора воспитателей найдется весьма немного не только на святой Руси, но и в целом свете. Нет, мы скорее хотим воспитателей для народа натур простых, но цельных, неломанных и несломленных, людей труда, труда свободного, не закупленного, людей, которые любили бы народ безраздельно, не задумываясь пред другими навеянными или навязанными симпатиями. Пусть эти люди будут менее находчивы на объяснение не понятных для них вещей, чем тот удавшийся суворовский солдат, который, не задумавшись, сосчитал расстояние до солнца несколькими солдатскими переходами... подобная ненаходчивость еще не беда: была бы беда тогда, когда бы наши сельские учителя стали выдавать вещи, едва мерцающие в тумане, за самые светлые и вполне ясные вещи и когда бы свои мутные идеи они приправляли тупым фанатизмом или рабскою угодливостью. А это очень важно, потому что свобода народа состоит именно в свободном отношении его к окружающей действительности, ко всем прежде принятым понятиям и мифологическим представлениям, в полной терпимости и в отсутствии всякого узкого фанатизма.

Мало того, весь нравственный склад и характер педагога необходимо влияет и отражается на ученике. Иной педагог весьма благополучно протянет век свой с наивным “не рассуждать”, а для ученика, может быть, вся задача жизни заключается именно в том, чтоб рассуждать – здесь его спасение и благополучие. Если гражданин пройдет поле жизни с тою же сознательно-предвзятою идеею, с какою солдат совершает свой боевой марш на вахт-параде, не много же скажут ему спасибо и современники, да и потомство: осталось “выехал в Ростов” – и больше ничего! Такое безмолвное, безотрадное настроение всего нравственного существа общественного деятеля составляет задержку, бревно в то время, когда все лучшее стремится в глубь, в ширь, в даль, вперед. Зачем же отрывать людей от собственного их дела? А ведь для нашего военного сословия своего дела довольно: пусть оно с Богом честно его исправляет, а требовать его перерождения и превращения воина в воспитателя – право нелепо! Если б г. Погосский обратил внимание на более чем справедливую мысль Н. И. Пирогова: “прежде человек, добрый гражданин, а затем солдат” и сам применил бы эту мысль к делу, как бы все были благодарны г. Погосскому!

А пока совершится дело гражданского образования наших, несомненно, храбрых солдат – судьба, не всегда же злая, не оставит нашего мужичка, и он доживет до своей грамоты столь же твердо, как дожил и до своей воли.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТВЕТА ДОМАШНЕМУ ЛЕТОПИСЦУ “РУССКОГО СЛОВА” ПО ПОВОДУ ТИПОГРАФСКИХ НАБОРЩИЦ

С.-Петербург, 20-го сентября 1863 г

В “домашней летописи”, помещенной в августовской книжке “Русского слова”, находится несколько нападок как на применение женского труда к типографскому искусству, так и на нас, за присвоенную будто бы нами честь изобретения этого применения. Мы очень рады, что “Русское слово” выбрало именно этот вопрос для своего нападка на нас, так как этим оно доставляет нам возможность, в одно время с личными объяснениями, сказать и несколько слов о женском труде в его применении к типографскому делу, насчет которого, как мы имели несколько случаев убедиться в этом, существуют в нашей публике опасения и недоразумения, столь же неосновательные, а некоторые еще неосновательнее, чем те, которые мы нашли в последней книжке “Русского слова”.

Мы намерены прежде всего очистить себя от возводимого на нас лично обвинения, а потом уже отвечать на возражения, делаемые “Русским словом” против применения женского труда к типографскому искусству.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Домашний летописец “Русского слова” обвиняет нас в “приписывании самим себе чести этого открытия” (то есть типографской наборной для женщин). Между тем из передовой статьи (см. № 220 “Северной пчелы”), на которую ссылается “Русское слово”, этого не видно вовсе. Там просто сказано, что вместо того, чтобы разглагольствовать, по примеру некоторых из наших журналов и газет, о достоинстве и равноправии женщин и о женском труде вообще, мы решились испытать практическое применение этого труда к одному из тех немногих ремесел, с которыми каждая редакция находится в непосредственной связи. Мы убеждены, что никто, по добросовестном прочтении упомянутой нашей статьи, не пришел и не придет к заключению, которое вывело из нее “Русское слово”. Да и заявлять публично претензию, подобную той, в которой нас обвиняет этот журнал, было бы с нашей стороны просто смешно и нелепо ввиду факта, хорошо известного всем, следящим за различными применениями женского труда (а следовательно, вероятно, и редакции “Русского слова”). В Лондоне уже более десяти лет существует большая типография, в которой набор производится исключительно одними женщинами. В начале нынешнего года, во время празднеств по поводу женитьбы принца Уэльского, в этой типографии был отпечатан великолепный альбом и поднесен наборщицами невесте принца Альберта-Эдуарда. Это обстоятельство было в свое время рассказано в “Северной пчеле”, а по всей вероятности, и в прочих Санкт-Петербургских газетах. Как же после этого могло бы нам прийти в голову объявить себя изобретателями применения женского труда к типографскому делу?

Далее, по поводу все той же нашей статьи, “Русское слово” обвиняет нас в желании “порисоваться ради нашего личного удовольствия сделанным у нас необыкновенным открытием”. Между тем, при печатании упомянутой статьи руководили нами совсем другие причины. Нашей статьей мы желали обратить на это дело внимание управляющих и владельцев типографий, с одной стороны, а женщин, готовых и способных сделаться наборщицами, – с другой. И та и другая наша цель вполне достигнута. Многие женщины навещают нас, прося о занятии в женском отделении типографии: одни поступили туда сейчас, другие, по недостатку места, пока изучают “кассу”, готовясь к поступлению в наборщицы при предполагаемом нами расширении женской типографии. Что же касается типографчиков, то мы встретили между ними гораздо большую готовность к применению в их заведениях женского труда, нежели мы могли предполагать. Редкая из наших статей вызвала со стороны специально заинтересованных в этом деле людей столько вопросов и просьб о более подробном объяснении дела, как передовая статья, помещенная в номере 220-м “Северной пчелы”; таким образом, эта статья вполне достигла своей цели, хотя и эта цель была вовсе не та, которую предполагает в нас “Русское слово”.

Этим мы оканчиваем наши личные объяснения и переходим к общему вопросу, затронутому в “Домашней летописи” “Русского слова”.

Домашний летописец думает, “что женщина не может быть типографским наборщиком”. С этой последней фразой мы, пожалуй, и согласны, но не видим никаких непреодолимых преград сделать из нее “отличную типографскую наборщицу”. “Русское слово” указывает на периодическую беременность женщин как на обстоятельство, служащее окончательной помехой к применению женского труда к типографскому искусству. “Стоять перед кассой по 8-ми и 10-ти часов в день беременной женщине, – говорит Домашний летописец, – нет никакой возможности”. Но ведь нет никакой необходимости, чтобы женщина стояла перед своей кассой. Конечно, Летописец помнит, что в первой нашей статье по этому вопросу мы объяснили, что в типографии женщины работают сидя, и поэтому прибавляет: “Чтобы избежать этого неудобства, типография “Северной пчелы” попробовала устроить кассы, из которых можно было бы набирать сидя. Но этот способ не удался и едва ли когда удастся”. Не знаем, откуда “Русское слово” почерпнуло это сведение, но во всяком случае не из женского отделения типографии. Мы просим г. Летописца пожаловать туда в любой будний день между 8 часами утра и 6 или 7 пополудни, и он легко убедится, что, напротив, этот способ удался вполне, и если он (то есть г. Летописец) потрудится вслед за тем взглянуть и в мужское отделение типографии, то он найдет этот способ принятым и некоторыми из мужчин. Что же касается аргумента о беременности, то он столь же относится к кухаркам, швеям и деревенским бабам. Все эти женщины занимаются своими работами, гораздо более утомительными, в особенности кухарки, чем труд набора, иногда до седьмого и даже до осьмого месяца беременности, и еще никому не пришло в голову объявить женщин по этому поводу неспособными быть кухарками и швеями или заниматься хозяйственными и полевыми работами. Предлагает же “Русское слово”, и это совершенно справедливо – заменить гостиницворских тунеядцев женщинами. Но мы не видим, почему для беременной женщины должно быть легче ходить 8 или 10 часов по магазину, снимать

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

материи и платья и ящики с кружевами и ленточками с высоких полок, чем сидеть все это время на одном стуле и набирать букву за буквой из стоящей перед ней кассы. Впрочем, положим даже, что в последние три месяца беременности женщина неспособна заниматься типографской работой. Так что же из этого? В тот год (и это далеко не каждый год), в который женщина забеременит, она потеряет три месяца (и мы нарочно взяли максимум) своего рабочего времени. Ведь это ей нисколько не мешает заниматься типографской работой в остальные девять месяцев этого года. Да наконец, хотя бы даже ни одна беременная женщина и ни одна женщина, имеющая в виду забеременеть, не могли быть наборщицами, то это все-таки не доказывало бы еще ничего против применения женского труда к типографскому искусству. Если допустить противное, то мы совершенно логическим путем дойдем, пожалуй, до того заключения, что не должны существовать и кормилицы только потому, что не всякого возраста женщина и не все женщины вообще могут кормить грудных ребенок. Чем же беременность целых тысячей женщин может мешать хоть нескольким десяткам или сотням девушек заниматься типографским набором до своего замужества, или стольким же вдовам заниматься тем же после смерти их мужей? Такие вопросы достаточно поставить: они решаются сами собой.

Последний аргумент, приводимый Домашним летописцем “Русского слова” против женских типографий, действительно забавен. Он говорит: “Между тем как мы открываем свои типографии для женского труда, Америка изобретает наборные машины, которые должны заменить человеческие руки. Если только это изобретение осуществится и примется практически, тогда женщина окажется совершенно ненужной работницей в типографии. Экономические расчеты разом уничтожат все филантропические тенденции, и женский труд должен будет искать новых исходов”. Стоит только г. Летописцу вспомнить, как немногие русские типографии снабжены паровыми машинами, несмотря на давнишнее уже применение пара к печатному искусству; стоит ему только подумать о том, сколько еще, по всей вероятности, пройдет веков, прежде чем швейная машина (также открытая уже довольно давно) не заменит собой иглы в руке швеи; стоит ему только подумать обо всем этом, чтобы убедиться во всей ничтожности своего последнего аргумента. Он действительно до того ничтожен, да и сам автор употребляет его скорее в виде заключения вопроса, нежели настоящего аргумента, что мы, вероятно, оставили бы его без внимания, если бы не употребленное при этом выражение “филантропические тенденции”, по поводу которых мы желали бы сказать несколько слов. Недостаток времени и места не позволяет нам сделать это сегодня, но мы обещаем нашим читателям возвратиться на днях к одинаково интересному и важному вопросу о практическом применении женского труда к типографскому искусству.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ В ЕГО РОМАНЕ “ЧТО ДЕЛАТЬ?”
(ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ “СЕВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ”)
Черт не так страшен, как его рисуют!

Роман Н. Г. Чернышевского “Что делать?” кончился в майской книжке “Современника”. Русская критика теперь занята: она думает, что ей делать с этим “Что делать?”

Кто читал самый роман и кого занимают отзывы, которые он должен вызвать у современной добросовестной критики, тот, разумеется, не станет искать этих отзывов в “Северной пчеле”. Он станет искать их в так называемых толстых журналах, потому что в толстых журналах есть свои присяжные критики и в этих журналах места пропасть. Критику там можно разгуляться и тоску-скуку свою разогнать.

Но я, должно быть, не стану читать ни одной критики о романе г. Чернышевского. Этот труд для меня совершенно не нужен, потому что я чувствую, что о нем напишут в том или в другом из русских журналов. Это я чувствую не только потому, что я знаю симпатию и антипатию русских журналов, но и потому, что я даже слышал уже кое-что об этом романе, от тех самых, которые критики пишут. Это ведь вовсе не секрет, да и о романе Чернышевского толковали не шепотом, не тишком, – во всю глотку в залах, на подъездах, за столом г-жи Мильбрет и в подвальной пивнице Штенбокова пассажира. Кричали: “гадость”, “прелесть”, “мерзость” и т. п. – всё на разные тоны.

Вследствие всех многообразных соображений, комбинирующихся по поводу прочитанного романа, выслушанных толков и ожидаемых рецензий, я решился как можно поскорее сказать свое мнение о романе г. Чернышевского, или, лучше сказать, о г. Чернышевском в его новом произведении.

Над торопливостью моею нисколько не должно смеяться, ибо я вовсе не считаю моего отзыва о г. Чернышевском ни особенно верным, ни особенно необходимым, а спешу его написать, не читав еще ни одной критики, для того, чтобы написать мое собственное мнение, ни от кого не занятое, и никем не навязанное насильно, по системе новейшего либерализма.

Имея в виду сказать здесь только мое собственное мнение, которое может очень мало согласоваться с мнениями “Северной пчелы” или даже, может быть, вовсе с ними не согласоваться, я пишу не статью, а простое письмо, за которое “Северная пчела”, разумеется, не принимает никакой ответственности.

Я не утомлю читателя, ибо все, что я намерен написать о романе г. Чернышевского, очень коротко и несложно.

У меня создались два главные убеждения, от которых я не могу отрешиться и которые здесь высказываю.

Роман г. Чернышевского – явление очень смелое, очень крупное и, в известном отношении, очень полезное. Критики полной и добросовестной на него здесь и теперь ожидать невозможно, а в будущем он не проживет долго.

Я не могу сказать о романе г. Чернышевского, что он мне нравится или что он мне не нравится. Я его прочел со вниманием, с любопытством и, пожалуй, с удовольствием, но мне тяжело было читать его. Тяжело мне было читать этот роман не вследствие какого-нибудь предубеждения, не вследствие какого-нибудь оскорбленного чувства, а просто потому, что роман странно написан и что в нем совершенно пренебрежено то, что называется художественностью. От этого в романе очень часто попадаются места, поражающие своей неестественностью и натянутостью; странный, нигде не употребленный тон разговоров дерет непривычное ухо, и роман тяжело читается. Автор должен простить это нам, простым смертным, требующим от беллетристов искусства живописать. Роман Чернышевского со стороны искусства ниже всякой критики; он просто смешон. И лучшая половина человеческого рода, женщины, к которым г. Чернышевский обращается, как к чувствам, оказывающим более сметливости, чем обыкновенный “проницательный читатель”, не могут переварить женских разговоров в новом романе.

Но г. Чернышевский не беллетрист; на изготовление романа его вызвали обстоятельства, от него не зависящие: потребность деятельности и невозможность ее в другой форме. Г. Чернышевский очень благоразумно оговорился, что он не художник и за художеством не гонится, а потому, кто станет пространно доказывать несостоятельность романа как беллетристического произведения, тот напрасно потратит труды и время. Об этом говорить не стоит.

Г. Чернышевский публицист, и публицист известной школы. Он не может напечатать статейку, например, в “Современнике” и в “Русском вестнике”. В своем романе он вышел поборником той же самой школы, и эта последовательность есть первая его замечательность. Он в своем романе (труде для него непривычном) последовательно провел заповедные идеи своей школы. Мало этого, г. Чернышевский доказал, что он не такой заоблачный летатель, не беспардонный теоретик, который, по выражению одного московского публициста, хочет сразу создать новую землю и новое небо. Напротив, автор “Что делать?” доказал, что (и это самое главное) люди, живущие под этим небом, на этой земле, таковы, каковы они есть. Он помнит, что *il faut prendre le monde comme il est, pas comme il doit être*, [29] и говорит просто и ясно, что и в этом monde умные люди могут стать твердо и найти себе, что делать. Это самая важная заслуга г. Чернышевского. Вот основания, по которым я признаю роман г. Чернышевского очень полезным, и постараюсь это доказать несколько подробнее.

Была (и это очень недавно) на Руси ужасная эпоха фразерства, страшного, разъедающего и все импонирующего фразерства. Тургеневский Рудин – сын этой эпохи и ее памятник. Началась другая эпоха. Пошел запрос на Инсаровых. Инсаровых оказалось очень мало. Потому как инсаровское дело нам непривычное. Явились Базаровы. Тургенев переживал эти метаморфозы и, стоя с мастерской кистью в руке, срисовывал их в свой прелестный альбом. Все они стоят перед нашими глазами, от слабозвольного, нравственного импотента Рудина, до сильного и честного Базарова. Тип Базарова многим нравится, многим не нравится. Мне лично он нравится, но я бы позволил себе пожелать ему быть несколько мягче, не мусолить собою без нужды

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
непривычного глаза, не раздражать без дела чужой барабанной перепонки и даже, пожалуй, не замыкать сердца для чувств самых нежных, ибо они не мешают героизму.

Уроды Рудины, после предания этого типа посмеянию, шатались без дела. Неспособность к самостоятельному труду, неспособность “слепую бабу кормить” была в них очень уж ярка. В государственной экономике людям этим приходилась роль самая печальная. Инсаровыми они не могли сделаться по трусости, по эгоизму, по гадости своих тощих жизнелюбивых натурок. “Современник” начал разрабатывать другие теории. Теории эти, не касаясь их достоинств или недостатков, идут вразрез с стремлениями “Русского вестника”, а следовательно, никак не могут сойтись с тем, с чем так искренно сошелся экс-англоманский журнал. Но неизвестно было, да еще и до сих пор неизвестно: сойдется ли “Современник” с тем, к чему он, по мнению многих, все гнет и ломит. Я много очень в этом сомневаюсь, а отставные Рудины сомневаются в этом несравненно более, чем я, чем все мы. Но им это направление подошло на руку. Тянуть за “Современник” – значит упираться, оппозицию делать; ну и потянули. Таким образом вы и либерал и не то, что Инсаров, и положеньице есть – безопасно. Однако все это шло еще без знамени, без клички, нестройной толпой, не знавшей, что она такое. Талантливым пером Тургенева обрисован Базаров, произнесено слово “нигилизм”, и завелись, или стали разводиться, думаете нигилисты? Нет, стали разводиться, или, лучше сказать, никто не стал разводиться, а рудинствующие импотенты стали импотентами базарствующими.

Обществу не понравилось новое явление, да и никакому самому снисходительному обществу это явление понравиться не могло. По присущему каждому обществу консервативному началу, общество стало с своей стороны упираться и даже стало вспоминать о Рудине. Причины этого очень просты: Рудин прежний ни к чему не мог быть употреблен, но он никому не наступал на ногу, а базарствующий Рудин хоть тоже не может быть употреблен туда, куда годился покойный Базаров, но он действует. Орудия действия у обоих Рудиных одни и те же: фразы. Как прежний Рудин работал фразой, только чтоб “заявиться”, так и базарствующий Рудин в существе дела тоже все хлопочет “заявиться”. Только старому Рудину для этого много нужно было говорить, а нынешнему два слова: “Не с нами, так подлец”.

В порождении вот этих-то нигилистов винят обыкновенно “Современник”. Я думал всегда, что это неосновательно, а теперь, после романа Г. Чернышевского, я в этом даже твердо уверен.

“Современник” принял под свое покровительство нигилизм, он защищал нигилистов; а в это время Рудины заменили одни фразы другими и стали всем надоедать своей грубостью и нахальством. Чем же тут виноват “Современник”? Разве это нигилисты? Разве каждая гадина, набравшаяся наглости и потерявшая стыд, – нигилисты?

Нигилисты, которых мы видим и которые нам успели надоесть своими гадостями, достались нам по наследству, а сгруппировал их и дал им пароль и лозунг не “Современник”, а Иван Сергеевич Тургенев. После его “Отцов и детей” стали надюжаться эти уродцы российской цивилизации. Начитавшись Базарова, они сошлись и сказали: “Мы сила”. Что ж нам делать теперь? Так как они никогда не думали о том, что им делать, то, разумеется, сделали, что делают обезьяны, то есть стали копировать Базарова. Как же его копировать? Ну, обыкновенный прием карикатуристов в ход. Взял самую резкую черту оригинала, увеличил ее так, чтобы она в глаз била, вот и карикатурное сходство. То и сделано. Базаровских знаний, базаровской воли, характера и силы негде взять, ну копируй его в резкости ответов, и чтоб это было позаметнее – доведи это до крайности. Гадкий нигилизм весь выразился в пошлом отрицании всего, в дерзости и в невежестве. Отрицание это будто бы и есть самый нигилизм, а дерзость и невежество его последствия. Дерзость и невежество нигилиствующих Рудиных не имеют пределов и доходят до злобы. Один талантливый наш беллетрист, из школы реалистов, серьезно уверяет, что дрянцо с пыльцой, называющее себя нигилистами, – разбойники. Это печальное убеждение он вынес из среды самых яростных нигилистов. В самом деле, у людей этого разбора сострадание не в нравах. Посадите такого господина на какое хотите место, он сейчас и пойдет умудряться, как бы ему побольнее съехать на своего. Сделайте его приказчиком, хоть в книжном магазине, он и там приложит свой нрав. Карячиться станет, едва говорит, и то с грубостью; велите ему двух сотрудников рассчитать: нигилисту даст деньги, а не нигилиста десять дней проводит. Что ему за дело, что человек напрасно тратит рабочее время, ходя да “наведываясь”? Что ему до того, что у этого сотрудника жена без башмаков, дети чаю не пили, хозяин с квартиры гонит? Квартира отрицается, потому фаланстерия будет; жена

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru отрицается, потому что в “естественной” жизни (у животных, например) нет жен; дети и подавно отрицаются, их община будет воспитывать; родители им не нужны. Познакомьтесь с таким соколиком, да если он вас не боится и если вы не сам г. Чернышевский, то он вам во второе же свидание вместо любезностей дурака завяжет. Это ничего, это все естественно. Жалеть никого не следует, потому что

Век жертв очистительных просит.

Помогать – нечего рваться, потому что “чему уцелеть, то останется”. Чувства – вздор, любовь – вздор, совесть – вздор, идеи – вздор, все вздор, не вздор только мы, ибо мы есть мы. Это еще старые типы, обернувшиеся только другой стороной. Это Ноздревы, изменившие одно ругательное слово на другое. Это даже Сквозники-Дмухановские. “Я, – говорит, – тебя мучить или пытаться не стану – это законом запрещено. А вот ты поешь-ко у меня селедки”.

Такова в большинстве грубая, ошалелая и грязная в душе толпа пустых ничтожных людишек, искаживших здоровый тип Базарова и опрофанировавших идеи нигилизма.

Но должны же быть другие настоящие нигилисты, из которых вышел Базаров! Каковы же они? Что они могут делать?

Н. Г. Чернышевский отвечает на это в своем романе и говорит этим же романом, что следует делать в нынешнее время и при нынешних обстоятельствах людям, связанным с автором солидарностью симпатий.

Г-н Чернышевский довольно давно уже многим стал представляться каким-то всепоглощающим чудовищем, чем-то вроде Марата или чуть-чуть не петербургским поджигателем. Эту репутацию г. Чернышевскому устроила, разумеется, людская слепота и трусость, но более всего он обязан за нее нигилиствующим Рудиным.

Общество, сочинившее себе о г. Чернышевском черт знает какие представления, нельзя упрекнуть в большой дальновидности, но нельзя и удивляться, что оно дошло до весьма странных понятий о г. Чернышевском как о общественном деятеле. Стоит только сообразить, что статьи г. Чернышевского далеко не для всех симпатичны и должны быть особенно неприятны разрождающемуся на нашей земле эпископату. Пожары и другие странные события навели страх на людей робких. “Кто это все делает? Батюшки мои! Кто?” – “А вот, вот это... видите, лохматые, грязные”. – “А!” – “Право”. И пошло. Стали присматриваться к “лохматым”, а они как звери, что ни скажут, так как рублем подарят, а между тем все г. Чернышевского превозносят.

“А! – подумали “проницательные” люди. – Вот он каков, “миленький-то”! Если щечочки белогубые такие ядовитые, что же он сам-то, а? Страсть!”

Ну так и пошло.

А в статьях г. Чернышевского опять продолжалось только отрицание да отрицание, антипатии да антипатии, а симпатий своих ни разу не сказал. Он их не сказывал, конечно, по обстоятельствам, от него не зависящим, а “проницательные читатели” думали, что его симпатии... головорезы, Робеспьер верхом на Пугачеве. Это же думали не одни “проницательные читатели”, а и многие просвещенные писатели из разряда “узколобых”. Но писатели, даже самые “узколобейшие”, все-таки никогда не пугались сердечных симпатий г. Чернышевского и не пугали им ни детей, ни соседей.

Между тем г. Чернышевский из своего далека прислал нам роман, в котором открыл себя, как никогда еще не открывал ни в одной статье.

Теперь перед нами его симпатии.

Я не буду рассказывать содержание романа, потому что это не критика, да и в критических-то статьях эти выписки очень претят, а это просто письмо, которое набросано под живым впечатлением только что конченного романа.

Автор романа вывел людей, которые трудятся до пота, но не из одного желания личного прироста. Они вовсе свободны от всеобщего эпископата. Напротив, начав дело, так сказать, ни с чего, они тотчас вводят во все его выгоды всех мизераблей-работников и сами остаются только хозяевами-распорядителями. Отсюда, по выводу автора, вытекает все хорошее для работающих; дело идет честно, в

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

рабочей семье поселяется взаимное доверие, совет и любовь. Удовольствия и все блага жизни каждому члену рабочей артели достаются очень дешево, никто не изнурен, не “лишний на пиру жизни”. Но никто ни к чему не принуждается. Напротив, коноводы дела люди очень мягкие, с которыми каждому легко, которые никого не обрывают, а терпеливо идут к своей предположенной цели, заботясь прежде всего о водворении в общине самой широкой честности, свободы отношений и взаимного доверия. Коноводы, обрисованные подробнее других лиц, любят, женятся, сходятся и расходятся. Они сходятся по собственному влечению, без всяких гадких денежных расчетов: любят некоторое время друг друга, но потом, как это бывает, в одном из этих двух сердец загорается новая привязанность, и обету изменяют. Во всех бескорыстие, уважение к взаимным естественным правам, тихий верный ход своею дорогою, никому не подставляя ног, никого не кормя селедками à la monsieur Сквозник-Дмухановский.

Такие люди нравятся автору романа, и, познакомься с деятельностью этих людей, “проницательный читатель” получает от него ответ на вопрос, что делать желает г. Чернышевский?

Такие люди очень нравятся мне, и я нахожу очень практичным делать в настоящее время то, что они делают в романе г. Чернышевского.

Я знаю, что такое настоящий нигилист, но я никак не доберусь способа отделить настоящих нигилистов от шальных шавок, окричавших себя нигилистами. Теперь это в Петербурге стало каким-то неопределенным понятием. “Стриженные барышни”, выходящие замуж при первом удобном случае, нигилистки. Невежда, положивший ругать все, что не “Современник”, – тоже нигилист, хотя он мелкий эксплуататор до конца ногтя в ножном мизинце. Героев романа г. Чернышевского тоже называют нигилистами. А между ними и личностями, надоевшими всем и каждому своим нигилизмом, нет ничего общего. Люди г. Чернышевского совсем другие, а эти фразеры; в людях г. Чернышевского прежде всего стремление – дать благосостояние возможно большему числу людей; в нигилистах наших общность интересов только на языке, а на деле жестокосердие. Кто же настоящие нигилисты? Верно, люди из романа г. Чернышевского, их мало в натуре (совершенно таких людей, как у г. Чернышевского, мы даже вовсе не видали), они в натуре не ведут дел так счастливо, проваливаются, даже бывают посмешищем для экономических весельчаков... А что истины нет ни в одной из так называемых “экономических систем”, это ясно как солнце для каждого, кто изучал эти системы и обдумывал их без предвзятых решений. Ясно, что любая “гармония хозяйственных отношений”, улаженная по какой бы то ни было из систем, известных под именем “экономических”, не будет гармонией одинаково благоприятною для труда и капитала. Системы умиряющей, создающей действительную гармонию, еще нет в Европе. Есть только люди, пытающиеся приладить эту систему. Над этими людьми одни смеются, другие даже признают их опасными. Такой человек был известный нигилист Роберт Оуэн. Врагов и порицателей у Роберта Оуэна было вдоволь, пустозвонных насмешников – и того больше. Роберт Оуэн (признававший, между прочим, что каждый человек прежде всего имеет право на наше внимание и посильную помощь) умер, и его Нью Ленарк расплылся.

“Новые люди” г. Чернышевского, которых, по моему мнению, лучше бы назвать “хорошие люди”, не несут ни огня, ни меча. Они несут собою образчик внутренней независимости и настоящей гармонии взаимных отношений. Они могут провалиться? Да, очень могут, но другие обойдут провал, пойдут, узнают, чего должно избегать и чего бояться. Тут нет беды, ибо все это вперед, вперед толкает. Люди растут.

Стало быть, что же делать? По идее г. Чернышевского, освободиться от природного эписиерства, откинуть узкие теории, не дающие никому счастья, и посвятить себя труду на основаниях, представляющих возможно более гармонии, в ровном интересе всех лиц трудящихся. Г-н Чернышевский, как нигилист, и, судя по его роману, нигилист-постепеновец, не навязывает здесь ни одной из теорий (которые ленивые нигилисты другого сорта могут прочесть хоть у Бруно Гильдебранда), но заставляет пробовать: как лучше, как удобнее?

Где же тут Марат верхом на Пугачеве? Где тут утопист Томас Мур? Г-н Громека, в эпоху своего общинничества и артельничества, наговорил в тысячу раз более утопий, которых никак и ни за что никому не втолкуешь и никуда не приложишь, а г. Чернышевский заставляет делать такое дело, которое можно сделать во всяком благоустроенном государстве, от Кореи до Лиссабона. Нужно только для этого добрых людей, каких вывел г. Чернышевский, а их, признаться сказать, очень мало.

Роман г. Чернышевского прочитан великим множеством русского люда. О тех, которым идея романа прямо не понравилась, говорить нечего. (Выполнение романа не может понравиться никому, и дело, как я уже сказал, вовсе не в выполнении.) Те же, которые приходили от него в восторг, теперь стоят на экзамене.

На этом экзамене истинные, настоящие нигилисты сейчас отделятся от нигилиствующих Рудиных, и эту полезную сортировку произведет полезный роман “Что делать?”

Таково мое личное мнение.

Впервые опубликовано в газете “Северная пчела”, 1863 год, 31 мая.

НОВОСТИ ИЗ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМИТЕТА, УЧРЕЖДЕННОГО ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ ВОЛЬНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ

22 февраля происходило 3-е заседание этого нового комитета. Членов и гостей собралось только 22 человека, и все это немногочисленное собрание поместилось в библиотеке Вольного экономического общества. Рассуждали сначала о том, что выгоднее при настоящих обстоятельствах: сдавать помещичьи имения в аренду крестьянским общинам или хозяйничать в них через наемных управителей? Потом перешли собственно к вопросу о положении управителей. Первый вопрос вызвал очень немного различных мнений и решен таким образом, что признать превосходство той или иной системы хозяйства невозможно, потому что выгоды и невыгоды их вообще зависят от чрезвычайно разнообразных местных условий. Второй вопрос, то есть о положении управляющих, вызвал гораздо более горячих споров. Несколько голосов отстаивали необходимость гарантировать наемных управителей от разных случайностей как во время служения их помещикам, так и в то время, когда они лишаются мест и нуждаются во временной поддержке. Председатель прочел при этом случае записку г. Оболонского, в которой автор проектирует экзаменовывать управителей при Вольном экономическом обществе; говорит о необходимости оказывать им вспомоществование, когда они теряют места без причин, лишающих их общественного уважения; заботиться о образовании их детей и о пристроении самих управителей к местам. Записка г. Оболонского показалась собранию очень сложною и во многом неудобоприменимою. Признано невозможным экзаменовывать управителей по составленным г. Оболонским программам; найдено неудобным ручаться за управителя перед нанимателем и отвергнуто приготовление их детей для специальных сельскохозяйственных занятий. Вообще мысль г. Оболонского о необходимости подачи возможного пособия управителям признана очень правильною, но способы применения этой мысли не одобрены. Решили учредить при обществе справочное место для управителей, помогать тем из них, которые обратятся в это место за приисканием себе должности, и, главное, содействовать учреждению артели управителей, которая будет в силах и пристраивать своих членов, и ручаться за них, как ручается обыкновенно русская артель за каждого своего артельщика. Тут возник вопрос: как призвать к этой самодеятельности самих управителей? Нужно дело это обдумать и обсудить гласно, посредством печати, а средств для особого издания с такою целью у комитета, сочувствующего тяжелому положению наемных управителей, нет. Чтобы не останавливаться на одних словах, один из членов комитета предложил ходатайствовать у новой редакции журнала “Век” о дозволении русским управителям, желающим высказать свои соображения относительно предполагаемой артели, заявить свои мнения в “Веке”, так как редакция этого издания, вероятно, не откажет дать место всем соображениям по настоящему делу и не найдет тягостным печатать имена лиц, ищущих мест, и требования землевладельцев и в то же время будет давать заинтересованным лицам сведения о судьбе затеянной управительской артели. Комитет благодарил своего члена за его предложение и поручил ему ходатайствовать у редакции “Века” о принятии участия в этом деле. Что скажет на это ходатайство редакция, пока еще неизвестно, но, судя, по многим соображениям, нельзя ожидать с ее стороны отказа в содействии наемникам, подвергающимся теперь разным неблагоприятным случаям и могущим найти в артельном соединении много еще неизвестных теперь средств, надежную поруку и обеспечение про черный день.

Этим окончено заседание 22-го февраля. Предметом совещания в следующее заседание будут: абсентеизм, экзамены в сельском хозяйстве вообще и вопрос о частных горных заводах.

О БЮДЖЕТЕ ПО “СОВРЕМЕННОМУ”

С.-Петербург, среда, 28-го марта 1862 г

– ПРЕДСКАЗАНИЯ ПО НОВОМУ ВИННОМУ АКЦИЗУ. – ПРИЯТНЫЕ ОЖИДАНИЯ В ЛИТЕРАТУРЕ И ВЕРОЯТНОСТЬ ИХ ДОЛГОЙ НЕОСУЩЕСТВЛЕННОСТИ

В последнее время в нашей газете очень часто упоминалось имя г. Чернышевского. Очень многие ставят нам это в укор. Одни говорят, что мы не по достоинству обращаемся с личностью этого писателя; другие, что мы придаем ему такое значение, которого он не имеет ни в обществе, ни в литературе; наконец, третьи утверждают, что статьи о г. Чернышевском вовсе не интересны для общества и периодическое издание, обязанное иметь в виду внимание всех своих читателей, рассеянных в городах, селах и деревнях, не вправе занимать своих столбцов словопрениями о лице, принадлежащем только своему кружку. С последним мы совершенно согласны и готовы нисколько не удивляться, если подписчики русских журналов и газет громко запротестуют против непрерывных споров литераторов с литераторами о предметах, вовсе не интересующих или мало интересующих читателя; но, как все на свете причинно, последовательно и условно, то очевидно, что и частое обращение наших журналов и газет к личностям пишущей братии имеет свою причину. Причина эта заключается в том, что, по некоторым обстоятельствам, мы не можем опровергать очень многих убеждений, с которыми мы не согласны, и потому должны бываем ведаться с лицами, которые проводят и, так сказать, представляют эти убеждения. Мы согласны, что это маневр очень невыгодный для нашей литературы, и желали бы спорить только о мнениях, а не о лицах, да что ж выходит из нашего желания? Мы, разумеется, не поверим, что г. Чернышевский не имеет никакого значения в известных слоях русского и особенно петербургского общества. Г. Чернышевского ведь нельзя ставить на одну доску с каким-нибудь г. Бибиковым, хотя и этот писатель необыкновенно способен чертить кодексы новой нравственности; г. Чернышевский – человек с дарованиями, утрата которых была бы очень осязательна для русской журналистики. Нет никакого сомнения, что г. Чернышевский очень во многом ошибается, но достоверно также и то, что г. Чернышевский и много знает и еще больше может знать, желает знать и будет знать. Но он шутник от природы; у него, по его же собственным словам, “характер, уклончивый до фальшивости, и это свойство очаровывает его знакомых”, так что они не замечают этого свойства характера г. Чернышевского и не видят шутки, а принимают все всерьез. Говоря словами г. Чернышевского, знакомые его “оказываются несообразительными”; он пошутит, а они думают, что в самом деле Кавур и Кокорев два брата родные, а Токвиль – узколобый бедняк. Г. Чернышевский пошутит в “Современнике” да опять сядет за книжки, ибо иначе ему нельзя будет спорить с “узколобыми”, а “несообразительным” его ученикам и в голову не придет сделать того же; они думают, что г. Чернышевский так вот уж и лежит на диванчике, поднявши ножки, да пускает кверху колечки из дыма или думает о новой французской комедии г. Сарду “*Nos intimes*”, [30] в которой г. Бибиков видит большое зло для человечества и с большим внутренним чувством рассуждает об этом в лишенной всякого содержания статье (см. “Время”, февраль месяц 1862 года). Из этого-то несчастного заблуждения чернышевистов и проистекают все дальнейшие несчастья тянувшейся за “Современником” плеяды. Придет час (и ныне есть), когда верования “Современника” можно будет рассматривать со всех сторон, без придиорок и полунамеков, и тогда что? Г. Чернышевский тогда, может быть, выйдет на поединок, и противнику его придется побороться, а те, кого он уверил в несостоятельности и в непригодности наук, куда они денутся? Станут в оруженосцы, то есть будут носить чернилицу и колоши г. Чернышевского. Это им не может понравиться, да и в самом деле не разом из гвардии в гарнизон, а самим им чем же сражаться? невежеством разве? Так и сгонят их либо в “Русское слово”, либо в другой какой-нибудь из тех этапов, через которые пересылаются до “Искры” европейские люди, разжалованные русским либеральным журналом в узколобые пошляки. Сами будут виноваты; вольно ж быть “несообразительными”. Но Бог с ними.

Обратимся к г. Чернышевскому. Он написал в февральской книжке “Современника” статью “О росписи государственных расходов и доходов”. Мы очень радуемся появлению этой статьи по многим причинам, а между прочим потому, что она свидетельствует о возможности хоть кое-когда ожидать от г. Чернышевского участия в обсуждении занимающих общество вопросов. Сверх того статья эта даже дорога нам, во-первых, потому, что в ней прекрасно рассмотрен предмет, которого она касается, а во-вторых, потому, что, показав г. Чернышевского как рыцаря свистопляски, мы можем показать его и как писателя, человека с замечательными способностями и солидными дарованиями. Мы должны это сделать сколько по чувству справедливости, столько же по состраданию к нашим читателям, которым должна была наскучить эта фамилия, столько же и по снисхождению к самим себе, ибо и нас уже утомили разговоры об этом авторе, который сам смеется над науками и сам учится, сам знает, что вся мерзость наших дней опирается на невежество массы, и сам трунит над цивилизацией, сам, наконец, читает “хорошие книжки”, а других

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru приводит в такой умственный восторг, что они считают бесполезными все книжки и не знают даже тех из них, по которым Р. Чернышевский дочитался да “хороших книжек”. Пора, в самом деле, не ставить этого писателя вопросом, ожидающим разрешения.

В нынешнем году к первый раз опубликована роспись государственных расходов и доходов. Каждый из русских журналов и газет (конечно, за исключением “Домашней беседы”) сочли обязанностью высказать свои мнения о содержании этого важного документа. Иначе и быть не могло. Даже “Современник”, в февральской книжке, поместил о нем статью, написанную г. Чернышевским, и о ней-то мы намерены сказать несколько слов. Между рядом статей о росписи статья г. Чернышевского занимает едва ли не самое видное место, и, несмотря на то, что у нас идут особые статьи по этому предмету, мы считаем себя обязанными представить нашим читателям и замечательные соображения г. Чернышевского. Он должен нам дозволить это из любви к общим интересам русской читающей публики. Вот что говорит г. Чернышевский о военной повинности:

“Работник приобретает в год средним числом, конечно, гораздо более 50 р. сер.; но положим только 50 р. В 1859 году считалось в русских войсках 1 271 660 человек нижних чинов. Считая по 50 рублей в год на человека дохода, от приобретения которого отвлекает его служба, мы должны сказать, что с этой стороны военная повинность обходится стране более чем в 65 500 000 руб. серебром”. “Положив, что третья часть войска имеет свое помещение, а две трети получают его через постоянную повинность от населения, и оценив квартиру солдата в 10 руб., офицера и генерала в 50 р.”, г. Чернышевский выводит следующие цифры: “Из 1 271 660 человек нижних чинов две трети составляют около 850 000; по 10 р. на человека, будет 8 500 000 р. Из 35 103 офицеров и генералов две трети составляют около 24 000; по 50 р. – 1 200 000 р. Итого 9 700 000 р.”. Г. Чернышевскому можно заметить, что он полагает цифры слишком умеренные и что действительные пожертвования страны далеко их превышают; оттого и нельзя допустить, что на “все натуральные повинности, вместе с воинскою, страна тратит около 90 миллионов рублей серебром”. Цифра эта должна быть несравненно выше, что допускает и сам г. Чернышевский, и притом говорит, что “в какую денежную сумму надобно оценить пожертвования, требуемые натуральными повинностями – этого никто не может определить в точности”. Потом, “из самого заглавия обнародованной росписи г. Чернышевский видит, что она не заключает в себе и полного перечисления всех денежных доходов и расходов по всем частям общего правительственного устройства”. “В подтверждение этого объяснения, – продолжает он, – приведем два примера. Духовное ведомство получает довольно значительный доход от продажи восковых свеч в церквах. Этот доход не составляет местного дохода самих церквей или епархий, а представляется ими в центральное управление духовного ведомства и остается в его непосредственном распоряжении, не поступая в государственное казначейство. Потому и не вошел он в обнародованную роспись доходов”. “При подробном рассмотрении надобно было бы перечислить очень много подобных отраслей прихода и расхода не местного, а общего государственного, не вошедших в роспись собственно потому, что не входили они доселе в счета государственного казначейства”. По выводам г. Чернышевского выходит, что, “кроме цифр, вошедших в обнародованную роспись, существуют три главные разряда не вошедших в нее доходов, взимаемых со страны на общественные потребности.

- 1) Натуральные повинности для общих государственных надобностей.
- 2) Частные источники доходов отдельных ведомств общего государственного управления.
- 3) Местные налоги, сборы и повинности на надобности местного управления и устройства”.

“Мы очень хорошо понимаем, – говорит г. Чернышевский, – как неточно основание, принятое нами для выводов о величине платежей и повинностей, не вошедших в обнародованную роспись. Но мы можем утверждать три следующие заметки как факты достоверные.

Во-первых, точного исчисления этой суммы, которая дополняет собою обнародованную роспись, никто не в состоянии ныне представить. Общее финансовое управление государства не имеет точных сведений о величине этой суммы.

Во-вторых, отлагая всякую претензию на точность, можно, однако же, составить

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
себе приблизительное понятие о величине этой дополнительной суммы, руководясь впечатлением, какое производит она в населении страны. Общее впечатление то, что натуральная повинность и денежные сборы, не вошедшие в роспись государственного казначейства, служат для населения страны причиной расхода или пожертвования, не слишком многим меньшего, чем подати и налоги, вошедшие в роспись государственного казначейства. А эти подати и налоги составляют около 300 миллионов рублей; потому сборы и повинности, не вошедшие в роспись, должны быть считаемы приблизительно в 200 миллионов рублей, или несколько больше, и таким образом надобно полагать, что весь бюджет налогов и повинностей, взимаемых теперь как на общие государственные, так и на местные общественные расходы, составляет сумму около 500 миллионов рублей.

Третье. Из огромной суммы повинностей и сборов, не вошедших в роспись государственного казначейства, только меньшая половина имеет или такую форму взимания, или такую форму употребления, которая давала бы хоть некоторую соразмерность достигаемого результата с делаемым пожертвованием. Что же касается наибольшей половины этих сборов и повинностей, они составляют пожертвование, несоразмерное достигаемому результату. Мы говорим тут не о злоупотреблениях, не о том, например, что некоторые чиновники пользуются иногда подводной повинностью для разъездов по частным надобностям, или лесною повинностью для насаждения частных садов или обработки частных полей; эти вещи должно назвать пустяками, которые может выставлять на первый план только такая жалкая литература, как наша". (Литература, в которой есть органы, стремящиеся исправлять общество заметками какого-нибудь празднующегося или темнейшим дневником темного человека.) "Мы хотим говорить не о злоупотреблениях, а о правильном взимании или отправлении этих сборов и повинностей, не вошедших в роспись государственного казначейства, и о правильном их употреблении". И г. Чернышевский действительно высказал по этому поводу очень много умных мыслей, которые можно, кажется, изложить вкратце таким образом: "Если, при существующих началах сборов и системе расходов, распорядители сумм будут действовать как нельзя более честно", то и тогда "те из обращаемых на общие государственные надобности сумм и повинностей, которые не внесены в обнародованную роспись, во многих случаях не принесут государству той пользы, которую получает оно от расходов, внесенных в эту роспись, так что неполнота ее невыгодна для страны". Желаящим ближе познакомиться с глубоко верными соображениями, руководившими г. Чернышевского к построению этого правильного заключения, мы можем только посоветовать обратиться к полной интереса статье этого автора, помещенной в февральской книжке "Современника", а сами идем дальше.

Замечая, что "из 296 000 000 рублей всего дохода с податных сословий собирается 204 миллиона, то есть около 7/10 всего государственного дохода", г. Чернышевский говорит, что "это в значительной степени объясняет нам нужду, замечаемую в массе нашего населения, а вполне объясняет малую сумму доходов, получаемых государством. Главная масса платежей на покрытие государственных издержек требуется с людей, еще не успевших сделаться зажиточными. А с людей бедных нельзя получить много, как бы требовательны ни были сборы с них. Потому в итоге получается сумма незначительная. Исправить это неудовлетворительное для самой казны положение дел можно не иначе, как изменив самое распределение количества требований с разных классов. Если бедные будут платить меньше, они скорее могут стать зажиточными; если с зажиточных и богатых будет требоваться больше, то и доход казны будет обильнее. Достичь удовлетворительного для самой казны бюджета доходов можно только перенесением главной тяжести налогов с сословий, доселе плативших слишком много, на сословия, платившие слишком мало. Изменения же только в способе взимания налогов несколько не приведут к этой цели; достичь ее можно только отменю одних налогов, уменьшением размера других, возвышением третьих и установлением новых, падающих на предметы и классы, доселе не дававшие казне ничего или почти ничего".

После такого естественного и прямого заключения автор касается некоторым образом нового винного акциза.

"По винному акцизу взимание налогов посредством откупов заменяется прямым взиманием налога через государственных чиновников. Но при этом хотели сохранить казне всю ту сумму дохода, какую получала она от этого налога при откупе. Единственным средством к достижению этого результата было найдено установить акциз такой высоты, что он много превышает цену, в какую обходится производителю самый продукт. А при такой величине акциза официальный надзор едва ли в состоянии будет предотвратить очень сильное развитие корчемства, выгода от

которого будет чрезвычайно велика. Вся прибыль, получаемая контрабандистами по тайному провозу товаров из-за границы, совершенно ничтожна перед громадными суммами, какие можно будет получать через тайную продажу водки. Поэтому мы опасаемся, что расчет, которым руководствовались при установлении акциза, окажется неверным. Казна будет введена в чувствительный недочет контрабандою, и обнаружится надобность сделать одно из двух: или понизить акциз, или возвратиться к системе откупов. Нечего и говорить, что первый исход гораздо лучше для государства. Но едва ли можно ожидать, что казна получит 125 миллионов рублей с вина при такой величине акциза, которая не вызвала бы слишком сильной контрабанды при казенном управлении и не принуждала бы снова прибегнуть к откупам. Потому мы думаем, что надобно теперь же заняться установлением налогов для замены уменьшения в доходах от винного акциза”.

Обращаясь к росписи расходов, г. Чернышевский полагает, что если бы “наши фонды поднялись до такой степени, что можно было бы заменить пятипроцентные облигации четырехпроцентными, то ежегодные расходы по платежу процентов уменьшились бы с лишком на 10 миллионов рублей. Нельзя сказать, что цель эта недостижима, и притом в довольно короткое время: лет в пять фонды могли бы подняться до высокого курса. Но кредит возвышается только экономностью и прогрессивностью государственного управления государством. Возможность сбережения по процентам государственных долгов зависит от сбережений и реформ по другим частям”. “За вычетом суммы около 55 миллионов, идущей на уплату процентов по долгам, остается из бюджета расходов около 255 миллионов расхода, производимого по текущим делам; 145 миллионов расхода по содержанию военных сил составляют около 3/5 частей этой цифры. Вот предмет, самый удобный для забот о облегчении бюджета и обещающий самые крупные сбережения. Если бы расходы по военным силам могли быть сокращены на одну третью часть – это дало бы около 50 миллионов сбережения. При одном этом сбережении не было бы уже никаких следов дефицита, и оставалось бы много денег в казне на всякие действительно полезные дела”.

Этим г. Чернышевский закончил свою превосходную статью, из которой мы извлекли только некоторые места и за которую ему должны быть благодарны все, кому дороги отечественные интересы. Г. Чернышевский не сказал ей ничего необыкновенного, нового, поражающего, но поставил дело очень ловко и провел его весьма последовательно и удачно, что не всегда случается с вопросами подобного рода, когда они попадают в руки некоторых наших финансистов и политико-экономов. Мы ничего не можем прибавить к сказанному г. Чернышевским и совершенно во всем разделяем его мнение. Нам будет очень прискорбно, если статья эта не встретит полного и живого сочувствия в известных сферах и если предложение г. Чернышевского “теперь же заняться установлением налогов для замены уменьшения в доходах от винного акциза” останется только мыслью, записанною на страницах “Современника”. Но всего прискорбнее будет, если после этой статьи нам опять не скоро придется встретить серьезное слово г. Чернышевского. Он очень скуп на такие слова и редко удостоивает ими русские дела; он как будто роняет их ошибкой или от скуки, после утомительного труда, употребляемого им на формирование кадров для “Русского слова” и других органов российской словесности, которые с свойственною людям неблагодарностию еще утверждают, что они отличаются от “Современника” не тем только, что... им до “Современника”, как куцему до зайца. “Современник” так оригинален и с таким пренебрежением относится к русской литературе несходного с ним направления, что смешно было бы думать о каком-нибудь значении перед ним нашего слова; он даже может обидеться им, как обижаются сочувствием “Домашней беседы”, или посмеется, скажет, что мы с ним заигрываем; но в интересах русского общества, которое должно же быть близко этому журналу, мы позволяем себе пожелать, чтобы эта талантливая редакция взглянула в русскую жизнь и позаботилась внести в нее то, в чем эта жизнь сегодня нуждается и что она сегодня способна принять и вырастить. Но, разумеется, это наше искреннее желание может остаться без всяких последствий, и оригинальный журнал, в следующей книжке, может подарить общество рассуждением о том, что “г. Чернышевский – простая змея, а покойный Добролюбов был змея очковая”; пожалуй, он даже напечатает и какой-нибудь из нравственных трактатов г. Бибикова. От “Современника” можно ожидать всего, пока... не сбудутся ожидания “Русского вестника”, то есть пока “наша литература не перестанет расплываться в недомолвках”. Но другие-то что? Им-то когда ж это надоест плясать на задних лапках и твердить за “Современником” о том, о чем они путного слова сказать не умеют? Сильна, видно, дедовская привычка именоваться “людишками”, “Ивашками” да “Петрушками”. Нелюб им “День”, “Время”, “Русский вестник” или “Век”, так хоть посмотрели бы на “Гудок”, который, не стесняясь своей поморной специальностью, сумел сделаться сатирической газетою, а не печатным дневником литературных дрызг

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovnikolai.ru
и сплетен, вовсе не интересных для публики.

О ГЛАСНОМ ОБСУЖДЕНИИ ФИНАНСОВЫХ МЕР

С.-Петербург, вторник, 13-го февраля 1862 года

4-е января 1862 года останется навсегда знаменательным днем для России. В этот день состоялся высочайший указ о публикации во всеобщее сведение росписи государственных доходов и расходов на 1862 год. Лучшего подарка в годину своего тысячелетия Россия не могла получить. Такие подарки делают только совершеннолетним и тем, на кого вполне полагаются. Эта мера заслуживает величайшей признательности и может только усилить доверие народа к правительству.

Всем известны благие последствия гласности касательно государственного бюджета для тех стран, где она уже существует. Пример их доказывает, что от подобной гласности не только не пострадали государственные доходы или встретились какие-либо препятствия необходимым государственным расходам, но что, напротив того, те и другие увеличивались в прогрессии, какой никогда не достигали они в странах, где не существовало гласности в финансовом управлении, и что этого увеличения доходов достигали без истощения средств страны и с наименьшим отягощением для народа.

Причины этого очевидны. Хорошо устроенные финансы выражают общественные средства всего государства; от них зависит степень его внутреннего благосостояния и внешнего влияния. А кому же лучше знать общественные средства и нужды, как не самому обществу? Как в частной, так и в общественной жизни средства и обстоятельства постоянно изменяются, с ними должны сообразоваться и финансы; а кто может прежде всего заявить об этих изменениях, как не те, кто их испытывает?

Ничто не может так содействовать увеличению кредита государства, как опубликования во всеобщее сведение его доходов и расходов; а кредит, как известно, есть душа современного финансового мира.

Опасение, что будто бы от гласности иногда могут пострадать государственные финансы, или иначе, что от огласки их худого положения они могут прийти еще в худшее, совершенно ложно. Если положение дел действительно худо, то этого долго утаивать нельзя, а только худое будет перетолковано в гораздо худшее, чем оно есть в действительности. Сколько бывало примеров, что откровенное публичное сознание в худом положении дел было первым шагом к немедленному их улучшению. Только непризнанные финансовые гении боятся оглашения своих ошибок и способны утверждать, что гласное осуждение их мер может ослабить кредит государства. Эти господа, полагающие, что, не допуская гласного обсуждения своих мер, они могут отнять у людей сознание пользы или вреда их, очень похожи на того безграмотного, который, заставляя читать вслух получаемые им письма, затыкал уши читающему, думая этим помешать ему узнать их содержание.

Гласность необходима для образования искусных финансистов, равно как и для проявления финансовых дарований.

Как бы отлично ни было устроено финансовое управление, сколько бы дарований оно ни соединяло в себе, но, занятое множеством текущих дел и формальностей, оно никогда не будет в состоянии не только знать всех подробностей положения страны, но даже уследить за действием своих собственных мер, тем менее беспристрастно оценить их последствия. Так как не все служат по призванию, то можно смело предположить, что между неслужащими найдется не менее способных людей, чтоб обсудить любую финансовую меру; мнение же их должно иметь вес, как мнение беспристрастных, посторонних ценителей. От подобных ценителей можно услышать откровенный, добрый совет.

Теперь наше министерство финансов будет иметь еще более случаев публично доказать свое убеждение – которое, к несчастью, у нас еще так мало развито даже между нашими soi-disant[31] передовыми людьми, – что критический разбор наших мер и указание их слабых сторон и худых последствий не есть посягательство на наше знание и звание; что честное, гласное заявление, во имя правды, противного нам мнения не есть личность и что уважение к откровенно высказанному мнению другого есть лучший признак истинной образованности.

Если гласное обсуждение такого щекотливого вопроса, каков был крестьянский, столь сильно содействовало и содействует и его благоприятному разрешению, то

чего же, кроме пользы, можно ожидать от гласного обсуждения чисто финансовых мер?

О ЖЕНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ НАШЕЙ ТИПОГРАФИИ

С.-Петербург, понедельник, 19-го августа 1863 г

В одно время с этим номером нашей газеты выйдет в свет из нашей же типографии небольшая брошюра, содержащая в себе три рассказа М. Стебницкого под заглавиями: “Краткая история одного умопомешательства”, “Разбойник” и “В тарантасе”. Рассказы эти появлялись от времени до времени в “Северной пчеле” в виде фельетонов, и потому наши читатели не могут ждать от нас какой-нибудь критики или разбора нами же печатаемых беллетристических произведений. И действительно, наше намерение вовсе не таково. Вся цель настоящей статьи состоит в том, чтобы обратить внимание на одну строку, напечатанную в скобках на обертке издаваемой нами сегодня брошюры. Строка эта состоит из следующих слов: В пользу наборщиц при типографии “Северной пчелы”, а смысл этих слов вот какой.

Пусть наши читатели не пугаются: мы нисколько не намерены угощать их уже совершенно опошлившимися и перемолотыми до тошноты фразистыми тирадами о достоинстве женщин, о их нравственной равноправности с мужчинами, о несправедливости общества, лишающего незамужнюю женщину почти всякой возможности действительно самостоятельного и экономически выгодного труда и отворачивающегося от нее потом, когда она, в отчаянии, прибегает к средству, иногда единственному, которое ей оставлено обществом. Все это давным-давно известно; все это было высказано и написано уже сто раз и во сто крат убедительнее и красноречивее, нежели могли бы это сделать мы; наконец, во всем этом не думает уже сомневаться никто, кроме разве суровых гонителей женских артельных мастерских вроде образцовой швейни г-жи Лопуховой.

Теперь дело действительно уже не в том, чтобы по-прежнему все еще говорить об “устройстве женского труда”, а в том, чтобы его “устроить”, и устроить его поскорее. Будучи убеждены в этом, мы не принимали особенного участия в одной из тех бесчисленных, несколько донкихотских, а главное, ни к чему не ведущих общих литературных экспедиций, так часто случающихся в нашей журналистике и которую можно было бы назвать “летнею женскою кампаниею”. Вместо этого мы решились воспользоваться одним из того небольшого числа ремесел, с которым издание ежедневной газеты ставит нас в непосредственное отношение, а именно – типографское, для того, чтобы приложить к нему труд женщин. Мы выбрали для нашего опыта типографское дело потому, что это для журналистов и издателей едва ли не самый удобный путь к практическому приложению женского труда, а во-вторых, еще и потому, что мы и прежде думали, а теперь убедились самым удовлетворительным образом, до какой степени женщины способны сделаться, в очень непродолжительный срок, действительно вполне хорошими наборщицами. Подробное и точное изложение хода дел в женском отделении нашей типографии, со дня его основания по нынешний день, убедит в этом и читателей. Итак, пусть всякий, кто желает воспользоваться нашим опытом, прочтет следующий краткий отчет, и он увидит из него, до какой степени незамысловато, а, напротив того, чрезвычайно легко приложение на практике теории, самой по себе верной.

При устройстве женской типографии руководили нами две основные идеи. Мы желали не только доставить возможность работать известному и, по необходимости, крайне ограниченному числу женщин, но в то же время имели в виду открыть посредством нашей типографии целое новое в России поле – типографское искусство – для женского пола вообще, и поэтому мы очень хорошо понимали, что наше предприятие должно быть освобождено от малейшей примеси филантропического характера, а, напротив того, должно быть основано на началах чисто экономических. Но, кроме этой первой и, скажем прямо, главной цели нашего предприятия, мы имели еще другую, саму по себе не менее важную. Мы желали опытом убедить как других, так и самих себя, насколько верно, что без малейшего ущерба для всех законных прав капитала можно освободить труд от того крайне невыгодного положения, в которое ставит его капитал, заставляя его, под видом учения, работать совершенно или почти даром в продолжение более или менее значительного числа лет. Вот две руководящие нами, при нашем предприятии, мысли, а следующие за сим факты и цифры докажут, насколько мы успели приложить их на деле.

Мы должны были начать с того, чтобы найти женщин, достаточно образованных, чтобы они могли читать и более или менее понимать всякий встречающийся в обыкновенной типографии “оригинал”. Нам возразят, что уже этим самым мы противоречим нашей только что изложенной теории о несправедливости требования даровой работы за

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
обучение любому ремеслу. “Вам легко обойтись, – скажут нам, – без дарового обучения ваших работниц, когда вы принимаете только таких, которые уже прежде учились и за обучение которых, следовательно, кто-нибудь да платил. Почему же вы находите после этого несправедливым, если столяр или сапожник также взимают со своих учеников в виде пяти или шестилетней даровой работы плату за обучение их столярному или сапожному мастерству?” На это мы ответим, что мы несколько не требовали от наших наборщиц знания нашего мастерства, то есть типографского искусства, как предварительного условия для зарабатывания ими денег, а только знания грамоты и того общего образования, даровое наделение которым должно, по нашему мнению, лежать на всем обществе. В этом случае, как во многих других, первоначальная трудность в приложении теории еще не доказывает несостоятельности этой последней. После этого краткого, но необходимого отступления, возвращаемся к истории нашей женской типографии.

Всякий, кто только знает низкую плату, какую получает у нас большинство гувернанток “из русских”, и всякий, кто знает, какое бесчисленное множество образованных женщин не может добиться этого ничтожного средства к существованию (а кто же у нас не знает того и другого средства?), тот не удивится, когда мы скажем, что у нас нашлось гораздо более кандидатов в наборщицы, нежели мест для них. По обстоятельству, мы должны были ограничиться пока приемом четырех работниц, с которыми мы и открыли дело 1-го числа прошлого июня месяца.

Прежде чем приступить к изложению чисто финансовой части дела, мы считаем не лишним (в интересе всех желающих воспользоваться нашим примером) упомянуть об одном обстоятельстве, касающемся внешней стороны нашего предприятия. Все без исключения наборщицы, особенно в первые годы их учения, жалуются на невыносимую боль в ногах, которая часто служит предвестницей болезни, известной под названием “узловатого расширения жил”: причина этой боли та, что в мужских типографиях наборщицы работают целый день, стоя у касс. Другое неудобство, которое мы должны были предвидеть для наших наборщиц от введения этого обыкновенного способа типографской работы, состоит в том, что по телосложению своему женщина гораздо менее способна к продолжительному стоянию на одном месте, нежели мужчина. Поэтому мы устроили столы (технически: “реалы”), на которых помещены кассы в виде конторок, и снабдили каждый реал высоким стулом, так что наборщицы могут работать попеременно, сидя и стоя.

Затем – к финансам. Хорошо выучившийся своему ремеслу наборщик может зарабатывать от 25 рублей до 40 рублей серебром в месяц. Разумеется, сначала нечего было и думать о зарабатывании наборщицами хотя бы и третьей части этой суммы. Но так как для скорейшего изучения типографского искусства и по условиям самого типографского дела необходимо, чтобы наборщицы занимались исключительно этой работой, то мы и условились платить каждой по 15 рублей серебром в месяц до тех пор, пока собственные их заработки не дойдут до этой суммы. Само собою разумеется, что эти деньги выдаются нами заимообразно и будут постепенно возвращаемы наборщицами из зарабатываемых ими денег (даже с полными процентами, спешим прибавить для всех ярых экономистов вообще, вероятно, уже обрадовавшихся, что тут по крайней мере они открыли в нас филантропические поползновения). На этих-то условиях поступили к нам, как мы уже сказали, четыре женщины и начали работу 1-го июня. С самого начала работа шла очень медленно и неисправно; но вскоре все это изменилось, и в конце первых двух недель, то есть 15-го числа, были уже “набраны и выправлены” [32] два рассказа: “В тарантасе” и “Разбойник”. С тех пор работа идет с каждым днем все быстрее и успешнее.

“Как же теперь будет сделан расчет?” – спрашивает то, вероятно малое, число читателей, которое мы успели заинтересовать в этом деле. На этот вопрос, к сожалению, но по необходимости, мы принуждены отвечать очень коротко. Расчет будет производиться по тем же правильным экономическим принципам, на основании которых устроена вся женская типография. *Sapienti verbum sat...* [33]

В заключение мы считаем нелишним прибавить, что изданная нами сегодня упомянутая брошюра продается как во всех главных книжных магазинах С.-Петербурга, так и на железных дорогах Николаевской и Варшавской, где будут продаваться и все следующие за сим издания “в пользу наборщиц при типографии “Северной пчелы””.

О ЗАМЕТКЕ “РУССКОГО ВЕСТНИКА” И О ХАРАКТЕРЕ ДЕЙСТВИЙ Г. ГЕРЦЕНА
“Заметка “Русского вестника””, с которою вчера могли познакомиться читатели нашей газеты, производит на общество весьма различное впечатление. Одни ею безусловно довольны, “отделал” дескать; другие ею безусловно недовольны, ибо, по

понятию этих господ, всякий человек, не согласный с громовыми проповедями г. Герцена – враг свободы и вообще человек пропащий; наконец, третьи очень благодарны г. Каткову, что он решился откровенно поговорить с громовержцем того берега, но оскорблены неприличным тоном заметки. Мы принадлежим к числу последних. Мы находим, что в заметке “Вестника” есть много верного и правдивого, но не можем без сожаления вспомнить о тех неприятных выражениях, которые рассыпаны по ней довольно щедрою рукою. Они нимало не подкрепляют взгляда автора на значение деятельности г. Герцена, но очень много вредят успеху заметки в кругу людей благовоспитанных и честных. Нам нужно не шельмование имени Герцена, а ясное опровержение его идей, которые он проводил и проводит, “сидя за плечами лондонского полисмена”. Г. Катков, как писатель солидный, вероятно, очень хорошо это понимает, и потому мы не можем ему простить, что он унизился до перебранки, которую всегда гнушался его честный журнал. Г. Катков этой заметкой дал право сомневаться в его такте, без которого нельзя выиграть никакого дела у Герцена. Г. Катков, раздраженный вызовом “колокола”, увлекся даже до того, что стал неверен самому себе и впал в весьма сильную ошибку. Он признал за г. Герценом такое значение, какого последний, по нашим понятиям, никогда в России не имел, да и никогда иметь не будет. Что такое в самом деле для нас до сих пор г. Герцен? Талантливый человек, статьи которого, до отъезда его за границу, читались с удовольствием, – человек, который, при стесненном положении русской прессы, напечатал несколько исторических документов, – но авторитетом он у нас никогда не пользовался, а если он и был для кого-нибудь авторитетом, то это могло произойти только вследствие долговременного наслаждения совершенною независимостью от критики. Если бы многие социалистические утопии г. Герцена давно были представлены нашей публике в настоящем свете, то Мишле, вероятно, уже давно успел бы ответить русскому социалисту на его известное письмо (см. “Русский народ и социализм”) о способности русского народа отречься от собственности и зажить в социалистских казармах. Но обстоятельства мешали этому и слишком десять лет укрепляли в некоторых слабых умах несчастное убеждение в непогрешимости каждого слова, слетевшего с саркастических уст Герцена. Репутация, которую Герцен пользуется в некоторых кружках, создана для него не столько “колоколом” и различными сборниками, сколько невозможностью подвергнуть и “колокол”, и другие его издания строгому критическому разбору, результатом которого, конечно, было бы представление Руси живых доказательств, что г. Герцен не знает ни русской жизни, ни русского народа, не понимает ни вещественных, ни невещественных средств, которыми располагает наше общество, и с смешною самонадеянностью берется устраивать нам такое положение, которого мы вовсе не хотим, к которому вся Русь не имеет никакого расположения и которому она станет противодействовать вся, от мала до велика, от мужика, сеющего гречу, до людей, ценою тяжких трудов и лишений сколотивших какой-нибудь грош для себя и малых детей. Учение социалистов – такое учение, которого бояться просто смешно, и над социалистами можно смело хохотать, как хохотал над ними Лондон, когда они сделали свою известную сходку. Г. Катков упустил из вида, что г. Герцен не человек дела. Гремя своим “колоколом” против безнравственности богатства, он едва ли может, в подкрепление своей теории, указать на себя, как на пример самоотвержения в пользу общую. Известно, что г. Герцен, разглагольствующий о безнравственности богатства, сам очень богат и не основал еще ничего вроде рочдельской рабочей ассоциации или Нью-Ленарка, а до тех пор, пока все, что имеешь, не роздано будет неимущим, не уйдешь дальше верблюда, собирающегося пролезть в игольное ушко. Если это упустил из вида божок сотни горячих голов, желающих всероссийской общины и сдачи детей в казармы, то этого не должен был упустить г. Катков, у которого до сих пор не было недостатка в обстоятельности, отсутствием которой страдают социалисты и славянофилы.

Что же касается до революции, кровавых реформ и республиканских стремлений, то тут Герцен еще безвреднее, чем в своих социалистских мечтаниях. Наш “генерал от революции”, как называет его “Русский вестник”, давно оставил свое отечество, слушает только людей своего же закала и получает от них только те сведения, которые ему на руку, а природа и воспитание отказали ему в способности не кипятясь слушать другую сторону, и он прет напролом зря. Отсюда его крайняя и ничем не оправдываемая односторонность во всех вопросах, касающихся внутренних распоряжков в России. Г. Герцену революции на Руси не произвести, так же точно, как не может он произвести ее в главном приюте революционеров и социалистов, в Англии. Не произвести ему ее потому, что ум народа занят вовсе не тем, чем занят ум г. Герцена и его докладчиков, изображающих ему Русь наыворот. Народ хлопочет об устройстве своего быта и больше занят тем, чтобы покрыть ветхие кровли своих изб, чем вопросами, которые близки сердцу Герцена. В России мы не видим элементов для революции, это можно сказать утвердительно, и Герцен может

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
удостовериться в этом очень легко, если заставит себя вспомнить мудрое правило:
audiatur et altera pars.[34]

Г. Катков не имел оснований отрицать честность г. Герцена, и не оправданием, а разве только некоторым, и то весьма слабым, извинением ему в этом случае может служить крайнее забвение всех приличий самим Герценом, позволившим себе выразить сомнение в чести гг. Каткова и Леонтьева. Нам кажется, что редактор “Колокола” не имеет права сказать редакторам “Русского вестника”: “если в вас есть хоть капля чести”. Таких вещей на ветер не говорят, а ведь ясно, что здесь никто не подозревается в краже столового серебра; на общественной же деятельности г. Каткова какие пятна? Правда, г. Каткова нынешнею зимою один здешний журнал заподозрил в стремлении посидеть на креслах, на которых сидел Гизо во Франции, но ведь это слова и ничего более, а если бы и в самом деле Катков сделал себе такие кресла – беды, надеемся, ни для кого не произойдет, а лучше, пожалуй, многим будет. Пусть г. Герцен говорит, что ему угодно, от этого не произойдет вреда ни для кого. Разрешив нам перемолвиться с “Колоколом”, правительство наше приставило лестницу к пьедесталу, на который вознесся Герцен в минувшую эпоху российского молчания. Мы постараемся ближе взглянуть, какими нитками связаны листья в венке, которым красуется он с того берега, и надеемся доказать ему его заблуждения по всем вопросам, касающимся России. Г. Герцен должен разувериться в том, что он головою выше всего того, что позволяет себе не падать перед его авторитетом. В “Капризах и раздумье” он писал, что “критический, аналитический век наш, критикуя и разбирая важные исторические и всякие вопросы, спокойно у ног своих дозволяет расти самой грубой, самой нелепой непосредственности, которая мешает ходить и предательски прикрывает болотами ямы; ядра, летящие на разрушение падающего здания готических предрассудков, пролетают над головою преготических затей, оттого что они под самым жерлом”. Писав это, г. Герцен, очевидно, считал себя выше всех тех, кто и критикуя и разбирая важные исторические и всякие вопросы, спокойно у ног своих позволяют расти самой грубой, самой нелепой непосредственности, которая “мешает ходить”, а сам начал бросать со станков своей “вольной русской типографии” ядра, которые, летя “на разрушение падающего здания готических предрассудков, пролетают над головою преготических затей”. Г. Герцен положительно не понял всех выгод своего свободного и обеспеченного положения; он бил в далекие башни, легкомысленно не внимая голосу русского художника, который докладывал ему отсюда, что “жестокое, сударь, нравы в нашем городе”... Г. Герцен не хотел или не умел внимательно и беспристрастно взглянуть в состояние умов и нравов страны, он не соображал ее средств, а шел напролом, стрелял вдаль, не замечая преготических затей, стоявших под жерлом. “Смирительная литература” не считает стыдом отречься от всякого сочувствия “юношам-фанатикам” и забывающим, что святое народное дело слагается только в чистом сердце и создается чистыми руками. Да и г. Герцену стыдно искать внимания ничтожных людей, даже не умевших путем состряпать своей прокламации; и теперь собственные дела обличают его лучше, чем моветон Каткова, вызванный моветоном “неисправимого социалиста”.

О ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

С.-Петербург, воскресенье, 18-го августа 1863 г
Говоря о составленном в министерстве внутренних дел проекте устава земских учреждений, мы высказали, между прочим, убеждение свое, что возможно полное осуществление этого проекта не только улучшит положение нашего земского хозяйства вообще, но послужит еще и к улучшению составления наших государственных финансов. Сегодня постараемся доказать это в немногих словах.

Казна никогда не бывает бедна, когда богат народ. Как у всякого богатого человека есть средства на все, для него необходимое, на все разумные потребности его, иначе он не был бы богат, так и у богатого народа не может быть недостатка в средствах для казны. Одно же из важнейших условий народного благосостояния, то есть относительного богатства народа, заключается в том, чтобы быт и жизнь его вообще были свободны от лишних административных стеснений. Осуществление проекта устава земских учреждений освободит наш край от значительной доли таких стеснений и уже потому, подобно освобождению крестьян и наделению их личною собственностию, обогатит наш народ, а через него и казну – без увеличения налогов.

В частности, действие земских учреждений улучшит, по необходимости, каждую часть нашего земского хозяйства, а влияние земского хозяйства на экономический и даже политический быт страны едва ли слабее влияния государственного хозяйства. Такое улучшение неминуемо уже потому, что все земские интересы будут при действии

земских учреждений надлежащим образом заявлены, узнаны и оценены как правительством, так и земством; притом, как правительство, так и земство будут иметь возможность при оценке земских, а через них и некоторых других интересов пользоваться всеми умственными и нравственными силами страны. До сих пор, несмотря на все старания правительства, у нас относительно, то есть в сравнении с величиной и потребностями России, мало улучшенных путей сообщений, городское хозяйство наше едва ли не повсеместно хуже чем хромает, сельская почта у нас не существует; в настоящее время у нас даже почти нет ипотечного (поземельного) кредита; наше денежное обращение и наши денежные рынки требуют и с нетерпением ждут значительной перемены к лучшему. Кроме того, дороговизна растет, как росла до сих пор, и все это несмотря на усиленные старания и меры правительства улучшить во всех отношениях быт народа.

Все эти и им подобные экономические и другие затруднения могут быть устранены правительством только при надлежащем содействии ему со стороны всего русского общества, а такое содействие было до сих пор немыслимо: оно возможно только при действии земских учреждений, более или менее подобных тем, какие проектированы в министерстве внутренних дел.

Если так, заметят нам, то министерство внутренних дел своим проектом устава земских учреждений окажет более услуг России по устройству ее путей сообщения, государственных финансов и проч., нежели само главное управление путями сообщения, министерство финансов и проч. Возможно ли это?

Точно так же возможно, отвечаем мы, как освобождение крестьян само по себе, по своей сущности и цели, должно совершенно и во всех отношениях переродить к лучшему Россию и положительно все в ней: ее экономический быт, ее финансы, ее внутреннюю и внешнюю политику и проч. Да это видно уже и теперь, а если в нашей жизни еще много затруднений, если некоторые из этих затруднений даже увеличились со времени разрешения крестьянского вопроса, то причины тому не в освобождении крестьян, а в совершенно других обстоятельствах. Освобождение крестьян сняло с народа русского оковы, которые мешали его нормальному развитию и жизни вообще; то же в большей или меньшей степени сделает устройство земских учреждений, а потому и послужит к быстрому и значительному улучшению всех сторон быта и жизни России, – если только, разумеется, не будет тому каких-либо искусственных и совершенно лишних преград.

Вот тому одно из самых осязательных доказательств. Все сознают теперь, что нам нужны улучшенные пути сообщения, железные дороги. Они у нас и проводятся; но, однако, далеко не в том числе, в каком вдруг нуждается Россия. Почему же так? “Да потому, – говорят, – что у нас мало денег, а привлечь к нам иностранные капиталы дело не всегда легкое”. Оно так, да не совсем. У нас денег, конечно, относительно немного; но не в этом беда, а в том, что если у нас и мало денег, то еще менее правильного хозяйства, здоровой экономии и той распорядительности, без которой и богач нуждается, и притом едва ли не постоянно, в деньгах более бедного, который действует и живет вообще экономно и разумно, сознает свои средства и согласует с ними свои потребности. У нас мало денег, – так; но, однако, согласитесь, что в России более денег, чем у всех Ротшильдов, взятых вместе, и уже потому не должно бы, кажется, быть у нас недостатка в деньгах на постройку железных дорог. Не должно быть этого недостатка уже потому, что у каждого народа непременно есть все те средства к жизни, какие ему нужны. Без этого условия и наука народного хозяйства, политическая экономия, была бы немыслима и состояла бы только из произвольных умозрений и неправильных выводов. Почему же нет или мало у нас денег на устройство новых линий железных дорог? Да потому, что мы не умеем или не можем пользоваться имеющимися у нас средствами на такое дело: многие из нас даже не подозревают, что средства эти заключаются не в одних деньгах и что мало одних денег, чтоб с толком построить железную дорогу, как мало их одних для того, чтобы человек был счастлив. Мы действительно очень небогаты денежными капиталами; но зато достаточно богаты лесом, железом, чугуном, рабочими руками и другими материалами и средствами вообще для постройки железных дорог, и если собрать и употребить как следует эти средства, то окажется, что у нас наберется по крайней мере девять десятых всей массы средств, необходимых на проведение новых линий, и что только одну десятую часть этих средств необходимо пополнить деньгами. Мы действуем так, как действовал бы человек, который бы задумал строить дом в 10 000 р. и у которого есть строительного, необходимого на постройку такого дома материала на 7 000 р., но который бы тем не менее считал нужным занять или иметь непременно деньгами полных 10 000 р. по смете нужно 10 000! Понятно, что такому человеку едва ли в

чем-либо удавалось. Мы никого не виним и никого не осуждаем. Винаваты одни неблагоприятные обстоятельства и условия нашей жизни, и вот в чем заключается, между прочим, великая заслуга проекта устава земских учреждений, что возможно полное осуществление его устранил если не все, то многие из таких обстоятельств и условий. С устройством и действием земских учреждений у нас явится несравненно более средств и способов, чем теперь, на проведение необходимых линий железных дорог, и это вовсе не потому, чтоб земские учреждения тотчас и сразу обогатили Россию и создали такие средства; нет, они только откроют правительству и обществу возможность пользоваться ими; они вызовут их на рынок; они дадут движение праздным и гниющим без дела капиталам и силам. Конечно, одни земские учреждения не устроят всех препятствий, но зато устранят некоторые и будут много содействовать к устранению других.

Другое, не менее осязательное доказательство. У нас почти нет в настоящее время ипотечного (поземельного) кредита. От этого много терпит не только наше помещичье, но и все народное хозяйство; много терпит и наша государственная казна, ибо доходы ее были бы значительно больше, если бы народное хозяйство вообще было в лучшем состоянии, нежели теперь. Очень многие, а в том числе и большинство наших ученых финансистов, ожидали еще недавно, что зло от недостатка в земском кредите будет устранено образованием у нас земских банков по проекту и предположениям комиссии для устройства земских банков. Известно, однако, что эта комиссия не сумела, да и не смогла бы никогда, по существу вещей, создать у нас поземельный кредит на основаниях, не соответствующих с средствами и условиями современной России. Теперь некоторые и притом точно так же основательно, не более и не менее, как ожидали устройства земского кредита от упомянутой комиссии, ждут помощи от иностранных капиталистов. Можем ли мы верить, что ожидания их не сбудутся, ибо рассчитывать, как рассчитывают эти лица, на одних иностранных капиталистов в деле устройства нашего земского кредита значит не знать законов, по которым капиталы отливают и приливают в разные страны. Мы охотно допускаем, что некоторые иностранные капиталисты готовы посулить нам капиталы на производство ссуд под залог недвижимых имуществ; но это сделают они не иначе, как с условием производить у нас другие денежные операции, для которых ипотечная операция будет только ширмой и предлогом. Ипотечная операция не представляет выгоды учетных и коммерческих операций, а потому не может быть сама по себе приманкой для иностранных капиталов. Принимая же это, как и некоторые другие обстоятельства, в соображение, мы должны по необходимости прийти к заключению, что, как в деле проведения новых линий железных дорог, так и в деле устройства у нас ипотечного и другого рода кредита нам не следует слишком много рассчитывать на иностранные капиталы. Такая надежда на них была бы крайне неосновательной, неразумной, неуместной и лишней. Да и слава Богу, что мы не можем или, лучше сказать, не должны питать слишком блестящих надежд на особенное сочувствие к России и ее интересам со стороны иностранных капиталистов. Такое сочувствие обошлось бы нам слишком дорого, а особенной пользы оно все-таки нам не принесло бы никогда, как никогда до сих пор не приносило. Другое бы было дело, если бы мог быть совершенно свободный отлив и прилив к нам капиталов; но его нет и покуда, по крайней мере, быть не может. Но кто же или что же может помочь нам в затруднении, в каком находится все наше народное хозяйство вследствие недостатка в поземельном кредите? Прежде помогали нам, отвечаем мы, наши незаменимые государственные кредитные установления; с изменением же финансовой системы, если только не будет в ней вызванного силою вещей оборота к прежней, оказавшей столько услуг нашему обществу, нам остается ожидать помощи только от устройства земских учреждений, как они проектированы в министерстве внутренних дел. Подобно тому, как может и, по существу вещей, должно значительно облегчиться, при устройстве этих учреждений, проведение новых линий железных дорог, так точно может и должно улучшиться, с образованием и действием земских учреждений, положение нашего денежного рынка и состояние нашего частного и общественного кредита. К сожалению, мы не можем здесь развить нашей мысли вообще, не можем и, по некоторым соображениям, не желаем покуда, до поры до времени, разъяснить, каким образом проектированные министерством внутренних дел земские учреждения могут устранить зло от всеми чувствуемого у нас недостатка в кредите. Во всяком случае, мы так убеждены в благотворности от осуществления проекта министерства, между прочим и относительно нашего финансового вообще положения, что готовы были бы поручиться, что и для нашего частного и общественного кредита, как и для всего нашего народного хозяйства и быта, эти учреждения принесут несравненно более и притом в скорейшее время пользы, нежели могли бы это сделать сотни миллионов иностранных капиталов, притянутых в Россию более или менее обыкновенными способами чересчур уж обыкновенных финансистов. Мы уверены даже, что наша мысль более или менее разделяется всеми действительно

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

способными финансистами, к числу которых мы нисколько не причисляем некоторых из наших очень известных, но мало способных финансистов, доказавших, что, хотя они и знают кое-как теорию финансов, но это знание не доставило им никаких практических финансовых способностей. Мы уверены, наконец, что если министерство внутренних дел найдет нужным, до или по образованию земских учреждений, принять меры, путем этих учреждений, к улучшению нашего денежного рынка и состояния у нас кредита вообще, и если оно при этом найдет нужным обратиться за содействием к действительно способным финансистам, то, конечно, каждый из них почтет за особенное счастье быть призванным к такому делу и сумеет, в большей или меньшей степени, на деле доказать основательность всего сказанного здесь нами. Сознание финансовых средств и нужд страны не приобретается одним кое-каким знанием науки о финансах и политической экономии; сознание это более всего обуславливается финансовой и государственной вообще административной способностью. По этой-то причине в проекте устава устройства земских учреждений несравненно более, между прочим, и финансово-административного смысла и благотворных для России финансовых результатов, нежели находится такого смысла в некоторых чисто и специально-финансовых предположениях и мерах. Мы, по крайней мере, решительно отрицаем такую способность в тех, которые рассчитывают преимущественно на одни иностранные капиталы для улучшения нашего денежного рынка, на восстановление у нас ипотечного кредита и пр. Предполагать, будто Россия не может удовлетворять своим насущным потребностям без иностранных капиталов, так же неосновательно, как и предполагать, будто взрослый человек не может жить без кормилицы или няньки, или предполагать, что Провидение создает бытие, не создавая средств для его существования. У кого хоть очень немного политико-экономического и финансового смысла и в особенности знания, тот по необходимости слишком верует в Провидение и достаточно хорошо постигает, хотя бы то ни было инстинктивно только, условия частного и общественного хозяйства, чтоб считать основательными подобные предположения.

О ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

I

Мы живем в великое время: едва ли не повсюду падают и разрушаются ныне, на наших глазах, прежние, отжившие по духу, более или менее феодальные средневековые начала времен минувших, и почти все политические союзы перестраиваются на началах новых, более нежели прежние человеческих, истинных и соответствующих основным и вечным законам мироздания. Все замечательнейшие явления в современной жизни человечества служат тому доказательством. Как ни ложны, например, сами по себе, учения социалистов и коммунистов, тем не менее и они суть явления не случайные в истории, ибо они не что иное, как хотя и ложный, но тем не менее исторически необходимый протест против тех страданий человечества, которые возможны только при неудовлетворительном порядке вещей. Республиканизм, которым еще так недавно увлекались многие, перестает быть идеалом государственного благоустройства и благосостояния, а деспотизм – прочной силой. Теперь тот образ правления и тот порядок вещей вообще в государстве оказывается лучше других, при котором людям дышится свободнее, при котором труд, мысль и жизнь их вообще наименее ограничиваются неуместными стеснениями и наиболее обеспечиваются прочностью власти и правдивостью законодательства. Полное развитие многих прежних ложных общественных начал и основ дошло в наше время до своего апогея, и каждый просвещенный человек должен видеть их лживость и несостоятельность. При таких началах люди, народы и человечество не могут быть счастливы, не могут охранить себя от войн, мятежей, промышленных кризисов и т. п. Нужны другие начала; нужны другие основы для человеческой и общественной жизни в государствах. К ним-то и стремится человечество, их сознать и их осуществить жаждет оно.

Вот почему и богато так наше время разными более или менее великими политическими событиями и переворотами. Вот почему и более, нежели когда-либо прежде, можно верить теперь в будущность человечества, в здравые начала истинного прогресса. Вот почему также современные поколения, особенно люди, честно и усердно работающие на благо общее, могут смело применить к себе слова поэта.

Мы к примиренью от сомненья
Ступеней нужною легли,
Чтоб мира тяжкие движенья
По ней вперед от нестроенья
К грядущей стройности пришли.

Вместе с целым миром перерождается, перестраивается к лучшей новой жизни и наша Россия. Мало того, едва ли есть народ в мире, который был бы счастливее нас в

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

этом отношении, ибо едва ли не везде и все значительнейшие благотворные реформы достигаются путем крутых государственных переворотов; у нас же они совершаются в настоящее время, а потому и цель их достигается путем благородной и разумной правительственной инициативы и добровольного содействия ей со стороны граждан. Не будь польского мятежа, страницы современной истории России не имели бы на себе и следа кровавых пятен. По крайней мере истинные, честные и благотворные начала царствования Государя Императора Александра Николаевича, сами по себе, никогда не вызвали бы ничего подобного. Да и мятеж польский, как по всему видно, есть преимущественно плод западноевропейских козней, а не результат того, что уже сделано было для Польши и в особенности, что еще готовилось ей со стороны нашего правительства. Без пагубного западноевропейского влияния и поляки, по всей вероятности, подобно коренным русским, остзейцам, финляндцам и всем вообще подданным России, веровали бы в царствование Государя Александра Николаевича и получили бы от него все необходимое для их благосостояния, все то, что может сделать самодержавный монарх для своих подданных.

А как много может сделать самодержавный монарх для своих подданных, это видно из реформ Петра Великого и едва ли еще не более из реформ настоящего царствования. Одно освобождение крестьян есть такое дело, которое могло бы наполнить собой деятельность и жизнь вообще целого столетия или по крайней мере нескольких десятилетий. У нас же эта реформа совершилась в какие-нибудь три, четыре года. Вот что значит самодержавная власть в руках народолюбивого монарха! Вот какова сила правительственной деятельности, честно направленной к благой и разумной цели – народному благу! Вот что может приобрести в самое короткое время государство, наслаждающееся внутренним и внешним миром, и народ, который не увлекается слишком лживыми политическими и социальными теориями!

Но как ни громадно само по себе дело освобождения крестьян, им, как известно, не ограничиваются подвиги настоящего царствования. Одновременно с разрешением крестьянского вопроса совершены и совершаются у нас другие значительные и благотворные реформы. Уничтожение откупов, улучшение быта нескольких сословий, коренные преобразования в армии и флоте, значительные улучшения по всем частям администрации, отмена телесного наказания, наконец преобразование судопроизводства и судоустройства на совершенно рациональных началах – вот что совершено и совершается у нас, в настоящее царствование, одновременно с освобождением как помещичьих, так и других крестьян.

Но правительство не ограничивается и этими реформами. Оно наделяет еще Россию благом, которое, по результатам своим, едва ли уступит делу освобождения крестьян. Мы говорим о земских учреждениях, проект которых уже обработан в министерстве внутренних дел и представлен им на рассмотрение государственному совету.

Чтоб понять важность этого проекта и все благо, которого может ожидать себе Россия от его осуществления, необходимо вникнуть в основные начала, которыми руководствовалось министерство внутренних дел при разработке вопроса о местном самоуправлении. Мы потому-то до сих пор и не говорили об этом проекте, что сразу поняли важность его и не считали себя вправе поверхностно отозваться о новой великой реформе, которая, не менее освобождения крестьян, прославит настоящее царствование и тех государственных деятелей, которым Россия будет обязана осуществлением начала местного самоуправления. Быть может, по этой же причине мало говорят о ней и другие периодические издания наши. Если же общество наше не с таким, по-видимому, восторгом встретило этот проект, какого он вполне заслуживает и с каким, например, несколько лет тому назад встретило оно официальное объявление о крестьянской реформе, то это потому, во-первых, что оно по необходимости очень занято в настоящее время польским вопросом; во-вторых, слишком мало знакомо с проектом министерства внутренних дел, а, в-третьих, – и это едва ли не главная причина – оно, к сожалению, далеко не вполне сознает важность подобной реформы. Чтобы оценить такую реформу, необходимо большее или меньшее политическое образование, а многие ли из нас имеют его?

Общество наше почти и не подозревает, что осуществление прекрасного проекта министерства внутренних дел в короткое время наделит русских людей, между прочим, таким политическим образованием, какого не доставляют своим воспитанникам ни университетские, ни разные другие более или менее подобные им курсы и что такое образование будет тем лучше всякого теоретического образования и тем благотворнее для России, что оно, опираясь на действительную жизнь народа и государства, будет противодействовать всевозможным ложным политическим и

Но чем менее сознает общество значение и пользу от той или другой реформы, тем более обязана журналистика разъяснить ему как сущность реформы, так и все то, что оно может и должно извлечь из нее для себя и для государства. С этою-то целью и приступаем мы к изложению и рассмотрению проекта о земских учреждениях, сожалея, что пределы газеты слишком тесны для того, чтоб рассмотреть подобный проект с тою подробностью, какой он вполне заслуживает.

II

В основании проекта министерства внутренних дел лежит одно из самых коренных и рациональных начал государственной жизни, а именно призыв земства к возможному и необходимому местному самоуправлению, то есть заведыванию земскими делами чрез своих представителей. Опыт всех веков и народов свидетельствует, что, каков бы ни был образ правления в государстве и как бы заботливо ни следило правительство за нуждами и потребностями своих подданных, тем не менее цель государственной администрации нигде и никогда не достигается не только вполне, но даже и в удовлетворительной степени, если правительство не пользуется надлежащим содействием земства во внутреннем управлении частями государства. Понятно, почему подобное явление повторяется повсюду и всегда. Это, во-первых, потому, что правительство, каково бы оно ни было, как бы ни отличалось заботливостью о благе подданных и даже гениальностью, все-таки состоит из людей, а людей всезнающих, всевидящих и повсюду сущих нет и быть не может. Во-вторых, одно общее политическое внутреннее и внешнее управление государством представляет собой такой обширный круг деятельности и требует стольких познаний и способностей, что по необходимости должно поглощать собой все время и все труды высших правительственных лиц, а потому эти лица могут заведывать специальными местными делами не иначе, как только при помощи многих посредствующих лиц. Таким образом, при всей готовности и способности высших правительственных лиц с полной подробностью вникать во все нужды и средства государства, они не имеют очень часто никакой физической возможности делать это, потому что местные нужды и средства каждой страны в высшей степени разнообразны и многочисленны. Вот почему, при отсутствии необходимого местного самоуправления, повсюду развивается, в крайне усиленных размерах, чиновнический класс, который нигде и никогда, как само собой разумеется, не заменяет собой и не исполняет назначения добросовестных и способных государственных людей и почти всегда относится к нуждам и потребностям разнообразных классов народонаселения страны, как к интересам, ему мало близким.

По этой-то причине чиновничество в благоустроенном государстве должно быть допускаемо в той лишь степени, в какой оно крайне необходимо. Притом же с развитием чиновничества увеличиваются расходы казны, а с увеличением расходов казны увеличиваются налоги, уменьшаются средства народонаселения, и, конечно, уже одно подобное условие непомерного развития чиновничества прямо свидетельствует в пользу мнения, что размер чиновнического класса должен обуславливаться одною крайнею необходимостью. Но это требование может быть удовлетворено только там, где допускается в достаточной степени местное административное самоуправление.

Сверх того, начало местного самоуправления поддерживается и обуславливается всеми теми естественными и нравственными законами, которые требуют, чтобы человеческой личности было предоставлено возможно полное свободное развитие, законная свобода жизни, без которой человек навсегда и во всем остается нравственно несовершеннолетним существом. На основании этих-то законов политическая экономия требует свободы труда, точно так же, как на основании этих же законов законодательства цивилизованных народов предоставляют совершеннолетним гражданам большую или меньшую степень свободы в образе их действий и жизни вообще. Без такой свободы человек плохо развивается физически и почти нисколько не развивается умственно и нравственно, и наоборот: чем более такой свободы, то есть чем более предоставляется законодательством и администрацией государства полноправности естественно полноправным гражданам, тем развитее бывает умственно и нравственно народ, тем богаче страна, тем могущественнее правительство, и тем более находит оно содействия и сочувствия в гражданах. Этим объясняется, почему Англия, страна относительно очень небольшая, занимает во многих отношениях первое место в ряду государств, почему она так богата, богаче всех остальных стран в мире, и почему нигде так не уважаются и не исполняются гражданами законы, как в Англии. Многие, как известно, приписывают могущество Англии ее конституции, в тесном значении этого слова, то есть в

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
смысле ограниченности монархической власти. Это мнение, почти общее, крайне ложно. Не конституция, в этом смысле, а более широкая, нежели во многих других государствах, свобода труда, мысли, слова и жизни вообще, а в том числе и достаточное развитие местного самоуправления – вот что служит источником богатства и могущества Англии, а также и основным социальным началом ее умственного и нравственного развития. Конституция же Англии, в тесном смысле этого слова, более противодействует такому развитию, богатству, могуществу и благосостоянию вообще этой страны. Англия развивается и богатеет в умственном, нравственном и материальном отношении не потому, что у нее есть конституция, а потому, что в основании административной и общественной вообще жизни Англии лежит возможно полное признание человеческих прав граждан, уважение к человеческой личности, выражающееся в признанной и узаконенной свободе или степени свободы труда, мысли и совести, а также и в начале местного самоуправления. Современная Россия подтверждает справедливость наших слов. Никогда правительство не было у нас столь могущественно, и притом не только материально, но и нравственно; никогда не пользовалось оно таким уважением и сочувствием подданных, как в настоящее время, и это именно потому, что никогда не было у нас той степени свободы труда, слова, мысли и совести, которой наделяет оно своих подданных в настоящее время. С развитием и расширением истинных человеческих и гражданских прав подданных, и у нас, как это должно повторяться везде и всегда, расширяются и развиваются нравственное значение и нравственные права правительства, а так как с развитием личности (с освобождением крестьян, например и т. п.) развивается и материальное благосостояние народа, и как с развитием материального благосостояния народа увеличиваются и материальные средства правительства, то, конечно, и наше правительство может только выиграть, и действительно уже выигрывает и в материальном отношении от мер, подобных освобождению крестьян, уничтожению откупов, расширению сферы свободного слова, свободной мысли и т. п.

Особенно крайне необходимо отсутствие и устранение препятствий к умственному и нравственному, а также и материальному развитию народа и государства в те эпохи, когда уже в некоторых государствах устранены подобные препятствия. Вот почему общество наше постоянно и некстати увлекалось до последнего времени разными западноевропейскими явлениями и учениями, более или менее пригодными для Запада, но несколько не соответствующими нашему быту и несообразными с потребностями и средствами России. Словом, Россия в умственном и нравственном отношении была часто слишком подчинена влиянию западноевропейской цивилизации, и вот причина многих крайне неправильных и вредных явлений в нашей жизни.

В последнее время у нас совершается и в этом отношении переворот к лучшему, и совершается именно потому, что, благодаря мудрым правительственным мерам наша жизнь вообще с каждым днем все более и более освобождается от искусственных и лишних стеснений. Благодаря таким мерам, народ русский развивается к умственно и материально, начинает сознавать себя, свои нужды и средства, а потому и общество наше менее прежнего увлекается теми началами западноевропейской жизни, которые расходятся с нашим бытом, с средствами и нуждами России. Таким образом, Россия, как государство, только выигрывает во всех отношениях от освобождения крестьян и вообще таких мер, в основании которых лежит признание человеческих прав и всего того, чем обуславливается законная свобода жизни и развития народа.

III

Вполне сознавая, как по всему видно, необходимость, для государственного могущества и народного благосостояния, признать и по возможности осуществить начало местного самоуправления, министерство внутренних дел, составляя проект земских учреждений, не теряло из вида и вполне выказало уважение и к другому, не менее великому закону государственной и народной жизни, а именно к закону исторического и постепенного развития народной жизни. Составители проекта не увлекались никакими политическими и социальными теориями, а, напротив, высказали полное уважение к действительной жизни, к быту, средствам и нуждам страны, для которой трудились. Они не задали себе задачи перестроить Россию по образцу того или другого государства или по требованию какой-либо политической или социальной теории; нет, они задали себе менее обширную, но зато и более разумную и скорее разрешимую задачу – освободить Россию от лишних стеснений в местной администрации. Вот почему проект их в высшей степени несложен и легко осуществим, если только осуществление его не встретит препятствий.

Земские учреждения, по этому проекту, должны быть двух родов: уездные и губернские, ибо земское хозяйство и земские дела вообще имеют двоякую

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
территорию: уезд и губернию. Само собой разумеется, что такое деление земских учреждений в проекте принято потому, что более или менее незначительные, относительно по крайней мере, сельские и городские общества имеют свое частное хозяйство и управление. Нет никакого сомнения, что и это управление, как основной элемент в общественной жизни и в общем государственном управлении, улучшится с введением и устройством уездных и губернских земских учреждений.

Уездные и губернские земские учреждения должны быть составлены по одному типу, то есть состоять из уездных и губернских земских собраний и уездных и губернских земских управ.

Назначение земских собраний состоит в том, чтобы заведывать земскими делами, на правах представителей местного народонаселения и на начале местного административного самоуправления, а так как нельзя требовать от избираемых земством депутатов, чтобы они исключительно и постоянно занимались земскими делами, ибо в таком случае они превратились бы в чиновников, то и учреждаются земские управы, которым и вверяется исполнительная часть и текущие дела по местному общественному хозяйству. По этой-то причине заседания земских собраний происходят раз в год, в сроки, сообразованные с временем рассмотрения земской сметы (сентябрь для уездных и ноябрь для губернских смет). Продолжительность заседаний для уездных собраний – 7 дней, а для губернских – 20 дней. Заседания же земских управ, как само собой разумеется, постоянные.

“При самостоятельности земства отдельных уездов, губернское земство составляется (как сказано в “Северной почте” № 142) из совокупности уездов; всякий уезд составляет в нем особую самостоятельную часть; потому и управление земскими делами должно образоваться из представителей уездов. Это ведет к необходимости предварительно определить условия образования уездных земских учреждений, которые, будучи представителями уездов, послужат органическими частями для образования губернских учреждений”.

“Население уездов делится по обществам, городским и крестьянским (волостным и сельским); но, кроме того, вне этих делений, отчасти территориальных, отчасти сословных, существует в уездах класс землевладельцев, не входящих в состав обществ и не подведомственных общественным учреждениям. Правда, материальное и умственное развитие и хозяйственное положение населений городского, сельского и частных уездных землевладельцев существенно различны. Одно из самых резких различий заключается в свойстве землевладения. Члены крестьянских обществ владеют и пользуются землею, право собственности на которую в большей части случаев им не принадлежит; кроме того, самое владение преимущественно общинное, а не личное. Городские владельцы, большею частью, имеют полное право личной собственности на землю, но часть земель находится и в их собственности, а часть городских земель находится и в собственности, и во владении всего общества. Частные уездные землевладельцы имеют одну долю земель в непосредственном распоряжении, между тем как другая доля, хотя и принадлежащая им по праву собственности, находится в постоянном пользовании крестьянских обществ. Все эти разряды населения более или менее участвуют в общих налогах, в земских повинностях и вообще в делах местного интереса; но распределение их в уездах чрезвычайно различно. Во всех уездах значительная часть земель находится в постоянном пользовании крестьян; но земель, состоящих в частной собственности, в одних уездах весьма много, иногда более половины, в других гораздо менее; в некоторых почти совсем не имеется”.

Проект земских учреждений признает и принимает в соображение все эти условия, и признает, как и следовало ожидать от просвещенных сторонников местного самоуправления за всеми собственниками, к какому бы сословию они ни принадлежали, право участия в земских делах и право представительства в земских учреждениях. Но как установить это участие на однообразном основании, когда, например, в уезде городское население и его имущество составляют, может быть, два, три процента общей массы; когда небольшое число уездных землевладельцев имеют за собою 50 и более процентов всей земли, а члены земских обществ, составляющие 90–95 процентов всего населения, пользуются остальным пространством земли, раздробленным на тысячи мелких и большею частью разных участков?

Проект разрешил и, как нам кажется, совершенно удовлетворительно, то есть здраво политически и логически, и этот несомненно трудный вопрос, а именно проект удерживает на первой ступени земского представительства “исторически” образовавшееся деление уездного населения на три разряда и каждому из этих

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
разрядов предоставляет отдельно избирать представителей уездного земства.

“Каждый разряд образует, для выбора земских представителей, избирательное собрание. В избирательном собрании землевладельцев право голоса дается в силу владения определенным пространством земли или вообще недвижимую собственностью ценою не ниже 15 000 руб. серебром. Требуемый размер земли различен в разных уездах; он сообразен с положенными для местностей крестьянскими наделами, составляет вообще около 66-ти высших наделов (100 средних) и в общей цифре изменяется от 200 до 800 десятин. Для лиц недворянского сословия, владеющих незаселенными землями, этот размер удвоен. Лица, владеющие меньшим пространством земли (до 1/20 доли этого размера), избирают от себя, для присутствия в избирательных собраниях, уполномоченных, по одному на пространство земли, установленное для непосредственного участия в выборах. К участию в избирательных собраниях допускаются арендаторы, арендующие на сроки не менее 6-ти лет участки вчетверо большего размера, нежели тот, который устанавливается для землевладельцев, и священнослужители, владеющие собственной или церковною землею в размере, назначенном по закону для нарезки к сельским церквам. Право участия в избирательных собраниях землевладельцев, независимо от имущества, дается лицам, три года прослужившим в уезде в должностях: уездного предводителя дворянства, мирового посредника, мирового судьи и члена земских учреждений.

В избирательных собраниях городских обществ право участия предоставляется купечеству первых двух гильдий (?), городским фабрикантам, заведения которых имеют до 6 000 р. годового оборота, владельцам недвижимой собственности ценою от 500 до 3 000 р. (смотря по населенности города), выборным городским чинам и лицам, прослужившим не менее 3-х лет в должности городского головы.

Сельские избирательные собрания состояются из старшин и старост. Способ этот избран на первый раз, во-первых, для того, чтобы каждое сельское общество имело представителя в избирательном собрании, а между тем число избирателей не было слишком велико; во-вторых, на том основании, что старшины и старосты, будучи сами лицами, избранными доверием обществ и наиболее знакомыми с людьми и делом, могут с большим успехом избирать на первый раз представителей от сельского населения.

Избирательные собрания выбирают определенное число уездных представителей (гласных): землевладельческое – соответственно количеству всех земель частного владения в уезде, полагая одного гласного на пространство, равное тридцати участкам размера для участия в собрании постановленного (то есть приблизительно одного на 2 000 высших или 3 000 средних душевых наделов); городское – одного гласного на 300, 200 и 100 домов, смотря по населенности города; крестьянское – одного гласного на 5 000 ревизских мужеского пола душ. В гласные могут быть избираемы только лица, пользующиеся правами избирателей; сельским избирателям разрешается избирать в гласные и местных приходских священников.

Уездные гласные соединяются в уездное земское собрание на равных правах и с равным голосом, без всякого различия в том, каким из избирательных собраний они выбраны; один из них, по назначению министра внутренних дел, председательствует в собрании”.

IV

“Губернские учреждения формируются по тому же типу, как и уездные. Губернское земское собрание составляется из представителей каждого уезда, избираемых уездными земскими собраниями из своей среды. Этот способ выбора основывается на том, что в земских делах губернии всякий уезд составляет одно неделимое целое; землевладелец, промышленник, крестьянин, принадлежащие к одному уезду, имеют, например, равный интерес в том, чтобы уезд не был обременен более других при разверстке губернской повинности, чтобы губернский земский капитал расходовался правильно, чтобы губернские дороги содержались исправно и т. д. Кроме того, выбор получает этим путем вполне земский характер, без всякого влияния посторонних начал, без всяких сословных делений, а назначение губернских гласных из среды уездного собрания удерживает за ними характер лиц, непосредственно избранных местным населением.

Число избираемых каждым уездом губернских гласных соразмеряется с числом гласных уездного собрания, полагая одного губернского на десять уездных, но с тем, чтобы во всяком случае число это было не менее двух и не более пяти.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Председатель губернского земского собрания назначается высочайшею волею, из числа местных землевладельцев.

Губернская земская управа образуется из шести членов, избираемых губернским собранием из среды своей; в ней председательствует губернский предводитель дворянства.

Гласные и члены управ избираются на трехлетний срок, принятый вообще у нас для службы по выборам; гласные никаких особых служебных прав не имеют; члены управ пользуются общими правами государственной службы, и на сем основании допускаются к поступлению в должность с утверждения губернатора.

Назначение сумм на содержание земских учреждений предоставляется утверждению земских собраний.

Во внимание к тому, что значительная часть уездных земель, могущих подвергаться обложению земскою повинностию, принадлежат казне и уделу, предположено допустить к участию в земских собраниях членов от ведомств государственных имуществ и удельного.

Внешний порядок и формы действий земских собраний (созыв избирательных собраний, созыв и открытие собраний земских, сроки их заседаний, способы их делопроизводства) определяются немногими общими правилами.

Постановления, сметы и отчеты собраний печатаются в общее сведение.

Делопроизводство земских управ следует общим правилам коллегиального порядка; подробности его предоставляются усмотрению самих управ и собраний.

Для столичных уездов, где положение имуществ и населения представляет совершенно особые условия, казалось необходимым установить и некоторые особые правила образования земских учреждений. Условия участия в выборах для землевладельцев и сельских обществ оставлены те же, как и для прочих уездов; но, вместо установления особого ценза для городских избирателей, казалось удобнее признать избирателями всех выборных общего собрания сословий, установленного, по особому положению, в столицах. Затем принято в соображение, во-первых, что число избирателей в каждом из трех отделов населения в столичных уездах не составляет особенно резкого различия, во-вторых, что значительная, едва ли не большая часть городских избирателей в то же время пользуется этим правом и в уезде, и в-третьих, что весьма трудно было бы, при разнообразии и высокой ценности городских имуществ в столицах, правильно определить число гласных от столиц, отдельно от их уездов. Посему признано возможным допустить, чтобы в столичных уездах образовалось общее, для всего городского и уездного населения, избирательное собрание. Для удобства в самом производстве выборов, это собрание может быть разделяемо на избирательные отделения, между которыми избиратели распределяются по жребию или по взаимному соглашению. Общее избирательное собрание избирает все сложное число гласных, от уезда и города, определенное по той же норме, которая установлена и для прочих уездов. Наконец число губернских гласных, столичными уездами избираемых, определяется по расчету одного на десять уездов, без ограничения высшим пределом, для прочих уездов положенным".

Вот в каком виде должно выразиться у нас, по проекту министерства внутренних дел, управление местными земскими делами. Мы с умыслом, в изложении формы и характера наших будущих земских хозяйственных учреждений, придерживались как можно более статей, напечатанных об этих учреждениях в "Северной почте". По всему видно, что автор этих статей коротко знаком с предметом, о котором говорит; надобно даже предполагать, что он сам участвовал в составлении проекта земских учреждений, ибо трудно предположить, чтоб человек, чуждый самому делу, мог так сознательно и точно изложить его, и в немногих относительно словах составить такую полную его характеристику. Во всяком случае, это изложение предмета настолько знакомит с ним читателей, способных понимать подобное дело, что, конечно, каждый из них в состоянии представить себе, в большей или меньшей степени, как сущность и важность этого проекта, так и те во всех отношениях истинные и политически мудрые и благотворные начала, которые лежат в основании его. Мы по крайней мере искренно и глубоко убеждены, на основании того, что знаем об этом проекте, что составители его не только смотрели на дело устройства земских учреждений совершенно ясно, здраво и верно, но и приступили к своей задаче с любовью и с знанием дела и с искренним желанием блага отечеству, а

потому и решили эту задачу так, как только можно того желать. Конечно, некоторые частности проекта могут не удовлетворить всем требованиям; но едва ли не каждый, кто вник в этот проект и способен обсуждать такие общественные вопросы, как устройство местного самоуправления, не согласится с нами, что если и есть в проекте частности, которые могли бы быть переделаны к лучшему, тем не менее и они попали в проект не случайно, а по обстоятельствам, которые не зависят от составителей его.

У нас, в России, как известно, нет политических партий; но тем не менее есть люди с различными политическими, административными и социальными убеждениями и тенденциями, поэтому неудивительно, если наши ультраконсерваторы по убеждениям и видам, с одной и, например, социалисты и конституционалисты-теоретики, с другой стороны, будут недовольны не только частями, но и целым проектом. Зато, мы в том уверены, будут довольны им все те, которые не принадлежат к числу политических мечтателей, и особенно те, которые, сознавая закон исторической постепенности и условия народного благосостояния, требуют прежде всего от правительственных реформ как честной и ясно осознанной цели, так и уважения к историческим условиям и быту страны. Таких людей, дельно и серьезно смотрящих на предметы подобной важности, проект земских учреждений не может не удовлетворить в большей или меньшей, но, во всяком случае, в значительной степени. Он не посягает на чьи-либо права; напротив, он видимо оказывает полное уважение к каждому законному праву. Он не стремится пересоздать быт России: составители его сознают, что подобное дело принадлежит истории, времени, постепенному развитию народных сил, и потому главной задачей проекта является устранение неуместных, исторически отживших и политически вредных преград и препятствий народному труду и быту вообще со стороны администрации. Поэтому-то можно смело утверждать, что цель проекта столь же честна, исторически верна и политически полезна, как и цель, например, освобождения крестьян. Столь же благотворны для России должны быть и последствия осуществления этого проекта, как благотворны для нее уже и теперь, и особенно окажутся в близком будущем, результаты освобождения. Если б все преобразования у нас совершались всегда столь же рационально и с таким сознанием дела, как должно совершиться преобразование нашего земского хозяйства по проекту министерства внутренних дел, то, конечно, одни только всем и каждым недовольные, то есть люди, сами не знающие, чего они хотят, могли бы быть недовольны настоящей участию нашего отечества.

У

Наша похвала проекту земских учреждений не голословна и не пристрастна. В этом, надеемся, убедятся все читатели наши, если вникнут в проект министерства внутренних дел и обратят внимание между прочим на следующие соображения.

В Европе уже давно разрешается вопрос об административной централизации, потому что уже в половине прошлого столетия, а частью и ранее, передовые мыслители начали сознавать вред от крайней централизации, которая, подобно бюрократизму, есть прямое наследие феодального порядка вещей в европейских государствах; не только Тюрго и гр. Реувентлов, но и Кольбер и ему подобные великие министры не были никогда, даже в XVII, а тем более в XVIII столетии, крайними централизаторами, точно так же, как не были они никогда меркантилистами, потому что так называемый колбертизм, например, как известно, не то, что меркантилизм. В настоящее время вопрос о необходимости административной централизации, то есть об отсутствии препятствующей свободному развитию народных и государственных сил крайней административной централизации теоретически решен более или менее окончательно и притом утвердительно. Опыт веков и народов, а за ним и наука представляют неопровержимые доводы к уничтожению лишних бюрократических и административных вообще стеснений как труду, так и жизни вообще. Исторический опыт и наука свидетельствуют, что если для прочности государственного союза и возможного народного благоденствия необходимы и желательны повсюду прочная верховная власть и политическая централизация, то столь же необходимо отсутствие крайней административной централизации, неизбежной там, где нет достаточного местного самоуправления и где слишком много бюрократических тормозов. Одна из причин бывших доселе мятежей и революций в европейских государствах в том именно и состоит, что администрация противодействовала народному благосостоянию, и противодействовала именно потому, что была основана на начале крайней административной централизации и вообще на феодально-бюрократических началах, повсюду и всегда, по сущности своей, хотя и не по цели, враждебных свободному и правильному развитию народных сил. К несчастью для многих, почти всех государств правители их до последнего времени редко сознавали и даже подозревали подобную причину недостатка народного

развития и еще реже устраняли ее, даже и создавая ее. Это потому, что в каждом государстве бюрократический порядок вещей создает свои бюрократические интересы, которые крепко стоят за себя и настойчиво противодействуют всему тому, что враждебно им. Кроме того, не всегда и верховная власть достаточно борется с враждебными народному благосостоянию интересами. Это бывает именно тогда, когда она из своего назначения составляет какой-то частный интерес и находит опору себе не столько в народном благосостоянии, сколько в более или менее связанных с ее существованием нескольких частных интересах. Так, в нынешней Франции несколько раз уже правительственные люди, внимая голосу науки, исторического опыта и здравого смысла, а также и требованиям общественного мнения, торжественно и прямо провозглашали необходимость административной децентрализации, то есть необходимость устранения крайнего бюрократизма и введения местного самоуправления; но эти торжественные признания истинного принципа только и разрешались до сих пор что фразами во Франции. Недавно даже сам император французов письменно высказался в пользу административной децентрализации; но тем не менее ее не увидит у себя Франция, и не увидит до тех пор, пока бонапартисты не будут иметь права называться легитимистами, или пока новый переворот в судьбах Франции не создаст нового порядка вещей. Таким образом, в то время, как в цивилизованной Франции вопрос о введении необходимого устройства земских учреждений разрешается только одними возгласами и далеко не всегда исполняемыми обещаниями, в нашей варварской и дикой Московии правительство прямо и честно приступило к благой реформе с целью наделить своих поданных новым благодеянием, от осуществления которого Россия едва ли не столько же выиграет во всех отношениях, как и от освобождения крестьян. Уже по одной этой причине мы не можем, по крайнему нашему разумению и совести, иначе отозваться о проекте местных учреждений, как только с искренней похвалой и глубокою признательностью к виновникам подобного подвига.

Но как ни ясно, как ни положительно разрешается теоретически вопрос о необходимости земского самоуправления, тем не менее практическое разрешение его представляет и должно представлять повсюду немало затруднений, ибо затрагивает бездну нравственных, экономических и политических интересов. Здесь необходимы государственные административные способности, светлый и практический государственный ум при практическом разрешении и осуществлении начала административной децентрализации, потому что наука не сказала еще своего последнего слова по этому вопросу, а если бы она и произнесла его, то во всяком случае практическое приложение теоретических истин к действительности, к целому народному быту, со всеми его историческими и другими условиями, представляет немало затруднений и может быть удовлетворительно выполнено только людьми, наделенными государственно-административными способностями. В этом отношении сущность дела не в том – следует ли ввести земское самоуправление? Вопрос этот уже решен окончательно, по крайней мере для тех, кто не отстал от века. В этом отношении сущность дела состоит в следующем: как ввести такое самоуправление, где именно предел ему и где начало общей государственной администрации, чтобы от местного или земского самоуправления не пострадали необходимая политическая централизация, государственное единство, а также и все остальные действительные народные интересы? Наука и здесь, как почти во всем, оказывает значительное содействие; но и здесь она не заменяет возможно полного понимания действительности и возможно ясного сознания ее требований. Поэтому и проект земских учреждений, при всей практичности и верности его цели, мог бы, подобно, например, проекту ликвидации наших государственных кредитных учреждений или новому проекту устава гимназий, не удовлетворять законным требованиям действительной жизни, то есть настоящему быту, средствам и нуждам России, если бы составителями его руководили более теоретические убеждения, нежели действительное сознание предмета. К счастью, ничего подобного не можем мы сказать о проекте земских учреждений. От него так и веет жизнью, то есть пониманием русской действительности, желанием ей полного развития и сознанием тех средств к тому, дарование которых зависит от устроителей новых земских учреждений. При составлении проектов подобных учреждений, особенно в России трудно не увлечься подражательностию западноевропейским образцам, например английским, бельгийским или каким-либо другим; но в настоящем случае нет и тени такой подражательности, а потому земские учреждения, по проекту министерства внутренних дел, будут иметь прочное основание в действительности русской, будут оживлены ею и оживлять ее. Участь их не будет похожа на участь уставов и проектов так называемых земских ипотечных банков, которых, несмотря на множество уставов и проектов, у нас почти что нет, и нет именно потому, что люди, требующие во что бы то ни стало подобного устройства у нас кредита, более знакомы с теориею земских банков, нежели со средствами и нуждами России. Проект

земских учреждений глубоко уважает действительность, а потому осуществление его найдет в ней прочное для себя основание. Он не посягает ни на чьи законные права, ни даже на сословные предрассудки, а потому предоставляет улучшение русского быта собственному его естественному развитию. Он, в сущности, только устраняет препятствия к такому развитию и тем вполне выказывает рациональность свою. Он очень либерален, но его либерализм – либерализм охранительный, как охранительно все то, что уважает законы жизни, что не препятствует развитию добра, но уже этим самым противодействует развитию зла. Это далеко не отрицательное достоинство. Это, напротив, то достоинство, выше которого не открыто ни наукой, ни опытом по отношению к экономической жизни народов. Мы думаем, что и по отношению политической жизни народа не следует и невозможно требовать ничего лучшего от новых учреждений. История свидетельствует, что лучшие реформы величайших государственных людей отличаются именно таким, а не какими-либо другими достоинствами или характером, и это именно потому, что освобождение народа от преград и оков, стесняющих его быт и жизнь, есть высшая и лучшая задача государственной администрации, которая не может и не должна изобретать условия и законы народного благосостояния и государственного могущества, потому что эти условия и законы вечны, начертаны самим Провидением и не могут быть изобретаемы людьми. Дело людей только изучать, раскрывать эти законы и исполнять их. Высшее назначение государственных людей состоит в том, чтоб содействовать обществу в приобретении сознания и в исполнении таких законов, а также и в том, чтоб соответственно быту страны и степени исторического развития народа выражать и осуществлять эти законы в административных и государственных вообще учреждениях и мерах. Проект министерства внутренних дел удовлетворяет этому требованию, и с этим согласится, думаем мы, каждый, кто вникнет в него. Даже то в нем, против чего можно представить, может быть, и не один довод, свидетельствует, в большей части случаев, в его пользу. Так, например, некоторым не нравится роль, назначаемая им уездным предводителям в земских учреждениях, и действительно можно многое сказать против этой роли; но сказать многое можно только потому, что на этот предмет можно смотреть с различных точек зрения, из которых едва ли какая-либо окажется безусловно верною. Нам, по крайней мере, кажется, что не осудят проекта за эту роль те, которые поймут, что она назначена составителями проекта не случайно, а с целью и что эта цель вполне оправдывается тем уважением, которым проникнут проект к историческим требованиям русской действительности и вообще к началу исторического развития народной жизни. Неосновательно также опасение тех, которым кажется, будто осуществление проекта земских учреждений уменьшит политическое значение нашего дворянства. Это опасение порождено неправильным воззрением как на начала, которыми проникнут проект, так и на назначение дворянства в России. У нас еще многие излишне увлекаются политической ролью английской аристократии, воображают, что и для нашего отечества нельзя желать ничего лучшего, как иметь подобное же во всех отношениях аристократическое сословие, и полагают, что русское дворянство нужно пересоздать по английскому образцу. Но эти лица забывают как происхождение английской аристократии, так и многое другое в истории и быте Англии. Они, по-видимому, забывают, что Россия не Англия. Английской аристократии, в настоящем ее положении, никогда не было бы, если бы не было в Англии борьбы национальностей и не было между ними победителей и побежденных. Русское дворянство, к счастью России, не имеет, по происхождению и историческому значению, ничего общего с английским. Наше дворянство и наш народ всегда составляли одну семью, всегда были единокровными братьями, а потому и роль русского дворянства всегда отличалась и всегда должна отличаться от роли английской аристократии. Поэтому, между прочим, и хорош проект земских учреждений, что он, уважая сословные права, не разъединяет, однако, дворянство и другие сословия в земском деле и не уменьшает в нем значения и назначения дворянства, как передового, по образованию и материальным средствам, сословия. Он хорош, в этом отношении, особенно потому, что не уменьшает и не увеличивает искусственно и насильственно значения ни дворянства, ни какого другого сословия и предоставляет каждому из них занять в земских делах то место, какое оно заслуживает по степени своего умственного развития и материальным средствам. Косвенно он только к одному обязывает дворянство, а именно, чтобы оно поддерживало свое нравственное достоинство, развивалось умственно и нравственно и дорожило своими материальными средствами, если желает постоянно занимать первое место в земских делах. Но кто может сказать что-либо серьезного против такого обязательства? Лучшие представители нашего дворянства могут только благодарить и, без сомнения, благодарят министерство внутренних дел за это. Так, по крайней мере, думаем мы, потому что убеждены, что наше дворянство вообще домогается не каких-либо исключительных прав, а только того, чтобы и ему, как всем и каждому, воздавалось, по правде и совести, должное, не более и не менее.

В заключение заметим, что, по крайнему нашему разумению, осуществление проекта земских учреждений принесет неисчислимую пользу России, и столь же, не менее, благотворно отзовется на ней, как освобождение крестьян или введение гласного судопроизводства.

От осуществления этого проекта правительство наше может только выиграть во всех отношениях, ибо устройство земских учреждений по этому проекту будет, во-первых, новым доказательством здраво и благотворно-либерального направления правительства в управлении государством; во-вторых, правительство найдет в этих учреждениях самых верных, способных и естественных помощников себе в управлении земскими делами; оно лучше прежнего будет знать местные нужды различных местностей России и более прежнего будет иметь как материальных, так и нравственных средств для достижения высших государственных целей.

Все сословия наши также могут только выиграть от осуществления проекта земских учреждений, потому что действие этих учреждений откроет возможность верно и прямо, без посредства, заявлять правительству о всех истинных нуждах края. Земские повинности будут распределяться правильнее, и вообще местные земские дела примут другой лучший оборот. Экономическая польза от действия этих учреждений будет более чем велика: она будет громадна. В этом не усомнятся по крайней мере те, которые понимают, как велико значение, например, путей сообщения для экономического развития края. Правильное действие земских учреждений не только улучшит местные дороги, но даже даст возможность правительству, с меньшими жертвованиями для казны и с большею легкостью и скоростью, чем ныне, проводить, например, государственные линии железных дорог и т. п. Народное продовольствие тоже может только выиграть от этих учреждений. Мы даже думаем, что и государственные финансы наши могут получить лучшее устройство от действия земских учреждений, потому что, чем лучше будет правительство знать действительные нужды и средства страны, тем лучше будут и все административные меры и значительнее административные средства. Словом, мы ожидаем для России, от осуществления проекта земских учреждений, только блага и пользы, пользы и блага.

О ЛЖИ В РУССКОЙ ЖИЗНИ

С.-Петербург, четверг, 5-го апреля 1862 г

Наконец на дворе светлый праздник и весна. Лед с улиц почти везде сколот; на детской ярмарке у Гостиного двора только что отошла страшная давка; начинается давка на съестных рынках; в Конном переулке темные личности предлагают необыкновенно дешевые фуляровые платки, которые им стоили только одного ловкого движения; окна магазинов убраны особенно эффектно. Роскошь и вкус, вкус и роскошь. Говорят, что некому покупать, что ни у кого нет денег; но эти толки, должно быть, слишком преувеличены. Денег нет у тех, у кого их и прежде не было, а у кого они были и кто не слишком увлекался льстивыми обещаниями акционерных компаний, у тех деньги еще водятся. Иначе кто же бы печатал в "Ведомостях С.-Петербургской городской полиции" объявления о пропаже левреток и кингсчарльзов, за доставку которых назначается 25 руб., 50 руб. и даже более рублей награждения. Но роскошь и вкус царят не в одних галантерейных и модных магазинах: булочные и колбасные лавки тоже приняли праздничный вид и заявляют претензию на вкус и роскошь. Из их окон необыкновенно глупыми глазами смотрят на прохожего бараны с золочеными рогами, красивые окорока, чудовищные колбасы и разные другие весьма вкусные мяса, между которыми первое место, разумеется, занимают разукрашенные свиные головы.

Свиной

Убирают везде очень мило,
Но у нас уж в обычай вошло украшать
Им лавровыми листьями рыло.

Исторических следов перенесения к нам этого обычая до сих пор не исследовал ни г. П. К. Щебальский, ни г. Громека, почитающий себя, в качестве "философа и летописца",

компетентным во всех вопросах; но можно полагать, что мы заимствовали этот обычай у немцев, ибо не только в поваренных книгах, но даже и в поэтических произведениях[35] есть свидетельство, что немцы особенно сочувствуют всякой попытке облагородить данную свиную морду и сделать из непотребного рыла даже весьма благообразную в своем роде фигуру. На это также есть, кажется, несколько остроумных намеков в "Отечественных записках", мимо которых, как известно, ни птица не пролетит, ни зверь не проскочит; хроникер с свистунами все заметят и

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
тотчас запишет своими лебедиными перьями.

Однако же мы еще не чувствуем себя в положении Сквозника-Дмухановского и видим не одни только свиные рыла да рогатых баранов, видим и гладкие и бородатые человеческие лица, которые, через несколько дней, станут обниматься и целоваться, как братья... да, они станут целоваться; таков

Святой обычай старины.

Они выслушают призыв забыть друг другу все зло, все неправды и не дадут ближнему целования Иудина, но встретят его как брата. А как встречают у нас теперь братьев? Да встречают вообще очень мило, а провожают еще милее. Стало быть, мы не “гнилой Запад”, мы чисты сердцем и душой, мы любимся, мы целуемся, ergo [36] мы люди теплые, сердечные и искренние.

Это, впрочем, так и описывается; да иначе это и быть не может, ибо не только такие теплые люди, как г. Громека, избалованный г. Чернышевским в беспардонной пылкости чувств, но

Даже маленькие блошки
В бородах у публицистов,
И они не без участия
В общем хоре славословья
всякий раз, когда дело касается высоких нравственных качеств, доступных только одному русскому народу.

Но из Москвы раздается странный голос. Он кричит: “Поздравляю вас с новым годом и с новой ложью на старую ложь”. Мы прислушиваемся к этому голосу и разбираем, что он выходит не из могилы цинически смешливого барона Брамбеуса и не из гортани “уклончивого до фальшивости” г. Чернышевского, это голос прямодушного Аксакова. “Шутит”, – думаем мы сначала; “совершенно прав”, – прибавляем мы подумавши. Да, ложь и ложь. Ложь к новому году, ею можно ударить челом и к светлому празднику. Ложь в доме, ложь на улице, ложь в театре, ложь в литературе, ложь в поэзии, ложь во всех отношениях человека к человеку и к самому себе. Странное время! Странные люди! Сын повесничает и профанирует родительскую любовь; отец и мать убеждены, что дитя их проникнуто современными идеями, и скрепя сердце безропотно сносят оскорбления своего святого чувства; сестра смеется над сестрою, довольною скромною долею жены и матери; мать и сестра не возражают, находя это современным направлением; мать тяготится детьми и бросает их на наемные руки, отец с болью в сердце объясняет это высшими требованиями жениной природы; женитьба без любви и замужество по расчету... Все страдают от лжи, и все утешают себя ложью, и вся эта гадость, вся эта ложь прикрывается хитро придуманными извинениями, которые всеми повторяются и которым, хоть в душе, слава Богу, никто пока не верит. Но известно, что стоит лгать дольше, и сам лгун уверует в свою ложь. Искренность в общественных отношениях исчезла едва ли не более, чем в отношениях семейных. Ложь в литературе, самая печальная и самая вредная ложь, стала до такой степени очевидною, что в самых дальних углах Русского царства, где еще так недавно всякое печатное слово принималось на веру, где голос писателя был голосом вещего пророка, замечается самое сильное сомнение и растерянность. Публика не знает, кому верить и чему верить. Это происходит вовсе не оттого, что в современных изданиях начали несколько резче проводиться убеждения писателей различных направлений. У общества довольно смысла, чтобы сделать выбор между тем или другим направлением, но оно теряется потому, что в великом большинстве органов, проповедующих свои тенденции, не видит ничего искреннего, ничего практического, верного и прямо относящегося к настоящему положению. Это совсем и не оттого, чтобы в обществе особенно сильно проявлялся дух анализа, критические попытки – совсем нет! Оно просто теряет веру в сочиняющую (чтобы не сказать лгущую) литературу, и само теряется в недоразумениях и догадках. Русской литературе настоящего времени выпала завидная доля. Встрепенувшись после долгого сна и, так сказать, обновясь в самой себе, она нашла в русском обществе почву, правда, поросшую тернием и волчцом, но все-таки почву сильную и девственную, готовую воспринять и вырастить всякое доброе семя. Литература, кажется, хотела воспользоваться силою этой почвы, но, увлеченная общим потоком лжи, не сумела право править свое дело. Она очень верно порешила, что нужно взяться за родные, близкие нам интересы, за нашу народность, за наши нравы. Прием был весьма утешительный. Но вслед за первым приемом стала проявляться и несостоятельность многих писателей для добросовестного и беспристрастного окончания ими взятого на

себя труда. Сами представители очень почтенной народной партии в литературе очень скоро заметили свою несостоятельность и, сбиваемые собственным бессилием и неведением, спешили объяснять свои неудачные писания крайней недоступностью начал, сокрытых в русском народе, и неспособностью мозга, растленного западной цивилизацией, понять идеальную мудрость, сохраненную русским народом в первоначальной чистоте доисторического времени. Вне самого кружка, состоящего из представителей журнальной литературы, на это затруднительное дело смотрели иначе, и смотрели гораздо правильнее. Люди ученые и знакомые как с историей литературы, так и с историей народов, видели в повороте литературы исключительно к народному быту явление, не раз повторявшееся во многих странах, переживших тот период развития, к которому приближаемся мы, а темные и смешные толки о недоступности изучения разных порядков русского народа они рассматривали как естественное следствие этого крутого поворота к народному быту, без всякой предварительной подготовки и без знакомства с историей, дающей возможность ясно понимать то, что невежде представляется необъяснимым, загадочным и совершенно оригинальным. Люди простые, не заслуживающие от “Современника” и образованной редакции “Искры” решительно никакой упрека в учености, решили это дело с своей точки зрения тоже очень верно. За исключением некоторых рассказов гг. Щедрина, Успенского и писем Якушкина, они нигде не встретили верного описания народного быта, нигде не увидели того народа, с которым они живут, а в весьма многих толках о народности встретили странную, хотя, может быть, и весьма благонамеренную болтовню, назвали ее ложью и перестали заниматься неинтересным и бесполезным, по их мнению, чтением. Упрекать их в этом случае нельзя. Кому, в самом деле, из взрослых людей может прийти охота читать сказочные фантазии какого-нибудь петербургского хроникера, считающего себя вправе рассуждать о русском народе потому только, что он прочел “Русский народ и государство” московского профессора В. Лешкова? Кому охота слушать бредни о том, что воочию совершается, и совершается по законам понятным, по побуждениям, объясняемым совсем не так, как силятся объяснить их заостренные в один бок публицисты? Разумеется, ни купечеству, ни духовенству, ни дворянству, словом, никому из всей той массы, между которой народ считает несколько своих недругов, но многих представителей которой он знает с одной стороны и принимает их, как людей, ему ведомых; тогда как некоторых представителей самой гуманной партии, останавливающихся перед всяким веревочным обрывком, которым мужик стегает свою бабу, с вопросом “Метафизика” и стремящихся изъяснить каждое душевное движение пахаря совершенно особым строем психических начал, народ... ну, просто провожает так, как он провожал уже некоторых. Это первый, весьма серьезный и весьма печальный след лжи, которую захлебнулась современная русская литература. Ложь только может вести ко лжи, и живой пример у нас перед глазами.

Из очень многих великороссийских губерний доходят слухи, что крестьяне сетуют на переделы общинных земель, обращаются с общинной землей небрежно, не хотят вовсе вывозить на нее удобрения и либо сваливают это удобрение на одни огороды и конопляники (как в Орловской, курской и других), либо валят его в реки, в рвы или просто на дороги (как в Пензенской губернии, в уездах, наиболее нуждающихся в удобрении). Их урезонивают, они не слушаются. Отчего? Один ответ: “Кабы она моя притоманная, а то что я буду ее уваливать? Нынче моя – завтра чужая”. В литературе об этом явлении ни слуху, ни духу. Отчего? Оттого, что литература порешила, что русский народ – общинник и должен быть общинником, доколе существует имя русское, что он без аграрного коммунизма немислим, что собственность ему противна. Литературе это очень понравилось, и она до сих пор все растолковывает человечеству, что русский народ не только собственник, но даже... и побольше. Говорят им: “Господа! Ведь община была почти везде и повсюду сама исчезла”. – “Как? Где была община? – восклицают литературные чины от прапорщика до полковника. – Вздор! Общины у западников не было, а если и была, то не такая”. – “Да вы читали ли хоть Леонса Лаверна?” – “Нет, мы по-французски не читаем, но вот у Лешкова...” – “Позвольте”. Им переводят несколько строк из книги о французском общинном владении – все подобно, все похоже, все почти как у нас. Думаете, вот поразмыслят и порешат, что стремиться расторгать поземельную общину не следует, точно так же, как не следует оставлять без наблюдения местные желания народа. Ничуть не бывало. “Мы прославили себя общинниками и поземельными коммунистами – на том и сгинем. Верно это или неверно, а уж нам сворачивать да изучать новые проявления народного духа, несообразные абрису, который мы ему сделали, – не рука”. Так оно и идет и, пожалуй, будет идти, пока само скажется, а уж литература за это не скоро тронется. Разве... да, разве г. Аксаков, знающий русский народ и, может быть, владеющий способностью относиться к нему беспристрастно, позволит нам просить его высказать свое откровенное мнение? Эту статью мы прямо обращаемся к редактору “Дня” и просим его рассмотреть, обсудить

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
сообщаемый нами факт и дозволить нам перепечатать в своей газете решение, которое он положит по вопросу о причинах постоянно возрастающего желания многих крестьян поделить общинную землю в собственность. Мы хлопочем об этом в общих интересах, желаем беспристрастного разъяснения нового явления в экономических воззрениях народа и надеемся, что г. Аксаков не лишит русское общество удовольствия знать его мнение по столь замечательному явлению.

Мы смело обращаемся с этим вопросом к г. Аксакову, потому что ожидаем от него серьезного ответа, а не зазорных выходок, имеющих целью истолковать в невыгодную сторону поднятие всякого вопроса, не соответствующего чьим-нибудь личным симпатиям. Мы не имеем никаких поползновений к расторжению поземельной общины и, конечно, свободны от всяких иных побуждений, которыми некоторые наши литературные собратья любят объяснять всякое движение, не соответствующее с их программой.

Но это только к слову. Выразив нашу просьбу к г. Аксакову, возвращаемся к своему предмету.

Общество своим недоверием к литературе показывает свой смысл. Оно не может верить мыслям, взятым с ветра и высказываемым на ветер. Оно верило литературе, пока она занималась вопросами чисто научными и отвлеченными, но когда речь зашла о делах, известных читателям не менее писателей, и когда эти писатели вместо откровенного изучения вопросов стали предрешать их в духе своих симпатий, тогда общество поняло все бессилие современной литературы, всю неспособность многих наших органов относиться к жизни беспристрастно и говорить о деле, а не о фантазиях и теориях. Люди вновь охотно перевертывают читанные страницы и... соглашаются не с нынешними публицистами, а с покойным Белинским, говорившим: "Чтобы дать народу или племени новый порядок, надо сперва спросить его, нужен ли ему этот порядок? Чтобы избавить его от бедствий существующего порядка, надо сперва узнать, чувствует ли он эти бедствия; французы об этом не заботились и потому везде ненавидимы" (Сочинения Белинского. Ч. 2-я, стр. 490).

"Кто выходит на сцену и говорит: я гений, я хочу изменить к лучшему общественные начала, – тот самозванец, который тотчас же и делается жертвою своего самозванства. Кто же, не понимая жестоких уроков опыта и сознав свое бессилие перестроить действительность, живущую из самой себя, по непреложным и вечным законам разумной необходимости, будет тешить себя ребяческими выходками против нее, тот не перейдет в потомство, но только заставит о себе сказать современников:

Ай, моська – знать сильна,
Коль лает на слона!"
(Белинский. Ч. 2-я, стр. 421).

Нет никакой нужды ни в какой идеализации. Народ пойдет своей дорогой и оставит на посмеяние потомству тех, кто лгал за него, точно так же, как предаст поруганию память "тешивших себя ребяческими выходками против него".

Народный смысл положителен и крепок. Народ крепко и свято хранит свои вековые предания. Его нельзя увлечь никакими теориями, и можно с ним достичь всего, неся перед ним один светоч истины. Он сам отбросит отжившие начала, как только убедится, что они отжили и более для него не годятся. В нашей литературе гордятся неуважением к авторитетам, но все же не мешает им вспомнить, что "народ не есть условное понятие, но конкретная действительность, и ни один индивидуум не может, хотя бы и хотел, оторваться от общей родной субстанции". О чем же, собственно, хлопоты? Зачем ложь? Разве не известно, к чему она привела во Франции и семью, и общество, и литературу? Разве и нам нужен такой же разлад и такое же низведение всякой журнальной статьи на степень печатной болтовни? Те, которые устроят русской прессе такое положение в обществе, окажут и себе, и обществу весьма плохую услугу, и потому не лучше ли менее гнаться за теориями да за собственными симпатиями, облакая их в формы народного желания, а говорить прямо и беспристрастно о том, чего желает народ, а не о том, чего желают его незванные адвокаты, которым он сам скажет: я не ведаю вас. В противном случае слова пойдут на ветер и обратятся в посмеяние тому, кто их произносит, а вместе соединения, о котором так много говорилось, явится печальнейший факт: недоверие к литературе, и тогда всякое дело труднее. Кто этому не верит, пусть посмотрит на современную Францию. У ее литературы существовало то направление, которого держатся теперь очень многие у нас, и что из него вышло?.. Многие говорят, что

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

это старо, что ссылка на Францию надоела. Это, может быть, правда, но что старо, то еще не непременно неверно, и кто любит свой народ, тому можно для него поскутать часок-другой в некоторых размышлениях над стариною, из которой вырос Наполеон III и насмешливое недоверие целой страны к своей периодической прессе.

О МАЛЕНЬКИХ ЛЮДЯХ

С.-Петербург, вторник, 25-го июня

Маленькие люди, о которых мы будем сегодня говорить, едва ли не самые жалкие люди на земле русской. Они уже тем несчастны, что общество видит их несчастье почти каждый день и не только не замечает его, но даже считает это безобразно дикое явление явлением нормальным, вытекающим чуть-чуть не из природы вещей.

Мы говорим о купеческих мальчиках.

Заводя о них речь, мы вовсе не намерены забавлять наше гуманное общество мизерабельностью; еще менее мы способны вопиать к общественному великодушию. Нет, мы слишком стары для того, чтобы верить в русскую общественную инициативу, и потому обращаемся с нашими словами не к гуманности и либерализму разговаривающего русского общества, а к с. – петербургскому обер-полицеймейстеру, сделавшему так много в полицейском управлении столицы.

Да, мы обращаемся к обер-полицеймейстеру с делом, о котором, собственно, следовало бы говорить с обществом. Но как общество ничего полезного не делает и не хочет делать, то приятнее и короче надеяться на тех, которые могут делать. Таково современное состояние общественных дел при высоком развитии фразерствующего русского общества.

Наша просьба к с. – петербургскому обер-полицеймейстеру рекомендуется общественному вниманию единственно для того только, чтобы не упустить случая заметить этому обществу его полнейшее бездействие, равнодушие к человеческим страданиям и жестокосердие, вопиющее на небо.

В предпоследний год первого тысячелетия России в Москве распочалась маленькая газетка, занявшаяся необыкновенно внимательно торможением русского торгового сословия. С первого нумера, кажется, до последнего, она пилила дуrolомов московской ножевой линии и с замечательной аккуратностью каждую неделю выволакивала на свет Божий хоть парочку торговых сычей. Непривычные к свету, они сидели и хлопали своими желтыми глазами, а читатели ахали, охали, смеялись и по временам сожалели. Более наше общество пока ни к чему еще не заявило своих способностей.

Газета, выхватывая скандал за скандалом из того злосмрадного болота, из которого московский гостинодворский Коцебу берет персонажи для своих прелестных произведений, доказала:

- 1) что русское рядское купечество в предпоследний год истекшего тысячелетия России обращалось с мальчиками и так называемыми “молодцами” не по-человечески. Детей содержали гадко, требовали от них работы непосильной, били жестоко и даже убивали. Газета называла уличною кличкою почтенных московских коммерсантов, приобретших обширную известность своею дерзостью с приказчиками и зверством с детьми, отданными им “для обучения торговому делу”. Газета рассказывала ужасы.
- 2) что торговый мальчик, с минуты отдачи его купцу, обречен на вечное непроходимое невежество.
- 3) что мальчику ровно негде искать защиты, когда его калечит хозяйский кулак, приказчий уступок и кухаркина затрещина. Что он гибнет молча, до тех пор, пока забьют в нем все человеческое, научат лгать, плутовать и притворяться.

Газета, подкрепив свои слова надлежащими доказательствами, говорила, что этому купеческому бесчинию надобно положить конец.

В этом же предпоследнем году прошлого тысячелетия “Экономический указатель” И. В. Вернадского, сгруппировав эти факты в одну конкретную, энергически написанную статью, доказывал настоятельную надобность вмешаться в это дело и не дать теперешним торговым мальчикам вырасти в тех умников зеркальной и суровской линий, которых с большою выгодой можно возить для удивления Европы, если бы всю свою умственную дрязгу они умели выкладывать на языке, понятном гнилому Западу.

Как “à propos de bottes” [37] “Экономический указатель” приставил, что петербургское купечество идет несколько далее московского. То дерется со злости, а это иногда и пур сес ле педанс. “Придет”, говорит, “приказчик домой пьяненький, карячится, карячится, а потом потянет лапищу к детской головке и скажет: “Ну-ка, попка! Дай-кась я тебе безделицу взвошу!”” Ну, разумеется, и взвошит, то есть замотает пьяную лапищу в русой головенке да и пошатает ее безделицу туда да сюда. Это не за провинность, а так... занято это очень. Экономическая газета профессора Вернадского указывала также на один вид систематического варварства, освященного торговым обычаем. У рядского купечества постановлено, что мальчик не должен сидеть ни дома, при хозяине, ни целый день, находясь в лавке или в магазине. Он должен непременно стоять. Его посылают относить покупки, гоняют туда, сюда, и, возвратясь усталый, он все-таки не смеет присесть, а опять становится стоять свою каторжную стойку. Ни один солдат, ни один столпник не простоял на своих ногах столько томительных часов, сколько простоял их на своих слабых ножках каждый ребенок, муштруемый русским рядским купечеством.

Из сведений, составляемых рекрутскими присутствиями о количестве забракованных людей и о причинах их обракования, оказывается, что в городских торговых обществах, отбывающих рекрутство, более всего людей, неспособных к военной службе “за расширением жил под коленами и на икрах”. Прямая причина этого явления непременно находится в связи с молодыми годами, которые мещанин выстоял в хозяйской лавке. Это уже есть преступление, имеющее много общего с членовредительством, которое строго карается уголовным законом. Это должно быть воспрещено не только в видах сострадания к детям, но даже и в видах облегчения производства рекрутских наборов.

“Экономический указатель”, перебрав всю эту историю, в конце своей статьи заключил статью тем, что почтенное рядское купечество продолжает иродову работу, занимаясь медленным и бескровным избиением младенцев.

Но из всего сказанного в этом году для рядских мальчиков не произошло пользы ни на одно маковое зернышко.

В год тысячелетия России не вытерпели мы и опять подняли этот вопрос, обратясь между прочим к русской прессе с просьбою толочь в дверь, пока она отворится и выпустит рядских детей и в теплую спальню, и в светлую школу.

Мы, как умели, убеждали общество в необходимости немедленно вступить за рядских мальчиков, как за самых несчастнейших детей в подлунном мире. Чтобы избежать упрека в голословном обвинении рядского купечества, мы повторили все сказанное об этом прежде нас другими и сопоставили положение рядских мальчиков с мальчиками, обучающимися у ремесленников, и, кажется, доказали, что положение ремесленного мальчика, без всякого сравнения, лучше положения мальчика торгового. Ремесленник не смеет уродовать своего мальчика. Есть институция, которая наблюдает, чтобы хозяин не дрался, чтобы он кормил ребенка здоровой пищей, давал ему теплое и светлое помещение, не заставлял работать более определенных часов и давал свободу в воскресный день и двенадцатые праздники. В большинстве случаев наблюдение производится довольно зорко, и за нарушение этих правил хозяева-ремесленники наказываются штрафами, оглашением и закрытием заведений. От этой благодетельной полицейской меры ремесленные мальчики стали живы, веселы, и смысленность их возбуждает удивление. Они рассудительно смотрят на свои обязанности к хозяину; исполняют его справедливые требования, но не боятся его кулака, шпандаря или аршина; но вечером в редкой мастерской вы не услышите чтения вслух какой-нибудь книжечки, выпрошенной тем или другим у своего “давальца”. В воскресенье до обеда “починочка”, а там приобретение орехов на заработанный четвертачок, игра, чтение, резвость. Ребенок растет по-ребячьи, а между тем учится и ремеслу, и видимо развивается в человека.

За торгового мальчика не заступает никакой комитет: нет никакого контроля за тем, как его содержат и как с ним обращаются. Он не имеет никакого понятия о своем человеческом праве; у него нет свободного воскресенья, ему не позволено поиграть, поболтать и порезвиться. Он весь стеснен, как ребенок, и никак не может развиваться в человека, ибо ему не дают сблизиться с миром. Он весь, как орех в скорлупе, заключен в пошлом, узком, грошевыдавливающем кружке хозяйской лавки, в среде конски-глупой и молодцовской.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Еще один год продолжало русское рядское купечество иродову работу, еще тысячи полторы новых жильных узлов завернулось на детских икрах в одном Петербурге, и тысяча гостинодворских неучей вошли вреднейшими членами гражданского общества с головами расчесанными, но пустыми, как покрывающая их циммермановская шляпа, и мы снова поднимаем наш голос за это вопиющее на небо дело. Прибитые, вытянутые столбиками и ничему не обученные дети уже отвыкли от смелого и простодушного детского взгляда. Они не знают, к кому бы протянуть свои болтающиеся по бокам ручонки и у кого бы выпросить себе право читать вечером вслух книжку, учиться чему-нибудь хоть у дьячка, хоть у грамотного солдата, потому что и тот, и другой все-таки без сравнения развитее и просвещеннее его хозяина купно со всем приказничеством. Среда, его окружающая, пошла до того, что даже никак не может прозреть своей собственной пошлости, не может понять, что, сколько ни ворочайся в ее мозгах, – кроме двугривенных, там ничего не отыщешь. И в этой-то среде ребенок простаивает божественную искру, данную ему в тот день, когда он заплакал, увидев впервые свет, разменивающий на двугривенные целую натуру ребенка. Мальчики эти даже не думают, что есть сила, способная подарить им свободное воскресенье, с книгою, с казанком, с карандашом и со свайкой.

Оглянувшись назад и посмотрев на все стороны, куда три года три периодические издания назойливо стучатся с этим вопросом, мы наконец, кажется, нашли, где сила, способная прекратить каторжную кабалу рядских мальчиков.

Когда общество равнодушествует к своему прямому делу, когда сердца слишком закоружды и недоступны голосу убеждения, остается одна надежда на власть, находящуюся в руках человека просвещенного и безучастного к интересам человечества, обитающего в столице. А города, пригороды и посады пойдут за столицей.

О НЕИЗВЕСТНЫХ УМЕРШИХ

С.-Петербург, вторник, 30-го июля 1863 г

Наше внимание обратила на себя статья священника М. Чемена, напечатанная в июльской книжке “Херсонских епархиальных ведомостей” под заглавием “О неизвестных умерших”. Автор статьи затрагивает мимоходом важный вопрос о несостоятельности существующих у нас постановлений по делам о расследовании случаев скоропостижной смерти и несообразности правила, в силу которого “без полицейского чиновника никто не смеет и пальцем коснуться скоропостижно умершего, по-видимому, человека”.

Собственно говоря, автор ведет речь не о том. Его, как пастыря, поразил психологический факт “самоукрывательства невинных пред лицом правосудия человеческого”, самоукрывательства, последствия которого бывают весьма важны в юридическом отношении и которое иногда (и то слава Богу!) открывается священникам по непреложному закону совести.

“Приглашают меня, – говорит о. М. Чемен, – в анатомический дом похоронить покойника. На билете, выданном доктором и засвидетельствованном полицейскою частью, значится: “Тело неизвестного по имени и званию человека, умершего от аневризма, предать земле...” Дело нередкое, к нему мы привыкли. Входим с причетником в домик, видим исхудавшее от болезненности лицо чернорабочего великорусса; никого нет в доме, кроме старухи, прислуживающей при уборке тел, да сторожей-гробокопателей. Маленький огарок свечи тускло освещает тело труженика, незнаемого, забытого, оставленного теми, которым он приносил в жертву остатки своих сил. “Быть же не может, чтобы никто не знал его! – так думалось мне. – Уединения и неизвестности в таком городе может искать только преступник, занимающийся темным ремеслом по темным ночам, а в этих мягких чертах лица покойника видны только горе, скорбь, болезнь и терпение! Ему ли укрываться от людей?”

Началось погребение. Несколько любопытных женских лиц с суеверным почти страхом заглянули в окна мрачного домика и отошли. Вот подошла к окну еще одна женщина, зарыдала плачем, который, видно, долго сдерживала, и немедленно удалилась. Плач мог вызвать подозрение; но место и время ли ему во время молитвы? Да и то сказать, женщины очень чувствительны; плачут они иногда от пустяков, а здесь как не пролить слезы сострадания к несчастному во имя любви к человечеству?

Погребение окончено; тело незнаемого покойника отнесено сторожами кладбища в могилу, и, по-видимому, никто не обращал внимания на дело. Но не забыт покойник теми, с которыми делил он свою горькую жизнь. В отдаленном захолуствии

Молдованки, в бедной хижине, втихомолку оплакивала его семья, стараясь скрыть от людей свое горе. К горю потери кормильца присоединилось сознание вины перед ним; совесть беспокоила овдовевшую жену его за то, что она, по совету людей, отказалась от его трупа, не проводила его до могилы. Где искать утешения несчастной? Куда обратиться ей за советом? Какой избрать ей подвиг для успокоения неумолкающей в упреках совести? Людям не всегда безопасно вверять тайну, за которую она боялась ответственности, быть может, позорной. Идет, бедная, в храм Божий, несет свое горе и свою вину к милосердному Спасителю, чтобы у креста его сложить их: пусть служитель Христов скажет слова мира, прощения или запрещения – все легче станет на душе.

И пришлось мне слышать печальную повесть скорби и невинной вины.

“Мы люди бедные, – говорила несчастная, – пришли из России сюда на заработки. Работали мы, сколько могли, но едва деток и себя прокармливали. Скорби ли от неудач, труды ли тяжкие сломили здоровье мужа. Стал он жаловаться на боль в сердце – простонет ночь, а на утро идет на работу: Нужно, говорит, хлебушки достать для детей. И ходил он так-то на работы, перестал уж и жалиться, а все чахнет да тоскует. Вышел вот это один раз к одному хозяину, да с лопатой-то и упал мертвый. Прибежали земляки, да и говорят: “Молчи да молись! Бог к себе прибрал нашего земляка, мужа твоего”. – Я в слезы, а они заперли дверь, да говорят: “Молчи, а то хуже будет; не признавайся, что он твой муж и что ты его знаешь; хозяин тело его велел вынести тихонько на улицу подальше; найдут люди, придет полиция, сделает свое дело, да и похоронят, ничего не узнавши, а то пойдут таскать нас, да хозяина, да тебя на допросы, и конца не будет спросам; от дела оторвут, а хлеба не дадут; да, чего доброго, по подозрениям и в острог посадят”. – Пожелтело у меня в глазах, закружилась голова – и сама не знаю, что со мной было. Прошел денек, другой, а я все боюсь и людей, и тени своей, и покойника. Дай, думаю, пойду я, хоть издали взгляну на своего кормильца, хоть могилку-то его замечу, когда-нибудь вдоволь поплачу на ней. Вот прихожу, а вы, батюшка, погребаете его. Как схватило у меня за сердце, как заплачу я, так и посмотрели на меня люди! Мне и представилось, что земляки говорили мне. Испугалась я, да без оглядки убежала домой, и не знаю, где похоронили его. Тяжкий грех мой! Чем я заплачу его? А покойник все снится мне, да корит меня: “что, мол, отреклась от меня?”

Случай, мною описанный, – говорит о. М. Чемен далее, – не единственный в своем роде. Когда-то, при погребении такого же неизвестного покойника, в небольшой толпе любопытных, окружавших гроб, явился человек, шепотом подсказал мне имя усопшего и немедля исчез. Вероятно, многие из покойников, погребаемых под именем “неизвестных” бывают известны кому-либо, но опасения придирчивых расследований заставляют скрывать дело”.

Пагубные последствия подобных случаев очевидны, и автор особенно указывает на нравственную, психологическую сторону вопроса. Не менее важна и сторона экономическая: при таких обстоятельствах должна произойти некоторая запутанность и в сборе податей, и в вопросе о наследствах, возможны разные подлоги... Автор не сомневается, что причина этой скрытности заключается в преувеличенных нередко рассказах и анекдотах о придирчивости полиции при следствиях... Как ни меняйте членов полиции, ставьте исполнителями полицейских постановлений людей самых благородных и благонамеренных – народ долго еще будет смотреть недоверчиво на их заботы о благе граждан.

Почтенный автор сопровождает свое мнение следующими, нам кажется, довольно практическими, на первый взгляд, предложениями: в тех случаях, когда полиция очень занята, “вверить осмотр покойника и составление акта ближайшим честным домохозяевам. Можно в каждом квартале или улице избрать присяжных из честных хозяев, которым и сообщить немудреные формы акта и отдать на их совесть предварительные работы по следствию. Народ наш не так испорчен, чтоб ему нельзя было вверить такое дело. Народ не

будет скрываться перед честными соседями-хозяевами, да и самые-то присяжные хозяева будут знать в лицо каждого из близко живущих пожильцов. В таком случае и скрываться не будет возможности...”

Предлагаемой меры нельзя не одобрить. Пора же нам, наконец, сколько-нибудь делать что-нибудь самим для себя, не рассчитывая на обязательную заботу о нас правительства. Правительство хочет, требует от нас содействия, предоставляя

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovnikolai.ru
самый широкий простор благонамеренным начинаниям. Инициатива “общественных”, в тесном смысле, улучшений лежит на нас самих: такова, если не ошибаемся, руководящая идея нашего правительства.. И дай Бог, чтобы мы не ошиблись, предлагая приведенные выше выдержки из благонамеренной статьи неизвестного, но почтенного служителя церкви в надежде, что скромное желание автора статьи “Херсонских епархиальных ведомостей”, приведенной нами, желание, высказанное им в заключении, чтобы “юристы поправили, дополнили или уничтожили его соображения”, – исполнилось к полному удовольствию автора, нашему и всей русской благонамеренной публики.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В РОССИИ

С.-Петербург, вторник, 2-го октября 1862 г

Какие-нибудь десять лет тому назад был еще возможен у нас вопрос: полезны ли для России железные дороги? Конечно, неутвердительно отвечать на этот вопрос могли и тогда только те лица, которые сами не ездили в качестве обыкновенных смертных по нашим дорогам и, в особенности, не имели надобности перевозить по ним тяжести. Поэтому-то и гр. Канкрин, например, не увлекался железными дорогами для России, точно так же, как Наполеон I не увлекался пароходами...

Теперь не то. Теперь и не имеющим надобности ни везти товаров, ни самим ездить в качестве обыкновенных смертных по нашим шоссейным и нешоссейным дорогам, – теперь всем и каждому легко понять и даже грешно не понимать, как полезны и необходимы для России улучшенные пути сообщения, в особенности же железные дороги. Да, теперь даже кажется странным, как могли люди, притом умные люди, сомневаться когда-либо в пользе железных дорог для России! Так и кажется, что подобное сомнение было только макиавеллическим тормозом. Положим, что лет десять тому назад не было тех сведений и фактов, которые теперь самым осязательным образом свидетельствуют о необходимости для России железных дорог: но ведь и в то время была же логика, был же простой здравый смысл, а его одного достаточно, кажется, чтоб понять, что чем громадное расстояния и чем притом хуже пути сообщения, тем необходимее замена их лучшими, совершеннейшими, в особенности, когда усовершенствованные пути сообщения, железные дороги, устраиваются в странах, которым неизвестны ни громадные расстояния России, ни ее пути сообщения, из которых многим следовало бы скорей называться путями разобщения, нежели путями сообщения.

Но, если и теперь, пожалуй, найдутся у нас люди, для которых логика и простой здравый смысл не в помощь для решения этого вопроса, – то авось-либо современный факт убедит их в крайней необходимости для России иметь как можно более коммерческих железных дорог, то есть таких, которые строились бы не с какой-либо политической или стратегической, а с чисто коммерческой целью, определяемую условиями народного благосостояния. Факт этот состоит в том, что теперь вывозится из России менее ее продуктов, нежели в прежнее время, отчего, конечно, отечество наше несколько не обогащается. Между тем другие страны, из которых вывозилось прежде несравненно менее, но которые опередили нас в построении железных дорог, производят и вывозят теперь своих произведений несравненно более, чем прежде, и это на счет процветания промышленности в России. К числу таких стран принадлежит, например, Венгрия. Несмотря на то, что она не бедна внутренними водными сообщениями, и даже несмотря на то, что она находится под управлением австрийским, – Венгрия богаче России железными дорогами, а потому и в промышленном отношении быстро опережает наше отечество. То же самое должно будет в скором времени сказать и о дунайских княжествах, и о некоторых других странах, промышленная роль которых была до последнего времени очень невелика. Да, нам нужны железные дороги: без них мы быстрыми шагами отодвинемся от Европы.

О НОВОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

С.-Петербург, понедельник, 11-го июня 1862 г

Ничто так не важно для успехов экономического развития России, как устройство в ней железных дорог, и ни на чем, кажется, мы так не обожглись, как на железных дорогах, – а известно, что, кто обожгется на молоке, тот дует и на воду. Всякий новый слух о новой чугунке теперь встречается с решительным недоверием; говорят: “это улита едет; когда-то будет!” И в самом деле, как доверяться-то новым радостным слухам о новых железных дорогах? Сколько их насулила народная молва, и где они на самом деле? Где эта феодосийская линия, которая должна была оживить целый край, богатый производительными силами и бедный сбытом? Где другие линии, о которых носились радостные предсказания? Все унесено ветром. Именно ветром, а не силою обстоятельство, не естественными препятствиями и недостатком средств. Ввиду таких печальных соображений и тяжело, и страшно говорить о новом

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

предприятия в этом роде; но новое предприятие задумано так полезно и рассчитано так умно и верно, что мы решаемся познакомиться с ним своих читателей. Дело идет о соединении линией железной дороги Белостока с Волынью. Дорога эта должна связать все системы днепровского водоема с линией Петербургско-Варшавской железной дороги и таким образом дать сбыт для многоразличных произведений Киевской, Волынской и Подольской губерний в северную часть скудной Литвы, в Варшаву и к портам Балтийского моря. Во всех западных губерниях, в настоящее время, кроме двух линий шоссе, вовсе нет искусственных путей сообщения, и естественные водяные сообщения этого края весьма плохи, а о сухопутных натуральных дорогах и говорить не стоит. От самого Днепра до самой Варшавы, на протяжении 600 верст, нет ни одного пути, способного соответствовать экономическим требованиям края, и железная дорога в этом направлении совершенно необходима и для края, производительность которого страдает от недостатка сбыта, и для часто голодающей Литвы, и для усиления нашей отпускнутой заграничной торговли. Кроме соображений чисто экономических, надобно заметить, что железная дорога из Волыни на север не менее важна и в стратегическом отношении. Пересекая шоссе из Киева к Бресту и из Бобруйска к Варшаве и соединяясь с линией Варшавской железной дороги, она свяжет все эти три пути в одну непрерывную сеть быстрых и удобных сообщений между самыми важными пунктами нашей западной границы: Киевом, Бобруйском, Брест-Литовском, Новогеоргиевском и Динабургом.

Помещик Волынской губернии Теодор Бобро-Пиотровецкий, помещик Виленской, Гродненской, Ковенской и Минской губерний князь Петр Витгенштейн, пинский предводитель дворянства, князь Друцкой-Любецкий, граф Август Замоиский, помещик Минской и Гродненской губерний Ян Завиша, опекун малолетних графов Потоцких, австрийский подданный Владислав Сангушко, помещик Волынской и Подольской губерний, князь Роман Сангушко, помещик Минской губернии Казимир Скимунд, графы Мартын Тарновский и Иван Тышкевич, сочувствуя интересам своего края и рассчитав, что устройство железной дороги в этом направлении есть предприятие верное и очень выгодное, решились учредить акционерное общество для постройки ее теперь, когда окончание постройки Варшавской железной дороги освободит много рук, нуждающихся в заработках. Линию они намерены вести от Белостока на Пружаны, Пинск и далее на Волынь, до наивыгоднейшей точки соединения с линией, которою когда-нибудь, вероятно, соединится Киев с Веною. Все бумаги, планы и соображения свои они представили генерал-адъютанту Чевкину и просят его ходатайствовать о разрешении немедленно приступить к изысканиям, и теперь решение: быть или не быть этой дороге, зависит от нашего правительства. Общественное мнение, где только оно высказывалось насчет этой дороги, везде в ее пользу. Польские газеты смотрят на предприятие упомянутых нами учредителей самым выгодным образом, а корреспонденции из Западного края и Литвы свидетельствуют о восторге, с которым встречается там слух о Белостокско-Пинской линии. Читатели наши знают отчасти из писем нашего виленского корреспондента о чувствах, которые вызывает в том крае предполагаемая дорога, а другие известия основательно убеждают нас, что учредители не встретят ни малейшего недостатка в средствах на устройство своего полезного предприятия. Край ждет с нетерпением слуха о разрешении представленной правительству просьбы и заявляет полнейшую готовность содействовать успехам этого дела, совершенно необходимого для обоюдных выгод Западного края и Литвы; и, несмотря на то, что акционерная горячка сильно остыла, нет ни малейшего сомнения, что на устройство дороги без затруднения найдутся местные средства, которых не вызовет никакое другое предприятие, не имеющее местного интереса для Литвы и западных губерний. Учредители все это очень хорошо знают и, ожидая решения на представленную правительству просьбу, смело приступают к необходимым затратам для предстоящего предприятия. С помощью хороших специалистов они уже сделали все предварительные соображения, чертежи, планы и проч., делающие окончательные изыскания уже делом легким и скорым. Главные основания, на которых они намерены устроить новое общество, заключаются в следующем:

- 1) Учредители обязываются, немедленно по получении разрешения, произвести изыскание для составления проекта, на протяжении между Белостоком и Пинском, и составить проект на свой счет, с тем, чтобы издержанные на это суммы, как и прочие расходы, по составлении общества, были им возвращены, по рассмотрении отчета общего собрания акционеров.
- 2) Если разрешение будет получено весной 1862 года, то изыскание будет окончено к 1-му октября того же года, и если затем устав общества будет утвержден к Новому году 1863 года, то окончить дорогу между Белостоком и Пинском к 1-му ноября 1865 года.

- 3) Общество обязано будет продолжать работы от Пинска далее на юг в таком только случае, когда выручка по движению на первом участке всей линии, то есть между Белостоком и Пинском, превзойдет пять процентов с средней на версту суммы сорока пяти тысяч рублей серебром. Впрочем, если б общество признало для себя выгодным начать работы во втором участке, то есть между Пинском и Корцем, и ранее, то оно обязано было бы о том за год уведомить главное управление путей сообщения и публичных зданий и в то же время представить на утверждение все необходимые проекты. К работам по участку от Корца до точки сопряжения с железною дорогою от Киева к австрийской границе должно быть приступлено не ранее начала работ во втором участке и открытия оных по сооружению железной дороги от Киева к австрийской границе.
- 4) Пользоваться дорогою общество должно девяносто лет со дня утверждения устава (так, как и французское, то есть Главное общество российских железных дорог).
- 5) Правительство берет на себя гарантию доходов общества до пяти процентов *minimum* дивиденда с сорока пяти тысяч рублей серебром на версту.
- 6) Земли для дорожной полосы полагается приобрести обществом, на основании правил об отчуждении частной собственности на пользу общественную, шириною в тридцать сажен, а в лесах в сорок. Казенные же земли уступаются на том же основании, как Главному и другим обществам железных дорог, безвозмездно. К тому же при проходе линии чрез Беловежскую пушу, весь находящийся на линии в пределах просеки лес предоставляется обществу бесплатно.
- 7) Общество имеет право привезти беспошлинно из-за границы все машины, вагоны и вообще все необходимое для устройства и первоначального действия дороги, в продолжение первых пяти лет со дня открытия работ по каждому участку отдельно. Все эти предметы будут в подробностях описаны в уставе.
- 8) Учредители обязуются обеспечить подлежащее сооружение дороги вносом, на основании тома XII, части 1-й, главы третьей, статьи 580 "Свода законов", пятипроцентного залога с предполагаемого первого выпуска акций, с тем, чтобы им, учредителям испрашиваемого к основанию общества, было предоставлено право этот залог их заменить залогом самого анонимного общества, состоящим из его собственных акций, и потом, чтобы, по мере производства работ, общество могло получать обратно из своего залога десятую часть стоимости отработанных работ. Но если б акции общества были не разобраны, то есть, другими словами: если б анонимное общество не составилось, то весь вышупомянутый внесенный залог правительство должно сполна возвратить учредителям.
- 9) Учредители имеют право на получение акций на одну пятую часть всего основного капитала общества со взносом денег.
- 10) Учредители пользуются осьмью процентами с чистой выручки общества, по действию дороги и всем ее предприятиям.
- 11) Обществу предоставляется просить об откомандировании инженеров корпуса путей сообщения на том самом основании, на каком они поступают в другие общества железных дорог; для производства же изысканий разного рода и по составлению общества, учредители ходатайствуют у генерал-адъютанта Чевкина об откомандировании ныне для этой цели инженер-капитана Лунда и о разрешении ему впоследствии войти собственно от себя самого с просьбой о назначении ему в помощь других инженеров.

Итак, приветствуя это полезное и совершенно необходимое для выгод западной полосы империи предприятие, пожелаем ему счастья, успеха и общего сочувствия, на которое оно, в наших глазах, имеет неоспоримое право. Желаем, чтобы оно не встречало напрасной борьбы с теми рутинными предрассудками некоторых квасных патриотов, доказывающих, что возвышение благоустройства западной полосы вредно для серединой России и что лучше капиталы, ассигновываемые для тамошних предприятий, привлекать в такие же предприятия другой местности! О *sancta simplicitas!* [38] Пора же знать нашим безграмотным политикам и экономистам, что, кроме вещественного капитала, есть еще невещественная сила, которая двигает и капиталом, и предприимчивостью; и что, если стать угнетать эту силу, то выходят те уродливые явления, которые не встречают сочувствия в глазах благомыслящих современников и бесчестят во мнении потомства. Капиталы устремляются туда, куда двигают их воля и симпатии капиталистов, и никогда добровольно не пойдут туда,

куда желают их завернуть сторонние соображения. Местные интересы дороги каждому; каждый охотно им содействует, и каждый охотно рискует последнею крохоту для экономического благоустройства своего края: ибо ждет от этого благоустройства новых средств для возвышения своего домашнего быта и хозяйства, а интересы другой местности для него вовсе не имеют такого близкого значения, и он, по южнорусской поговорке, не станет крыть чужой хаты, когда своя капит.

О ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОЙЛЕ, ПЕНЗЕНСКИХ ТРОТУАРАХ И ОРЛОВСКИХ МОСТАХ, А ТАКЖЕ О РАЗНЫХ БЕДНЫХ ЛЮДЯХ И О НЕКОТОРЫХ ПОПЕЧИТЕЛЯХ РОБЕРТА ОУЭНА

С.-Петербург, вторник, 3-го апреля 1862 г

Часто ставят в большую вину иностранным путешественникам, что они, описывая Россию, рассказывают о ней иногда такие вещи, которых вовсе не существует и даже существования их мы, русские, никак допустить не можем. Конечно, в разных рассказах разных путешественников есть тьма чепухи и вздора, но много есть и таких вещей, которые кажутся нам невероятными только потому, что мы не имеем понятия о том, какими являются те же самые вещи в “гнилом Западе”, над которым долго трунил Г. Аскочский, а теперь песню его подхватили публицисты другого закала, считающие, например, порицание английских порядков наивысшею услугою русскому народу. Впрочем, с точки зрения этих публицистов, такое последование Г. Аскоченскому имеет свой смысл, даже и этого им нельзя ставить в вину. Не заявлять своих стремлений к слитию с народом в наши дни невозможно, а чем же можно легче показать их, как не порицанием всего чужеземного? Народ (если бы он умел читать наши писания и имел бы еще к тому охоту), разумеется, расхохотался бы над ними до смерти, но пока народ станет читать и назовет гороховыми шутами многих нынешних писателей, трактующих о вековечности начал аграрного коммунизма и т. п., пусть пишут на здоровье. В Петербурге их читают и не понимают, а за Петербургом или вовсе не читают, или читают ради смеха, все более убеждаясь, что литераторы о делах рассуждать никак не могут, а все сочиняют. Однако дело не в этих сочинителях; мы им ничего сочинять не мешаем и от всей души желаем, чтобы никто не мешал им заниматься этим приятным искусством. Нас занимает простой вопрос о городском благоустройстве. Теперь весна; 17-го марта был день преподобного Алексия, человека Божия, день, известный в народе под названием “Алексей с гор потоки”, и действительно начались потоки. Вскрылись Днепр и Ока, в Орле мост в опасном положении, и тамошние гимназисты теперь не ходят в классы, а все читают “Современник”. Это самое благоприятное время для орловских гимназистов и для уважаемых ими писателей. Такой порядок прекращения уроков “за водой” существует с незапамятных пор, и существует он едва ли не по всему пространству России, но особенно в Орле, где мосты наводятся далеко не так скоро, как выгорают целые части этого центрального города хлебороднейшей губернии, обитаемой наипросвещеннейшим дворянством. В былые годы там не бывало переправ по целому месяцу, и поколение тогдашних гимназистов в это время сильно развивалось при помощи сочинений покойного Сенковского, но нынче, говорят, и в Орле уж век спеша живут. Мосты и переправы, грязная вода для питья составляют необходимые аксессуары русской весны. Неторопливая почта начинает ходить еще медленнее; цена припасам поднимается, и все бедное население городов сильно страдает; земские суды отрывают на переправы чиновников для наблюдения за порядком, и в связи с этим последним обстоятельством на лицах у мужиков появляются весьма странные опухоли, а вообще в градах и всея начинаются рези в желудках и разные весьма неприятные болезни, отвлекающие человека от работы, которую он добывает дневное пропитание, а иногда и спроваживающие его прямым путем в могилу. Да и как не быть резям, как не хворать людям, когда, например, у нас в Петербурге такая вода доставляется, что какой-нибудь киевский гастроном, получающий воду с Буславки, взял бы здешнюю воду, да и выплеснул в помойную яму. А мы ее пьем, и не пить ее нам нельзя. Пиво, говорят, с кукельваном – напьешься, тотчас, как оморенная рыба, и всплывешь весь наверх – не годится, а вино виноградное дорого, да мы до него и небольшие охотники, в чем можно частию удостовериться по счетам конторы Д. Е. Бенардаки, занимающегося водочным продовольствием нашей Пальмиры. Итак, к воде. Один наш не то что приятель, а добрый знакомый, на котором лежат кучи пресерьезных занятий, наделен от щедрой природы таким замечательным трудолюбием, что находит еще возможность заниматься микроскопическими исследованиями и при первом досуге предается этой невинной забаве со всем увлечением юношеской страсти. Недавно, то есть вот совсем на днях, он рассказывал, что, наблюдая в микроскоп каплю невисской воды, увидел в ней несколько таких чудищ, что одно даже привело его в ужас своим сходством с одним из ближайших сослуживцев наблюдателя. Наш знакомый с тех пор не пьет воды, и только от того, что он перестал употреблять невисскую воду, в характере его начала проявляться какая-то необыкновенная мягкость и эластичность, тогда как прежде бывало, что ему ни дай в руки, из них выйдет в таком виде, что уж ни за что не

узнаешь. Впрочем, мы напрасно об этом распространяемся, ибо каждому известно, какую важную роль играет вода в судьбе всякого человека. А потому мы и удивляемся, как до сих пор наши общественные люди не подумают о том, чтобы вместо навозной жижи давать в поило русскому человеку чистую воду! Беспечность и небрежность русская в этом случае действительно составляет добродетель вполне самостоятельную и ни от кого не зависимую. Есть места на Руси, где воду не только не стараются очищать, но, напротив, всячески стараются ее испортить. Один из таких просвещенных мест есть губернский город Пенза. Там есть, например, фонтаны, в которых вода проведена из очень хорошего источника; но у этого же источника, выше того места, где он входит в проводную трубу, одному барину вздумалось устроить псарный двор для своих борзых и гончих. Место для псарни, действительно, выбрано удобное, псам не далеко бегать лакать, и чистоту всегда можно удержать; но прихотливые люди начали жаловаться, что воды из фонтанов пить нельзя, и обратились к Суре, а по Суре и подавно один навоз плавает с верхних мельниц. Таким образом это неудовольствие продолжалось очень долго и все без толку, и наконец сами граждане привыкли к этой воде, как приучают себя люди к вонючему сыру, и стали любоваться из окон на барские своры, когда они откочевывали в отъезжее поле. Теперь одни говорят, что псам придется отыскивать иное помещение, а другие утверждают, что эти слухи уж не раз носились, но благополучно сошли с рук псовладельцу. Но Пенза – город истинно замечательный. В Англии есть люди, уверенные, что в Пензе всякий человек небезопасен, потому что там на улицах устроены капканы и адские машины. Что-то в этом роде, года три тому назад, кажется, рассказывалось даже в одной из английских газет, и один из жителей Пензы, умеющий читать по-английски, указывал на эти щекотливые для пензенского самолюбия строки; но все осталось по-старому; все подумали, что это “бред безумный иноземца” и больше ничего. А в сущности дело имеет свое основание. Во время последней войны в Пензу прибыли из Крыма два англичанина, оба люди очень просвещенные и потому, конечно, не встретившие в этой столице русского спорта того радушия, которое будто бы ставит наших соотечественников несравненно выше всех народов земного шара и даже жителей планет. Оба эти англичанина, при первом взгляде на пензенские улицы, вообразили, что существующие в Пензе дощатые тротуары устроены для того, чтобы доставить пешеходам известные удобства и безопасность. Как чужеземцам, им простительно было сделать такое легкомысленное заключение, и они жестоко за него поплатились. Одному из них, избежавшему всех опасностей, сопряженных с войною, суждено было воспринять смерть в самом мирном городе Пензе. Опытные люди по пензенским тротуарам обыкновенно не ходят, потому что некоторые доски тротуаров так прилажены, что каждая из них концом, на который наступит пешеход, тотчас же под его ногою опускается в нарочито ископанную под тротуаром канаву с вонючею гниущею водой, а другим концом снабжает проваливающегося путника приличную затрепачину. Теперь, может быть, случаи таких театральных исчезновений под тротуаром реже, а может быть, и вовсе вывелись – время переходчиво, – но то время, к которому относится воспоминаемое событие и о котором пензенские собачники вспоминают как о милом былом, эти явления причислялись к законным потребностям местного благоустройства. Естественность таких явлений была так обыкновенна, что пензянов (которых почему-то зовут толстопятыми) вовсе не встревожило, что англичанин М-р шел по тротуару и, как должно было случиться, провалился, получил приличную затрепачину, переломил ногу и отправился ad patres, [39] впрочем, не без медицинской помощи. Сказали только: “не знаяши броду, не суйся в воду”, выпили по рюмочке коньячку и опять сели играть по маленькой, и приписывая, и отписывая мелом. Другой же англичанин, видя снаряд, споспешествовавший ускорению жизненного процесса г. М-ра, разумеется, преданся изучению этого механизма и, придя к убеждению, что такой механизм не относится ни к одному из известных в Европе аксессуаров городского благоустройства, порешил, что это совсем не тротуары, а какие-то, вероятно охотничьи, капканы или люки вроде адских машин. Дома он сказал кому-нибудь эту несообразность, другие ее подхватили, а кто-то взял да и тиснул в какой-то газетке вопрос о пензенских люках. Конечно, англичане, по остроумнейшему замечанию одного из наиприятнейших писателей нашего времени, народ очень узколобый; но согласитесь, что на этот раз им можно простить их заблуждение. Рассказанное нами событие могло дать некоторый повод к построению странных предположений в головах людей, поднятых цивилизацией на другую ступень гражданственности и не способных ни пить наше поило, ни глотать иные гадости, которые мы еще присмакиваем.

Вот отчего и нельзя строго порицать иностранцев, описывающих русские небылицы в лицах. Не принадлежат к числу непосредственных натур, нас ведь разгадать очень мудрено, и изобразить нашу гражданственность на листе, разграфленном по европейскому масштабу, еще труднее; но если начать доискиваться, то во всяком

таком баснословии можно найти свою долю правды. Вот теперь к слову о воде: без всяких шуток вода в Петербурге до такой степени дурна, что ее пить невозможно, и у всего населения Петербурга, не имеющего собственных средств очищать для себя воду, в графинах и ушатах стоит бурая жидкость, пресно-клейкого вкуса, с сильнейшим запахом конского помета. Это факт, нимало не преувеличенный, о чем говорят все, то есть все те, кому суждено здесь жить, но кому никакая бабушка не врожит. А что проку из этих общих, но не общественных толков? Доход вольным аптекам и докучное беспокойство врачам больницы чернорабочих, а больше ничего. Мер против этой мерзости никаких не видим. Такие, не такие, а подобные нестройства назад тому несколько лет были и в Англии, в самом Лондоне, с мутной Темзой и миллионным населением; но узколобая Англия – не мы, широкие натуры с соколиным полетом на слове и с глиняными ногами. Там общая нужда вызвала общественную энергию; люди поняли, что цифра смертности не столько зависит от устройства врачебной части, сколько от гигиенического благоустройства. Около двух лет назад в Киеве вышла преотвратительнейшим образом составленная брошюрка “История гигиенических улучшений в Англии”. Она скомпилирована кем-то из сотрудников одной медицинской газеты по известному сочинению Остерлена и, несмотря на все свои недостатки, представляет очень много интересного и назидательного, но ее, конечно, не удостоили своим вниманием русские литераторные гении, мнящие себя друзьями русского народа, а до Аполлона Григорьева, посвятившего себя разбору явлений, пропущенных нашей критикой, она, вероятно, не дошла. Впрочем, к несчастью, тот род литературы, к которому следует отнести эту брошюру, и не занимает этого критика, а другим некогда, – они все в Брайты лезут, и им некстати какой-нибудь лорд Шевтесбюри, шнырявший, как крыса, в помойных ямах и зловонных канавах Лондона. Оно и понятно; Брайтами легче быть: тут только прикинься влюбленным в народ и пожинай лавры, особенно легко достаемые в стране, с одной стороны, страдающей недостатком здоровой критики, а с другой – имеющей таких птенцов, как некий сотрудник “Нашего времени” Г. Мельгунов. Мы будем иметь случай на днях познакомить наших читателей с той средой, из которой выплывают подобные писатели, готовые проповедовать, что мы не дозрели, не сложились.

В нашей статье мы имели в виду воззвать к общественному вниманию и указать на некоторые, весьма вредные, виды беспечности нашей медицинской полиции. Общественная гигиена составляет очень важный вопрос, и о нем следует подумать, может быть, одновременно с некоторыми вопросами социального значения, а может быть, даже и несколько прежде иных. Человек становится способным беспристрастно рассуждать о общественных нуждах, когда удовлетворены его индивидуальные потребности первой необходимости. Моральное его развитие идет следом за улучшением его быта, а улучшение быта, путем самодеятельности, возможно только при известных условиях, которых нельзя достигнуть при страшной цифре смертности, служащей экспонентом житья рабочего человека в России. Кто хочет видеть народ, любящий свою отчизну и готовый с полным самопожертвованием отстаивать каждый из ее интересов, тот должен заботиться о всех неурядицах народного быта и не лгать ему о его всеобъемлющей мудрости, а, воздавая должному должное, открывать своему народу сокровищницу, в которой сложен умственный капитал, скопленный общими усилиями человеческого ума. Смешно же говорить о своей любви к народу, считая народом только вятского или пермского крестьянина, и оставаться совершенно равнодушным к тысячам семейств бедных тружеников, задыхающихся в сырых подвалах или дрогнувших на чердаках наших столиц. Что за классификация человечества? Кто дал право считать отребьем часть людей, рожденных в одной и той же стране и любящих ее, может быть, не менее кого-нибудь другого? В чем их вина? В том, что они ходят в сапогах и хилятся, когда нельзя распрямитесь. Таков ваш суд, народные витии? Не верим вам, не верим потому, что “всяк, ненавидяй брата своего, ложь есть”. Г. Аксаков, отметаясь единения с евреями, менее бестактен, чем вы, и идете вы с своим дегтярным прюдеризмом по той дороге, на которой одни от вас отвернутся, а другие скажут: “Полно зубы-то заговаривать – мы сами самовар пьем”.

Народная литература не должна быть сословным адвокатом; иначе она не литература нации, не народная литература. Нам странно смотреть на “Наше время” и его известных публицистов, и мы имеем основания считать его органом известного слоя; но, по той же аналогии, не имеем ли мы такого же права считать такими же слоевыми органами и всех тех, кто равнодушно проходит мимо всякого рода страданий и нужд русского человека в немецком платье? Не возбуждают наших симпатий люди, ходящие с потертыми воротниками и прорванными локтями; нам смешны эти испитые фигуры, таскающиеся ежедневно с Адмиралтейской площади в Галерную гавань, где их ждут полуголодные семьи, сидящие за неустанной работой и

питающиеся преимущественно двумя рыбицами: корюшкой да ряпушкой... А подала ли наша литература руку этим страдалцам, спотыкающимся на трехцелковых взятках, когда нечего жевать? Нет. Мы говорили о том, как из бедных девочек Галерной гавани выходят пышные северные камелии и лоретки; мы даже мнили оказать великую услугу, продергивая под заглавными буквами русского алфавита разных лиц, невежливо обращающихся с своими подчиненными, но нам некстати было подумать о более серьезной помощи. Что нам за дело до того, что экономические условия, в которых стоят эти люди, заставляют их сносить все оскорбления и подавлять в себе чувство справедливого негодования во имя другого чувства, во имя любви к слепой бабке и малым детям, просящим сапожок и хлеба? Измените эти условия – те же люди сами защитят себя от оскорблений, которые, в нынешнем положении, голодный отец семьи сносит с изумительным равнодушием. Но из этого трудно сварганить смешную сцену, до которых мы так падки, и мы молчим. Заходила речь о колонизации, о предоставлении бременящим города людям земель и об отыскании средств для их обустройства и устройства... Никто ни слова, как будто и не до нас касается. Где ж это сердоболье, о котором говорится чуть не в каждой строчке? Где ж это почтение к высоким стремлениям Роберта Оуэна, не знавшего людей, достойных отвержения, и считавшего сытный стол в Нью-Ленарке одним из условий, после которого человек способен взяться за честный труд и почувствовать себя человеком, не зависящим ни от кого, кроме своего труда и умения чтить в чужом праве свое? Или подавать руку всем, кто ее просит, или... пожалуй, не найдешь, кому ее и подать. Если бы Роберт Оуэн видел большинство говорящих о нем русских; если бы он слышал людей, исповедующих устами его учение и объявляющих вне всякого покровительства тысячи своих соотечичей, поставленных в необходимость быть тем, чем они есть, то незлобиво старцу пришлось бы дать миру еще одно весьма сильное доказательство своего незлобия... не отвернуться от своих лжеучеников.

О ПОНЯТЫХ И ОБЫСКАХ

С.-Петербург, суббота, 5-го мая 1862 г
Журнал "Век", в одном из последних номеров, коснулся очень важного вопроса о обысках. Допуская печальную необходимость обыскного процесса, редакция "Века" выразила несколько прекрасных мыслей об устранении от обысков всякого произвола, насилия и самовластия. Бесцеремонность наших производителей следствий, их часто совершенно неуместное и излишнее рвение достигают обыкновенно таких размеров, что в литературе, в течение нынешнего года, уже не раз появлялись статьи о доносах, обысках, выемках и т. п. Не имея основания абсолютно отвергать необходимость обысков в уголовных процессах, мы желаем только, чтобы обыски эти производились как можно деликатнее и человечнее. Это совершенно необходимо для спокойствия жителей и весьма важно для репутации лиц, производящих обыски. Теперь лица эти не пользуются в обществе никакими симпатиями, обыск составляет семейную катастрофу, и обыскивателей встречают не как друзей общественного порядка, а как личных врагов и самовластных. Весьма желательно, чтоб законодательство о выемке поличья как можно скорее было пересмотрено и выражено в самых определенных положениях, ограничивающих случаи крайней необходимости обысков и пределы власти обыскивателей. Мы хотим верить, что пересмотр законоположений о обысках и выемках не отдалится на долгое время, ибо, занятое полезными реформами, правительство наше желает улучшения тех из существующих ныне порядков, которыми общество сильно тяготится и которые в самом деле могут его тяготить, как порядки, совершенно несовременные. Но как всякая реформа производится обыкновенно не с тою быстротою, какой желает для нее общество, поэтому обществу самому предстоит задача позаботиться, чтобы существующие порядки были как можно менее отяготительными и неприятными. В известной степени, всякое общество всегда может, самыми законными путями, достичь ограждения прав каждого из своих сочленов. В этом смысле многим кажется справедливым, что всякий существующий порядок как раз впору общественному развитию в данный момент жизни народа и что, с первым шагом народа за известный предел развития, порядки, бывшие ему прежде впору, оказываются несостоятельными. Таков существующий порядок обысков и выемок, на который раздаются почти повсеместные жалобы. Из этих жалоб должно вывести то заключение, что само общество не умеет или не старается пользоваться предоставленным ему законным правом к ограждению каждого из своих членов от произвола и оскорбительной бесцеремонности обыскивателей, возбуждающих своим неуместным усердием ропот против закона, во имя которого они злоупотребляют своею властью. Мы полагаем, что само общество немедленно может достичь того, чтобы обыски, производящиеся по действующим законам, были по крайней мере сколько возможно менее оскорбительными для тех, кто имеет несчастье им подвергаться. С этой целью мы позволим себе указать на понятия, как на необходимых законных свидетелей каждого обыска, которые у нас не пользуются и

микроскопической долею того значения, которое они могут и должны иметь по духу самых законов.

На основании 95-й статьи XV тома “Свода законов” (раздел 2-й, гл. 3-я “о выемках и обысках в домах”), “понятые должны быть при выемках и обысках в домах, и без них запрещается производить выемку”. Правило это, как и многие другие правила, соблюдаются в нашей стране, но только по форме; чиновники берут для обыска понятых, но как бы нарочно, из людей, вовсе не знающих закона, не имеющих никакого понятия о своем праве и поэтому не способных к ограждению прав своего согражданина, в дом которого их приглашают для обыска. По закону (статья 94 того же тома) “выемщик, прибыв на место, обязан взять из окольных жителей приличное число понятых и войти с ними в дом, обыскать оный с правом отпирать запертое, когда дом пустой или хозяин не учинит того добровольно, и, нашед поличное, доставить как оное, так и ополченного в суд”. Наши понятые, взятые обыкновенно из проходящих по улице простолудинов, входят с полицейским чиновником или с жандармским офицером, производящим обыск, и во все время обыска представляют собою жалкую пародию на свидетеля и гражданина. Не говорим о том, что они не смеют поднять своего голоса в защиту нарушаемых прав обыскиваемого лица; они при обыском процессе иногда исполняют должность чернорабочего, нередко торчат в сенях или у дверей, а бывали случаи, что понятые просто оставались за воротами дома, пока чиновник с своею командою производил обыск, как ему удобнее для достижения заданной себе цели. Такой понятой своим присутствием, разумеется, не приносит обыскиваемому никакой пользы; он не в состоянии ни одним звуком своего голоса остановить незаконное действие, клонящееся к ущербу обыскиваемого или общества, в интересах которого обыск можно признавать действием необходимым. 97-ю статьею сказано, что “при обыске домов выемщики никому не должны чинить убытков, обид и озлобления и не нарушать общей тишины и спокойствия”, а на самом деле выемщики весьма нередко чинят убытки и почти всегда обиды и озлобления. Стоит взглянуть на налички дел, лежащих в архиве Орловской уголовной палаты, чтобы убедиться во всей поражающей наготе сказанного нами замечания. Стоит посмотреть эти дела с подписями, гласящими: “Дело о выемке из дома севского или трубчевского мещанина NN боченочка с винным запахом, по подозрению корчемства, и о нанесении при сем сверхчастным поверенным NN жене означенного мещанина тяжких побоев с повреждением глаза”. Таких дел очень много не только в архивах, но еще и в шкафах уголовных палат и уездных судов. Еще только в прошлом году в “Русской речи” указывался случай смерти ребенка во время обыска в доме его родителей, а об обидах и озлоблениях уж и говорить нечего! Нам и пословица велит за тычком не гоняться. Но наконец видно, что все это досадило обществу и что оно желает ограждения своих законных прав, что старый порядок обысков ему становится не впору. Значит, само же общество должно взяться за свое законное право. Дружным вниманием к этому праву оно само может в значительном большинстве случаев сделать обыски тем, чем их хотел сделать закон, а не тем, чем они сделались по милости обыскивателей, не уважающих никакого закона, кроме личной выгоды и произвола.

Нельзя сказать утвердительно, что именно было в самом начале введения у нас действующих законов основною причиною уклончивости народа от присутствования при обысках, выемках, вскрытиях мертвых и тому подобных действиях, где допускается и даже требуется законом присутствие понятых. Народное ли отвращение от непонятных форм судопроизводства, равнодушие ли к делу ближнего или боязнь чиновничьих каверз – утвердительно решить не беремся, да и сомневаемся в возможности утвердительно решить такого вопроса. Г. Щебальский, произнеся свое мнение о происхождении ябедничества и доносов в России, показал, как опасно решать подобные вопросы в наше время. Г. Громека, занимающийся философией и летописанием, в качестве философа и летописца, тотчас расшиб все соображения г. Щебальского и на основании чистого умозрения доказал, что у русского народа склонности к доносам не было, да и быть не могло. А потому, отлагая утвердительно решение вопроса об уклончивости нашего народа (всего – и того, что шлепает в лаптях, и того, что скользит в лакированных ботинках) от участия в следственном процессе, по крайней мере до выпуска г. Громекою своего философского курса или хоть до издания его летописей, опровергающих русских ученых историков, мы ограничимся предположениями. Нам кажется, что при введении нового судопроизводства, с чиновниками разных стран и вовсе непонятных народу наименований, народ, не имевший силы противостоят нововведениям, стал чуждаться их и избегать всякого столкновения со слугами непонятных для него законов и учреждений. Далее, приводимый поневоле в столкновения с чиновниками, он убедился, что его берут к следствию только для какой-то формы, посылают за водкой в кабаки, за завтраком в корчму или к помещику; заставляют носить

писарскую шинель или сгибаться русским глаголом для того, чтобы писарю было ловче писать на его спине акт осмотра или вскрытия; он видит, что дело невеселое, а время тратится, и совсем отшатнулся. А между тем два, три случая в околотке, где следователь подвел неугомонных понятых под какую-нибудь ответственность, еще подбавили к этому страху; народ стал бегать от “бытия в понятых”, а чиновники стали его “ловить в понятые” с помощью сотских, десятских и иных чинов, и пошла писать. Теперь русский простолюдин боится идти в понятые, а если его “изловят” в эту должность, то он и торчит безмолвной и бесполезной статуей. Что ж проку в таком понятюм?

Представители так называемых образованных классов русского народа почти никогда не попадают в понятые. Отчего же это? Прежде они сами не шли, обижались: “Как-де я, титулярный или статский советник, пойду в понятые к обыску мужика или мещанина? На это есть прохожий”, а уж этот прохожий непременно должен быть или мужик, или мещанин, или разночинец, но непременно оборвыш. Иначе он не пойдет на приглашение полиции, да и чин полиции не рискует беспокоить его скобродие. Так оно было и так оно есть, да и так оно может долго оставаться, если просвещенные россияне не поймут наконец, что своею неуместною и смешною спесью они сами дали обыскивателям и выемщикам тот широкий произвол, на который так сетуют. Обыскиватели очень рады установившемуся теперь обычаю брать в понятые людей, из которых ни один ни прорече, ни возопие, а зато каждый мастерски согнется глаголом: клади ему на спину бумажку и валяй на ней какой хочешь акт, к которому за неграмотных понятых в свое время учинит рукоприкладство грамотный подьячий или первый пьяница из любого заведения гг. Кокорева, Бенардаки, Мамонтова, Кононова и других благодетелей русского народа. Да и что бы за лихоиде себе были все производители следствий и обыскиватели, если бы звали в понятые человека, хорошо помнящего 93-ю статью XV тома (раздел 2, глава 3-я), в которой сказано: “если местное начальство будет иметь в виду основательное подозрение или получит ясные доказательства, [40] что в чьем-либо доме скрываются преступники, беглые люди или наличное, то надлежит отрядить для обыска и высылки к означенному дому, вместе с доносителем, надежного чиновника с надлежащею командою, снабдив его письменным приказом”. [41] А когда у нас все это исполняется? Когда доносчик идет вместе с чиновником на обыск? Всегда ли у чиновников есть особые предписания на произведение обыска? Не делаются ли обыски так, что человек и понять не может, с какого повода его обыскивают? Все это делается, и делается почти повсеместно. Далее есть еще одна весьма важная статья закона о обысках, которая тоже почти никогда не соблюдается. В статье этой сказано: “буде поличного при обыске не откроется, или когда присутственное место назначит произвести обыск без основательного подозрения, то сверх личного по статье 391 уложения о наказаниях взыскания, с доносителя или присутственного места взыскиваются все последовавшие оттого убытки и бесчестье, на основании правил, означенных в законах гражданских”. Строгое исполнение этой статьи могло бы служить довольно сильною уздою для произвола лиц, назначающих и производящих обыски, а обыски чаще всего у нас производятся тем же самым лицом, которое их само и назначает; так всякий чиновник особых поручений, производящий следствие сам, без всякого особого предписания, идет и обыскивает дом, представляющийся ему подозрительным на основании самых шатких соображений, и гражданин, у которого не находят того, чего искали, почти никогда не поднимает голоса в свою защиту, ибо опыт убедил всех в бесполезности всяких протестов в подобных случаях, и обысканный гражданин, с полным сознанием своего бессилия, только жалуется своим знакомым и соседям, а не начальству, от которого, основательно или неосновательно, не ждет справедливого возмездия господам, нарушившим неприкосновенность чужого жилища. Такой порядок дел вреден для репутации самого закона; он уничтожает в обществе должное уважение к закону и озлобляет лиц, против которых действуют произвольно во имя закона. Мы будем только справедливы, говоря, что правительство много поможет укреплению в обществе уважения к закону, если немедленно же обратит свое внимание на постоянное нарушение чиновниками законоположений о обысках и выемках (XV тома “Св. законов” раздел 2, гл. 3, статьи 93, 94, 97 и 98).

Обыск, обуславливающийся вторжением сторонних людей в неприкосновенное жилище гражданина – дело слишком щекотливое и не позволяющее терпеть в нем никакого произвола и ни малейшего отступления от предписаний закона. Никакие цели не должны оправдывать чиновников в тех мерах, к которым они дозволяют себе прибегать у нас при обысках и выемках. Они должны производить обыски, только имея на это в руках “письменный приказ”, которого они обыкновенно не ожидают, в противность 93-й статьи XV тома. Они должны брать понятых “из окольных жителей”, а не своих наемных писарей и не прохожих, пойманных на улице и не знающих, как бы только унести свои ноги. Они не должны вербовать в понятые преимущественно

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
людей самых безответных и бессильных даже для того, чтобы отбиться от полицейского служителя, который тащит их, без всякой церемонии, в понятия за рукав или за ворот. Они должны приглашать непременно “окольных людей”, не различая их общественного положения, и “окольные люди” не должны уклоняться от этого приглашения, в котором нет ничего обидного ни для чина, ни для звания. “Окольные люди” должны наконец понять, что, уклоняясь от такого приглашения, они способствуют тому самому чиновничьему произволу, на который потом сами же бесплодно сетуют. Затем настоятельно необходимо, для внушения доверия к закону, чтобы каждый обыск, “буде при нем поличного не откроется или когда присутственное место назначит произвести обыск без основательного подозрения”, не проходил безнаказанно для всех, бывших виновниками этого обыска. Об этом мы готовы просить словами г. Чичерина и хотим надеяться, что наша просьба найдет сочувствие в сердцах людей, обязанных заботиться об уважении к закону.

Соотчичи же наши, которым случится быть приглашенными в понятия, пусть не пренебрегают этой обязанностью и идут к исполнению ее с полным убеждением в пользе своего вмешательства в дело чиновника с гражданином, не знающим третьей главы второго раздела пятнадцатого тома Свода законов и не умеющего ввести иного чересчур ревностного исполнителя или, как они сами себя величают, “службиста”, в рамку, определенную законом для его деятельности. Повторяем, что в этом неуважении к закону, в том произволе, в котором сильно упрекают русских чиновников, они виноваты именно настолько, насколько виновато само общество, среди которого мог разрастись этот произвол. Если в каждом из членов общества или в большинстве их уважение к закону и стремление к равенству перед ним, вместе с готовностью дружно отстаивать законные права друг друга сделаются осязательными, то всякий произвол и всякая неправда будут невозможны. Будем же помнить, что каждая уклончивость человека, знающего более простолюдина, от законного участия в делах, где власть сталкивается с правом нашего ближнего, должна ложиться тяжелым упреком на нашу совесть и служить самым ясным доказательством нашей гражданской бестактности.

О ПРИЗНАКАХ БЛАГОДЕТЕЛЬНОГО КРИЗИСА В ВЕСЬМА НЕОПАСНОМ, НО ДОВОЛЬНО СТРАННОМ УМОПОМЕШАТЕЛЬСТВЕ ОДНОЙ ИЗ НАШИХ МОЛОДЫХ ПАРТИЙ – “ИДОЛЬСКИЕ ТРЕБЫ ТЕОРИИ”
Известно, что чем тише и спокойнее проявляется умопомешательство, тем труднее и реже оно излечивается. Напротив, помешательство, проявляющееся вдруг и разом доходящее до исступления, довольно часто уступает самым легким средствам и вообще длится гораздо короче. Патологические наблюдения над одним человеком в известных случаях можно переносить и на целые общества, подверженные разным недугам. Один из таких случаев мы имели в последнее время у себя дома. У нас в городах, и по преимуществу в столицах, чрезвычайно быстро возрастало число людей, в которых замечалось хотя несколько не опасное, но весьма странное частное помешательство. Пунктом этого помешательства было какое-то туманное, неясное и сбивчивое понятие, названное “народностью”. Собственно народ наш в этой эпидемии несколько не виноват. Напротив, наблюдательными людьми замечено, что болезнь свирепствовала только в местах, не имеющих близких и прямых сношений с русским крестьянином, а в селах и городах, где мужик ходит своим человеком, эпидемии этой почти не проявлялось. Имея сведения, что разысканиями не открыто в живых доктора Крупова, известного своим исследованием о различных видах человеческого помешательства, мы не смеем надеяться, чтобы кто-нибудь с равным ему талантом составил для современников монографию умственного недуга некоторых из наших современников. Мы можем сказать только несколько слов о географии и истории этой эпидемии и о некоторых мнениях, сложившихся на ее счет в обществе.

Началась она с Петербурга. Полагают, что зараза завезена сюда из Москвы кем-то, близким к “Русской беседе”, но абсолютной веры этому слуху дать невозможно. Только одни легкомысленные и недалководидные люди могли смешивать хроническую болезнь беседистов с недугом, которым, около двух лет назад, начали заболеть в Петербурге. В существе же они не имеют ничего общего. Беседистам, можно наверное сказать, не здоровится от органического страдания сердца, а у новых больных с первыми признаками болезни обнаружилось поражение головного мозга, сопровождавшееся припадками вроде нервной горячки. Сердце их оставалось здоровым и, нисколько не изменяя себе, усердно лежало ко всем тем предметам, к которым оно было падко до начала эпидемии. Идею, на которой свихивались первые жертвы эпидемии, можно было бы очень легко ловить на болтливых языках и на кончиках некоторых перьев, но присутствия ее в сердцах никому обнаружить не удалось. Итак, несомненно, что помешательство на народности имело свое географическое начало на берегах Невы. Месторождение этого недуга, впрочем, определится гораздо легче, чем произведшие его причины. Наивные люди из иногородних читателей

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

(заметившие, впрочем, ненормальное состояние некоторых петербургских мозгов, прежде чем оно усмотрено здесь) полагают, что эта болезнь приключилась от многомыслия и излишнего умственного напряжения. Однако достоверно известно, что это несправедливо. Особого умственного напряжения в жизни, предшествовавшей заболеванию первых субъектов, не было. Они были свежи, как майские розы, и юны, как весеннее утро. Болезненное уклонение мышления в одну сторону произошло скорее, может быть, вследствие суетливого стремления к новой жизни и неумения искать верных путей к двери. Терпения, к которому нас приучали не разумным убеждением, а карцерами да учительской линейкой, не было; благоразумной же сдержанности и сообразительности и подавно. А в воздухе повеяло чем-то свежим, по небу потянулись стройные вереницы журавлей, и, глядя на них, чуткие сердца замирали сладким трепетом. Как было удовлетворить этому трепету? На что указать затеплившимся надеждам? На то, в чем слышится сила, способная сдвинуть другую силу, словом – на народ, на этого великана, который сам о себе поет, что “кабы он встал, так бы до неба достал”.

Могучие песни с могучими образами охватили разум, и смелая фантазия, не сдерживаемая соображениями, которые обыкновенно регулируют стремления людей, искушенных житейской опытностью, поскакала, как разнузданный пегас, не глядя под ноги. Началось эпидемическое помешательство, выразившееся сначала пренебрежением ко всему, выработанному разумом и опытностью народов, опередивших нас на пути цивилизации. Пошла безумная, исступленная идеализация народа, перетолкование каждой его характеристической черты, указание таящейся в нем недомыслимой премудрости, единодушия, нравственной чистоты, простосердечия и высокого самоотвержения. Темными и загадочными намеками объяснялись его способности и склонности к иному строю жизни, при котором не будет ни богачей, ни нищих, “ни раб, ни свобода, а всяческая..”, и затем уже ничего нельзя было понять. Начались “идольские требы теории”, как говорит Аполлон Григорьев в своей прекрасной критической статье по поводу стихотворений Н. Некрасова (“Время”, июль 1862 г.).

Эти “идольские требы” никогда не были заявлены ни Пушкиным, ни Лермонтовым, ни Кольцовым, ни Никитиным, ни Шевченком, ни Некрасовым или Белинским, словом, ни одним из имен, дорогих нашей литературе по живому сочувствию к народу тех, кому принадлежат эти имена. Еще менее “требы” эти когда-нибудь заявлял сам народ. Теперь, когда, благодаря Бога, вся эта сатурналия поунялась; когда пузыри полопались и то оттуда, то отсюда раздаются честные, правдивые и беспристрастные голоса, как глянешь назад, так берет ужас. За человеческий смысл становится страшно. Чего только не лепеталось в этом неистовом самообольщении! Каких нелепых планов не строилось! Каких надежд не созидалось!.. И отчего все это рухнуло, даже и не рухнуло, а стусеивалось, спряталось, как гуськи, наклеенные на тесемку, прячутся под дощечку в детской игрушке? О род, достойный слез и смеха!

Друзья минутного, поклонники успеха не выдержали первого сюрприза, которым серьезная действительность приветствовала их шутовские хлопоты. Два, три столкновения с народом, результаты которых ясно предвидели люди, не терявшие здравого смысла, запугали пламенных любовников, и кумир их уж им не кумир. Он стоит в своем опустелом храме, и никто не приветствует его ни стихом, ни прозой; никто даже не идет стирать с него пыль, оставляя ей свободу насадить густым слоem, пока в окаменевшем сердце самого кумира загорится жизнь и согретая рука сама потряхнет свои холодные покровы. Куда же заброшены все кадилницы, в которых так недавно сожигался дурман при “идольских требах”? Где же эта любовь, вера в народ и надежды на его силы? Неужто вся она израсходовалась на тепловатенькую болтушку, в которой слово “народность” играло тему для удобнейшего сбыта своих писаний? Зачем же брошены любимые задачи: “Как слиться с народом?”, “Как должно изучать народ?” Где эти народоведы, вроде г. В. К-го, которого г. Григорьев справедливо упрекает в извращении смысла стихов Некрасова, ради того только, чтобы в словах поэта о народном восстании 1812 г. показать другую картину и странную смесь зверства и удалой “похвальбы этим зверством”, показать не 12-й год, а “эпоху Стеньки Разина”. Г. Григорьев занимает едва ли не самое видное место в ряду современных критиков, и мы, не имея основательных причин не верить ему, готовы согласиться с ним, что во всей этой путанице понятий “виноваты сказки, собранные г. Афанасьевым, да псевдожушкинский сборник песен. Не будь их, этих явлений, перевернувших вверх дном всю критику, – понятия критиков не спутались бы до того, чтобы народность, то есть национальность, грубо смешать с простонародностью и лишить Пушкина его национального значения?” Да у одних ли критиков спутались понятия? А что делали наши публицисты? Что за бессмыслица гналась в “Современной хронике” “Отечественных записок”? Что за шарady загадывались в “Домашних делах” “Времени”? Что за рассказы шли в разных мирах

да листках!

Свежо предание, а верится с трудом.

Публицист “Отечественных записок” гласом вещего пророка указывал на неизбежное обращение народов к иным аграрным законам и наивно уверял, что общины, кроме России, нигде не бывало. Публицист “Времени” (конечно, не г. Косица) доказывал, что у нас нет и человека, который изловчился бы написать книгу, пригодную для нашего необыкновенного народа. А что уж он толковал о слитии с народом, то можно назначить премию тому, кто докажет, что он взял в толк эти праздные глаголы. Были, по другим изданиям, и такие статьи, в силу которых все, кроме крестьянина в лаптях, считалось отбросом, и ничего больше не оставалось делать, как позабыть все, что кто-нибудь когда-нибудь знал, отказаться от носовых платков и тонкой рубашки, да два, три раза быть высеченным на мирской сходке. Конечно, выдержать такой экзамен никого не забирала охота, и над праздными толками о народности читатели стали смеяться гораздо ранее, чем производители этих “идольских треб” охолодились осеннюю встречу московских студентов с народом на Тверской площади и перестали пороть свой утомительный и вредный для общенародного дела вздор. Наконец настало время, избобличающее, что ложь стала надоедать уж и себе и людям – и слава Богу. Пора же понять, что в горькой правде больше любви, чем в лести и лжи. Вы Байрона-то, Байрона-то скорбного и раздраженного припомните, припомните эту дивную смесь негодования на насилие и любви к великому, желчи на Англию и возвратов любви к ней, к ее величию, которая властительно царствует над вашей душой, когда читаете “Гарольда”! Иль нам уж никто не образец? Какой, подумаешь, передовой народ! Пусть-ка льстец себе не ищет уголков, а начинает совестливо употреблять в дело дарованные ему таланты. Обществу наскучили темные вариации публицистов и беллетристов. Оно уж не читает ни сцен, ни рассказов, которыми каждый ов, ев, ин, цын, овский и евский угощали в свою очередь почтеннейших и терпеливейших читателей. Нужно же помнить, что между читателями много людей, знающих народ ближе самих писателей, и что им нельзя постоянно показывать таких Антипов, какие попадают изредка, а надо давать живых людей, обрисованных с правдивостью Писемского или Успенского. А то, пожалуй, можно долгаться до того, что никто не станет верить, а только сам уверуешь в собственную ложь. Это бывает...

Итак, если бредни о народности исчезают из нашей литературы, что мы позволяем себе думать по последним выпускам наших периодических изданий, то не будем жалеть о том, что пришло махом, то и ушло прахом, и возьмемся за дело соединения с народом. Будем хлопотать об охране и возвышении его человеческих прав и о приближении его к идеалу человеческого совершенства. У народа идеал этот готов – это Христос, не помянувши имени которого крестьянин не заложит сошника в землю и не съест краяхи своего черного хлеба. Пусть каждый честный человек ведет народ, по мере сил своих, к этому идеалу, и сам идет по тому же пути с разумом во лбу и незлобием в сердце. На этой дороге есть пункт, на котором непременно последует радикальное соединение с народом всех добрых людей. А кто пойдет иной дорогой – ну, что ж? “Худая трава из поля вон”.

Ссылаемся на всех честных людей, знающих русский народ, что он никогда не поверит тем, кто не убедит его в собственном веровании его святыням. Кто пренебрегает эту народную черту, тот горько платится за свои ошибки теперь и даст тяжкий ответ подрастающему поколению, которое нашими ошибками в таком важном деле отодвигается на столько же лет от лучшего положения, на сколько отбросили нас от него известные ошибки наших отцов. А между ними были люди и умные, и безгранично преданные общественному благу, – люди, имена которых грешно будет забыть молодому поколению и не почтить их сыновнею слезой.

Счастлива та страна, где граждане не забывают прожитых дней, где не снимают руки с рала и, глубже запуская лемех в землю, спокойно гонят новую борозду по огрехам прежнего поколения.

О РАССКАЗАХ И ПОВЕСТЯХ А. Ф. ПОГОССКОГО

Крымская эпоха была во многих отношениях важною для армии и имела огромное влияние на солдатскую литературу. Солдат стали обучать в полках грамоте, и одновременно с тем открылись заботы дать новым грамотеям чтение, сообразное их воинскому званию. За это дело взялись люди, которые обещали сделать много, но едва ли исполнили то, что обещали. По крайней мере в периодической литературе специального назначения за все время после крымского периода не выдалось ничего такого, на чем бы можно было остановить внимание. Самым выдающимся писателем в

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
новой солдатской литературе был, без сомнения, недавно умерший писатель Александр Фомич Погосский, по рождению поляк, по положению отставной офицер русской службы. Личные воспоминания об этом патентованном солдатском писателе еще и теперь, может быть, не подлежат огласке: скажу только одно, что человек этот при встречах с ним за границей вскоре после крымского замирения являл собою “смятенный вид” и не высказывал никаких намерений служить интересам русской армии; но вдруг все перевернулось, и имя Александра Фомича Погосского является в самой главе солдатских писателей новой школы. Он был необыкновенно счастлив на этом повороте своей деятельности: литературная критика того времени приветствовала его появление с самым пламенным восторгом; петербургские журналы и газеты почти единогласно провозгласили его наблюдательнейшим знатоком солдатских нравов и талантливым писателем, “какого еще не было”. Один большой, тогда очень влиятельный журнал, не находивший под солнцем имени выше действительно достойного почтения имени драматического писателя А. Н. Островского, даже поступился несколько величием своего фаворита и назвал Погосского “солдатским Островским”. В военных кружках новый писатель как понравился, что сразу же нашел там своим писаниям самую сильную поддержку. С этих пор имя Погосского стало пользоваться авторитетом в солдатской литературе, а его сочинениями в изобилии снабжались все полки и команды. Солдаты должны были их читать, и говорят, будто бы “зачитывались”. Сказкам вроде “Еруслана” и “Бовы”, казалось, пробил конец, – выжита была и “скобелевщина”. Теперь оказывается, что “скобелевщина” действительно исчезла, а “Бова” и “Еруслан” пережили невзгоду. Дело это в таком же положении и ныне: и теперь, если вы обратитесь в книжные склады агента военно-учебных заведений г. Фену с требованием книг для солдатского чтения, то вам подадут пачку книг Погосского. Другого выбора почти нет, и это весьма понятно, потому что с тех пор как Погосский забрал силу и стал редижировать солдатское чтение, конкуренция с ним стала невозможна. Писать для солдат можно было только при известной поддержке, а поддержка оказывалась только Погосскому, который и делал что хотел. Если бы кто-нибудь стал писать для солдат в ином духе, он, конечно, не имел бы успеха, потому что опробованный для сего дух был специальный дух Погосского. И вкус критики и вкус начальства были в пользу этого писателя, а потом, вероятно, это в значительной мере прививалось и солдатам. Оставалось подделываться под манеру и тон Погосского, и за это было некоторые принялись, но не имели успеха: Погосский умел удержать за собою первое место при жизни, и оно остается за ним и после смерти этого “незаменимого писателя”.

Что же им сделано для просвещения ума и сердца русского солдата?

Этому пора подвести итог, ввиду событий и обличений, устремляемых против церкви за ее нерадение о солдате, который не кладет в ранец евангелия, а таскает там “Еруслана” и “Бову”.

Серия книг, написанных и изданных при самых благоприятных условиях А. Ф. Погосским, очень велика. Одолев ее всю прежде, чем приступить к этой статье, я решаюсь думать, что большинство критиков, так единодушно и так решительно восхвалявших талант Погосского, не имели времени и терпения, чтобы прочесть от доски до доски массу плотных листов, выпущенных в солдатскую среду этим плодовитым писателем, давшим тон и камертон для солдатской литературы. Прочесть его – это большой труд, которого, как известно, бежит спешный критик современной литературы, ловящий только “общий вывод и направление”. И мы проследим только это направление и посмотрим, к какому оно может привести выводу.

Благосклонный читатель! кто бы вы ни были, – возьмите терпение пробежать со мною ряд книжек, которые я вам постараюсь представить. Если вы духовное лицо, – это вам объяснит многое, что, может быть, вас удивляло в настроении солдата, за которого теперь вас тянут к ответу; а если вы мирянин, – вы поймете, как неосновательны многие делаемые церкви укоризны, и это вам будет на пользу.

Садимся за читальный стол солдатской сборни и начинаем перебирать книжку за книжкою.

Берем по очереди, что попадет под руку.

1) “Жареный гвоздь”. Все содержание книжечки вертится на голой, нимало не покрытой бесстыжести: герой рассказа солдат поставлен на постой к молодой простодушной крестьянской женщине. Пользуясь своею плутоватостью и жалким легковерием молодой женщины, нежно любящей своего мужа, солдат приводит ее к

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
нарушению брачной верности и очень доволен. Бесстыдная история эта рассказана с отвратительной развязностью и бесшабашным цинизмом. Оставя в стороне несчастную добрую бабу, которая была хорошо женою и обманута солдатом самым мошенническим образом, автор рисует пожилую женщину Пафнутьевну, “вдову с бесконечным потомством по милости солдат и своих физических средств” (3), и ее устами рассказывает, как солдат наутро прощался с хозяйкой.

2) “Лешев хутор” – голая чертовщина. Рассказ вроде гоголевского “Вия”, но без гоголевского таланта.

3) “Чему быть, того не миновать, или Не по носу табак”, – театральное представление, разыгрывая которое солдаты, исполняющие роли, говорят со сцены публике неудобные для печати слова (см. стр. 14, 19, 20 и 23); [42] но всего характернее это то, что должны осмелиться произносить публично другие женские лица играющего персонала; например (стр. 71), разговор двух девушек о кирасире.

Писатель прививает такую гадость не только солдатам, но и их дочерям и женам, для которых писаны эти роли. Если справедливо, что театр есть школа нравов, то чему может научить такая школа, с такими уроками?

4) “Анчутка беспятый”, “Наум сорокодум”, “Собачий застрельщик” и “Медвежья наука”, – четыре произведения в одной книжке и в одном роде.

5) “Злодей и Петька”, еще развязнее. Тут прямо ругаются по-русски...

6) “Отставное счастье” и “Два кольца”.

7) “Господин колодник”.

8) “Подосиновики”. – Солдат приходит в отставку домой к жене, которой не видал много лет, и, застав у нее кучу рыжих детей, находит, что это так надо быть, – что это грибки-“подосиновики”.

9) “Чертовщина”, “Путешествие на луну”, “Мудрый судья”. В первом рассказе изображен добрый солдат, который, стоя у молодой хозяйки, слышал, как ее ночью “домовой душил”, – домовой этот был его однополчанин “унтер-офицер”. Второй – о кузнеце, который, приняв к себе издалека хозяйку, “ахтительную красавицу, и с той поры даже с феклистной не водился”. Но жена у него “сбежала с Оською Комолым”, а в это время в село пришли солдаты, и “солдат Яшка спознался с старухой”. В третьем рассказе автор касается высших сфер общества – и выводит напоказ солдатам полковых дам, которые представлены невесть какую гадостью.

10) “Всем шильям шило”, рассказ, в котором видим еще другую сторону автора. Тут девка Зайчиха, нарожавшая себе детей неведомо от кого, держит их, как зверят, в пещере и пьет с горя, а когда приходит к ним, то ведет такие речи (44–45): “А нема ж на вас погибели!” – “А бо-дай вас трясца замордовала, бесенята проклятые!” На 46-й: “Щоб тоби хвороба! Бо-дай ты вспухла! Сто вам чорты!” (47) “Пиячка непотребная; видьма бесстыжая!” и т. д. Если не сальность – то хоть грубость.

11) “Суходольщина” – знакомит нас опять еще с одною стороною направления Погосского: тут есть, так сказать, “тенденция”. Крестьянский мальчик Леша, взятый в лакейскую, в Петербурге, в течение двух лет кое-чему поучился и стал такой, что и студенты, собиравшиеся у его господина, заспорив о чем-нибудь, обращались к этому мальчишке, говоря: “Ну вот посторонний человек: ну говори, как ты об этом думаешь?”

Бедные студенты!

12) “Жизнь без горя, без печали”, – опять образчик в ином роде. – Это уже стихотворная штука, по размеру напоминающая “Конька Горбунка” Ершова; но с такими стихами, каких нет у Ершова. Например:

Не собьемся, братцы, с такты,

Там какая есть у нас,

Все же такта, – ну вот так-то (стр. 7).

Ты пусти меня, желанный,

В море синее гулять,

Воевода ты мой сбранный (8).

Дошло до “взбранного воеводы”, – и идет далее.

13) “Дедушка Назарыч”, – отставной солдат лес караулит и трет табак, “пертюнец”. По скромности или по иным требованиям автор это словцо в одной букве испортил, но зато в другом поправил. Табак “пертюнец” очень понравился дьячку, и этот дьячок, чтобы отблагодарить солдата, приносит “портрет”, который должен служить вывескою для терщика. Чей же это портрет? – Благоволите, читатель, выписать себе от комиссионера военно-учебных заведений эту книжечку и полюбоваться картинкою, напечатанною на 25-й странице, и вы, конечно, узнаете и фигуру и позу. Это мужчина, который нимало не похож на Назарыча, а похож на типическое изображение совсем иного лица. В левой руке у него чаша на высокой ножке, отнюдь не похожая ни на муравлений горшок, ни на иготь, в каких трут табак. В облике нет ничего воинственного, а скорее нечто иконописное – даже древлеписные движки есть на челе, а вокруг головы венчиком расположены буквы, образующие слова: “Отменный табак”. Есть тут намек и на хлеб, но при этом прималевана и бутылка... Всмотритесь в эту картинку, и вы не затруднитесь узнать нечто весьма вам знакомое и, конечно, не поверите, чтобы такую кощунственную штуку мог выкинуть человек русский... Но и этого мало: по игровой фантазии г. Погосского (26), “мальчишка Васютка приткнул свой нос к носу портрета и что сам имел под носом, то и припечатал, – отчего портрет еще живее вышел”.

На этой тринадцатой книжке надо остановиться: здесь, говоря в тоне рассматриваемого нами оригинального писателя, – “чертова дюжина”, далее которой забираться уже невозможно. Даже в тех целях, в которых мы должны были пошевелить ворох нашей новой солдатской литературы, следить за нею неудобно. Дальше приведенных нами тринадцати повестей стоит “Посестра Танька”, – это солдатская Мессалина русского сельского происхождения. “Посестра Танька” из всех книг Погосского самая распространенная и самая расхваленная в свое время критикою. “Посестра Танька” не “посестрие” в раскольничьем смысле, – не “сталая подруга” человека, имеющего свой взгляд на брак, но все-таки держащегося “любве ко единой жене произволения”. “Посестра Танька” г. Погосского держится донжуановского взгляда по истолкованию гр. А. К. Толстого. Раз оскорбленная изменою, она “насмешке жизни мстит насмешкой”. Но *quod licet Jovi, non licet bovi*; [43] что у графа А. К. Толстого разыгралось в каприз сердца, то у Погосского выразилось простым муженеиством. Байронизм Погосского годился только на то, чтобы изобразить в героине развратницу, от подробной передачи походов которой должно отказаться самое беззастенчивое перо. Что здесь описано на одной 53-й странице, того не встретите ни в какой другой современной русской книге. Но все это, невозможное для повторения, не лишено и некоторой тенденции: проститутская практика Таньки, которой “езде было полно”, связана с храмовыми праздниками, причем “всесветная и безответная, неистомная и беспардонная” красавица (86) получает себе и церковника; и тот говорит (83): “и аз аки людие”. Словом, повесть совершенно невозможная для человека, в котором была бы хоть капля жалости к нравственному состоянию читателя.

И между тем этот грубейший цинизм, эта неслыханнейшая безнравственность поддерживалась не только теми, с которых нечего спрашивать литературных понятий, но она одобрялась и критикою – тою самою критикою, которая преследовала “клубничное настроение” Всеволода Крестовского. Но что же “Петербургские трущобы” г. Крестовского в сравнении с любым произведением из перечисленной нами более дюжины г. Погосского? Никакая Чуха, никакая Крыса “Трущоб” не могут идти и в сравнение с “Посестрою Танькою”. Если нам скажут, что “общий вывод” в солдатской литературе Погосского имеет доброе направление, то допустим, что это так; но разве меньше добрых стремлений в “книге о сытых и голодных” г. Крестовского? Если скажут, что у Погосского все искупается его литературным мастерством и знанием быта, то не станем об этом спорить. Что за мастер г. Погосский, это видно, но видно и то, какой он знаток солдатского быта. Он изучил его – это правда, но только с какой стороны? Допустим, что у г. Погосского были самые добрые намерения и что в его рассказах есть одобрительный “общий вывод”: но... Это напоминает известное сравнение Гейне по поводу характера женщин различных наций: “Англичанка, – говорит он, – проста и питательна, как ростбиф

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

ее национальной кухни; а французенка – вся в приправах: здесь дело не в мясе, а в соусах. И эти соусы, за которыми исчезла сама французенка, отвели ей очень невысокое место и заставили предпочитать ей в воспитательном смысле простую и здоровую, как ростбиф ее национальной кухни, англичанку”. Так много может вредить соус, где его переложено, а в этом нет недостатка у г. Погосского, пикантными соусами которого мы питали душу нашего солдата целые двадцать лет кряду, начав это в самую значительную эпоху – в эпоху переустройства военного быта и распространения в войсках наших грамотности! Мы никого не осуждаем, но спрашиваем: могло это благоприятствовать образованию в наших солдатах вкуса к тому чтению, которым занимаются солдаты других христианских армий, на которые нам теперь указывают, находя тут вину представителей церкви? Нет; и тысячу раз нет. Эта литература, на которую наш солдат был направлен тотчас же по обучении его грамоте, не могла дать ничего, кроме потворства низким его страстям, и отвести его глаза от произведений, которые ведут к иному. Этот-то отвод глаз от доброго чтения, – смеем сказать с горестью, – едва ли и не был причиной того, что указанное чудовищное направление находило поддержку даже там, откуда ее всего менее надлежало ожидать.. И что же: несмотря на все это, чем являет себя русский солдат в нынешнюю томительную войну? – тем же храбрым, терпеливым и сострадательным человеком, каким его давно знали! Какая богатая природа и какая преходящая заправка! Откуда же взялась последняя? Если солдата поили литературную отраву, то не вдохнуло ли в него все эти силы ораторское красноречие вождей? Не много, конечно, в нашей памяти новейших образцов этого красноречия, но кое-что из самого новейшего помним. В газетах была одна речь раненого генерала, где мы в десяти строках насчитали три раза слово “черт”. “Черт меня возьми, черт тебя возьми, и черт все побирай”. Другой генерал говорил: “чего боитесь смерти: у меня есть дом в Петербурге и несколько тысяч дохода, а у вас ничего, кроме блох...” Черти да блохи... Едва ли и это могло дать солдату чувство христианского самопожертвования, и опять приходится искать: не вдохнула ли этого в него воспитавшая его церковь, и вдохнула так крепко, что этого ничто не могло до сих пор из него вырвать? Вот явления характерные и замечательные, которых не следовало бы упускать из вида тем, которые так чивы на укоризны церкви за произведения, находимые в солдатских ранцах. Мы с горестью встречаем эти нападки, не потому, чтобы они были уже очень тяжелы и больны, но потому, что самое лучшее их объяснение – это непонимание дела. Но еще хуже, если в этом не столько непонимания, сколько намерения опять “отводить глаза” от настоящих причин зла, коренящихся в самом воздухе, которым дышит наш вертоград, дающий так много чертополоха и пустоцвета. Белые лилии не могут здесь расти, сколько бы их ни подсаживали. Мы знаем, что в обществе теперь есть претензия: почему же в духовенстве нет таких самоотверженных людей, как достопочтенный пастор Дальтон, который трудится на войне и приносит раненым очень много пользы. Серьезная претензия, на которую, впрочем, отвечать очень легко. Пастор Дальтон делает прекрасное дело, потому что “его общество” дало ему средства делать это дело. Одною доброю волею и пастор Дальтон ничего бы не сделал. Но где такая русская община, которая снарядила подобным образом русского священника? Или их нет – таких добрых священников? Кто будет так нагл, чтобы утверждать это, тот скажет неправду. Если их и немного, то они все-таки есть, только может быть:

Этим соколам
Крылья связаны,
И пути-то им
Все завязаны..

Но, к сожалению, этого словно не допускает направленное пристрастие, или, откровеннее сказать, “направленная ложь”, которая и в новом своем настроении, совершенно по-старому, и лжет, и ползет, и бесится. Это не обещает ничего хорошего для страны, которой так нужна теперь самая неллицеприятная правда.

Впервые опубликовано в журнале “Православное обозрение”, 1877 год, ноябрь.

О РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ

С.-Петербург, четверг, 26-го апреля 1862 г

Статья, помещенная в одном из номеров нашей газеты, о характере действий Российской-американской компании, подверглась порицанию со стороны правления этой компании и многих ее акционеров, из которых один, проживающий в Харькове, сделал на нее весьма остроумное и весьма непрактичное замечание, а многие другие ограничиваются до сих пор более скромным заявлением своего неудовольствия к “Северной пчеле”. Встречаясь с такими заявлениями, мы, собственно говоря, до сих пор не можем растолковать себе: почему особенное негодование лиц,

заинтересованных в делах Российско-американской компании, падает на нас? Мы нисколько не старались подрывать под репутацию компании и выразили о ней только свое личное, ни от каких сторонних побуждений не зависящее мнение. Если наши воззрения невыгодны для интересов компании, то мы об этом очень сожалеем, но тем не менее считаем себя вправе оставаться при своем мнении, ибо не видим никакого основания защищать выгоды компании в ущерб выгодам всего русского общества, позволяющего нам быть органом известной его части. Если же мнения наши о компании неосновательны или, что еще хуже, пристрастны (как кажется харьковскому акционеру), то правление может винить в выражении таких мнений не нас одних. Такие или почти такие мнения высказаны “Временем”, “Русским миром”, кажется, “Русским словом” и, если не ошибаемся, еще несколькими русскими органами, а вероятно, и правление, и сам харьковский акционер не найдут же удобным заподозрить в пристрастии всю русскую прессу! Поистине мы не понимаем беспокойства такой сильной компании по поводу одной нашей статьи, когда общее нерасположение к ней высказывается до сих пор почти всеми. Правление компании, успевшее во время 60-летнего владения русскими землями и русскими подданными в Северной Америке приобрести большую самостоятельность, представляется теперь какую-то весьма почтенную, но совершенно отжившую старушкой. Оно, как Иван Александрович Хлестаков, хочет видеть от всех “преданность и уважение, уважение и преданность”, а вовсе не обращает внимания на то, что в наше время и преданность и уважение приобретаются вовсе не теми путями, какими они приобретались двадцать, сорок и шестьдесят лет тому назад. Правление компании пренаивно тщеславится недоступностью своих действий для обсуждения их частными лицами. Хвалиться такими вещами в наши дни значит ронять себя, и потому компания решительно не вправе сетовать, что ее не окружают “преданностью и уважением”. Что делать, век такой настал, а против воды не поплывешь. Компанию беспокоит также то, что о ней толкуют вкривь и вкось; но в этом очевидно виновата ее же собственная таинственность, перед которой ничто все секретничанья разных русских акционерных обществ. Российско-американская компания, без всякого сомнения, хочет показать, что она нимало не дорожит общественным мнением, что она надеется опереться на иные мнения; что ж? это изобличает старческую несообразительность и неуважение к стране, а больше ничего. Мы уже указывали всю несостоятельность компании по управлению народом нашей американской территории, и компания рассердилась на нас за эти указания, но не удостоила их категорическим опровержением и намекнула только, что пресса, рассуждая о компании, суется не в свое дело, что (по русской пословице) “не нам чай пить, когда морщиться не умеем”. Мы отвечали, что спор в том тоне, к которому прибегает компания, вовсе не спор, а какое-то непозволительное словоизвержение, концерт на красноречие и задорливость. Теперь снова оказалось несколько фактов, свидетельствующих частью о невнимании и неспособности компании к управлению народом, частью о неосновательности и претензии на неприкосновенность звериного промысла в ее пользу, а в городе ходят толки о том, что литература задалась целью способствовать лишению Американской компании всех принадлежащих ей оседлостей и обработанных земель в Ситхе и на материке Америки. Это вызывает нас на настоящую статью.

По известиям от 17-го декабря 1861 года, [44] зима в Ситхе стояла очень холодная, многоснежная и упорная, “а за картофелем посылали пароход “Николай I” в проливы”. Во второй рейс за картофелем пароход наткнулся на камень, и спасенный экипаж жил у колошей. Гг. акционеры и все друзья Российско-американской компании, отстаивающие ее от всякого упрека в пренебрежении земледелием, могут из этого видеть, что не земля и не климат во всем виноваты, а во многом виноваты наши Колумбы, у которых нет картофеля, тогда как он есть у диких колошей, не упускающих случая поколотить своих просветителей.

Из Николаевска-на-Амуре пишут, что у них все ужасно вздорожало и что “в Амурской компании почти ничего нет, а Российско-американская компания давно не имеет никаких товаров. Поверенные ее составили в Николаевске фактуру для будущего года, но фактуру весьма ограниченную”. Вообще там не надеются на Российско-американскую компанию и упрекают ее в недостатке торговой предприимчивости.

Креол Кашеваров, рассуждая о предположении отдать в вечное пользование Российско-американской компании всех тех местностей, на которых она имеет теперь оседлость или разные заведения, и о предоставлении ей на продолжительный срок звериного промысла, находит, что это значит отдать компании “все”. Известно, что звериные промыслы компания старается оставить за собою на том основании, что без регулирующего участия просвещенных лиц, служащих компании, зверь будет истреблен

алчными промышленниками и промысел прекратится. Наше общество, опасаясь позволить себе и другим ступить без опеки один шаг, охотно верит этим угрозам, а литературе нечем фактически доказать нелепости этой общей выходки всех подобных компаний. Российско-американская компания очень ловко позаботилась, чтобы таких доказательств у литературы не было, ибо опять-таки компания себе ничего более не требует, кроме “преданности и уважения, уважения и преданности”.

Креол Кашеваров, как человек знакомый с делом, рискнул несколько разъяснить нам состояние промыслов и значение запуска: так называют временную остановку лова для поддержания зверя.

Промысловые звери делятся: на земляных (материковых), островных, речных и морских. У материковых зверей шерсть нежнее, чем у островных, однородных. Островные звери – лисицы, песцы и проч., живущие на острове, окруженном со всех сторон незамерзающим морем, естественно, не могут отшатиться с своего острова никуда. Поэтому и нетрудно знать как пору запуска, так и время, когда можно начать вновь ставить клепцы для продолжения промысла этих зверей на поверхности запущенного острова.

К числу островных промысловых зверей надобно отнести и водоземных: котиков и моржей. По таинственному закону природы, еще не разгаданному, каждое лето котики приплывают в Берингово море и выходят на острова Прибылова и Командорские плодиться. В надлежащее время, дознанное многолетним опытом, то есть время, когда можно приступить к промыслу, котикам делается отгон; их отгоняют с берега вовнутрь острова, где они становятся неповоротливыми на траве. Тут их бьют дрегалками (ручные деревянные колотушки) почти по выбору и в количестве, сколько можно и надо по расчету. По окончании побоища остальных котиков снова отгоняют, но только уже обратно к берегу, где и оставляют их в покое. В свое время котики сами покидают свои лежбища и отплывают, но куда? неизвестно... Может быть, северное зимнее время они проводят где-нибудь в теплом месте, подобно медведям, проводящим зиму бездейственно в берлоге.

Выше я сказал, что котиков бьют почти по выбору и в количестве, сколько можно и надо, по расчету. Это делается для того, чтобы не истребить вовсе зверя и дать ему возможность размножиться. Расчет этот основан на продолжительном наблюдении возраста и приплода котиков некоторых (приметных по отличительным пятнам на лбу у коноводов) партий, сделанном умным, наблюдательным управляющим острова Св. Павла креолом Шаешниковым и тамошними старожилками алеутами. Из их рассказов о. Иоанн Вениаминов (ныне высокопреосвященнейший Иннокентий, архиепископ камчатский и проч.) составил интересную таблицу вероятной возможности размножения котиков, если промышленники, при ежегодном промысле этого зверя, будут ограничиваться показанными в таблице его количествами, постепенно возможного увеличения добычи зверя, от определенного им минимума, в течение данного в той таблице периода времени, до размножения зверя, и блистательный успех оправдал глубокое соображение почтенного автора таблицы.

Совсем иное с морскими, речными и земляными пушными зверями! Последним есть где разгуляться. Безграничное пустынное пространство и суровая зима дают им возможность размножаться спокойно. Туземец-зверолов только случайно упромышливает их, когда он на горах или на тундре охотится за оленями или за волками. Соболь или куница также полезна в быту его. Но самая важная статья внутренней промышленности в суровой части нашего края – это речные бобры. Их ежегодно истребляется большое количество. Шкуры их служат главным предметом меновой торговли, и потому старательно их промышляют дикари. Может быть, со временем количество речных бобров станет уменьшаться, но о запуске их и думать нечего: они собственность внутренних, обитающих на обширном пространстве независимых туземцев, не знающих над собою никакой власти, кроме обычая и преданий, наследованных ими от предков.

Равным образом невозможен действительный запуск и для морских бобров, ибо, по замечаниям алеутов-промышленников, бобер появляется и проводит первую половину лета только там, где он находит себе изобильное кормовище и не слышит запаха дыма, которого он не терпит. Кормовища находятся на так называемых бобровых банках, вблизи островов. Случается, что эти кормовища опустошаются бобрами в течение одного лета, а в два или три непременно. Основываясь на этом, опытные морские промышленники уже заранее знают, что в будущем лете на этом месте или банке мало или даже и вовсе не будет зверя, и предсказывают появление его в большем количестве на другом известном месте. Туда и высылаются бобровые партии.

Но одни ли и те же бобры перекочевывали, так сказать, на это новое место? Вопрос нерешенный.

Независимо от появления в большом количестве морских бобров на новом месте, успех промысла их зависит много, если не совершенно, и от господствующей погоды в продолжение первой половины лета. Бывает, что во все это трехмесячное время могут сделать не более трех, четырех промысловых выездов в море. Для того чтобы такие выезды были непременно удачны, необходимо спокойное, гладкое состояние поверхности моря, чтобы можно было верно следить на ней понырку бобра. А это замечается только посредством пузырьков, образующихся на поверхности моря вследствие того, что стрелочное древко, отскочив от своего копыца, привязанного к древку длинной ниткой, свитой из жил больших животных и намотанной около середины его, приняв горизонтальное положение, нырнувшим бобром тащится усиленно; нитка разматывается, и древко, разрезывая, в некотором расстоянии бобра, массу воды, полосой более двух футов, задерживает быстроту понырки бобра и в то же время изменяет ему на поверхности моря своим буравлением воды. Подобно киту, нуждаясь в воздухе, бобр волей-неволей всплывает, уже непременно вблизи байдарок, на поверхность моря, где одна или более стрел снова вонзаются в него, и т. д. Малейшая рябь на море уже мешает верно замечать понырку и, следовательно, направлять ход байдарки при погоне за нырнувшим бобром.

В начале июля прекращается в российско-американских колониях промысел морских бобров; они покидают наши берега и уходят – куда? – также неизвестно.. После этого можно ли ручаться, что иностранные моряки не могут случайно открыть зимний притон этих свободноподвижных драгоценных пушных зверей, если они зимою, так же, как и летом – вторую половину которого где проводят, опять-таки неизвестно, – показываются на поверхности моря, хотя бы и временно? И в особенности в настоящее время, когда по северной части Великого океана судоходство приняло внезапно такой общий громадный размер! Разве также не может случиться, что где-нибудь в малопосещаемой ныне кораблями части сказанного океана со временем откроют или найдут неизвестные бобровые банки?..

К числу морских зверей относятся сивучи и нерпы. Что же без них может сделать для себя свободный алеут-гражданин, [45] если он не будет иметь права промыслять для себя этих морских зверей? Ему нужен лавтак для байдары и байдарки, без которых он как приморский житель и промышленник и по своей природе, которую сломать можно не скоро, существовать положительно не может. Ему, по климатическим условиям страны и по роду промышленности, необходима каймлейка, нужны обтяжка на байдарку, голенища к торбасам из кишок и горл, нужно для пищи мясо и жир этих морских зверей.. А кит? морж? и проч.

Моржа тоже следует причислять к промысловым зверям, значит, и он принадлежит Российско-американской компании. Этот огромный и сильный зверь добывается с большою опасностью для промышленников-алеутов. Этот промысел – из-за клыков – есть страшнейший, многотрудный и самый неблагодарный для промышленников. Словом, алеуты, перенося на себе с южного берега Аляски на северный свои байдарки и немного провизии, останавливаются у залива Моллера, по западную сторону которого находится лежбище моржей, начинают поститься и в день, назначенный для побоища моржей, молятся Богу, надевают чистые рубахи и, взаимно простясь, идут обхватить моржей, то есть стать перед ними лицом к лицу во фронт, направив против них копыя, чтобы встречать их насмерть. Моржи кинутся на фронт не ранее, как когда их испугают: зверь этот на суше движется только по одному прямому направлению; в большой же партии скопляется правильными рядами. Для промышленников самый опасный момент – это принять на копыя первый их ряд, который непременно надобно весь переколоть до последнего моржа. Со вторым рядом моржей справиться менее опасно. Моржи, не сворачивая, как уже говорено, в сторону, лезут на трупы первого ряда, поднимают голову, и оттого промышленникам ловче колоть этих великанов, чем первый ряд. С последующими рядами моржей справляться, так сказать, из-за баррикады, неопасно.. Но Боже сохрани, если первый ряд прорвет фронт промышленников! Тогда последующие ряды моржей стремительно, неудержно поскачут за ним в воду, до последнего, а промышленники должны искать спасения себе в бегстве.

Немедленно по окончании побоища приступают к отнятию от убитых зверей клыков их – главной цели такого многотрудного и опасного промысла. На четвертый и пятый день нестерпимый запах, происходящий от разложения множества сотен моржовых трупов, заставляет промышленников покинуть лежбище – поле их подвига. Возвращаются на южный берег Аляски тем же путем, но с прибавкою тяжести около

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
двухсот пудов. Убитые сотни моржей оставляются на съедение зверям.

Полагают, что застраховывать морского зверя (кроме котиков) вообще не следует, и напрасно. Также напрасно опасаться, что при вольном промысле морских зверей, производимом местными промышленниками, морской зверь будет истреблен; да для этого и местных человеческих сил не достанет в русской Америке! Делать вовремя, где следует, запуск зверям – это специальность туземных промышленников. Сравнивать частную промышленность прошедшей печальной эпохи, производившуюся внешними и временными необузданными, грубыми пришельцами, с возможной будущей частной, но местной, правильной промышленностью, заключать, по губительным последствиям давно прошедшего, о возможности повторения таковых же в будущем – неосновательно. Но, конечно, алеуты, как только “компания не будет для них нянькою”, уже не поедут, за ничтожную плату, на утомительный, расстраивающий грудь от продолжительной гребли, опасный бобровый промысел, в лучшую пору, для заготовления себе запаса на зиму. А кроме алеута кто может выехать на промысел морских бобров? Никто. Китоловы на вельботах? Они любят курить и покушать хорошо, им нужен очаг, а следовательно, огонь и дым, без чего обходятся алеуты во все время бобрового промысла; бобр же не жалуется дыму, следовательно, почуяв запах его, отшатнется от места – тогда где его искать? Да и сколько понадобится вельботов? Поэтому у алеута тоже не будет конкурента, что он, конечно, поймет очень скоро.

Если правление Российско-американской компании находит, что все соображения, высказываемые насчет ее участия в судьбах отдаленной русской территории в Новом Свете, неосновательны и пристрастны, то ей следовало бы обратиться к тому же средству, которым не решались совершенно пренебрегать правления других акционерных компаний, несших на себе какие-нибудь упреки, то есть гласно опровергнуть эти соображения. До тех же пор, пока мы не увидим этих опровержений, на которые вызываем правление, ни само оно, ни его друзья не вправе упрекать литературу ни в каком пристрастии, и мы по-прежнему верим в необходимость окончания аренды русской Америки и в открытие ее всем русским людям, с дарованием краю управления, устроенного на современных началах, указанных отчасти покойным Головиным. Мы не обинуясь говорим, что дальнейшее управление нашими колониями через посредство Американской компании, по нашему искреннему убеждению, вредно и для территории, и для метрополии, и для цивилизации, о которой компания не способна заботиться. Это наше мнение, которое мы еще раз просим правление опровергнуть, но не экивоками, а фактами.

О РУССКОЙ ИКОНОПИСИ

Я никогда не в силах буду позабыть того впечатления, которое произвело на меня некогда мое первое свидание с Васильем Александровичем Прохоровым. Почтенный археолог, после довольно продолжительного разговора со мною об упадке русского национального искусства вообще и особенно о безобразном повреждении иконографического искусства, сказал, что он не верит себе, что видит человека с любовью к одной из самых покинутых отраслей русского искусства.

Тогда я не понимал всего значения ни этого отношения почтенного ученого к моим занятиям иконографией, ни его удивления, что он встречает во мне человека, этим интересующегося; но прошло немного времени, и я сам испытываю почти то же самое. Написав недавно заметку об адописных (см. № 192 “Русского мира”) иконах, я имел в виду одну цель: поправить мнение неизвестного мне газетного корреспондента, которое мне казалось ошибочным. Ни на что другое я не рассчитывал, зная, как мало внимания дается у нас этому предмету. Но вот в 211 № “Русского мира”, по поводу моей заметки, появился отзыв, который меня чрезвычайно удивил; добавлю: удивил и, прибавлю, обрадовал, так как из него я вижу, что на Руси есть люди, которые верно понимают значение иконы для нашего простолюдия. Вслед за сим, 29 и 30 минувшего августа, в “Ведомостях С.-Петербургского градоначальства” (№№ 198 и 199) появилась обширная статья, посвященная этому же предмету, в течение столь долгого времени не удостоившемуся никакого внимания. Статья эта, скомпилированная, как кажется, большею частью по Сахарову и Ровинскому, составлена весьма интересно, обстоятельно и толково; но я не буду о ней говорить более и обращусь к письму, вызванному моею заметкою. Автор упоминаемого мною письма (под коим стоят две буквы N. R.) совершенно основательно говорит, что “икона для простолюдия имеет такое же важное значение, как книга для грамотного”; но мне кажется, что икона часто имеет даже несколько большее значение. Однако я не буду спорить об этом и остановлюсь на том положении, что “икона то же, что книга”, и тот, кто не может читать книги с иконы, которой поклоняется, втверживает в свое сознание исторические события искупительной

жертвы и деяния лиц, чтимых церковью за их христианские заслуги. Это одно само по себе немаловажно. При том состоянии, в каком находится наш малопросвещенный народ, иконы в указанном смысле действительно приносили и приносят до сих пор огромную пользу: так называемые “иконы с деяниями” представляли поклоннику целые истории; но иконописное дело наше находится в самом крайнем упадке, и им занимаются невежды, которые пишут на иконных досках неведомо что и неведомо как, а потому такие иконы не могут служить той полезной для народа службы, какую они приносили прежде.

Упадком этого искусства и даже окончательным низведением его к нынешнему безобразию и ничтожеству у церкви, очевидно, отнимается одно из самых удобных средств распространения в народе знакомства с священной историей и деяниями святых.

Это такая потеря, о которой стоит пожалеть, даже помимо того, что не менее жалко и само заброшенное искусство, имевшее некогда у нас свой типический, чисто русский характер, и притом стоявшее по технике на такой высоте, что наши иконописные миниатюры своею тонкостью, правильностью и отчетливостью рисунка и раскраски обращали на себя внимание самых просвещенных людей. Таковы, например, капонийские створы русского письма, находящиеся в Ватикане, у папы, [46] филаретовские святы в Москве и многие другие.

Потеря эта, однако, к сожалению, до сих пор плохо и мало сознана, и только лишь в самое последнее время ее, кажется, понемножку начинают чувствовать. На это есть приметы: при С.-Петербургской академии художеств основан христианский музей с большим собранием иконописных предметов самых разнообразных русских школ; там же есть экземпляры старых греческих икон (эпохи процветания этого искусства в Греции) и превосходные рисунки, сделанные князем Гагариным с достопримечательных икон в церквах Афона. Кроме того, в этом музее есть интереснейшие образцы иконописи коптской, абиссинской и других. Во дворце ее императорского высочества великой княгини Марии Николаевны группируется другое такое же собрание, которым заведует Д. В. Григорович. При московском Румянцевском музее находится третье превосходное собрание этого рода вещей; при тамошнем же Строгановском училище рисования – четвертое. Кроме того, известны превосходные собрания иконописных вещей и в очень многих частных домах, например: в Москве у Стрелкова и др., в Петербурге у гр. Строганова (наибольшая и наилучшая из всех частных коллекций), также у князя Шаховского, у Лобанова, у Соллогуба, у купца Лабутина и др. Из последних достойно замечания обширное собрание Лабутина, хотя оно и составлено без всякой системы. Кроме того, вкус к старой иконописи видимо возрастает, и специалисты, торгующие этого рода стариною, не затрудняются в сбыте по весьма высокой цене. Все это несомненно показывает, что на Руси нашим русским иконописным искусством еще и о сию пору дорожат, но дорожат очень немногие, а все великое большинство или вовсе о нем ничего не знает, или уверено, что русское иконописание – это та “богомазня”, которою заняты ребята да девки в Холуе, Суздале, Палихове и Мастерах.

Однако все названные музеи и собрания почти никем не посещаются, а если и посещаются, то без всякой пользы, потому что ни один русский художник не занимается русскою иконографией и самую мысль об этом отвергает, как нечто унизительное, смешное и недостойное его художественного призвания.

Ни один из редких экземпляров наших иконографических музеев не копируется, и благодаря тому все эти музеи, кроме исторического, никакого иного значения не имеют.

Как же помочь этому – разумеется, в том случае, если бы, хотя благодаря штундистам, наконец была создана необходимость поднять русскую иконописную школу на ту высоту, на которой она стояла до порчи ее фразью, а может быть – и развить ее еще выше? Автор письма, напечатанного в 211 № “Русского мира”, полагает, что можно бы образовать с этою целью общество и что в этом случае могло бы много помочь Обществу распространения книг священного писания; а при этом он также дает мысль делать иконы хромолитографическим способом и распространять их посредством продажи при церквах.

Все это мысли очень сочувственные и в общем довольно практичные, за исключением одной мысли: о производстве икон хромолитографическим путем; это уже совершенно не годится: по желанию и вкусу русского человека, икона непременно должна быть писанная рукою, а не печатная. Хромолитографические иконы народом не

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru принимаются, и как бы они ни были хорошо исполнены, наши набожные люди, держащиеся старых преданий, откидывают печатные иконы и называют их “печатными пряниками и коврижками”.

“То, – говорят, – пряник с конем, а это пряник с Николою, а все равно пряник печатный, а не икона, с верою писанная для моего поклонения”.

Возбуждать об этом спор с таковыми “богочтителами” было бы, конечно, бесполезно для дела, тем более что есть и отеческие правила, возбраняющие поклонение иконам печатным и писанным на стеклах. Правил этих народ еще сильно держится, и потому надо, кажется, позаботиться о производстве хороших икон другим путем.

Иконы надо писать руками иконописцев, а не литографировать, но надо писать их лучше, чем они пишутся, и строго по русскому иконописному подлиннику.

Как же достигнуть того, чтобы у нас теперь нашлись мастера, которые стали бы работать в требуемом стиле при хорошем умении рисовать и обращаться с левкасом, красками, золотом и олифю, варка которой у всякого иконописца составляла “особливый секрет”?

Кажется, что в этом случае, чем ходить окольным путем, лучше всего идти прямо к цели и обратиться к самой Академии художеств и Московской художественной школе, которые без всякого затруднения могли бы открыть у себя иконописные отделения, на тех самых основаниях, на каких, например, при Петербургской академии открыто мозаическое отделение. Академия, конечно, не превзошла бы своей компетентности, если бы она обратилась к этому по собственному почину; но как она починать в этом роде, кажется, не склонна, то весьма позволительно было бы Обществу любителей духовного просвещения или Обществу распространения священного писания испробовать отнестись к президенту академии с ходатайством об учреждении иконописного отдела. Если же совет академии найдет сообразным с его участием в жизни народа отклонить от себя эту просьбу и *manu intraepidae*[47] впишет этот отказ в свои летописи, то тогда полезно было бы попытаться учредить премии и открыть иконописный конкурс при петербургской постоянной художественной выставке. Эта мера ни в каком случае не осталась бы без последствий, и такие мастера, как Пешехонов (сын известного реставратора фресок киево-Софийского собора), даровитый и обладающий большим вкусом московский иконописец Силачев (подносивший свою работу государю императору) и искусный иконописец с поволжского низовья Никита Савватиев, конечно, не преминули бы явиться на конкурс с такими произведениями русской иконописи, которые обратили бы на это искусство внимание публики, ныне им пренебрегающей и не признающей в нем никаких достоинств, может быть единственно потому, что почти никто из этой публики не видал и не знает хороших образцов в этом роде. Экспоненты, конечно, тут же и продали бы свою работу и приобрели бы новые заказы. Учредить же премию, мне кажется, не было бы особенно трудно, а председательство по присуждению оной, может быть, не отказался бы принять на себя граф Строганов, как член постоянной художественной выставки и едва ли не первый и не совершеннейший современный знаток русского иконописания.

Таковы первые меры, которые могли бы, мне кажется, кратчайшим путем поднять русское иконописание в его производстве; затем, разумеется, понадобятся свои меры и для распространения хороших и вытеснения икон плохих.

На сей последний счет старое время дает нам готовый способ: встарь иконы освящались не иначе, как по рассмотрении их технического достоинства тем духовным лицом, которому икона подавалась для освящения. То же самое, разумеется, можно бы постановить построже наблюдать и теперь. (См. “Книга соборных деяний”, лета 7175, г. Москва, и совместный указ святейшего синода и правительственного сената 11 октября 1722 г. о назначении Ивана Заруднева надзирателем за иконописцами.) В этом случае надо возобновить контроль, какой признавал необходимым император Петр I. Но дело в том, что, по случаю дороговизны лицевого подлинника (7 р.), его нет почти ни при одной православной церкви, и потому священник лишен возможности сверить принесенную ему икону с хорошим и правильным начертанием, принятым церковью, а святит все, что ему поднесут. От этого и распространяются иконы самые фантастические. Это бывало и встарь, и тогда изографы “много ложно ко прелести невежд писали” (“Книга соборных деяний”), но за ними тогда было кому наблюдать, а теперь некому. Надо бы, чтобы лицевой подлинник был во всякой православной церкви, ибо без этого само духовенство наше, совершенно не сведущее в иконописании, не может

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
определить, правильна или неправильна приносимая к освящению икона. Это второе.

Учредить склады икон при церквях – мысль прекрасная; но она одна сама по себе не достигнет своей цели, потому что “богомазы” всегда проникнут в деревню с своим товаром, с дешевизною которого хорошим иконописцам конкурировать невозможно. Притом же безобразнейшие иконы не только покупаются от разносчиков, но они приносятся народом из мест, куда люди ходят на далекое поклонение. В этом особенно знаменит Киев, где теперь в продаже обращается иконопись невероятнейшего безобразия. Как бы ни хороша была икона, продаваемая дома, у ктитора своей приходской церкви, набожная база все-таки непременно предпочтет ей безобразную мазню, которую предложат ей купить на полу под колокольнями лавр и других чтимых монастырей.

И, наконец, надо кому-нибудь собраться с духом и напечатать техническую часть русского подлинника (первую часть греческого подлинника, составленного монахом Дионисием и изданного Dideron, Manuel d'icône-graphie chretienne, Paris, 1845[48]), где изложены рецепты приготовления досок, грунтов, полимента, холста, красок, золота, олифы и т. п. У французов, которым это сочинение дорого только как антик, оно переведено и издано, а у нас, для которых оно имеет живое значение, этой части подлинника до сих пор не издано, хотя В. А. Прохоров давно об этом заботится, но заботится вотще. На это нужны средства, а средства у нас не всегда находятся на то, что нужно. Без этого же наставления, или без этого курса, без этой инструкции иконописания, и самый заохоченный к иконописному делу художник будет поставлен в очень большие затруднения, потому что письмо краскою, растворенною на яйце, требует совсем не тех приемов, что письмо масляною краскою. Находящиеся же у некоторых иконописцев редкие экземпляры технической части подлинника в рукописи вообще неисправны, сокращены от лености писцов и перебиты от их бестолковости, а притом всегда очень дорого стоят (рублей 20–30). Затем у всякого мастера варка олифы, сгущение полимента, раствор золота и красок и приемы наведения плавей – это все составляет секрет, для сохранения которого в самых подлинниках повелевается, например: “творя золото, всех вон выслать”; другие же секреты наивно писаны латинским алфавитом, например, *rodobaet viedet: kako sostawit, poliment, a trertyi, наконец, тарабарщиною, которой, по народному выражению, “сам черт не разберет”*. Надо непременно вывести это секретничанье, а это только удастся разоблачением секрета, то есть изданием подлинника, обеих частей разом. Без этого же иконописное дело на Руси не может поправиться, и тому есть очевидное доказательство: в иконописных школах Киево-Печерской и Московско-Сергиевской лавр в последнее время начали держаться понемножку русского стиля, то есть удлиняют фигуры от 7 до 9 головок и чертят контуры строже, а поля золотят по полименту, чеканят и пестрят “византиею”, но все это отнюдь не дает иконам лаврского письма типического русского характера. Не говоря о том, что во всем рисунке все-таки остается прежняя безвкусная грязь, а это вовсе не идет при удлиненной фигуре, самая масляная краска и позолота держатся слабо, и отчетливая мелкость, столь приятная в иконе настоящего иконного письма, отнюдь не достигается при этом смешении стиля и раскраски. С яичными же красками, дающими иконе ей одной приличный, тихий, мягкий, бесстрастный тон и нежность, лаврские мастера совсем обращаться не умеют, и поучить их, как видно, некому, а сами они ничего об этом нигде вычитать не могут, так как техническая часть иконописного подлинника не издана. Из всего этого и произошло то, что в Сергиевой лавре еще недурно пишут (по крайней мере икону одного преподобного Сергия), но в Киевской лавре весь стиль так перемешан и перебуравлен, что надо жалеть, зачем здесь взялись не за свое дело и покинули свой прежний римско-католический пошиб с подрумяненными мученицами и франтоватыми архангелами и ангелами в кавалерственных позах. То было похоже хоть на что-нибудь, тогда как нынешние иконы реставрированной киево-печерской школы могут свидетельствовать только о том, что одних добрых намерений писать в русском стиле весьма недостаточно, а уменья негде взять.

Так-то сведено ни к чему и поставлено на нет наше некогда столь славное, столь изумительно прекрасное русское иконописное искусство, о котором, благодаря счастливому случаю, нам неожиданно опять довелось сказать несколько слов, не знаю, на пользу ли ему или на то только, чтобы большее число людей имели случай убедиться, что все, кто мог бы и кому следует позаботиться об этом деле, считают его недостойным своего просвещенного внимания.

Кончаю мою заметку тем, что желающие поддержать вопрос о русском иконописании должны, по моему мнению, не метаться со своими пенями куда попало, а они должны не сводить своих глаз с Академии художеств, которая не только может, но,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru кажется, и должна бы явиться, по зову общества, на помощь религиозной потребности народа. Ни к кому иному, как к ней, к сей академии, надо адресовать эти справедливые требования.

Впервые опубликована в газете “Русский мир”, 1873 год, 26 сентября.

О РУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ НА 1862 Г
Faites-moi de la bonne politique et je vous ferai de bonnes finances.

Baron Louis[49]

Г

Приступая к разбору недавно опубликованного русского государственного бюджета на 1862 год, мы прежде всего считаем нужным обратить внимание читателей на следующие обстоятельства и соображения.

Если бюджет, по своей форме и содержанию, и есть не что иное, как только более или менее подробная и, по возможности, точная роспись государственных доходов и расходов, чем только и представляется он большинству образованных и вообще грамотных людей, тем не менее, по своей сущности, бюджет есть не только роспись доходов и расходов государственных, но и нечто важнейшее подобной росписи, а именно он есть одно из самых верных выражений как степени государственного благосостояния, так и степени рациональности государственной администрации. Вот почему для оценки цифр бюджета недостаточно рассматривать величину доходов и расходов государственной казны, а необходимо еще взвешивать и определять способы и условия таких доходов и расходов, а также и влияние их на народное хозяйство, на отношения правительства к народу и, наоборот, на отношения, которые в значительной степени выказываются в бюджетных цифрах, равно как и в способах составления бюджета. Уже давно высказана в науке и литературе неоспоримая истина, что история налогов есть история народов, по крайней мере, в значительной степени. Оно и не может быть иначе, потому что быт народов немислим без существования правительств, а существование правительств немисливо без налогов. Таким образом, очевидно, что количества и качества налогов, а также степень совершенства и несовершенства их взимания и употребления выражают собою как степень цивилизации государств, так и степень достоинства правительств по отношению к достижению целей государственной жизни. Очевидно также, что если, с одной стороны, цифры бюджета суть знаменательные данные для определения степени народного благосостояния, рациональности и состоятельности администрации, а также, в значительной степени, и нормальности отношений правительства к народу и наоборот; то, с другой стороны, эти цифры приобретают настоящее, действительное значение свое только при достаточном сознании и понимании всего народного быта и условий его благосостояния. Вот почему надлежащая оценка бюджета есть дело нелегкое, требует обширных сведений и значительных способностей, крайней осторожности и не допускает и тени самоуверенности. Такая оценка не может быть произведена вполне и во всех отношениях основательно одним каким-либо лицом, как бы гениально и сведуще оно ни было. Она требует сведений и способностей очень многих лиц, и притом таких, которые в большей или меньшей степени состоятельны разрешать те или другие общественные вопросы. Она требует и продолжительного времени, многолетнего изучения, ибо последнее слово о бюджете есть, в большей или меньшей, но всегда в значительной степени, и последнее слово о народном благосостоянии в данное время и о всех или, по меньшей мере, почти всех условиях этого благосостояния.

Сверх того, бюджет в строгом смысле слова, то есть бюджет, который опубликован и которому правительство следует, как необходимому для него и для подданных его закону, есть такое явление в государственной жизни, которое свойственно далеко не всем нациям, а только наиболее цивилизованным и таким, которые в большей или меньшей степени сознают пользу и необходимость цивилизации, решительно вступают на путь ее, а потому и охотно принимают ее требования и условия, к числу которых принадлежит и постоянное опубликование бюджета. Древние и средние века не знали и не требовали бюджетов, да и не могли знать и требовать их. В прежние времена государственный союз поглощал собою личность граждан, их человеческое достоинство, и человек считался человеком едва настолько, насколько он мог быть гражданином, то есть иметь политические права, бывшие всегда ничтожными и даже мнимыми в сравнении с правами древних и средневековых государств. Государства и правительства не были тогда необходимыми условиями и орудиями благосостояния человечества, а напротив, само человечество считалось только орудием благосостояния государств и могущества правительств. Жизнь вообще древнего

гражданина вполне принадлежала государству; жизнь же человека средних веков едва настолько была избавлена от такой зависимости, насколько принадлежала Богу. Исключения из этих правил были редки. Одна грубая физическая сила создавала и разрушала тогда государства; одна она почти исключительно и управляла ими, предписывала им законы и правила. Произвол и насилие были тогда главными и почти всегда единственными решителями судеб государств и народов, а о личности человеческой и ей прирожденных правах понятия были и скудны, и вообще неосновательны. Человек имел право жить, мыслить, любить и трудиться не более, как сколько допускала это общественная власть. Словом, не законы природы вообще и человеческой в особенности лежали в основании законов древних и средневековых государств, а произвол и насилие, а там, где преобладают произвол и насилие, там разве только по имени существуют правила для государственной жизни вообще и для государственного хозяйства в особенности, там нет и немыслимы ни правильное разделение и распределение прав и обязанностей, ни правомерное определение элементов государственной жизни, а потому там нет и немыслимы явления вроде бюджетов.

И действительно, бюджеты, плоды цивилизации новейших времен, начали появляться только тогда, когда понятия о личности человека и прирожденных ей правах достаточно окрепли в сознании некоторых народов и, в особенности, в сознании лучших передовых представителей их, чтоб быть руководящими понятиями в устройении общественной жизни народов. Но, разумеется, если новейшие поколения в передовых, по просвещению, странах и добыли себе бюджеты, то добыли их не легко и не без многих жертв. Как точное определение границ этих стран или государств стоило неисчислимым войн и неизбежных с ними жертв, так и приобретение бюджетов обошлось этим государствам недешево, а напротив, досталось им путем многих и долгих борений между основными элементами государственного союза. Оно и должно быть так, судя по тому, как, то есть с какими усилиями и страданиями, почти везде и всегда, человечество вырывает из рук произвола и восстанавливает права свои. Бюджеты, в строгом смысле этого слова, суть одни из самых лучших, решительнейших и прочнейших побед правды и закона над произволом и насилием в государственной жизни, и понятно, что подобные победы почти нигде и никогда не доставались человечеству даром и случайно. Самые счастливейшие народы, по отношению к приобретению бюджетов, суть те, которые приобрели их не путем революций и мятежей, а путем своевременных и мирных преобразований, те народы, правительства которых лучше других сознают высокую и прекрасную задачу законной правительственной власти, то есть власти, основанной на правде и действующей только во имя правды, а потому и во имя общественного блага.

Кто хоть сколько-нибудь знаком с историей и вообще политическими науками и при этом хоть сколько-нибудь сознает законы и условия поступательного движения человечества вперед, тот, конечно, понимает, что и бюджеты подчиняются этим законам и условиям, а потому и не создавались и не могут создаваться они сразу в возможном для них совершенстве. Бюджет в большей или меньшей степени выражает собою государственное хозяйство страны, нигде еще не достигшее особенно высокой степени развития и представляющееся только относительно совершеннейшим в некоторых странах сравнительно с другими. Сверх того, на бюджете, по необходимости, должна лежать печать не столько будущего, сколько прошлого и настоящего порядка вещей в государстве, а потому при первоначальном появлении бюджета в каком-либо государстве, в котором прежде не было публичной отчетности, как, например, в России, бюджет не может ни быть высокосовершенным, ни представлять в достаточной степени точные и верные данные для определения степени народного благосостояния в настоящем. Еще менее может он представлять такие точные данные, на основании которых можно было бы построить точный, систематический и удовлетворительный, по возможности, план финансовых и вообще административных реформ. По отношению к народному благосостоянию и его дальнейшему развитию не столько важны, при первоначальном обнародовании бюджета, цифры его и все данные, которые он предъявляет, сколько самое обнародование, появление и водворение его в общественной жизни государства. Обнародование бюджета – явление глубоко знаменательное и нецененно благодетельное, хотя, конечно, не только сразу, но и вообще в короткое время не устранит оно само собою всех финансовых и других государственно-административных затруднений и недостатков. Но, не будучи магической силой, способной все сразу или в короткое время совершенствовать, бюджет, в строгом смысле слова, как постоянная и гласная общественная мера, как явление, предоставляющее всем и каждому возможность знать и обсуждать государственные доходы и расходы, есть одна из могущественнейших и действительнейших сил и средств к устранению финансовых и других административных несовершенств и затруднений. Мало того: при известной степени

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
развития народа бюджет есть мера в высшей степени необходимая и правительственно-мудрая, ибо она скрепляет новыми нравственными, то есть наипрочнейшими узами союз народа с правительством и тем предупреждает и отстраняет не одну общественную невзгоду.

Слова наши подтверждаются, между прочим, ходом дел в Австрии. Несвоевременно, слишком поздно для благосостояния народов Австрийской империи и для нравственного достоинства ее правительства, приняты за правила в этой стране обнародование и публичное обсуждение бюджета, но, несмотря на это важное обстоятельство, то есть на такую непростительную несвоевременность и происшедшие оттого административные и другие затруднения, обнародование бюджета, как известно, не подорвало, а, напротив, значительно улучшило нравственные отношения между австрийскими народами и их правительством и сверх того тотчас же возбудило более или менее общую надежду, что еще возможен прочный внутренний мир для Австрии. Если же надежда эта далеко не вполне, покуда по крайней мере, оправдывается; если и мера обнародования, а также и публичного обсуждения бюджета не привела вообще к тем благим и общепольным результатам, на которые рассчитывало, вероятно, и само австрийское правительство, решаясь на подобную меру, то это потому, во-первых, что обнародование бюджета еще далеко не составляет всего для благосостояния государства, а во-вторых, потому, что и нынешняя, как внешняя, так и внутренняя, политика Австрии еще сильно проникнута духом, правилами и приемами меттернихизма, доведшего уже однажды эту империю до революции, как и следовало того ожидать, то есть доведшего ее до того, до чего никогда не доводит сколько-нибудь сносная административная система и что постоянно предупреждает и устраняет своими мерами каждый истинно государственный, по своим понятиям, способностям и гуманным чувствам, человек. Меттернихизм, подобно макиавеллизму, верует только в грубую физическую силу да в свою собственную хитрость и ловкость, но больше ни в кого и ни во что не верует; а потому понятно, что, чем он сильнее и влиятельнее, тем более он и противодействует всему благу и общепольному, тем он анархичнее и революционнее. Он не понимает и не способен понять, что жизнь гражданина, жизнь в обширном значении этого слова, жизнь, как право и обязанность существовать, трудиться, мыслить, любить и веровать, есть прирожденное человеку право и обязанность, начертанные Верховным разумом, Создателем вселенной, а не кое-какая произвольная привилегия, которую может даровать человеку или лишить его, по своему усмотрению, та или другая человеческая сила, тот или другой элемент государственного быта. Не понимая этого, меттернихизм не понимает и не способен понять, в чем заключается неизбежность и святость истинного назначения законных правительств, а именно в охране и в возможном обеспечении тех прав и обязанностей, которые прирождены человеку, и что только такое, а не кое-какое произвольное, выдуманное макиавеллизмом и другими подобными учениями назначение правительств вытекает из всех мировых, естественных законов и вполне подтверждается евангельским учением. Веруя в одну грубую материальную силу, меттернихизм, подобно макиавеллизму и всем революционным учениям, предполагает, что только грубая сила участвует в водворении и существовании в мире правительств. Он и не подозревает, в наивности своей, что правительственное начало столь же прирожденно миру и каждому человеку, как и религиозное чувство, и любовь, и совесть. Как каждый из народов исповедует какую-либо религию не потому, что есть у него духовенство, а, напротив, потому, что существуют духовенства, что есть религии, что веровать есть одна из необходимейших нравственных потребностей человеческой природы; так и правительства существуют в мире не вследствие своей воли или каких-либо более или менее случайных явлений и обстоятельств, а вследствие того правительственного начала, того правительственного чувства, которое столь же врожденно каждому человеку, как и чувство религиозное и другие чувства. Те, которые думают, что в человеке есть, и притом немало, властолюбия, и которые при этом не видят в нем потребности подчиняться законной власти, те неглубоко заглядывают в человеческую душу и смешивают грубый животный инстинкт с отличительными свойствами души и природы вообще человеческой. Потребность иметь правительство и веровать в него сходственна с религиозным чувством и столь же необходима для человека, для его души, как иметь и религию. Меттернихизм не заглядывает в душу человеческую; он не умеет и вслушиваться, он умеет только подслушивать, а потому не только не поддерживает, а напротив, по мере сил своих, по мере своего развития, он отравляет и придавливает каждое лучшее чувство, каждое искреннее и естественное верование. Вот почему и проявляется он и поддерживает свое существование только путем насилий и хитрости, которая есть то же насилие; вот почему и разрешается он окончательно революциями; вот почему и мера опубликования и гласного обсуждения австрийского бюджета не ведет к желаемым результатам в Австрии. Не то

видим мы в Пьемонте, Бельгии, Англии и некоторых других странах; не то увидим мы и в России. Чем меньше макиавеллизма и меттернихизма, тем лучше для всего и всех.

В особенности неуместен макиавеллизм или меттернихизм, какого бы рода ни был он и как бы он ни проявлялся, то есть сверху или снизу, в такие эпохи развития государств, когда перерождается в них к лучшему народный быт, когда администрация, сознавая несостоятельность прежних начал своих, решительно и твердо переходит к началам новым, более прежних истинным, и когда народонаселение жаждет обновления строя своей общественной жизни. В такие эпохи величайшая мудрость состоит в честной искренности со стороны всех элементов государственной жизни; в такие эпохи величайшая заслуга правительств состоит в поддержании внутреннего и внешнего мира, в охранении всех законных личных и имущественных прав граждан путями и мерами человеколюбивыми, единственно достойными законных и сознающих высокое, святое назначение свое правительств; в такие эпохи величайшая заслуга граждан состоит в содействии правительствам в достижении ими такими путями и мерами тех истинных государственных целей, которые, везде и всегда, связуют прочными нравственными узами всех лучших, передовых представителей как правительственного, так и народного элемента в государственной жизни. В такие эпохи возбуждены обыкновенно умы, чувства и верования, а в том числе и все лучшие человеческие чувства и верования, и к этим-то лучшим чувствам и верованиям призывают и умеют призывать передовые, наиспособнейшие представители правительственного и народного элементов в государстве для достижения истинных, общепользовательных целей государственной жизни. Одна только политическая бездарность и бестактность, одно только нравственное и умственное бессмыслие по отношению к уразумению законов общественной жизни, одно только отсутствие сознания общественных интересов, несомненное доказательство недостаточности как политического образования, так и прочной любви к ближним, — одна только подобная бездарность призывает в такие эпохи к недобрым чувствам и страстям и таким образом противодействует мирному и стройному разрешению общественных вопросов, единственно достойному и мудрым правительствам, и цивилизованных народов, единственно верному и действительному способу достижения прочных благ для государства.

Опубликованием бюджета правительство наше предъясняет миру новое доказательство своего намерения восстановить и улучшить внутренний быт России на началах более рациональных, нежели те, которые, по историческим и другим причинам, лежали в основании нашего прежнего быта. И эта мера правительства есть доказательство, что оно идет вперед с веком и с народом русским, и идет вперед во имя общего блага, во имя вечных законов жизни, путем мирных и человеколюбивых преобразований. Опубликование бюджета есть несомненное доказательство, что наша государственная администрация сознает несостоятельность, если, конечно, и не всех, то некоторых из прежних начал своих, что она готова и способна преобразоваться к лучшему, лишь бы пути и средства к тому были достаточным образом сознаны и определены, лишь бы цель ее существования была достигнута. Для достижения этой цели она с каждым днем все более и более раскрывает перед миром вообще и русским обществом в особенности свои средства и силы, но также и слабые стороны свои, одним из несомненных доказательств чему служит опубликование бюджета и гласное обсуждение у нас в настоящее время, если и не всех еще, то некоторых общественных вопросов. Действуя таким образом, администрация наша доказывает как то, что она сознает свои нравственные силы и средства, так и то, что законность ее целей несомненна и что потому она может, несколько не роняя, а, напротив, только возвышая тем свое нравственное достоинство и значение, подвергать свои меры, правила и цели гласному и общему обсуждению. Так именно, в большей или меньшей степени, и действуют всегда администрации, которые в большей или меньшей степени сознают требования века, находятся на пути истинного прогресса и в которых есть прочные задатки для дальнейшего развития. Только излишне консервативные, а потому и враждебные по своим правилам и противодействующие народному благосостоянию администрации не допускают исследования и гласного обсуждения своих средств, приемов и целей; зато не они, не такие администрации, а те, которые следуют совершенно другим, более жизненным началам, успешно достигают истинно государственных целей, и притом без лишних неуместных жертв и без враждебных столкновений и недоразумений между элементами государственной жизни.

Но как бы ни создала та или другая государственная администрация истинные государственные цели и как бы честно ни стремилась она к ним, тем не менее она не может их достигнуть вполне без содействия ей большего или меньшего числа

граждан. Так и для достижения цели опубликования бюджета необходимы прежде всего честные и справедливые отзывы о нем частных лиц, в большей или меньшей степени способных определять значение бюджетных цифр и т. п. Иначе к чему было бы и опубликовывать бюджет?

Глубоко уверенные в том, что если правительство опубликовало бюджет, то это, между прочим, с целью выслушать отзывы о нем частных лиц и, по мере надобности и возможности, воспользоваться этими отзывами для достижения общеполезных государственных целей, мы приступаем к разбору бюджета с единственным намерением внести свою посильную лепту на это общеполезное, глубоко знаменательное и несомненно благотворное для России, по своим последствиям, дело.

Из всего вышесказанного читатели, как мы смеем надеяться, заключат, что мы более или менее сознаем значение бюджета и меры его опубликования и гласного обсуждения и что потому мы не только не беремся сказать о нем последнее слово, невозможное, на этот раз по крайней мере, и для несомненнейших авторитетов по части финансовых и вообще государственных вопросов, но не беремся ни разбирать его во всей подробности, ни сказать о нем свое слово без недомолвок и ошибок. Наш голос в этом деле – не голос авторитета, не голос даже человека, более или менее искусившегося в подобных разборах, а только один из множества могущих откликнуться на зов правительства голосов большинства; словом, наш голос есть голос из массы, к которой мы принадлежим.

II

Каждый, кто знаком с наукой о финансах, с финансовым состоянием европейских и других государств и вообще более или менее с ходом дел в мире, тот, ознакомившись с русским государственным бюджетом на 1862 год, конечно, придет к заключению, что если приходы и расходы вообще русской государственной казны и могли бы быть несравненно рациональнее во многих отношениях, нежели в настоящее время, тем не менее финансовые обстоятельства вообще России не только не представляют неустранимых затруднений, но, напротив, возбуждают самые основательные надежды, что Россия легко может, в не слишком далеком будущем, принадлежать к числу самых счастливейших стран в мире, между прочим, и в финансовом отношении.

Смеем думать, что, внимательно следя за нами в нашем разборе бюджета и более или менее дополняя своими сведениями вообще и знанием России в особенности, а также и своею догадливостью неизбежные недомолвки и тому подобное в этом разборе, читатели наши все более и более будут убеждаться в основательности только что сказанных нами слов. Наша уверенность или надежда, что читатели придут к тому же заключению, к какому пришли и мы, внимательно рассмотревши бюджет, основана на том, что и они, подобно нам, готовы смотреть на дело возможно беспристрастно. Не равнодушные, конечно, а, напротив, полная преданность делу, но в то же время и возможно холодная и бесстрастная оценка его – вот одни из самых необходимейших условий и средств для полного уразумения всякого дела, а тем более для правильного разрешения общественных вопросов. Особенно необходимо соблюдение таких условий при обсуждении вопросов и обстоятельств, разрешение и объяснение которых тесно связаны с различными интересами, не всегда или не во всем истинными и общими. Пренебрегать подобными условиями мы не вправе уже потому, что никто из нас не имеет достаточного основания считать себя судьей в чем-либо непогрешимым, а тем более в общественных вопросах и обстоятельствах; а потому при обсуждении разных административных и общественных мер, приемов и т. п., конечно, тот из нас будет судить беспристрастнее и основательнее, кто лучше других поймет, оценит и более других останется верен истине, что люди вообще и общественные деятели в особенности, даже и тогда, когда приемы и результаты их действий крайне нерациональны, действуют вообще не столько вследствие каких-либо сознательно превратных начал и побуждений, а по крайнему своему разумению, то есть по своему взгляду на вещи вообще, по мере своих нравственных и материальных сил и средств, по историческим обстоятельствам и т. п. Теряя из виду эту истину и не следуя ей, каждый историк, например, был бы не бытописателем и не правдивым судьей, а только своего рода палачом, и вся история человечества была бы, в большей или меньшей степени, только обвинительным актом, чего, однако, не допускает ни простой здравый смысл, ни ум, озаренный светом науки и сознанием законов природы, ни сердце, исполненное неподдельной любви к ближним. В особенности не следует терять из виду эту истину при обсуждении таких важных явлений в общественной жизни народов, каковы государственные бюджеты, подвергаемые гласному обсуждению и разбору общественного мнения. И наиболее такое обсуждение в разборе подобных явлений не может быть ни беспристрастным, ни

основательным, если он не станет на историческую точку зрения и не примет в соображение все, по возможности, исторические условия и обстоятельства государства. Словом, без большего или меньшего сознания законов жизни вообще, а в том числе и законов исторических, невозможно правдиво и основательно оценить ни людей вообще, ни общественных деятелей и явлений в особенности, ибо не только на образе мыслей и действий таких деятелей и на таких явлениях, но и на всяком без малого шаге каждого из нас, как бы ничтожна, по незначительности своей, ни была общественная роль наша, лежит в большей или меньшей степени печать исторических обстоятельств и вообще свойств, то есть достоинств и недостатков эпохи, в которую мы живем и действуем.

Мы высказываем это правило пред нашими читателями потому, что видим и должны, по необходимости, видеть печать исторических обстоятельств и условий, как минувшей, так и настоящей жизни России, на рассматриваемом нами бюджете. Каждый более или менее знакомый с тем, что такое и чем может и должен быть государственный бюджет, согласится с нами, что оно и должно быть так, то есть что и на нашем бюджете должна лежать подобная печать, что и он, как важное, знаменательное, даже органическое явление в общественной жизни, должен быть плодом прошедшего, минувшей жизни России, а потому и отпечатлеть на себе важнейшие элементы, начала и условия ее настоящего быта и представлять собою задатки ее будущности.

Вспомним важнейшие исторические обстоятельства в участи нашего отечества и главные начала и условия прошедшего и настоящего быта его. Вникая в эти обстоятельства, начала и условия, мы приходим, конечно, к убеждению, что минувшая и настоящая жизнь России, как государства и народа, сложилась так, а не иначе не случайно, хотя и были и есть в ней явления, по-видимому, более или менее случайные. Таким образом, приходим мы и к убеждению, что и чисто внешние, вовсе не русские, даже не славянские влияния на участь России, и притом как прежние, так и новейшие, не составляют в ней явлений чисто случайных, а, напротив, представляют собою, в большей или меньшей степени, последствия той органической, хотя часто и невидимой связи, которая, по законам природы, существует и с каждым днем все более и более выказывается между всем народонаселением земного шара. Если в настоящее время замкнутые в самих себя государства и живущие совершенно отдельной жизнью народы все более и более вступают в общую всем народам жизнь, то, конечно, и Россия, как по своему географическому положению, так и по степени своей цивилизации и духу своего народонаселения, должна была позже одних, но ранее других народов, более или менее примкнуть к жизни общечеловеческой, преимущественно западноевропейской, как наиболее цивилизованной и более других ей родственной. И без более или менее насильственной реформы Петра Великого Россия была бы теперь более европейской страной по своей цивилизации, нежели была ею в древние и средневековые эпохи своей жизни. Эта или какая-либо другая, более или менее ей подобная, если не по приемам, то по цели, реформа в быте России была исторической необходимостью, точно такую же необходимостью, какою было развитие монархической власти для собрания русской земли, для ее освобождения от ига татар и проч. Во всяком случае, вовсе не случайно Россия более прежнего принадлежит теперь по своим отношениям, торговым и другим сношениям и пр. к семье западноевропейской и пришла к тому путем как петровской, так и других реформ, частью путем влияний на нее чуждых ей начал, а частью и путем саморазвития. Во всяком случае, говорим мы, и эти влияния столь же неслучайны в участи России, как не случайно, а вследствие основных законов жизни появилась у нас так называемая в литературе школа славянофилов. Как, с одной стороны, эта школа с каждым днем все более и более утрачивает свою прежнюю односторонность, все менее и менее увлекается неуместными и чуждыми современному историческому развитию России началами и по этой причине, равно как и по исторической необходимости, вообще все более и более усиливается, развивается и привлекает к себе мыслителей и разумных деятелей, более других сознающих, что не все результаты и начала западноевропейской жизни применимы к современному быту России; так точно, с другой стороны, по исторической же необходимости, Россия, оставаясь по началам своей жизни самостоятельным и сильным организмом, тем не менее все более и более примыкает, на основании развития тех же начал своей жизни, к жизни общечеловеческой, преимущественно западноевропейской как наиболее ей родственной и цивилизованной. Повторяем, все это не случайно, а по исторической необходимости. Цивилизация – результат исторической жизни и рано или поздно обнимет собой весь мир. Такова воля Провидения, судя, по крайней мере, по всей минувшей и настоящей участи исторических народов, а также по всем сознаваемым нами естественным, мировым законам жизни.

Но само собой разумеется, что цивилизация, как мировой закон, как одно из проявлений непреложной воли Провидения, не обуславливается какими-либо насилиями. Напротив, она более всего обуславливается самостоятельным, естественным,сообразным с устройством и началами каждой органической жизни, развитием, или, другими словами, исторически необходимым и законно-полным, то есть свободным, а не своевольным проявлением и развитием каждой личности, а потому и личности каждого народа, то есть того, что мы называем народностью. Другими словами, она более всего требует уважения и возможно полного исполнения законов, начертанных Провидением; она и разрешается с каждым днем все более и более и разрешится окончательно возможно полным для людей сознанием и исполнением таких законов. Если же, как мы это видим на каждом шагу в истории, не всегда и не во всем таков покуда путь цивилизации, то это, во-первых, происходит по историческим причинам, преимущественно по причине отсутствия цивилизации или недостаточности ее развития, а во-вторых, это доказывает, что цивилизационное начало присуще или прирожденно в мире всему и всем и рано или поздно овладеет миром. Этим объясняется между прочим и то, что все враждебные цивилизации меры или явления, на зло установителям и виновникам их, превращались повсюду и всегда в меры цивилизации же, но, конечно, не нормальные, в особенности по отношению к элементам государственной жизни, которые устанавливали такие меры или поддерживали их.

Общее обозрение бюджета вполне подтверждает смысл наших слов, а это значит, между прочим, что мы и в бюджете находим данные, которые более или менее выражают собою степень нашей цивилизации и условия или обстоятельства ее происхождения и развития.

В самом деле, чуть ли не все цифры, особенно самые крупные цифры нашего бюджета, притом как приходные, так и расходные, свидетельствуют собою, что, несмотря на все свои уклонения в минувшем от естественного саморазвития, несмотря на свои частые, с эпохи Петра Великого, и в значительной степени иногда неуместные и чисто внешние увлечения результатами и началами западноевропейской жизни, Россия осталась Россией, и если, с одной стороны, мы видим на проявлениях нашей жизни вообще, а потому и на бюджете, следы более или менее насильственных столкновений и сношений с Западом, то, с другой стороны, и на бюджете, как на всех других явлениях нашей жизни, видим и значительное противодействие чуждым русской жизни началам, как необходимый протест русского духа и естественных начал русской жизни против несвойственных ей чисто западноевропейских элементов, начал и условий. Этот протест высказывается здесь не всегда, конечно, положительно, а по необходимости и притом очень часто только отрицательно.

Но прежде чем идти далее, мы, дорожа мнением читателя и не желая, чтобы слова наши возбудили в уме его недоразумения насчет точного смысла только что сказанных нами слов, остановимся на минуту для объяснения. Мы вовсе не принадлежим ни к числу квасных патриотов, ни к непримиримым противникам Запада, ни, в особенности, к хулителям положительных результатов его цивилизации, будто бы вовсе чуждых, как утверждают некоторые, русской жизни. По нашему крайнему разумению, не высшие и положительные результаты цивилизации западноевропейского быта противны началам и духу вообще русского быта, а насильственное, несвоевременное и неуместное применение их к ней. В особенности противны началам и духу русской жизни те результаты жизни западноевропейской, которые ошибочно почитаются и принимаются многими за результаты окончательные и общечеловеческие. Уже одни трудноизлечимые раны и болезненные стоны, которые мы ежеминутно видим и слышим в западноевропейских и других государствах, при несомненных, уже добытых этими государствами благих результатах более или менее высокой цивилизации, – уже одни эти раны и стоны достаточно подтверждают и оправдывают собою мнение, что если русское общество вообще, с одной стороны, и обязано для дальнейшего своего развития изучать, и притом как можно глубже, между прочим и западноевропейскую жизнь, а также и пользоваться, по мере надобности и возможности, положительно хорошими и общечеловеческими результатами этой жизни, то, с другой стороны, как прошедшая, так и настоящая жизнь вообще Запада, точно так же, как и Азии и Африки, должна служить только уроком, но никак не образцом для нашей общественной и государственной жизни. Глубоко почитая начало возможно свободного и полного саморазвития нашего собственного русского быта, мы не вправе не уважать этого начала и результатов его в быте других государств; но потому – то именно, что уважаем его повсюду и для всех, мы не должны увлекаться каждым результатом, в особенности неокончательным, жизни таких государственных и общественных организмов, которые имеют им одним свойственные начала, более или менее чуждые, а может быть, и враждебные некоторым основным началам нашей

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
собственной общественной и государственной жизни. Всякий раз, когда народы и государства поступают несогласно с высказанным здесь мнением, они высказывают только большее или меньшее отсутствие самосознания и ставят большую или меньшую препоны своему саморазвитию. Не менее, а скорей более, нежели многим другим обществам, следует русскому обществу помнить это правило уже потому, что история России и состав русского общества сложились совершенно другим путем и иначе, нежели история западноевропейских государств и состав их общества. Вся история человечества и не менее ее история России подтверждает основательность наших слов.

Сказав это, обратимся к бюджету, именно обратим сначала внимание на исторические качества наших налогов и вообще средств нашей государственной казны.

Зная, какого рода налогами пробиваются в настоящее время западноевропейские казначейства, мы, конечно, не можем, с первого же взгляда, не обратить внимания как на этого рода налоги, так и на те, которые, по выводам современной науки и степени развития западноевропейских государств, почитаются особенно нерациональными, а потому и вовсе почти не принимаются в этих государствах как меры, служащие для получения государственных доходов.

Отстраняя, для необходимой краткости, от нашего обозрения все более или менее случайные, частью второстепенные и третьестепенные доходы, притом предназначенные на покрытие расходов также второстепенных, третьестепенных и в большей или меньшей степени случайных, или временных, или таких, которые относятся преимущественно к областям, присоединенным к коренной России, отстраняя от нашего обозрения доходы, которые названы в бюджете доходами, поступающими из разных источников на определенные расходы, мы остановимся на общей цифре обыкновенных доходов 279352809 руб., или, если прибавить к ней цифру дефицита (по нашему мнению, временного и даже случайного, по крайней мере в наибольшей части его, о чем мы и распространим ниже), то есть цифру 14757889 руб., то мы остановимся на общей бюджетной цифре 294110698 р., или круглым числом, 300000000 р.

Эта цифра добывается нашей казной налогами и мерами, между прочим, двух родов, из которых один мы назовем западным, или западноевропейским, или научным, а другой – восточным, или русским, хотя налоги этого рода взимаются и не в одной России и были в большом употреблении, а частью и теперь еще не вовсе чужды Западу.

К западному, или научному, роду налогов, или средств казны, принадлежат все те, которые в бюджете перечислены под оглавлением пошлин, за исключением, но неполным, конечно, сборов путем откупов, неполным исключением таких сборов потому, во-первых, что в число этих сборов входят акцизные, чисто западные сборы с пива, а во-вторых, потому, что, не будь у нас откупной системы, у нас была бы акцизная система, более или менее подобная той, которая будет введена и у нас с будущего года. Всех таких пошлин, или доходов, значит по бюджету на сумму 198481075 рублей. Если к ним присоединить следующие доходы: 1) из доходов Николаевской дороги 2000000 руб., 2) из других источников, означенных в бюджете, под рубрикой разных сумм, а также и долговых платежей от разных мест и лиц, всего примерно около 4000000 руб.; 3) чрезвычайных сумм, добытых займом, то есть средством очень употребительным на Западе, 14757899 р., то получим всего

198481075 р.

2000000 "

4000000 »

14757899 "

Итого 219238974 р.

А если вычесть из этой суммы сбор откупной, как вовсе не западный, по крайней мере в настоящее время, то есть

123022580 р.

То получим. . 96216494 р.

Прибавив к этой сумме около 4000000 р., как таких, которые взимаются чисто западными приемами и обозначены в тех отделах бюджета, о которых не было нами упомянуто и которые показывают доходы казны, взимаемые вообще способами не западными, или научными, мы получим цифру 100000000 р., или 1/3 общей бюджетной цифры.

Итак, остальные 200000000 р., или 2/3 всей суммы, собираются незападными способами, а если исключить из этих 200000000 р. около 100000000 р., собираемых единственно путем откупной системы, столь же мало свойственной России, сколько и Западу, а потому и недолговечной вообще в истории русских финансов, то мы получим три равные (приблизительно, конечно) суммы, общий итог которых выражает общую, приблизительно или примерную бюджетную сумму приходов нашей государственной казны, то есть 300 миллионов.

Теперь спрашивается: почему, несмотря на все совершенные у нас в прошлом и текущем столетии административные реформы, на все знакомство наших государственных людей прежних царствований с западными административными приемами и мерами и на все, наконец, очень часто доходившие до безусловного поклонничества увлечения наших образованных классов Западом, почему, несмотря на все это, и бюджет наш, как все другие, более или менее крупные и знаменательные явления в нашей жизни, носит на себе печать не одного Запада, но и самой России и всех вообще основных элементов ее жизни и духа?

Обыкновенные, по своему умственному развитию, французы, немцы, англичане или русские, мыслящие только по-немецки, по-французски или по-английски, ответят на этот вопрос так: "Это потому, что Россия стоит на низшей ступени цивилизации, нежели западноевропейские государства, и потому в нее еще не проникли все западноевропейские административные приемы и меры и т. п."

Нет, господа, ответим мы им, это не так, или, по меньшей мере, далеко не совсем так, а совершенно по другой причине.

Причина такого явления более всего и лучше всего объясняется всею историей России, всей жизненностью и самостоятельностью русской народности, дух которой непоработим окончательно, как непоработима вполне природа вообще человека. Как не могли монголы и другие народы, как не могли бы и никакие Наполеоны вполне и надолго овладеть Россией, по причине крепости, жизненности и самостоятельности, между прочим, и в материальном отношении, русской народности, и по причине как территориальных, так и других условий вообще существования и развития русского народа, так и прежняя государственная администрация наша, при всех усилиях своих перестроить Россию так, чтоб она ничем, по возможности, не отличалась или не отставала от западных государств, не могла справиться в этом отношении с Россией и сначала более или менее бессознательно, как, например, при Петре I и его ближайших наследниках, а потом все более и более сознательно, как, например, с царствования Екатерины II, начала уступать, в большей или меньшей степени и не в одном, так в другом, своеобразным требованиям русской жизни, своеобразным условиям русского быта и т. п. Не случайно после войны 1812–1814 годов и после более или менее важных внутренних событий и вообще явлений в России, с 1812 по 1825 г. включительно, торжественно провозглашены у нас слова: православие, самодержавие и народность как девиз нового тогда царствования. Несмотря на то, что Петр Великий был вполне сын России, до мозолей на руках работал на нее; несмотря на то, что Екатерина II никогда не увлекалась слишком учением западных публицистов, с которыми была в дружеской переписке и которые хлопотали между прочим, чтоб она преобразовала Россию по их теориям; несмотря на то, что первая половина царствования Александра I озарена, между прочим, именами Сперанского и некоторых других чисто русских по происхождению и в особенности по пламенному стремлению к улучшению быта русского народа, деятелей; несмотря на всю готовность самого Александра I одарить Россию полным благосостоянием и восстановить силы и средства ее к саморазвитию; несмотря на все это и тому подобное, только после борьбы 1812 года и следующих за ней внутренних событий, только с начала царствования Императора Николая I слово народность получило право гражданства, хотя бы только, так сказать, по положительному законодательству, в нашем официальном мире. До этого же времени, если, конечно,

не для всех, то для многих или, по меньшей мере, некоторых русских государственных сановников, даже людей очень умных и способных, но проникнутых исключительно идеями и результатами западноевропейской цивилизации, понятие и слово народность далеко не имели надлежащего смысла, могли казаться даже бессмыслицей, и это было даже тогда, когда, благодаря французской революции, наполеоновским пораблениям, тогдашнему романтизму в литературе и новой тогда исторической школе в науке, передовые по образованию люди уже вполне сознавали, что народность – не мечта или тому подобное. Вся история России свидетельствует, конечно, что не было недостатка доброй воли в государственных людях наших последних двух столетий оцивиловать вполне Россию, то есть продолжать преобразование ее в духе и направлении реформы Петра Великого; но что на каждом шагу они встречали иногда неодолимые тому препятствия не только в степени экономического и всякого другого рода развития России, но и в ее народности, а потому, между прочим, все более или менее уступали требованиям этой народности, хотя, может быть, и делали это не без сожаления. Такая уступка, конечно, приносит им много чести, но не менее того свидетельствует и о силе этой народности. Замечательно притом, что подобные уступки делало правительство, могущественное не только в материальном, но и в нравственном отношении, ибо цивилизация, какова бы она ни была, распространялась по России, в особенности в прошлом столетии, едва ли не исключительно сверху, преимущественно по воле и мерам правительства, что хотя и не всегда вполне сознавали, то всегда видели и вообще веровали в это наши высшие классы и вообще образованные люди, а потому и всегда были более или менее готовы содействовать правительству в этом отношении.

Правда, не одна народность, то есть не одни своеобразные условия духа, быта и жизни вообще русского народа, но и степень его экономического, гражданского и прочего развития ставила преграды административным мерам, более или менее тождественным с теми, которые употреблялись и употребляются на Западе для достижения целей государственной жизни. Но это нисколько не обессиливает значения русской народности и нисколько не оправдывает бессознательного, но сильно у нас распространенного, хотя и нисколько не формулированного, по причине бессознательности, мнения, по которому следовало бы, пренебрегая этой народностью и степенью ее развития в разных отношениях, вводить в Россию все, по возможности, западноевропейские административные меры и приемы. Наши финансы вообще и способы приобретения доходов нашей казной служат одним из основательнейших и сильнейших протестов против такого мнения. Мало того, сама наука, то есть как теория финансов, так и политическая экономия в особенности, а с нею и другие политические науки поддерживают и оправдывают этот протест.

В самом деле, из трех главных и более или менее равных (около 100 мил.) составных цифр нашего бюджета одна столь же мало оправдывается наукой, сколько и практикой вообще, в особенности же бытом России и условиями ее экономического и нравственного развития. Это те 100 миллионов, которые в последний раз в нынешнем году получают путем откупной системы. Заметим кстати, что этот доход казны есть главнейшая причина как того, что у нас не только в последнее время, но и с самого начала откупной системы быстро растет дороговизна, а с ней и другие затруднения, так и того, что наш бюджет возрос до 300 мил., что было бы еще не столь чувствительно, как ныне, если б одна откупная система не обходилась России, кроме 100 мил., получаемых казной от откупщиков, еще по меньшей мере в 300 мил., не обозначенных и не могущих быть обозначенными в бюджете, но тем не менее вносимых в откупа нашим народом. Как бы то ни было, но существование у нас откупной системы объясняется не народностью, не требованиями финансовой науки, не опытами Запада, а только причинами, о которых мы не станем здесь распространяться. Заметим, однако, что откупа не приносили бы казне, быть может, и 40 мил. в год, если б соблюдались, по отношению к действиям прикосновенных к откупам лиц и последствиям этих действий, все те благие узаконения, которые мы читаем в нашем “Своде законов” и наблюдение за исполнением которых возложено правительством на множество официальных лиц. Вот почему, между прочим, если б у нас не было откупной системы, а была бы хотя акцизная, даже самая дурная, и если б казна получала таким способом только около 25 мил. в год, то и наш бюджет не возрос бы никогда до настоящей цифры своей, и в народе нашем было бы более, нежели теперь, средств к легчайшему для него удовлетворению требований казны. Чтоб удостовериться в основательности наших слов, пусть читатели взвешают хотя только условия своего личного образа жизни, и они придут к заключению, что каждое новое средство к жизни не только служит к удовлетворению существующих и более или менее громко вопиющих потребностей, но и рождает, или по меньшей мере пробуждает, еще новые потребности. Государственные казны, управляемые людьми и зависящие от людей, не составляют вообще исключения из этого правила, что имеет,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

конечно, не только дурную, но и хорошую сторону, ибо основано на законе природы, на законе необходимого и бесконечного развития жизни, но дающего тем не менее единственно благие результаты только тогда, когда его вполне сознают и вполне разумно исполняют.

Из этого следует, между прочим, то, что если наша будущая акцизная система и не доставит казне столько, сколько доставляют ей откупа (что, однако, невероятно при точном исполнении условий вообще этой системы и при необходимом в особенности условии поддержки интересов казны посредством самой широкой печатной гласности в этом отношении), то казна наша не будет в убытке уже потому, что улучшится, без откупов, быт вообще нашего народа и увеличатся материальные средства его, то есть главные источники доходов казны.

Из этого следует также то, что если бы в настоящее, как и в ближайшее к нам прошедшее время, не было у нас откупной, а была бы какая-либо, то есть хотя бы дурная, акцизная система, то сумма доходов нашей казны, получаемых путем мер или способов, принятых на Западе, была бы немногим значительнее суммы настоящих ее доходов, получаемых такими способами, и это частью как потому, что и дороговизна была бы не столь велика, как в настоящее время, а таким образом и расходы казны были бы ограниченнее нынешних, так частью и потому, что отсутствие лишнего средств, какими бы способами они ни добывались, хотя бы и путем откупов, уменьшило бы или приостановило бы некоторые расходы, по всей вероятности, именно такие, которые менее других необходимы для народного благосостояния.

Таким образом, около половины двух третей общей суммы нашего бюджета получает теперь и, конечно, только немного более половины не настоящей, а предполагаемой нами, при отсутствии откупной системы, общей суммы бюджета получала бы наша казна способами, употребляющимися на Западе и более или менее оправдываемыми современной, то есть еще далеко не окончательно выработавшейся теорией или наукой о финансах. Посмотрим теперь на этого рода доходы нашей казны, взвесим их достоинства и постараемся разрешить вопрос: в такой ли степени они у себя дома в России, как и в западноевропейских государствах?

Сумма, получаемая этого рода доходами, равняется, как уже известно читателям, приблизительно одной трети общей суммы бюджета, то есть около ста миллионов. Переберем эти доходы:

Со свидетельств на шинки в привилегированных губерниях.....	1272000
От распродажи соли.....	9500000
С частных золотых промыслов.....	2500000
От выплавки на частных горных заводах металлов.....	835 512
Таможенных.....	31800000
Почтовых.....	7044532*
С подорожен.....	486600*
Шоссейного сбора.....	850000*
Гербового.....	5784800*
Со свидетельств на право торговли.....	5200000*
С паспортов.....	1943000*
С купчих крепостей и других актов.....	4735978*
За свидетельства и бандероли на табак.....	2853000
С свеклосахарного производства.....	513082
От страховых обществ.....	140000*

75458504

Если прибавим к этой сумме еще следующие доходы казны:

Из доходов Николаевской железной дороги..... 2000000*

От добычи на казенных горных заводах металлов..... 2108844

От приготовления медной и разменной монеты..... 2037500

От выделки металлов для вольной продажи..... 181346

Прибылей от передела металлов казенных мест и частных лиц..... 945989

Итого 7273679

Всего 82732183

Предположим, что в числе других, не перечисленных здесь доходов, приобретается казной более или менее западными, или научными способами, как например, путем доходов, частью с государственных имуществ вообще, частью и из других источников, еще от 10 до 15 миллионов руб. сер., и мы, присоединением этой суммы к только что выведенной нами (82732183), получим опять сумму около 100 мил. руб. сер., то есть около 1/3 общей бюджетной суммы.

100 мил. – сумма почтенная по своей величине, но ею только, и то, быть может, не без некоторого ее преувеличения, выражается масса тех доходов нашей казны, которые взимаются более или менее западными или научными способами. Значит, еще не очень много относительно приобрели наши государственные финансы от реформ, в этом отношении, у нас в духе Запада, а между тем, как известно, эти реформы почти не останавливались в течение более полутора столетий.

Еще менее блестящим для наших подражаний Западу окажется результат этих реформ и западных способов взимания доходов, если мы взвесим экономические, а потому и политические и нравственные достоинства этих способов. Чтоб не входить в излишние подробности, обойдем вопрос о нормальной или естественной значительности или недостаточности представляемых бюджетом цифр в этом отношении и остановимся только на некоторых, главнейших из этих способов, а именно на доходе от таможен, от распродажи соли и пр.

Против таможенных сборов никто, конечно, не скажет ни слова, в особенности если этого рода сборы возможно менее вредят свободному экономическому развитию страны и, по возможности, согласуются с условиями и степенью ее торгового, денежного и вообще промышленного развития. Но налог на соль почти во всех европейских странах обременителен для народонаселения и не соответствует требованиям политической экономии, в особенности если возвышает цену на этот столь же необходимый предмет потребления, как и хлеб, вдвое или более против его естественной цены. Такой высокий налог и распределяется всегда неправильно, то есть почти всегда обратнопропорционально состоянию граждан. Он в особенности не соответствует в тех странах, в которых земледелие и скотоводство нуждаются в подспорье соли. Более или менее оправдывая такой налог, наука о финансах колеблет свой авторитет, хотя бы и допускала такой налог только в крайне умеренном размере. К числу подобных же налогов принадлежат и у нас, как почти везде, и некоторые из таможенных сборов, а также и сборы с свеклосахарного производства, которое в некоторых местностях наших составляет одно из непреходящих условий процветания нашего земледелия, улучшения быта значительного класса народонаселения и вообще возможного для России благосостояния. Некоторые отделы гербового сбора, как такие, которые поражают в капитале или найме его производство, более или менее парализуют необходимую безостановочность судопроизводства, составляют одну из преград к возможной скорости в переходе имуществ от одних лиц к другим и т. п., некоторые отделы гербового сбора,

говорим мы, тоже нерациональны и не соответствуют по своему бремени для общества тем незначительным относительно доходам, которые казна получает этим путем. Не менее нерациональны доходы казны от паспортов, в особенности если принять в соображение, что паспорта введены у нас преимущественно как фискальное, то есть казначейское, средство. О значительной части доходов от купчих крепостей и других актов должно, в большей или меньшей степени, сказать почти то же, что и о некоторых отделах гербового сбора. Словом, почти все те источники и способы взимания казной доходов, которые заимствованы администрацией у Запада и которые, в большей или меньшей степени, оправдываются современной наукой о финансах, не могут быть причислены к способам рациональным с точки зрения политической экономии и в особенности с точки зрения степени экономического, социального и политического развития России и требований нашего быта.

Но и такой, незавидный для нашей подражательности Западу, результат не определяется еще вышесказанным. Рассматриваемые нами теперь способы доходов нашей казны хотя и доставляют около 100 мил. в год, зато обходятся ей, а потому и всей России, несравненно дороже, нежели другие способы казенных доходов, кроме откупных. Из вышеполученной и приведенной нами суммы 82732183 р. или хотя бы из предполагаемой нами примерной суммы в 100 мил. следует вычесть сумму многих доходов нашей казны, чтоб получить число, которое лучше других чисел нашего бюджета покажет состоятельность применения к России западноевропейских финансовых способов. Некоторые из вышеприведенных доходов казны отмечены нами звездочками. Этого рода доходы суть следующие: почтовые – 7044532 р., с подорожен – 486600 р., шоссейного сбора 850000 р., свидетельств на право торговли – 5200000 р., паспортов – 1943000 р., купчих крепостей и других актов – 4735978 р., от страховых обществ – 140000 р., из доходов Николаевской железной дороги – 2000000 р., итого 22400110 руб. Все эти доходы взимаются разными, более или менее специальными частями нашей государственной администрации и вообще не непосредственно министерством финансов; если присоединить к этой сумме часть гербового сбора, а также некоторые другие доходы, для которых существуют даже целые отделения в министерстве финансов, но которые тем не менее непосредственно взимаются с граждан другими частями нашей государственной администрации, и если предположить, что эта сумма доходов равна около 7 мил. или 8 мил., то, присоединив ее к 22400110 р., получим около 30 мил. Вычтя эти 30 мил. из вышеприведенных 82732183 р., получим 52732183 р. Сравнив эту последнюю цифру с цифрой расходов на министерство финансов, то есть с 26732217, мы должны будем сделать следующий вывод, а именно, что западные способы взимания доходов обходятся русской казне в 50 примерно процентов, или, другими словами, русская казна платит русскому чиновнику целую полтину за каждый взимаемый им в ее пользу рубль иностранными способами сбора податей, между тем рациональное взимание рациональных податей не должно обходиться дороже пяти процентов.

Само собой разумеется, что в нашем выводе нет математической точности, за которой мы и не гонимся, да и не можем гнаться, за отсутствием надлежащих данных. Мы даже допускаем, что ошибка наша значительна; допускаем, что в выводе нашем следовало бы поставить скорее 40, 30, даже 25, вместо 50 процентов; но и такой результат много ли говорит в пользу западных налогов и способов их взимания? Мы очень хорошо знаем, что министерство финансов занято не одними сборами податей, но и уплатой государственных долгов и пр. и пр. Знаем, что из государственных расходов на это министерство надо вычесть не один миллион, чтоб получить цифру, которую определялся бы расход этого министерства на взимание податей западными способами. Вот почему мы готовы и считаем обязанностью, во имя правды, уступить большую или меньшую долю знаменательности нашего вывода; но это только в математическом отношении, да и то не безусловно, потому что мы не перебрали всех доходов и расходов казны, происходящих от западно-административных мер и способов. Во всяком случае, мы стоим, потому что ради правды и общего блага должны стоять за логичность нашего вывода, который если и не вполне подтверждается цифрами, то вполне подтверждается качествами и свойствами этого рода податей и налогов, как таких, которые в значительной степени парализуют экономическую свободу народной промышленности, в обширнейшем значении этого слова.

Во избежание, однако, возможных недоразумений, просим читателей не делать покуда никаких окончательных выводов из наших слов ни о качествах вообще, так названных нами, западных податей и налогов, ни о нашем мнении насчет степени применимости этого рода податей и налогов к России. Мы только что начинаем свое обозрение бюджета, а потому окончательные выводы из наших слов были бы теперь слишком преждевременны. В доказательство же основательности и искренности того, что мы

теперь говорим, прибавим следующее.

Некоторые лица, оправдывая наш вывод и видя его основательность, придут, пожалуй, на основании одного этого вывода только к очень грустному заключению для нашего финансового положения. Они жестоко ошибутся. Факт, который мы раскрыли, благодаря бюджетным цифрам, есть факт в высшей степени отрадный для России, и на нем-то, между прочим, основываем мы преимущественно возможность не только улучшения, но и блестящего положения, в близком будущем, наших государственных финансов.

Другие лица подумают, может быть, что мы враждебны не только Западу, но и науке, ибо научные, не всегда основательные выводы и некоторые из их результатов называем западными. И эти лица ошибутся не менее первых. Мы восстаем не против науки, которой посвящена вся наша жизнь, не против истинных выводов ее, а только против неверных, неокончательных ее выводов, и притом по той единственной причине, что эти выводы принимаются многими у нас, как и везде, впрочем, за выводы окончательные, а потому и насильно навязываются иногда государствам и народам, несмотря на то, что существования этих государств и народов не соответствуют таким выводам и их необходимым результатам.

Теперь обратимся к общему обозрению третьего, остального разряда доходов казны, то есть к тем, которые названы нами восточными или русскими.

Сюда принадлежат: все виды подушной подати, доставляющие ежегодно казне дохода 28258861 р.; все виды оброчной подати, приносящие доходу 25256733 р.; разных сборов и доходов экономических (с арендных имений, казенных лесов, от добычи на казенных горных заводах металлов, прибылей от передела металлов казенных мест и частных лиц и пр. и пр.) примерно всех 11798031 р.; разных сумм (от бывших военных южных поселений, с казенных имений и пр. и пр.) примерно 5000000 р. (вместо 9634694 р., означенных под этой рубрикой в бюджете, ибо некоторые из этих доходов, как например, от Николаевской железной дороги, перенесены нами в предыдущий разряд); наконец, сюда же следует причислить, в значительной по крайней мере степени, доходы, поступающие из разных источников на определенные предметы, общий итог которых равняется, круглым числом, 16500000 р. Сложив все эти числа, получим, круглым числом, 86000000 р., то есть тоже около трети примерной общей бюджетной суммы.

Из числа этого рода податей и государственных доходов, конечно, некоторые в большей или меньшей степени свойственны западноевропейским государствам. Таковы, например, доходы с государственных имуществ. Мы их причислили, однако, к этому отделу доходов нашей казны небезосновательно, ибо ни одна западноевропейская страна не обладает таким количеством государственных имуществ, как Россия; сверх того современная наука о финансах сильно восстает против сохранения таких имуществ в ведении казны, что, по нашим понятиям, не всегда безусловно основательно.

Вообще этот отдел доходов нашей казны очень смущает, как известно, экономистов и ученых финансистов. По их понятиям, такие способы казенных доходов в высшей степени нерациональны. Они правы, но только далеко не в такой степени, как это кажется им. Этого рода доходы и подати, действительно, нерациональны в большей части случаев, но тем не менее они вообще не нерациональнее существующих в западноевропейских государствах налогов на хлеб и соль, акцизных систем и им подобных способов взимания податей, более или менее сочувственных современной науке о финансах.

Мы знаем все, что можно сказать против подушной подати, например. Знаем, что уже давно собирается наша государственная администрация вполне перенести эту подать на землю; знаем, что часть этого дела уже приведена в исполнение, и глубоко сочувствуем тому. Тем не менее, если это дело приведено будет в исполнение не очень быстро и не совершенно еще до настоящего времени, то это не должно служить укором нашим государственным людям, а напротив, скорее свидетельствует о рациональности их взгляда на вещи в этом отношении. В этом легко убедится каждый, если достаточно определит себе степень экономического, умственного и административного развития России, а также вспомнит как о тех затруднениях, которые, по необходимости, встречала администрация наша при введении западных налогов и способов собирания податей, так и о тех невыгодах, тех регламентативных мерах, с которыми сопряжены почти все, более или менее оправдываемые наукой о финансах, налоги и способы собирания податей.

Не следует притом терять из виду, что в большей части своей наш подушный налог есть тот же подоходный налог, которому большинство экономистов и ученых финансистов придает такое идеальное достоинство, какого он никогда не имел и не может иметь, ибо на практике он в значительной степени неосуществим, а с точки зрения политико-экономической он положительно ложен и неоснователен. Вся разница между нашим подушным налогом и научным подоходным состоит в том, что наш подушный налог платят только низшие и беднейшие классы народонаселения, владеющие или пользующиеся землей и занимающиеся каким-либо мелочным промыслом, а подоходная подать взимается преимущественно с богатых классов; зато взимание этой подати сопряжено с неустрашимыми затруднениями, и она сколько-нибудь сносна и возможна только в наиболее цивилизованных и богатых странах, в которых обыкновенно бедные классы обременены значительными и неправомерно распределенными косвенными налогами на необходимые для них предметы потребления. Вообще обе они одинаково нерациональны; но, судя по степени экономического и в особенности административного развития страны, подушная подать несравненно рациональнее в России, нежели подоходный налог.

Само собой разумеется, что интересы и доходы нашей государственной казны далеко не вполне соблюдаются и обеспечены, так названными нами, русскими способами обложения податями и взимания их; но ведь этот недостаток был у нас до сих пор еще более значителен по отношению к западным, или научным, способам. Если в настоящее время некоторые казенные доходы – например, со свидетельств и бандеролей на табак – получают правильнее и полнее, нежели это было еще очень недавно, то такой успех обуславливается вовсе не более высокой степенью рациональности в настоящее время таких доходов и способов их взимания, а только более высокой степенью служебных достоинств некоторых лиц, заведывающих ныне этими сборами.

Само собой разумеется также, что и этого рода доходы нашей государственной казны, то есть от русских способов, слишком малы и слишком мало соответствуют как степени величины налогов, так и количеству государственных имуществ, ибо доставляют казне примерно до 90 мил. руб., тогда как они должны были бы приносить едва ли не вдвое более, нежели теперь, притом вовсе без увеличения податного процента.

Но если этот факт, с одной стороны, говорит не в пользу существующих русских податей и в особенности способов их взимания, то, с другой стороны, он свидетельствует о естественном богатстве тех источников, благодаря существованию которых может и должна со временем, даже в очень близком будущем, казна наша значительно умножить свои доходы, и притом без обременения народа новыми налогами, в чем и состоит одна из первых задач каждой основательной финансовой администрации.

Общий вывод из всего сказанного нами о приходах нашей государственной казны таков:

- 1) Казна наша получает менее, нежели следовало бы ей получать при том количестве имуществ вообще (закрывающихся в лесах, землях, угодьях, богатствах вообще ископаемого царства и пр. и пр.), которыми обладает Россия, как своими общественными имуществами.
- 2) Казна получает вообще менее доходов, чем следовало бы ей получать, при существующих налогах, податях и повинностях, а также при настоящем податном проценте.
- 3) Казна наша получала бы более доходов, нежели получает их в настоящее время, если б финансовая администрация наша, до последнего времени, поболее соображалась с бытом и условиями экономического развития России и поменее принимала неокончателные выводы науки о финансах за выводы окончательные.
- 4) Наиболее дорогие вообще, то есть наименее производительные для России и наименее доходные для казны нашей, налоги и подати суть те, которые переняты у Запада, или, по меньшей мере, этого рода налоги и подати обходятся казне и народу довольно дорого, а именно вследствие способов их взимания и управления, не соответствующих экономическому, административному и вообще историческому развитию России.

5) Несмотря на всю подражательность Западу со стороны всего русского общества, а в том числе и прежних административных деятелей наших, западноевропейские финансовые меры не охватили еще всех источников доходов государственной казны нашей, и сумма доходов ее, получаемых такими мерами, составляет в настоящее время не более одной трети общей бюджетной суммы.

6) Будут ли иметь или нет впоследствии эти меры настоящую силу свою, но во всяком случае доходы нашей казны могут значительно увеличиться без обременения народа новыми налогами, благодаря уже одним тем источникам, из которых казна наша извлекает доходы так названными нами русскими способами, или административными мерами.

7) Россия осталась Россией, то есть не сделалась западноевропейской страной и в отношении к финансовой администрации, и к доходам казны, несмотря на не соответствующие быту нашего отечества многие западноевропейские финансовые меры, которые вводились у нас в последние два столетия, между прочим, и с целью улучшить нашу финансовую администрацию, а также увеличить доходы казны.

8) Общество русское платит податей, исправляет повинностей и пр. и пр. несравненно более того, что получает наша казна, и это, благодаря не только откупной системе, но и русским способам, и едва ли не еще более западным финансовым мерам. Другими словами: доходы нашей казны обходятся русскому обществу несравненно дороже, нежели этому следовало бы быть, судя по количеству получаемых казной доходов, из чего следует:

9) что казна наша, для получения такого же количества доходов, каково настоящее, может, в более или менее близком будущем, требовать от народа несравненно менее, нежели в настоящее время, или же она, без отягощения народа новыми требованиями своими (налогами, повинностями), может получать доходов несравненно более, нежели в настоящее время. Разумеется, это обуславливается степенью рациональности, преимущественно финансовой, но вообще и всех частей государственной администрации.

10) из всего этого следует, между прочим, что и наша финансовая администрация нуждается в коренных преобразованиях, в основании которых должно лежать приложение непреложных политико-экономических законов к быту России. Но из всего этого следует также, что источники доходов нашей казны, в сущности, несравненно производительнее, нежели это представляется доходами, получаемыми ею в настоящее время.

Мы очень хорошо знаем, что некоторые из этих выводов не понравятся очень многим, в особенности тем лицам, которые слишком веруют в мудрость западноевропейских финансовых администраций и в более или менее точный портрет их, который представляет собою современная наука о финансах. Предоставляем этим лицам сколько угодно скорбеть о том, что Россия ни по своему быту вообще, ни по своей государственной администрации, не есть, не может быть и в близком будущем и, прибавим, не должна быть страной вполне западноевропейской. Мы этому радуемся уже потому, что на всем западноевропейском быте лежит еще тяжелым бременем печать его истории, или феодального права, происшедшего из не слившихся еще окончательно, по крайней мере вполне органически, двух элементов в образовании каждого из западноевропейских государств, а именно победителей и побежденных. В России нет и не было ничего подобного, даже и в те времена, когда и в ней едва ли не единственным правом было кулачное право; не было в ней ничего подобного и в период монгольского ига, ибо русские не сливались в политическое или государственное целое с тогдашними поработителями своими и были их данниками, а не подданными. Этим и более или менее подобными тому обстоятельствами, как, впрочем, и многим другим в быте и духе, как русского, так и вообще славянских племен, объясняется, почему в России никогда не было свойственного разным другим, а в том числе и западноевропейским государствам, особенно резкого деления народа на сословия, а это весьма важная статья и для финансовой администрации. Не сложись западноевропейское общество из победителей и побежденных, не было бы в нем и тех вопиющих налогов, которые еще в силе и в наш просвещенный девятнадцатый век; не было бы разных акцизных систем, как не было бы между прочим и разной военной славы, необходимой для удовлетворения самолюбия главных плательщиков податей, то есть побежденных. Где есть победители и побежденные, не слившиеся еще окончательно, как телом, так и духом, там непременно должен быть и пролетариат как следствие не только экономических, но и исторических причин, а где пролетариат, там и учения вроде социализма и ему

подобных; тогда как в России пролетариат может быть только в крайне ограниченном размере и разве как следствие превратных административных мер, а социализмом могут увлекаться у нас только люди, хотя, может быть, и гениальные и весьма сведущие в некоторых других отношениях, но, тем не менее, мало знакомые с бытом России, мало сведущие в естественных законах общественного благосостояния, юношески увлекающиеся греко-римскими героями и принимающие некоторые иноземные учения с бессознательной верою в непреложность авторитета чуть ли не всего того, что пропускается только некоторыми западноевропейскими, но не пропускается некоторыми другими цензурами. Эти лица, равно как и другие бессознательные поклонники чуть ли не всего западноевропейского, не понимают, что наш быт сложился не так, как западноевропейский и отпрыск его, северо- и южноамериканский, что наш быт сложился без помощи победителей и что потому нам нечего увлекаться ни приемами вообще, ни результатами приемов западноевропейских победителей и их наследников. В особенности подобное увлечение неуместно в настоящее время, когда результаты нашей подражательности налицо и никого не пленяют своими прелестями, а это потому, что прелестей нет.

Некоторые лица, быть может, захотят попрекнуть нас тем, что мы пришли к вышеозначенным выводам не столько, как это покажется им, вероятно, путем анализа, сколько синтеза. Это не так. Мы не вдавались в подробный анализ наших финансовых приемов и мер вообще, как потому, что бюджет не представляет всех необходимых для того данных, так и потому, что статья наша и без того довольно длинна. А впрочем, если б и в самом деле мы пришли к этим выводам преимущественно или даже единственно путем синтеза, то разве это беда, если выводы верны? А что они верны – за это ручаются общность русского быта вообще и все, в особенности главнейшие результаты и отражения на этом быте существующих финансовых мер и приемов его. Подражательность Западу и в разных других частях администрации, как и в литературе, и в жизни вообще приводила и приводит нас к таковым же результатам, чем и подтверждается лучше всего верность наших выводов.

III

К таким же, в большей или меньшей степени, выводам, к каким привело нас общее обозрение приходов нашей казны, приводит нас и общее обозрение ее расходов.

Вот замечательнейшие и наиболее характеристические цифры этих расходов:

По военному министерству..... 106575892 р.

По морскому"..... 20589830 "

На платежи по внутренним и внешним

долгам..... 54296187 "

На министерство финансов, со включением

операционных расходов..... 26732217 "

По министерству народного просвещения..... 4156824 "

По главному управлению военно-учебных

заведений..... 3535959 "

По ведомству путей сообщения и

публичных зданий, со включением

строительных расходов..... 9128213 "

На гарантии общества железных дорог..... 5728385 "

По министерству внутренних дел..... 7477206 "

По министерству юстиции..... 5502896 "

Как читатели видят, главный расход составляют и у нас, как почти во всех западноевропейских государствах, военные силы, сухопутные и морские. Одни

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
сухопутные силы поглощают собою более трети общей бюджетной суммы. Само собой разумеется, что в будущем, даже в близком будущем, оно будет далеко не так, о чем мы и распространимся ниже. Как бы то ни было, но эта цифра тоже свидетельствует, как и многие другие в нашем бюджете, о прошедшем России в последние два столетия и о нашей прежней подражательности Западу. Эта цифра – знаменательное наследство и одно из главнейших выражений этого прошедшего; наше настоящее по необходимости приняло и это наследство вместе с другими, но прибавим с истинной отрадой, смотрит на него и распоряжается им во многом иначе, нежели делали это отцы и деды наши. Оно и должно быть так, и хорошо, что так, то есть хорошо, когда сыны и внуки разумно и мирно исправляют ошибки отцов и дедов. Все подобное этому служит залогом лучшего будущего, даже близкого будущего.

Эта цифра была бы менее чувствительна, если б она не была тесно и органически связана с другою, а именно с теми 54 миллионами, которые назначаются на платежи по внутренним и внешним займам. Если вникнуть хорошенько в историю происхождения этой суммы, то окажется, что главным образом она служит выражением наших прошедших внешних политических столкновений с Западом и далеко не всегда счастливых и полезных для России увлечений его политикой и бытом вообще. Она выражает собою долг от 1200 до 1400 миллионов рублей, из которых Россия получила вряд ли более 900 или 1000 миллионов, а может быть, и значительно менее этого.

Но эта последняя цифра имеет и более отрадную для нас сторону. Если приложить к ней все вообще долги нашей государственной казны, то окажется, что Россия сравнительно менее обременена государственными долгами, нежели многие другие европейские государства. Это было бы для нас еще отраднее, если б Россия была так же развита в своих промышленных силах, как богата она дарами природы. К сожалению, все промышленные силы наши отзываются крепостным трудом, и мы, в общей сложности, более живем до сих пор на счет естественных даров, даровых сил природы нашего отечества, нежели трудом и вообще промышленным производством. Вот почему для нас долг, подобный нашему государственному, не менее чувствителен, чем более нашего значительные долги, например, Франции и Англии для граждан этих стран. Конечно, Россия более нежели достойна и в этом отношении, но состоятельность не уничтожает знаменательности долга.

Эти числа нашего бюджета (то есть на военные силы и на уплату государственного долга) получают особенную знаменательность от сравнения их с другими расходными суммами бюджета, как, например, с расходами на пути сообщения, усовершенствование которых столь необходимо для развития промышленных сил России, на юстицию, еще более для нас необходимую, и на народное просвещение, возможным, прочным и быстрым развитием которого обуславливается наше развитие и благосостояние во всех отношениях.

Число 7477206 р., назначенное в бюджете на министерство внутренних дел, не есть еще, несмотря на свою величину, полное числовое или бюджетное выражение нашей административной централизации, а есть только одно из многих других, как числовых или бюджетных, так и другого рода, выражений этой централизации, а потому мы и не можем здесь распространиться о ней. Надеемся, впрочем, подолее остановиться на ней в другом отделе нашей статьи.

26732217 р. на министерство финансов не требуют, после сказанного нами об этом числе, никаких других объяснений в этом общем обозрении расходов нашей государственной казны.

Конечно, более или менее подобные всем этим числам, а также подобное и отношению их к другим бюджетным числам представляют нам почти все западноевропейские бюджеты; но это нисколько не доказывает, чтоб западноевропейские бюджеты были близки к идеальному совершенству.

И на всех почти расходных числах западноевропейских бюджетов, кроме швейцарского, да и то не безусловно, лежит печать феодального их происхождения, что весьма естественно, хотя и вовсе не отрадно для народов. Вот почему, если некоторые ловкие финансисты и остаются подчас довольны этими бюджетами вообще, то ни один еще серьезный экономист, сознающий действие большей части существующих налогов и бюджетных расходов на народное благосостояние, не выражал к ним особенного своего сочувствия. Оно понятно: пролетариат, пауперизм, разные коммерческие, денежные и вообще промышленные кризисы говорят вообще не в пользу многого из существующего порядка вещей в западноевропейских государствах и служат неопровержимым доводом, что этот порядок, его причины и последствия

необходимо подробно и серьезно изучать между прочим с тем, чтоб не заводить его там, где его еще нет. Это правило тем основательнее, что гибельность поименованных здесь нами и более или менее подобных им грустных явлений в быте западноевропейских государств значительно парализуется в этих государствах в настоящее время многими в высшей степени отрадными и несомненно благотворными приобретениями цивилизации, как например, весьма распространенной в некоторых странах грамотностью, в высокой степени развитой промышленностью, журналистикой, наукой, прекрасными путями сообщения, уже накопленными и созданными промышленностью капиталами, гласным судопроизводством и т. п. Еще основательнее, если только оно и без того не кажется довольно основательным, представится нам это правило, если мы вспомним, какими долгими, тяжелыми и подчас кровавыми путями дошло западноевропейское общество до большей части этих приобретений, тогда как, сложись оно исторически иначе, например так, как сложилось исторически русское общество, то есть без особенной помощи победителей и феодалского права, оно дошло бы до таких приобретений и скорей, и легче. Так, например, гласное судопроизводство есть самый естественный род судопроизводства. Стало быть, по естественному развитию человеческих обществ, этого рода судопроизводство должно было бы достаться даром или почти даром и западноевропейскому обществу, которое и обладало им в первоначальные эпохи своего существования, как обладало, например, столь же естественным семейным союзом гораздо прежде водворения католицизма. Между тем известно, что гласное судопроизводство было долгое время в большей или меньшей степени предано забвению и даже преследованию в западноевропейском обществе и заменялось в нем судопроизводством бюрократическим. В наше время, как известно, гласное судопроизводство с каждым днем все более и более восстанавливается в Западной Европе; но каким тяжелым путем доходит западноевропейское общество до такого приобретения, которое, без феодализма, достается и всегда доставалось человечеству даром, как своего рода даровая сила природы, как дневной свет и воздух, например. Мы говорим: “без феодализма”, потому что, кроме феодализма и его развития, ничто иное и не могло изобрести бюрократического судопроизводства. Это так же верно, как верно то, что начало разных паспортных систем, долгое время обременявших почти всю Европу и теперь еще продолжающих обременять собою некоторые государства, положено не теми или другими истинными условиями общественного благосостояния, не гениальными государственными людьми, нет, а гнусною трусостью тех кровожадных и безусловно бездарных в политическом отношении французских революционеров, которые изобрели террор.

Но мы долго не кончили бы, если б задумали перебрать все те явления западноевропейского быта и жизни вообще, которые, будучи сами по себе явлениями в высшей степени отрадными, тем не менее возбуждают самые грустные чувства при мысли о том, какими неестественными путями добыты они западноевропейским обществом. Порабощение и насилие – вот чем отзывается западноевропейский быт даже в тех сторонах своих, на которых красуется слово свобода и на которых развевается трехцветное знамя конституционных, гордящихся своими учреждениями, государств. Исследуя этот быт, в особенности психологически, вы чувствуете и видите, что это слово и это знамя прикрывают собою, да и то не вполне, что-то недоброе, далеко еще не окончательно вымершее. В самом деле, что может быть отраднее и благотворнее между прочим и для западноевропейского быта, как, например, протестантизм и грамотность, которой он главный распространитель? Но что такое этот протестантизм, как не протест против католицизма, главной религии Запада? Что такое, по началу своему, это распространение грамотности, как не противодействие католицизму, как не своего рода войско для борьбы с неприятелем, содержимое на основании тоже кулачного правила: *si vis pacem, para bellum* (если хочешь мира, будь готов к войне)? Бесспорно, и протестантизм, и грамотность, им распространяемая, приносят неоценимую пользу, даже приносят более пользы положительной, нежели пользы отрицательной, хотя и последняя громадна; но отрадны ли, естественно ли, соответственно ли природе человеческой начало или побуждение этих в высшей степени отрадных, самих по себе, явлений?! И не всё ли почти так на Западе?

Россия никогда не была, не будет и не может быть западноевропейской страной по своему быту и духу и может сделаться общеевропейской страной по своему быту и духу только тогда, когда, с одной стороны, разовьются самостоятельно и окончательно все ее силы, а, с другой стороны, когда западноевропейский быт освободит себя окончательно от тех материальных и умственных язв и ран, которые передало ему его прошлое, и когда он твердо станет на том пути, на котором он всегда стоял бы и с которого, без сомнения, никогда не сходил бы, если б развивался более или менее последовательно и естественно, без помощи победителей

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
и феодального порядка. Разумеется, до этого далеко, так далеко, что не видно даже глазу, вооруженному наукой.

Вот почему, между прочим, России нужно и важно более всего знание, самопознание и самосознание; но знание не для подражательности, за которую Россия уже достаточно поплатилась, хотя и не без значительной тоже пользы для себя; знание нужно ей для самопознания и самосознания, а самопознание и самосознание для саморазвития, то есть для развития естественного и постепенного, без неуместной подражательности или увлечения чуждыми ей началами и явлениями.

Сознание такой необходимости особенно важно для России в настоящую эпоху ее существования и развития. Чем выше есть и будет степень такого сознания, тем лучше и скорей устроится и обеспечится наше дальнейшее развитие. Бессознательное же увлечение разного рода учреждениями и явлениями чуждого нам быта только задержат это развитие.

Мы очень хорошо знаем, что народ или государство – не человек и не могут быть вполне и во всем сравниваемы между собою; тем не менее есть много общего и схожего в развитии и жизни вообще отдельных лиц и народов. Вот почему, сравнивая Россию как живущий государственной жизнью народ с человеком, мы никак не можем приравнять, а потому и назвать ее ни ребенком, ни старцем, а по степени ее промышленного и умственного развития не можем приравнять и назвать ее и зрелым мужем. Остается юношеский возраст, возраст и светлых надежд, и свежих сил, почти ни в ком в этот возраст окончательно не извращенных, не истощенных и не порабощенных. “Россия вся в будущем”, – сказал Лермонтов, а это значит, что и он считал ее, если не во всех, конечно, то во многих отношениях, юношей.

Россия действительно – богатый и даровитый юноша, то есть еще очень молодой человек, умственные и другие силы которого еще далеко не вполне развиты, познания которого вообще поверхностны, некоторые увлечения неосновательны; юноша, который жил до этих пор и продолжает еще жить не на свои трудовые деньги или более на счет отцовского наследства, нежели на свои трудовые деньги, и карьера которого, быть может, уже началась, но еще не определилась окончательно. Все это не мешает, конечно, юноше быть не во всех отношениях вполне здоровым и т. п., но не мешает и выздороветь вполне и обогатиться познаниями, и освежить жизнь свою честным и непрерывным трудом и т. п.

Как ни поверхностно, по-видимому, такое сравнение, но думаем, оно не лишено основательности, если только есть в нем что-либо неосновательное. В самом деле, не говоря для краткости о тех задатках будущего умственного развития России, которое представляет нам современное общество наше, не говоря о других явлениях нашего современного быта, которые в большей или меньшей степени оправдывают уподобление России юноше, остановимся на вопросе, чем и как преимущественно жила до последнего времени Россия в материальном отношении, то есть как приобретала она свой насущный хлеб, на что, то есть на какие блага, училась, роскошничала, наслаждалась итальянскими певцами и пр. и пр. тому подобное?

Начнем с верхних слоев нашего общества. Они жили в большей или меньшей степени доходами своими, рентами от недвижимых имуществ и частью капиталов. Трудом зарабатывали они крайне немного, учились, служили и трудились вообще очень мало и кое-как, жили частью с азиатской, частью с богатой европейской роскошью, вообще широко, но без английского комфорта, без немецкой экономии и вообще необстоятельно. Если мы положим, что добросовестной службой и трудом вообще они зарабатывали, в общей сложности, 1/20 и много 1/10 часть своих расходов, то эта цифра должна служить несомненным доказательством, что мы не намерены преувеличивать недостатки нашего общества. Если присоединить к ним образованнейшую и богатейшую часть нашего купечества и вообще промышленного сословия, тоже не лишенную ни достоинств, ни недостатков в ведении своих дел вообще, то мы получим таким образом ту часть нашего общества, на счет расходов которой живет почти вся остальная часть нашего городского населения. Правда, к первым двум категориям надо присоединить еще, в этом последнем отношении, большинство чиновничьего и вообще служащего сословия; но это сословие жило и на счет казны, и на счет всех вообще, хотя, конечно, и в свою очередь питало несколько торговлю и промышленность вообще, а частью и литературу и пр.

Остальная часть наших городских обывателей, мелочные торговцы, мещане, ремесленники, жили своим трудом, торговлей и работой преимущественно на дворян-помещиков, более или менее богатое купечество, чиновников и пр. Но ни

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
торговля их, ни работы вообще не отличались, как известно, ни особенным искусством и знанием, ни особенной добросовестностью. Словом, и свободный труд выходил не лучше труда крепостного.

Каким же образом получали главные доходы свои верхние слои нашего общества? Мы сказали: преимущественно с недвижимых имуществ, то есть поместьев. Крепостные люди или исправляли барщину, или платили оброк, который соответствовал более или менее доходу от барщины. Но что это был за оброк? Он обыкновенно и в общей сложности равнялся наемной плате за землю. Но земли у нас вообще много, а потому и наемная плата за нее была невысока. Сверх того крестьяне пользовались, например, большею частью даровым лесом и истребляли его на свои нужды вообще не менее, нежели на сумму платимого ими оброка за землю; стало быть, пользование лесом и землей обходилось им недорого. Прилагая к помещичьей земле, лесу и другим даровым силам природы дней с сотню или много полтора в год своего крепостного, а потому вообще и небрежного, и ленивого труда, они этим платили оброк, исправляли казенные повинности и жили – по-своему, разумеется, – то есть вели жизнь наполовину праздную, наполовину, если не более, грязную, на три четверти очень бедную, на четверть пьяную, в значительной степени грубую, несколько неприхотливую и в особенности неразвитую в умственном и нравственном отношении, и все это несмотря на все природные умственные способности, в общей массе громадные.

Между тем эта часть нашего народонаселения, вместе с другими сельскими условиями, более или менее, кроме относительно немногих исключений, ей во всем почти подобными, составляла основу или почву нашего общества, его основную материальную силу, основной элемент его богатства, его благосостояния, и никто, как эта масса народонаселения, доставляла возможность городскому населению вести жизнь в общей сложности полупраздную, а потому вообще и малопроизводительную во всех отношениях.

Но ясно, что и вся эта масса сельского народонаселения жила не столько трудом своим, сколько на счет естественных материальных сил России. Стало быть, в общей сложности и в общем итоге все мы, русские, вся Россия жила далеко не столько производительным трудом, сколько на счет материальных, естественных богатств края. Стало быть, мы более проживали, нежели наживали, что вполне подтверждается одною из самых характеристических черт наших семейств и хозяйств, отдельных личностей вообще, ибо, кроме относительно немногочисленных исключений, все мы почти более проживаем, нежели наживаем, да и наживаем мы вообще спустя рукава, лениво и очень часто не совсем честно. Оно и должно быть так в обществе, фундамент или почва которого в течение веков пропитывались крепостным правом и сопровождавшими его, по необходимости, другими более или менее ему подобными обычаями и правилами.

Но скажите теперь: кто имеет и право, и возможность, и даже необходимость жить долгое время таким образом, как не более или менее богатый юноша, богатое, по естественным силам своего края, и еще юное, по степени своего развития, общество или государство? Если б и нельзя было назвать юношами, в этом смысле, верхние слои нашего общества, то как же иначе назвать всю Россию как государство? Ее тысячелетнее существование не служит еще поводом к тому, чтоб назвать ее зрелым мужем и в особенности старцем; напротив, оно-то более всего к говорит в пользу эпитета или сравнения ее с юношей, ибо, несмотря на это тысячелетие, физические и умственные силы ее не только не истощены, но и далеко еще не развились вполне.

Да, только более или менее юношескими увлечениями и воззрениями на жизнь и объясняются, а потому в большей или меньшей степени и простительны все те стороны и явления жизни вообще нашего общества, которыми мы всего менее можем гордиться, те стороны и явления, благодаря которым еще юные и не вполне развитые физические силы наши поранены или поистощились немало, а наши нравственные и умственные силы, тоже свежие и крайне неразвитые, несколько заразились превратными и чуждыми нам понятиями и т. п. Конечно, подобные стороны и явления неотрады, но, по крайней мере, мы можем утешаться при основательной мысли, что у нас есть еще будущность, что если общество русское вообще до сих пор более проживало, чем наживало, то это потому преимущественно, что было что проживать, было на что жить полупраздно и спустя рукава. Еще отраднее становится при мысли, что мы можем еще вовремя приняться за жизнь, более прежней толковую, производительную и правомерную, и приняться за нее не ради куска насущного хлеба, а во имя сознания ее необходимости, ибо, и заплативши все свои долги, русское общество вообще будет иметь еще не менее, а скорее несравненно более

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
прежнего доходов с наследия своих отцов, с земли русской и ее естественных и, в некоторых отношениях, даже почти не тронутых богатств.

Но чем более русское общество похоже вообще на юношу, чем более поранено оно в юных силах своих прежними увлечениями, а в том числе и юношескою подражательною людям или обществам более зрелого, даже, в том или другом отношении, старческого возраста, и чем более у него осталось не прожитого еще наследственного достоинства, тем для него, для настоящего и будущего благосостояния и всестороннего развития его, важнее возможно высшая степень самопознания, самосознания и саморазвития, без лишних увлечений прежних лет, без лишних подражаний тем явлениям и сторонам вообще чуждых нам бытов, которые мало или вовсе не соответствуют нашему собственному быту и естественным условиям его развития.

Во избежание и недоразумений, и многоречия, остановимся на минуту для доказательства основательности высказанной здесь мысли только на следующем современном нам и всем известном явлении, а именно на наших новых мировых сельских учреждениях. Едва только, даже можно сказать всего несколько дней тому назад, положено у нас начало этим учреждениям, а между тем уже каждый день приносит нам сведения и свидетельства об успешности действий этих учреждений, о благотворном влиянии их на быт народа и вообще на Россию, а также и о том, что они легко принялись и быстро крепнут на нашей почве. Все мы, конечно, более или менее радуемся, но многие из нас и удивляются подобному небывалому у нас успеху. Радость наша основательна, а удивление свидетельствует, что мы мало сознаем основания и условия вообще народного благосостояния. Многие административные меры не принимались или плохо вообще принимались и никогда не могли укорениться у нас потому, что годились для всех или некоторых западноевропейских народов, но никак не для русского общества; наши же новые сельские учреждения принялись легко и скоро потому, что они хотя и более или менее и общечеловеческие по своим началам, но тем не менее и чисто русские учреждения, и вполне соответствуют современному сельскому быту России. Вот основная причина их успеха! Этот успех тем знаменательнее и значительнее, что эти учреждения, в большей или меньшей степени, временно связаны, так сказать, с временным явлением, которое страшно парализовало бы деятельность и противодействовало бы благотворности влияния всякого другого рода подобных учреждений, например таких, в основании которых лежало бы феодально-бюрократическое начало. Временное явление, о котором мы говорим здесь, есть, разумеется, временнообязанное положение крестьян к их прежним владельцам. Таким образом, оказывается, что наши новые мировые учреждения суть учреждения образцовые и в высшей степени благотворные для России, а потому и легко и скоро укореняются на нашей почве, а все это происходит по той причине, что при создании их были приняты в соображение и в основание современные нужды и степень развития народа, а не неуместное подражание западноевропейским администрациям или тому подобное.

Из всего до сих пор сказанного нами как о бюджетных числах, так и о других явлениях в современной жизни России читатели, смеем надеяться, видят, что мы не увлекаемся ни в дурную, ни в хорошую сторону относительно настоящего и в особенности будущего России. Мы именно убеждены, что для блага России необходимо менее всего излишнее, подобное прежнему, увлечение Западом и более всего самопознание с самосознанием для саморазвития как вернейшего пути и средства к возможно большему народному благосостоянию. Само собой разумеется, что это не исключает необходимости для нас ни возможно основательного изучения других национальностей, ни возможно частых и мирных сближений с ними путем торговли и промышленности вообще, науки, искусств, литературы и политики, тем более что без такого знакомства и сближения невозможно ни полное самосознание, ни полное, без примеси китаизма, саморазвитие, не мыслимое или по меньшей мере не могущее быть вполне успешным в настоящее время без науки. Мы убеждены также, что материальные средства России громадны, что у ней есть чем улучшить, и притом скоро, финансовое положение свое, есть на что исцелить те раны или язвы, которыми страдают некоторые силы ее и стороны ее жизни вообще, что она легко может, да и должна, захитить жизнью более разумной, более производительной и более богатой во всех отношениях, нежели прежняя и даже настоящая ее жизнь. Словом, и мы убеждены, что Россия вся в будущем и что это будущее даже довольно близко, но с условием, однако, не антисипировать его, то есть не идти к нему навстречу слишком спешно и торопливо, не представлять его себе по каким-либо западноевропейским или другим теориям и явлениям, не проживать в настоящем благу будущего, а дожить до него жизнь возможно основательной, возможно полной труда, мысли и науки.

Более подробное и специальное рассмотрение бюджетных цифр, в нижеследующих отделах нашей статьи, подтвердит, как мы надеемся, основательность выраженных здесь нами надежд и мнений.

IV

Так как каждое более или менее цивилизованное государство получает постоянные доходы преимущественно, если только не исключительно, путем податей, повинностей и налогов и так как подати, повинности и налоги должны непременно соразмеряться только с неустранимыми и во всех отношениях, по возможности, законными финансовыми нуждами государства, то мы, для доказательства основательности мнения нашего о финансовом положении России, начнем, как и следует, с обозрения государственных расходов как более или менее неизбежного и действительного мерила финансовых нужд государства.

Само собою разумеется, что, как бы ни объяснялись, с одной стороны, историческими событиями и явлениями те или другие государственные расходы и как бы, с другой стороны, ни были они нерациональны, тем не менее правительство не всегда имеет возможность приостановить или заменить их другими вдруг и часто должно, по необходимости, во имя общего блага и правды, совершать подобное преобразование очень медленно, шаг за шагом. Сознывая такую необходимость, мы, конечно, не можем терять ее из виду при обсуждении и расходных бюджетных цифр, что и просим читателей принять в соображение при чтении некоторых из наших рассуждений, которые, без этого обстоятельства, показались бы им не довольно основательными. Если и правительства не всегда могут, без оскорбления множества законных интересов, разом преобразовать те или другие стороны общественной жизни, как бы разумна и законна ни была цель преобразований, то, конечно, не могут, без оскорбления здравого смысла, терять из виду это обстоятельство и те, которые рассуждают о мерах правительственных.

В бюджете нашем расходы разделяются на две категории: на расходы обыкновенные и на расходы на счет сумм, поступающих из разных источников на определенные предметы. Таким образом, бюджет заключает в себе как бы два бюджета: общий и частный. Общая цифра первого равняется 294110709 руб. 51 3/4 коп., а общая цифра второго 16509029 руб. 48 1/4 коп., а общая бюджетная цифра 310619739р.

Разумеется, такое подразделение бюджета прежде всего возбуждает вопрос: отчего и для чего такое подразделение? ибо без того не разрешается неизбежный вопрос: которая же собственно цифра – 294110700 р. или 310619739 р. – есть, в строгом смысле, настоящая бюджетная цифра на 1862 год?

Ответа на этот вопрос, конечно, надо искать в цифрах частного отдела бюджета.

Между этими цифрами самые крупные суть следующие:

1) На заготовление запасной пропорции вина – 7377107 руб.; но на приходной стороне бюджета эта цифра повторяется, а именно: за вино, отпускаемое откупщикам, сверх определенной пропорции, по заготовительной цене. Стало быть, это и не доход, и не расход, или доход и расход казны, которая в этом отношении есть не более как своего рода посредница. Значит, эта цифра не есть собственно обыкновенная бюджетная цифра и, может, даже должна быть исключена из него и, вероятно, уже ни разу не встретится в наших государственных бюджетах по уничтожении откупной системы.

2) Вторая по величине цифра – 3710624 руб. 48 1/4 коп., на приготовление снарядов и за медь для военного и морского министерств, которая также повторяется в приходном отделе бюджета – за снаряды и медь для военного и морского министерств. Если казна получает доходы за снаряды и медь и расходует их на снаряды и медь, и притом без всякого барыша для себя, то, конечно, и здесь она является, собственно, не казной, в обыкновенном смысле слова, и, разумеется, не промышленником, а тоже своего рода посредницей. Стало быть, и эта цифра не принадлежит собственно к числу бюджетных цифр. То же должны мы сказать и о 57089 руб., назначенных военному ведомству за порох и свинец для жителей Восточной Сибири.

3) Третья по величине цифра – 3101724 руб., на расходы по “гражданскому” управлению Закавказского края и на содержание православного духовенства в Грузии; но и эта цифра повторяется в приходной части бюджета как выражающая

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

собой сумму доходов Закавказского края. Стало быть, Закавказский край имеет или, по меньшей мере, может иметь свой отдельный бюджет как имеют его Царство Польское и Финляндия, как имеет его, впрочем, и каждая часть государственной администрации. Но, разумеется, приходная часть кавказского бюджета не соответствует его расходной части, относительно слишком большой и объясняемой исключительным положением этого края, почему и значительная часть расходов его, именно военных, покрывается общерусскими доходами. Как бы то ни было, но приведенные здесь 3101724р. тоже не относятся к числу общих русских государственных доходов и расходов и принадлежат к разряду таких цифр бюджета, которые могут быть исключены из него по более или менее одинаковой причине с двумя вышеприведенными цифрами. Но, сказав это, мы не вправе идти далее, не остановившись несколько на этой цифре. Она знаменательна уже по своей относительной незначительности, много говорящей за возможность дальнейшего преуспевания Закавказского края и объясняющей его промышленные, а частью и умственные успехи со времени соединения его с Россией. Если эта цифра не свидетельствует еще о полной ответственности администрации быту вообще страны, то, по крайней мере, она показывает, что закавказская казна довольствуется незначительными – относительно, разумеется, – доходами, ибо при таких доходах падает на каждого жителя податей от 1 руб. 15 к. до 1 р. 16 к. (при населении 2688173). Эта цифра должна быть тем отраднее, чем она вернее, то есть чем более обеспечивает закавказских граждан от неправильных и незаконных расходов, нигде не показываемых в бюджетах, но тем не менее превышающих иногда, как, например, в Турции, общую сумму бюджетных цифр. Для России эта цифра имеет и то важное значение, что в большей или меньшей степени определяет возможность перенести со временем часть наших военных государственных расходов на долю Закавказского края, что было бы и справедливо, ибо войско наше необходимо на Кавказе не только для окончательного покорения горцев или тому подобного, но и для охранения личности и собственности закавказских граждан от набегов диких племен. Впрочем, зная Кавказ только по немногим книгам и журнальным статьям, мы не очень-то ругаемся за основательность и в особенности за своевременность нашего мнения.

4) Четвертой цифре 1135600 руб., а также и пятой 225137 руб., определяющим собой сумму вознаграждений Царству Польскому, по случаю снятия таможенной линии, за соляные доходы и за дорожный и сплавной сборы, тоже соответствуют в приходной части бюджета совершенно равные им цифры, а именно: пошлин с иностранной соли, привозимой в Царство Польское и акциза на соль чехоцинского завода (1135600 руб.) и дорожного и сплавного сборов, поступающих с таможенными по Царству Польскому сборами (225137 руб.). Стало быть, эти цифры прямо относятся к бюджету Царства Польского и принадлежат к нашему бюджету не более того, как принадлежат к прусскому, например, бюджету все таможенные сборы Германского таможенного союза, состоящего, как известно, из Пруссии, Баварии, Виртемберга, Бадена и проч.

5) Шестой цифре 798218 руб., на содержание духовенства в западных губерниях, соответствует точно такая же в приходном отделе бюджета и определяется в этом отделе так: с имений, принадлежащих духовенству в западных губерниях, и с капиталов оного. То же самое должны мы сказать и о цифре 29269 р., на содержание духовно-учебных заведений в западных губерниях, назначаемое из экономических капиталов духовного ведомства, как значится в бюджете. Таким образом, мы имеем основание исключить и эти цифры из общей бюджетной суммы, как такие, которые выражают собой более или менее особенные, исключительные и самостоятельные источники доходов на известный и определительный предмет расходов.

Остальные две цифры суть следующие:

6) 60000 р. на усиление земского отдела и некоторые по губерниям расходы по крестьянскому делу. Эта цифра тоже не принадлежит к обыкновенным государственным расходам и покрывается не обыкновенными доходами, а из особого капитала, отложенного на крестьянское дело, не входящего в состав бюджета.

7) Расход в 14261 р. на статистический комитет покрывается из земских сборов; стало быть, тоже не входит по бюджету в разряд общих государственных расходов, хотя бы и следовало ему входить, как нам кажется, в этот разряд.

Таким образом, выходит, что все здесь только что поименованные расходы, кроме последнего (14261 р. на статистический комитет) должны быть вычтены из общего бюджетного итога, и, таким образом, общею бюджетною цифрою, равною всем остальным, вместе взятым бюджетным цифрам, следует принять не 310619739 руб., а

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
294110709 руб. 51 коп. Само собою разумеется, что при тождестве других условий и обстоятельств, чем меньше такая цифра, тем лучше.

Но, по-настоящему, и 294110709 р. тоже не представляет еще собою общего бюджетного итога, ибо к числу расходов причислены в бюджете 4000000 р. на непредвидимые расходы и 4000000 р. на недобор в доходах. Значит, общим бюджетным итогом или общей цифрой можно принять не 294110709 р., а 286 мил. с тысячами. Таким образом, при населении в 64383012 жителей (не считая Царства Польского, Закавказского края, Финляндии и Североамериканских владений) приходится на каждого податей до 4 р. 50 к. Эта цифра была бы одной из самых отрадных в ряду подобных цифр, если б к ней не нужно было приложить ни земских повинностей, ни разных таких поборов, которые преследуются и нашим законодательством, как и всеми другими.

Итак, общие расходы государственные равняются сумме 294000000 р., если только не 286 мил. Рассмотрим теперь эти расходы по бюджету и при этом позволим себе высказать некоторые соображения, на основании которых мы приходим к убеждению, что финансовое состояние России может быть, в близком будущем, одним из самых цветущих.

а) Первая цифра в расходном отделе бюджета – 54296187 р. 91 коп. назначается на платежи по внутренним и внешним долгам. Не входя на этот раз в подробности о государственных долгах России, ограничимся замечанием, что если приведенная здесь цифра представляет собой обязательный и необходимый ежегодный (по крайней мере, в течение многих лет) расход на покрытие государственного долга, то эта цифра неминуемо должна быть увеличена в нашем бюджете. Предположение это основано на том, что необходимо извлечь из обращения излишнее количество кредитных билетов, и это, между прочим, с целью преобразования, но не по-прежнему, конечно, наших кредитных установлений или восстановления с необходимыми улучшениями ныне ликвидируемых, а также и с целью основания более или менее частных кредитных учреждений. Положение собственников, а также торгующего и вообще промышленного класса по отношению, между прочим, к кредиту должно быть непременно изменено к лучшему, ибо в настоящее время оно тягостно. Без улучшения этого положения никоим образом не может быть улучшено и государственное финансовое положение; улучшение этого последнего, без первого, будет не прочно и искусственно, да и может казаться улучшением только тем лицам, которые кое-как знакомы с вершинами политической экономии, но более ровно ни с чем не знакомы. Это вполне подтверждается настоящим состоянием частного кредита в России, состоянием, которым отечество наше обязано не чему и не кому иному, как только людям, решительно не знающим ни науки о финансах, ни политической экономии и считающими себя экономистами только потому, что кое-как схватили вершки этих наук, да и то с грехом пополам.

Извлечение лишнего количества кредитных билетов из обращения не обойдется, вероятно, без расходов для казны, и только финансовый гений, при достаточном влиянии на нашу финансовую администрацию, может избавить казну от значительных расходов в этом отношении. Во всяком случае лучше разумные расходы, хотя бы и значительные, нежели сохранение настоящего положения кредита. Вот почему мы несколько не удивимся, если с целью улучшения нашего денежного обращения приведенная в бюджете цифра на платежи по внутренним и внешним долгам, то есть 54296187 р., возрастает в последующих бюджетах до 70 или 80 милл., тем более что и без улучшения нашего денежного обращения и восстановления нашей монетной единицы увеличатся расходы нашей казны и потому необходимы будут или новые займы, или возвышение налогов.

б) Следующие цифры бюджета, под общей рубрикой: По министерству Императорского двора, равняющиеся, в общей сложности, 7957905 руб., составляют то, что в иностранных государствах называется *liste civile*, [50] с тою, между прочим, разницею, что в *listes civiles* [51] не входят, конечно, некоторые из тех расходов, которые в нашем бюджете составляют 2754756 р. и назначаются, как сказано в бюджете, на содержание и расходы отдельных учреждений, состоящих в ведении министерства Императорского двора, как-то: капитула орденов, публичной библиотеки, Академии художеств, ботанического сада, на пособие благотворительным заведениям, столичные театры, на поощрение художеств и проч. Конечно, можно было бы сказать многое о принадлежности этих учреждений к министерству Императорского двора; но, чтоб не вдаваться в подробности, тем более что мы не могли бы сказать что-либо новое, другими прежде нас не высказанное, заметим только, что нельзя не удивляться обширности круга деятельности этого министерства и той громадности и

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
многосторонности сведений и знаний, которых требует такой круг деятельности, судя, конечно, по тем разнообразным учреждениям, которые причисляются у нас к этому министерству. Во всяком случае, необходимо вычесть 2754756 р. из вышеозначенных 7957905 р., чтоб получить цифру бюджета, которая соответствовала бы иностранным *listes civiles*, то есть расходам на верховную власть. Цифра 5203149 р., получаемая таким вычитанием, была бы совершенно невероятною у нас цифру, по своей относительной незначительности, если б она не объяснялась тем, что Императорской фамилии принадлежат удельные имения, в которых числится одних удельных крестьян до 1800000 душ обоего пола. Эти крестьяне, как известно, не избавлены от государственных и земских повинностей и потому-то, между прочим, должно признать, что существование удельных имуществ имеет свою выгодную сторону, ибо, не лишая государства его доходов, уменьшает количество его расходов. Так, по крайней мере, выходит по бюджету; так должно выходить и по здравому смыслу.

Таким образом, мы имеем основание предполагать, что, несмотря на ежегодное возрастание по многим причинам разных необходимых в государственной жизни расходов, расходы по министерству Императорского двора не будут у нас, значительно по крайней мере, увеличиваться, и это благодаря уделам. Наше предположение оправдается, по всей вероятности, тем скорее и лучше, чем менее будет входить в круг ведомства министерства Императорского двора такого рода учреждений, которые по своему назначению вовсе к нему не относятся, а причислены к нему, вероятно, более или менее на время только, и, как, например, Императорская публичная библиотека, с целью иметь или получать более средств на свое развитие, что объясняется историческими обстоятельствами, то есть обстоятельствами прошлого времени.

с) На высшие государственные учреждения: государственный совет, комитеты: министров, сибирский и кавказский, I, II и III отделения собственной Его Величества канцелярии и комиссию прошений, назначено 928904 р. Эта цифра относительно очень незначительна и вполне объясняется частью административную деятельность, частью и политическим значением поименованных здесь учреждений. Этими словами мы могли бы и ограничиться об этой цифре, но так как мы имеем в виду не только настоящий бюджет, но и будущие бюджеты или, что все равно, настоящее и будущее финансовое положение России, то и считаем нужным прибавить к сказанному здесь нами еще следующее. В настоящее время весь быт России более или менее перестраивается к лучшему или, по меньшей мере, с надеждой на лучшее. Нет никакого сомнения, что и высшие государственные учреждения подвергнутся рано или поздно преобразованию, которое уже начато в большей части наших министерств. Предсказать, какого рода будет это преобразование и когда совершится оно, мы, конечно, не имеем никакой возможности; но думаем, что оно не увеличит, значительно по крайней мере, этой статьи государственных расходов. Опыт веков и народов достаточно доказывает, что достоинство высших государственных учреждений вовсе не обуславливается большими на них расходами. Конечно, высшие государственные учреждения, например, современной нам Франции, стоят очень дорого государству; но ведь это, между прочим, потому, что большинство французских сенаторов, государственных секретарей и им более или менее подобных по значению лиц не столько отличается гражданскою доблестью, такую, например, свою славен наш князь Я. Ф. Долгоруков, сколько разными другими качествами и свойствами, при которых бюджеты растут не по дням, а по часам. Притом же иностранные государства не должны быть образцом для России в этом отношении.

d) На ведомство православного духовенства в бюджете назначено 4661097 р. В 1859 году состояло, а значит, и теперь состоит не менее, если только не более, одного белого православного духовенства в России, при соборах, приходских и других церквях: протоиереев 558, священников 36965, диаконов 12229, причетников 63597, не считая заштатных священно- и церковнослужителей, ибо всего белого духовенства было 124984 человека. Если предположить, что на каждый рубль жалованья, получаемого причетником, диакон получает 1 р. 50 коп., священник 2 р., а протоиерей 2 р. 50 коп., то, распределив таким образом здесь приведенную бюджетную цифру 4661097 р. между лицами белого духовенства, не включая заштатных, выйдет, что причетник получает в год жалованья менее 30 р., диакон менее 45 р., священник менее 60 р., а протоиерей менее 75 р. Нет никакого сомнения, что в действительности это не так и что белое духовенство получает несравненно более жалованья, нежели выходит это по нашему крайне поверхностному и неосновательному расчету. Дело в том, что при виде такой бюджетной цифры мы были поражены ее относительной незначительностью и задали себе вопрос: сколько же получает у нас жалованья такое почтенное и необходимое в государстве лицо,

как священник? Как читатели видят, в расчете нашем не приняты в соображение никакие другие расходы по духовному ведомству – ни на Св. Синод, ни на духовно-учебные заведения и пр. и пр. Если б, на основании положительных данных, мы приняли бы в соображение эти расходы, то, конечно, получили бы, что священник не получает в год и 20 р., а может быть, и 10 р. жалованья. Ясно, значит, что означенные в бюджете 4661097 р. не составляют всей суммы расходов на ведомство православного духовенства, что это ведомство, в обширном значении слова, имеет еще другие определенные источники доходов, кроме тех, которые получает оно из государственного казначейства. В противном случае эти 4 миллиона 661 тысяча были бы цифрой уже слишком незначительной и грустной по своей незначительности, а также и по результатам, конечно. Каждый здравомыслящий человек согласится, по крайней мере, с тем, что, если необходим священник, то не менее необходимо, чтоб он честно исполнял свои обязанности, а для этого необходимо, чтоб он имел к тому и возможность, и средства. Вот почему, не зная надлежащим образом, каковы материальные средства вообще нашего духовного ведомства, мы не беремся решить, достаточны ли они вообще и вполне ли достаточна в особенности та сумма, которая назначена в бюджете. Во всяком случае, если смотреть на этот предмет с одной только государственно-финансовой, значит, по-видимому, чисто материальной точки зрения, то и в таком случае нельзя не желать, чтоб все духовенство русское было достаточным образом, то есть и не богато, и не скудно, наделено средствами к существованию. Недаром решил наш умный народ: “каков поп, таков и приход”. Нетрудно понять, что как бы ни был проникнут священник своими обязанностями, но он может и не исполнять их, может и не совершить, например, необходимой требы, если он слишком слаб физически, и это, например, потому, что он голоден. И он прежде всего – человек, и на него, значит, прежде всего надо смотреть по-человечески, человечно, как и он должен смотреть на других. Не должно быть иначе, ибо иначе ни духовенство не поймет никогда мирян, ни миряне не поймут духовенства. А необходимо, для общего блага, чтоб они понимали друг друга, да и взаимно содействовали одни другим. Везде более или менее достаточно обеспеченное, развитое и верное своему назначению духовенство, не увлекавшееся никакими ложными политическими теориями, приносило огромную пользу не только нравственному развитию народа, но и материальному его благосостоянию, и таким образом, служа честно Богу, служило честно и законным правительствам, содействуя им к достижению истинных государственных целей. Много еще услуг может оказать и русское духовенство России; вот почему и Россия, без сомнения, не поскупится, по мере надобности, на сборы в пользу своего духовенства. И, с точки зрения финансовой, подобные сборы должны быть оправдываемы, насколько они необходимы, ибо, с этой точки зрения, они представляют собою неизбежные, справедливые и полезные вознаграждения за услуги, и чем значительнее и действительнее услуги, тем выше должно быть и вознаграждение. Воздай Богови Божие и т. п. есть тоже основное начало настоящей, во всем правдивой и человеколюбивой политической экономии.

Мы многое могли бы сказать для оправдания мнения, что и духовные лица, как члены общества и государства, должны получать достаточные, не для богатого, а для безбедного существования, средства к жизни, ибо без таких средств немислимы все те услуги и вообще действия, которых вправе ожидать общество и государство от духовенства. Еще более могли бы мы сказать, на основании здоровой политики, о значении верного своему призванию духовенства в деле достижения законных целей государственной жизни, даже и тогда, когда духовенство нисколько не вмешивается, в качестве политического элемента, в государственную администрацию и только по мере настоятельной в том надобности и по предложению правительственных лиц содействуют им к достижению таких целей. Чтб не говорить об этом слишком много, ограничимся следующим фактом.

Известно, каково было большинство французского и католического духовенства в прошлом веке. Трудно набрать достаточно мрачных красок, чтоб изобразить его по достоинству. Поглощенное исключительно своими личными интересами, проникнутое самыми скверными, вовсе не христианскими убеждениями, оно было едва ли не самым дурным и вредным элементом во Франции, и вместо того, чтобы содействовать умственному и нравственному развитию народа и процветанию государства, оно только противодействовало всему этому. Таково было и духовенство Лимузина, когда знаменитый Тюрго назначен был губернатором (интендантом) этой провинции. Лучше, нежели кто другой, знал духовенство и понимал цели его Тюрго; тем не менее, проникнутый самыми человеколюбивыми чувствами и правилами и стремясь к улучшению участи вверенного ему населения, он не только не выказывал пренебрежения к духовенству, но даже обратился к нему с просьбой и воззванием о содействии. Вот смысл его воззвания: “Ваше святое назначение – служить Богу, а потому и помогать

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

ближним; вы не отказываетесь от случая творить добро; я желаю улучшить участь страждущего населения, вы поможете мне, – помогите мне в этом деле, достойном вашего участия!” Что ж сделало недостойное духовенство? Оно помогло благородному правителю! Оно, развращенное и невежественное, пренебрегавшее властью и короля, душой откликнулось на человеческий зов неважного и несильного сановника, охотно стало под его знамя и сослужило честную службу человечеству! Только там те или другие сословия не содействуют надлежащим образом правительствам в деле достижения естественных и законных целей государственной жизни, где или вовсе нет или слишком мало правительственных деятелей, могущих, по своим высоким способностям, человеколюбивым понятиям и человеческим чувствам, быть вполне достойными представителями законной государственной власти.

Православное духовенство, как бы большинство его ни уступало в чем-либо духовенствам некоторых других христианских исповеданий, имеет, тем не менее, не одно важное преимущество перед другими духовенствами. Оно, например, не страдает нетерпимостью католического духовенства и, что еще лучше, не нуждается для поддержания своего значения в обществе в участии и вмешательстве в политику. Оно может вполне предаваться своему назначению, и чем более и усерднее может предаваться ему, тем скорее, легче и с большей пользой может своим нравственным влиянием на народ содействовать развитию народного благосостояния вообще. Поэтому-то и думаем мы, что увеличение, в случае надобности, вышеприведенной бюджетной цифры не может быть бременем для государства, если таким образом можно будет достигнуть того, чтоб, по возможности, все духовенство было безукоризненно верно своему назначению. Конечно, полный расход на содержание духовенства не может взять на себя государственная казна, по крайней мере при нынешних обстоятельствах и условиях вообще нашего быта, ибо такой расход, по всей вероятности, равнялся бы не менее, как 40 или 50 мил. р. в год. Это дело земских сборов. Мы и надеемся, что наш земский быт не иначе почтет себя достаточно устроенным, как только тогда, когда будет между прочим вполне обеспечен и материальный быт нашего духовенства. Такое обеспечение по результатам своим окажется и в материальном отношении только выгодным и даже очень выгодным для всех членов и элементов нашего государственного союза.

е) 4156824 р. – на министерство народного просвещения. Эта цифра или слишком мала (в особенности если сравнить ее с цифрой 3535957 р., назначенною в бюджете на главное управление одних военно-учебных заведений) и должна выражать собою то не очень важное значение, которое придавалось у нас долгое время делу народного просвещения, или же эта цифра несколько не выражает собою всех расходов казны и в особенности всех средств нашего общества вообще на дело народного просвещения. И то, и другое из этих предположений основательно. В самом деле, если б мы могли перебрать все те суммы, которые расходует казна на школы и учебные заведения, подчиненные ведению не одного министерства народного просвещения, но и других ведомств, то мы получили бы, вероятно, сумму не меньшую 12-ти или 15-ти милл., а если присоединить к этой сумме то, что расходуются частными лицами, не говоря уже о земских расходах, то, вероятно, мы получили бы в сложности не менее как 25 мил. р. серебром. Следующие цифры более или менее оправдывают наше предположение. Учащихся было:

В 1858 году по духовному православному ведомству 54202

" 1859 году по ведомству министерства народного

просвещения (не считая царства Польского) 133618

" 1859 году по ведомству главного штаба Его

Императорского Величества

по военно учебным заведениям..... 7780

" 1858/1859 г. по ведом. воен. министер..... 10013

" 1859 году " " морск. министр..... 2143

" " " " министр. финанс..... 6137

" " " " " иностр. д..... 6

" " " " " юстиции.....	846
" " " " " госуд. им.....	182654
" " " " " Имп. дв.....	1716
" " " " " уделов.....	25343
" 1858" " " " внутр. д.....	6855
" " " " " главн. управ., путями сообщен....	434
" 1857 году по учреждениям Императрицы Марии	9317
" 1857 году под покровительством Великой	
Княгини Елены Павловны.....	490
" 1858 году по почтовому ведомству.....	257
" 1859" " " ведомству наместника	
кавказского.....	10286
" 1859 году в Лазаревском институте.....	169
" " " с. – петербург, женского патриотического	
общества.....	514

452770

Таким образом, выходит, что чуть ли не каждая часть нашей государственной администрации имеет свои учебные заведения. Выходит также, что из числа 452770 учащихся к ведомству министерства народного просвещения принадлежало в 1859 году всего 133618 человек, из которых в частных заведениях было 24036, а в казенных менее 109582, ибо в это число включены и воспитанники училищ при двух лютеранских церквях в Петербурге. Не трудно понять, что наши гимназии, уездные и другие училища существуют не на счет одной казны, ибо в противном случае оказалось бы, что каждый учащийся обходится в год от 30 до 35 р., не более, что невероятно при нынешнем устройстве учебных заведений вообще, и это подтверждается, между прочим, теми 3 мил., которые назначаются на одни военно-учебные заведения, в которых в 1859 г. было всего 7780 учащихся, а это значит, что каждый учащийся ведомства военно-учебных заведений обходится казне в год круглым счетом от 400 р. до 500 руб. Цифра в 400 р. или 500 р. в год на каждого учащегося не заключает в себе ничего невероятного, на деле она даже выше и объясняется как специальностью военно-учебных заведений, так и некоторыми другими обстоятельствами. Не трудно понять также, что если бы все пособия и расходы государственной казны на народное образование сосредоточивались в министерстве народного просвещения, то, во-первых, эти пособия были бы определены положительнее, нежели в настоящее время; во-вторых, они доставили бы такие средства этому министерству, с которыми оно могло бы сильнее, чем теперь, подвинуть дело народного образования; в-третьих, расходы казны могли бы быть даже уменьшены без ущерба народному просвещению; в-четвертых, результаты вообще были бы действительнее нынешних. Это мы утверждаем на основании экономического закона очень часто безусловно необходимой ассоциации капиталов и труда для достижения известных более или менее значительных результатов. Во-вторых, мы это утверждаем на основании того мудрого политического правила, по которому всегда выгодно как для государства вообще, так и для элементов его в отдельности, содействовать народному просвещению.

Мы очень хорошо знаем, что есть государства, в которых может не быть министерств народного просвещения. Может быть не будет и у нас в XX или XXI столетии такого министерства; но до того времени нам надо дожить и, главное, многому поучиться и доучиться, а это по воле судеб, при настоящих условиях нашего быта, невозможно без министерства народного просвещения и пошло бы несравненно хуже без него, чем

при нем. Мы знаем, что только часть, а не все наше прошедшее подтверждает основательность наших слов; но это только потому, что не все лица, заведывавшие в прежнее время народным просвещением в России, действовали рационально, то есть сообразно с нуждами и средствами страны. Таким образом явились у нас прежде всего многоученые и малополезные академии и им подобные учреждения вместо школ грамотности и школ для приготовления учителей, школ, более необходимых и полезных для России, нежели и высшие учебные заведения, по крайней мере в те времена, когда грамотных людей было у нас значительное меньшинство, нежели теперь. Но это произошло от тех ошибок дедов и отцов, которые должны быть исправлены детьми и внуками без неуместных и во всяком случае бесполезных жалоб и осуждений.

Мы очень хорошо знаем также, что и успехи народного просвещения, подобно успехам народной промышленности, вовсе не обуславливаются регламентативными мерами; но между такими мерами и полезным содействием – такая же разница, как между ночью и днем, произволом и законом, игом и свободой. Когда в обществе нет, по каким-либо причинам, достаточных стремлений к просвещению, то есть когда эти прирожденные людям стремления по каким-либо причинам подавлены, тогда лучшие представители общества не только могут, но и должны пробудить, восстановить по возможности эти стремления, – разумеется, законными средствами; тогда никто не вправе отказывать и правительству в таком деле, ибо это значило бы противодействовать ему в достижении государственных целей; это значило бы противодействовать развитию народного благосостояния. Частные лица могут иногда и не сознавать пользы от народного просвещения, и это не мешает им быть вполне достойными людьми; но если чего-либо подобного не сознает правительство, то оно – правительство только по названию, но никак не по призванию. Вот почему ни одно законное и верное своему назначению правительство не бывает равнодушно к народному просвещению и всеми законными мерами содействует его развитию. Вот почему, сознавая это, нигде еще не раздавались основательные жалобы на разумные издержки правительств в пользу народного просвещения. Человеческий инстинкт говорит всегда громче и яснее даже научных теорий, а не только разных административных и политических систем. Вникните в смысл этого инстинкта, и вы убедитесь, что он не только просто животный инстинкт, но и чисто человеческий инстинкт, следуя которому, человек менее подвергается опасности сбиться с прямого пути, нежели следуя чему-либо другому. Вот почему не только все вообще народы, которые менее других подавлены разного рода угнетениями, но и славоблюбивые, в сущности мнимо-славоблюбивые, французы не говорят вообще в пользу громадных военных вооружений, но громко говорят всегда в пользу увеличения средств народного просвещения.

Всем этим мы, конечно, не думаем доказывать, что следует во что бы то ни стало увеличить средства нашего министерства народного просвещения, и притом на счет государственной казны. Мы думаем, напротив, что не нужно увеличивать расходов государственной казны на народное просвещение, но не худо было бы все расходы ее на учебные заведения и вообще на народное образование сосредоточить, по возможности, в министерстве народного просвещения, ибо, в противном случае, кроме настоящих расходов казны, потребуются в скором времени еще новые, или же и вся эта часть администрации должна быть изменена радикально, так что должна будет лишиться и настоящих своих средств, а это может быть, смотря по обстоятельствам, и полезно, и нет для дела народного просвещения. Есть логика событий, и на основании этой-то логики желали бы мы, для общей пользы, осуществления предполагаемого нами сосредоточения материальных средств в министерстве народного просвещения. Такое сосредоточение могло бы, при правильном ведении дела, несколько не мешать, а напротив, только содействовать свободному и правильному развитию всевозможных родов и видов учебных заведений. Оно не помешало бы также и дальнейшему преуспеванию и даже увеличению количества необходимых специальных училищ; но, что всего важнее, такое сосредоточение могло бы действительно содействовать как распространению грамотности вообще, так и развитию основного, более необходимого и в общей сложности более полезного образования, нежели образование специальное, всегда тем более разумное, доступное и легкое для всех, чем лучше общее основное образование, полученное изучающим какую-либо специальность.

В заключение заметим, что мы не думаем предлагать увеличения расходов казны уже и потому, что значительная доля средств для народного образования в России должна, по необходимости, получаться путем земских сборов и частных приношений. Во всяком случае, каждый сколько-нибудь разумный расход на народное просвещение есть затрата капитала в высшей степени производительная и притом производительнее всевозможных других общественных затрат.

f) 106575892 р. назначает бюджет на военное министерство и 20589830 р. – на морское. Как ни значительны эти цифры, в особенности первая из них, тем не менее излишне вопиать против их величины не следует в настоящее время. Лучшая практика в этом отношении, вполне соответствующая истинной теории или науке, состоит в том, чтоб содействовать или к уменьшению количества военных сил, или к умножению пользы от них, а если можно, так и тому и другому. В особенности было бы непростительно излишнее вопиание против этих цифр для тех лиц, которые хотя несколько знакомы как с условиями существования наших военных сил, так и с тем, что совершено правительством по этой части в последние годы. Если, с одной стороны, нам не для чего хлопотать, например, о том, чтоб флот наш размером своим равнялся флоту английскому или даже французскому, то, с другой стороны, нельзя не видеть, и при самом оптимистическом взгляде на вещи, даже при самом страстном увлечении идеей общего и вечного мира, что военные сухопутные и морские силы еще составляют крайнюю необходимость в мире даже в совершенно мирные годы. То или другое государство может и не думать о завоеваниях, не думать и о большем или меньшем преобладании в решении дипломатических вопросов, сознавая, что такое преобладание имеет более невыгодных, нежели выгодных сторон для народного благосостояния; тем не менее, в настоящее время, оно не может еще обойтись без военных сил уже потому, что, не имея оно их, какое-либо другое государство непременно воспользуется таким обстоятельством для проявления своей грубой силы. Вот почему, в настоящее время, и для нас, как и для других народов, вопрос состоит не в том: нужны ли военные силы? а в том: какого рода и вида и в каком размере необходимы они? Решение этого вопроса есть дело специалистов, достаточно при этом знакомых как с общими условиями народного благосостояния, так и с политическими обстоятельствами настоящего времени. Специальность в этом отношении тем нужнее, а увлечение было бы тем непростительнее, что общество наше вообще уже порешило с завоевательными, мнимыми или действительными, замыслами России: оно решило именно, что для нас прошло время завоеваний посредством военных сил, что завоевывать таким образом было бы отныне не только невыгодно, но положительно убыточно и неразумно, что у нас довольно дел у себя и что если и желательны были бы для нас завоевания, то не какой-либо грубой, кулачной силой, а мирными, единственно выгодными и единственно достойными цивилизованных народов путями промышленности и науки.

Вот почему мы и не вопием против значительности двух вышеприведенных цифр нашего бюджета, не вопием как потому, что сознаем их причину и происхождение, так и потому, что несколько знакомы со стремлением двух военных администраций наших к улучшениям и вообще действиям, сообразным с истинными интересами России. Мы даже думаем, что ни в одной из остальных частей нашей государственной администрации вообще не совершено в последние годы столько и в такой степени коренных улучшений, как по обеим военным частям: по морской – со вступления в министерство Великого Князя Константина Николаевича, а по военно-сухопутной – с окончания последней войны. По крайней мере, не подлежит и малейшему сомнению, что участь солдат и матросов у нас значительно облегчена и быт их вообще значительно улучшился в последние годы, а это важный и благодетельный шаг вперед. Администрации, начинающие свои улучшения с улучшения быта и участи большинства, начинают с начала, а не с конца, и это одно уже служит залогом, что они будут продолжать свои улучшения всегда рационально.

К сожалению, мы не имеем достаточно данных, ни, скажем откровенно, познаний, чтоб положительно определить степень совершенных и возможных, в ближайшее время, улучшений по нашим военным администрациям, а все это крайне необходимо для определительного, или точного, решения вопроса: нужно ли и возможно ли увеличение или уменьшение бюджетных цифр, касающихся этих администраций? Но, и не имея таких познаний и данных, мы тем не менее знаем и видим некоторые из тех затруднений, которые более или менее препятствуют и этим администрациям к возможно большему уменьшению расходов. Одно из таких затруднений заключается, конечно, в ежегодно возрастающей дороговизне. Это необходимо знать, чтоб излишне, то есть неразумно, не вопиать против величины военно-административных расходов. Но необходимо знать и то, что одна из главнейших причин такой дороговизны заключается в этих и им более или менее подобных расходах. Дороговизна именно есть причина того, что, несмотря на значительное уменьшение в последнее время количества нашего войска, цифра расходов на него уменьшилась, по всей вероятности, далеко не пропорционально уменьшению его количества. Такое явление, по необходимости, должно повторяться везде, как один из неизбежных результатов более или менее искусственной дороговизны, и уже один такой результат должен служить поводом к возможному (в мирное время в особенности) уменьшению военных сил, если военные администрации желают, чтоб цели и

результаты их деятельности вполне совпадали, по возможности, с истинными целями государственной жизни. Само собою разумеется, что количество военных сил далеко не всегда определяется доброй волей правительств, а очень часто зависит от крайней необходимости; тем не менее и такая необходимость не только не отрицает необходимости возможного уменьшения военно-административных расходов, но, напротив, только подтверждает ее.

И военно-административные расходы возвышают дороговизну; стало быть, чем более таких расходов, тем более растет дороговизна, тем значительнее становятся такие расходы, тем опять более растет дороговизна и т. д. без конца. Вот круг, выйти из которого можно только уменьшением таких расходов. Вот почему мы и не можем радоваться при мысли о том, что у нас уже сделано относительно очень много для уменьшения расходов по военной администрации. Это один из прекраснейших и благодетельнейших подвигов настоящего царствования. Это одно из несомненных доказательств, что если общество наше уже пришло к сознанию о тягостности военных завоеваний и т. п., то такое сознание уже осуществляется, по мере возможности, нашим правительством. Вот почему, между прочим, мы уверены, что будущие бюджеты наши представят нам не увеличение, а возможное уменьшение военно-административных расходов. Такое уменьшение окажется тем благодетельнее для России, что хотя оно и мало возможно без уменьшения количества войска, тем не менее не уменьшит, а напротив, только увеличит военное и политическое вообще могущество России. Основательность наших слов подтверждается, между прочим, тем, что, со времени воцарения Государя Императора Александра Николаевича, России более сочувствуют и доверяют, нежели когда-либо прежде, если, конечно, и не все правительства, то, без сомнения, все европейские и другие народы. Такое сочувствие и доверие тем понятнее, что если бы военные силы наши уменьшились даже вдвое против настоящего, то и в таком случае Россия была бы достаточно могущественна, чтоб иметь веский голос и силу в умиротворении мира и не уступать никакой другой нации первенства в этом отношении. Россия может легко овладеть таким первенством уже по одному правилу: *res nullius cedit occupanti* (вещь, никому не принадлежащая, делается собственностью того, кто первый овладеет ею), ибо, конечно, такое первенство ни в каком случае не принадлежит, например, Франции. Не трудно сделаться пугалом народов и государств, но еще легче и в особенности во всех отношениях выгоднее быть своего рода адвокатом их, тем легче, что для этого не нужно особенного дипломатического гения, а достаточно одного здравого смысла и желания добра. Что касается того, что, с уменьшением количества военных сил, может не уменьшаться военное могущество государства, то и в этом нет никакого сомнения, ибо, во-первых, и в этом отношении количество есть иногда ровно ничто, даже менее, нежели ничто, без надлежащего качества, очень часто невозможного при излишне несоразмерном со средствами и нуждами страны количестве; а во-вторых, военное могущество определяется и обуславливается не одним количеством войска, но и всеми остальными, как материальными, так и нравственными силами нации. Например, на одну треть уменьшить количество войска и тем приобрести средство вдвое улучшить пути сообщения еще не значит утратить треть своего военного могущества; напротив, это значит иногда вдвое и более умножить его. Чем богаче и развитее во всех отношениях страна, тем скорее и выгоднее найдет она в себе необходимое, в случае надобности, войско, кроме постоянного; но чтоб поскорее разбогатеть во всех отношениях, тем меньшее относительно войско она должна содержать постоянно.

Если основательны, в чем, впрочем, мы нисколько не сомневаемся, дошедшие до нас слухи о готовящихся у нас по военной части реформах, слухи, по которым, между прочим, наша военная администрация стремится не к количественному увеличению, а к количественному уменьшению и в особенности к качественному усовершенствованию нашего войска, то нет никакого сомнения, что в скором времени военно-административные расходы России будут менее обременительны для нашей государственной казны, чем в настоящее время. Нет никакого сомнения, что такая благая цель будет достигнута нашей военной администрацией, ибо, судя по многим данным, как наша внешняя, так и внутренняя политика содействуют ей в этом отношении. Притом же в самом войске нашем теперь несравненно более, нежели прежде, цивилизационного начала. С этим согласится, конечно, каждый, кто знает, что грамотность и вообще образование распространяется теперь в войске довольно быстро и что в молодом поколении офицеров высшее военное начальство находит теперь более, нежели когда-либо прежде, надлежащего сознательного содействия себе в деле качественного усовершенствования русских военных сил.

г) 2106015 р. назначено в бюджете на министерство иностранных дел. Цифра эта относительно и очень велика, и очень незначительна, смотря по тому, как смотреть

на нее. Она значительна, если дает возможность поддерживать только дипломатические сношения или играть большую или меньшую роль в дипломатическом мире, влияние и действия которого далеко не всегда согласны с действительными интересами государств и народов; но она очень незначительна, если смотреть на нее как на средство к поддержанию, хотя и не очень-то прочного покуда, но тем не менее благодетельного для человечества мира. Смотри на этот предмет с такой точки зрения, можно смело утверждать, что если б министерство иностранных дел требовало, по необходимости, не 2-х, а 5-ти миллионов в год на свое содержание, то и в таком случае цифра была бы не слишком велика и была бы более выгодна, нежели убыточна для России. Каждый согласится, что выгоднее для достижения законных государственных целей, например для поддержания необходимого мира, передать министерству иностранных дел лишние 2-3 миллиона, нежели, для достижения той же цели, увеличить миллионов на 20 или на 30, а иногда и значительно более, расходы на войска. Сколько нам известно, внешняя политика России, верная покуда известному и глубокознаменательному выражению князя Горчакова: *la Russie se recueille*, [52] приносит, участием своим в умиротворении народов, такие плоды нашему отечеству, за которые стоит платить какие-нибудь 2 миллиона в год. Конечно, и при получении наиболее выгодных результатов не теряет своей силы правило: “чем меньше расходов, тем лучше”; но не следует терять из виду и того, что не все то дорого, что дорого стоит, а дорого только то, что не стоит своей цены. “Дорого обходится нам наша конституция, – говорят англичане, – но конституция наша столь прекрасная и полезная для нас вещь, что стоит платить за нее дорого”. Следуя такому мудрому правилу англичан, и мы можем сказать: “политика, верная девизу: *la Russie se recueille*, столь прекрасная и полезная для России политика, что для поддержания ее можно платить не только 2, но, в случае необходимости, и более миллионов!” Мы смело говорим это, потому что такая политика вовсе не излишне пассивна, и результатом ее будет не уменьшение, а увеличение значения России в семье государств и народов.

h) На министерство внутренних дел в бюджете назначено 7477206 р. Как выше было упомянуто, не одною этою, но без малого и всеми другими расходными цифрами нашего бюджета определяется степень нашей административной централизации, что, как известно, повторяется во многих, если и не во всех, конечно, государствах Западной Европы. Судя по некоторым явлениям, и у нас, как и в Западной Европе, административная централизация подвергнется рано или поздно коренной реформе, из которой она выйдет в таком виде, что уже будет не препятствием к развитию народных сил, а одним из лучших условий их соединения и развития. Само собой разумеется, что централизация все-таки останется в известной степени, ибо без нее немыслим государственный союз, и в этом нет ничего дурного.

Не дурна, а необходима, в сущности, централизация; но дурно то, что она очень часто не соответствует быту народа, и потому, вместо того, чтоб содействовать, только противостоит развитию народных сил. Централизация, в сущности, есть одно из выражений ассоциации; но и такая ассоциация тогда только вполне хороша, когда она экономически свободна, то есть когда она выражает собою степень действительной, а не искусственной или насильственной потребности в ассоциации. В противном случае, она, если не по целям, то по дурным результатам, немногим только отличается от ассоциации, проповедуемой социализмом. Полной децентрализации нет ни в Швейцарии, ни в Соединенных Штатах, ибо полная административная децентрализация столь же немыслима в настоящее время, по крайней мере, как и такого рода ассоциация, которую проповедуют социалисты. Для некоторых государств централизация административная, несмотря на свои иногда очень невыгодные стороны, может приносить более пользы, нежели вреда. Это может быть именно тогда, когда администрация цивилизованнее народа, но в то же время вполне сознает его быт, не пренебрегает условиями и своеобразностью этого быта и своими мерами и приемами не сворачивает его с прямого пути его развития, а только содействует ему в этом отношении. Определение степени централизации и степени децентрализации, необходимых для страны, есть такое дело, которое не каждому по плечу. Только истинно государственный гений, сознавая быт народа, способен практически определить такую степень. Это, между прочим, потому, что такого рода гений не придумывает, а находит то, что именно нужно для содействия народному развитию. Такой гений не станет создавать, например, ученых академий на удивление иностранцам, не позаботившись об устройстве достаточного количества народных школ и т. п. Но гении, как известно, редки, а потому почти всегда и недовольны народы приемами административной централизации, из чего, между прочим, следует, что лучше было бы, если б степень административной, всегда более или менее излишне регламентативной, централизации была несколько ниже, нежели выше той, которая необходима стране и вполне соответствует народному

быту.

Западноевропейская административная централизация имеет историческое основание в феодальной системе. Она – необходимый плод такой системы, поглощенной монархической властью, которая необходимо должна была, в прежнее время, вмешиваться во все, даже чисто местные отношения народа к его феодальным властям. В России феодальной системы не было; не следовало бы быть у нас и ее последствиям, и если наша административная централизация очень напоминает собою западноевропейскую, то это частью потому, что в былые годы администрация наша считала долгом своим подражать Западу и прежние государственные люди наши питали надежду оцивилизовать Россию путем администрации. Вот почему мы думаем, что одним из необходимейших результатов реформ, которые совершаются у нас в настоящее время, будет изменение характера и качества вообще нашей административной централизации. Она будет более, нежели теперь, соответствовать народному быту и содействовать его нормальному развитию. По всему этому она будет и обходиться казне и народу несравненно дешевле, нежели в настоящее время.

i) Как уже известно читателям нашей статьи, в бюджете назначено 26732217 р. на министерство финансов. Мы уже говорили, чем объясняется громадность этой цифры и как мало соответствует она истинным государственным целям. Вот почему мы надеемся, что и в случае значительного увеличения доходов нашей казны эта цифра будет с каждым годом все более и более, и притом значительно, уменьшаться. Надежда наша основана на том, что здравый экономический элемент все более и более проникает в министерство финансов, хотя, конечно, до последнего времени он высказался в нем более в идеях и стремлениях, нежели на деле, то есть высказался без особенной пользы для страны. Во всяком случае, чем более будет проникать этот элемент в министерство финансов, чем притом зреее будет он во всех отношениях, тем менее это министерство будет представлять собою администрацию излишне сложную и тем более администрацию возможно простую, не сложную и легкую для народа по своим приемам и результатам. Чтобы вполне соответствовать истинным государственным целям и непреложным политико-экономическим законам, финансовая администрация, по нашим понятиям, должна избавить себя и народ от груза регламентативных мер и правил; мало того, она должна требовать того же и от других частей администрации, и это, между прочим, с целью увеличить государственные доходы без обременения народа новыми налогами или без увеличения старых. Финансовая администрация, верная своему назначению, может только временно выражаться, между прочим, в таком сложном, по своему составу, министерстве, каково наше министерство финансов, да и временно может оно рационально проявляться таким образом единственно с целью избавить труд и промышленность вообще народа от регламентативных мер и тех покровительств, которые выгодны разве только покровителям, но никак не покровительствуемым. Департамент податей и сборов, государственное казначейство и кредитная канцелярия с комиссией погашения долгов – вот, собственно, что должно входить в состав министерства финансов, и мы убеждены, что таким несложным министерством будет рано или поздно и наше министерство финансов; дойдет же оно до такого совершенства тем скорее, чем скорее существующие у нас налоги и подати будут заменены более рациональными налогами и податями. Тогда министерство финансов будет обходиться государственной казне не в 26, а в 6, даже, может быть, и менее миллионов, и это последует даже в таком случае, если доходы казны будут значительно выше настоящих.

Но если только один департамент податей и сборов, государственное казначейство и кредитная канцелярия с комиссией погашения долгов должны входить в состав министерства финансов, то, конечно, скажут нам, необходимо составить из остальных департаментов новое министерство, например, министерство торговли и промышленности вообще. Можно, ответим мы, но это не безусловно необходимо. Благосостояние народов вовсе не обуславливается количеством административных частей и министерств. Если и может или должно, в таком случае, образоваться у нас министерство торговли и промышленности, то не иначе, как с целью избавить нашу торговлю и промышленность от тех регламентативных мер, которые стесняют и парализуют в настоящее время развитие нашей промышленности вообще. Если для достижения такой цели безусловно необходимо министерство торговли, то, конечно, недурно было бы иметь такое министерство – на время, впредь до достижения такой цели; но если цель эта может быть достигнута без нового министерства, то она будет быстрее и лучше достигнута без него, нежели при нем и с ним. Самая главная и существенная задача в этом отношении состоит в том, чтобы избавить нашу внутреннюю промышленность и торговлю от тех стеснений и затруднений, которым они подвергаются по сие время, преимущественно вследствие существования разных

лишних департаментов и т. п., словом, необходимо даровать нашей промышленности вообще возможно полную экономическую свободу. Без такой свободы и достаточного упрощения ее нельзя и думать, между прочим, и о свободе торговли, ибо без свободы промышленности вообще свобода торговли есть своего рода насилие, своего рода насильственная регламентация, жертвование народною промышленностью интересам иностранной промышленности, словом, есть не что иное, как дурно понятая и дурно прилагаемая к жизни экономическая правда о свободе торговли и промышленности вообще.

И у нас, в России, как почти во всей Западной Европе, а частью и в других частях мира, большинство регламентативных, стеснительных для народной промышленности, мер установлено ради фискальных (казначейских) целей, а это, другими словами, значит, что и у нас, как почти везде, с целью увеличения государственных доходов установлены такие меры, которые, правда, увеличивают в первое время государственные доходы, зато и служат к их уменьшению, ибо, во-первых, требуют расходов для взимания новых налогов, во-вторых, парализуют народную промышленность, в-третьих, увеличивают все остальные расходы казны тем, что вводят с собою искусственную дороговизну. Таким образом составляется крайне стеснительный и ложный круг как для народа, так и для правительства, круг, выйти из которого можно только, во-первых, возможным уменьшением государственных расходов, а во-вторых, такими фискальными приемами и мерами, которые менее других парализуют и стесняют народную промышленность, да и жизнь вообще. Если еще и не наука о финансах, то политическая экономия уже достаточно подтверждает основательность наших слов, и потому мы надеемся, что с увеличением политико-экономического (но, разумеется, не исключительно теоретического) элемента в нашем министерстве финансов, с каждым днем все более и более будет уменьшаться в нем элемент излишне бюрократический, парализующий промышленность и т. п., а с этим вместе будут, с одной стороны, уменьшаться расходы, а, с другой, увеличиваться доходы нашей государственной казны, и это без лишней тягости для народа. Настоящая же цифра расходов по министерству финансов, то есть 26732217 рублей серебром, более нежели нерациональная по всей величине.

ж) цифра 2360891 р. на министерство государственных имуществ сравнительно выгоднее для нашей государственной казны и для России вообще, нежели вышеозначенные 26732217 р. с. на министерство финансов. Сверх того можно надеяться, что, по окончании начатого уже улучшения быта государственных крестьян и по разрешении вопроса о государственных имуществях, министерство государственных имуществ окажется лишним министерством, или же размеры его будут значительно уменьшены. И таким образом увеличатся государственные доходы и уменьшатся государственные расходы.

к) 5502896 р. на министерство юстиции. Если б юстиция стоила России не 5, а 10, даже 20 млн. в год, то и в таком случае нечего было бы сказать против столь высокой цифры, только бы юстиция была действительной юстицией, то есть правосудием в полном значении слова. Правосудие – это краеугольный камень государственного здания, первое условие народного благосостояния, лучшее фискальное средство для государственной казны и для народа, ибо только правосудие может охранять надлежащим образом и личность, и собственность, и труд граждан; без правосудия же нет прочного благосостояния, не может быть и достаточных и в особенности правомерных, во всех отношениях, доходов государства. В деле устройства и водворения в стране правосудия важна не цифра государственных расходов, а самое правосудие: было бы оно только, а за остальным дело нигде и никогда не станет. Это так же несомненно верно, как то, что, где нет надлежащего правосудия, там нет и не может быть ни достаточного благосостояния народа, ни достаточного уважения к закону и властям, ни нравственности вообще. Да там и не следует этому быть, потому что, например, уважение к закону и властям, недостаточно обеспечивающим правду в судах и жизни, было бы противно правде, было бы только ее оскорблением. Повторяем, при вопросе о юстиции, первое дело – она, а государственные расходы на нее – вещь второстепенная уже потому, что, при действительной юстиции, не может быть и лишних расходов на нее. Стране, в которой юстиция стоит ежегодно государственной казне примерно 1 млн., но в которой граждане имеют возможность приплачивать противозаконно: одни – миллиона 3 для того, чтоб пользоваться законным покровительством правосудия, а другие – миллионов 6 для того, чтобы избежать его требований, – такой стране юстиция обходится не в 10 млн. ежегодно, а миллионов в 500 и более, ибо все законное в такой стране не обеспечено достаточно, и такая юстиция не стоит ни гроша, ибо она только вредна и казнит разве воришек, но положительно покровительствует ворами.

Не знаем, во что будет обходиться со временем нашей государственной казне юстиция, когда будет преобразовано у нас судопроизводство: будет ли она обходиться в 1 миллион или в 10 миллионов ежегодно, но такой расход казны, во всяком случае, не будет обременителен для нашего народонаселения, ибо с каждым улучшением в юстиции будут улучшаться участь и быт народа. Сверх того, с улучшением в судоустройстве и судопроизводстве, непременно увеличатся сами собой, без улучшений в финансовой администрации, доходы казны. Эти доходы не поступают теперь в казну вполне, не говоря уже о том, что народ платит теперь более того, чего она требует от него. Казна везде и всегда нуждается не менее народа в действительной юстиции, ибо и она имеет свои интересы, для защиты которых необходима юстиция. Мало того: казна очень часто нуждается еще более, нежели народ вообще, в действительной юстиции, ибо, несмотря на могущество власти своей, она, в борьбе с частными интересами, почти всегда уступает им в способности бороться, и одерживает всегда законную победу только тогда, когда ей содействует действительная юстиция.

1) На главное управление путями сообщения и публичными зданиями, со включением строительных расходов, в бюджете назначено 9128213 р. *A priori*, [53] конечно, нельзя ни слова сказать ни за, ни против этой цифры. Это одна из тех бюджетных цифр, которые, по существу своему, подвергаются наибольшему ежегодным изменениям. Взвешивая величину настоящей бюджетной цифры, но не зная при этом, как именно и на какие собственно предметы она расходует, мы можем только задавать себе множество вопросов, вроде следующих, из коих одни выражают более или менее оптимистский, а другие пессимистский и скептический взгляд на вещи. Как? всего только 9 миллионов в год на поддержание и улучшение путей сообщения и публичных зданий? Не потому ли, между прочим, и уступают так много в достоинстве наши пути сообщения западноевропейским, что так мало тратится у нас на эти пути? Или не потому ли это происходит, что у нас труд и материал дороже, чем за границей? Или мало у нас людей с надлежащими познаниями по этой части? и т. д. Ясно, что без цифр, да еще цифр, притом строго проверенных, никто не решит удовлетворительно ни этих, ни других подобных вопросов. Одно только можно утверждать положительно без таких цифр, а именно, что мы обретаемся без них в полном мраке.

Точно так же трудно сказать что-либо определительного и о 5728385 р., назначенных в бюджете на гарантии общества железных дорог. Известно, что правительство гарантирует этому обществу 5 %; известны и другие вспомоществования правительства этому обществу и т. п. По всей вероятности, еще неизвестно, однако, каковы будут действительные доходы этого общества и потребуются или не потребуются, чтоб правительство, на основании дарованной гарантии, приплачивало акционерам из государственной казны; но эти 5728385 руб. заставляют предполагать, если только мы не ошибаемся, что такой расход для правительства неизбежен.

т) Расход на почтовое ведомство определен в бюджете в 3524859 р. Если сравнить эту цифру с цифрой почтовых доходов, то есть 7044532 р., то окажется, что почтовое ведомство одно из самых доходных для казны и, разумеется, из самых полезных для страны. Но такая похвала, как бы искренняя и основательная, по-видимому, ни была она, не может быть принята за похвалу безусловную, ибо назначение почтового ведомства состоит вовсе не в том, чтобы приносить доходы казне, а в том, чтоб исполнять почтовую службу за средства казны и народонаселения страны. Почтовые доходы служат иногда только подтверждением того, что почтовое дело ведется не совсем исправно и не вполне достигает своей цели, а именно такие доходы иногда означают, что или почтовая служба исправляется как нельзя лучше во всех отношениях и обходится стране очень дешево, а потому и приносит значительный доход, или же что почтовое дело ведется так себе и приносит доход только потому, что обходится стране вообще не дешево, то есть что народонаселение исправляет не совсем легкую почтовую повинность, да и плата за письма и посылки не низка, а это прямо противоречит назначению почтового дела. С удовольствием прибавим мы к этому, что наше почтовое ведомство сознает необходимость к улучшению почтовой части в России, для чего и просит всех о содействии ему в этом отношении. Можно надеяться, значит, что если и уменьшатся со временем почтовые доходы, зато улучшится почтовая часть. От этого никто не будет в убытке, ибо, не говоря уже о массе народонаселения, и государственная администрация вообще далеко не так нуждается в почтовых доходах, как в хорошо устроенной почтовой части.

п) Остальные цифры в расходном отделе бюджета следующие:

По эмеритальной кассе военно-сухопутного
ведомства..... 1527730 р.
На пенсии военным и гражданским чинам и
их семействам..... 13180069 "
Арендных выдач..... 1416509 "
--
16124308 р.
На устройство богоугодных заведений
в Палестине..... 150000 "
На переселения в Южную Россию..... 1375000 "
На расходы по бывшим военным южным
поселениям..... 266873 "
По сооружению храма Христа Спасителя
в Москве..... 435507 "
По довершению Исаакиевского собора
в С.-Петербурге..... 60000 "
На расходы по разным ведомствам,
удовлетворявшиеся из капиталов,
переданных в государственное
казначейство..... 200000 "
Обществам: пароходства и торговли,
балтийской компании, "Кавказ и Меркурий",
помильной платы..... 2031277 "
На непредвидимые расходы..... 4000000 "
На недобор в доходах..... 4000000 "

Из этих цифр самые замечательные в финансовом отношении суть три первые и две последние.

Первые три цифры, сумма которых равняется 16124308 р., должны быть непременно приняты в соображение при решении вопроса: во что обходится казне и государству вообще та или другая административная часть, ибо каждой из них принадлежит своя доля в этих 16124308 р.

Предпоследние две цифры заставляют предполагать, что, может быть, дефицит текущего года уменьшится на 8 млн. Конечно, кто знает? он может и увеличиться, да еще и не на 8, а на более миллионов. Словом, может быть и лучшее, но может быть и худшее. Разумеется, должно желать лучшего.

V
Перебрав расходы нашей государственной казны, мы должны сделать общий из них вывод. К сожалению, это дело далеко не вполне возможное, потому что самая табель расходов и доходов государственного казначейства не представляет всех

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

необходимых для такого вывода подробных данных. И по отношению к государственным расходам и доходам Россия только вступает на путь гласности, а потому и нельзя еще ни от кого требовать полной и подробной отчетности, нельзя и делать более или менее точных выводов о доходах и расходах нашей государственной казны.

Поэтому ограничимся только общими характеристическими чертами о наших государственных расходах.

Нельзя сказать, чтоб общая бюджетная цифра была уж слишком обременительна для России, тем более что она составляется не из одних податей и налогов, но и из доходов с государственных имуществ. Как цифра, она далеко не столь пропорционально значительна, как некоторые подобные цифры иностранных бюджетов, хотя, правда, и значительно выше, пропорционально, некоторых других подобных цифр. К сожалению, этот более выгодный, нежели невыгодный для России вывод был бы уж очень далек от истины, если б мы не прибавили к только что сказанному нами, что за этой официальной цифрой, как чуть ли и не за всеми другими, скрывается цифра неофициальная, цифра тех поборов, которые не поступают в государственную казну и которые преследуются нашими законами. Кто хоть сколько-нибудь знаком с Россией, тот знает, что одно из зол нашего общества составляет взяточничество в различных его видах. Конечно, взяточничество – не доход и не расход для казны; но оно расход – для народа, а потому и убыток для казны, ибо без такого зла благосостояние народа было бы несравненно выше настоящего, а потому и доходы казны были бы пропорционально выше настоящих. Невозможно, конечно, определить общую цифру взяточничества, но вряд ли она ниже общей бюджетной цифры. К счастью, предпринятые правительством реформы устранят, притом скоро, как надо надеяться, и это зло.

Мы не станем сравнивать русских бюджетных цифр с иностранными, ибо это ни к чему не поведет; подобное сравнение бюджетных цифр тогда только основательно, когда быт народов более или менее одинаков и когда администрации оказывают более или менее одинаковые услуги обществам за подати, платимые народами. Притом же наша русская статистика – покуда наука более воображаемая, нежели действительная, а без статистики сравнение бюджетных цифр таково, что к нему лучше всего применяется известное изречение: *comparaison n'est pas raison*. [54]

Совсем другой вопрос: удовлетворяет ли наша администрация законным требованиям русского общества и законным целям вообще государственной жизни, или, другими словами, соответствует ли она настоящему быту России? На этот вопрос можно отвечать, конечно, без сравнения русской администрации с западноевропейскими или какими-либо другими. На этот вопрос отвечает почти каждый русский человек более или менее удовлетворительно; отвечает и правительство, между прочим, теми реформами, которые оно совершает и еще намерено совершить в нашей администрации.

Но вот еще вопрос, не менее предыдущего существенный и органический: достаточно ли велики бюджетные цифры вообще и общая бюджетная цифра в особенности, чтобы правительство могло создать администрацию, вполне соответствующую современному быту России? Не необходимо ли, для достижения такой цели, увеличение бюджетных цифр вообще и общей бюджетной цифры в особенности? Или, напротив, не необходимо ли их уменьшение?

Само собой разумеется, что последнее было бы желательнее; но вот вопрос: возможно ли оно?

Вот наш ответ на этот вопрос. Уменьшение государственных расходов, соответствующее строгой, рациональной экономии, есть одно из необходимейших и существеннейших условий успешного достижения целей государственной жизни. Но, разумеется, как бы хороша ни была цель, необходимы как средства, так и время для ее осуществления, а потому и уменьшение государственных расходов может осуществиться не иначе, как последовательно, по мере возможности.

Очень хорошо знаем, что наш ответ противоречит тому, что мы видим почти повсюду за границей, а именно: почти повсюду государственные расходы не уменьшаются, а увеличиваются ежегодно. Это несомненно; но ведь несомненно и то, что с увеличением государственных расходов увеличиваются в этих государствах и недоразумения между правительствами и их подданными, удаляется возможность достижения государственных целей, и, чем более государственных расходов, тем более и стремлений к преобразованию государственных администраций, тем более и настоятельности в такого рода преобразованиях. Таким образом, оказывается на

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

деле и доказывається опытом, что увеличение государственных расходов не только не обуславливает собою внутреннего мира и народного благосостояния вообще, но прямо противодействует им. Оно и должно быть так, потому что экономия – общий закон; экономия – есть правда в материальных условиях и проявлениях жизни; а где нет правды, там не может быть и прочного блага, прочного благосостояния. Оно, конечно, не совсем-то приятно для многих, очень много лиц; да что же прикажете делать? Такова воля Провидения, таково общее требование всех естественных законов, которых никак не переделаешь по своему благоусмотрению.

Все истинное просто и несложно, а простое и несложное дешевле и прочнее сложного. Это основной закон, между прочим, и рациональной администрации.

К сожалению, до простоты или, что то же, до истины в администрации народы доходят не скоро, и в особенности не скоро доходят они до осуществления такой простоты в жизни. Самоуверенность и ей подобные качества одних, считающих себя способными сочинять законы и правила лучше тех, которые начертаны Провидением, да невежество других, то есть большинства, вот что будет чуть ли не вечным препятствием не только к осуществлению, но и к признанию истины в администрациях вообще. Утешительно в этом отношении хоть то, что с каждым днем все более и более выказывается несостоятельность излишне сложных административных механизмов. Поэтому-то и смело утверждаем мы, что чем менее расходов, тем лучше, ибо тем менее средств к усложнению административного механизма, тем более повода к упрощению его, тем ближе к истине в администрации.

Сознание истинных экономических и политических условий народного благосостояния никогда не допустит увеличения государственных расходов, если только есть малейшая возможность обойтись без него, в особенности если есть возможность уменьшить такие расходы. Улучшение административного механизма вовсе не обуславливается увеличением административных расходов; напротив, оно большею частью обуславливается их уменьшением.

Само собою разумеется, что мы говорим не о кое-каком, а о рациональном уменьшении административных расходов. Народ может платить очень мало, и все-таки платить слишком много за те услуги, которые получает он от администрации. Это бывает тогда, когда администрация не соответствует своему назначению.

Прилагая несомненные экономические и политические истины к России, мы смело утверждаем, что наши бюджетные цифры должны быть частью уменьшены, частью увеличены, так – что общая бюджетная цифра может и даже должна не превышать общей бюджетной цифры на 1862-й год.

Тот, кто имеет достаточно сведений, чтобы решить этот вопрос, тот, мы уверены, согласится, что мы не предаемся мечтаниям, не увлекаемся утопиями, утверждая, что наша администрация может быть улучшена без увеличения бюджетной цифры; тот даже упрекнет нас, может быть, в излишней уступчивости действительности. Охотно принимаем такой упрек и сознаемся, что в большей или меньшей степени заслуживаем его. Со временем объяснимся и договоримся. В настоящее время это невозможно.

В доказательство же того, что мы не боимся никаких упреков и что наша уступчивость искрення и сознательна, прибавим, что мы готовы сделать еще большую уступку действительности, то есть людям и обстоятельствам. Мы думаем именно, что если для достижения государственных целей необходимо даже более или менее значительное увеличение общей бюджетной цифры, то и такое увеличение может оказаться не только не новым бременем, но даже облегчением для России, лишь бы оно сопровождалось возможно полным водворением правды в наших судах и возможно полной экономической свободой для нашей промышленности вообще. В этом отношении мы сделаем только одну оговорку, а именно, что такая необходимость увеличения государственных расходов, хотя бы и для достижения столь благодетельных целей, не есть необходимость безусловная и что мы допускаем ее только как уступку людям и обстоятельствам.

VI

Как бы ни желали мы рассмотреть подробно доходы нашей государственной казны, но должны отказаться и от этого дела, отложить его до более благоприятного будущего, а в настоящее время, по необходимости, ограничиться только более или менее общими о них замечаниями.

Доходы нашей государственной казны, по бюджету, разделяются на следующие

разряды:

1) С податных сословий:

а) Подушная подать 28258861 р.

б) Оброчная подать 25256733 "

в) Разные сборы 1740336 "

55255928 р.

2) Доходы экономические..... 11798031 "

3) Пошлины:

а) Питейные, откупные,

акцизные, чарочные и др. 123022580 р.

б) Остальные 75458495 –

198481075 "

4) Разные суммы..... 9634694 "

5) Долговые платежи..... 4193080 "

б) Чрезвычайные суммы (заем) 14757899 "

294110707р.

7) Доходы, поступающие

из разных источников

на определенные расходы..... 16509029 "

Итого..... 310619739р.

На основании этого перечня доходов нашей государственной казны невозможно, конечно, определить нашей финансовой системы; можно только положительно сказать, что она еще не установилась, ибо на ней видны следы всевозможных систем. Но если, с одной стороны, она поражает своей неопределенностью, то, с другой, поражает и выразительностью, или знаменательностью некоторых цифр, то есть их относительной значительностью или ничтожеством, а также и отсутствием такого рода доходов, которые более или менее необходимы в государствах, принадлежащих к числу сколько-нибудь цивилизованных.

Если из общей цифры 294 милл., исключить:

а) доходы экономические..... 11798031 р.

б) разные суммы..... 9634694 "

в) долговые платежи..... 4183080 "

г) чрезвычайные суммы..... 14757899 "

Итого 40373704р.,

то окажется, что прямыми и косвенными налогами собирает наша казна ежегодно до 254 милл., которые распределяются очень неравномерно между податными и неподатными сословиями.

Подушная подать поражает своим разнообразием, ибо она взимается от 15 коп. до 2 руб. 67 коп. с лица и от 1 р. до 3 руб. 15 к. с семейства и дыма. Против такого разнообразия нельзя ничего сказать, ибо разнообразны средства податных лиц; тем не менее трудно предполагать существование равномерности в распределении подобной подати.

Оброчная подать, конечно, рациональнее подушной, но в России и эта подать, равно как и все доходы с государственных имуществ, поражают своей непроизводительностью. Впрочем, это имеет и свою выгодную сторону.

Еще непроизводительнее для казны и в особенности для народа те государственные доходы, которые перечислены в приходном отделе бюджета под рубрикой пошлин. Исключения из этого правила не составляют и питейные сборы, несмотря на громадность цифры 123 миллионов, которую они выражаются в нашем бюджете. Как всем известно, это самый обременительный из существующих у нас налогов, и в скором времени его уже не будет у нас.

9500000 р., которые получает государственная казна от распродажи соли по государству, тоже не соответствует ни расходам казны по взиманию этой подати, ни тягостям и затруднениям, с которыми сопряжена повсюду эта подать для народного благосостояния. Разделяя эту сумму на число жителей в России, мы получаем от 12 к. до 15 коп. на каждого человека, то есть такой ничтожный, относительно, доход для казны, который несколько не соответствует существующей, искусственно высокой цене на соль. Этот доход окажется еще ничтожнее, если мы примем в соображение расход казны по его взиманию. Судя по тому, как ведется у нас соляное дело и как велики, в некоторых отношениях, расходы нашей казны по этому делу, можно предполагать, что распродажа соли по государству не доставляет казне чистого дохода и 6000000 р. в год.

Почти то же, в большей или меньшей степени, следует сказать и о других доходах казны, принадлежащих к разряду доходов от косвенных налогов. Все эти налоги требуют более или менее отдельных администраций, сложных узаконений, регламентации и более или менее значительного персонала, составляющего главный расход для казны, а также и значительную заботу для правительства. Общая характеристика этого рода налогов такова: много служащих, много хлопот и забот, много правил, много расходов, еще более стеснений для народной промышленности и очень мало, относительно, доходов для казны. Одно только можно сказать в оправдание таких доходов: они, в большей или меньшей степени, оправдываются современной наукой о финансах и западноевропейской финансовой практикой; но это доказывает только несостоятельность этой науки и т. п.

Понятно, что бюджет наш представляет недочет в доходах, то есть дефицит. При такой финансовой системе, как наша, дефицит неизбежен, ибо уже одни расходы по взиманию налогов не соответствуют доходам казны.

Но если настоящее состояние финансов России говорит не в пользу нашей финансовой системы, то из этого еще отнюдь не следует, чтобы наше финансовое положение было очень дурно. Напротив, несостоятельность нашей финансовой системы служит одним из несомненных доказательств, что финансовое положение России легко может быть улучшено с улучшением русской финансовой системы.

Мы могли бы представить здесь ясное тому доказательство, но оставляем это до другого времени. Мы ограничимся на этот раз только более или менее общими местами.

Предполагая, что наша общая бюджетная цифра, хотя бы и могла быть значительно ниже 300 милл., но в то же время допуская, вследствие более или менее необходимой уступки людям и обстоятельствам, что еще не пришло время для такого понижения этой цифры, положим, что наша государственная казна нуждается и будет еще несколько лет нуждаться ежегодно в 300 мил. на необходимые государственные расходы. При этом, конечно, прежде всего выступает вопрос: в состоянии ли Россия доставлять ежегодно податями государственной казне такую сумму?

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

На этот вопрос нельзя отвечать иначе, как только утвердительно, ибо и теперь Россия вносит податей, путями официальным и неофициальным, не 300 милл., а сумму, которая, конечно, не менее как вдвое значительнее этой. Пусть сомневающиеся в этом вспомнят между прочим хоть только о следующих трех обстоятельствах:

- 1) Ведро водки обходится откупу, со всеми казенными и другими расходами, не дороже 3 р., а народ платит за него, в общей сложности, не дешевле 6 р.
- 2) Многие из чиновников и вообще служащих, получающих в год жалованья 100 р., 200 р., 300 р. и т. п., проживают, не имея никаких других, кроме служебных, средств к существованию, 500 р., 1000 р., 3000 р. и т. п.
- 3) Не все неотъемлемо принадлежащие, по законам, казне доходы поступают в нее.

Итак, чтобы получать не только 300, но в случае надобности и более миллионов в год дохода, наша государственная казна может не только не обременять народа новыми податями, но даже и избавить его от некоторых поборов, не поступающих в нее при настоящем состоянии нашей администрации.

Но чтобы и эти 300 мил., а в случае надобности и большая сумма, поступали ежегодно в казну на началах, по времени и обстоятельствам, возможно рациональных, то есть на условиях, наименее обременительных для народонаселения страны и наиболее выгодных для государственной казны, необходимо значительное, радикальное преобразование нашей финансовой системы.

По нашим понятиям, сущность такого преобразования должна заключаться в следующем:

- 1) Необходимо, преобразованием судеустройства и судопроизводства, вполне обеспечить все личные и имущественные права граждан. Без такого обеспечения не может быть экономической свободы, а без такой свободы не может быть достаточного развития промышленности, единственного источника рациональных доходов для казны. Без такого обеспечения прав граждан возьмется улучшить финансы какого бы то ни было государства только человек, наименее к тому способный, то есть не государственный ум, а кое-какой спекулятор или мечтатель.
- 2) Необходимо устранить, по возможности, все то, что в администрации и законодательстве вообще служит препятствием к экономической свободе промышленности, в обширнейшем значении этого слова. Без этого не может развиваться у нас, на прочных основаниях, ни частный, ни государственный кредит.
- 3) Необходимо изменить некоторые из существующих отношений между центральными и местными властями и преобразовать вообще как местное самоуправление, так и общую администрацию. Нет никакого сомнения, что большая или меньшая административная централизация у нас столь же необходима, как и централизация политическая; но несомненно также и то, что необходима и соответствующая быту народа большая или меньшая степень местного самоуправления, без которого нет и не может быть ни необходимой для народного развития общественной самодеятельности, ни достаточного содействия со стороны общества центральным властям в достижении целей государственной жизни. Достаточное развитие местного самоуправления есть одно из коренных условий и рациональной финансовой администрации. Это между прочим потому, что подати должны взиматься местными властями; в противном случае доходы казны обходятся слишком дорого народу, а дорогие подати дурны уже потому, что они дорогие.
- 4) Необходимо перенести все личные повинности на имущества граждан, что делается рационально возможным и, конечно, неизбежным по устранении вышеупомянутых препятствий к экономически свободному развитию нашего быта. Одно равномерное переложение податей с лиц на имущества значительно увеличит, без увеличения податного процента, доходы нашей казны.
- 5) Необходимо отказаться государственной казне от некоторых регалий и вообще налогов, которые обременительны для народа и мало доходны для казны уже потому, что требуют значительного служебного персонала и вообще непропорционально громадных административных расходов. Главное место между такими регалиями и налогами занимает, конечно, соляная регалия, передача которой частной промышленности может совершиться с значительными выгодами для казны и не менее

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
значительным облегчением для народа.

Что касается нашей монетной системы и средств к покрытию наших государственных долгов без обременения народа налогами и без неуместной продажи государственных имуществ, кроме тех, разумеется, которые никоим образом не могут рационально состоять в ведении государственной администрации, то и улучшение монетной системы и отыскание средств к покрытию долгов могут приводить в затруднение разве самозванцев-финансистов, кое-как знакомых с наукой о финансах, по одним книгам, но никак не могут приводить в затруднение человека, знающего средства России и создающего законы и условия рациональной финансовой администрации. Наши современные финансовые затруднения весьма неосновательно объясняются многими одной последней войной. Причина их не столь одностороння. Во всяком случае, они столь же мало сообразны, в сущности, с богатством и средствами вообще России, как несообразен был бы человеку, обладающему богатством Ротшильда, недостаток в средствах к жизни.

О ХАРАКТЕРЕ РУССКИХ ЗАКОНОВ ВООБЩЕ И О ГОРНОМ В ОСОБЕННОСТИ

С.-Петербург, вторник, 27-го марта 1862 г

Русское законодательство между прочим имеет тот неоспоримый недостаток, что оно очень обширно и неудобно для изучения. Этот недостаток всем очень давно и очень хорошо известен, но общество только при царствовании нынешнего Государя встречает возможность выразить свои соображения относительно некоторых законоположений, утративших современность и требующих радикального изменения или совершенного уничтожения в обоюдных интересах общества и правительства. Недавно у нас часть пересмотрены, а часть еще и теперь пересматриваются уставы, касающиеся разных отдельных частей внутреннего управления, наконец, даже и самый порядок судопроизводства обречен коренным реформам, в обсуждении которых участвовали известные русские юристы. Важные вопросы о податях и повинностях разработаны также довольно многосторонне и подробно. Во всех этих трудах русская литература не отказывалась принимать посильное участие, и, как ни слабы, как ни шатки были некоторые из выраженных ею мнений, они все-таки принесли свою долю пользы общему делу.

Теперь обстоятельства выдвигают на сцену горный устав. Поднятие вопроса о русском горном уставе принадлежит Политико-экономическому комитету, учрежденному при Императорском русском Вольном экономическом обществе, где 17-го марта происходило заседание, специально посвященное этому уставу. В этом заседании присутствовали многие деятельные лица, удостоившие посетить комитет в качестве экспертов, и здесь была подвергнута обсуждению записка, составленная г. Дмоховским, "О горном уставе в отношении частных владельческих горных заводов". Записка эта представляет очень много интереса, но пределы газетной статьи не позволяют нам сообщать разных подробностей, на которые автор, очевидно хорошо знакомый с горнозаводским делом, умел обратить внимание членов, гостей и экспертов, присутствовавших на заседании 17-го марта.

Г. Дмоховский, начавший чтение своей записки тотчас после открытия заседания, заявил вначале о минеральных богатствах нашей страны и о возможности давать разработке минеральных богатств самый широкий ход, несмотря на жалобы, раздающиеся во многих местах на недостаток горючего материала, необходимого для горнозаводского дела. Он указал на каменный уголь, "до которого все страны докапывались не прежде, как по истреблении своих лесов". Затем читал о том, что самое "название книги нашего "Свода законов", которая объемлет законоположения, относящиеся до горного промысла, не выдерживает критики с теоретической или научной точки зрения", ибо "в нашем горном уставе излагаются и горные законы и горные уставы, в собственном значении этого слова, и горные учреждения". – "Устав имеет в себе 2 653 статьи. Одни из них определяют собственно горные законы, другие – горные уставы и третьи, наконец, – горные учреждения. Все эти статьи не распределены систематически, так что законы, уставы и учреждения смешаны между собою". Очерчивая историю развития русского законодательства по горнозаводскому промыслу, автор делит ее на несколько периодов, "благоприятных" и "неблагоприятных" для этого дела. Но мы оставим в стороне этот исторический очерк, хотя он и очень интересен, и заметим только то, что "самая большая часть статей, вошедших в устав после 1826 г., относится не к горным законам, а к учреждениям, а горные законы остаются без пересмотра. Новейшие статьи определяют: учреждение института, школы, училища, физической, магнитной и метеорологической обсерватории; обмундирование чинов горного ведомства; оклады жалованья и столовых; пособия на подъем; увольнения в отпуски; назначение пенсий; воздание почестей при погребении усопших генералов; привод иностранцев к

присяге; запрещение прикомандировывать горных офицеров к лейб-гвардии; переименование чинов; устройство неспособных воспитанников; выписка из-за границы инструментов; горная стража; линейные и сибирские батальоны; подвижные инвалидные роты; разъездные команды; дозволение нижним чинам иметь собственные дома; комплектование батальонов; дисциплина; приготовление унтер-офицеров; солдатские дети и т. п. Все это утолстило наш горный устав, но не дало ему жизненного значения”.

“По изучении устава”, продолжает автор (что, по его словам, составляет задачу довольно трудную), “оказывается, что о владельческих заводах существуют в нем не одна, а три идеи”.

“1) Всеми заводами управляет министр финансов. Управление это производится посредством штаба корпуса горных инженеров, департамента горных и соляных дел и местных начальств.

Слово управляет относится ко всем заводам: государственным, посессионным и владельческим и ко всем сторонам их жизни, то есть к хозяйству, полиции и суду.

2) Горному местному начальству вверяется: а) управление казенных заводов; б) ведомство и содействие в управлении посессионных заводов и с) ведомство и содействие в управлении частных заводов (ст. 299-я)”. Здесь автор замечает, что “министр финансов, вероятно, не передавал местному начальству своего права управлять всеми заводами, исключая замосковных, которые, по букве закона, управляются горным правлением, имеющим пребывание в Москве”.

“3) Местное начальство, не вмешиваясь во внутреннее хозяйство частных заводов, покровительствует им и помогает советами и всеми другими способами в рудном и заводском промыслах и пр.”. Развивая последствия этих узаконений в применении их к практике, г. Дмоховский доходит до убеждения, что наш “горный устав не имеет единичной жизни и что статьи его составляют ткань трех разных основ и трех разных приборов”. Для подкрепления своего вывода он указывает сначала на статьи, по которым частные заводы управляются горным начальством. В них сказано (ст. 889-я), что “берг-инспектор предлагает [55] заводовладельцу все то, что, по его замечанию, служит к улучшению машин и сокращению работ”. – “Ни одно горное имение не может быть разделено на части без разрешения горного правления” (477, 478 и 562 ст.). “Когда министр финансов найдет особые уважения, то имеет право испросить высочайшего разрешения на отдачу владельческого завода в казенное управление (ст. 559)”. – “Когда завод принадлежит многим владельцам, то министр финансов имеет право испросить высочайшее разрешение об отдаче его в административное управление. (Прим. к ст. 478)”. И много тому подобного. Относясь к “содействию”, которое горнозаводское начальство должно оказывать по закону владельцам частных заводов, г. Дмоховский справедливо замечает, что смысл этого содействия очень неопределителен и что потому, являясь без призыва, без просьбы того, кому его оказывают, оно становится или вмешательством или знаком особенной благосклонности. По закону же содействующие меры доходят до того, что (ст. 888) “берг-инспектор дает заводчику на замечание (подлинные слова статьи закона), если заметит что-нибудь к улучшению заводов”. – “Смотрит, соответствует ли доброты металлов цели употребления их (ст. 852)”. – “Смотрит, не вырубается ли лес на заводские действия более надлежащего или более положенного; притом не вырубается ли ближайшие к заводам леса несообразно сделанному положению; располагаются ли дровосеки надлежащим образом и т. д. (ст. 853 и 854)”. – “При накоплении на заводах горной недоимки отрягается в оные на их счет чиновник горного ведомства (ст. 530)”. Потом в уставе сказано, что владельческие заводы управляются самими владельцами и владельцам этим предоставлено даже распоряжаться ими на правах полной собственности. Г. Дмоховский сделал несколько весьма дельных указаний на несообразность, сбивчивость и противоречивость многих положений горного устава и особенно ясно доказал, во-первых, вред, происходящий от вмешательства чиновников в дела частных заводовладельцев, а во-вторых, совершенную бесполезность некоторых мер, стоящих правительству чувствительных расходов, как, например, посылка в заводы, допустившие недоимку, особых чиновников. Лица эти там решительно ничего не делают, да и ничего не могут делать, а просто “живут на экзекуции”. Мы уже сказали, что не можем позволить себе подробного изложения записки г. Дмоховского, и потому проходим мимо его интересных указаний и обращаемся прямо к заключению, которое он вывел. Его, конечно, нетрудно предвидеть, ибо горный промысел, так же, как и всякий промысел, прежде всего нуждается в независимости и свободе, которые для интересов дела и выгод страны (а не исключительных личностей) полезнее всякого

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
регламентарного покровительства и официальных содействий, особенно если эти содействия являются или как вмешательство, или как знак особенной благосклонности. Поэтому мы и здесь не будем входить в подробности предложений г. Дмоховского, способных интресовать только заводовладельцев или горных специалистов, из которых далеко не состоит весь круг наших читателей и которые, без сомнения, вскоре встретят об этом предмете самые подробные сведения в "Горном журнале", издаваемом Ученым комитетом корпуса горных инженеров. Автор стоит за освобождение промысла от тяжкой опеки и за уничтожение всего лишнего, что без всякой пользы обременяет казну, как, например, особая горная полиция, в который нет никакой нужды, ибо все горные полицейские узаконения "не заключают в себе никаких особенностей сравнительно с узаконениями общей полиции". Г. Отрешков, после чтения записки г. Дмоховского, привел несколько статистических данных, свидетельствующих о самом печальном состоянии горного дела в России, и указал частью на причины дороговизны чугуна и железа, столь необходимых нашему народу, который за всякую железную вещь платит далеко дороже того, во что такая же вещь обходится крестьянину Англии и других европейских стран. Но самый большой интерес заключают в себе слова, сказанные, после г. Отрешкова, присутствовавшим в заседании заводчиком г. Полетикую. Как лицо не только близко знакомое с делом, но и очень заинтересованное в нем, он говорил о нем с тем чувством и с тою энергиею, какие могут быть вызваны у человека, видящего разрушение своих долголетних усилий. По его словам, нынешнее состояние горного дела продолжаться не может и должно неминуемо лопнуть, если немедленно же оно не будет поставлено в другое, более благоприятное положение. По словам г. Полетики, дело еще кое-как тянулось, с горем пополам, при крепостном труде; но никто не может да и не станет вести его теперь, если, с изменением экономических условий страны, вследствие распоряжения 19-го февраля, не изменятся многие другие условия заводского дела. Он не привел в подкрепление своих слов никаких статистических данных, но для подтверждения этих слов указал на одну отрасль горнозаводского дела – на добывание серебра. По его словам, самым печальным фактом в добывании этого металла служит не низкая цифра извлечения его из сибирских рудников, а то, что добыча серебра из сибирских недр производится постоянно в убыток, и дело приняло такое смешное и жалкое положение, что, в настоящих обстоятельствах, можно желать, чтобы серебра добывалось как можно меньше или даже совсем не добывалось. Горные специалисты, присутствовавшие на этом заседании, не опровергли слов г. Полетики, но заявили, что весь горный устав уже пересматривается и что дело это не составляет никакого секрета, так что всякие относящиеся к нему соображения могут быть выражены свободно. В следующее заседание, которое будет происходить на днях, вопрос этот снова поступит на обсуждение, и в нем опять примут участие те же эксперты, а комитет надеется иметь перед собою сведения о соображениях лиц, занятых пересмотром горного устава.

В свое время мы не замедлим сообщить нашим читателям о движении этого вопроса в Политико-экономическом комитете настолько, насколько вопрос этот кажется нам интересным для всех, следящих за полезными реформами в русском законодательстве.

О ХРИСТИАНСКИХ БРАТСТВАХ В РОССИИ

С.-Петербург, воскресенье, 27-го мая 1862 г

– ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК БРАТСТВ. – ОСТАТКИ ИХ В НАШЕ ВРЕМЯ. – МЫСЛИ О ВОЗРОЖДЕНИИ БРАТСТВ. – НАДЕЖДЫ И ОПАСЕНИЯ ОШИБОК В ЭТОМ ДЕЛЕ. – О НАПРАВЛЕНИИ НАШЕГО ПРИХОДСКОГО ДУХОВЕНСТВА

Пока наша, так сказать, светская литература занималась обработкою вопросов об общине, о мирском самоуправлении и т. п., духовная литература возбуждала вопрос о братствах, вопрос чисто русский и необыкновенно интересный. В симпатиях русского духовенства к братствам мы видим общее русское желание жить миром и миром стоять за себя и за брата: "друг о друге, а Бог обо всех". Духовные журналы довольно настойчиво хлопчут о заведении братств, и братства эти в зародышах появились разом в нескольких местах. Доказать пользу соединения сил, труда и капитала очень легко всякому; а как братство есть не что иное, как христианская ассоциация, то и смешно было бы доказывать пользу братств для народа, получившего возможность воскресить в своей жизни некоторые родные обычаи и приноровить их к требованиям современной жизни. Но при возгласах: "братчина", "братство" самая сущность понятия, выражаемого этими словами, остается для многих вовсе неизвестною. Наконец "Киевские епархиальные ведомости", возлагающие огромные надежды на христианские братства, очень благоразумно вздумали познакомить своих читателей с значением братского союза в древней Руси, с историею братств и с остатками их, живущими кое-где в народе и до сих пор без всякой поддержки извне. "Киевские епархиальные ведомости" могут говорить о

христианских братчинах тверже многих, потому что остатки этого учреждения в юго-западной России сохранились гораздо сильнее, чем в серединной полосе империи и на севере (исключая мест, заселенных раскольниками некоторых братских согласий). На юге России и поныне живет это учреждение, но прежде записывались в братства все высшие и низшие классы юго-западного русского общества, и предмет их деятельности составляли самые высшие интересы церкви и отчизны, а теперь это учреждение находит себе приют только в одном простом народе, и круг его деятельности значительно сузился. Братства в южной России подавлены теми же историческими обстоятельствами, которые вызвали их к существованию, то есть гонениями на православие со стороны католиков, и теперь остатки братств можно примечать только в селах и деревнях губерний Киевской, Подольской, Волынской, Минской, Могилевской и других.

Начало церковных братств относится к отдаленным временам жизни нашего народа. Во времена глубокой древности, когда предки наши были язычниками, у них, как и у всех вообще славян, были так называемые законные обеды, или трапезы в урочные дни, в честь того или другого божества или на память умершим. Христианство изменило этот обычай и дало ему другое направление. Явились общие пиры в дни праздников христианских, например в Троицын день, преимущественно же в так называемые храмовые праздники. Пиры или обеды устраивались складчиною: складчина же производилась не деньгами, а натурою: варили где пиво, где мед, а для этого принимавшие участие в складчине приносили солод, овсяную муку, мед, яйца и т. п., – приносили не в определенной мере, но кто сколько мог. Сторонние лица были приглашаемы на такие пиры в качестве гостей; охотники из окрестностей являлись сами и также были принимаемы за гостей. В иных местах являвшиеся на праздничный пир без приглашения должны были сделать какой-либо денежный вклад, в других – даже такие гости, как архиереи и настоятели монастырей, приглашались на служение в храмовой праздник и, получая за это денежное вознаграждение, должны были, в свою очередь, давать определенное число пудов меду на подсыту, то есть на сварение медового питья для праздника. Общество лиц, устраивавших праздничные обеды, называлось братчиною, или, что то же, братством; самое пированье, устраиваемое таким способом, носило также название братчины. Полагают, что, когда являлись постоянные участники церковных празднеств или пирований, то из ряда учредителей пиров были выбираемы и особые распорядители, заведывавшие как угощением, так и деньгами, вырученными от продажи пива или меду, внесенными в складчину или другим путем полученными. В иных местах братчины имели вид постоянного и притом правильно организованного общества, с особыми источниками доходов, главная часть которых назначалась на содержание церкви и причта церковного. Главные члены такого общества назывались старостами; в их заведывании находилась казна братская, они распоряжались всем, в том числе и пиром в храмовой праздник. Где такого общества не было, там обыкновенным распорядителем являлся староста церковный; и здесь и там деньги, выручаемые от продажи пива или меду, а также от складчины, употребляются на пользу храма. Братчины в таком смысле – явление общее как на юге, так и на севере России. Ясные указания на их существование восходят к древнейшим временам нашей истории. В 1134 г. новгородский князь Всеволод Мстиславлович построил в Новгороде церковь во имя св. Иоанна Предтечи и, желая обеспечить на вечные времена содержание как церкви, так и причта ее, назначил в пользу их сбор за вес воска в Торжке и самом Новгороде; попечителями же церкви и причта и распорядителями доходов, на содержание их назначенных, избрал 4-х почетных жителей Новгорода. Трое из них названы старостами, а четвертый тысяцким. Под надзором этих главных блюстителей, для постоянного попечения о храме, устроится из торговых людей купечество, или, что то же, купеческое братство, совершенно изъятые от суда посадника княжого и бояр новгородских. В это братство мог вписаться всякий, но должен был дать братству единовременного вклада 50 гривен серебром. Братство в храмовый праздник имело право варить и продавать мед по старине, как сказано в грамоте, данной на учреждение братства, а грамота дана в 1134 г. [56] Это самое древнейшее и довольно обстоятельное свидетельство о существовании братств. Другое содержит в себе одно голое указание. Так, в 1159 г. полочане звали своего князя Ростиславича на братчину ко святой Богородице на Петров день. [57] Приведем и еще одно свидетельство из древнейшей русской песни. В ней говорится следующее:

Послышал Васинька Буслаевич
У мужиков новгородских
Канун варенья пива ячныя.
Пошел Василий со дружиною,
Пришел во братнину во Никольщину.
“Не малу мы тебе сыть платим,

За всякого брата по пяти рублей”.

А и за себя Василий даст пятьдесят рублей.

А и тот-то староста церковной

Принимал их в братчину в Никольщину.

Поговорка: “с ним пива не сварись” говорит, без сомнения, о том же предмете и относится также к древнейшему времени. Она указывает на ссоры, происходившие на братчинных пирах, указывает на людей своекорыстных, сварливых и придирчивых, с которыми трудно было идти в братчинную складку. Для предотвращения этих ссор положено было незваных гостей выпроваживать вон, а если бы кто из них упорствовал остаться на пиру, шумел и дрался, такой платил пеню, вдвое большую против обыкновенного вклада, – “без суда и без исправы”, следовательно, по определению одной братчины. Это постановление относится к позднему времени, именно к половине XV века. В одной псковской судной грамоте того же времени говорится: “братчина судит как судьи”. Таким образом, к этому времени и на севере России братчины выработали себе некоторые определенные формы своего существования, имели свой суд и самоуправление. Но что они и прежде считались явлением законным, существование которого признано было официально, видно из того, что с давних пор братчины обязаны были от своих пиров давать известную пошлину волостелю, или тиуну, – натурой или деньгами (ведро питья, какое случится, да хлеб, да курицу, или по деньге особо за хлеб, за курицу и за питье). В монастырских имениях пошлина платилась монастырскому приказчику или игумену, когда тот приезжал на братчину. [58]

Такими являются братчины в XV веке, преимущественно на севере России. Они существуют во многих местах, хотя и не имеют той правильной организации, какую с этой поры получают братчины на юго-западе России. В последствии времени братчины севернорусские не только не получали большого развития, но не удержались и на той степени, до которой дошли в XV веке, и стали постепенно исчезать вследствие быстро усиливавшейся на севере централизации, подавившей всякую отдельную самостоятельность, всякую льготу и привилегию, вследствие непомерного стремления казны к монополии во всем и преимущественно в продаже питей. Полагают, что совершенное исчезновение братчин последовало в то время, когда учреждены были казенные кабаки и когда казна сильно жаловалась на то, что в царских кабаках мало питухов. Так полагают потому, что подобное явление повторилось в недавнее время с юго-западнорусскими братствами, из которых многие прекратили свое существование по введению откупной системы, воспретившей медоварение в храмовые праздники.

На юго-западе России обстоятельства более благоприятствовали не только существованию, но и большему развитию братчин. Оттого в то время, как на севере России братчины постепенно приходят к упадку и наконец совершенно исчезают, на юго-западе они получают все большую силу, более правильную организацию и более высокий характер. Раннее, всеобщее стремление южных россиян к самостоятельности, самосуду и самоуправлению, к разного рода льготам и привилегиям, непротивное общему духу и строю государственному, раннее введение права магдебургского, развитие цехового устройства, наконец, самая борьба с католицизмом, – все это как нельзя более способствовало развитию братств, умножению числа их членов, расширению круга прав и деятельности и приобретению ими высоконравственного характера. Цехи и братства сошлись на одной почве и сообщили друг другу некоторые свои черты: братства цехам – свой религиозный характер, свою благочестивую цель, цехи братствам – свое определенное устройство, которое, однако ж, впоследствии изменилось и получило гораздо большее развитие, сообразно местным условиям общества. Первоначально в цехах каждая партия (православная и католическая) имела свою особую церковь, хотя содержание церковей производилось на общий счет; но когда усиливалась религиозная вражда, партия православных стала выделяться из цехов своею религиозною стороною и образовала особые, самостоятельные, собственно церковные, православные братства с довольно правильною организацией и строго определенной целью, которая заключалась в делах благочестия, любви и милосердия. В течение более нежели ста лет братства эти ограничиваются небольшим кругом деятельности, именно: содержанием церкви, приемом больных и пособиями бедным; главный доход их по-прежнему состоит в продаже меда, который они варят по несколько раз в год.

Как видно из устава братств, утвержденных королем Стефаном Баторием, они имели характер древних общерусских братчин, но имели и особенности, показывающие известную степень их развития. Так, у братства есть свой дом, собственным коштом выстроенный; братства имеют сходки или определенные собрания для совещания о делах церковных и госпитальных; оно делится на старших и младших братьев; те и

другие ежегодно избирают из среды себя старост; строжайший порядок соблюдается на пирах братских: никто не смеет принять неприличную позу, произнести неприличное слово; братство, наконец, в своих делах не подсудно никому, кроме самого себя. Может быть, юго-западные русские братства долго оставались бы в таком виде, если бы особенные обстоятельства церкви не вызвали их на более широкое поприще. Эти обстоятельства были гонения на православие, воздвигнутые Польшею в юго-западнорусских областях.

Надобно было силе противопоставить силу, учености – образование, требовался дружный, единодушный отпор чуждому влиянию, нужно было тесно соединиться православным для защиты своей веры и народности. И братства получают с этого времени новый характер, более правильную и постоянную организацию и более обширный круг прав и деятельности. Уставы двух братств, утвержденные патриархами и королем, по определению братского собора 1591 г., поставлялись в образец всем прочим братствам, имевшим явиться в других городах, да везде, как сказано в соборной грамоте, одинакия брацтва будут. Преобразованные и новоучрежденные братства получают обширное значение во всех отношениях. Всякое сословное различие в них сглаживается; число их членов не ограничивается приходом, сословием или городом, а простирается на все сословия и на все местности, в которых живет православие; в братства записываются князья, знатные дворяне, казаки всех чинов, простые шляхтичи, купцы, мещане, высшее и низшее, черное и белое духовенство, последнее иногда с целыми приходами, записывались и лица женского пола и даже православные иностранцы, как господари молдавские и валахские. Прежний доход братств от сыченья меда не упоминается более в уставах братских; теперь братчики делают денежные определенные и добровольные вклады, из которых последние простираются иногда до значительных сумм, записывают и недвижимые имущества. Кроме содержания церквей и их причтов, каждое братство имеет богадельню, странноприимный дом, госпиталь, школу; иные имеют типографии и занимаются изданием богослужебных и других книг, содержат певчих, учителей и даже нарочитого проповедника. Братские собрания делаются чаще и определеннее (обыкновенно раз в неделю после утрени, главные – раз в месяц, чрезвычайные – по требованию обстоятельств и годовичные – в Фомино воскресенье), предметы их совещаний шире и разнообразнее. Тут идет уже речь не об одних делах церковных и шпитальных, но о предметах первейшей важности, о распространении просвещения, о поддержании целости и чистоты веры, о соблюдении строгой нравственности, о защите прав всего юго-западного русского народа. Братства являются на соборах, они всюду на судах и пред троном королей. Братства сносятся между собою и помогают друг другу вещественно и духовно, сносятся с епископами, митрополитами и патриархами и держат с ними совет о благочестии. Никакая власть, никакой суд не мешаются в дела братские. Братский суд получает огромное значение: он блюдет за чистотою веры и нравственности; обличает, вразумляет, увещевает, судит противных церкви, не исключая и епископов; отлучает упорных от общения с верующими, и никакая власть не в силах противиться суду братскому или снять отлучение, им положенное. Суд братства – суд церкви; апелляция возможна была только к константинопольскому патриарху. Чрезвычайные права предоставлены были братствам, но велики были и их заслуги. В течение почти двухсот лет в их госпиталях получали врачебную помощь страждущие разными недугами; в их богадельнях призревались калеки, старцы и люди бесприютные и беспомощные. В братских храмах православные видели наилучший порядок и благолепное служение, даже в то время, когда прочие храмы были запечатываемы и обращаемы в мечети, конюшни, питейные и позорные дома. Братские типографии снабжали (иногда безмездно) книгами весь юго-западный русский край: одно львовское братство выдало этих книг более 300 000. В братских школах воспитывалось русское юношество. Братский суд хранил чистоту веры и нравственности; братства с редким самоотвержением отстаивали нагло попиравшиеся права всего юго-западного русского населения; они принимали ближайшее участие в управлении, а среди смут и беспорядков водворяли порядок и согласие. Братские общины служили, наконец, представителями и образцами чистого православия и нравственности, поучительного самоотвержения, твердого мужества и терпеливых страданий, тихой и чистой любви, мира и единодушия. На этой высоте нравственной братства держались до той поры, когда, истощив последние силы в неравной борьбе, иные безвестно прекратили свое существование (как луцкое братство), другие склонились пред ненавистной унией (как братство львовское 1708 г.), а третьи, хотя и пережили первых, но должны были войти в самый тесный круг деятельности, проявляя ее только в делах набожности и человеколюбия.

И какова была простая, бедная, незнатная среда, приютившая братства, такова стала и деятельность братства в XVIII веке, сравнительно с деятельностью их в

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
предшествовавшее время. История во второй четверти прошлого столетия не сохранила нам ни одного известия о сколько-нибудь приметном деянии братств, ни их названий, так что, изучая ее по печатным книгам, легко можно было бы с этой поры распрощаться с братствами. Тем не менее, как мы уже заметили, братства существовали и в это и после этого времени, существовали по городам, местечкам и селам в Белоруссии, на Волыни, в Литве и Украине. На существование их в двух последних областях находится множество указаний в архивах бывшей переяславской и киевской консисторий и в некоторых архивах монастырских. Но все это одни голые указания, что в такое-то время, в таком-то месте было братство, и нигде нет сколько-нибудь цельного и полного известия об устройстве братств, об их деятельности, средствах и проч. Редакция “Киевских епархиальных ведомостей” могла воспользоваться только одним полным источником, который ей удалось иметь под руками, чтобы по этому источнику объяснить характер и устройство сельских братств в XVIII веке до последнего его десятилетия, с которого есть более определенные сведения о братствах в городах, местечках и селам юго-западной России.

Нынешней Киевской губернии, каневского уезда, в селе дыбинцах и теперь существует братство, с таким устройством, как будто мы видим его в XVI и даже XV веке. Когда и кем основано это братство, неизвестно. Его записи приходо-расходные идут с 1745 г. По ним легко составить понятие об устройстве этого братства, его средствах и отчасти об его деятельности.

В дыбинцах с незапамятных времен идет выделка глиняной посуды. Из гончарных мастеров составилась цех, в нем устроилось братство. Три главные распорядителя в этом братстве, ежегодно выбираемые общим голосом братии: цехмистер, ключник и старший брат. У цехмистра братская скринька, у ключника ключ, старший брат вместе с ними участвует во всех распоряжениях. Получение и выемка денег производится в присутствии нескольких или всех братий. Братство имеет сходки или собрания. Главное годовое собрание на масляной: тут производится общий отчет, выбор новых лиц в должности по братству, передача им братской суммы, общий братский суд над провинившимися в течение года и не понесшими наказания в свое время. Суд братский простирается на всех живущих в селе от старого до малого, и никто не вправе воспротивиться решению братского суда. С другой стороны, если виновный раскаялся пред братством и понес определенный им штраф, никто не смел каким-либо словом укорить потом провинившегося, в чем братство выдавало ему иногда письменное свидетельство. Цели и стремления братства разнообразны: поддержание своего приходского храма, устройство обедов в храмовый день, пособие обедневшим братьям и вообще бедным, погребение бедных, обучение желающих грамоте и горшечному мастерству и, главное, поддержание нравственной чистоты в обществе жителей с. дыбинец. Братская казна пополнялась из разных источников: от продажи меду, который сытили к храмовому празднику, от платы за вступление в цех, что называлось “исполнить цех”, от платы за пополнение цеху, хотя неизвестно, когда и как происходило это пополнение, от складчины или так называемые сходковые деньги, собираемые на братских сходках, от платы за провинку – деньги штрафные, от платы за визвелок, то есть выпускных денег, вносимых обучавшимися мастерству или грамоте по окончании курса учения, от платы за цех или за употребление братских хоругвей при погребении кого-либо, не принадлежавшего к цеху, и от добровольных пожертвований. В позднейшее время являются сборы за браки, вероятно, от членов цехового общества. С 1779 г. учреждено было в дыбинцах и сестричное братство, с единственною, как видно, целью заботиться об украшении храма Божия. Сестрицы, или сестрички, имеют свою особую кассу и особого ктитора: они делают складку, сытят мед и продают при посредстве канунников из мужчин, собирают всякое подаяние: воск, мед, воскобойны, хлеб в зерне и, переводя все это на деньги, употребляют их на нужды церковные. На первый раз в это братство вписалось 44 души, в том числе Мария попадьа и два мужчины, не считая ктитора. Мужское братство известно было и местному владельческому управлению, находившемуся в Богуславе, и последнее относилось в братство по делам гончарным на имя цехмистра. Цехмистер, и в братстве и во всем селе, лицо самое почтенное: в записях братских он величается иногда паном, инде пишется: “за державы” такого-то цехмистра... Под 1778 годом читаем такое определение, состоявшееся в братстве: “Месяца декабря числа 25-го. При мне Артему цехмистру и при брату старшему Яцку Петру ключнику старцовому, понеже мог бы из братии своей который в цеху либо где кольвек зачепитися в якую сварку альбо в забойство якое, то до замку (в Богуславе) отдать паньской вини рублей десять, а до цеху рублей три, и ми на тое вси подписуемся”. Это, неизвестно по какому случаю, положенное определение показывает строгость братского суда и его нравственных воззрений. Суд этот употреблял различные наказания, преимущественно денежные пени; но

главная цель наказаний состояла в том, чтобы виновный принес раскаяние пред братством. Замечательно, что в то время, как все прочие власти и в то, и в последующее время драли, что называется, кожу с бедного украинского поселянина, в братстве никогда не употреблялись телесные наказания. Самое закладывание ног в тын на короткое время имело более моральное значение, действовало на честь или самолюбие провинившегося, который и после того должен был все-таки поеднать цех или братство, то есть испросить у него прощение. Уважение к голосу братства, покорность его распоряжениям были, как и теперь, полные и совершенные. Когда умирал бедняк, которого нужно было погребети за счет братства, от этого последнего выдавалось распоряжение, кому копать яму, кому гроб готовить и т. п. Во свидетельство распоряжений братских к наряженным на работу посылалась круглая дощечка с изображением местного храма, и, где бы ни заставала эта дощечка того, к кому относилось распоряжение братства, – в гостях ли, в поле ли за работой, в хозяйственных хлопотах, он тотчас бросал все и шел, куда указывало братство.

Сообщая эти интересные сведения о сельских братствах, существовавших в конце XVIII столетия, и об одном из них, существующем до настоящего времени, “Киевские епархиальные ведомости” видят настоятельную необходимость в возобновлении таких братств в России, и особенно в юго-западном ее крае. Без таких братств духовные лица, редактирующие упомянутое издание, не видят “способов к народному образованию”. Недостаток материальных средств к образованию на самом деле – одна из самых ужасных вещей. Встречаясь с этим недостатком, самая твердая воля изнемогает и отступает от своей благородной цели. Нужны деньги, нужны книги, нужно платье для учеников и такое состояние семьи, в котором она могла бы отпустить ребенка на два-три часа в сутки в школу, а ничего этого нет, и потому большинство школ, утешающих нас своим открытием, появляются на самое короткое время и потом быстро падают, подрывая в народе последний кредит к заботам “господ” “о мужицкой науке”. Можно смело сказать, что половина существующих школ для народа – только слава, что школы, а на самом деле Бог знает что такое! – вариации на поговорку “не спросясь броду, не суйся в воду”, и больше ничего. Школам недостает материальных средств и регулирующего начала, вместо которого над ними учрежден весьма сильный контроль. “Киевские епархиальные ведомости” рассуждают об этом деле так, что поручать его мировым учреждениям или дирекциям училищ ведомства народного просвещения не годится, “так как великая еще лежит пропасть между народом и мировыми учреждениями, особливо же между ими и дирекциями”. Да и что общего может быть между школами и такими директорами, которым журнал “Учитель” печатает следующие ответы: “Г-ну дирек. уч. П-ской г. Статья Ваша не может быть напечатана, потому что мы решительно не согласны с высказанным Вами мнением. Если Вам угодно, то мы передадим ее тем, кому об этом ведать надлежит” (?!)... Далее, допуская, что общества сами дадут средства на содержание школ, “Киевские епархиальные ведомости” предлагают довольно серьезный вопрос, которого обойти нельзя, именно: каким путем собирать эти средства? кто станет заведывать и распоряжаться их употреблением? кто вообще может с несомненною пользою иметь ближайший надзор за сельскими школами? А рядом с этим стоят другие вопросы, поднятые самим правительством, – об учреждении и содержании в селах богаделен, госпиталей и церквей, о которых в западном крае помещики (католики по исповеданию) уже несколько не заботятся после освобождения от крепостной зависимости их крестьян, исповедующих православную веру? Для каждой части сельского благоустройства, о котором нельзя переставать ни на минуту заботиться, нужны расходы, нужны деньги, а денег ни у кого нет, и кого ни приставят собирать мирские крохи, у каждого почти окажутся ладони с клеем. Кто же, однако, будет заведывать и распоряжаться собиранием средств на все указанные надобности и их надлежащим употреблением? Волостные и сельские управления? Но они завалены другими делами, лежащими на их не только обязанности, но и ответственности, и участие этих учреждений в сборе средств на содержание школ, богаделен, госпиталей и церквей дало бы всему этому официальный вид, вид некоторого обязательства и принуждения, чего не должно допускать в выгодах самого образования и благотворительности. Тут неизбежно пойдут наказания, раскладки, срочные сборы, напоминания, понуждения и тому подобные приемы, несколько не сообразные с духом и характером указанных дел. В старину все эти дела, не говоря о других важнейших, каковы: участие общества в высших интересах, защищение от внешних гонений и скрытных происков, содержание типографий, издание и даже безвозмездная раздача книг и т. п., лежали на добровольной обязанности братств, которые выполняли их с любовью и самоотвержением, и это было везде почти на обширном пространстве юго-западной России, и было во многих местах так недавно, не дальше, как в конце прошлого столетия, пока не зашли здесь иные порядки того времени, от которых во многом отрекаются теперь правительство и общество. Лучшее этого способа мы доселе не придумали, да и едва ли в состоянии

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
будем придумать. Отчего же теперь не взяты за старый, давно изведанный и вполне благодотворный способ? Отчего не восстановить его в одних, не поддержать и дать ему прежнее значение в других местах? Отчего же и не так, скажем и мы с “Киевскими епархиальными ведомостями”, но, конечно, это ни от нас, ни от них нимало не зависит, и потому нужно: во-первых, основательно узнать: живо ли в народе сочувствие к таким братствам, о каких хлопчут лица, редактирующие “Дух христианина” и “Киевские епархиальные ведомости”, и есть ли готовность к основанию свободных братств без всякого стороннего побуждения, которое только портит дело, а затем, если в народе живет все нужное для союзов, задуманных нашими духовными редакциями, и, если ничто не будет препятствовать учреждению исчезнувших христианских братств (что было бы очень несправедливо и очень печально), то мы желаем им всякого успеха и уменья благоразумно расширять круг своей деятельности. Но

Богатые от колыбели

Ошибками отцов

И поздним их умом,

мы боимся ошибок в начале всех новых дел, на которые наши желчевики, à la m-г Аскоченский, смотрят в оба и не упускают случая подставить свою ногу. Ошибки в идее братств и в их значении по идее мы решительно не предвидим но опасаемся, удачно ли будет практическое применение этой идеи, если лица, около которых духовные журналы думают группировать братства, останутся такими, какими мы наблюдаем великое большинство их в настоящее время? Нам кажется, или, прямее сказать, мы уверены, что падению братств способствовали не одни прямые меры, неблагоприятствовавшие их развитию, но и отсутствие живой связи между миром, соединявшимся в братство, и духовенством, вносящим свое большое участие в жизнь братства. Раскольничьи братства, стоявшие не в более выгодных обстоятельствах, живут до сих пор и хранят тесное единение между мирянами и своим официально непризнаваемым духовенством; а в тех согласиях, где духовенство существует не как санкционированное сословие, братский союз еще теснее и крепче. Это происходит оттого, что у раскольников их духовные лица живут одинаково жизнью с народом, болят его болезнями и радуются его радостями; они солидарны с своим миром и не проповедают ему, что “и звезда от звезды разнится в славе и преимуществе, точно как сословие перед сословием”. [59] В этом уменье не отделять себя от народа, к которому идешь на святое дело блюсти его духовную чистоту, лежит разгадка силы и влияния раскольничьих попов и уставщиков на членов своей общины; в этом же была сила и пастырей первых времен христианства, избравшихся из народа, и этой силы нет у нашего духовенства, опирающегося только на одно свое официальное значение. Утрата этой силы именно предшествовала времени падения братств, о которых честно хлопчут “Дух христианина” и “Киевские епархиальные ведомости”, упуская из вида, что “убогая газетка” братолюбца нашего г. Аскоченского и “Странник” тоже имеют свой круг читателей и почитателей, именно между людьми, на содействие которых рассчитывают редакции этих двух духовных журналов, прикидывающие всех на свой честный масштаб, к которому, наверно, многое не подойдет. Пока этот интересный вопрос, поднятие которого делает честь нашей духовной журналистике, держится на чисто теоретической почве, небесполезно было бы автору статей, напечатанных о братствах в “Киевских епархиальных ведомостях”, еще порыться в архивах киевской и волынской консисторий и поискать в них сведений об участии духовных лиц того времени в общественных делах XVIII столетия или хотя бы сообщить нам об отношении приходского духовенства к приходскому братству села Дыбинцев, а мы, между тем, не замедлим рассказать о современных отношениях приходского духовенства к общественной деятельности г. Осташкова, граждане которого заставляют нас иногда пожалеть: зачем у них не поучатся наши ветхие друзья “старого порядка” и молодые пустозвоны, свистящие людям, доказавшим десятком тяжелых лет свою преданность честному делу и неизменность своих основных убеждений.

ОБ ОТНОШЕНИИ “СЕВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ” К Г. ГЕРЦЕНУ И ЕГО “СОБАЧКАМ”

Редакция “Русского вестника” (в № 33-м “Современной летописи”) сделала нам несколько замечаний, за которые мы ей очень признательны, и считаем своим долгом не оставить их без ответа. Просвещенной редакции “Русского вестника” кажется, что мы ошиблись, отрицая обширность влияния “Колокола” на русское общество; что влияние это гораздо шире и что даже мы, оспаривая силу и размеры этого влияния, сами невольны ему подчиняемся. В доказательство последнего положения приведено наше молчаличество перед “дворником” и его “зарывавшими собачками”. Просвещенная редакция замечает нам, что мы как будто робеем перед Герценом, как будто ласкаемся к нему, величая его по имени и отчеству; удивляется нашей щепетильности в оценке тона, каким переговариваются с издателем “Колокола”, и

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

ставит нам на вид равнодушие, с каким мы слушали ругательства на Токвиля, Кавура, Манина и других. “Северная пчела”, говорит просвещенная редакция, “снимала шляпу, кланялась свистунам и ругателям и уступала им дорогу”. Замечания эти для нас очень интересны. Мы всегда очень рады поверить себя, и особенно, когда имеем случай сделать эту поверку по указаниям опытным.

Припомнив все, в чем можно искать следов какого-нибудь влияния на нас г. Герцена, мы никак не можем отыскать на своих действиях знаки этого влияния. Просвещенная редакция “Русского вестника”, конечно, знает, что между нами и “собачками” г. Герцена существует целая пропасть, так что они уже не могут дать нам лапки, а они-то и суть настоящие и компетентные судьи в вопросе о цветах, в которые окрашивает герценовское влияние. Мы г. Герцена никогда не боялись, хотя и никогда не считали его человеком, которому уж и отвечать не стоит. Отчего же? Как с литератором, мы с ним давно очень хотели поговорить, потому что с ним есть надежда договориться до дела, тогда как с его “собачками”, что дальше в лес, то больше дров. Г. Герцену можно сказать все не обвинуясь; он “сидит за плечами лондонского полисмента”, а его собачкам чуть что скажи, так и заорут “донос!”, “подлость!” Где же тут договориться! Мы хотели и хотим говорить с г. Герценом в интересе увлекаемых им горячих голов и в интересе литературы того направления, которое “собачки” не позволяют назвать настоящим именем. Для того же, чтобы договориться до чего-нибудь, кажется, вовсе не нужно иметь в своем противнике врага – вот одна причина, по которой мы смотрим на г. Герцена как на противника по экономическим и политическим убеждениям, но не как на личного врага. Вторая причина замеченной нам мягкости в отношениях с г. Герценом заключается в том, что бранчивый тон, по-нашему, вовсе не убедительный и мы не хотим к нему прибегать. [60] Опыт показывает, что это ни к чему хорошему не ведет. Просвещенная редакция “Русского вестника”, может быть, помнит, до чего дописалась в позапрошлом году редакция одного толстого петербургского журнала? Она просто сказала, что станет говорить с своим противником “нелитературным языком”! Что ж тут поделаешь? Уж, по нашему мнению, лучше держаться своего тона, чем соперничать с господами, которым что ни мечи в глаза – все Божья роса, срама не имут. Зачем же нам лезть в задор с человеком, которого мы вызываем на спор и в котором мы предполагаем столько благоразумия, что он поймет наконец действительное состояние страны не с одного лая своих “собачек”? Но боязни в нас нет. Мы не с Герценом, пока он не отрекается от своих социалистских утопий, и не за одну из его “собачек”.

Теперь о влиянии “Колокола”. Мы стоим на том, что влияние это далеко не столь велико, как полагает наш благородный противник, остроумно заметивший, что влияние “Колокола” произошло “благодаря причинам, от его редакции не зависящим”. Мы, может быть, неодинаково понимаем значение слова “влияние”. Если дело идет о распространении этим журналом социалистских или революционных стремлений, то просвещенная редакция “Русского вестника” решительно ошибается. “Колокол” читается всеми, кто может его достать, просто как запрещенная вещь, где часто рассказываются разные секреты. Эти-то секреты и составляют весь интерес для большинства читателей. Читателей же публицистики г. Герцена очень немного, а утомительно вялых и пустых статей г. Огарева совсем нет охотников читать. Социалистов, то есть русских людей, не имеющих экономических познаний, но имеющих наглость и нахальство, может быть 200, ну 500, ну, наконец, тысяча человек, но уж не больше. Затем, помилуйте, где и какие у нас социалисты? Где у нас революционеры? Бедные дети, с нуждой сбивавшиеся на какие-нибудь десять, пятнадцать рублей, чтобы потешить себя воззванием, – вот наши революционеры! Разве это значит “вырасти в огромную силу”? А пальцем революции не сделаешь. Да еще какой революции: демократической и социальной, какая нужна, по соображениям наших демагогов. Нация, всей душой преданная чинам и разным отличиям и почестям, будет сразу демократией! Ведь такую чепуху можно сочинить для какого-нибудь француза, ну хоть для Мишле, но уверить русского человека в возможности у нас демократически-социальной революции – просто немислимо. У нас г. Герцен для некоторой части публики просто “бедовый”, “душка”, оглашающий разные вещицы, и больше ничего. А какая у него задача во лбу? Помилуйте, об этом никто никогда не думал. “Колокол” не орган партии. Его читает и ярый консерватор, и либерал, и красный, и голубой, и все довольны, потому что заявление фактов всем одинаково интересно, а кроме этих фактов, оттуда ничего не попадает ни в одну голову.

Другое дело литературный талант г. Герцена. Просвещенная редакция “Русского вестника” не признает в Герцене замечательного таланта, а наше уважение к этой редакции не позволяет утверждать, что корень ее отрицания кроется в ином чувстве. Мы хотим думать, что почтенная редакция настолько уже овладела собою

после заметки для издателя “Колокола”, что может относиться к нему без раздражения. С пристрастием и предубеждением правильно судить невозможно. Другая московская редакция, печатающая “интересную характеристику издателя “Колокола”” ведет дело гораздо тоньше и беспристрастнее. Она признает в Герцене серьезный беллетристический талант. В этом издании между прочим сказано: “Революция, как понимает ее Г. Герцен, есть точно преставление света, новое небо и новая земля. В его взгляде на революцию нет ничего практического, ничего осуществимого, ничего ясного; он любит ее, как артистическим произведением. Она живет в его голове, как жила Мадонна в голове Рафаэля. У Г. Герцена это происходит не от равнодушия к судьбе людей, не от кровожадности, не от диких побуждений, а от ошибки, от горькой и ужасной ошибки, в которую другим образом, с противоположного конца, впал Гоголь, которому приснилось, что он апостол, призван не повести писать, а проповедовать слово Божие; Г. Герцена постигло то же несчастье. Одаренный большим литературным талантом и неистощимым остроумием, он вообразил себе, что ему предлежит другое, не просто литературное поприще; что он, собственно, не литератор, а политик, политический деятель. Этой злополучной мысли мы одолжены всем тем политическим сумбуром, который читали в его заграничных изданиях. Конечно, они в глазах очень молодых людей, а также людей, ничего не знающих и ни о чем не думающих (это-то и есть самая почва), имеют прелесть, с которой трудно бороться. Прелесть эта заключается именно в недостатке практического характера и идеальности стремлений. Г. Герцен не ходит по земле, потому что ходить не умеет, не умеет теперь, как не умел и тогда, когда жил в Москве. Это могут засвидетельствовать его бывшие друзья. Они еще живы. Кто из них не говорил сам, кто не слышал отзывов покойного Грановского? Все отдавали справедливость таланту Г. Герцена, его горячему сердцу, искренности его характера; но в то же время все повторяли в один голос, что он с практической стороны жизни незнаком, как ребенок, что он лишен всякого здравого понимания истории, что у него нет никакого политического смысла. Мы говорим не свое, мы передаем общее мнение бывших друзей Г. Герцена, и в том числе покойного Грановского” (в политическом смысле которого уж, верно, не сомневается просвещенная редакция “Русского вестника”). Есть еще одно необыкновенно ясно обрисовывающее Герцена место в этой интересной характеристике: “Г. Герцен, во время своего пребывания в Москве, как ни тесно был связан с своими друзьями, как ни высоко стоял в их мнении по своему таланту, никогда не считался ни центром, ни главою кружка”. Г. Герцен не человек дела, как мы сказали; он не может ничего сгруппировать, организовать, направить; он только хлопочет о революции и артистически любит эти хлопоты. “Все любил его способ изложения мысли”, говорит далее московская газета, “и никто не имел доверия к ней самой. Тысячу раз приходилось слышать, что он был в ударе, и никто ни разу не сказал: А Герцен говорил дело”. В “Колоколе” Г. Герцен тоже мил, едок, остроумен; но делового в его политических писаниях мы не встречали. Но как беллетрист, помилуйте нас, как же он не талант? А “кто виноват?”, а “Капризы и раздумье”, а “Записки доктора Крупова”, да даже “Былое и думы”, – разве все это не талантом писано? Припомните-ка отзывы Белинского; всмотритесь в черты лица человека, читающего 14 лет назад написанные “Капризы и раздумье”, это “подцензурное” сочинение Герцена, лучше которого он едва ли написал что-нибудь без цензуры. Без таланта нельзя ни одной минуты властвовать над душою читателя. Белинский заметил, что Герцен все любит втиснуть в свою любимую рамку, – это правда; но кто же согласится с просвещенной редакцией “Русского вестника”, что у Искандера уж только и красоты, что “риторические движения слога, да прикрасы острословия”. Критический талант Белинского справедливо ставится очень высоко; редактор издания, в котором теперь помещаются характеристики Герцена, тоже человек с признанными критическими дарованиями: неужели они и мы с ними, а с нами и многие другие состоим в умственном помрачении насчет Г. Герцена как литератора, и только одна редакция “Русского вестника” произносит правильную критическую оценку литературным способностям или таланту! Нам кажется, что почтенная редакция в своем критическом отзыве погрешает против истины, увлекаясь антипатией к политическим стремлениям своего противника. Она как будто подчинилась методу одного из известных русских журналов, у которого, бывало, уж коли пошло отрицание, так валяй все сплошь. Зачем же так увлекаться?

Г. Катков, например, издевается над усилиями Герцена “исправлять человеческие мозги”. Насмешка прямо относится к “Запискам доктора Крупова”. Г. Каткову должно быть известно, что эти записки, напечатанные в “Современнике”, были одним из самых замечательных произведений литературы тогдашнего времени и, вместе с “Капризами и раздумьем”, произвели весьма благое влияние на общество. Они заставили многих и очень многих внимательнее взглянуть на наши нравы и подумать о “преготических затеях”, терзающих нашу семью и разъедающих общественное

счастье. Кто из русских читателей не знает наизусть целых мест из этих сочинений, и на кого это знание не действовало благотворно? Г. Герцен умел влиять на нравы, он великий мастер бороться с “преготическими затеями”, и это, кажется, должно было бы составлять его литературную задачу, а он занялся политикою... Охоту уж такую к этому имеет. Но почему знать, чего не знаешь! Может быть, и наш “неисправимый социалист” когда-нибудь опять употребит свое талантливое перо на разработку тех вопросов, поднятие которых дало ему литературную известность, нимало не зависящую от “Колокола”. Мы даже позволяем себе думать, что это совсем не невозможно: ибо, несмотря на “пензенское подкрепление”, Искандер в 141 листе “Колокола” уже дает нотацию “Молодой России”. Тут предлагается “оставить революционную риторику и заняться делом”; “проповедывать народу не фейербаха, не Бабефа, а понятную для него религию земли...” Уступка огромная и способная еще увеличиваться по мере того, как г. Герцен будет ближе узнавать, какую “религию земли” исповедует наш народ. Г. Герцен ведь решительно не знает, что думает народ и к чему он стремится. Просим же его хоть немножко поверить нам, что народ всеми мерами стремится достигнуть со временем поземельной собственности. Десятину, две, хоть осминничек, да лишь бы своего, лишь бы на выдел. Вот его религия земли. Не поверит нам г. Герцен, пусть спросит кого-нибудь из своих, только почестнее, то есть побеспристрастнее, а то ему все сочиняют. Мы не забываемся к г. Герцену на доверие. Охотно верят только тому, чему приятно верить, а г. Герцену, конечно, не может быть приятно поверить, что народ желает понавозить свой собственный кусочек “стихий” и помаленьку раскупает ее. Мы пишем не для его огорчения, а для истины. Все равно, немножко раньше или немножко позже, г. Герцен должен же убедиться, и он убедится, что его много и очень много обманывали люди, которые сами не знают, чего хотят и на что надеются.

ОБ УЧАСТИИ НАРОДА В ЦЕРКОВНЫХ ДЕЛАХ

С – Петербург, пятница, 23-го марта 1862 г

В 1861 году в Петербурге издана небольшая книжечка “Об участии паствы в делах церковных”. [61] Книжечка эта имеет для нас очень большой интерес, но она прошла незамеченною, как не замечаются у нас обыкновенно многие произведения русской литературы, в которых не бросается в глаза повесничество наших известных журнальных шутов. Благодаря этим нигилистам, очень многим свидетелям совершающихся и ожидаемых реформ вовсе не знакомы самые интересные, но скромные труды, при помощи которых реформы перестали бы представляться утопиями, как скоро люди увидели бы, что реформы эти твердо опираются на народной и исторической почве. Но такой способ убеждения не в духе г. Чернышевского и tutti quanti, [62] а другие только отгрызаются от г. Чернышевского и забывают, что у общества есть и другие интересы. Простая, кажется, вещь: несостоятельность многих сторон римского права для нашего народа, а едва-едва кто-то надоумился рассказать это толком. Недавно еще, так сказать, на днях почти, присяжные русского происхождения представлялись пародиею учреждения присяжных, а теперь в “Русском вестнике” пишут апологии русскому делопроизводству допетровского периода, находят в нем и смысл, и силу, и больше справедливости, чем в том, которым ведаемся мы в наше просвещенное время. Сказали об этом толком, и общество прочло с удовольствием и поверило. Даже в Москве, где и до сих пор верят в существование Неаполитанского королевства и сохраняют его имя на почтовых ящиках, где стоят за всякую рутину и сохраняют извозчищи “гитары”, на которых в крайних случаях ездят даже такие солидные писатели, каков, например, сам Феофтистов; даже и там, в этой беспардонной Москве, слово здравого убеждения имеет свой вес и не пропадает даром.

Но одними вопросами мы не хотим заниматься, считая их недостойными своего просвещенного внимания, и предпочитаем заниматься разъяснением значения наскучившего всем г. Чернышевского и его сподвижников, а другими боимся заняться, чтобы не испытать на себе силу едких острот близких или далеких русских публицистов. Конечно, мы сами можем свидетельствовать, что и близкие и далекие публицисты бывают иногда слишком скоры на обвинения и падки до острого слова, в ущерб истине. Самые простые и ничтожные вещи заставляли их называть нас “официозною “пчелою””, но мы это сносим, зная, что “на весь мир пирога не испечешь и на всякое чиханье не наздравствуешься”. Попрекать, кого бы то ни было, да еще из-за моря, дело очень легкое, и, если его производить с грацией далекого публициста, то оно даже выходит и очень эффективным. Едкие сопоставления, остроумные комбинации... ну, и хорошо. Жаль только, что все это не имеет никакого основания. Каждому могут сниться всякие сны, какие ему придут в голову; построить на этих снах свои предположения недостойно хорошего публициста, обязанного не шалить чужою репутациею и мерять свое оружие с оружием противника.

Мы не “официозны” нисколько, ни на волосок, а зависимы столько, сколько зависимо всякое иное периодическое издание; даже мы зависим менее всех других суточных русских газет, и в этом нетрудно удостовериться и вблизи, и издалека. Повторяем, мы настолько независимы, что никогда не говорим того, чего не думаем, а то, что думаем, говорим так, как можем. Свободные от всякого официального влияния, мы старались освободить себя и от крепостной зависимости у деспотствующего либерализма “Современника”. Мы чтим авторитеты и не возводим на их места всяких гугнивых паясов; мы не считаем честным разрушать то, чего нечем заменить, а заботимся только о том, чтобы ничто не тормозило общественного развития и не мешало крепнуть народному сознанию и силе. Мы, не хвастаясь и не увлекаясь, говорим, что мы знаем наш народ; из его собственных слов помним, что ему нужно, и хлопочем за всякую из его нужд, как бы она ни казалась мелочною пишушим бесплодные рассуждения “о материях важных”. Мы знаем народ, который журавля в небе предпочитает синице в руках, и не морочим его ни журавлем, ни иною большою птицей в небе. Может быть, многие из тех, перед кем лежит сегодняшний номер, не в наших только столбцах читали о нуждах нашего народа. Мы тоже читали все написанное по этому вопросу с большим вниманием и с истинным удовольствием. К сказанному нам прибавлять нечего; но мы хотим указать еще одну народную нужду, о которой знатоки нашей народности говорить не намерены.

Уважая человеческую свободу во всех ее проявлениях, мы не имеем никакой мысли увлекать народ в ту или другую сторону. Мы убеждены, что истинный либерализм должен способствовать всестороннему народному развитию тем путем, которым народ наиболее склонен идти. Такой путь всегда верен, и пренебрегать им по личным отношениям, стыдно; это значит под видом народных интересов гоняться за собственными симпатиями. Есть люди, уверенные, что русский народ по преимуществу материалист. Мы сожалеем о людях с таким убеждением, но не упрекаем их: они не виноваты в недостатке способности смотреть на вещи без предвзятых понятий. Нам, напротив, кажется, что русский народ любит жить в сфере чудесного и живет в области идей, ищет разрешения духовных задач, поставленных его внутренним миром. Он постоянно стремится к богопознанию и уяснению себе истин господствующего вероучения. История земной жизни Христа и святых, чтимых церковью, составляет самое любимое чтение русского народа; все другие книги пока еще мало интересуют его. Народники, знающие все, кроме своего незнания, могут поверить это в воскресных школах и в книжных лавках, где продаются книги духовного содержания. Отсюда мы приходим к заключению, что нужно содействовать народному развитию, давая ему возможность удовлетворять своим чистым наклонностям и помогать ему сделаться христианином, ибо он этого хочет и это ему полезно.

В этих целях мы позволяем себе поговорить сегодня о церкви и о лицах, обязанных содействовать развитию народа в духе христианского учения. В литературе давно идет речь о необходимости коренных реформ в образовании юношества, готовящегося быть служителями церкви, и об исправлении законов внутренней администрации по духовному ведомству.

В известной среде нашего общества, не проникнутой идеями нигилизма и не помешанной на *tabula rasa*, [63] в самой здоровой и самой честной среде толки об этом раздаются еще сильнее, чем в литературе. Наконец сама духовная журналистика, в двух наиболее почтенных своих органах (“Православное обозрение” и “Дух христианина”), сливает свой голос с голосом общества, желающего приведения нашего духовенства в то положение, в котором оно получит право на всеобщую любовь и сочувствие.

Наше духовенство представляет собою совершенно отдельную корпорацию, между им и народом нет никакой солидарности, и оттого между духовенством и обществом потерялась духовная связь, соединявшая их в давнопрошедшее время. Средств к сближению духовных лиц с нуждающимся в них народом предложено очень немного, да и те нисколько не опираются на исторической почве, а потому, имея в виду время и порядки, при которых в древней церкви связь народа с духовенством была крепка и надежна, мы, вместо всяких рассуждений, обратимся прямо к этому времени и к его порядкам. Вот как они описаны в названной выше книге:

“Осмотрительность должна побуждать правителей церкви обращаться при избрании пастырей к самому народу, избирать их из его среды и при его содействии.

Самому обществу, среди которого живет избираемый, более известны и личные качества его, и вся частная жизнь, нежели посторонним лицам. Потому общественное мнение могло служить для иерархов лучшим пособием при избрании достойного

пастыря. Народ мог высказать перед ним все, что знал о достоинстве того или другого избираемого лица, о его личных качествах, о его образе жизни, и по его голосу иерархи могли безошибочнее и вернее совершать избрание, чем по одному собственному усмотрению". Даже "когда пастыри церкви избирались из клира и самим клиром, голос народа не оставался без значения. Избранных клиром представляли народу и спрашивали у него мнения, чтобы все общество могло засвидетельствовать иерарху о их достоинстве. Иногда составлялись по этому случаю формальные акты, в которых свидетельство избирателей скреплялось их подписом, чтобы после никто не мог отпереться от своего свидетельства и согласия на избрание. Если кто-либо из народа свидетельствовал против достоинства представляемого (клиром) лица, то его обвинения рассматривались и поверялись перед целым собранием. Такая подача голосов называлась балотировкою.

При таком порядке дел трудно было неблагонамеренной клевете помрачить достоинство лиц избираемых и через то воспрепятствовать им быть полезным церкви; трудно было в стадо Христово вторгнуться и волкам, ходящим в одежде агнчей.

Участие народа в избрании пастырей, сверх того, что оно давало ручательство о их достоинстве и способностях, должно было считаться особенно важным в том отношении, что оно должно было служить залогом теснейшей нравственной связи пастырей с паствою. Естественно, что избранный по единодушному желанию всего общества пастырь становился как бы произведением любви своей паствы и средоточием этой любви. Любовь народа избирает доброго пастыря, она же будет и окружать его всегда, будет поддерживать его и тем содействовать плодотворности его пастырского служения.

Уважение к такому нравственному отношению пастыря к пасомым было главным основанием того, что при избрании пастырей иерархи обращались к народу и требовали его согласия. Оставлять без внимания такое указание народное, конечно, значило бы лишать пастыря благих плодов его спасительного служения.

В постановлениях апостольских говорится даже, что епископом должен быть поставлен тот, кто беспорочен и избран всем народом. Многие соборные правила предполагают этот обычай как существовавший в практике церковной и притом как не противный правилам церкви. Примеров таких избраний, совершившихся народом, в истории церковной довольно. Итак, каким бы образом ни выражалось участие общества в деле избрания пастырей, каким бы образом ни проявлялось его свидетельство о избираемом, предварительно или после предложенного ему избрания епископами, во всяком случае, церковь смотрела на голос общества как на одно из лучших средств, находящихся в руках человека. Но указание еще не дает делу решительного суда, точно так же, как показание свидетелей перед судом не есть окончательный суд, хотя суд на них основывается. Право постановить решительный суд о избрании всегда принадлежал иерархам. Бывали, однако, случаи, когда требования народа одерживали верх над мнением епископов. Пользуясь правом участвовать в избрании пастырей, народ в некоторых местах насильно требовал от епископов поставления избранному лицу, и епископы принуждены были уступать воле народа. Или, как иногда случалось, народ не соглашался принять уже избранного ему пастыря, и епископы уже не назначали ему такого пастыря. В подобных случаях снисхождение иерархов к требованиям народа, основываясь на высшем, основном законе – любви, было в то же время благоразумною и спасительною мерою, которою мог сохраниться мир в церкви и предотвращаться гибельный раздор в ней".

Вот каково было, во время оно, участие народа в своих церковных делах. Участие это признавал законным и необходимым Григорий Богослов и другие церковные авторитеты. Но время шло, политические события изменяли соображения, от которых зависело участие народа в делах церкви, и самое воспоминание об этом участии так изгладилось в народе, что мы считали небезынтересным сообщить нашим читателям эти небольшие сведения, заимствованные нами из недавнего ученого сочинения духовного лица. Людям, интересующимся вопросом об устройстве церковных дел, но несведущим в истории церкви, такое знакомство может быть небесполезным. Говорят же, что история всегда повторяется, а в христианском обществе, слава Богу, уже очень ясно обозначается склонность пользоваться историческими уроками. Довольно, в самом деле, строить планы на воздухе, пора поднять и завесу седой старины, не поучит ли она нас чему-нибудь такому, о чем не с руки говорить гг. Антоновичу, Писареву и другим литературным недоноскам, воспитываемым на млеке г. Чернышевского и иных великанов микроскопического мира.

Знакомство с историею церкви в настоящее время, когда и народ и само

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
просвещенное духовенство выражает желание полезных реформ, совершенно необходимо. Нам некогда приводить интересные факты, основываясь на которых легко было бы делать основательные построения; но мы укажем здесь кстати на то, что автор книги, из которой мы заимствовали приведенные сведения об участии народа в делах церковных, счел нужным сказать в конце своего сочинения.

“Впрочем, мы должны сознаться, – говорит он, – что ограничения церковью участия народа в избрании пастырей не было совершенным и решительным уничтожением его. Православная церковь, отвергая протестантские понятия о правах народа в этом деле, чуждается и римско-католического воззрения на значение народа в избрании пастырей и не допускает таких крайностей. Ее канонические постановления запрещают только то, что действительно служит к нарушению основных прав иерархических, так что на ограничение участия народа в избрании пастырей надобно смотреть как на ограждение прав иерархов от незаконных притязаний народа. Она запретила только самому народу, или черни (*ipsissima verba*[64]) избирать себе пастырей, устраняя тем его своеволие. Но нет ни одного канонического постановления ее, которым запрещалось бы совершенно то, что, по первоначальным обычаям церкви, составляло существенную вещь в участии народа при избрании пастырей, его свидетельство о лице избираемом и согласие. Разумный, чуждый противозаконных требований голос народа в этом деле всегда имел свою цену; насильно навязывать нежелаемых пастырей – не в духе Православной церкви, свободы, совести верующих. А из практики церковной мы видим немало случаев, когда при поставлении пастырей иерархи обращались к мнению народа и когда многие епископы получали кафедры по желанию общества, несмотря на ограничение участия его.

По обстоятельствам времени, по складу гражданской жизни церкви и другим подобным причинам для церкви не всегда бывает возможно призывать народ к каноническому участию при избрании пастырей, как, например, видим это в нашей отечественной церкви в настоящее время, но это показывает только то, что участие пасты в избрании пастырей не канонами церкви, но случайными обстоятельствами ограничивается, а эти обстоятельства, конечно, не зависят от церкви”.

Итак, основываясь на выводах автора книжки “Об участии пасты в делах церковных”, будем смелее верить в желаемое благоустройство нашей духовной администрации. Станем надеяться, что “случайные обстоятельства”, ограничившие участие пасты в делах церковных, пройдут, как проходит все случайное; что опасения “незаконных притязаний” со стороны общества станут невозможными и исчезнут, как исчезло с нашего языка слово чернь для обозначения народа. Что этому народу, любящему духовную беседу и знающему, что “неуча в попы не ставят”, можно дать духовных учителей, дорожащих истинными благами народа и способных очистить его от грубых суеверий, жестокосердия и других пороков, разъедающих основу семьи и общины; словом, дать ему излюбленных людей, которые названы “произведением любви своей пасты и средоточением этой любви”.

Скажем еще два слова в свою защиту. Слова эти идут столько же к нашим читателям, сколько и к нашим порицателям. Всякое обвинение нас в “официозности” – клевета, которая должна служить упреком недальновидности и легковерию тех, кто позволяет себе ее произносить, а что касается нашей зависимости, то мы действительно не считаем себя вправе быть независимыми от всех русских людей, которые мыслят, не стесняясь никакими несбыточными теориями, и которые, зная натуру русского человека, не ждут прока ни от каких форсированных маршей и не согласятся играть народным счастьем. Мы уважаем всякое свободное мнение, но не ждем ничьих похвал, не свернем с нашей дороги из страха порицания и, с полным сознанием своей правоты и преданности русскому народу, пишем на нашем знамени: “*des réformes toujours, des utopies jamais*”. [65]

ОБНОВЛЕННЫЙ “ВЕК”

С удовольствием мы прочли 1–6 и 7–8 №№ обновленного “Века”. В нем приняли участие лучшие петербургские литераторы. Мы уважаем всякое литературное направление, если только оно честно, верно и точно определено; а этим отличаются 1–6 номера “Века”. Все журналы имеют одну цель: благо всего народа и каждого лица в отдельности; расходятся только в средствах. Каждая партия хочет доказать верность и непогрешимость своих тенденций; но, по долгу справедливости, нисколько не должно посягать на свободное изложение мнений противной стороны. Чем определеннее и разумнее выражаются эти мнения, тем борьба делается интереснее и серьезнее; тем скорее можно ожидать благотворных последствий. Выходя из этой точки зрения и вообще не высказывая, по духу нашего журнала, нашу

симпатию к тому или другому направлению, мы не можем не указать на то заметное сходство в способе ведения журнала, которое выразилось между “Веком” и “Днем”. “Век” сделался “Днем” Петербурга. Как “День” есть выражение направления одной из значительной партии Москвы, так и “Век” представляет собой орган одной из значительной партии Петербурга.

Полемика, возникшая в последнее время между петербургскими и московскими журналами, может значительно уяснить многие стороны наших общественных недугов и послужить к скорейшему сближению враждующих сторон. Эта мысль оправдывается поговоркой, если два умных человека спорят, то это значит, что они только не понимают друг друга.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНОСТЬ И НЕДОСТАТОК САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ МНЕНИЙ

Общее недоверие друг к другу есть один из признаков упадка нравов. Крайняя подозрительность и склонность объяснять каждое движение своего ближнего порочными побуждениями и затаенными мыслями способны, в известных случаях, импонировать энергию деятелей и порождают вредное равнодушие к общественным интересам. Характер подозрительности почти всегда выражает собою характер подозреваемых – характер среды или даже целого общества, целой нации. В русском обществе (в широком смысле этого слова) слепое доверие нередко идет об руку с самой болезненной и оскорбительной подозрительностью. Это можно заметить в самых разнообразных сферах русской жизни. У нас есть сумасшедший кредит в торговых сделках, и у нас же нет правильного кредита, способного поднять торговлю и расширить промышленность при посредстве бескапитальных рук. У нас запирают жен на замки в комнате, усыпанной пеплом, и у нас же, уходя на год, на два из дома, оставляют дома битую бабу без гроша денег и не сомневаются в ее верности. У нас легко поверят болтовне прохожего солдата, предрекающего какую-нибудь небесную или земную кару, и не верят тому, что вредно принуждать роженицу давиться своей косой. У нас, наконец, есть люди, которые не верят в Бога, а твердо уверены, что, если зачешется переносье, то кто-нибудь умрет. Смешная до безобразия смесь наивной доверчивости и безумной подозрительности до такой степени странна, что трудно решить: более ли доверчив или более подозрителен современный нам русский человек? Делая этот вопрос, мы прилагаем его к русскому человеку вообще безотносительно, ибо все многоречивые толки о совершенной оторванности от народа всех русских людей, не сморкающихся в руку и носящих в карманах носовые платки, еще не заставили нас уверовать в этот окончательный разрыв. Народные родовые черты слишком рельефно выступают, чтобы можно было не заметить живого сродства в характерах безалаберных бар и беспечных мужиков. Как простолоудин слепо верует в предсказания своего знахаря и беспечно ожидает сладкого исполнения этих предсказаний, так и иная московская аристократка, уповая на слова известной мадам Ленорман, ждет возвеличения своего имени в род и род. Как торжковские мещане не требуют никаких оснований для того, чтобы заподозрить человека в поджигательстве, и без суда ищут его погибели, так и некоторые столичные кружки бывают склонны заподозревать честных людей в злонамеренных покушениях против общества или против известной идеи, которую дорожит общество. Здесь общенародная черта слепой доверчивости, смешанной с безумною подозрительностью, выступает очень рельефно и показывает всю родственность характеров торжковских мещан, изловивших недавно мнимого поджигателя, с людьми иной сферы, стремящимися уловить некоторых общественных деятелей клеветами, касающимися их репутации. Не замолкли еще толки насчет известной заметки “Русского вестника”, написанной для издателя “Колокола”; не успели еще в обществе досыта натолковаться об уместности или неуместности этой заметки, – как в некоторых столичных кружках начали ходить рассказы о побуждениях, руководивших гг. Каткова и Леонтьева к открытому возражению публицисту того берега. Толки эти повторяются так часто, что они, вероятно, не новость для большинства наших петербургских читателей, а может быть, они не новость даже и для иногородних наших подписчиков и для самих лиц, которых они касаются. Мы перенесли несколько смешных упреков за то, что позволили себе рассуждать о народном говоре при бывших в Петербурге пожарах, и теперь, напомянув нашим недругам, что газета не только может, но даже должна прислушиваться к общественным толкам и отзываться на них, мы позволим себе заявить о толках, ходящих в некоторых общественных сферах, насчет побуждений к напечатанию в “Русском вестнике” заметки издателя “Колокола”.

В кружке людей, от которых можно было бы ожидать благоразумия и справедливости, говорят, что редактор “Русского вестника” поместил заметку против Герцена из личных видов. Это говорят, повторяя, люди, живущие в Петербурге, – люди не без некоторого образования и не без громадной претензии на политический смысл и развитие, и говорят с простодушной уверенностью. Предавая гласному позору эти

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
бесстыдные толки, мы надеемся, что редактор “Русского вестника” не оскорбится нашим поступком. Г. Катков лицо общественное, и толки, которым он подвергается, достойны внимания не столько по отношению лично к нему, сколько по отношению к критическому смыслу некоторых общественных кружков.

Нам кажется, что заметка, написанная г. Катковым для издателей “Колокола”, – явление чисто последовательное. Имея перед собою всю литературную деятельность редактора “Русского вестника”, никто не имел повода удивляться появившимся в этом журнале возражениям против социалистского учения г. Герцена. Если бы “Русский вестник” согласился с основными положениями социалистского журнала, издаваемого в Лондоне Герценом и Огаревым, то он перестал бы быть “Русским вестником”, сделался бы неверным своему направлению, которое пользуется на Руси вовсе не таким малым сочувствием, как мерещится некоторым петербургским журналам, и, наконец, упал бы в общественном мнении у всех людей, уважающих характер и стойкость убеждений. Если статья против направлений “Колокола” клонится ко вреду интересов нашего общества, то как же прежние статьи “Русского вестника”, в которых, со дня начала этого издания, постоянно и неуклонно проводилась одна и та же идея, не признавались вредными для общественных интересов? Неужели идея эта стала вредной только с тех пор, как в ее духе стали относиться к имени Герцена? Неужели для нас дело в Герцене или в Каткове, а не в существе учения, проповедуемого их изданиями? А выходит, кажется, так. Мы не умели вникать в смысл статей вроде недавней статьи о прусских юнкерах, а сердились, если “Вестник” останавливал безобразные и недостойные намеки на синий картуз г. Громеки или указывал безрассудство “демонических натур” по поводу известного четвертака. Что же делают наши общественные кружки? Неужели они не замечают своей “умственной малости”, когда произносят недостойные клеветы и бессмысленные приговоры на своих общественных деятелей! Неужели они не замечают, что после громкого заявления о своей непочтительности к авторитетам они сами, более чем кто-нибудь, начинают служить не делу, а лицам? Поистине изумительное потемнение.

Несогласия и разномыслие сами по себе не страшны. Где есть мысль, там есть и разномыслие, а где есть разномыслие, там есть и спор – своего рода междуусобица. Но важен характер междуусобий. Как Корнелий Тацит сетует не на междуусобицы, а на то, что “характер междуусобий во времена Августа совершенно изменился и явно доказывал упадок народного духа. В народе погребло стремление к независимости. Прежде сражался он за общие права, теперь проливает кровь за личные интересы людей. Борьба между оптиматами и партией народа сохранила только имя, а на деле превратилась в борьбу между партиями Суллы и Мария, Помпея и Цесаря. Теперь уже не отдельные лица служат массам, а массы служат отдельным лицам. Народ сражается не за начала, исповедуемые Помпеем и Цесарем, а за самого Помпея и Цесаря”. То, что печалило великого историка в характере кровавых распри Рима, печалит и нас, наблюдающих бескровную распри наших партизанов. Мы не можем не видеть, что они бьются за лица более, чем за начала, проповедуемые этими лицами, и с искренней печалью смотрим на безвременные признаки гниения в нашем обществе.

Дело не в том, что совершенно последовательные и понятные статьи “Русского вестника” истолковываются неблагоприятными побуждениями со стороны главного редактора этого издания. Г. Катков выше этих гнусных подозрений, и они бессильны перед его твердой репутацией. Печальна очевидная неспособность некоторых кружков беспристрастно относиться к общественным явлениям, бесцеремонность в обращении с чужим именем и наглая поспешность обвинений. Кружки, способные выносить и питать эти качества, могут утешать себя тем, что они живо сохранили одну народную черту: смесь безграничного доверия с безграничной подозрительностью; но если эти почтенные качества сделаются преобладающими свойствами целого общества и если этому обществу статьи вроде заметки издателем “Колокола” будет довольно для заключения о продажности убеждений, – то можно само это общество поздравить с продажностью и с неспособностью уважать положение, в котором, по выражению Тацита, “отдельные лица служат массе, а не масса служит отдельным лицам”.

Но в тысячелетнем ребенке, вероятно, найдется больше здравого смысла.

ОБЪЯСНЕНИЕ

“Мы очень рады, что “Северная пчела” заботится о тоне, каким пишутся статьи в нашей журналистике, и принимает на себя обязанность очищать наши литературные нравы. Это очень хорошо; но мы желали бы, чтобы, посреди этих забот, вышеозначенная почтенная газета не забывала самых существенных условий не только литературного приличия, но и всякого общежития. Мы признаем за ней полное право

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
судить, как она хочет или как она знает, о тоне и содержании наших статей. Но мы не думаем, чтобы в цивилизованной литературе можно было целиком перепечатывать чужие статьи, не снесясь предварительно с автором. Недели полторы тому назад в “Северной пчеле” выбрано было в особой статейке несколько выражений из “Заметки для редактора “Колокола”” (№ 6 “Русский вестник”); на это она имела полное право, точно так же, как имеет полное право соглашаться или не соглашаться с нами, бранить или хвалить нас; до всего этого нам нет дела. Но она не имела ни малейшего права перепечатывать нашу статью, не дав себе труда предварительно спросить нашего согласия. Тут уже вопрос не о тоне, грубом или нежном, английском или татарском, а о самых элементарных требованиях общежития. Нам кажется, что почтенной газете, которой мы желаем всякого успеха, следует прежде всего утвердиться в этих элементарных правилах, а потом уже заботиться о тонах.

Мы надеемся, что впредь уважаемая нами газета не заставит нас напоминать ей об этих элементарных правилах всякого гражданского общества, даже самого грубого”.

Мы перепечатываем эту заметку, помещенную в № 32-м “Современной летописи”, не только для того, чтобы сделать наш ответ более понятным для тех из наших читателей, которые не читали “Современной летописи”, но еще и потому, чтобы дать этой почтенной газете новое фактическое доказательство, до какой степени мы расходимся с нею, в настоящем случае, во взгляде на “элементарные правила общежития”.

В вопросе о праве перепечатывания одною газетою статей, помещенных в другой, соединены собственно два вопроса: вопрос литературного приличия и вопрос чисто юридический. Что касается первого, то во всех “цивилизованных литературах” перепечатывать целиком заметки и статьи одной газеты или журнала в других, “не снесясь предварительно с автором”, но с ясным указанием на источник статьи, считается, всегда считалось совершенно приличным. Журналистики: английская, французская, бельгийская и немецкая, представляют столько примеров подобных перепечаток, что мы с удивлением встретили такое “незнание существующих условий литературного приличия” в редакции “Современной летописи”. Нет почти нумера любой петербургской или московской газеты, который не содержал бы в себе перепечаток целых статей или заметок.

Но если литературное приличие не определяет размера статей, могущих быть перепечатываемыми, то это делает, или, лучше сказать, старается сделать закон. Цензурный устав (“Свод законов”. Т. XIV) допускает перепечатание статьи одного периодического издания на столбцах другого, если эта статья не больше печатного листа. Спрашивается теперь: что такое, в глазах закона, печатный лист? Лист “Русского вестника”, лист “Северной пчелы”, или лист газеты “Times”, или же, наконец, существует какая-нибудь отвлеченная величина так называемого печатного листа? Закон об этом молчит, но разъяснение и категорическое решение этого вопроса так важно для всех органов нашей журналистики, что мы очень рады, что перепечатка из “Русского вестника” “Заметки для издателя “Колокола”” на наших столбцах и вызванное этим “Объяснение” “Современной летописи” подняли этот вопрос. Надеемся, что приличный тон, с которым начинается рассмотрение этого вопроса, будет сопровождать его и до конца.

Еще два слова по поводу письма под заглавием: “Grattez (l'anglomane) russe, et vous trouverez le tartare”, [66] помещенной в № 203-м нашей газеты. Это письмо “к издателю “Северной пчелы”” было подписано г. А. Б. и, как мы это объявляли уже не раз, подобно всякой другой статье или заметке, являющейся в нашей газете за подписью, не должно считаться принадлежащим редакции; поэтому “Современная летопись” не имеет никакого основания приписывать “Северной пчеле” “выборку нескольких выражений” из заметки “Русского вестника”.

ОДНА ИЗ ПРИЧИН ДОРОГОВИЗНЫ КВАРТИР

С.-Петербург, воскресенье, 8-го июля 1862 г
Всем известно, что цены на квартиры продолжают с каждым днем возвышаться, а вместе с этим усиливаются со всех сторон и жалобы на такое печальное экономическое явление. При этом многие удивляются тому обстоятельству, что в Петербурге, например, теперь несравненно более пустых квартир, нежели было их когда-либо прежде, и потому следовало бы, по-видимому, квартирам подешеветь, а между тем выходит наоборот, и дешевеют только большие, и в особенности роскошные квартиры, а цены на небольшие продолжают расти. Падают цены на большие квартиры потому, что, по случаю крестьянского вопроса, также и по некоторым другим причинам, значительное число богатых обитателей Петербурга выехали из него на

более или менее продолжительное время, если только не навсегда. Вот почему падение цен на такие квартиры нисколько не парализует вреда от возвышения цен на квартиры небольшие, а, напротив, только усиливает стеснительность обстоятельств бедного класса городского народонаселения, ибо совпадает с уменьшением числа людей, обладающих капиталами и доставляющих работу и средства к жизни людям, живущим трудом. Хорошо было бы, напротив, если бы цены на большие и роскошные квартиры не падали, а возвышались: подобное явление было бы свидетельством, что количество лиц, имеющих возможность жить широко и роскошно, не уменьшилось, а увеличилось. Во всяком случае, не падают, а возвышаются цены на средние и небольшие квартиры, нанимаемые бедным и средним, по количеству средств к жизни, народонаселением. Это явление объясняется различными обстоятельствами, из которых далеко не все отрадны. Именно, если оно объясняется, с одной стороны, и частью, как тем, что не уменьшается, а увеличивается количество городских жителей с более или менее достаточными средствами к жизни, так и тем, что в настоящее время и бедный класс населения уже не довольствуется ни количеством, ни качеством помещений, которыми он прежде довольствовался; то, с другой стороны, подобное явление, то есть возвышение цен на небольшие квартиры, объясняется и тем, что постройка домов обходится теперь несравненно дороже прежнего, и такая дороговизна происходит вовсе не от случайных и, к сожалению, не от отрадных обстоятельств. Нелепо было бы думать, что цены на квартиры и возвышение их зависят от воли домовладельцев, как будто не было бы достаточной между ними конкуренции. Домовладельцы, и в особенности те из них, дома которых построены или перестроены в последние годы, получают в настоящее время от имуществ своих несравненно менее, относительно, доходов, чем получали прежде, потому что и дома их не приносят прежних высоких процентов, и деньги не имеют вообще прежней ценности, ибо едва ли не безусловно все вздорожало в последние годы.

Нам пришлось бы писать очень много, если бы мы возымали намерение перебрать все причины возвышения цен на квартиры, потому что таких причин немало количество. Быть может, когда-нибудь мы и переберем их все; но на этот раз мы обращаем внимание читателей только на ту из подобных причин, которая скорее многих других может быть устранена, ибо принадлежит к числу наиболее искусственных причин дороговизны. В № 103 “Северной пчелы” мы уже отчасти обратили на нее внимание читателей. Сегодня еще раз останавливаемся на ней с той именно целью, чтоб обратить на нее особенное внимание лиц, от которых зависит ее устранение. Мы желали бы, чтоб эти лица убедились в основательности наших доводов; приняли зависящие от них меры к устранению одной из наиболее искусственных причин дороговизны квартир и тем оказали благодеяние небогатым классам, как Петербурга, так и других городов. Мы вообще веруем в добро; веруем в доброжелательство и лиц, которые могут помочь в этом отношении своим ближним: веруем в такое доброжелательство, между прочим, на том основании, что они уже начали свое доброе дело.

В упомянутом уже нами № 103-м “Северной пчелы” мы говорили, что г. главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями разрешил городскому архитектору в Саратове дозволять некоторые постройки без всяких лишних и ни к чему путному не ведущих формальностей и что как Петербург, так и все города у нас нуждаются в подобном облегчении при постройках. В самом деле, теперь, чтоб поправить, например, крышу или прорезать дверь, нужно ждать дозволения иногда по несколько месяцев, а между тем крыша все течет, потолки портятся. Явился охотник нанять помещение для лавки, и, за неполучением долгое время разрешения на открытие двери, домовладелец лишается жилья. При существующих правилах, вы начинаете постройку по утвержденному плану, но всего предвидеть нельзя и потому, если во время работы оказывается полезным сделать что-либо немного шире или длиннее, переменить, например, места дверей или сделать какую-нибудь незначительную пристройку – вам это не дозволяется, или же вы обязаны просить разрешения и ждать его целые месяцы. Когда о всякой доске нужно просить и иметь разрешение правления округа, то, разумеется, в этом правлении набирается столько дел, что, при всем желании его давать скорее разрешения, оно не успевает в этом. Вот почему нельзя не желать, чтоб, по примеру Саратова, дозволено было всем вообще городским архитекторам разрешать исправления, переделки, незначительные постройки и вообще изменения, какие при постройках владельцы найдут необходимыми. Во избежание же упущения с точки зрения общественной безопасности и городского благоустройства от такого рода дозволений, без разрешения правления округа, следует дать положительную инструкцию городским архитекторам, в которой были бы изложены все строительные правила. Эту инструкцию следовало бы, по нашему мнению, выдавать и домовладельцам вместо прилагаемых ныне к планам

печатных бланков с весьма немногими правилами. На это заметим, что городские архитекторы, пожалуй, также не будут успевать, так как у них и теперь много дела. Так, да не совсем. Ныне они должны приезжать по нескольку раз на каждую из обывательских построек и следить, не делает ли владелец каких-либо отступлений от планов, а это служит только к совершенно напрасной потере времени и к лишним расходам, потому что в ведении каждого городского архитектора более или менее значительное число построек и он никак не может успеть беспрестанно ездить на каждую из них. Да притом такие поездки и далеко не всегда полезны и с административной точки зрения. Сегодня приехал архитектор, а завтра можно сделать отступление от плана, и когда он снова приедет, то все уже будет сделано и переделано. Если же владельцам предоставят право делать незначительные изменения в планах с дозволения архитектора, то они сами будут его уведомлять о том, и им незачем будет делать отступления теперь тихонько; например, в случае дозволения отнять обшивку и проконопатить стены, если за обшивкой окажется несколько сгнившее бревно, то его переменить нельзя, а нужно опять подавать план и просить разрешения округа. Поневоле домовладелец старается сделать подобное незначительное исправление в своем доме тихонько, чтоб не знал городской архитектор. А если б была дана архитекторам надлежащая инструкция и предоставлено право разрешать незначительные постройки, то архитектору достаточно было бы приезжать на постройки только в начале работ, посмотреть, на надлежащем ли месте ставят строения, во время работы осмотреть те части, которые для прочности требуют особого внимания, и потом, по окончании работы, освидетельствовать, все ли сделано по плану и согласно тем изменениям, о которых ему предъявлено. В таком случае, если бы оказались изменения, которые, по опасности в пожарном случае или по непрочности, невозможно оставить, то архитектор потребовал бы переделать, и если б домовладелец сделал их, не спросив архитектора, то сам был бы виноват в своем убытке. К чему за домовладельцами смотреть, как за детьми? Польза от того невелика. За ними смотрят теперь и городские архитекторы, и полиция, и округ, а все-таки, по правилу: у семи нянек дитя без глаз, делаются по необходимости отступления от утвержденных планов; постоянно выскиваются штрафы, требуются переделки, а строения все-таки рушатся и вообще дурно строятся. Подобная опека не приносит никому и ничему пользы, а только причиняет расходы домовладельцам и доставляет много лишнего дела строительному управлению. Предоставьте владельцам побольше свободы, и все пойдет лучше! Где меньше лишней формальности, там всегда более толка. Необходимо смотреть за прочностью построек и возможным предотвращением пожаров, а не заставлять тратить по-пустому время и деньги из пустых и ни к чему путному не ведущих формальностей. Не странно ли также, что, при существующих правилах, дозволяют крышу исправлять только местами, а всю покрыть не разрешают? Почему же только местами, когда она, может быть, вся течет? Нельзя же сломать весь дом из-за того, что крыша течет? Гораздо легче, экономнее, выгоднее для частного и народного хозяйства, вообще разумнее сделать новую крышу, нежели из-за крыши сломать дом! Притом, кто же мешает, при существующих правилах, нынешний год исправить крышу местами, а будущий год тоже местами так, что крыша будет вся новая, но только одна ее половина будет годом или полугодом старше другой? К чему же лишние хлопоты, лишние расходы и трата времени? Неужели в этом только и состоит цель подобного правила? Существует также постановление, чтобы в подвалах не было жилья, а между тем в правилах, прикладываемых к планам, говорится, чтоб фундаменты были глубиной в 2 1/2 аршина и сверх земли 1 аршин 6 вершков, то есть всего около 4 аршин; но постройка такого рода подвала обходится дороже всего деревянного дома, так возможно ли требовать от домовладельца, чтоб он, истратив на подвал значительный капитал, не получал от него выгод? Если так, то он должен был бы вдвое, даже более возвысить цену на прочие квартиры, что частью и делается; да сверх того, где же стали бы жить бедные люди, если б вовсе запрещалось жить в подвальных этажах? Попробуйте прожить зиму в квартире, в которой подвал не отапливается: пол будет всегда холоден, и вы можете быть уверены, что наживете ревматизм. Да и везде существуют жилые подвалы, даже в самых лучших улицах – в Морских и на Невском проспекте: есть жилые подвалы даже в казенных зданиях и во дворцах, в которых никак не допустили бы таких помещений, если бы они были вредны. Воспрещение же жилья в подвалах не только бесполезно, но и вредно и служит только к искусственному возвышению цен на квартиры. Бесспорно, есть сырые подвалы, но ведь есть и в бельэтажах сырые квартиры. Вероятно, гг. инженеры, архитекторы и медики сумели бы найти меры предосторожности, чтоб подвалы не были опасны для здоровья. Притом, в каком бы этаже квартира ни была, сырость ее нарушает контракт, так кто же и кого же может заставить жить в сыром подвале? Вместо подобных стеснительных и мало полезных правил, не лучше ли принять меры, чтоб постройка зданий обходилась дешевле, тогда и квартиры будут дешевле, и жители будут иметь возможность выбирать

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

удобные для себя жилища и помещения. Лучшая же и главнейшая из таких мер состоит в пересмотре существующих правил для построек и устранении излишних стеснений и регламентации в этом отношении. Чем стеснительнее правила для построек, тем дороже обходятся здания, тем менее их возводится, тем более возвышаются цены на квартиры, тем менее удобных и хороших квартир, тем необходимее жить бедным людям в сырых подвалах.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ВОЗРАЖЕНИЙ НА ПРОЕКТ БЕЛОСТОКСКО-ПИНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

С.-Петербург, четверг, 28-го июня 1862 года

Статья наша от 11-го июня (см. № 155-й “Северной пчелы”), в которой мы старались познакомить читателей с проектом новой железной дороги между Белостоком и Пинском, возбудила, как это, впрочем, и следовало ожидать, при большом сочувствии более знакомых с этим предметом, и много возражений со стороны лиц, опасющихся нарушения общественной пользы в случае утверждения и приведения в исполнение предполагаемой линии.

Будучи вполне уверены не только в удобоисполнимости этой дороги, но еще и в большой пользе, которую она неминуемо принесет как непосредственно Волынской, Минской и Гродненской губерниям, так и непосредственным образом всей западной полосе России, мы можем только радоваться столь ясному высказыванию возражений, так как нам это дает тем большую возможность доказать всю их неосновательность. Возражения эти сформированы так определенно и даже отчетливо, что мы считаем самым удобным придерживаться в нашем объяснении того же порядка и разделения вопроса.

Самое сильное противодействие против предполагаемой Пинско-Белостокской железной дороги состоит главнейшим образом в следующих трех пунктах, из которых первые два относятся собственно к Беловежской пуще и ко мнимому вреду, какой будто бы могла ей причинить проектированная дорога, а последний к самому направлению дороги в Белосток вместо Гродно.

Поборники первых двух пунктов возражают нам:

“Во-первых, что с проведением железного пути чрез Беловежскую пущу она в непродолжительном времени будет так же вырублена, как уже вырублены во многих местах Литвы все другие леса, в особенности же в пространствах, прилегающих к Неману и его притокам.

Во-вторых, что от постоянного свиста паровозов и производимого их движением шума, а равно и с водворением правильной культуры в пуще, которая была бы непременною следствием сооружения железной дороги, всякий красный зверь, а всего скорее зубры, должны будут или уйти из этого леса, или совершенно истребиться”.

На эти возражения отвечать нетрудно.

Менее всего следовало бы, конечно, останавливаться на опровержении того предположения, что железная дорога легко может содействовать вырубке пущи, представляя будто бы удобную возможность сбыта леса секретным образом в разные места. Хотя подобного рода операции, к сожалению, еще и существуют, но никак не там, куда уже достиг железный путь. Такие дела при развивающейся с каждым днем гласности могут иметь еще место разве где-нибудь в глуши, подальше от всяких дорог. Да к тому ж путь железный для подобного сорта проделок нисколько не похож на водяной, по которому действительно иногда может проскользнуть кое-что втихомолку. Всякому грузу, следующему, напротив, по железной дороге, всегда остается в такой мере ясный след, что без особенного труда может быть точно сделана самая подробная справка, что и куда было отправлено. Относительно вырубки леса для самой железной дороги тоже никакого подозрения в возможности секретных сделок с самим обществом быть не может, по той очевидной причине, что всякая покупка его с точностию заносится в отчеты, подлежащие гласной ревизии акционеров. Что же касается получения дров из пущи для действия железной дороги, то должно заметить, что как бы ни было деятельно на ней движение, она никогда не потребовала бы из Беловежской пущи дров ежегодно свыше 10000 куб. сажень; значит, шестой только части той пропорции, какую в непременных условиях рациональности хозяйства этого леса следует назначать ежегодно в продажу. Да к тому ж от самого управления пущи всегда зависело бы определить, какое количество лесных материалов и в какое время можно было бы назначить в продажу на железную дорогу или в другие места.

Относительно второго возражения. Беловежская пуца имеет тем более особенное значение, что в ней одной исключительно держится зубр. Зверь, составляющий предмет особенно роскошной охоты. Без сего обстоятельства, конечно, не пришлось бы в статье о железной дороге касаться вопроса об охоте, на которую у нас до сих пор большинство смотрит глазами равнодушия, не сознавая того убеждения, что в России более, чем где-либо, в сумме народной экономической деятельности охота могла бы быть также довольно заметным слагаемым.

При всей небрежности, с какою исполняются у нас существующие постановления в ограждение дичи от совершенного истребления, можно сказать, что одни только зубры пользуются действительным покровительством правительства, и притом в такой степени, что без высочайшего разрешения не только ни один зубр не может быть убит, но что о каждом изведенном из них хищными зверями строжайше положено производить местною властью даже формальное следствие.

Ввиду такого тщательного попечения правительства о сохранении этой столь замечательной дичи, находящейся только в одной Беловежской пуце, мы думаем, что несколько подробное исследование вопроса: может ли предполагаемая железная дорога быть во вред зубрам или нет? не будет безынтересно для наших читателей.

В опровержение всякого опасения, что будто от шума, производимого движением по железной дороге, зубры могут уйти из Беловежской пуцы, заметим, что это животное совсем не принадлежит к разряду пугливых; напротив, оно очень скоро осваивается с человеком, и если до сих пор оно не могло быть употреблено ни для домашних, ни для хлебопашеских работ, то отнюдь не по своей дикости, а вернее по необузданности своего нрава. В этом отношении зубр вовсе не похож на лося: последний, напротив, весьма пуглив, но, будучи пойман смолоду, легко может быть выезжен во всякую упряжь, в особенности для скорой и продолжительной езды.

Что зубр не боится шума в лесу, тому могут служить доказательством недавно производившиеся в Беловежской пуце в продолжение целых пяти лет большие операции. Ежегодно вырубалось в разных местах дачи до 15000 деревьев; пуца была наполнена множеством народа при рубке и вывозке деревьев, однако ж все это нисколько не тревожило зубров. Случалось даже, что при рубке деревьев лиственных пород зубры тотчас же после падения их и в присутствии рабочих смело подходили к вершинам и объедали с них свежие листья.

Сверх того следует иметь в виду и то, что Беловежская пуца вовсе не похожа на какой-нибудь германский лесок, где как деревья, так и все находящиеся в нем звери на виду и под счетом и где, если произвести какой-нибудь шум в одном конце, то будет слышно и в другом. Надо помнить, что пуца имеет пространства свыше 1000 квадр. верст в одной площади, так что в случае проведения посередине ее железной дороги к окраинам леса в обе стороны от сей последней приходилось бы не менее двадцати верст, а всякий шум в густом лесу мало слышен и на одной версте. Значит, есть где разойтись зверю и, если б отчего-нибудь ему показалось тесным и беспокойным в одном месте, найти себе другое, более удобное.

Зубр вообще столь небоязлив, что по необыкновенному чутью своему, заслышав приближение человека более, чем за сто шагов, не только не убегает от него, а напротив, спокойно подпускает его к себе в лесу или на лугу, в особенности зимою, на самое близкое расстояние и ни за что не тронется с своего места, так что встретившемуся с ним бывает необходимо или его обойти или выждать, пока сам зубр не захочет уступить ему дорогу. При этом, если его ничем не рассердят, он никогда не бросится на человека; в противном же случае, особенно когда по нем произведут выстрел, становится чрезвычайно опасен.

Из сказанного очевидно теперь, что из всех диких животных всего легче было извести зубров, тем более что всякий другой зверь спасается от человека бегством, а зубр нисколько.

После всего этого нет ничего удивительного, что если б правительство не приняло, наконец, самых решительных мер к ограждению этой дичи от истребления, то, без сомнения, ее не было бы теперь и в помине.

При издании указа о запрещении стрельбы по зубрам (10-го сентября 1802 года) их оказалось в Беловеже около 300 штук. В начале зимы 1821 года, по словам Бринкена ("Mémoire descriptif sur la forêt imperial de Bialowiez", p. 62[67]), их было 732, а в настоящее время считается этих животных свыше 1500 голов.

При столь быстром размножении зубров есть основание предполагать, что Беловежская пуца, при всей своей обширности, когда-нибудь сделается для них тесною и, главное, недостаточною в необходимой для их существования пищи и что придется тогда или прибегнуть к постоянному эксплуатированию этой дичи, или же сообразить заранее средства к распространению ее в других лесах.

Некоторые, однако ж, того мнения, что зубр может держаться будто бы в одном только Беловеже по той именно причине, что в ней произрастают такие травы, каких в других местах нет и без которых это животное обойтись никак не может.

Чтобы показать всю неосновательность такого предположения, поименуем эти травы. Вот они: паршидло (*Spirea ulmaria*), зараза (*Ranunculus acris*), хрыбуст (*Spicus oleraceus*) и дубровка (*Anthoxantum odoratum*). Нетрудно убедиться тому, кто знаком с нашей флорой, что все эти растения водятся решительно во всех лесах одинаковой с Беловежью географической широты.

Еще страннее кажется допустить и тень сомнения насчет того, может ли зубр водиться в других местах, кроме Беловежи, когда положительно известно, что он прежде везде водился, и притом не в одном или двух поколениях, а многие столетия и с незапамятных времен. Ни климатические данные тех мест, ни, словом, вся их естественная среда не могли же ни в чем измениться.

На все вышесказанное можно было бы сделать такого рода запрос: почему же зубры, если в Беловеже нет ничего особенного, отличающего ее от других лесов, держатся в ней только одной и не переходят никуда в другое место?

Будь кругом пуци вместо возделанных полей значительные леса, и зубры, наверно, точно так же выходили из нее туда, как теперь постоянно заходят в прилегающую к Беловеже Свислочскую дачу, правда, хотя всегда ненадолго, а зимою даже и на весьма короткое время, но это единственно потому только, что в пуце для них заготавливается на зиму сено, а в Свислочской даче нет. В противном случае можно думать, что зубры в ней точно так же оставались бы, как и в Беловеже, а потом при существовании небольших перелесков стали бы из нее переходить и в сокольские леса. Впрочем, при этом им необходимо было бы, во многих местах, показываться на возделанные поля, чего зубр вообще избегает, хотя, впрочем, случается, что, не находя для себя зимою пищи в лесу, он смело приближается к крестьянским строениям и объедает с крыш солому.

С проведением железной дороги чрез Беловежскую пуцу, как было бы нетрудно даже в самом большом размере произвести опыт, чтобы окончательно удостовериться, могут ли или, действительно, не могут зубры водиться ни в каком другом месте, кроме Беловежи! Для этого стоило бы только перевести за один раз по железной дороге целое стадо, положим, сначала хоть в Виленскую губернию, именно в Медзержицкую казенную дачу, которая своим северным краем подходит к С.-Петербургско-Варшавской железной дороге и в которой во многих ее частях, в особенности лежащих по течению реки Меречанки, представляются для зубра решительно те же самые выгоды, какие он находит и в Беловеже.

Все подобного рода опыты при устройстве железной дороги чрез Беловежу не представляли бы ничего невозможного.

Но многие еще и того мнения, что для зубров, как и для всякого красного зверя, правильная культура пуци едва ли не опаснее самой железной дороги.

Такого рода мнение, будучи весьма сомнительным касательно и вообще всех диких зверей, тем более не имеет никакого основания в отношении к зубру, животному по натуре своей весьма близко подходящему к обыкновенному домашнему рогатому скоту.

Этот зверь, питаясь преимущественно листьями разного рода деревьев, любит по большей части держаться в лесу; но видим примеры, что он совсем нечужд и хлева и может в нем жить вместе с рогатым скотом, с которым даже и совокупляется.

Зубр, действительно, любит лес, и только в нем он в полной мере у себя дома, но из этого не следует еще, чтобы этот лес был непременно в диком состоянии, то есть наполнен непроходимыми трущобами, чего преимущественно ищет медведь, или пересечен болотами, поросшими лозою и недоступными для человека, что предпочтительно всему любит лось. Для зубра потребно в лесу не более, как только

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

обилие пастбищных лугов и ключевых вод, а главное, чтобы лес по характеру своего лесонасаждения представлял большое разнообразие древесных пород, преимущественно лиственных. Сверх этих условий многие полагают необходимым и некоторый уход человека за зубром, ссылаясь на то, что еще во времена польского правительства были уже приписаны к Беловежской пуше целые деревни, на жителей которых возлагалась обязанность приготовления для этих животных на зиму сена. Не отвергая вполне справедливости этого замечания, скажем только, что все это делалось не из необходимости того, чтобы зубр не мог обойтись без пособия человека, а более для того, что без этой меры многие из зубров пропадали бы от недостатка корма при невозможности его добывания в суровые зимы из-под глубокого снега, а истощенные голодом, они делались бы чаще жертвою хищных зверей и, следовательно, не так успешно размножались бы, как ныне.

В настоящее время министерство государственных имуществ уже приложило особую заботливость о сохранении и размножении этих зверей. Значительно увеличены зубровые покосы и постановлено в непрременную обязанность строго наблюдать за тем, чтобы сено было приготовлено вовремя и в большом количестве. С проведением же чрез Беловежскую пушу железной дороги при представляющейся возможности сбыта леса лиственных пород, то есть когда лес стали бы рубить целыми лесосеками, а не так, как ныне, отдельными деревьями, на выбор во всем лесу, но вырубленные пространства, будучи очищены от вершин и валежника, легче бы покрывались молодой порослью, а пни и корни лиственных пород пускали бы молодые отпрыски, представляя для зубров новую обильную пищу, потому что побеги от лиственного леса, а особенно от осины, составляют для зубра самый лакомый корм, который он предпочитает всякому другому.

Из вышесказанного теперь следует, что культура Беловежи, заключающаяся в ее правильном, вполне согласном с лесной наукой хозяйстве и возможном только при проведении чрез пушу железной дороги, послужит зубрам даже не во вред, а в несомненную им пользу.

К тому же с устройством железной дороги чрез эту лесную дачу, когда она стала бы уже приносить правительству большой доход, было бы гораздо легче решиться на все те меры, какие оказались бы необходимыми для сбережения и размножения не только зубров, но и всякой другой дичи, которой ныне в пуше чувствуется большой недостаток, происшедший как от неправильных охот в прежнее время, так и оттого, что на этот предмет не было до сих пор обращено должного внимания.

Находясь вдали от больших почтовых трактов и городов, Беловежская пуша многим доселе известна была только по слухам, и мало кто имел случай познакомиться с ней ближе. Только высочайшая охота в 1860 году обратила на этот замечательный лес всеобщее внимание и не только в России, но и за границей, а если б к сему присоединилось еще и удобство железного пути и предпринялись меры к размножению всякого рода дичи, к чему пуша представляет все необходимые условия в совершенстве, то можно сказать утвердительно, что кроме экономических расчетов от устройства железной дороги в отношении самого хозяйства Беловежи получилась бы возможность исследовать и проверить на самом широком основании все идеи, ныне существующие об извлечении возможной пользы для человека не только от размножения зубров в краю, но и всякого красного зверя и других диких животных, об экономическом значении которых наука далеко не сказала еще последнего слова.

Остается нам высказать, наконец, свое мнение относительно третьего возражения, какое могло бы быть сделано против проведения железной дороги чрез Беловежу, именно, что не следовало бы давать ей направление чрез пушу к Белостоку, а напротив к Гродно.

Но объем этой статьи, и так уже далеко превзошедший предположенные нами размеры, заставляет нас отложить рассмотрение этого вопроса до другого раза, тем более что очень основательная статья по тому же предмету, напечатанная в № 25-м "Акционерера", подает нам повод посвятить несколько времени на более специальное изучение этого вопроса. Мы очень рады вступить с "Акционером" в совершенно безличную и потому совершенно беспристрастную полемику относительно большей или меньшей пользы, какую Западный край может ожидать от Пинско-Белостокской или от Брянско-Мценской железных дорог. Мы тем более радуемся этому случаю показать пример спокойно и прилично веденной журнальной полемики, что эти примеры стали, к сожалению, все более и более редкими в нашей журналистике.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОЖАРЫ

С.-Петербург, четверг, 7-го июня 1862 г

– НЕПОВИННОСТЬ СТУДЕНТОВ В ПОДЖОГАХ. – НЕОБХОДИМОСТЬ ОХОТНИЦКИХ КОМАНД И ГОТОВНОСТЬ КУПЧЕСТВА СОДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ИХ ОБРАЗОВАНИИ

Петербургские пожары прекратились. Страховые общества сводят свои счета, сами погорелые считают свои потери и видят или окончательное свое банкротство, или возможность выйти, при помощи Государственного банка, из своего, по-видимому, безвыходного положения; наконец, приказчики и конторщики погорелых купцов, лишенные даже возможности продолжать привычный труд, основывают свою единственную надежду на помощь своих более счастливых товарищей и их хозяев.

Неужели этой грозе суждено минуть так же, как минуло столько других несчастий, не оставивших после себя ничего, кроме горьких и плачевных воспоминаний? Неужели страшные события последней недели не оставят в общественной жизни нашей столицы никаких более прочных и, прибавим, более полезных последствий, кроме одних жалких воспоминаний о поджогах и поджигателях? Что касается этих последних, то здравый ум публики, растерявшейся в первые минуты испуга, уже начинает видеть, до какой степени преувеличены прежние слухи, и, принимая мало-помалу свое прежнее течение, начинает понимать всю нелепость сказок, которым он не далее как три, четыре дня тому назад верил на слово. Подобное возникновение и быстрое распространение хотя бы самых нелепых слухов в нашей публике нельзя приписать злонамеренности, а единственно малой привычке к общественной деятельности и отсутствию всякого регулятора общественного мнения.

Мы этим вовсе не хотим подать вид, как будто мы отказываемся от высказанного нами прежде мнения насчет прокламации “Молодая Россия”. Находятся ли авторы ее в связи с пойманными поджигателями или нет, про то ведают комиссии, учрежденные для исследования этого дела; мы, с своей стороны, можем только еще раз повторить нашу настоятельную просьбу о скором опубликовании имен настоящих виновников, чтобы тем защитить в общественном мнении другие, совершенно несправедливо и неосновательно обвиняемые лица.

Само собой разумеется, что мы не даем ни малейшего политического значения прокламации к “Молодой России”. Мы смотрим на нее как на порыв увлечения горячих голов; мы убеждены, что за ними никто не пойдет, и торжественно заявляем, что истинные либералы, всем объемом души желающие преобразований гражданского строя русской земли, но путем законным и сообразно с действительными, а не с химерическими нуждами и потребностями народа, с чувством негодования смотрят на эту прокламацию. Мы считаем это явление до последней степени ничтожным и не сказали бы о нем ни одного слова, если бы народная молва не связала воедино причины настоящих бедствий столицы с безумными намерениями тех, которые в своей прокламации употребили выражение: “не оставить камня на камне”.

Жители столицы (к чему скрывать то, о чем говорит полмиллиона людей; о чем, без сомнения, не одна уже тысяча писем разослана по России?), толкуя о поджогах, употребляли слово... страшно вымолвить печатно!.. “студенты”. Мы протестуем против этого самым энергическим образом. Кто знает, может быть, из полуторы тысячи учащейся молодежи и нашлись два, три безумца. Но взводить такое страшное обвинение на всех – в высшей степени несправедливо! Мы сами видели многих студентов во время бедствий 28-го мая и качающими пожарные трубы, и спасающими имущество погорельцев, и таскающими воду из фонтанки, и спасающими дела министерства. Мы видели, как студенты, взяв несколько дрожек из загоревшегося экипажного ряда, подвозили их к дому министерства внутренних дел, нагружали их делами и книгами и отвозили на себе к Александровскому скверу. Мы видели, наконец, студентов в лагере погорельцев; видели, как они подавали несчастным, быть может, последнюю копейку; мы слышали искренний, горячий ропот против поджигателей; мы были свидетелями отчаяния многих молодых людей по поводу недоброй молвы, до них касающейся... Это ли поджигатели? Нет, грешно, безбожно думать на студентов!

Некоторые студенты, до глубины души потрясенные страшною молвою, приходили в нашу редакцию и просили нас защитить их печатным словом пред общественным мнением. Святой обязанностью мы поставили исполнить их желание.

Но возвратимся к главной задаче этой статьи, то есть к рассмотрению тех полезных последствий, какие при деятельности и доброй воле можно было бы извлечь из несчастий, ознаменовавших прошлую неделю. Из всех частных предложений, помещенных в продолжение прошлой недели, почти в каждом номере нашей газеты, нам кажется самым практичным и вместе с тем самым необходимым – устройство

команд из охотников. Позвольте, читатель, рассказать вам прежде всего один случай, за достоверность которого мы вполне ручаемся, доказывающий всю необходимость скорого устройства этих команд.

На днях, то есть не дальше как 3-го июня, в 8 часов вечера, г-жа Банн, жена чиновника, живущего в Рождественской части, пошла с братом своим, г. Львовым, на Коннную площадь для закупки сена и других хозяйственных припасов. Г. Львов, удалившись на несколько времени в магазин для размена двадцатипятирублевой бумажки, оставил свою сестру одну на площади. Через несколько минут подходит к ней неизвестный мужчина, если и не пьяный, то во всяком случае подававший своим поведением сильный повод заподозрить его в этом. При первых словах этого господина г-жа Банн отвернулась, подошла к близстоявшему гимназисту и заговорила с ним, чтобы таким образом показать подошедшему к ней мужчине свое полное нежелание вступить с ним в разговор. Этим, однако, наш герой не довольствовался. Подошедши второй раз, он схватил г-жу Банн за руку, оторвал у защищавшейся и испуганной женщины рукав ее пальто и громко объявил тут же собравшейся толпе народа, что он считает эту даму подозрительным лицом и поджигательницей! Можно себе представить положение бедной женщины, беззащитной и одной посреди толпы народа, взволнованного событиями последних дней, которую обвиняют в поджигательстве!

К счастью, тут же появился брат г-жи Банн, пробрался сквозь толпу до своей сестры и обратился к неизвестному господину, не перестававшему повторять свое обвинение против г-жи Банн, с вопросом: чего он хочет от его сестры? В ответ он получил громкое и грубое приглашение следовать вместе с своею сестрою в съезжий дом Рождественской части, куда они и отправились под конвоем толпы. Двое патрульных казаков, которых они встретили по дороге и которым неизвестный господин хотел передать г-жу Банн и ее брата, оказались настолько умны, чтобы, вопреки его желанию, не отпустить его самого, а заставили его тоже явиться в часть. Между тем частный пристав оказался менее понимающим свои обязанности. Едва наш, до сих пор неизвестный, объявил, что он тафельдекер при дворе Его Величества и что его фамилия Афанасьев, как частный пристав остался совершенно доволен подобным объяснением и отпустил г. Афанасьева на волю, а г-жу Банн и брата ее отправил в их квартал для удостоверения в личности. Если бы не г. Банн, подавший на имя г. военного генерал-губернатора прошение о более правильном исследовании: по какому праву наш почтенный тафельдекер объявил г-жу Банн поджигательницей и тем самым выставлял ее жизнь на опасность, то вся эта возмутительная история кончилась бы, вероятно, более ничем, как болезнью, причиненною теперь г-же Банн страшным прожитым ею часом!..

Этот факт доказывает, как нельзя яснее, совершенную необходимость устройства охотничьих команд.

Мы очень, очень рады, что наше предложение встретило такой сильный отголосок между купеческим населением Петербурга. Мы сегодня получили известие, что в одном Гостином дворе уже более осьмидесяти приказчиков и конторщиков изъявили свою полную готовность вступить в подобную команду и собрать деньги, которые могут понадобиться на покупку необходимых орудий и на самое устройство команды. Ясно, что соединило гостинодворцев, а именно: полное сознание общей опасности и недостаточности мер для ее предупреждения или прекращения. Мы надеемся, мы почти уверены, что высшее полицейское начальство воспользуется этою всеобщою готовностью и направит ее к достижению одной цели, извлечет пользу для города из недавно постигших его бедствий.

В заключение мы не можем не упомянуть еще об одном факте, столько же ясно доказывающем готовность гостинодворских купцов прийти на помощь своим погоревшим соседям Щукина и Апраксина дворов. С разрешения г. военного генерал-губернатора, они организовали вспомогательную кассу в пользу приказчиков и конторщиков, пришедших в бедственное положение от бывших в последнее время пожаров. Нам просили известить публику по этому поводу, что добровольные приношения в эту кассу принимаются у ейского 1-й гильдии купца Белоусова, петербургских 2-й гильдии купцов Кунста и Бобренкова. С радостью исполняя эту просьбу, мы можем только жалеть, что, по собственному его желанию, мы не вправе объявить фамилию деятельного купца, которому принадлежит мысль устройства этой кассы и который успел так скоро привести свой план в исполнение. У нас подобные примеры так редки, что мы с особенною радостью встречаем всякий новый пример пробуждения общественной деятельности в нашем купеческом сословии.

ПЛЕННИК В ГАРЕМЕ

(Приключение в Египте)

Многими замечено, что свет, никого не спросясь, пошел довольно с давних пор наизворот. Это отчасти и справедливо: “как посравнить, да посмотреть век нынешний и век минувший, – свежо предание, а верится с трудом”. Если вы, благосклонный читатель, помните, что было писано про гаремные нравы княгиню Бельджойзо и другими счастливицами и несчастливцами, изучившими жизнь и тайны гаремов, то вас должно, приятно или неприятно, удивить, что и там, в этих очарованных темницах красоты, век нынешний – совсем не то, что век минувший. Предлагаемый рассказ есть повествование о приключениях одного юного сына великой Германии в арабском гареме. В этом приключении араб, оскорбленный бледным немцем, соблазнившим его фатму, менее всех напоминает яростию Рауля с синей бородою, а в нем сказываются порою то Локуста, то тот италианец, что – изобличив свою жену в измене, с тех пор, посещая ее спальню, оставлял всякий раз червонец под изголовьем женойной постели, пока это не убило женщину; то он является Картушем и Рокамболом, потом “благонамеренным” героем Беранже, – парижским или петербургским чиновником, готовым всем служить карьере “спиною, честью и женою”, и наконец (допуская всерьез или в шутку спиритскую теорию перевоплощения) в этом арабе, сдается, живет дух того тургеневского жида, который поставлял свою красавицу дочь в лагерь, а сам дрожал под стенкою шатра, чтобы девичью краскою не распорядились дерзче, чем положил он.

Вот это фантастически восточное, трагикомическое, невероятное и – чего доброго, – пожалуй, никогда не бывавшее, приключение. Читайте его не испытывая строго, было оно или не было, могло или не могло оно быть? Вспомните того испанского проповедника, который, растрогав своих слушательниц до слез своей проповедью, чтобы утешить их, потом сказал: “Девоньки!.. вы не плачьте! ведь это было давно... а может быть, этого.. и совсем не было. – Я это только для того, чтобы вы поплакали”. Может быть (пожалуй и вероятно), что и белокурый немец все это сочинил, но что нам до этого? Будем считать все нижеследующее *in hoch romantische stile*. [68]

ФРАНЦУЖЕНКА

Я грустил в Париже, – то есть грустил именно настолько, насколько парижский воздух позволяет в нем грустить иностранцу. Я только что проводил отсюда, Бог весть куда, в Африку, в Александрию, моего лучшего друга и соотечественника Бернгарда Рено. Он отправлялся в Александрию, чтобы взяться там за приведение в порядок дел одного почти обанкрутившегося торгового дома, с которым были связаны его собственные дела.

Двадцатипятилетнему веселому юноше Бернгарду Рено предстояло провести целые десять лет в самой неприятной среде. Кроме того, исполнение его поручения было сопряжено с некоторыми опасностями: александрийские греки, к которым принадлежало большинство несостоятельных должников, очень хорошо умеют избавляться от неприятных им особ; они просто и спокойно закалывают их среди белого дня на самых многолюдных улицах. Бояться здесь наказания за подобную расправу почти нечего: в египетских законах об иностранцах много не позаботились. Единственное, что может грозить убийцам, – это высылка на несколько месяцев из страны. По истечении же срока убийца снова может благополучно возвратиться и по-прежнему приняться за охоту на кредиторов. Это так и бывает. (Прибавим от себя, что генеральным консулом это не удостоверено и остается вполне на ответственности одного автора.)

* * *

Рено, белокурый любитель женщин, усердный посетитель цирка, фланер, носивший всегда в петличке, на гуляньях “Vois” [69] и Элисейских полей, самую свежую индейскую розу; щеголь, наряд которого был *chef-d'oeuvre* [70] императорского портного Дюсотуи и с которым хорошенькая перчаточница в пассаже Жоффруа билась по полчаса, натягивая ему самые узкие перчатки, одним словом, “*le bel Allemand*” [71] (а немцу не легко получить подобное прозвание в Париже), превосходивший шиком всякого француза, молодой купец, рыцарству которого завидовал бы аристократ, а изобретательности – любой житель Латинского квартала, решил ехать в Александрию, не долго думая, сразу, после 24-часового размышления. Он без тревоги и сожалений решил расстаться со всем тем, что было для него здесь дорого и мило. Он расстался даже с очаровательною Маделон, которая, прожив с ним два года, выучила по-немецки только три нежные слова: “*Ich Hebe dich*”. [72]

Маделон была белокура и стройна, как сам красавец Бернгард, и когда они порхали с ним вдвоем по ярко освещенным залам “Château des fleurs” и “Jardin Mabille”, [73] то их можно было бы принять за брата с сестрою, если бы в два часа ночи, после второй бутылки шампанского, они не принимались сами танцевать бешенее всех и лучше всех. А этого не делают брат с сестрою. (Лучше всех танцующий в Париже немец – тоже остается на ответственности автора.)

– Иди к Маделон и поцелуй ее за меня, – сказал мне Бернгард, когда он уже сдал свой багаж и прогуливаясь со мною под руку, по платформе южной железной дороги, – я только теперь чувствую, как я любил эту плутовку.

– А отчего бы тебе и не взять ее с собою, если так? – отвечал я. – Она наверно усладила бы твое добровольное изгнание.

– Да, и мне этого очень хотелось, но она не пожелала менять Парижа на Александрию.

– Какая гадкая неблагодарность! Насколько мне помнится, ты ведь взял ее с улицы, почти нищую, когда хозяйка выгнала ее из мастерской, ты наделал для нее множество сумасбродств, даже более, чем она хотела.

– Перестань высчитывать: она совершенно права. Она долго плакала и потом сказала мне совершенно рассудительно: большая разница, мой друг, жить вместе в Париже, где можно найти так много общих удовольствий, где расходишься для дела и снова сходишься для любви и удовольствий, где для каждого из нас есть ежечасно запас свежих вестей и новых впечатлений! Здесь я тебе не надоедаю и верю, что я тебе нравлюсь. Так можно жить долго и долго – и не надоесть друг другу. Здесь, говорила она, на этой родной для меня почве, я кажусь тебе прелестною, потому что во мне отражается все, что пленяет тебя в парижской жизни; и я тебе нравлюсь, и ты со мною счастлив, но там... там другое дело, там нам придется жить только вдвоем, вечно вдвоем, целые годы, целый ряд лет, с глаза на глаз... О, этого не выдержит никакая любовь к обыкновенной женщине!

Я хотел клясться, что она ошибается, но она меня удержала.

– Постой, – сказала она, – я знаю, что ты мне возрадишь, но прежде дай мне кончить. Мы будем все одни и одни – это очень вредно для любви, и особенно вредно для меня, то есть для женщины. Женщина страшно рискует в таком положении. Трудясь и занимаясь, ты скоро же станешь неизмеримо выше меня, ты почувствуешь такие мои недостатки, каких и не заметил бы здесь, в Париже – от меня не скроется, что я тебе в тягость – и счастье adieu, [74] и начнется семейный ад, семейная пытка... Нет, я слишком тебе предана, чтобы всему этому тебя подвергнуть. – И с этими словами она, рыдая и смеясь сама над собою, обняла меня и осыпала лицо мое поцелуями.

– Но ведь, впрочем, я и возвращусь, Маделон, – сказал я.

– Через десять лет, мой друг! – отвечала она, подавив вздох, и ее прелестные голубые глазки грустно устремились в неподвижную даль! – Тогда я буду старуха и должна буду, может быть, посмотреть из-за какого-нибудь дерева Элисейских полей, как ты, гордый миллионер, будешь кататься мимо меня с хорошенькою женою, – заключила она.

– Никогда! Никогда! – закричал я, зажимая ее уста.

Она грустно улыбнулась

– Подождем, – сказала она, – в десять лет может многое измениться. Но во всяком случае я останусь здесь. А если ты хочешь осчастливить меня, то пиши иногда.

После этого я простился с Маделон.

– Теперь, – заключил он, – я убедился, что Маделон гораздо опытнее меня, и поступила со мною честнее, нежели я сам того хотел. Поди же к ней, обними ее и старайся быть как можно добрее.

Поезд помчался. Мне было очень грустно. Я отправился к Маделон, обнял ее и передал ей последние слова друга.

* * *

В Париже все скоро забывается. Да и к чему что-нибудь долго помнить? Жизнь человеческая слишком коротка, чтобы обременять ее тяжелыми воспоминаниями. Через полгода я забыл Бернгарда Рени, а если и вспоминал когда о нем, то как об умершем для меня и погибшем. Мы не переписывались, да, по правде сказать, нечего было нам и писать друг другу.

Маделон тоже забыла Бернгарда Рени. По крайней мере, так мне казалось, потому что через неделю после его отъезда я встретил ее на Итальянском бульваре под руку с молодым утешителем, который ей, вероятно, вполне заменил “красивого немца”.

Так прошло полгода. Мы, разумеется, еще больше забыли Бернгарда, и, по правде сказать, это нам даже не стоило особенно большого труда. Но во всяком случае представьте же себе мое удивление, когда однажды утром на десять лет уехавший Бернгард вдруг неожиданно-негаданно словно упал с неба в мою комнату. Но нужно ему приписать чести; он в то время, как мы о нем забывали, успел так перемениться, что его почти невозможно было узнать. Нежное лицо его загрубело и обросло щетинистой бородою, свежий румянец исчез со щек, белокурые, шелковистые, вьющиеся волосы висели с головы беспорядочными прядями, веки оплыли, глаза поблекли и помутились. Препней фешенебельности в одежде тоже не было и следа. Платье Бернгарда было в беспорядке и дурно сшито. Одним словом, если бы я не знал, что это Бернгард Рени, единственный сын известного нюрнбергского купца, я непременно принял бы вошедшего за какого-нибудь несчастного, выбежавшего из Клиши или из “hôpital du Midi”.

– Любезный друг, что с тобою? – спросил я Бернгарда.

– Со мною? Да, кажется, ничего, – отвечал он и осмотрел себя с ног до головы.

– Ты здесь, конечно, по делам твоей фирмы? Но отчего так скоро? Ты был в отсутствии гораздо меньше десяти лет.

– Да, поменьше, – возразил Бернгард и принужденно улыбнулся.

– Что же, твои дела окончились, что ли, скорее, нежели ты этого ожидал?

– Торговый дом обанкрутился, но не по моей вине; я ничего для него не делал.

– Где же ты был последнее полугодие?

– В Александрии.

– В Александрии? И ты ничего не делал; я, право, думаю, что который-нибудь из нас сумасшедший.

– Ну, так думай, что я сумасшедший. Эти шесть месяцев я был пленником в гареме араба Гассан-Аль-Шида.

– Это что за приключение из “Тысячи и одной ночи”? Пленником в гареме! Верно, ты так очаровал женщин, что они похитили тебя?

– Не женщины, а сам хозяин. Гассан-Аль-Шид посадил меня к ним.

– Час от часу не легче! Что же это за удивительный поклонник пророка, который решился посадить такого молодца, как ты, в гарем к своим женам.

– Он посадил меня только к одной из них, к Фатьме – любимой своей рабыне. О, это было ужасно!

Судорожная дрожь пробежала по исхудалому лицу Бернгарда. Я снова постарался придать моим вопросам шуточный оборот. Не знаю отчего, вся эта история казалась мне такую необыкновенною, такую странною, что я никак не мог придавать ей серьезное значение.

– Верно, эта Фатьма была урод?

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

– Урод! – С удивлением повторил Бернгард. – Это была райская Гурия; взглянув на нее, можно было ослепнуть. – Бернгард сел; его исхудалые пальцы судорожно барабанили по коленам.

– Так расскажи, пожалуйста, свои арабские приключения, если они не тайна, – попросил я.

– Кой черт тайна! Никакой тайны нет, – отвечал он.

– Так будь новою Шехерезадою, и повествуй.

Бернгард согласился.

АРАБКА

После нескольких минут молчания Бернгард заговорил:

– Дом, назначенный для меня в Александрии, находился за городом. Прежние директора фирмы и в письмах не изъявляли особенного удовольствия по случаю моего скорого прибытия, и потому неудивительно, что меня по приезде встретил только один невольник, который отнес мои вещи на мою новую квартиру. Мы пришли туда довольно поздно. Говорят, морское путешествие укрепляет нервы. Но я могу тебя заверить, что мои нервы были в самом жалком положении; их, как нервы Гейне, можно было послать на выставку и надеяться, что им выдадут медаль за напряжение и расстройство. Я приписываю это внезапной перемене окружавших меня предметов. Представь себе тотчас после Парижа самую однообразную местность: песок и песок со всех сторон; там и сям торчащие одинокие пальмы; дома, похожие на огромные игральные кости, только без черных точек, кое-где башенки, минареты; турки в больших туфлях с самыми филистерскими лицами; арабы в белых грязных шерстяных плащах, глядя на которые становилось жарко; женщины под покрывалом, напоминающие наших плакальщиц; вместо лошадей жалкие клячи, и хромой негр для всех услуг. В душе моей, кроме того, бушевало большое беспокойство о судьбе остальной моей поклажи, сданной на руки двум полунагим желтокожим уродам; африканское небо палило, как печь, и уничтожало без всякого сострадания силы моих мышц, – вот каковы были мои первые впечатления в Александрии. Наконец, мы с негром дошли до дома, назначенного для моего помещения. Я представлял себе удобное прохладное убежище, усталое коврами и уставленное мягкими диванами, но, к удивлению, узрел какие-то казармы, состоящие из двух отвратительных комнат. Единственную мебель этого жилища составляли: английская походная кровать и несколько тростниковых стульев и некрашенные столы; к тому же навстречу мне вышла негритянка, которая, вероятно, по симпатии к своему черному супругу тоже хромала на одну ногу. Я мечтал о шербете, о трубке опиума и о ванне из свежей прохлаждающей воды, а между тем едва добился лишь только чашки какого-то отвара из горячей кофейной гущи, которая не понравилась бы даже турку. Я не постигал, на что мог истратить свои деньги живший здесь прежде глава обанкрутившегося торгового дома. С проклятиями бросился я на походную кровать, чтобы дожидаться заката палящего солнца, и принялся курить, но курил в виде демонстрации против востока – французский капораль.

* * *

Дождавшись заката солнца, я вышел в сад, расположенный за домом. В этом саду тоже не было ничего восточного: один песок да пыль, да неудачные попытки перенесения образчиков европейской флоры на африканскую почву. На небе явился ясный полный месяц; мириады ярких звезд соперничали с ним своим блеском. В воздухе распространилась приятная свежесть, но он дышал непомерною скукою. Я думал о Париже, о балах, о Маделон, о хорошенькой перчаточнице в пассаже Жуффруа, о великолепных устрицах. Одним словом, я думал обо всем, что было для меня так приятно, и мною все более и более овладевала скука. Я почти готов был все бросить, опять сесть на корабль и вернуться домой. Вдруг я услышал за стеною женские голоса. Ты знаешь, какой у меня в этом отношении тонкий слух. Ты помнишь, как на маленьком балу в Плесси я среди пятидесяти дам узнал Маделон по шелесту ее шлейфа. Здесь я сейчас же догадался, что одна из говоривших была молода и красива, хотя прежде никогда не видал ее и не слышал ее соловьиного голоса, так чудно произносившего арабские слова. Чтобы убедиться в справедливости моих соображений, я с помощью старой ели поднялся так высоко, что мог заглянуть за стену. Внизу, обратившись к звездам, стояла женщина. В Париже много чудесного, товарищ, но такой женщины, как была эта, нет не только в Париже, но и в целой Европе.

Статьи. Николай Семенович Лесков Leskovniko1ai.ru
Глаза Бернгарда были неподвижно устремлены в пространство.

– Была? Разве ее уже нет?

– Она умерла или, лучше сказать, она убита, – простонал Бернгард.

– Верно, муж убил ее за то, что ты ее соблазнил?

– Да, ты прав, не я убил ее, а Гассан-Аль-Шид, он убийца! – поспешно вскричал Бернгард.

– Продолжай, – попросил я.

– Фатъма была красавица. Не проси меня описывать тебе ее. Если я стану представлять себе все малейшие подробности ее красоты, я убью себя, потому что я не в силах возвратить ей жизнь. Вот как завязалось дело: вися на стене, я сделал неловкое движение, кусочек от карниза отломился и упал. Моя незнакомка испуганно взглянула вверх и хотела бежать, но остановилась. Она не отрывала от меня глаз, пока я совсем не взлез на стену. Впоследствии она рассказывала мне, что приняла меня за ангела, посланного пророком. На мне было надето светлое летнее платье, а фатъма (так ее звали) прежде никогда не видела человека с такими светлыми волосами и с таким белым цветом лица, хотя сама она при лунном свете казалась выточенной из мрамора. Я знал, что с мохамеданскими женами опасно заводить интрижки. Но ты знаешь, что я не труслив. В одно мгновение, не успев ничего рассчитать и ни о чем подумать, я, перепрыгнув через стену, стоял внизу, возле моей незнакомки. Она все еще смотрела на меня, широко раскрыв свои бархатные глаза, как испуганная лань.

– Боишься ты меня? – спросил я ее по-арабски.

– Нет, – отвечала она спокойным звучным голосом и, улыбаясь, посмотрела на меня.
– Ты такой красавец.

Я должен был расцеловать ее, даже если бы за мной стоял палач с топором. Она откинулась в мои объятия, закрыла глаза и отдалась моим ласкам. По-видимому, они доставляли ей неизъяснимое наслаждение.

– Как тебя зовут?

– Фатъма.

– Ты меня любишь?

– Я люблю тебя, ты – добрый дух.

– Нет, я не дух, я простой человек.

– Невозможно, Гассан-Аль-Шид тоже человек.

– Кто это – Гассан-Аль-Шид?

– Мой господин.

– Ты его любишь?

– Да, он добрый.

– Но ведь ты сказала, что и меня любишь?

Она ничего не отвечала, только улыбнулась, причем открылся ее ротик и обнаружились ее большие белые зубы; она взяла меня за лицо, стала гладить мои щеки, дотрогивалась до моих глаз, смеялась, прижималась ко мне и пробовала поцеловать меня в губы, как я ее целовал. Вдруг послышался мужской голос. Фатъма быстро вырвалась из моих объятий, еще раз посмотрела на меня, как бы желая навеки сохранить меня в памяти, взяла меня обеими руками за щеки и убежала.

* * *

Когда я спустился со стены, я увидел моего хромого негра, по-видимому, кого-то
Страница 225

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
подстерегавшего. При виде этого шпионства я в первом порыве гнева дал ему такую сильную пощечину, что он упал в засохший кустарник. Впрочем, я тотчас же раскаялся и бросил ему золотую монету. Он поднял ее, однако не поблагодарил меня. Я был слишком взволнован, чтобы много об этом думать. На другой день мне бы следовало идти хлопотать по делам. Но я об них и не думал (из чего нам позволительно заключить, что не одни русские компании вверяют дела людям, не стоящим никакого доверия). Я ни о чем не думал, кроме одной фатьмы. Если бы моя негрятянка-прислужница вздумала помешать моим мечтам и заговорила бы со мною о чем-нибудь, то я, кажется, способен был пустить ей в голову чем попало. Наконец, настал вечер. Встретив у садовой стены своего хромого негра, я снова бросил ему золотой. Он улыбнулся, но не поднял монеты; это меня удивило:

– Что ты здесь делаешь?

– Ничего особенного, – отвечал он ворчливым голосом.

– Так убирайся домой.

– Хорошо.

– Стой! (Негр остановился.) Кто живет там за стеною?

– Гассан-Аль-Шид, – робко произнес негр.

– Кто это – Гассан-Аль-Шид?

– Могущественный человек, предки которого владели всею странюю от Нила до самой пустыни. Это умнейший из всех людей.

– Бери деньги и убирайся домой.

Негр повиновался.

В эту минуту я услышал, как и вчера, мелодичный голос фатьмы, которая отсылала свою служанку. Я все забыл.

* * *

В один прыжок я был уже за стеною и держал красавицу в своих объятиях. Как радовался бедный ребенок! Она пощупала мое лицо и мои руки, как бы не веря своим глазам. Потом поспешно повела меня дальше в сад. Это был шаловливый ребенок и страстно любящая тигрица, – вот какова была эта женщина! Она не умела думать, она умела только чувствовать... Не про все же рассказывать, что за тем наступило... но вдруг... природа была поймана человеком... Вдруг какие-то грубые руки вырвали меня из ее объятий. Я долго не мог сообразить, кто эти черные и смуглые фигуры, крепко державшие меня за руки. Фатьма быстро закрыла лицо чадрую, а я едва лишь мог рассмотреть среди схвативших меня людей моего хромого негра.

Меня разлучили с фатьюю и повели к Гассан-Аль-Шиду. Это был высокий и худой араб, совершенно похожий на комично-серьезных арабов из императорских сипаев. Он сидел со скрещенными ногами и пристально смотрел на меня. – Я могу убить тебя, франк! – сказал он.

– Знаю.

– Ты любишь фатью?

– Я люблю ее так сильно, что после счастья обладать ею мне не страшна и смерть, – отвечал я, стараясь смотреть прямо в лицо кабилу.

– А между тем ты останешься в живых и убьешь ее. – Эти слова были так нелепо ужасны, что я почти готов был рассмеяться. – Да, – продолжал Гассан-Аль-Шид, – ты убьешь ее, и убьешь добровольно, без всякого принуждения.

Вероятно, лицо мое выразило сильное изумление.

– Слушай, – продолжал Гассан-Аль-Шид. – Раз один франк проник в мой гарем и похитил лучший его перл. Народ называет меня мудрым. Я им хотел быть и в то же время добрым, я одарил богато Миру и отпустил ее с этим человеком на его родину;

после этого я долго не мог видеть ни одной из своих жен, потому что ни одна из них не могла заменить мне Миру. Франк благословлял меня, а через год он бросил Миру, и она вместе с сыном умерла с голоду в огромном городе франков. Ты второй вор, являющийся в моем гареме. Я любил Фатьму так же, как любил Миру. Но я не отпущу ее с тобою, а оставлю тебя здесь, у нее. Ты не услышишь человеческого голоса, кроме голоса Фатьмы. Она тебе надоест, как надоела Мира твоему соотечественнику; но ты не получишь свободы до тех пор, пока не отравишь ее этим ядом.

Я взглянул на Гассан-Аль-Шида, и мне показалось, что со мною говорит сам дьявол. Я бросил стклянку с ядом ему к ногам, и она разбилась. Явились слуги и увели меня. Фатьма встретила меня с дикою радостью. Ей сказали, что я всегда останусь с нею, но что, кроме меня, она не увидит ни одного человеческого существа. Она призывала благословение пророка на голову Гассан-Аль-Шида и обещала, что в награду за его доброту ему достанется самая прекрасная из райских гурий.

Бедное дитя! Понимала ли она, как длинна жизнь, понимала ли она, не выдавая никогда никого, кроме родителей, прислужниц, гаремских жен, Гассан-Аль-Шида и меня, не знавшая никогда свободы, – понимала ли она, что значит страшное уединение вечного заключения! Как Гассан-Аль-Шид умел так хорошо предвидеть будущее? Почему уже с самого первого дня сердце мое начинало леденить если не скука, то, по крайней мере, страшное предчувствие? Почему среди горячих поцелуев мне так часто представлялась насмешливая улыбка Маделон? Отчего в ушах моих звучали ее прощальные слова, произнесенные сквозь слезы и смех: “Женщина, которая нам надоела, ужасна”. Неужели же Фатьма уже надоела мне? Неужели ее дикая наивность перестала своею оригинальностью очаровывать меня?

* * *

Невидимые руки окружили нас всем, что на востоке превращает жизнь в очаровательный сон. Мы жили в роскошной комнате, открывавшейся на высокую террасу, с которой мы могли через крыши Александрии любоваться блеском лазурного моря. Отчего не мог я, так часто смеявшийся над мелочными, убивающими всякую радость житейскими заботами, наслаждаться здесь чудным сном восточной жизни вместе с прекраснейшею женщиною в мире. Я бы и наслаждался, быть может, если бы не представлялось мне насмешливое личико Маделон с ее губками, всегда готовыми сказать остроту, если бы там на горизонте не виднелись белые паруса, если бы я не знал, что под всеми окружающими меня крышами живут люди, что в мире множество вещей, которых я уже никогда не увижу!! Я предложил Фатьме бежать. Она с удивлением посмотрела на меня, однако же согласилась. Но едва мы успели после двухнедельной работы сплести веревки из одного распоротого дивана, как вдруг ночью диван и веревки исчезли бесследно, пока мы спали. Я бросился головою об стену, Фатьма кинулась передо мною, и я ударился об ее грудь. Я хотел соскочить с террасы, но упал на растянутую сеть, и мощные руки снова отвели меня в мою любовную тюрьму. Фатьма видела все это и становилась с каждым днем все печальнее и печальнее. Я стал раздражителен и начал обращаться с нею грубо. Она все переносила с ангельским терпением и целовала меня за мою дерзость. Это становилось невыносимо. Мне опять принесли ужасную стклянку. Я бросил ее с террасы. Через несколько дней я снова увидел стклянку на выдававшейся части стены. Теперь я взял ее, чтобы отравить самого себя; мысли мои словно были провидены, и стклянка снова исчезла. Я успокоился, и она опять вновь появилась на прежнем месте. Чем более я противился этому искушению, тем чаще мои глаза и мои мысли возвращались к нему... (На лбу рассказчика выступили крупные капли пота. Щеки его горели. Он встал и начал ходить по комнате, шатаясь и натываясь на мебель. Потом он остановился перед мною и посмотрел на меня.)

– Ты, может быть, требуешь, – продолжал он, – чтобы я рассказал тебе, как во мне, наконец, все умерло, все, кроме отвратительного эгоизма, кроме одного чувства – быть свободным. Я возненавидел Фатьму и радовался, видя, что она делается все бледнее и здоровье ее заметно слабеет. Ты требуешь, чтобы я тебе рассказывал все это?..

– Я требую только одного, – отвечал я, – чтобы ты успокоился.

– Ну, хорошо! уж кончу скорее. – Через четыре месяца я разыграл с нею “Kaba1e und Liebe” [75] и влил ей в лимонад яду, – резко вскричал Бернгард. – Когда я увидел ее мертвою, я готов был убить себя, потому что я не в силах был вернуть ее к жизни; меня должны были привести в бесчувственное состояние, чтобы оторвать от ее трупа.

Бернгард снова сел на софу; он тихо плакал; легкие судороги подергивали все его тело. Я вышел и послал за доктором. Бернгард что-то шептал, как бы продолжал рассказ. Я вошел в комнату. Он все еще рассказывал...

– Гассан-Аль-Шид отослал меня на пароход, отправляющийся в Марсель. Капитан должен был запереть меня, потому что я пытался броситься в воду. Наконец, благодаря присмотру, за мною учрежденному, я прибыл из Марселя сюда, – вот и вся моя история.

– А дела же твои в Александрии? – спросил я, чтобы дать другой оборот мыслям Бернгарда.

– Я сейчас только от моего компаньона. Торговый дом пал: разнесся слух, что я в первый же день своего прибытия бежал с одной рабыней. Суд отдал все мое имущество в руки моих товарищей. Обязательств александрийских должников нельзя было доказать; все бумаги, которые привез в Александрию, исчезли, неизвестно куда. Одним словом – я являюсь к тебе нищим и убийцей.

ОПЯТЬ ФРАНЦУЖЕНКА

Доктор приехал и объявил, что Бернгард сильно болен. Маделон, услышав о приезде Бернгарда, тотчас же бросила своего вновь приобретенного друга и явилась с полным самоотвержением ухаживать за “красивым немцем”. Несмотря на весь трагизм рассказа Бернгарда, мне все сдавалось, что с ним разыграли комедию. Я обратился к одному знакомому купцу, который давно жил в Александрии. Он обещал мне воспользоваться всеми своими связями в Александрии, чтобы разъяснить это происшествие. Через несколько месяцев Бернгард совсем поправился, благодаря внимательному уходу Маделон; но тяжелое расположение духа не покидало его. Я не мог вытерпеть и высказал ему мои подозрения. Он грустно покачал головой: “Она умерла и оледенела на моих руках”.

– Есть усыпительные средства, которые производят точно то же действие.

– Если бы даже это было и так, так она все-таки умерла бы от заразительного дыхания такого подлеца, как я, – настаивал Бернгард.

Наконец, пришла желанная весть. С бумагами в руках бросился я в комнату, где Маделон тщетно старалась, коверкая немецкие фразы, вызвать улыбку на бледном лице Бернгарда.

– Фатма жива, – вскричал я. – Гассан-Аль-Шид обманщик; он вошел в стачку с твоими кредиторами и уже арестован. – Бернгард с дикою радостью схватил бумагу и пожирал ее глазами. Потом он упал мне на шею и заплакал от радости. Товарищи Бернгарда добровольно согласились снять запрещение с его имени. Маделон подошла к нам, потрепала Бернгарда по плечу и сделала немецкий книксен: “если я вам когда-нибудь надоем, monsieur, то прошу вас умертвить меня таким же приятным образом”.

* * *

POST-SCRIPTUM. Передавая всю эту анекдотическую историйку, со слов сообщивших ее иностранных газет, еще раз повторяем, что она, конечно, никакими консулами не засвидетельствована, и верить ей, как событию, или глядеть на нее, как на вымысел, каждый может по своему усмотрению. Но если это вымысел, то замечательно, как бесталанно разработана такая живая тема, что “два сердца”, которые, по выражению поэта, “стеною отделены от мира”, не могут быть счастливы, и что труд и наслаждение одно без другого враждебны идее о счастье. Еще, кроме того, замечательна рыхлость и, так сказать, какая-то червивость понятий о любви и ее радостях. В этом маленьком рассказе с переходящею по рукам француженкою автор до приторности напоминает известное стихотворение Гейне: “Трубят голубые гусары”. – “Гусары народец лихой”, – говорит женщине мужчина у Гейне и решает, что ему придется сдавать им свою подругу “на постой”. Но вот снова

Трубят голубые гусары,
И едут из города вон.
И снова с тобой я, голубка,
И розу принес тебе в дом...

Он навестил ее, освободившуюся от постоя, с розою в руках, и нашел, что на постое

Какая же была передряга!..

Гусары – народец лихой

Но это ничему не мешает, ни розе, ни тому, кто после гусарской “передряги” поет:

Опять в этих милых объятях

Сегодня блаженствую я!

Поистине предивны и разнообразны бывают человеческие вкусы и особенно вкусы немецкие!

ПО ВИННОМУ ВОПРОСУ

С – Петербург, воскресенье, 4-го февраля 1862 г

Неужели вы в самом деле верите, что в настоящую минуту только и есть, что два жизненные вопроса: конечная развязка обязательных отношений бывших крепостных крестьян к бывшим своим помещикам и опубликование государственного бюджета на текущий год? Э, полноте: это все газетные выдумки! это теория! мечты, грезы, блажь, знаете, этакая разная! Нет-с, насущный вопрос теперь не об этом, теперь на чреде стоит Олимп с своим Юпитером, откуп вообще и петербургский откуп в особенности. Вопрос о том: to be, or not to be?[76] Устоит ли откуп против провозвещенного уже указа об изменении системы продажи вина или падет под бременем исторически выработанного в народе омерзения к нему? Найдет ли он возможность закабалить какими-нибудь средствами народ к себе в покрутчики, громадным ли забором, сверх обычной пропорции, вина по дешевой цене с тем, чтоб после властвовать безраздельно; помещением ли на вновь учреждаемые должности своих клеветов, с тем чтоб повелевать всеми по-прежнему, или иными путями? Или олимпийством своим он должен поделиться с другими смертными, доселе непричастными откупного юпитерства? Именно ныне и решается судьба некоторых основных условий новой системы продажи вина.

Винный вопрос действительно теперь, по некоторым обстоятельствам, вопрос самый современный. Конечно, он и всегда имел важное значение для всех времен и для всех народов, получив происхождение свое в тумане отдаленной, седой, даже совсем оплешивевшей древности. Не будем трогать памяти библейских патриархов, чтоб из их быта вывести свидетельства и доказательства величия того значения, которое у них имело вино. Возьмем древность не менее отдаленную, но все-таки довольно почтенную. Гениальный, хотя и мифический поэт, существование которого послужило темой для множества весьма ученых изысканий, Гомер, воспевая пиры и богов и героев, прямо указывает нам, что эти разные там греческие герои и троянские генерал-фельдмаршалы, хоть бы какой-нибудь, например, Ахиллес или Агамемнон, отличным манером попивали тогдашнюю специальную, а в особенности бальзамную, изобретения туземных мудрецов и химиков. Существование бальзама – факт неопровержимый. Положим, греки пили вино виноградное, но троянцы, при обилии стад, не могли преминовать, чтоб не выкуривать и грешной сивухи из молока овец, коров и кобылиц. Может быть даже, они и до хлебной водки и до кумышки доходили, хотя, с другой стороны, можно поручиться, что... сохраняя выражение одного достопочтенного суперарбитра... они и “не созрели” для водки из картофеля.

Гомер сохранил нам в своем певучем гекзаметре даже некоторого рода ругательства, которыми... не помню, не то Ахиллес, не то Патрокл отделал какого-то героя. Под ферулою достопочтенного патера Владимира Сергеевича Печерина мы, бывало, долбили наизусть стихи из “Иллиады”, и в эту минуту как будто даже в ушах раздается звонкий гомеровский стих: *ὄλνοβαρές, κυνός ὄμματ' ἔχων κραδίηυ δ' ἑλάφοιο*, то есть “Ах ты, пьянюжка, собачьи глаза, трусишка поганый!”

Так уж если взятие Трои, судьба Елены и гнев Зевеса беспрестанно перемешивались с рассказами о геройских попойках Атридовичей, так как же уж теперь-то, в наши времена, водке не играть первенствующей роли, когда все наши главные капиталисты именно водкою-то и разжились? Кого хотите возьмите для образца. Вот, например, богатейший из золотопромышленников нажился от сивухи; богатейший из домовладельцев вырос на штофах; богатейший из рантьеров, предавшихся неге и роскоши, в кабаке воспитался; богатейший из банкиров вылез из подвальных; богатейший из французских писателей всем обязан единственно кабацким штучкам! Есть, конечно, Крезы, у которых мешки с золотом выудились из бочонков с казенным постным маслом, но ведь такие люди – исключения! Главное основание, так сказать, “гранитное подножие” славы и богатства, составляют или кабацкие операции, или нагревания рук на тепленьких казенных местечках. Иных путей не имелось при отживающей системе откупов.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Из № 19-го нашей газеты читатели наши видели уже, что продажа вина, при теперешней системе, может привести к следующим предположениям и выводам.

Для произращения продукта, из которого у нас гонится вино, потребно целое царство, сплошная область земли почти в 1200000 десятин; из них 800 тысяч десятин для посева ржи и более 350 тысяч десятин для посева картофеля.

Из этой громадной массы продуктов ежегодно приготавливается полугару узаконенной крепости до 60000000 ведер.

Посредством разного рода специальничанья и разбавки полугара живительными струями рек и озер эти 60000000 ведер, вероятно, превращаются в двести миллионов ведер, а этакою массую текучего вещества можно запрудить целую систему иных германских государств и даже произвести своего рода Ноев потоп на благословенной немецкой земле.

За все это терпеливый и выносливый русский народ расплачивается кровными, потовым трудом добытыми грошами, в количестве если не 750, то по меньшей мере 650 миллионов рублей серебром (разом сто миллионов с костей скидаем!).

После скандала и насилия, оглашенного уже всеми газетами, касательно экспромптированного новогоднего сюрприза, трактирщики, кроме отступившего от других г. Вольфа, не уступают пока ни на шаг перед откупом. Но откуп твердо верует, что он трактирщиков сгубит и что они рано или поздно падут ниц перед ним. Но вот теперь какой расчет. Во всех трактирах таксы на все, по милости отсутствия водки, уже сбавлены, и на кушанья, и на чай, и на вина. Публика, мало-помалу, рассчитывает, что теперь можно вместо водки пить херес и особенно портвейн, благо он крепок, и платить за это гораздо дешевле, чем прежде платилось за водку. И публика пьет теперь очень охотно и херес, и портвейн. В тех ресторанах, где до праздников в течение целых суток едва-едва выходило в расход три бутылки виноградного вина, теперь постоянно и ежедневно расходуется более сорока бутылок. Но откуп верует, что все это вздор и что рано ли, поздно ли, но он непременно покорит всякого врага и сопостата!

Ходят слухи про какого-то откупщика, что он уже обеспечил себя на будущее время в питейном деле, имея с 1863 года дирижировать в занятом складе до двух миллионов ведер. Другие откупщики, говорят, забирают тоже страшные количесгва ведер вина на текущие расходы, под предлогом, будто бы народ с радости уже всю годичную пропорцию вина уничтожил. Так как это излишнее, против пропорции, вино берется из казны по той же цене, по какой оно самой ей обошлось, с ничтожною лишь наддачей, то, говорят, что будто бы нынешние откупщики рассчитывают это задешево добытое теперь вино пустить на штучки с будущего 1863 года.

Читателям из № 20-го нашей газеты уже известно, что в минувшем декабре наши смиренные, кроткие и беспрестанно ознаменовывающие свое смирение разными на благо общее пожертвованиями содержатели виннооткупных комиссионерств в великороссийских губерниях подавали министру финансов прошение об отмене изложенной – в § 15 высочайше утвержденных 4-го июля 1861 года правил о переходе к казенному заведыванию питейным сбором – обязанности хранения заготовленного на 1863 год казною вина и ответственности за усушку и утечку, и о предоставлении им права продавать на местах нахождения оставшиеся у них к 1-му января 1863 г. не только водки, пиво и мед, что предоставлено им по § 41 показанных выше правил, но и вино и спирт на общих правилах, предоставленных всем виноторговцам и (по § 63) чарочным откупщикам в привилегированных губерниях, если на них не будет недоимок.

Эта смиренная просьба, одобренная картинами битой стеклянной посуды на многие миллионы, разорением целых откупщицких семейств, выгодами казны, общим довольством и благословениями народа, была, как читатели уже видели, достойным образом отвергнута департаментом разных податей и сборов с разоблачением истины от всех тряпок и побрякушек, какими она была замаскирована.

Департамент разных податей и сборов с некоторого времени пользуется огромным сочувствием всей образованной публики. А давно ли, по примеру того, как люди потешаются над словами “там можно”, потешались они, бывало, и над разными податями и разными сборами? Давно ли миновалось то время, когда откупщики были всеильными повелителями, по мановению которых склонялись через все падежи разные существительные в надежде на прилагательное. Кто из нас не помнит, какое

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
значение имела служба в казенных палатах? Ревизское отделение было недурно: рекрутские наборы вместе со слезами и воплями народа несли радость казенным палатским чиновникам; но питейное отделение – это был совершенно эдем, в котором люди, словно сыр в масле катались! Кто не помнит старинных вице-губернаторов, переименованных потом в председателей казенных палат... Да что вице-губернаторы: столоначальники палаты жили точно так же, как строители и инженеры французских шоссе и железных дорог! По образцам, каковы наши французы Главного общества, посылающие на чужой счет телеграфные депеши к прелестным кузинам или снабжающие себя на чужие деньги разными роялями да драгоценными коврами, мы можем полагать, что есть счастливицы, умеющие жить и дешево и сердито... Так вот что в старину бывало! А теперь такой афронт всем откупным тузам! Опубликование во всех газетах канцелярского делопроизводства, тогда как прежде все, что об откупе писалось, составляло предмет самой строгой канцелярской, чуть-чуть не государственной тайны! Читаем – и глазам не верим! Слышим – и ушам не верим! Вдумываемся в значение факта – и действительно убеждаемся, что верить всему этому довольно трудно. Масса откупщиков сильна, очень сильна. Она добром не уступит. И что ей закон, когда она, в былое время, могла обходить его по собственному усмотрению? Отказ департамента податей не пройдет ему даром. Будут пущены в ход все возможные интриги, чтобы осилить и пересилить ту силу, которая не дает откупу по-прежнему насильствовать и разорять народ, деморализируя его разными неправдами. Да и кому из отъевшихся на даровом хлебе придет охота расстаться с тепленьким местечком и с независимым положением из-за какой-нибудь отвлеченной идеи, ради принципа?!

ПО ПОВОДУ ЗАМЕТКИ “НАШЕГО ВРЕМЕНИ” О ВОЛОНТЕРНЫХ ПОЖАРНЫХ КОМАНДАХ

С.-Петербург, понедельник, 4-го июня 1862 г

Мы только что получили субботний, 116-й номер “Нашего времени”. Его заметка по поводу предложенных в “Северной пчеле” волонтерных пожарных команд не могла не удивить нас совершенно неожиданным оборотом, который придает она этому предложению.

Автор упомянутой статьи г. Славутинский не то что опровергает и перетолковывает предложение, высказанное в первом письме А. Б., но придает ему такой смысл, против которого мы спешим протестовать самым энергическим образом, предупреждая в этом отношении нашего корреспондента, но защищая этим его мысль, совершенно искаженную г. Славутинским.

“Вообще нам кажется, – говорит г. Славутинский, – что при таком положении, в каком находится теперь Петербург, ему надобны всего более действительные меры к охранению от пожаров, к отвращению злоумышленных попыток нарушить общественное спокойствие”.

До сих пор – ничего. Можно бы подумать, что “Наше время” после того, что оно сказало в начале заметки о предложении А. Б., само одобряет устройство пожарных команд из волонтеров.

Но слушайте дальше: “А для того в высшей степени желательно, чтобы все люди, которым есть что терять от пожаров, и все вообще те, которые имеют право служить обществу в минуты угрожающей ему опасности, соединили свои силы для двух вышеозначенных целей”. Для каких же двух целей? Если бы г. Славутинский, до написания своей статьи, читал второе письмо А. Б., напечатанное в субботнем номере “Северной пчелы”, то можно бы подумать, что он говорит о предлагаемых в этом письме мерах для предупреждения и для тушения пожаров. Но ясно, что статья в “Нашем времени” написана после первого письма А. Б. и что под “двумя вышеозначенными целями” г. Славутинский понимает “действительные меры к охранению от пожаров и к отвращению злоумышленных попыток нарушить общественное спокойствие”. Не понимаем, почему г. Славутинский, если он действительно полагает, что обществу следует взять на себя обе эти обязанности, не счел нужным ясно отделить их друг от друга посредством союза и, как мы это только что сделали! И “Северная пчела”, и А. Б. предлагают устройство волонтерных команд “для принятия действительных мер к охранению от пожаров”, но не “для отвращения злоумышленных попыток нарушить общественное спокойствие”, по крайней мере, не в том смысле, в каком понимает это “отвращение” “Наше время”, когда оно говорит в той же статье: “При доброй воле, при дружных усилиях исполнить это не трудно; эти дружные усилия неминуемо должны изощрять взор людей, наблюдающих за охранением общественного спокойствия, и указать, наконец, откуда и от кого можно ожидать опасности”. Напротив, мы думаем, что “указать, откуда и от кого можно ждать опасности”, дело не волонтеров, не петербургских жителей вообще, а дело

полиции; предполагаемые волонтеры будут помогать хозяевам горящих домов в спасении их имущества и будут сменять уставших и истощенных солдат при пожарных трубах; но принимать на себя обязанность полицейских агентов они не могут и не должны.

Что петербургская полиция без посторонней помощи вполне достаточна в этом отношении и удовлетворяет всем возложенным на нее обязанностям по этой части, видно уже из известия, напечатанного по распоряжению правительства во вчерашнем номере нашей газеты. Социалистические толки, происходившие в артелях на Петербургской и Выборгской сторонах, сейчас же дошли до сведения полиции и доказывают, что в своих действиях чисто полицейских она вовсе не нуждается в помощи со стороны общества.

ПО ПОВОДУ КРЕЙЦЕРОВОЙ СОНАТЫ

Всякая девушка нравственно выше мужчины, потому что несравненно его чище. Девушка, выходя замуж, всегда выше своего мужа. Она выше его и девушкой, и становясь женщиной в нашем быту.

Л. Толстой.

I

Хоронили Федора Михайловича Достоевского. День был суровый и пасмурный. Я в этот день был нездоров и с большим над собою усилием проводил гроб до ворот Невского монастыря. В воротах произошла большая давка. В тесноте раздались стоны и крики. Драматург Аверкиев показался на возвышении над толпою и что-то кричал. Голос у него был громкий, но разобрать слов было невозможно. Одни говорили, что он учреждает порядок, и хвалили его за это, а другие на него сердились. Я остался в числе тех, которых не пропустили в ограду, и, не видя цели оставаться здесь долее, возвратился домой, выпил теплого чаю и уснул. От холода и разнородных впечатлений я чувствовал себя очень уставшим и спал так крепко и долго, что не встал к обеду. Обедать мне в этот день так и не пришлось есть, потому что к сумме разнородных впечатлений неожиданно прибавилось еще одно новое, весьма меня взволновавшее.

В густые сумерки меня разбудила моя девушка, сказав мне, что ко мне пришла какая-то незнакомая дама и не хочет уходить, а настойчиво просит, чтобы я ее принял. Дамские посещения к нашему брату, пожилому писателю, вещь довольно обыкновенная. Немало девиц и дам ходят к нам просить советов для их литературных опытов или ищут у нас какого-нибудь содействия в устройстве их дел с незнакомыми редакциями. Поэтому приход дамы и даже ее настойчивость меня несколько не удивили. Когда горе велико, а нужда неотступчива – не мудрено сделаться и настойчивым.

Я сказал девушке, чтобы она попросила даму в кабинет, и сам стал приводить себя в порядок. Когда я вошел в свой кабинет, на большом столе была зажжена моя рабочая лампа. Она сильно освещала стол, но комната оставалась в полумраке. Незнакомая дама, сделавшая мне на этот раз визит, была мне действительно незнакома.

Когда я отыскал ее глазами и хотел ее просить сесть в кресло, мне показалось, что она как будто избегает освещенных мест комнаты и старается держаться в тени. Это меня удивило. Особы, мало застенчивые, неопытные, иногда церемонятся и стесняются таким же образом, но удивительнее всего мне показалось ажитированное состояние этой дамы, которое мне как-то чувствовалось и сообщалось. Она была одета прекрасно, скромно, на ней было все дорогое и изящное: прекрасное плюшевое пальто, которое она не сняла в прихожей и в котором оставалась все время, пока говорила со мной; черная изящная шляпочка, очевидно парижской модели, а не русского производства, и черная вуалетка, сложенная вдвое и завязанная назади так, что я мог видеть только белый круглый подбородок и иногда сверкание глаз сквозь двойную сетку вуали. Вместо того чтобы назвать себя и сказать цель своего прихода, она начала с того, что сказала мне:

– Могу ли я рассчитывать на то, что вам нет никакого дела до моего имени?

Я отвечал ей, что она на это вполне может рассчитывать. Тогда она попросила меня сесть в кресло перед лампой, бесцеремонно подвинула зеленый тафтяной кружок на абажуре лампы так, что весь свет падал на меня и затемнял ее лицо, и сама села по другой бок стола и снова спросила:

– Вы одинокий?

Я отвечал ей, что она не ошибается: я – одинокий...

– Могу ли я говорить с вами совершенно откровенно?

Я отвечал ей, что если она питает ко мне доверие, то я не вижу, что мешает говорить так, как ей угодно.

– Мы здесь одни?

– Совершенно одни.

Дама встала и сделала два шага по направлению к другой комнате, где помещалась моя библиотека, и за нею – спальня. В библиотеке в это время горел матовый фонарь, при котором можно было видеть всю комнату. Я не тронулся с места, но сказал для успокоения дамы, что она видит, что у меня нет никого, кроме прислуги и маленькой сиротки, которая не может играть никакой роли в ее соображениях. Тогда она села снова на свое место, снова подвинула зеленый кружок и сказала:

– Вы меня извините, я в большом возбуждении... и мое поведение может показаться странным, но имейте ко мне сострадание!

Рука ее, которая протягивалась опять к тафтяному кружку на лампе, была обтянута в черную лайковую перчатку и сильно дрожала. Вместо ответа я предложил ей выпить воды. Она меня удержала и сказала:

– Это не нужно, я не так нервна, я пришла к вам потому, что эти похороны... эти цепи... этот человек, который производил на меня такое необыкновенно сильное, ломающее впечатление, это лицо и воспоминание обо всем, что мне приходилось два раза в жизни рассказывать, перепутало все мои мысли. Вы не должны удивляться тому, что я пришла к вам. Я расскажу вам, почему я это сделала, – это ничего, что мы с вами не знакомы: я вас читала много, и многое мне было так симпатично, так близко, что теперь я не могу отказать себе в потребности, чтоб говорить с вами. Может быть, то, что я задумала сделать, есть величайшая глупость. Я хочу прежде спросить вас об этом, и вы должны отвечать искренно. Что вы мне посоветуете, я и сделаю.

Ее контральтовый голос дрожал, и руки, которым она не находила места, трепетали.

II

Посещения и приступы в таком роде в течение моей литературной жизни бывали хоть не часто, но бывали.

Более свойственны они были людям с политическим темпераментом, которых успокаивать довольно трудно, а помогать вдвойне рискованно и неприятно, тем более что в этих случаях всегда почти не знаешь, с кем имеешь дело. На этот раз мне прежде всего пришло в голову, что эта дама также обуреваема политическими страстями, что у нее есть какой-нибудь замысел, который, по несчастию, пришло в голову мне доверить; вступление ее беседы имело много похожего на это, и потому я неохотно сказал ей:

– Не знаю, о чем вы будете говорить. Я ничего не смею обещать вам, но затем, если личные чувства ваши привели вас ко мне по доверию, которое внушает вам моя жизнь и репутация, то я ни в каком случае не нарушу того, что вы хотите мне передать, очевидно, как тайну.

– Да, – сказала она, – как тайну, как совершенную тайну, и я уверена, что вы ее сохраните. Мне нет нужды повторять вам, почему ее надо сохранить; я знаю, что вы чувствуете, я не могу так ошибаться: лицо ваше мне говорит лучше всяких слов, и при этом для меня нет выбора. Повторяю вам, я готова сделать поступок, который одну минуту представляется мне честным и сейчас же представляется мне грубостью: выбор должен быть сделан сейчас, сию минуту, и это зависит от вас.

Я не сомневался, что вслед за этим последует откровение политического характера, и неохотно сказал:

– Я вас слушаю.

Несмотря на двойную вуаль, я чувствовал на себе пристальный взгляд моей гостьи, которая глядела на меня в упор и твердо проговорила:

– Я неверная жена! Я изменяю моему мужу.

К стыду моему должен сказать, что с сердца моего при этом открытии спала великая тяжесть; о политике, очевидно, не было и помину.

– Я изменяю прекрасному, доброму мужу; это продолжается шесть... больше!.. – я должна сказать правду, иначе не стоит говорить: это продолжается восемь лет... и продолжается... или нет, это началось с третьего месяца брака; позорнее этого нет ничего на свете! Я не стара, но у меня дети, вы понимаете?

Я качнул утвердительно головой.

– Вы понимаете, что это значит. Два раза в жизни, как к вам, я приходила к тому... кого мы хоронили и чья смерть меня всю переброила, призналась ему в своих чувствах; он был раз со мной груб, другой – нежен, как друг. Как это... не похоже на то состояние, в котором я к нему приходила, и, наконец, я хочу, чтобы вы мне дали тот совет, который мне нужен. Хуже всего в жизни обман, я это чувствую, мне кажется, лучше открыть свою гадость, перенести наказание и быть униженной, разбитой, выброшенной на мостовую, – я не знаю, что может со мной случиться... я чувствую непреодолимую потребность прийти и все рассказать моему мужу; я чувствую эту потребность шесть лет. Между началом моего преступления прошло два года, в которые я не видала... того; затем это началось снова и идет по-прежнему... шесть лет я собиралась сказать и не сказала, а теперь, когда я шла за гробом Достоевского, мне захотелось кончить это, кончить сегодня так, как вы мне посоветуете.

Я молчал, потому что ничего не понимал в этой истории и не мог дать решительно никакого совета; она это уловила на моем лице.

– Вы, конечно, должны знать более, я пришла не затем, чтобы играть в загадки, – а говорить, так говорить все. Дело в том, что я бесстыдно лгала бы, если бы стала себя оправдывать. Я не знала никогда никакой нужды, я родилась в достатке и живу в достатке. Природа не отказала мне в доле рассудка, мне дали хорошее образование, я была свободна делать свой супружеский выбор, следовательно, говорить не о чем; я вышла замуж за человека, который ничем не испортил своей репутации до этой минуты, напротив... Мое положение было прекрасно, когда этот человек... то есть я хочу вам сказать: мой муж, мой законный муж... сделал мне предложение. Мне казалось, что он мне нравится, я думала, что могу его любить, но во всяком случае не думала, что я могу ему изменить, тем более изменить самым подлым, самым гнусным образом и пользоваться репутацией честной женщины и хорошей матери, так как я не честная и, должно быть, гадкая мать, а измену принес мне сам дьявол, – если хотите, я верю в дьявола... В жизни очень много зависит от обстоятельств; говорят – в городах грязь, в деревнях чистота; в деревне именно и случилось, потому что я была одна с глазу на глаз с этим человеком, с этим проклятым человеком, которого привез и оставил на моем попечении сам муж мой. Я должна бы каяться, если не бесполезно раскаяние, я должна бы каяться бесконечно за этот поступок, которым обязана моему мужу, но дело в том, что я не помню этого момента, я помню только грозу, страшную грозу, которой я всегда боялась с детства. Я тогда его не любила, мне просто было страшно, и когда нас озаряла молния в огромной зале, я с испугу взяла его руку... и я снова не помню, потом это продолжалось... потом он ходил в кругосветное плавание, вернулся, и это опять началось: теперь я хочу, чтобы это кончилось, и на этот раз навсегда. Я этого хотела не один раз, но на это мне никогда не доставало воли, чтобы это выдержать. Решение, которое я принимала, совершенно улетучивалось через час при его появлении, и, что хуже всего, – я ничего не хочу скрывать, – не он, а я сама была причиной, я сама, понимаете, я сама высказывала, и достигала, и злилась, если достичь этого мне было трудно, – и если я буду продолжать так дальше, то обман, мое унижение никогда не кончатся...

– Что же вы хотите сделать? – спросил я.

– Я хочу все открыть моему мужу, и хочу непременно сделать это сегодня, вот как выйду от вас и приду домой...

Я спросил, каков ее муж и что представляет собою его характер.

– Мой муж, – отвечала дама, – пользуется лучшей репутацией, у него хорошее место и достаточно средств; все считают его честным и благородным человеком.

– Вы это мнение разделяете? – спросил я.

– Не совсем, ему слишком много приписывают; он слишком даровит и порядочен, в нем мало того, что принято называть сердцем, как ни глупо это название, напоминающее так называемую душу музыки, но я другого не могу сказать; его сердечные движения все правильны, определены, точны и разнообразны.

– А тот, кого вы любите...

– Что вы хотите о нем сказать?

– Он вам внушает уважение?

– О! – воскликнула дама и махнула рукой.

– Я не совсем понимаю, что должен думать по этому движению?

– Вы должны думать, что это самый бессердечный и дрянной эгоист, который никому не внушает и даже не заботится внушать какое бы то ни было уважение.

– Вы его любите?

Она сдвинула плечами и сказала:

– Люблю. Это, знаете, странное слово, которое у каждого на губах, но очень немногие его понимают. Любить – все равно что быть предназначенной к поэзии, к праведности. На это чувство способны очень немногие. Крестьянки наши вместо слова любить употребляют слово жалеть; они не говорят: он меня любит; они говорят: он меня жалеет. Это, по-моему, гораздо лучше, и тут больше простого определения; слово любить-жалеть значит: любить в обыденном смысле. А то есть желать; говорят: мой желанный, мой милый, желанный... понимаете, – желать...

Она остановилась, тяжело дыша; я ей подал стакан воды, который она приняла на этот раз из моих рук, не устранилась, и, кажется, была очень благодарна, что я не всматривался в нее.

Мы оба молчали; я не знал, что говорить, и у нее иссяк весь поток откровенности. Очевидно, она высказала все, что было крупного, и далее мелькали уже детали. Она точно угадала мою мысль и сказала тихим голосом:

– Так вот, если вы скажете мне, что я должна сказать это мужу, – я так и сделаю; но, может быть, вы можете сказать мне что-нибудь другое? Кроме того, что мне внушает симпатию и доверие к вам, в вас есть практицизм, я ваша внимательная читательница; мы, женщины, чувствуем то, чего не чувствуют присяжные критики. Вы можете, если хотите, сказать ваше искреннее слово: должна или нет я прийти и открыть мой позорный и долговременный грех моему мужу.

III

Несмотря на занимательность истории, я чувствовал тяжелое свое положение. Хотя такой ответ, какой требовала моя гостья, дать гораздо легче, чем успокоить политического деятеля или оказать ему требуемую им услугу, но тем не менее совесть моя чувствовала себя призванной к очень серьезному делу. Я достаточно жил и достаточно видел женщин, искусно скрывавших свои грехи в этом же роде или не скрывавших, но не сознававшихся в них. Я видел также двух-трех откровенных женщин и помнил, что они мне всегда казались не столько искренними, сколько жестокими и аффектированными. Мне всегда казалось, что всей этой откровенностью женщина могла бы повременить и, прежде чем объявить о своем преступлении тому, кого это может заставить сильно страдать, хорошенько пораздумать. Мне никогда не было дела до того, как относится к чьей бы то ни было внутренней жизни свет. Не свет, а лично человек – вот кто дорог мне, и если можно не вызывать страдание, зачем вызывать его; если женщина такой же совершенно человек, как мужчина, такой же равноправный член общества и ей доступны все те же самые ощущения, то человеческое чувство, которое доступно мужчине, как это дает понять Христос, как

это говорили лучшие люди нашего века, как теперь говорит Лев Толстой и в чем я чувствую неопровержимую истину, – то почему мужчина, нарушивший завет целомудрия перед женщиной, которой он обязан верностью, молчит, молчит об этом, чувствуя свой проступок, иногда успеваешь заглазить достоинство своих увлечений, то почему же это самое не может сделать женщина? Я уверен, что она это может. Нет никакого сомнения, что число мужчин, изменяющих женщинам, превышает число женщин, и женщины это знают; нет ни одной или почти ни одной рассудительной женщины, которая после более или менее долгой разлуки с мужем питала бы уверенность, что во все время этой разлуки муж остался ей верен. Но тем не менее по возвращении его она ему прощает столь великодушно, что прощение ее выражается в том, что она его об этом даже не спрашивает, и откровенность эта была бы для нее не одолжением, а горем; это был бы поступок, который обнаружил то, чего она не хочет знать. В этом неведении она находит силу продолжать свои отношения, как будто они были прерваны нечаянно. Я сознаю, что в мои соображения входит гораздо больше практицизма, чем отвлеченной философии и возвышенной морали, но тем не менее я склонен так думать, как думаю.

В этом направлении я продолжал беседу с моею гостьей и спросил ее:

– Дурные свойства человека, которого вы любите, внушают к нему какое-нибудь неуважение?

– Очень сильное и очень постоянное.

– Но вы стараетесь иногда его оправдывать.

– К сожалению, это невозможно: для него нет никаких оправданий.

– Тогда я позволю себе спросить: что же, ваше негодование к нему, пребывает ли оно постоянно в одном положении или оно иногда ослабевает, иногда усиливается?

– Оно постоянно усиливается.

– Теперь я спрошу вас, – вы ведь позволяете мне спрашивать?

– Пожалуйста.

– В эту минуту, когда вы сидите у меня, где ваш супруг?

– Дома.

– Что он делает?

– Спит в своем кабинете.

– И затем, когда он встанет?

– Он встанет в восемь часов.

– И что он будет делать?

Гостья улыбнулась.

– Он умоется, он наденет пиджак, пройдет к детям и будет играть полчаса на биксе, потом подадут самовар, из которого я налью ему стакан чаю.

– Вот, – сказал я, – стакан чаю, самовар и домашняя лампа – это прекрасные вещи, около которых мы группируемся.

– Прекрасно сказано.

– И это проходит более или менее – приятно?

– Да, для него, я думаю.

– Извините меня, в этом деле, которое вам угодно было раскрыть мне, он один имеет право, чтобы о нем подумать, – не дети, которые могут и должны даже этого никогда не знать, и уж, конечно, не вы... Да, не вы, потому что вы нанесли ему

страдание, между тем он – лицо пострадавшее. Поэтому об нем надо подумать, чтобы он не страдал, и представьте себе, вместо того чтобы он, по обыкновению отпив чай и, может быть, с уважением поцеловав вашу руку...

– Ну-с?

– И потом, когда он пойдет заняться делами... потом поужинает и спокойно пожелает вам доброй ночи, – вместо всего этого он услышит ваше открытие, из которого узнает, что вся его жизнь с первого месяца или даже с первого дня супружества поставлена в такую бессмысленную рамку. Скажите мне, добро или зло вы ему этим сделаете?

– Не знаю; если бы я это знала, если бы я могла это решить, то я не была бы здесь и не разговаривала об этом. Я у вас спрашиваю совета, как мне поступить?

– Совета я вам дать не могу, но я могу сказать мнение, которое во мне складывается. Однако для того, чтобы оно имело в моих глазах определенную форму, я еще позволю себе предложить вам один вопрос... Чувства никогда не пребывают в человеке в одном и том же положении... Ваше нерасположение к тому ослабевает?..

– Нет, оно обостряется!

Она воскликнула это с болью в сердце и даже как будто привстала и хотела отстраниться от чего-то, что я видел в моем воображении. Несмотря на то, что мне не видно было ее лица, я чувствовал, что она ужасно страдает и страдание это дозрело до такой степени, что не могло оставаться дольше без развязки.

– Следовательно, – сказал я, – вы осуждаете его всё строже и строже...

– Да, чаще и чаще...

– Прекрасно, – сказал я, – теперь я позволю себе сказать вам, что я считал бы благоразумным, чтобы вы, возвратившись домой, сели к вашему самовару так, как вы садились к нему прежде.

Она слушала молча; глаза ее были устремлены на меня, и я видел их сверкание сквозь вуалетку, слышал, как громко и учащенно билось ее сердце.

– Вы мне советуете продолжать мою скрытность?

– Не советую, но думаю, что так будет лучше для вас, для него и для ваших детей, которые во всяком случае ваши дети.

– Да почему лучше? Значит, тянуть бесконечно!

– Лучше потому, что при откровенности все было бы хуже, и бесконечность, о которой вы говорите, сказала бы еще печальнее того, о чем вы думаете.

– Моя душа очистилась бы страданием.

Мне казалось, что я вижу ее душу: это была душа живая, порывистая, но не из тех душ, которых очищает страдание. Потому я ничего не ответил о ее душе и снова упомянул о детях.

Она заломила обе руки так, что пальцы ее хрустнули, и тихо поникла головой.

– и какой же будет конец этой моей эпопее?

– Хороший.

– На что вы надеетесь?

– На то, что человек, которого вы любите или, по вашим словам, не любите, а с которым вы свыклись... станет вам день ото дня ненавистнее.

– Ах! он мне и так ненавистен!

– Будет еще больше, и тогда...

- Я вас понимаю.
- Я очень счастлив.
- Вы хотите, чтобы я его бросила молча?
- Я думаю, что это был бы самый счастливый исход из вашего горя.
- Да, и потом...
- И потом вы... возвратите...
- Возвратить ничего невозможно.
- Виноват, я хотел сказать, вы удвойте вашу заботливость о вашем муже и о вашей семье; это даст вам силу не забыть, а сохранить прошлое и найти достаточно поводов жить для других.

Она встала – неожиданно встала, еще глубже опустила свою вуалетку, протянула мне руку и сказала:

– Благодарю, я довольна тем, что послушала своего внутреннего чувства, которое сказало мне прийти к вам после того, как меня взволновало ужасное впечатление похорон; я оттуда вернулась как сумасшедшая, и как хорошо, что я не сделала всего того, что хотела сделать. Прощайте! – она подала мне опять руку и крепко пожала мою, как бы с тем, чтобы остановить меня на том месте, где мы находились. Затем она поклонилась и вышла.

IV

Повторяю, что лица этой женщины я не видел; по одному подбородку и под вуалью, как под маской, о ее лице судить было трудно, но по фигуре ее у меня составилось понятие о ее грации, несмотря на ее плюшевое пальто и шляпку. Говорю, это была фигура изящная, легкая, необыкновенно живая и необыкновенно сильно врезавшаяся в мою память.

До сих пор я этой дамы никогда нигде не встречал и по голосу ее думаю, что она не была мне знакома. Говорила она своим непритворным голосом, легким, грудным контральто, очень приятным; манеры ее были изящны, и можно было бы принять ее за женщину светского круга, и, еще вернее, высшего чиновничьего круга, за жену директора или вице-директора департамента или в этом роде; одним словом, эта дама была для меня незнакома и осталась незнакомою.

После похорон Достоевского и рассказанного мною события прошло три года. Я зимой заболел и весной отправился на воды за границу; до вокзала железной дороги меня сопровождал приятель и одна моя родственница; мы ехали в коляске; с нами были мои дорожные вещи. Проезжая по одной из улиц, прилегающих к Невскому проспекту, на одном из поворотов, у подъезда большого казенного дома, я увидел даму; мгновенно, несмотря на мою близорукость, я признал в ней мою незнакомку. Я вовсе не был приготовлен к этому, вовсе о ней не думал, и потому поразительное сходство меня сильно удивило; у меня мелькнула глупая мысль встать, подойти к ней, остановить, о чем-то спросить, но так как со мною были посторонние лица, то я, к счастью моему, этого не сделал, и воскликнул:

– Боже мой, это она! – и этим дал моим спутникам повод посмеяться.

На самом деле это была она; вот как это открылось. По обычаю всех русских или большинства русских, я выбрал кружный путь; прежде всего заехал в Париж и пил воды в июле и затем только в августе появился там, где мне следовало быть в июне; скоро я ознакомился с большинством других лечившихся русских и всех почти знал, так что прибытие всякого нового лица мне было заметно.

И вот однажды, когда я сидел на скамейке парка, по которому проходит дорога, ведущая к вокзалу, я увидел коляску, в которой помещались: мужчина в светлом пальто и шляпе и дама в вуали, а перед ними сидел мальчик лет девяти.

И опять со мной случилось то же самое, что было при выезде из Петербурга.

– Боже мой, это она!

Действительно, это была она.

На другой же день в ресторане парка за кофейным столиком я увидел ее благообразного, но испитого мужа и ее необыкновенно красивого ребенка. Мальчик был несколько цыганского типа, смуглый, с черными локонами и с большими совершенно голубыми глазами.

Я допустил себе маленькую наглость: подкупил гарсона, чтобы он устроил столик поближе к даме; я хотел рассмотреть ее лицо.

Она была хорошенькая, с довольно приятным, мягким, но мало значительным выражением; она меня, без сомнения, узнала, два или три раза она старалась повернуться на своем стуле так, чтобы мне неловко было рассмотреть, но потом встала, остановилась возле одной моей знакомой дамы, поговорила с нею, отошла в сторону и возвратилась к мужу.

Вечером за послеобеденным кофе на одном из сборных концертов моя знакомая дама, к которой подходила новая гостья, сказала мне, что она желает меня представить г-же Н., которая в эту минуту мимо нас проходила, и представление было сейчас же исполнено. Я сказал ей обыкновенную фразу, на которую она ответила также обыкновенными словами, но в этих словах, в этом голосе, в этой манере я узнал ее; это несомненно была она, и она была настоль умна, что поняла, что я ее узнал, решила не скрываться и сделаться знакомой; она могла рассчитывать на мою порядочность, на слова, которые она мне тогда говорила...

С тех пор мы стали видеться, и мы даже несколько раз делали экскурсии со знакомыми дамами и ее сыном. Муж ее как-то не любил поездок, у него болело колено, он прихрамывал, и притом, не могу разобрать, что с ним происходило: не то он тяготился женой, не то даже желал быть свободен, приволокнуться за одну или даже, может быть, не за одну из приехавших дам сомнительных репутаций. Но при всех наших встречах и разговорах она никогда не сказала и не намекнула, что у меня была или что мы когда-нибудь виделись раньше: только я прекрасно чувствовал, что она и я считаем за несомненное, что мы друг друга понимаем. И вдруг среди этого положения представился совершенно непредвиденный случай.

В одно прелестное время поутру она не явилась сопровождать мужа к источнику: он был к кофе один и сказал, что их Анатолий недомогает, что мать не помнит себя от горя.

В восемь часов вечера мой портье сообщил мне страшную новость, что в отеле таком-то умер ребенок от дифтерита; это, конечно, был сын моей незнакомки.

Я не принадлежу к числу людей слишком осторожных и потому тотчас же взял мою шляпу и отправился в этот отель; мне почему-то казалось, что муж ее слишком безучастно к этому относится; если этот дифтеритный ребенок есть ее сын, то, может быть, моя помощь или какое-нибудь участие на что-нибудь пригодится.

Когда я вошел в отель, где занимала она номер... никогда не забуду того, что я увидел. Там было всего две комнаты: в первой, где была гостиная мебель, обитая красным плюшем, стояла моя незнакомка, с распущенными волосами, с остолбеневшими глазами; она держала обе руки с растопыренными пальцами, защищая собою диванчик, на котором лежало что-то, покрытое белой простыней; из-под этой простыни была видна одна небольшая синяя нога; это был он – мертвец Анатолий. У двери стояли два незнакомых мне человека в серых пальто, перед ними был ящик, не гроб, а ящик, вроде большого свечного ящика, в аршина два глубиною, до половины налитый чем-то белым, что мне показалось сначала молоком или крахмалом; спереди их стоял полицейский комиссар и бюргер с каким-то значком; они говорили громко; мужа дамы не было дома, она была одна, она только спорила, защищалась и, увидев меня, воскликнула:

– Боже мой! защитите, помогите! Они хотят взять ребенка, они не дают похоронить его; он умер сию минуту.

Я хотел заступиться, но это было совершенно бесполезно, даже если бы у нас была сила одолеть четырех человек, которые без всякой церемонии и довольно грубо бросили ее в другую комнату и закрыли дверь, в которую она напрасно с страшным

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
стоном стучала кулаками. В это время взяли ребенка, который был таким цветущим, опустили его в раствор извести, тотчас схватили ящик и быстро удалились.

У

В небольших купальных местах и городках страшно не любят смертных случаев. Содержатели отелей и меблированных квартир всемерно избегают таких жильцов, здоровье которых заставляет опасаться скорой смерти.

Ни в одном из этих городов не допускают погребальных процессий, и если случится покойник, то его скрывают от всех посторонних, вывозят по железной дороге решительно без всякого погребального обряда.

Заразные болезни с смертельным исходом случаются очень редко, и в той местности, где умер сын моей знакомой, это был первый случай, и весть об этом распространилась между публикой с невероятной быстротой и произвела страшный испуг, особенно между дамами. Местные врачи, составляющие в таких городках самое важное правящее сословие, старались успокоить возбужденные умы и, превосходя в этом усердии друг друга, перессорились и разделились на два лагеря: одни, к числу которых принадлежали и пользовавшие ребенка два консультанта, не отрицали, что причиной смерти ребенка был настоящий дифтерит, но что против заразы приняты были ими все меры, что входили к нему в особом платье и что, выходя, себя тщательно дезинфицировали; двое даже из них обрились, чтобы доказать, как они серьезно относятся к делу. Другие же, в несравненно большем числе, говорили, что случай был довольно сомнительный, даже с достаточными противопоказаниями, и обвиняли своих коллег в неосторожном преувеличении болезни мальчика, от чего произошел большой и напрасный переполох, нарушивший спокойствие больных и угрожающий более всего экономическим интересам местных обывателей. Эта же вторая медицинская фракция неодобрительно отзывалась о представителях городской власти, которые чрезвычайно грубо и резко обошлись с госпожою Н., у которой они вырвали ребенка с разбойническим насилием чуть-чуть не в минуту смерти и утопили в известке, может быть ранее, чем у него угасли последние искры жизни. Указанием на эту грубость доктора хотели отвлечь внимание публики от себя и направить его на других лиц, поведение которых, в самом деле, представляло большую резкость; но это не удалось. Эгоизм человеческий в минуту опасности становится особенно отвратительным, и в публике совсем не находилось людей, которые обнаружили бы достаточно внимания к положению несчастной матери. Уж если дифтерит, так церемониться нечего, и чем власти поступили решительнее и тверже, тем лучше. Нельзя же, в самом деле, подвергать других опасности! Интересовались только тем: куда был выслан ящик с опасным покойником? И сведения на этот счет получились довольно успокоительные. Ящик был отвезен в черное болото, из которого прежде добывали лечебную грязь для ванн. Теперь в это болото ящик был спущен и в одной из его глубоких колдобин затоплен, завален камнями и снова еще раз залит известкой. Решительнее и аккуратнее распорядиться заразным трупом, казалось, было невозможно; но затем началась расправа с отелем, из которого почти все население разбежалось и остались только бедняки, которые были не в состоянии позволить себе такую роскошь, чтобы бросить оплаченную вперед за месяц квартиру. Надо было дезинфицировать весь отель или по крайней мере те апартаменты, которые занимало семейство Н., и прилежащее к ним по бокам помещение; надо было тоже дезинфицировать коридор, по которому бегал мальчик, и угол столовой, в которой семейство Н. вместе кушало. Все это представляло очень значительный денежный счет, если не ошибаюсь, свыше трехсот гульденов, так как мягкую мебель трех апартаментов признано необходимым сжечь всю дотла, в остальных же помещениях переменить гардины, ковры и портьеры и заменить их новыми. По этому поводу г-ну Н. были предъявлены со стороны содержателя отеля денежные требования, а представители города поддерживали права содержателя отеля, который, несмотря на требуемое вознаграждение, все-таки останется в убытке от случившегося происшествия, так как в отеле его множество помещений будут пустовать весь сезон и на будущее время хозяин рискует потерять клиентуру у большого числа посетителей, до которых дойдет известие, что здесь был дифтеритный случай.

Этого рода претензии были новы для посетителей, и всех занимало, как это дело кончится. Одни находили, что это требование придирчиво, другие же находили его правильным, хотя чрезмерным; об этом повсеместно говорили, и г-н Н. стал интересным человеком. Но удивительно, что его не боялись. К нему подходили, так как известно было, что он, как больной человек, вышел из своего номера тотчас же, как обнаружилась болезнь, и не возвращался туда до смерти сына. О жене его не спрашивали, и ее не было видно в течение нескольких дней. Думали, что она куда-то уехала или же нездорова. Сам же г-н Н. представлял большой интерес для

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

людей, интересовавшихся иностранными порядками. Г-н Н. всякий день рассказывал, какие к нему предъявляют требования и что он на эти требования отвечает. Он не отрицал, что хозяин отеля потерпел убытки и что смерть ребенка действительно в этом случае была причиной этих убытков, но отрицал право произвольного наложения на него платежа и не хотел ничего заплатить без суда.

– Положим, – говорил он, – я и должен заплатить, но мне это должно быть доказано не каким-нибудь комиссаром и тремя мещанами, а доказано формальным судом, которому я могу подчиняться. И кроме того, что значит такой приговор: заплатить. Хорошо, если я имею чем заплатить. Пусть берут мой чемодан, и ничего больше. Вот ежели бы на моем месте был бедняк, я полагаю, с ним нечего было бы и толковать.

И все были заняты мозаикой этого вопроса, и около господина Н. постоянно собирались кружки, которые рассуждали о его правах и окружающих неприятностях. Дело, однако, скоро уладилось как-то мирно: город не захотел доводить дело до настоящего суда, так как при этом разговор о дифтеритном случае сделался бы еще более известным, а порешили покончить дело мировой сделкой, по которой г-н Н. должен был заплатить тот счет, который представят дезинфекционные подрядчики. Тем бы дело и кончилось, но тогда вдруг произошло новое событие: г-жа Н., проведя восемь дней в большом номере отеля, каждый день ходила к болоту, в которое бросили ящик с телом ее ребенка, и на девятый день из этого путешествия не возвратилась. Ее напрасно искали: никто не видел ее ни в лесу, ни в парке; она не заходила ни к кому из своих знакомых, не пила чаю ни в одном ресторане, а просто исчезла, и с нею исчезли чугунные гири, которыми муж ее делал комнатную гимнастику. Ее напрасно искали три или четыре дня, и потом стали высказывать подозрение, что она, вероятно, утопилась в том же болоте – что потом, говорят, и было доказано, но труп ее, поднявшийся будто к поверхности, был снова засосан болотом. Так она и погибла.

Это было происшествие очень замечательное по своему трагизму, по той тишине, с какой все это произошло; исчезнувшая Н. не оставила ни записки, никакого признака своего решения покончить с собою. Г-н Н. возбуждал к себе сочувствие многих; сам он держался очень скромно в холодном и гордом молчании; он говорил: “всего бы лучше мне надо уехать”; но не уезжал потому, что собственное здоровье его было очень слабо и требовало того, чтобы лечебный срок на этих водах был выдержан.

Мое знакомство с ним плохо ладилось: мы, очевидно, были люди несродного характера. Несмотря на то, что я знал семейную тайну, которая должна бы заставить меня относиться к нему с сожалением, он мне казался далеко противнее своей жены, нанесяшей ему супружеское оскорбление. Желать сближения с ним я не имел причины, но, по непонятному для меня побуждению, вдруг он удостоил меня внимания и в разговорах, которые между нами завязывались, очень часто и очень охотно касался памяти своей покойной жены.

1890 г.

ПО ПОВОДУ ОПУБЛИКОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

С.-Петербург, четверток, 1-го февраля 1862 г

Многозначительная весть, придавшая особенное значение первым дням текущего года, в котором отечество наше готовится торжествовать свое тысячелетие, конечно, успела уже теперь облететь всю Россию по телеграфным проволокам. Высочайшая воля об опубликовании государственного бюджета теперь уже ни для кого не тайна.

Замечательно, что два величайшие события, совершившиеся на русской земле со времен великого земского собора XVII столетия, именно первоначальные рескрипты дворянству о образовании губернских комитетов для обсуждения крестьянского вопроса и нынешнее высочайшее повеление о обнародовании государственного бюджета на текущий 1862 год доведены были до общенародного сведения не чрез основной орган гласности, посредством которого правительство обыкновенно входит в общение с народом, не чрез “Сенатские ведомости”, а простым, исключаящим идею о формальности и обрядности, но более верным и более быстрым путем обыкновенной газетной публичности.

Сама по себе государственная роспись – дело не новое: государственный бюджет всегда составлялся у нас министерствами, и путем, указанным в I томе “Свода

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
законов”, в главе об учреждении министерств, всегда вносился на высочайшее усмотрение. Но дело в том, что в прежнее время бюджет этот редко имел ту степень строго научной обработки вопроса, с которою не стыдно показаться в люди, на всеуслышание целого народа.

С опубликованием бюджета тесно связано и опубликование отчетов министров и других главных начальников. Публика наша находится в совершенном неведении о тех громадных предприятиях, на которые расходуются у нас самые громадные средства, и не ведает об этом, конечно, только потому, что иные министерские отчеты для всех для нас совершенно неизвестны. В недавнее лишь время стали доходить до нас известия о министерствах внутренних дел, государственных имуществ и даже о военном, которое, как известно, обходится России дороже многих других министерств и главных управлений, вместе взятых. На 1859 год потребность военного министерства – в статье, напечатанной в “Военном сборнике”, – исчислена была в 101189282 р. 11 к. Что стоит нам наша юстиция, об этом мы стали узнавать лишь со времени основания его органа гласности, а те ведомства, которые всех нас задевают за самую живую струну и которые тесно связаны со всем экономическим строем нашей жизни, которые нам всего нужнее знать, те нам совершенно неведомы.

Будем ждать, будем надеяться, будем веровать и даже готовы верить в лучшее будущее, о котором так горячо нам говорила одна официальная статья.

ПОЖАРНЫЕ ВАРИАЦИИ

С.-Петербург, среда, 13-го июня 1862 г

НА ТЕМУ: “С ОДНОЙ СТОРОНЫ И С ДРУГОЙ СТОРОНЫ”. – НРАВЫ И СПОСОБНОСТИ. – ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА НАД ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРЕСТУПНИКОМ ОБРУЧЕВЫМ. – ПОЛЯКИ И СТУДЕНТЫ. – СТРАСТЬ К ЗАПРЕЩЕНИЯМ

Из пожаров, на которые, по одному известному мнению, можно смотреть с одной и с другой стороны, и с одной стороны находить их несчастием, а с другой видеть в них известную пользу, в самом деле мы можем извлечь одну пользу: можем поверить наши убеждения о разных сферах общества, с которым живем и которому служим. Во время перепугавших столицу пожаров все разнокалиберные ее обитатели на время перестали казаться тем, чем они кажутся, пригоняя каждый свой поступок к “духу времени” и “требованиям обстоятельств”, и были тем, что они есть на самом деле и чем могут быть при первом случае, когда возбужденные страсти не встретят регулятора в гражданском законе. Эта разнослойная проба нашего общества побыть тем, чем оно в другое время не хочет казаться, позволяет нам посмотреть на постигшее нас бедствие еще с одной стороны. Пожары показали нам, что народ очень неприязненно смотрит на охотников до беспорядков и нимало не верит благонамеренности целей, для достижения которых, по народной молве, употребляются непохвальные средства, и что этот же народ не довольствуется законными мерами преследования подозреваемых в поджигательстве и бьет их без всякого суда и расправы. Несколько случаев увечья и тяжких побоев до смерти выпали на долю людей, заподозренных без всякого основания, – людей совершенно благонамеренных и честных. Слухи между народом расходятся с невероятной быстротой и принимаются без всякой проверки. Рассказы о поджигателях смешны до уродливости, и едва ли есть какая-нибудь возможность многим из них поверить: но народ всем им охотно верит, и чем слух нелепее и невероятнее, тем с большею быстротою он распространяется. Например, говорили, что поджигают поляки, потом – студенты, потом – вообще господа, желающие уничтожить крестьянскую волю и того, кто ее даровал. Последний слух приводил массы в неукротимую ярость, и они в некоторых случаях удерживали свои кулаки с большим трудом. Затем говорили, что поджигал генерал, у которого спина намазана каким-то горючим составом, и ему стоит только потереться спиной о стену, стена и вспыхнет. Как же не вспыхивает самая спина у генерала? – об этом никто не рассуждал. В высших классах почти единогласно поджоги связывают с последнею прокламациею, рекомендовавшею уничтожение браков, упразднение церквей, оставление отеческой веры, отрицание от собственности и убийство всех собственников. Одни думают, что поджогами орудуют проповедники анархии с целью возмутить народ против правительства; другие, не разделяя поджогов с воззваниями, полагают, что воззваниями воспользовались так называемые мазурики и, под руку прокламаторов, жгут город с целями, соответствующими низким видам их промысла. Бог знает, что вернее! Во всех проявлениях, в которых можно было наблюдать народ в деятельности, произведенной пожарами, особенно резко выступали три черты: подозрительность, развитая до болезненности; недоверие к волнующим его слухам и воззваниям; любовь к Императору Александру II, с именем которого у народа неразлучно понятие о личной свободе и льготах, и, наконец, полнейшая готовность стоять за своего освободителя. Дорожа судом истории, который для публичного органа наступит

скорее, чем для публичного политического деятеля, мы заносим эти факты с тем бспристрастием, которым мы обязаны обществу и обширному кругу наших читателей. Общество желает знать народ ближе, чем оно его знает, и петербургские пожары дают ему полнейшую возможность решить, что такое современный русский народ, представителей которого мы видим в погоревших рабочих столицы. Пожары эти доказали, что можно делать с этим народом, и дай Бог, чтобы это послужило полезным уроком для энтузиастов, рвущихся к “опасным занятиям”! Еще более дай Бог, чтобы это успокоило Государя и уверило его, что рассудительный народ русский не увлечется горячкою тревожных умов и стоит всех тех льгот, которые ему дарованы, и всего того доверия, которое дает народу возможность саморазвития, скрепляя его с рукою, ослабляющею тяжелые пути бюрократизма и централизации! В других сферах пожары произвели явление весьма печальное: с одной стороны, выразилась странная робость и отсутствие энергии, а с другой – стремления к реакции. Половина людей, вчера либеральных, сегодня – крайние реакционеры, утверждающие, что все еще рано, что все опасно etc. желчевики торжествуют и поддерживают реакционные стремления либеральных трусов, полагавших, что на жизненные драмы можно взирать с комфортом, предоставляемым театральною ложею, и испугавшихся мышиноного побега. Люди, истинно либеральные, спокойно смотрят на народ, не теряющий своего разума при постигших его несчастиях, и по-прежнему спокойно ожидают тех великих льгот, дарованием которых обуславливается счастье страны.

С утра 31-го мая, в которое на Мытной площади происходило исполнение приговора над офицером Обручевым, осужденным в каторжную работу за распространение одного секретного издания, не имевшего, впрочем, ничего общего с листком, выпущенным под заглавием “Молодая Россия”, начались толки о жестокосердии народа. Толки эти основаны на том, что массы народа, стоявшего с раннего утра у эшафота на Мытной площади, выражали зверские желания, чтобы Обручеву отрубили голову, или наказали его кнутом, или, по крайней мере, повесили на позорном столбе вниз головою за то, что он смел идти против Царя. Есть толки, что народ не знал настоящего поступка несчастного молодого человека, считал его поджигателем и потому был так свиреп в своих желаниях; но толки эти положительно неверны. Народ, стоявший 31-го мая на площади у эшафота, действительно не имел ясного понятия о причинах осуждения Обручева: но поджигателем его не считал, а единогласно говорил, что преступник виноват в покушении против Государя. Нет основания сомневаться, что покушение, приписываемое народом осужденному, имело крайнее значение и потому выражалось крайними же заявлениями. Преступления посредством печати в глазах безграмотного или малограмотного народа не существуют; по его понятиям, книг никто не пишет, а их просто купцы привозят, и потому он создал в своем воображении такую вину, в которой вовсе не виноват несчастный Обручев. Печальный факт народного сетования на устранение из приговора Обручева истязаний свидетельствует только, что в народных понятиях нет политических преступлений, а есть убеждения в справедливости кровавого возмездия за кровавые покушения. Не народ сам по себе здесь виноват, а недостаток гласности в суде и еще более вызовы “Молодой России”, которая совсем не туда попала, куда метила. Она озлобила народ против невиновных в гнусных замыслах студентов и поляков и создала имени, даровавшему свободу крестьянам, такую популярность, какой оно не имело здесь даже в дни объявления манифеста 19-го февраля. Из всех выходов народа во время исполнения приговора над Обручевым оскорбительнее всего тот дикий взрыв хохота, который пробежал в толпе, когда на осужденного надели арестантскую свитку и шапку, соснувшуюся ему ниже глаз. Насмешка над жалким положением осужденного – такая низкая черта, что мы не можем не поставить ее в укор народу, выставившему тысячи людей, способных глумиться над несчастием своего брата, над которым произнесен суд, обрешкий его на тяжелое назначение, вдали от людей, близких его сердцу! Этот хохот есть единственный поступок, в котором народ, стоявший 31-го мая на площади, должен принести сердечное раскаяние; в остальном нельзя упрекать толпу, которая не знала настоящей вины Обручева и, по недостатку юридического образования, уверена, что за покушение на кровь нужна кровь от топора или от плети. Гораздо печальнее подозрительность, которую выказывает петербургский народ насчет поляков и бывших университетских студентов: те или другие, по его толкам, главнейшим образом виноваты во всем, и в пожарах, и в приглашении к другим беспорядкам. Имея в виду эти неосновательные подозрения, мы обращались с просьбою указать: кто именно, какого сорта люди арестованы по подозрению в поджогах. Это могло бы лучше всего успокоить умы встревоженного народа и оградить людей от тех неприятных последствий подозрительности, которые выпали на долю нескольких невинных; но как удовлетворение нашей просьбы зависит от того, от кого зависит, а сами мы имеем только одно оружие – слово, то и обращаемся с этим словом к благонамеренным

людям. Просим их содействовать рассеянию ложных слухов насчет студентов и поляков. Это очень легко каждому, способному уяснить себе характер студентской осенней сходки у университета, не имеющей ничего общего с настоящими событиями (как кажется некоторым простолюдинам) и знающему историю польского народа, единственного народа, не замаравшего своих рук цареубийством. Пусть будет известно презрительное отношение поляков к крамольным боярам, изведшим царя Дмитрия Ивановича! Пусть знают, что русский царь Александр I и русский великий князь Константин Павлович всегда считали себя неприкосновенными в столице Польского Царства, и поляки гордились и имеют право гордиться тем, что ими никогда не было употреблено ни одной меры против жизни и здоровья членов царского дома! Каковы были поляки тогда, таковы они и теперь! Эти знания необходимы в настоящие минуты для народа, стоящего на той ступени нравственного и умственного развития, которая позволяет ему в каждом действии, превышающем его соображения, видеть покушения, достойные, по его понятиям, смерти.

Общих черт у народа и у высших классов немного, и самая замечательная из таких черт – какая-то слабость к запрещениям. Каждый удивляется, как чего-нибудь не запрещают! Одни говорят, что надо запретить погоревшим разрывать пожарище, другие, что надо запретить ездить по погорелым местам; просто как будто всем только и думки, как бы что-нибудь запретить друг другу! Страсть к запрещениям охватывает так, что во время самого сильного пожара, когда можно было делать что хочешь, находились люди, которые запрещали входить в переулок, который им вздумалось считать себе подведомым. Одного из таких запретителей должны были отбросить военною силою, а другого, запрещавшего ходить перед его глазами, образумили самым неприятным образом. Первый запретитель был полковой музыкант, а второй крестьянин. О запретителях из надворных советников и говорить нечего – их выросло по два на каждом шагу. Одного из таких запретителей, по любви к искусству не дозволявшего выносить вещей из дома, который, по его соображениям, не должен был гореть, угомонили только с помощью какого-то добродушного старичка в военном генеральском сертуке. Чин, не признававший ничьего права, послушался чина.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С.-Петербург, вторник, 20-го августа 1863 г

Как некоторых других лиц, следящих за общественным мнением в России и проявлением его в литературе, так и нас удивляло до сих пор довольно продолжительное молчание русской журналистики о земских учреждениях, проект которых составлен недавно министерством внутренних дел. Судя по важности этого предмета для всего нашего общества, надо было предполагать, что общество и литература сильно займутся им и помогут таким образом разрешить его. Но вышло не так. Общество наше бессознательно не увлеклось проектом земских учреждений, и литература наша не поторопилась вообще голословно ему похвалю. Это огромный успех. Еще очень недавно общество наше всем восторгалось, а журналистика наша восхваляла всякий проект, лишь бы цель его казалась благонамеренной, либеральной. Публицисты наши не задумывались над практичностью проектов. Им всякий проект казался практичным, если он только был либерален, а либеральным казался каждый, который изменяет старое на новое. Так, например, когда вышел первый том трудов комиссии для устройства земских банков, все публицисты наши, кроме двух, много трех, поспешили воспеть нелегитимную хвалу этим трудам, воображая, что эти труды разрешатся несметным количеством ипотечных банков. Такая поспешность объясняется, между прочим, тем, что тогдашние публицисты положительно не были знакомы с предметами, о которых писали. Но теперь заметна перемена к лучшему и в этом отношении. Теперь общество наше сделалось опытнее и рассудительнее, и в нашей журналистике появились деятели, лучше прежних знакомые как с нуждами и средствами России, так и с политическими науками. Таких деятелей у нас еще, правда, очень немного, но уже они, а не другого рода публицисты исполняют главную роль в оркестре нашей журналистики. По этой-то причине похвал различным проектам раздается теперь менее, но зато похвалы заслуженнее. По этой же причине нельзя быть недовольным русской журналистикой, ибо журналистика наша выказывает полную готовность содействовать администрации, лишь бы такому содействию не было лишних преград. И у нас повторяется то, что было повсюду: чем более расширяется область литературы, чем литература свободнее, тем она нравственнее и солиднее, а в политическом отношении консервативнее, в истинном значении этого слова, то есть антиреволюционнее. Когда же предварительная цензура будет заменена у нас карательной, тогда литература наша сделается еще консервативнее, оставаясь, конечно, преданной постепенному и правильному развитию всех народных сил, то есть истинному прогрессу.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Пусть сомневающиеся в основательности наших слов вникнут хоть, например, в характер и направление статей Ю. Ф. Самарина о проекте устава земских учреждений, статей, напечатанных в №№ 29-м и 30-м "Дня". Как человек, знающий Россию и сочувствующий всему благому для отечества, г. Самарин, конечно, отзывается с похвалой и уважением об этом проекте. Конечно, и он находит в этом проекте частности, которые могли бы быть заменены другими; но воспользуются ли у нас или нет основательными замечаниями г. Самарина, дело покуда не в этом, а в характере и направлении статей или, лучше сказать, в политическом образе мыслей, выразившемся в этих статьях.

Чтобы оценить этот образ мыслей, необходимо вспомнить, что правительство наше, несмотря на самые коренные реформы, выказывает полную заботливость, между прочим и о том, чтоб сохранить дворянское сословие. Понятно, что такая задача встречает немало затруднений в тех требованиях времени и быта страны, на основании которых совершаются реформы у нас в настоящее время. С первого взгляда может показаться, что правительство стремится согласить несогласимое; но на деле выходит не так; на деле выходит лучше, чем должно казаться *a priori*, [77] и выходит лучше потому, что как правительство со своей стороны, так и дворянство со своей, правильно и честно смотрят на свое назначение. Правительство не уничтожает дворянства; дворянство же, в лице передовых своих людей, не требует для себя лишних прав; напротив, оно готово отказаться от всякого права, которое может сколько-нибудь останавливать народное развитие. Таким образом облегчается задача правительства, и реформы совершаются у нас без тех политических затруднений, с которыми приходилось бороться едва ли не всем другим правительствам.

Подобное направление, характеризующее образ мыслей передовых людей нашего дворянского сословия, вполне высказывается и в вышеупомянутых статьях г. Самарина; потому-то и обращаем мы на них особенное внимание. Это не то, что проникнутые угождением *quand même* [78] дворянству некоторые статьи одной из наших газет. Ни г. Аксаков, ни г. Самарин, ни другие сотрудники "Дня" не упражняются в подобном учреждении; да оно им и не нужно: мещане ли они или дворяне, но во всяком случае они не мещане в дворянстве. Но об этом в другой раз мы поговорим подробнее. Теперь же обратим внимание читателей на следующее место в статье г. Самарина, в № 30-м "Дня": место, которое вполне характеризует честность направления как статей г. Самарина, так и тех интересов, которых нам почтенный публицист служит одним из передовых и лучших представителей.

"Устранение правительственного элемента (в земских учреждениях), говорит г. Самарин, есть самое существенное отличие новых учреждений от ныне действующих. Оправдывать его нет надобности; оно прямо вытекает из самого свойства земских учреждений и встречено будет с полным сочувствием. Но, держась крепко принятого начала, в силу которого никакая должность на службе коронной не дает голоса в земских собраниях и управах, можно бы возбудить вопрос: не предоставить ли самим земским собраниям право, по собственному их выбору, пополнить себя принятием, в свою среду, с правом голоса, лиц известных по опытности, ими приобретенной в разных частях управления, хотя бы эти лица и не подходили под условия, дающие право быть избранным? Ставя этот вопрос, мы имеем в виду, главным образом, членов приказов общественного призрения, врачей и техников по части строительной. С открытием земских учреждений приказы, больничные советы, строительные комиссии, как известно, должны быть упразднены. Таким образом, на руки избранных от земских сословий помещиков, купцов, мещан и крестьян передается разом множество дел по таким отраслям управления, о которых они большею частью не имеют понятия, и притом с обязанности руководствоваться ныне действующими уставами. Не принимая на себя крайне неблагоприятной роли защитника нынешнего хода этих дел, трудно, однако, не признать, что внезапный перерыв в местных административных приемах и преданиях произведет расстройство и что приобретение опытности, даже простое приведение в известность того, что делалось и как делалось, по каждой части, обойдется не даром. Можно бы на это ответить, что собраниям и управам дана возможность пользоваться способностями и опытностью надежных специалистов, приглашая их на службу земству, на добровольно договоренных условиях; но дело в том, что из лиц, доселе имевших право голоса в коллегиальных инстанциях, в которых они заседали как члены, многие, вероятно, не захотят отдать себя в полное распоряжение земских управ и ограничиться ролью исполнителей. Предлагаемым способом это препятствие могло бы быть устранено без всякого вреда..."

Высказываемая здесь г. Самариним мысль не только основательна и практична, но еще и отрадна в высшей степени, с какой бы точки зрения ни смотреть на нее. Она

свидетельствует, что из земских учреждений, по существу вещей, не может и не должно быть враждебных столкновений между самыми различными и, по-видимому, несовместными интересами, а если и появятся подобные столкновения, то тотчас же могут быть устранены примирением интересов, основанным на понимании исторических и других условий нашего быта. Нет ничего естественнее такого примирения при земских учреждениях, какими они должны быть по проекту министерства внутренних дел. Это именно потому, что они дадут возможность высказаться всем действительным и законным местным интересам, а такая возможность повсюду и всегда служит не к опасным столкновениям, а к примирению и утверждению законных интересов.

Кроме того, эта же мысль, которую, конечно, готовы разделить все здравомыслящие люди, служит новым доказательством, как выгодно не только в административном, но и в политическом отношении, для правительства и всех сословий, честное и рациональное, основанное на выборном начале, административное устройство. Проект министерства, верный прекрасной цели своей, устраняет по возможности правительственный элемент из земских собраний и управ; по этому проекту, правительство предоставляет почти исключительно земским чинам устройство и ведение земских дел; оно, по-видимому, или, лучше сказать, по доселе едва ли не общепринятым понятиям, лишает себя некоторых из своих прерогатив во имя идеи земского начала и для пользы народа; но что же выходит и что же выйдет из этого на деле? Передовые люди земства уже теперь обращаются за содействием к правительственному началу – и делают это с сознанием того, что в устройстве и ведении земских дел вредно не вмешательство правительства, а только тот род или те стороны такого вмешательства, которые могут противодействовать правильному ходу земского хозяйства. Мысль, заявленная г. Самариним, непременно сделается общою мыслию и разовьется до естественных пределов своих, и нет никакого сомнения, что наше земство будет относиться ко всем правительственным началам и элементам не иначе, как только с должным уважением. Причиной же и побуждением к тому служит и будет служить, между прочим, то уважение, с которым, по проекту министерства, относится само правительство к земскому хозяйству и его представителям. Таким образом, правительство не только не утрачивает и не утратит из своих действительных и существенных прерогатив, но еще более приобретет того нравственного и политического значения, которое составляет высшую силу и опору в правительственном элементе.

Поэтому только внутреннего политического мира и укрепления того нравственного союза, который существует у нас между правительством и народом, должны мы ожидать от действия земских учреждений. Мысль г. Самарина, по необходимости, осуществляется в большей или меньшей степени, и осуществление ее будет одним из тех фактов, которые ясно говорят как в пользу проекта министерства внутренних дел, так и в подтверждение той истины, что когда правительство честно и прямо идет впереди своего народа, на пути истинного прогресса и во имя общественного благосостояния, тогда нет, не может и не должно быть внутренних неурядиц, ни недостатка в государственном могуществе. И нужно ли доказывать, что при возможности и основательности ожидания такого внутреннего мира и политического могущества, не только не для чего, но даже неуместно хлопотать о том, как это делают некоторые, чтобы помещичье сословие заведывало земскими делами. В награду за такую неуместную заботливость о прерогативах дворянства можно заслужить ни что другое, как только честь услышать фразу: *pas trop de zèle, messieurs*, – *pas trop de zèle* (поменьше рвения, милостивые государи)! Не знаем, как другие публицисты наши, но мы слышим уже эту фразу, хотя и не к нам обращенную, во всех заявлениях лучших представителей нашего дворянства, слышим ее как в статье г. Самарина, так и в некоторых других статьях “Дня”, слышим, например, и в следующих, между прочим, словах из речи нового вологодского предводителя дворянства, г. Шарыгина, напечатанной в № 208 “Северной пчелы”: “Время сословных предрассудков прошло безвозвратно. Дух времени и требования гуманности выдвинули на первый план вопросы о праве человека, о праве гражданина и тем самым подорвали авторитет сословных прав и привилегий. Нам, как привилегированному сословию, осталось одно из двух: или, опираясь на отжившие предания и дворянские грамоты наши, упорно отстаивать все свои привилегии и всеми силами задерживать развитие указанных нам начал свободы и гражданственности или, подчиняясь духу времени и державной воле Монарха, пожертвовать некоторыми из сословных интересов, стать впереди народа и вести его за собою по пути цивилизации и прогресса. – Господа! выбор, кажется, не труден. Задерживать можно только некоторое время; идти вперед, во главе народа, можно вечно”.

В одном только не можем мы вполне согласиться и с г. Шарыгиным и некоторыми

другими передовыми представителями нашего дворянства. Если мы их хорошо понимаем, то им кажется, будто дворянство должно утратить или пожертвовать некоторыми из своих законных интересов. Мы же думаем, что ни одним из действительных интересов не придется пожертвовать дворянству, ибо, если оно понесет временно кое-какой ущерб, то за этот ущерб оно будет вознаграждено сторицею в будущем и притом в близком будущем. Оно должно пожертвовать только теми мнимыми, а потому и для него самого вредными интересами, которые опираются не на строгую правду и справедливость, но такая жертва не есть жертва, а только своего рода затрата капитала с производительной целью. Самые денежные затруднения помещичьего сословия, в настоящее время, разрешатся, рано или поздно (это зависит частью от самих помещиков, частью же от администрации), огромными экономическими выгодами для этого сословия, как и для всей России. Пусть только дворянство остается верно принципу: *moins nous aurons de pouvoir, plus nous aurons d'autorité*, [79] и сословное первенство его не будет никогда утрачено. Земские же учреждения, если они осуществляются по проекту министерства внутренних дел, послужат, между прочим, к поддержанию этого первенства дворянства, особенно если дворянство не будет пренебрегать своими действительными, как нравственными, так и материальными интересами; например, мы очень бы желали, чтоб наше дворянство создало экономические условия как частного, так и общественного благосостояния, а потому и более производило, чем тратило, помня, что разумная экономия, во всем и всегда, должна быть принадлежностью или свойством не только мещанства, но и сознательно исполняемую обязанностью дворянства, как передового сословия.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА И ПОСЛЕДНЯЯ РАЗЛУКА С ШЕВЧЕНКО
В мяч не любил он играть никогда:

Сам он был мячик – судьба им играла.

А. Плещеев.

Итак, осиротела малороссийская лира. Лежит в гробу ее бездыханный поэт. Тараса Григорьевича Шевченко не стало. Сегодня гроб его опустили в сырую могилу на Смоленском кладбище, напутствуя его прощальным словом и братскою слезою. Не стану говорить, как велика эта потеря для малороссийской литературы в эпоху ее возникновения, в день рождения “Основы”, которой покойный поэт сочувствовал всей душою. Значение Шевченко известно всякому, кто любил родное славянское слово и был доступен чему-нибудь высокому, изящному, – но не могу отказать себе в удовольствии поделиться с читателями “Русской речи” теми впечатлениями, которые оставили во мне последняя моя встреча с покойным поэтом и последняя моя разлука с ним у его могилы.

Из петербургских газет, я думаю, всем уже известно, что Т. Г. Шевченко прихварывал еще с прошлой осени, а в конце января этого года он уже почти не оставял своей квартиры в доме Академии художеств. Квартира эта, отведенная ему после возвращения его в Петербург, состояла из одной очень узкой комнаты, с одним окном, перед которым Шевченко-художник обыкновенно работал за мольбертом. Кроме стола с книгами и эстампами, мольберта и небольшого диванчика, обитого простою пестрой клеенкой, двух очень простых стульев и бедной ширмы, отгораживавшей входную дверь от мастерской художника, в этой комнате не было никакого убранства. Из-за ширмы узкая дверь вела по узкой же спиральной лестнице на антресоли, состоящие из такой же комнаты, как и внизу, с одним квадратным окном до пола: здесь была спальня и литературный кабинет Шевченко-поэта. Меблировка этой комнаты была еще скуднее. Направо в угле стоял небольшой стол, на котором обыкновенно писал Шевченко; кровать, с весьма незатейливой постелью, и в ногах кровати другой, самый простой столик, на котором обыкновенно стоял графин с водой, рукомойник и скромный чайный прибор.

Около года я не был в Петербурге и, возвратясь в конце января в северную Пальмиру, тотчас отправился поклониться поэту. Возле его дверей мне встретился солдат, который обыкновенно ему прислуживал. “Дома Тарас Григорьевич?” – спросил я его. “Нетути, – отвечал служака, – он нонеча рано еще уходил из дома”. Я, однако, подошел ближе к двери поэта с намерением положить в створной паз мою карточку, как я прежде часто дельвал, когда не заставал его дома, но, к крайнему моему удивлению, дверь от легкого моего прикосновения отворилась. В комнате, служившей мастерской художнику, никого не было, а наверх я не хотел идти, боясь беспокоить поэта, и стал надевать мои калоши. “Кто там?” – раздалось в это время сверху. Я узнал голос Шевченко и назвал свою фамилию. “А... ходить же, голубчику, сюда”, – отвечал Тарас Григорьевич. Войдя, я увидел поэта: он был

одет в коричневую малороссийскую свитку на красном подбое и сидел за столом боком к окну. Перед ним стояла аптечная банка с лекарством и недопитый стакан чаю. “Извинить, будьте ласковы, шо так принимаю. Не могу сойти вниз, – пол там проклятый, будь он неладен. Сидайте”. Я сел около стола, не сказав ни слова. Шевченко мне показался как-то странным. Оба мы молчали, и он прервал это молчание. “Вот пропадаю, – сказал он. – Бачите, яка ледащица з мене зробилась”. Я стал всматриваться пристальней и увидел, что в самом деле во всем его существе было что-то ужасно болезненное; но ни малейших признаков близкой смерти я не мог уловить на его лице. Он жаловался на боль в груди и на жестокую одышку: “пропаду”, – заключил он и бросил на стол ложку, с которой он только что проглотил лекарство. Я старался его успокоить обыкновенными в этих случаях фразами, да, впрочем, и сам глубоко верил, что могучая натура поэта, вынесшая бездну потрясений, не поддастся болезни, ужасного значения которой я не понимал. “Ну, годи обо мне, – сказал поэт, – расскажите лучше мне, что доброго на Украйни?” Я передал ему несколько поклонов от его знакомых. Он о всяком что-нибудь спросил меня, и очень грустил о больном художнике Ив. Вас. Гудовском, у которого гостил в последнее свое пребывание в Киеве. Говоря о Малороссии и о своих украинских знакомых, поэт видимо оживал: болезненная раздражительность его мало-помалу оставляла и переходила то в чувство той теплой и живой любви, которою дышали его произведения, то в самое пылкое негодование, которое он, по возможности, сдерживал.

На столе, перед которым он сидел, лежали две стопки сочиненного им малороссийского букваря, а под рукой у него была другая “малороссийская грамотка”, которую он несколько раз открывал, бросал на стол, вновь открывал и вновь бросал. Видно было, что эта книжка очень его занимает и очень беспокоит. Я взялся было за шапку. Поэт остановил меня за руку и посадил. “Знаете вы вот сию книжицу?” – он показал мне “грамотку”. Я отвечал утвердительно. “А ну, если знаете, то скажите мне, для кого она писана?” – “Как, для кого?” – отвечал я на вопрос другим вопросом. “А так, для кого? – бо я не знаю, для кого, только не для тех, кого треба навчить разуму”. Я постарался уклониться от ответа и заговорил о воскресных школах, но поэт не слушал меня и, видимо, продолжал думать о “грамотке”.

“От як бы до весны дотянуть! – сказал он, после долгого раздумья, – да на Украйну... Там, може бы, и полегшело, там, може б, еще хоть трошки подыхав”. Мне становилось невыносимо, я чувствовал, как у меня набегали слезы. Он спрашивал меня о Варшавской железной дороге и Киевском шоссе. “Да! – сказал он, – когда б скорее ходили почтовые экипажи, не доедешь живой на сих проклятых перекладных, а ехать нужно, – умру я тут непременно, если останусь”.

Я стал прощаться. “Спасыби, що не забуваєте, – сказал поэт и встал. – Да, – прибавил он, подавая мне свой букварик, – просмотрите его да скажите мне, что вы о нем думаете”. С этими словами он подал мне книжку, и мы расстались... навсегда в этой жизни. Более я не видал уже Шевченко в живых, и весть о его смерти 26 февраля меня поразила, как громовой удар. Утром

27 февраля я с другим моим земляком и знакомым покойника, А. И. Ничипоренко, отправились в Академию. Дверь Шевченко была заперта и запечатана; мы догадались и пошли в академическую церковь. Там в притворе стояла белая гробовая крышка, а перед амвоном на черном катафалке виднелся гроб, обитый белым глазетом. У изголовья маленький человечек читал очень медленно и очень тихо. Я вспомнил, как год тому назад поэт хлопотал об издании псалмов, переложенных им на малороссийский язык, и всегда озабоченный заходил ко мне по дороге из Александровской лавры на Васильевский остров. Теперь же ему читался один из переложенных им псалмов. Красные шторы у церковных окон, против которых стоял гроб, были спущены и бросали красноватый свет на спокойное лицо мертвеца, хранившее на себе печать тех благородных дум, которые не оставляли его при жизни. Три художника с бумагой и карандашами в руках стояли по левую сторону гроба и рисовали; две женщины с типами петербургских кухарок толковали, что и из хохлов тоже бывают умные люди и что покойник – вот майорского чина дослужился, а братья его так еще “помещицкие”. Я вспомнил г. Флирковского, законного помещика семьи умершего поэта... Вскочил какой-то кавалерист, в мундире приятного цвета, звеня шпорами и саблей, но, пройдя несколько шагов по церкви, взял саблю в руки и, приподняв каблуки, пошел на цыпочках – весь шум, производимый оружием, прекратился. В церкви опять водворилась благоговейная тишина, и раздавался только слабый голос маленького господина, читавшего над малороссийским поэтом воздыхания библиейского поэта-царя.

28 февраля по совершении в академической церкви заупокойной обедни по рабе божием Тарасие и после отпевания по уставам церковным ближние покойника почтили его надгробным словом. Всех речей, если не ошибаюсь, было произнесено девять, – из них семь в церкви и две на кладбище. Общий смысл этих речей легко себе представить, и я не считаю нужным о них распространяться, потому что стенографировать их не было никакой возможности, а излагать их вкратце – значит портить их. Могу только сказать, что особенно сильно отозвалось в душе слушателей слово любимого нашего профессора Н. И. Костомарова и Г. Курочкина, которому сдерживаемые слезы мешали произнести свое короткое слово, дышавшее сердечной простотой и искренностью. Могила для Шевченки вырыли за колокольню кладбищенской церкви, к стороне взморья: до времени он самый крайний жилец Смоленского кладбища, и за его могильной насыпью расстилается белая снежная равнина, как бы слабое напоминание о той широкой степи, о которой он пел и которую измерил еще “мальми ногами”. В могилу был опущен дощатый ящик, высланный в середине свинцом, но так дурно запаянный в дне, что вода набралась в него прежде, чем гроб принесли на кладбище. И на третий день лицо поэта оставалось удивительно благообразным. Огромный лавровый венок окружал его благородное чело, – в руках у многих тоже были цветочные венки, которые они принесли, чтоб положить на свежую могилу поэта. Дам было очень немного, однако женская слеза из глаз Г-жи Белозерской и старушки Костомаровой не обошла могилы Шевченко. Многие очень жалели, что нет семьи Толстых, которые любили поэта и не забывали его в самые тяжелые минуты его многострадальной жизни.

Когда крышка ящика, в который поставили гроб, была запаяна, провожавшая покойника толпа стала расходиться. Снег повалил довольно большими хлопьями, какой-то господин с папкою в руках юлил между проходящими, предлагая литографированные портреты мертвого Шевченки, старухи из богадельни канючили на упокой душеньки – на душе становилось тяжче и тяжче. Давно ли Россия схоронила Хомякова, Аксакова, и вот опять новая могила. Не стало еще одного человека, целую жизнь думавшего честную думу и умершего накануне дня освобождения 23 миллионов, между которыми и до сих пор оставались родные и близкие сердцу поэта.

Но как поэтическая деятельность Шевченко останется в числе лучших страниц малороссийской словесности, так и самый день его погребения навсегда останется знаменательным в истории украинской письменности и гражданственности. Любимейшая мечта поэта сбылась и громко заявила свое существование. Малороссийское слово приобрело право гражданства, раздавшись впервые в форме ораторской речи над гробом Шевченко. Из девяти напутствований, сказанных над могилою поэта, шесть были произнесены на малороссийском языке. Из остальных трех речей две были произнесены по-русски и одна по-польски, как бы в значение общего горя славян, пришедших отдать последний долг малороссийскому поэту-страдальцу.

У малороссийского народа, слава богу, есть теперь своя литература, есть свои ораторы, свои историки, но теперь нет у нее такого лирика, каков был покойный Тарас Григорьевич Шевченко, справедливо названный в одной из сказанных над его гробом речей “батьком рідного слова”. *Oratores fiunt, poetae nascuntur.*[80]

Впервые опубликовано в газете “Русская речь”, 1861 год, 9 марта.

ПРИБАВЛЕНИЕ К РАССКАЗУ О КАДЕТСКОМ МОНАСТЫРЕ

В долголетнюю бытность покойного Андрея Петровича экономом 1-го кадетского корпуса там состоял старшим поваром некий Кулаков.

Повар этот умер скоропостижно на своем поварском посту – у плиты, и смерть его была очень заметным событием в корпусе. Кулаков честный человек – не вор, и потому честный эконом Бобров уважал Кулакова при жизни и скорбел о его трагической кончине. После того как Кулаков умер, “стоя у плиты”, на смену ему долго не было мужа с такою же нравственною доблестью. Со смертью Кулакова, при всей строгости досмотра со стороны бригадира Боброва, “просел кисель” и “тертый картофель потерял свою густоту”. Особенно повредился картофель, составлявший важный элемент при кадетском столе. После Кулакова картофель не полз меланхолически, сходя с ложки на тарелки кадет, но лился и “лопотал”. Бобров видел это и огорчился – даже, случалось, дрался с поварами, но никак не мог добиться секрета стирать картофель так, чтобы он был “как масло”. Секрет этот, быть может, навсегда утрачен вместе с Кулаковым, и потому понятно, что Кулаков в корпусе сильно вспоминали, и вспоминали добром. Находившийся тогда в числе

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
кадет Кондратий Федорович Рылеев (14-го июля 1826 года), видя скорбь Боброва и цена утрату Кулакова для всего заведения, написал по этому случаю комическую поэму в двух песнях, под заглавием “Кулакиада”. Поэма, исчислив заслуги и доблести Кулакова, описывает его смерть у плиты и его погребение, а затем она оканчивалась следующим воззванием к Андрею Петровичу Боброву:

Я знаю то, что не достоин
Вещать о всех делах твоих:
Я не поэт, я просто воин, –
В моих устах нескладен стих,
Но ты, о мудрый, знаменитый
Царь кухни, мрачных погребов,
Топленным жиром весь облитый,
Единственный герой Бобров!
Не осердися на поэта,
Тебя который воспевал,
И знай – у каждого кадета
Ты тем навек бессмертен стал.
Прочтя стихи сии, потомки,
Бобров, вспомнут о тебе,
Твои дела вспомнут громки
И вспомнят, может быть, о мне. [81]

Таков и есть Бобров на его единственном карандашном портрете, “царь кухни, мрачных погребов”, “топленным жиром весь облитый, единственный герой Бобров”.

И еще один анекдот.

Бобров ежедневно являлся к директору корпуса Михаилу Степановичу Перскому рапортовать “о благополучии”. Рапорты эти, разумеется, чисто формальные, писались всегда на листе обыкновенной бумаги и затем складывались вчетверо и клались Боброву за кокарду треуголки. Бригадир брал шляпу и шел к Перскому, но так как в корпусе всем было до Боброва дело, то он по дороге часто останавливался для каких-нибудь распоряжений, а имея слабость горячиться и пылить, Бобров часто бросал свою шляпу или забывал ее, а потом снова ее брал и шел далее.

Зная такую привычку Боброва, кадеты подшутили над своим “дедушкой” шутку: они переписали “Кулакиаду” на такой самый лист бумаги, на каком у Андрея Петровича писались рапорты по начальству, и, сложив лист тем же форматом, как складывал Бобров свои рапорты, кадеты всунули рылеевское стихотворение в треуголку Боброва, а рапорт о “благополучии” вынули и спрятали.

Бобров не заметил подмена и явился к Перскому, который Андрея Петровича очень уважал, но все-таки был ему начальник и держал свой тон.

Михаил Степанович развернул лист и, увидав стихотворение вместо рапорта, рассмеялся и спросил:

– Что это, Андрей Петрович, – с каких пор вы сделались поэтом?

Бобров не мог понять, в чем дело, но только видел, что что-то неладно.

– Как, что изволите... какой поэт? – спросил он вместо ответа у Перского.

– Да как же: кто пишет стихи, ведь тех называют поэтами. Ну, так и вы поэт, если стали сочинять стихи.

Андрей Петрович совсем сбился с толку.

– Что такое... стихи...

Но он взглянул в бумагу, которую подал в сложенном виде, и увидел в ней действительно какие-то незаконно неровные строчки.

– Что же это такое?!

– Не знаю, – отвечал Перский и стал вслух читать Андрею Петровичу его рапорт.

Бобров чрезвычайно сконфузился и взволновался до слез, так что Перский, окончив чтение, должен был его успокоивать.

После этого был найден автор стихотворения – это был кадет Рылеев, на которого добрейший Бобров тут же сгоряча излил все свое негодование, поскольку он был способен к гневу. А Бобров при всем своем бесконечном незлобии был вспыльчив, и “попасть в стихи” ему показалось за ужасную обиду. Он не столько сердился на Рылеева, как вопиял:

– Нет, за что! Я только желаю знать – за что ты меня, разбойник, осрамил!

Рылеев был тронут непредвидимую им горестью всеми любимого старика и просил у Боброва прощения с глубоким раскаянием. Андрей Петрович плакал и всхлипывал, вздрагивая всем своим тучным телом. Он был слезлив, или, по-кадетски говоря, был “плакса” и “слезомойка”. Чуть бы что ни случилось в немножко торжественном или в немножко печальном роде, бригадир сейчас же готов был расплакаться.

Корпусные солдаты говорили о нем, что у него “глаза на мокром месте вставлены”.

Но как ни была ужасна вся история с “Кулакиадою”, Бобров, конечно, все-таки помирился с совершившимся фактом и простил его, но сказал при том Рылееву назидательную речь, что литература вещь дрянная и что занятия ею никого не приводят к счастью.

Собственно же для Рылеева, говорят, будто старик высказал это в такой форме, что она имела соотношение с последнею судьбою покойного поэта, которого добрый Бобров ласкал и особенно любил, как умного и бойкого кадета.

“Последний архимандрит”, который не ладил с генералом Муравьевым и однажды заставил его замолчать, был архимандрит Ириней, впоследствии епископ, архиерействовавший в Сибири и перессорившийся там с гражданскими властями, а потом скончавшийся в помрачении рассудка.

Впервые напечатано в “историческом ветнике”, 1885 г., № 1, под заглавием: “Один из трех праведников. (К портрету Андрея Петровича Боброва)”.

ПРОЕКТ УСТАВА ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

С.-Петербург, пятница, 2-го августа 1863 г

Мы откровенно высказали мнение свое о проекте устава земских учреждений, составленном министерством внутренних дел и находящемся ныне на рассмотрении государственного совета. Нам проект этот нравится; но люди, как водится и как следует тому быть, не все одинаково с нами смотрят на него. Так, например, по мнению “Московских ведомостей”, следовало бы передать местное управление одному сословию землевладельцев, как единственному способному общественному элементу взять управление в свои руки и обойтись без канцелярской опеки. В подтверждение своего мнения “Московские ведомости”, в № 162-м, говорят между прочим следующее: “Для примера возьмем не крестьян, между которыми волостные писаря пользуются такою бесспорною властью, – возьмем самый высший класс людей, не принадлежащих к классу землевладельческому или помещицкому. Пусть каждый купец скажет, могут ли купцы заведывать общественными делами, не подчиняясь влиянию канцелярий. Тут говорит не теория, а практика, самая осязательная. Приказный порядок господствует во всех присутственных местах, где заседают купцы. Выборные люди совершенно подчиняются секретарям, которым становится тем удобнее действовать, что они действуют за спиной присутствующих. Обвинять ли в этом наше купечество? Прогрессисты (?), пожалуй, припишут все это невежественности нашего купечества. Но эти невежественные люди довольно хорошо умеют заведывать своими торговыми делами, которые труднее и сложнее большей части общественных дел. Тут дело, стало быть, не в одной невежественности”. “Московские ведомости”, говоря это, слышат звон, да не знают, откуда он. Не только наше купечество и наши селяне, но и наше помещицье сословие, в заведывании общественными делами, всегда подчинились влиянию канцелярий; но ведь это потому, что таков уж был у нас порядок вещей, и его-то устранить имеет в виду проект министерства внутренних дел. Поэтому, вместо того, чтоб так или иначе противодействовать такой благой цели, и притом достигаемой вполне рациональными средствами, следует, нам кажется, благодарить тех государственных деятелей, которые заботятся и хлопочут, чтоб заменить отживший и несостоятельный порядок вещей новым, лучшим. Мы сами не из тех прогрессистов, которых, должно быть, разумеют “Московские ведомости”, и

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
потому удивляемся поверхностности довода “Московских ведомостей”. Неужели они не подозревают, что подобный довод ничем не лучше известного довода крепостников, утверждавших, будто наши крестьяне должны оставаться в крепостном состоянии, ибо не созрели для освобождения.

Но, кроме вышеприведенного, есть еще и другой довод у “Московских ведомостей” против всесословного участия в управлении земскими делами. “Представим себе, – говорят они, – местное собрание, все равно – губернское ли или уездное, составленное так, как все классы населения представлены в нем соразмерно своей численности и платимым ими податям. Почему бы, кажется, не представить такому собранию того влияния на раскладку земских повинностей, которое предоставляется земским собраниям по проекту устава земских учреждений? А между тем, если мы не ошибаемся, это было бы крайне неудобно и повело бы к бесчисленным жалобам и процессам. В подтверждение этих опасений, мы можем указать на официальную записку одного из наших высших сановников, вызванную этим самым проектом и излагающую неудобства раскладки повинностей, производимой земскими учреждениями не на основании точных определений закона, и т. д.”.

“Московские ведомости” опять ошибаются, хотя в основании их довода лежит и верная мысль, а именно: необходимость устранения произвола в основаниях раскладки повинностей. Но разве такое устранение достижимее при участии одного, нежели при участии всех сословий в земском хозяйстве? Потому-то, между прочим, и хорош проект устава земских учреждений, что осуществление его послужит к устранению подобного произвола. Это именно потому, что он не сочиняет, не выдумывает новых законов и элементов для русской земли, а дает возможность жить и развиваться всем тем, которые одарены жизнью и имеют будущность. Составители этого проекта не опасаются неправды в раскладке земских повинностей, если в ней будут участвовать все сословия, и не опасаются именно потому, что более рассчитывают, и, конечно, весьма основательно, на здравый смысл русских сословий, нежели на какие-либо теории, которые требуют насильственных регламентации для жизни и настаивают на поставление преград ее правильному течению и естественному развитию. Мы не имеем притязания на дар пророчества; но если дважды два – четыре потому, что дважды один – два, и если на этом основании можно смело утверждать, что дважды три – шесть и т. п., то так же смело можно утверждать и предсказывать, что действие земских учреждений, по проекту министерства внутренних дел, не только не затруднит дела раскладки земских повинностей, но еще послужит к улучшению состояния наших государственных финансов. Это по той же причине, по которой и освобождение крестьян не причиняет, а уменьшает наши финансовые затруднения, которые без него были бы значительнее.

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НАЗАД

С.-Петербург, вторник, 19-го июня 1862 года

Пятьдесят лет тому назад, 12-го июня, переправлялась через Неман и вступала на русскую землю грозная и огромная армия, предводимая первым полководцем в мире. Все обещало успех Наполеону: соединенные силы романских и германских племен напирали на одинокую, оставшуюся без друзей и союзников страну; Запад шел, с полными надеждами победы, на унижение и гибель славянского Востока. Храброе и преданное войско наше не в силах было заслонить родную землю и с горькою скорбью, покоряясь необходимости, оставляло открытым путь врагу; он подвигался, захватывал целые области, сокрушал все попытки сопротивления, проник до самого центра страны, стал в ее сердце и думал уже предписывать тяжкие условия позорного мира.

Но скоро рассеялись гордые надежды, скоро увидели все, что спор идет не с одряхлевшим и потерявшим чувство национальности и чести народом; что дело идет не о сшибках армий, не о баталиях с тонкостями стратегии и тактики, не о талантах вождей и генералов. Нет! нашествие встретило отпор силы необъятной, немерянной и несчитанной, невидимой и неуловимой, но вездесущей – отпор народа! Этот отпор, дикий, отчаянный, беспорядочный и беспощадный, имел в себе что-то стихийное, подобно своему союзнику – морозу. Народ жег жилища, истреблял запасы, уходил в леса и болота, прятал там семью и имущество, соединялся в неустроенные толпы и шайки, подстерегал врага, ловил его, где только можно и истреблял, где и как мог, с ожесточением, как зверя; гибнул сам, но не слабел, не пугался. Все было забыто или оставлено до времени; одно помнилось, одним жилось: прогнать, истребить врага! Ни облазны и льстивые обещания неприятеля, ни угрозы и истязания не могли сбить народ с этого пути, вынуть у него топор из рук. “Каторжника, который за рубль согласится на убийство, мы не могли бы миллионами

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
подкупить на измену”, – говорит один из французских писателей этой эпохи.

Наполеон в 12-м году побежден был не войском, а стихиями, говорит Сегюр. Да, стихиями, и первая и главная из этих стихий – русский народ. Действительно, трудно какой бы то ни было армии бороться со стихией – народом.

Двести лет без перерыву дремавшее земство русское, закрытое ото всех взоров толстою корою бюрократии и крепостного состояния, словно исчезнувшее с лица земли, встает в решительные минуты двенадцатого года, расправляет оцепеневшие свои члены и, на диво всему миру, свидетельствует о своей жизни и силе.

И так дико, так странно было это явление для публики, для образованных классов, что они затруднились верить ему, а еще более признать его. Что народная война? Важность в войске, в главнокомандующем; даже опыт 1814 года, в котором, без народа, оказалось бессильно войско и гениальный вождь его, – не разубедил этих отрицателей народа. Сама благородная и самоотверженная армия двенадцатого года, показавшая себя столь достойною чести быть частью великого народа, не вдруг признала народную войну: не верила ей, ее силе: хотела взять все дело на себя. С какой-то застенчивостию, чуть не робостию оправдывается русский главный штаб в 12-м году на жалобы неприятельских генералов, изъявляющих удивление и претензии, что война идет не так, как водится “в образованных странах”, что “шайки разбойников” жгут жилища и хлеб, вырезают отряды, не признают парламентаров, наносят вред мирным жителям и подвергают себя всей строгости военно-полевых законов, одним словом, не признают ни Гуго Гроция, ни Ваттеля и никаких прав и отношений, установленных между *parties belligérantes*. [82] Военное начальство русской армии всегда отрекалось от всякой солидарности с этими фактами, с этими *excés*, [83] и обещалось, сколько возможно, прекращать их. Официальные документы того времени, тогдашняя и последующая литература точно так же не признали народной войны; наивно и жеманно старались они уверить Европу, что пожар Москвы есть результат пьянства и дебоша французских солдат, а не славный и вечно памятный подвиг русской земли. Немало усилий стоило Европе уверить нас, что сожжение Москвы русскими есть одно из величайших патриотических дел в истории.

Пятьдесят лет прошло от “вечной памяти денадцатого года”; многое разъяснилось и растолковалось. Военно-историческая критика раскрыла нам, что не диспозиции, эволюции и маневры войск могли в 12-м году спасти Русь. Пора признать, что в 1812 году, как и в 1612 году, русская земля спасена русским народом; что армии в 1812 году были точками опоры, живыми укреплениями для народной, везде разливавшейся и везде действовавшей силы.

Всякому свое: благородно и честно исполнили свое дело в ту эпоху войска; но двенадцатый год принадлежит народу, его силе.

Что же затем? Что сделал разбухший и поднявшийся гигант, истребив и изгнав врага, спавши государство; что взял на свою часть в дележе политической и материальной добычи, оставшейся наследием побежденной революции и низвергнутого завоевателя? Ничего и ничего! Он только показал миру, что за сила в его мышцах, что за энергия в немногих убеждениях и чувствах его, и когда эти убеждения были отстояны, эти чувства перестали быть тревожными, – он успокоился и опять залег, опять заснул...

Не пускаясь в рассуждения, заявляем только факт – тот факт, что русский народ есть сила, сила огромная, живая и самостоятельная, повинующаяся не людям или партиям, а началам. Эти начала можно изучать и слушаться их; но не изменять их. Попытки по-своему сделать народный быт будут без пользы и без успеха, какой бы характер они не носили: монголо-татарский ли, англо-доктринерский, или доморощенно-социалистский.

РАЗНЫЕ СЛУЧАИ ИЗ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ РОССИИ

С.-Петербург, вторник, 24-го июля 1862 г

Уже неоднократно и почти повсеместно было замечаяемо, что ни одно нововведение не пустило у нас таких здоровых и прочных корней, как мировые учреждения. Гласность действий и нестесняемость мертвыми формами распоряжений как нельзя лучше доказали, что прямая и непосредственная зависимость деятелей от суда общественного мнения служит главнейшим и лучшим ручательством против преобладания произвола. У нас теперь существует более тысячи человек посредников и более десяти тысяч человек волостных голов. Казалось бы, что это те же люди, как и все прочие смертные: а между тем, ни на одного посредника-взяточника, ни

на одного взяточника волостного голову мы не можем указать пальцем. Подвергшийся подозрению волостной голова (мы говорим не о государственных крестьянах, а о временнообязанных) немедленно передается суду и изгоняется из сонма сельских мировых деятелей: тем менее может усидеть на месте лицо, общим доверием облеченное властью мирового посредника.

Но если взяточник, случайно усевшийся на посреднической должности, не усидит долго на этом стуле, так как дворянство само немедленно же его оттуда сгонит, то из этого никак не следует заключать, что безусловно все действия посредников были хороши и возбуждали бы восторг и умиление. Много явлений случается весьма прискорбных, но тем-то и велико значение посредников, что в то время, когда обыкновенному чиновнику многие злоупотребления и притеснения остаются без взыскания, – действия мировых посредников подлежат полной огласке и публикуются во всеведение по распоряжению губернских по крестьянским делам присутствий. С другой стороны, если в этих сынах нового поколения деятелей мы не видим людей безнравственных и закоренелых взяточников, то, к несчастью, мы все-таки нередко видим в них замашки наших отцов и тупую по временам склонность побарничать, поважничать и повольничать над людьми, интересы которых вверены их охране. Еще не так давно мы передали нашим читателям (№ 179 “Северной пчелы”) про г. Мочалкина, желавшего, как видно, потешиться розгами над г. Гейтманом, который требовал быть с ним повежливее, и вразумленного тульским губернским присутствием, а вот теперь газета “мировой посредник” (№ 11-й) рассказывает другой факт о г. Арсеньеве, наставленном на путь истины калужским губернским присутствием. Вот в чем дело:

Часто случается, что мы, грешные и слабые смертные всех сословий, забыв долг благоразумия, позволяем себе иногда, даже решительно нечаянно, или очень плотно пообедать, или очень неумеренно выпить хорошенького винца. Когда богатый барин нагрузится шампанским и сделается даже мертвецки пьян, то его никто не осуждает, если встретит его в карете распрепьяным-пьяным. Если же бедный человек, на радостях, а может быть и с горя, выпьет лишнюю чарку зелена вина и потом под хмельком отправится домой по образу пешего хождения, то на него сейчас начнут указывать пальцем и кричать с отвращением: пьяный! пьяный!

Посредник г. Арсеньев, проезжая из Боровска, встретил по дороге, быть может, в самом деле под хмельком беднягу дьякона. Г. Арсеньев обиделся на него за то, что он стал среди дороги, сдержав лошадь, стало быть, задержал в дороге такую важную, как он, персону и на вопрос этой персоны, кто он таков? не сказался, кто он. Узнав наконец про личность провинившегося проезжего, узнав, что это дьякон, посредник вытребовал его к себе, но дьякон, по его уверению, был пьян, с дерзостью отвечал на вопросы посредника и – вообразите, какой ужас и какое преступление! – лез близко к столу. Г. Арсеньев счел себя прегорько обиженным и решил быть судьей в собственном деле. Забыв, что он сам затеял на проезжей дороге мелочные и недостойные дворянина вздоры, зачем дьяконская кляча не уважила барских лошадок, что он, вероятно, грубостью тона своих речей сам дал дьякону право не отвечать ему среди дороги, он корит дьякона, обзывая его пьяным, обвиняет его в оскорблении лица посредника и ставит в самом деле во что-то важное, что дьякон лез близко к столу, а не стоял на такой-то дистанции, опустив руки по швам. Настоящий чиновник этот господин Арсеньев! Он самолично и самоперсонно присудил дьякона к штрафу в три рубля, а за оскорбление лица посредника и волостного старшины положил предать его суду. Нужно ли прибавлять, что такой потешливый приговор был уничтожен благовоспитанными и прямыми деятелями, составляющими калужское губернское по крестьянским делам присутствие?

Другой посредник вывел совершенно из терпения одного из помещиков полуденного края. Жаль, что нам неизвестны действия г. посредника и что поэтому мы не можем судить, насколько он был прав или виноват; но мы считаем вполне стоящим перепечатать следующие строки из “Современной летописи Русского вестника”, из письма взволнованного помещика к дворянскому предводителю:

“...Безрассудность распоряжений посредника обратилась наконец в ложь и обман пред мировым съездом; долготерпение мое уже исчезло, и если посредник не прекратит своих ко мне неприятных действий, то я буду в необходимости, по праву предоставленной мне вотчинной полиции и в случае дальнейших самоуправных наездов его в мое имение, без всякой надобности и единственно для помешательства моим занятиям, взять его под стражу и отправить к г. начальнику губернии, как человека беспокойного и полоумного, нарушающего у меня общественную безопасность...”

А ведь в самом деле курьезная замашка – вообразить, что имеешь право арестовать мирового посредника! Извольте-ка втолковать подобному барину, что он все-таки тоже частное лицо и самоуправничать и самовольничать не должен осмеливаться, а всегда имеет право жаловаться законно установленным властям.

Орловское губернское присутствие, основавшись на имевшихся в виду его данных, сделало постановление, в котором, между прочим, было сказано: “Находя в действии гг. мировых посредников Елецкого уезда систематическое и преднамеренное уклонение от исполнения их обязанностей, присутствие сочло необходимым просить их о немедленном введении тех уставных грамот, которые уже утверждены”. Против этих выражений елецкий мировой съезд сделал протест; отвергал засвидетельствование члена от правительства, г. Снопова, будто бы елецкие посредники намеренно отдалают введение уставных грамот – согласно желанию помещиков – на весь двухлетний срок, и просил присутствие дать этому протесту огласку. Орловское присутствие, напечатав вполне объяснение и оправдание мирового съезда, не отступило ни на одну букву от прежнего решения и уведомило елецкий мировой съезд, что подтверждение засвидетельствования г. Снопова оно видит в том, во-первых, что с настоящего времени из Елецкого уезда поступило в губернское присутствие на хранение только 40 грамот, тогда как из других уездов их поступило более 150-ти, и, во-вторых, в том, что г. посредник Челищев отношением, которое было заслушано в елецком съезде, заявил, что он до окончания осенних работ не находит возможным вводить грамоты, основываясь будто бы на том, что земля разделена в настоящее время по тяглам, и работы по уставной грамоте не могут идти правильным порядком! Впрочем, твердость действия и полное беспристрастие орловского губернского присутствия приобрели уже себе всеобщее уважение всех следящих за ходом крестьянского дела. Оно чуждо всяких лицеприятий и идет своею прямою дорогою, не уклоняясь ни в ту сторону, ни в эту. Оно с одинаковою прямою обсуждает и охуждает действия сельского старшины, винит и оправдывает бедного крестьянина, защищает интересы помещика и принимает свои меры против резких противников закона, возвещенного положения 19-го февраля 1861 года. Так, недавно оно обличило всю неправильность и все утайки, сделанные в уставной грамоте по орловскому имению графа Шереметева. Конечно, уставную грамоту писал не сам граф Шереметев, а про мирские капиталы забыл упомянуть и порядком составить грамоты не умел графский поверенный, но тем не менее строгость меры, принятой орловским присутствием, должна служить образцом распорядительности и правосудия.

Мы уже не раз замечали, что у нас иные посредники, вроде г. Арсеньева или г. Мочалкина, привыкли действовать немножко по-чиновнически и делать подчас из мухи слона. Новое подтверждение этому мы находим в печатных документах, доставленных нам с почтою в последнее время.

Давно уже замечено, что крестьяне, почуяв свободу и едва начиная, как выпущенная из неволи птичка Божья, расправлять крылышки, очень сильно дорожат всемиловитейше дарованным им правом самоуправления и в этом увлечении царскую милостию, разумеется, иногда не совсем верно понимают идею права. Особенно камнем преткновения для крестьянина служит различие между законом писаным и законом выраженной волею народа, между статьею свода и решением мирской сходки. Что должно направлять эти уклонения на прямую дорожку – против этого спорить не следует, но кричать во все горло: “бунт! мятеж! поголовное восстание! народное волнение!” в высшей степени и глупо, и низко, и смешно, и означает полное невежество, то есть неведение ни духа, ни характера народа, ни его обожания Царя-Освободителя. А между тем, есть люди, принадлежащие к мировым учреждениям, которые поднимают шум и гвалт из сущих пустяков и совершенно напрасно раздувают простую искру в пожар, тогда как искра, предоставленная сама себе, потухла бы в одно мгновение.

В Сумском уезде крестьянин Федор Донда объявил посреднику, что он будет повиноваться только обществу. Ведь не прямо же он пришел к посреднику и объявил ему это? С чего же нибудь началось дело, и чем-нибудь да вынудил же Донду посредник сказать эту фразу? Сверх того, сумскому съезду представлено обвинение от семи или восьми человек помещиков, что Донда возмущает крестьян, возбуждает их к неповиновению и к несоглашению на составление уставных грамот. В газете “Мировой посредник” напечатано, что съезд решил сослать Донду в Сибирь, то есть “признать вредным для общественного спокойствия, исключить из общества и передать в распоряжение правительства”.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Мера эта кажется не в меру жестока: гораздо гуманнее поступило пензенское губернское присутствие с волостным старшиной Василием Лапшиным, которого раззадорили до такой степени, что у него сорвались с языка после фразы: “Не могу – мир не желает”, другие фразы, вроде: “Что мне закон? Мир мне – указ! нельзя же против мира, хотя бы и закон!” Один только человек настаивал на жестоком наказании Василия Лапшина, но губернское присутствие отвергло суровость преследований. Погубить человека немудрено, но гораздо больше нужно иметь и ума, и чувства, чтоб сделать из обмолвившегося члена общества строгого и честного исполнителя гражданского долга.

На сей раз представляется мало случаев драк и побоев вроде тех, какими в последний раз отличились господа землевладельцы, рязанский – Тимофей Антонович Флоров-Багреев и новгородский – г. Голенищев-Кутузов, вразумленные и возвращенные к самосознанию губернскими присутствиями, резонно убеждавшими их, что пора дерзких на руку баричей прошла безвозвратно.

Читатели наши, вероятно, помнят, что некоторые быховские помещики в Могилевской губернии, недовольные гуманными распоряжениями своих мировых посредников, восстали на них с разными неловкими протестами и довели их до того, что господа посредники подали заявление об увольнении их от должностей. Но могилевское присутствие, оценив добросовестное их служение делу, не вняло этим заявлениям и доказало, что посредникам не след обижаться такими протестами. В “Северной пчеле” была напечатана по поводу сцен на быховском мировом съезде очень оригинальная и полная меткой иронии статья за подписью г-на Ивана Петрова, волостного писаря, как видно, человека с образованием и вполне грамотного и понимающего дело. Затем в “Могилевских губернских ведомостях” и в “Нашем времени” были напечатаны реплики нескольких помещиков, восставших на посредников и раздражавшихся отчаянными криками, особенно против автора статьи о сценах на мировом съезде. Одна статья могилевского помещика была достаточно полуграмотна, но все они никак не могли разубедить нас в том, что быховские посредники исполняют свое дело как следует. Озлобление одного из помещиков доходило до того, что он, сознавая в г. Петрове лицо вполне образованное, прямо и без церемонии называет его писарем Иваном, забывая, что долг приличия обязывает каждого порядочного человека обращаться к личности другого не с замашками крепостника и не по табели о рангах, а вежливо и с уважением к званию человека. Слово мужик – понятие относительное и может относиться одинаково и к крестьянину, и к барину, если этот барин недалек в своих воззрениях и понятиями своими сам подводит себя под уровень простого крестьянина-невежды. Следовательно, мы никак не можем допустить мысли, чтобы господин Иван Петров мог оскорбиться таким невежливым обращением с его именем господина быховского помещика.

Жалобы на некоторых посредников высказываются с более серьезной стороны в войске донском. Недавно тамшнее присутствие по крестьянским делам напечатало свое предостережение посредникам, взывало к их беспристрастию и напоминало им об обязанностях к двум ныне отделяющимся классам: дворянам-казакам и бывшим их крепостным крестьянам. Бездейтельность мировых посредников, говорит оно, и посылки, вместо себя, рассыльных или писарей могут ввести в это дело много ошибок и унижить высокое достоинство посредника. Войсковое присутствие угрожает, что если после этого предостережения, вынужденного неоднократными жалобами и помещиков и крестьян, оно снова будет получать подобные жалобы, то, на основании положения, будет передавать их в подлежащие мировые съезды для формального рассмотрения.

Вопрос о церковной земле в меже помещичьих владений, благополучно разрешаемый во всех губерниях на основании планов генерального межевания, поставлен несколько иначе в земле войска донского. Донцы намереваются, кажется, вырезать землю под церкви и причты из участков непомещичьих, предоставленных в надел временнообязанным крестьянам. Так, по крайней мере, мы заключаем из подлинных выражений декабрьского журнала (№ 180) войскового присутствия, а как дальнейших действий его по настоящему вопросу видеть еще не из чего, то мы будем следить за ним по будущим печатным актам и в свое время о последствиях сообщим нашим читателям.

Не так давно в “Северной почте” было напечатано, что дворянство одной губернии ходатайствовало в военном министерстве не изменять того способа поставки в казну провианта, который учрежден был правилами 10-го октября 1857 г. и теперь уже формально признан зловредным и отяготительным и решительно отвергнут высочайше

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
утвержденным положением военного совета и совета министров. Впрочем, кто не знает этой, по целой России прозванной дворянским способом системы заподрядка помимо подрядчиков? Это вполне отвергнутое изобретение наших провиантских чиновников, как видите, не выдержало даже и пятилетнего опыта. По свидетельству “Военного сборника”, расходы провиантского ведомства простираются ежегодно до 40 миллионов рублей серебром: цифра прелакая! Но вот что открывается. Несмотря на все усилия правительства (говорит орган военного министерства) привлечь дворян к казенным поставкам, несмотря на некоторые льготы, данные дворянам, из 14000000 четвертей купленного казною в последние пять лет хлеба дворяне продали только 3000000 четвертей! И если взять ценность поставленного ими хлеба, то окажется, что он обошелся дороже того, который ставили подрядчики.

Комиссия, обсуждавшая способы провиантских заготовлений, приняла следующие основания на будущее время:

- 1) Допускать к торгам на поставку в казну хлеба все без исключения лица, имеющие по закону право вступать в обязательства с казною. Дворяне тоже приглашаются к этой операции, но без особых льгот, разве лишь с допущением в залог их земель по свидетельствам губернских предводителей.
- 2) Торги производить изустно, с допущением присылки запечатанных объявлений.
- 3) Торги производить на главных пунктах заготовления хлеба.
- 4) Доставка продуктов должна совершаться в самые магазины прямо.
- 5) Допускать раздробление больших операций в возможно меньших пропорциях для сухопутных доставок и не менее 10000 четвертей для сплава.

Итак, на указанное выше ходатайство дворянства одной губернии отвечали решительным отказом с присовокуплением, что о возобновлении отвергнутой системы не может быть и речи. Впрочем, прибавлено, что военное министерство не только приглашает дворян принимать по-прежнему участие в поставке провианта, но даже весьма желает того, хотя, с другой стороны, оно не может отступить от основного правила, чтобы цены на продукты установились посредством общей и сколь возможно широкой конкуренции.

К слову о провианте заметим идилическую выходку “Одесского вестника”. Почтенная и очень нами уважаемая газета удивляется, отчего это в Одессе, при упадке цены на пшеницу с 10 рублей на 6 рублей серебром за четверть и при удешевлении топлива с 7 руб. до 1 руб. 50 коп. за воз камыша, печеный хлеб остается все-таки в прежней высокой цене! Не дальше как на днях нам случилось слышать разговор какого-то господина с гостинодворским франтиком из хозяев:

- Ведь эти трубки глиняные: и вся-то цена им 3 копейки! – говорит покупатель.
- Ah, dieu des dieux, mon bon monsieur, [84] таких цен нет в Гостином дворе!
- Ну, вот вам по пятаку за штуку, дайте мне десяток?
- Как можно-с: нынче все вздорожало... притом же, изволите видеть, пожары-с...
- Да ведь пожар был на Щукином, да на Апраксином, да на Толкучем?
- Все одно-с, и в Гостином коммерция страдает, цены на все поднялись. Меньше пятиалтынного не могу взять за штуку: ведь стамбулки-с!

А наши почтенные немцы-булочники и русские пекаря? Да разве это не то же притеснение бедного класса? На гостинодворцев жалуются все швеи и другие труженики, не выходящие у них из долгов; на пекарей и булочников жалуются все за легковесные булки и хлебы, за которые берут, однако ж, очень дорого. У немца булки – с детский кулачок, а цену берут красную! У пекаря как будто и недорог низший сорт, но тесто с песком. Поревизуйте-ка Полки, Выборгскую, да Пески, испытайте на себе ярмо наших торгашей, тогда и сами убедитесь, что они и были, и есть, и всегда, кажется, будут самым отсталым сословием.

РАЗНЫЕ СЛУЧАИ ИЗ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ РОССИИ

Мы очень рады, что собственные наши наблюдения и оглашаемые в разных газетах

официальные сведения о внутренней жизни нашего народа свидетельствуют в пользу той мысли, которая недавно высказана одним помещиком в № 181-м “Северной пчелы”, именно, что взаимное раздражение одного сословия против другого начинается, наконец, мало-помалу стихать; что обе стороны начинают, наконец, чувствовать уже утомление от неподатливости своей на умиротворительные меры и что старинная благодетельная русская метода не вздорить пред расставаньем берет-таки, наконец, верх над разными дрязгами. Маленькое головокружение, объявившее в иных местностях обрадованное освобождением крестьянство; обманутые надежды немногих читателей старины, полагавших, что идеи об освобождении – один лишь вздор и пустые выдумки, бессильные для того, чтоб сокрушить живучее крепостное право, которое, по их убеждению, одно только и красит Россию и ставит ее в ореоле славы; желчное озлобление жрецов питейного откупа, потерявших последний луч надежды спойть народ и вытянуть последнюю его трудовую копейку; предсмертный страх дельцов и кривителей весов Фемиды, чутьем чующих, что проходит пора их прежних подвигов и что наступает пора иная, – все ведь это факты, возражать против которых решительно нет никакой возможности! Положим, что и убеждения рыцарей откупа были тверды, как гранит, и вера в живучесть крепостного права была тверда, как гранит, и кора загубелости русского мужика была, аки гранит, шаршава и крепка, – но что ж в глазах читателя нашего значит гранит, особенно теперь, после пятого нумера официального и ученого “Горного журнала”? Всякая, по-видимому, наипрочнейшим образом скованная, обуховская пушка разлетается вдребезги от какой-нибудь лишней щепотки простого праха Бартольда Шварца! Самые громадные скалы гранита берегов Финляндии от простого дуновения ветра превращаются в мельчайший песок! Полюбуйтесь на великолепнейший монолит – и вот у вас пред глазами новое доказательство, что все тлен и прах, все свой конец имеет! Стоит Александровская колонна чудным колоссом на Дворцовой площади, гордо подняв свою макушку прямо в небо. По этой же площади едем мы с вами, читатель, на жалком трясушке-извозчике – и что же? Дребезжанье нашей хилой линейки может грозить громадному гиганту бедой и страшным кризисом... Но прежде чем мы передадим вам почти слово в слово, буква в букву, результат ученых изысканий нашего почтенного академика инженер-генерала Г. П. Гельмерсена, обратимся к гранитным верованиям других специалистов – деятелей на иных житейских поприщах.

Журнал “Творения святых отцов” разразился недавно страшною, полною желчи и оцта иеремиадою против “Свода законов” и начал метать перуны на вмешательство государственной власти в сферу гражданских действий церковников, порываясь доказать, что “Свод законов” ухищренно ставит наши лица духовного сословия в намеренно унижительное положение пред людьми общегражданского быта.

Гранитные убеждения названного журнала так прилились по вкусу одного преподанного московского периодического издания, что оно, быв доселе чуждо всякого сословного антагонизма, сочло справедливым несправедливые крики наших клерикалов перепечатать на своих страницах и видеть в этих желчных излияниях как будто бы и в самом деле верное доказательство мысли, что гражданская власть не должна контролировать общественную деятельность духовенства.

Другой деятель на том же поприще, в другом, но той же категории журнале, скорбит душою о том, что на свете есть злые языки, которые насмешливо отзываются о знаменитой тени Ивана Яковлевича Корейши, этого теперь уже навеки опочившего юродивого, то есть полоумного, полусумасшедшего фанатика. Почтенный автор, публично сознающийся, что он над болезненной супругою своею читал, по требнику Петра Могилы, “заключительные молитвы”, так как врачи болезнь жены называли “истерикою”, и собственноручно свидетельствующий, что эти закликательные молитвы прекращены им, как кажется, по приказу Ивана Яковлевича, отзывается об этом бедном полуидиоте не иначе, как “отец мой и благодетель”. “Отеческому вниманию благодетеля своего Ивана Яковлевича” изумился почтенный супруг болезненной жены, особенно тогда, когда Иван Яковлевич из-под простыни дал больной дотить из стаканчика простое вино, и (о, чудное дело! восклицает сам автор в умилении от чудотворных деяний помешанного и полоумного Корейши) не прошло и шести минут, как больная, которую столько лет тиранили московские доктора латинской кухней, почувствовала уже значительное облегчение! Почтенный автор, прославляющий чудотворность покойного Корейши, напирает на его дар предсказаний о пожарах и о смерти, об избавлении им разных лиц от болезней, без пособия грешной медицинской науки, и эта гранитная вера в полоумных юродивых так твердо засела в головы людей, подобных указываемому нами прославителю Корейши, что доходит почти до грустно-забавного увлечения. И этим-то людям “Православное обозрение” хочет вверить безответное, без вмешательства гражданской власти, образование русского подрастающего поколения! [85] Дай Бог, чтоб эти гранитные его надежды разлетелись

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
в пух и прах пред честным и прямым путем, который в деле народного образования предпринимает наше теперешнее министерство народного просвещения!

Можно было бы тут же, благо по пути, сказать слова два о другом полоумном бродяге, которого один священник называет “чтецом Иоанном”, которого попросту звали пономарем Иваном Петровичем. Этого человека за беспаспортность посадили сначала в смиренный дом, а потом чрез несколько лет причислили к сумасшедшим и звали уже Ильею-немом, так как пономарь Иван, бросив жену и детей без куска хлеба, решительно отказался от человеческой речи. Но он обрек себя вечному молчанию не из видов набивать карманы и брать пошлину с людей доверчивости; он наложил на себя обет молчания из очень почтенного чувства, – из чувства, доходившего до фанатизма: ему омерзительно было видеть людскую неправду и повсюдное торжество силы над чужим горем и несчастьем, а бороться с неправдой и насилием он не мог и не умел. Такую почтенную личность не подобает ставить на одну доску с такими шарлатанами, каковы все эти разные Иваны Яковлевичи.

Гораздо легче перейти к другой материи и прямо начать хоть с г. М. Н. Лонгинова, стяжавшего себе знаменитость как замечательный библиограф и большой знаток в биографии разных московских знаменитостей. Не так давно г. Лонгинов приписывал себе одно великое дело, инициативу вновь дарованного первопрестольной нашей столице общественного городского устройства: но, увы и ах! неблагодарные соотечественники, и в Москве, и в Петербурге, как дважды два, доказали нашему публицисту всю неосновательность его на этом скользком поприще притязаний. Не удовольствовавшись одним неуспехом, г. Лонгинов поместил в “Современной летописи Русского вестника” небольшую статейку, по которой выходило – если ей поверить на слово, – что г. Лонгинов сделался неповинною жертвою крестьянского дела, понеся огромный ущерб в имуществе, именно по поводу освобождения крестьян и по испорченности нравов сызранских крестьян, бывших дотоле крепостными его барщинниками.

Основательным разбором разных явлений в сельской жизни, по введению в действие положений 19-го февраля 1861 года, особенно отличался у нас “Русский инвалид”, преобразившийся впоследствии в “Современное слово”. Но и эта почтенная газета в деле разбора претензий г. Лонгинова не сделала таких настоятельных вызовов г. Лонгинову, говорившему “о разорении множества отдельных лиц из числа помещиков”, и не нанесла ему стольких ударов, с каким обратилось к нему “Наше время”.

Перед “Нашим временем” и его непреодолимыми доводами г. Лонгинов должен был спасовать; однако ж он, хотя и разбитый, говорить не перестал и, кидаясь из стороны в сторону, никак не хотел признать себя побежденным. Самый верный и самый решительный удар нанесен был г. Лонгинову в той же “Современной летописи Русского вестника” г. Бекетовым, мировым посредником того участка, где находится сызранское имение г. Лонгинова. Г. Бекетов доказал нашему сызранскому помещику, что ему следует плакаться не на крестьян, а на самого себя; что крестьяне работали, как следует, по крайней мере, в большей части случаев, но что виною всему было дурное управление, неумение распорядиться рабочими силами, неподготовленность помещика к совершившемуся событию освобождения, незаготовление ржи на семена, дальность барщинных работ от деревень и прочее, а потом уже вообще дурной урожай и мокропогодье. Затем г. Бекетов вразумлял г. сызранского помещика наглядным расчетом, что с освобождением крестьян и с переходом их от барщины на оброк он не только не делается разоренным, по милости правительства, помещиком, но что вместо 9000 руб. годового дохода он должен получить, по крайней мере, в год 11480 руб. серебром доходов, если не будет сидеть, склавши руки, а станет хозяйственно распоряжаться своими средствами.

Как не смолчал г. Лонгинов перед логическими доводами “Нашего времени”, так не смолчал он перед неотразимыми доказательствами г. Бекетова. Он и тут отписался и, ослабивши несколько прежний болезненный тон речи, кончает свою отписку обещанием напечатать со временем дальнейший ход дела, который, говорит он, по всей вероятности, будет для меня благоприятен. Однако ж из слов г. Лонгинова, что такой способ решения дела он не считает выгодным для всех, следует, кажется, полагать, что убеждения его о разорении множества помещиков все-таки тверды, как гранит питерлакских ломок.

Пока мы здесь, в Петербурге, с гранитным терпением готовимся к преобразованиям по части намордников, француз фурнье начал уже действовать в Одессе с полною энергией и ловить безвозбранно всех одесских собак за безнамордничество.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
“Одесский вестник” рассказывает, что он уже подпустил воинскую хитрость, или, правильнее сказать, маленькую *factio juris*, [86] и, не придираясь к намордничеству, взимает акциз в 3 рубли серебром за бляху к собачьему ошейнику, в гранитной уверенности, что если собака с такой бляхой кого и укусит, то это будет почти равносильно лаю из-под намордника (№ 70-й “Одесского вестника”). Дело хорошее, и бляхи, если ими не злоупотребляют как-нибудь нахально, а все-таки видно, что Одесса шибко идет вперед в наружном украшении и во внутреннем преуспевании. Про Новороссийский университет читатели наши уже знают; но дело еще в том, что Одесса приняла серьезные меры к устройству у себя превосходной мостовой и к проложению водопроводов, тогда как в Петербурге не краснеющие ни от чего люди допустили с водопроводом такое странное фиаско, за которое они в другом месте, вероятно, так дешево не разделались бы. Наконец, Одесса задумалась о городском освещении и, мало того, публикует в своих газетах правительственные оштрафования за надувательство: за один раз там оштрафованы и еврейские резники за нечистоплотность мясных лавок, и православные мясники, всего шесть человек, за надувание баранов для придания им лучшего вида. Евреев полиция оштрафовала по рублю с брата, а русских специалистов по пяти рублей серебром с персоны. Совершенно дельно и правосудно, – но, того и гляди, кто-нибудь поднимет журнальные вопли о пристрастии и преднамеренном унижении православных христиан пред евреями, многим еще у нас страшно ненавистными.

Александра Николаевна Гладкая, принявшая на себя, как уже известно нашим читателям, труд съездить за границу, вошла со многими землевладельцами нашими в соглашение касательно снабжения их, за очень недорогую цену, живыми рабочими силами прямехонько из самых просвещенных стран западной Европы. Кто-то в газетах подтрунивал над подвигоположничеством почтенной помещицы; чуть ли не намекал на крыловскую басню о синице, сбиравшейся за жемчужное море, по крайней мере, иронически указывал на то обстоятельство, что г-жа Гладкая с ранней весны все только собирается за море и только все входит в сношение с владельцами, желающими выписать себе иностранных рабочих, но мы на эти насмешливые выходки не обращали никакого внимания. Но вот, наконец, сама г-жа Гладкая печатает в № 70-м, от 28-го июня, “Одесского вестника” следующее объявление:

“Александра Николаевна Гладкая, известная уже читателям “Одесского вестника” по неоднократным ее корреспонденциям и предполагавшая выехать за границу 20-го мая, для окончания начатого ею дела о найме рабочих, встретила в исполнении своего предположения неожиданное препятствие, устранение которого зависит от отзыва на телеграфическую депешу, посланную ею в С.-Петербург. О последующем она обязывается известить своих доверителей.

А. Гладкая

1-го июня”

После этого нам остается только пожалеть, что Александра Николаевна так долго не получает отзыва на свою телеграмму... а как дело здесь идет собственно о рабочих, то вот, кстати, благодетельное средство, предлагаемое нашим прекрасным “Сельским листком” на пользу и назидание наших добрых трудолюбивых мужичков. Кажется, нигде нет бездельнее мужичков, как в Белоруссии, в подмосковных да под Петербургом, в стороне от больших дорог. Как бедным людям случается часто голодовать, так часто приходится испытывать и чувство жажды, особенно в летний час, на тяжелой работе, жажда – чувство премучительное! Тринадцатый номер “Сельского листка” советует нашим крестьянам воздерживаться от простуды и, упарившись в тяжелой работе, не пить холодного питья скоро, а тем более с жадностью. “Вы, – почти так говорит “Листок”, – вы, говорит, олухи, рады, что до воды дорветесь! Вы – пейте, да потихоньку, медленными глотками, воду-то сперва нагрейте во рту, а потом и пропускайте в желудок теплою. А захочется смертельно пить натошак, так вы перед питьем съешьте немного хлебца или возьмите кусочек сахарцу...” Уж коли “Листок” начал с мужиком речь о сахаре, так уж заодно бы посоветовал им не есть и мороженого. Мужик с мороженого как раз простудится, дорвется, знаете, до него – благо в кондитерских на Невском оно по четвертаку порция величиной с картофелину, – а того, истинный олух, и не ведает, что во Флоренции или там в Неаполе порции мороженого цена всего пятиалтынный; да ведь и порции-то какие! чуть-чуть не с шапку, порций десять нашенских выйдет! и какое крепкое! Не то, что наше, вроде русского масла, а твердое, как гранит, даже так-таки гранитом и называется...

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

А ведь вот если гранитное мороженое тает во рту, как мечта; если вера в идиотов-фанатиков испаряется, как чужь; если убеждение в могущество откупа падает в наших глазах с позором; если даже крепостная твердыня барщины рухнула навсегда, – то ученый генерал предсказывает ту же участь и Александровской колонне. Вот его слова, помещенные в ученый, специальном и официальном органе корпуса горных инженеров:

“Глыба в 9 1/2 миллионов фунтов потребовала усилий шестисот рабочих, в продолжение ровно двух лет, чтоб быть отделенной от питерлакских скал. Когда эта прямоугольная глыба, предназначенная для позднейших веков служить памятником чувств Императора Николая I к Императору Александру I, приняла несколько цилиндрическую форму и докатывалась уже по мосту, над которым работали целые две недели, на толстых брусках к судну; когда она была уже в нескольких только от этого судна шагах, – вдруг 28 толстых брусков, служивших мостом от мола к палубе, переломились, и колонна, при страшном сотрясении, погрузилась на расщепленные бруска.

Когда колонну от берега Невы катили на средину Дворцовой площади, сотрясение в ней происходило значительное. Трещины усилились, они были уже прежде; их стали замечать с 1834 года; в 1835 году они стали заметнее; в 1841 году о них стали говорить еще серьезнее. В “Санкт-Петербургских ведомостях” появилась полуофициальная статья, где читателей успокаивали, что заметные для всех полосы на колонне не трещины, а оптический обман; но нет, то был не оптический обман, двадцатилетние наблюдения доказали горькую истину, что всем гранитным идеям положен предел, его же не преjdeши! Колонну катили столько от скалы к морскому берегу, от берега Невы на площадь; она испытала столько потрясений и в лежачем, и в стоячем состоянии... даже теперь взойдешь на леса около колонны, – но проедет карета, и сильное сотрясение на лесах делается ощутительно, а действие этого сотрясения на колонну должно быть значительно... Да это же и не первый случай. Из 48 глыб красного онежского кварцита для памятника Императору Николаю I при отделке двадцать четыре развалились! При отделке великолепных колонн для Исаакиевского собора две развалились посередине, и все это знают, и все это видели.

Чтоб смягчить сотрясение колонны от езды по площади экипажей, признано необходимым устроить вместо каменной мостовой деревянную, по крайней мере на пятнадцать сажен вокруг всей колонны.

Что касается трещин, то от них ничем не спасешься! От влияния температуры можно, правда, сберець колонну под надежным колпаком или иным футляром, который служил бы колонне дурным проводником для теплорода... но генерал Гельмерсен сам признает это средство неуместным: тогда колонна потеряет свое значение.

Последняя почта привезла нам столько новостей интересных, что дальнейшую их передачу мы отлагаем на завтра.

РАСКОЛЬНИЧЬИ ШКОЛЫ
Стоит только догадаться

За дело просто взяться.

Говорят, что г. министр народного просвещения пришел к мысли, достойной духа настоящего времени. Он намерен содействовать учреждению в раскольничьих обществах первоначальных школ в духе, не противном традициям “людей древнего благочестия” и подобном с требованиями здоровой педагогики. Приветствуем эту благую мысль и от всей души желаем одолеть трудный вопрос соглашения раскольничьих традиций с воззрениями педагогики. Говоря, что это трудно, мы вовсе не считаем этого невозможным. Что раскол нисколько не страшен государству, это теперь ясно как солнце. Толки, пугавшие власть расколом, росли от незнакомства с духом и домогательствами раскола. Теперь раскол высказался сам. Стоит найти людей, способных познакомить нас со всеми подробностями раскольничьей педагогики, и она, вероятно, станет страшна менее прошлогоднего снега. Стоит послушать самих раскольников, самих их вызвать на указание путей к соглашению их педагогических желаний с желаниями правительства и сделать дело как можно проще и согласнее с желаниями тех, для кого оно делается. Как бы ни обучен был молодой раскольник, он будет ближе своего отца к современной среде и получит большую охоту к знаниям, в которых лежит сила, должствующая непременно одолеть заблуждения, устоявшие против петровских крючьев, кнута и плахи.

РАССКАЗ ПРИХОДСКОГО СВЯЩЕННИКА
УНИЗИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО НЕЗАСЛУЖЕННУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ.

В Белинский

В нашей книжной торговле на днях появилась небольшая книжечка, носящая такое заглавие: “Анастасья. Рассказ приходского священника Александра Гумилевского”. Беллетристическое произведение лица духовного ведомства – явление весьма редкое в нашей литературе, и потому мы не считаем себя вправе пройти молчанием рассказ г. Гумилевского. Мы хотим поговорить о способности автора относиться к жизни и к людям, и это для нас тем удобнее в настоящем случае, что г. Гумилевский говорит о народе и о его сельском быте. Рассказ очень прост. Живет в семье брачная чета, крестьянин Димитрий и его жена, крестьянка Анастасья, которых сам автор в своем рассказе называет попросту Митрием и Настасьей. Они только что девятый месяц побрачились, но Настасья уже беременна и на сносях. Она мнительна: ей все кажется, что она неблагополучно родит, и ей хочется отговориться, а дело было великим постом. Но деревенские бабы натолковали Настасье, что до году после замужества нельзя приобщаться. Она грустит об этом и сообщает мужу свое непереносимое желание поговорить.

– Как тебе причащаться-то? – отвечал Митрий. – Ведь ты знаешь, что это тебе грешно.

Жена настаивает на своем: “Щемит, говорит она, у меня под сердцем. Верно быть беде. Надо причаститься”.

– Да коли нельзя? Ведь все деревенские осудят тебя, коли пойдешь к причастию.

Дело улаживается тем, что священник о. Василий, к которому Митрий обратился за разрешением этого затруднения, успокаивает его, что Настасье можно причащаться, что рассказанные ей толки – вздор и верить им не должно. Мужик Димитрий в благодарность за это отвечает священнику так, как ответил бы фельдфебель Кольванского егерского полка:

– Дай вам Бог много лет священствовать!

Митрий привозит беременную жену к церкви отговориться, и останавливаются они у дьячка Федотыча, большого забавника, который читает говельщикам и про то, как мышк к мышк в гости шла, и разъясняет синаксарь. В рассказе дьячка встречается довольно толковое разъяснение слова неделя, значение сорока дней поста и т. п. вещей, о которых народ очень любит подчас потолковать и толкует всегда по-своему и весьма оригинально. Рассказ Федотыча о кресте кончается тем, что все его слушатели и сам он заливаются горькими слезами и идут в церковь. Изображая сельский храм, автор говорит, что в нем “образа были такие темные, что лики угодников едва было можно разобрать. На престоле и на жертвеннике одежды полинялые, все в заплатах. У священника ризы были не лучше”. Прихожанам нечем было помочь церковным нуждам. Но бедность священнического облачения не мешала им любить о. Василия, потому что он был человек простой, добрый и “поученье всегда сказывал. Не мудрит бывало. Вынесут ему аналой, выйдет, перекрестится и начнет сказывать просто, без прикрас, и всегда дело скажет. Заметит, например, что крестьяне пили много вина в храмовый праздник, он в следующее воскресенье и начнет говорить им, что не следует напиваться”. Доказывает вред пьянства, “пьяница, говорит, срамословит, дерется, буянит, жену и детей из дома гонит. У пьяницы никогда добра в дому не водится, а все по кабакам расходится”. Крестьяне его любили. Когда о. Василий увидел в церкви Настасью, он позвал ее к себе в дом, поговорил с нею и “советовал ей не утомлять себя слишком великопостною службою”.

– Устанешь – посидеть можно, – говорил он. – Голодом не мори себя. Ты больной человек, не снесешь того, что здоровый снесет. Беременной женщине в случае крайности и скоромь разрешается.

“Такая душевная доброта о. Василия глубоко запала на сердце Настасьи. Она в первый раз видела участливость (sic! [87]) к своему положению в стороннем человеке. До сих пор один Митрий облегчал ее во всем, а деревенские почти все требовали от нее того же, что и от здоровой, так что когда один раз ее в церкви смутило (sic!) и она присела на скамейку, так над ней смеялись как над изнеженной барыней”. Перед причащением священник опять говорит прихожанам

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
поучение. “За милостью к Богу пришли, так будьте же милостивы”. Учит их, как подходить к причастию, уступая и здесь перед слабейшим: “малолетки сначала, затем больные, старики, за стариками женщины, потом мужчины”. Крестьяне причастились, причастилась с ними и Настасья, и “когда она приняла в себя св. тайны – слезы струились из глаз ее”. Дьячиха приглашает Настасью с мужем отобедать у себя, “а потом соснуть маленько”. Митрий согласен и отобедать и соснуть, но жена торопится домой. Дьячиха и Митрий уговаривают ее, что “без опочиванья ехать после причастия грех”; но входит дьячок и разъясняет, что “баба его врет”, что пообедавши можно ехать. “Спать-то пожалуй что после причастья, коли устал, спать хочется; да в закон-то этого не ставь всем”. Вернулись муж с женою домой, и через две недели Настасья почувствовала родовые муки. Митрий приводит бабушку Степаниду, в разговоре с которой они величают друг друга Митрием Ивановичем и Степанидой Савишной. Настасья не скоро разрешается, и Степанида Савишна посылает Митрия Ивановича к отцу Василию попросить его “царские двери открыть”, чтобы бабе полегчало. Митрий приезжает к священнику и рассказывает ему свою просьбу; тот сначала отказывается, но, видя, что мужик убивается – открывает при нем царские двери.

– Жаль, – говорит, – мне тебя, беру на себя грех.

Отпустив обрадованного Митрия, священник допытывается: откуда явилась у бабки Степаниды такая мысль, и узнает от дьячка Федотыча, что “бабы слышали слова задостойника: ложесна бо твоя престол сотвори, да каждая и стала себе думать Бог знает что”. У Настасьи родился щедедушный ребенок, глядя на которого бабка Степанида порешила окрестить его, не дожидаясь о. Василия, за которым поехал Митрий. Мать велела ей назвать ребенка Ваней. Бабка “взяла богоявленской воды с божницы, налила в чашку и приступила к крестинам (к крещенью). У Настасьи она сняла крест с шеи, перекрестила им ребенка с головы до ног, надела на шею малютке, потом, зачерпнув рукою воды из чашки, облила водою крестообразно все тело ребенка и проговорила: крещается раб Божий Иван; Святы Боже, Святы крепкий, Святы бессмертный помилуй нас, а затем: “Отче наш”. Ребенок тотчас после этого умер, “Настасья рыдала. По временам вырывались у нее несвязные слова: “Ваня! Митя!” и проч.”.

Приезжают священник и Митрий, и здесь происходит сентиментальное размышление Митрия над не жившим почти ребенком. Автор сам почувствовал неестественное положение, в которое он поставил все действующие лица своего рассказа, и посылает Митрия делать гробик. Митрий идет и рубит (!) доску. Гробик готов, ребенка уложили в него, и уже выносят, но тут-то и происходит казус.

– Я и забыл совсем, Савишна, – сказал о. Василий, – спросить тебя про крестины-то! Как ты окрестила Ванюшу?

– Да так, просто окрестила, как умела, – отвечала Савишна. – Взяла я чашечку деревянную, налила богоявленской водицы, перекрестила три раза ребеночка крестиком – у Настасьи взяла с шеи, надела ему крестик на шейку, водицей полила и сказала: крещается раб Божий Иван.

– И только? Больше ничего не читала? – спросил священник.

– Нет, прочитала “Святы Боже” да “Отче наш”.

– А еще ничего не говорила?

– Что еще говорить-то? Кажись, больше уж нечего было и говорить.

“О. Василий побледнел немного”.

Вы удивляетесь, читатель, чего было побледнеть отцу Василию, а вот подождите:

– А во имя Отца и Сына и Святаго Духа произносила ты, когда водою поливала? – спросил о. Василий.

– Нет, – отвечала спокойно Степанида.

– Несчастливая! – сказал о. Василий, весь побледневший. – Ты навеки сгубила душу человеческую! Крестины (вместо крещенья) твои не в крестины Ванюше!

Заметьте, что все это происходит в крестьянской избе, в присутствии отца и роженицы. Автор сделал эту сцену не без умысла. Он тотчас же поясняет, что “о. Василий забылся. Ему так не следовало говорить при несчастных родителях, особенно при Настасье; но он так был испуган поступком Степаниды, что не помнил, перед кем он говорил. Тяжелый стон Настасьи вывел его из забывчивости. Он понял (свою) оплошность, быстро подошел к кровати и старался загладить свою вину перед Настасьей”. “Прости меня, – начал он, обратясь к роженице, и сказал ей весьма риторическую речь, после которой “Настасья казалась спокойною”, а о. Василий, сделав еще тут же сильный выговор Степаниде, учит ее вперед крестить слабых детей таким образом: “Возьми ребеночка-то слабенького, налей в чашку богоявленской водицы, а нет богоявленской, так и простой налей, и поливай рукою водицу на голову ребенка трижды. Польешь раз, скажи: крещается раб Божий такой-то, во имя Отца, аминь; польешь другой, – скажи: и Сына, аминь; польешь третий – скажи: и Святого Духа, аминь”.

Степанида обещается вперед так поступать, и священник с дьячком и Митрием, держащим гробик, уезжают. Митрий дорогою находится в состоянии какого-то столбняка, из которого дьячок выводит его, подчуя табаком и рассказывая мужику, что “*tabaca bona, tria fecit dona*”. [88] Мужик развлекается и спрашивает: зарюют ли его Ваню, получившего ненастоящее крещение, хоть на общем кладбище? Ему говорят, что зарюют, потому что Ваня не опивица и не самоубийца. Мужик успокаивается.

Между тем бабка Степанида, обученная уже, как давать действительное крещение слабым детям, берется за Настасью, тащит ее в баню, поит ее там водкою, парит и едва дотаскивает домой, где с несчастной бабой начинается жестокая лихорадка. На этом автор кончает свой рассказ и, поставив многоточие, начинает приличное наставление читателям. Судя по духу этого наставления, мы вправе полагать, что рассказ назначен собственно для поселян, ибо для всех других классов такие поучения совершенно лишние. Словом, это одна из тех книжек, которые, по чьему-то удачному выражению, пишутся “для неграмотного народа”.

Что же хотел сказать автор своим рассказом для неграмотного народа и к кому он обращал свою речь? Неграмотный народ, к быту которого обращается автор, разумеется, никогда не узнает об этом новом произведении российской словесности, а ученики сельских и воскресных школ могут его прочесть и могут из него узнать, что женщине позволительно приобщаться прежде, чем пройдет год со дня ее свадьбы, что беременной можно есть в пост скоромь, что не должно изнурять себя голодом, что слабому человеку можно присесть в церкви и что за это никто такого человека не должен осуждать; узнают еще о неосновательности двух, трех предрассудков, и только. Конечно, хорошо и это, и оно зато составляет всю пользу, какую может принести рассказ г. Гумилевского, если его будут читать. Для людей другого слоя он не представляет никакой занимательности. Это не картинка с натуры, а вымысел, не рассказ, а сочинение пансионерки на заданную учителем тему. Димитрий и Анастасья – сахарные мужички, каких нет в земле русской; гореванье их о ребенке, который еще совсем не жил, натянуто, ненатурально, и в крестьянском быту мы никогда не видали ни такого гореванья по однодневном ребенке, ни того, чтобы мужик забывал ради такого ребенка свою хозяйку, которую он любит, а потом припадал бы трагически к ее изголовью. Настасья говорит, точно известная королева Женева, дьячок утешает мужика латинскими прибаутками... Бог знает что такое. Одна Степанида еще кое-как похожа на крестьянку, да и та говорить не умеет по-крестьянски; только что не манерничает, как другие. Священник... таких священников мы еще не видали, хотя видали очень хороших священников. Но в священнике-то вся и сила. Очевидно, что весь рассказ написан для указания нескольких суеверий и для изображения идеала автора в лице отца Василия. Такая задача, конечно, не выкупает недостатков рассказа, но она заставляет нас симпатизировать направлению священника, написавшего рассказ о сахарных мужичках. Если о. Василий – его идеал, в чем мы и не хотим сомневаться, то значит век г. Аскоченского и *tutti quanti* [89] на исходе. Несмотря на все неудобство выписывать содержание беллетристических произведений, мы изложили самую суть рассказа священника Гумилевского, имея в виду познакомить общество с идеалами приходского священника, сложившимися в голове священника, участвующего в редакции русского духовного журнала. Полагаем, что идеал этот в основании своем далеко чище идеалов многих писателей, сочувствующих тенденциям братолюбивого г. Аскоченского, и г. Гумилевский может безопасно следовать ему, если еще подвергнет его строгому критическому анализу, освободясь наперед от всяких предвзятых понятий.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Что же касается самого таланта нового беллетриста, то... мы не видим в нем ровно никакого беллетристического таланта. Г. Гумилевский, как лицо просвещенное, не должен оскорбляться нашим откровенным мнением, которое мы и выражаем, желая указать г. Гумилевскому на его настоящую дорогу. Г. Гумилевский, как один из редакторов "Духа христианина", журнала, к которому мы не один раз имели случай относиться с благодарностью за встречающиеся там прекрасные бытовые статьи, написал несколько интересных изысканий о быте сельского духовенства, об участии женщин в делах христианского служения человечеству, о значении братства и т. п., статьи этого рода, кажется, и должны быть предметом занятий автора "Анастасьи". Если же он чувствует влечение к беллетристическому роду литературы (который ему, судя по настоящему рассказу, не дается), или если, по его соображениям, эта форма удобнее для достижения несомненно похвальных и честных стремлений г. Гумилевского, то... мы позволили бы себе в таком случае посоветовать ему почитать г. Успенского и других наших нынешних рассказчиков, перед рассказами которых произведение г. Гумилевского – то же самое, что "Алексис, или домик в лесу" перед лучшим произведением Тургенева. Для всякого рассказа нужно хоть немножко быть художником или по крайней мере хоть иметь навык вроде того, с которым пробивается г. Ольга Н., а иначе и повести и рассказы будут падать в Лету, готовую выступить из берегов от запрудившего ее хлама российской словесности.

РИЖКИМ БЕСПОПОВЦАМ

Прошу вас дать место следующим строкам, необходимым для разъяснения недоразумений, возникших в обществе рижских староверов-беспоповцев.

В ноябрьской книжке журнала "Библиотека для чтения", в статье "С людьми древлего благочестия", я назвал рижских беспоповцев староверами поморского согласия, тогда как некоторым из них кажется, что они староверы согласия федосеевского. Эти "некоторые" сочли себя крайне обиженными и убедили темную массу Рогожной улицы не признавать своими староверов, которые были со мною знакомы во время моего пребывания в Риге нынешним летом.

Объясняюсь: федосеевцы отличаются от поморцев главным образом тем, что они не молят Бога за царя и за власть и не приемлют браков. Рижские же староверы Московского форштата молятся за царя, читают 19-ю кафизму псалтири, пропускаемую федосеевцами; поют тропарь: "Спаси, Господи, люди своя" по-поморски (то есть победы царю нашему даруй) и брачатся в моленной с благословением родителей и отца духовного. Следовательно, какие же они федосеевцы? Когда-то, находясь под зависимостью Преображенского кладбища, рижане действительно были федосеевцами, но нынче они, уж конечно, скорее всего поморцы, и ни один федосеевец, знающий свои предания, рижскую общину федосеевскую не признает.

Теперь пусть эта община сама решит, что она такое, а ни я, ни мои знакомые рижские староверы не виноваты, что рижская община сама не знает, какого она держится толка. В этом виновато одно ее собственное невежество.

РОССИЙСКИЕ ГОВОРИЛЬНИ В С.-ПЕТЕРБУРГЕ

(Опыт оценки нашей свободной коллективно-гражданской деятельности)
"Молод месяц не всю ночь светит".

Русская пословица

"А наши старички? Как их возьмет задор,

Засудят о делах, – что слово – приговор.

Ведь столбовые все: в ус никому не дуют,

и о правительстве иной раз так толкуют,

что если б кто подслушал их – беда!

Не то, чтоб новизны вводили, – никогда!

Спаси нас Боже! Нет! А придерутся

К тому, к сему, а чаще ни к чему,

Поспорят, пошумят – и разойдутся".

Грибоедов

Есть в народе погудка, что идет мужик со сходки, а другие мужики его и спрашивают: “Откуда, брат, ползешь?”

– Со сходки, – говорит.

– Что ж там на сходке делали?

– Ничего, – говорит, – побрехали безделицу, да и ко дворам.

– Что ж в том толку, что брехать-то сходитесь? – опять добиваются.

– А то, – говорит, – и толку, что на людях выбрешешься, домой меньше брехни принесешь.

Погудка эта, может быть, не совсем справедлива, и назад тому один годочек ее даже небезопасно было рассказать в печати, потому что назад тому один годочек в литературе свирепствовало эпидемическое помрачение, которым беспрестанно заболели все, и поэт клубничкин, то ездивший горшенею на несудливом боярине, то валявшийся в перинах с молодой княжной, и бурнопламенный Громека, сладострастно занывавший от волнения, охватившего его душу при чтении знаменитой книги профессора Лешкова, и даже сердитый внутренний обозреватель “Современника”, резко объявивший, что у него по некоторым вопросам нет солидарности с высоким направлением благороднейших из людей (как обозначают в некоторых кружках всех лицедействующих в названном достопочтенном издании).

Теперь ушло это время; теперь клубничкин стал стыд знать и уже не вопит во все горло:

Дайте мне женщину,

Женщину с черной косой!

Теперь он присяжный зоил, и в его теперешних песнях редактор Пятковский, говорят, уж подслушал несколько новых гражданских мотивов. Громека, отделившись и от “бомб отрицания” и от “киевских волнений”, самым аккуратным образом вписывает в “Современную хронику России” все новые переводы по части естествознания и истории, представляя таким образом в этой хронике, так сказать, и библиографический конспект переводно-издательской деятельности в России, и историю своей собственной цивилизации. Даже внутренний обозреватель “Современника” как будто уж менее раздражителен, чему, вероятно, много способствовали “свежий воздух полей и говор простого народа”. Мужики люди ли? Следует ли мужиков учить грамоте, или у них следует чему-нибудь поучиться? и тому подобные затруднительные вопросы, поднимавшие некогда желчь почтенного литератора, нынче его словно как будто поослобонили, или сам он махнул на них рукой, проговоря: “Ну вас совсем к лешему! Буду лучше солидарничать. Тут, по крайности, никаких результатов быть не может; тут хоть ты и проврешься, все же тыкать тебе в очи нечем будет”. Теперь, напившись хорошенького чайку, другой литератор стал заниматься анализом совещательного смысла народа, литератор, в некотором роде неприкосновенный и слишком гордый для того, чтобы чем-нибудь обидеться, да еще Иван Сергеевич Аксаков, который по беспредельному своему прямоту и благодушию тоже не рассердится за приведенную погудку, ибо он давно решил, что западная пыль, стремящаяся к нам по волнам финского залива, ослепила глаза питерщиков, и они никак не могут рассмотреть зеленых изумрудов в черноземной грязи родимых полей.

Теперь, пользуясь столь безмятежным положением вопроса о смысле совещательных собраний у народа, мы, кажется, ничем не рискуем, рассказав эту погудку, с которой нам пришлось начать свою заметочку о деятельности известнейших из наших говорилен.

Мы высказали о них свое мнение весной, когда они блистательною пустотою закончили свой прошлогодний сезон, и считаем своею обязанностью, не утомляя читателей, сообщить им, насколько наши говорильни с открытием нынешнего сезона изменились к лучшему или к худшему.

1) Экономическая большая говорильня (Вольно-экономическое общество), как огромный стоячий пруд, вечно покрыто тою же сплошною тиною, которая уже так

стара, что невозможно определить глазомером, насколько каждый год густеет эта тина и мельчает ли днище стоячих вод, ее выделяющих. Здесь ни одной рациональной перемены, даже ни одной попытки к реформе: все довольны сами собою, и мы ими очень довольны, потому что это люди благовоспитанные, – знают, что они ничего не делают, по крайней мере и не шумят, не крутятся как куклы на ниточках, а положительно, капитально, с чисто московской солидностью не только ничего не делают, но и ничего не хотят делать. – Положительно хорошие люди.

Цепи они для скота приобрели и производят ими торговлю, только плохо продаются. Надо бы рекламки сделать, хоть в “Пчелке” что ли. “Трудов Вольного экономического общества” обозные извозчики не читают, да они, впрочем, и ничего не читают; а кроме извозчиков, этих скотских цепей у “Вольного экономического общества” купить некому, и придется им ржаветь в модельной комнате до второго пришествия, то есть до второй попытки вольных экономов заготовить полезные орудия для распространения их по дешевой цене.

Мы говорили, что вольные экономы, владея большим капиталом, приобретенным чрез пожертвования, не умеют им распорядиться или распоряжаются им самым непроизводительным образом. То же самое скажем и теперь. Мы говорили, что члены этого общества вовсе не экономисты, а говоруны. То же самое скажем и нынче. Мы говорили, что нельзя даже питать надежд на пробуждение в этом обществе какого-нибудь осязательно-полезного движения, какой-нибудь попытки войти в жизнь края с доброй инициативой. Нынче скажем, что надежд этих еще меньше, ибо наши говоруны

“чем старше, тем хуже”.

2) Малая экономическая говорильня (Политико-экономический комитет, учрежден при Вольном экономическом обществе) находится по-прежнему под управлением бывшего профессора политической экономии Ивана Васильевича Вернадского. Это его креатура, и он здесь как патриарх в родной семье, держится несколько фамильных принципов, то есть управляет родом своим с некоторым оттенком, весьма впрочем тонко проводимого и самого либерального, деспотизма. Он не кипит и не топчет лошачком, как делает председатель одного пеккинского комитета, а стоит благородно, гордо, осанисто, держит себя с достоинством и род свой в достоинстве удерживает. Он не кричит пронзительным фальцетом: “Господа! Если уж вы меня избрали в председатели, так позвольте мне быть председателем” (то есть нраву моему не препятствуйте), как это делает тот же, топчущий лошачком, пеккинский ученый. Иван Васильевич не только сам не кричит, но и роду своему кричать не позволяет. У него во всем субординация и порядок. Он, если войдет в какой-нибудь экстаз, то выразит все это, так сказать, мимически, благородным жестом, энергическим словом, – жару, инбирую в речь подбросит и только; но всегда непременно начнет деликатно. Скажет: “Милостивые государи! Само собою разумеется”, а тут и пойдет. Если же другие забудутся и заведут дезордр, то он сейчас за колокольчик, поднимется, скажет: “Милостивые государи! Само собою разумеется...” и докажет, что в собраниях просвещенных людей дезордра быть не должно; но он докажет это так, что те самые люди, которые производили дезордр, убеждены, что Иван Васильевич выражает их собственные мысли. У него хочешь говорить, так дай прежде кончить другому, а не ори, не перекикивай чужого слова шириною непомерной глотки. Говори всяк в свое время. Так это у него и ведется, и беседа в его говорильне действительно похожа на беседу порядочных людей, собравшихся потолковать и толкующих, не перекикивающих друг друга.

Мы так нетребовательны и так хорошо знаем, как трудно призвать какую-либо горсть нашего люда к какому-либо делу, не доставляющему ни прямых выгод, ни особого удовольствия, да еще заставить его подчиниться правилу, порядку, закону, хоть бы самому необходимому, – что мы и в одной этой выдержке г. Вернадским своего рода полагаем не малую с его стороны заслугу. Научил хоть тридцать или сорок человек вести себя как следует в публичных прениях.

Без всяких шуток, если принять во внимание, что И. В. Вернадский, удаляясь от своего благородного друга и ученого противника Владимира Павловича Безобразова (известного сочинителя неудобочтимых экономических статей), мог завербовать в свою говорильню только самое ограниченное число сепаратистов из Политико-экономического комитета Географического общества, а на пополнение комплекта брал кого с дубка, кого с сосенки, нельзя не подивиться, что беседы в его говорильне действительно ведутся во всех отношениях лучше, чем в прочих говорильнях, и особенно в комитете грамотности, где безобразие заседаний доходило

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
до последних размеров. Вообще он, несомненно, лучший из наших петербургских спикеров.

О пользе, приносимой малою экономической говорильнею, не может быть никакой речи, потому что эта говорильня не имеет ровно никаких средств проявлять свою деятельность во внешности: она только может заниматься известными вопросами в теории.

Но, может быть, и занимаясь теоретическими рассуждениями, она могла бы принести более пользы, чем она приносит? Очень может быть, и мы постараемся это доказать, как только покончим с тремя остающимися к отчету говорильнями и от вопроса, что говорюны делают, перейдем к вопросу, что они могли бы делать?

3) Географическая говорильня (Русское географическое общество) положительно бездействует. Кроме экспедиции, работающей на Каспийском море, да сибирского отдела, нигде и ни в чем не видно его инициативы. После блестящих его заседаний, происходивших под председательством великого князя Константина Николаевича, два года тому назад, мы решительно не узнаем, что с ним сделалось? Где делись эти молодые, свежие люди, которые вошли и заговорили как-то смело, честно, дельно? Куда спрятался этот отлично разрабатывавшийся там и вовсе неразработанный еще вопрос о русском расселении? Что делают отделения этнографии и статистики? Почему молодые, способные члены никуда не посылаются, и еще мудренее, почему они или не ходят в заседания, или даже вовсе выбывают из общества? Все эти вопросы весьма интересные, и ежели географическое общество, или по крайней мере хоть редактор его записок г. Бестужев, ставит во что-нибудь любопытство публики, недоумевающей, почему это общество так вяло и пассивно, то, авось-либо, хоть словцом обмолвятся на эти вопросы. Пассивность этого общества доходит вот до чего: один русский литератор, известный собиратель песен, былин и прочего, просил у общества посодействовать ему только выдачею бумаги, гарантирующей во время ходьбы от подозрений и недоразумений. Общество не дало такой бумаги, нашло себя не вправе этого сделать. Что же оно может? Говорить? Оставим другие отделения, но что, что, спрашиваем, сделают когда-нибудь таким образом статистики и этнографы?.. Ведь это толченье воды, игра в обедню, пустяки, вздор, ломанье и больше ничего. Нам не раз доводилось слышать от молодых, некогда рьяных членов этих отделений географической говорильни, что не стоит ходить в ее заседания, и мы с ними вполне согласны. Сядь да прочти порядочно составленные очерки и рассказы из народного быта, да добрую статью, вроде тех, какие время от времени попадают в журналах, – в сто раз более узнаешь, чем слушая безобразовские бредни и глядя на его нервораздражающую жестикуляцию, положительно неудобную для кружка людей мало-мальски просвещенных. Не хвастаясь, укажем на статистические этюды, напечатанные в октябрьской книжке нашего журнала: их прочтешь и поймешь и даже придешь по ним к известному заключению. А нуте-ка, одолейте статистическую гиль, появляющуюся иногда в записках Русского географического общества. Черт ногу сломает, прыгая по этим цифрам, а не поймет ничего, и это тоже статистика называется!

Журнал общества под редакциею г. Бестужева-Рюмина, к крайнему нашему удивлению, также плох, также утомительно скучен. Хотя на вид он и смотрит книгой, но читать в нем нечего, и если кто-нибудь из наших читателей застался запастись этим изданием, то не советуем производить такой, вполне бесполезной, затраты.

В нынешнем, 1863 году общим собранием решено украсить залу общества портретом адмирала Федора Петровича Литке, человека, который действительно понес в своей жизни очень полезную географическую службу и должен быть дорог Русскому географическому обществу.

Ну, это похвально, – а дальше что?

А дальше ничего.

4) Говорильня о грамотности шептала, что непременно ей нужно на место Сергея Сергеевича Лашкарева выбрать себе нового председателя; стали выбирать – и выбрали Сергея Сергеевича Лашкарева. Эта говорильня достойна порицания. Каждый сколько-нибудь серьезный человек, желающий успеха народному развитию и рассматривающий возможность этого успеха в связи с гражданскими способностями людей, берущихся идти впереди народа, выходя из безалаберных и пустых заседаний комитета грамотности, почувствует себя обиженным, угнетенным, раздавленным. Он ощутит все свои заветные надежды разбитыми. Он увидит тут господство

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
бездарности, давящей и гнетущей, прыткие, но бестактные стремления молодости и ровно никакого регулирующего начала.

Комитет этот основан при III отделении Вольного экономического общества по программе довольно скромной, но весьма удобоисполнимой и полной. Эта удобоисполнимость сначала понравилась очень многим, и в комитет беспрестанно поступали очень молодые люди, истинно преданные делу распространения в народе полных сведений посредством грамоты. Начал этот комитет как будто и дельно: положено было заниматься решением возникающих педагогических вопросов, критическим разбором книг, назначаемых для распространения в народе; содействием учителям и вообще ревнителям грамотности в устройстве и содержании школ, изданием нужных книг с соблюдением возможно большей экономии и наконец усилением сбыта издаваемых и приобретаемых комитетом книг во всех углах государства. Для последней операции предположено было учредить в разных местах по городам книжные склады, из которых бы товар без коммерческого повышения цены шел прямо в руки народа. Кажется, ничего будто, – все удобоисполнимо, возможно и довольно нехитро.

Но только что дело началось (тогда комитет собирался под председательством Ивана Васильевича Вернадского), пришла г. Вернадскому несчастнейшая мысль выделить из комитета какое-то “бюро”, обязанное делать предварительные соображения, вести дела и полагать мнения, внося их, впрочем, на утверждение комитета. Кажется, на что бы в свободном и тогда весьма еще не большом собрании еще создавать собрание в собраниях. Сойдутся люди и могут посудить, порядить, лучше ли обязательное обучение грамоте или лучше необязательное? Держаться ли какой-нибудь угрожающей системы с учениками или отбросить вовсе эту систему? Издавать ли старые, любимые народом буквари с оксиями и овариями или стараться выводить их из употребления сразу? и т. п. Потом посмотрят новые книги или рукописи, предлагаемые к покупке, и порешат, что вот предлагаемую арифметику прочитайте вы, г. Студитский, историю вы, г. Небольсин, бытские рассказы вы, отец Гумилевский, азбуку вы, г. Паульсон, тот или другой, кто этим делом маракует больше, – да и расскажите нам по совести. А не полагается комитет на одного, ну, поручи двум, трем, наконец, а в следующем заседании выслушай их, сообрази их мнения и поступай по усмотрению. Для складов же ищи по городам соревнователей, которых, если с толком искать, в каждом городке всегда найти можно; или в крайнем случае, сходишь с книгопродавцами, вызывай их к соревнованию. На столько-то русский купец податлив. А затем пожелай друг другу всякого благополучия и расходишь по дворам на страду до будущего собрания.

Все думали, что так оно и будет, и потому все были очень рады сесть в комитете. Но не так думал Иван Васильевич Вернадский. С учреждением пресловутого “бюро” тотчас появилось естественное его последствие – бюрократия. Вместо того, чтобы вопрос тут стал, тут разобрался и тут же был зарешен, его стали жевать сначала в “бюро”, “бюро” предрешало его иногда, не хотим сказать пристрастно, но весьма часто по-своему, в духе симпатий меньшинства. Собранию вопрос докладывался уже предрешенным и потом ставился в известном освещении и известною стороною. Другие же вопросы, уже раз рассмотренные в “бюро”, собрание только перекидывало с рук на руки, как мячик, и само опять сдавало в “бюро”. “Передать в бюро”, “поручить бюро” – в комитете стали самыми часто употребляемыми фразами. Люди баловались и совсем упускали из вида свою прямую цель и свои настоящие обязанности. Кто поумнее и посерьезнее, скоро увидал, что здесь никакого прока не будет; что “бюро” тешится и не делает настоящего дела, а подогнать его, обрезать его нет никакой возможности. Этим людям надоело быть пешками, и они перестали ходить в комитет, решив для себя, что это учреждение не только бесполезное, но даже в некоторой степени вредное, ибо непроизводительно поглощает время у людей, по преимуществу рабочих; приучает их не различать дела с бездельем и вводит в общество, так сказать, умственный онанизм, угрожая в то же время подрывом всякого доверия к способности свободной коллективной деятельности людей, стремившихся в ту эпоху к заявлению своих гражданских дарований. Дело шло плохо, то есть не будет греха, если скажем, что оно даже совсем не шло, ибо все, что сделано комитетом со дня его основания и до сегодняшнего дня, вне стен дома, принадлежащего Вольному экономическому обществу, не проявилось почти ничем, достойным усилия такого большого числа людей, связанных единством цели. Каталог его книг беден до крайности, и хороших изданий в нем менее, чем пальцев на руках у одного человека. Цены некоторых книг действительно очень умеренны, но зато цены других очень высоки. Комитет не позаботился уравновесить этих цен, что весьма возможно, наложив две, три копейки на пятакковые книги, которых, разумеется, будет расходиться гораздо более, чем книг, стоящих дороже. Вообще

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

издано в три года очень мало, и то, что издано или приобретено, почти вовсе не расходится. Если это покажется комитету несправедливым или обидным, то пусть он назовет открытые им в течение трех лет склады и объявит цифру книг, проданных его комиссионерами. Мы избегаем цифр и вообще сухих доказательств, ибо не видим нужды распинаться перед читателями в том, что мы знаем и о чем сообщаем наши беглые заметки, а не полемическую статью пишем; но не прочь будем дать место и ясным возражениям против себя, если таковые воспоследуют. Одно из последних прений комитета резюмируется таким или почти таким образом: у нас складов нет, и наши дела с книгами не идут. Красноречивей этого нечего требовать. Субсидии, выдаваемые комитетом на воспитание нескольких учениц, ничтожны, а больших комитет не может производить, потому что он не умеет вести своих денежных дел, потому что он не пользуется способностями своих членов, потому что он не понимает книжного дела, за которое взялся; потому что он не умеет сойтись с людьми, которые ему действительно нужны; наконец, просто потому что он говорит и ничего больше.

А какие ж там у них разговоры идут?

Разговоры самые интересные. Мы можем взять из разнообразных там постоянных рассуждений по образчику.

РАЗГОВОРЫ БЕЗ ОППОЗИЦИИ

№ 1-й

– Милостивые государи! Иван Иванович Икс посетил школу, подведомую баронессе Игрек, присутствовал при экзамене; да, остался очень доволен, вот, и то-то; ну, и вот он составил об этом записочку, которую и может, то-то, прочесть (пауза). Читать, господа? – Молчание.

– Так как вам угодно, господа: читать?

– Читать, – раздается один голос иксова доброхота.

– Да, так читать?

– Читайте, Иван Иванович!

Все остальные молчат, зная, что такое значит записочка Ивана Ивановича. А Иван Иванович пойдет с расстановкой выколачивать: “Вообще примерный порядок, чистота и благонравие суть истинно отличительные качества сего заведения, достойного своей попечительницы. При испытании воспитанницы оказали самые блистательные успехи, делающие честь как главной руководительнице сего заведения, так и отдельным наставницам, а также и наставникам, и воспитателям. В память сего события преосвященный епископ Иринарх, удостоивший сей акт своего присутствия, пожертвовал в память святой иконе святого священномученика Пантелеймона, врача безмездного. Икона сия в серебряной, вызолоченной ризе принята достойною попечительницею заведения и ее просвещенною помощницею, а также и наставницами, и руководительницами, равно как и наставниками, и всеми питомцами с истинно христианским благоговением и торжественно перенесена чрез зал, где и устроена на приличном сей святыне месте...” и т. д. Три листа читает все в этом роде.

При чтении таких записок дамы шепотом переговариваются, молодые члены бродят за колоннадою; козороги сидят, черкают карандашами и зевают.

(Разносят чай.)

№ 2-й

– Милостивые государи! (Возглашается это всегда высоким фальцетом.) Наш почтенный корреспондент, ротмистр Яков Захарыч Шпорин пишет из Глуповского уезда, что его соседка, вдова полковника Каскина, Наталья Ивановна Каскина, устроила у себя в селе Воздыхалове школу, в которой обучаются пятнадцать девочек.

– Все врет, должно быть, – шепчет один скептик соседу. – Небось, насчет клубнички увивается, вот и пишет.

– Как же, господа! Не прикажете ли заявить вдове-полковнице Шпориной наше сочувствие? – продолжает фальцет.

- Да.
- Почему же.
- Отчего же.
- Заявить.

№ 3-й

– Милостивые государи! Мой знакомый Ордадьон Ордадьонович Ордадьонов пишет, что помещица Евгения Николаевна Нестоянова желает заняться раздачей книг безграмотному народу. Как вам будет угодно: войти ли по этому случаю в непосредственные сношения с помещицей Нестояновой? Бюро рассматривало это дело и положило войти с нею в сношения. Угодно ли вам войти в сношения с помещицей Нестояновой?

- Да, разумеется.
- Почему же не войти в сношения с помещицей?

(Разносят чай.)

№ 4-й

– Алексей Иванович Пальцев рекомендует в члены родственника своего Ивана Алексеевича Ногтева, который живет в Соликамске и желает быть полезным комитету. Его предлагают по уставу три члена. Угодно баллотировать, господа, или так?

- Так.
- Так, что баллотировать!

(Чай разносят.)

№ 5-й

– Вот еще, милостивые государи! – выкрикивает фальцет, желая заглушить поднимающийся говор и шум от собираемых чайных чашек. – Священник села Долгого Илиодор Протяженносложенский сообщает некоторые замечания по сельской педагогии. Я думаю передать в “бюро”?

- Да.
- Передать в бюро!
- В бюро передать!

Ну, этих довольно; теперь в другом роде надо тоже выбрать пяточек.

РАЗГОВОРЫ С ОППОЗИЦИЕЙ

№ 1-й

Опять начинает фальцет.

– Наш почтенный член, Юлия Петровна, содержащая школку из семи девиц, при содержимом ею пансионе получала на нее ограниченную субсидию, которую желает получить и снова.

Молчание. Одна дама катает трубочку из бумаги.

- Она, господа, просит отрядить депутацию, которая бы удостоверилась в состоянии школы.
- Теперь этого нельзя сделать, – говорит бас.
- Отчего?

БАС. – Оттого, что в школе учениц нет.

ФАЛЬЦЕТ. – Это, она говорит, можно устранить, можно собрать некоторых, а помещение и прочее все видно.

ТЕНОР. – Лучше отложить, пока соберутся ученицы.

Дама делает упрекающий взгляд.

БАС. – Да, отложить!

ГОЛОС ИЗ ТОЛПЫ. – Конечно!

ФАЛЬЦЕТ. – Но, помилуйте, ей нужно, она говорит...

Спор полчаса, и дело решается в пользу немедленной выдачи субсидии, послав предварительно избранных лиц удостовериться в состоянии школы, ученицы которой распущены.

(Чай подают с кренделями.)

№ 2-й

При Глуповском уездном училище смотритель Розгочкин основал школу для приходящих мальчиков; Иван Иванович Икс был в ней, все нашел в отменном порядке, как система, так и то-то, преподавание, ну, и все.

– Могу сказать, – начинает выбивать, утупляя глаза в стол, Иван Иванович, – в рассуждении системы и прочего и... начиная с одного и до семидесяти пяти, постепенно...

– Да, – перебивает фальцет. – Так бюро полагало изъяснить нашу признательность.

– Конечно!

– Разумеется!

– Изъяснить!

Шум.

– Господа! Господа! Позвольте же, господа! Только вот что: имеем ли мы право изъяслять признательность?

– Отчего же?

– Почему же?

– Чтоб министерство не обиделось?

– Какое?

– Министерство народного просвещения.

– Какой вздор!

– Обидится.

– Непременно обидится.

– Не обидится...

Спор более часа: решается так, что как-то ничего не поймешь, будут ли объявлять признательность или нет, и обидится ли этим министерство народного просвещения или не обидится?

(Чай подают с лимоном и со сливками.)

№ 3-й

– Вот, господа, наш почтенный член, Екатерина Николаевна, учредила школу, в которой девочек обучают читать, писать, шить, гладить, чистить перчатки, убирать головы и...

- Зачем убирать головы?
- Зачем чистить перчатки?
- Отчего же не убирать голов?
- Не надо – это не ремесло.

Длинный разговор, заключаемый тем, что голов не надо убирать.

А публицисты восхищаются, что в некоторых петербургских парикмахерских мужчины заменены женщинами. Значит, они, то есть публицисты, напрасно восхищаются: парикмахерства не нужно.

№ 4-й

– Так, соглашения, господа, очевидно, произойти не может; надо баллотировать вопрос. Как угодно баллотировать?

- Записками.
- Шарами.
- Записками.
- Записками.
- Шарами.
- Шарами.

Шары берут верх.

- Безусловным большинством?
- Да!
- Нет!
- Большинством двадцати членов.
- Помилуйте, нас всех сегодня двадцать восемь.
- Ничего.
- Это невозможно.

Фу ты, господа милосердный! И это называется дело делать!

Будет уже примеров: надоели, чай. Остановимся на четырех, и вместо пятого примера расскажем последний казус осложнения комитетских занятий.

Нынче комитет собирается под председательством Сергея Сергеевича Лашкарева, и при нем он отучился даже от того, что знал при г. Вернадском. Теперь комитет представляет просто кагал какой-то, все говорят – и никто не хочет слушать, друг друга перекрикивают, один другого путает; очередь не наблюдается.

- Нет, позвольте, Петр Иванович!
- Нет, Петр Иванович, позвольте я расскажу.
- Нет уж, позвольте я.
- Нет я; вы, Петр Иванович, не расскажете, у вас красноречия нет, у вас зуб со свистом.

Сходите, читатель, полюбоваться на эти безобразные заседания, на это греховное толчение воды; сходите, чтоб поверить в справедливость наших слов и глубже усвоить себе полезное отвращение от меледы, которую люди позволяют себе называть

делом.

Под председательством С. С. Лашкарева комитет дошел до того, что одного “бюро” ему стало мало, и он ощутил необходимость выделить из себя еще что-то вроде комитета в комитете, для специально педагогических занятий. Несколько голосов, правда, восстали, было, против этого нового выделения, но ничего не сделали. Козероги были за выделение, и оно состоялось: двадцать два, не то двадцать три человека составляют теперь особую комиссию. Выборы были достойны слез и смеха: приходилось чуть не самому себя выбирать. Но все равно, – нелепость сделана, теперь опять за разговоры, пока не придет кому-нибудь в голову еще выдумать какую-нибудь комиссию.

Между молодыми членами этого комитета все более распространяется убеждение, что не стоит в нем тратить времени, а две дамы очень категорически выразились, что “вместо этого празднословия лучше свою горничную читать учить”, – и правда.

5) Ученая говорильня государственных имуществ (ученый комитет) может сделаться предметом рассуждений только тогда, когда в мире Божьем станет ведомо, где эта говорильня и как отпираются двери принадлежащего ей помещения.

Одним словом, все это, как мы уже сказали, пруды, стоячие, заросшие тиною пруды, с тем единственным неудобством в сравнении, что они открываются тогда, когда водяные пруды покрываются льдом, и закрываются, когда те освобождаются из-под льда.

А ведь могло бы быть совсем иначе. Все эти собрания могли бы быть весьма полезны, если бы каждая говорильня ясно определила себе свое значение, позаботилась о своих средствах и поняла, что нельзя же целый век фразерствовать и долго прикрывать бессодержательную пустоту пышным именем ученых комитетов и обществ. Все несчастье наших говорильен, кажется, прежде всего лежит в том, что они не уяснят себе: заключается ли их главнейшая обязанность в возможно большем словоизвержении или в известной деятельности, в известной работе за стенами комитетов, в стенах которых нужно только обсудить, как ловчее взяться за известное дело, и, сделавши его, оценить его результаты и сообразить общие выводы. Коли это чистые говорильни, как, например, говорильня г. Вернадского, то, разумеется, от них нельзя требовать того, что требуется от комитетов. Если ты говорильня, так и пусть в тебе разговаривают: какое же кому дело, что людям хочется заниматься разговорами и они собираются разговаривать? Бог с ними, пускай тешатся, и если эти беседы ведутся сколько-нибудь дельно, то к ним даже должно отнестись с подобающим уважением, как к полезному занятию, ибо разумная беседа и состязание по различным социальным вопросам, несомненно, могут быть очень полезны. Но нужно же так и говорить, что мы составили беседу, экономическую, географическую или какую другую, а не комитет. А если ты комитет, так действуй же! Вон тюремный комитет, комитет о раненых, комитет о бедных, комитет цензурный и многие другие, – так там действуют. А Политико-экономический комитет г. Вернадского где действует? В каких областях ощущают его деятельность? Ни в каких. Он – говорильня и делать ничего не может, ибо у него нет никаких средств действовать, и он не должен называться комитетом. Это говорильня по принципу.

Вольно-экономическое общество, Географическое общество и Комитет грамотности по принципу учреждения активные, но они бездействуют по неспособности – или по нежеланию действовать. Это говорильни по факту.

Говорильня Ив. В. Вернадского в тысячу раз достойна большего почтения, чем два названные нами общества и Комитет грамотности. Об Ученом комитете государственных имуществ и разговора нет. Где он там есть, – нам неизвестно.

Географическое общество могло бы обогатить науку прекрасными и обильными материалами по части этнографии и статистики. У него в числе членов есть литераторы, известные своими способностями в этом роде; они оставлены без внимания. Общество делает затраты, которые нельзя назвать очень производительными, а между тем не может послать каждое лето трех-четыре человек, и в отделении этнографии пробавляется чтением рассказцев г. Южакова. Географическое общество не богато; оно не может тратить много, – это правда. Но две или даже полторы тысячи рублей оно может же затратить на посылки, и эти деньги будут потрачены вполне производительно. Не говоря уже о том, что приобрела бы русская этнография и статистика, если бы по поручению общества

поездили лет десяток пять-шесть способных людей, но и самые расходы на их посылку могли бы окупиться. Хорошо, толково написанные статистические статьи и живые этнографические очерки, разумеется, подняли бы записки-то общества, которых нынче никто не читает, да и могли бы идти в отдельной продаже. Помилуйте, скажите: как не идти журналу, в котором можно рассказать, как живут люди у Чукотского носа? Как цивилизуется меря? Какие обряды у крещеной, но тайно язычествующей еще мордвы? Что творится по медовым бортям у чуваш? Сколько в Коле выпивают хересу? Сколько в Киеве сожигают воску? Сколько орловских помещиков после февральского манифеста попродали земли и взялись за торговлю? Сколько из этих дворян расторговалось и сколько пошло проповедовать, что земляной рубль тонок да долог, а торговый широк да короток? Сколько харьковских панов, в силу того же манифеста, поехали за шерстью, а вернулись сами остриженные? И многое множество подобных интереснейших вещей. Как можно, чтоб не читали такого журнала, чтоб он не только не расхотелся, но даже был вовсе неизвестен! Этого быть не может! Или, разумеется, пожалуй, и может быть, если в нем будет находить себе место всякая бездарность, не исключая даже невозможных сочинений В. П. Безобразова.

И опять, что за практичность отдать свой журнал на отряд и за самую ограниченную сумму, да еще и не оказывая редактору должного содействия в добывании хороших статей? Мы очень уважаем г. Бестужева-Рюмина и верим, что он добросовестнейшим образом распоряжается отпускаемыми ему средствами на издание "Записок Географического общества", но все-таки находим такой метод издания этих "Записок" весьма непрактичным. Как можно издать на тысячу рублей хорошо составленную книжку такого объема, как "Записки Географического общества"! Зная по опыту это дело, мы утверждаем, что это решительно невозможно, и потому, что бы г. Бестужев-Рюмин ни делал, как бы он ни трудился над редактированием "Записок", никогда он не сделает их интересными, если Географическое общество не будет ему содействовать в приобретении работ, исполненных людьми, заявившими свои способности и таланты. Даровые статьи теперь приходят только от людей, произведения которых никто не берет в журналы и задаром, а дешевые от тех, кому дороже нигде не платят. Ну, и понятно, что на обертке "Записок" читаем имена, которых нигде не читаем (кроме Сергея Васильевича Максимова); а с такими сотрудниками никакой редактор ничего не поделает.

О "вольном экономическом обществе" и говорить уже надоело. Оно у нас – богач, сила. Сиди в нем какие-нибудь англичане, народ, привычный обращаться с капиталами, что бы они натворили с этими огромными средствами? Вся бы Русь знала и говорила об этом обществе; оно бы давало тон экономическим операциям. У него были бы и депо, и образцовые (истинно образцовые) фермы, и склады, и все, чем действительно можно содействовать экономическому преуспеянию края, а оно у нас что? – говорильня. Что у него за члены? Кто из них хоть чем-нибудь серьезно трудится на пользу обществу? Ну, – пусть поднимет руку! Никто, – так ровно никто. Все говоруны, и ничего более. И пока общество останется в нынешнем его личном составе, оно решительно ничего не способно сделать. Далее приобретения цепей для скота активность его не пойдет.

Комитет грамотности, к сожалению, денежных средств почти не имеет, но еще более жалко, что он не имеет и других средств, без которых нельзя приобретать ни денег, ни влияния. У него есть право делать многое, но способности его так ограничены, что недавно это почтенное собрание, дойдя до сознания своего безденежья, не могло долго согласиться, занять ли ему у богатого "Вольно-экономического общества" денег для того, чтоб затратить их самым необходимым и самым производительным образом? Комитет как бы стал в тупик, услышав, что можно занять три тысячи, пустить их в дело и потом отдать из выручки. Он так уж привык сам считать свои разговоры за дела, что ему и в ум не ползла такая дерзкая мысль. "У нас денег нет, будем же разговаривать", – вот что ему нравилось.

Интересный этот комитет, ей-богу! Теперь он пустился в любезности. С. С. Лашкарев скажет любезность г. Владимирскому, а г. Владимирский Лашкареву, г. Половцев г. Студитскому, а г. Студитский г. Половцеву, а дела, как сказано, ни на грош, и молодые силы комитета расходятся, раздробляются.

С этим комитетом нечего уж делать. Его просто нужно плугом пройти и все начать наново. Выкинуть "бюро", новую "комиссию", и завести простой порядок совещаний, решая на них вопросы тут же и тут же поручая известную работу тому или другому члену.

Мы вовсе не поборники системы, по которой всегда и прежде всего должна быть *tabula rasa*, [90] но когда дело так заматерело, заклекло и запуталось, как тут, то и мы утверждаем, что если не стереть всего, чем исписана доска и вдоль и поперек, так и писать на ней не стоит: все равно ничего не разберешь.

Некоторые там хотят добиться, чтобы дозволили обревизовать это “бюро”, этот таинственный синедрин, чтоб хоть узнать, что он делает и что он делал, – это совершенно напрасно. Разве для курьеза только, а то гораздо резоннее добиваться не обревизования “бюро”, а закрытия его вместе со всеми позднейшими выделениями. А нельзя этого добиться, так пусть светлые люди уносят свои головы из удушающей атмосферы этого развращающего ум фразерства. Лучше, лежа дома на диване, пускать колечки из дыма, чем приучаться болтать и еще считать свою болтовню делом. Это уж слишком большое преступление перед разумом и совестью.

Политико-экономический комитет И. В. Вернадского желательно, чтобы стоял, но желательно также, чтобы он не самохвальствовал, не величал себя комитетом, а назывался бы настоящим своим именем: политико-экономическими беседами, ибо он *keine komitet*, [91] а просто беседы.

При этом мы бы позволили себе заметить Ивану Васильевичу Вернадскому и всем его собеседникам вот какое обстоятельство.

Миру известно, что есть на свете две главные экономические школы: обе они стремятся к накоплению и распределению богатств и обе преследуют идею человеческого довольства, идею общего счастья. Но две эти школы несогласны во многих положениях, и особенно в вопросе о распределении добытков и о правах общества на капитализированный труд отдельных членов.

И. В. Вернадскому, последователю старых экономических начал, развившихся из системы Адама Смита, известно также, что у нас, если не в России, то по крайней мере в Петербурге, есть последователи экономического учения, стоящего совсем на иных началах, и еще известно ему, что эти новые экономисты точно так же искренно, или, если неискренно, то горячо верят в справедливость своих начал, как Иван Васильевич и его собеседник верят в законность своих. А как между двумя точками двух прямых линий провести невозможно, то несомненно, что из двух линий, касающихся тех же самых точек, или одна прямая, а другая ломаная, или же обе ломаные и прямой еще вовсе не проведено. Чтобы узнать, которая прямая, надо сличить эти линии, а чтобы сличить, надо их протянуть параллельно.

И. В. Вернадский более или менее знает наших поборников новой экономической школы и знает тезисы этой школы, а между прочим знает и то, что новые экономисты считают все принципы старой экономической школы ложными и вредными. Старая школа, разумеется, то же самое думает о новой.

На беседах И. В. Вернадского не участвует ни одного представителя новых экономических воззрений, и потому каждый вопрос здесь рассматривается с страшною односторонностью, с такою обидною односторонностью, которая могла бы иметь место разве только тогда, если бы несомненности пригодности и незаменимости положений, выработанных старою политико-экономическою школою, были доказаны; а этого сказать невозможно. Если бы политическая экономия произнесла свое последнее слово за свою старую систему, то новому учению не на чем было бы держаться, а оно держится и держится в головах, которым нельзя отказать ни в смысле, ни в даре понимания. Следовательно, относиться к этому экономическому учению с олимпийским равнодушием вовсе нерезонно. С ним можно препираться, можно доказывать его несостоятельность, но не отрицать его, когда оно живет и имеет несомненное влияние на умы. Наконец, несомненно, что не только собеседники Ивана Васильевича, но даже сам он, своей собственной персоной, впал в некоторую узость, неизбежную спутницу спокойных положений в единомысленном кружке, где ни от кого не ждешь возражения и идешь себе спуска рукава, не боясь, что кто-нибудь возьмет за нос да безделицу – потормошит. Будь в этих беседах экономисты того и другого толка, беседы-то, несомненно, бы оживились, стали бы разностороннее, полнее и действительно приносили бы много пользы. Тут затронулись бы вопросы чуткие, больные, на которые хочется отозваться всякому живому человеку, – а ведь в теории всем заниматься можно. Неужто Иван Васильевич и его собеседники не понимают, что это могло бы много содействовать к устранению существующей у нас шаткости экономических понятий? Не может быть! Боятся они что ли людей другого образа мыслей? Этого еще более не может быть. Что же такое: отчего на

политико-экономических беседах г. Вернадского беседуют только одномысленцы? Что этому за причина? Некоторые говорят, что пусть экономисты другой школы заведут себе отдельную беседу и там свободно развивают свои идеи, – но не может же быть, чтоб то же самое сказали и собеседники г. Вернадского. Они ведь должны быть столько сообразительны, чтобы не делать предложений неудобных.

Будет очень хорошо, если г. Вернадский и его собеседники подумают об этом и оживят свои беседы голосами экономистов, относящихся несколько иным образом к некоторым экономическим вопросам. Во-первых, многие вопросы вытанцуются гораздо скорее и лучше; во-вторых, неизбежно возникнут интересные новые вопросы; в-третьих, будет действительно хоть одно интересное собрание, куда пойдешь с охотой, зная, что проведешь там вечер с пользой; и в-четвертых, экономические шатания одних и экономическое коснение других, придя в столкновение, что же-нибудь да дадут. Хоть несколько голов станет пояснее сознавать нелепость каких-нибудь экономических бредней одной школы; хоть несколько голов перестанет верить в мнимую законченность экономических положений другой школы, все-таки общество будет в прибыли. А может быть, законченные-то экономисты и не все знают, что им можно рассказать о вернейших и ближайших путях, которыми достигается возможно большее счастье возможно большего числа людей? Отчего же нет! Очень может быть. Может быть, лучший сюрприз русским законченным и незаконченным экономистам сделает не какой-нибудь Милль и вообще даже не экономический писатель, а например, хоть автор “Прогулки с детьми по Петербургу”. Почем знать, чего мы не знаем! Есть на свете вещи, которые и не снились нашим мудрецам.

РУССКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗАМЕТКИ

Каждому, конечно, известна пословица: “На волка слава, а овец таскает Савва”, и другая: “Чему посмеешься, тому поработаешь”, но едва ли всякий поручится, что, зная первую пословицу, он по второй не поработал тому самому, над чем издевался. Дел, в которых легко наблюдать это, целая бездна, и больших, и малых, и частных, и имеющих значение вполне общественное. Не только частный человек сплошь и рядом укоряет ближнего в том, чему сам со всеусердием работает, но и целые сословия нередко упрекают друг друга в том, в чем они не имеют одно перед другим никаких преимуществ. Даже один век нередко посмеивается над другим, вовсе не замечая, что и его дни в известном смысле не лучше дней отошедшего века. Упивающийся ценным вином и проводящий непотребную жизнь барин не смущаясь разглагольствует о пьянстве и разврате народа и требует для него “узду с гремушками да бич”; ханжа, преследующий ближнего своего судебным порядком за недоплаченный грош, бестрепетно подходит к алтарю и читает: “остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим”, и гремит против безверия века; празднотлюбца упрекает всех в лени; грабитель корит других за корыстолюбие, и т. д., и т. д. Всего этого не перечтешь и не перечислишь, но что всего в этом замечательнее – это то, что такие несообразности делаются не холодно, не сознательно, не по-фарисейски, а довольно искренно. Люди, по своему легкомыслию и страсти к осуждению, даже как бы и не замечают того, о чем лепечут, и потому не видят своей работы в пользу того самого, над чем глумятся и издеваются.

В не очень давнее время, именно во дни, предшествовавшие освобождению помещичьих крестьян от крепостного состояния, был явлен весьма крупный и внушающий пример такой неправой укоризны, поддерживаемый друг против друга целыми сословиями. В те дни,

Когда был в моде трубочист,
А генералы гнули выю,
Когда стремился гимназист
Преобразовать Россию,
Подвергалось жесточайшей опале дворянство. Сословию этому были позабыты все его заслуги и строго сосчитаны все его преступления и вины. В главнейшую вину дворянству вменялось его крепостничество – его “владение крещеною собственностью”. Под дворян подкапывались все, не исключая купечества и даже духовенства, одного из представителей которого покойный граф М. Н. Муравьев остановил от такого труда самым энергичным образом. Малообразованное и вообще неповинное в знании отечественной истории общество русское сочувствовало и чуть не рукоплескало таким нападкам на рабовладельчество дворян, что, конечно, весьма понятно; но странно, что во все это время никому не пришло в голову, что у нас точно же не одни же дворяне повинны в недостойном рабовладельчестве, что у нас точно так же, как поместные дворяне, владели крепостными людьми и купцы, и духовенство, и чиновники, приписывавшие “своих людей” к городским домам и к

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

капиталам, и даже однодворцы, которые и по своему воспитанию и по образованию, и по образу жизни были такие же крестьяне, как и та “крещеная собственность”, которую они владели на всех помещичьих привилегиях. Этого у нас словно не знали, да, кажется, и в самом деле очень многие не знали, несмотря на то, что отобрание крестьян от однодворцев происходило на живой памяти живущего поколения, которое еще не признает себя старым. Не вспомнано было ни однажды и того, что все разночинные рабовладельцы освободили своих крестьян по указу, а (как бы там ни было) не по доброй воле, и освободили их без земли, в полную бесприютность, а некоторые даже (однодворцы) прямо на высылку на Кавказ и на Мангишлякский полуостров.

“Московские ведомости” недавно выразили ту мысль, что нашему обществу бесполезно еще высказывать и повторять самые общеизвестные истины, – это можно принять и развить гораздо далее: для очень многих людей нашего общества, претендующих на звание людей образованных, действительно совершенно впору и в пользу было бы, если им под видом новостей сообщать в современных изданиях рассказы из русской истории и даже из истории священной, так как у нас очень многие воспитанные люди делают непростительные промахи даже против последней, заключаемой преподаванием во втором классе гимназии. [92]

С той же основательностью, с какою нападает человек на человека, или сословие на сословие, или даже нация на нацию, нападает даже и одно время на другое. Не вдаваясь в сопоставление многообразных и многоразличных нелепиц в этом роде (в чем невозможно встретить никакого недостатка), укажем на один пример, черпаемый не из истории, а из живого факта, и притом приводимый не нами, а другим лицом, для нас совершенно посторонним, но имеющим свое достойное общественное положение и притом высказавшим совершенную истину.

На сих днях в С.-Петербургской судебной палате разбиралось дело по обвинению некоего издателя Щапова в издании писем Луи Блана об Англии. (Отчет по этому делу и защитительная речь присяжного поверенного г. Спасовича, к которой мы хотим обратиться, на этой неделе уже были напечатаны в нашей газете.) Обвинение было весьма сложное и, как суд признал, весьма неосновательное; но этому всему уже было свое время и свое место. Здесь мы упомянем только, что на судеговорении по этому делу даровитый защитник обвиненного и его интересов нашел возможность убедить всех, что в словах Луи Блана о том, что “две тысячи лет как искупитель пришел, а искупление еще не совершилось”, нет ничего противного истине, так как две трети человеческого рода еще не исповедуют Христа, да и из исповедующих его великое большинство исповедует христианство лишь одними устами, а сердцем отстоит от него далече. Это казалось как бы новостью! Век наш похвальноясностью взгляда и гуманностию, а между тем на деле на его очах лежит своя слепота, на душе его своя алчность и злопомнение, на сердце жестокость, в обычаях лукавство, возводимое даже на степень науки (дипломатия), в крови месть, и месть зlostнейшая всякой вендеты уже не по тому одному, что она даже не удовлетворяется никаким отмщением, но потому, что она живет не чувством нанесенной нестерпимой обиды, а позорным чувством нетерпимости к чужому мнению, несогласному с нашим мнением.

В этом отношении XIX век (в нашем отечестве) не лучше многих пережитых Россией веков, а очень многих положительно хуже, и кичение ему поистине не довлеет.

Среди наилучших учреждений, каких страна наша до сих пор никогда не имела и которые ныне имеет, общество упорно отказывается дать свидетельство своей толерантности по отношению к людскому разномыслию, разночувствию и разностремлению, а в то же время само в собирательном составе своем не обнаруживает, чтобы оно опиралось на твердой почве самостоятельных мнений, и в несогласном шуме своем напоминает лишь ветром колеблемые трости.

Во всяком случае все это знамение не той высокой цивилизации и не того гуманного развития, которые позволяли бы нашему веку кичиться его кичением. Путь предстоящего нам развития еще очень велик, и задачи, подлежащие обществу к разрешению в духе, благодеем преуспеянию человечества, многи.

Один из современных наших беллетристов печатает в настоящее время в одном из журналов роман, который называется “Панургово стадо”. В этом “Панурговом стаде” автор изображает наше общество с его стадными склонностями метаться из стороны в сторону. Задача этого романа и даже самое его заглавие, конечно, очень неслестно для общества, которое дало автору для такого сочинения типы и мотивы, но, по

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
пословице, “нечего пенять на зеркало, когда лицо криво”.

С тех пор как мы имеем гласные суды, в них уже разобрано немало литературных процессов; но никогда процессов этого рода не скоплялось одновременно столько, сколько собралось их в настоящее время. В газетах опубликован целый длинный ряд дел о литераторах, обвинения которых будут рассматриваться одно вслед за другим.

По настоящему судя, нет, конечно, в этом ничего дивного и ничего странного: мир велик, и, живучи с людьми, на всех не угодишь, а народная мудрость завещает человеку не зарекаться ни от сумы, ни от тюрьмы, а тем паче от суда человеческого. Суд не обида, обида – бессудье, а в силу того суд и не укоризна тому, кто к нему привлекается. Так на это дело смотрят во всех странах мира, и так же точно смотрят на это и у нас по отношению ко всем людям, кроме людей литературных. Тут общество относится к делу несколько иначе, и едва ли относится правильно.

Общество наше хотя и не видит в литературных процессах прямого бесчестья для привлеченных к суду литераторов и жадно устремляется наполнять судебные залы при разбирательстве литературных процессов, но оно все-таки усматривает в этих судбищах нечто компрометирующее литературную среду; нечто низводящее ее в обыденную, низменную сферу; нечто роняющее литераторов в общественном мнении и, так сказать, вменяющее их со незаконными, для которых в залах судилищ утверждена скамья подсудимых.

Если бы сторонний нам чужеземец, не знающий всех сформировавшихся и окрепших отношений нашего общества к литературе и литературы к обществу, наблюдал только один приведенный нами взгляд без всякой связи с иными явлениями, то он, без сомнения, имел бы право заключить, что литературные занятия нигде так высоко не чтимы, как в России, и что общество наше ревниво дорожит репутациею своих писателей и считает их людьми, которые стоят

Превыше мира и страстей.

Повторяем: чужеземец был бы совершенно прав, придя к такому выводу; но мы, “судьбину испытавшие себе на тягостную часть”, мы, увы! должны чувствовать и умозаключать иначе.

Мы положительно можем сказать, что ни особой любви, ни особенного внимания в русском обществе к русской литературе и русским литераторам нет. По крайней мере, нет их далеко в той степени, в какой пользуются ими у своих соотечественников литераторы английские, французские, немецкие и польские.

Доказательств этому бедна, и на некоторые из них литература наша указывала. Так, было, например, говорено о том воодушевляющем сочувствии, которое недавно английское общество выразило Чарльзу Диккенсу при его отъезде в Америку, где он читал свои произведения. Указываемо было не раз на внимание публики иностранной и к другим писателям относительно меньшего значения, как, например, на симпатии французов к Виктору Гюго или немцев к Бертольду Ауэрбаху. Было тысячекратно заявляемо о горячих чувствах к личностям, которых и вовсе нельзя ставить наряду с упомянутыми именами, но которые, однако же, все-таки обращали на себя внимание своего общества: таковы, например, Рошфор, Шпильгаген и др. Все эти писатели действительно могут сказать, что они пользуются вниманием своей страны. В одном из наших журналов как-то было с тщанием рассказано о том, с каким вниманием германское общество следит за каждым маленьким своим писателем, добросовестно отмечая ему всякое усовершенствование в его трудах и таланте. Так у опередивших нас по старшинству цивилизации народов не пропадают, не забываются и не гибнут безвременно никакие силы, а все идет впрок, все складывается в общую корванну, – и червонец богача по силам и лепта литературной вдовицы. Если обратимся к своим братьям славянам, то у них увидим даже крайность превознесения, равную разве лишь нашей крайности угнетения сил и принижения русских талантов. Отношения чехов и моравов к своим народным писателям почти священные. Злословие писателя здесь так же редко, как у нас доброе слово о пишущем человеке. Поляки тоже отменно дорожат своими литературными деятелями, и это относится не к одному Мицкевичу, или даже к Красинскому, Вицентию Полю, или Сырокомле, Корженевскому, или Крашевскому; но это идет до Викентия Каратыньского и других подобных последнему писателей, ему же равных по силам и дарованиям у нас легион писателей, захаянных и изруганных всеми ругательствами. В странах, на которые мы сослались, так же как и у нас, помимо таланта автора ценится и принимается в

расчет симпатичность или антипатичность его направления, и там, как и у нас, ни один писатель не угодает на все вкусы и не рабствует всем направлениям, но это несогласие автора с тем или другим кружком, с тем или другим "веянием" (как выражался покойный Григорьев), не вменяются человеку в бесчестие, дающее право взводить на него были и небылицы, даже злостные и позорные клеветы, для того только, чтобы таким достойным способом вредить ему в общественном мнении, уже не только как писателю, но даже как гражданину и человеку. В английском обществе есть очень много людей, весьма недружелюбно относящихся к деятельности Диккенса, недовольных Байроном было еще более; у Виктора Гюго тоже немало недоброжелателей во Франции, а у Лагероньера их еще более; Иосиф Фрич в последние годы нажил себе своим русофобством очень много врагов между чехами; в Галичине за многое начинают строго укорять Шевченко и еще более Кулиша, а в Польше одно время с большою враждебностью относились к Корженевскому, но во все эти времена ни против одного из этих людей, ни прямо, ни не подсудным, но нравственно ответственным для честного человека намеком, не высказано миллионной доли того, что и тем и другим способом наговорено у нас писателями одной партии на писателей другой, в чем, разумеется, прежде всего должно видеть на одной стороне следы исторически развитого понимания и деликатности иноземцев и знания ими границ свободы слова, а на другой – недостаток этого знания и этого понимания у нас в России.

На чем же держится и от чего зависит прямая разница таких отношений у нас и за границую?

Многие находят, что определенный ответ на такой вопрос невозможен, потому-де, что хотя и ясно, что деликатность тона и благопристойность литературных приемов держатся на более или менее высоком строе общественного развития, но, с другой стороны, самую возвышенностию этою данное общество не обязано ли своей литературе? Следовательно, тут будто бы не разберешь, кто виноват в низменном состоянии литературы. Напрасное и тщетное усложнение вопроса, который сам по себе прост и ясен как нельзя более. Воспитывающее или развивающее влияние литературы отвергать, без сомнения, нельзя; но действующие силы литературы, сами литераторы как члены своей гражданской семьи обязаны своим развитием обществу. Они суть кость от костей и плоть от плоти известного поколения своей страны и всегда чрезвычайно верно отражают в себе все общие черты добродетелей и пороков своего общества. Эпоха упадка в искусстве не совпала ли с упадком нравов и развитием стремления к наслаждениям грубым и низменным? Экономическая наука принимает за аксиому, что запрос развивает предложение, и аксиома эта имеет полное приложение к настоящему случаю. Период времени с 1825 года до окончания Крымской войны принято считать наистесненнейшим периодом русской литературы.

В самом деле, как говорит Тургенев в своих воспоминаниях о Белинском, мы теперь не можем даже себе представить, что это было за тягостное время для литературы, но литература держалась во все это время великолепно. Помимо того, что страницы журналов тогда украшались именами талантливейших людей, каковы Пушкин, Лермонтов, Гоголь и другие, общее настроение литературного духа и взаимное общение, в котором развивались и совершенствовались тогдашние литераторы, не имеют ничего похожего с тем, что мы видим ныне. То действовали люди александровского времени, народившиеся после великого двенадцатого года и воспитавшиеся при одних обстоятельствах, а теперь действуют иные люди, родившиеся в иное время и воспитанные при иных обстоятельствах, но по всему, – решительно по всему: по нравам, по вкусам и по обычаю, – родные и свойственные своему поколению. Они предлагают то, что у них спрашивают, они говорят с обществом о том, что, по их наблюдениям, занимает общество, и даже говорят тем языком, который, по их соображениям, более идет и более нравится. Приведем этому несколько доказательств.

У нас в России, в вышеобозначенный нами литературный период, очень много ценился так называемый хороший слог. В начале же нынешнего литературного периода общество стало пренебрегать этим; составилось странное мнение, что будто бы за достоинствами слога скрывается скудость содержания, и в доказательство этого приводились "обточенные периоды" Карамзина и тяжелый язык Шлоссера. Хотя известными трактатами "о хорошем и дурном слоге" и давно разрешено, что хороший слог вовсе не то, что фразистая шумиха слов, и что хороший слог почти всегда свидетельствует о гармонии строения мысли в голове писателя, достоинства слога были презрены, и явились писатели, которые до сих пор удивляют своим неумением писать ясно, не водянисто и сдержанно. Это, всеконечно, сделал низко павший общественный вкус. Ему предлагают то, чего он спрашивал.

Примеры другого рода: Диккенс, как всем ведомо, имел скандалезнейшую историю, по поводу которой он расстался с своею женою и остался в дружественных отношениях с ее сестрою. Дело получило полную огласку, но ни одно солидное английское издание не сказало об этом ни слова: здесь действовали и уважение к талантам Диккенса и, еще более, боязнь общественного мнения, которое восстало бы против каждого органа, соблазнившегося возможностью поругать любимого писателя, и отшвырнуло бы такой орган в запамет. Органы, враждебные Диккенсу, действовали с такою же осторожностью для того, чтобы не уронить себя в общественном мнении и не ославиться злорадцами. Недавно тот же Диккенс нескучно попировал с своими литературными приятелями в своем коттедже, и гости его, перепившись, подрались с медведем, причем сам Диккенс чуть было не лишился жизни, и опять мы не прочли в английских газетах по этому поводу никаких нападок на Диккенса и его друзей, а видели только одну радость, что Диккенс остался жив. Байрон умер в Миссолунги в 1824 году, и только ныне, через сорок пять лет после его смерти, г-жа Бичер-Стоу решилась описать одно из очень черных дел великого поэта, и... в Англии очень недовольны, зачем г-жа Бичер-Стоу это сделала!

Вот от чего зависит нравственная опрятность литературы или ее неряшество, ее деликатность или беззастенчивость по отношению к писателям. Где этого не любят в обществе, там этого не делают в литературе; а где в обществе кидаются, как у нас, на всякое злословие, там это злословие в литературе развивается до таких чудовищных и ужасающих размеров, до каких оно дошло у нас, где смело можно предлагать миллиардную премию за указание хотя одного имени не обруганного и даже не опозоренного литературного человека, и такого имени никто указать не в состоянии.

В обществе думают, что в этом виноваты сами литераторы, а в литературе основательно убеждены, что в этом виновато общество. По крайней мере несомненно, что держится это омерзительно гадкое злословие на общественном вкусе.

Было бы, однако, конечно, несправедливостью сказать, что таковы поголовно все вкусы; напротив, несомненно, что в нашем обществе есть своя доля людей, которым бесцеремонность отношений литераторов к литераторам надоела и даже оскорбляет их, и вот об этих-то людях здесь тоже приходится сказать два слова, так как между ними мы должны видеть современных друзей литературы и на них в известном смысле возлагать известные надежды, ибо они-де любят литературу.

Любовь и внимание, как и всякие чувства вообще, имеют свои видимые выражения, и по тому, каковы эти выражения, можно судить о самых чувствах. Дети, устами которых, по писанию, творец "совершает хвалу", в играх друг с другом говорят так: "я тебе подарю то-то и то-то, а ты мне что подаришь?" В этом возрасте уже есть понятие о такой комбинации, как взаимновознаграждение даже за подарки. Одна из героинь Бальзака или Жорж Занд говорит: "Да, я пожертвую свету своею любовью, моим счастьем, а чем свет мне за это пожертвует? Нет, – рассуждает она далее, – не за что ему приносить такой жертвы". Более или менее так судят и большинство людей.

Любовь к писателю выражается и вещественными и невещественными знаками. В Англии и во Франции произведения любимых писателей расходятся десятками тысяч, чего у нас не бывает, и вследствие этого во Франции какой-нибудь Сарду живет синьором, имеет дома, дачи, первых лошадей и первостатейное знакомство, тогда как любой наш писатель, ему же г-н Сарду недостоин по своему таланту разрешать ремня у ног, даже ни о чем подобном не грезит в самой дерзкой мечте своей, и умирает слава богу если так, как умер Лажечников, поручая детей своих милосердию государя (и то, заметьте, не общества, а государя!), а чаще же канает на госпитальной койке и хоронится в складчину. Известно, что литература у нас состоит из бедняков, питающихся впроголодь, и самые любимейшие из наших писателей стараются устраивать себя вне зависимости от одного литературного заработка.

Стало быть, вещественных доказательств так называемой любви к литературе и литераторам у нас чрезвычайно как мало и во всяком случае меньше, чем у всех других европейских народов.

Теперь посмотрим на невещественные выражения сочувствия и симпатии. Оказывается, что и этих не более, чем первых. Если у нас в настоящее время нет общих любимцев всей публики, то несомненно, что мы имеем писателей, которые пользуются заметным

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
вниманием известных партий, но стоит любому памфлетисту, любому записному ругателю завтра же “обработать” писателя, которого произведение читалось вчера с несомненным сочувствием, – и этому станут улыбаться, и эта ругань станет повторяться на тысячи ладов: ее будут передавать и пересказывать как нечто достойное внимания и за нею станут забывать самое произведение.

“Да, ~~№№~~ черт знает что пишет, но как он забавно отделал того-то или того-то”, – повторяют люди, вчера именно восхищавшиеся тем, о ком нынче прочитали площадное ругательство.

Не только оскорбительнейшие выходки против автора “Петербургских трущоб”, жадно читанных в свое время нарасхват всею Россиею, но и всякие обиды, чинимые Тургеневу, Гончарову и Писемскому, – все это доставляет видимое удовольствие тем самым людям, которым авторы эти доставляли очень приятные минуты и которым даже, пожалуй, известно, что порицающие Тургенева, Гончарова и Писемского не имеют ни сотой доли дарований этих писателей, ни их прав на общественное внимание и почет.

Думают, что это ничего, что этим никому не вредят, что это-де только для смеха, – а этим много вредят литературе, этим удерживают и утверждают в ней тот жанр, в котором, например, составили себе известность два писателя, не устающие рассказывать, что им вздумается про всех и даже друг про друга о том, что из них один другому говорил, едучи в вагоне с обеда.

Предложение таких вещей является в силу запроса со стороны общества, которое потому и не имеет права ни удивляться тому, что происходит в литературе, ни кичиться перед литераторами элегантностью своего обычая.

Итак, в этом коротком очерке, пределы которого стеснены местом, назначенным для него нашим изданием, мы, как могли, показали кажется, что общество в весьма значительной степени повинно во всех безобразиях современной печати, что любви и внимания к литераторам, их доброму имени и их тягостнейшей и печальной судьбе в нашем обществе нет и что общественное осуждение литературы за многие печальные в ней явления есть только фарисейское лицемерие. К клеветам и преступным намекам на писателей, и вообще к так называемым “литературным скандалам”, в нашем обществе многие относятся как к камелиям: они с ними публично не раскланиваются и даже оказывают им мнимое пренебрежение, но втайне наши пуристы не чуждаются их и позволяют им грабить себя со стороны наилучшего и драгоценнейшего своего достояния: со стороны вкуса и воздаяния справедливости труженикам, более или менее честно и строго по мере сил своих и разума служащим литературе.

Судебные дела, которых так много скопилось к этому времени на литераторов, по отношению к одним из них свидетельствуют лишь о слишком строгой к ним придирчивости, по отношению же к другим напоминают, что и литераторы такие же люди и что против каждого из них его собственные семь чувств вступают иногда в жестокие заговоры, низводящие человека с его прямого пути на скамью подсудимого. Ничего в этом необыкновенного и ничего унижающего литературу нет, и в общественных толках, носящих характер сетования и укоризн литераторам за то, что они не стоят “превыше мира и страстей”, более всего поражает вопиющая несправедливость таких укоризн и требований от людей, которым общество не только не давало средств становиться “превыше мира”, но принижению которых оно при всяком случае как бы радовалось и рукоплескало: “вот-де они, нас поучающие, – сами нас не лучше и не чище!”

Поистине, велика радость и велико утешение, если даже это еще справедливо! Но справедливо ли это и имеет ли наше общество право кичливо думать, что наша литература ему не по плечу и наши литераторы достойны только тех успокоительных чувств, что “они-де никого не лучше”, в этом мы в другой раз попробуем свести наши счеты и надеемся, что, отнюдь не скрывая всех язв, разъедающих нашу строптивую литературную семью, мы все-таки не просчитаемся.

Бедные новости дня, за исключением одной “особенной”, бродящей в сплетнях и рассказах истории, из коей до нас, частных людей, пока доходят еще только одни

Намеки тонкие на то, чего не ведают никто, ограничиваются на сей раз новою повестью И. С. Тургенева. “Любимый” русский писатель на этот раз порадовал Россию рассказцем, написанным прямо для немецкого

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
издания и на немецком языке; но тем не менее Россия все-таки, конечно,
заинтересована этим новым произведением, и о нем надо дать возможно скорый
отчет.

Новая повесть И. С. Тургенева, написанная на немецком языке, называется
“Странная история”. Содержание ее вполне не вымышленное, а истинное: это давняя
история жившего в тридцатых годах в городе Орле “блаженного Васи” и одной
орловской же девицы, отрекшейся от света и пошедшей “угождать юродивому”.
Повесть вся крошечная: автор видит Васю, тот чем-то вроде магнетического или
гипнотического воздействия на него показывает ему давно умершего его знакомого;
потом автор встречает этого же Васю в другом месте в сопровождении знакомой ему
девицы Б., оставившей свет ради апостольского служения при юродивом. Вот и все.
Всей этой истории – всего на пол-листа, и читается она без малейшей задержки:
все ждешь, не будет ли где чего-то? и не встречаешь ничего, кроме самым
обыкновенным образом рассказанного анекдота, к которому в Орле давно уже
приснащены были разные подробности, упущенные г. Тургеневым или вовсе ему
неизвестные (например, электрический свет, исходивший будто бы от юродивого
Васи). Вообще же произведение это нельзя назвать и произведением. Это так,
литературный вздор, пустяки, не отмеченные даже ни штрихом мысли, ни тенью
дарования. Замечательного в этой повести только то, что она написана по-немецки,
да то, что автор в ней ручается, что он видел давно скончавшегося человека при
обстоятельствах, при которых никакой обман был невозможен.

Первое, то есть немецкий диалект, на котором написана новая повесть русского
писателя, многих приводит в негодование и даже прямо сердит. Чего и из-за чего?
Немецкое издание прямо объясняет, что повесть эта была писана “для него”. Разве
же не свободен беллетрист сделать свою работу на том или на другом языке?
“Вестник Европы” только теперь окончил печатание очень умного и очень скучного
романа Бертольда Ауэрбаха “Дача на Рейне”, которого до сих пор на немецком языке
еще не было, и это в Германии никого особенно не удивляет, и Ауэрбаха никто за
то не корит. Не станем и мы удивляться тому, что г. Тургенев дал какой-то
ничтожный клочок своей работы в немецкое издание. Просили, он и дал, – это,
может быть, самое простое и верное объяснение.

В обществе говорят, что он сделал это с досады, со злости на равнодушие, с каким
были встречены его последние вещи. Какая нелепость! И где это равнодушие? – мы
его вовсе не видим. “Дым” был прочитан залпом, нарасхват, с увлечением, а если
“Собака”, “Лейтенант Ергунов”, “Бригадир” и “Несчастливая” проманкированы
общественным вниманием, то ведь это очевидно вещи, которым и сам автор не
придавал никакого большого значения. Это были так себе – просто неудачные
абрисы, которые можно было бросить, но можно было, пожалуй, и напечатать, когда
пристают да просят: “Дайте, дескать, нам что-нибудь, бога ради!”

Немым молчанием, с которым публика прошла мимо этих двух безделушек, она, как
нам кажется, дала г. Тургеневу только новое доказательство своей любви и своего
уважения к нему. Приведенные нами неудачные его вещи были приняты как были
“пустое слово”, сказанное уважаемым человеком, и его постарались почтительно не
слышать... Скажите же, бога ради, что тут обидного, и на кого тут сердиться?

За что ты нас возненавидел?

Какою грубостью своей

Простой народ тебя обидел?

Нет, нет, – все это вздор, все это праздные толки, в основе которых нельзя
предполагать ничего достоверного. Начни глаголать разными языками г. Достоевский
после своего “Идиота” или даже г. Писемский после “Людей сороковых годов”, это,
конечно, еще можно бы, пожалуй, объяснять тем, что на своем языке им некоторое
время конфузно изъясняться; но г. Тургенев никакой капитальной глупости не
написал, и ни краснеть, ни гневаться ему нечего.

Что же касается до нехитрого содержания новой безделушки г. Тургенева, то мы уже
сказали, что это – известное множеству лиц довольно давнее орловское
происшествие, которое, всеконечно, было известно и г. Тургеневу, как орловскому
уроженцу и тамошнему землевладельцу. Рассказ тургеневский ни больше ни меньше
как просто запись этого происшествия. В обществе прозревают, или, лучше сказать,
заподозревают в “Странной истории” г. Тургенева нечто спиритское, хотя уже, если
пошло на подозрения, то в ней правильнее заподозреть не спиритизм, а мистицизм;
но спиритизм в моде, он поддерживается неземными веяниями “Войны и мира”, и
потому теперь в спириты у нас очень легко жалуют. Человек видел усопшего и

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
погребенного... Конечно, это не всякому случается, но, однако, нет, кажется, никакого основания утверждать, что это уже ни для кого, никогда, ни при каких обстоятельствах и ни в какую минуту невозможно. Иначе пришлось бы отвергать очень многое, начиная с библейских сказаний о тени Самуила, вызванной к Саулу волшебницею аэндорскою, до засвидетельствованного протоколами видения шведского короля Карла XI, до общеизвестных и неоспариваемых случаев с ближайшими к нам людьми: с доктором Берковичем (Собрание сочинений В. А. Жуковского, изд. шестое, том VI, стр. 59) и с Николаем Васильевичем Гоголем, слышавшим назначение ему часа отхода с земли. От подобных вещей можно, и, может быть, даже должно, не отбрыкиваться, не будучи ни мистиком, ни спиритом. Столь воспрославленный по достоинству Шекспир едва ли где-нибудь еще столь искренен, как в словах: “Нет, друг Горацио, – есть вещи, которые еще не снились нашим мудрецам”, а мы все, не исключая самых умнейших и учнейших из нас, пока еще столь недалекие мудрецы, что даже не знаем сущности некоторых сил, полученных нами в обладание (электричество, магнетизм).

У г. Тургенева героиня его нового рассказа говорит, что “мертвых нет”, в чем многие видят кощунство не только против естественных наук, но и против того особого реализма, какой один чуткий критик навязал графу Л. Н. Толстому в награду за “Войну и мир”. Конечно, ничто подобное верованию в бесконечность духовной жизни до сих пор естественными науками не доказано; но ведь естественные науки, надеемся, далеко еще не сказали своего последнего слова, и ими нам нимало не разъяснены знакомые множеству людей внезапные предчувствия, безотчетные симпатии и такие же антипатии и многое другое, что может быть как угодно отвергаемо, но что тем не менее все-таки ощущается, следовательно, существует. Парижский ученый и профессор фламарион (Flammariön) в недавно сказанной им речи указывал, что новая философия должна основываться на прочных естественнонаучных законах и направлять свою деятельность на те области природы, которые до сих пор покрыты мраком неизвестности. “В природе (сказал он) существуют такие движения и вибрации, которых мы не можем постигнуть материальною стороною своего существования. Так, например, некоторые виды лучей света нечувствительны для нас, но чувствительны для йода; мы познаем только две вибрации – света и звука, а в природе существует сто и более тысяч вибраций”. Да и, наконец, естественные науки еще только одна сторона знания, а между тем Христос нам говорит, что “несть бог мертвых, но бог живых”; дамаскин в песнопениях, повторяемых церковью, поет об “усопшем”, а не об умершем брате, и открытый критиком Страховым реалист Лев Николаевич Толстой видит в смерти “пробуждение от сна жизни”... Таким образом, если г. Тургенев (буде ему следует и в этом рассказе навязывать тенденцию), если он и верит сам с своею героинею, что “мертвых нет”, то это верование во всяком случае не только очень распространенное, но и не унижающее ни чувства, ни разума тех, кто его содержит, находясь через то в мысленном единении с целою плеядою мудрецов, допускаящих бессмертие духа. Компания – самая почтенная, тяготение к которой понятно как нельзя более.

Вот мысли, которые пришли нам по прочтении неважной самой по себе новой повестцы г. Тургенева и по выслушании многих мнений, выраженных на ее счет как людьми дружественными автору, так и людьми, ему издавна враждебными.

К этому еще два слова по поводу людей враждебных “любимому русскому писателю”, или, лучше сказать, по поводу его отношений к этим людям.

И. С. Тургенев в своем “прекрасном далеко”, куда он скрылся от нас и где (как писано) поет чужим голосом и пишет на чужом языке, всеконечно лишен большого удовольствия видеть очень веские доказательства любви к нему в России. Несмотря на то, что совсем плохая и ничтожная в литературном отношении последняя повестца его огласилась здесь, когда общество только что зачитывалось “Обрывом” г. Гончарова (из-за которого старые экземпляры “Вестника Европы” продаются теперь на книжном рынке по 25 рублей); несмотря на то, что именно теперь, в эту самую минуту, внимание читающей публики поглощено последним, заключительным томом “Войны и мира”, – тургеневская безделушка, которую неловко и поминать при двух вышеназванных произведениях, прочитана и... поставлена ему очень многими людьми в заслугу. В чем могла быть здесь отыскана заслуга, и в чем она заключается? В ручательстве, которое дает ею автор “Отцов и детей”, что те менуэты, которые он начинал было вытанцовывать перед иными из своих противумысленников, ему не к чину и не к летам... Пора, в самом деле, и не бояться говорить, что думаешь: здесь ведь, дома, есть люди, которые гораздо больше г. Тургенева оттерпели и злых напраслин, и клевет, и самых низких поношений; но они не пятаются от сказанного,

они не жалобятся, не дуют губы и не жмутся чужим людям под ноги, как слегка посеченная розгою фаворитная господская амишка... Что делать: “говорить правду – терять дружбу” – это пословица не новая, но тем не менее все-таки надо говорить правду, особенно когда пушистый снег уже успел покрыть все кудри и очам души невдалеке уже зрится берег той страны, “откуда путник к нам еще не возвращался”... Помилуют ли нас или не помилуют, будет ли нам утешением хоть минута раскаяния в тех, кто сторицею облыгал нас всеми лжами и клеветами, – это нам должно быть все равно: на весь мир пирога никогда не спечешь, и угодив одним, опять не потрафишь на других. Всякое подделывание и танцы менуэтов и гавотов бесполезны, а между тем смешная их сторона чувствуется.

Перед И. С. Тургеневым, как и перед всеми нами, в последний год вырос и возвысился до незнакомой нам доселе величины автор “Детства и отрочества”, и он являет нам в своем последнем прославившем его сочинении, в “Войне и мире”, не только громадный талант, ум и душу, но и (что в наш просвещенный век всего реже) большой, достойный почтения характер. Между выходом в свет томов его сочинения проходят длинные периоды, в течение которых на него, по простонародному выражению, “всех собак вешают”: его зовут и тем, и другим, и фаталистом, и идиотом, и сумасшедшим, и реалистом, и спиритом; а он в следующей затем книжке опять остается тем же, чем был и чем сам себя представляет, конечно, вернее всех направленных критиков и присяжных ценщиков литературного базара. Это ход большого, поставленного на твердые ноги и крепко подкованного коня.

Теперь для оттенка ему – маленький мулик, маленький онагр. Г-н Ключников, автор известного “Марева”, после этого романа выплыл с “Большими кораблями”. Плавал он на них долго, а промеж волн от него все-таки ничего не было видно. Тогда он написал “Цыган”. Что это такое эти “Цыгане”? – это уж и уму непостижимо: это, как кто-то метко выразился, не “цыгане”, а воробьи, на том основании, что “где они ни слетятся, тут сейчас и свадьба”. Но мир им: пусть себе греются. Пример его здесь нужен лишь к тому, что бедный автор воробьев, чувствуя, что под ним разъезжаются его неокрепшие копытца, сейчас ищет спасения – в чем бы вы думали? – в неопределенности, в бесцветности. Он объявляет небывалую вещь: он хвалится, что будет издавать что-то такое, чуждое всякой тенденции... Даже чуждое и той, воробьиной-то, которая была, – и той уж долее не будет?.. Ну, скажите бога ради: каких действительно “у нашего царя людей нема”!

И. С. Тургеневу все юродствования наших литературных чудодеев въявь известны, ибо он своими собственными устами пророчески изрек на последней странице “Отцов и детей”, что настала уже для нас горькая пора, когда одного и того же человека вполне основательно можно будет называть “русским литератором и дураком”, – так неужто же и этим тоже угождать надо и их внимания и их доброго слова заискивать?.. Господи, да тогда уже и на свете бы жить не стоило!

Нет, верим и хотим верить, что г. Тургенев, несмотря на его “Несчастную”, на его “Собаку”, “Лейтенанта” и “Бригадира” и рассказанного немцам Васю-юродивого, еще не отжил всех лучших сил своих. Становясь определенно на одну сторону, он опять зачерпнет живой воды и поднимет на ней опару и выложит тесто в нечто стройное, в чем снова не без пользы узнают себя и подающиеся отцы и неподатливые дети, которые уже давно бросили “резать лягушек” и берутся за кое-что другое. Последнее бессилие И. С. Тургенева – это прямое следствие его зарубежничества. России нынче нельзя изображать, не живя в России, и тому, между прочим, лучшее доказательство писательница, скрывающаяся под псевдонимом Марка Вовчка. До житья ее в Париже это был если не глубокий, то чуткий и очень симпатичный талант. Все, что она написала за границу, совсем отменилось: дарований как не бывало. По возвращении на родину ею опять написана “Живая душа” – вещь чудовищная по уродливости замысла, бедности содержания и даже по не искусству ее исполнения. Но прошло мало времени, Марко Вовчок окунулась в ходящие ходенем волны нашего житейского моря, и вот перед нами в “Отечественных записках” опять верный и мастерской рассказ (“Записки причетника”). Такова сила жизни, захватывающей и увлекающей чуткую душу и диктующей ей и хваленья и пени.

Дома у нас в литературе опять, кажется, затевается бой, – по крайней мере перчатки уже брошены, и одна сторона подняла свою перчатку, а другой отмолчаться будет неудобно. Доктор Опальный, которому, по замечанию г. Незнакомца “С.-Петербургских ведомостей”, “глядясь в зеркало, очень удобно узнать г. Лохвицкого”, вступаясь за сего последнего, говорил не совсем почтительно о какой-то известной будто бы ему “шайке” в “Петербургских ведомостях”. Те обиделись и выслали против неприятеля своего Незнакомца. Витязь уже выехал,

навязал на конец своего кнута какой-то секретный, нарочно про г. Лохвицкого припасенный камень и протрубил, что зовет г. Лохвицкого на остатний бой, на смертельный. Дело и пустое и не пустое: пустое – если смотреть на него с той точки зрения, что в газетах люди всегда перебранивались и даже прежде перебранивались больше, чем нынче, но не пустое – если статью разыскивать, за что столь долго и столь упорно преследуется у нас доктор прав Лохвицкий, человек несомненно ученый, талантливый и смелый? В истории этой почти ничего не поймешь, если не восходить воспоминаниями к очень старой перепалке “Современника” со старыми “Отечественными записками”. Доктор прав Лохвицкий тогда стоял в “Отечественных записках” и в споре чисто научном довольно сильно и логично побивал г. Антоновича, обозвав под конец своих противников “умственной кабацкою голью”. Вот где причина сей бесконечной вражды, почтенный читатель, и вот еще с тех-то пор человека преследуют, где только могут, а вы изволите все это читать, даже, вероятно, не доразумевая: чего ради все это расточается, и кому то интересно: господин ли Корш лучше г. Лохвицкого, или г. Незнакомец один обоих их во всем гораздо превосходит?

Не понимаем и отказываемся понимать и эту вендету и это усердие вытаскивать наружу какие-то сокровеннейшие тайны друг друга с единою целью не мнение свое отстоять, а замарать имя противника.

Знаем, что слова эти – глас вопиющего в пустыне, но не можем не сетовать, что это все так и остается, и что в обществе в силу того сложилась даже поговорка: он ругается, как литератор.

Какая честь!

Не наше, разумеется, дело вступать в эту ссору, но в интересах литературы, в интересах и без того уроненной репутации литературных людей мы позволили бы себе выразить искреннейшую радость, если бы объявленный турнир по какому-нибудь счастливому случаю отменился. По крайней мере хоть на некоторое время. Нет мудреного, что эту радость нашу разделили бы с нами, может быть, и многие другие, не исключая самых подписчиков двух газет, собирающихся как можно лучше друг друга попорить.

Газета “Весть” как раз отозвалась к нашим недавним заметкам о запрещениях. Из “Вести” мы узнаем, что существуют, или могут существовать где-то, предположения запретить дамам полусвета рассаживаться где им угодно в Большом и в Михайловском театрах, а предоставить в их распоряжение в Михайловском театре ложи бельэтажа, а в Большом бенуар. Престранная эта весть из “Вести”! Читаешь и невольно вспоминаешь, как в “Русском вестнике”, в статье о консерваторах, характерно заметили, что “в “Вести” и серьезно говорят на смех”. Кому в самом деле могла бы прийти в голову эта “серьезная мысль на смех”? Слова нет, что близкое соседство через один барьер в ложе с кокеткою имеет очень много своих неудобств для семейной дамы. Тут возможны и не совсем строгие разговоры и... да больше-то, кажется, и ничего невозможно. Помочь этому горю сияются отделением особого яруса для кокоток... Прекрасно. Но известно, что кокетки отнюдь не подчинены тем охранительным или стеснительным правилам, которыми управляются промышленящие своею красотой женщины низшего разряда... Кокетки это по всей внешности их – дамы, и подчас даже самые казистые, самые представительные дамы, которые одеваются у Изомбар, Андриё и Мошра, которые щеголяют тысячными рысаками, экипажами и лакеями. Почем узнавать и отличать их от прочих дам – и потом кто может и кто будет производить эту сортировку? Кассир театра? – но он часто и не видит того, для кого у него покупают ложу? Положим, он требует имя и записывает его, но имя совершенно звук пустой, потому что у нас пока еще нет адрес-календаря кокоткам, по которому кассиры могли бы о них справляться. Капельдинер – что ли – может не впускать даму, если она на его лакейский взгляд камелеобразна? Но тогда в театральных коридорах повторятся все безобразия сцен, случавшихся у входа в пассаж гр. Штейнбока, когда в прошлом году правление пассажа вздумало было не впускать туда проституток. Честных женщин, не выдерживавших лакейской критики, без всякой церемонии оскорбляли самым наглым выводом, возникали ссоры, судбища, и, наконец, пришли к убеждению, что дело это не годится и что его надо бросить. Потом: ярусы, определенные для камелий, будут ли позорною выставкою продажной красоты? Очевидно – да. Это будут галереи портретов, из которых каждый за известную цену вынимается из его рамки. Прекрасно! Но прилично ли это императорскому театру заведомо учреждать такие галереи?... Далее: с тех пор как ложи известных ярусов Большого и Михайловского театров сделаются заведомо кокотскими, могут ли в них ходить другие женщины, и пойдут ли они в эти ярусы,

зная, что всякая, кто здесь сидит, по всем правам может быть считаема за кокотку и может, следовательно, подвергаться тому обращению, какому подвергаются кокотки? Очевидно, что семейные женщины туда не пойдут; но допустите ошибку со стороны заезжих, весьма возможную ошибку со стороны провинциалов, которыми Петербург всегда полон... Виновен ли будет человек, который, увидя в кокотском ярусе лож женщину не кокотку, пригласит ее к заключению кратковременного знакомства по поводу пятидесяти или ста рублей? Вероятно, не виновен! – Но допустим, что дело обойдется: вся Россия узнает, что в петербургских театрах есть кокотские ярусы лож, и начинается новая история: вдруг (что весьма возможно) кокотки не разбирают всех лож, а другим этих лож в силу обстоятельств брать нельзя, чтобы не попасть в кокотки... Выгодно ли это будет кассам театральной дирекции?..

Нет, мы еще раз отказываемся верить, чтобы у кого-нибудь могли возникать и формулироваться такие чудовищные и совсем неудобноисполнимые предположения, и, нам кажется, действительно люди правы, приходя к заключению, что редактор “Вести” г. Скарятин как-то уже до того неряшливо растрепался, что “за слова его даже становится стыдно”.

– Но, – говорят, – тем не менее соседство кокоток неприятно.

– Совершенно верно.

– И мы желаем от него избавиться.

– И это понятно.

Вопрос в том: кто же должен быть этим избавителем дам света от дам полусвета?

Как решен был бы этот вопрос в другой стране, того мы не знаем, но у нас решение ему исстари готово.

– Правительство, мол, должно нас освободить от кокоток; распоряжение-де сделать и запретить и “этцетера, а нам спать пора”.

Поспешай, благодетельное начальство!

Вот уже истинно не мимо сказано, что “мы рады вмешать правительство даже в ссоры с нашими собственными женами”. Сколько тут может правительство? Мы это уже видели. Кроме одной путаницы, суматохи и ближайшего сознания полнейшей непригодности всех мер ничего нельзя предсказать. И потом: за что, за какие грехи вмешать в это дело правительство? Оно кокоток не заводило, – их завело общество; оно одно властно само с ними и разделаться. С правительства же можно взять только пример, как расстаются с таким имуществом, которое стало бременем и в котором более не хотят нуждаться.

У правительства было тоже такое позорное имущество, как кокотки: это были кобылы, кнуты, плети и клейма, которыми били и увечили людей по закону. Вещи эти по тому же закону составляли “казенную собственность”, о соблюдении которой известные лица должны были пещися, и вот, когда телесные наказания были отменены, один такой попечительный человек, как все, верно, помнят, объявил в газетах о торгах на продажу ненужных плетей и клейм... Что же ему отвечали?

Откуда-то послышалось негромкое тссс, и даже чиновники, сберегавшие плети и клейма, смекнули, что говорить о таком имуществе бестактно, его бросили, и его нет, а вот великосветская газета этого не понимает и велеречит о том, в чем даже сознаваться бестактно, что свет наш одолели кокотки.

– Отчего их нет, однако, в Александринском театре и в Русской опере?

– Оттого, что там нет праздного, пустого и мотающего народа, поддерживающего кокоток. Ну, не поддерживайте их, и они исчезнут, как всякая брошенная гадость; а не можете не поддерживать, нужны они вам для услады жизни, так не жалуйтесь и не призывайте власть разыгрывать смешные роли: “Мы, мол, им будем билеты покупать, а вы их выводите – и в результате вы за всё будете смешны”.

Почтенные дамы, страдающие от тягостного и неприятного соседства кокоток, должны сетовать не на начальства и власти, а на своих милых отцов, мужей, сынков и

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
братцев, которые в оперной ложе горды, как лорды, и, может быть, целомудренно отворачиваются от кокотки, а там... "там, где море вечно плещет", там они все почти "фаусты наизнанку".

Тру-ля-ля,
Пиф-паф-пуф,
Стан согнув,
Так рукою, так ногою..
Пиф-паф-пуф,
Пиф-пуф!

Мы уже однажды по поводу кокоток приводили старую поговорку: "где орлы, там и падаль".

Уберите, господа, падаль, и птицы разлетятся.

Впервые опубликовано в "Биржевых ведомостях", 1869 год, 1 сентября и 14 декабря.

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР В ПЕТЕРБУРГЕ

Театральный сезон для русской сцены начался в Петербурге, по обыкновению, тотчас вслед за окончанием Успенского поста. 16-го августа на Александринском театре было дано первое представление, о котором мы через несколько строк дадим короткий отчет нашим читателям.

Открытию русских театров на нынешний раз в Петербурге предшествовали некоторые небезытересные толки: говорили, например, что дирекция театров наконец сама убедилась в печальнейшем состоянии русской сцены – состоянии, вполне не соответствующем ни потребностям вкуса, ни величию русской столицы, и, убедившись в этом, решила будто бы обратить внимание и на несчастнейший драматический репертуар, и на более еще несчастную драматическую труппу.

Толкуя о репертуаре, здесь надеялись, что дирекция проведет на русскую сцену "Смерть Ивана Грозного", "Псковитянку" и пушкинского "Бориса Годунова". Эти надежды высказывались устно, высказывались и печатно: петербургские газеты писали, что названные три пьесы, вероятно, непременно пройдут на сцену; но потом эти же самые газеты на днях известили, что надежды эти тщетны, что ни одна из этих пьес представлена не будет: "Смерть Грозного" и "Псковитянка", по словам газет, "встретили большие препятствия к постановке их на сцену, а что касается до "Бориса Годунова", то он решительно игран не будет".

Этим пока ограничиваются наши новости и наши радости относительно внимания, вызванного у с. – петербургской театральной дирекции репертуарною частью.

О персонаже говорили, что в подмогу единственной у нас русской актрисе, госпоже Линской, приглашена очень даровитая актриса откуда-то из провинции. Об этой актрисе даже спорили: одни называли ее высокодаровитою; другие не признавали в ней вовсе никаких дарований. Мы видели эту актрису всего один раз на Александринском театре: она дебютировала, и дебютировала довольно счастливо в "Ночном", но по одной этой пьеске мы судить о ней так решительно не можем. Одно, что было в ней заметно, – это ее смелость и пренебрежение к театральной рутине: она вышла одетою по-крестьянски, обулась в лапти, говорила народным языком; но причислить ее за это к артисткам-художницам не за что, точно так же, как нет, кажется, оснований и обозвать ее бездарностью, особенно на нашем безлюдьи; ставить же ее рядом с Линской – все-таки легкомысленно. Разумеется, видя, как наши актрисы пренебрегают костюмировкою в народных ролях, остановишься и на том, что женщина сняла башмачки, и надела лапотки, и вышла настоящей крестьянкой, а не пейзажкой, но это еще не только не все, что требуется, но и далеко не все, что дает право ожидать чего-нибудь замечательного. И г. Малышев иногда очень удачно гримируется, а г. Пронский одевается в ролях светских людей так безукоризненно, что портной Шармер уж ничего к нему не может прибавить или убавить от него; но все-таки надеемся, ни того, ни другого из них никто, кроме театральных сторожей да театральной дирекции, актерами не считает. Нам случилось видеть за границу "Сомнамбулу", при исполнении которой певица, игравшая лунатичку, вышла босая, в рубашке, в тиковой юбочке. Эта костюмировка необыкновенно шла к роли и была отмечена восторгом зрителей, но слабую певицу, несмотря на ее оригинально смелый костюм, все-таки никто не подумал сравнивать с Бозио или с другими известными певицами, являющимися в этом месте "Сомнамбулы" в роскошных, вовсе не идущих к роли пеньюарах.

По нашему мнению, можно сказать одно, что провинциальная русская актриса, дебютировавшая здесь на Александринском театре в “Ночном”, очень напоминает наших беллетристов-фотографов: ничего художественного, ничего творящего, но передающее верно все мелочи и очень скоро наскучающее.

Однако и эта знаменитость во время летнего затишья исчезла и, говорят, не появится на петербургской сцене, предпочтя условиям, которые предложила ей здешняя дирекция, условия какого-то частного антрепренера... Оно и прекрасно! Может быть, она об этом и не пожалеет, но и мы тоже на этот раз побережем свои сожаления. Кто ее знает, что она еще такое в самом деле. Провинция необыкновенно щедра на похвалы – Петербург необыкновенно скуп на них. Провинции нельзя верить: провинция восхваляла до небес Зябкину, Дранше, Авенариус и даже Шмидгоф, а не замечала Молотковской и Орловой. Недавно еще в киевских газетах была серьезным образом объявлена ни больше ни меньше как первую русскую актрисой многим известная здесь плохая актриса г-жа Степанова; там же нынче в славе фарсер Никитин, и там же была затерта и уничтожена несомненно даровитая актриса, но не красавица Александра Ивановна Стрелкова.

Итак, вторая новость, новость уже по части персонажа, заключается в том, что надеяться не на что. К открытию спектаклей налицо оказались опять все те же милые лица: из отпусков не возвратились лишь знаменитости: В. В. Самойлов да господин Бурдин, с которым, выходит, опять еще на годочек можно поздравить несчастных зрителей Александринского театра. Стало быть, есть же кто-нибудь такой, кто видит в этом человеке какие-нибудь дарования!.. *Tout est possible dans la nature!*[93]

Первый спектакль после временного отдохновения Александринского театра все-таки, однако, носит на себе следы некоторого внимания дирекции: кроме двух невозможной пошлости водевилей, в состав этого спектакля введена в первый раз новая комедия, если не ошибаемся, совершенно нового драматического писателя г-на Вильде “В глуши”.

(“В глуши”. Комедия в трех действиях К. Г. Вильде, артиста императорских московских театров.)

Об этой комедии г. Вильде нам довелось еще прошлую зиму слышать некоторый отзыв от одного лица, близкого к московскому артистическому миру. Говорилось, что пьеса очень свежа по мысли, жива по сюжету и необыкновенно ловка для смены – отзыв, довольно сильно подкупающий для того, чтобы утерпеть не пойти и не посмотреть, что такое делается теперь у нас “В глуши”. Мы так и пошли в том настроении, что будем смотреть современную картину захолустной жизни, выступающие на план комические стороны этой жизни и образцы характеров, вновь выработанных этою жизнью.

Мы, однако, очень печально ошиблись: ничего этого в “Глуши” г. Вильде нет. Это, действительно, все происходит в глуши и в наше время, но что все это такое? на что это писано? и даже с кого это писано? – об этом, смело можно ручаться, и сам автор ничего решительно не знает. “В глуши” – комедия тенденциозная, но этой тенденции не вышло: она не вытанцовалась, расшталась, сама себе наступила ногою на ногу и вышла по пословице: “ни Богу свеча, ни черту ожег”.

Расскажем эту кучерявую комедию, которая шлепнулась при первом же представлении и память которой погибнет без следа.

В гостиной богатого помещичьего дома (богатство которого на Александринском театре выразилось только прекрасным туалетом помещицы (г-жи Линской) – туалетом, составлявшим страшную несообразность с гривенниковыми зелеными обоями комнаты) – сидит на диване Софья Михайловна Щелкодурова, “барышня зрелых лет” (г-жа Снеткова); она сидит с книжкою в руках и мечтает. Входит ее мать, Раиса Петровна Щелкодурова (г-жа Линская), и учит ее, как она должна изловить себе в мужья приехавшего из Москвы молодого соседа Лабадина, реалиста, который все занимается практическими вопросами – деньги наживает, и теперь для наживания их торгует у Щелкодуровой лес, чтобы срубить его и куда-то сплавить. Щелкодурова же желает, чтобы Лабадин женился на ее Софье, и без того ни за что не хочет продать ему леса. Деньги ей не нужны: у ней много денег. Мать с дочерью поговорила, позвала горничную Машку, покричала на нее и вышла. Дочь опять мечтает и, разумеется, очень глупо: все сетует, что в молодом поколении нет чувств нежных. Вы

чувствуете, что в лице этой Софьи автор стремится осмеять сентиментальность и любовь к чувствительному и стремится к этому совершенно бесцеремонно, сшивая свою тенденцию самыми крупными швами и нимало не заботясь обличить ее в мало-мальски художественную форму. Сцены собственно во всех сентиментальностях Софьи не выходит никакой; но Софья, по совету матери, решается не брать более Лабадина чувствительностью, а подойти его игривостью и веселостью, и, когда под окном раздается звук подъехавшего экипажа, она поет цыганскую песенку. Но вместо Лабадина является другой сосед, Висляков (Павел Васильев), толстый, оплывший уродец, нимало не медля просящий у Софьи водки, которой он тут же и напивается. Пока Висляков пьет, Софья рассказывает ему, что она выходит замуж за Лабадина. Сцены опять ни малейшей. Является родственник Щелкодуриных, отставной офицер Застежкин (г. Нильский), фат дурного тона, рассказывает девушке, как они пьянствовали вчера у судьи, как был пьян Висляков. В это время Висляков уснул. Застежкин над ним смеется и при появлении входящей в эту минуту Щелкодуриной уводит Вислякова спать в смежную комнату. Из уст Щелкодуриной мы узнаем, что это самый обыкновенный поступок со стороны Вислякова, что он никогда трех минут не просидит, чтобы не выпить. Застежкину, после того как он уложил Вислякова, мать Софьи доверяет свою мысль выдать дочь за Лабадина и просит его содействовать этому. Застежкин берется за исполнение возлагаемого на него поручения, он обещается пугнуть Лабадина дуэлью и рассказывает о какой-то своей старой дуэли, затеянной по поводу того, что один юнкер или офицер, закурил у него “на щеке трубку”(!), но дуэль, он говорит, не состоялась, потому что пришли товарищи и сказали, что если они будут за такие вздоры стреляться, то они их обоих выпорют: выпили и помирились. Щелкодуриная и Застежкин уходят в сад; Софья остается одна, является Лабадин (г. Малышев). Этот Лабадин с первого же шага нечто в роде тех умных людей, каких рисовывали в недавнее время беллетристы “Современника” и “Русского слова”. У Лабадина есть “предприятие”, и он ничего за ним не видит и не слышит. Девушка его встречает тепло и даже, против желания автора, довольно мило; она просит его присесть, но он считает это лишним и не садится; он не любит разговоров, а стремится к “предприятию”, к лесу. “Лес, лес и лес” – вот все, что вы от него слышите. А Софья все подъезжает к нему с чувством и доходит до выражения ему своих симпатий. Лабадин ехидно благодарит ее и, принимая сочувствия Софьи, тотчас же просит ее ходатайствовать у матери, чтобы она “продала лес”. Софья в отчаянье делает прямое признание в любви, которое Лабадин не мешает ей кончить и, к крайнему нашему удивлению, не отвергает его. Девушка убегает в сад за матерью, оставляя Лабадина одного. Из сада к нему приходит Застежкин и прямо объявляет, что он, как родственник Щелкодуриных, считает себя вправе вступить за Софью. Лабадин опять про лес, а Застежкин про Софью, что, мол, хотя вы ездите для леса, но здесь есть девушка. Лабадин опять про лес, а Застежкин говорит, что ему, Лабадину, не видать этого леса ни за какие деньги; но что если он женится, то ему этот лес даром в приданое отдадут. Лабадин, видя, что ему не взять прямым путем леса, объявляет, что он уже сделал Софье предложение. Застежкин радуется; из сада приходят мать и дочь Щелкодуриной: Лабадина и Софью называют женихом и невестой, заставляют их целоваться, и через две недели назначается свадьба. Но жених-реалист вдруг начинает ехидствовать: он впадает в глубокое раздумье и объясняет, что задумчив потому, что ему до истечения этих двух недель надо сплавить лес. Опять на сцену лес. Свадьбы раньше двух недель сыграть не могут, а Лабадин пристаёт: дайте ему лес. Софья просит дать лес немедленно, но старуха на это не согласна, да и мыслящий реалист не хочет приобрести лес таким образом; он не рвет зуб на чужой каравай, но припасает его себе и, встретясь на дороге с темнотою и упрямством, только обходит препятствия.

Он предлагает другую меру, очень ехидную, но, по его понятиям, благородную и позволительную: он упрасивает старую Щелкодуриную продать ему лес, а потом, когда он женится, деньги возвратит им с Софьей. Старуха подозревает в этом хитрость и долго упорствует, но наконец соглашается. “Только я, – говорит, – с тебя большую цену возьму”, а Лабадин отвечает, что ему это все равно, что он еще и на большую цену две тысячи прибавит.

Таким образом разом состоялись и помолвка, и покупка леса. Все довольны; проспавшийся Висляков входит и поздравляет нареченных жениха и невесту, и тем первый акт кончился.

Во втором действии в той же комнате, оклеенной зелеными гривенниковыми бумажками, собираются гости: Застежкин, Висляков во фраке, дама с двумя молоденькими дочками и старик Гулючкин (г. Горбунов) с провожатым Ухлымовым (г. Полтавцев). Идет разговор, из которого зрители узнают, что сегодня день свадьбы

Лабадина с молодой Щелкодуровой, что Лабадин очень практическая голова: за что ни возьмется, так и свертит; что у него в лесу две недели работал чуть не целый уезд мужиков, но что вчера уже весь последний лес сплавлен. Делать более во втором действии нечего: его можно сейчас кончить, но автор чувствует, что это будет очень мало, коротко, и для этого им выведен на сцену старик Гулючкин – лицо ровно ничего не значащее ни в экономии пьесы, ни в ее интриге. Для чего и с какой стати пущено сюда это лицо – вы решительно не додумаетесь. Ясно, что лицо это написано собственно для затяжки, для проволочки, и написано чуть ли не с горбуновского рассказа. Старик Гулючкин начинает расспрашивать своего поводыря, кто здесь тот-то, и кто этот-то, постоянно принимая внучат за дедов и напоминая многим очень известный семейный рассказ г. Горбунова о вельможе, спящем во время чтения докладов и объявляющем согласие с умершим лет сорок тому назад князем Волконским или Голицыным. Но и этого мало. Приезжая барыня начинает злословить. И этого опять же недостаточно – является Щелкодурова плакать над одетой к венцу невестой. Наконец все идут в церковь, остаются дома только мать да невеста, и тут влетает шафер и объявляет, что реалист Лабадин уехал, прислав ему вчера в город письмо, для доставления Щелкодуровым. В письме этом написано, что он не может жениться. А фронт. Что делать? все уже в церкви, и невеста одета. – “Борис Антоныч! – просит Софья кутилу Застежкина. – Найдите мне кого-нибудь”. Застежкин предлагает ей Вислякова, этого пьянчугу и урода, и Софья, чтобы не раздеваться понапрасну, согласна выйти замуж за Вислякова. – Вот-де каковы эти чувствительные барышни-то! Вот чего их чувства стоят! Застежкин берет на цугундер Вислякова, потерявшего весь ум после вчерашнего большого пьянства, твердит ему, что Софья его любит и что он должен теперь ее выручить и жениться на ней; твердит это Застежкин долго, скучно, с повторениями и наконец уговаривает полупьяного Вислякова идти к венцу.

Этим второй акт кончился. Начинается третий и последний.

Висляков просыпается у себя дома и в тяжелом похмелье начинает припоминать, где он вчера напился; потом припоминает, что с ним было, и наконец вскакивает при воспоминании, что его венчали, и плачет. Павел Васильев выполнил это бесподобно. Слышны бубенцы. “Запирай ворота”, – кричит Висляков слуге; но прежде, чем его приказание исполняется, являются гости мужчины и поздравляют бедняка с законным браком. Висляков видеть не может Застежкина и оплакивает свою судьбу. Как ни вяло написал это автор, но благодаря прекрасной игре Павла Васильева и эта сцена, единственная во всей комедии, вышла опять недурна. Висляков решается бежать, оставляя жене все свое состояние, и наконец, несмотря на все препятствия со стороны Застежкина, бежит и уезжает. Приезжают Щелкодурова и молодая Вислякова, которая вчера не поехала с пьяным мужем, а мужа и след простыл. Опять фронт, который неизвестно чем бы и кончить, если бы автор не придумал такой вероятной штуки. Отворяется дверь, вбегает лакей Вислякова и объявляет, что барин его напился дорогой и пьяным привезен им назад домой, так как он своим побегом поступил “против закона”, чем вся комедия и кончена.

И это современная комедия, в современной нам глуши нашей родины!

Ни прекрасная игра Павла Васильева, ни усилия г-жи Линской хоть что-нибудь создать из своей роли не могли поддержать эту слабейшую из слабых и бесталаннейшую из бесталанных пьес: она пала даже без треска. По заведенному обычаю, несколько снисходительных голосов крикнули было по окончании третьего действия “автора!”, но прежде чем вышел к рампе актер, желавший объявить, что автора нет в театре, – дружное шиканье и крики “не надо” произнесли этой пьесе вполне заслуженный ею общественный приговор.

Мы как нельзя более согласны с этим приговором, но театральная дирекция с ним не согласилась, и эту вздорную пьесу уже начали повторять, и повторяют по два раза в неделю, так что в театр хоть и не ходи. Публика не приняла пьесы; но “театральный домовый” взлюбил ее и плетет в косы нигилистическую гриву ее автора.

Не будем много говорить, что это вовсе не комедия, ибо в ней нет ни одного условия, требуемого комедией. Это – водевиль, и, к сожалению, даже плохой водевиль; но все-таки, назови автор свою пьесу водевилем и представь ее как сцены странной случайности и не дай ей такого названия, а назови ее как-нибудь вроде “Женитьба Вислякова” – она бы и туда и сюда. “Свадьба Кречинского” и “Женитьба Бальзаминова”, вещи не чета этой, вышли под этими простыми названиями, а эта историйка странной женитьбы в лицах пущена с претензией характеризовать

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

местность и эпоху. Смелость большая. Но в пьесе г. Вильде, кроме совершенного бессилия автора, мы с грустью видим еще упрямую живучесть дерзости, при которой в наше время люди пускаются авторствовать, не умея отличить добро от зла и забывая изречение, гласящее: “Прежде чем станешь писать, научись же порядочно мыслить”. Сообразил ли г. актер Вильде, что его реалист Лабадин не что иное, как деловой бездельник, бессердечная дрянь, для которой все средства позволительны, лишь бы они вели ее к цели, к прибыли? Сообразил ли он, что при таком артисте и сентиментальная Софья, и ее мать, и пьяница Висляков, и моветон Застежкин становятся краше и милее, чем их хотел представить автор? Приравнивая их к Лабадину, в них все-таки находишь хоть что-нибудь человеческое, тогда как в этом предприимчивом болване человеческого только внешний образ, который он позорит своим подлым поведением. Произвести крупнейший скандал; поставить в ужасное по своему значению положение девушку, хотя и сентиментальную, и смешную, но во всяком случае вызывающую сожаления и ее несчастном воспитании, а не злодейского надругательства над ее положением и ее надеждами, – это ему ничего; ему лишь бы лес пришел в руки. И это единственное лицо, которое автор желал представить не дураком, не плутом и не ничтожеством! Жалкий автор! жалкий человек, и всего более жалкий актер! Чему же он может сочувствовать; что он может играть с любовью и с сердцем, если в его сердце мстятся вон какие образы и сочувствует он вон каким людям!.. И это в театральном мире не новость!

До этой практической в стремлении осуществлять свои предприятия герои г. Слепцова и его друга по направлению г. Холодова еще никогда не доходили, и мы должны сознаться, что нигилизм, омерзевший всем здравомыслящим людям в беллетристической литературе, явным образом стремится омерзеть им, ударившись на русскую сцену, которая, на горе общественное, терпит все, кроме истинных дарований и выступающих сколько-нибудь из ряда вон талантов. Еще прошлой зимой на нашей сцене появилось несколько мелких вещиц, водевильчиков и сцен подобного же направления, и их заметили и похвалили газетные фельетонисты.

Недаром же любимец нашей публики Павел Васильев не мог дать в прошлом году своего бенефисного спектакля в том составе, который был им сначала скомпонован и потом изменен, выпуском вон пьески, где на сцену является нигилист не в столь привлекательном виде, как у г. Вильде. Теперь это становится понятнее.

Дальнейший репертуар нынешнего месяца еще ничтожнее. Просветя зрителей представлением им умного и дельного человека в лице Лабадина, кончившего так благородно свое предприятие, дирекция перешла к “Орфею в аду”, этой обличительной оперетке, злее всего преследующей владельцев невских рысаков и колеблющей репутацию поэтических богов Олимпа, давно и без того называемых в России зауряд “болванами”. Пьеса эта, несмотря на всю свою нелепость, безобразно извращающую мифы, и особенно характер Эвридики и Орфея, очень смешна: Яблочкин и Озеров (Юпитер и Плутон) здесь заставляют хохотать до боли в подреберье; Прокофьева канканирует; публика заставляет ее повторять канкан; заставляет аркадского принца повторять куплеты; и все очень довольны. По впечатлению – эта ничтожная пьеска напоминает “Десять невест и ни одного жениха”, и в них обеих даже участвуют почти все одни и те же самые актеры. Оба эти пустых, но очень смешных фарса сделались у нас любимыми из веселых вещей, и, вероятно, повторение их в нынешнем сезоне будет бесконечное. Смех, ими возбуждаемый, разумеется, смех не гоголевский, а польдекоковский – смех не сатиры, а фарса, несмотря на то что “Орфей в аду” имеет претензию на обличительную сатиру и тоже очень нежно лещет нигилистов. Но вообще из новых, прошлогодних вещей это самая популярная: куплеты аркадского принца поют на улицах и на них же ссылаются газетные фельетонисты, обыкновенно ссылавшиеся прежде на Гоголя.

Из новых пьес афишами в непродолжительном времени обещано в первый раз: “Захолустье” С. Н. Вечеслова. Увидим, что это такое.

Лучший сюрприз обществу при открытии сезона сделал дирижер Александринского оркестра г. Кажинский. Вместо ничтожных полек да романсов с мажорным восхождением в первом куплете и минорным падением во втором, он составил для антрактов целый букет прелестных вещей. В первом антракте оркестр исполнил увертюру из оперы “Раймонд”, 2) “Das Heimweh” [94] и 3) в первый раз секстет из оперы “Czar und Zimmerman”. [95] Хоть бы уж оркестр мало-мальски послужил развитию вкуса, если сцена твердо и неуклонно решила служить безвкусию. Будет ли это, однако, так в этом роде и продолжаться, или это только было для первого раза? – это знает Кажинский.

Заключительную новость из сценического мира можем поставить распространившийся слух, что “один известный литератор” написал драму или комедию из мира литературного. В пьесе этой литератор старого покроя, идеалист, сходится с литератором нигилистом. Что-то пахнет Фаустом и Мефистофелем...

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР В ПЕТЕРБУРГЕ

Наша сценическая литература не дремлет, и если ее в чем можно упрекнуть, так в том, что она заставляет других дремать.

Белинский

Одна из ряда новых пьес “в глуши”. Ее содержание и исполнение. – Вероятность огромной письменности по сценической части и некоторые сомнения насчет направления, какое примет эта письменность. – Где ищет драматического элемента г. Боборыкин? – По словцу на ушко г. Сазонову и г-же Линской. – Самые последние театральные новости и надежды.

Бесталанною комедию г. Вильде “в глуши”, о которой мы уже говорили, открылся, вероятно, целый цикл плохих пьес, заготовленных для русского театра. Не успели люди, любящие театр, вдоволь навздыхаться и наохаться по поводу подаренной им пьесы г. Вильде, как могут уже утешаться многими другими произведениями новых сценических писателей, между которыми поистине должно считать пьесой особенно замечательною пьесу г. Вечеслова. Эта четырехактная пьеса называется “Захолустье”, а содержание ее вот в чем: в каком-то уездном городе живет довольно крупное чиновное лицо Сергей Маркыч Клецов (г. Зубров); у него есть экономка (Громова), а у экономки взрослая дочь (Лелева). Дочь эта резвушка и большой неслух; мать у нее нипочем, а Сергей Маркыч, будучи ее крестным, а может быть, и родным отцом, очень ее балует. Матери, разумеется, хочется выдать свою дочь замуж, и дочь на это согласна, а сваха, мещанка Языкова (Линская), сейчас находит и жениха, писца Огурцова (Сазонов). Огурцов нравится невесте, нравится матери, нравится благодетелю, и благодетель посылает за ним сваху: “Поди, приведи и доставь”.

– Пойду, приведу и доставлю! – отвечает ему, несколько бравируя, сваха, заставляя этими словами скучающего зрителя хоть один раз рассмеяться.

Первый акт кончен, и, надо признаться, кончен с таким определенным влиянием на зрителя, что остальных трех хоть и не давать – никто в претензии не останется; но все возмевшее начало имеет и свой конец: снова взвывается занавес, предъявляя публике актеров гг. Горбунова и Сазонова, из которых Сазонов играет Мишу Огурцова, а Горбунов – его товарища, канцеляриста Волосова. Долго о чем-то здесь говорят эти господа – и о любви, и о панталонах, и все это ужасно незанимательно. Приходит Наталья Андреевна Бакланова (г-жа Воронова), а с нею дочка ее Соня (Струйская 2-я), названная в афише невестою Огурцова. Тут и мать Огурцова выходит, и все они перед вами сидят да говорят, а вы сидите да слушаете их, и скучно вам до нестерпимости; но на выручку приходит сваха. Мать Огурцова сейчас уходит с нею в другую комнату, а Бакланова, рассердясь на то, что ее оставили, говорит дочери “а ля мезон”, [96] и уходит, а за ними уходит и канцелярист Волосов. Тут сваха и старуха Огурцова являются и объявляют Мише его счастье: он избранник, на котором остановлено внимание Клецова и его воспитанницы, и он теперь же должен идти к ним. Огурцов по этому случаю скачет козлом... Этим балетом кончается второй акт.

В третьем акте происходит представление Миши Огурцова его новой невесте и Клецову. Жених с невестою поцеловались, все выпили по бокалу воды, и третий акт кончен. В промежутках шли разговоры да старейшие анекдоты цитировались, и все это прескучно и пресбесвязно.

В последнем акте Огурцов приходит домой пьяным: он зашел по дороге в трактир с секретарем, напился, и теперь ему черт не брат. Под руку ему подвертывается товарищ его, Волосов, пришедший его поздравить с неожиданным счастьем; он на него кричит; а тут являются мать и дочь Баклановы – он и их распекает, в чем, впрочем, еще более отличается его мать. Добрую четверть часа со сцены только и слышите перебиваемое в два женские голоса: “я вас презираю”, “а я вас презираю”, и наконец мать Огурцова выговаривает Баклановой такое слово: “а ваша дочь целый век в девках просидит”. Бакланова вспыхивает, обращается к стоящему здесь же уродцу-канцеляристу Волосову, называет его как-то по имени и предлагает жениться на ее дочери, оставшей невесте счастливого Огурцова. Волосов, разумеется, согласен и просит у предлагаемой ему невесты позволение влюбиться в нее. Девушка

одно мгновение затрудняется тем, что она была влюблена в брюнета, а теперь должна влюбиться в блондина (волосов в белокуром парике), но тем не менее она согласна выйти за Волосова, и пьеса кончена при объявлении со сцены, что “это необразование, что это захолустье”.

Пьеса упала самым выразительным образом: ей шипели, шикали и даже слегка свистали; но тем не менее в репертуаре она назначена к повторениям и повторилась.

Вот и извольте удивляться, что люди толкуются у г-жи Гебгард да у Марцинкевича! Положительно незачем стало ходить на русские спектакли в Петербурге, и Белинский жестоко ошибся, утешаясь упадком сцены и репертуара в его время. Он применял к театру макиавеллевское правило: “чем хуже, тем лучше”, и надеялся, что продолжение тогдашнего плохого репертуара и плохого ансамбля в персонаже невозможно, что публика даст почувствовать нестерпимость такого положения. Но с тех пор, как Белинский выражал эти надежды, прошли годы; репертуар становился все хуже и хуже; ни одна из написанных хороших пьес, за исключением пьес Островского, на сцену не попадала; ансамбль персонажа расстроился и обеднял уж до последней степени, а между тем и теперь еще даже начала конца этому положению театров в Петербурге не видно..

Но возвратимся еще на минутку к помянутому нами “Захолустью”, чтобы по поводу его сказать еще два, надеемся, совершенно верные предположения.

Полюбовавшись пьесой г. Вильде, мы назвали ее самую плохую из пьес, которые мы когда-либо видали. То же самое, помнится, говорилось когда-то о пьесах гг. Дьяченко, Владыкина и Устрялова, у которого в одной даже есть лицо, сильно напоминающее вильдевского Лабадина: этот все лес покупает, а тот целую пьесу варил мыло и кончил тем, что не сварил, ибо, по пословице, мыло не со всяким сваришь. Пьеса г. Вильде, написанная после всех известных доселе пьес гг. Дьяченко, Владыкина и Устрялова, показывает, что, говоря о новом русском репертуаре, никогда не должно употреблять крайних выражений и говорить, что это вот пьеса “бездарнейшая”, ибо смелость авторов наверно может дать обществу вещь еще худшую и заставить взять сделанное определение назад. На этом пути авторы непревосходимы, и пьеса С. Н. Вечеслова новое и блестящее тому доказательство. Что бы вы вперед ни увидели на русском петербургском театре бездарного, знайте, что в запасе для вас есть еще бездарнейшее, и вы никогда в этом не ошибетесь. Замечательно, что обе эти пьесы и кончаются-то совершенно одинаково, и язвительность у них одна и та же: “Вот мол они каковы, барышни-то! Им что ни поп, то батько, лишь бы замуж выйти”.

Второе предположение также вызывается пьесой г. Вечеслова. В ней, как всякому, вероятно, очевидно, нет никакого такого содержания, чтоб его можно было представить и чтоб оно могло иметь интерес. Так себе, посватался писец за одну, а на другой женится, и ничего более. Это может быть везде: “в Глуши”, “в Захолустье”, в Петербурге на Песках, в Галерной гавани, в Москве на Самотеке – словом, везде, где есть писцы и приготовленные им в невесты барышни. Интересы такие события не имеют ни для кого, и, несмотря на то, все-таки их описывают в лицах и представляют. Серьезным довольно вопросом становится только одно: чего же после этого нельзя взять сюжетом для представления на Александринском театре? – Вероятно все, что вы хотите. В продаже на столиках есть теперь ничтожная книжонка, озаглавленная так: “Выгодная женитьба из жизни гражданских писцов”. Она написана в лицах, и в ней действия даже более, чем в “Захолустье”, – и она, стало быть, может быть сыграна, а если в исполнении ее будут участвовать один, два из наиболее талантливых и любимых публикою актеров, то может статься, что их будут и вызывать; а если пустить в эту пьесу хороших актрис, то их непременно вызовут “за красоту”, за то самое, за что некоторые из учителей ставят хорошие баллы некоторым хорошеньким пансионеркам, стоящим по справедливости нулей, а получающим pour ses beaux yeux [97] четверки и пятерки. Все может быть представлено, что напишется, – кроме “Бориса Годунова” и т. п. вещей, достойных представления. А что пишется для театра? Не думайте, что письменность по этой части ограничивается тем, что вы слышите и видите: нет, она еще очень далеко простирается за эти пределы и достигает чудовищной пустоты или чудовищного безобразия. Человек, пишущий эти строки, по обязанности своей, как сотрудник журнала, читал как-то одну рукопись, которой, вероятно, кроме его и ее автора, никто более не читал и вряд ли будет когда-либо читать. Рукопись эта была театральная пьеса, комедия. Что же в ней изображалось? (Так как пьеса эта назначалась для печати, то содержание ее не секрет, и потом, если кто пожелает

воспользоваться ее сюжетом и предвосхитить у автора его мысль, то я за это ответственю.) Изображалось вот что: поехал человек (отставной майор) с своею матерью (генеральшею) на Николин день в Колпино помолиться Богу; отстоял он, как видно из его слов, обедню, отстоял и молебен; пошли они потом вдвоем по ярмарке; стал накрапывать дождь; на ярмарке разные люди есть: тут и кружевница (роль, назначенная Линской), и саечник (Горбунову), и фокусник (Яблочкину), и ротозей (Озерову), и всякой всячины человеческой. Майор с матушкой мимо всего этого проходят, благородно, никого не трогают, и их никто не беспокоит. Заходят они потом, чтобы укрыться от дождя, в один дом, где домохозяин оказывается старым знакомым генеральши: он был провиантским поставщиком и нажился, ведя дела вместе с ее мужем, то есть, будучи оба своему отечеству патриотами, вместе обворовывали его армию и флоты. Теперь этот купец живет на покое; умен он, как Гостомысл, добр, как Тит милосердный, борода у него прозелень, очи светлые. Такие же очи и у дочери его, Груши. Это прекрасное семейство хлебосольнейшим образом принимает майора и генеральшу; майор не сводит глаз с девушки и... вы вот так и думаете, что он сделает ей предложение или хоть, по крайности, объяснится в страсти? – Ничуть не бывало! Он посидел и прощается, но на платформе дарит ей бирюзовое колечко и говорит, что, “уважая ее отца, он советует ей рубить дерево по себе”. Тут засвистит свисток, поезд от платформы поедет в Петербург, унося с собою майора и генеральшу, а купец с дочерью пойдут домой, и тем вся комедия кончится.

Произведений этой письменности – мы не решаемся называть все это литературу – в настоящее время нужно ожидать очень много. Все ли они будут отмечены одинаково печатью бездарности, или будет в их ряду что-нибудь позамысловатее и позаметнее – предсказать трудно, но что их в течение нынешнего сезона будет очень много, может быть гораздо более, чем за несколько прошедших лет, – на это уже есть указания.

На быстрое увеличение числа произведений сценической письменности имеет прямое и непосредственное влияние нынешнее положение русской журналистики. Прекращение двух больших журналов нигилистического направления оставило свободными многих сотрудников этих изданий. Люди эти, вследствие особенностей своего образа мыслей и, может быть, даже вследствие исключительности своих дарований, не могли примкнуть ни к одному из продолжающихся изданий, и, конечно, ни одно из этих изданий не могло и принять их. Оставаясь таким образом или совсем без дела, или хоть и при делах, да при таких ненадежных, что и делами назвать их не стоит, начали писать для императорских театров и пишут, конечно, немало. Слух ходит, что известный своею плодovitостью драматург г. Петр Боборыкин сочинил пьесу из богатого, по его мнению, драматическим содержанием мира литературного и что что-то такое сценическое готовят некоторые из писателей-нигилистов; один из них уж и написал комедию, которая, говорят, скоро будет дана в бенефис одного из любимейших наших актеров. Актер этот, не далее как год тому назад, нигилизму не сочувствовал и провозил на свой бенефис пьесу, имевшую прямое намерение не поощрять этого полезного учения. Увидим, кто-то переменялся: актер или писатель. Известно, что писатель этот принадлежал к школе литераторов, смело посылавших героев своих повестей делать “предприятия”, и потому прямее бы всего ожидать, что и в сценическом произведении его все разыграется около поездки на “предприятие”; но также может случиться, что этого и не будет, ибо недавно один из литературных людей этого прекрасного направления публично на гласном суде перед всей публикой и присяжными объявил, что после события 4-го апреля у них изменился взгляд на дела и переменялись отношения к “молодому поколению”, а потому, стало быть, и нельзя с достоверностью предположить, около чего теперь будут они кружиться – около “предприятий” или около своих старых “шантей”. Наверно можно сказать только одно, что у них без забубенных слов не обойдется, и райку будет повод похлопать.

Об игре наших актеров говорить много нечего: она такая же, как и всегда; только г. Сазонов уж очень надоедает своим прыганьем и своими кавалерийскими стремлениями сесть верхом на человека. Ему бы съездить в Москву да посмотреть, что успел из себя сделать его товарищ и сверстник г. Рассказов – может быть, тогда г. Сазонов немножко постыдился бы и понял, что комизм состоит не в прыганьи и не в ржаньи “мышиним жеребчиком”. Г-же Линской позволим заметить, что она напрасно утрудила себя саком, с которым явилась в роли захолустьевской мещанки Языковой: мещанки в захолустье никаких саков с собою не носят. Это обычай чисто петербургский, и почтенная артистка напрасно этого не сообразила.

На сцене идут еще две новые оригинальные пьесы и две переводные. Первые называются “Любишь кататься, люби и саночки возить” г. Степанова и “Без правды

люди не живут, а только маются” г. Штукина. Переводные же: “Смерть Кромвеля” г. Раупаха и “Мужья инвалиды” (Les invalides du mariage); в обеих этих пьесах играет г. Самойлов, и замечательно, что за одну из них, именно за “Смерть Кромвеля”, его попробовали “продернуть”, к чему почтенный артист, конечно, не привык и на что, тоже вероятно, не обратил внимания. Достоин также замечания появление на русской сцене нового дебютанта, г. Зубова, человека с дарованием и несомненно полезного для здешней сцены.

В Москве всё идут с переводным классическим репертуаром, и идут хорошо и смело. Ждут, что и для нас наконец проиграют что-нибудь из классического репертуара, кроме двух, и то редко повторяемых классических пьес Шекспира. Радостные надежды! и они осуществимы. В самом деле, не говоря о г. Самойлове, актере хороших способностей, ведь все-таки есть же люди, способные понимать роли, например, хоть бы ветеран русской сцены И. И. Сосницкий, Каратыгин, Григорьев, добросовестнейший исполнитель всех своих ролей г. Зубров, Павел Васильев, Яблочкин, Озеров.

Утверждают, что со сцены русской навсегда сходит госпожа Брошель, но зато восходит на сцену помещенная в “Отечественных записках” драма гр. Толстого “Смерть Иоанна Грозного”. Препятствия, которые при рассуждениях о постановке этой пьесы выростали как грибы, вдруг найдены устранимыми, и она будет играна.

Будем ждать. Авось не одним москвичам, а и нам грешным доведется написать вам, читатель, про что-нибудь более интересное, чем про “Глушь” да про “Захолустье”...

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР В ПЕТЕРБУРГЕ “ГРАЖДАНСКИЙ БРАК”

После довольно длинного ряда театральных пьес, утомлявших нас своею пустотою и бессодержательностью, мы наконец были зрителями драматического представления, которое уже невозможно упрекнуть в бедности сюжета. 25-го ноября на сцене Александринского театра, в бенефис почтенного артиста русской труппы г. Зуброва, сыграна в первый раз комедия Н. И. Чернявского “Гражданский брак”.

Пьеса эта возбуждала много толков, споров и противоречий в кружках театральном и литературном; во всем же остальном грамотном мире русском о ней, вероятно, из газет и журналов известно только, что она “встречала препятствия по цензурным условиям”, а потому можно предполагать, что в обществе, где нет никогда недостатка в стремлении вкусить запрещенного, должно быть очень много лиц, желающих знать: что такое заключается в этом “Гражданском браке”, выходявшем такую многотрудную стезею на русскую сцену.

В целях удовлетворения этого любопытства мы постараемся рассказать содержание “Гражданского брака” с некоторой полнотою.

“В деревне, в одной из приволжских губерний”, живет помещик. Павел Николаевич Стахеев (роль которого играл г. Григорьев 1-й), вдовец, с дочерью своею Любочкою, или Любовью Павловною (г-жа Струйская 1-я). Мы видим их в первый раз утром, за чайным столом, выставленным на довольно просторную террасу, с которой открывается очень недурной вид. Стахеев говорит с дочерью о заехавшем в их края “молодом чиновнике из Петербурга” Валериане Петровиче Новосельском (г. Нильский), которого домашний учитель Стахеевых, “студент из семинаристов”, Кузьма Иванович Новоникольский (г. Самойлов), повел на охоту и, вероятно, порядком промучит, таская его по болотам.

– Ну, да ничего, – говорит старик Стахеев, находя, что такой променад вовсе не лишнее дело для петербургского нехожи, Новосельского.

Стахееву мало и заботы о Новосельском: это он говорит так, чтобы о чем-нибудь говорить, сойдясь за чайным столом с дочерью. Ему ровно нет никакого дела лично до Новосельского, но ему близка дочь его, Люба.

Стахеев сам о себе изъясняет, что он человек прямой, простой, воин, рубака, чтущий память своей покойной жены и нынче более всего любящий свою дочь, Любу; а Люба, по его наблюдениям, с некоторого времени что-то переменялась, закручинилась, не собирает ему грибков и вообще тревожит его отцовское сердце.

– Ну, любишь ли ты Валерьяна Петровича? – спрашивает, между прочим, Стахеев дочь свою, едва решаясь выговорить ей эту фразу.

– Люблю, – отвечает ему смело и решительно девушка.

Отец и смущен, и тронут этою откровенностью, и, мешаясь в словах, пускается в рассуждение с дочерью: что такая за птица этот Валерьян Петрович Новосельский?

– Бог его знает! может быть, он нехороший, недобрый, неблагородный человек? – соображает старик.

– О, самый благородный, каких только свет создавал, – успокаивает его дочь.

Старик верит этому, но опять размышляет, что ведь не ровня им, не чета и не пара этот Новосельский.

– Да и за что он полюбил тебя? – говорит он дочери. – Ну, впрочем, конечно, он, может быть, понял, что ты будешь хорошая мать, хозяйка, что с тобою можно будет жить легко, счастливо, спокойно.

– О, нет, – возражает Люба, – он совсем не такого мнения о женщине. Он говорит, что призвание женщины заключается не в том, чтобы быть хозяйкой, что женщине открыта широкая дорога, что она должна быть общественною деятельницею.

– Ну, уж этого, – отвечает Стахеев, – я и не понимаю. Мудрены, мудрены, – заключает он, – становятся в наш век молодые люди! – А Люба все напевает ему, как мил их заезжий гость и как благороден; старик этому и начинает верить; но одно, говорит, худо: не думает ли он, что мы богаты, что у нас денег много?

– О, нет, папа! – отвечает дочь. – Валерьян Петрович не придает деньгам никакой цены: он говорит, что голова и руки человека – вот богатство; труд – вот обеспечение.

В это время неподалеку в стороне раздается выстрел, потом другой.

– Это наши охотники возвращаются – ружья разряжают, – говорит Стахеев и советует дочери велеть подогреть самовар.

Вскоре входят на террасу студент из семинаристов, Кузьма Иванович Новоникольский, и петербургский гость, Валерьян Петрович Новосельский.

Студент Новоникольский (г. Самойлов), в огромных охотничьих сапожищах, в полотняной увриерской блузе, со множеством карманов, подпоясан кожаным поясом и с ружьем на плече. Новосельский же – обыкновенным “душенькой-штатским”, каким актер, представляющий это лицо, является почти во всех своих ролях.

Понимая умом и постигая предчувствием, что один из этих двух лиц или даже, пожалуй, и оба они суть женихи, готовые внити с девою во брак гражданский, вы смотрите на них во все глаза, ловите тон их голоса, манеру разговора; замечаете каждую мелочь в их костюме и стараетесь узнать в них известный ассортимент ныне благополучно проживающих здесь и в провинциях гражданских женихов.

Пока Новоникольский молчит, вы ищете коренных статей петербургского гражданина в Новосельском; но это, однако, совсем не то, что вы имели надежду встретить, – это просто “душенька-штатский”. Ему для первого шага на сцене ни автор, ни актер не дали ничего характерного, и на него смотреть решительно нечего: ясное дело, что такому селезню не сманить с собою на гражданский брак ни долгохвостой павы, ни серой утицы-касатицы. Конечно, тут заранее говорилось, что Люба его любит; но в том-то и дело, что, как говорят, и на Любу разлюба бывает; да вообще, как знать, что тут произойдет и воспоследует, а только вы видите, что перед вами человек – швах.

Студент из семинаристов, Кузьма Иванович Новоникольский, – совсем другая история. Это Буй-тур, и гривка у него рыжеватая турья, и походка твердая – словно раздвоенным копытом ступает в торфяной грунт Беловежской Пущи. Поставив на крыльце ружье, он прямо садится к столу и тотчас ест, выпивает рюмку вина, опять ест и, вслушиваясь в рассказ Новосельского о каких-то неудачах в охоте, говорит:

– Это очень просто, потому что вы стрелять не умеете.

Сказано это внушительно: коротко, ясно, бесцеремонно.

Тон этот, как видно, натуральный или по крайней мере тон, давно усвоенный себе Новоникольским и далеко не нравящийся заезжему питерцу Новосельскому. Но Новоникольский не обращает никакого внимания на то, как кто принимает его слова. Когда он и Люба уходят, Стахеев, оставшись вдвоем с гостем, старается познакомить его поближе с личностью студента.

– Нужно знать его историю, – говорит он Новосельскому – Вы ведь ее знаете?

– Нет; я не знаком с его биографией, – отвечает Новосельский.

Стахеев спешит восполнить этот пробел в знаниях Новосельского и довольно неловко для условий сцены рассказывает ему всю биографию своего фаворита.

Из этой биографии мы узнаем, что Новоникольский шел тем самым тернистым путем, каким обыкновенно ходят все замечательные люди нашего времени, сочиненные беллетристами двух прекращенных русских журналов. Он сын отставного дьячка; учился в семинарии, где его беспрестанно “драли” без милосердия как Сидорову козу; наскучив такой “березовой школой”, он покинул семинарию и задумал поступить в университет. Но тут-то и стояли ковыка и ерок, которые надо было во что бы то ни стало перешагнуть. Новоникольский их и перешагивает: он знакомится с гимназистами, берет у них по знакомству книги и учится, а для хлеба насущного отыскивает себе какие-то занятия в каком-то суде, и проч., и проч. Наконец, Новоникольский стал на ноги, сделался медицинским студентом, кончает в нынешнем году курс и живет уроками. Средства его уже поправились до такой степени, что он недавно даже сорок рублей послал домой на покупку коровы и при этом сказал Стахееву, что это он “оброк посылает”.

– Прекрасный человек! – говорит в заключение биографии Стахеев, отнимая некоторым образом у зрителя право составлять собственное мнение о прекрасности Новоникольского и навязывая эту свою рекомендацию лицу, представляющему в пьесе известный тип людей нашего времени.

– Все мы его любим, – говорит Стахеев, – все, а одна наша соседка, этакая эмансипированная женщина, которая курит, пьет, как гусар, верхом на лошади по-мужски ездит и стрижет в кружок волосы, даже вздумала за ним ухаживать...

– Скажите, пожалуйста! – перебивает Новосельский.

– Да-с, – говорит Стахеев, – это презабавная история, как он от нее отбивается; все мы хохочем, и даже Люба, уж на что кажется несмешлива, и она смеется.

– Все мы его очень любим, – продолжает Стахеев, – кроме одной Любы.

– А Любовь Павловна не очень к нему расположена?

– Все спорят они с нею.

– Это, однако, странно, жить вместе с Любовью Павловной и не оценить ее, – начинает Новосельский панегирик Любе и кончает его словами: да; счастлив будет тот, кто назовет Любовь Павловну своею подругою.

Эти слова так и прожигают старика Стахеева: он срывается с места, берет в обе свои руки руку Новосельского и благодарит его за то, что он оценил скромные достоинства Любы, – благодарит так, как будто тот уже сделал прямое предложение.

Новосельский принимает эту отцовскую благодарность ничтоже сумняся и еще раз похваливает Любу. Отец совсем умиляется духом и расточает обильные похвалы уму и сердцу дочери.

Между всеми этими похвалами в памяти нашей удержалась только одна, что все крестьяне видят в Любе свою защитницу и, если идут о чем просить Стахеева, то прежде всего отправляются с этою просьбою к Любе.

– Пойдем, – говорят, – ребята, прежде всего к барышне – она все это дело оборудует.

При этих словах на крыльчке опять показывается Люба и, воскликнув: “Вот и я отделалась!”, объясняет отцу, что его там ждут мужики – пришли просить, о чем-то насчет лугов.

Ходатайства за мужиков со стороны Любы при этом никакого не обнаруживается, и из собственных ее слов и тона, которым она эти слова произносит, видно, что она даже вовсе и не понимает, в чем именно будет состоять мужичья просьба “насчет лугов”, а так передает ее себе просто, потому что мужики пришли и ждут.

– Да выйди, папá! – вот все, что ею сказано в интересах этой просьбы.

– Знаю я, что это за народ, – отвечает Стахеев, – опять пойдут конючить. Что я им дам? – я и так уж все роздал им... Ну, да уж так и быть, пойду, – заключает он, махнув рукой.

Уходя, Стахеев останавливается у крыльца и просит у Новосельского извинения, что оставляет его одного с дочерью.

– О, сделайте милость, – говорит Новосельский, – что за церемонии!

– Я, – говорит Стахеев, – сосну немножко перед обедом.

– До обеда еще два часа; иди спи, папá, – говорит Люба.

Стахеев уходит спать и засыпает для зрителя навеки: во время его сна ему, как Гамлету-отцу, вливают в ухо яд, от которого стынет кровь в жилах, и должность ветреной Гертруды на этот раз исполняет кроткая Люба.

Она не только не успевает износить башмаков на пути добродетели до широких дверей порока, но ей двух часов довольно за глаза, чтобы заставить небо покраснеть за свое благоразумие и за свою скромность.

Не успел добродетельный старец заснуть, как дочь, столь нежно его любившая, лелеявшая и кормившая его грибами собственного сбора, кидает его без всякого сострадания и бежит с “душенькой-штатским”. Все это совершается до истечения двух часов, разделявших в доме Стахеевых время от завтрака до обеда. Быстрота событий невероятная! В эти два часа не только Новосельский, присев с Любою на тростниковый диванчик, успел все перевернуть вверх дном в голове этой, как она называется в пьесе, “русской женщины” и склонить ее на “гражданский брак”; но в эти же два часа совершилось еще другое, более замечательное событие, предупредительно предсказывающее вам, чем вся эта история разыграется в пятом акте.

Новосельский начинает свой дебют с Любою с того, что говорит: “Я вот сейчас испытаю твою любовь: увижу, как ты меня любишь!”

Та радехонька.

– Испытайте, – отвечает она, шутя, – испытайте. Вот страсти какие! Я думала уж Бог знает что.

Однако это именно и выходит Бог знает что. Новосельский болтает что-то вскользь о своей любви и склоняет Любу бежать, долго не собираясь – тотчас же.

Девушка в недоумении: зачем же бежать, когда она знает, что отец ее согласен на брак ее с Новосельским и бежать ровно не от кого?

– А! – говорит Новосельский. – Он согласен; но ведь он какой брак понимает? Церковный, мол; а я такого брака не могу принять; это противно моим убеждениям: я принимаю брак только гражданский.

Взволнованная девушка возражает довольно слабо и бесхарактерно, но все-таки возражает, и наконец говорит: “Да женись на мне, Валерий! Отчего же тебе на мне не жениться?”

А очень просто “отчего?": оттого, что “это не в моих убеждениях”.

– Да я и тебя не хочу связывать, – говорит Новосельский, – теперь мы любим друг

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

друга, и это прекрасно; но ты можешь встретить другого человека, достойнее меня, которого больше меня полюбишь, так я тогда по крайней мере не лягу тебе бревном поперек дороги; я отойду в сторону.

Девушка оскорблена и испугана одним этим предположением “полюбить другого человека”, и это выходит весьма художественная сценка.

– Как ты это говоришь!.. зачем я люблю другого?

Но Новосельский резонирует-резонирует, угрожает уехать один и, прощаясь, отходит. Люба возвращает его, плачет об отце и вдруг решается – объявляет, что она согласна бежать с Новосельским и “быть его любовницей”.

С этим Люба удаляется, собирается к побегу, а Новосельский присел отдохнуть.

Входит студент Новоникольский, в той же полотняной увриерской блузе и огромных сапожищах; становится, страшно растопырив ноги, и оттого невольно напоминает своей фигурой двухвостую белую редиску с запачканными в земле хвостиками.

Начинается сцена, где резонерствовать достается Новоникольскому, но только уже в противную сторону, то есть против гражданских браков. Оказывается, что Новоникольский тоже любил Стахееву и, разумеется, гораздо серьезнее, чем его соперник, который принужден выслушать от него, что у нас гражданского брака нет; что в силу этого женщина, живущая с человеком неповенчанная, подвергается многим тяжелым стеснениям; что общество клеймит ее союз оскорбительным словом; что незаконные дети, являющиеся последствием этого союза, тоже терпят обиды с самого раннего детства; что, по всему этому, человек, имеющий возможность освятить свой союз с любимой женщиной признанием этого союза обществом и церковью, обязан сделать это для ее спокойствия, или иначе он ее не любит и он нечестный человек. Прямое объяснение это доходит до того, что Новосельский вскипает гневом и произносит слово “дуэль”.

– Дуэль? Нет, что дуэль, – отвечает ему равнодушно Новоникольский, – я этих ваших дуэлей не понимаю; я вам мешать не стану; а вот, – добавляет он, одушевляясь гневом и засучивая рукава блузы, – а вот, если она будет несчастлива, то я вот этими руками задушу вас. Руки у меня здоровые...

Проговорив это, Новоникольский быстро оборачивается и уходит; а на сцену является Люба со своею горничною. Люба покрыта косыночкой; у горничной в руке узел: Люба прощается с девушкой, поручая ей беречь покидаемого отца; Новосельский кричит: “Скорее, Люба! скорее!” Они убегают, и занавес падает.

Второе действие пьесы переносит нас в Петербург. На сцене молодой лакей Алешка (г. Горбунов) сидит, важно развалившись на диване, и курит господскую сигару.

Входит старый лакей Демьян (Васильев 2-й), и между двумя лакеями начинается весьма игровая сцена.

Лакей Алешка – нигилист: он не признает никаких преданий; скромность считает невежеством и ждет счастливой поры, когда лакеи будут сидеть за столом, а господа, перекинув через локоть салфетку, будут им прислуживать.

– Да уж, это и было, – говорит Алешка.

– Где ж это было?

– Во Франции было.

– А что такое Франция?

– Город такой.

Демьян приведен такими речами в крайнее смущение и, растерявшись, говорит:

– А я вот, как барин выйдет, все-таки скажу, что ты барские сигары сосешь; вот мелочь на столе лежала – вот и мелочи нет, и это скажу.

– Ну, так что ж? – отвечает нигилист. – Вы про это скажете, а я скажу, как вы

Любовь Павловну называете.

Демьян же называет Любовь Павловну метреской и сокрушается, что она не прописана, что все полтинничками пока отделялась, а нынче “старший дворник сказал”...

Отворяется дверь, и входит Новосельский в давно знакомом Петербургу малиновом халатике господина Нильского, и рядом с ним его гражданская жена, Люба.

Лани вспугнутой быстрее вскакивает нигилист Алешка, прячет сигару и объявляет, что он здесь пыль стирал. Алешка уходит, но Демьян остается, с тем, вероятно, чтобы передать то неотразимое, что “старший дворник сказал”; но это у него не сходит с языка, и он в два приема лепечет все о том, что Алешка барские сигары сосет...

Новосельский прогоняет старика вон и говорит, что он глуп, как осиновый пень; а Люба объявляет, что он, напротив, ей очень нравится.

Молодые люди остаются tête-à-tête[98] на козетке, и грациозная Люба, лаская Новосельского, напоминает ему, что пора бы им перестать все целоваться, а надо бы ей уж трудиться.

– Где же этот труд, который ты обещал мне?

Новосельский затрудняется ответом, предлагает ей выписать еще более журналов, поступить в члены филантропического общества и помогать бедным.

– А где же денег взять? – говорит Люба.

– А денег я тебе дам.

– Опять ты же дашь, а не я заработаю!

Любу трогают уже и другие вопросы: она, желая утешить отца, написала ему, что Новосельский обвенчался с нею. Люба просит у своего друга извинения в этой лжи и читает ему письмо Новоникольского. Новоникольский извещает Любу, что отец ее нездоров от легкой простуды и доверил ему отвечать за себя. В письме нет ни гнева, ни упрёка; но только Новоникольский от себя выражает в конце некоторое удивление, как они могли обвенчаться, когда у Любы нет с собою никаких ее бумаг.

Люба и понятия не имеет, на что в жизни какие-нибудь бумаги. Это тешит Новосельского, и он хохочет, а в комнату является старик Демьян и докладывает, что приехал дядя Валерьяна, Владимир Новосельский.

– А! “Американский дядюшка!” – восклицает молодой человек и, выпроваживая Любу, встречает дядю (г. Зуброва).

Дядя этот резонер. Он, говорит, приехав в Россию, чувствует себя в сумасшедшем доме и исчисляет все или, по крайней мере, весьма многие сумасшествия наших молодых и немолодых людей; указывает безумия, давно уже указанные разновременно журналами и газетами, смеется сам и смешит племянника. Племянник так развеселился, что тут же объявляет дяде, что он женат.

– На ком?.. Сколько душ... то бишь, сколько десятин у твоей жены? – спрашивает дядя.

– Нисколько, никаких десятин я не взял за нею, – отвечает Новосельский, – я женат “гражданским браком”, – и рассказывает, что у него за брак.

– Ах ты шут этакой! – восклицает дядя. – Что же ты так и не скажешь, что ты взял себе содержанку!

Новосельский представляет плохие доводы против сравнения его “гражданской жены” с “содержанкою” и дает своему дяде еще более средств потешаться. Американец хочет доказать своему племяннику разницу между женою и любовницею следующим весьма странным способом: он призывает перед себя племянникова лакея, старика Демьяна, и расспрашивает у него, от кого у него дети: от жены или от любовницы?

Тот говорит: “От жены”.

– А почему же не от любовницы?

Старик докладывает, что какая же жизнь с любовницей! что любовница обманет, обворует, уйдет и т. п.

Дядя дает старику за это поучение пять рублей от себя да десять за племянника и отпускает его в лакейскую.

Племянника это обижает, но дядя внушает ему, что обижаться здесь нечем, что из слов Демьяна он должен видеть, как смотрит на это дело народ, и понимать, что не следует идти против мнений всего общества, что хотя в обществе, несомненно, и есть неуловимый тайный разврат, но что общество имеет основания предпочитать тайный разврат открытому.

Является баронесса Дах-Реден, “эмансипированная женщина” – сказано в афише, и, по нашему мнению, остроумно сказано. Она одета по моде, в наколке, с длинным хвостом; шляется по мужским квартирам; болтает о “свободе чувств” и беспрестанно повторяет слово “рутина”. Поначалу она будто одной и той же школы с Новосельским; однако при столкновении их оказывается между ними большая разница. Свободу чувств они исповедуют оба, но о труде различных мнений. Болтушка Новосельский все-таки твердит, что женщине надо трудиться, а Дах-Реден говорит, что и это рутинно, что нужна одна “свобода чувств”.

Дядя так и заливается, видя, как “своя своих не познаша”, и, садясь в стороне у камина, объявляет, что он пускается в литературу: пишет комедию “Гражданский брак” и рассказывает содержание этой комедии. Рассказываются только два действия, в которых упоминается давно исчезнувшая петербургская коммуна; второе действие уже касается сцен возмутительнейшего холодного разврата, а остальных дядя и не рассказывает, потому что их к представлению не допустят.

Молодому Новосельскому подают привезенный курьером пакет; после чего он извиняется, что должен уехать. Дах-Реден вызывается довезти его в своей карете, но старший Новосельский ее удерживает на минуту и, оставаясь с ней вдвоем, предлагает ей вступить с ним в заговор, чтобы совокупными силами разорвать связь, губящую его племянника. Дах-Реден об этом сначала не хочет и слышать, но, когда дядя героя говорит ей, что он купил ее векселек и что он может представить его ко взысканию или закурить им сигару, та соглашается, и лига против пары гражданских супругов заключена.

В начале третьего действия, в той же самой гостиной, Люба и дядя молодого Новосельского сидят и ведут разговор. В момент поднятия занавеса тон разговора и его содержание показывают, что Люба уже достаточно познакомилась с американцем и американец имеет на нее некоторое влияние. Он, что называется, раскрывает ей глаза: представляет ей племянника таким ничтожным фразером, каков он на самом деле, и говорит ей в заключение жестокое слово: говорит, что она должна расстаться с Валерьяном.

Как это Любе ни тяжело и ни больно, она выслушивает дядю и сознается, что уже и сама давно видит, что все это что-то не то, что ожидалось.

Докладывают о госте, о товарище молодого Новосельского, Импольском (г. Степанов). Люба тотчас уходит, а американец принимает молодого, пустого человека, красивого и круглого невежду, который читает только газеты, и то если газета сама ему под нос в кондитерской подлезет, да и то читает объявления об устрицах, о револьверах. Все, что его интересует и за чем он следит, это камелии с необыкновенными глазами да верховые кобылы, которым он дает клички в честь своих кузин. Невежество его простирается так далеко, что, когда американец на смех ему сочиняет самую невероятную политическую комбинацию, он и ей не только верит, но даже бежит рассказывать ее по городу и сам собирается снова идти в гусары, чтобы послужить своим мясом выдуманному интересам России.

Американец, однако, не пускает его дурачиться на людях; раскрывает ему, что все это шутка, что никакая опасность России не угрожает; а Импольский, как бы в благодарность за это, вспоминает и рассказывает, что молодого Новосельского какой-то N или Z хочет вызвать на дуэль за то, что он познакомил его кузину с Любою, назвав ее своею женою.

Это то, что именно и предсказывал племяннику американец.

Импольский отворяет дверь в комнату спящего Валерьяна, орет во всю глотку что-то вроде “стройся! справа по одному!” и уезжает.

Выходит Валерьян, совершенно одетый, и дядя сообщает ему, что его ждет дуэль. Это, разумеется, мелкого человека ужасно тревожит, а дядя с ним начинает прощаться.

– Куда же вы? – удерживает он американца.

– Я поеду доигрывать партию в шахматы, – отвечает дядя и с значительными ударениями на словах досказывает, что он играет против одного молодого игрока, вместе с какою-то приметною особою, и уж далеко прошел партию.

– Как ты думаешь, выиграю ли?

– Кто вас знает: вероятно, выиграете! – отвечает расстроенный племянник.

Дядя уходит; входит слуга Демьян и робко начинает, что старший дворник решительно говорит: что ж вы свою мадам не прописываете?

– Как? Что такое? – вскрикивает гневно барин.

– Старший дворник говорит, что ж вы свою мамзель не прописываете? – повторяет Демьян.

Барин вскипает и отмечает старого слугу звонкой оплеухой.

Пока старик, ошеломленный таким окончанием своего доклада, бурчит себе под нос жалобы и сетования, нигилист Алешка является с докладом другого сорта: дамочка пришла к барину, как он прикажет ее проводить?

– Через столовую, – отвечает барин.

Является баронесса Дах-Реден в том же самом длиннохвостом платье, кокетничает с Новосельским, упрекает его, что он живет с своею пастушкой, что это “рутина”, и на его признания в любви отвечает, что она никогда не увенчает его любви желаемым счастьем, если с ним будет оставаться Люба.

Новосельский согласен и выжить Любу, но только со временем.

– Нет, теперь, – говорит Дах-Реден.

– Как теперь?

– Так, сейчас, при мне, сию минуту, чтоб я все видела. Я буду здесь за дверью, и все это сейчас при мне должно кончиться.

Дах-Реден уходит в его спальню и становится за дверью, а он кличет Алешку.

– Где Любовь Павловна?

– Там-с, в своих комнатах.

– Что она делает?

– Не знаю-с; кажется, щенят мыли.

– Позови ее ко мне.

Нигилист уходит.

Дах-Реден высовывается из-за двери и дает Новосельскому наставление не обращать внимания на слезы; что она сама женщина и знает, что слезы ничего не значат.

Приходит Люба, в белом фартуке, как купала щенят.

Новосельский объявляет ей, что он ее больше не любит, что он любит другую женщину и что им теперь время расстаться.

У Любы страдание выражается глухим стоном и затем жестоким истерическим припадком. Новосельский было испугался и кинулся к Любе, но в это мгновение Дах-Реден схватывает его за руку, говорит ему, что все это рутина, и уводит к себе, делая еще по дороге к двери выговор, что он посадил свою Любу в обморок так, что она, Дах-Реден, не могла рассмотреть ее.

Четвертое действие происходит в комнате петербургской квартирной хозяйки Шварц (Г-жа Рейнеке).

Люба сидит с своей бывшей горничной Наташей, которая принесла ей какое-то письмо от Новоникольского и рассказывает о житье отца Любы после ее побега и о его смерти. В этом рассказе есть нечто трогательное, как, например, что Стахеев приказывал всегда ставить на стол прибор для Любы и все как будто ожидал ее.

Оканчивается разговор Любы с Наташей тем, что Люба, вместо письменного ответа Новоникольскому, приказывает возвратит ему его записку и сказать, что она сегодня ждет его самого.

Только что уходит Наташа, является мадам Шварц – это чистая петербургская чернота, квартирная петербургская хозяйка: у нее на языке сожаление о несчастной жилище и, как всегда у всех этих господ, в запасе готовое средство помочь ей – пустить ее в ход, на “общее внимание”.

Сцена, конечно, страшная, если в нее вдуматься; но в пьесе она ничего не делает, ибо и Шварц Любе ничего не предлагает, да и Любе нет неотразимой нужды бороться с ее предложениями.

Маша, девушка из разряда девиц, часто или постоянно живущих у подобных квартирных хозяек, вбегает и объявляет Любе, что ее спрашивает господин, на которого она, Маша, “как взглянула, так ей стало радостно”.

Входит американский дядя Новосельский. Сначала он осведомляется у Любы о состоянии ее духа, делает в лице ее комплименты “русской женщине”, которая все может прощать, и потом вдруг – чего вы, вероятно, всего менее готовы ожидать от него – открывается бедной, разбитой Любе в любви, но не с теми намерениями, какими руководился в своей любви его племянник, а с желанием признать ее своею подругою “пред целым светом”. Да; как это ни неожиданно и, по-видимому, вовсе не должно бы вытекать из всего предыдущего, однако благоразумный американец это делает, и, когда Люба отказывается от чести быть его женою, объявляя, что она уже дала слово другому, он бросается на нее, как сластолюбивый судья на Сусанну, и вlepляет ей насильственные поцелуи, доказывая этим, что его настоящее место действительно не в сумасшедшем, а в смиренном доме.

Этого страстного дядю уводят через хозяйкин покой, а на пороге появляется Новоникольский, в пальто военного лекаря, и, раскрыв объятия, восклицает: “Дорогая моя! Что они с вами сделали;”

Люба падает ему на руки, и четвертый акт кончен.

В последнем действии Люба уже жена Новоникольского. Она больна: муж ее занят с бедными больными, а к жене он послал своего товарища, лекаря Прибыткова, который выходит и объявляет, что дело скверно. Новоникольский и хочет слышать правду, и боится ее слышать: он останавливает товарища, обещаясь прежде найти для него хорошую сигару, и наконец находит ее. Товарищ его, что-то нескладное и дубиноголовое, объявляет ему, что Люба безнадежна, что у нее уже огромные каверны в легких и что ей помогать нечем.

– Постой, постой! – перебивает его, хватая за рукав, Новоникольский. – Постой! как нечем? Во-первых, и диагностика ошибается, а во-вторых... тут один мужик говорил...

Медицинская дубина, олицетворяющая товарища Новоникольского, от этого вертится и читает убитому горем товарищу, что “когда плачет мужчина, так это скверно”, что “он любит жену для себя” и различную тому подобную мерзость, все из давно

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
известных нигилистических вокабул. Недоговоренным осталось только одно, часто повторявшееся ученое положение, что любишь ты потому, что она еще не совсем удовлетворила твоему “любопытству”.

Входит еле живая Люба, садится в единственное мягкое кресло и говорит: “Ишь как меня балует мой Кузьма; кресло мне купил мягкое!”

Кузьма этого не выдерживает и, чтобы скрыть от больной свои слезы, уходит, не простившись с нею, по какому-то делу.

Медицинская дубина, прихлопнувшая Новоникольского, остается перед больною и болтает что-то о своей собаке и, наконец, ко всеобщему удовольствию, исчезает.

Приходит горничная Наташа с известием, что с черного хода на кухню пробрался Валерьян Новосельский, что он жалкий, одет плохо и усиленно просит позволения видеть Любовь Павловну.

– Проси, – говорит Люба, – проси!

Новосельский является в рубище, с бородою, падает перед креслом Любы на колени и просит простить его, раскаивается, что он “убил ее”, что он не стоил ее, что только нынче, сделавшись нищим и пьяницею, он понял и оценил ее.

Люба отвечает ему замечаниями, зачем они, то есть подобные господа, берутся развивать русскую женщину?

Он рассказывает, как он дошел до кабака и сколько там в кабаке сидит еще ему подобных, что мотали, гуляли да скакали на рысаках по Невскому...

Входит Кузьма Новоникольский; в нем закипает злоба при виде Новосельского; он вспоминает старое обещание “задушить” его и говорит: “Ну, так теперь же задушу”, и бросается на него; но Люба вскрикивает, вскакивает, потом падает и умирает.

Новоникольский произносит жалкие слова над умершей женой, причем опять вспоминается “русская женщина”, и затем, обращаясь к Новосельскому, он говорит: “Уйдите, Бога ради, Бог вас простит”.

Большая пьеса этим и кончена.

Мы назвали рассказанную нами театральную пьесу только большою, между тем, у нее очень много других, в такой же точно мере принадлежащих ей прилагательных: она, по всей справедливости, может быть названа пьесой благонамеренной, необдуманной, слабой.

Все это можно сказать об этой пьесе со всяким беспристрастием и доказать без малейших натяжек, к которым прибегает автор пьесы для защиты своих положений.

Что пьеса очень велика, то есть велика более, чем должна бы быть, это не требует никаких доказательств. Это чувствует не только каждый, кто ее видел, но даже каждый, кто прочел ее в нашем сокращенном рассказе. Пьеса изобилует длиннотами, повторениями общих мест и взятыми из газет поучительными рацеями. Вообще она во вред себе затянута множеством совершенно лишних сцен, которые могут быть частью сокращены, а частью и совсем выпущены без малейшего нарушения полноты. Длиннот этих в пьесе бездна, и они на сей раз еще однажды доказывают, что молодой писатель избежать их решительно не может: все, что он почувствовал при встрече со злом или с добром, ему кажется, что он почувствовал первый, что этого еще никто прежде его так не видел и что все это должно быть всенепременнейше высказано им и даже подкреплено. Обилие ощущений и забота выразить их все вдруг как можно скорее заставляет молодых авторов суетливо ткать все, что у них шевелится в их нетронутых запасах, и оттого большинство молодых произведений бывают водянисты, уничтожают самих себя в потоке слов и нередко падают, тогда как их ноги могли бы выдержать их, если бы они сконкретовались, собрались и ту же самую силу и тот же самый вес свой сжали в меньшем объеме. “Гражданскому браку”, несомненно, очень могла бы помочь одна нехитрая, но весьма спасительная операция, называемая сокращением. Пьеса будет идти несравненно живее, если сам автор или толковый человек из артистов (которые действительно мастера на эти

вещи) осмотрительно поосвободят ее от ненужных длиннот и потом опять хорошенько и тщательно сдвинут.

Обращаемся к благонамеренности пьесы. Автор встает за женщин, которых некоторые современные люди увлекают к конкубинальному сожителству во имя принципа, отрицающего церковный брак. Г-н Чернявский осуждает свою пьесой легкость взгляда упомянутых выше людей на их отношения к женщине; предаёт позору человека, который, имея возможность обвенчаться с любимой женщиной, отказывается для ее спокойствия сделать это: не хочет ей “открыть глаза”, как прекрасно говорит его героиня пьесы, Люба. Все это так; все это верно; все это честно; все это благонамеренно и близко каждому, кто хотя когда-нибудь размышлял над вопросами этого рода. Многие говорят по поводу “Гражданского брака”, что о вопросах, затрагиваемых этой пьесой, и говорить не стоило – что все они, будто бы, так твердо и неизбежно поставлены, что и врата ада не одолеют их. Мы не разделяем этого мнения и явление пьесы с такою задачею, как “Гражданский брак”, считаем своевременным и полезным. Семейный вопрос у нас понимается вовсе не так твердо и ясно, чтобы им не заниматься. Имея, с одной стороны, закон неразрешимого церковного брака, с другой – терпимые обществом обходы этого брака окольными путями, мы видим – или по крайней мере видели – в нашем обществе такую необузданность понятий, требование такой неограниченной свободы в деле брачного союза, до каких не додумывалась ни одна европейская страна, имеющая в своих законах расторжение браков и признающая так называемый “гражданский брак”, то есть брак по взаимному условию, сожителство взаимно законтрактовавшихся друг другу мужчины и женщины. У нас нет такого брака. Но у нас брак церковный обходится миллионами религиозных раскольников, не приемлющих брака. Сектанты эти не только не венчаются, но даже и не пишут контрактов, а живут парами просто, непостыдно, мирно, по душе, приживают детей, воспитывают их со всею родительскою заботливостью и умирают на их руках, оставляя им в наследие имя, состояние и завет жить так же, как жили отцы их и деды. Прежде все эти пары тесно и крепко живущих людей не были признаваемы за супругов; женщины почтенных лет и почтеннейших душевных качеств и правил, к жестокому оскорблению их, писались в приказных бумагах “блудноживущими девками”; дети их назывались “незаконнорожденными”, со всеми последствиями такого признания, то есть с потерю прямых наследственных прав и проч. Ныне браки этих раскольников признаны браками, и общество признает их, по собственному убеждению, что клеймить такое сожителство именем разврата было бы несправедливо. И это у нас один и единственный вид сожителства, который по внешности несколько напоминает гражданский брак французов, а в сущности, может быть, и выше и чище того контрактного договора. Существенная разница этих двух видов брака представится нам нагляднее всего, если мы припомним все хлопоты, которые с тем и с другим имели наше и французское правительства. И русское, и французское правительство имели с ними очень много хлопот и совершенно различного свойства: французское правительство, в лице своих комиссаров, беспрепятственно сгоняло и соединяло разбегавшихся контрактных супругов и никогда не достигало своих целей: не могло возвратит несостоятельного контрагента к его покинутому подружью и ни одного раза не научило их терпеть друг друга. Русское же правительство через своих приставов до самого недавнего времени столь же безуспешно утруждало себя, разгоняя пары невенчаных раскольников, “прекращало их безнравственное сожителство” и так же не достигало этого, потому что пары откупались у приставов всем, чем могли, чтобы только не разлучаться; а уж если откупаться становилось нечем, и полицейский пристав, исполняя предписание начальства, “прекращал их безнравственное сожителство”, разогнав пару в разные стороны, то это соблюдалось только пока пристав стоял над их головами, а исчезал пристав – и разогнанная пара снова плелась друг к другу, собирала разметанных кое-где во время передвряги детишек, оттапливала свой тесный уголок и снова начинала свое “безнравственное сожителство”, ныне уже признанное за брак.

Кроме этого вида, браков, не петых в церкви, у нас нет. Всякое иное сожителство браком не называется. Есть у нас публичный разврат, воспрещаемый законом, будто бы и преследуемый, но на самом деле терпимый и регламентированный особыми административными правилами и инструкциями; есть тайный разврат, скрывающийся от закона; очень много случаев открытого сожителства невенчаных пар, где оба лица свободны или где одно или оба принесли прежде этого союза другие обеты, но не выполняют этих первых обетов вследствие многообразных причин, в другой стране иногда весьма достаточных для получения развода и разрешения вступить в новый брак. Петербург – город, в который бегут скрыться массы пар, разбитых несчастливым супружеством, – давно освоился с этим явлением и не только терпит его, но и не делает ему никакой гримасы. Связи эти большею частью бывают не

кратковременные, а вечные, и нет ничего обыкновеннее, как то, что люди, иногда в течение очень долгого времени живущие таким образом, при первой возможности обвенчаться спешат воспользоваться ею и соединить себя законным браком.

Примеров этих целая бездна во всех слоях общества, и общество всегда имело к таким парам всяческое снисхождение.

О гражданском же браке на Руси говорили только в юридических аудиториях и, может быть, в очень редких гостиных. Но лет шесть тому назад о нем заговорили несколько пожилее в журналах, и в то же время в обществе показалась к нему довольно значительная симпатия. Симпатия эта исходила преимущественно со стороны молодых женщин среднего круга, вышедших несчастливо замуж и, вдобавок, незнакомых хорошенько с условиями гражданского брака, а простосердечно полагающих, что гражданский брак значит – сегодня жила, а завтра встала да и ушла в сторону. Но все это поговорилось и забылось: люди, встречаясь с надобностью обходить закон, обходили его по-прежнему, как могли и как умели, а дела шли своим порядком.

Но вдруг завязывается здесь, в Петербурге, сначала очень небольшая шайка людей, усвоивших себе будто бы какие-то новые убеждения и провозгласивших новые принципы. Принципы эти состояли в отрицании почти всего, выработанного цивилизацией. Отрицатели размножались быстро, как кролики, и умножились до того, что имя им стало легион. Очень долго они бесчинствовали в провинциях и в столицах, и бесчинствовали самым разнообразнейшим образом: сеяли смуты в семьях, принимали участие в разных глупых заговорах, проповедовали разврат, называли безверие просвещением и были противны обществу почти с самого начала. Но общество, непривычное к самостоятельности мнений и еще менее к самостоятельности выражения этих мнений, сделало непростительный промах – оно церемонилось с этими людьми, и церемонилось более, чем это было позволительно в его законнейших интересах. А меж тем они укрепились, пустились во все стороны усы, завербовали в свой лагерь множество скорбных головами мужчин и женщин – и выросла вещь, которой нет подобной ни в одной стране: явился нигилизм. Это уже было учение, требующее ни более, ни менее, как упразднения религии, уничтожения семейного начала, отмены прав собственности и наследства, непосредственной перемены существующего образа правления на социально-демократическую республику и, между прочим, игнорирующее брак, как учреждение, совершенно лишнее и по существу своему, и по форме.

Нигилисты, в отмену церковного брака, не домогались французского брака по контракту, который, собственно, один только и считается “гражданским браком”, а совсем не признавали для человека обязательным, вступив в тесный союз с женщиной, стремиться к упрочению этого союза на целую жизнь. Они домогались исключить из своих связей с женщинами всякую солидность и прочность. Их отношения могли быть однолетние, одномесячные, однодневные и даже одноминутные; но они только не должны были составлять особенного секрета и за то назывались на нигилистическом языке гражданскими или, сколько нам известно, еще чаще естественными браками.

Отсюда видно, что такое в самом деле прикрывал этот флаг. Эти браки были просто обычное удовлетворение парю субъектов своих чувственных потребностей, устроенное таким образом, что мужчина ничем не обязывался в отношении к женщине за наслаждение ее ласкою, а женщина ему не обязывалась ни верностью, ни вниманием, ни всем тем, что облагораживает человеческий союз и отличает его от союза животных. Гражданский брак настоящий, да и церковный брак, допускающий расторжение союза не с столь тяжкими условиями, какие требуются для этого нашим законом, допускают паре несогласных супругов еще раз поправить свой выбор, и затем все-таки дело уже кончено. Правом развода более одного раза в Европе не злоупотребляют даже царственные особы, хотя, как исключение, и там мы видим вторичные и даже третьи браки; так, например, нынешний король датский развелся два раза и нынче женат в третий. Нарушение же верности ложа и в расторжимом, и в нерасторжимом браке, и в безбрачном сожительстве раскольников всегда признавалось развратом, и только гражданский брак петербургских нигилистов в первый раз устранил всякое обвинение в разврате; при этом браке всякая новая связь будет новый брак, и потому число этих браков для мужчины и для женщины может быть бесконечно, но разврата все-таки не будет. Нигилист с нигилисткою могут вступать в новые браки хоть каждый день, и это все-таки должно называться браком, а не тем, чем это следует называть на обыкновенном человеческом языке. Но свет этого не понял, не оценил такого брака и начал над ним глумиться, а г.

Чернявский даже написал на него сатиру. Велико или невелико теперь число людей, признающих петербургский гражданский брак, но все-таки люди эти вредны и жертв их учения в наше время немало; а потому пьесу г. Чернявского нельзя не признать пьесой весьма благонамеренной. Это первая попытка послужить со сцены “открытию глаз”, быть может, не одной готовой погибнуть овце великого стада.

Но, отдавая полную справедливость благим намерениям автора, мы не можем столь же решительно высказаться в пользу выполнения им этих намерений.

Не говоря о недостатках пьесы в художественном отношении, о ее длиннотах, натянутости, невыдержанности характеров и неестественности положений, нас поражают многие другие ее стороны.

Прежде всего нам совершенно непонятно, почему автор, конечно, хорошо знакомый с средою, называющею свои холодные связушки именем “гражданского брака”, избрал героем своей пьесы Новосельского – чиновника, которому на дом носят пакеты, – человека, имеющего барскую квартиру и содержащего для одного себя двух лакеев. Мы охотно допускаем, что нигилизм, привнесенный в русскую жизнь, как известно, воспитанниками духовных училищ и державшийся долгое время в среде одних столичных грамотных пролетариев, спустился или еще спускается и вниз – до лакейских, и в той же степени поднимается вверх – до некоторых господ, имеющих парадные гостиные. Автор, вероятно, и имел цель показать это распространение нигилизма и для этого вывел на сцену нигилиста Алешку из лакейской, а в pendant[99] к нему – нигилиста Новосельского из светской гостиной. Но как почтенному автору пришло в голову сделать одно из этих лиц главным лицом, героем, базисом пьесы – мы не понимаем. Пусть нигилизм и проник в высшую среду, и даже пускает в ней нынче свои корни, но все-таки он здесь еще самостоятельно не выработался, и экземпляры здешних нигилистов еще очень мелки, тогда как есть нигилистическая среда старая, матерая, изобилующая экземплярами самой крупной величины, созревшими, полными, обработанными и уже давно поддающимися и самому тщательному анализу, и художественному воспроизведению. Взять героя для своей сатиры не из этой среды определившихся нигилистов, твердых и неисправимых, как сам сатана, для которого за пределом известного греха раскаяние и поворот на другой путь уже невозможны, – было со стороны автора большою ошибкою... если только у него не было тайного и, в настоящем случае, нелепого умысла еще помирволить этой ораве, а на позорище вывести именно тот класс, к которому принадлежит плачевный герой его комедии.

Во всяком случае, неумышленная ли это ошибка, или плохой расчет, но пьеса на этом потеряла очень много. Новосельский совсем не жених для гражданского брака; у него, как справедливо заметил его американский дядя, могут быть только содержанки, то есть красивые женщины, которых он, не любя сердцем, будет поить, кормить и одевать, пока они ему нравятся и пока он не вышвырнет их за хвост, как паршивых кошек, на улицу. Оттого лицо это во все время пьесы не в своей сфере с гражданской женою: он почти вовсе не умеет наговорить ей того, что так мастерски и в то же время так коварно гражданские мужья внушают своим гражданским женам; он увлекается Дах-Реден совсем не в гражданском стиле; он спускает с рук свою Любу тоже с сентиментальностью и с раздражением, истинному петербургскому гражданину несвойственными, и, наконец, разоряется с камелиями, чего также истинный гражданин не сделает, ибо в его принципах никогда ничем женщине за наслаждения ее любовью не жертвовать, так как это дело обоюдно милое. А если и бывало когда-нибудь, что кто-нибудь из пары гражданских супругов за любовь свою приплачивал, то приплачивали обыкновенно жены, которых гражданские мужья нередко просто обирали прямым способом или заставляли их приплачиваться за детей, которых, к сожалению, и у нигилистов рожают не мужчины, а женщины. Но нигилисты на женщин никогда не разорялись, и, будь, г. Новосельский действительно гражданский муж, он бы не затруднился найти Любе занятие: он бы свел ее в типографию, в переплетную, уж куда-нибудь да приставил бы. А он ничего этого не умеет и живет с Любою именно как с содержанкой, а не как с гражданской женою. И хотя нет спора, что нигилисты забирали иногда в свое кодро людей не такого полета, как Новосельский, но даже людей титулованных, но, во-первых, в пьесе никто не говорит, что Новосельский сидит в этом кодре, а, во-вторых, попавшиеся нигилисткам аристократики играли у них жалкую роль козлов очищения, и только сами были эксплуатированы: их обирали в пользу общественных нужд и женили на нигилистках настоящим, церковным браком, после которого жена “ляжет или не ляжет бревном поперек дороги”, а уж все-таки с нею не развенчаешься. До таких браков нигилистки так же точно падки, как и составляющие им контраст “кисейные барышни”. Одним словом, герой пьесы г. Чернявского – герой очень старой комедии, в которую

только введено новое слово “гражданский брак”; но самого гражданского брака и людей, признающих его действительно за что-то имеющее значение, здесь нет. Несчастнее такого выбора героя для пьесы автор уже не мог сделать, и, впадши в фальшь этим выбором, он пошел фальшивить во всем и далее.

Его первое женское лицо Люба могла, может быть, сделаться гражданской женою, потому что она принадлежит к разряду характеров, которые способны подчиняться сторонним влияниям и всегда находятся во власти обстоятельств и случая; но она не могла пойти на гражданский брак прямо из “чинного дома” отца своего. Автор забыл, что женщина из честного дома тогда только может свыкнуться с мыслью о таком браке и начнет уверять себя, что этак именно и следует жить, когда пройдет длинный-длинный курс наук, уничтожающий все ее прежние взгляды и верования и пришлифовывающий к ней на их место нигилистические софизмы. Оттого у Новосельского с Любою и нет никакого гражданского брака. Люба не только не узнает, не изучает и не практикует в своей жизни теорий, сочиненных для гражданской жены, – она сама говорит, что она любовница и что ей это тяжело; она невинно лжет отцу своему, что она уже обвенчалась, и удивительно мило и сердечно просит своего дружка: “Валерьян, открой мне глаза!” Она вся честная и простая женщина, которая никакому гражданскому браку не верит, а только просто сбежала с любимым человеком из дому. А сбегать с любимым человеком, как известно, может и самая кроткая и невинная девушка, если сердцем ее овладеет чувство, с которым она справиться не умеет или не может. И вопрос только в том: чем увлечена Люба? Где, в котором из слов ее оболстителя вы видите хотя какую-нибудь искру любви, хотя даже тень страстности? Ничего этого нет, да и неоткуда ничему этому взяться, когда перед женщиною не человек, говорящий языком чувства, а жалкая кукла, развивающая свои пошленькие теории. Что тут может сделать даже такая талантливая актриса, как г-жа Струйская 1-я, – как зритель почувствует, что Люба бежит не по глупости? И скажите, пожалуйста, чего она бежит? Она знает, что отец ее не помешал бы ее браку; она ни на минуту не обманывается словами своего милого и даже понимает, что такое его “гражданский брак” – она сама говорит, что это для нее значит быть его “любовницей”. Не должна ли она после всего этого ясно видеть, что Валерьян ни на родинку не любит ее, ибо может ли быть для неглубокой и неизвращенной женщины непонятным, что, если человек не хочет себя с нею связывать и даже вперед расчищает ей дорогу к переходу в другие объятия, то он не любит ее и не будет любить? Какая же женщина не дура, видя и понимая все это, пойдет с таким человеком на очевиднейшую гибель? Автор собственными устами Любы и друзей ее указывает на нее, как на образец русской женщины, чему мы, признаемся, немало дивились, да и поныне достойно надивиться не можем. Не будем спорить, что такая Люба, может быть, и жила, и действовала – страна наша велика, а природа своевольна; но чтобы из нее сделать тип хорошей русской женщины и восклицать перед нею: “Вот она, наша русская женщина!” – это значит не знать хороших русских женщин и, к тому же, иметь очень плохой идеал женщины в голове своей. Сердечная мягкость и всепрощение, конечно, очень хорошие черты, хотя у Любы (опять-таки по вине автора, а не актрисы) вместо сердечной мягкости является какая-то рыхлость, а вместо способности прощать – неспособность найтись, поступить как-нибудь иначе; но положим, что уж Люба добра, как целый сонм ангелов, и способна дать свою прощальную индульгенцию даже сатане. Но будто это только одно и должно украшать лицо, перед которым на столичной русской сцене можно восклицать в восторге: “Вот, вот она! вот она русская женщина! Она все простила, и все прощать – это ее призвание”. Непостижимо, зачем, творя героиню для кольев, мяльев и перемяльев, ожидающих ее по плану пьесы, автор не взял обыкновенного, бродячего типа петербургских гражданских жен, с которыми в самом деле только и разыгрывают комедии гражданского брака. С них все это обыкновенно скользит, как с гуся вода, и автор, возьми он только этакое, верное правде лицо, нашел бы в нем неисчерпаемый кладезь, из которого так бы и брызнули фонтаном все комические положения петербургского гражданского брака. Другой героини мы и не ожидали видеть в этой пьесе и не предполагаем ее даже возможною

Вступить в гражданский брак с убеждением, что она действительно вступает в гражданский брак, а не развратничает, – может только нигилистка, то есть женщина, утратившая разум, смысл, совесть и всякую способность ясного понимания, или женщина, находящаяся во временном умопомешательстве, которое может продолжаться и год, и месяц, и пять лет, и может произойти, например, вследствие столкновения молодой, честной и страстной девушки с иезуитскою нравственностью общества, с его предрассудками, клеветами и неправдами. Она как нельзя более естественно может тогда начать свою нигилистическую карьеру, бросив общественному мнению свою перчатку, под влиянием понятного каждой живой душе озлобления, и окончить эту карьеру, открыв, что попала “из огня в полымя”. Тут

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

автор мог с нею поступить, как ему угодно – мог ее убить, мог еще лучше оставить жить, ибо для живой души еще “обителей много есть”. Все это было в его руках, и мы еще раз только удивимся, как он не понял, что только из этих двух сортов и получаются все до сих пор известные нам петербургские гражданские жены. После пьесы г. Чернявского мы должны верить, что иногда идут на этот брак скверный еще и такие плохенькие девочки, как Люба Стахеева; но мы должны же сказать, что это случай, вероятно, весьма исключительный и возможный только потому, что с таким бессильным существом, как Люба, может случиться все на свете, что на ней так блистательно и оправдалось. Отроковица эта, простоты своей ради на брак скверный автором уготованная, помимо воли его вышла обыкновеннейшею содержанкою, до чего умная и честная женщина не может дойти и не доходит никогда. Чем в ней восхищается автор? Она умеет прощать... Есть, в самом деле, перед чем остановиться и закричать, указывая на нее: “Вот она вам! вот она русская женщина!”

Некоторые признают за автором “Гражданского брака” наблюдательность. Нам, напротив, кажется, что наблюдательности то в авторе меньше даже, чем всего другого, что для писателя нужно. Увлекаясь не имеющим ничего увлекательного характером своей миндальной героини, он расплывается по поводу ее способности простить, изобличая этим просто ужасающую ненаблюдательность. Поневоле загорается желание спросить: на каких же это волнах качала и баюкала автора жизнь, что он не заприметил явления, которое наблюдать можно ежеминутно, то есть не заприметил, что самую большую способностью все прощать отличаются мужчины и женщины, не уважающие самих себя и потому не позволяющие нисколько на них надеяться, ни в делах совести, ни в делах чести.

Один из наблюдательнейших иностранных писателей самый высший переизбыток этой способности не вступаться за себя открыл в нравах женщин, торгующих своими прелестями, и не надо иметь большой наблюдательности, чтобы признать неотразимую верность этого злого замечания. “Погибшие создания”, в великом большинстве случаев, всё прощают и виновникам своего ужасного положения, и людям, оскорбляющим их уже в этом положении. Автору точно не известно, что снисхождение к злу очень тесно граничит с равнодушием к добру, и неспособность презирать и ненавидеть чаще всего живет вместе с неспособностью уважать и любить. Не нужно вовсе обладать никакою особою наблюдательностью, чтобы видеть тысячи примеров, красноречиво подтверждающих это положение. Доброта прекрасна при уме, при характере, при стойкости убеждений, а без них она “дар случайный”, и дар, способный удивлять своими случайностями.

Не видим мы, ровно ничего не видим отрадного в этой вялой снисходительности. Женщин, имеющих такой характер, как Люба Стахеева, даже часто нет никакой возможности спасти, ибо “тому нет спасения, кто в себе самом, в слабости своей природы носит своего врага”: и они всегда будут во власти случая, и случай всегда будет управлять ими, ибо их характер – бесхарактерность.

В весьма старой комедии “Стряпчий под столом” распевается куплет:

Свет – комедия, где случай
Людям роли раздает,
и очень многие несомненно верят, что людям их роли действительно раздает случай.

В противность этому, заключительное поучение одной басни говорит:

В ком есть совесть и закон,
Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде ни был он;
А вору дай хоть миллион,
Он воровать не перестанет.
И опять очень многие верят в это изречение, и верят столько же искренно, сколь другие искренно верят, что люди кругом во власти случая.

Трудно и почти невозможно утвердительно сказать, действительно ли случай всемогущ, но что “закон”, положенный себе человеком, может быть всегда, во всех случаях, достаточно силен, чтобы за мужчину или женщину, воспитавших в себе такой “закон”, можно было ручаться, это несомненно. Из этого-то закона создается и *savoir faire*, [100] и достоинство характеров, без которых всякий человек, без различия пола, есть ничтожество, способное оскотиниваться до нигилизма или становиться помышкой случая, тряпкою и ветошкой. Любовь таким людям небольшая помощь, да и не очень серьезный вопрос в жизни. У них всегда для всего есть

извинение, отовсюду есть возврат. В самом деле, чувствуешь, что автор поступил даже великодушно, убив свою героиню на сцене чахоткою. Оставь он ее жить, так вы, может быть, даже поусомнились бы, был ли бы обеспечен ее супруг от бычьих украшений на лбу. Не пропейся Новосельский до такого безобразия, а явись он пред нею

С слезами горьких раскаяний
И знаком скорби на челе,

а она будь жива и здорова – вы не можете поручиться, куда бы ее завело сожаление. Такие примеры бывали. И таких-то хлопчатобумажных тварей, таких-то каракатиц нам выводят ныне на позорище и говорят: вот, вот русская женщина: она умеет быть обманута и умеет плакать!

После Любы и ее адоратёра, в числе выведенных пьесою лиц, есть еще дядя-американец, г-жа Шварц, девушка Наташа, да девушка Маша, да еще два лакея. Об обеих девушках и о г-же Шварц говорить не стоит: это лица слишком маленькие; а дядя-американец – это Бог знает что такое! Это лицо, из которого должно было что-то выйти, и вышло нечто непостижимое, неопределенное, само себе неверное и ни к чему не годное. Такой тип не только не существует, но и существовать не может. Точно сказочный Летучий Голландец, прилетел он на своем vaisseau-fantôme, [101] почитал избранные места из русских газет и журналов против современных ошибок и ни с чем несообразных безумств ультралиберальных несмыслов, провалился раз десять сам и давай в заключение насильно целоваться. “Кровь, говорит, почуял”... И это еще вскоре после приезда из Америки, где женщина уважается Бог знает как; а если бы он подольше с нами пожил, да привык бы к тому, что с нашими бабёнками можно себе и волю дать, – тогда, я вас спрашиваю, что бы из этого человека вышло?

Очень, очень радуемся, что он опять сел на свой vaisseau-fantôme. Bon voyage, cher oncle! [102]

Баронесса Дах-Реден написана вернее. Такие женщины начинают встречаться все чаще и чаще. Это ублюдки нигилизма. Они исповедуют только одну половину нигилистического катехизиса. Те на своем знамени пишут “труд и наслаждение” и лицемерят; эти же менее лицемерны и прямо сознаются, что ищут одного наслаждения, “свободы чувств”, как говорит Дах-Реден. Как позднейший продукт нашей цивилизации, они уже на фразерствующий о равенстве и труде нигилизм смотрят как на “рутину”. Будучи по характерам искреннее и по привычкам изнеженнее, они не хотят и пробовать нести иго юродства и ради одного шиковать часом с квасом, а порою и с водою, и дают свободу чувствам, подчиняя их, однако, страху вексельного права. Что из этих женщин выйдет – отгадать нетрудно. Конечно, смело можно ручаться, что они содержанием не будут – это и не по их характерам, да и “это рутинно”; но они будут камелиями, если только они и сегодня уже не камелии, что, однако, можно допустить, слыша частые жалобы нашей jeunesse dorée [103] на то, что с некоторых пор совсем вывелись прежние камелии, остроумные, ловкие, изумлявшие своим тактом и знанием человеческого сердца, и вместо их явилось эмансипированное черт знает что, рассчитывающее только на свою рожицу да на белое тело или иногда на сомнительный титул. Нет ничего удивительного, что эти жалобы могут быть в ближайшем отношении с появлением баронессы Дах-Реден и ее добрых приятельниц.

Самое крупное лицо пьесы и, очевидно, самое задушевное создание автора есть студент, а впоследствии доктор Новоникольский.

Это приемлющий браки Базаров. Он, конечно, пообтесался за эти годы всеобщего отрезвления и, как неглупый человек, попривесился к обстоятельствам и приемлет браки, ибо глупо же не принимать их, живучи в обществе, где положение женщины, живущей с человеком вне брака, подвержено стольким неприятностям, беспрестанно напоминаям ей о фальшивости ее положения. Он понимает это и не является шутком, стоящим за свободу там, где эта свобода нисколько не нужна для счастья, ибо свобода от любимой женщины, как испытал Онегин, есть, по его словам, “постылая свобода”, и потому Новоникольский, оставаясь Базаровым, женится на Любе и даже верит, что любовь может властвовать и над твердостью воли, и над рассудком.

– Любил бы ты, – говорит он своему дубиноголовому товарищу, – так не рассуждал бы этак.

Очень жаль, что и это лицо тоже заедено риторикой, и страстность его выражается

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
порою риторическими, а порою нелепыми выходками, как, например, покушением удушить человека перед глазами умирающей жены.

Самые удачные лица в пьесе – лакеи. Как нигилист Алешка, так и ретроград Демьян очень интересны и живы во взаимной сцене между собою. Автор, конечно, очень мило сделал бы, если бы эту удачную сцену и ограничился, не вводя лакейской философии в решение вопросов нелакейского образования; а его Демьян, в разговоре с господским дядей-американцем, ведет такие рацеи, что поистине подивисься, отчего автору пришла мысль рассуждать о самых нежных и больных вопросах общества устами человека невежественного, разрешавшего себе все вопросы в передней на конике. Неужто автор в самом деле полагает, что образованное общество, презиравшее браки петербургских граждан, и даже народ, не имеющий, конечно, об этих браках и самомалейшего понятия, держатся вообще, в настоящем-то брачном вопросе, буквально тех самых мнений, какие составил себе об этом лакей Демьян? Демьян, очевидно, нимало не повинен в знакомстве с историею брака в древнейшие и новейшие времена и не знает, что брак признается браком не в одной только расторгимой форме; да и уважение, которым пользуется брачный союз у народа, отнюдь не находится в зависимости от того, что он крепок, то есть не может быть расторгнут, хотя бы по самой вопиющей необходимости. Не тем он почтенен, что крепок обязательным образом. Народ не почитатель этойкой крепости и говорит: “Крепка тюрьма, да черт ей рад”; последнее же слово не нигилистической, а самой основательной и здоровой цивилизации раздается тоже в пользу брака без особого доверия к форме, которая нравится Демьяну. И Демьян во многом ошибается на счет скопидомства и вороватости любовниц; он не читает наших мелких газет, где недавно был рассказан самоновейший скандал о законной жене одного артиста киевского театра: она обокрала своего мужа, взяла за руку мальчишку-любовника и сказала заочно своему супругу: “Прощай, мой пастух!”

Не будем долее говорить про Демьяна – он очень добрый старик, но большой невежда; не будем, зауряд с Демьяном, рассуждать и о такте, с которым почтенный автор пьесы берется высказывать со сцены общественное мнение по вопросам, которые нигде нашим обществом еще не вотировались.

Мы очень благодарны автору за его благие намерения и за его пьесу, все-таки несколько выходящую вон из ряда всесторонней бездарности, которая, в последнее время, и ползет и лезет на русскую сцену. Нам сдается, что у него есть некоторая сила, но что его на этой пьесе попутала поспешность, молодое желание сказать устами каждого из своих лиц все, что можно сказать по делу, которого касается пьеса, и еще более – его бесконечное усердие. Усердия этого так много, и оно вызвало на сцену такую массу слов и поучений, что уж за ними действительно нет места ни страстям, ни действию. Вообще г. Чернявский, со всеми этими своими умными словами, напоминает нам анекдот об одном странствовавшем капуцине, который, выпив немножко не в меру в какой-то корчме, никак не мог сесть верхом на свою лошадь и начал призывать себе в помощь разных святых, на содействие которых в этом случае больше рассчитывал.

– Святой Казимир, помоги мне! – взывал, держась руками за седло, ксендз.

Он прыгнул и, не достав луки, снова ступил на ноги.

– Святой Станислав, ты помоги!

Опять та же неудача.

– Святой Вавржинец, ты помоги!

И опять ничего не выходит.

Капуцин задумался: ночь темная, ехать надо, а по одному святому будешь перебирать, скоро ли все католические святцы перечитаешь? Да сверх того нельзя и узнать, который именно святой может ему в этом положении оказать скорейшую помощь. А потому ксендз, натужив грудь и понапружив мышцы, воспел в отчаянии: все святые, помогите! – и с этим словом полетел через седло и шлепнулся на землю по другую сторону своего буцефала, воскликнув: “Эх, господа! Да зачем же все-то разом?”

Может быть, тоже не все бы разом вызывать и господину Чернявскому...

Теперь, в заключение нашей, может быть, слишком длинной статьи, два слова об исполнении “Гражданского брака” на с. – петербургской сцене.

Пьеса была поставлена очень удовлетворительно, и роли розданы весьма толково. Кроме премьеры труппы, г. Самойлова, в пьесе участвовали три хорошие актера: г. Зубров, г. Васильев 2-й и г. Горбунов, и молодая артистка г-жа Струйская 1-я, которую во всех отзывах об ее игре в этой пьесе назвали “хорошою, талантливую актрисой” и которая таких отзывов достойна как нельзя более. Любители русского театра должны со вниманием посмотреть на эту молодую женщину, в которой, кроме все сильнее и сильнее выступающего таланта, сказывается зубровская добросовестность в изучении характера своих ролей; а г. Зуброва известно, как ценят и как любят за это все люди, сколько-нибудь понимающие истинные задачи сценического искусства. Г-же Струйской надо замечать все: малейший ее промах, малейшую ее ошибку, и надо желать, чтобы она этим не обижалась, чтобы она верила, что это делается в интересах успеха ее таланта и в интересах сцены, бедной актрисами еще более, чем актерами.

Одну из газет, которые, конечно, давно уже успели сделать свои отзывы о новой пьесе и о ее исполнении, замечена г-же Струйской одна ошибка, заключающаяся в том, что Люба падает в обморок в конце третьего действия навзничь, прямо лицом к баронессе Дах-Реден, тогда как Дах-Реден в наступающей тотчас же реплике, уводя Новосельского, упрекает его, что он “посадил свою пастушку так, что она не могла ее видеть”. Замечание это почтенной артистке непременно следует принять к сведению и сочинить себе для этой сцены другое, более соответственное положение, ибо правда нужна прежде всего и ею нельзя жертвовать картинности и эффекту, за которыми она, конечно, у большинства публики ускользнула. Говорят еще кое-где, что г-жа Струйская грешна будто бы в некотором копировании сошедшей со сцены г-жи Ф. Снетковой. Мы этого замечания поддерживать не решаемся. Правда, иногда будто бы прорывается у нее что-то такое, напоминающее г-жу Ф. Снеткову в дикции; но, может быть, это не подражание, а такова собственная дикция молодой артистки. Подражать ей ни Ф. Снетковой, да и никому из нынешних актрис Александринского театра не следует, и она, вероятно, это понимает. У нее есть свои силы, и она должна идти на своих ногах. В ее нынешней роли есть место ужасной трудности: это именно безрасчетливо продолженное автором истерическое состояние после обморока, состояние натянутое, изнуряющее артистку и утомляющее зрителя, и все для чего же? – для того, чтобы лакей Демьян подольше поговорил о полученной им пощечине. Этому месту, по трудности его исполнения, мы во всем русском репертуаре можем подыскать нечто подобное только в роли Лизаветы в “Горькой судьбине”, где актриса, во время допросов Анания, “воет”, сидя битые полчаса перед следственной комиссией. Мы слышали от многих артисток, исполнявших роль Лизаветы, горькие жалобы на непереносную трудность исполнения этой сцены и не видали ни одной из них, которая нашла бы у себя столько средств справиться с этой трудностью, сколько отыскала их г-жа Струйская. Изучение переданных ею истерических страданий просто удивительно! Это сама правда, пробирающая вас по нервам и поднимающая бежать на помощь к женщине, убитой варварским словом. Но всего более приятна в игре г-жи Струйской давно исчезнувшая с русской сцены грация поз и пластика движений. С тех пор как зрители не видят на петербургской сцене Асенковой и В. В. Самойловой – не видят они и женской фигуры, заставляющей почувствовать хоть на мгновение тот восторг, который чувствовал древний грек, находясь под обаятельным впечатлением великих образцов ныне погибшего искусства. Понятия о красоте у нас в России никогда не достигали высокого уровня; но в последнее время они все продолжали падать и, наконец, пали до невозможности. Позы и движения или считаются за что-то совершенно незначущее и свертываются как попало, как Бог по сердцу положит, или воспроизводятся подражанием современным светским львицам и даже просто шикарным француженкам. Понятие о красоте так низко упало у самих артисток, что нам случилось раз слышать, как одна из них, говоря об игре некоей иностранной актрисы, завидовала тому, что она, поднимая к небу руку, умеет так сжать ладонь и пальцы, что “ручка становится словно как детская”. Артистка, высказывающая сожаление, что природа не наделила ее таким же талантом комкать свою руку, конечно, старается достигать этого искусства, вовсе и не подозревая, что кошачья лапка у женщины, сложенной не Миньоною, вовсе не красива и что комканье руки в узелочек или свертывание ее в трубочку ей вовсе не придают изящества, а безобразят ее. Г-жа Струйская 1-я удивила нас в тех местах своей роли, где она дебютировала одною молчаливою позою. Это у нее повторяется два раза: в первый раз, на несколько мгновений, во время обморока, а во второй, когда она вырывается из рук американца и становится на довольно продолжительное время у окошка. Это прелестнейшая, строго обдуманная пластическим греком статуя, глядя на которую действительно можно воскликнуть с дядею-американцем: “Позвольте

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
еще посмотреть на вас и запомнить вас так, как вы теперь стоите!”

От почтенной артистки, игравшей Любу, перейдем на секунду к бенефицианту. Г-н Зубров был не так счастлив в своей нынешней роли, как бывает обыкновенно в большинстве всех других ролей своего разнохарактерного репертуара. Задельный мужичонко Никон в “Горькой судьбине” и пройдоха-чиновник в “Пучине” не справились с американцем. Не вошел ли г. Зубров в роль этого лица с непостижимым и бестолковым характером, или в самом деле средства его ни для резонерства, ни для страстных сцен эротического свойства не годятся, но только он в этой роли был вовсе не тем, чем публика привыкла его видеть.

Гг. Васильев 2-й и Горбунов разыграли лакеев превосходно.

Г. Самойлов, отчетом об игре которого мы и заканчиваем нашу статью, на этот раз доставил публике нечто новое. Кроме обычно-умной игры и мастерского чтения монологов, он позволил публике полюбоваться довольно редко выдаваемой им глубокою задушевностью. Этою задушевностью он поразил зрителей в коротенькой сцене, когда девушка Маша вводит его к убитой племянником и оскорбленной дядею Любе. Он входит в дверь быстро, порывисто раскрывает руки и, Бог его знает, с какою глубиною, с какою болью сердца вскрикивает: “Дорогая моя, что они с вами сделали!” Люба бежит к нему на эти слова и бросается на его руки.

Только и всей сцены; но такой сердечной сцены мы, кажется, еще никогда не видели у г. Самойлова. Его все не напрасно считают одним из самого небольшого числа замечательнейших русских артистов обеих столиц, но все знают и особенности его игры, отличающие его, например, от игры московского Самарина. Стоит сравнить того и другого, например, хоть в роли князя Имшина в “Самоуправцах”, чтобы понять эту особенность во всем ее значении. Все сердечное, вся внутренняя драма сердца князя ровно на столько же выходит выше в исполнении г. Самарина, на сколько драма поражений и эффект, производимый смертью князя под звуки веселого туша, являются поразительнее у Самойлова. Но в его словах: “Дорогая моя, что они с вами сделали?” – прозвучала такая живая струна, сказала такая сердечная мука, что каждое живое сердце, вероятно, вздрогнуло, и театр затрепал от взрыва рукоплесканий, а одни руки так не рукоплещут.

Нет ни малейшего права сомневаться, что просвещенный артист глубоко прозрел в души слушавшей его сплошной массы русских людей, так недавно переживших свирепствование направлений, колебавших основу семьи в глубине самых святейших недр ее. Артист несомненно понимал вопрос яснее и живее, чем обсудил его автор; он критически сознал, что виноватый не тот, кого представляет собой Новосельский, что виноватый еще не пойман и не представлен с поличным на сцену, что он и до сих пор скрывается за людьми, прячется в толпе, и потому слова г. Самойлова: что они с вами сделали? относились к людям, действительно дельвавшим на счет женских увлечений дела, о которых еще и не снилось Валерьянам Новосельским. Как пуля ищет на поле сражения виноватого, так искало его в толпе зрителей “из пламя и чувства сотканное слово” Самойлова, и если от него ни на одном из воров, по пословице, не загорелась шапка, то это объясняется только тем, что шапка эта в то же время есть и дурацкий колпак. Как человек, постигающий сокровенные изгибы сердца, г. Самойлов знал, конечно, что в самой сухой душе, преданной даже одной суете сует жизни, есть чувство, встающее выше всех суетных привязанностей: это именно то чувство, которое заставляло неумолимого жида Шейлока отвернуться от накопленного золота и уныло шептать своими сухими губами: Джессика, дитя мое! дитя мое, Джессика! Артист отгадал, что в числе его зрителей не могло не найтись довольно людей, восскорбевших не раз великою скорбью сердца о погибшей сестре своей, и он заставил вскрыться эти едва запекшиеся раны и закапать свежую кровью, которую, по народному верованию, точат и раны мертвеца, раскрываясь при приближении убийцы. Вот отчего и была так потрясена в этот день г-м Самойловым многочисленная публика: из нее рванулись к артисту тысячи сердец, вспомнивших каждое о своей горлице и своей голубице и воскликнувших: Дорогая моя, что они с вами сделали!

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР В ПЕТЕРБУРГЕ

Давая в начале сезона отчет о вновь явившихся театральных пьесах, мы с дерзостью столетнего календаря предсказывали, что нынешний сезон будет необыкновенно богат новыми произведениями наших драматических писателей. Мы не ошиблись: в течение всего сезона новые пьесы так и летели одна за другою, одним скачком на сцену, а другим в реку вечного забвения. Все они были так плохи, так ничем не замечательны, кроме бездарности, что мы уже и не заговаривали о них и ныне не

станем вспоминать о них. Мы уверены, что читателям нашим давно наскучило встречать в наших отчетах одни порицания; и мы рады бы хоть на один раз оторваться от этого тона и хоть к одной из новых пьес отнестись дружелюбно и сочувственно; но, к сожалению, ни одна из них не вызывает нас на такое отношение. Мы говорим ни одна, вовсе не забывая, что нынешнею зимою шли “Смерть Иоанна Грозного” г. Толстого и “Гражданский брак” г. Чернявского. “Смерть Грозного” есть явление, которое еще ждет солидной, критической оценки и, во всяком случае, не может быть смешиваемо в одну категорию с однодневными комедийками; а “Гражданский брак” хотя и пережил более тридцати представлений, дающих всегда самые полные сборы, но мы, не стесняясь успехом этой пьесы, по справедливости не можем исключать ее из ряда пьес очень слабых. В свое время в нашем журнале этой пьесе была посвящена целая особая статья, разъяснявшая, почему эту увенчанную давно небывалым успехом пьесу все-таки следует считать пьесой плохую, необдуманную, ученическую и страдающею многостороннейшими недостатками, начиная хоть с самого названия, ибо, в самом деле, название “Гражданский брак” отвечает этой пьесе разве лишь потому, что в ней все действующие лица друг друга бракует: дочь бракует любящего ее медицинского студента; студент бракует не признающего браков чиновника; чиновник бракует свою содержанку; другая содержанка бракует, в свою очередь, этого чиновника; потом дядя бракует племянника, а первая содержанка племянникова бракует дядю; два лакея бракуют один другого, и вообще действительно происходит самая горячая браковка, но никакого гражданского брака нет. Ни один мотив, ни одно место петербургского гражданского брака в пьесе этой не только не разыграны, но даже не тронуты; и если в настоящем или в будущем кто-нибудь пожелает написать сатиру на гражданские браки людей, называемых “болванами петербургского нигилизма”, тот, не стесняясь комедиею г. Чернявского, может написать совершенно новую, может быть, весьма занимательную комедию, нимало не рискуя повториться. И мы полагаем, что такая комедия из нигилистических нравов, или даже не комедия, а фарс, могла бы выйти даже довольно занимательна, ибо ни в одном из наиболее фигурирующих современных типов нет столько буфонского комизма, сколько в “болванах петербургского нигилизма”; а для большинства публики Александринского театра этот род комизма, как оказывается, есть род самый понятный и едва ли не самый любимый. Огромный и вполне незаслуженный успех “Гражданского брака” везде, где только до сих пор была дана эта пьеса, доказывает лишь, как наболели у общества раны, нанесенные ему извращением человеческих понятий об обязанностях человека к семье, и как много может сделать, коснувшись этого вопроса, писатель, обладающий истинным драматическим талантом.

Новым явлением в нашей летучей театральной критике (если только ее можно назвать критикой) было этой зимой некоторое новое отношение рецензентов к последним пьесам г. Островского. Долгое, некогда безусловное и весьма часто не в меру рабское поклонение произведениям этого драматического писателя вдруг пало и сменилось каким-то унылым сожалением. Правда, этой перемене отношению предшествовала некоторая довольно постепенная подготовка; но все-таки созерцать ее непривычными к сему положению очами довольно странно. Восторг, который г. Островский вызывал у зрителей своими прежними пьесами, начал уменьшаться еще с появлением его “Минина Сухорука” и “Шутников”, а окончательно замер после “Тушина”. Еще “Минин Сухорук” утомлял читателей своею длиннотою и скукою, и лишь одни ревностнейшие поклонники г. Островского упивались пленительной сладостью его стиха в этом произведении; но все прочие прочли эту пьесу не с тем нетерпением, с каким читали прежние пьесы того же писателя. Явились “Шутники” и по своей анекдотической легкости не произвели сотой доли того впечатления, какое делали на зрителей прежние драмы, сцены и комедии г. Островского. “Тяжелые дни” тоже, как переделанный для сцены анекдот, смотрелись без всякого увлечения; “Пучина” (в свое время разобранная в нашем журнале), несмотря на ее, по-видимому, серьезный замысел, прошла еще незаметнее, а поставленные еще позже на сцену исторические хроники г. Островского были приняты уже так холодно, что в Москве, как писали тамешние корреспонденты здешних газет, спектакли эти даже не давали сборов на тамешнем маленьком театре. Последняя же хроника г. Островского “Тушино”, напечатанная в одном новом периодическом издании, есть пьеса такого свойства и таких достоинств, что едва ли вовсе может быть поставлена на сцену, а будучи поставленною, едва ли не усыпит зрительную залу вернее, чем усыпляли некогда немецких зрителей исторические пьесы Раупаха.

При нашей крайней бедности на литературные таланты вообще и при совершенном почти отсутствии драматических талантов постоянно падающий и даже почти сходящий на нет успех г. Островского есть явление самое печальное, над которым поневоле приостановишься и призадуматься. У г. Островского всеми был признан

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
замечательный талант. Некоторые из его критиков находили даже, что у него очень большой талант; иные из них находили, что у него даже колоссальный талант, наконец даже всеобъемлющий талант, и все это manu intrepido[104] записывалось черным по белому на листы театральных хроник и критик. И публика все это читала и, пожалуй, всему этому верила. Да, сколь ни резки, даже, скажем, сколь ни странны были иногда эти весьма преувеличенные похвалы произведениям г. Островского, ни одна из них, во дни оны, не казалась ни очень резкою, ни очень преувеличенною, – до того все любили своего почти единственного драматического писателя. Когда, по поводу “Доходного места”, пьесы, в которой автор, оставив гостинодворскую среду, взялся за чиновников и только что благополучно совладел с ними, один из журнальных рецензентов, заговорив по этому поводу о всесторонности таланта г. Островского, увлекся до того, что не оставлял ни малейшего промежутка между значением г. Островского и значением Шекспира, и никто против этого не возражал, и никто этому не противоречил... Да и как было противоречить, когда за одну попытку похвалить кого-нибудь, кроме г. Островского, в то время его почтенный критик говорил: Равнять его с Коцебу!

Ей, гляди-ко, брат...

Я отмеряю русской меркою:

Не замай его – исковеркаю.

И вот ныне, когда еще не все сапоги, сшитые в оное грозное время, износились, г. Островского не смотрят, г. Островского находят скучным, г. Островского читают только по старой памяти, и только по старой памяти его щадят газетные фельетонисты, испещряя свои отзывы о его новых пьесах выразительными многоточиями! Неужто уже г. Островский совсем отслужился и, как старый боевой конь, требует теперь только ячменя да покоя? Неужто он уже не может писать таких пьес, какие он писал для русской сцены, не лучше и не хуже, а таких самых, какие он писал и за какие его прозвали “гостинодворским Коцебу”? Не хочется согласиться, что он дошел до такого бессилия, да и едва ли есть до сих пор достаточные основания подозревать такую утрату таланта в г. Островском. Положим, что

Мы, дети севера, как русская природа:

Цветем недолго, быстро увядаем,

а потому и г. Островский мог отцветать в то время, когда мы его считали еще растущим и укрепляющимся. Но, рассуждая о нем по его последним, хотя и относительно слабым работам, мы должны сказать, что видим в этих работах не упадок сил автора, а нечто иное, может быть, более зависящее от форм его новых произведений и от выбора сюжетов. Полагаем, что теперь, после “Тушина”, не рискуя впасть в большую ошибку, можно сказать, что г. Островскому не даются исторические русские хроники. Его род пьес, в которых он всего сильнее, есть бытовая драма и комедия, и мы решительно не постигаем упрямого желания этого писателя держаться неудачно взятого им нового, столь не свойственного ему и непроизвольного рода драматических сочинений. Положим, что бытовая жизнь наша отчасти бедна, и однообразие ее явлений может порою приводить в отчаяние посредственного писателя; но неужто же историческая жизнь допетровской Руси, с деспотической семьей и униженным положением женщины, разнообразнее и богаче драматическим содержанием? По нашему мнению, вопрос этот решается отрицательно: ибо тогдашняя жизнь, несомненно, была еще разнообразнее нынешней, и упорное желание произвольно разнообразить характеры тогдашней семьи, помимо греха перед исторической правдой, может вести к целой бездне несообразностей, не исключая даже опыта изобразить в русской женщине эпохи самозванцев нигилистку XVII века, как это преблагополучно и совершил в своем “Тушине” г. Островский.

Кроме г. Островского, из прочих сценических писателей к нынешнему сезону приготовили новые драматические сочинения гг. Писемский, Боборыкин и Алексей Потехин. Пьеса г. Писемского, “Поручик Гладков”, еще не поставлена на сцене и нигде не напечатана, а о ней только носят слухи, и слухи столь разнообразные, что нехоти было бы на них основывать какие бы то ни было суждения. Из пьесы Потехина сыгран в бенефис актера Васильева только один акт, и об этом отрывке есть отчет в дальнейших строках настоящей статьи; один лишь г. Боборыкин успел окончательно написать и даже поставить на сцену свою новую пьесу. Этот плодовитейший писатель имеет неимоверную быстроту в руках и в мыслях. Произведения его размножаются, как кролики, и, как кролики, все похожи одно на другое: во всех одинакое отсутствие замысла, недостаток смысла, небрежность отделки, неестественность характеров и поразительная бедность содержания. Г-н Боборыкин давно известен как очень бездарный писатель; но особенно дурны были всегда его писания по театральной части. После того как он напечатал в своем

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
собственном журнале драму “В мире жить, мирское творить”, думалось, что авось-либо он уж и сам убедился, что написанные таким образом вещи не годятся ни для сцены, ни для печати; но не тут-то было.

Новая пьеса г. Боборыкина называется “Иван да Марья”. Сюжет этой пьесы самый незанимательный, и построение ее самое бестолковое. Все дело вот в чем: Марья, хозяйка постоялого двора, вольная крестьянская девушка (г-жа Глебова), любит своего батрака, Ваньку Жигарева (г. Васильев). Марья наряжает Ивана в красные ситцевые рубашки и в желтые китайчатые кафтаны, ласкает его, точь-в-точь как некрасовская дворянская дочь должна была ласкать своего огородника, и живет Ванька у Марьи припеваючи. Марье сватают женихов, за нею ухаживает зажиточный прасол (г. Зубров); ее преследует недобрая слава – но Марья ни на что это не обращает внимания и все любит Ивана. Но вдруг Марья замечает, что ее Иван играет с проживающей в деревне бедной дворянской девушкой Пашей (г-жа Натарова). У Марьи поднимается ревность, и она дает Ивану почувствовать его батрачье положение, раздражив в то же время его ревность ласковым обхождением с прасолом. Иван не стерпливает обиды, крадет у Марьи серую лошадь и убегает на ней куда глаза глядят; но прасол его нагоняет, ловит и приводит назад на аркане. Марья выручает Ивана, объявляя, что она подарила ему лошадь, и, чтобы замять дело, дает взятку старшине, а сама целуется с Иваном, и комедия кончена... Да, комедия действительно вся здесь рассказана; но, чтобы ее сделать как можно скучнее и растянуть на три акта, г. Боборыкин употребил некоторую невинную авторскую хитрость. Нимало не стесняясь соблюдением живой связи действий и причинностью явлений, вызывающих драматизм сцен и борьбу характеров, г. Боборыкин напустил в свою драму по лопате всякого жита, какое было на току неотвеянным. В его комедии сначала появляется “проезжая пожилая барыня Варвара Павловна”. Это – лицо, ни на что решительно в драме не нужное и поставленное единственно для замедления ее хода и для скуки. Помещица эта пьет чай, болтает с хозяйкою, потом толкует с ямщиками и, наконец, уезжает. Четыре выводимые на сцену ямщика почесались на сцене и, ко всеобщему удовольствию, увезли с нее не интересную никому “пожилую барыню”. Потом, Бог весть ради каких потребностей, вызывается из времени и пространства некий помещик Зудеев. Это болтун, дурак и либерал, который или дрыхнет перед публикой на сцене, или в минуты бодрствования рассказывает, как его любит народ. Довольно бы, кажется, столько вздора; но г. Боборыкин разошелся... Ему показалось еще недостаточно шести появляющихся совершенно беспричинно человеческих лиц, и он еще выпускает двух скотов – одного двуногого, в виде омерзительно пьяного лакея помещика Зудеева, и одного настоящего четвероногого скота – серую лошадь. Да, настоящую, живую серую лошадь! С легкой руки г. Серова, у которого, в опере “Рогнеда”, Владимир Красное Солнышко выезжает на сцену верхом на коне, лошади начинают принимать все более и более деятельное участие в разыгрывании русских драматических произведений.

Мы уже вволю насмотрелись на лошадей в “Рогнеде” и в “Смерти Грозного”, но в этих пьесах лошади, по крайней мере, действительно помогают полноте картины. Владимир Красное Солнышко, являющийся на коне среди векового леса, и два московские боярина, выезжающие верхами на богато убранных лошадях в середину голодной и оборванной толпы порывающегося на бунт народа, – помогают сценическим эффектам; но на что была нужна лошадь Ивану да Марье? На то, чтобы Иван украл ее у Марьи. Вы, конечно, можете сказать, что это можно было рассказать, вовсе не выводя самой лошади на сцену; можете сказать, что иллюзия сцены побега могла быть достигнута гораздо вернее посредством произведения за кулисами удаляющихся ритмических ударов, подражающих ударам копыт скачущей лошади, – все это было можно, и всякий другой, может быть, так бы и распорядился;

Но пришло в мысль Боборыкину:

Ну-ка дай я штуку выкину, и выкинул.

Удивительный этот писатель, г. Боборыкин!

За Иваном с Марьей и с лошадью в бенефис Васильева шел отрывок новой комедии г. Алексея Потехина. Для тех, кто не имеет навыка отличать одного от другого двух братьев Потехиных, Николая и Алексея, напомним, что этот отрывок принадлежит г. Алексею Потехину, автору “Мишуры”, человеку, не лишенному дарований, а не г. Николаю Потехину, автору “Безобразников”, человеку, имеющему, может быть, весьма замечательный политический смысл, но мало дарований литературных.

Судить о целом по отрывку, и притом не зная наверно, сколь существенную часть целого составляет этот отрывок, весьма затруднительно; но, насколько можно понимать значение сыгранного перед нами куска из новой комедии г. Алексея Потехина, комедия его, должно быть, задумана весьма недурно. Вот в коротких

У отставного генерала, ветхого днями старичка, есть еще очень свежая сорокалетняя жена, которой “хочется жить”, и ей нужны деньги. Эта жизнелюбивая молодая жена гонит старичка во что бы то ни стало раздобываться для нее деньгами; а старичок, кости которого просят покоя и мира, говорит, что ему денег доставать негде. Происходит семейная сцена, к концу которой генеральшу посещает некая Серафима Францевна – петербургский стряпчий в женской юбке. Фактор этот приносит весть о возможности соединить браком молоденькую дочь генеральши с страшным богачом, Кутузкиным. Генеральша себя не помнит от радости при этом предложении; она униженно подличает перед факторшей, упрашивая ее выдать Катю замуж за Кутузкина и достать пять тысяч рублей самой генеральше. По уходе факторши генеральша начинает делать дочери внушения, как хорошо будет, когда она через полтора-два года по выходе за Кутузкина будет богатой вдовою. Девушка, разумеется, не внимлет этим внушениям: она плачет и не хочет продавать себя старику Кутузкину. Но тут внезапно является ее брат, Федор Иванович, которого играл новый дебютант, г. Монахов. На этом Федоре Ивановиче надеты светлые триковые панталоны и черный бархатный пиджак, в котором он, правду сказать, очень мало похож на генеральского сына. Федор Иванович возвращается с веселого пира, где он проиграл пятьсот рублей какому-то графу Бржебужицкому.

– Все проиграл, кроме любви к родителям! – говорит Федор Иванович, ласкаясь к своей свежей еще матери и целуя ее руки; а мать ему жалуется на непокорность его сестры, которая не хочет идти замуж за миллионера Кутузкина.

Брата это удивляет.

– Катя! – восклицает он. – Да ты подумай, что ты это делаешь? От какого ты положения отказываешься? Этакую кладовую-то упустить! Владеть миллионами, быть благодетельницею своих родителей, своего брата, – и т. п.

Девушка слушает все это, а братец все проповедует и наконец, доведя речь к заключению, восклицает: “Иди ж скорей, оденься пооткрытей, чтоб голое плечо блестело, чтоб ножка в тоненьком, прозрачнейшем чулке мелькала... Эх, черт возьми!”

Это “черт возьми” в устах братца звучит словно: “Эх, сам бы ел эту ягоду!”

Услышав это восклицание, сестра быстро поворачивается на одной ноге и уходит; а в ее отсутствие начинается очень занимательная сцена между сыном и матерью. Мать упрекает сына, что он дурно себя ведет: сын нимало не конфузится и держится перед матерью с невозмутимым спокойствием. Он все продолжает ласкаться к ней и не забывает про пятьсот рублей, нужных ему, чтобы рассчитаться с графом Бржебужицким. Чуть мать поднимает голос, сын становится еще нежнее и в то же время вытаскивает против нежной родительницы ее же собственные орудия; тычет ее, как кошку носом, в ее же собственные бестолковые слова – слова, которые эмансипированная дура болтала, подражая “духу времени”.

– Пороки не искореняют строгостью, – говорит он, шутливо улыбаясь в глаза своей матери и повторяя ей ее собственные фразы, – нужно, мутерхен, с детьми гуманное обращение. – И мать, которая в эту же самую минуту, как змея, собирается пожрать свою собственную дочь, действительно становится гуманною по отношению к сыну и обещает выручить его пятьюстами рублями, как только состоится продажа Кутузкину Кати. Мать и сын во всей этой сцене дают право заключать, что г. Алексей Потехин основательно вдумался в эти типы и справится с ними как нельзя лучше. Гнусная мать, потатчица слабостей презренного сына, не понимающая ни одной из задач воспитания и в то же время издевающаяся над всякой дисциплиной в воспитании, – тип, который распространен необыкновенно в наше время и с каждым новым днем распространяется все более и более. Сын умнее своей матери. Принимая участие в запродаже сестры, он далеко превосходит мать в знании людей и в мастерстве их эксплуатировать. Мать его, как она ни гнусна и ни своекорыстна, не проведет даже факторши Францевны и должна ей кланяться, подличать перед ней и унижаться. Это натурка маленькая, мелконькая и трусливая: ей по силам одни мелкие подлости, достигаемые способами самыми примитивными, тогда как сын ее другое дело: это негодяй комплектный, вполне сформированный и вполне современный. Он приготовлен к негодяйству самым целесообразным воспитанием и продолжает свое развитие в вполне современной школе. “Живу, – рассказывает он своей матери, – с такими людьми, которым за одни фамилии чины дают: столпы отечества будут”. Этот сын с

своей матерью хотя звери и одной породы, ибо и у него, точно так же, как у нее, есть и лисий хвост, и волчьи зубы, но велика разница в их умении вилять хвостом и запускать свои зубы. Мать виляет хвостом только по инстинкту, как лиса; а он несет свой хвост тихо и не щелкает зря зубами на каждого бессильного человека. До сих пор он употребляет свой хвост пока еще только для заметания следов, которые делают его лапы; а со временем, когда войдет в постоянный возраст, будет употреблять этот хвост для затиранья крови, что засочится из-под зубов его. Он не обижает нынче своего отца, потому что в том выгод не находит: зачем же ему обижать без пользы? Он продает сестру спокойно, а ее покупателя, старика Кутузкина, располагает в свою пользу совсем иными средствами, чем стремящаяся к тому же самому мать его. Он не прибегает, для снискания этого расположения, к униженным мольбам, не хнычет и не драпируется нежными чувствами, а очаровывает старца практичностью своих взглядов на жизнь и достоинством своего поведения. Не имея возможности совсем скрыть от Кутузкина свое бездельничанье, праздность и фланерство, он находит достойное оправдание своему поведению и на вопрос: почему он не студент, а вольнослушатель? – отвечает, что вольнослушателем быть гораздо лучше, что у вольнослушателя поле шире, что вольнослушатель, посещая только избранные лекции, изучает жизнь; а это самое главное. Он понимает, что старый миллионер Кутузкин не из тех людей, чтобы стоять за науку. Это не масон, не птенец разрушенного новиковского гнезда, не человек плетневского или другого из кружков, группировавшихся около известных, почтенных личностей: это просто благодатный золотой кулек, невежда, который, вероятно, временами и сам сознает свое невежество и не может любить людей с основательным развитием. Федор Иванович понимает, что такой старик, взамен всех недостающих ему познаний, непременно должен считать себя знатоком людей и практической жизни, и потому он сейчас же попадает ему в ноту, заявляя и себя человеком, уважающим одни лишь эти знания и готовым идти в жизни по следам Кутузкина, то есть посвятить себя искусству разгадывать человеческие слабости и эксплуатировать их в свою пользу. “Жизнь изучаю”, – говорит он Кутузкину, и очарованный им Кутузкин отвечает ему, что “это самое важное” С этих пор вы чувствуете, что Кутузкин будет в руках Федора Ивановича и Федор Иванович выжмет из него все, что ему нужно. Отрывок комедии кончается помолвкой Кати с Кутузкиным, и мы, к сожалению, остаемся в полной неизвестности, что сделает автор в дальнейшем ходе пьесы со всеми лицами своей комедии; но остаемся до последней степени на их счет заинтересованными, ибо Федор Иванович представляет собою один весьма рельефно выступающий современный тип.

Не подлежит никакому сомнению, что своекорыстие, низость, жестокосердие и сластолюбие, как и всякие другие пороки человечества, стары точно так же, как старо само человечество; но несомненно и то, что формы, в которых проявляются порочные склонности человеческой природы и отношения общества к этим проявлениям, в разные времена весьма разнообразны и всегда достойны внимательнейшего наблюдения. Рабская покорность своим страстям и преследование дурных, недостойных целей у людей простых, почвенных, невыдержанных, по преимуществу проявляются в формах столь грубых и несложных, что для распознавания их почти нет нужды ни в какой особой наблюдательности. Все пороки этих людей ходят нагишом, как ходили наши праотцы. Но те же самые пороки у людей, приученных уважать известные условия жизни и соблюдать декорум порядочности и благонамеренности, не только скрывают наготу свою, но даже не ходят с открытыми лицами, а гримируются и разнообразят эту гримировку до бесконечности. Над этим искусством цивилизованное человечество трудилось очень немало и зато усовершенствовало его до степени весьма замечательной. Нет почти ни одного благородного флага, под которым не провозились бы к своим целям контрабандою самые гнусные замыслы и стремления. Религия, филантропия, служение идее, святая любовь к родине и столь же святая любовь к человечеству – все было эксплуатируемо и еще не раз будет эксплуатировано дурными людьми для достижения самых дурных целей. Дурные люди всех решительно слоев общества эксплуатируют каждую из этих струн по-своему; но всякий из них; с помощью своего способа эксплуатации, достигает результатов далеко не одинаковых. Ханжа в рубище странника, вытягивающий гривенники и двугривенные на масло или на ладан от Гроба Господня, которыми он запасется в первой травяной лавочке, и иезуит, склоняющий больную, требующую утешения душу отписывать братству многоценные имения, которые должны были обеспечить целые семьи и которые вовсе не нужны Богу, сказавшему: “Я милости хочу, а не жертвы”, – это один и тот же сорт шарлатанов; но первый из представителей этого сорта, ханжа, странник, ограничивается мелкими, ничтожными срывами с легковых, тогда как вторые берут в свои загребистые лапы не только целые семьи, но даже целые государства и народы. Над первым можно смеяться, но его можно терпеть; второго нельзя терпеть, и позволять ему усиливаться –

преступно. Ту же разницу в значении достигаемых целей мы увидим, обратясь к деятельности разных людей, эксплуатирующих общественную филантропию. Стоит только для сравнения взять сначала самый примитивный у нас способ этой эксплуатации: нищенство и попрошайство с просительным письмом на бедное семейство, а потом самое высокое развитие этой же профессии, когда человек, эксплуатирующий общественную филантропию, сам прикидывается благотворителем, ораторствует в заседаниях обществ, устраивает благотворительные спектакли и на счет бедных дает балы и вечера, нужные лишь ему самому для сдачи с рук взрослых дочерей и для снискания общественного расположения. Прodelка с просительным письмом при этом сравнении покажется нам только невинною детскою игрушкой. Опять то же самое представится нам, когда мы припомним, как люди различных цивилизаций служат одной и той же идее, положим, хотя бы, например, революционной идее. Если мы припомним характер пугачевщины и вообще представим себе нашего бунтующего мужика или даже наших недавних революционеров, бесхитростно являвшихся с воззваниями к солдатам в гвардейские казармы, и посравним с их приемами тонкую неумирающую интригу поляков, то какая неизмеримая разница представится нам и в способах действий и в размерах достижения целей! Казнили Пугачева, разогнали его ватаги, и бунт пал и покорился; придет в бунтующую деревню батальон солдат с розгами, перепорет бунтующих мужиков, и нет бунта; перетряхнет полиция распространителей революционных сочинений в солдатских казармах, и нет охотников идти их дорогою. А польская революция, кажется, задушена, вывезена в другую часть света и там, еще раз задушенная, скована, и, несмотря на все это, как связанные братья Давенпорт, показывает свои бледные руки то оттуда, то отсюда, откуда их, кажется, нельзя бы высунуть и откуда их всего менее ожидаешь. Возьмите, в самом деле, нашего алчного, но простодушного революционера, заматывающего десяток рублей, собранных для изготовления специально-демократических прокламаций, и вспомните компаньонов Мерославского, не торопившихся пачкать свои ладони в пятаках и гривнах, а солидным образом запусивших руки в патриотический карман своих соотчичей. Какая громадная разница! И так именно везде и всегда: везде грубые, менее цивилизованные плуты и эксплуататоры не отличались ни внешнею скромностью, ни благородием и тактом; они обыкновенно голодными псами кидаются на всякую падаль, проворовываются необыкновенно скоро, разоблачают один другого со всеусердием и обыкновенно не успеют оглянуться, как уже бывают лишены всех средств продолжать надувание почтеннейшей публики. А негодяи высшей цивилизации идут к достижению своих целей путями гораздо более верными, обдумывают свои планы зрело и осуществляют их в размерах самых полных и совершенных. Едва ли не самый лучший образец того, как одно и то же орудие в руках бесхитростных простаков служит к их собственной пагубе, а в руках людей более и лучше дрессированных становится силою, готовою служить им для их целей, представляет нам в настоящее время безнравственное учение, известное у нас под именем учения нигилистов. Будучи изобретено воспитанниками духовных семинарий и академий, учение это прежде всего распространилось из духовных училищ между людьми невысокого полета, и выразилось рядом одна другую превосходящих глупостей. Цели и все задние мысли грубых людей, вводивших это безнравственное учение, были замаскированы такими плохими масками, что не прошло и пары лет, как все их планы и приемы были разгаданы и осмеяны. Нигилистическая грубость низкопробных бездельников драла глаза обществу, и общество показало этому бездельничанью свое глубокое презрение, а правительство сказало ему свое стой! и грубые шавки с мордашками, лаявшие на все кресты и знаменья, которые чтит народ наш, замолчали. Но в то время, когда правительство уже решилось произнести свое слово, в некоторых других кружках из нигилистических газет и журналов уразумели, что принципы осмеиваемого и преследуемого учения как нельзя более отвечают всем стремлениям строить свое благо, не смущаясь строгими уставами нравственности. Правда, что это поняли еще с самого объявления нигилистических принципов даже те грубые и недалёковидные люди, которые фигурируют в романах "Марево", "Взбаламученное море" и "Некуда", но они, поняв это, по простоте своей и примитивности своих характеров не сумели нимало воспользоваться всеми выгодами этого учения. Они даже не открыли близкого сходства его начал с началами иезуитов, которым некоторые, может быть не совсем бесосновательно, приписывают изобретение нигилизма для еретической России. Первые русские нигилисты нимало не проникли в дух своего учения и по простоте своей и грубости хотели распространять его нахрапом. Они, как легендарные дулебы, ринулись в погоню за слабыми обрами и разбежались так шибко, что сами поскакали в море, к которому хотели припереть гонимых. Эти новые дулебы были осмеяны и, надоев всем своею грубостью и глупостью, брошены ныне без всякого внимания. Люди высших слоев, не пресходящие погибших дулебов нравственностью, но имеющие перед ними неотъемлемое превосходство в выдержанности и внешней благовоспитанности, обратив

внимание на это учение, поступили иначе. Они сначала смеялись и потешались над нигилизмом как над сущою глупостью; но потом вскоре поняли, что нигилисты в существе гонятся за тем же самым, за чем гоняются и за чем готовы весь век гоняться они сами, то есть за силою, за влиянием, за угождением своей плоти и своим страстям, без всякой нравственной борьбы и пожертвований. Они увидели, что теорию нигилистов можно очень ловко воспользоваться, и взялись и за отрицание чувств, и за порицание дисциплинарных мер, и за иезуитский девиз: “Цель оправдывает средства”. Но, будучи выдержаннее и благовоспитаннее изобретателей нигилизма и первых апостолов этого учения, новые его адепты избегают всех грубостей и ошибок, отмечавших шествие первых “болванов петербургского нигилизма”. Новые нигилисты избегают клички, тогда как те обрадовались ей и в простоте души на первый тургеневский оклик откликнулись: “да, мы нигилисты”. Эти не отрицают во всеуслышание чувств и не кричат о брюхе да о его значении, а на деле практикуют великое новое учение: для них все nihil, все ничто, и

Только то лишь одно и действительно, что для ихнего тела чувствительно.

Они знают, что “бесплодно спорить с веком”, ибо “обычай – деспот меж людей”, и зато результаты их деятельности уже осязательны и, вероятно, будут многообильны своими последствиями. Старцы не видят в них таких врагов, каких они видели в грубых нигилистах первой эпохи нигилизма, а называют их здравомыслящими, рассудительными людьми и, пляшучи по их дудке, не замечают, что они пляшут.

У них везде будут свои друзья и защитники, а потому и борьба с ними будет гораздо труднее, чем борьба с Галкиными, Белоярцевыми, Прорвичами и гимназистом Колей. Вращаясь среди людей, которые “за одни фамилии получают чины” и “готовятся быть столпами отечества”, они найдут себе и опору, и на них нельзя смотреть сквозь пальцы ни одной минуты, ибо они растут и укрепляются зело и зело.

Повторяем, нам неизвестно, что сделает г. Потехин из своего Федора Ивановича. Может быть, в целой пьесе этот Федор Иванович не только не главное, но даже и совсем не видное лицо; но в отрывке, как мы его видели, этот господин занимает очень видное место, и автор может сделать из него тип самый современный и необыкновенно замечательный. Нам этот Федор Иванович рисуется впереди очень большим лицом, и мы думаем, что в этом лице автор, несомненно, может показать одну из самых больших язв нашего века. Так ли задумано это лицо у г. Потехина, как нам чувствуется, или почтенный автор и ныне, щадя современность, будет беспощаднее к сложившей свое орудие крепостнической старости и не поведет свою комедию далее “Отрезанного ломтя”? Хотелось бы верить, что мы не ошибаемся, что г. Потехин, как русский незлопамятный человек, не будет находить долгой услады в том, чтоб карать свою сатиру давно покоренную спесь и немощь отжившего барства, а устремит свои силы на борьбу с новым злом, которое, как полированный змей, выходит на нашу землю из того самого озера, в которое еще так недавно спихнуты шершавые нигилистические дулебы.

Наступивший великий пост кладет конец наплыву наших пьес и появлению на сцене новых талантов, и мы, оканчивая статью, может резюмировать ею всю театральную хронику нынешнего сезона.

Сезон этот прошел, как прошли многие, предшествовавшие ему, – не особенно счастливо и не особенно несчастливо. Новых пьес было мало, но все они были очень замечательны лишь одною бесталантною авторов. “Смерть Грозного” ждет еще времени для произнесения о ней основательного приговора. До сих пор ясно только одно, что на петербургской сцене пьеса эта едва ли может долго идти, несмотря на то, что она делала громадные сборы. Публика наша смотрит ее по ее громкой славе, по сочувствию к ее автору; но самая пьеса эта, очевидно, не по плечу нашим артистам, и ее легко может ждать судьба “Воеводы”. Все пересмотрят ее по разу и охладят, ибо любоваться чьей бы то ни было игрою в этой пьесе не выпадает на нашу долю. Мы не говорили ничего об исполнении этой пьесы и не хотим утруждать читателей, приводя сравнения между игрою гг. Васильева, Самойлова, исполнявшими роль Грозного, но скажем, что мы вполне разделяем мнение того фельетониста, который, посмотрев обоих этих артистов в роли царя Ивана Васильевича, написал, что “мы видели на сцене Павла Васильевича (Васильева), потом Василья Васильича (Самойлова); но Ивана Васильича (Грозного) не заметили”.

Из новых дебютантов, которых не много и было, снискал общее внимание один г. Зубов, составляющий действительное приобретение для петербургской сцены.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Дебютировавший в бенефис г. Васильева г. Монахов еще ничем не определился... По части женского персонажа новостью этой зимы был успех г-жи Струйской (первой) в "Светских ширмах" и в "Гражданском браке". Актриса эта, игравшая до сих пор вторые и третьи роли, вдруг вышла в первых ролях и очень понравилась и публике, и рецензентам, но затем вдруг стала и не двигаться, так что говорить об ее дальнейшей игре, по нашему мнению, пока не следует, чтобы не попасть по торопливости впросак.

Итак, провожаем мы наш театральный сезон такими же скромными буржуа, какими были при его начале: щегольнуть нам нечем, а похвастаться и подавно. Провинциальные газеты говорят нечто весьма лестное о некоторых провинциальных артистах, о Стрелковой, о Виноградове; да уж боишься и верить этому говору, как вспомнишь о тех метаморфозах, какие происходят с провинциальными талантами при пересадке их на столичную сцену.

РУССКОЕ КУПЕЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЮ К НАХОДЯЩИМСЯ ПРИ НИХ ТОРГОВЫМ МАЛЬЧИКАМ. ЕВРЕЙСКИЕ КУПЦЫ В ЭТОМ ЖЕ ОТНОШЕНИИ. НАША ПРОСЬБА К "JOURNAL de ST.-PÉTERSBOURG" И К ПРАВЛЕНИЮ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ КОМПАНИИ. – ЕВРЕИ-ЛЕКАРЯ
С – Петербург, пятница, 6-го апреля 1862 г

У нас в недавнее время обратили внимание на положение детей, отданных в ученье к различным ремесленникам, и оказалось, что детям у этих господ было не очень-то хорошо. Вследствие известных мер теперь хозяева обращаются с мальчиками и девочками гораздо лучше: их не бьют зря по чем попало, не таскают за волосенки, не толкут головою об стену, дают время и место для отдыха и не совсем негодную пищу. Вообще положение детей, обучающихся у ремесленников, улучшилось, и мы начинаем встречаться с ними в воскресных школах. Если надзор за отношениями ремесленников к ученикам не будет значительно ослабевать, то можно надеяться, что ремесленный ученик будет выживать учебные года без большого горя и окончит свой курс с здоровыми ногами, целым черепом, здоровой грудью и еще с грамотою в голове, тогда как его сверстник, торговый мальчик, остается в том же беспомощном положении, из которого признано было необходимым вырвать детей, обучающихся ремеслам. Даже более: настоящее положение торгового мальчика во многих отношениях хуже и вреднее минувшего быта ремесленного ученика, и на это нужно безотлагательно обратить христианское внимание.

Купец не стеснен ни одним из тех правил, которые заставили ремесленника не изнувать своего ученика, давать ему в неделю один свободный день, пускать его в школу и не морить над работою. Посещая воскресную школу, ребенок скоро узнает, что хозяин его бить не смеет, и он сам мало-помалу ставит отпор хозяйской руке, если она поднимается, не боясь штрафа и закрытия заведения. Работник или подмастерье иногда, по старой привычке, еще стегнет мальчика потягом по спине или ткнет его утюжкой под брюхо, но это уж за битье не считается. В воскресенье мальчик поучится, пробежится, выработает на какой-нибудь починке гривенничек или пятиалтынный, половину проест, а другую спрячет в сундучок, и ему живется; он бодро встречает утро понедельника, потому что видит за ним вожделенный вечер субботы и свободное воскресенье с "добрыми господами" в школе, с гривенниковым заработком после обеда, с белой булкой и узлом подсолнухов. У ремесленного мальчика уже развиваются социальные понятия и свои представления о чести и обязанностях к другим; у них, в своем ученическом кружке, завязываются артельные, или ассоциационные, начала. У мальчиков, например, столярного заведения есть уж такой, которому маленькое общество поручает приискивание работы, доверяет ему принимать "починку" и условливаться в цене, словом, делать ряд. Такой уполномоченный избирается из самых толковитых и собирает через дворников в своем и соседних дворах всякую работу: и белодеревную, и клеевую, и фюрниры, и обойку, и все прочее, что по "небольшой части". В воскресенье, поучившись в школе или не поучившись, малолетняя артель идет кто с чем гош, кто с гвоздиками да с обойным молотком, кто с клевою кастрюлькой, одним словом, к каждой взятой "починке" приступает специалист и исполняет свой дешевый заказ весьма аккуратно, а вечером – сверстка. Выручку делят по заработку, с общего рассуждения, по совести. Разумеется, заработок этот очень ничтожен, его можно считать кругом от 20 до 40 копеек в неделю на хорошего мальчика: но этот заработок приучает мальчика к свободному труду, заставляет его ценить время и развивает в нем понятие о великом значении соединения сил. Такой мальчик выживает свои ученические года, приготавливая в себе человека, годного для такой русской жизни, о которой его отец не смел и подумать в своей молодости: для жизни труда, довольства и независимости.

Теперь посмотрим, что ожидает фалангу этих мальчиков, бессмысленно толпящихся с

Страница 322

утра до ночи, летом и зимою, у лавочных порогов; раскланивающихся с глупою ловкостью гостиндворского денди и произносящих каким-то гортанным акцентом: “галстуки, духи, помада, пожалуйста, господин! мадам! у нас покупали” и тому подобные вздор и ложь.

Торговый мальчик живет у купца; спит он где-нибудь за ширмами в передней или в темной каморке, иногда в кухне и очень редко в молодцовской. Жалованья, конечно, не получает, но имеет от хозяина платье и обувь, ибо самому хозяину нужно, чтобы стоящий у его лавки мальчик был обут и одет прилично. Встает мальчик раньше всех в доме и чистит платье: хозяину, приказчикам и молодцам. На каждого мальчика приходится ежедневно перечистить несколько пар калош, сапог и платья, а также осмотреть и подкрепить пуговицы. За недосмотр и неаккуратность производится приличная потасовка. На произведение этой операции имеет, конечно, главное право сам хозяин, но он не пользуется этим приятным правом один, а разделяет его со всеми своими сотрудниками. Таким образом, мальчика щиплют и толкают все: хозяин, приказчики и молодцы, а по их примеру иногда и кухарка. Мальчики встают раньше всех, ставят самовар и подают его на стол к общему восстанию от сна. Они ставят стаканы и столько белых или желтых глиняных кружечек с ручками, сколько состоит мальчиков. Из стаканов им пить не дозволяется, чтобы не было видимых знаков равноправия с молодцами и не возникло бы оттого в голове “косопузого” какого-нибудь опасного вольнодумства. В каждую кружку наливается приличная порция горячих чайных помой и дается кусок сахару. Порцию эту мальчики употребляют, стоя за тем же столом, около которого сидят и чаевничают приказчики и молодцы. Выглотав свои помойцы, мальчики бегут к запертым лавкам и стоят возле них, ожидая приказчика с ключом. Зимой это ожидание могло бы казаться очень неприятным, но мальчики на него не жалуются, так как этот получас представляет самое удобное время, когда они могут быть детьми, могут поболтать, пошалить и поссориться. Отпирается лавка или магазин. Начинается стояние, длинное, утомительное, несносное и вредное стояние с 8 часов утра до 8 часов вечера. В течение этих 12 часов мальчики, между которыми есть очень много десятилетних детей, не имеют права садиться. Есть покупатель или нет – мальчики все должны стоять из субординации и разминают свои отекающие ноги только на побегушках к “саешнику”, в “водогрейню” или к покупательницам “править долги”. Мальчик, впрочем, рад случаю пробежаться; он на ходу отдыхает и развлекается от томящего его в лавке контроля над каждым его движением. Но и возвращаясь из командировки, мальчик не смеет присесть отдохнуть и снова стоит. К вечеру он совершенно изнурен, особенно сначала, когда ребенок еще не освоился с 12-часовым стоянием на ногах. По возвращении вечером домой мальчики обедают и вслед за тем ложатся спать. Приказчиков большею частью нет дома: одни загибают уголки; другие усердствуют акцизно-откупному комиссионерству, третьи наблюдают свои способности к фамилизму. Молодцы же ловят бабочек, или просто шляются в приятных местах, или, наконец, “концертничают”. Подражание дьяконам и архиерейским певчим, как известно, составляет самое высокое эстетическое наслаждение возрастающего всероссийского купечества известного сорта. Начинается ночь, начинаются звонки. Возвращаются приказчики, кто твердой поступью, кто пошатываясь, кто совсем на дворнических плечах. Мальчики вскакивают, протирают сонные глаза и принимаются разоблачать и укладывать начальство “на покой”. Начальство бурлит, ругается, а иногда шалит, протянет пьяную лапу к головке мальчика: “Дай-ка, – скажет, – я тебя взвошу”, и взвошит. Коллеги лежат и смеются; мальчик тоже не плачет и скрывает слезы, наворачнувшись от “взвошки”. Ложатся. Начинается пьяный вздор, в котором детское ухо слышит много раздражающего и соблазнительного, а молодой ум не умеет отделить во всем этом вздоре ложь от микроскопических частиц правдоподобия. Слышится: “Гувернантка”. “Врешь!” “Ей-Богу!” “Где?” “В Палермо”. “Врешь!” Шепот. Опять громкие: “Врешь”. “Право”. “Генеральша!” “А ты думал? десять целковых получил и еще как гливейном накатила”. Пьяный все завирается больше и больше, в разговоре все появляются женщины самых крупных светских положений. Пьяный врет, полупьяный не верит, но слушает, чтоб завтра самому врать то же самое, ставя себя на место героя, а ребенок все слушает, всему верит и слагает всю эту мерзость в своем сердце.

Мастеровой мальчик тоже видит сцены развращающие, слышит разговоры, распалюющие чувственность; но все, что он видит и слышит, менее грязно и цинично, чем то, что слышит – и всему, в простоте своей, верит мальчик торговый. Мастеровой мальчик видит, как работник “играет” с хозяйской кухаркой, а в этой игре не без широких манипуляций; он знает, кто работникова “полюбовница”, знает, что этот работник под пьяную руку задает и клычку другу своего сердца; но он же видит, с какой искренностью этот работник сожалеет, что ни за что, ни про что оборвал бабу, и еще усерднее гнет свою спину, чтобы чем ни на есть потешить обиженную

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
занапрасно и вернуть мир и любовь в свой незаконный союз. Это грубо, но не более; над этим можно скорбеть, но от этого можно еще ожидать лучшего. Здесь грубый любовник все-таки человек; он, по необузданности своей натуры, оскорбляет связанную с ним женщину, но считает неременным и самым естественным долгом поделиться с нею своим скудным добытком и внести хоть какую-нибудь долю довольства в бедное житье любимой им рабочей женщины. Они грубы оба, он ее бьет, она его ругает, и между ними стоит пословица: “милые бранятся, только тешатся”. Таковы еще нравы, таково еще развитие. Но все-таки здесь люди: это мужчина, работающий для приводящей его в бешенство, но в то же время и для любящей его (по-своему) женщины, и это женщина, прощающая человеку обиды, вызванные ее обидами, и благодарная ему за его заботы.

Но то ли видит торговый мальчик, наблюдая своих приказчиков и молодцов, ходящих во французских перчатках и английских шляпах? Он видит не одну грубость и грязь, но – ложь и противоестественность. Он слышит о продажной связи, о... взятках, узнает о существовании самого отвратительного разврата и видит свой идеал, свое блаженство в возможности получать угощение и красненькую бумажку. В школу купец не пускает мальчика, и воскресный день для мальчика отличается от будня только тем, что он в праздник раньше оставляет свой теплый войлочек и бежит к ранней обедне. За этим хозяева наблюдают, ибо для них нет никакого убытка встурить ребенка часом раньше, а между тем они таким образом якобы радуют о его душе и о деле Божиим. Кроме петербургских магазинов и столичных гостиных дворов, во всех других лавках в воскресенье производится торговля, и мальчики торчат на ногах у дверных притолок. Но и в петербургском Гостином дворе тоже торгуют именно в те часы, когда в воскресных школах идет ученье. Таким образом, участь детей, обучающихся ремеслам, гораздо завиднее участи торговых мальчиков. Первые нас теперь радуют; в их смысленых головенках лежат добрые семена, из которых должны созреть плоды, пригодные для воспитания дальнейшего поколения, а в торговом мальчишке по-прежнему все забито, все замерло; кругом его все растлено и заражено рутиною и цинизмом, и ни одного слова чести, ни одной мысли, ни одного атома науки.

Московская пресса в прошлом году четыре или пять раз поднимала вопрос о торговых мальчиках. “Московский курьер” и “Московский вестник” (оба покойники: один умер в одиночестве, другой соединенным с “Русской речью”) выводили обстоятельства, которым не следовало бы запасть и заглохнуть так, как они заглохли. Были даже поименные указания на маститых купцов, систематически заколачивавших насмерть отдаваемых в науку мальчиков. Но... все остается по-старому, даже литература по-старому молчит, как молчала тридцать лет назад.

Русский народ очень любит ставить евреев в образец жадности и своекорыстия. Говорят: “торгуется, как жид”; “он все соки выжмет, как жид” и т. п.; но на днях мы получили “Третий годовой отчет первого субботнего училища для еврейских мальчиков ремесленного и торгового классов в Одессе” и, рассматривая этот интересный документ, призадумались над “жидовскою жадностью” и тороватостью русских торговых классов. Не говорим о том, что торговый класс одесских евреев жертвует деньги на это училище; но в числе 403 человек, обучавшихся там в 1861 году, было сто пятьдесят шесть мальчиков торговых лавок и сорок два приказчика, то есть половина учеников состояла из молодых людей, обучающихся торговле или уже занимающихся ею по найму, и только другую половину составляли ремесленники. У нас же в Петербурге, в Москве и в других городах торговых мальчиков нет в школах. Они и по праздникам или в лавке, или исправляют лакейские обязанности при хозяйском доме.

Конечно, все, что мы сказали о дурном содержании и грубом обращении с мальчиками, не может распространяться на всех хозяев без исключения, но отнятие у детей средств учиться по праздникам, кажется, может идти и без исключений.

Если голос литературы бессилен и не достигает торгового сердца; если русские купцы неспособны сами увлечься примером иностранных, по преимуществу английских фабрикантов, [105] которым тысяча русских детей обязана познаниями, вынесенными из школы, учрежденной за Шлиссельбургской заставой; то, несмотря на наше уважение к многосторонним заботам правительства и желание видеть общественные дела направляемыми мерами самодеятельности общества свободно, мы решаемся желать, чтобы правительство удостоило своего внимания тысячи русских детей, лишенных той возможности к образованию и здоровому развитию, которая, благодаря недавним мерам, сделалась доступною мальчикам, обучающимся у ремесленников.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Мы не желаем никого из этих мальчиков принуждать ходить в школы. Такое желание могло прийти только в головы господ, заседавших в Комитете грамотности, существующем при III отделении Вольного экономического общества. (Журналами этого замечательного комитета мы на днях будем иметь удовольствие заняться.) Мы считаем необходимым только дать торговым мальчикам возможность посещать школы и оградить их от грубого и невежественного преследования со стороны желчевиков торгового мира. Для этого, по нашему мнению, нужно:

а) Постановить правила для содержания торговых мальчиков. В этих правилах должно быть обращено внимание на все обстоятельства, не благоприятствующие гигиеническим условиям жизни. Вредные обычаи, вроде полусуточного стояния на ногах и битья по голове и щекам, – воспретить и предоставить мальчикам возможность искать законной гарантии своих человеческих прав.

б) Воспретить высылку детей в лавки в воскресные дни, когда есть учение в воскресных школах. Мы не добиваемся английского воскресного шаша, но желаем русского народного воскресенья, которое и крепостной крестьянин до 19-го февраля 1861 года всегда употреблял на себя. В праздник может торговать сам хозяин, если ему этого хочется; может стоять в лавке приказчик, который с тем нанимался; но не давать свободного дня в неделю ребенку, отданному родственниками, – беззаконно, и противодействие такому обычаю для детей и для общества, в которое они войдут невежественными людьми, – вполне позволительно и честно.

в) Снабдить каждого хозяина и каждого мальчика печатным экземпляром правил, дабы и те и другие не могли безответственно уклоняться от исполнения взаимных обязанностей.

Не выдавая нашего мнения за непогрешительное, мы готовы встретить на него всякие возражения и постараемся не оставить их без ответа, лишь бы дело о правах торговых мальчиков не запало по-прошлогоднему в долгий ящик.

Наши читатели, может быть, помнят, как мы излагали им наше мнение об управлении Российско-американской компаниею русскими инородцами и русскими богатствами в Америке (“Северная пчела”, № 47-й). После напечатания этой статьи все обстояло благополучно, а “Морской сборник” в мартовской книжке даже отозвался о ней довольно сочувственно и выраженные в ней мысли назвал “доказательными”. Но компании почему-то не понравилась эта статейка. По ее мнению, в статье этой заметно малое знакомство с вопросом и склонность оуждать достойные всякой похвалы распоряжения. Компания сначала порешила было не отвечать на эту статью, но один из ее акционеров (живущий в Харькове и читающий там “Journal de St. Pétersbourg”) прислал правлению письмецо, в котором, между прочим (чего правление компании не сообщило; вероятно, интимные вещи), пишет:

“Сейчас прочел я в № 41-м “Journal de St. Pétersbourg” извлеченную из “Северной пчелы” не заслуженную американской компаниею статью, которую для лиц, рассчитывающих на понижение биржевой цены акций, весьма выгодно пускать в народное обращение, наподобие фальшивой монеты. По этому поводу желательно знать, не прибегнет ли правление компании к опровержению этой статьи чрез какое-нибудь периодическое издание и не известно ли, как называется на алеутском языке self government, [106] которое великий государственный человек, сообщивший свою статью “Северной пчеле”, полагает учредить между алеутами и креолами во владениях компании? Не может ли правление сказать нам что-нибудь успокоительное по предмету всех этих замыслов, которые, хотя неосновательны, но тем не менее очень тревожат, потому что ложь между людьми легче пускает корни, нежели правда”.

Российско-американская компания, разделяя мнение своего харьковского акционера, что “ложь между людьми легче пускает корни, чем правда”, сочла своим приятным долгом сказать им (то есть акционерам) что-нибудь успокоительное по предмету всех замыслов, между которыми читателя “Journal de St. Pétersbourg”, удостоившего перевести нашу статью, особенно тревожит вопрос: “Как называется на алеутском языке self government” (курсив подлинника).

Правление компании, в удовлетворение желания своего харьковского акционера, сочинило статейку и прислало ее нам, а мы отвели ей место в 89-м № нашей газеты. Ее, вероятно, прочли наши подписчики, и потому говорить о ней много нечего, а

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

для тех, кто пропустил ее, напомним, что вместо опровержения наших указаний на недостатки компанейского управления представители компании привели несколько пунктов из статей, где говорится кое-что в пользу действий компании. Категорического и доказательного возражения нет в этом ответе, а в конце его правление заверяет всех, что “пока официальным, достоверным и правдивым образом определится все, что было сделано компаниею для достижения целей ее основания и оправдания доверенности, которую она не перестает пользоваться со стороны правительства, всякое частное суждение, как было и до сих пор, далеко не полно и, следовательно, малодостоверно”. Ну и прекрасно! По законам нашим “добровольное признание выше свидетельства всего света”. Компания сама выговорила, что частным людям под нее носа не подточить. Что же это делает ей торговую репутацию; дело торговое действительно секрет любит. Но тем не менее возражать все-таки нужно бы пообдуманнее, а то другой акционер из Воронежа или из Киева может заметить, что это не модель, когда говорят, что “вы, мол, берете взятки не борзыми щенками”, отвечать: “А вы в Бога не веруете”. [107] Так в просвещенных государствах не делается, и точно так же в тех государствах не делают безответственно и намеков на то, что статья, писанная для всей публики, составлена с темною мыслью подорвать биржевую цену акций. Мы покорнейше просим правление компании познакомить своего харьковского акционера с этим условием общежития и убедить его, что в словах self government вовсе не должно искать того значения, которое имели слова мани факел фарес.

Сверх того мы покорнейше просим редакцию “Journal de St. Pétersbourg” поместить, в дополнение к переведенному ею на французский язык мнению нашей газеты о Российско-американской компании, что и после возражения правления Российско-американской компании мы ни на волос не отступаем от своих убеждений о значении ее для русских владений в Америке; но еще более удивляемся ее умению вести 60 лет свои дела так, что “ни одно частное суждение не было и не может быть полным и достоверным”. Но при этом мы надеемся, что если Русь дождалась через 60 лет сочинения г. Тихменева и поняла это сочинение, то она дождетя и других материалов и тоже поймет их.

Евреи-лекаря просят на службу, и поэтому во многих местах возникает вопрос: можно ли лекарей определять на службу? В известном читателю распоряжении право поступать на службу предоставлено евреям, имеющим ученые степени доктора, магистра и кандидата, а кандидат по классным разрядам стоит ниже лекаря. Вероятно, лекаря будут признаны имеющими право вступать на государственную службу, хотя, конечно, не в Святейший Синод, но, в качестве врача, в духовные семинарии – может быть. А впрочем, в этом вопросе компетентны только И. С. Аксаков да Атта-Тролля.

“СЕВЕРНАЯ ПЧЕЛА” В РОЛИ АДСКОГО ЗЛОДЕЯ БУДУЩЕЙ ТРАГЕДИИ Г. ДЬЯЧЕНКО
С.-Петербург, суббота, 23-го июня 1862 года

Нападки на “Северную пчелу” нынче в моде; ругательства на нас сыплются со всех сторон. Одна газета, вообразившая себя нашим “литературным (?) врагом” или нас своим – мы никак не пойдем, в чем дело, – чуть не каждый Божий день угощает своих читателей передовыми статьями, в которых обзывает “Северную пчелу” “дряхлой”, “угорелой” и тому подобными более или менее лестными именами. Может, это и забавляет ее читателей: не нам судить. На подобные выходки мы не обращаем и не будем впредь обращать никакого внимания; пусть себе ругаются во здравие, наругаются всласть, авось перестанут: нам и нашим читателям от этого ни тепло, ни холодно.

Но не все поступают так. Некоторые газеты, считая себя, вероятно, более яркими поборниками истины, чем вышеписанная, решились приступить к нам с более грязными и серьезными обвинениями.

По поводу заметки в одном из наших фельетонов, что неизвестная коалиция из немцев занималась на пожаре воровством, “St.-Petersburger Zeitung” обвинила нас в желании восстановить русское население столицы против немецкого. Почтенный орган русских немцев получит желаемое объяснение от нашего фельетониста. [108] Предположение немецких ведомостей, конечно, весьма глубокомысленно; но, к несчастью, наши доморожденные ювеналы далеко превзошли немцев. Да не примет почтенная “St.-Petersburger Zeitung” этого замечания снова за желание унижить немецкую нацию!

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

В № 22-м “Искры” одно из “разных лиц”, взявших на себя, за отсутствием постоянного хроникера, обязанность составить часть обычной “хроники прогресса”, взвело на нас обвинение в таком страшном преступлении, что просто ужаси! 30-го мая в передовой статье “Северной пчелы” рассказывалось, между прочим, о слухах, ходивших действительно в народе о поджигателях. В № 151-м мы возвратились к этим слухам и энергически протестовали против обвинения студентов в страшном преступлении. “Искра” полагает, что этих слухов не было в народе: видно, ей лучше знать. Предоставляем нашим столичным читателям решить, были ли подобные слухи, и если были, то следовало ли их опровергать или нет. Не только говорили на студентов, но связывали поджоги с прокламациями. На Андреевском рынке, например, на Мытной площади и в других местах сборищ простого народа говорили: “Вот как стали подбрасывать разные бумажки, так и начались пожары”. Мы несколько раз печатно обращались к кому следует с просьбой об обнаружении всего хода следствия над поджигателями; конечно, теперь, пока следствие еще не кончилось, этого обнаружения и ожидать нельзя, по существующим законам, общим всем европейским державам; надеемся, что настанет наконец день этого обнаружения.

Рассказывая в № 143-м о слухах, разве мы обвиняли кого-нибудь? И если в наших словах была хоть малейшая тень обвинения кого бы то ни было, что же вы молчали тогда, обвинители задним числом? И что вы накупились на нас теперь, когда мы протестовали против обвинения студентов? Или вам уж непременно хотелось сделать нас такими “гнусными” злодеями, каких не производила даже досужая фантазия г. Дьяченко? Всеу есть свой предел. К чему доходить до смешного в своих обвинениях? К чему видеть гнусные и адские умыслы там, где их нет? “Зачем, – спрашивает нас “Искра”, – бросили искру в порох; счастье только, что пороху не оказалось”. Если не оказалось пороху, то в какой же порох это мы бросали искру? Эх, грозные обличители, говорите хоть так, чтоб грамматический смысл был! *Pas trop de zèle, surtout pas trop de zèle, messieurs!*[109]

Трагический тон, господа, вам не по силам; не лучше ли поступать попроще, называть “Северную пчелу” “дряхлою”, “угорелою” и тому подобными названиями; обвинять нас в инсинуациях и тому подобном. Это и легче для вас, да и для нас лучше. Вы будете ругать нас, а нам незачем будет обращать внимания на ваши слова. Теперь же, взведя на нас обвинения в адских умыслах, вы заставляете волей-неволей доводить до сведения наших читателей ваши карикатурные обличения; заставляете занимать место в газете вашими литературными дрызгами. Русский ли язык беден ругательствами!.. Ну, если не хватит русских, примитесь за иностранные; обзовите нас каким-нибудь чудовищем... что ли! Надоест это, так берите пример с “Гудка” (№ 22), который, в порыве благородного самоотвержения, весьма остроумно изобразил портреты членов редакции “Северной пчелы” едущими, в виде пожарных волонтеров, на колеснице, везомой редакцией “Русского мира”. Это, по крайней мере, забавно.

В заключение позвольте рассказать маленький анекдот. Берлинские торговки известны своим умением ругаться; раз шел по рынку студент, шел он задумчиво и нечаянно как-то наткнулся на лоток одной из торговок. Ну и накупились же она на него: ругательски изругала! Студент слушал, слушал, да и начал “альфа, бета” и так далее, дочитал всю азбуку до конца. Торговка замолчала. “Что ты?” – спросила ее соседка. – “Да я в жизнь таких ругательств не слыхала”, – отвечала глупая баба.

Надеемся, что более нам не придется рассказывать читателям о том, как честят нас некоторые газеты; мы и не упомянули бы совсем об этих курьезах, если бы не обвинение в адских умыслах! Ишь, куда хватили! *È sempre bene*, [110] господа!

СРЕДСТВА К ВОЗВЫШЕНИЮ НАРОДНОЙ НРАВСТВЕННОСТИ

С.-Петербург, пятница, 30-го марта 1862 г

21-го минувшего февраля в богоспасаемом граде Смоленске было собрание местного общества сельского хозяйства. Один из деятельных его членов, вице-президент общества Г. А. Коробут-Дашкевич, открыл заседание прелюбопытною запиской, о содержании которой нам грешно было бы умолчать, тем более что она вызвала единодушное одобрение всего общества.

Г. Коробут-Дашкевич начинает с того, что жалуется на усилившееся “в настоящее время” воровство, нареkanie в котором падает, по его словам, на крестьян, на мещан и на солдат, отставных и неотставных, и глубокомысленно заключает, что воровство теперь усиливается, делаются поджоги и “тому подобные неприятности”, и глубокомысленно, хотя и не без глубокой скорби, восклицает: “Надобно себе

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
представить, что будет, когда все дворовые люди получат полную свободу!”

Чтоб предотвратить все несчастья, которые, Бог знает почему, грозят г. Коробуту-Дашкевичу, сей глубокомысленный оратор видит одно только средство – возвысить народную нравственность, а этого, по его мнению, можно достигнуть, только сделав наказания позорными и соединенными с религиозным покаянием.

Не выписываем всего трактата г. Коробута-Дашкевича: любопытные могут найти его в № 11-м “Смоленских губернских ведомостей”; но познакомим только наших читателей с характеристическими чертами нового проекта.

В числе средств возвышения народной нравственности наш мыслитель ставит: обязательство священников непременно каждое воскресенье говорить народу приличные проповеди и издание указа, чтоб по деревням на улицах не было грязи, чтоб в избах и на дворе было чисто и “чтоб скот был заперт, или с пастухом” (чтоб он заперт был или с пастухом вместе или один?).

Средство к отвращению общества от порока г. Коробут-Дашкевич видит в издании такого указа: если преступник – солдат и состоит на службе, то взыскивать штраф со всей роты, и с солдат, и с офицеров, а при их, солдат, несостоятельности – сечь их розгами.

Для возвышения правосудия мыслитель полагает нужным разрешить всем сельским старшинам, помещикам и их управителям или приказчикам производить предварительные следствия по горячим следам.

Для усиления позора наказания, по мнению проектера, за первую маловажную кражу, не свыше 30 рублей серебром, необходимо:

- 1) Подвергнуть виновного взысканию убытков.
- 2) Привязывать в праздники на рынках к позорному столбу.
- 3) На столбе этом крупными буквами напечатать “вор”.
- 4) Наложить на виновного публичную эпитимию до 100 поклонов.

За вторую маловажную кражу новый кандидат в законодатели присуждает несчастного к взысканию убытков, к эпитимии, к позорной надписи, к позорному столбу и к ссылке с места родины или заработка.

Во всяком случае с общества, к которому принадлежал виновный, взыскивается штраф в половину покраденного, хотя бы обвиняемый и не был осужден, а только опозорен.

Но самым верным и легким средством прекратить воровство в целом мире автор наш полагает издание нового закона о том, чтобы никто никогда не осмеливался ни покупать, ни продавать ничего без совершения бумажного акта, подписанного двумя соседями с ясным обозначением продаваемого предмета и с засвидетельствованием надписей рук “какою бы то ни было властью, имеющею казенную печать”. В лавках всякая вещь должна быть записана в книге, которая, за шнуром и печатью, выдается из городских дум и ратуш. Кто что-нибудь купит, не удостоверившись в том по актам, отвечает наравне с вором.

Наш философ сам сознается, что брать свидетельство на каждую вещь затруднительно, но это, говорит, все вздор: “войдет в обыкновение – будет все в порядке”.

Пожалуйста, читатель, не подумайте, что мы шутим или позволяем себе издеваться. Право,нисколько! Вот подлинные слова протокола:

“Смоленское общество сельского хозяйства, сознавая всю важность развития в настоящее время законодательства для ограждения безопасности личной и по имуществу, признало предложенные вице-президентом г. Коробутом-Дашкевичем меры вполне заслуживающими внимания”.

Причем г. член Д. Ф. Брециньский, между прочим, полагал постановить законом “подозрительных людей соединять на ночлег в одно помещение под надзор сельского начальства”.

Все наличные члены нашли полезным удостоивать наград тех священников, у которых в приходе будет меньше воровства.

Общество постановило: все мнения представить на благоусмотрение господина министра государственных имуществ.

Мы воздерживаемся от всякой оценки: читатели сознают сами все величие и всю глубину этой премудрости.

СТАРООБРЯДЦЫ КАК СОРЕВНОВАТЕЛИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

(К издателю "Северной пчелы")

В происходившем, 10-го сентября, заседании Комитета грамотности, учрежденного при Императорском русском Вольном экономическом обществе, председатель С. С. Лошкарёв объявил, что член комитета Н. С. Лесков представил семьдесят рублей, пожертвованных через него на дело народного образования рижскими староверами поморского согласия: Гр. Сем. Ломоносовым, Зах. Лаз. Беляевым, Ионою Ф. Тузовым, Никон. Пр. Волковым и еще тремя их товарищами. Причем г. Лошкарёв, основываясь на сообщении г. Лескова, известил комитет, что из рижских староверов Григ. Сем. Ломоносов жертвует на учреждение в Риге школы для бедных единоверцев пять тысяч рублей, а Зах. Лаз. Беляев (человек весьма ограниченного состояния) тысячу р., [111] всего шесть тысяч рублей. Кроме того, Беляев вызвался безвозмездно содержать склад учебников, издаваемых Комитетом грамотности, распространять их и отчитываться комитету.

Комитет грамотности по выслушании этого заявления, с горячим сочувствием единогласно положил: благодарить упомянутых староверов за их внимание к настоятельной нужде народа; предложить им вступить в члены комитета и содействовать ему, по мере сил в своем кругу, а г. Беляеву выслать каталог и несколько изданий комитета, на первый раз по выбору г. Лескова, знакомого с современными потребностями рижского бедного класса. – Благослови Господи, в добрый час, архангельский.

О ПРОДАЖЕ В КИЕВЕ ЕВАНГЕЛИЯ

В книжном магазине С. И. Литова в Киеве 20-копеечные Евангелия на русском языке не продаются дешевле, как по 40 копеек, что чрезвычайно оскорбляет покупателей этой книги. Это удвоение цены особенно отражается на посещающих Киев богомольцах, которые всегда покупают в Киеве книги духовного содержания, но которые так бедны, что нередко 20 копеек серебром составляет весь наличный капитал пешехода-богомольца. Переплатить лишний двугривенный для него есть уже разорение, и он принужден отказать себе в приобретении Евангелия, недоступного для него по цене.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

(ПИСЬМО Г. ЛЕСКОВА)

Г. Киев, 20-го мая 1860 г. Вероятно, всем известно, что почти везде у нас слышны жалобы на дороговизну русских книг, но, конечно, не все знают, что нигде дороговизна эта не достигает таких поражающих размеров, как в Киеве. У наших книгопродавцев вы не купите ни одной книжки по той цене, которая за нее объявлена и с которой им делается издателями значительная скидка, чтобы они имели возможность продавать книги по объявленной цене. Эта уступка книг книгопродавцам дешевле объявленной цены большею частью бывает очень значительна, так что иногда книга стоит им только половину цены, значащейся на этикетке; в остальных же случаях уступка всегда соответствует 10–20 %, которые, за исключением пересылочных расходов, должны составлять пользу книгопродавца. Но к книгам, на которые книгопродавцы получают скидки не более 10 %, принадлежат только издания компании Солдатенкова и Щепкина, некоторые ученые сочинения, составляющие собственность авторов, и немногие другие; все же остальные достаются им за полцены. И всех этих книг вы не купите здесь по объявленной на них цене. Правда, я слышал от одного достойного всякого уважения воронежского книгопродавца Ивана Саввича Никитина, что некоторые книги в провинции нельзя продавать без возвышения цены несколькими процентами, и помню, что сам заплатил ему 15 копеек серебром дороже объявленной цены за сочинение Л. В. Тенгоборского "О производительных силах России"; но такая переплата в провинции за сочинение, на которое немного требования и которое несколько лет стоит на полке магазина, не возвращая затраченного на нее капитала, и понятна, и естественна. А как вы называете такие выходы в книжной торговле, о которых я спешу доложить интересующейся печатным делом русской публике. На днях, как только полученные

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

здесь газеты возвестили Киеву о поступлении в продажу Евангелия на русском языке, множество людей всякого звания осадили книжные лавки нашего города, требуя этой давно с нетерпением жданной книги. Кажется, если бы 5000 экземпляров было в Киеве, их не достало бы на удовлетворение запроса. Но книга эта не показывалась ни в одной из наших русских книжных лавок или, как их здесь величают, магазинов. Магазинов этого сорта в Киеве четыре: П. П. Должикова – не пополняющего свой магазин новыми книгами, кроме газет и периодических журналов; купца Барщевского – только что открывающего торговлю и потому не имеющего многих книг; Ивана Ивановича Литова – кажется, не получающего ничего, кроме учебников и сочинений “о расколе, обличаемом своей историей”; и, наконец, Степана Ивановича Литова – получающего много современных изданий различного содержания. К нему особенно обратились все желавшие приобрести книгу слова Божия, переведенного на понятный нам язык. Возможность удовлетворения насущной потребности читать и понимать эту книгу, особенно умеренность цены, делающая доступным каждому приобретение ее за 20 копеек серебром, были так новы, так радостны для всякого, что все с напряженным вниманием следили за появлением ее в продаже. И вот, наконец, 18 мая в магазине Степана Ивановича Литова мне подали давно жданную книжку. Завернув ее и положив в карман своего пальто, я подал приказчику рублевый билет и попросил 80 копеек сдачи. Вообразите же мое удивление, когда приказчик объявил мне, что сдачи следует не 80 копеек, а только 60, потому что книга у них продается не по 20 копеек, как назначено на ее этикетке, а по 40. Причину такого возвышения цены сто на сто мне объяснили обыкновенной фразой, что пересылка дорого стоит; а как бы в получение моему резонерству прибавили: “Не берите; и по этой цене уже все почти разобраны, а еще никто не спорил”. Против такого убеждения нечего было говорить. Заплатив за книгу двойную цену, я ушел из магазина Степана Ивановича Литова, размышляя: где же край этому злоупотреблению бесконкурентностью? Мы привыкли к тому, что Степан Иванович Литов не продает книг менее как с 40 % пользы; мы знаем, что сочинения Белинского, везде продающиеся по 1 руб. сер. за том, он приобрел со сбавкою 10 %, а нам продавал их по 1 руб. 30 коп. за том, то есть с 40 %. Но ведь это были критические сочинения Белинского, которого покупают люди с известным образованием, стало быть, более или менее и с известным достатком; а как же книгу, назначенную собственно для общего употребления всех и каждого, сделать такую недобросовестною спекуляциею. Предавая такие дела нашей книжной торговли путем печатной гласности суду общественного мнения, мы не можем не заявить наших надежд, что духовное начальство богатой Киево-Печерской лавры, вероятно, не замедлит выпуском и продажей Евангелий на русском языке по такой цене, которая положит предел таким спекуляциям.

ЗАМЕТКА О ЗДАНИЯХ

Только хозяйственно развитые народы, пользующиеся благосостоянием, обладают наибольшим числом вполне развитых работников, потому что у такого народа, живущего в благоприятных хозяйственных условиях, средний век всегда длиннее.

Публичные лекции профессора Бабста

Многими давно замечено, что большинство зданий, в особенности казенных, весьма часто не отвечает самым существенным требованиям людей, которые в них помещаются. В особенности гигиенические условия жизни везде почти приносятся в жертву ненужной роскоши карнизов, лестниц и паркетов, а слабая плоть человека, который будет постоянно или временно жить под этими карнизами, не почтена никаким вниманием. Всего страннее, что причину такого презрения плоти мы видим не в духе учения отжившего спиритуализма и умерщвления вечно зяждущей природы, а в духе суетности, презирающей факт жизни в пользу вещественной монументальности. Так, например, во многих зданиях для школ аудиторальные комнаты, где учащие и учащиеся проводят около 8 часов в сутки, стеснены в пользу зал, в которых раз в год производятся какие-то торжественные акты, столько же доказывающие торжество науки, сколько младенчество нашей педагогики и уродство воспитания, разрушающего тело искусственными формами жизни и навязывающего разуму узкие понятия суетности и эгоизма. Во многих больницах ванны помещаются в комнатах, отделенных от палат нетопленными коридорами, в которых не прекращается резкий сквозной ветер, способный усилить и осложнить всякую болезнь. В тюрьмах, пересылочных острогах и этапных дворах теснота достигает до такой степени, что в атмосфере камер трудно открыть присутствие кислорода, – и нигде нет ни вентилятора, ни камина. Даже оконные форточки составляют неповсеместную роскошь.

Имея случай видеть многие города нашего царства, я был поражаем в устройстве многих зданий ужасающим пренебрежением к народному здоровью. Так, в орловской гимназии, где я учился, классные комнаты были до того тесны, что учителя

затруднялись найти ученику, отвечающему уроку, такое место, до которого бы не доходил подсказывающий шепот товарищей, духота всегда была страшная, и мы сидели решительно один на другом. Между тем наверху было несколько свободных комнат и прекрасная зала, в которую нас впускали раз в год, в день торжественного акта; остальные 364 дня в году двери залы были заставлены какими-то рогатками. – В больнице пензенского приказа общественного призрения ванная комната помещается в нижнем этаже, и больной для принятия ванны должен сойти со второго этажа и пройти весь нижний коридор, в котором дует как в трубе воздушного вентилятора и который не отапливается даже при 30-градусных морозах. В другой, очень близкой нам большой больнице того же ведомства назад тому несколько лет больные ходили брать ванны через двор во всякое время года и при всякой погоде. – В городищенской тюрьме Пензенской губернии мне случилось видеть ужасающие зрелища: огромные толпы пересылочных арестантов загоняются там в две очень тесные комнаты, где они буквально не могут ни сесть, ни лечь. Я помню случай, как эти несчастные жертвы общественной испорченности и собственной неосторожности, задыхаясь, настоятельно требовали, чтобы им показали начальство. В камерах не было никакой возможности дышать, сгущенный до крайности воздух был пропитан вонючими потными испарениями и пылью, которую выбивали пришедшие арестанты из своих грязных портянок. Явилось начальство, выслушало просьбу арестантов “запереть их в коридоре”, где был кое-какой воздух, или отворить двери, представив к ним часовых, – и затем отказало. Отказало, потому что находило это противным правилам, которые обыкновенно понимаются у нас не по буквальному смыслу законодателя, а по мертвой букве печатной страницы. Начальствующий чиновник утешил арестантов тем, что он представит об этом высшему начальству, а как в г. Городищах никакого высшего начальства налицо не случилось, то арестанты остались дышать прежними испарениями своих легких, пока придет бумага, разрешающая им дышать воздухом. – В других острогах, во избежание частого выпуска арестантов для испражнения, ставят в комнатах деревянные ушаты, в которые арестанты мочатся и которые выливаются раз в сутки и никогда не сушатся, не переменяются. Несмотря на то, что эти неудачно придуманные урины распространяют в камере страшное зловоние, они до сих пор признаются удобными и в большом употреблении. Благодаря г. Якушкину, невольно посетившему арестантскую псковской городской полиции, мы знаем, что в нашем краю всяких чудес есть и такие места, в которых где сидят, там и паскудят.

Оставляя места заключения и обращаясь к местам обучения, мы встретим и здесь то же грустное презрение к человеческой плоти, ту же беспечность о народном здоровье. В этом нельзя упрекнуть только кадетские корпуса и девичьи институты; большинство других заведений не свободно от упрека. В одном уездном училище духовного ведомства меня поразила ужасный мочевой запах в классных комнатах. Не понимая причины такого явления, я старался узнать его от учеников. Дети застенчиво мялись и очевидно стеснялись ответом; наконец, с большим трудом, мне удалось добиться от них, что некоторые учителя не позволяют им во время уроков выходить “до ветру”, и многие ученики, не будучи в силах удерживать мочу, пока кончится урок, мочатся, сидя за партой, в собственное платье. Можете вообразить, какую отраву носит бедный мальчик, таская на себе мокрое платье и дыша воздухом, пропитанным мочевыми испарениями. Лет несколько тому назад я видел другое такое явление в орловских духовных училищах, помещавшихся вблизи Никитской церкви, в которых к тому же классные комнаты вовсе не отапливались. Но вообще в комнатах всегда соблюдается еще кое-какая чистота, потому что туда заходит иногда высшее начальство, зато в отхожих местах, которые столько же необходимы человеку, как дортуары и столовые, но в которые реже проникает высшее начальство, нечистота и неудобство превосходит всякое вероятие. Здесь презрение к одному из необходимейших отправления человеческого организма доходит до непостижимого уродства русского равнодушия и обломовщины.

Говоря о том, что в орловской гимназии, лет 12 тому назад, было только одно отхожее место, устроенное на черном дворе, за инспекторской кухней, и что в нем было только две лавки с четырьмя сиденьями, к которым во время 1/4-часовой перемены толпились ученики всех семи классов, я вспоминаю множество забавно-грязных и грустно-смешных сцен, поводом к которым было ожидание вакантного места. Смешно сказать, а мне сильно сдается, что нужное место орловской гимназии имело вредное влияние даже и на нравственную сторону воспитанников. По крайней мере там мы поневоле приучались пользоваться неправомерием, кулачным правом, равнодушием к нужде ближнего и даже взяткою за место. Известно, что дети всегда стараются подражать во всем старшим.

С тех пор прошло уже более 12-ти лет; выстроено много новых зданий, с роскошными

карнизами, великолепными лестницами и паркетными полами, но едва ли один процент всего числа новых зданий имеет такие отхожие места, в которых бы все не посягало на здоровье и оскорбление эстетического чувства нуждающегося в них человечества.

Назад тому около трех лет на наших глазах выстроено большое здание киевских присутственных мест, стоящее правительству больших денег, но в нем нет для чиновников ни одного ватерклозета, а есть какие-то отхожие места во дворе, но такие срамные, такие отвратительные, что не могут идти в сравнение ни с одним отхожим местом любой ярославской харчевни. Не могу не объяснить этот новый факт неуважения к человеческим нуждам. В здании, о котором я сказал, помещаются все судебные и административные учреждения Киева, полиция, съезжий дом старокиевской части с его арестантской и чины пожарной команды; кроме того, сторожа и присяжные, живущие в подвальном этаже с целыми своими семействами. Судя по этому, мы думаем мало ошибиться, если положим, что здание это (без полиции) посещается каждодневно шестьюстами человек чиновников, просителей, пансионеров, рекрут, арестантов и солдат, сопровождающих арестованных. На весь этот люд устроены на дворе два отхожих места. Одна половина их относится к полицейской части здания, посетителей которой мы не принимали в расчет; другая, с шестью сиденьями (по 3 в каждом), составляет известную часть комфорта киевских чиновников и сторонних посетителей присутственных мест. Таким образом, по выведенному нами расчислению, на каждое сиденье в отхожем месте будет приходиться по 100 человек; а как наибольший приток людей в присутственные места бывает с 9 часов утра до 2-х пополудни, то выходит, что каждое сиденье нужно в час 20-ти человекам и каждый человек может пользоваться им только три минуты. Отсюда понятно, отчего во время сбора чиновников в отхожих местах присутственного здания бывает постоянная теснота. Нередко по три, по четыре человека ждут вакансии, другие, не одаренные особенною упругостью заднепроходных мускулов, испражняются на полу и около наружных стен, все это производит такое аммиакальное зловоние, что человек с очень крепкими нервами не может его сносить самое короткое время, не чувствуя дурноты или позыва к рвоте. Добавьте к этому невозможность пройти по полу, залитому избелазеленой вонючей массой разлагающегося человеческого кала, при посредстве которого вы рискуете поскользнуться и упасть, и вы получите перед глазами отвратительную, оскорбляющую картину скверных отхожих мест прекрасного трехэтажного здания. – Мы не знаем, сколько расходуется на очистку этих мест и достало ли бы ассигнованной на этот предмет суммы на ждановскую жидкость, железный купорос или другие воздухоочищающие вещества, но положительно знаем, что в отхожих местах присутственного здания нельзя дышать и что атмосфера их очень вредна для здоровья. Подлежащее начальство, вероятно, тоже сознает это, потому что, в видах охранения своего здоровья и эстетического чувства, оно не ходит в эти отхожие места за неотлагаемыми нуждами своей зоологической природы, и еще потому, что около года тому назад при здании присутственных мест началось возведение дополнительного деревянного нужника, но эта капитальная работа еще не кончена, и мы не знаем, когда воспоследует его торжественное открытие. Знаем только, что в настоящее время люди, посещающие присутственные места, страдают от недостатка места для испражнения, с очевидным ущербом народной гигиене.

Указав некоторые неудобства наших жилых зданий, мы считаем обязанностью заявить то убеждение, что все неудобства происходят, во-первых, оттого, что мы

привыкли смотреть на вещи не так, как они есть, а как они нам кажутся, и отражаем нашу привычку, между прочим, и на наших постройках, заботясь, чтобы они только казались хорошими, а не в самом деле были хороши; во-вторых, от сосредоточенности внимания наших архитекторов на наружном фасаде зданий и разностороннем изяществе их формы и, наконец, в-третьих, более всего от недостатка в обществе убеждения, что медиков уместно призывать не только в то время, когда люди больны, но еще уместнее требовать их совета, когда идет дело о том, чтобы помещение, назначаемое для жизни людей, не было причиной их болезней, таких болезней, против разрушающей силы которых нет лекарства в садах, известных медицинской науке и врачебному вдохновению, от которого у нас часто ждут всяких чудес и фокус-покусов. Если бы архитектурные планы, прежде исполнения их, проходили через руки врачей, заявивших свое знакомство с гигиеною, то весьма вероятно, что жилые строения, неудобные для жизни, не имели бы у нас места, и таким образом исчезла бы одна из причин, самым систематическим образом поддерживающих высокую цифру смертности в нашем государстве.

Мы не можем понять, почему полицейские врачи равнодушествуют к таким явлениям и не представляют местной власти о таких ошибках строителей, которые противны

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
здоровым понятиям о гигиене. Нам кажется, что это их прямая обязанность, в исполнении которой они могут ничем не стесняться.

Не имея специального знакомства с выводами медицинской науки, я не могу сказать, насколько сквозная тяга воздуха снизу вверх в наших отхожих местах способствует развитию воспаления брюшных внутренностей и геморроя, особенно между людьми, предрасположенными самым образом жизни к последней болезни, но, глядя на это дело с практической точки зрения, я имею основание думать, что дурное устройство отхожих мест имеет прямое отношение к чрезмерно большой цифре безвременных могил в России. По крайней мере в Англии, стране образцовых государственных учреждений и рационального народного хозяйства, где выводы науки не замедляют прилагаться к практическим формам жизни, определено, что с применением дренажных труб к очищению отхожих мест и помойных ям относительно малая там цифра смертности уменьшилась еще весьма чувствительным процентом; а известно, что со времени введения этого способа очищения во многих местах этой страны отхожие места подверглись выгодному для человечества преобразованию.

В 1700 году в Англии приходился один смертный случай на 43 человека, а теперь приходится 1 на 53. У нас же в течение нынешнего столетия умирал средним числом 1 из 30 и даже – 28; причем большая половина умирает в раннем возрасте. Эта ужасающая цифра смертности убедительно говорит, как много страдает наше народное хозяйство, теряя людей прежде, нежели они могут принести обществу ту пользу, которой оно вправе ожидать от человека, осветившего свой разум пониманием законных требований общественной жизни и истинных интересов своего отечества; словом, теряя людей прежде, чем они могут быть производительными и вознаградить массу ту долю своего труда, которая затрачена другими для их раннего возраста. А кто усомнится, что высокая степень народного хозяйства выражает собою также высокую степень и нравственного развития народа? Средневековое же стремление к одной монументальности едва ли свидетельствует о чем-либо другом, кроме неспособности или нежелания отрешиться от средневековых понятий, стоящих вне прогрессивного направления нашего времени. Это давно заявлено наукою и сознано некоторыми правительственными, заботящимися о долголетье жителей и обратившими внимание на возведение зданий, благоприятствующих гигиеническим условиям человеческой жизни, а не египетских пирамид.

О РАБОЧЕМ КЛАССЕ

Чудище обло, огромно, стозевно и лайй.

Тредьяковский

В июньской книге “Библиотеки для чтения” за 1860 год помещена статья г. Ф. Тернера “О рабочем классе”. Статья эта особенно остановила наше внимание на сведениях, извлеченных автором из труда К. С. Веселовского, напечатанного в изданиях Русского географического общества в 1848 году.

Заимствуем из сочинения Веселовского те данные, которые представляют нам много интереса со стороны гигиенических условий жизни нашего рабочего класса: “В 1841 году, при общем осмотре 1077 различных заведений, в которых помещалось 22 869 человек чернорабочих, признано было удобных 411, посредственных 428, дурных 185, совершенно неудобных 53 помещения. Вообще квартиры чернорабочих большею частью бывают в подвалах темных и сырых, в которых нет ни двойных рам, ни форточек; в некоторых даже не устроено печей, а в зимнее время воздух нагревается только от скопления живущих. Чтобы дать понятие о тесноте этих помещений, довольно сказать, что в комнате, длиною и шириною по 8 аршин и высотой в 3 аршина (значит, емкостью в 192 кубических аршин), помещается иногда до 20 человек, значит, полагается по 9 1/2 кубических аршин на каждого, тогда как известно из опыта, что для здорового и удобного жилища должно полагать на каждого человека от 80 до 110 кубических аршин. Теснота увеличивается еще более в летнее время, когда, с приходом рабочих из деревень, подрядчики удваивают и даже утраивают число наемных людей без расширения для них помещения. Неопрятность в некоторых из этих квартир доходит до такой степени, что отхожие места не отделены в них от жилых”. Приведем одно из нескольких наблюдений, почерпнутых автором из достоверных источников: “В С.П. Б., в 3-й Адмиралтейской части, в доме N, в квартире, нанимаемой подрядчиком М. для чернорабочих, зимою найдено 17 человек, а летом это число увеличивается до 40, тогда как и для 17 нет достаточного места; квартира очень сыра, а неопрятность ее доходит до того, что в сенях без всякого отделения – отхожие места; там же выливают всякую нечистоту. Некоторые квартиры в доме В., в той же части, содержатся чрезвычайно дурно; зимою в них нет двойных рам; отопление дурное и, сколько можно было заметить, комнаты

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

нагреваются одним дыханием людей, чрез это сырость не только в окошках, но и на стенах; форточек для очищения воздуха вовсе нет, неопрятность в некоторых квартирах превышает вероятие, внутри двора во всех этажах стекла разбиты, в некоторых окошках вовсе нет рам; отхожие места и помойные ямы устроены внутри жилья; они обложены были досками, которые теперь совершенно развалились, и вся нечистота открыта так, что когда сливают в 5-м этаже, то вся нечистота протекает снаружи чрез все нижние этажи и даже по коридору. Чрез это происходит смрад невыносимый". – Довольно выписок. Перед ними бледнеют вертепы, описанные в *Mystères de Paris* и *Mystères de Londres*. [112] Скажем только, что описания эти относятся к сороковым годам; но, говоря словами г. Тернера, "несмотря на то, они сохранили еще полное значение и полный интерес, ибо хотя правительство обратило свою заботливость на улучшение положения рабочего класса в столице, но эти меры не были в состоянии произвести основательное изменение в его положении, и в настоящее время можно еще встретить немало подобных темных картин домашней жизни нашего бедного работника".

Рамка специальной медицинской газеты не позволяет нам делать более выдержек из прекрасной экономической статьи г. Тернера, и мы отсылаем всех тех, кого интересует быт 120 000 человек рабочего класса в Петербурге, к этой полной интереса статье.

Если, по выражению одного писателя, воображение воспламеняется и слова льются при виде роскоши, вкуса и богатства в убранстве чертогов, то и зрелище нищеты, хотя и не возбуждающее приятных, поэтических мечтаний, а напротив, часто сжимающее сердце и наполняющее его немую грустью, имеет также свою полезную сторону. Оно знакомит нас с бытом наших меньших братьев, возбуждает к ним участие и дает возможность подать им руку помощи вовремя и кстати.

Эта возможность подать руку помощи вовремя и кстати может быть достигнута только при совершенном знакомстве с положением рабочего класса, а таким знакомством мы решительно не можем похвалиться. Русская литература чрезвычайно бедна наблюдениями этого рода, и большинство собранных сведений, без всякого спора, принадлежит деятелям политико-экономической науки, которые, собирая материалы для изыскания средств к развитию народного богатства, оказали важную услугу науке о народном здоровье, указывая на многие гигиенические язвы общественной жизни. Все эти сведения отрывисты и не всеобщи; они обнимают собою только небольшое число местностей и не проникают в глубь всего вреда, который терпит народное счастье от нарушения гигиенических условий обществом. Мы слишком далеки от всякой мысли упрекнуть в этом людей, работающих на политико-экономическом поприще. Боже сохрани! Напротив, мы благоговеем перед добросовестностью их труда и преклоняемся пред солидными выводами этой науки; мы только хотим сказать, что в деле гигиенических изысканий врачи могли бы составить сведения гораздо большие и гораздо обширнейшие, чем те, которые добыты политико-экономиями. Кроме Петербурга, мы почти не знаем, как живут рабочие в других городах нашего государства, а у нас, кроме Петербурга, немного менее 400 тысяч жителей в Москве, 100 тысяч в Одессе; семь городов с населением от 100 000 до 50 000 жителей и восемнадцать от 50 000 до 25 000 жителей. Все остальные города, числом 650, имеют каждый население менее 25 000 жителей. И как в каждом из этих городов живет бедный рабочий класс, способствуя увеличению процента смертности, – мы решительно не знаем. Между тем в каждом городе много этого бедного класса, и весь он живет в самых невыгодных условиях, и условия эти в каждой местности имеют свои особенные печальные оттенки и причиняют человечеству свой особенный вид вреда. Со всем этим не могут быть не знакомы врачи, впадающие в столкновения с разными слоями общества ближе и короче, нежели чрезвычайно малое число представителей юной политико-экономической науки. А между тем политико-экономы гораздо более разработали это поле. Литературная бездеятельность медицинского сословия в деле разоблачения общественных язв очевидна; страницы медицинских журналов почти свободны от гигиенических наблюдений. Мы ждем всего от правительства, а ничего не хотим делать сами. Мы считаем пустым и бесполезным делом сообщение наших наблюдений, упуская из виду, что всякое открытие зла есть уже шаг к искоренению этого самого зла. И того более: есть лица, принадлежащие к так называемому образованному сословию, которые считают несовместным с своим достоинством высказать близкое знакомство с тем, что отвратительно на взгляд и скверно воняет. Оберегая свою эстетику, они оставляют бедный народ безгласно страдать и нюхать эту вонь. Пора бы нам освободиться от того табунного свойства, по которому люди без всякого желанья делают все то, что делают все, и, в силу некоторых авторитетов, считают безмолвие добродетелью. Пора нам отвыкнуть от мысли, что предметом литературы должно быть что-нибудь особенное, а не то, что

всегда перед глазами и от чего мы все страдаем, прямо или косвенно. Сбросив вековой хлам преубеждений, мы ощутим себя близкими к жизни наших меньших братьев и сумеем помочь им вовремя и к стати, обнаруживая противящиеся гигиене стороны общественной жизни. Ряд таких наблюдений укажет людям, занятым разработкою вопроса о народной гигиене: чего должно избегать, чего бояться? Где такое или другое положение влечет за собою то или другое вредное для общественного здоровья следствие? Какие результаты в гигиеническом отношении оказывает питание “постною” пищей, постоянно или временно? Содействуют ли возобновлению в человеке рабочих сил те 100 праздничных дней в году, в которые русский человек считает предосудительным не освободить себя от всяких безвредных занятий? Имеют ли праздничные оргии рабочего класса вредное влияние на народное здоровье, чем, в каком виде и в какой мере? Сколько встречается в медицинской практике болезней, происшедших от побоев и разного рода насилий, произведенных камадами после дружеских возлияний и иными персонажами, вследствие неправомерного преобладания одного сословия над другим, и т. д. – Все это чрезвычайно важно и чрезвычайно необходимо для успешного решения вопроса: “каким образом следует изменить законы и правила общественной гигиены?” Без этих данных составители гигиенических законов снова рискуют впасть в логические отвлечения, поставив обязательным веровать в их непогрешимость. Успех в этом деле будет возможен только тогда, если наши врачи, которым жилища рабочего народа и образ его жизни знакомы более, нежели провинциальных львов и аристократии, станут сообщать органам науки ряд своих наблюдений по этому предмету. Наука ничего не ждет от поклонников тьмы, этих китайских европейцев, которые горды как лорды своею способностью пугать человечество несостоятельностью молодого направления; она ждет всего от людей, которые не спешат протягивать свою лапу к львиной доле, не бросив ни одной лепты своего труда в сокровищницу науки, напоившей их знанием.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВРАЧАХ РЕКРУТСКИХ ПРИСУТСТВИЙ

На основании статей IV тома действующих законов Российской империи при каждом рекрутском присутствии состоит врач для определения способности к военной службе людей, представляемых к сдаче в рекруты. Во время наборов, кроме врача-члена, назначается в каждое рекрутское присутствие еще другой врач в качестве консультанта для разрешения особых случаев. Вся обязанность врача-члена заключается в осмотре данного субъекта и объявлении председателю и членам: способен ли он к военной службе или нет. В сомнительном случае он должен спросить мнение консультанта. Член-врач не участвует ни в рассмотрении семейных очередей, ни в определении права наемщиков и нанимателей, ни в разрешении того, можно ли обвинить в беспаспортности и бродяжестве восьмилетнего еврейского ребенка, которого благонамеренные единоверцы в соседнем местечке ночью с постели вырвали из рук матери и представляют с удостоверением станового пристава, что такой-то Срулик задержан его единоверцем Мордухом без узаконенного письменного вида. Не его даже дело рассуждать, узаконен ли для 8-летних детей письменный вид, за неимением которого их отдают в рекруты. Все это не его дело, но за всем тем роль его не только не пассивная, но он, если так можно сказать, “первый человек” в рекрутском присутствии; в нем вся “суть” дела, в нем гамлетовское “быть или не быть” для рекрута. Рекрутский отдатчик, приезжая с партией людей для сдачи в рекруты в город, в котором открыто рекрутское присутствие, более всего заботится о “лекаре”; как бы “лекаря уболаготворить”, – говорит он, – а с бумажными справимся”. Бумажными членами называют обыкновенно: 1) военного приемщика (тоже “суть”, но “суть”, своего рода, гораздо меньшую), 2) “мерового ундера” – лицо зауряд значительное, особенно во мнении рекрутских старост и отдатчиков, и 3) письмоводителя и саранчу, его окружающую. О “панах советниках” отдатчик мало заботится и, случается, обходит его вовсе, говоря: “Э! это ни швец, ни жнец, ни в дуду игрец”; до председателей же почти никогда не доходят, ибо с ними нужно говорить уже “о материях важных”. Врач-член – это factotum[113] всякого, без него ничто же бысть еже бысть. Двери его квартиры с утра до ночи осажены разного рода людьми: тот привозит ему показать наемщика и платит за это 50 руб. серебром, хотя может сделать это официально, не израсходовав ничего, кроме двух листов гербовой бумаги, но он боится этого освидетельствования, потому что “лекарь незадобренный напакостит так, что и не поправишь”; помещик просит принять Ванюшку, который не хочет идти по оброку и оставить молодую жену в прачках у барина; отдатчик просит принять Срулика, мать Срулика просит забраковать его, – член-врач все это слушает торопясь и наскоро, обращает внимание только на монетное подкрепление просьбы. Видит – мало – поторгуется и всегда возьмет желаемый гонорарий, и отпустит каждого с наставлением: как дать себя узнать в присутствии. Это дело довольно трудное. В одно заседание иногда представляется 500–600 человек нагих людей. Давшего от не давшего не отличить. Но опытный член-врач достигает этого просто: он научает одного не раскрывать

рта, другого сказать, что он “на парах сидел”, третьего объявить выпадение кишки и т. п., дело идет как по маслу, ошибок не бывает. В недавние еще времена рекруты, входя в присутственную камеру, брали в рот полуимпериал, и член-врач, осматривая рот, искусно манипулировал монету в свой карман, объявляя, что у рекрута “завалы брюшных внутренностей, расположение к чахотке” или другая какая болезнь из числа означенных в “наставлении врачам, в рекрутские присутствия отряжаемым”. Теперь эти приемы вывелись из обыкновения и заменены предварительными сделками. Из сделок, не имеющих предварительного характера, остается только одно – бракование по случаю выпадения заднепроходной кишки. Заднепроходная кишка осматриваемого рекрута весьма близка сердцу рекрутского эскулапа; по ее вонючей слизи скользит в его околосердечный карман кровавая копейка труженика – пахаря, откупающегося от изучения шагистики, в обиду другого, более несчастного бедняка, не могущего купить себе возвращение к детям двумя или тремя полуимпериалами. Это делается обыкновенно так: человек, решившийся откупиться от рекрутства за неспособностью, берет кусок свежей окровавленной бараньей кишки и всовывает ее пальцем в задний проход, где она держится довольно крепко, и, обнажаясь, предстает в присутствии с таким украшением. Присутствующие члены, при виде торчащего между ягодицами окровавленного куса кишки, плюют и отворачиваются, а врач с “ундером” ведет рекрута в сени, где стоит лоханка, над которой осматриваемый садится, напрягаясь по приказанию лекаря и “дохтера”, как обыкновенно называют консультантов. Во время этого напряжения испытываемый вынимает из-за скулы один, два, иногда три полуимпериала, объявляя, что “выпадение – действительное”. Присутствием ундера обыкновенно никто из членов не стесняется, ибо он всегда употребляется ими как фактор. Я хорошо помню знаменитого “ундера” Данилу Хведоровича, который обыкновенно внушал отдатчикам, что вся сила он да лекарь, а дохтера и приемщика надо так только по губам помазать, письмоводителю можно дать, можно и не дать, а о председателе и советнике отзывался всегда с совершенным презрением, говоря, что “се черт зна що”. Член-врач и “дохтер” всегда состоят в самых интимных отношениях с меровым “ундером” и не могут без него обходиться, потому что не заинтересованные в деле председатели часто велят записывать в росписи людей, только что привезенных, так что с отдатчиками их ни лекарю, ни его помощнику “дохтеру” нельзя повидаться и взять с них взятку, а дело это исполняет “ундер”, давая знать лекарю, ублаговторен ли он, поглаживанием своего уса. Тронется “ундер” за правый ус – значит смазано, чтобы принять. Тронется за левый – смазано, чтобы обраковать. Поправит “амуницу” – ничего не дали. Лекарь и ундер – это Орест и Пилад, им расходиться никак нельзя. Действия лекаря и всегда согласного с ним консультанта бесконтрольны; от слова лекаря зависит более, чем от всех приказных проделок, и он это хорошо знает и, не дремля, пользуется своим значением. Обыкновенный гонорарий члена-врача можно определить так: за прием совершенно годного к службе помещичьего рекрута от 1 до 3 рублей, за прием еврейского от 5 до 25, за наемщика от 100 до 200, за беспаспортного еврея тоже, за бракование вдвое того, что можно взять с отдатчика за прием. За прием уродов и калек нет определенной платы; она зависит от соображений, основываемых врачом на наглядности калечества рекрута, по отношению к умственным способностям председателя, власть имеющего вершить дело своим голосом. Впрочем, здесь обыкновенно “один бывает великодушнее другого, а другой великодушнее одного”. Только с казенных крестьян берется несколько поменьше, ибо у них свое начальство, есть и свой “дохтер”, так тут уже дадут “из чести”, – принимать таких рекрут, многие врачи-члены говорят, все равно что “канитель мотать” – святые отцы – карбованцы еще прежде уходят к врачам, облегчающим государственные имущества. Кроме выпадения заднепроходной кишки, за которое лихоимное вдохновение рекрутских врачей хватается как за последнее средство отстоять взятку, в “наставлении врачам” щедро рукою рассыпаны разные лихие болести, период которых член-врач определяет с точностью во время пятиминутного осмотра. Там и *aneurismata*, *lithiasis*, *vesania*, *stultitia*, *mania*, *amentia fatuitas*, *nostalgia*, *haemoptysis*, *praedispositio ad phthisin pulmonalem* и множество других *morbi simulati* и *morbi dissimulati*. Все эти болезни и степень развития их в данный момент врачи рекрутских присутствий определяют после такого короткого и невнимательного осмотра, при котором не решился бы высказать о них свое мнение лучший диагностик нашего века. Проказники, право, эти рекрутские врачи. Бывают, кроме того, у них случаи экстраординарные, как, например: определение лет “по наружному виду и крепкому сложению”. Это больше всего случается при приеме в рекруты евреев, когда отдатчик представляет присяжное разыскание шести евреев, что они “достаточно знают, что Мордке такому-то уже минуло дванадцать лет” (ранее чего закон не допускал приема); а мать Мордки представляет другое присяжное разыскание, других или иногда и тех же шести евреев (у нас это нипочем), удостоверяющее, что они “достаточно” знают, что Мордке пошел только

7-й год от роду.[114] Тогда дело решается по наружному виду, в сторону того, чья возьмет. Единственный контроль медицинского произвола в рекрутском присутствии есть – переосвидетельствование рекрута по жалобе сдатчиков; но члены-врачи и дохтера, назначаемые в рекрутское присутствие по распоряжению врачебных управ, не боятся этого контроля, ибо переосвидетельствование обракованного рекрута совершается членом управы, назначившей лекаря и имеющим у него известную часть благодати. Я помню одного оператора врачебной управы, престарелого старца, белого, как лунь, который часто назначался для переосвидетельствования рекрут. Оператор этот, приобретший себе большую известность тем, что в городе, где он состарился, им не сделано ни одной операции и что руки у него, Бог весть отчего, всегда ходили ходенем, посмотрит, бывало, своими старческими очами в очи рекрута, вздохнет, зашамшит беззубыми челюстями, да и скажет каким-то тупым, беззвучным голосом: “Нет, не годится, совсем не годится” – и затем сядет подписывать свою фамилию в особой росписи, причем однажды случилось, что вместо “оператор управы” он написал дрожащею рукою “губернатор управы”. [115]

Замечательно что этот оператор, он же губернатор, когда один раз представилась надобность наложить турникет человеку, объявившему у себя сведение руки, долго не мог справиться с этим делом, и врачебную обязанность на сей раз исполнил письмоводитель, живший долго с студентами медицинского факультета и знавший, к счастью, употребление этого инструмента. Прибывал иногда и сам инспектор, имевший привычку таскать из носа безымянным пальцем левой руки пригарки, которые он переносил сначала в рот, а после ошмыгивал об панталоны, – но сущность диагноза и правда дела от этого нисколько не выигрывали. Это были крысы, снившиеся Сквознику-Дмухановскому: “Пришли, понюхали и пошли прочь”. Вот вам и весь контроль рекрутской медицинской взятки. Если взятка есть *conditio sine qua non*[116] рекрутских присутствий, то, без всякого сомнения, самая черная, самая грязная и постыдная, вопиющая на небо взятка берется врачами-членами, врачами, даже не скрывающими своей обязанности делиться ею с своим управским начальством. Мы не можем понять всей наглости этих позорных представителей медицинского сословия, с которою они добиваются назначения в рекрутские присутствия, отправленные к которым нимало не вознаграждаются казенными суточными деньгами. Мы не можем понять, с какими глазами человек, принадлежавший когда-то науке, идет просить о таком назначении его к очевидному лихоимству и лихоимству. Мы не знаем, как можно назвать начальство, поддающееся таким искательствам и погрязающее в них, как в зловонной тине; но решительно объявляем себя на стороне презирающих такие начальства и таких соискателей.

Долго ли еще медицинское сословие будет поставлять адептов зла возмущающим душу бесчеловечным таинствам рекрутских присутствий? Долго ли сословие врачей будет позориться этими манипуляторами, этими сотрудниками общественных неправд, собратами меровых ундеров, этими слезопийцами несчастных матерей, жен и сирот? Вероятно, долго. Вероятно, до тех пор, пока существующая система рекрутского приема будет реформирована по добросовестным указаниям людей, коротко знакомых со способами, употребляемыми для того, чтобы брать взятки во имя закона, затмевать правду во имя законной правды и смеяться над законным контролем на законном основании. Законодателю трудно прозреть все уловки исполнителей, руководящихся принципом, что “закон – что конь, куда повернешь, туда и поедешь”. Мы утвердительно можем сказать, что на Руси не без людей, которые бы могли указать средства если не к совершенному уничтожению рекрутской взятки, то к значительному ограничению ее. Эх, метлу нужно в наши рекрутские присутствия.

О СОИСКАТЕЛЯХ КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Милостивый государь! В то самое время, когда политико-экономическая наука отстояла наш век от нападков против промышленного и эгоистического направления, когда экономическая литература встретила, наконец, симпатию в кругу читающей русской публики, эта публика стала устно и печатно выражать свое негодование к неохотному сворачиванию молодых людей с бюрократической дороги на дорогу торговую, промышленную, ремесленную. Негодование это особенно выразилось против людей, стоящих или стремящихся стать в ряды чиновничьей прессы, к которой, вследствие исторических причин, все слои русского общества чувствуют одинаковое нерасположение. Чувство это, по-видимому весьма справедливое, в большинстве случаев так же неосновательно, как и упрек, делаемый нашему веку в эгоистическом, промышленном направлении, и я прошу у вас во имя правды позволить мне при посредстве вашего органа заявить, что многие чиновники и дворянская молодежь, завоевавшая себе правильный взгляд на вещи, горячо сочувствуют торговым и промышленным интересам нашего отечества и пламенно желают быть деятелями на этом поприще. Таких людей, благодаря Бога, становится час от часа

больше; все они с стремлением к честному заработку, хранят отвращение к самовознаграждению и рвутся к промышленному труду. Побуждения их честны, намерения добросовестны, искательства чужды предрассудков; но все эти побуждения, намерения и искательства – остаются только побуждениями, намерениями и искательствами, потому что люди, их питающие, не находят себе места на коммерческом поприще; потому что торговые деятели смотрят на всякого соискателя торговых занятий, не принадлежащего к купеческому роду и не выросшего в приказчиьей среде, как на человека, не способного к делу, “дворянчика”, “белоручку”. Пишущий эти строки по собственному горькому опыту знает, как много вредит дворянская кличка соискателю торговой службы, и может засвидетельствовать справедливость этой истины множеством примеров. Несмотря на некоторое знакомство с отечественною торговлею, невзирая на знание многих местностей родного края, он, открывая предложение на свой труд в промышленном кругу, встречал от представителей торговли только советы обратиться за приобретением мест чиновников для поручений или следователей, мест, к которым он не чувствует никакого призвания. Такова или почти такова участь большинства теперешних соискателей торговой службы из сословия людей, не способных к стоянию у хозяйской притолоки, обмериванью, обвешиванью и прочим приемам адептов нашей торговли, слывающих в известном кружке за новых людей – “дельцов”. Недостаток собственных капиталов и отсутствие правильного кредита в пределах, развитых Соединенными Штатами Северной Америки, делают у нас невозможным производство собственных оборотов человеку, не обладающему известным вещественным капиталом, и он часто с полным запасом капитала невещественного ходит от хозяина одного торгового дела к другому, прося работы, встречает везде отказы – взяты его на испытание и, наконец, доведенный до голода и холода, делает уступку из своих убеждений – и поступает на другое поприще, к которому не расположен. Нет! общество увлекается благородным желанием подвинуть разночинную молодежь на служение честному промышленному делу и произносит слишком пристрастный суд над многими, не чуждыми идеей нашего века. Русская литература, осмеивая живоготов, Сквозников-Дмухановских и прочих “озорников” и “надорванных”, остается в долгу перед людьми, которые отдали лучшие свои годы науке, собрали под своим черепом, как могли и как умели, сколько-нибудь полезных знаний и единственно силою обстоятельств, голосом голодного желудка втолкнуты на другую дорогу, на которой жалованья иногда недостает на чай и сахар. Я думаю, такие люди могут служить хорошими сюжетами для современного романиста.

То же самое встретим мы, если взглянем на людей, обращавшихся и к ремесленной дороге. Недавно одна бедная дама, не имея средств содержать в гимназии 14-летнего сына, который свободно читает и пишет по-русски, по-польски, по-французски и по-немецки, при моем посредстве отдала его одному киевскому книгопродавцу на пять лет для приучения к книжной торговле бесплатно. Зная замечательные способности этого мальчика и прекрасный его характер, я был уверен, что он будет очень полезен хозяину-книгопродавцу, не знающему ни одного языка, кроме малороссийского, и не имеющего никакого понятия о литературе; вообразите же мое удивление, когда мальчик на другой же день возвратился к матери с аттестатом не способного к делу, потому что “нам нужно, чтобы он и в магазине стоял, и сапоги почистил, и воды принес, и вынес кое-что из комнаты”. Отдали этого же ребенка кондитеру обучаться ремеслу, а тот его заставил у миллиарда партию считать да ножи чистить. Вот и учитесь ремеслу. Вот и отдайте вашего сына в мальчики, а другой возможности учиться для бедных людей пока еще не имеется!

Да! не заслуживают миллионной доли того упрека люди, могущие быть промышленниками и ремесленниками, за то, что они бьются к канцелярскому столу, как к благодатишному пристанищу, какой по всей справедливости должен быть выражен современным представителем промышленного и ремесленного сословий. Эти охранители старых форм, при которых торговец и ремесленник создавался, переходя метаморфозы “мальчика”, “молодца” и наконец “приказчика”, с каким-то злорадством заграждают людям неторгового происхождения дорогу к промышленной деятельности. Они с каким-то удовольствием ставят “дворянчиков” в унижающее положение, доводят их до возмущения и после глумятся над их неспособностью. Где же их собственная способность, и чем заявляют свою специальность те, которые им годны? Какую работу образованный и трудолюбивый дворянин выполнит хуже неуча, готового марать свои руки хозяйским добром на все возможные способы? Белоручки между людьми, ищущими работы и хлеба, перевелись; это эпитет, выдуманный клеветниками, людьми, привыкшими драть с одного вола две шкуры и, покупая труд, думать, что они купили и личность.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Да замедлит же упрек общества тем, кто, не имея призвания к чиновничеству, болтаются без места, и да падет он на тех, кто поставил себе правилом без всякого разбора и испытания не допускать ни к какому делу людей, не выросших за прилавком! Не должно забывать, что в России, где тысячи промышленных дел ждут человека, человек очень часто не находит дела, без видимой к тому с своей стороны вины.

5 августа 1860 г.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОЛИЦЕЙСКИХ ВРАЧАХ В РОССИИ

Это уж так самим Богом устроено, и волтерианцы напрасно против этого восстают.

Гоголь (из комедии “Ревизор”)

Говоря о полицейских врачах русского царства, мы будем говорить о врачах, известных у нас под названием “городовых и уездных”. Посвятим несколько слов определению быта и значения этих медицинских чиновников, достойных тщательного и глубокого изучения. Городовой и уездный врач, как зоологический человек, нуждается в пище, питии, крове, одежде и во многом другом, из предметов первой потребности. Кроме того, он иногда бывает отцом семейства. Для удовлетворения всех его нужд и всех нужд членов его семьи, если ему посчастливилось обзавестись ею, казна определяет ему 200 рублей серебром годового содержания, которым многие из них не пользуются, оставляя его управским милостивцам. Практика – удел весьма немногих из этих врачей, а в больших городах она вовсе не выпадает на их долю, потому что общество, не без основания, не верит их знаниям и не обращается к их помощи везде, где есть возможность найти другого врача. А как такая возможность увеличивается параллельно численности обитаемого места, то очевидно, что чем люднее город, в котором сидит данный городской врач, тем более он должен страдать от конкуренции в медицинской практике, тем менее для него шансов к врачебному заработку. Стало быть, в больших городах, особенно университетских, где практикуют многие профессора медицинского факультета и где, кроме того, есть множество молодых врачей, очень падких на практику, положение городских врачей должно быть несравненно хуже положения их собратий, живущих в уездных и небольших губернских городах, – особенно если примем во внимание, что все врачебные управы – родные сестры и что кодекс их положений хотя скверно скроен, но крепко шит, так что ни один дерзкий не может идти против определенной им дани. Но, несмотря на это, на деле выходит, что чем более, многолюднее и развитее в коммерческом отношении город, тем богаче его городской врач, тем равнодушнее он к практике и нередко смотрит на нее с совершенным презрением.

Мы обойдемся без примеров, надеясь, что читатели наши не нуждаются в доказательствах сказанного положения. Чем же живут, как богатеют почтеннейшие городовые и уездные врачи? Этого бы не решились народы Запада, величаемого у нас “гнилою язвою” и “душевредным куколем”, но мы, толстоносые скифы, можем отвечать на него. Только одни мы можем знать и верить, что таинственная рука, питающая городских и уездных врачей, есть взятка, взятка и взятка. Исключения весьма редки и в известной мере возможны только для некоторых уездных и очень небольшой части городских врачей маленьких городов; всем остальным городским врачам, кроме взятки, жить нечем, и мы вызываем их доказать нам противное. Если всякая взятка чиновника непозволительна в глазах человека развитого, то взятка, без которой городским и уездным врачам нельзя жить, взятка *sum eximia laude*[117] и вовсе не может быть терпима. Чиновник, берущий взятку, иногда обманывает свою совесть тем, что эта взятка – безгрешная благодарность, что она взята только за ускорение дела, и привычная совесть спит под пошлый лепет этой песни, сочиненной чернильным воображением. Но городской и уездный врач не может ничем извинить свою взятку, она есть всегданнее вымогательство или подкуп на зло, на обман, на подлог. Разделим известные нам взятки городских и уездных врачей, или, как они говорят, их “средства к жизни” на два отдела, на которые они делятся по своему существу, то есть на взятки определенные, текущие, и взятки экстренные, и взглянем: за что они берутся, в каком размере и какое количество благодати поставляют для берущих; причем возьмем в расчет какой-нибудь идеальный город с 75 тысячами жителей и заметим, что во взятом нами городе ни торговле, ни промышленности, по штату, не положено процветать. Допустив, что в этом городе 4 житых базара, 6 кондитерских, до 40 булочных, 2 временные ярмарки, до 300 лавок и магазинов, в которых продается мука, крупа, соль, сало, рыба разных видов и наименований и проч., съестные припасы и виноградные вина, около 60 мясных

лавок, до 200 публичных женщин, известных полиции и записанных в разряде, и половина такого же числа торгующих своею добродетелью с ведома городских врачей и полиции, без записи в разряд безнравственных, – мы будем иметь перед собою семь статей постоянных текущих доходов городских врачей, коих там, положим, два. Эти семь статей дают постоянно такой доход: 1) 4 житных базара, по 3 руб. с рундука, полагая по 40 рундуков на каждом, с 160 рундуков, – всего 480 руб. серебра. 2) 6 кондитерских, по 50 руб. с каждой, – 300 руб. 3) 40 булочных, по 10 руб. с каждой, – 400 руб. 4) Две ярмарки огулом 2000 руб. 5) 300 лавок и магазинов со съестными припасами и виноградными винами, по 10 руб. с каждого номера, – 3000 руб. серебром. 6) 60 мясных лавок, по 25 руб. с каждой, – 1500 руб. и 7) 200 публичных женщин, записанных в разряд безнравственных и живущих в общих домах, каждый содержатель коих платит по 10 руб. в месяц с “заведения”, а их во всех частях города 20 заведений, то общий итог дохода с этой статьи выйдет 2500 руб. серебром. Кроме того, в городе есть еще 100 безнравственных женщин, подразделяющихся на две категории; одна из них состоит из камелий, известных полиции и платящих городскому врачу по 3 руб. в месяц с персоны, а другая – суть персоны, не записанные в полицейском адрес-календаре и платящие врачебную пошлину по обоюдному согласию с городским врачом, не возбраняющим им “практики” и не тревожащим их своим осмотром. Общий доход со всех женщин, обративших потребность в ремесло, должен составлять в этом городе около 5000 руб. серебром в год. Таким образом, весь текущий годовой побор будет равняться 12680 руб. серебром текущего валового дохода, а за отчислением 20 процентов в пользу влиятельных лиц медицинской и гражданской части, то есть 3170 руб., составит чистого дохода 9510 руб., то есть по 4255 руб. на брата. Эти доходы достаются только за невмешательство и освобождение от притеснения, совершаемых в силу прав, присвоенных должности; тогда как все экстренные взятки, определить которые нет никакой возможности, но которые тоже составляют значительную цифру, немыслимы без продажи правды и истины. Такие доходы суть: акты осмотров, составляющие чувствительную статью в стране, где много праздников, проводимых в пьянстве и драках, судебно-медицинские вскрытия, привоз несвежих и подозрительных продуктов, перегон скота и, наконец, рекрутские наборы, когда таковые случаются на слезы человечества и на радость городских и уездных врачей, обыкновенно попадающих по распоряжению врачебных управ в члены рекрутских присутствий. Нельзя же иначе – “свой своему поневоле друг”. Постоянные доходы городских врачей в меньших городах уменьшаются пропорционально численности населения. У уездных врачей они идут гораздо сложнее, там они берутся “коллегиально” с временным отделением, в котором иногда пишут нечто вроде известной резолюции: “мертвое тело приобщить к делу”. Во всяком случае мы видим, что городские и уездные врачи, не известные в науке никакими трудами и не заботящиеся нимало следить за современным ее развитием, получают несравненно более средств к жизни, нежели многие университетские профессора, служащие двигателями науки. Это не новость, и мы не стали бы говорить обо всем этом из желания устыдить и исправить городских и уездных врачей – они что ваш Добчинский и Бобчинский, им даже может быть приятно, чтобы о них поговорили. Мы, выставляя на вид незаконный способ существования городских и уездных врачей, столько же преисполнены негодования к их не достойному нашего века способу жизни, сколько протестуем против равнодушия тех, кто, зная невозможность существовать на 200 руб. годового содержания, не задает себе даже вопроса, чем поддерживается их существование. Однако поднятие такого вопроса убедило бы правительство, что в теперешнем положении наших городских и уездных врачей взятки есть *conditio sine qua non*, [118] а дойдя до этого убеждения, как же равнодушеествовать к этому делу? Мы хотели сказать, что медицинское управление наше настоятельно требует радикальной реформы, что ему не помогут никакие реставрации, никакие односторонние поправки. Мы надеемся быть только справедливыми, сказав, что пока лица, занимающие места городских и уездных врачей, не будут получать за свою службу вознаграждения, соответственного главным современным потребностям врача как члена общества, до тех пор нельзя ожидать, чтобы городские и уездные врачи перестали считать свои взятки законными спутниками их должности. Тогда только можно будет заместить эти должности людьми, которым можно дать имя человека, не унижая человечества, и от них требовать добросовестного ему служения. А до тех пор, пока мы остаемся с теперешними нашими городскими и уездными врачами и содержание их не будет увеличено, не умрет ни медицинская взятка, ни крайне злостное невнимание ко всему тому, что не дает взятки, без которой нельзя пропитаться. До тех же пор мы будем читать безобразные и бессмысленные акты, вроде следующих: “Такой-то, от тяжких побоев, не видя глазами зрения, впал в беспамяство”. Или “такой-то противузаконно застрелился, отчего ему от неизвестных причин приключилась смерть; а при освидетельствовании оказалось: зубы исторгнуты из своих влагалищ и находятся близ науличного окна; прочие

челюсти как будто из головы вовсе изъяты и находятся на отверстии лба; верхний потолок, на второй половине, прострелен дыроу, имея при действии своем напряжение на север, ибо комната эта имеет расположение при постройке на восток". Много, много есть подобных нелепиц, много за ними кроется зла, неправды и лихоимства. Пора бы и очень пора открыто поговорить, каким образом завести, вместо врачей-взяточников, просвещенных и добросовестных медиков, на недостаток которых теперь уже нельзя опираться. Одна беда – их годовой труд нельзя приобрести за такое ничтожное возмездие, которым обходятся теперешние горе-врачи, а этой-то беде нужно помочь во что бы то ни стало.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МЕСТАХ РАСПИВОЧНОЙ ПРОДАЖИ ХЛЕБНОГО ВИНА, ВОДОК, ПИВА И МЕДА

Не подлежит никакому сомнению, что большая или меньшая дороговизна многих произведений зависит от большего или меньшего участия лиц, состоящих посредниками между потребителем их и производителем. Посредниками этими бывают неизбежные, вызываемые силою обстоятельств и такие, без которых, по существу дела, можно бы обходиться, но которые делаются неизбежными при существовании в потребительном классе известных привычек и предубеждений. К разряду посредников этого последнего рода относятся содержатели трактирных заведений и ресторанов, продающие водку, пиво и мед по несоразмерно возвышенной цене. Горячее вино, водку, пиво и мед в обыкновенных питейных заведениях у нас пьет только низший, менее образованный класс народа, привыкший, вследствие исторических причин, пропивать иногда свой заработок в один раз и, пропивая его, кричать, целоваться, плакать и браниться, а иногда и драться с собутыльниками и друзьями. Остальной класс, потребляющий горячее вино, водку, пиво и мед, но не желающий, вследствие своего нравственного развития, участвовать в криках, лобзаниях и побоищах и избегающий даже близкого соприкосновения с этими сценами народного сердцеизлияния, должен искать возможности удовлетворять своим потребностям другими путями. Хлебное вино и водку он может купить или в питейном доме, или в питейной конторе, а пиво и мед также или в этих же самых местах, или в портерной лавке, или же, наконец, в дозволенном количестве, на заводе и после волен употреблять их дома по благоусмотрению. Как ни прост такой способ приобретения питей из тех монопольно-посредствующих рук, которые мы до времени должны считать первыми и даже непосредственными, однако и он не всегда доступен, частью вследствие некоторых общественных условий, частью вследствие недоразвитости отдельных личностей. Идти в наше откупное питейное заведение для того, чтобы выпить там водки, пива или меду, не всякому удобно, потому что войти туда противно, а пить там еще противнее. По той же самой причине не пойдет никто из более или менее облагоустроенных людей в большинство портерных лавочек, двери которых украшены изображением бутылки, брызжущей дугообразной струей красной влаги с подписью: "эко пиво". Мы, конечно, не имеем в виду тех людей, которые думают, что входом в питейное заведение они могут уронить свое человеческое достоинство или, по крайней мере, достоинство своего звания, общественного положения или форменного платья; но и людям, чуждым этих предрассудков, нельзя войти в эти места перелива откупных специй в желудки потребителей по тому омерзению, которое они внушают всякому человеку, мало-мальски очистившему свой вкус. Их вечно грязная обстановка внесет в его душу самое тяжелое, самое возмутительное впечатление. Здесь от никогда не мытого пола до облитого свечным салом гвоздя, которым нечесаный, с оплывшими глазами подносчик выковыривает из посуды бумажную затычку и обтирает своею грязною, немытою дланью горлышко откупоренной посуды, – все посягает на оскорбление эстетической стороны человека. Не говоря уже о том, что, заходя в эти заведения, рискуешь натолкнуться на самые неприятные сцены, в которых, подчас, можешь быть поставлен в необходимость взять на себя роль страдательную. А купить для себя вина в питейной конторе, а пива на пивном заводе не всякий может, во-первых, потому что контора и заводы нередко слишком удалены от потребителей, а во-вторых, потому что питья там продаются в определенном количестве, на которое у многих не всегда есть достаточно денег. Остается еще один способ покупать пиво и водку в местах раздробительной продажи, посылая за ними прислугу или вообще людей, не стесняющихся входом в эти заведения; но многие из людей, не ходящих в кабаки и пивные, не имеют вовсе прислуги, а сторонних людей и негде и некогда иногда бывает искать, да и нужно чем-нибудь вознаграждать их за этот труд; а это значительно увеличило бы расход мелкого потребителя. К тому же, чем обширнее город, тем более в нем таких людей, которые нуждаются в подкреплении себя рюмкою водки или бутылкою пива неподалеку от тех мест, где они занимаются делами своей профессии. И таких людей в больших городах чрезвычайно много, и все они потребляют пиво или хлебное вино вне своего дома и вне питейных заведений. Места, в которых все эти потребители пьют вино, водку, пиво или мед, суть многочисленные гостиницы, трактиры и рестораны, в которых за все эти продукты

берут не втридорога, по русской поговорке, а в десять дорогов, по мудреному экономическому расчету бог весть какой народности. Понятно и естественно, что всякие руки, чрез которые проходит товар, начиная от крупного торговца, приобретающего его от производителя, отмечают на товаре свое к нему прикосновение возвышением его ценности; но содержатели трактиров, гостиниц и ресторанов делают свое посредствующее прикосновение к дорогим и без того откупным продуктам до крайности ощутительным для потребителя. Ведро очищенной водки, продающееся в питейных заведениях по 10 рублей серебром, в трактирах продается по 40–60 рублей серебром. Правда, что мы не можем определить, насколько совестливо производится рестораторами продажа водок и пива, потому что откупщики не отпускают им питей и по тем высоким ценам, по которым продают их обыкновенным смертным, а еще значительно увеличивают их цену и к тому же облагают самые заведения произвольным налогом за право продажи напитков, и потому мы не беремся утверждать, что напитки эти можно бы продавать в трактирах дешевле, чем они продаются; но не можем и не жалеть о том, что в наших городах нет таких заведений, где бы пристойные потребители водки или пива могли употреблять их по той цене, по какой они достаются потребителям, не заботящимся ни о какой пристойности. В недостатке этих заведений лежит корень зла, вследствие которого человек с малым достатком, но с некоторым развитием эстетического чувства у нас лишен возможности удовлетворить своей потребности в вине или пиве за ту цену, за которую удовлетворяет ее человек с относительно большими средствами, но более грубый, более неразборчивый в отношении своих требований. Плотник, штукатур или землекоп, получающий 15 руб. в месяц, квартиру и хозяйские харчи, может выпить в кабаке крючок очищенной водки за гривенник и за 12 коп. бутылку пива; а чиновник, учитель, бедный студент и всякий другой человек, числящийся в высшем слое общества, но снабженный средствами, скуднейшими заработками землекопа, платит за четверть крючка водки 15 коп. а за бутылку пива от 25 до 40 коп., потому только, что он пьет их в трактире. А в трактире они пьют, как мы уже сказали, потому, что в кабаке и пивной лавке противно пить, а с другой стороны, потому, что если бы кто-нибудь из этих потребителей зашел в кабак и пивную лавочку, то такой поступок повлечет на него порицание от собратий и отчуждение членов той корпорации, с которой связаны его интересы, и, может быть, потерю существенных выгод, составлявших цель его долголетних исканий. Как ни неосновательны, как ни странны некоторые общественные воззрения, но не все могут оказывать им свое равнодушие; а наше общество снисходительно назовет кутилой человека, которого сносят на руках с трактирной лестницы какого-нибудь блестящего отеля, но непременно заподозрит в склонности к пьянству человека, хотя бы и твердо поступью сходящего с крыльца кабака или пивной лавки. Людям, стоящим в материальной зависимости от такого общества, которое величает шалунами развратников, разрушающих под маской дружбы семейное счастье, и затворяет двери перед человеком, предпочтившим “оригиналы спискам”, нечего прать против рожна. Говоря о негодности наших питейных заведений для разнообразных потребителей вина и пива, мы вовсе не имеем в виду упрекать их постоянных посетителей в том безобразии, которым сопровождаются их грубые оргии, – грубость этих людей не их собственная вина. Существующие питейные заведения нечисты сами по себе, не годятся для нашего времени и должны быть заменены такими, которые бы удовлетворяли требованиям разнородных потребителей, не посягая на чрезмерное опустошение их карманов. В Москве и особенно в Петербурге уже встречаются такие заведения, и хотя они еще не пользуются такою популярностью, как пивные погреба Германии, где офицеры, солдаты, богатые и бедные, извозчики, торговки и порядочно одетые дамы сидят мирно за столиками и пьют свою кружку пива за 11/2 гроша, – но, однако, имеют довольно посетителей из различных слоев общества, и питье пива там обходится не только без ссор, драк и побранок, как в кабаках и пивных лавках, но в них не нужен бывает даже немецкий “himmel” (дурацкий колокольчик), звонивший всякий раз в Швейдницком погребе, когда кто-нибудь из посетителей позволял себе какую-нибудь непристойность. Стало быть, у нас есть люди, которые хотят пить пиво дешево, не делая непристойностей, нарушающих общественное спокойствие, а отсюда очевидна и нужда в повсеместном учреждении благопристойных мест для продажи этого напитка. Но кроме нескольких чистых заведений этого рода в Москве и Петербурге, их не случается встречать ни в одном русском городе. Мы полагаем, что такие заведения не имели до сих пор места в других наших городах по следующим причинам: 1) Откупа, продающие водку, пиво и мед, заботятся, чтобы народ более всего пил специальные водки, на которых темные барыши крупнее, нежели на других продуктах, каковы пиво и мед, и потому они варят пиво дурное, которое народ мало употребляет, хотя и очень любит этот здоровый и дешевый напиток. 2) О чистоте и удобстве питейных заведений откупа не прилагают никакого попечения, потому что главные потребители их товара суть не те люди, которые

только пьют водку и пиво, но те, которые пьянствуют водкою и опохмеляются пивом: а это народ не разборчивый. Для этих бедных людей все равно, где бы ни выпить, и откуп, не имея конкуренции, не опасается чрез безобразие своих распивочных заведений потерять верных потребителей своих снадобий. 3) Пивных заводов, не принадлежащих откупам в России, очень мало, и вырабатываемый на них продукт часто бывает ниже всякой посредственности, отчего и не имеет большого сбыта. 4) Преизбыток в городских обществах непроизводительных членов, мало знающих цену добытка и незнакомых с заботой о производительной затрате его, порождает более потребителей на дорогое виноградное вино и влечет их в модные рестораны, недоступные людям, живущим на счет своего личного труда. И наконец 5) превратное понятие о приличии, в силу которого выпить в меру и не в меру в каком-нибудь известном ресторане прилично, а выпить бутылку пива в скромном пивном погребе – неприлично, прививает людям чувство ложного стыда и устраняет мысль о возможности благопристойных питейных заведений, не требующих излишней переплаты за нужный продукт. Последняя причина едва ли не самая существенная, по крайней мере, она имеет самые ощутительные последствия. Так, например, в Киеве, где очень любят пиво, в этом году открыта на лучшей улице большая, прекрасная пивная зала, с мягкой мебелью, мраморными столами и чисто одетою прислугою, где пиво продается только одною копейкою на бутылку дороже обыкновенных пивных, но заведение это встретило много осуждений со стороны некоторых господ, утверждающих, что порядочному человеку неприлично пить пиво вместе со всеми. Долгое время только немцы, университетские студенты, некоторые профессора и молодежь, не носящая форменного платья, были исключительными посетителями этой залы. Остальные люди форменные были против нее, а если кто-нибудь из них и заходил в эту залу, то не чрез парадные двери, как все другие, а пролезал иначе и не садился в зале, боясь смешаться с людьми, а жался особнячком в боковых комнатах. Эти господа входили и выходили из пивной залы чрез ворота дорогого английского отеля, вопия против наглости людей, открыто входящих на ее крыльцо. Но глас их оставался гласом в пустыне. Число людей, заходящих в залу выпить бутылку пива за 13 коп., день ото дня увеличивалось, и, говорят, в городе скоро будет открыто другое такое заведение на Подоле. Желательно, чтобы для общей выгоды и в других городах появились такие заведения. Пусть в них пьют на здоровье хорошее и дешевое пиво, это далеко не так вредно, как пьянство в отвратительных кабаках и изящных трактирах, где не нужное потребителю изящество тяжело ложится на счет его кармана. За успех таких заведений можно смело ручаться. Их не убьют толки прелазящих инуде везде, где найдутся люди, уверенные, что все не входящие дверьми суть тати и разбойники, которых не достоин слушать.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИЩУЩИХ КОММЕРЧЕСКИХ МЕСТ В РОССИИ

Некоторые правительственные реформы по сокращению штатов в гражданской и военной службе в последнее время оставили без занятий таких людей, которые обрекали себя на пожизненное чиновное служение; а обличительная литература, влияя по возможности на натуры, доступные голосу совести и чести, становилась страшилищем для многих соискателей служебного самовознаграждения и, мало-помалу, убедила многих в необходимости приложить свои силы к другому труду. Все это повело к тому, что в рядах соискателей частной службы, в самое короткое время, появилось очень много по преимуществу молодых людей, из которых одни волею или неволею оставили государственную службу, а другие, только приготовясь к ней, сознали необходимость избрать себе вместо ее другую дорогу. Все эти люди, вследствие прежнего взгляда на воспитание, были лишены всякой полезной специальности и потому не могли заняться никаким самостоятельным делом, требующим известных познаний и известного вещественного капитала, которого также почти ни у кого из них не было. Учиться ремеслам было поздно и по многим причинам невозможно. Оставалось обратиться к таким занятиям, которые, в пору доброго старого времени, русский человек делал так, зря, самоучкою, а чаще и вовсе ничему не учась и ничего не зная. В кругу таких занятий более других привлекали к себе места управляющих помещичьими населенными имениями, над разорением которых спокон века трудились и заграничные недоучки, выдававшие себя у нас за энциклопедистов, и доморощенные наши аферисты. Но мест этих, конечно, далеко недоставало на всех конкурентов данного района; а между тем число ищущих мест день ото дня увеличивалось, а с ним возрастали и нужды и скорби конкурентов, и разборчивость их в выборе занятий переходила в безразличие. Воспитанные в условиях, не благоприятствующих телесному развитию, люди эти не могли обратиться ни к какому физическому труду. С одной стороны, он был им не по силам и по скудости задельной платы не удовлетворял потребностям, сделавшимся их необходимостью; а с другой – каждый из них ощущал в себе столько знаний и способностей к несению труда более ценного, труда, который исполняли люди, лишённые всяких нужных для

него познаний, и пользовались вознаграждением, доставляющим целому семейству относительное благосостояние. Я говорю о службе по торговым и промышленным делам, известной у нас под именем службы коммерческой. К хозяевам таких дел обратились люди, нуждавшиеся в работе, но едва ли и один процент их сыскал себе дело у отечественных коммерсантов. Причина этой неудачи заключалась, во-первых, в том, что значительная и притом самая оборотливая часть наших торговцев – иностранцы, у которых вся корреспонденция и книговедение идут на иностранных языках, с которыми большинство ищущих службы людей оказалось или совершенно незнакомым или знакомым до такой степени слабо, что знание их никуда не годилось, и потому служба у иностранцев делалась невозможной для русских. Русское же купечество не протянуло руки соотечественникам, искавшим работы, и как бы в один голос отвечало дворянчикам: “нет-с, нам не требуется; у нас своих много-с”. Поводом к таким ответам было не то, чтобы русскому купечеству действительно не требовались люди; напротив, люди ему постоянно нужны, но люди не того разбора, какие являлись с предложением своего труда, вследствие сокращения штатов государственной службы. Нужны были люди малограмотные и стоящие на одинаковой степени образования с хозяевами, к которым они являлись просить работы и платы; люди, прошедшие степени мальчиков и молодцов и за прилавком изучившие необходимость слепого признания хозяйского авторитета и собственного бесправия. А дворянчики, искавшие мест, представляли в глазах хозяев следующие неудобства: 1) многие из них, – а по понятиям, составленным большинством русских торговцев, – даже все они, вовсе не способны ни к какому делу, кроме того, чтобы крючки гнуть или плечами трясти; 2) что у них много фанаберии и хозяин не жди от них почета, и 3) что “всякий Гришутка и Мишутка для нас как-то сподручнее”.

Вот принципы, руководствуясь которыми русское купечество отказывало и отказывает разночинной русской молодежи в работе и куске хлеба в то самое время, когда торгующие в России иностранцы стараются заместить у себя на службу своих земляков.

В таком положении застало соискателей коммерческой службы учреждение в нашем государстве разнородных акционерных обществ и компаний. При открытии каждой из них рассеянные по лицу земли русской люди без дела стремились к ним с предложением своих услуг, кто письменно, а кто был понеосторожнее, собрав последние средства, тянулся с одного конца России на другой и лично предлагал свои услуги, и лично же имел удовольствие выслушивать всегдашние постоянные отказы. Я думаю, излишне говорить о том, как много из этих несчастных соискателей ошиблись в своих расчетах. В Петербурге, Москве и Одессе, не далее как нынешним летом, можно было встретить сотни таких людей, прибывших из разных углов России раздобыть какую-нибудь службу в акционерных обществах. Но надежды их почти всегда были тщетны. В одних русских обществах принимали на службу только одних иностранцев; в других – людей известных фамилий и с известными чинами; в третьих – места раздавались по протекциям. Словом, везде были нужны побочные рычаги для того, чтобы добыть себе работу. Смышленной головы и здоровых рук было мало для того, чтобы найти себе место. Приемное испытание, мера самая рациональная, не имела места почти ни в одном акционерном обществе, и в отсутствии-то этой меры, конечно, лежит причина переполнения многих акционерных обществ людьми бесполезными, неспособными и обременяющими акционеров получением невыслуженной пенсии, тогда как множество способных и даровитых людей погибают без дела и с немым отчаянием смотрят на свою исчезающую в безделье молодость. Положение их нередко бывает ужасно. Я не могу не вспомнить двух молодых людей, которые весной этого года пришли в Одессу искать коммерческой службы; долго они искали ее и сами, и через факторов до тех пор, пока проели последние сюртуки и стало не в чем ходить за отысканием мест. Я встретил их в числе работников, которые переносили на пристань апельсины... А один из этих молодых людей был кандидат киевского университета, человек с большими дарованиями и прекрасным направлением. Обоим им кто-то что-то обещал в будущем – Бог весть, сдержал ли он свое слово, а я так и оставил их между носильщиками, которые подтрунивали над слабосилием ученых. [119] Но возвратимся к нашему предмету. Мы уже сказали, что с тех пор, как разночинная молодежь русская стала мало-помалу отрешаться от чиновности и стремиться к труду производительному, обнаружилось, что предлагаемого этими людьми труда никому на святой Руси не нужно; иными словами, что предложение труда русских людей превышает запрос его в России, стране непечатых работ и невозделанных богатств. Очевидно, что такое положение неестественно и ложно; но тем не менее оно существует и влечет за собой следующие последствия.

Устранение разночинцев от торговых дел и допущение к ним исключительно мещан и

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

крестьян в одно и то же время лишает земледелие и домашнее хозяйство рук, приспособленных к нему с детства, в ущерб многостороннему хозяйству, и оставляет без дела и без хлеба людей, которые могли бы быть полезными на коммерческом поприще, но которым не над чем хозяйничать дома, ибо у них часто нет никакого дома или дом их – вся мать-сыра земля. Способности же этих людей к торговле, за небольшим исключением, не могут быть ничтожнее способностей Мишуток и Гришуток; а вряд ли подлежит сомнению, что только этим Мишуткам, в дальнейшем их развитии, обязана наша торговля настоящим плачевным ее состоянием. Продолжительное страдание соискателей торговой службы убивает их способности, гнетет, давит их и, наконец, многих из них, не обладающих геройским духом, доводит до пороков и преступлений и в то же время, лишая их возможности вести семейную жизнь, лишает государство, бедное народонаселением, приращения его.

Наконец, несчастья разночинцев в приискании себе занятий в глазах невежд, имеющих места, служат доказательством, что, ученым быть плохо и что, ничему не учась, можно жить в большем довольстве и счастье, чем с наукою. Отсюда равнодушие к науке и нередко невежественная насмешка над нею.

Все эти безотрадные явления созданы упорным убеждением наших торговцев в неспособности людей, не выросших за прилавком, к служению торговым делам и в стремлении правлений наших акционерных обществ обставиться иностранцами и людьми с весом и с протекциями (как будто вес и протекция служащих могут иметь значение в торговле!). Мы, конечно, не можем разделять всех этих стремлений и убеждений, и нам остается только скорбеть за тех, кто их питает, и за тех, кому приходится так тяжело терпеть от них. Мы далеки от всякой мысли утверждать, что вся разночинная молодежь, ищущая коммерческой службы, готова и приспособлена к ней, но мы уверены, что теперь часть ее действительно приспособлена к торговому делу, а остальные легко могут приспособиться к нему, ибо почти в каждом из людей этой страдальческой корпорации, грозящей стать зерном русского пролетариата, есть более научного образования и общежитийского развития, чем в тех приказчиках, которые дошли до своего звания пятилетним закликаньем покупателей в хозяйскую лавку, и мы уверены, что приказчики из чиновников, офицеров и вообще из всех тех людей, которых приказчиный кружок, в каком-то озлоблении, зовет дворянчиками, скорее бы успели убедить общество, что в торговом сословии русском не должно видеть гнезда смешных и тривиальных сторон, жениха из ножевой линии, характеризующих теперешнего гостинодворца. Пусть сначала эти люди не могут быть употреблены к самостоятельной деятельности в больших торговых операциях, производимых за глазами хозяина; но измерить товар по фактуре, продать его по мете: “П-о-р-т-у-г-а-л-и-я”, заприметить требования публики да написать или дисконтировать вексель – право, не велика премудрость, и человеку, который чему-нибудь учился, мудрено быть неспособным к ней через несколько дней по прибытии в лавку. А ведь за такую службу у нас часто платят от 800 до 2000 рублей серебром в год. Ведь за эти деньги пойдет служить человек, которому покупатель не откажет в доверии, не вынуждая его ротиться и клястися на чем свет стоит. Что же касается до фанаберии и других неудобств найма дворянчиков со стороны их нравственной беспокойности, то – Боже мой! – неужели же фарисейское низкопоклонство и лесть могут более нравиться в человеке, нежели его самоуважение? Неужели долго еще не переведутся на матушке Руси люди, которые верят, что образование учит не уважать в человеке человека и не разуметь в должной степени своей зависимости и долга? Грустно и повторять такие истины, и еще грустнее видеть, что русские торговцы избегают в выборе людей именно того самого, чего со всею тщательностью ищут в своих служащих торговцы английские и американские. Не в этом ли лежит разгадка недолговечности наших торговых домов, тогда как родовые капиталы Англии целые столетия переходят из рода в род? Как кто хочет, а выбор людей – дело великое, и на Мишутках с Гришутками далеко не уедешь. Их век прошел, и благо тому, кто ранее поймет это. Европа движется к нам – мы движемся к Европе, и встреча наша потребует в торговом деле людей с образованием, а не Мишуток, которые никуда не годятся, несмотря на свои лакированные сапожки и циммермановские шляпы, которые они поднимают наотмах, с ловкостью полувоенного человека.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВРАЧИ В РОССИИ (СТАТЬЯ Н. ЛЕСКОВА ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Г. Ф. Б.)
Il faut savoir le monde comme il est, pas comme il doit être.[120]

В 39-м № “Современной медицины” помещена моя статья “Несколько слов о полицейских врачах в России”, подписанная вместо моего имени псевдонимом “Фрейшиц”.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Мысль, лежавшая в основании этой статьи и руководившая меня к написанию ее, а редакцию “Современной медицины” к помещению ее в своем журнале, была: благонамеренное сочувствие прогрессивным идеям, исключая терпимость темных добытков и стремящимся стать за морализацию людей, лишенных возможности открыто назвать пути, которыми они добывают средства для своего существования.

Оглашая то, что по чувству самосохранения известные городские и уездные врачи тщательно скрывают от правительственного внимания, мы хотели положить основание трактатам об улучшении быта полицейских врачей, которые надеялись вызвать у людей компетентных. Мы не знаем, насколько уместно было поднятие нами этого вопроса, не ручаемся, что взялись за него как должно и ясно выявили мысль, которую клали в основание своей задачи, но хорошо знаем, что статья наша прошла для нас небесследно. Наконец, статья эта вызвала против себя “радикальный” критический разбор г. Ф. Б., поместившего в 46-м № той же газеты “Несколько мыслей против несколько слов г. Фрейшица о полицейских врачах в России”. [121]

Статья г. Ф. Б., помещенная в 46 и 47 №№ “Современной медицины”, вероятно, уже знакома читателям этого издания и нашла у них оценку, по усмотрению, но тем не менее мы, личные виновники вызова этой благонамеренной статьи, считаем долгом еще раз провести ее перед нашими читателями под взглядом выработанных нами убеждений и с полным беспристрастием проследить, как укладываются авторские доводы в самую суть трактуемого предмета.

Цель статьи г. Ф. Б. – доказать, что во всей моей статье только одно верное положение, – что на 200 р. казенного жалованья жить нельзя, но что права и способы жизни полицейских врачей для меня есть terra incognita. [122] Для доказательства моего незнакомства с делом, о котором мы беседуем, и для опровержения всех положений не понравившейся г. Ф. Б. статьи о полицейских врачах в России он зарядился двумя неотразимыми элементами: а) выбранными статьями XIII тома Свода законов и б) рациональностью. В силу этого заряда он идет на развитие моих положений: 1) путем юридическим и 2) путем рациональным. Кроме опровергающих тенденций на отдаленном плане, у г. Ф. Б. прорывается желание заявить отрицательным образом необходимость эмансипации полицейских врачей, о чем так горячо хлопочет уважаемый г. Воронежский, рассказавший в 40 № “Современной медицины” грустную повесть метаморфозы честного медицинского студента в медицинского взяточника и тяжелой зависимости полицейского врача, вынужденного угождать всякому начальству. Чуть-чуть не...

...лакею, дворнику, во избежанье зла,
Собаке дворника, чтоб ласкова была.

Со взгляда г. Ф. Б., современный быт русских полицейских врачей далеко не так безотраден, как думает редакция “Современной медицины”, я и г. Воронежский; как думают многие благонамеренные люди, не склонные пробавляться темными средствами. По мнению г. Ф. Б., основанному на юридических соображениях, от которых он сначала отправляется к “радикальному” разбору моей статьи и выводит из нее свое “противное” (*ipsissima verba* [123] г. Ф. Б.) заключение, – русский полицейский врач гарантирован от всякой деморализации при исполнении своих служебных обязанностей присутствием понятых и полицейского чиновника, без которых врач не делает, по закону, ни осмотров, ни вскрытий (понятые, по большей части безграмотные, и бедный полицейский чиновник!.. Нечего сказать, хороша гарантия!!). Но, не упрекая г. Ф. Б. в избытке любви к истине, доведшем меня, по его словам, до излишества, следствием которого городские и уездные врачи изображены какими-то нравственными уродами, [124] я должен, однако же, начать мое слово по поводу его статьи упреком ее автору за неоткровенность, консерватизм отживших тенденций и неуважение к обществу, которое он считает способным убеждаться вещами, возможными *de jure*, [125] но не существующими *de facto*. [126]

Г. Ф. Б. совершенно напрасно утруждал себя и обременял внимание читателей компиляцией законоположений врачебного устава, в силу которых городской и уездный врач исполняют всякую свою обязанность при чиновнике полиции и понятых людях, по выражению Ф. Б., “ассистентах”. Никто не сомневается, что русский закон не протезирует взяточничества и что законодатели изыскивали ряд мер к пресечению взяточничества. В числе этих мер, бесспорно, должно видеть и ассистентство, о котором говорит г. Ф. Б. Но достигает ли закон своей цели, делается ли взятка невозможною от этого ассистентства – это другой вопрос, и вопрос, всеми и всегда решаемый отрицательно. Мы думаем, что и сам г. Ф. Б. в глубине своей души согласен с нами и смеется над наивностью, с которой он хотел доказать всем мыслящим людям, что, где есть полицейский чиновник и понятые – там

взятка для медика уже немыслима. Напротив, мы думаем, что поговорка “рука руку моет” именно и сложена для определения отношений, подобных тем, какие существуют у известных полицейских чиновников к известным полицейским врачам. Здесь не время и не место доказывать г. Ф. Б., как близко мы знакомы с правами и способами существования городских врачей; мы не только знаем эти способы, но можем указать даже и приемы, которыми производятся медицинские взятки[127] (для примера зри статью о врачах рекрутских присутствий № 36-й “Современной медицины”).

Нет, г. Ф. Б., можно быть рутинистом и консерватором всякой несообразности, но нельзя позволять себе уверять общество в одухотворении теней своей заступнической фантазии. Разве Вы, увлеченные, конечно, не избытком любви к истине, забыли, что общество знает, как ничтожен голос полицейского чиновника, лишенного всякого понятия в специальности полицейского медика. Разве, Вы думаете, кому-нибудь неизвестно, что такое наш “понятый” – человек, сгибающийся в форму русского глагола для того, чтобы на его же спине врач нацарапал наскоро свои заметки для внесения их в акт, который за безграмотных понятых подпишет потом какой-нибудь грамотей, иногда не видавший ни дела, ни понятых, за которых он подписывается? Разве полицейский чиновник или понятые дают заключение в судебно-медицинском случае, а не сам врач, пред таинственными соображениями которого понятые и полицейский чиновник безмолвствуют! Полноте, г. Ф. Б., морочить публику мнимым влиянием полицейских чиновников и понятых на медицинские заключения. Общество очень хорошо знает, что наши понятые отнюдь не то же самое, что английские эксперты, и что, при всяком судебно-медицинском вскрытии и определении патологических изменений, при каждом химическом анализе съестного продукта, люди эти, не имеющие часто самого поверхностного образования, играют бессмысленную, автоматическую роль, нечто вроде мебели, вроде роскоши нашего гигиенического контроля. Мы уверены, что если бы об этом предмете заговорил человек, не увлекающийся побуждениями, противоположными избытку любви к истине, то он сказал бы здесь о вредном недостатке в русском обществе правомерного уважения к законным требованиям полицейских врачей и полицейских чиновников. Он бы указал, что чиновник и врач никогда не видят пред собою понятых людей из сословий, которым более доступно просвещение и некоторое знакомство с делом, к совершению которого они призываются свидетелями. Отчего полицейский чиновник не смеет у нас, во имя закона, пригласить в понятые первого встречного человека, не обращая никакого внимания на его чин, звание и состояние, а тащит (да, тащит) в понятые непременно бедняка мужика или оборвыша мещанина? Оттого, что у нас всякий человек высшего общественного положения считает себе за обиду быть приглашенным к соучастию в исполнении многих обязанностей гражданина, считая эти обязанности привилегией низших сословий, крестьянства и мещанства. Оттого, что вследствие неразвитости социальных понятий иному статскому советнику кажется унижительным быть призвану к одному и тому же делу, к которому призван и мимолетный плотник. Это неуважение законных требований членами общества, которым закон должен быть более знаком, в связи с неуважением чиновников уважать права каждого человека на свободное распоряжение своим временем, сделали то, что грамотный человек у нас страшится попасть в понятые и избегает всякого призыва, потому что, кроме долгого стояния на ногах перед полицейским и медицинским чиновником во время самого акта осмотра, ему еще придется узнать, где живет, во сколько часов ложится спать и когда встает г. полицейский чиновник или врач, ибо к одному из них он, Бог весть за что, должен прийти для подписания письменного акта. И долго иногда понятой, по образу пешего хождения, посещает квартиру врача или чиновника, пока они, занятые другими делами, приготовят акт для подписи понятым. Вот отчего и происходит, что в понятые у нас, по большей части, берутся люди безграмотные, не сознающие своего значения и не умеющие поднять голоса даже для того, чтобы уклониться от бытия понятым. А для следователей и врачей, как известно, имеющих часто обыкновение не писать актов на месте самого осмотра, люди этого разбора представляют то особенное удобство, что о подписях их нечего заботиться. Вот в чем, по нашему мнению, заключается уничтожение важного юридического значения понятых, вот где кроется корень бесконтрольного произвола полицейских и медицинских чиновников, произвола, вполне возможного им и сообща и порознь. Но об этом мы намерены поговорить подробно на страницах другого общественного органа, а теперь обратимся к обзору того противного (*ipsissima verba*) направления, которое явилось у г. Ф. Б. по прочтении фельетона 39-го № “Современной медицины”.

Г-н Ф. Б. говорит о свидетельстве живых и с тою же неотразимую логику доказывает (должно быть, юридически) невозможность брать взятки и при этом случае, ибо и здесь и та же полиция, и те же понятые. Мы не знаем, как это

делается на злополучном полуострове (еще не открытом, по словам г. Ф. Б.), но у нас на континенте свидетельствуются в живом виде по большей части люди, которые шесть дней в неделю делают и творят вся дела свои, а на седьмой день пропивают недельные заработки рук своих, приобретая фонари под глаза и бесплатное изменение прически. Освидетельствование же их почти всегда производится так: (г. Ф. Б.! просим прислушать) когда посчастливится русскому человеку в день пропития трудов своих подставить фонарь своему ближнему, вытолкнуть у него мимоходом два-три зуба или вырвать клочок волос, и если за тем тут же не воспоследует у победителя и побежденного немедленного примирения, со взносом новой пошлыны в пользу чарочного питейного откупа, то побежденный, подобрав поличье, выбитое из его индивидуальности победителем, завязывает его в угол платка или тряпицы, а в середину того же платка кладет три, четыре или шахитим пять булок и рублевый билет, и с этим узлом отправляется собственною своею персоною к г. городовому врачу. Напрактикованная прислуга немедленно допускает к нему "побитого", который вручает Его Высокоблагородию "поличье", хлеб-соль и государственный кредитный билет, а взамен их получает тут же без всяких "ассистентов" составленное свидетельство и с этим свидетельством отправляется далее благодарить кого следует и оформливать письменный акт своего поражения. Так вот, г. Ф. Б., не считайте нас совсем профанами, и мы, как изволите видеть, говоря словами Гоголя, [128] знаем, "как что делается в благоустроенных государствах". Этот порядок легко могут подтвердить знакомые нам лакеи известных нам городских врачей (просим извинить нам плебейское знакомство), и мы уверены, что только закон, наказывающий лиходелателя наравне с лихоимцем, или собственная польза лиходелателя устраняет возможность юридических доказательств во всех прочих статьях медицинского злоупотребления.

Нам кажется, что, сваливая все вины на полицию, г. Ф. Б. напоминает собою Клима, который украдкою кивает на Петра. И к чему все это? Если полиция не прочь от темных дел и известные полицейские врачи, как мы уже доложили, тоже бывают не прочь от них, то что же из этого следует? Допустив, что $A+B=$ чему-нибудь скверному, должно допустить, что и А, и Б суть элементы этого скверного.

Препятствовать взяточничеству врача полиция не может, ибо взятки большею частью берутся дома, куда не распространяется полицейский надзор; да и что один полицейский чиновник, нередко человек маленький, например, хоть перед любым губернским рекрутским присутствием, где заседают председатель казенной палаты, предводитель дворянства, советник ревизского отделения, воинский приемщик, врач-консультант, жандармский офицер, а иногда еще и другие особы – а между тем... я думаю, и г. Ф. Б. не скажет, что известные врачи в рекрутских присутствиях не берут страшных взяток.

Относясь к врачевным управам, перед которыми г. Ф. Б., может быть, против воли, очевидно благоговееет, как перед учреждениями влиятельными, он отрицает взимание членами некоторых из них определенной дани с своих подчиненных и говорит, что они не могут и думать об этом по существующему положению о зависимости городских и уездных врачей от губернского начальства. Во всем, изволите видеть, инициатива зла принадлежит губернскому начальству, – а мы, а наши принципиалы – непогрешимы, как святой отец Папа. Господа! неужто же это имеет какую-нибудь тень правды?

Неужто врачевные управы так мало влиятельны, что, кроме дешевеньких панегириков и шатких убеждений, они ничего не достаиваются от соискателей их внимания?[129]

Мы просим всех благонамеренных городских и уездных врачей, всех людей, изучивших быт русского полицейского медика, поднять свой голос на решение спорных положений г. Ф. Б., против того, что многим городовым и уездным врачам нашим нельзя прожить, не принимая, а иногда и не вымогая взяток. Мы знаем, что в семье городских и уездных врачей есть светлые личности, мученики совести и убеждений, но люди эти знают, что мы говорим правду, и не выступят ратовать против нас. Мы с удовольствием выслушаем всякое фактическое опровержение выраженных нами выводов, но никогда не согласимся в невозможности взятки вследствие существования предосторожностей и коллегиальности. Взятка, как всякое зло, боящееся света, скрывается во тьме и творится вдали от всего того, что может быть юридическим доказательством, и потому всякое дальнейшее словопрение с г. Ф. Б. становится несносным и бесплодным гортанобесием. Такие вещи, как систематические взятки, вошедшие в обычай и тщательно скрывающиеся от власти, не доказываются и не опровергаются юридически, они доказываются общественным мнением и разумным вникновением в дело; иначе вся обличительная литература

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovnikolai.ru
обратилась бы в прокурорское бюро ассизного суда. Не знаем, как кому, а нам кажется, что г. Ф. Б. юридически ничего не доказал, кроме невозможности доказывать несуществование злоупотреблений существованием охранительных правил; в следующий раз мы поговорим о силе его рационального заряда: может быть, там нам легче удастся убедить его, что в теперешнем положении многих полицейских врачей взятка есть для них *conditio sine qua non*. [130] С г. Ф. Б. нельзя покончить всего вдруг, хотя и желательно бы. Беспощадная сила его логики заставляет страшиться его сарказма, и мы готовы жалеть о том, что позволили себе... разъяснить ему вещи, которые в наш век понимают дети, сидящие на школьной скамье; но... Дело сделано; возврата нет, и мы снова перед силой противного (*ipsissima verba*) убеждения нашего юриста и рационалиста.

Окончим нашу статью изъявлением душевного прискорбия, что г. Ф. Б. скрыл свое достойное имя под двумя скромными буквами русского алфавита. Благодетельные реформы просвещенного правительства нашего, вероятно, не забудут коснуться и быта наших полицейских врачей, и тогда всякий из них, подымая свой голос на благословение правительственного внимания к теперешней своей тяжелой доле, вспомнил бы добрым словом господина, уверявшего, что и на 190 рублей серебром годового содержания полицейский врач, обремененный кучею обязанностей по службе, может жить честным трудом, без взятки. Достойное имя г. Ф. Б. должно принадлежать истории медицинской администрации в России. От него самого зависит воздвигнуть памятник себе чудесный, вечный, и времени рука не сокрушит его.

ВОПРОС ОБ ИСКОРЕНЕНИИ ПЬЯНСТВА В РАБОЧЕМ КЛАССЕ

Мужик год не пьет, два не пьет, а как черт прорвет, так все пропьет.

Народная пословица

В числе девяти вопросов, решением которых в 1858 году занимался гигиенический конгресс в Дании, был рассматриваем вопрос о том: каким образом воспрепятствовать излишнему употреблению водки в простом классе народа? К крайнему прискорбию, мы не имеем сколько-нибудь верных сведений о мерах, придуманных 534 членами этого конгресса против пьянства, а между тем всякая мысль, высказанная по этому поводу, дорога истории человечества и в России стоит наряду с первыми очередными вопросами. Ни мор, ни глад, ни огонь и меч двенадцати языков не ознаменовали так своих губительных нашествий на нашу отчизну, как укоренившийся у нас страшный порок пьянства – пьянства буйного, дикого, отвратительного и иногда обесмысливающего наше чернорабочее сословие. Что делать с этой страшной язвой нашего народа? Где рожон против этого губительного зла? Наши благонамеренные адепты откупной системы долго уверяли нас, что только одна эта система удерживает народ от пьянства и что без нее он совсем разопьется, а сами, движимые христианской любовью к народу, занимались разведением воды вином. Закон поставляет некоторые ограничения, при которых напитки делаются менее доступными народу, и особенно бедному классу, а народ, и преимущественно бедный, все преуспевает в пьянстве – то с горя, то с радости, то по Божьему попущению, то по бесовскому наваждению. Стало быть, все меры, возвышающие цену этого продукта и ограничивающие число мест его продажи, нисколько не искореняют в народе злоупотребления спиртными напитками. Напротив, высокая цена хлебного вина в некоторой степени сама доводит народ до неумеренности, ибо известно, что человек, не имеющий возможности капитализировать свой заработок, делается равнодушным к сохранению своих добытков, а все остающееся за удовлетворением первых своих потребностей употребляет на удовлетворение своим порочным желанием. Нужно искоренить склонность рабочего класса к пьянству, а не домогаться воспрепятствовать излишнему употреблению водки, как выразился скандинавский гигиенический конгресс.

Мы полагаем, что ни один конгресс в мире не придумает никаких рациональных мер, которые бы воспрепятствовали излишнему употреблению водки, пока народ не уверует в губительные для него последствия пьянства. Хороший пьяница перескочит все препятствия и (как говорят) украдет да достанет денег на то, чтобы напиться до чертиков. Запрещения и препятствия ни к чему не ведут, кроме злоупотреблений запретительными правилами. Запретите излишек в пище, достигнете ли вы успеха? Нет и тысячу раз нет. Как же надеяться препятствиями отучить народ от пьянства, когда и оно может совершаться так же незримо для запретительного надзора, как обжорство, тем более некоторыми лицами, особенно подверженными искушениям исконного врага человеческого рода, эти возлияния производятся с подобающим секретом и смирением? Предполагать успех охранительных мер значило бы предполагать неисполнимое. Итак, как ни велико и ни возмутительно зло, причиняемое пьянством, но все-таки бесполезно стремиться противодействовать ему

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

изданием охранительных правил, и ничего не сделают с этой постыдной страстью никакие конгрессы, кроме тех, которые будут иметь неиллюзорное намерение просветить массы от одержавшего их невежества и освободить их волю от кабалы у черта, имеющего в глазах нашего простолюдина неограниченную власть на подвинутие его ко всему недоброму. Недавний пример отрезвления жмудского землевладельческого класса лучше всего доказывает справедливость этого положения.

Врачам, телесным и гигиеническим комитетам нечего делать с пьянством народа, и остается только запасать в гоститальях к каждому празднику более кроватей для поступающих с *delirium tremens*. [131] В деле искоренения пьянства, по нашему убеждению, всего приличнее обратиться к другим врачам и к другим аптекам. Нужно пролить в массы свет разумения, нужно очистить их вкусы, нужно указать им другие наслаждения, вне кабачной атмосферы, и уронить в их понятиях сотрудничество черта в деятельности Ив. Ив. Елкина; а все это достигается только образованием масс и допущением их к участию в эстетических наслаждениях. Воскресные школы, народные театры, клубы, лектории и примеры воздержанности – вот источники отрезвления рабочего класса, и мы не знаем, как не видел этого скандинавский конгресс. Здесь только нужно действовать с любовью и энергией. Смерть не ждет, и жизнь не должна ждать.

ТОРГОВАЯ КАБАЛА

Мальчик был он безответный:

Все молчал, молчал;

Все учил его хозяин –

Да и доканал...

Л. Комаров

Грустное и тяжелое чувство налегает на сердце по прочтении заметки, помещенной в одном из московских периодических изданий, об угнетенном положении московских гостинодворских мальчиков и приказчиков. Это живо сохранившийся остаток кабального холопства древнекабальных времен нашего отечества. Варварское обхождение хозяев-гостинодворцев с приказчиками и особенно с мальчиками, отдаваемыми им в кабалу, под видом приучения торговому делу, мы думаем, ни для кого не новость; но странно, что оно до сих пор как-то ускользало от внимания прессы и тех лиц, которые нашли нужным учреждение контроля над содержанием учеников фабрикантами и ремесленниками. Мы, по несчастью, никогда не смели сомневаться в полной необходимости распространения такого контроля и на мальчиков, отданных купечеству для приучения торговому делу, но до сих пор мы не решались высказать об этом нашего мнения только потому, что боялись погрешить, считая известные нам факты жестокого обращения торговцев с мальчиками, отданными им на выучку, общим мерилом отношений хозяев к вверяемым им детям. Теперь “Московский курьер” в 27 и 28 №№ этого года сообщает о быте московских гостинодворских мальчиков такие вещи, что, как мы сказали, сердце сжимается от ужаса и страха за эти несчастные создания, выводимые в люди путем холода, голода, бесприютности и затрещин.

Коротко знакомые со взглядом русского купечества на людей, служащих его торговым делам, мы, к несчастью, лишены всякой возможности заподозрить заметку “Московского курьера” хотя в малейшем пристрастии преувеличения фактов. Напротив, мы вправе думать, что, в частности, существуют факты более грустные и возмутительные, чем те, которые взяты на выдержку автором заметки; но так или иначе, довольно того, что не нам одним известно ничем не оправдываемое жестокосердие иных хозяев в отношении к мальчикам и крайнее пренебрежение к их нуждам и цели, с которою они отданы в лавку родителями или вообще лицами, распоряжающимися младенческими годами детей, торчащих перед лавками и магазинами с целью закликания покупателей.

В этой школе ребенок не учится ничему полезному. Торговые соображения по выбытии им пяти лет у хозяина так же чужды его понятиям, как неведомы ему понятия о чести, о долге, о нравственности. Развитие для него невозможно. Он кабальный холоп хозяина, лакей и помыкушка приказчика и “молодца”. Им всякий орудует в свой черед, всякий требует от него услуг и слепого повиновения на свой лад. Мальчик ни у кого не может, то есть не смеет, спросить объяснения ни одному жизненному явлению, на котором останавливается его детское внимание; он не имеет

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

никогда в руках ни одной книги, доступной его детскому пониманию и способной хоть мало-мальски осветить его разум объяснением самых простых явлений в жизни природы и человека. Коснение – это неизбежный удел, и разве только одна гениальность может выбиться из этой среды, не одурев в кругу исполнения тех обязанностей, в которых пять или шесть лет остается торговый мальчик, пока наконец получит первый чин торговой иерархии, то есть сделается “молодцом”. И во все время службы до этого первого чина чего не переносит несчастный ребенок! Бьет его хозяин, но это, впрочем, еще не велика беда, хозяин занят делом, так ему некогда бывает драться, разве иногда так “взвощит” с сердцов или под пьяную руку, а то “взвощивает” его приказчик, взвощивают подручные, один и другой, взвощивает и молодец, и все эти колотушки достаются как-то зверски, не в привилегированное место человеческого тела, а по голове да под “вздохало”. Спит мальчик кое-как, часто на полу, и то мало, потому что ложится позднее всех приказчиков и молодцов, а встает раньше их; вставши, он должен перечистить им платье, обувь, приготовить самовар, сбегать за булками, а иногда еще за чем-нибудь для приказчика так, чтобы хозяин не сведал об этой закупке, и все это живо, скоро, иначе “взвощат” так, что небо покажется с овчинку. В течение целого дня мальчик не смеет садиться (это обычай, освященный временем и вошедший в силу закона); для отдыха от утомительного стояния, превосходящего трудность афонского бдения, мальчик посылается с одного конца города на другой “долги править” или разносить проданный товар, с секретною обязанностию занести иногда стянутый приказчиком из хозяйской лавки гостинец “матреске”. Но да не подумает читатель, что доверенничество мальчика в сердечных делах приказчика смягчает сколько-нибудь их взаимные отношения... Ничуть не бывало, это так уж устроено, что приказчик, употребляя его в качестве фактора по “матресской” части, не допускает и мысли, что мальчик может его выдать, – и мальчик действительно никогда не выдаст. Он знает, что, отомсти он приказчику или молодцу за побои, которые они ему наносят “пур селапетан”, им ничего не будет, кроме потревожения памяти их покойной родительницы напоминанием о некоторой интимности с нею, а мальчика взвощит хозяин, “зачем-де шельмец ходил”, а потом уже пойдут взвощивать и тот, на кого сделан донос, и те, на кого таковые впредь учинены быть могут. А защита где? Нигде. Отец или опекун еще порадуются, что вот, мол, парня уму-разуму учат, да еще сами, пожалуй, набавят, не жалуйся, дескать, знай, что за одного битого двух небитых дают.

Такова-то вот жизнь, таково-то положение торгового мальчика у иного купца, доводящего его пятилетним взвощиванием до людей, то есть до способности обезмыслиться, обезличиться и завернуться в узкую рамку аршинной жизни прасольства или лабазничества. И тянется эта страдальческая жизнь мальчика, пока наступит радостный день вступления его в сан “молодца”, и прежнее начальство уговорит его закинуть первых щенят, то есть пропить с компаниею первое жалованье, “во оставление сухомордия и в мочимордство вечное”.

Со вступлением в сферу плутней и обмана, составляющих специальность молодца и приказчика, начинается новая, светлая полоса жизни мальчика. Изучая надувательное искусство и прикладывая его на практике к хозяину, он наконец выходит в люди, заводит лавочку, делается хозяином, устраивает порядок в своей молодцовской, по образцу того закона, в котором сам вырос, и “взвощивает” тех, кого вверит ему родительское благоразумие для вывода в свою очередь в люди.

Не знаем мы, когда прорвется этот отвратительный круговорот опошления русского торгового люда, а думаем, что не скоро. Наверное можно сказать, что та генерация, которую теперь еще “взвощивают”, ничего не даст хорошего, а она еще молода, ее век длинен, и кора ее умственного застоя так крепка, что ее не примет никакая пропаганда. Дух религии и слова Христовы – чужды ее понятиям. Люди эти ходят в храмы, но выносят оттуда воспоминание не о слове мира и любви, а об октавистых голосах, в подражание которым ревут дома долголетия и анафематства. От них нечего ждать, а между тем в силу обычного течения дел они выйдут в люди, то есть откроют лавки и в свою очередь замордуют еще одно поколение.

Этому нужно положить конец бы, особенно теперь, при эмансипации крестьян, следовало бы русскому обществу подумать об улучшении положения торгового малолетнего люда.

ПИСЬМА ИЗ ПЕТЕРБУРГА

ПЕРВОЕ

Кто не видел Петербургского университета более двух лет, тот не может не

заметить перемен, которые произошли в нем во многих отношениях. Аудитории нашего университета посещаются, кроме студентов всех курсов и факультетов, чиновниками различных ведомств, военными, окончившими свое специальное образование, артистами, купцами, помещиками и крестьянами. Многие дамы также посещают лекции, и притом постоянно, следя за курсами и внимательно записывая лекции. Появление дам в университете было для некоторых непонятною новостью, несообразною будто бы с достоинством университета. Но не считают же профанацией храмов посещение их женщинами, хотя строгие аскеты и запрещали вход в монастырские церкви женщинам, а ведь университеты наши – не монастыри и организованы не по образцу тех заведений, в которых хранятся еще следы средневекового затворнического устройства. То, что у нас кажется новостью, давно уже вошло в состав самых обыкновенных вещей во Франции. В Collège de France отведено даже особое место для дам, но число их на некоторых лекциях, как например у Лабуле, бывает так велико, что они занимают места вместе со слушателями от кафедры до самого входа. В Сорбонне, правда, дам не бывает, но лекции нисколько не выигрывают от этого ни в серьезности, ни в поведении слушателей. Строгие блюстители внешнего приличия и так называемой нравственности видят в посещении дамами университетских лекций повод к развлечению студентов, опасаясь, что молодые люди могут держать себя на лекциях несколько иначе, но в чем состоит это “иначе”, – никто не объясняет. Пример Парижского университета показывает, что присутствие дам вовсе не имеет влияния на дельность лекций. Paulin Paris читает в Collège de France, и в аудитории его собирается много дам, но лекции его отличаются и дельностью, и специальностью: он читал в 1860 году о старинном французском историке Фрассаре. Лекции же Сен-Марк Жирардена, читанные в Сорбонне, хотя и не посещаются дамами, но тем не менее нисколько не похожи на специальные в строгом смысле слова; в курсе, предметом которого он избрал Буало, на одной лекции он говорил о празднике Шиллера в Германии, а на другой о бессмертии души. Студенты в Сорбонне ведут себя несколько иначе, нежели в Collège de France: перед приходом профессора, читающего в самой обширной аудитории, подымается оглушительный крик, свист, гам, кричат на все лады, хлопают в ладоши, стучат ногами и т. п.

Возвращаясь к нашему университету, скажу, что самая свежая новость – речь профессора Костомарова о заслугах Константина Сергеевича Аксакова в истории, читанная им 16-го сего месяца в концертной зале университета. Существенною заслугою Аксакова г. Костомаров признает освобождение от слепого подражания иностранным авторитетам и теориям: Аксаков, говорит он, считал главнейшею обязанностью русского историка – не быть отголоском чужих мнений, не повторять рабски того, что сказано западными учеными, а самостоятельно обрабатывать науку, представляющую столько неистощимых материалов для русского ученого. По мнению г. Костомарова, Аксаков показал несостоятельность теории, объяснявшей все явления русской истории из родового быта, и вместо родового начала обратил внимание на другое – общинное, вечевое начало. Аксаков – утверждает г. Костомаров – превосходно понял загадочный характер Ивана Грозного и озарил светом непостижимую до него смесь противоречий в этом характере, в высшей степени интересном в психологическом отношении. По поводу художественной стороны в природе Грозного г. Костомаров изобразил разлад, господствующий в художественной природе вообще – от художника-государя до художника-помещика.

Отдавая полную справедливость заслугам покойного Аксакова, г. Костомаров замечает и недостатки в его исторических исследованиях – его стремление к идеализации. Таким образом Аксаков идеализировал Земской собор, видя в нем выражение единства русской земли и полагая, что местные веча древней Руси слились в Земском соборе в одно стройное целое. По мнению г. Костомарова, Земский собор вовсе не составлял существенной потребности тогдашней русской жизни, а явился вследствие личного желания царя, воображенье которого увлеклось, быть может, картиною духовных соборов.

Говоря о Костомарове, тотчас вспоминаешь о публичных лекциях по истории Малороссии, недавно, в январе этого года, читанных им в университете в пользу бедных студентов. Талант г. профессора выразился в этих лекциях в полном блеске. Вот вкратце содержание пяти публичных лекций г. Костомарова: “Положение Украины после Богдана Хмельницкого; политические партии; избрание и отказ Юрия Хмельницкого; избрание Выговского; неудовольствия против Москвы; склонность простого народа к московской власти. – Союз с татарами; битва под Полтавою; неудовольствия Выговского против московской власти. Польский сейм 1658 года; арестование великороссиян; гадячский договор. – Вступление великороссийского войска в Украину; поражение великороссийского войска; плен и смерть Пожарского. – Польский сейм 1659 года; восстание народа, провозглашение Юрия Хмельницкого

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
гетманом. Состояние Малороссии по свидетельству современников”.

Г. Костомаров удачно изобразил тогдашний быт и происшествия со всеми драматическими подробностями, описал живыми красками и действия Выговского и его противников, и отречение Юрия Хмельницкого, положившего бунчук и булаву – знаки гетманской власти, и мнимый отказ Выговского, торжественно поставившего перед народом чернильницу – знак писарской власти (он был писарем), и совещания с польскими агентами, рассуждавшими так: козаки не богословы, в различии церквей смыслят мало, можно как будто согласиться на требуемую ими неприкосновенность их веры, а потом и наложить руку на их драгоценную святыню и т. д. – Чрезвычайно важна по содержанию пятая лекция, в которой Г. Костомаров изложил польский сейм 1659 г. – одно из самых многозначительных событий в истории Малороссии.

Публика с любопытством ожидает появления в печати и упомянутой речи Костомарова, и публичных лекций, составляющих продолжение его “Богдана Хмельницкого”.

ВТОРОЕ

Вчера вечером (то есть 11-го числа марта) Политико-экономический комитет Императорского русского географического общества имел заседание, в котором обсуждался вопрос о колонизации пограничных стран. Вопрос был сформулирован таким образом. 1. \Экономическое значение и условия цивилизации пограничных и соседственных стран. Какие вообще экономические последствия выгодны и невыгодны для народного благосостояния от выселения жителей государства на менее населенные или вовсе не населенные местности на его границах или близ его границ? Какое влияние на успехи народного хозяйства может иметь подобное распространение владений государства? При каких именно условиях народной и государственной жизни в государстве наиболее желательны выселения его жителей в менее заселенные пограничные области и при каких условиях они наименее желательны? 2. Способы и системы колонизации. В тех случаях и при тех обстоятельствах, когда распространение владений государства посредством колонизации будет признано полезным или необходимым, какие способы к достижению этой цели признаются наиболее экономически выгодными или наименее невыгодными? Должны ли быть употребляемы какие-либо искусственные или правительственные меры для заселения, когда оно признается необходимым или полезным и в то же время не может быть с выгодой производимо посредством частных предприятий? 3. Экономические отношения государства к новым колонизируемым владениям. Какая система приобретения поземельной собственности и землевладения в означенных местностях наиболее желательна? Какие постановления должны быть вообще относительно земледелия, промышленности и торговли? Какие должны быть правила относительно компанийских промышленных предприятий и т. д.? В какой степени признаются необходимыми для переселенцев льготы от податей, рекрутства и проч.? Какие наиболее выгодные способы распространения просвещения между туземцами; полезно ли для успехов промышленности между ними миссионерство, какая вообще должна быть система приобщения туземцев к успехам образованных народов? какие отношения государства к его колониям признаются в окончательном результате наиболее желательными с экономической точки зрения?

Самое существо этих вопросов может дать довольно ясное понятие о необыкновенном интересе, который возбуждало заседание 11-го марта, и действительно, заседание это было и самое многолюдное, и самое оживленное. Еще на предшествовавшем заседании было постановление пригласить в собрание 11-го марта прибывшего в С.-Петербург генерал-адъютанта графа Муравьева-Амурского и вообще людей, знакомых по своим практическим или ученым занятиям с вопросом о колонизации. Сторонних посетителей, приглашенных вследствие этого постановления, собралось довольно много, так что комитет перешел из залы обыкновенных своих заседаний в большую залу, где происходят общие собрания Географического общества; но граф Амурский не посетил заседания, как говорят, по болезни.

Зато посетивший собрание офицер, как видно было, коротко знакомый с колонизационными операциями в Восточной Сибири, представил собранию много чрезвычайно интересных наблюдений, возбуждивших всеобщее внимание, единодушно выразившееся в дружных аплодисментах говорившему. Заметно было, что мнение всех говоривших в этом заседании клонилось к желанию доказать, что льготы и привилегии, а тем менее искусственные меры, путем которых у нас по большей части совершалась до сих пор колонизация, не оказывают в этом деле желаемых успехов и что полная свобода прав на передвижение при вспомоществовании только в виде кредитных мер, без всякого сомнения, не оказалась бы неблагоприятными. Протокол этого вполне интереснейшего заседания, по обыкновению принятый комитетом, будет,

конечно, напечатан в одном из ближайших номеров “Политико-экономического указателя”. В конце этого заседания комитет постановил, не прерывая трактата по вопросам, касающимся колонизации, собраться 19-го числа марта (в воскресенье) в чрезвычайное заседание, дабы подумать в нем о том, который из представленных правительством по обнародованному положению способов освобождения крестьян наиболее выгоден в экономическом отношении. В этом экстраординарном заседании экспертов не будет, но каждому члену предоставлено право пригласить двух гостей. Один голос возвышался в пользу приглашения большого числа гостей и два в пользу предоставления членам права пригласить только по одному гостю, но большинство, как я уже сказал, постановило, что каждым членом могут быть приглашены два гостя. Странно, почему в Политико-экономическом комитете постоянно есть сторонники недопущения большого числа непосвященных, которые, однако, как показывает опыт, бывают иногда весьма и весьма полезны при обсуждении разных практических вопросов. Еще страннее, что в этом комитете, где заседают представители науки, проповедующей человеческое равноправие, не бывает ни одного гостя женского пола, тогда как в Вольном экономическом обществе есть три члена женщины, а Совет грамотности сам искал женского участия в своих совещаниях. Вопросы, обсуждаемые в настоящее время Политико-экономическим комитетом при содействии приглашаемых экспертов и гостей, касаются таких сторон из области экономической науки, которые практически могут быть известны иным женщинам никак не менее иных мужчин, а отвергать в женщинах способность наблюдательности, анализа и способность изложения своих мнений, я думаю, совершенно несвоевременно. Кроме того, женщины наши ничуть не менее мужчин заинтересованы во многих вопросах, о которых трактуют в комитете, и таковы именно вопросы о выселении и о том, который из предоставленных правительством способов освобождения крестьян наиболее выгоден. Неужто владелец земли вправе избирать более выгодный способ, а владелица не должна сметь своего суждения иметь в том, что касается ее личной собственности? Это несправедливо и оскорбительно, тем более оскорбительно, что это допускается не романистами, стоящими за особенный склад женского смысла и отводящими ей роль усладительницы мужской половины человечества, а членами почтенного общества, ратующего за равноправие. Какое же равноправие не приглашать гражданок страны к соучастию в трактатах об интересах того рода собственности, которым они и фактически, и по закону владеют наравне с мужчинами? Говорят, что наши женщины не привыкли к публичным прениям, что они нередко мало смыслят в жизни; хотя это и не совсем верно или, лучше сказать, не для всех верно; но если бы и так, если бы и действительно женщины являлись гостями, далеко не компетентными в вопросах, о которых рассуждает комитет, то чем бы они помешали разумности выводов его суждений? Очевидно ничем, а между тем навык – дело великое, и кто из господ членов Политико-экономического комитета поручится, что женщины, оставаясь некоторое время в качестве слушательниц происходящих дебатов, не будут в самое короткое время способными служить общему делу не одним полезным замечанием, которое, может быть, ускользнет у мужчин. Так, например, даже в деле колонизации женщины могли бы выразить очень много тяжелых сторон этой операции, сторон, которые при выселениях, переходах и вселениях преимущественно касаются слабейшего пола, поднимающего в этом деле страдания, превышающие нередко соответственные усилия мужчин. Но это одна сторона медали, и притом не самая главная; а у нее есть другая, еще более реальная: это просвещение самих женщин при виде мужчин, занятых рассмотрением вопросов жизни, а не подвизающихся в обогащении женских слабостей, какими, на горе веку, они их почти всегда видят и в скромной гостиной, и на бале, и на городском тротуаре, и в деревне. Каждая женщина, самая легкая, самая нелюбезная, всегда выносит известную долю развития от сообщества с серьезным и здравомыслящим человеком и распространяет его в своем обществе, это закон неопровержимый, и в силу этого – то неопровержимого закона неопровержимо и то, что присутствие женщин в Политико-экономическом обществе служило бы верным ручательством за относительное распространение известной части разумных соображений в тех кружках русского общества, которые всего менее думают до сих пор о полезных знаниях.

ТРЕТЬЕ

Вчера Политико-экономический комитет, учрежденный при Русском географическом обществе, имел второе заседание по вопросам, касающимся колонизации пограничных мест империи. Заседание это было так же многолюдно, как и предшествовавшее, о котором “Русская речь” в 22 № сообщила своим читателям общие сведения; даже это заседание было еще многолюднее, и в числе его гостей мы видели несколько лиц, не принадлежащих к обыкновенным, частым посетителям комитетских заседаний. Из таких гостей я назову его высочество великого князя Константина Николаевича и графа Н. Н. Муравьева-Амурского, прибывших перед самым открытием заседания в исходе 5-го

часа и не оставявших его до прекращения г. председателем прений в исходе 12-го часа ночи. Развитие колонизационных вопросов шло в нынешнем заседании не совсем успешно, в чем, конечно, много виновата наша непривычка к публичному слову; многие из говоривших, увлекаемые интересом известных им отдаленных местностей (Сибири, киргизских степей, Сырдарьинского и Заилийского краев), посвящали свои речи исключительно описанию естественного состояния этих стран и положения поселенцев, в них водворенных. Все это, конечно, было в высшей степени интересно в географическом отношении, но отклонялось от известных уже читателям политико-экономических соображений, сформулированных в розданной перед началом прошлого заседания программе ("Русская речь" № 22). Но с половины заседания или немного позже, когда одному из членов удалось поставить на сцену прений один из настоящих вопросов, именно: нужно ли выселение, и каким путем оно должно быть совершаемо? – интерес заседания возрос, и сочувствие присутствующих выражалось в неоднократных рукоплесканиях. Однако, как я уже сказал, описательные речи некоторых посетителей, хотя и весьма, конечно, интересные, взяли у этого заседания чувствительную часть времени и, может статься, незаметно были причиной того, что существенные вопросы о колонизации все еще не выяснились и отложены до следующего заседания, которое должно собраться 1-го апреля. В этот вечер, сколько могу припомнить, говорили гг. Калиновский, Вернадский, Тернер, Венюков, Семенов, Муравьев-Амурский, Лесков, Безобразов (секретарь), Ковалевский, Попов, полковник Романов и его высочество великий князь Константин Николаевич. Высокий гость, почтивший это заседание своим присутствием, попросил себе слова последним, когда председатель уже изложил необходимость прекратить неожиданно затянувшееся заседание. Его высочество замечательно ярко осветил своею речью причины уклонения комитетских прений; он указал на смешивание многими ораторами понятий о колонизации местностей, составляющих действительно колонии по своему естественному положению и отношению к метрополии, с расселением, так сказать распределением жителей по лицу самой метрополии, в ее близких и отдаленных окраинах, и затем великий князь выразил надежду, что в следующее заседание трактат о русской колонизации и (что гораздо правильнее) о русском расселении пойдет вернее и положительнее. Слова его высочества, сказанные в обществе, имеющем характер публичных прений, произвели во всех присутствовавших общий восторг, который особенно тепло и радостно проявлялся в людях, впервые слышавших речь великого князя и впервые говоривших в присутствии члена царственной семьи. Каждый член и каждый счастливый гость этого заседания унес в своем сердце то приятное впечатление, которое не изглаживается надолго. Можно надеяться, что такое счастливое постановление вопроса о русской колонизации, какое сделано великим князем, не допустит более уклонений, хотя и очень интересных, но мало помогающих настоящему делу, и что комитет в следующем заседании, трактуя вопрос, как он поставлен высоким гостем, придет к заключениям решительным.

Когда его высочество и большинство гостей оставили залу Географического общества, члены Политико-экономического комитета имели рассуждение о том: какой из двух вопросов должен быть обсуждаем 1-го апреля, то есть колонизация или вопрос о том, какой из способов освобождения крестьян наиболее выгоден в экономическом отношении? Это было вотировано, и большинством голосов (10 против 6) определено 1-го апреля продолжать обсуждение вопросов о колонизации. Не знаю, что еще рассказать читателям "Русской речи" об этом интересном и необыкновенно приятном заседании. Все остальное в нем происходило очень обыкновенно, своим порядком пили чай, курили сигары и читали протокол прошлого собрания.

ЧЕТВЕРТОЕ

1-го апреля заседание Политико-экономического комитета Русского географического общества открыто было речью г. председателя Алексея Ираклиевича Левшина, резюмировавшего в коротких словах результаты прежних прений о колонизации. Протокол прошлого заседания в видах сбережения времени не был читан, а положено передать его в рукописи всем говорившим для поправления ошибок, которые могли случиться у стенографа. Заседание это началось тотчас по прибытии великого князя Константина Николаевича, в 8-м часу вечера. В прениях участвовали нижеследующие лица в таком порядке: г. Волков, ф. П. Литке, великий князь Константин Николаевич (резюмировал мнение о производстве перевозки переселенцев морем), Н. С. Лесков, ф. П. Литке, ф. Тернер, Ковалевский, Гибарь, Лесков, ф. П. Литке, ф. Тернер, Волков, пр. Калиновский, Венюков, Васильев, Венюков, Гибарь, Волков, пр. Калиновский, Лошкарев, А. И. Левшин (председатель), барон Мейендорф, В. П. Безобразов (секретарь). После речей, сказанных этими лицами, если не ошибаюсь, именно в таком порядке, в каком я описал, председатель нашел, что вопрос о колонизации уже достаточно выяснен и следует перейти к рассмотрению другого вопроса – о введении однообразных мер, весов и монеты. Прежде чем были выражены

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
мнения по этому предмету, В. П. Безобразов (секретарь) изложил причины поставления этого вопроса и указал на благоприятное для цели присутствие здесь некоторых лиц, специально занимавшихся этим вопросом (академик Купфер, г. Кодинский и г. Митчель, секретарь Британского отдела Международного общества). Затем г. Купфер и г. Кодинский изложили свои взгляды на трактуемый вопрос. Г. Кодинский говорил о необходимости однообразных единиц, а не однообразных систем, что вызвало несколько весьма замечательных слов секретаря Британского отдела г. Митчеля, заявившего взгляды Англии на десятичную систему и на значение, которое она придает участию России в этом вопросе. Из этой же речи г. Митчеля видно, что труды г. Кодинского по однообразию единиц переведены на английский язык и были в виду Международного общества. Затем г. председатель сказал, что, по его мнению, полезно учреждение при комитете особого отдела для обсуждения этого вопроса. Мнение это принято всеми единогласно, и заседание 1-го апреля прекращено в 10 часов 40 минут. Общий характер выработанных прениями положений вопроса о колонизации, мне кажется, можно представить так: комитет не признает существования в настоящее время особенной надобности в выселениях, но и не находит никаких оснований препятствовать свободному передвижению жителей с одних мест государства в другие, менее заселенные и почему бы то ни было привлекающие к себе поселенцев. Комитет не подает голоса ни в пользу искусственных переселений мерами правительства (исключая случаи политической и военной необходимости), ни в пользу привилегий и льгот, которые увлекают к переселениям не всегда таких людей, которые имеют в виду действительно заселять край и упрочивать там свое благосостояние. Комитет желал привлечения иностранных поселенцев с тем, однако, чтобы они не представляли собою разноправного населения; указывали также на чиновников, которые при тех мерах, которые правительство признает нужными в видах сокращения штатов, могут быть рассматриваемы как люди, для которых весьма небесполезно открыть возможность обратиться к иным занятиям в иных местах. От правительства желались пособия только кредитные, и то в определенной и самой необходимой мере. Я полагаю, грешно было бы желать более честного, более верного и более обдуманного решения вопросов: нужно ли выселение, как его сделать и в какой мере оно требует правительственного участия? Конечно, каждый вопрос в частности мог быть разобран гораздо подробнее, но если бы требовать таких подробностей от Политико-экономического комитета, собирающегося один раз в две недели, то значило бы требовать невозможного. Политико-экономический комитет в течение нынешнего сезона сделал очень много. Он решил немало общих жизненных вопросов и решил их так верно, так правильно, как едва ли они когда-нибудь были бы решены иным путем. Он раскрыл такие тайны общественного организма, которые до сих пор не были никому известны; он убедил нас, что и мы можем решать вопросы, требующие глубокого и всестороннего обсуждения, не истратив ни одного листа писчей бумаги; он, наконец, видимо содействовал выработке во многих его посетителях здравых политико-экономических понятий. Нынешний сезон уже при самом конце, и мне, вероятно, не много раз придется еще сообщить читателям "Русской речи" о достойных высокого почтения трудах комитета. Я уверен, что не я один, что каждый из людей, сидевших за столом Политико-экономического комитета, вспомнит о минувших заседаниях нынешнего сезона как о приятнейших минутах, бескорыстно посвященных общественному делу, и неравнодушно станет ждать будущего сезона. Будущее в руках Божиих, но судя по настоящему, принимая в соображение то лестное участие, которое оказывает комитету августейший брат нашего государя, можно думать, что в будущем сезоне комитет еще ярче, еще нагляднее заявит смысл своего учреждения и своей деятельности.

ПЯТОЕ

I

В свое время я извещал читателей "Русской речи", что Политико-экономический комитет, учрежденный при Императорском русском географическом обществе, в заседании 11-го марта определил независимо от очередных своих собраний назначить 19 марта особое, чрезвычайное заседание, в котором предполагалось подвергнуть обсуждению вопрос: какой из предоставленных правительством способов освобождения крестьян наиболее выгоден в экономическом отношении? Но предположенное чрезвычайное собрание комитета по объявленному вопросу 19 марта по некоторым непредвиденным обстоятельствам не состоялось, и многие, имея в виду близкое окончание сезона, полагали, что этот интересный вопрос не будет рассмотрен теперь, когда рассмотрение его совершенно своевременно, ибо и мнения, и окончательные выводы компетентных людей, в среде которых будет рассматриваема эта сторона великого крестьянского дела, без всякого сомнения, должны много содействовать устранению некоторых недоразумений, неизбежных во всяком новом государственном деле. Кроме того, обсуждение этого вопроса именно теперь, а не

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

когда-нибудь после, имеет еще то важное преимущество, что комитетские мнения, оглашенные посредством печати, в свою очередь успеют быть разобраны и обсуждены прессою и таким образом составят проект, по возможности самый полный и выработанный всесторонне. Опасения, которые высказывали люди, предполагавшие, что заседание по крестьянскому вопросу в нынешнем сезоне не состоится, к счастью, не оправдались. Сегодня (5 апреля) лица, имеющие честь пользоваться вниманием комитета, получили пригласительные повестки, призывающие их в 8 часов вечера 8 апреля (в субботу) в чрезвычайное заседание комитета, "назначенное для обсуждения благодетельных последствий, возникающих из обнародованных законоположений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости". Вопрос, избранный комитетом собственно для прений в собрании, заключается в следующем (я сообщаю его слово в слово из лежащей передо мною программы будущего чрезвычайного заседания 8 апреля): "в какой степени благотворно может быть вообще для успехов нашего народного хозяйства действие разного рода окончательных развязок крепостных отношений, указанных означенными законоположениями, а именно:

1. Постоянного отбывания временнообязанными крестьянами повинностей: а) работою и в) деньгами в пользу помещика за получаемый земельный надел с выкупом усадебной оседлости или без выкупа оной.
2. Добровольного отказа крестьян в определенные сроки и на определенных условиях от земельного надела с выкупом усадебной оседлости или без выкупа оной.
3. Обращения временнообязанных крестьян в крестьян-собственников: а) посредством дарового получения от помещика, сверх усадебной оседлости, части земельного надела и в) посредством выкупа, сверх усадебной оседлости, земельного надела с содействием правительства или без его содействия, и
4. Переход крестьян с соблюдением установленных правил в другие селения".

Независимо от приглашенных комитетом экспертов, каждому члену Политико-экономического комитета предоставлено право пригласить в это заседание двух гостей, которых пригласивший обязывается записать в книгу в самом собрании.

Приводя на память некоторые соображения, высказанные комитетом в собрании 11 марта, когда настоящее чрезвычайное заседание было проектировано, можно думать, что в числе лиц, удостоиваемых входа в это собрание Политико-экономического комитета, встретятся и некоторые члены бывших редакционных комиссий, которые во время своих занятий крестьянским делом имели возможность близко познакомиться с существующими отношениями крестьян, вышедших из крепостной зависимости, к их бывшим помещикам. Само собою разумеется, что это мое предположение, основанное, как я уже сказал, на известных мне соображениях комитета, высказанных в заседании 11 марта, может относиться только к тем из членов бывших редакционных комиссий, которые находятся в это время в Петербурге.

Я думаю, не нужно говорить, с каким нетерпением ожидают результатов этого собрания все благомыслящие люди, следящие с напряженным вниманием за всеми действиями достойного почтения Политико-экономического комитета и полагающие великие надежды в стройной гармонии исполнения предначертаний Освободителя 23 миллионов русских крестьян от крепостной зависимости.

II

8 апреля Политико-экономический комитет имел чрезвычайное заседание по вопросам, касающимся окончательной развязки взаимных отношений между крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, и их бывшими помещиками. Четыре вопроса, вошедшие в программу этого заседания, сообщены мною еще накануне дня собрания, и потому я не вижу надобности повторять их.

Заседание это началось около 7 с половиною часов пополудни, тотчас как прибыл великий князь Константин Николаевич. Открывая прения, председатель Алексей Ираклиевич Левшин обратился к собранию с речью, определив в ней рамку, которой должны держаться гг. члены и гости, желающие выразить свое мнение по упомянутым вопросам. Из этой речи было видно, что никакой критический разбор обнародованных положений по крестьянскому делу не должен иметь места в заседании комитета, где достаточно заняться рассмотрением способов окончательных развязок со стороны политико-экономической науки. После этой речи Иван Васильевич Вернадский говорил о том, как относятся известные политико-экономические законы к известным

Статьи. Николай Семенович Лесков teskovniko1ai.ru

положениям кодекса о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, привел системы мекленбургского политико-эконома Тюнена, принимавшего необходимость увеличения участков по мере удаления от городов (вообще центров), и окончил заявлением своего убеждения о необходимости возможной самостоятельности труда. Ф. Г. Тернер говорил о значении больших и малых земельных участков, привел взгляды на этот предмет в Англии (где известна большая собственность) и во Франции (где существуют малые участки и где нет английского пролетариата). И. В. Вернадский выразил мысль, что поземельная собственность еще не гарантия от пролетариата; В. П. Безобразов (секретарь) говорил о необходимости известного правительственного содействия в некоторых пунктах окончательной развязки. Затем снова говорил И. В. Вернадский, а за ним Лесков о том, что в России нечего бояться излишнего дробления земельных участков, и думать об устранении такого явления теперь значит предупреждать отдаленное будущее, к которому наука, может быть, сделает новые открытия; проф. Калиновский и Е. И. Ламанский говорили о способах выкупа крестьянских участков при содействии государственных кредитных учреждений, а г. Серно-Соловьевич вступился за общину, которую один из прежде говоривших назвал "отжившею", и указывал на возможность выкупа посредством кредитных операций с земельными участками. В. П. Безобразов резюмировал слова гг. Калиновского, Ламанского и Серно-Соловьевича и, по приглашению г. председателя, сказал прощальное слово, в котором благодарил от лица комитета всех посетителей, разделявших труды комитета в истекший сезон, и затем изложил вкратце историю Политико-экономического комитета, который существует всего около двух с половиной лет (с конца 1858 г.) и имел сначала только 17, а теперь имеет уже 37 членов, встречая в обществе и сочувствие, и содействие. Г. Безобразов указал на цель комитета: собрать экономические понятия, выработанные практической жизнью; поставить их лицом к лицу с выводами людей, разрабатывающих экономическую науку в кабинетах, и указал также на его задачу: парализовать замкнутость отдельных кружков и сгруппировать общественные понятия в одно место, где возможно и их обсуждение, и их оценка.

Засим все члены выразили свою благодарность В. П. Безобразову, который несет обязанности секретаря с такою почтенною деятельностью, что его трудам комитет обязан многими своими успехами.

ШЕСТОЕ

17 апреля в час пополудни в доме Императорского вольного экономического общества было заседание вновь организованного Комитета грамотности под председательством С. С. Лошкарева. Заседание это началось выражением мнения насчет достоинств и недостатков азбуки г. Студитского, которая была поручена для рецензии г. Полевому. Г. Полевой представил собранию благоприятный отзыв об этой книге, а г. Дубенский, не опровергая г. Полевого, заметил, что в повестях, приложенных к книге г. Студитского, есть несколько мыслей, способных внушать учащимся стремление к чему-то сверхъестественному, чудесному, и что потому ее нельзя считать безусловно хорошей. Гг. Фукс, Вернадский и наконец сам г. Студитский высказали несколько мыслей в оправдание книжки против замечаний г. Дубенского, и книжка большинством голосов одобрена для приобретения ее от издателя на средства Вольно-экономического общества. Если не ошибаюсь, то все издание приобретается за 140 руб., то есть за ту цену, как она обошлась самому г. Студитскому. Здесь между присутствовавшими произошло некоторое разноречие, вызвавшее самые оживленные прения: г. Дымчевич заметил, что, по его мнению, комитету не следует заниматься критикою учебных книг и методов обучения, предоставляя это выбору самого народа и преподавателей. Это мнение жарко поддерживали: Верещагин, Ничипоренко и Бражников; оппозицию им составляли В. Я. Фукс, П. И. Небольсин и И. В. Вернадский. Я не знаю, как долго продолжались бы эти прения, если бы председатель не заметил наконец, что оценка достоинства книги входит в круг обязанностей комитета по самой его программе и что Вольное экономическое общество желает знать от комитета: стоит ли приобретать данную книгу или нет? Победа осталась за гг. Фуксом, Небольсиным и Вернадским, из которых последний выразил, что комитет не отвергает, не противодействует распространению книг, им не одобряемых, но он только произносит над ними свой суд и что лишить его этого права значило бы лишить общество самой высшей заслуги, которую может принести ему комитет.

Затем второй вопрос касался известного предположения г. Золотова основать в Петербурге школу для приготовления сельских учителей из поселян. С. С. Лошкарев предлагал, не угодно ли будет комитету принять заведение г. Золотова под свое покровительство; но комитет большинством голосов решил, что при всем уважении к известным педагогическим заслугам г. Золотова, при всей популярности, которую

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

пользуется его почтенное имя, комитет не может обязать покровительствовать заведению, которое еще не заявило ни своего направления, ни системы образования будущих сельских учителей. Но, сочувствуя общепольной цели открываемого г. Золотовым заведения, комитет выражает ему живейшее участие, изъявляя готовность в лице каждого из своих членов содействовать успехам этого дела. Здесь, было, снова произошло несколько разноречий по поводу отказа общества принять школу под свое покровительство; решено, что комитет не может брать под свое покровительство заведение, которого он еще не знает, но что с открытием школы и заявлением ею своего направления комитет станет охотно расширять меры своего содействия г. Золотову. Г. Золотов при этом выразил свою благодарность, говоря, что он более ничего не желает. В этом же заседании г. Золотову было замечено, что плата, назначаемая им за содержание и учение воспитанника, 150 руб. серебром в год, слишком высока, что она равняется гимназической плате и вряд ли не покажется тяжелой для лиц, обязанных платить за воспитанников. Г. Золотов сказал, что предвидимые им расходы никак не дозволяют уменьшить эту плату, и поставил на вид комитету то обстоятельство, что в гимназические пансионы 150р. сер. платится ежегодно в течение семи лет, которые там проводит воспитанник, а за приготовление сельского учителя заплатят 150р. всего только один раз.

После этого было предложено несколько новых лиц в члены комитета и заседание закрыто. Весьма интересно будет знать, в какой мере русская пресса будет разделять мнения Комитета грамотности.

О НАЙМЕ РАБОЧИХ ЛЮДЕЙ “ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРСКОГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЮЖНОЙ РОССИИ”

ФЕВРАЛЬ 1861 ГОДА

В февральской книжке “Записок Общества сельского хозяйства Южной России” помещена статейка г. Бенедского “О найме рабочих людей”. Она занимает всего три странички довольно крупной печати, но дело не в ее объеме, а в богатстве и глубине мыслей и экономических соображений, которые, как перлы, рассыпаны в ней щедрою рукою автора, стремящегося принести посильную услугу соотечественникам, указав им на возможность облегчить южнорусским сельским хозяевам наем рабочих людей для полевых работ. Вопрос, как видите, живой и, что называется, стоящий на первой очереди. Наем рабочих весьма основательно обращает теперь на себя внимание каждого серьезно мыслящего человека, и всякий старается нести свою посильную лепту на разрешение безурядиц, существовавших до сих пор в отношениях труда к капиталу. Будущее, ввиду совершившейся благодетельной реформы, в земледельческом быту обязывает еще строже, еще серьезнее подумать, как администрировать обработку обширных полей свободным трудом; это задача не легкая, задача, вызывающая на многие и многие соображения. Но г. Александр Бенедский решает ее (для своего края) довольно просто, хотя и в высшей степени оригинально. Он, во-первых, говорит о крайних затруднениях, которые встречаются новороссийские сельские хозяева в найме рабочих, приходящих к рабочей поре из губерний Киевской, Полтавской и других более или менее отдаленных местностей; указывает на то, что число приходящих работников часто колеблется: один год их приходит довольно, другой очень недостаточно для уборки окрестных полей; жалуется на неприятно-гадательное ожидание прихода рабочих из отдаленных губерний и на непомерное возвышение задельной платы, когда рабочих приходит мало, а поле ждет рук. Затем г. Александр Бенедский с похвалою отзывается о “разрешении отпускать солдат на вольные полевые работы”, что, по его мнению, “конечно, послужило бы большим пособием в уборке в степях сена и хлеба, но далеко от того, чтоб можно было обойтись без найма вольных захожих людей, как потому, что хлебопашество с каждым годом принимает более значительные размеры, так еще более по ограниченному числу отпускаемых на работу солдат”.

“Почему (!) в видах общественной пользы и преуспевания сельской промышленности в Новороссийском крае” Г. Александр Бенедский советует: удвоить (отчего удвоить, а не утроить, не усмерить?) число отпускаемых на работу солдат и установить однообразную цену их найму (о такса! не исчезли твои друзья и поборники!) так, чтобы воинские начальства не могли изменять ее”, как это, замечает почтенный автор, случалось, что люди, взятые из разных команд, получали не одинаковую плату и не одинаково продовольствовались, то есть одни ели казенный провиант, а другие хозяйский. “Поэтому (!) полагаю, говорит автор, весьма было бы справедливо плату определить по соображению средних цен среднюю и притом оставить солдат на полном продовольствии от команд, во избежание жалоб на неудовлетворительное содержание от нанIMATEЛЕЙ, и чтобы плата была определена во время косовицы поденно, а при жатве хлеба в снопы – от каждой сжатой или выкошенной копны. Но, как в первом, так и в последнем случае, необходимо (будто

бы! для кого же это необходимо-то?) назначить плату сколько возможно умеренную, по тому соображению, что не все солдаты способны к косье, и половина их по необходимости обращается в громадьщики, кидальщики копиц, вязальщики снопов, которые, при вольном найме, получают меньшую против косцов плату, ибо работа эта легче и малозначительнее" (!). Чем, спрашивается, не проект? Любо-дорого и гуманно, видите, и справедливо, и, что самое главное, совершенно необходимо; но это еще ничего, это цветочки авторской премудрости; а вот не угодно ли послушать дальше, сейчас будут ягодки: "Смею думать (говорит господин сотрудник сельскохозяйственного органа Южной России господин Александр Бенедский), что подобные благодетельные меры, как увеличение числа отпускаемых на работу солдат, так равно и определение однообразной, сколько возможно умеренной платы за их труд, с продовольствием от команд, доставили бы воинским командам значительнейшие против настоящих выгоды (!); заметно подвинули бы в самое короткое время сельскую промышленность в Новороссийском крае, избавив большую часть сельских хозяев от того неприятно-гадательного и тревожного положения, в котором они находятся при наступлении косовицы и жатвы, ожидая прибытия работников из отдаленных губерний; и тогда положительно можно надеяться, что большинство сельских хозяев, зная заранее, что они будут иметь достаточно рабочих рук, наверное бы удвоили, если не учетверили свои посевы". Уж истинно нужно сметь так думать; без крайней смелости нельзя позволить себе выражение таких стремлений в журнале, издаваемом в наши дни не в Южных Штатах Америки, а на Юге России, празднующей свое освобождение от обязательного труда. Но это еще не все. Александр Бенедский, г. талантливый сотрудник органа Общества сельского хозяйства в Южной России, наглядно показывает беды, которые терпят сельские хозяева при найме рабочих в страдную пору. Он говорит, как "в 1859 году в одной из известных ему местностей (стр. 101) стояла засуха; хлеб готов был высыпаться на корню; хозяева бросались искать рабочих и друг перед другом набавляли цену, в чем, как всегда бывает в подобных случаях, отличались колонисты немцы и болгаре (ах, какие злодеи!). Несколько сельских хозяев-помещиков, делающих значительные посевы, видя огромный наплыв искателей рабочих и быстрое возвышение цен, прибегли к некоторого рода хитрости (усугуби свое внимание, мой читатель) и при посредстве бывшего в местечке станового пристава вот как устроили дело: во время самых жарких переговоров нанимателей с рабочими пристав вышел на базарную площадь и объявил всенародно, чтоб никто из нанимателей не решался предлагать более 45 или 50 копеек от копны сжатого или выкошенного хлеба, а рабочие не смели бы больше требовать; причем пристав для примера первого указанного ему селянина, возвышавшего цену, тут же собственноручно наказал за дерзость и взял под арест (и поделом, знай-де, что цены Бог строит, а не мужик всякий, и, стало быть, становому ближе знать настоящие цены, ибо он, в некотором роде, власть, а всякая власть установлена от Господа, так тут, выходит, мужику и по штату не положено рассуждать и устанавливать цены). Все это, как видит благосклонный читатель, совершалось в южнорусском крае в лето от Рождества Христова 1859, а описано в хозяйственном органе сего достопочтенного края на 102-й странице февральской книжки, где также выражена и скорбь, что еще совершаются такие хитрости, не приносящие, впрочем, большой пользы земледельцам; ибо фактора-евреи втихомолку нанимали рабочих для более хитрых хитрецов по возвышенной цене, а менее хитрые в ожидании удачи от своей проделки остаются без рабочих. Статья г. Александра Бенедского оканчивается желанием, чтоб в настоящем вопросе, о недостатке рабочих рук в Новороссийском крае, само правительство стало передовым двигателем, увеличив в наступающую весну число отпускаемых на военные работы воинских чинов, определив однообразные в найме их условия и возможно умеренную, доступную каждому сельскому хозяину, плату".

Господа! Что же это такое? Что это проповедует, чего добивается господин сотрудник органа сельских хозяев Южной России? Неужто его плантаторские желания такс и произвольного труда суть желания большинства землевладельцев того края, орган которого допустил на свои страницы эту безнравственную статью? Да! говорим, безнравственную, ибо желать сдачи солдат в работу, по заранее установленной цене и, притом, цене возможно умеренной, доступной каждому сельскому хозяину, имея в виду преимущественно только одну его выгоду, — безнравственно. Г-ну Александру Бенедскому нечего драпироваться негодованием против описанной им неудачной хитрости его собратий, некоторых южнорусских помещиков, поступок которых взволновал его, как он говорит, более, нежели то, что и ему, в числе прочих простодушных хитрецов, "пришлось удалиться без рабочих". Полноте, так ли, г. Бенедский? Не говорит ли в вас еще другое какое-нибудь чувство, кроме негодования к проделке хитрецов, надувших почтеннейшую публику, в числе легковверных представителей которой были и вы, вашей собственной персоной, обличающей ныне эти ухищрения? Ведь дело, г.

Бенедский, не в этом одном факте, а в принципе, в взгляде, в желаниях; а ваши-то желания – по крайней мере, сколько мы можем судить о них по духу вашей благонамеренной статьи, – ничуть не выше и не гуманнее поступка нанимающих рабочих по дорогой цене в то время, когда близорукость верит, что она с помощью станového пристава установит свою цену. Ведь вы опять, если не ошибаюсь, изволите и сами добиваться установленной цены, только уж не у станového пристава, собственноручно наказывающего дерзкого мужика, стоящего за свою цену, а у правительства, которое, по вашим соображениям, должно вмешаться в вопрос об устранении недостатка рабочих рук в южнорусском крае и отдать вам и вашим соседям в работу солдат по возможно умеренной и доступной каждому сельскому хозяину цене. Ведь так, кажется? А если так, то и сердиться нечего на тех, кто забирает рабочих по дорогой цене, когда это не противно его расчетам и хозяйственным соображениям; и вы, г. Александр Бенедский, поступаете в тысячу раз хуже их, ибо они хотя и не прямым, но все-таки вольным путем, путем договора, приобретают себе рабочие силы а вы стремитесь овладеть ими без всякого свободного произвола со стороны рабочего, вы сторонник непроизвольного закрепления солдатского труда помещикам, вы изобретатель нового вида кабалы, которая, благодаря Богу, на горе вам, не входит в состав видов нашего правительства. Чего вы хотите от правительства? Каким двигателем оно может явиться для поднятия частных дел, находящихся в руках таких неподвижных людей, каковы русские сельские хозяева? Разве еще, вы думаете, мало дела у правительства? Разве вы не видите, что оно, к великой его чести, только беспрестанно стремится освободиться от вмешательства в хозяйственные дела, идущие в предприимчивых и разумных частных руках гораздо лучше, чем при самом усиленном покровительстве, а вы опять призываете его быть вашей нянькой на вашем поле и давать вам за умеренную плату солдат, об облегчении которых заботятся передовые люди нашего военного ведомства? Нет, г. Бенедский, не упрекайте ни хитрецов соседей, ни даже драчуна пристава. Конечно, ни хитрить так, как они схитрили с вами, ни драться – непохвально, предосудительно, скверно; но устраивать искусственное понижение задельной платы и закрепление себе солдатского труда по таксе, без воли самого труженика, – ничуть не лучше. Будете ли вы брать взятки шубами, как Сквозник-Дмухановский, или борзыми щенками, как Ляпкин-Тяпкин, – это совершенно все равно: взятка – все взятка, насилие – все насилие, и в какой форме вы его ни придумывайте, оно никогда не будет делом честным и равноправным. Это ясно, как день, для всякого, кто хоть когда-нибудь останавливался над понятием о праве, как оно трактуется у сколько-нибудь образованных народов. Мы не говорим ничего против мысли отпустить солдат на частные работы, напротив, мы радуемся, что эта мысль пришла тем, кто имел право осуществить ее; но зачем же желать крайней, угловатой вариации этой меры? Зачем добиваться, чтобы солдаты отдавались в работу помещикам по таксе, по однообразной, умеренной, доступной для каждого сельского хозяина цене? Цена труда создается отношением предложения к запросу; учредить на нее таксу было бы вопиюще несправедливостью, стесняящую труд и очевидно уменьшающую его предложение или переносящую это предложение в другую местность, представляющую высшую меру вознаграждения. Экономические истины всегда и везде одинаковы. Разве только и света, что в окне? Разве г. сотрудник органа южнорусских сельских хозяев не понимает, что если б правительство и преклонилось на сторону его странного предложения, – чего, конечно, никогда не случится, то что же из этого выйдет? Выйдет то, что солдатским трудом по дешевой, установленной цене воспользуется только известная часть землевладельцев, и найдутся и в этом случае хитрецы, которые опять изобидят г. Александра Бенедского с братиею. Ведь на это можно умудриться... а остальные-то как же? Им-то где искать рабочих? Вольные рабочие ведь не пойдут тогда в Новороссийский край, если, положим, там будет установлена цена 50 к. в день на человека, между тем как в других местах, например в Крыму или в Харьковской губернии, будут платить по 1 р. на человека. Нет, г. Бенедский, вы не знаете сами, чего желать. Вы желаете зла и себе и солдатам, и благо, сто раз благо, что вас не слушают. Вы говорите, что нельзя платить солдатам поровну на человека; что часто человек на человека не приходит; что из них есть рабочие слабые, неопытные, что называется неумелые. А разве в русской рабочей артели не то же самое? Разве там все артельщики одинакового достоинства? Разве там один непременно равен по достоинству другому? А между тем вы платите же артели с топора или с косы, не расценивая порознь плохого и хорошего. Артель – дело товарищеское и группируется по своему толку; хороший везет за слабейшего и рассчитывается по своему домашнему, артельному расчету, так что и наниматель доволен, и товарищи не обижены. В этом-то и заключается богатая сила, в этом-то и кроется необоримая мощь русской артели, сумевшей согласовать интересы хозяина с выгодой работника. А ведь солдат наш по преимуществу человек русского происхождения; ему вполне доступен толк артели и

доступен смысл настоящего ее устройства, приводящего в тупик немецких администраторов. Так подумайте-ка, г. Бенедский, каких бы порядков желать-то следовало? Уж, верно, не вашей премудрой таксы, с продовольствием от команд, которые иногда расположены очень-очень далеко от мест, где работают отпущенные нижние чины.

Да и основательно ли полагаться на возможность обработки полей солдатским трудом? Ну, а если в самый разгар ваших полевых работ прилучится война и рать-то сила великая из Новороссийского края потребует в другое место, тогда как быть, г. Бенедский? Сказать нешто неприятелю: потрудитесь, мол, милостивые государи, повременить маленько, пока мы поуправимся, – нам теперь уж больно недосужно – наши солдатики не обработали еще всего поля г. Александру Бенедскому с товарищи! Ну, а как не послушают, злодеи, ну, как солдатики-то понесут свои головушки с вашего поля на поле бранное, не окончив вашей жатвы, где ж вы тогда найдете жнецов?.. А ведь хлеб на корню держится той же тактики, что и неприятель, – он ждать не станет. Тогда уж положение похуже гадательного, от которого вы придумываете спасительные годы, забывая пословицу, которая гласит, что “с одного вола двух шкур не дерут”. Опять г. Бенедский говорит, что новороссийские сельские хозяева страдают от гадательного положения, не зная, сколько явится рабочих к страдной поре. Это весьма естественно, но не правительством же, в самом деле, должно помогать этому горю, да и не может оно помочь ему так, как могут сделать это сами гг. землевладельцы. Дело весьма просто. Отчего они, соображая состояние своих полей, не заподрягают заранее рабочих в тех самых местах, откуда эти рабочие обыкновенно происходят? Не было бы ни тех страшных затруднений, на которые жалуется г. Бенедский, ни непосиленных цен, которые, однако, платят немецкие и болгарские колонисты, возвышающие год от года свое благосостояние. С помощью агента, посланного ассоциацией с целью найма людей, наем потребного числа работников непременно всегда бы удался, и хозяева не переживали бы тяжелых минут рискованного ожидания и не платили бы цен, вызываемых преизбытком запроса пред предложением. Одна беда: не привыкли мы ничего делать миром, незнакомы нам великие успехи ассоциации; нам подавай правительство к нашим услугам, рать-силу великую – да и баста! Очевидно, что г. Бенедский, говоря о солдатской работе, рассматривал солдата не в качестве свободного работника, а в качестве солдата, по тому же самому разумному убеждению, по которому многие его земляки рассматривают еврея не в качестве человека, а в качестве еврея. Эх, господа хозяева! С литературными поползновениями забываете вы, что, прежде чем говорить о чем-нибудь, да еще печатно, надо знать кое-что. Нет, г. Александр Бенедский, примите наш дружеский совет: отошлите вашу статью в Луизиану, в Виргинию или в другую какую им подобную страну: там ей будет и честь и место; а в нашей литературе, после великого дня освобождения труда 23 миллионов, она возбуждает только тошноту и всякое такое, что вовсе не составляет приятных явлений в человеческой жизни.

СВОДНЫЕ БРАКИ В РОССИИ

“КАК ЗАКЛЮЧАЮТСЯ СВОДНЫЕ БРАКИ?”

Практическая заметка П. Муллова. “Архив исторических и практических сведений, относящихся до России”

“Архив исторических и практических сведений” принадлежит к числу таких изданий, о которых никто не может отозваться иначе, как с полным уважением, и о которых поэтому-то никто ничего и не говорит. Да и трудно газетной, фельетонной критике говорить о серьезном журнале, в котором каждая статья вызывает на размышление. Вследствие этого “Архив исторических и практических сведений”, не находя достойной оценки, остается малоизвестным, и даже люди, жаждущие серьезной пищи для ума, особливо в провинциях, не имеют об этом почтенном журнале ни малейшего понятия. Пишущий эти строки далек от всякой претензии исправить такое печальное упущение наших критиков и рецензентов, потому что и сам он не чувствует себя достаточно сильным для того, чтоб познакомить публику со всем богатством содержания “Архива”. Но, чтоб дать ей какое-нибудь понятие о вопросах, разбираемых этим журналом, мы выбрали из них один, наиболее живой и вызывающий на размышление, вопрос о “сводных браках”.

“Сводными браками (говорит г. Муллов, “Архив” 60–61 г., стр. 21) называются у нас, по крайней мере, в нашей юридической практике в некоторых губерниях такие браки, которые заключаются между единоверцами, или даже православными, без всякого участия церкви, без благословения духовного лица, без венчания по обряду церковному”. Такие браки в России, по мнению г. Муллова, можно отчасти сравнить с гражданскими браками, существующими во Франции: разница (говорит он) заключается только в том, “что гражданские браки дозволены во Франции законом,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
тогда как сводные браки у нас строго воспрещаются и по закону строго должны быть преследуемы” (“Архив”, стр. 21).

Общество французское смотрит на гражданский брак как на свободный, допускаемый законом союз мужчины с женщиной; а русское общество “ставит сводные браки на одну доску с простым наложничеством и конкубинатством”, хотя такое “клеймо (говорит автор) не пристаёт, да и не может пристать к лицу тех, которых хотят снабдить им” (“Архив”, кн. 1-я, стр. 21).

Сводные браки составляют самое обыкновенное и обыденное явление в наших северо-восточных губерниях (Архангельской, Вологодской, Вятской, Пермской и Оренбургской), которые издавна служили убежищем для всякого толка раскольников. Заключение этих браков между ними, по мнению автора, “много способствует корыстолюбию властей” (“Архив”, кн. 1, стр. 22).

Постараемся показать, в какой мере справедливо приведенное заключение автора.

Автор сочувствует правительственным заботам об улучшении материального быта крестьян и говорит, что теперь же необходимо приняться и за его образование, ибо материальное благосостояние без умственного развития если и мыслимо, то непрочно и не может подвинуть народа вперед. А “в цели образования сельского народонаселения большею частью рассчитывают на помощь сельского духовенства; мысль эта, взятая в отвлечении, по мнению автора, совершенно верна; но нельзя не сознаться (говорит он), что наши надежды до тех пор не осуществляются, пока образование самого духовенства будет оставлено на прежнем положении. Счастливая мысль о преобразовании как духовных, так и гражданских учебных заведений уже несколько лет занимает и русскую публику и русское правительство; неизвестно, чем еще дело кончится, то есть в чем оно находит препятствие, на чем остановилось; но дай Бог, чтоб оно решилось в пользу общего и нераздельного развития всех классов. Нужно поднять духовенство (сельское), а иначе поднять его трудно, если не невозможно, по крайней мере при настоящем положении. О благотворных результатах образования народа и духовенства говорить нечего: они ясно рисуются не в далеком будущем.

Нельзя не согласиться с глубоко верным замечанием автора о том, что, приступая к народному образованию чрез посредство сельских священников, необходимо прежде всего обратить внимание на самих священников. Но далеко не так верны нам кажутся дальнейшие заключения автора и окончательные его выводы. Он говорит, например, что крестьянин, вступающий в сводный брак, убежден в законности этого брака и в том, что венчание не есть дело необходимое, и вслед за тем причину происхождения и размножения сводных браков объясняет корыстолюбием и взаимным столкновением властей, приставленных для надзора за правильным соблюдением обрядных форм брачного союза. Тут что-нибудь не так! Если сводные браки порождены одним только злоупотреблением власти, то мы понимаем, что с уничтожением этих злоупотреблений уничтожатся и сводные браки. Но если сами русские поморские крестьяне убеждены в законности сводных браков, то... как же тут быть, какое заключение следует вывести из этой посылки? Убеждение далеко не то, что – злоупотребление, и искоренить его административными мерами – как это известно из всемирной истории – нет никакой возможности. Но г. Муллов, как человек просвещенный, знает это лучше нас и предлагает другое лекарство, более разумное и действительное: просвещение народа и влияние духовенства.

Спора нет: средство очень хорошее и благонамеренное; но просвещение, образование, нравственное влияние – понятия очень эластичные, и с ними нужно обходиться осторожно. Иезуиты и вообще католическое духовенство по большей части народ образованный, но научились ли все эти господа просвещенно относиться к чужому убеждению? В состоянии ли их просвещение действительно просветить сводчиков и рассеять странные убеждения их о законности незаконного брака? Не решаемся ответить на этот вопрос и обращаемся с ним собственно к г. Муллову.

Еще менее мы можем согласиться с г. Мулловым в том, что между русским сводным браком и французским гражданским браком вся разница состоит будто бы только в том, что гражданские браки дозволены законами страны, а сводные браки запрещены ими и трактуются общественным мнением зауряд с наложничеством и конкубинатством; он сам на стр. 21 говорит, что “в местах, населенных раскольниками, многие, считающиеся единоверцами и даже православными, бывают в церкви только в крайних случаях; иному даже придется быть в церкви только три раза: когда его крестили, когда он женился и, наконец, когда его отпевали уже мертвого. Притом, если

такого христианина несут в церковь крестить или отпевать или если он сам идет туда венчаться, то вовсе не потому, чтоб сознавалась в том внутренняя необходимость, признавалась святость крещения, брака, церковного покаяния; делается это часто единственно для того, чтоб устранить от себя всякого рода притеснения, могущие быть со стороны как духовных, так и светских властей; следовательно, чисто из материальных расчетов, как необходимая формальность, требуемая законом и правительством". На странице 24: "не венчание собственно нужно крестьянину, а позволение жить с избранною им подругой", и, наконец, страница 28: "церковное покаяние (крестьянин) сочтет просто формальностью, так как он убежден в законности своей связи и не необходимости венчания".

Не говоря уже о том, что все эти выписки еще более подкрепляют наше мнение о неправильности прежнего вывода г. Муллова, то есть, что сводные браки происходят от злоупотребления властей, они же, эти выписки, свидетельствуют и о различии религиозных взглядов между французскими гражданами и русскими сводчиками.

Мы знаем, что во Франции гражданскому браку предшествовал брак церковный, существующий *ad libitum*[132] и до сих пор, и что народ французский, в силу всех особенностей своего развития, смотрел на церковное благословение брака как на известный вид договорной формы и потому нашел более удобным и соответственным своим понятиям заменить ее более упрощенными формами гражданского договора. Русские же сводчики, как явствует из слов г. Муллова, вовсе не признают никаких форм, ни церковных, ни тем менее гражданских, и держатся этого убеждения, вероятно, потому, что не видят в брачном союзе никаких элементов для договора, контракта.

Брачный договор, как и всякий другой договор, может возникнуть только там, где нет другого начала, способного скрепить союз, где нет любви и доверия между людьми, вступающими в этот союз, словом, договор имеет предмет примирить интересы супругов и обеспечить их от взаимных обид, а не соединить их. Сводные же браки, напротив, имеют в виду только эту последнюю цель – соединение двух существ. Г. Муллов, к сожалению, не объясняет нам историю происхождения убеждений сводчиков о законности сводных браков, и потому мы не имеем возможности раскрыть это убеждение во всей его полноте. Очень может быть, что эти браки, то есть браки, совершаемые без участия духовных лиц, завещаны русской истории известной эпохой двоеверия и есть не что иное, как продолжение брачных форм дохристианского периода.

Мы выражаем эту загадку, ничем ее не подкрепляя; но она невольно приходит на ум, когда вступишь пристальнее в основы сводного брака, в сущности, ничем не отличающиеся от православного брака. И там и тут не допускается никакой гражданской сделки, и любовь считается единственным началом, способным дать браку его законную силу, – словом, таинственным союзом любви, которого сочинить по произволу невозможно и которого отсутствие не в силах заменить никакой контракт, как бы мудро он ни был обдуман. Сходство, как видите, большое, но нельзя сказать, чтоб и разница в понятиях о сводном браке и о браке церковном была малая. Разница эта всем известна; наше дело было указать только на сходство, и, быть может, этому-то сходству, как основательно полагает профессор Лешков (см. "Русский народ и государство", страница 268), мы обязаны быстрому распространению у нас христианства, которое нашло на нашей почве уже готовым и выработанным то самое понятие о браке, которое входило в основу христианского учения. Требование христианской церкви, говорит профессор Лешков ("Народ и государство", стр. 268), совпало с требованием общины, рассматривавшей население страны массой сил, производящих все в общине и народе, богатство и благосостояние, и обеспечение". Русский смысл никогда не совпадал в понятиях о роде человеческом с известным парадоксом Мальтуса о людях, лишних на пиру жизни, – парадоксом, который еще так недавно французский ученый Мишель Шевалье торжественно объяснял в своей речи, произнесенной в Collège de France.

Возвращаясь к сравнению сводного брака с французским гражданским браком, мы должны прежде всего не упустить из виду следующей, весьма важной разницы между ними: французский народ отверг церковный брак, а русские поморцы только не приняли его.

Вторая, не менее существенная разница между этими браками заключается в основных понятиях супругов о их взаимных брачных обязанностях друг к другу.

Контрактная запись брака во Франции, кроме значения статистического и

полицейского, имеет главной своей целью обеспечить договор супругов и будущность детей, рождаемых в этом браке. Но вопрос в том: достигает ли контрактная форма этой цели? Действительно ли она обеспечивает супругов и детей? Не говоря о том, что дурные супруги, как и всякие дурные люди, найдут тысячу случаев обмануть бдительность стражи, охраняющей ненарушимость их договора, можно думать, что между бедными людьми, которых во Франции, как везде, гораздо более, чем богатых, сказанная цель положительно не может быть достигнута. Работник или бедный чиновник, с трудом пропитывающий жену и детей, когда они живут вместе с ним, в одном общем помещении, и едят за одним столом, при всем желании обеспечить свою жену, расходясь с нею, не может доставить ей обеспечения, потому что его заработка не хватит на удовлетворение первых потребностей его самого и его жены при их раздельном житье на два дома, на два хозяйства.

И вот на помощь покинутой женщине является полицейская власть и в силу контракта удерживает у мужа определенную часть его состояния или дохода и отдает жене. Дело власти, значит, сделано; больше она уже ничего не может сделать; но что же из этого выходит? Муж, лишенный чувствительной части своих добытков, лишается и возможности безбедного существования, клянет жену, по милости которой не видит исхода из своего тяжкого положения, опускает руки, теряет энергию, нравственно падает и наконец тонет в омуте порока. Не лучшая участь достается и жене. Удерживаемая в ее пользу часть мужниных добытков далеко не обеспечивает ее насущных потребностей, а с прекращением его заработка субсидия ее вовсе прекращается, и нищета, со всеми своими спутниками, об руку с беспощадными указаниями природы, выводит покинутую женщину на путь разврата, по которому она быстрыми шагами идет к богадельне или к тюрьме. А дети?.. О них и говорить не стоит. Для них есть во Франции и благотворительные заведения и исправительные дома. Не таковы, как мы видели из прекрасной статьи г. Муллова, последствия сводного брака у русских поморских крестьян. Без контракта, без нотариуса, без всякого письменного обязательства берет себе мужичок бабу по сердцу, даст еще его благородию Степану Кузьмичу взятку за право ввести в дом жену и тянет вместе с нею свою многотрудную и горемычную жизнь, пока, по обстоятельствам, тот же или другой Степан Кузьмич не “прекратит их безнравственного сожительства”, то есть не разгонит их “на некоторое время”. Француз, быть может, и рад бы такой оказии, благо представился случай расстаться с женщиной, не представляющей более интереса новизны его чувственности; а толстоносый скиф Архангельской губернии не так думает. Уедет Степан Кузьмич из села, а он опять ютится к своей бабе, опять втихомолку переводит ее в свою избу и добровольно возвращает ей права, воспрещенные Степаном Кузьмичом. И так целую жизнь Степан Кузьмич разводит их, “прекращает их безнравственное сожительство”, а они опять сходятся, пока одного из них не понесут третий раз в церковь... Не-уже-ли же и здесь нет разницы между французским гражданским и русским противоцерковным браком? Французский становой пристав употребляет все усилия, чтоб свести дражайшие половины, и по большей части не успевает в этом; русский полицейский комиссар, наоборот, употребляет все усилия, чтоб развести их, – и усилия его тоже безуспешны. Не правда ли, какое близкое сходство?

Образованный француз без помощи комиссара никак, бедный, не может понять, что жена его и дети, им рожденные, нуждаются в его заботливости; а невежественный поморец, по глупости своей, дает комиссару последнюю деньги, чтоб он только отстал и позволил ему жить вместе с женою и детьми, и повторяет свою невежественную пословицу, что “коли нет души, так что хочешь пиши”. Где же, помилуйте, этому сермяжнику, этому раскольнику злобредному понять все тонкости французского брака по контракту и вообще модного сожительства просвещенных супругов, держащихся другой пословицы: “Муж в Тверь, а жена в дверь”. Сказано уж, мужик несообразный, “ты его крести, а он в омут просится”, как говорит третья пословица.

Нам кажется, что если г. Муллову непременно нужно было приискать для сводных браков сходство с чужеземными обычаями, то его скорее можно было отыскать в понятиях о браке по библейски-талмудическому учению, [133] рассматривавшему брак как союз, освященный нравственностью, и в нравственности же полагавшему высшую его святость, способную умерять половые стремления, к которым побуждает чувственность, и облагородить их идею о поддержании человеческого рода. Скорее отсюда, с еврейского востока, занесено славянам убеждение в необходимости одной нравственной связи для супружества, тогда как идея французского гражданского брака выработалась под взглядом римского мира, который был чужд нравственного взгляда на брак и где любовь считалась даже предосудительной, как у французов она нередко считается смешною и неприличною для людей *comme il faut*. [134]

“Если рассматривать брак как договор, – говорит А. Думашевский, – то муж может дозволить жене нарушение брака, и в таком случае она имеет законное право совершить прелюбодеяние; в таком случае нарушение брака не имеет даже места, потому что, при согласии мужа, она не нарушает права брака, а только пользуется правом, уступленным ей другим контрагентом”. [135] В таком случае, прибавим мы от себя, и самый-то брак не существует и есть не что иное, как фикция. Впрочем, так именно и смотрит на него француз, почитающий себя вправе располагать своею женою точно так, как располагал ею римлянин времен империи, по понятиям которого жена могла быть одолжена или уступлена мужем другому человеку. Сведенцы этого не допускают. У них, как и у последователей библейско-талмудического учения, муж не вправе уполномочить жену на нарушение брачного обета верности, и прелюбодеяние, совершенное с разрешения мужа, остается в глазах общества преступлением, оскорбляющим общественную нравственность.

Библейско-талмудическое учение допускает в известных случаях расторжение браков при жизни супругов, но не одобряет развода и не поощряет его. “Кто разводится с своею женою, тот ненавидим Богом; кто разлучается с подругой своей юности, о том алтарь (эмблема мира) плачет”, гласит учение, дающее развод жене даже без воли мужа, если она чувствует к нему отвращение. [136] Не оправдывают развода и уставщики религиозных русских раскольничьих толков, в среде которых известен сводный брак, но не полагают также для него никаких непреодолимых препятствий, между тем как французский закон о гражданских браках формою контракта представляет ряд самых странных и стеснительных гарантий, из которых не ладящие в браке супруги вырываются *per fas et nefas*. [137]

Библейское талмудическое законодательство отвергает всякое прямое вмешательство суда, когда жена объявляет, что она не может жить с мужем, чувствуя к нему отвращение; оно признает это вмешательство незаконным и бесполезным: “незаконным потому, что судья не может проникнуть в глубину человеческого духа и понять источник отвращения жены от сожительства с мужем; бесполезным потому, что суд не может восстановить расстроенную внутреннюю гармонию супружества; внешность же, форма не имеют никакого достоинства. Мужу предоставляется возратить себе благосклонность жены, но суд не возвращает ее к нему силою” (там же, стр. 39). Отвращение жены к мужу обязывает его дать ей развод; ибо, присовокупляет Маймонид, жена не военнопленница, чтоб ее принуждать к сожительству с человеком, к которому она чувствует отвращение” (там же, стр. 40). Тот же в существе своем взгляд на этот вопрос встречаем мы и у своднобрачных русских крестьян. Но французские гражданские супруги ничего в этом роде не сделают без протестации своего контракта, без вмешательства властей и без представления фактических доказательств, чаще всего публично компрометирующих оставленную жену или трактующих мужа как негодного для производительности (*impotentia*).

Во взгляде на духовенство и его участие в даровании благословения на брак русские поморские раскольники, отвергающие брак церковный, также близко сходятся со взглядом библейско-талмудического законодательства. “В иудеизме нет духовенства (говорит г. Думашевский), нет касты, которая религиозно-церковным влиянием своим стояла бы над мирянами, а есть только законотолкователи и законоучители, и то не как отдельное, различное от прочих сословие, но единственно как люди, сведущие в законе. Возможность разрешения запрещенного брака в иудеизме немыслима”.

“Духовное родство (*cognatio spiritualis*) по библейско-талмудическому законодательству и число браков, запрещенных по естественному родству, довольно ограничено сравнительно с римским правом, простирающим родство чуть ли не в бесконечность” (там же, стр. 20).

“Обручение (каджушин), освящение – знаменательное выражение для брака. Чрез брак женщина становится для всякого стороннего человека святыней” (“Библиотека для чтения”, январь, стр. 24).

“Обряд еврейского венчания состоит в том, что жених и невеста становятся под балдахином; здесь произносится хваление и благодарение Господу за учреждение брака между людьми и испрашивается благословение Божие молодым. Таким образом, это только торжественный акт, но не какое-нибудь церковное благословение, которое вообще чуждо иудеизму, не знающему духовенства как санкционированного сословия. Обряд этот, как и все религиозные обряды евреев, у которых нет таинств, может совершаться всяким основательно знающим обрядовую сторону”

Этих выписок, мы полагаем, слишком достаточно, чтоб показать, насколько библейско-талмудическое учение имеет общего с толком наших раскольников, придерживающихся сводных браков; и для тех, кто знаком с их религиозными воззрениями, это не требует подробных разъяснений. У французов же нельзя встретить ничего подобного этим убеждениям; в их взгляде на духовенство и на необходимость участия его во все знаменательные эпохи жизни человека мы видим странное противоречие: так, например, они находят, что при крещении нужно духовное лицо, ибо крещение – таинство; при исповеди и причастии оно также нужно, ибо и причастие – таинство; а при браке можно обойтись и без духовного лица, с участием нотариуса и полицейского офицера. Что за последовательность!

Еврей не имеет особой духовной касты и не испрашивает у ее представителей благословения на свой брак; но он призывает на него благословение Божие, он не видит нужды утаивать союза любви и не отвергает обряда, состоящего в благодарении Бога за учреждение брака; так же и своднобрачный крестьянин призывает на себя и свою невесту Божие благословение, хотя, конечно, не так, как повелевает канонический устав православной церкви, но все же призывает, а не контракт пишет, как француз. Что ж общего между этими браками? Какое они имеют сходство?

Сводный брак – весь сущность, весь чувство, корень которого в понятиях поморцев о нравственности; а гражданский брак – весь форма, весь выражение недоверия, живущего в сердцах супругов, недоверия, не исчезающего даже в торжественную минуту предвкушения блаженства, сокрытого в высшем акте любви. Сводный брак ищет признания своей силы в самом себе, во внутреннем авторитете духовного союза; брак гражданский, отвергая авторитет церкви, ищет признания своей силы в авторитете внешней власти – у нотариуса и полицейского чиновника. И, как видите, сводный брак считается плодом невежества и дикости нравов, а гражданский брак – последним словом европейской цивилизации.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА ОБ ИЩУЩИХ КОММЕРЧЕСКИХ МЕСТ В РОССИИ

После помещения в 206 № "Политико-экономического указателя" статьи об ищущих коммерческой службы в России, где указывалось на горестное состояние людей неторгового класса, свернувших, вследствие разных обстоятельств, на торговую дорогу, писавшему эту статью довелось выслушать несколько мнений, противоположных выраженному им направлению. А так как все эти мнения были высказаны ему людьми, практикующими русское торговое дело и подозревающими в себе специальные познания, недоступные борзописцам и щелкоперам, то пишущий эти строки считал долгом посвятить толпу в существо взглядов людей, компетентных по трактуемому вопросу. Он не намерен утруждать внимание читателей перечнем всего того, что говорили ему по поводу названной статьи рутинные желчевики торгового мира. Бог с ними! Они глаголят не от мира сего. Он хочет выставить на суд общественного мнения только возражения тех из своих оппонентов, которые душою сочувствуют прогрессивным идеям века и понимают, что наступила решительная потребность иного порядка в ведении торговых дел; но, тормозимые привычкою не обнимать вопросов широко и всесторонне, боятся каждого шага, каждого движения в сторону с той тропы, идя которою деды их, благодаря общественной бездеятельности, при случае наживали капиталы, а благодаря неумению предусматривать другие случайности, теряли их.

Правда, говорили люди этого сорта по поводу статьи об ищущих мест, правда, большинство русского купечества привыкло вести свои дела по старой рутине, чрез сметливых Гришуток и Мишуток (не всегда сметливых, напротив, очень часто ничего не смекающих и не видящих дальше своего носа); правда, что оно, то есть купечество, туго подается (вовсе еще не подается) необходимости (собственное слово оппонентов) иметь при деле людей, получивших образование. Все это, продолжали они, происходит от привычки мерить всякое дело на свой аршин и обставляться людьми, близкими к своим понятиям (добровольное сознание лучше свидетельства целого света). Но служащие их делам люди, говорят оппоненты, при своей необразованности до крайности неприхотливы, не имеют привычек, усвоенных людьми образованными (святая истина!); едят щи да кашу (в хозяйском доме, а в трактирных заведениях вкушают "солянки", "биштик" и прочие насодательности); одеваются в дубленку, встают рано поутру (нередко с большой головой от вчерашней питры), не бреются (!), не чистят ногтей (!!), не всегда моются (!!); советуем взять привилегию на водобоязнь без укушения бешеною собакою), исполняют приказания без рассуждений (вот оно что!..), живут в захолустье и, помещаясь в

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

маленькой комнатке, не мечтают ни об обществе, ни о развлечениях, не требуют ни экипажа, ни кучера и за всю свою службу берут 200–300 рублей серебром в год (часто в десять раз более). Как же после этого, говорят заторможенные прогрессисты, не дать цены этим Гришуткам и Мишуткам? Согласны мы, говорят они, что такие служаки мало смыслят. Да кто нам поручится, спрашивают они, за способности к делу образованного человека, наем которого обойдется гораздо дороже? Не время же, в самом деле! Когда время русскому купцу всматриваться?

Изложив слышанные нами возражения, мы долгом считаем оговориться перед читателями, что мы верно передали им не только дух и смысл этих возражений, но не изменили и самой формулировки их, и затем обратимся к рассмотрению всего нами слышанного и доложенного публике.

Прежде всего, следуя обычаю праотцев, возблагодарим сердечно Бога за то, что в среде наших промышленных сословий, ходящих во тьме сени смертные, есть уже люди, которые сознаются, что они рутинисты, что это нехорошо, что Гришутки с Мишутками мало смыслят и что призвание к торговому делу образованных людей было бы полезно. Слава Богу и за этот шаг к сознанию необходимости иного порядка в торговом деле!

Затем, порадовавшись, поскорбим. Поскорбим о том, что и эти личности, ставшие на сторону образованности и прогресса, никак не могут отвязаться от сословных привычек и, сознавая зло, живущее в существующем порядке вещей, не хотят отрешиться от него из слепой боязни, что с новым порядком будет еще хуже. Ложные чувства – ложные страхи. На чем основаны опасения этих людей? Существуют ли в действительности выгодные стороны, которые они видят в сотрудничестве своих не всегда умывающихся и никогда не рассуждающих Гришуток и Мишуток?

Опасения, очевидно, основаны главнейшим образом на том, что образованный человек прихотливее, требовательнее и дороже обходится. Все эти опасения совершенно неосновательны и могут явиться только у человека, не усвоившего себе способности всматриваться и вдумываться в самую суть вещей. Образованный человек действительно чаще моется и чешется, чем Гришутка, но он не портит этим дела, которому служит. Он носит платье “немецкого” покроя, но не теряет в нем ума, сидящего в дубленке; и если дело того требует, он не прочь и от дубленки, вошедшей в последнее время во всеобщее употребление у людей всех классов, стоящих при работах и делах, совершающихся на холоде. Да утешится дубленая прогрессивность. В отношении пищи и питья образованный человек (просим не забывать понятия, которое должно соединять с этим именем) не может быть особенно прихотлив, ибо роскошь в пище и питье немыслимы при образованности. У образованного человека роскошь в пище и питье составляет всегда относительно меньший интерес, чем у человека необразованного. Известное дело, что чем грубее, чем необразованнее человек, чем менее у него возвышенных требований, тем больше он заботится об исключительном удовлетворении своих чисто животных потребностей. Образованный человек требовательнее – это правда, но требовательность его правомернее, разумнее, а следовательно, и удовлетворимее, чем иная дикая фантазия человека необразованного, готового всячески прижать хозяина, когда видит, что он ему нужен, и когда хозяином можно “орудовать”. С одной только стороны образованный человек требовательностью своею тяжелее человека необразованного: он не позволит глумиться над собою; он стоит за право “сметь свое суждение иметь”, а необразованный “исполняет приказания без рассуждений” и терпеливо или, по крайней мере, молчаливо сносит хозяйские крепкие слова, главный смысл которых менее оскорбляет индивидуальную честь приемлющего брань, чем честь его родительницы, вспоминаемой во имя татарского оттиска на русские нравы. Ведь пора же отвыкать от этого оттиска и помаленьку взнуздывать свое гортанобесие. С другой стороны, торговый приказчик не лакей, и желать, чтоб он исполнял приказания без рассуждения, значит лишить себя совета человека, заинтересованного в деле, и взять лишний страх за ошибку, которая легко может произойти и часто происходит у дающих приказания. Вольно хозяину принять или не принять слова служащего в резон; но выслушать его он должен, ибо этого требует его собственная польза и безопасность. Хозяин может требовать, чтоб ему повиновались; но он же должен требовать, чтоб ему прямо и открыто высказывали свое суждение по приказанию, если оно, по мнению служащего, ближе стоящего к делу и более сосредоточивающего в нем своего внимания, почему-нибудь несообразно обстоятельствам и выгодам хозяйского интереса. К тому же всякий приказчик, приученный к безрассудному исполнению хозяйских приказаний, будучи отправлен к выполнению заглазной операции, в случае малейшего изменения обстоятельств против хозяйских соображений, растеривается от непривычки думать и соображать и, не

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

приученный рассуждать, губит хозяйское дело с лестной покорностью хозяйской воле. Наконец, образованный человек дороже стоит наймом. Да, это правда, и это в порядке вещей. Ведь всем известно, что “за одного ученого двух неученых дают, да не берут”, стало быть, народная мудрость давно поняла, что один образованный человек выгоднее двух невежд, так, стало быть, и платить ему следует по крайней мере то, что платят двум невеждам. Зато он учился, тратил свой труд на приобретение полезных знаний и во все время учения не получал никакого материального вознаграждения, тогда как его однолетки, убоявшиеся дальних премудростей, во все время, которое их образованный погодок затратил на свое образование, получали свой заработок. Кроме того, хотя образованный человек и дороже нанимается, но часто обходится дешевле, чем дешево нанятый неуч. Ценность приобретаемого найма труда нельзя определять одною суммою платы; ее должно рассматривать совместно с пользою, приносимую оплачиваемым трудом; и если б помнили и хорошенько держались этого правила наши руководители промышленных дел, то давно бы у них были люди, которым можно доверить дело и которые не вели бы хозяев по прямой дорожке к “ломанью рубля” на полтинки да четвертачки. Сами же вы, господа, говорите, что “дорогое мило, дешевое гнило”, сами знаете, что дорогой сапог обходится дешевле дешевого, а к делам, которые вас кормят, ищете дешевых людей и хотите купить “алтынное за грош”, тогда как это положительно невозможно! Вы говорите: “было бы болото, а черти будут”; черти-то, господа, будут, да людей-то у вас нет, а платить есть кому. В том-то вся и беда, что у нас, на святой Руси, всякий располагающий возможностью приобретения чужого труда смотрит на всякого соискателя места как на нищего, которому он по воле, по прихоти может дать кусок хлеба или отказать в нем, и упускает из вида, что всякий способный человек, предлагающий свои услуги, предлагает свой капитал, нужный для дела, и столько же, если не более, одолжает хозяина своим предложением, сколько тот осчастлививает его предложение своим вниманием. Пора, господа, понять, что, нанимая способных и нужных нам людей, мы не делаем им никакого одолжения и что из милости, из великодушия приставлять к делу людей не следует. Никакая служба – не богадельня.

Последний вопрос, который мы рассмотрим теперь, заключается в том: существуют ли в действительности те выгодные стороны, которые русские промышленные сословия видят в сотрудничестве людей, стоящих на самой низшей ступени нравственного развития и имеющих степень отрицательного образования? Отвечать легко: их не существует. Если б они существовали, то недолговечность капиталов не была бы постоянной привилегией русского купечества, никогда не подражавшего американской рискованной предприимчивости, а ведущего, по его собственному выражению, дела “самые скромные, самые тихие, но зато и самые верные”. Бесперывные гласные и келейные банкротства при тишине и черепашьем шаге дел, беспрестанные сделки то здесь, то там полтиною за рубль, убивающие нашу производительную промышленность, и крайний недостаток или, правильнее сказать, совершенное отсутствие коммерческих личностей, сколько-нибудь выделяющихся из среды ярко заявляемой общей неспособности, красноречиво говорят, что выгодных сторон от содержания промышленных дел в руках необразованных людей не существует и что всякое удачное направление и ведение какого-либо торгового дела в России русскими людьми, не отрешившимися от светобоязни, – было делом случая и особенно благоприятных обстоятельств, порожденных отсутствием общественной непредприимчивости и баснословным богатством страны, а отнюдь не здоровым русским умом, не пресловутой русской сметкою и не вдохновенным соображением деятелей наших промышленных сословий.

Итак, господа, мы, по вашему мнению, шелкоперы, мы борзописцы, мы теоретики. Что делать! Пусть будет так. Вы говорите, что не с нашим носом рябину клевать, так как рябина – ягода нежная, что, наконец, мы не знаем торгового дела на деле, что вы одни его знаете. Опять нечего делать! Вам и книги в руки. Мы народ терпеливый. Вы приучили нас к спартанскому терпению, постоянно отказывая нам за мнимую ученость и в работе и в куске хлеба. Подождем и еще на пище св. Антония, пока вы “доломаете” ваши рубли, нажитые в доброе старое время, и почувствуете, что вновь наживать их нужно с новыми людьми.

К ИЗДАТЕЛЮ “СЕВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ”

Телеграфическою депешою из Киева от 6-го апреля известили меня, что “9-го апреля киевское общество дает прощальный обед Николаю Ивановичу Пирогову”, оставившему должность попечителя Киевского учебного округа.

Сообщаю вам содержание полученной мною депеши, предполагая, что вы, может быть, признаете уместным сообщить это известие посредством печати всем многочисленным

Н. И. ПИРОГОВ

Н. И. Пирогов сложил с себя обязанности попечителя Киевского учебного округа по расстроенному здоровью. Имя Николая Ивановича, конечно, не нуждается ни в каких похвалах, оно известно не в одной России, и везде благомыслящими людьми произносится с тем высоким уважением, на которое оно имеет неотъемлемое право. Пирогов лечил не одни телесные раны людей; он врачевал и нравственные язвы общества; он неуклонно стремился воспитать в молодом поколении, вверенном его попечению, те человеческие стороны, которые составляют гражданскую доблесть по понятиям просвещенных людей XIX века. Хвалить педагогическую деятельность Пирогова, я думаю, совершенно неуместно уже потому, что, вероятно, никто не станет порицать человека, создавшего в каждом из учащихся и учащихся сознательное уважение к законности и доказавшего повсеместную удобоприменимость закона, который гласит, что “без суда и следствия человек не наказуется”. Пирогов хотел создать из воспитанников людей. Конечно, Николай Иванович не мог вполне успеть в этом, но честь великой мысли: приучать с детства уважать законность и ей повиноваться, принадлежит ему. Всякий из киевских воспитанников, наблюдающий высокое правило, завещанное нам прошлым “*audiatur et altera pars*”, [138] свидетельствует о высоконравственном служении Н. И. Пирогова интересам русского общества. Вы не можете вообразить, каким громом упало перед нами первое киевское письмо об оставлении Пироговым своего места: мы не верили своим глазам; но второе, третье письмо, а вслед за тем телеграмма о прощальном обеде, который дает Киев бывшему попечителю, – уничтожили возможность всякого сомнения; мы убедились, что он навсегда потерян для наших братьев, сидящих на лавках школ Киевского учебного округа. Последний обед, данный Пирогову, предполагался 9-го апреля. В этот день бывшие профессора и студенты Киевского университета и многие другие люди, связанные сыновьей любовью с Украиной, послали одну телеграмму на имя К. Я. П-на, прося его заявить Пирогову их сердечную благодарность за его полезное служение и полное ему сочувствие; а вслед за тем другое подобное заявление передано в Киев по телеграфу на имя самого Пирогова от студентов Петербургского университета. Это все, чем могли и как сумели мы заодно благодарить честного педагога и честного человека. Большую благодарность ему принесет потомство.

О НАЕМНОЙ ЗАВИСИМОСТИ Нанялся – продался.

Русская пословица

Если верить, что пословицы суть выражение народной мудрости, то нельзя по крайней мере распространять этого верования на все пословицы, живущие в народе. Есть между ними много таких, которые свидетельствуют о качествах совершенно противоположных мудрости и, конечно, относятся ко времени дикости нравов, стремления к порабощению и бесправию. К числу таких пословиц, без всякого сомнения, должно отнести ту, которую мы выставили вверху нашей статьи, ибо в понятии, ею выражаемом, лежит корень тех тяжелых отношений, в которые у нас поставлен труд к капиталу, работник к хозяину. Мы не знаем, когда сложилась эта безнравственная пословица, но знаем, что проповедуемому ею понятию суждено было пустить у нас глубокие корни, войти в нашу плоть и кровь и устроить между наемщиком и нанимателем те фальшивые и тяжкие отношения, от которых новое поколение рабочих людей освободится мало-помалу. Ни в одной стране, где труд – свободное достояние человека, не думают, что нанялся – значит продался. Везде человек отдает только свой труд; а у нас он нанимается сам, он продает нанимателю не только свой определенный труд, но все свои мышцы, свое дыхание, свои убеждения и нередко даже свою честь. Словом, по настоящему смыслу приведенного изречения народной мудрости, он продается сам. Недостаток капитала, отсутствие предприимчивости и кредита и другие причины исторические всегда сохраняли у нас достаточное количество людей продающихся и если не равнодушно, то, по крайней мере, терпеливо сносивших свое кабальное положение, вероятно, по убеждению, что улучшить его невозможно; что во всяком найме не минешь такого положения, что “нанялся – продался”, себе уже не принадлежишь, стало быть, и стоять за себя не вправе. Чудовищными последствиями разродилось это дикое понятие в русской жизни и сделало для весьма многих мало-мальски развитых людей невозможным никакой труд по найму, ибо всякий наниматель, платя деньги за совершаемый в его пользу труд, считает себя вправе требовать, чтобы труженик смотрел на все его глазами, мыслил его понятиями, жил его верой, его убеждениями, что решительно невозможно, немислимо для честного человека, могущего продать только один труд, а не совесть, не свободу, составляющие его

непродажную собственность. Отсюда же, из этого же понятия о праве безответно располагать всем существом нанятого человека, произошла привычка требовать от него кстати всяких услуг, часто самых безнравственных. Не говорим об откупных шукарях, которые высшею добродетелью служащих почитали особенную мягкость совести и пружинность убеждений, наше дворянство и купечество, даже правления наших акционерных обществ, где так часто раздавались слова: “гласность, прогресс, просвещение”, – смешивали служение с прислужничеством и на самом деле требовали от своих служащих только рабских добродетелей и, вопия против деспотизма, сами отстаивали его идею собственным примером. Нигде, может быть, в наше время наниматель не верит в такую ширину своих прав на наемника, как на матушке святой Руси, где честному человеку нет возможности, оставаясь честным, удовлетворять всем требованиям своего принципала. Кому не случалось слышать, как часто и бесцеремонно просвещенные владельцы тысяч десятин, населенных крестьянскими душами, выгоняли управителей за мягкость обращения с мужиками, за редкое употребление душеспасительных орудий исправления. Кто не знает, с какою бесцеремонностью и простосердечием иной Ловелас-помещик, Мирабо с киргиз-кайсацкими нравами, забежав из дальних милых стран иль со стогнов северной Пальмиры под сень лазуревых небес села родного, от безделья и пустоты обращался нередко с самыми низкими и безнравственными искательствами к жене или дочери своего управителя, по праву человека, платящего жалованье их мужу или отцу. Охота за управительскими дочерьми, и особенно за женами, была явлением, так сказать, естественным, равносильным праву охотиться в арендованной лесной даче. И Боже мой! сколько зла, сколько горя наделала эта охота! Сколько брошенных жен, оставленных детей, спившихся с горя мужей, не вынесших смертельного удара, нанесенного минутною прихотью безнравственного сластолюбца и легкомысленною доверчивостью несчастной женщины, навеки им погубленной. А Мирабо? да что ему делается! Он и не понимает, что он сыграл на жизнь и смерть целого семейства, что его гнусный поцелуй, как клеймо палача, отвергает жертву от участия во всех радостях жизни и разбивает все ее будущее. Для него, кроме проигрыша на зеленом поле, нет вопросов на жизнь и смерть. Пусть пропадают люди, не разумеющие, что жизнь состоит не в любви, а в обращении других в средства для удовлетворения минутной прихоти. А женский наемный труд!.. Боже мой, что мы с ним сделали? Чего мы к нему не применили, чего не поставили в обязанность наемницы? Нанятая женщина, к какому бы роду занятий она ни была ангажирована, как бы высоко она ни стояла по своему образованию, нравственности и общественному положению, великим большинством общества рассматривается нередко как конкубина, [139] ибо она “нанялась – продалась”, она – рабыня, а рабыня неудобомыслима вне наложничества с господином. Если бы наши женщины, получившие несчастную привилегию наниматься, захотели отбросить стыд и рассказать все, что с ними случилось во время их наемной жизни, они указали бы нам на многие образцы связей, возникших не из чувства влечения и страсти, а по необходимости подчиниться хозяйскому праву. Понятие об этом праве до такой степени вошло в нашу кровь и плоть, что мы даже не задумываемся над возможностью практиковать его в жизни, с какою бы женщиною судьба ни поставила нас лицом к лицу в качестве нанимателя. Гувернантка, кухарка, экономка, горничная, швея или специалистка другого какого рода – нам все равно, за всяким ремеслом мы считаем на право хозяина. Договариваясь в плате за условный труд, мы видим в этой плате цену и безусловных обязанностей. Рассматривая способность к приготовлению кушанья или даже к образованию и развитию наших собственных детей, мы не умеем отрешиться от права хозяина. А совершен наем, чуть только перешла женщина под мирную сень домашнего крова, гляди, хозяин уж и пошел предъявлять хозяйские права. Гувернантка или кухарка – все равно, одни стремления, разница только в приемах, да и то весьма небольшая. А вступится женщина за свои права – беда подымется! Скотская страсть разгорается и делается все дерзче до тех пор, пока толчок хватом в кухне или нулинская пощечина в классной комнате не обратит их в гонения и клеветы, которым так охотно верит весь род человеческий вообще и нежная его половина – в особенности. Засим отвергнутый хозяин встает на дыбы, начинает бодаться и устраивает изгнание капризной женщины, если она сама не предупредит его и не уйдет от разврата в бесприютность, встречать там новые оскорбления и ловушки со стороны общей развращенности, рассматривающей всякую женщину как предмет для удовлетворения минутной прихоти.

Делается все это, конечно, и не в одной матушке России; нанимают женщин огулом на всякие услуги даже и в философской Германии, а во Франции это случается, может быть, еще и чаще, чем у нас; но сила в том, что везде это – дело любовное, стало быть, тут уж и говорить нечего – просто судит их Бог; а то худо, что у нас все это сделалось возможным не *ad libitum*, [140] а *de jure*, [141] по львиному праву, основанному на злой сатире “нанялся – продался”. Вот отчего у нас

порядочный человек – мужчина, а наипаче благонравная женщина смотрят на наемный труд как на тяжкое горе и среди живой потребности заработка стесняются предложением своего труда. Не разумея здесь лентяев и тех женщин, которых несчастное воспитание приготовило к неминуемому падению, мы знаем много и очень много людей, из среды которых раздается известный стих Грибоедова “служить бы рад – прислуживаться тошно”, и самые отчаянные, самые болезненные раздирающие душу ноты в этом вопле поются слабыми голосами наших жен, сестер и дочерей.

А еще, помнится, какой-то из современных мыслителей не довольствовался правами нанимателей и предлагал ввести обязательные аттестаты для нанимающихся. Хороши бы мы вышли с этими аттестатами; оправдывайся там себе чем знаешь, как хозяин пропишет в аттестате, что ты вот такая-то и такая-то. Ищи общественного мнения как ветра в поле или Франклина в море. Теперь, когда Россия призвана к новой жизни, вольнонаемный труд становится господствующей формой труда, нам следует оглянуться на свое прошлое, забыть разные свои права бесправия, отрясти пыль предубеждений, насевших на наши ноги, и подумать о том, чтобы наемная служба у нас была возможно для людей, не торгующих своею честью и своими убеждениями.

Пора уважать в людях неотъемлемые права человеческой свободы.

ЛЕСОСБЕРЕЖЕНИЕ, УЛУЧШЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ДВОРЯНСКАЯ ДЕНЕЖНАЯ ССУДА (“Сельское хозяйство”, журнал, издаваемый при Московском обществе сельского хозяйства, 1861 г., март, том I, № 3-й. Москва)
Известное дело, что какую специальную, а наипаче сельскохозяйственную статью ни напечатай в журнале неспециальном, господра специалисты-практики, и особенно сельские хозяева, всячески стараются как-нибудь ее охаять, и охаять преимущественно со стороны непрактичности, неудобоприменяемости – это уж так водится и вошло у нас в общую привычку. И Усов, и Преображенский, и Бабарыкин, и даже сам Теер весьма часто пользуются у нас, в ином помещичьем кругу, весьма незавидной репутацией книжников и теоретиков; и много-много есть у нас весьма полезных сельских книг, о которых наши благородные землевладельцы знают так только наслыхом, но тем не менее крестят их именем чепухи и вздора. Помести в журнал какую-нибудь хозяйственную статью кто-нибудь из профессоров, увлекающих слушателей своими лекциями, хоть, например, в зале Императорского вольно-экономического общества, – иной помещик, разрезывая журнал, непременно насмешливо улыбнется и скажет соседу: “А ну, посмотрим, что он тут напутал”, и затем станет читать (если станет), придираясь к каждому слову, а как дойдет дело до рационального хозяйства, до разбивки полей, или до преимуществ вольнонаемного труда пред обязательным, или свободы труда, так соседи совсем расхохочутся, вспомнят, как сосед NN поля подклинивал, да без хлеба остался, как вольный плотник задаток взял, да и был таков, и скажут, что “все эти господа только вздор мелют и что помилуй Бог им поверить!”. Конечно, далеко не все так думают, однако еще немало господ, которые уверены, что хозяйство знают только они, просвещенные землевладельцы, и что все трактаты об агрикультуре, и особенно о сельскохозяйственной администрации, – просто какая-то поэзия, спекуляция на сбыт своего писания. Но, странное дело и непонятная вещь! Как это случается, что разные хозяйственные сочинения, написанные самими господами сельскими хозяевами и помещенные в специальных сельскохозяйственных журналах, оказываются вблизи вовсе не теми кладезями премудрости, какими представляются они, по всем вероятиям, самим авторам, гг. редакторам и известному кругу читателей. В февральской книжке “Отечественных записок” мы давали читателям отчет о проекте законтрагования помещикам солдатских рук на полевые работы и, по мере сил наших и понятий, старались указать несостоятельность этого проекта, напечатанного автором, г. Александром Бенедским, в “Журнале Общества сельского хозяйства Южной России”, а теперь перед нами лежит книга сельскохозяйственного органа другой местности нашего просторного отечества: мы говорим о мартовской книге “Сельского хозяйства”, журнала, издаваемого при Императорском московском обществе сельского хозяйства. В ней две части, подразделяющиеся на три отдела: 1) действия общества, 2) практические статьи и 3) научные статьи. Мы сегодня, собственно, будем говорить о втором отделе, то есть о практических статьях, которые в настоящее время имеют для нас особенный интерес. В этом отделе помещены нижеследующие статьи: а) по случаю составления комиссии для исследования лесной промышленности в казенных и частных лесах (Десятовского); б) о мерах к улучшению сельского хозяйства в России (Якимаха); в) о преобразовании нижегородского александровского банка в земледельческий банк (Н. Русинова) и г) об образовании дворянской денежной ссуды (Н. Александрова). Из всех этих практических статей только одна, статья г. Русинова, “О преобразовании нижегородского александровского банка в земледельческий банк”, носит характер статьи, имеющей

интерес местный, и написана под взглядом особых местных соображений, а три остальные имеют предметом практическое разрешение сельскохозяйственных вопросов, занимающих в настоящее время всех вообще русских людей, сознающих, что благосостояние народное самым тесным образом связано с хозяйственным благоустройством, и с этими-то тремя статьями мы намерены познакомить читателей.

Начнем по порядку. В первой статье, написанной г. И. Десятовским по случаю составления комиссии для исследования состояния лесной промышленности в казенных и частных лесах, автор, после краткого, но сильного вступления, в котором объяснил, что “правительство, берущее на себя инициативу во всех вопросах, соответствующих (!) прогрессивному развитию нашего отечества, озабочилось учреждением во всех губерниях комиссий для исследования лесной промышленности в казенных и частных лесах”; что комиссия открыта в Черниговской губернии и “состоит из лиц, назначенных правительством, и из помещиков, избранных административной властью под председательством гражданского губернатора, потребовавшего от дворян известных сведений по предмету лесного хозяйства”; излагает тоже в довольно кратких, но сильных словах огромное значение правильного лесоводства и указывает на него как на статью, которая “должна составлять одну из важнейших забот правительства и частных владельцев” (стр. 53). Указывая на особенную важность лесного материала в России, автор вспоминает то былое “время, когда непроходимые леса встречались во многих местностях России, когда лесные дачи не составляли той ценности, какую они приобрели в настоящее время”; скорбит о том, что “неразумное употребление лесного материала, разработка под пашни (чего? вероятно, лесосек или чищоб), злоупотребления (какие?) произвели опустошения, непроходимые леса остались кое-где в северо-восточной России, составляя собою редкость (ну, там они не совсем редкость), а между тем потребность в лесных материалах все более и более увеличивается” (стр. 54). “Итак, вопрос о лесоводстве, – заключает автор, – вопрос не частный, а государственный, требующий постановлений, вполне обязательных (!) как для казны (!!), так и для частных владельцев лесов (!!), ограждение которых от неразумного и злоупотребительного употребления (*ipsissima verba*[142]) лесных материалов есть дело первой важности. Смотри с этой точки зрения, мы (то есть автор и редакция) находим, что, в ожидании более зрелых законоположений (а теперешние разве еще не созрели?), весьма бы полезно применить ко всей России правила для сбережения лесов, существующие в прибалтийских провинциях”, с некоторыми изменениями, которые автор признает нужными вот почему: “в прибалтийских провинциях (говорит он), по историческому развитию этих провинций, поселение вообще гораздо более цивилизовано, чем в остальной России. Высший слой общества, по своему образованию, более усвоил чувство законности, которое отразилось и на народных массах. Люди, состоящие на службе во всех управлениях страны (ну, не во всех) боятся общественного мнения (есть такие, что и не боятся, “лишь бы скажет иной, солнце грело, а звезды – черт с ними!”), которое там уже сложилось, а следовательно, и нравственность народная и нравственность административных лиц представляет надежное ручательство, что правила касательно лесосбережения, вызванные местною потребностью, исполняются добросовестно, точно. Вследствие такого положения страны (продолжает автор), произвол не может выражаться безнаказанно; чувство правды и справедливости составляет, можно сказать, принадлежность всех классов; редко можно встретить обиду, не удовлетворенную закононо, и это так глубоко вкоренилось в нравы, что, при спорах владельцев с крестьянами, суды, составленные из владельцев, почти всегда бывают на стороне поселян, потому что жалобы их (то есть крестьян) заключают в себе или справедливость, или неясное понимание права”.

Засим автор обращается к другим местам России (стр. 55), где, говорит он, “произвол, это детище крепостного права (не одного крепостного), все еще существует. Лица, облеченные административною властью, или недостаточно образованны, или невежественны и своекорыстны; чувство законности редко в ком составляет насущную потребность; крестьяне не понимают права собственности, потому что и личное право, и право собственности они издавна утратили (писано, очевидно, до обнародования манифеста 19-го февраля); им кажется, что леса, для которых казна и владельцы не употребили никакого капитала, принадлежат всем без исключения, а следовательно, и пользоваться ими может всякий безнаказанно, как общею собственностью, дарованною Провидением”. Здесь г. Десятовский упоминает, что “запрещение рубить и вывозить лесной материал у нас считается притеснением” и что леса истребляются разными незаконными путями, которыми пользуются не только крестьяне, но и некоторые дворяне, “на основании возможности ускользнуть от законного преследования. Остановить такое неразумное стремление может лишь

одно просвещение, уяснение понятий о правде, праве и экономических началах...” Если остановимся на этом, то нельзя не признать, что г. И. Десятковский не только автор весьма благонамеренный, но и человек здравомыслящий; ибо, устранив его увлечение относительно того, что леса на северо-востоке России редкость и что ценность на лесные материалы поднялась, собственно, от безалаберных порубок, а распашка лесосек составляет явление нерадостное, в его словах есть много правды, когда он говорит о невежественности русского лесного хозяйства, о неуважении к законам собственности, о наклонности к лесокрадству и крайнем злоупотреблении административных лиц, которым вверено охранение лесов от безрассудного их истребления. Указанные г. Десятовским способы прекращения этой лесной безурядицы путем просвещения, уяснения понятий о правде, праве и экономических началах тоже весьма рациональны и честны. Для охранения лесной собственности, как нам кажется, не оставалось бы ничего придумывать, кроме желанного возможно простых форм делопроизводства по ограждению вообще всякого рода собственности от стороннего расхищения”; но г. И. Десятковский не так думает. Он идет гораздо дальше и впадает в крайнее регламентаторство и гуверnementализм. Вот что он предлагает: “До того времени (то есть до просвещения и торжества понятий о праве и проч., говорит он) нужны правила настолько простые и приложимые к делу, чтоб они могли быть легко сознаны, как административными властями, так и условиями, и настолько неумолимо строгие, чтоб исполнение их в точности влекло за собою тяжелую ответственность. Желать правил простых, несложных и удобопонятных для современного развития масс – похвально и разумно: кто их не желает, кроме остатка подьячих и кляузников; но проповедовать необходимость законов неумолимых и налагающих ответственности тяжкие, воскрешать Ликурга, Нерона и прочих в мире почивших законодателей, отметивших свои деяния в истории человечества темными пятнами тирании, значит не знать самых основных выводов исторической науки, указывающей на совершенную несостоятельность строгих мер и свидетельствующих о всегдашнем стремлении человечества злоупотреблять запретительными правилами. Виселицы и эшафоты не прекращают убийств в просвещенной стране, учреждения которой Европа ставит в образец себе, и не прекратят их, пока истинное просвещение и ясно выработанное понятие о человеческом праве не положит конца бесправию, выражающемуся в виде убийства, лесокрадства, насильственного брачного сочетания или какого бы то ни было произвольного привлечения к известным обязанностям. Законы об ограждении лесной собственности в России, сколько мы знаем, предусматривают многое и особенно стремятся к ограждению этого вида собственности; взыскания, определенные за нарушения их, весьма чувствительны, так что желать усиления их, в виде более тяжких ответственностей, непростительно для современного человека. Мужик-лесокрад, кроме некоторых иных видов наказания, не благоприятствующего его положению, подвергается взысканию попенных и посаженных денег иногда до совершенного разорения, до последней степени нищеты: а между тем лесокрадство идет своим путем-дорогою, и цифра самовольных порубок не только не уменьшается, но, напротив, лесокрадство (обратившее на себя в последние годы особенное внимание нашего правительства) в некоторых, хорошо нам известных местностях составляет единственное, так сказать, специальное занятие крестьян, пренебрегающих земледелием, как трудом относительно тяжелым, в пользу лесокрадства, труда относительно легкого. Кара, угрожающая занятию лесокрадством, нимало не останавливает огромных самовольных порубок в казенных и частных лесных дачах. Мужик подает в волоковое окошко своей избы краюху черного хлеба детям своего соседа, содержащегося в остроге за воровство леса и разоренного в корень взысканием посаженных и попенных денег, и тотчас же с невозмутимым спокойствием пойдет запрягать в санишки лохматого мерина и прямо погонит его к чужой лесной даче нарубить дровец или ссечь дубок или березку. Это уж так; неумолимая строгость закона и тяжкая ответственность тут ничего не помогут, ибо в виду самой кары мыслима и замеченная автором возможность ускользнуть от преследования закона; а при известных учреждениях такая возможность всегда будет, если человек захочет искать ее. Уж на что строже законов о корчемстве вином; на что тяжче взыскания за рюмку провозимого чрез откупную черту вина, как за ведро, втрое против продажной в откупе цены! Зачем более рьяных и полноправных досмотрщиков, как откупные, без всяких церемоний сующие в наш экипаж и свой нос и свой заостренный шуп? А между тем... каких дел у нас больше, как не корчемных, во всех местах, где корчемство является прибыльным делом?

Но посмотрим, что дальше предлагает г. Десятковский. Он говорит (стр. 55), “что лесничество или полесовщики (лесничество вовсе не то же самое, что полесовщики, и наоборот), на обязанности которых лежит сбережение лесных дач, позволяют себе злоупотребления, а потому выбор этого рода служащих должен бы был обратить на себя наибольшее внимание. Смотря на лесосбережение как на важную отрасль

государственного хозяйства, он полагает, что лица, призываемые на такого рода службу и частными владельцами лесов (то есть, попросту сказать, нанимаемые в лесные смотрители и сторожа), должны быть непременно известны правительству (то есть сторожа-то?!); а потому закон должен (*die bienen muß*[143]) вменить им в обязанность, чтоб они, то есть владельцы, сообщали полиции (нельзя же и тут без полиции!) списки как о состоящих в службе в должности лесничих, так и о переменах в составе этого рода служащих, имея притом право ходатайствовать (у кого же это? верно, опять у полиции?) о награде тех из них, которые честным исполнением долга будут содействовать к прекращению злоупотреблений, грозящих конечным истреблением лесов". Что это такое? О чьих злоупотреблениях здесь идет речь? У кого и каких наград помещики будут просить своим полесовщикам? В чем должны состоять эти награды и на чей счет они станут производиться – решительно не понимаем. Если награды должны быть денежные, на счет самого лесовладельца, которому полесовщик окажет ближайшую услугу, то чего же бы, кажется, ему еще ходатайствовать об особом позволении выдать такую награду? А если она должна состоять из каких-нибудь невещественных знаков признательности или, например, хоть из блях с истинным изображением изобретателя сей разумной меры г. И. Десятковского, то если он сам, в видах сочувствия государственной пользе, не издаст потребного количества своих истинных изображений для раздачи полесовщикам, мы все-таки не видим никакого резона вовлекать казну в какие бы то ни было расходы по делам, составляющим частный интерес; а мы уверены, что лесная собственность частных владельцев в общем государственном интересе ничуть не важнее некоторых других отраслей хозяйства, возвышающегося во всех просвещенных странах мира без всяких покровительственных мер. Если устанавливать награды для лесников, охраняющих лес от воровских порубок, то почему же не установить их для пастухов, охраняющих стада нашего бедного скотоводства от волков и других зверей? Или, наконец, они были бы всего уместнее для ночных сторожей, стерегущих многоценные товарные склады в портах, лавках и магазинах. Ведь ограждение неприкосновенности всякой частной собственности, в каком бы виде она ни была, всегда составляет задачу и интерес правительственный; но не идти же правительству в бесконечное производство поощрений всем людям, служащим по найму у его граждан-собственников!

Г. И. Десятковский, очевидно, поборник и клеймения лесных материалов, и всяких других ухищренных способов стеснения лесной промышленности. На странице 56 практического отдела лежащего пред нами специального сельскохозяйственного журнала он рекомендует введение письменных видов для лесного товара, привозимого на продажу, и предлагает узаконить, чтобы "действительными видами признавались только те, которые вырезаны из книг, получаемых от правительства чрез уездные казначейства, и утверждены подписью лесного чиновника, если лесной материал из казенных дач, или подписью владельца, а в отсутствие его – управляющего, уполномоченного доверенностью, если он из дач частных". Здесь местоимение он, очевидно, относится не "к уполномоченному доверенностью", а к "лесному материалу из частных дач". Г. Десятковский! А копии с доверенности не прикажете ли прикладывать к виду? Да не следует ли и подпись самого помещика заверять подписью полицейского чиновника с приложением печати, присвоенной его уряду? А то ведь, как знать, что случится? Иной, этакой пройди-свет, какой-нибудь лесной мазурик купит себе в уездном казначействе книгу – еще пожалуй на ваше имя – да и пошел вырезать из нее виды к у вас же украденному лесу, подмахивая лихим почерком: "помещик NN уезда И. Десятковский". Воля ваша, никак нельзя без полицейского удостоверения и копий с доверенности: уж коли делать, так делать, чтобы мошеннику и носа не подточить. Далее, г. Десятковский предлагает образчик одного из своих неумолимых законов: он полагает постановить, что "неимение при управлении (каком?) такой книги поставляется в вину частному владельцу, за которую, по приговору суда (курсив в подлиннике), должно быть положено денежное взыскание от 100 до 1000 рублей серебром, смотря по обширности лесных дач, находящихся в его владении". Г. Десятковский, как видно, в самом деле не любит шутить и, налагая штрафы, не кладет охулки на молодецкую руку: 100 рублей *тіптіт* и 1000 рублей *тахіт* за одно неимение книги – ответственность тяжкая, какой и добивается г. Десятковский; но очень жаль, что он не объяснил при сей верной оказии, в чью пользу должен взыскиваться этот штраф (надеюсь, что не в пользу же самого г. Десятковского); а во-вторых, соболезнуем на крайнем неведении г. Десятковского в расценке лесных участков. Определить штраф во 100 или в 1000 рублей нельзя по одной величине лесного участка, и г. Десятковскому, пишущему практическую статью с проектом законоположений о лесах, следовало знать, что ценность лесных участков всего менее выражается их пространством, а главным образом зависит от качества стоящего на корню леса и более или менее выгодного географического положения участка по отношению к лесным рынкам, изобилующим

сбытом. Подвергать одинаковому штрафу всех владельцев одинаковых лесных участков, например, в Вятской губернии, где в некоторых местах лес относительно ни почем, и в Курской, где он очень дорог, и в Херсонской или Саратовской, где растущее дерево составляет роскошь и лесные питомники стоят человеку страшных трудов и усилий, было бы высшею степенью несправедливости, которая не пришла бы в голову и достославному воеводе Шемяке, чинившему суд и расправу задолго перед тем, как народился на свет г. И. Десятовский, написавший ныне рассматриваемый нами практический проект. Степень несправедливости остается та же самая при определении штрафов по величине участков и одной и той же местности, если не обращать внимания на свойства леса. Участки дровяного каряжника, тонкого лопняка, строевой сосны и поделочного дуба представляют на одинаковом пространстве и при одинаковых условиях совершенно различную ценность. Это следовало бы знать г. Десятовскому; тогда он не предложил бы узаконение нелепости, невысказанной без явного нарушения всякой справедливости. Г. Десятовский отчасти и сам чувствует свой промах: он сам в конце своей статьи оговаривается, что “допустил, по-видимому (будто только по-видимому?), стеснительную меру для частных владельцев лесов, обязывая их иметь от правительства книгу для вырезывания из оной свидетельств при отпуске лесного материала на продажу; но в важном деле лесосбережения мера такого рода не может почитаться стеснительною, как могущая предохранить леса от расхищения и водворить порядок в лесном хозяйстве” (!). Во-первых, учение благонамеренных последователей знаменитого патера Лойолы, по которому “цель оправдывает средства”, отвергается современным развитием человеческой цивилизации; а во-вторых, кто же сказал г. И. Десятовскому, что книги, которые он навязывает лесовладельцам, есть мера, “могущая предохранить леса от расхищения и водворить порядок в лесном хозяйстве”? Такие книги могут послужить материалом для составления приблизительных статистических цифр ежегодно снимаемого с корня леса; это, пожалуй, так, если лесовладельцы не найдут выгодным скрывать эти цифры; но чтобы книга, выданная из казначейства с бланками для отпускных лесных ярлыков, или свидетельств, предохранила леса от расхищения или водворила порядок в лесном хозяйстве – это уже Бог знает, что за чепуха! Г. И. Десятовский, впрочем, хочет оправдаться в своих стесняющих предложениях. “Неужели (говорит он на 57 странице практического отдела “Журнала Московского общества сельского хозяйства”) нельзя подчиниться такой мере, с пожертвованием за книгу от 2 до 3 рублей серебром в видах государственной пользы? Ведь этою мерою не стесняется владелец разумно пользоваться принадлежащим ему лесом и может продавать его сколько угодно”. Еще бы и в этом стеснить! А кто же поручится г. Десятовскому, что помещик, купив книгу в казначействе, будет уже непременно разумно пользоваться своим лесом? Каким манером эта книга наведет его на разум? Очень жаль, что г. Десятовский не объяснил нам этого. Не 2 или 3 рубля за книгу будут тяжки помещику, а тот бесконечный контроль, который сделается необходимым за точным исполнением велемудрого проекта г. И. Десятовского; та тяжкая ответственность, которую учреждает автор сей практической статьи за неимение книги, за которую отдаленному от города помещику, может быть, некогда будет послать в то время, когда набегит заезжий покупатель, а листы прежней книги будут в расходе. Наконец, долго зарпортовывавшийся г. И. Десятовский предлагает еще одно практическое и, притом, уже последнее узаконение, чтоб лица, обличенные в злоупотреблении по сбережению лесов, “как соучастники в воровстве леса, предавались уголовному суду с немедленным отрешением от должности. Такого рода строгость необходима (говорит наш автор), потому что потворствующая власть вреднее самого вора-лесокрада”. Все это совершенно справедливо, только жаль, что уже очень и очень не ново. Закон давно так смотрит и на лесокрадов и на власти, им потворствующие, велит отрешать их от должности и предавать суду; да... лесок все-таки крадут себе подобру да поздорову. Г. Десятовский совершенно напрасно полагает, что закон слаб: он не дает потачки тем, кто изобличен в нарушении его; но дело то в том, как изобличить лесокрада-мужика и потворщицу власть? Вот где камень-то преткновения для русского человека! Конечно, если б это можно было сделать, например, хоть вот тем путем, которым мы докладываем просвещенной публике о рациональности проекта г. И. Десятовского, то оно как не изобличить! У каждого из наших читателей, благодаря Бога, есть свой царь в голове, с помощью которого он рассудит и, не погрешая, решит: мы ли правы, не признавая практичности практической статьи г. И. Десятовского, или он прав, а мы перед ним виноваты? А то подите-ка изобличите! Ведь не при свидетелях же берутся кондукторы потворства. Укажите, может быть, на мирские крестьянские сходки, где, не погрешая, узнают, на ком шапка горит; да ведь то, государь мой, “мир, громада, большой человек”; вам же, чай, главнейшим образом придется не мужиков изобличать, а те ведь мужичьих порядков не захотят...

Не знаем, какое впечатление произвела рассмотренная нами практическая статейка г. И. Десятковского на помещиков, владеющих большими и малыми лесными участками, и в какой степени они сочувствуют крайним регламентарным стремлениям почтенного автора; но мы прочли ее с чувством глубокой скорби о тех идеях, которые иногда приводят наши сельскохозяйственные органы, по преимуществу распространенные в помещичьем кругу. Мы не беремся судить о приличных для нашего лесоводства приемах таксации, хотя и положительно знаем, что непроходимые леса, о которых с сожалением вспоминает г. Десятковский, вовсе не свидетельствуют о высокой степени лесного хозяйства и благосостоянии страны; они, правда, составляют известный вид естественного богатства страны, но богатства нередко мертвого, непроизводительного и неспособного окупать в настоящее время расходов разработки. Наш дубровный северо-восточный край относительно и небогатый край, и несчастливый край, а потому, мы полагаем, нечего и вздыхать о девственных дубрах, куда ворон не заносил и костей человеческих. Что же касается прочих предложений г. Десятковского, то мы о каждом из них сказали в своем месте свое мнение и теперь позволим себе только прибавить, что в гибели русских лесов на многих ныне совершенно обезлесевших пространствах вовсе не виноват закон, а виновата крайняя недалекость помещиков, не знавших цены дедовским наследиям и истреблявших леса на удовлетворение своих минутных прихотей вроде псарных охот, французских камелей и московских цыганок; виновато их бесхозяйство и убеждение в излишестве всяких затрат на содержание леса; виновато безумное шлифование в течение целой жизни солнечной стороны Невского проспекта и Кузнецкого моста, тогда как наследственное имение грабится наемными руками; виновато наше невежество в деле хозяйственной науки и вера во вдохновенные познания; виновато, наконец, – и даже больше всего виновато – общенародное незнание и отсутствие всяких понятий о доле, о праве, о справедливости, и многое-многое виновато... но никак не законы о сбережении лесов, которые, напротив, были у нас иногда слишком строги и не в меру карательны. Все, чего мы вправе ожидать от нашего правительства по настоящему вопросу, это – дарование нам возможно простых и известных за лучшие форм общего судопроизводства, способных оградить и наше человеческое право, и право нашей собственности без проторей, волокит и хождения по делам; а остальное, как в отношении лесного хозяйства, так и в возвышении других отраслей отечественной производительности, должен сделать сам народ, уясняя себе связь общественных интересов с интересами частными. Одно размножение скотоводства, дающего удобрение земле, пищу, освещение, одежду и кожаную обувь человеку, вернее, чем всякий регламентарный проект, спасет сотни десятин липового леса, ежегодно засыхающего от сдиранья лык на лапти, и такое же, если не более, количество березняка, переводимого на вредное во всех отношениях освещение лучиною и на разные другие продукты березового произрастания. Лес вовсе не составляет такого вида собственности, которая требовала бы особых правил: для него, как и для всякой иной собственности, довольно, чтоб человек разумно распоряжался своим добром и не протягивал лапу к чужому, ни воровским образом, ни по льявиному праву; а это достигается, надемся, не проектами, подобными тому, которым г. Десятковский угостил читателей журнала именованного общества сельского хозяйства.

Вторая статья рассматриваемого практического отдела, написанная г. С. Якимыхом, под заглавием: “Несколько слов о мерах к улучшению сельского хозяйства в России”, представляет взгляд более современный и положительный, чем предшествовавшая статья г. И. Десятковского. Г. С. Якимых говорит о насущной необходимости при совершающемся изменении взаимных отношений землевладельцев к землепашцам “дать совершенно новое направление нашему сельскому хозяйству”; напоминает, что сельскохозяйственные общества еще очень мало оказали до сих пор того полезного влияния, которого можно было ожидать от них, и, полагая причину этого неуспеха в недостаточном распространении сельскохозяйственных журналов, возлагает большую надежду на землевладельческие съезды, где решались бы вопросы данной местности и обмен мыслей отдельных обществ составил бы непрерывную цепь сельскохозяйственных соображений, которые будут группироваться около центральных обществ сельского хозяйства: Московского, Вольно-экономического, Казанского, Южной России и других. “Тогда (говорит автор), когда местные небольшие общества будут служить как бы посредниками между главными учеными обществами сельского хозяйства и практической жизнью, эти сношения покроют государство непрерывною сетью полезных знаний, разносимых во все отдаленные уголки, и наше сельское хозяйство проснется от векового летаргического сна”. Кроме того, он, для быстрого хода улучшений в сельском хозяйстве, находит нужным сделать следующие нововведения:

- 1) Разделить государство в хозяйственном отношении на округа, параллельно с

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
существующим разделением по учебному ведомству.

- 2) При всех существующих у нас университетах и лицеях учредить особые агрономические отделения, то есть факультеты камеральных наук, подобно тому, какой с видимою пользою существует при Дерптском университете.
- 3) Открыть в центре каждого хозяйственного округа при университете центральное общество сельского хозяйства, с химическою лабораториею, механическим и техническим заведением и практическим хутором.
- 4) В каждом губернском городе и в некоторых уездах учредить общества сельского хозяйства и при них депо машин, необходимых и полезных в данной местности.
- 5) В каждом уезде и даже в каждом уголке уезда (!) учредить отделы обществ, для постоянных совещаний и возможно частых съездов помещиков (почему не вообще землевладельцев, без различий званий?) с чисто хозяйственными целями.

Правительственного содействия г. Якимах предполагает искать только в виде разрешения съездов и, так сказать, первоначального указания пути, под чем он, вероятно, понимает указание заграничных машинных фабрикантов, с которыми правительство согласится войти в сношения в качестве поручителя за вещи, необходимые для предполагаемых автором машинных депо; ибо по дальнейшему духу статьи видно, что автор понимает многосложные обязанности правительства, занятого делами, не допускающими его к участию в сельскохозяйственных интересах, и указывает на Американские Штаты, где “главный двигатель” (разумея здесь сельское хозяйство) – общество, а у нас – правительство. Там (продолжает автор, стр. 61) общество придумывает и делает все, что нужно, а у нас общество ни за что не возьмется, пока не вступится в дело правительство. Нам нужно еще водить на помочах не потому, однако ж, что мы не созрели (курсив подлинника), а потому, что еще не проснулись” (тоже курс. подл.). Этим автор и объясняет участие правительства, заявляемое учреждением сельскохозяйственного департамента, Горы-горецкого института, выставок, поощрительных медалей, наград, чего, однако, по мнению автора, недостаточно. Если не во всем, то в очень многом мы совершенно разделяем мнения автора и о нашей лени, и о нашей привычке возлагать все на правительство, и о нашей несостоятельности совершать прогрессивные улучшения одними усилиями частных лиц, но.. мы не допускаем, чтоб мы одни только в этом и виноваты были; впрочем, не это точка наших суждений, и мы снова обратимся к пяти пунктам проекта предложенных г. Якимахом улучшений. Только один из них, располагающий централизацию агрономических обществ по масштабу учебных округов, кажется нам несколько нерациональным, и распределение более мелкое и более соответствующее климатическим и географическим условиям края представлялось бы, конечно, более выгодным; но, принимая в соображение те выгоды, которые на первое время представляют университеты, где уже есть и химические лаборатории, и ботанические сады, с которыми может быть мыслимо соединение и практических ферм, и наконец присутствие профессоров-специалистов, знаниями которых могут быть освещаемы практические наблюдения помещиков, заставляя и эту меру признавать пока необходимою. Итак, общий смысл всей статьи г. Якимаха дышит разумностью и горячим сочувствием к делу, которому он желает успеха путем свободных общественных усилий; но зато редакция поместила под этой статьею в высшей степени оригинальное и назидательное примечание. Редакции журнала Московского общества сельского хозяйства, как видно, ужасно не понравилось желание г. Якимаха, чтоб Россия запаслась хорошими и дешевыми земледельческими машинами иностранного приготовления, и вот она написала под статьею г. Якимаха нижеследующее примечание, свидетельствующее о совершенном незнакомстве с самыми простыми выводами политико-экономической науки: “Мы (говорит редакция) не можем согласиться в этом отношении с почтенным автором и признать эту меру полезною. Она (то есть эта мера) не поднимет успехов нашей сельскохозяйственной механики, а скорее убьет их. Мы думаем, что гораздо больше будет пользы, если у нас самих образуются фабрики земледельческих орудий и машин в наивозможно больших пунктах, а не одни только склады иностранных машин”. Мы знаем, что как ни странно такое замечание, но у нас оно может встречать в известном кругу известное сочувствие, ибо у нас еще есть люди, которые каждого убеждают печь дома ш булки, хотя они и не дешевле обходятся по цене и ниже по достоинству, чем купленная булка; но нам непонятно, как это наши сельскохозяйственные редакции то помещают статьи о сдаче помещикам солдат (см. “журнал общества сельского хозяйства Южной России” февраль 1861 г., статью г. Бенедского), то сами пишут такие примечания, которые к лицу разве только заклятому протекционному желчевуку, вроде ситцевых фабрикантов, вопиющих против уменьшения таможенных пошлин и свободной торговли. Неужели же

почтенная редакция, позволившая себе приведенное замечание, видит зло и в теперешнем допущении к беспопытному ввозу паровых и некоторых других машин? Неужели, по ее мнению, лучше было бы для блага отчизны воспретить ввоз этих машин или обложить их такою высокою пошлиною, которая, в видах покровительства отечественным фабрикам, лишала бы русских людей возможности приобретать хорошие машины Кокереля, Альбана, Зигеля или братьев Брельс по той цене, по которой они доступны всем в настоящее время? Удивительные соображения! Давайте непременно у себя делать то, что можно приобрести на стороне и лучше и дешевле; давайте дома строить пекарную печьку и расчинять дрожжи, чтоб выпечь булку, которая у нашего соседа-булочника уже приготовлена к нашим услугам и обходится дешевле, если вы примете в расчет, что в то время, которое вы потратите на сочинение себе булки, можно испечь нечто вроде примечания, написанного редакцией “Сельского хозяйства”, на которую все же нисходит известная благодать, не чета булке. А ведь можно сделать в это время и другую работу, более полезную для отечества, например хоть воз навозу свезти на поле или выбрать репы из конского хвоста, которым животное от тяжести не может отогнать докучных комаров и мошек нелитературного свойства. Мы не называем тех политико-экономических соображений, которые, по выражению фельетониста “Русского инвалида”, делают эту науку всеобъемлющей наукой, заставляя труд и капитал висеть между небом и землею и дрыгать ножками (*ipsissima verba*), но мы позволяем себе ручаться, что в деле распространения у нас фабрик (какого бы ни было рода) нужно держаться знаменитого девиза *laissez faire, laissez aller*, [144] а не придумывать разных искусственных мер вроде блях и рогаток. Все нужно делать с толком, и любить свое отечество по-китайски вовсе не следует, а еще менее следует развивать такую любовь в других посредством печатного слова.

Теперь третья практическая статья “Сельского хозяйства” – “Об образовании дворянской денежной ссуды” Н. И. Александрова. Эта статья-проект, по нашему мнению, не представляет ни резких промахов, ни особенно практических планов и предположений; но она заслуживает внимания как попытка (хотя и весьма уже не новая) к уяснению необходимости кредитных учреждений для землевладельцев и, вероятно, разбудит в известных кружках ту беспробудную лень, которая обуяла от пахотника до бархатника большинство наших соотчичей, ожидающих себе правительственных пособий и манны, которую вкушали праотцы людей, рассматриваемых ныне в качестве евреев. Нам только странно, почему это почти все господа, пишущие о кредите для землевладельцев, о сельской полиции и прочих учреждениях человеческой цивилизации, всегда как-то смахивают на сословных адвокатов дворянства, забывая интересы всех землевладельцев, всякого иного наименования. Мы не будем высказывать нашего мнения о рациональности положений Н. И. Александрова: по известным нам причинам мы полагаем сделать это несколько позже; но должны заметить, что нам кажется до крайности непрактичным созидать ссуду собственно дворянскую, ввиду вероятной возможности размножения числа поземельных собственников и недворянского происхождения. Очевидно, что различия и вовсе нечуждые землевладельцы очень тесно свяжутся существом своих интересов с дворянами-землевладельцами, и как тем, так и другим отделяться друг от друга, по сословным соображениям, решительно нет никакого основания. Да и предложение об учреждении дворянского кредитного учреждения, “с целью снабжать исключительно помещиков” на счет процентного сбора с дворянской поземельной собственности, мы полагаем невозможным, потому что дворянская поземельная собственность, входящая в соображения автора, может быть продана, подарена, уступлена или иным каким образом отчуждена лицу вовсе не того привилегированного сословия, для которого Н. И. Александров проектирует ссудную казну. Как же тогда? Исключать нового владельца за нечистокровность от участия в операциях ссуды значит ведь подвергать дело многим неблагоприятным случайностям, сопряженным с колебанием фондов и баланса ссуды. Мы уже не говорим о том, что это корпоративное кредитное учреждение в земледельческом классе было бы очень несвоевременно и недостойно просвещенной нации, признавшей незаконность владения крепостными людьми. Не правильнее ли думать об учреждении земледельческих ссуд, а не дворянских, не однодворческих, не крестьянских? Развитие земледельческих интересов дорого нам вообще, и думать, что кредит неодинаково нужен всем практикующим одно дело, при более или менее одинаких условиях, значит предполагать вещь весьма неудобную для помещения в практическом отделе такого почтенного журнала, как орган Московского общества сельского хозяйства.

ХОДЕБЩИКИ ПО ЧУЖИМ ДЕЛАМ И КАРМАНАМ

Очерк

(“Светоч”, кн. 2-я 1861)

Нет ужаснее дуэли,

Как с клопами, у которых

Презловонное оружие!

Гейне

Престранное дело! В нынешних, так сказать, самых свежих произведениях нашей журналистики, как нарочно, выступают господа писатели, выражающие стремления людей, которые, по словам Гоголя, непременно хотят вмешать правительство во все, даже в ссоры с своими женами. То читаешь господина, который требует, чтоб правительство убирало хлеб в Новороссийском крае, то мучишься над проектом другого господина, вызывающего правительство к охранению помещичьих лесов, то, наконец, наткнешься на глубокомысленное замечание какой-нибудь известной редакции о необходимости покровительства отечественным машинным фабрикам, а тут вот вдруг, во 2-й книге журнала "Светоч", дело уж до того дошло, что правительству предлагается – как думаете, читатель, что ему предлагается? Ни за что не отгадаете, если вы не читали во 2-й книге журнала "Светоч" (1861 г.) очерк г. А. Кресина – "Ходебщики по чужим делам и карманам". Там только вы могли прочесть, что правительству предлагается еще, между прочим, посыпать персидским порошком московских стряпчих, ходатайствующих по делам. Не верите мне? Удостоверьтесь: возьмите указанную вам книжку "Светоча", разверните ее на 126 странице и читайте желание г. А. Кресина из Москвы: "Желательно было бы (говорит сей мыслитель), чтоб человек, более меня (то есть г. Кресина) опытный, придумал какие-нибудь средства к уничтожению этих ходебщиков силою закона как людей, вредных обществу, или хоть каким-нибудь порошком вроде персидской ромашки от клопов и тараканов, потому что ходебщики для общества гораздо вреднее, чем самые

вредные насекомые". Sic![145] Теперь, когда я вижу, что вы, мой читатель, успокоились и верите, что я говорил вам о призвании правительства к посыпке персидским порошком московских стряпчих на основании факта, существующего в журнале "Светоч", я позволю себе представить вам соображения, рядом которых автор дошел до сказанного заключения. Г. А. Кресин очень не любит этих стряпчих, во-первых, за то, что ex professo[146] "они не принадлежат к числу московских спекуляторов, трудящихся в чаянии жизненного блага (!), как зубные дергачи, мозольные операторы-самоучки, невежды фотографы и мелкие ростовщики". Causa secunda:[147] "Эти ходатаи величают себя стряпчими, адвокатами, ходатаями (!) и даже юрисконсультами, тогда как стряпчие бывают только коронные, губернские и уездные, а не наемные стряпухи, ходебщики; собственно же адвокатуры, как известно, в России нет". Causa tertia:[148] "Эти стряпчие-самозванцы расплодились в Москве, как саранча, и, пользуясь незнанием и невежеством своих клиентов, подобно ворожеям, знахарям, знахаркам и деревенским врачам (?!), приносят обществу вред".

Здесь идет тирада на тему: какой пользы может ожидать для себя от ходебщиков простой мещанин, купец или даже степной помещик, не имеющий никакого понятия о судопроизводстве, о несчастных женщинах, осужденных на тяжбы, и вообще уподобление всех, вверяющихся ходебщикам, с теми больными, которые вверяются знахаркам и преждевременно гибнут. Засим следует классификация сих зловредных паразитов по происхождению их из "отставных чиновников, купцов, платящих для этой единственно цели капитал по 3-й гильдии, и, наконец, цивилизованных мещан" (курсив подлинника); деление их на sui generis[149] аристократию, величаемую в трактирах, где они обыкновенно сходятся, генералами, баронами, статскими и коллежскими советниками, и на плебейство, чернь непросвещенную. Опять тирада о несовместности с специальностью ходебщика никаких добрых человеческих свойств и необходимости оглохнуть, сделаться равнодушным к слезам, к страданиям и вообще ко всему, что (кроме денег) может смягчать человеческое сердце. Указываются места сходок ходебщиков в ближайших к присутственным местам трактирах и харчевнях и излагаются вкратце их обязанности, состоящие в ежедневном обегивании всех (!) присутственных мест, "где за дешевое угощение приобретают для себя продажных агентов, которые доставляют им сведения о делах, подробности о их ходе и даже адреса тяжущихся" (стр. 118). Четвертая причина негодования г. А. Кресина, очевидно, заключается в том, что по милости этих, как он называет их, ходебщиков в известных московских трактирах "заранее читаются решения, и никакая канцелярская тайна не может устоять перед графинчиками и закусками Новомосковского трактира. У самого Талейрана (говорит он) не было такого дипломатического всеведения, как у этих тонких дельцов" (стр. 118).

Тут автор указывает, однако, и на такие стороны профессии ходебщиков, которые

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru заставляют пожалеть о них. Он говорит (стр. 118), что “поприще это сопряжено с большими неприятностями; нередко за неуспех какого-нибудь дела практик, попадаясь на глаза пациенту, расплачивается подзатыльниками, зубами и даже обеими щеками (разумей: получает подзатыльники, удары в зубы и пощечины). Известен даже (продолжает автор) случай вот какого рода: один ходебщик, который и по сие время здравствует, взял задаток для окончания тяжбы с одного задорного господина, и когда, вопреки обещанию, дело было проиграно, то доверитель поймал своего ходатая на улице и целиком откусил ему нос”. Следует не очень меткая физиология общества надувателей-ходебщиков и надуваемых доверителей, указывается на то, что “расписка в получении ходебщиком денег пишется на простой бумаге и, следовательно, связывает руки не очень крепко (!!). Ведь помещику нельзя жаловаться, да и стыдно, что дал себя одурачить” (стр. 122). Объясняется равнодушие ходебщиков к ругне, побоям и прочим крупным и мелким неприятностям, угрожающим им со стороны пациентов. Докладывается (стр. 123), что “так было до Наполеона, так ведется и после Наполеона, до нашего благополучного времени из рода в роды”; что бедный чиновник, на имя которого взята ходебщиком взятка, не получает ее (стр. 125). Дается, наконец, “совет всем, имеющим дела и тяжбы по присутственным местам, остерегаться этих кабинетных юрисконсультов и адвокатов, а поручать дела людям знающим, добросовестным и непродажным, о которых необходимо сперва сделать самые тщательные справки”. Спросите: где искать их? Извольте, у автора готов ответ; на той же 126 стр. он поясняет: “Ищите и обряцете, говорится в писании. Без сомнения, в Москве есть честные и добросовестные люди между ходебщиками”. Засим уже следует известное читателю приглашение правительства “посыпать московских стряпчих порошком вроде персидской ромашки...”

Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

Но дело в том, что это грустно, и до такой степени грустно, что мы считаем грехом не указать на ошибки автора относительно причин, производящих возмущающее его явление, и сказать мимоходом несколько слов о несоответственности мер, которые он рекомендует для уничтожения этого зла.

Мы, конечно, преисполнены скорби и негодования, что эти стряпчие, как говорит автор, такие дурные и недобросовестные люди, просто какие-то паразиты, готовые вести торговлю даже женской добродетелью, живут себе в первопрестольной Москве, обманывают или, как сказал автор, дурачат своих просвещенных и непросвещенных клиентов и даже посягают на канцелярскую тайность, которая, как явствует из слов же автора, падает перед графинчиками и закусками Новомосковского трактира, где даже и решения читаются заблаговременно (в смысле преждевременно). Мы протестуем против несправедливости судьбы, снабдившей этих ходебщиков талантом, возвышающим их над самим Талейраном, “у которого не было такого дипломатического всеведения, как у этих тонких дельцов”. Особенно мы сердиты на них за то, что они не передают чиновникам взятку, которые берут для них у своих доверителей; это скверно, из рук вон скверно; но все же посыпать их каким-нибудь порошком, вроде персидской ромашки, нам кажется несколько жестоко, несправедливо, да и бесполезно. Мы, конечно, понимаем, что автор предлагает посыпку стряпчих не совсем с тою целью, с какою посыпают сопоставляемых им насекомых, с которыми боялся дуэли германский поэт Гейне... Еще бы! Мы очень хорошо понимаем, что московский автор не такой кровожадный человек, чтобы домогался умерщвления стряпчих, как клопов,дохнувших от посыпки; он желает, чтоб стряпчие были уничтожены только в качестве стряпчих, но не воспрещает им существовать в качестве мирных обитателей Москвы и промышлять всяким иным мастерством, не исключая ознакомления подлежащих субъектов “с своими кумами”; но все же не видим резона произвести посыпку их даже и с этою гуманною целью. Во-первых, запретить этим стряпчим практиковать невозможно по той простой причине, что практика их совершается нередко незримо для правительственного контроля, и от запрещения, вероятно, не произойдет ничего иного, кроме нарушения запретительных правил; а во-вторых, думаем, что это было бы и несправедливо. Как можно запретить мне доверять тому, кому я хочу доверить? Дурен ли или хорош, стоит или не стоит доверия тот, кому я верю, про то мне знать самому, а не правительству. Гарантировать удобонадуваемых людей на каждом шагу невозможно. Не надует их адвокат – надует знахарь, ворожея, шулер, лентяй, прикидывающийся калекою, аферист, сулящий золотые горы, да мало ли какой профессор не может надуть и в самом деле не надувает? Так и валяя всех их персидским порошком или ссылай туда, где, как говорится, “нет ни неба, ни земли, а только зыбь поднебесная”? Ведь следуя такому правилу, мало ли кого придется посыпать, например, сочинитель, у которого в статье вместо здравого направления какие-то “андроны едут” – ну, и

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

посыпку ему сейчас... Нет, воля ваша, это не годится. Разоблачать гнусные дела, творящиеся под сенью безгласия, прекрасно, благородно, и мы вам очень благодарны за вашу статью о стряпчих, но не разделяем вовсе ваших убеждений относительно необходимости уничтожить их правительственными мерами. Виноват сам народ, виноваты другие причины, по милости которых сознается необходимость хождения по делу, а стряпчие-ходебщики – только порождение этой грустной необходимости; и пока живет эта причина, пока народная масса невежественна и стремится к достижению своих интересов путем взятков и всяких других темных дел, до тех пор ничто не может уничтожить этих стряпчих, которые суть не что иное, как факторы, нужные для темных сделок, к которым у нас обращается в известных случаях даже самый честный человек. Да и где вы найдете “неподкупных и честных людей” для исполнения адвокатских обязанностей, удобных лишь при помощи трактирных попок, перед которыми, по вашим словам, только и падает тайность? Какой порядочный человек захочет служить таким господам, которые, при случае, готовы не только выругать по-чешски, но даже целиком откусить нос? Согласитесь, ведь это уж очень неприятно. Вот если б этот кусающийся господин, вместо того чтоб грызть нос, напечатал, что известный господин адвокат – плут, понятно, его бы и остерегались другие, а то ведь что ж это? Нос откусил, ведь это одно безобразие вышло. Сделай он, например, такой анекдот с каким-нибудь благообразным человеком – скандал, решительный скандал! Ну, как же тут служить-то подобным персонам? Им только такие “стряпухи” и по шерсти. Так чем же стряпухи-то виноваты, если они требуются, так сказать, вызываются самим обществом, самую жизнь, которая их вырабатывает? Жизнь виновата, общество с его разносторонним безобразием взглядов, учреждений и тенденций виновато. А стряпчие!.. Что стряпчие? Они дурны вовсе не от того, что не имеют дипломов на право заниматься своей профессией; дурных людей много и с дипломами, и поле деятельности неблагонамеренных людей, имеющих официальное право направлять чужие дела, еще шире, еще бесконтрольнее и безответнее. Это было известно еще очень давно, и очень давно указано Кантемиром, когда он писал “ябеду”. Но, видно,

Что ни время, то и птицы,
Что ни птицы, то и песни,
Что за гогот! Словно гуси
Капитолиум спасают.
Как чирикают! О Боже!
Воробьи, держа в когтишках,
Полкопеечные свечки,
Корчат Зевсова Орла...
Да.

Что ни время, то и птицы,
Что ни птицы, то и песни,
Я бы их охотно слушал,
Если б мне другие уши.
О ВЛИЯНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПОЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА НАРОДНОЕ БОГАТСТВО
Е. Маслова. Казань. 1860

Автор предлагаемой книги, г. Маслов, сочувствуя общественному стремлению к решению вопроса о наиболее законной и наиболее выгодной форме землевладения, поставил себе задачу представить публике “Исследование выгод различных видов поземельной собственности в отношении размеров и степень их влияния на народное хозяйство”. Автор в коротком вступлении к своему сочинению сознает принятую им задачу очень трудною, требующую продолжительного научного изучения западных хозяйств и долголетней практики; он находит, что сложность вопроса о поземельном владении и постоянная разработка этого вопроса, при разнообразии условий, под которыми может быть рассматриваемо хозяйство, до такой степени затрудняют решительные выводы, что он с робостью приступает к своему труду, повергаемому пред лицо пытливых общинников и собственников на 139 страницах разгонистой печати, свидетельствующей о весьма низком состоянии типографского искусства в Казани.

Сочинение г. Е. Маслова “О влиянии поземельной собственности на народное богатство” разделено им на две главы или, лучше сказать, на два отдела. Первый из них, занимающий в книге 33 страницы (с 6-й по 40-ю), посвящен изложению видов землевладения; здесь изображены общинное владение, мызничество и фермерство, а также указаны их относительные выгоды и невыгоды. Вторая глава, или второй отдел, трактует о собственности и ее значении по величине участков; ему посвящены остальные 99 страниц книги, и им она и оканчивается.

Общинное землевладение или поземельная собственность – два живые вопроса нашего времени, возбуждавшие так много споров между своими сторонниками и в особых книгах, и в современной журналистике, находят себе довольно решительный приговор в первом отделе робкого труда г. Е. Маслова. Г. Е. Маслов решительно за поземельную собственность; он доказывает ее преимущество пред общинным владением: 1) неблагоприятным влиянием общинного владения на народное хозяйство; для чего выписывает из “Journal des économistes” 1849 года (Moreau Desjones “Patrie”) статистические цифры возрастающей производительности земли во Франции со времени замены общинного владения личным, и 2) указывает на то, что доводы защитников личной собственности в нашей литературе владеют большей убедительностью, и, наконец, говорит, что, по его мнению, “нет нужды колебаться в выборе предположения (чего?) и личная собственность, как более полезная и рациональная, должна восторжествовать”. Автор находит, что “здесь, то есть в его книге, не место приводить pro и contra [150] общинного владения”, и приводит только мнение известного знатока земледельческой экономики Леонса де Лаверня, утверждающего, что для успехов сельского хозяйства необходимо совершенное уничтожение общинного владения землею, оставив этот вид владения только в отношении мест, нужных для общественных прогулок, как это сделано около Лондона. Признавая за Леонсом де Лавернем известный авторитет в деле западноевропейской земледельческой экономики, мы никак не можем понять, почему г. Е. Маслов, давая место выписке из “Essai sur l'économie rurale ets. L. de Lavergne”, отказал в нем некоторым из русских мнений, высказанных pro и contra общинного владения в наших журналах последнего времени. Если б г. Е. Маслов писал самостоятельное исследование систем землевладения и чувствовал в себе так много смелости, что видел в своей книге поучение русскому народу, желающему выяснить себе понятие о лучшем виде землевладения, тогда это было бы несколько понятно; но как он не взял на себя такого смелого дела, а вызвался только с робостью представить публике “Исследование выгод различных видов землевладения”, то, по нашему крайнему разумению, мнения многих наших соотечичей, стоящих pro и contra общинного владения, непременно должны были получить место в книге, издаваемой с тою целью, которая руководила г. Е. Маслова. Мы смело думаем, что вопрос о землевладении для России еще вопрос не совсем решенный и что в книге, имеющей целью исследование систем землевладения, вовсе не лишнее мнение многих наших землевладельцев, писавших pro и contra общинности. Мы уверены, что ни замечательное рассуждение г. Кавелина (“Атеней” 1859 г., № 2), ни мнения г. Иванова (“Русский вестник” 1858, август, книга 2-я), ни взгляды г. Колмогорова (помещенные в октябрьской книжке нашего журнала за 1858 г.) еще не сказали последнего слова по этому вопросу и что общество все ждет этого слова и клонится то в ту, то в другую сторону. Мнение большинства то за общину, то за частную собственность, и задача современного исследователя систем землевладения, по нашему крайнему разумению, должна заключаться именно в представлении публике беспристрастного и полного перечневого очерка существующих мнений иностранных и русских мыслителей об этом предмете, с указанием их достоинства и недостатков и с изложением мнений о их неудобоприменимости. Мы не сомневаемся, что такой полный перечень мнений по вопросу о землевладении, изложенный толково, систематически и беспристрастно, был бы очень полезен в настоящее время, когда люди, интересующиеся этим вопросом, смотрят на него с какою-то болезненною нетерпеливостью, в каждой статье ждут последнего слова и, не слыша его, только путаются в соображениях. Статей, написанных pro и contra общинного владения, наконец, так много, что человеку, не занимающемуся специально вопросом о способах землевладения, решительно невозможно уследить, как и куда двигают этот вопрос современные русские писатели, и потому их главный характер воззрений, главные мысли русских об этом деле, по нашему мнению, должны бы найти место в русской книге, повествующей о влиянии различных видов собственности на народное богатство.

Тогда такая книжка могла бы оказать большую услугу всякому человеку, интересующемуся вопросом о поземельной собственности и, представляя ему результат исследования этого вопроса, давала бы известную возможность решать себе вопрос о землевладении по идеям, выработанным человечеством под разносторонними взглядами. Когда мы брали в руки книгу г. Маслова, мы ожидали встретить в ней именно такое полное определение всех выгод и невыгод одного вида землевладения перед другими; но мы обманулись в своих ожиданиях. Виды землевладения, общинный и собственнический, в ней почти вовсе не описаны: в ней только рассказано несколько давно известных фактов, указывающих на увеличение производительности земли после перехода ее из общинного владения в частную собственность, и то с не исчезающим во всяком слове сторонничеством за собственность.

Говоря о видах обработки собственной земли, без личного участия в том самого собственника, автор довольно ясно и положительно доказал преимущества фермерского хозяйства перед полоничеством, и это, конечно, составляет одно из лучших мест первого отдела его книги, очевидно теряющей от своего слишком сжатого изложения и уверенности, что все решенное для самого автора – бесспорно и для всего общества, которому назначена служить книга о влиянии различных видов поземельной собственности на народное хозяйство.

Здесь не можем также не указать автору на один его промах, способный, по нашему мнению, ввести читателя в заблуждение относительно взгляда французских крестьян на землевладение и хозяйство (стр. 32 и 33). “С одной стороны, говорит автор, расположение крестьян к собственности, с другой – сознание ее несостоятельности вытесняют эту систему (полоничество) более и более из народного хозяйства”. Как это понимать: в одно и то же время и стремление к собственности, и сознание ее несостоятельности? Если “сознание несостоятельности” относится не к собственности, а к системе полоничества, то зачем же не выразаться яснее, не заставляя никого догадываться?

Но обращаемся ко второму отделу, рассматривающему собственность и ее значение по величине участков. В отделе этом автор имеет свою задачу решение трех нижеследующих положений (стр. 43):

- 1) Какого размера участки наиболее производительны?
- 2) Какое влияние они оказывают на народонаселение?
- и 3) Как идет дробление земли, и может ли оно быть чрезмерно?

Все спорные места о выгоде поземельных участков рассмотрены г. Масловым весьма добросовестно, без всякого намерения насильно нагнуть читателя на ту или другую сторону; изложение систематично и, главное всего, чуждо всякого научного деспотизма и доктринерства, без которого редко обходятся сочинения, каким-нибудь боком входящие в разряд всеобъемлющей политической экономии нашего века. Выгоды и невыгоды больших и малых участков поземельной собственности представлены весьма разносторонне и наглядно; цитаты не нанизаны, как наросты, закрывающие почву самого вопроса, и вообще поясняют дело, не имея единственного назначения свидетельствовать об авторской начитанности и способности писать сочинения под влиянием чужих убеждений, на веру в авторитет. Нет, конечно, никакой нужды говорить о том, что автор ни разу не сбивается к парадоксу, проповедуемому в наши дни некоторыми политико-экономическими сикофантами, которые разглагольствуют о ничтожестве земли, о вреде всякого вида поземельной собственности и о том, что один свободный труд и капитал, “дрыгающий ножками между небом и землею”, может составить общественное благосостояние, вне признания необходимости раздела земли в частную или общественную собственность. “Приобретение и распределение поземельной собственности (говорит автор) должно быть представлено свободной игрой и движению экономических интересов страны, и тогда государство избегнет нареканий (как в Англии), и общество будет стараться по возможности достигнуть наивыгоднейшего экономического устройства, потому что на себе самом понесет все мрачные последствия своих ошибок и все благоприятные результаты успешного решения дела”. Автор не боится дробления земли и не думает, как некоторые ученые, что при беспрестанном дележе люди раздробят землю в пыль. Он свидетельствует, “что дробление земли, вырванной из обессилевших рук французской аристократии, было благодетельно для Франции: производительность увеличилась (говорит он) в пять раз, государственные доходы также возросли значительно; положение крестьян гораздо лучше того, в котором их видел Вобан в XVIII столетии; мануфактурная промышленность, находя рядом достаточные для поддержки средства, развилась во всех размерах; общественная нравственность улучшилась” (стр. 133). Он приводит также следующие слова Бонмера: “Дроблению земли (говорит этот писатель) мы обязаны неисчислимыми успехами земледельческого богатства. Везде, где только крестьянин водрузил, как победительный скипетр, торжествующий заступ собственника на клочке земли, он, как Моисей, исторгнул воду из песков пустыни и высушивал непроходимые болота”.

Тут же, рядом с этими словами, г. Маслов указывает и на бедность французских крестьян, происходящую от совершенно других экономических причин и, главнейшее, от “централизации, притягивающей к одному городу лучшие и деятельные силы, лишая их деревню. Эта централизация (продолжает он), собирая налоги, мало их тратит на

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

местные потребности, как это делается в Англии; а несет их в дар любимому городу” (стр. 134). Таким образом, мы видим, что не размеры поземельных участков виноваты, что не раздробление земли не допускает богатеть французского крестьянина, а милая французская централизация, вооруженная всею прелестью административной, промышленной и ученой карьеры. Земледельческую ассоциацию автор ставит дальнейшей формой разумной организации земледельческого труда, о которой мечтают многие наши публицисты. Г. Маслов чрезвычайно практически смотрит на дело, обращаясь к решению этих вопросов по отношению к России: “Свободное наделение крестьян землею в собственность не должно пугать ни администраторов, ни агрономов, ни экономистов. Оно приучит крестьянское сословие к пониманию своих сил, к хорошему употреблению их, заставит уважать и хранить интересы чужие и даст ему средства к материальному и нравственному развитию, воспитает его. Долго или коротко мы будем идти по пути дробления поземельной собственности, но от нас еще далеки, очень далеки те крайности, над которыми задумывается Европа. К тому времени, может быть, что и вероятно, наука определеннее решит полезность той и другой системы; а между тем земледелие шагнет вперед, разовьется об руку с ним промышленность, увеличатся государственные доходы и поднимется народное благосостояние”. Да, господа доктринеры всеобъемлющей политико-экономической науки, позволяющей вам вешать труд и капитал между небом и землею, пожалуйста, уж не говорите, что мужичку не нужно собственной земельки, что она его только свяжет, прикрепит к месту; уж пусть он останется при земельке: не бойтесь, она прикрепляет только мертвых; а живого если что-нибудь может прикрепить к земле, то уж, верно, всего менее сделает это сама земля или право владения ею, при котором всегда мыслимо отчуждение. Да, не вырывайте у него из-под ног почвы, без которой он в положении, отведенном труду и капиталу, непременно удавится во славу всеобъемлющей науки и ее сикофантов.

Оканчивая нашу речь о книге г. Маслова, считаем обязанностью сказать, что, не принимая в расчет первого ее отдела, или, как автор его назвал, “первой главы”, уподобляющей мифологической деве, имевшей роскошные, обаятельные формы, при которых, однако, у нее, ничего или очень мало, но кой-чего недоставало такого, что всякое влечение к ней делало бесцельным, вторая глава, или второй отдел этой книги, по нашему мнению, – весьма полезное произведение, и мы позволяем себе пожелать, чтоб книга эта попадалась в руки тех, для кого совершенно незнакомы существующие виды землевладения.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО Г. Д-РУ АСКОЧЕНСКОМУ

По характеру своему провинциальная литература делится на три главные рода: 1) обличительную (или искусство против начальства), 2) благонамеренную (искусство за начальство) и 3) пасторальную или армейскую (искусство для барышень и барынь) Благонамеренная, она же просительная – самая обширная по числу жрецов. Содержание ее: “прославление подвигов своих начальников и тех несомненных благ, которыми они дарят своих подчиненных”.

“Искра” (год 2-й. № 45)

После всего сказанного в мою защиту профессором Эргардтом в 18 № “С овременной медицины” я не считаю уместным защищаться противу нападок г. А. Аскоченского, который, упрекая меня в составлении “пустозвонных статей, пригодных только для уродливой “Искры””, обращается с моим именем с такою крайнею бесцеремонностью, с какой “уродливая “Искра”” не обращалась ни с одним из самых дорогих и редких экземпляров, составляющих ее собственность. Брань г. Аскоченского меня не оскорбляет – я верю, что есть люди, которых похвала опасней всякой брани. Я знаю, что в кругу читателей “Современной медицины” есть люди, оправдывающие раскрытие моими статьями систематических медицинских злоупотреблений, знаю и то, что статьи мои не могли не раздражить известного стада, [151] и оттуда летит на меня брань, клевета и разные другие отвратительные чудовища, вышедшие на свет из ящика Пандоры.

Один Бог знает, как надоело мне препираться с этим расщвирепелым стадом, которому, что ни мечи в глаза, все Божья роса. Я уже сказал, что к настоящему слову меня вызывает не “благонамеренная” [152] статья г. Аскоченского, а желание стать за уважаемую мною редакцию “Современной медицины”, которую г. Аскоченский незаслуженно оскорбляет упреком за помещение пустозвонных статей, приличествующих “уродливой “Искре””. Не задевая фамильной ненависти гг. Аскоченских к “уродливой “Искре””, к которой я и почтенная редакция “Современной медицины” питаем, однако же, полное уважение, как к струне,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru звучащей в аккорде общественной прессы, я еще раз публично повторяю, что известное число русских полицейских врачей не свободно от упрека в неравнодушии к темным добыткам и что некоторые члены врачебных управ – дольщики в этих добытках. Таково мнение всех людей, знающих основательно быт полицейских врачей, опирающихся на невозможность уличить их “юридически”. Редакция “Современной медицины” не имела основания сомневаться в основательности моих слов. Стало быть, решению подлежит только один вопрос: прилично или неприлично было оглашение в “Современной медицине” статей непопозволительных доходов некоторых полицейских медиков, получающих 190 рублей серебром годового жалованья, не всегда практикующих, но нередко составляющих себе чувствительные состояния?

По нашему крайнему разумению – прилично, и очень прилично, во-первых, потому, что поднятие и обработка общественных вопросов медицинского сословия входили в программу издания и были одною из задач, к решению которых стремилась “Современная медицина”, никогда не считавшая себя обязанною стоять в узкой рамке лечебника и верующая в необходимость создать жнецов для жатвы. 2) Редакция ясно понимала, что прежде всякого трактата о реформе в устройстве быта русских полицейских врачей необходимо взглянуть, как и чем существуют лица этой корпорации в настоящее время и возможны ли какие-либо улучшения в теперешнем состоянии врачебного управления, или оно требует радикальной реформы? Для этого нужно было обнажить те темные стороны, которые некоторые представители судебно-медицинского сословия тщательно скрывают перед властью, но не могут скрыть перед народом. Пришлось поднять загадочную завесу благоденствия таких полицейских медиков, и я сделал это, как понимал и как умел. Дело не в художественности, а в самом деле. Я рассказал дело, как оно есть, каково оно на взгляд большинства, и не имел никаких побуждений называть черное белым. Наконец: 3) такие статьи гораздо менее шли сатирическому журналу “Искре”, чем “Современной медицине”, которая имеет возможность вызывать компетентные мнения у медицинских специалистов, составляющих круг ее читателей.

А в силу всех сих соображений упрек, сделанный г. Аскоченским редакции “Современной медицины”, яко не подобающий ей, мы имеем честь подлежащую вниманию возратить в вечное и потомственное владение самого автора, ему же следует всякая слава, честь и поклонение воспеваемого им начальства и бескорыстных товарищей, за дверями которых он подсматривает сряду по 8 суток. [153] Что за могучая сила полицейского таланта! Где бы ни развился у г. А. Аскоченского этот фискальный талант, во время ли служения с теми лицами, которыми он “нахваляться не может”, или еще на скамьях тех учебных заведений, в которых г. Аскоченский, так сказать, впервые вкусил сладость плодов подсматриванья и каждения начальственным личностям, – но во всяком случае, по всему видно, что “Домашнюю беседу” надлежит издавать именно сему А. Аскоченскому вместо теперешнего ее издателя-редактора В. Аскоченского. Принимая во внимание способность курского Аскоченского на восьмидневное (немедицинское) наблюдение за собратом, нельзя ни на минуту усомниться, что только один он способен издавать настоящую “Домашнюю беседу” и что к той “Домашней беседе”, которую мог бы издавать курский Аскоченский литератор Аристарх, теперешняя “Домашняя беседа”, которую издает петербургский Аскоченский литератор Виктор, относилась бы просто как мальчишки и щенок может относиться к господину Боско – великому магу и волшебнику, удивлявшему Европу, [154] их никак нельзя равнять в роде Махмудов, ибо если один из них (как говорит Островский) махмуд турецкий, а другой Махмуд персидский, то во всяком случае курский Аскоченский махмудистее петербургского...

Нет, почтенный доктор Аскоченский, что вы там ни гласите, а не разуверит вам очнувшуюся Русь, что и в рекрутских присутствиях и во многих других местах наши медицинские чиновники подчас берут себе на здоровье взятки во имя науки ничуть не хуже бездипломных чиновников. Вы совершенно напрасно думаете, что “грязным и пошлым пером, описавшим грязные добытки некоторых полицейских врачей, водила старческая рука, доживающая свой век под влиянием обаятельных воспоминаний дряхлой старины”, напротив, мы, то есть собственно я, имевший счастье попасть в вашу немилость, не устарел еще до того, чтобы метить за смиренность в какие ни есть начальники. Мы еще надеемся услышать, как не мы одни докажем вам, что при составлении ваших возражений на “Современную медицину”, вы, милостивый государь, держали грязное перо и писали им плоские, грубые и нетерпимые в литературе вещи, избобличающие в вас старческую бессильную злобу, доживающую свой век под обаятельным воспоминанием дряхлой старины. Извините за эту фразу. “Вашим же добром – Вам же челом”.

Мы, г. А. Аскоченский, как можете видеть, не боимся ни открытого суда, ни

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
“уродливой “Искры””, которая так не по вкусу вашей фамилии; мы допускаем в себе способность ошибаться и, когда поправят нас, – не сердимся, а “Искру” не считаем “пустозвонным” органом. Да что? “Искра” мы, так и “Искра” – лишь бы не “домашняя беседа”. Итак, во имя “Искры”, молимся Эриде и прочим богиням всякого разлада, да отженут от нас духа лести, духа светобоязни, духа мракобесия, застоя, гортанобесия и прочих духов нечистых, и да обратят они все литературные труды доктора Аскоченского в редакцию “домашней беседы”, где произведения сего мужа возвеселят ту благодатную среду, которая поставляет подписчиков сему органу замогильной гласности, изгари и прочих чудес мракобесия, смущающего ее редактора.

Нам только странно, как может появиться в наши дни такое безобразное заступничество за гадость, – и противодействие желанию улучшить быт сословия...

Видно, чад из царства мрака
Вышел изгарью не весь,
Се Аскоченского зрака
Дубликат пред нами днесь!
Тезке постному подобный,
Новый витязь темноты
Совместил в статейке скорбной
С шипом логики загробной
Мракобесия черты.

Стихи из рук вон плохи. Знаем, – но что же делать? Чем богаты, тем и рады почтить отечественный талант. Вот если бы был жив добрый знакомый В. Аскоченского Амос Шишкин – иное бы дело было. О Амос Шишкин! Зачем тебя похитила ранняя смерть? Зачем ты не позвал к своей страдальческой постели медицинского Аскоченского? Быть может, ты остался бы в живых и нам теперь воспел бы уже не одного, а пару Аскоченских.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ “СЕВЕРНОЙ ПЧЕЛЫ”

В № 122-м “Северной пчелы” напечатано письмо редакции “Светоча”. Письмо это, направленное против редакции “Отечественных записок”, вызвано моим разбором статьи г. Кресина “Ходебщики по чужим делам и карманам”. По поводу этой статьи “Северная пчела” прежде когда-то высказала несколько лестных слов о “Светоче” и самую статью назвала дельной и полезной, а я, находя ее полезной только по обличению факта, не разделяя убеждения г. Кресина насчет необходимости правительственного вмешательства в дела доверия частных лиц, и поместил об этом в майской книжке “Отечественных записок” статью, которая и вызвала у редакции “Светоча” настоящее письмо к издателю “Северной пчелы”.

Сущность статьи г. Кресина заключалась в том, что в Москве есть бездипломные поверенные, “ходебщики по делам и карманам”, которые расплодились так, как саранча, и, “пользуясь невежеством своих клиентов, подобно ворожеям, знахарям, знахаркам и деревенским врачам, дурачат их и причиняют таким образом вред обществу”. Вред этот заключается в том, что они обманывают своих доверителей: берут деньги для подкупа чиновников и не передают их по назначению; что они, происходя из отставных чиновников и мещан, “величают себя стряпчими, адвокатами и юрисконсультами, тогда как стряпчие бывают только коронные, губернские и уездные, а не наемные стряпухи”; и, наконец, что по их милости “никакая канцелярская тайна не может устоять перед графинчиками и закусками Новомосковского трактира, где заранее читаются решения”. Из статьи же г. Кресина видно, что этих юрисконсультов в Москве нередко бьют, что один какой-то барин откусил нос одному из таковых ходибщиков, а автор приглашает правительство всех их посыпать персидским порошком, как вредных насекомых.

В короткой рецензентной заметке, написанной мною по поводу этой статьи г. Кресина, я высказал свое сочувствие стремлению автора обнаружить еще одну из печальных сторон нашей общественной жизни, но, находя, что стряпчие дурны вовсе не потому только, что они происходят из мещан и не имеют дипломов, удостоверяющих в их юридических сведениях, старался показать, что “запретить этим стряпчим практиковать было бы невозможно по той причине, что практика их всего чаще совершается незримо для правительственного контроля и что от запрещения этой практики, вероятно, не произойдет ничего иного, кроме нарушения запретительных правил”. К тому же я признавал это и несправедливым, находя, что “нельзя человеку запретить доверяться тому, кому он хочет довериться”, и что “правительственными мерами невозможно гарантировать на каждом шагу всех удобонадуваемых людей”, потому что не надует их адвокат – надует шулер, ворожея,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

знахарь или какой иной артист. Смотря на это дело с такой точки зрения, я не мог разделять убеждений г. Кресина относительно необходимости произвести посыпку московских стряпчих персидским порошком из рук русского правительства и говорил, что московские “стряпухи”, как называет их г. Кресин, созданы необходимостью иметь хождение по делам и что “пока живет эта причина, пока народная масса невежественна и стремится к достижению своих интересов путем взяток и всяких иных темных дел, до тех пор ничто не может уничтожить этих стряпчих, нужных в качестве факторов для темных сделок, к которым у нас обращается в известных случаях даже самый честный человек”. “Жизнь виновата, – говорил я, – виновато общество с его разносторонним безобразием взглядов и тенденций, а стряпчие дурны вовсе не потому, что не имеют официального права заниматься своею профессией. Дурных людей много и с дипломами, и поле деятельности неблагонамеренных людей, имеющих право направлять чужие дела, еще шире, еще бесконтрольнее и безответнее. Это было известно очень давно, и очень давно указано Капнистом (в книге “Отечественных записок” вкралась погрешность: вместо Капнистом напечатано Кантемиром), когда он писал “Ябеду”. Вот вся моя вина перед г. Кресиным! Вот вся обида, которую редакция “Отечественных записок” нанесла “Светочу”! Но, значит, обида эта нанесена мною: статья подписана полным моим именем. А быть обидчиком – дело очень неприятное, и потому я долгом считаю объясниться, выгородив редакцию “Отечественных записок”, которая виновата разве только в том, что напечатала мою статью.

Редакция “Светоча” обвиняет “Отечественные записки” за то, что они, “храня о нем до сих пор молчание, решились изменить своему правилу и, не на шутку рассердившись статьей Кресина, ругнули не только самого автора, но и всю нашу журналистику, пускавшую в свои пределы господ писателей, непременно вмешивающих правительство во все, даже в современную несчастную адвокатуру в России” (чувствую надобность оговориться, что весь этот цитат, напечатанный курсивом в письме редакции “Светоча”, взят не из моей статьи), и, упрекая “Отечественные записки” в неуважении к народу, который будто бы назван в моей статье безнравственным, пишет вот что: “Нет, мудрая редакция “Отечественных записок”! Не народ виноват, не его невежество; а скорее вы, вы, просвещенные представители его! Народ, вследствие своего невежества, своей замкнутости, своего общинного начала и самоуправления, спасся от многого того, что глубоко пустило свои зловерные корни в вас, в вас, оторвавшихся от народа, как гнилые ветки от дерева (не вследствие худосочия дерева, а вследствие худой прививки посторонних, чуждых ему соков), и что не уничтожится в вас во веки веков ни просвещением, ни гуманностью, ни модным либерализмом, ни даже вашим общественным положением”. В этом же приличном для учено-литературного журнала тоне продолжается письмо, в котором редакция “Отечественных записок” называется то “мудрою”, то “почтенною” и притом содержащую у себя по особым поручениям “Санкт-Петербургские ведомости”, и затем следует обращение к “нашему русскому обществу”, так бесцеремонно оклеветанному “Отечественными записками”, а в заключение предлагается вопрос: “Всякий ли журнал у нас, оставив личные счеты и крайнее увлечение, служит истине честно, разумно и без всякой задней мысли?”

Я считал нужным сделать все эти выписки для того, чтобы представить суду того же русского общества дело, в котором обвиняется редакция “Отечественных записок” за мою статью. Я, конечно, не имею ни надобности, ни права говорить против неприличного тона, которым отзывается редакция “Светоча” о редакции “Отечественных записок”. Да она в этом, полагаю, и не нуждается. Мало ли каких доблестей и в шутку и не в шутку приписывают некоторым другим редакциям? Даже сам “Светоч” не избежал иронических замечаний за какое-то примитивное обещание и, помнится, не один раз, и в прозе, и в стихах, “продергивался” за неаккуратный выпуск своих книг.

Существование ходебщиков поддерживается, без всякого сомнения, самим обществом, которое в них нуждается частично по неумению справиться с своими тяжёлыми делами, производящимися в наших присутственных местах, а частью потому, что не всякий сроден самолично угощать известных господ в Новомосковском трактире, где, по выражению г. Кресина, “падает канцелярская тайна”.

Где же видна из моей статьи вражда “Отечественных записок” к русскому народу? Где в ней клевета на общество? И разве литературе следует подделываться под тон общества и льстить его заблуждениям, а не говорить ему правду? Разве народная доблесть нуждается в лести, в криках, что у нас все хорошо? Я никак не думаю, что, отстаивая родную народность, следует видеть особую прелесть и в грязных ногтях, и в чуйке, и в сивушном запахе, а тем паче в стремлении к кривосудству,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

к которому замечается у нас очень сильное влечение в людях всех сословий. Я не настолько силен в знании мельчайших проявлений русской народности, чтобы утверждать, входит ли в состав народных обычаев манера откусывать носы, но смею думать, что такой обычай недостойн поощрения, и от всего сердца желаю, чтобы он как можно скорее исчез с лица земли русской. Гораздо лучше, по-моему, вместо того, чтобы кусаться, изобличать обманщиков путем печатной гласности: оно и гуманнее, и действительнее, как в видах предупреждения неосторожных доверителей, так и с целью уничтожения неблагонамеренных стряпчих, без посыпки их персидским порошком.

Оканчиваю свое письмо заявлением, что мне будет очень приятно услышать другой, более беспристрастный суд, чем суд "Светоча", по вопросу: оскорбил ли я русский народ и оклеветал ли русское общество, высказав свои мысли, что московские стряпчие – не причина, а следствие, на что современным общественным деятелям и следует обратить свое внимание? – а также и по другому вопросу, предложенному самим "Светочем": "Всякий ли журнал у нас, оставив личные счеты и крайние увлечения, служит истине честно, разумно и без всякой задней мысли?"

КАК ОТНОСЯТСЯ ВЗГЛЯДЫ НЕКОТОРЫХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ К НАРОДНОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ
Сила – ума могила.

Русская пословица

Весна, молодая живительная весна, пора цветов, пора любви, на всем отражает свое обновляющее влияние, кроме педагогических соображений Комитета грамотности, собирающегося при 3-м отделении Русского вольного экономического общества. На него она нынче пахнула какую-то осеннюю непогодою и показала, что в этом самом собрании друзей народного образования, вместо свежих зеленых отпрысков, которых следовало бы ожидать после долгой зимовой спячки, является что-то вроде прутьев с желтыми осенними листьями.

28-го мая в С.-Петербурге происходило последнее (для минувшего сезона) заседание этого комитета. Председательствовал в этом заседании И. В. Вернадский; присутствовавших было всего только девятнадцать человек с гостями. Немного, как видите, очень немного, но где же взять больше, почтенный читатель? Петербург теперь на дачах, в Парголово, Полюстрове, Павловске, Царском, Петергофе, – и мало ли где еще? Везде, только не в Петербурге. В Петербурге душно, пыльно – словом, теперь нехорошо в Петербурге, и потому и сам он, а за ним и Комитет грамотности отзываются всякий по-своему некоторую осязательную пустоту.

Нынешнее малолюдное заседание Комитета грамотности открыто речью И. В. Вернадского, который изложил причины, побудившие созвать настоящее собрание. Из его речи, если я не ошибаюсь, было видно, что одною из главных причин настоящего собрания признавалась необходимость, пред наступлением долгого летнего периода, в который не будет заседаний, порешить некоторые вопросы, должные характеризовать общую цель занятий и направление действий комитета.

Затем г. Вернадский предложил на обсуждение наличных членов комитета несколько вопросов, из которых одни уже были рассмотрены предварительно в бюро комитета, а другие внесены им в комитет как вопросы, по собственному его выражению, "частные".

В числе вопросов, или дел, которыми бюро занималось, прежде чем они поступили на рассмотрение настоящего заседания комитета грамотности, первое место по порядку занимала одобренная в бюро записка г. Толя, одного из экспертов, избранных тем же бюро. Сущность этой замечательной записки эксперта, избранного членами бюро, заключается в определении весьма важного вопроса для народного образования. Просвещенный эксперт, избранный лицами, составляющими бюро, занимался решением, что нужнее и полезнее для начала народного образования, то есть, говоря его словами, "формальное" или "реальное" обучение? Он пришел к убеждению, что теперь полезнее заниматься обучением исключительно "формальным". Под этим, как видно, г. Толя разумеет, что нужно только учить читать, писать и четырем правилам арифметики, а всякое дальнейшее распространение в народе здравых понятий следует предоставить народной литературе? В числе причин, усложняющих такую систему начального обучения, стоит опасение, что иначе можно "разбросаться"; что преподавателями в школах могут быть "солдаты, чиновники" и разные люди, которые могут быть несостоятельными к распространению знаний в народе; и что потому признается уместным сосредоточить внимание комитета собственно на распространении грамотности в тесном смысле этого слова, то есть на обучении

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

чтению, письму и арифметике и на народной литературе, которая должна иметь направление полезное и нравственное. Я не могу утвердительно сказать, что именно разумелось под словами “народная литература”, которую комитет станет направлять к целям столь высоким, но помню, что, говоря о ней, упоминалось что-то о “Наставлении учителям”, о “Самоучителе чтению, письму и арифметике” и, наконец, о “Книге для чтения”, которая должна быть присоединена к “Самоучителю” и в которой преимущественно должны иметь место биографии. Автору этой записки, одобренной бюро, также кажется уместным сделать грамотность обязательною (!) для народа, а офеней (разносчиков, продающих по селам книги) обязать (!!) продавать книги, исключительно одобренные комитетом, и, наконец, издавать при комитете особый “Листок”, вероятно, в виде собственной газеты.

Эта записка эксперта в комитете встретила возражение только против двух пунктов, именно против введения обязательного обучения в народе и против предоставления офеням права распространять в народе одни такие книги, которые будут одобрены комитетом. Двум лицам, которыми было сделано это возражение, председатель отвечал, что и бюро, одобрявшее записку г. Толя, не разделяло его стремлений к усвоению обязательного характера делу народного обучения и не только не намеревалось поддерживать этой идеи, но сочло неуместным даже противодействовать прогрессии так называемых “мастериц”, или учительниц, занимающихся обучением грамоте детей простолюдинов, ибо и в них бюро видит лиц, весьма много содействующих распространению грамотности в народе; а в доказательство этого г. Вернадский привел, что между русскими крестьянами, придерживающимися разных религиозных толков, где наиболее известны “мастерицы”, число грамотников гораздо больше, чем между крестьянами господствующего вероисповедания, где, как нам известно, есть сельские школы. Засим решено, что комитет будет заботиться только о “формальном” распространении грамотности, то есть об обучении чтению, письму и арифметике.

После этого И. В. Вернадский предложил на обсуждение комитета записку елецкого окружного начальника г-на Рогачева, в которой между прочим доказывалась необходимость введения обязательного обучения крестьян грамоте. Для лучшего приведения в исполнение своего предложения г. Рогачев рекомендует составить посемейный список крестьян, что-то вроде известных очередных рекрутских списков, и из всякого многорабочего семейства, например семейства, имеющего трех работников, брать одного в выучку. Чтобы комитет не смущался принудительным распространением грамотности по очередному списку, просвещенный автор счел нужным указать на благие последствия введения между государственными крестьянами обязательного страхования имуществ. Но г. Рогачев своею оговоркою шел несколько далее многих наличных членов комитета, ибо, предлагая приневоливание русского народа, он самую потребностью оговориться выразил, что это мера не хорошая, не честная, тогда как из девятнадцати присутствовавших лиц только двое стали решительно против подневольного обучения народа грамоте; из ряда остальных комитет слышал голоса за приневоливание. Председатель, далекий всякой мысли введения насильственного обучения, сочувствуя двум голосам, стоящим за недопущение в дело грамотности обязательного принципа, старался поставить комитету на вид: не лучше ли на время оставить пока этот вопрос нерешенным и обдумать серьезнее, уместно ли принуждение народа к грамоте? Но благодаря Богу и усердию некоторых господ, почитавших вопрос этот давно решенным примерами других государств, дело закончилось теперь же. Обязательное распространение грамотности и приневоливание народа к учению, как я уже сказал, нашло самое живое сочувствие у большинства членов Комитета грамотности. Со всех концов слышалось: “прекрасно”, “полезно”, “иначе нельзя” и т. п. Два голоса, раздавшиеся за распространение грамотности исключительно только свободным путем, были встречены с разных сторон самыми красноречивыми и дополнительными опровержениями. Один из ораторов указал, как на авторитет, на своего соседа, “который 30 лет был учителем в Германии, [155] где принято обязательное обучение и где зато самое большее число грамотных”. Педагог, на которого ссылался говоривший, продолжал в том же тоне, доказывая огромную пользу обязательного учения. Затем третий член, развивая далее эту мысль, старался подкрепить ее фактами такого рода: “что в Германии, где приневоливали народ к обучению, в общественной жизни замечается удивительная стройность, а в свободной Англии, где не допустили введения обязательного обучения, нередко можно встречать пьяные и подбитые лица” (это последнее слово кажется, было заменено другим, несколько сильнее). Все эти доводы так убедительно подействовали на сторонников принудительного обучения русского народа, что они имели уже возможность перейти к изысканию мер, которыми русский народ будет обучаем грамоте по немецкой принудительной системе. Противоречия одного из противников этой системы склонили комитет только к тому

милосердию, что приневоливание предполагалось совершать без вмешательства полиции, косвенным путем, так, например, недопущением неграмотных к таинству причащения (как у лютеран) или недозволением неграмотным вступать в законный брак. Крайняя степень неудобоприменимости такого предложения была причиной совершенного устранения мысли о насильственном обучении. В двух речах комитету представлено, что поощрительные меры не подвигают дела народного образования, точно так же, как преследования какой-нибудь усвоенной народом системы обучения не искореняют ее в народе; что сельские школы, пользовавшиеся полным вниманием и просвещенным содействием благонамеренных лиц, прилагавших неусыпные старания об обучении народа по одобренной правительством программе, далеко не выполнили ожиданий, которыми сопровождалось учреждение их; что в массе русского народа (за исключением раскольников, где грамотность распространена без содействия начальства) грамотные люди составляют только известный небольшой процент, тогда как у наших евреев, школы которых не пользовались никаким покровительством, а в прежнее время даже встречались с известного рода неблагоприятными обстоятельствами, – в настоящее время нет неграмотных людей; что удаление людей от религиозного таинства за безграмотность – вещь совершенно неуместная и неудобомыслимая; что запрещение по той же причине соединяться законным браком поведет за собою, как неминуемое следствие, браки незаконные, понимаемые у нас в смысле “непозволенных связей”, которые в известной мере преследуются нашим законом. В подтверждение этого последнего возражения приведены примеры из истории русского народа, весьма ярко характеризующие последствия вмешательства власти в устройство брачных связей, и предложен вопрос, кто лучше: безграмотный семьянин, человек надежный для семьи и государства, или обученный чтению и письму развратник? Возражений не было. Второе лицо, отвергавшее обязательное обучение, поддерживая только что упомянутую речь своего предшественника, сделало несколько возражений одному из особенно сочувствовавших немецкому приневоливанью и поставлявшему на вид, что “Германия может хвалиться своим приневоливанием, а Англия не может хвастаться своею свободою”. Возражавший, сознавая в недостатке положительных сведений об отношении числа грамотников к общему населению в Англии и Германии и не отвергая, что германская народность способна представлять внешней строгостью своих нравов самое утешительное и поистине отрадное зрелище, считал совершенно несправедливым отдавать этой весьма, впрочем, почтенной стране преимущество перед Англией, где свободный ход народного развития выработал в людях чувство законности и уважения к чужому праву до такой степени, что англичанин носит это чувство не только в своем отечестве, но не забывает его и на земле чуждой. Везде он признает право человека за собою и за ближним. Конечно, не похвально, что англичане дерутся, но, по крайней мере, англичанин, поднимая свой кулак на лицо другого человека, не отвергает и в другом человеке права отвечать ему тем же. Он дерется как человек, по мнению которого кулак может быть противопоставлен кулаку, но он нигде не дерется по праву звания, чина или по праву англичанина, как нередко дерутся немцы, легко усваивающие себе кулачную расправу в стране просвещаемых ими варваров. Председатель И. В. Вернадский, живо сочувствуя мнению лиц, отстаивавших распространение в народе грамотности без всякого приневоливания, путем исключительно свободным, указал на знакомые ему благодетельные последствия английского либерализма и, признавая грамотность немислимою без народного развития, которое, в свою очередь, немислимо ни при каком приневоливании, содействовал тому, что комитет наконец постановил: не двигать от себя мысли об обязательном обучении русского народа. Намерение одного из поборников приневоливания продолжать прения по этому вопросу были устранены. Потом был прочитан проект барона Штенделя о необходимости развития в народе охоты к разведению плодовых деревьев, но проект этот общим голосом комитета не принят, на том основании, что распространение в народе всяких специальных познаний одновременно с первоначальным обучением грамоте признается совершенно неудобным. Прочитано письмо, в котором писавший выражает комитету свое сочувствие за его заботу о распространении грамотности в народе без различия происхождения и веры и просит принять от него двадцать пять рублей серебром “на покупку книг”. Подписано: “Леон Розенталь”. Положено: благодарить г. Розенталя от лица Комитета грамотности за его пожертвование. Чтение о методе обучения г. Студитского было отложено за отсутствием г. Студитского. Заявлено о вновь учреждающемся журнале для народного чтения под названием “Грамотей”. Журнал этот с очень широкою программой, исполнение которой, вероятно, потребует от редакции немалых усилий, будет выходить в числе 5 книжек в год, и все годовое издание его будет стоить один рубль серебром с пересылкою. Заседание окончено речью председателя о необходимости близких сношений комитета с воскресными школами и о пользе учреждения в других городах отделений Комитета грамотности.

Передавая читателям “Русской речи” сущность этого заседания с точностью,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
возможною для моей памяти, я позволяю себе высказать несколько собственных мыслей, не оставлявших меня ни в самом заседании, ни по выходе оттуда.

Я не считаю себя достаточно опытным, чтобы опровергать мнение гг. членов комитета о необходимости ограничиваться только начальным обучением народа грамоте, устраняя из первоначальных школ распространение других научных познаний, необходимых в смысле общечеловеческого развития, но я могу по собственному опыту свидетельствовать, что при самом обучении чтению и письму есть некоторая возможность сообщить ученикам много интересующих их общественных сведений. Такой смешанный метод обучения я попробовал ввести в одной из санкт-петербургских школ, где, обучая чтению и письму фабричных работников и работниц, я освободил мой кружок от употребления литографированных прописей и начал учить их письму, приучая списывать себе в тетради то, что я писал для них крупно мелом на черной деревянной доске. Опыт мой совершенно удался и принят в этой школе другими преподавателями. Выгоды этого приема главнейшим образом заключаются: 1) в уничтожении расходов на покупку прописей; 2) в возможности обучать разом большее число учеников, занимаясь исправлением их почерка во время списывания ими с доски, и 3) в том, что у каждого из учеников и учениц остаются тетради, в которых их собственною рукою записаны более или менее необходимые в жизни сведения. Таким образом, я полагаю, что полезнее стремиться соединять с обучением грамоте распространение некоторых научных сведений, а не стараться вовсе изгонять последние из круга первоначального обучения. Здесь есть возможность всегда действовать так, что одно не будет идти в ущерб другому.

Призвание деятелей воскресных школ к сотрудничеству по Комитету грамотности – мера, без всякого сомнения, самая полезная, ибо школьные преподаватели уже довольно близко ознакомились и с народом, и с его способностями, и с его воззрениями на учителей и на науки; но для этого нужно, чтобы Комитет грамотности не назначал своих заседаний по воскресеньям, как это было в последний раз, потому что в воскресные дни преподаватели заняты в школах и не могут быть в комитете, не действуя прямо в ущерб интересам школьников. Лучшим доказательством моего мнения может служить замеченное в комитете 28 мая отсутствие учредителя первой воскресной школы в России бывшего профессора Киевского университета П. В. Павлова. Если заседания Комитета грамотности будут продолжаться по воскресным дням, когда преподаватели находятся в школах, то разумеется, что преподавателей воскресных школ не будет видно в этих заседаниях. Трактаты о мерах распространения грамотности дело очень полезное, но фактическое распространение ее, которое уже ведется в воскресных школах бескорыстными усилиями преподавателей, нельзя оставлять ради словопрений в комитете, несмотря на то, что и прения эти очень интересны и даже, может быть, в некотором роде, поучительны.

Третий вопрос, занявший меня особенно по своему глубокому значению для народа, это: обязательное обучение грамоте. Продолжительный разговор о том, следует ли русских людей приневоливать к науке по немецкому манеру, или предоставить им свободное право по английскому обычаю, мне казался совершенно невозможным, и я, может быть, еще долго остался бы в своем приятном заблуждении, если бы лица, присутствовавшие в заседании комитета 28-го мая, не разубедили меня, что в нашем либеральном обществе есть своя доля поборников проведения просвещения путем принудительных мер. Я никогда не думал, что свободная и могучая британская нация менее достойна нашего подражания, чем сухая народность Германии, и не верю этому теперь, несмотря на то, что против этого не возражало великое большинство голосов Комитета грамотности. Неверие мое простирается так далеко, что я даже сомневаюсь в способности русского народа разделять с некоторыми членами комитета их германские тенденции насчет способов распространения русской грамотности. Мне думается, что такому просвещенному собранию, как заседание Комитета грамотности, не только не надлежало отстаивать какой бы то ни было вид приневоливания, но что ему даже нельзя было довольствоваться только тем, что он не будет двигать мысли о введении обязательного обучения. Он, кажется, не погрешая пред разумом и совестью, мог бы тверже высказаться в этом деле, которое ясно как солнце. Ему прилично было бы припомнить себе, что человек, выученный чему бы то ни было подневольно, непременно и сам делается в свою очередь приневоливателем других и таким образом упрочивает длинную фалангу принудителей, из которых создаются поколения, не способные к усвоению себе многих гражданских добродетелей, необходимых для благополучия человеческого общества. Как бы ни мягка была вынудительная мера, она все-таки есть мера, неблагоприятная народному счастью, которое никакой комитет не вправе топтать или приносить его в жертву даже такой благородной цели, каково распространение грамотности. Никакая благородная цель

не оправдывает мер, противных принципам человеческого счастья, а законная свобода действий всегда и везде почиталась залогом счастья, и ни один народ никогда не благословлял принудителей; а в то же время и все прививаемое насильственно принималось медленно, непрочно и давало плоды нездоровые. Преследование известных религиозных мнений у нас и на западе подтверждает такой вывод, а все эти преследования делались тоже с самыми благонамеренными целями, оправдывавшими в глазах современников средства, при которых они достигались. Образование и приневоливание – два понятия, которые никак не могут идти рука об руку.

Такие-то мысли наполняли мою душу, когда я выходил из дома Вольного экономического общества после этого весеннего заседания. Я припоминал себе другие зимние заседания другого комитета, где было высказано так много гуманных идей, где и в сердце, и на устах говоривших жила вера в тот здравый смысл русского народа, полагаясь на который царь наш даровал свободу миллионам людей; где принцип невмешательства признан и в деле расселения, и в выходе из торгового кризиса, и в развязке помещичьих интересов с интересами освобожденных крестьян; все это вспомнил я, обдумывая, что значит приневоливание, только что проповеданное в весеннем заседании Комитета грамотности. Все мерещились мне последние стишки обличительного поэта (к весне) и сдавалось, что они не полны, что к их последнему куплету еще следовало бы приписать:

Подневольное ученье,

“Домострой”, лоза,

Это ты мое мученье!

Это ты весна!

РУССКИЕ ЛЮДИ, СОСТОЯЩИЕ “НЕ У ДЕЛ”

Явление существует таким образом, что его самобытность непосредственно отрицается.

Гегель “Логика”

Когда после долгой дремоты русская литература заговорила о живых интересах общества, с особенно быстротою стали появляться статьи, обличающие деморализацию русского чиновничества; рассказывались разные смешные и гнусные проделки, которыми люди этой корпорации добывали себе и своим семействам возможность существовать сыто и довольно или с нуждой пополам и впроголодь. Очевидно, что статьи, обличающие чиновников, были выражением общественного негодования, возмущенного их неправдами и чужеядностью, а потому рассказы Щедрина, Селиванова и других русских авторов, приподымавших покров, которым были завешены пружины нашей судебной-административной неурядицы, читались нарасхват, с глубокою признательностью авторам, рассказавшим о том, о чем всем очень давно хотелось разговориться, но о чем прежде разговориться не удавалось... Очень жаль, что литература не могла уделить другим сословиям одинаковой доли своего внимания и что лица, не принадлежавшие к почтенному званию гражданских чиновников, но не менее их достойные внимательного исследования, до сих пор очень редко припиливаются знатоками российской фауны к листкам русской журналистики. “Изнанка Крымской войны” в покойном “Атенее”, несколько строчек по поводу одной русской книги, вышедшей в свет в Берлине, две-три недомолвки о “купецких делах”, да и только, и опять за чиновников, и все что ни есть за самых этаких маленьких, что называется – сверчков короткобрюхих. После литераторов и журналистов чиновничество оказывается самой удобовозделываемой почвой, над которой вот уже около семи лет обличительные таланты не теряют права изощрять острия своих перьев, и пусть что хотят говорят, а нельзя отказать нашему обществу в готовности самым внимательным образом вслушиваться в литературные мнения и усвоивать их себе во всем, касающемся обличения чиновников. Негодование на чиновников до такой степени овладело нашими сердцами, что все мы с неизъяснимым удовольствием встречали слухи, что то в том, то в другом ведомстве упразднились места писцов, а иногда и чинов по уряду несколько крупнейших. Сколько отрадного мы иногда видели в этом упразднении писцовских вакансий! И государственная экономия, и улучшение судопроизводства, и очищение нравов – все представлялось нам уже близким и достижимым. Всем сердцем сочувствовали мы готовности некоторых молодых людей отречься от служебной карьеры и искать дела в другой сфере, в занятиях частных. Не прошло семи лет с тех пор, как началась эта пересыпка, как литература начала увещевать нас оставлять неуместные всеобщие притязания на чиновническую деятельность, а в обществе уже недружелюбно смотрят на всякого молодого соискателя должности писца с надеждами на благоприобретения. В эти семь лет наши присутственные места освободили от службы огромную цифру крошечных чиновников, и в эти же семь лет учебные заведения выпустили немало молодых людей

с знаниями, которые вне коронной службы весьма редко почитаются за знания. По весьма странному случаю к этой категории приходится отнести и множество молодых медиков, бродящих с дипломами без мест или упражняющихся в занятиях вовсе не медицинских. Народ нуждается во врачебной помощи, врачи (не говоря о знаменитостях) не имеют никакого заработка. Словом, в последнее время у нас явилась весьма чувствительная цифра людей, воспитанных по программе, которая во второй четверти настоящего столетия составляла идеал воспитания русского человека, а потом вдруг признана несостоятельной, и воспитанные по ней люди поставлены лицом к лицу с приятным положением не получать никакого запроса на свой труд. Литература делала свое дело, убеждая нас трудиться вне канцелярской атмосферы; но она остановилась на половине пути. Карая стремление всероссийского человечества очиничиться и возбуждая в обществе противодействие этому стремлению, укоренившемуся вследствие долгой исторической необходимости служить, она упустила из вида напомнить обществу его обязанность подумать и о том, чтобы дать людям, сошедшим с чиновной дороги, доступ к другим делам. Общество как бы обрадовалось этой недомолвке и показало весь свой смысл и весь свой характер над людьми, не находящими места на службе. Оно слышало, что у людей, приготавливавшихся к чиновничеству, не бывает запаса полезных знаний, и подумало, что все эти люди лишены вовсе и тех познаний, которыми обладают лица, занимающиеся некоторыми частными делами; оно знало, что чиновники, получая по 2 и по 3 рубля месячного жалованья, пробавлялись темными средствами, то есть "принимали благодарность" или, попросту, брали взятки, и порешило, что это люди самые зловредные, из которых ничего не выйдет. Судьи не принимали в расчет ни собственного блаженства неведения, ни собственной склонности припахать борозду от чужого поля, ни даже той простой вещи, что чиновников вырастило и кое-чему научило само общество, от которого они, и в нравах, и в обычаях, ничем существенным и не отличаются. Все это было забыто — и заштатные чиновники вместе с множеством молодых людей, вышедших из учебных заведений без права поедать труды ближнего, остаются у нас без дела и без хлеба. В одном Петербурге насчитывают в таком положении несколько тысяч человек; нет города, городка, городишка, с зданием присутственных мест и конторою акцизно-откупного комиссионерства, где бы не встречалось этих несчастных прообразов пролетариата на земле русской. Это явление очень нерадостное. Из него не может выйти ничего хорошего для самого общества, которое с невозмутимым равнодушием отвергает всякие услуги этих бедняков. Как ни кажется невозможным пролетариат в России, но нельзя не согласиться, что рассматриваемые нами люди весьма близки к положению западных пролетариев, потому что у них не только нет хлеба, но нет и возможности его заработать. А отчего нет этой возможности, когда дела в России непочатый угол, когда отовсюду слышится жалоба на недостаток людей, на крайнюю дороговизну рабочих рук? Очевидно, что здесь важную роль играет предубеждение, которое живет у русских землевладельцев и торговцев против найма людей, остающихся "не у дел". Еще более виновато отсутствие справедливости, без которой мы не можем постичь, что взяточничество практиковалось не только одними чиновниками, оставшимися за штатом, но и теми, которые не остались за штатом, и выборными людьми, и даже самим народом, который, по мнению многих, как Ноев ковчег, хранит безупречно идеальную справедливость, спрятавшуюся в него от влияния западной цивилизации. И в этом народе жила взятка, когда он мирскими сходами "по сердцам" сек бедного мужичонка и мирскими приговорами "за вино и посулы" освобождал от рекрутства "хозяйских детей" и сдавал в военную службу горемычных "бобылей — вдовых кормильцев". Но, несмотря на то что деморализация была общая, что "ворон ворону глаза не выклюет", у всех осталась, благодаря обстоятельствам, хоть какая-нибудь возможность жить: у одних земля, у других и земля, и капитал, и известные привилегии, а у чиновников ничего, как есть ничего; у них даже отнята возможность исправиться и стать людьми, ибо у них теперь нет средств заработать кусок хлеба; а известный философ Гегель утверждает, что в душе, поработанной вседневными нуждами, нет места для той деятельности разума, которая требует отречения от личных пристрастий. Как же отречься от своих пристрастий людям, которых никто не берет, которым нет нигде ни веры, ни кредита, ни угла, ни пристанища? Куда же им деться? Что им делать? Неужели все это не должно обратить на себя внимания общества и литературы? Если общество наше понимает, что несчастье каждого отдельного лица уменьшает известную долю сумму общего счастья, то оно, вероятно, поймет, что появление русских разночинцев в качестве русских пролетариев есть зло общественное, которому нужно помочь, пока оно еще не пустило глубоких корней и не сделалось постоянным спутником нашей жизни. Каковы бы ни были наши чиновники, оставленные за штатами, есть основание во всех их недостатках видеть не одну их собственную вину, а потому есть основание и простить их, и подать им руку помощи, дать им возможность жить честным трудом и понять, что есть мир честного труда, а не замыкать пред ними дверей этого мира.

Кто знает этот класс, понесший на себе всеобщие упреки, тот поверит, что все прошлые вольные и невольные чиновничьи грехи пора уж отпустить им во имя человеколюбия за их настоящие скорби и нищету. Мы благородно восторгаемся слухами о человеколюбивом Британце, который воспитывал людей в New-Lanark'e [156] и с легкой руки которого в Англии начали развиваться кооперативные ассоциации (их теперь насчитывают до 200), а сами заботимся не о перевоспитании людей, не об обращении их к труду теми путями, которые не должны быть неизвестными по крайней мере литературным деятелям, а, отвергая своих разночинцев, бросаем их на произвол всех случайностей и доводим свою строгость до того, что она становится не мерою исправления, а орудием озлобляющей кары. Роберт Оуэн, справедливо уважаемый за его честную, гуманную натуру, довел свое всепрощение до того, что отвергал уместность самого наказания, видя в преступнике выражение общественной испорченности, и заботился перевоспитать его и приучить к труду в New-Lanark'e, а у нас, в самой среде нехладнокровных почитателей этого честного человека, слышатся хлопоты не об исправлении людей, которым с детства внушали, что "от трудов праведных не наживешь палат каменных", а о награждении их полным презрением и удалением от всякого участия общества. Хорошо отрицать что-нибудь во имя созидания чего-нибудь; но отрицать ради отрицания, заниматься этим искусством для искусства, – не значит служить идее человеческого счастья. При одном отрицании не создается ничего, подобного ассоциации Рочдельского общества, которое 15 лет тому назад началось с капиталом в 28 ливров, а теперь строит фабрику, стоящую ассоциации за 30 000 фунтов, и издает журнал "The cooperator", который пишется исключительно работниками. Такие великие успехи достигаются всепрощением, перевоспитанием и приобщением к общему труду, а не одним отвержением уклонившегося с прямого пути. Беспомощным состоянием русских разночинцев и пресмыкательством их без работы и без хлеба не водворится правда в тех судах, откуда вышли или куда не попали эти люди; а потому презрительное равнодушие, которое показывает им общество, не выражает ни его мягкосердечия, ни его дальновзоркости. Есть профессии, упразднения которых может желать современное человечество, но нет людей, которые бы не стоили человеческого внимания и содействия. Задача истинных друзей человечества состояла вовсе не в том, чтобы отрицать в человеке способность к самоисправлению, а в том, чтобы из жертв нищеты и всяких заблуждений создать людей, способных жить без нужд и умирать без страха.

Не так, далеко не так поступаем мы, почитая чуждым для себя положение людей, которые испытывают удовольствие быть никому не нужными и отогнанными от всякого дела, сколько-нибудь сообразного их подготовке. Правда, они не несут повинностей, да за то лишены и средств понести их; а это, полагаю, не лучше. Пишущий эти строки, конечно, далек от всякой мысли оправдывать известные наклонности чиновников, еще далее от намерения безусловно защищать их нравы; но он не может разделять мнения о необходимости бесконечного преследования их, без предоставления им способов повести новую жизнь. Он уже пытался обратиться на это общественное внимание и в некоторых своих статьях и упоминал об этом в одном из заседаний Политико-экономического комитета Русского географического общества, когда шла речь о заселении пустопорожних земель; но... никакого отклика ниоткуда не слышно; а, право, желательно, чтобы об этом зашло слово в литературе. Нельзя же не попробовать хоть что-нибудь сделать для облегчения участи десятков тысяч людей, томящихся без всякого заработка в виду дел, ожидающих прикосновения человеческой руки. Мы уверены, что совместным силам общества и литературы не может не удастся дать этим лицам способ быть полезными.

Нельзя же думать, что литература, проникнутая сочувствием к русской народности, не возвысится до великодушия, выражаемого народною пословицею: "Где гнев – там и милость!" А праздношатательство наших разночинцев вовсе не такое ничтожное явление, о котором бы не стоило подумать нашим публицистам и политико-экономам.

О ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ, НО НЕБЛАГОТВОРНОМ НАПРАВЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
Российским публицистам все нипочем; они готовы по первому требованию обляять всякое мировое событие, всякого исторического человека; прежде чем задать себе вопрос о собственной малости и рутинности, они с каким-то злорадством бросают грязью в общественных деятелей и выставляют себя, свои жалкие претензии, свою путаницу понятий на первый план.

Московские ведомости, 150 №, 1861 г.

Плохо сбываются великие ожидания, которые русская публика возлагала на журналы, когда шесть-семь лет тому назад наша журналистика мало-помалу стала поднимать

вопросы, давно ждавшие решения. Один из этих вопросов – вопрос крестьянский, к чести наших дней, наконец решен. Не теперь, конечно, время показывать, в чем и насколько русская журналистика содействовала решению этого вопроса. Довольно сказать, что посильное служение свое этому делу она совершила честно и единодушно. В ней раздавались споры о мнениях, от которых дело несомненно выигрывало; выигрывало по крайней мере хоть в том отношении, что масса публики уверилась в настоятельной необходимости покончить с крепостным правом путем мирного соглашения обоюдных интересов и необходимых уступок. Вначале, когда шли речи о крестьянском вопросе, журналистика действовала единодушно и, споря о мнениях, шла к одной достойной цели. О движении, которым выражалась журнальная деятельность того, еще недавнего, времени, теперь можно вспомнить как о милом прошедшем, от которого так много ожидалось и из которого вышло то, что ныне зрим и чем наслаждаемся в своей периодической литературе: шутовство, гаерство, паясничество, некрасящая наглость об руку с непроходимым невежеством и брань вместе с выражением готовности “поговорить нелитературным языком”. Куча живых общественных вопросов по-прежнему лежит нерассмотренною и не подвергнутою никакой обработке; но литературе как будто не до них: в ней стало обнаруживаться какое-то странное, всеотрицающее направление с замечательным преобладанием памфлетного характера. Известной свободы мнений, о которой всегда хлопотало цивилизованное человечество и известное проявление которой в русской журналистике наша публика приветствовала с такою радостью, – у нас почти уже нет. У нас отпадает всякая охота говорить о том, о чем и можно, и должно бы говорить. Всякий порядочный человек, не привыкший, чтобы с его именем обращались, как с именем шута или паяца, не может без страха высказать свое мнение ни в одном русском журнале. Сейчас явятся милые ценители, которым все равно о чем ни судить, лишь бы ругаться и обругать. Они не станут спорить о мнениях, как это делается в иностранных органах, выражающих стремления самых враждебных партий, а прямо *ex abrupto*[157] обзовут автора “узколобым”, “тупоголовым”, а статью его “ерундою”, “ерундищею” и т. п.; если же можно, то не упустят случая: запустят свою грязную руку и в самую душу автора и поворочают в ней своими пальцами все, что автор как человек считает своею святынею и хранит от прикосновения дружеских рук с запачканными ногтями. Неуважение к личности и к праву дошло в литературе до крайней степени, до какой ни в одной стране нельзя идти безнаказанно. Псевдонимы ни к чему не служат. Подпишите статью псевдонимом, и если не в том, так в другом всероссийском учено-литературном органе выругают за нее ваше собственное имя и пойдут его таскать по журнальным стограмм, пока не обвалят в соре, которым изобилуют задние двory многих наших журналов. Камень-Виногород, он же Петр Вейнберг, он же Гейне из Тамбова; Гымалэ, он же Юный топтатель; Праздношатающийся “Отечественных записок”, он же Розенгейм[158] – все это одновременно оглашено разными русскими органами, которые твердят об уважении к законности, а сами попирают всякую законность, начиная с законности, ограждающей литературное право, которая не может быть им не известною... Все это, однако, проходит безнаказанно, и человек, позволивший себе поставить свое имя хоть под одну статью в русском журнале, должен все это переносить и не сметь обижаться. А как для всякого честного человека более или менее дорога неприкосновенность его имени, то, я полагаю, становится понятным, почему многие люди, близко знакомые с вопросами, от которых самым ближайшим образом зависит устранение разных неурядиц, препятствующих счастью и процветанию нашего общества, пишут мало или вовсе не пишут. Бранчливое направление литературы и крайнее неуважение некоторых гг. журналистов к чужой личности, усилившиеся в последние годы, повредили цели общего литературного служения более многих других причин. Это несчастное направление сбilo многих литературных деятелей с почвы настоящих вопросов и вместо спора о мнениях заставило их спорить о фразах и личностях. Спора о мнениях не стало, не стало и выработанных мнений; явились мнения односторонние, которые высказывались как непогрешимые приговоры и за которые автор в случае малейшего несогласия с ним вцеплялся в личность противника: не разбирал категорически его мнения, не поверял своего мнения чужим, а именно вцеплялся в личность, тряс ее сколько было силенки, подбирая оскорбительные выражения и бросал ими в человека, заметившего неосновательность его мнения. В каждом почти журнале появились целые отделы, где известные мастера занимаются заушением и заплевыванием всех лиц, не разделяющих их мнения. Благодаря этим господам из небольшого кружка русских журналистов, кажется, нет уж ни одного не обруганного всякими кличками, которые журнальные ругатели признают за букет живой, народной речи. Они увлеклись до того, что сами уже не в силах отличить простоту речи от просторечия; им хочется все втиснуть в литературу, и никто из пишущих людей не может поручиться, что в один несчастный день какой-нибудь из журнальных молодцов не увлечется до того, что, не говоря худого слова, обзовет его так, что в самом сборнике Рыбникова обозначено только

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
начальными буквами. Все может быть, когда уж пошло на угрозы: “поговорить
нелитературным языком в печати”.

Горько и страшно видеть такое несчастное уклонение нашей журналистики от целей, указываемых ей обстоятельствами, к удовлетворению суетных и недостойных желаний замкнуть чужие уста. Всякому человеку, истинно желающему блага и счастья России и сочувствующему ей, невыносимо такое направление литературы в теперешнее время, когда жатвы много, а делателей мало. Самая просвещенная часть публики очень скорбит о том шутовстве, которым занимаются некоторые наши журналы; и успех этих журналов, то есть приобретение ими значительного числа подписчиков, вовсе не выражает общественных симпатий к их направлению. У этих журналов с отделами, где некоторые литераторы турманами кувыркануться для удовольствия почтеннейшей публики, успех зависит непосредственно от неразвитости вкуса и отсутствия серьезных стремлений в массе русских читателей; но в обществе всегда остается своя доля благомыслящих людей, которые в кувырканье видят только кувырканье. Льстить таким вкусам и воспитывать их в обществе стыдно; избавь Бог наше общество от таких воспитателей, и мы твердо веруем, что не далеко то благословенное время, когда читающая Русь задумается над тем, что она переживает и что вычитывает теперь из увеселительных журналов. Она выучит историю других народов, переживших то состояние, в котором застало нас быстрое, но повсеместное распространение невежества в русской литературе, и спросит литературных гаеров: к чему вели вы нас? Что вы нам рассказывали? Чье счастье имели вы в виду, проводя свою пропаганду? Да! общество сделает эти вопросы и... что отвечать на них? Плоды мы видим: стремление к наукам, благородно охватившее семь лет тому назад молодое русское поколение, ослабевает. Нам доводилось слышать не от одного из самых известных русских университетских профессоров, что студенты перестают заниматься, что они ничего не делают, очевидно увлекаясь все отрицающим и над всем глумящимся направлением. Молодежь мечтает о возможности жить, ни над чем усиленно не трудясь, ничего не изучая, ни во что не вдумываясь. Авторитеты поправаны; истории почти никто не знает и никто не учится ей; некоторые науки, как, например, политическая экономия, как говорит один петербургский толстый журнал, “переварена и выброшена”, права никто не знает, да и знать не хочет. На что оно? Все вон, топчи авторитеты, выбрасывай науки, осмеивай плоды дум и трудов тех мыслителей, которыми гордятся опередившие нас народы. На что нам их думы и их труды, когда

У нас правда по закону свята.

Принесли ту правду наши деды
через три реки на нашу землю.

При таких-то обстоятельствах зашла в нашей литературе речь о русской народности. Из этой-то среды литературных деятелей пошли толки о русском народе и о русском праве, которое наши деды принесли через три реки на нашу землю...

И кто говорит обо всем этом? Пусть бы г. Чернышевский сказал, что политическая экономия им “переварена и выброшена”, – ну, куда ни шло: как он ей ни занимался, по крайней мере, хоть знаем, что он что-нибудь почитывал, – пусть говорит о русской народности, о характерах, нравах и обычаях человек, который знает, о чем говорит, который говорит по праву знания, да еще знания, приобретенного нелегкою ценою; а то всякий борзописец топчет и выбрасывает науку, о которой он не имеет ни малейшего понятия, которому дайте гармонию хозяйственных отношений, составленную по Кэри, и другую, основанную на учении Фурье или Консидерана, не обозначая их имен, – и он не будет знать, что чем называется и к чему сводится. Ему все нипочем, падай пред ним Европа, “гнилой Запад”, “гниющая язва”, как называли ее еще очень недавно представители сословия, особенно сочувствующего “домашней беседе”. Станный случай! “чему посмеешься – тому поработаешь”; что семь лет говорили тогдашние друзья г. Аскоченского, за то же ратуют теперешние его литературные противники. Но не будем говорить о невежественном неуважении к наукам, ибо верим, что это явление скоропреходящее, которое не остановит надолго молодую и полную сил нацию; а остановимся на греховной дерзости гаерствующих невежд, которые под видом симпатии к русскому народу и сами не занимаются его счастьем (ибо они неспособны заботиться ни о чьем счастье), и другим не дают выговорить слова о положении народа. Безумные крики этих гаеров, изучивших народ по сборникам, возмутительны. Им ничего не говори; они ведут себя в литературе, как мужики на своих сходках, то есть все кричат и никто никого не слушает. Заставьте их поговорить с народом, то есть с мужичками, – и мужички их никак не признают за своих друзей. Они не знают, на что народ “жалобится”; как везде почти из самого народа создается свой “мирод”, который “крутит целым миром”, эксплуатирует самым безбожным образом бедняков и развивает свое мелочное

самолюбие до того, что преследует бедняка за всякое слово, нередко до исторжения его, например, в военную службу без очереди, за худое поведение; а сходка всему этому потакает и "мирволит". Они, например, не хотели обратить никакого внимания на интересную брошюру об устройстве прислуги во Франции, Пруссии и Бельгии; не потрудились посмотреть, нельзя ли из этих правил извлечь что-нибудь для нашего народа, у которого взаимные отношения наемщика к нанимателю представляют неслыханное безобразие, при котором одна сторона очень часто страдает от несправедливости и жестокосердия другой. Прекрасная книга Жюль Симона "L'ouvrière" (Paris, 1861 г.), приводящая в ужас Европу, которая из этой книги знакомится с положением французской работницы, не должна пугать нас, потому что положение наших "батраков" и "батрачек", нанимаемых народом по патриархальному обычаю, во многом не лучше положения французской работницы. Но во Франции есть Жюль Симон, который хлопочет об улучшении участи работницы, у немцев есть Ауэрбах, которому любовь к народу не мешает говорить правду о народе, а у нас наши борзописцы выражают свою любовь к народу самым дешевым образом, тем самым образом, каким Фаддей Булгарин выражал свои сочувствия, ничему не сочувствуя. Они кричат о силе народного смысла, они хотят играть в народ, хотят выучить его песням о Чуриле Пленковиче, на которого ни бабы, ни девки не могут смотреть без греховных помыслов; а о том, как жить народу, как ему отвыкнуть от дурных привычек и не обижать своего ближнего, не кабалить соседа за бесценнок да не перепродавать его рядчикам, – это не их дело. По ним только

Пой песни, хоть тресни,
А есть не проси.

Вот что делают крикуны, не дающие никому разинуть рот для того, чтобы группировкою разносторонних мнений выработать возможно лучшее понятие о том, чем и как литература может служить народу, оставив ему полную свободу разумно действовать развязанными руками и петь какие угодно песни. Появилась, например, в "Русском вестнике" статья о беспомощности русского народа в болезнях; статья очень гуманная и вызывающая на размышление о печальной, беспомощной гибели народа нередко от самых ничтожных болезней, тогда как есть все средства помочь этому народному горю: борзописцы – ни слова, несмотря на то, что и горе народное ужасно, да и автор просит сказать слово: чем кто думает пособить этому горю. Такими делами наши народники не занимаются; науки, дающие способ изыскивать средства к удовлетворению народных нужд, ими "переварены и выкинуты"; в них нет места мысли о благоустройстве народного быта, а есть только сочувствие к тому, что давно минуло и что никогда не было источником счастья, но часто было виною народных бед. Они не размышляют о том, что опередившие нас на пути цивилизации народы счастливее нас в домашнем быту и что если при тех условиях, какими мы пользуемся, благодаря нашему простору и хорошему складу русского ума, мы усвоим себе то, что в других местах дает счастье и радость, то от этого мы не перестанем быть русскими.

Нам незнакомы самые обыкновенные приемы, которыми другие народы начинали помогать общественным нуждам; мы не можем похвалиться изобилием таких гуманных личностей, каковы Елисавета Фрей, Роберт Оуэн и лорд Астлей (граф Шевтсбери); наши филантропы частенько не могут не видать в делах благотворения ступеней к удовлетворению собственного самолюбия, но пора же нам убедиться хоть чужими примерами и поучиться любить народ и служить его нуждам и страданиям так, как служили своему народу Фрей, Оуэн и Астлей. Пора нам послужить народу своими небольшими знаниями, а не смешить его своей невежественной болтовней и уверениями, что нам гражданской мудрости не у кого учиться. Народ сам чует, что ему многое можно позаимствовать у людей, у которых известные формы гражданской жизни выработаны сознательнее, чем у нас – славян. Он хочет жить безобиднее, довольнее и счастливее, чем во времена достославных героев эпохи драк и насилий. Он сам видел много гадкого, смрадного и циничного; в массе он чувствует этот смрад и силится освободиться от деморализации, которая окружала его в прежнем быту, и никогда не возвращается к обычаям того времени, когда художественные натуры влеклись в леса дремучие да на большие тракты торговые. Восторгаться картинами этого художественного века и воскрешать эти картины в воображении младенчеству народа грешно и стыдно. Это непростительное легкомыслие, чтобы не сказать больше, и ему могут давать волю только такие близорукие умы и художественные натуры, которыми не по дням, а по часам богатеет наша несчастная журналистика.

Пора бы нам забыть личные счеты, симпатии и антипатии и начать служить народным интересам на основании данных, представляемых историею других народов, а не изощряться в ругательствах, – право, пора. Иначе не мудрено, что само общество,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
сам народ станет смеяться над литературой, и ругателям придется услышать что-нибудь вроде того, что

Вы любите в шуты рядить –

Извольте ж на себе примерить.

Хвастаться своим невежеством небезопасно. “Подъявый меч мечом и погибнет”; невежество может сокрушиться другим невежеством, и вместо добрых семян почва может покрыться тернием и волчцом, под которыми глохнет все, дающее счастье и светлые дни для народа. Нечего нам хвастаться наглостью: никто и не оспаривает у нас права на эту добродетель. Нечего нам смеяться; смех наш не гомерический хохот – это смех идиота, которому показывают палец; нечего нам и ругать друг друга за мнения, во-первых, потому, что всякий может ошибаться и что свобода мнения уважается самыми счастливейшими народами, у которых нам многому не грех поучиться; а во-вторых, потому, что у нас нет мнений выработанных и что нам нужно заботиться о самой широкой разработке свободных мнений во всем, касающемся дел нашей жизни, а не накидываться на каждого говорящего, как на личного врага. Кто ставит неприкосновенность своего слова выше общественного блага и ругается с тем, кто заметит его ошибку, тот не друг своего народа, не преданный сын своей страны, и ему нечего драпироваться в народность. Народный слуга не позволит себе ради своего ничтожного, личного самолюбия отклонять читателей ругательствами и софизмами от внимания к мнению своего противника. Пользоваться неразвитием общественных вкусов и понятий и стараться морить общество со смеху, когда нужно говорить о деле, – недостойно литературы, от которой в настоящее время русская жизнь вправе требовать серьезного служения ее интересам.

О ПРИВИЛЕГИЯХ ПО ПОВОДУ СТАТЬИ “НОВОПОДНЯТЫЙ ВОПРОС ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ПРИВИЛЕГИЙ” (“Вестник промышленности”. 1861. № 9)

Между нашими последователями новых экономических учений “Вестник промышленности”, издаваемый в Москве гг. Чижовым и Бабстом, пользуется репутацией несколько консервативного экономического журнала. В числе напечатанных в нем статей указывают на статью, высказывающие симпатию охранительным торговым законам и вообще промышленному протекционизму. Вследствие такого убеждения статьи “Вестника промышленности” встречаются нашими экономистами совершенно не с тем чувством, с каким встречают их представители наших торговых и промышленных классов, сердцу которых близко всякое слово, отвечающее их любви к охраняемым мерам внутренней торговли. Поэтому никто не сомневался, как взглянет редакция этого журнала на новоподнятый сэром Уильямом Армстронгом вопрос о привилегиях. Все думали, что “Вестник промышленности” скажет свое слово за привилегии, и не ошиблись; он сказал это слово, но сказал его с таким достоинством, с таким знанием дела, что статью, помещенную им по этому вопросу, нельзя не считать одною из самых замечательных статей нашей периодической литературы, хотя главный ее интерес заключается в компиляции мнений, выраженных английскими журналами. Считаю необходимым познакомить читателей “Книжного вестника” с этой статьею в связи с существом самого вопроса о привилегиях и постараемся сделать это знакомство настолько полным, насколько это возможно в целях нашего издания и в коротком очерке. Важный вопрос о привилегиях поднят 5-го августа сэром Уильямом Армстронгом на митинге инженер-механиков в Шеффилде. С. У. Армстронг (президент инженер-механиков) того мнения, что изобретатели сами терпят от излишнего покровительства их изобретениям. Он думает, что им было бы лучше лишиться этого покровительства. Говоря по опыту (которому “Times” придает огромное значение), Армстронг утверждает, что изобретатель со всех сторон загроможден привилегированными изобретениями, которые не будут введены в действительную жизнь людьми, получившими на них привилегию, но были бы тотчас приложены к делу, если освободить их от монополии. Привилегии, по мнению Армстронга, не могут быть выдаваемы разве только на ту часть изобретения, в которой побеждены особенные трудности, и на то, что приносит уже пользу. Первоначальные идеи (primary ideas), по мнению Армстронга, должны быть достоянием всего человечества. Он указывает на философов и людей, преданных отвлеченным наукам, которые остаются невознаграждаемыми за свои открытия. Руководимый такими суждениями, Армстронг доходит до заключения, что можно совершенно обойтись без привилегий и что изобретателю будет гораздо лучше, когда государство предоставит ему самому право распоряжаться своим изобретением, без правительственной заботы об искусственной поддержке его ценности. “Times”, имеющий притязание на место передового органа общечеловеческого прогресса, под влиянием авторитета Армстронга, склонился в пользу его мнения о привилегиях и в большой статье, написанной по этому вопросу, высказал, что “покровительство, даруемое английскими законами классу людей, которого Уильям Армстронг – глава и украшение, хуже чем бесполезно и что начало

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru laissez aller[159] точно так же применимо к изобретениям, как и к торговле". В таком виде вопрос о привилегиях дошел к берегам Альбиона до внимания русских журналов и русских экономистов, не имеющих возможности следить за развитием его в английских практических журналах, из которых каждый принял к сердцу этот важный вопрос и высказал на его счет свое мнение. "Вестник промышленности" в 9 № поместил статью одного из своих редакторов, в которой компилировал мнения "Steam Shipping Journal", "The Mechanic's Magazine" и "The Engineer", а в конце прибавлено собственное заключение, и вопрос о привилегиях обращен к русским воззрениям и русским законам. Мнения трех вышеупомянутых английских журналов совершенно противоположны мнениям сэра Уильяма Армстронга и редакции "Times" 'а. "The Mechanic's Magazine" сознается, что "мнение, выраженное У. Армстронгом, совершенно согласно с указаниями опыта и с чувствами огромного большинства промышленного класса"; он не удивляется, что есть много людей, готовых вырвать с корнем и похоронить законы о привилегиях между самыми беззаконными системами веков варварства, потому что эта система обогащает богатого и не щадит бедного, уменьшает цену умственного труда, пятнает талантливых людей унижительным названием "прожектеров", искушает бедного человека на подделки, ставит промышленным людям горы препятствий, уносит новые производства в чужеземные страны, а суды наполняет разбором дел, которых они неспособны разбирать. [160] Словом, составляет самое страшное препятствие успехам мануфактур. Но при всем этом журнал "The Mechanic's Magazine" не соглашается, что покровительство изобретениям может быть совершенно уничтожено, и находит, что "ни те, кто знает цену умственному труду, ни те, которые делают новые изобретения, не согласятся на разрушительное предложение Армстронга. Его положение о философах и людях, занимающихся отвлеченными науками, этот журнал опровергает почестями, которые везде воздаются ученым и составляют лучшее вознаграждение, какое можно дать человеку". "Мы, – говорит "The Mechanic's Magazine", – просим изобретателям не более того, что везде дается людям науки, писателям и художникам", и в подкрепление своего мнения о правах изобретателей приводит мнение французского народного собрания (assemblée nationale), которое, несмотря на свою самую яркую враждебность всем монополиям, объявило, "что каждая новая мысль принадлежит тому, у кого она зародилась, и что не смотреть на промышленное открытие как на собственность изобретателя значило бы нападать на права человека в их основе". Каждая попытка нарушить это право будет тотчас же поражена секретами, таинственностью, скрытностью, и новые идеи будут вдвойне потеряны для общества – потеряны для современников изобретателя и еще потеряны как зародыши будущих улучшений. Изобретатели точно так же, как и писатели, не требуют почестей, они ищут только справедливости". В опровержение мнения сэра У. Армстронга относительно основных или "первоначальных идей" (primary ideas) и последующих улучшений приведено то положение, что "каждая новая идея есть основная идея и одно улучшение есть только ступень к другому". "Какую долю вознаграждения должно дать теоретику, а какую практику, – это такой вопрос, который надо предоставить собственному их решению, и ни у одной стороны собственности ее не должна быть вырываема из рук и отдаваема обществу, как предполагает сэр Армстронг". Лучший практический журнал "The Engineer" категорически опровергает речь Армстронга и мнение "Times" 'а, упрекая этот почтенный орган в том, что он, не задав себе труда разобрать, что такое привилегия, прямо охарактеризовал ее монополиею. Принимая за аксиому, что "нет такой силы, которая заставила бы изобретателя, против его воли, обнаруживать свое изобретение, и нет никакой инквизиции, которая могла бы вытащить у него описания изобретения", "The Engineer" находит, что изобретатель имеет и право, и возможность держать свое изобретение в тайне и вверять его на каком хочет условии и, следовательно, может претендовать на ограждение своего права. Так и делается помощью привилегии, "которая весьма далека от того, чтобы выражать собою королевскую или чью бы то ни было милость, а просто есть контракт", по которому изобретателю дается срочное покровительство за передачу своего изобретения в вечную собственность общества. Рассматривая вопрос о привилегиях по отношению их к обществу, "The Engineer" приводит ясные доказательства вреда, который принесет обществу уничтожение права изобретателей на право миролюбивой передачи своих изобретений в общественное пользование. Но мы, к сожалению, должны отказать себе в удовольствии подробно познакомиться наших читателей с убедительностью всех доводов, приведенных английскими журналами и нашим "Вестником промышленности". Мы, с своей стороны, ограничимся выражением того мнения, что опровергать этих доказательств мы не видим никакого основания и чувствуем необходимость смотреть на вопрос о привилегиях тем осторожным взглядом, который открывает в речи Армстронга и статье "Times" 'а увлечения и односторонность.

Мы старались сделать самые краткие извлечения из всех мнений, высказанных по

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
вопросу о привилегиях, имея в виду всю приложимость этих мнений к торговле книгами и учебными пособиями. Усовершенствования в литографическом, гравировальном и типографском искусствах находятся в положении, совершенно солидарном положению всяких усовершенствований в области промышленности, и вполне нуждаются в законном покровительстве. Но, конечно, покровительство это должно быть рациональным и справедливым, и если законы о привилегиях находятся в неудовлетворительном состоянии в Англии, где в год выдаются тысячи привилегий и где промышленность не стоит на заднем плане между разными отраслями общественной деятельности, то нам следует обратить все свое внимание на существующие у нас правила о привилегиях, выдача которых у нас зависит от департамента мануфактур и внутренней торговли.

Этим мы оканчиваем свою заметку, желая вопросу о привилегиях всесторонней разработки в нашей литературе и советуя всем, кого занимает этот интересный вопрос, обратиться к статье Ф. В. Чицова, помещенной в 9 № “Вестника промышленности”.

НЕЧТО ВРОДЕ КОММЕНТАРИЙ К СКАЗАНИЯМ Г. АСКОЧЕНСКОГО О Т. Г. ШЕВЧЕНКО
Матушка моя, дай ей Бог царство небесное, говорила: “Эй, не лги, сынок!”

В Аскоченский (Чтение для православного русского народа, составленное В. Аскоченским)

Относиться серьезно к В. И. Аскоченскому или к произведениям его пера не принято в русской литературе. Серьезное слово о нем скажет разве только будущий историк современной русской литературы, и слово то, вероятно, будет короткое, ясное, определенное; такое слово, какого вполне заслуживает редактор “Домашней беседы” и которое давно следовало бы ему сказать для того, чтобы никогда уже не возвращаться к его популярному имени. Мы должны были употребить эту оговорку, чтобы снять с себя упрек, который могли нам сделать при виде статьи, в заголовке которой стоит имя г. Аскоченского. Мы чужды всякого желания полемизировать с г. Аскоченским, ибо вполне понимаем всю бесполезность такого труда; но мы считаем себя обязанными высказать кое-что по поводу воспоминаний г. Аскоченского о недавно умершем малороссийском поэте Тарасе Григорьевиче Шевченко, которого г. Аскоченский в 33-м выпуске “Беседы” удостоил своих воспоминаний. В воспоминаниях этих почтенный писатель, с свойственной ему одному сообразительностию, хваля покойника, мазнул его такими тенями, которые, по нашему мнению, не идут для светлого облика “любого кобзаря Украины”. Но прежде чем коснемся художественного абриса, мы позволяем себе просить наших читателей обращать внимание на то, как г. Аскоченский оттушевывает некоторые стороны в Шевченке. В принятом г. Аскоченским способе расписывания заметно сильное преобладание холуйского [161] разгула кисти. Г. Аскоченский, точно как богомаз [162] холуйского уезда, станет мазать известною краскою одну фигуру, прихватит ею один бок и другой, и именно тот самый бок, которым соседняя фигура повернута к раскрашиваемому лицу. Он не избежал этого и в своих воспоминаниях о Шевченке. Растушевывая покойного поэта, он захватил своей щетинной кистью и Чужбинского, и других лиц, вспоминаемых при сей верной оказии, а что всего интереснее, замахнул и самого себя. Таковы следствия холуйского способа отделки личностей.

Воспоминания свои г. Аскоченский начинает таким приступом: “Эх, Тарасе, Тарасе! За-що менé охаяли люд (орфография “Домашней беседы”). За-що прогомоніли, що я тебе орла мого сізого оскорбів, обляяв?.. Боже ж мій милостивий! Колі ще воні не знали, де ты и як ты, и що таке, а я вже знав тебе, моего голуба, слухав твоего “Ивана Гуса”, слухав друга твои думы, которых не бросав ты, як бисер перед (нехай выбачають) свинями...” Заявив с первых строк фамильярность с Шевченко в таких выражениях, которые заимствованы самым известнейшим нашим писателем Чернышевским у известного полицмейстера, г. Аскоченский очень вяло сочиняет акт своего первого знакомства с Шевченко. Встреча эта произошла в 1846 г. в Киеве на Старом городе в квартире А-вых. Дело было после чаю, в небольшом садике. “Тарас (г. Аскоченский не изменяет интимной замашке) в нанковом полупальто, застегнутый до горла, уселся на траве, взял гитару и, брэнча на ней “не по ладу”, запел: “Ой не шуми луже””. И запел он это, по словам г. Аскоченского, дурно, но, однако, его музыкальное ухо редактора “Беседы” слышало в пении “что-то поющее, что-то ноющее, что-то задевающее”. Г. Аскоченский осведомился о певце и, узнав, что это Шевченко, “вскрикнул и в ту же минуту встал и подошел к любимому поэту “Кобзаря”” (г. Аскоченский иногда выражается, что говорят у малороссиян, “не дошмыги”). “Опершись о дерево, я стоял и слушал, – говорит он. – Вероятно, заметив мое внимание, Шевченко вдруг ударил всей пятерней по струнам и запел визгливым голосом: “чорный цвет, мрачный цвет”, пародируя провинциальных

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

певиц. Все захохотали, но мне стало грустно, даже досадно, что человек, на которого я смотрел с таким уважением, спустился до роли балаганного комедианта. Тарас положил гитару на траву и, выпив рюмку водки, которую поднес ему (тогда гимназист) П. А-ч, стал закусывать колбасою, беспрестанно похваливая ее". (Заметьте: "поднес" рюмку водки. Г. Аскоченскому он бы, разумеется, ее "подал".) Г. Аскоченского окружили дамы и просили его "спеть что-нибудь". Он сел к фортепьяно и запел: "Погляди, родимая". Шевченко стоял перед ним и пристально смотрел ему в глаза. Песня понравилась поэту; он узнал, что она сочинена г. Аскоченским, и поблагодарил его. Через несколько дней г. Аскоченский "забрел как-то на взгорье Михайловской горы" и над крутым обрывом увидел Шевченку, который "сидел на земле, подпершись обеими руками, и глядел, как немцы говорят, *dahin*[163]". Нынешний редактор "Домашней беседы" подошел к поэту; но тот его заметил только тогда, когда он "остановился сбоку". (Что за способность так незаметно подходить к человеку! Это напоминает брата редактора, доктора А. Аскоченского, который, возражая "Современной медицине" (см. № 18, 1861 г.), что врачи при наборах не берут взятки, сознается, что он "в течение восьми дней следил за дверями" одного своего собрата, и тот, надо полагать, этого не заметил. Не на своих местах эти гг. Аскоченские – таланты их гибнут.) Наконец Шевченко увидел г. Аскоченского, и тут между ними произошел следующий разговор:

"А! бувайте здоровы. Чого вы тут?" – спросил Шевченко.

Но пусть г. Аскоченский сам рассказывает:

– Того ж, чого и вы, – отвечал я с усмешкой.

– Эге! – сказал он, как будто тоном несогласия. (Он, верно, вспомнил пословицу, гласящую: "*quod licet Jovi, non licet bovi*".[164] Вы з какой стороны?)

– Я воронежский.

– Сидайте, паньчу, – сказал он, отодвигаясь и подбирая под себя полы своего пальто.

Я сел.

– То вы, мабудь, козак?

– Був колысь, – отвечал я. – Предки мои точно были казаками; прапрадедушка, есаул войска донского, звался Кочка-Сохран.

– Якій же гаспид переверну́в вас на Аскоченского?

– Того уже не знаю.

(Как жаль, что г. Аскоченский не объясняет; но относился этот его разговор с Шевченко к той поре, когда редактор "Беседы", по собственному (печатному) сознанию, имел слабость лгать. Теперь поневоле затрудняешься – верить ли тому, что г. Аскоченский был когда-то козаком, происходит от Кочки-Сохрана и, Бог весть, "з якого гаспида переверну́лся в Аскоченского".)

Беседа прервалась. Г. Аскоченский закурил сигару.

– Ой, паньчу, москаль подійде, буде вам. Г. Аскоченский засмеялся.[165] Они долго сидели молча; наконец "ходім", сказал, поднимаясь, Шевченко.

Собеседники сошли на Крещатик.

– А де вы живете? – спросил Шевченко у г. Аскоченского. – Тот ответил.

– Уа́! – сказал Шевченко, когда услышал от г. Аскоченского, где он живет, – то великий пан. Нам, мужикам, туда не можно.

– Но у этого пана, – возразил г. Аскоченский, – тоже живут мужики, и первый из них я.

– Правда? – спросил Шевченко.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
Г. Аскоченский сказал: “правда”.

– То добре, – отвечал Шевченко, и они расстались.

Это происходило весной 1846 года, но числа г. Аскоченский не упомнит, “ибо в дневнике его, откуда он заимствует все это, дни и месяцы не обозначены”.

Для исторической верности и полноты обстоятельств долгом считаем прибавить к этому от себя, что в то время, к которому относится настоящий рассказ, г. Аскоченский жил в доме бывшего киевского военного, подольского и волынского генерал-губернатора Дмитрия Гавриловича Бибикова и занимался воспитанием его (уже умершего) племянника г. Сипягина. Возвращаемся к воспоминаниям Аскоченского.

В дневнике его опять значится, что: “26 мая (странно, откуда в этом дневнике взялось число, когда сам г. Аскоченский говорит, что “дней и месяцев не обозначал”? Неужто правнуком Кочки-Сохрана опять овладевают юные привычки?) Тарас Григорьевич был в первый раз у меня”, то есть у г. Аскоченского. Тут же были “два офицера, один армейский, а другой жандармский” и А. С. Ч-ий, с четками в руках, серьезный и неразговорчивый. Несмотря на это (то есть на что?), все были, как говорится, в ударе. Тарас, с которым я успел уже сблизиться (это – талант!), читал разные свои стихотворения и, между прочим, отрывок из своей поэмы “Ивана Гуса”. Г. Аскоченский приводит несколько стихов из этой поэмы, но, приводя их, не объясняет, что эти и некоторые другие места в этой поэме относятся не ко временам Иоанна Гуса, а к недавно прошедшему Италии, которой живо сочувствовал Тарас Григорьевич. Впрочем, читатель сам может в этом убедиться из приведенных г. Аскоченским стихов. Мы много раз слышали их и от самого автора, и от других, но никогда не могли найти в них ничего, кроме сострадания угнетенным народам Италии. Вот эти стихи:

“Народ сумуе там[166] в неволі,
А на апостольскім престолі
Чернец годованый сидит:
Людскою кровію шинкуе,
У наймі царства виддає, –
Великій Боже! суд Твій всуе
И всуе царствіе Твое”. [167]

“Не могу, – говорит г. Аскоченский, – забыть снисходительности поэта к таким убогим стихоплетам, каким был я, грешный, во время оно. (Нынче г. Аскоченский не сознает своего убожества.) Шевченко заставил меня читать тогда еще непечатанные изделия и, помню хорошо, некоторыми главами из “Дневника”, помещенного в собрании моих стихотворений, оставался чрезвычайно довольным. У меня доселе хранится рукопись этого семейного рассказа, на котором Тарас мазнул на полях следующих стихов прескверным своим почерком “спасыби паньчу””.

Здесь г. Аскоченский поместил и эти стихи, которые мы перепечатаваем, желая познакомить наших читателей с музою правнука Кочки-Сохрана:

Небесный гость-переселенец,
Лежал в объятиях младенец,
Прильнув ко груди молодой
Своей кормилицы родной, –
И мать счастливая, шутя,
Ласкала милое дитя,
И грустный взор ее (кому?) прекрасный,
Взор тихий, полный неги страстной,
Понятливо наедине (!!)
Тогда покоился на мне... [168]

“Вытянув от Тараса согласие на посвящение его имени одного из своих стихотворений, г. Аскоченский просил его написать что-нибудь и себе. Шевченко обещался, но не исполнил своего обещания”.

“После чаю “с возлиянием” Тарас стал веселее и, седши (орфография “домашней беседы”) к фортепьяну, начал подбирать аккомпаниман, что однако ж ему не удавалось”.

– Паньчу, – сказал он наконец, – чи не втнете нам яко́и-нибудь нашеньской?

Г. Аскоченский спел малороссийскую песню, потом г. А—ч запел – “Ты душа ль моя”. Тарас Григорьевич рассердился, сказал певцу: “дурень еси Василь”, и вечер чуть не расстроился. Но подали закуску. “Хлыснув дви-три чапорухи, Шевченко повеселел, а дальше и совсем развязался: он принялся читать стихотворения, наделавшие ему потом много беды и горя”.

Как жаль, что г. Аскоченский не говорит: каким образом читаемые у него Шевченкою стихи “наделали много беды и горя” поэту; а он, судя по тогдашнему его положению, должно быть, не лишен был об этом некоторых обстоятельных сведений. Возвращаемся к воспоминаниям:

“– Эх, Тарасе, – говорил я. – Та ну бо покинь! Ей же Богу, не доведут тебя до добра таки поганы вирши.

– А що ж мени зроблять?

– Москалем тебе зроблять.[169]

– Нехай, – отвечал он, махнув рукой отчаянно. – Слушайте ж ще крашчу.[170]

И опять зачитал.

Мне становилось неловко. Я поглядывал на соседние двери, опасаясь, чтобы кто-нибудь не подслушал нашей слишком интимной беседы. (Странное опасение! Кто ж мог подслушивать в генерал-губернаторском доме?) Вышедши на минуту из кабинета, где все это происходило, я велел моему слуге войти ко мне через несколько времени и доложить, что, мол, зовет меня к себе.... (четыре точки в подлиннике)”.

После этого маневра “гости оставили” г. Аскоченского, – а что он сделал по уходе их – им в воспоминаниях не написано.

“В июне (1846 г.), – продолжает г. Аскоченский, – не помню которого числа, зашел я к Шевченку, в его квартиру на Козьем Болоте.[171] Жара была нестерпимая. Тарас лежал на диване в одной рубашке. Сняв с себя верхнее платье, я повалился на кровать. Разговаривать не было никакой возможности: мы просто разварились. Отдохнув несколько, я принялся осматривать все окружающее меня: бедность и неряшество просвечивались во всем. На большом столе, ничем не покрытом, валялись самые разнородные вещи: книги, бумаги, табак, окурки сигар, пепел табачный, разорванные перчатки, истертый галстук, носовые платки – чего-чего там не было!” Странно, что г. Аскоченский отказал себе на сей раз в удовольствии высчитать “чего-чего там не было”. Или уж претить стало. “Между этим хламом разбросаны были медные и серебряные деньги и даже, к удивлению моему, один полуимпериал. В эту пору (то есть во время обзора) подошел к окну слепой загорелый нищий с поводырем. Я встал и взял какую-то медную монету, чтобы подать.

– Стойте, – сказал Тарас, – що це вы ему даєте? Я сказал.

– Э-ка, зна що!

И в ту ж минуту, встав с дивана, взял полуимпериал и подал его нищему. Слепец, ощупав монету и спросив о чем-то своего поводыря, протянул руку в окно с полученным полуимпериалом.

– Спасыби вам, пане, але я такой не визму, нехай їй всячина! У старцив таких грошей не буває. Визमितь їи собі, а мени дайте шмоток хлиба, чи що”.[172]

Тарас дал ему полтинник, нищий, постояв и подумав немного, пошел от окна, бормоча молитвы и разные благожелания”.[173]

Этими сценами оканчиваются воспоминания г. Аскоченского о встречах с Шевченко в Киеве, и он переходит прямо к 1856 году. Автор встречается с Шевченко в его квартире, в Академии художеств, и сообщает ему о плане “Домашней беседы”. “Узнав от меня, что я издаю “Домашнюю беседу”, Тарас сказал: “добре”; но когда я изложил перед ним мои убеждения и цель, к которой я решил идти не спеша, Тарас сделался серьезен и, оттягивая огромные усы, проговорил: “Трудно вам против рожна прати”. Холодно и бесчувственно слушал он после этого мои воспоминания и каждым движением показывал, что я, как будто, ему в тягость. На прощание я просил его бывать у меня, но Тарас Григорьевич отвечал мне отрывисто: “Я не

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
выхожу никуда; прощайте”.

В последний раз я встретился с ним летом прошлого года на Загородном проспекте, но... лучше б мне не встречаться”.

Засим следует оценка характера Шевченки, жалоба на “прогрессистов и цивилизаторов, которые сбили его с панталыку, да на обстоятельства неблагоприятные, которые ожесточили его впечатлительную душу”; несколько слов о том, зачем перевезли его тело, и затем благожелания всего доброго Шевченке на том свете.

Вот почти все, что Г. Аскоченский старался сказать о своем знакомстве с Шевченко. Что он хотел сказать своими воспоминаниями – весьма понятно, но весьма понятно и то, что говорит в них Г. Аскоченский нехотя. Или Г. Аскоченский уже очень неловок, или же он хотел вспомнить покойного Шевченко так, как он способен вспоминать людей, “сбитых с панталыку современным прогрессом”? Мы не хотели допускать первого, мы верили, что в Г. Аскоченском очень много сообразительности; но мы должны в этом усумниться. Г. Аскоченский в своих воспоминаниях поставил себя в таком свете, в каком стоят в наше время лица, не пользующиеся ни тенью уважения и симпатии. Личность Шевченки от его воспоминаний нимало не проиграла. В нем всякий мало-мальски разумный человек и теперь не перестает видеть поэта, человека, преданного своей идее и готового открыть свои объятия всякому, кто казался ему способным сочувствовать этой идее. Ошибки Шевченки в этом роде были нередки, и большинство их принадлежит именно к той эпохе, когда он читал Г. Аскоченскому в той же самой киевской квартире, где Г. Аскоченский принимал его, свои поганые вирши. Он действительно увлекался до смешного и верил, что

Кому щасте, так уж щасте,
А слезы, так слезы

Он не был хитр. Даже в последнее время, когда он пережил обстоятельства, описанные им в дневнике (см. “Основа”), он не сделался особенно пронизательным: он стал только несколько осмотрительнее. Г. Чужбинский рассказывает о своей встрече с ним после возвращения поэта в Петербург. Шевченко встретил его холодно и вел разговор на вы, а известно, он ничего не имел против Чужбинского. Многими замечено, что Шевченко принадлежал к числу тех странных людей, которые сближаются и, в известной степени, доверяются человеку прежде, чем успеют хорошенько узнать его характер и крепость его убеждений. Знакомств, составленных таким образом, у Тараса Григорьевича было бесчисленное множество, и некоторые из них завязаны даже после возвращения его в Петербург, то есть в ту пору, когда он называл себя в шутку “многоопытным”. Расскажу один такой случай, который относится к последней побывке его на Украине. Это было очень недавно, менее двух лет. Тарас Григорьевич, возвратив себе звание академика, исходатайствовал и позволение повидаться с своими родственниками, бывшими тогда в крепостном состоянии. В Киеве он остановился у художника Г-ского и у него познакомился между прочими лицами с Г. N, человеком очень радушным и хлебосольным, но совершенно необразованным и чуждым всяких убеждений. Тарас Григорьевич после двух-трех свиданий нашел, что в этом человеке и “в его жинке” бьются очень теплые сердца и что они люди без онеров. Он стал посещать их. В одно из таких посещений, если не ошибаюсь, вскоре после того, как он не совсем обыкновенным образом возвратился в Киев из Каневского уезда, у Г. N собралось несколько приятелей. Засиделись до поздней ночи. Часу в 3-м Тарас Григорьевич вдруг собрался домой, – его уговаривали посидеть еще. Он едва согласился, но, подождав несколько минут, снова встал и решительно начал прощаться. Показалось ли ему что-нибудь не по обычаю, или просто он не хотел сидеть, Бог его знает, но только простился и пошел к воротам. Ворота были заперты, и хозяин, в порыве своего странного хлебосольства, не велел отпирать их Шевченке, уговаривая Христом-Богом возвратиться в комнату. Но это было уже невозможно. Услыхав приказание “не выпускать со двора”, Тарас Григорьевич пришел в такое неописанное состояние, что хозяин, несмотря на всю свою недалекость, должен был поспешить отменой этого распоряжения. Пока разбудили дворника и отперли ворота, Тарас Григорьевич стоял у ворот, ни за что не хотел войти в комнату, не хотел слышать о том, что ему запрягут лошадь, и без калош пошел по грязи домой по узенькому немощному переулочку, который окружает Софийскую ограду. Все думали, что это каприз, не имеющий никакого основания; но не тут-то было.

В ноябре или декабре того же года, возвратясь один раз в свою квартиру, в доме Кохендорфера на Невском проспекте, я застал у себя Г. N, который после

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

нескольких слов сообщил мне о причине своего приезда из Киева и рассказал, что он уже успел побывать у Шевченки; но не застал его дома и оставил свою карточку. N был первый раз в Петербурге и, кроме меня и Шевченки, у него не было в столице ни одного знакомого человека, а потому, пообедав вместе, мы отправились к Тарасу Григорьевичу. Дверь его опять была заперта. Я возвратился домой и сел за работу. Часов в 11 звонок. Отворяю дверь – Тарас Григорьевич, и сердитый. Первый его вопрос был: “N приехал?”

– Да, приехал, – отвечал я.

– А вы откуда знаете?

Я рассказал.

– То это вы с ним у меня были? – Шевченко сделал усиленное ударение на слове вы.

– Ну, да, я.

Тарас Григорьевич плюнул, снял шапку и, не скидывая калош и шинели, сел на диван.

– Скажите же мне, пожалуйста, – спросил он, – добре вы знаете N?

Я отвечал, что я его давно знаю.

– И як слід знаете?

Мне стало странно. Я действительно давно знал N, но знал его как субъекта совершенно неинтересного и никогда не задавал себе о нем никакого вопроса. Однако я рассказал, что я о нем думаю.

– А больше ничего? – допытывался Шевченко.

– Ничего. А вы больше разве знаете?

– А то-то и ба! – и Шевченко рассказал мне только что описанный хлебосольный прием. Тут только разъяснилась мне причина его ночного бегства, о котором мне незадолго перед тем рассказывал один приезжавший из Киева знакомый. Дело в том, что в числе собеседников был один господин, с которым Тараса Григорьевича познакомили как с старым приятелем, не сказав, “что оно такое и чем оно смотрит?” Господин, о котором говорил Шевченко, был именно “оно”. Его, кажется, никто не считал вовсе за человека, но его принимали во многих домах известного круга; и он везде пил и, где было чем, там всегда напивался. Тарас Григорьевич не раз его видел; но в нем никогда ничего не видал, а тут вдруг, в 3-м часу ночи, явилось убеждение, что с этим господином приятельская беседа невозможна, что он его непременно скомпрометирует, и даже “на то пришел, а хозяина в помощники взял”.

Я был вполне убежден, что это опасение не имело никакого основания; но, к крайнему удивлению, несколько ошибся. Будучи через год в Киеве, я узнал, что насчет хозяина Тарас Григорьевич положительно погрешил, но в госте часть не ошибся.

Я привел этот случай с намерением показать, что заискать у Тараса Григорьевича доверия в той мере, в какой успел снискать его во время оно г. Аскоченский, не было особенно трудно. Шевченко был человек сердечный и художник. Этого, полагаем, довольно, чтобы сказать, что он мог ошибаться легче, чем многие люди, занимающиеся иными художествами, не преподаваемыми в той Академии, из которой вышли Шевченко и Иванов.

Вникая глубже в самую суть воспоминаний г. Аскоченского о Шевченке и стараясь читать их по строкам и между строк, становишься в тупик: действительно ли Тарас Григорьевич когда-нибудь симпатизировал г. Аскоченскому или он только всматривался, “що воно таке?”, и всмотрелся уж тогда, когда правнук Кочки-Сохрана рассказал ему план своего литературного предприятия. Судя по тону, которым написаны воспоминания г. Аскоченского, можно полагать, что покойный Шевченко никогда не считал г. Аскоченского своим человеком, но только сомневался в нем. За это предположение говорит то, что Шевченко величал г. Аскоченского в

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

разговоре панычем, смеялся над тем, что он знает, что нужно подать бедному и что оставить себе, и читал ему свои “поганные вирши” только потому, что не подозревал в г. Аскоченском прорицателя, когда тот предсказывал ему, чем он может сделаться. Трудно верить, чтобы Шевченко не выразумел г. Аскоченского после вечера в доме великого пана, откуда редактор “Домашней беседы” выпроводил своих гостей, приказав человеку “доложить себе, что, мол, зовет к себе...” (точка подлинника).

Но этому предположению противоречит нижеследующее место из воспоминаний о Шевченке г. Чужбинского: “К этой же эпохе (говорит г. Чужбинский, описывая киевскую жизнь Шевченки) относится наше знакомство с г. Аскоченским, ныне редактором слишком известной “Домашней беседы”, а тогда экс-профессором духовной академии и воспитателем генерал-губернаторского племянника [174] и поэтом: так по крайней мере некоторые звали его в Киеве. Редактор “Домашней беседы” не обнаруживал тогда духовной нетерпимости и не предавал еще анафеме всего светского и современного, как делает это в настоящее время, но, настроив свою лиру на элегический тон, бряцал по ней весьма чувствительные песни. Сей муж, карающий сурово все живое и мыслящее, смотрящий на произведения искусств сквозь мутные очки средневекового аскетизма, горячо вступающийся за юродивого Ивана Яковлевича, читал нам свои стихотворения, выражавшие земные страсти, и, надо отдать ему справедливость, не обнаруживал стремления, которое могло бы обличить в нем будущего редактора издания, не имеющего никакого литературного достоинства. Я упомянул об этом потому, что, свидевшись после долгой разлуки, Тарас Григорьевич с удивлением сказал мне:

– А знаешь ты, що “Домашню беседу” выдае той самой Аскоченский, которого мы знали у Києві! Чи можно було надіятись?”

Этот вопрос показывает, что Шевченко долго после своего выезда из Киева оставался в убеждении, что г. Аскоченский не может сделаться тем, чем его угораздило сделаться. Впрочем, это становится понятно, когда припомнишь, что киевское знакомство Шевченки с г. Аскоченским относилось к той эпохе, когда сей последний, в качестве воспитателя генерал-губернаторского племянника, являлся в низшие сферы только в минуты поэтического вдохновения, пел, читал, слушал, что пели и читали другие, и удалялся с запасом всего услышанного. В это время г. Аскоченского действительно многие считали отъявленным либералом и не умели заметить в нем “духовных” наклонностей. Г. Аскоченский сделался менее загадочным уже тогда, когда над Шевченком сбылись его пророческие предсказания, когда судьба кинула его в те суровые края, где писаны помещенные в “Основе” листы его дневника. В эти дни осуществления пророчеств г. Аскоченского резко изменилась его собственная судьба. Сначала он перестал воспитывать генерал-губернаторского племянника, потом удалился из Киева в другой губернский город киевского генерал-губернаторства и занял там видное служебное место; потом вскоре потерял это место, взяв другое, которое тоже должен был оставить, и, возвратясь в Киев, поселился у священника Г. Ж-ва. Тут г. Аскоченский стал известен в академическом церковном хоре. Долго он спевался и наконец спелся.

Написав историю Академии и книгу о Якове Космиче Амфитеатрове, он нашел лиц, содействовавших сбыту этих интересных сочинений. По мере того как он спевался, люди все ближе знакомились с его способностями петь разные песни и наконец оценили его по достоинству. По мере того как г. Аскоченский становился чужд старым знакомым, у него скреплялись новые связи, и узел этот затягивался им в Киеве до тех пор, пока в один прекрасный день он “увидел слезы добрых сограждан (то есть новых), сам заплакал и удалился из Рима”. Конечно, он удалился, “напутствуемый такими благожеланиями”, которые дали ему возможность завести свой “духоярый” журналец. Шевченко не видал этой метаморфозы. В то время, когда Шевченко был учителем рисования в Киевском университете, г. Аскоченский еще не был открытым ренегатом. Но я пишу не воспоминания о г. Аскоченском. Для этого труда еще не настало время; он совершится во время благопотребно. Я только хотел сказать тем, кто не знал покойного Шевченко, что знакомство его с г. Аскоченским завязалось в те времена, когда правнук Кочки-Сохрана казался для всех своих знакомых вовсе не тем, чем он кажется теперь, чем, может быть, он и был тогда, но чего нельзя было в нем провидеть, потому что он, воспитывая генерал-губернаторского племянника, не печатал своих воззрений, а только записывал их в дневник. Шевченке до самой смерти его оставалось очень многое непонятым из того, что способствовало исполнению над ним известного пророчества г. Аскоченского, и в этом смысле киевский дневник редактора “Домашней беседы” должен быть очень интересен для истории Шевченки и других замечательных

личностей, воспоминание о которых связано с именем Шевченки. Это убеждение многих украинцев, рассматривающих судьбу покойного поэта в связи с киевским положением г. Аскоченского и с направлением, которое обнаружилось в этом русском писателе во время жизни его в Житомире и Каменце-Подольском. Не могу рассказать всего того, что приходит в голову при этих воспоминаниях, но смею уверить редактора “Домашней беседы”, что покойный поэт очень хорошо понимал его и уклонялся от встреч с ним вовсе не потому, что “его сбilo с панталыку столкновение с современными прогрессистами и цивилизаторами”, и даже не потому только, что “обстоятельства неблагоприятные ожесточили его впечатлительную душу”, а потому, что Шевченко никогда не симпатизировал людям того закала, к которому принадлежит г. Аскоченский. Шевченко не был человеком, “ожесточенным” обстоятельствами. Он умел прощать многое. Его гуманная натура, как заметил г. Чужбинский, старалась извинить в людях все, что только как-нибудь можно было объяснить не совсем в другую сторону. Но он не мог выносить сношения с людьми, которые сделали ему не по душе. Он бежал от них по тому же самому чувству, по которому бежал из дома уездного аристократа, побившего при нем своего крепостного мальчика. Шевченко был человек чувства. Увлечения Шевченки понятны точно так же, как понятны неразборчивость или разборчивость г. Аскоченского в выборе места для интимных бесед. Тем, кто знает г. Аскоченского и Шевченко, – понятно многое... непонятно только: с какою целью сообразительный редактор “Домашней беседы” придал такой тон своим воспоминаниям о покойнике. К чему он употребил слово “Шевченке поднес водки”? К чему эти недомолвки: “В последний раз я встретился с ним летом прошлого года на Загородном проспекте, но... лучше бы мне не встречаться с ним”? Что хотел сказать этим г. Аскоченский? Надо было уж договорить. Ведь он не договорил этого, верно, не по чувству деликатности и “благожелания” покойнику. Допустить такого предположения невозможно, потому что “сообразительный” редактор неспроста напечатал, что он видел Шевченка так, что “лучше бы не встречаться с ним”. Напрасно не досказал, что заставило его пожалеть о встрече с Шевченко. Речи ли повел покойник вольные или отвернулся от паныча, или правнуку Кочки-Сохрана просто не понравилось, зачем его “голуб” шел по Загородному проспекту, а не по Цепному мосту. – “Бог его зна церковный”. Но ведь нельзя же было ходить Шевченке только там, где петербургские стогны присещает свет лица г. Аскоченского. А других художеств, за которые “лучше бы не встречаться” с Шевченко, никто за ним не знает, и никто из всех, знавших и любивших его до последней его минуты, не решится указать в нем такого пятна. Никто из хороших людей никогда не избегал с ним встречи: его любили за его талант, за его теплую, честную, беспредельно добрую натуру; его уважали за его непреклонно твердые убеждения, скорбели о нем, но... никогда никто не говорил, да и не позволит себе сказать: “лучше бы мне не встречать его”. Г. Аскоченский один может претендовать на получение привилегии за свою циническую выходку. И за что г. Аскоченский силится приложить свои руки к бедному “кобзарю”? Что сделали ему те, которые заботились отвезти тело певца Украины на его родину?

Ведь никто не отнимает права у “духоярого” редактора надеяться, что и его собственное тело удостоится после смерти сугубого почета от признающих его “учителем народа”. [175] Что тело это умастят мастьями благовонными и отвезут в Воронеж. [176] Все это может быть, и даже в порядке вещей. Положим, что почитатели Шевченки, ненавистные г. Аскоченскому прогрессисты, – люди суетные и мелкие, это они “дивят свой только муравейник”, тогда как г. Аскоченский гнушается земной славой, ищет горнего града; но чего же кипятиться-то?

Мы, однако, увлеклись тем неприятным чувством, которым переполнили нашу душу воспоминания г. Аскоченского о том, как Шевченке подносили водки, как он пил “чапорухи” и читал “свои поганые вирши”, и наконец, как его встретил правнук Кочки-Сохрана на Загородном проспекте. Довольно о нем. По тщательном соображении его воспоминаний о Шевченке с известными обстоятельствами выходит только, что г. Аскоченский еще недостаточно сообразителен; он наговорил в них (между строк) таких вещей, которых ему, наверно, не хотелось бы сказать, и оказал будущему биографу Шевченки замечательную услугу. Он собственным признанием (которое по закону лучше свидетельства всего света) доказал, как терпим и мягок был гуманный Шевченко даже с лицами, в искренность которых он нимало не верил и в несправимости которых не сомневался. Г. Аскоченский указал доверчивость и младенческую чистоту души воспоминаемого им поэта. Он указал благородную слабость Шевченки сблизиться с человеком по малейшему отклику на его симпатию, без строгого анализа искренности этих симпатий и чистоты вызвавших их побуждений. Он указал на горячее стремление поэта служить своей идее, не обращая внимания на то, какие это будет иметь для него последствия, и, наконец, поведал миру о своей способности доводить человека до совершенного к себе доверия, не

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
исключающего возможности читать перед ним “поганые вирши” там, где их читать не полагается.

Окончим нашу статью – для читателей – напоминанием, что г-н Аскоченский, по собственному его признанию, в молодости был склонен ко лжи и что ложь принадлежит к числу пороков, от которых отвыкать необыкновенно трудно. А для г. Аскоченского прибавим, что на свете еще живут люди, которые могут написать свои достоверные воспоминания и о самом г. Аскоченском, и что тогда он вживе стяжает себе сугубое значение. А эти воспоминания прочтутся всеми с таким же любопытством, с каким прочтется обнародование верного средства к истреблению клопов, мокриц и саранчи. Мы уверены, что кто-нибудь не откажет г. Аскоченскому в этой услуге. Пусть Виктор Ипатьевич тверже помнит слова своей покойной родительницы, говорившей ему: “Ей! не лги, сынок”.

О РУССКОМ РАССЕЛЕНИИ И О ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ
(Заметка на статью “Вопрос о колонизации”. Время. № IX. Смесь)
Ошибка их заключается не в том, что они забиваются в один какой-либо угол ведения, а в том, что в этом-то углу они думают найти решительно все.

Предисловие к переводу риттеровой “Истории новой философии”
“Время” в сентябрьской книге обратило внимание на прения, происходившие несколько месяцев тому назад в Политико-экономическом комитете Географического общества по вопросу о колонизации. В статье, посвященной обсуждению этих мнений, очерчен самый характер дебатов и сделаны замечания на слова некоторых лиц, принимавших участие в решении вопроса о переселении. Совершенно разделяя взгляд этой статьи на общий характер комитетских рассуждений, я вполне согласен, что “прекрасное начинание много потеряло от отвлеченности и бессистемности прений”. Но я далек и от мысли безусловно отрицать относительную пользу прошлогодних заседаний комитета и разделяю сожаление многих о том равнодушии, с каким прошла “мимо них” наша периодическая литература. Впрочем, цель моего письма заключается вовсе не в определении значения комитетских заседаний, а в пояснении моей мысли о ходаках.

Автор статьи, помещенной в сентябрьской книге “Времени”, сказал, что я и г. Тернер говорили в комитете “о необходимости предоставить передовым колонистам, ходакам, так сказать, соглядатаям всего переходящего населения, выбор мест для колоний – и никому больше”. Формулировав таким образом наше мнение о ходаках, автор заметил непрактичность этого предложения и указал на средства более современные: на хорошие описания.

Очень жаль, что у меня нет под руками протокола, в котором записаны слова, сказанные в комитете при обсуждении вопроса о колонизации, а без него я не могу утвердительно сказать, какое значение придавал ходакам г. Тернер; но я очень хорошо помню случай,

побудивший меня поставить существование ходаков на вид собрания ученых экономистов. (О необходимости ходаков или о необходимости предоставить выбор мест “им и никому больше” я, помнится, не говорил.) Повод к указанию комитету на ходаков, надеюсь, освободит меня от упрека в непрактичности, замеченной автором прекрасной статьи, напечатанной во “Времени”.

Во время прений о способах колонизации я имел случай указать на некоторые стеснительные правила, запрещающие у нас переселения без исполнения натуральных и денежных повинностей по месту прежнего жительство; приводил затруднения переселенцев в получении разрешения на переход и неудобство самого перехода под правительственным покровительством и упомянул об осязательных преимуществах коммерческого способа колонизации перед тем, в котором принимают участие различные чиновники. Некоторые из лиц, присутствовавших в этот раз в комитете, решительно отвергали возможность допущения у нас коммерческого способа переселений. Опровержения их основывались на том, что в чужих странах, где допускается такой способ колонизации, обыкновенно являются спекулянты и, с своекорыстными целями, возбуждают народ к переходу в такие места, переселение куда более отвечает видам переселяющих, чем интересам переселенцев. Зная, что в истории иностранной колонизации такой факт действительно существовал, но не видя никакого основания предполагать этот факт необходимым условием коммерческого способа колонизации, особенно у нас, где идет речь не о заморской колонизации, а о расселении по лицу земли русской, я позволил себе сказать, что эти опасения недостаточны для того, чтобы отрицать возможность у нас коммерческого способа

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
переселений, и указал на ходоков, посылкою которых крестьяне ограждают себя от неосторожных увлечений, вообще мало свойственных нашему народу, недоверчивому вследствие причин, сопровождающих его гражданскую жизнь. Таким образом, я не говорил о необходимости ходоков, но самым существованием их, вследствие народного недоверия к слухам и книгам, которые “господа пишут”, старался доказать безопасность допущения у нас коммерческого способа переселений.

Я, может быть, заблуждаюсь, веруя в пользу допущения у нас коммерческого способа переселений, и буду очень признателен редакции “Времени”, если она позволит мне (в видах возбуждения этого вопроса в литературе) несколько развить мою мысль о преимуществах коммерческого способа переселений перед известными у нас способами и при этом случае сказать кое-что о некоторой пригодности ходоков.

Оставляя в стороне рассматривавшиеся в комитете вопросы: уместно или неуместно желать у нас выселения из срединных мест империи к ее окраинам (потому что считаю бесполезным говорить о несправедливости препятствовать раздвижению народонаселения, которое, вследствие своего незнакомства с успехами высшей агрикультуры, находит, что ему стало тесно), я буду говорить с точки зрения человека, полагающего, что выселению, точно так же как и всякому свободному проявлению народного желания, – должно способствовать. Свободные переселения нельзя относить к явлениям беспричинным и неразумным.

Сколько я понимаю дух наших законов, в них не встречается никакого намерения противодействовать передвижениям свободных сословий. Но некоторые последующие административные постановления не только не клонились к предоставлению народу всех средств расселяться сообразно своим вкусам и желаниям, а, напротив, задерживали его в этом стремлении. Я не стану распространяться о том, что места, заселением которых особенно заботится правительство, очень нередко не нравятся народу [177] и что потому заселение их, совершаемое при одном содействии льгот и привилегий, непрочное; а заселение, совершаемое тем путем, которым несколько лет назад переселены однодворческие крестьяне, дает самые печальные результаты. Обращаясь прямо к местностям, на заселение которых есть охотники, рассчитывающие там жить, а не “обольготиться”. При переселении в такие “облюбованные” места народ наш встречает три главнейших затруднения, из которых первое заключается в недостатке полных и достоверных сведений о естественных средствах страны, второе – в неприменном обязательстве исполнить перед выселением некоторые тяжкие, а иногда и невозможные условия и третье – в недостатке денежных средств для передвижения с старого места на новое.

В первом затруднении, или первом горе, то есть недостатке сведений о местах, удобных для заселения, крестьяне, не доверяющие в своей патриархальной простоте книжкам, “которые господа пишут”, сами себе помогают, посылая доверенных ходоков, взгляды, вкусы и соображения которых в той самой мере сходны с понятиями переселенцев, в какой тождественны их общие интересы. Когда у нас появятся ясные, полные, верные и удобопонятные для народа описания открытых для заселения мест, тогда, может быть, народ не станет и посылать своих ходоков. Но для этого нужно не только чтобы были основательные описания, но и чтобы народ убедился в их основательности, – а это еще “улита едет, когда-то будет”. Кроме того, срединные места нашей империи стоят вовсе не в тех отношениях к своим пустыням, в которых находится Англия к своим заморским колониям. Там путь к этим колониям известен и расходы и затруднения, нужные для совершения этого пути, могут быть приведены к определенной норме; а у нас совершенно иное дело. Как у нас совершаются переселения? “Облюбовали” мужики новое место, вымолили себе право на переселение, “выправили бумаги”, поскорее распродадут избы, громоздкий скарб, поклонятся стариковским могилам, уложатся на возы, отслужат молебен “на путь шествующим” – и потянутся с старого пепелища длинным обозом. Тянутся они долго, долго. Не одного старика, не одного младенца зароят по дороге, а сами все тянутся журавлиною вереницею. Проходят они и грады, и веси, и хотя не останавливаются в городах, даже лошадей в них не кормят, а все-таки во всяком из них порядок соблюдают, начальству кланяются. Стоят же они за заставами, на городских да на сельских выгонах, где и утомленные кони погложут сожженной солнцем и вытопанной травки, и бабы малых детей на бережку обмоют, а ребятишки щавелю или сныти нарвут на хлебово, а баранков или сербигузу на десерт. Тут же и складчина собирается на свидетельство о “ненасильственной смерти” скончавшегося от нудьги путника. Где же, в каком описании все это опишешь и вычислишь? А ходок – живой человек: он все сообразит, все расскажет, где есть какие дорожные удобства, где какие люди живут и какие порядки начальство наблюдает. Написать всего этого нельзя, никак нельзя, да и никто не поверит.

Иного же способа переселений у нас почти нет, да и в тех редких случаях, где возможен иной способ переселения, крестьяне его не только не любят, но даже всячески стараются избегать. Я был свидетелем большого переселения крестьян из Орловской губернии к Жигулевским горам и в саратовские степи. Часть переселенцев отправилась по Оке на барках, а остальной части было предоставлено идти обозом. Те, на долю которых выпал сплавной путь, смотрели на свою “нагрузку” на суда как на тяжкую обиду и на ужасное горе; а дорогою набрались с ними всякого горя и те, кто сопровождал их по Оке и Волге. Плач, сетования, ссоры и побегии не прекращались во все время плавания, тогда как другая партия, снятая с одного и того же места, но пущенная на своих подводках, как переселенцы выражались: “повольно”, переносила свое произвольное переселение гораздо покойнее и почти не жаловалась. По мере удаления от старого пепелища и от тяжелых впечатлений произвольной разлуки с “сродственниками” мужики становились все веселее и с теплым упованием смотрели на свое будущее. Тут очень много значит, что крестьянин, сплывая на барке, лишен возможности забрать с собою многое, с чем он не хочет расставаться. На своей лошаденке, с которою он тоже свыкся и не хочет ее покинуть, он везет все, что можно уложить на телегу: и ложку, и плошку, и стан колес, и корыто, и баб, и детей. Кроме того, на барке ему скучно, он идет не “повольно”, он ежеминутно чувствует порабощение своей soi-disant[178] “художественной природы” непривычными порядками, чувствует себя в команде; а спокойствие, которое представляет сплавной путь перед гужевым, он ни во что не ценит. Даже более: он тяготится этим спокойствием; оно ему противно.

В обозе он “козакует”; с детским любопытством он всматривается в новые места и в новых людей; толкует, какая “губерния” (то есть какой губернский город) лучше, а какая хуже супротив его старой “губернии”. Запримечает, чего, например, не любит мордвин или что любит татарин, где какие горохи, где какая картошка родится. Все это его занимает, обо всем он промеж себя всласть натолкуется и настроит разных предположений, что вот “кабы тут жить, каково бы жилось?” А на барке он лишен этого удовольствия, тоскует о нем, сердится сам и сердит других. В обозе он с изумительным терпением сносит все, и все ему нипочем; на барке ему все в тягость. Измочит его в обозе дождь, слякоть в колено растворится, небо серое, обогреться и обсушиться негде, продрогшие ребятишки поднимут писк... но все это еще не угнетает привычной к страданиям души переселенца. Он наденет себе на плечи старый рогожный куль и, насупив брови, шагает по дорожному “протуару”; но он не сердит. Он готов разговаривать и о том, какие господа бывают на белом свете, и отчего Симка в “вошпитале” помер, и как его в этом вошпитале “потрошили”, или же “как черт шутки шутит”. И ничего! Ни на что он не жалуется, и не скучно ему. Ночлег на мокром выгоне, под рваную свитенку – штука некомфортабельная, но мужичок и о ней мало заботится. Бабу с ребятами на телеге лубком накроет, а сам прислонится на корточках к оглобле или к колесу, подберет под локти свой рогожный плащ, надвинет на брови шляпенку да так и подремлет чутким сном до тех пор, пока на востоке забрезжится первая светлая полоска ранней зари. Да и велика ли летняя ночь тому, кто днем намаялся и спит только одним глазом, а другим смотрит, “как бы чертов цыган коня не схимостил или хвост не отлямчил?” А пошлет господь наутро ведрышко – в обозе рай пресветлый: вчерашняя нудьга забыта, на сердце светло, как на небе. Переселенцы обчищаются, оскребаются с острым словцом да с прибауточкой, самое горе-то свое осмеют и снова тянутся длинною вереницею в свой дальний путь. Дорогою тоже весело. Идет мужичок по лесу, незрелый орех найдет: сорвет его, расколупает и дает мальчикам высосать белое, рыхлое тесто сырого плода. Найдет диких пчел, достанет у них медку “губы посластить”; а нет ничего съедобного – сорвет листок с дерева, положит его на левый кулак, а правую ладонью расхлопает; либо из подорожничкового листка конька ногтем вырежет, с встречной бабой приятным словом обменяется, проезжему барину с дороги не своротит (потому – “обоз”, нельзя, значит, воротить). Все весело, не то что на барке. Опять в городах и в местечках есть базары, а до базара мужичок, как бы он ни был беден, мертвый охотник. Базар ему – первое удовольствие, потому он там купец; на базаре он дает что знает, рассуждает как вздумается. Опять развлеченя сколько: “на грош купи, на семь гривен разговора”. Что нужно и что совсем не нужно, он все поторгует. “Да ну, будет! Иди, иди, чееерт! Тебе вещь не купить. Чего зубы-то чешешь?” – урезонивает его лавочник. А он все свое, свой термин держит: “Да ты, милый человек, не ругайся. Чего ты ругаешься? – ругаться нечего. Черт нешто такой? черт черный, а я гля-кась какой? Ты вот скажи – может, и куплю. Чего не купить-то? Неш мы какие? Эва не купить!.. Скажи, милый человек, почем бесчестья-то?” И таки добьется, что “милый человек” плюнет и скажет цену, прибавив: “А вздуй те горою! Ну, полегшело?” И точно, мужику словно полегчает, и

он пойдет мучить другого торгаша, пока и у того не добьется подобного же ответа. Не думайте, однако, что во всем этом руководит мужиком одно праздное любопытство. Слова нет, “охоч он и зубы почесать”: пойдет купить пирог с горохом, а станет торговать медный кран с винокуренного завода; но он хоть и не политико-эконом, а понимает значение цен и смекает по ним, “каково тут народушку жить”. Запоминает он цены надолго с такою же почти точностью, с какою помнит их вернувшийся из посылки ходок. Идя “повольно”, обоз переселенцев часто делает в дешевых местах запасы. Так, например, отправляясь в низовые степные места, переселенцы закупают себе в Пензе или в Городищах деревянные чашки, ложки, дуги, ободья, циновки, рогожи и т. п. и везут все это на новое место, где за такие вещи, по отчету ходока, нужно заплатить впятеро, а у мужичка карман жидок. Отчетливость и соображение ходоков изумительны. Мне случилось раз на пензенском базаре спросить у кучки переселенцев из Курской, кажется, губернии: зачем они покупают рогожи в Пензе, когда им путь лежит на село Куракино, известное рогожным производством? Мужички переглянулись, послышалось: “Исправди так!” Но в то же время сортировавший рогожи ходок крикнул: “Добро! бери знай. Чего уши-то развесили? знаем мы куракинскую рогожу! Куракинская рогожа – во какая”. Он черкнул ногтем по рогоже вершков на пять от края. Переселенцы принялись набирать рогожи. После я узнал, что куракинцы действительно лучшие и полномерные рогожи вывозят в Пензу, а дома держат что похуже: “зрячий товар”. Как же после этого не держаться ходока этому народу, пока он живет еще в тех же натуральных условиях, в какие лежат натуральные дороги тех мест, которые он проходит, и где сказания о чугунках считаются менее вероятными, чем сказания о лешем и о белоарабской войне? Как же этому народу, повторяющему пословицу: “гляженое лучше хваленого”, лишить себя, при всех тягостях “повального” пути, еще и уверенности, что он идет в место хорошее, “облюбованное”, а не такое, откуда опять придется “заниматься бродяжеством” и писать к старым дворам оригинальные письма вроде тех, о которых рассказывает С. В. Максимов в своей статье о заселении Амура? Содержание же писем от крестьян, переселенных без ходоков на “необлюбованные” места, коротко и ясно: “а только нам тут уж очень плохо, и ребята все пошли наутек” и т. п.

Русское расселение, как я уже сказал, встречает еще большое препятствие в обязанности переселенцев исполнить перед выходом с старого места все свои бытовые условия в отношении к правительству: заплатить податные недоимки, поставить рекрута. [179] Первое бывает очень трудно, потому что у переселенцев, дошедших до несостоятельности к своевременному взносу податей и допустивших недоимку, не бывает никаких средств на пополнение ее в короткий срок; а второе, то есть поставка рекрута, еще тяжелее, потому что с исполнением этой повинности семья лишается работника, который ей очень нужен как на новом оседле, так и во время предстоящего пути. Правительство ничего не потеряет, отсрочив исполнение переселяющимися в пределы государства денежных недоимок и рекрутской повинности; а дело расселения от такого снисхождения много выиграет. Отсрочка рекрутчины тем возможнее, что исполнение ее требуется от семьи переселенцев, состоящей на очереди к будущему набору, стало быть, прежде, чем бы семья должна была потерять человека, если бы они снимались с места своего жительства.

Третье затруднение встречают наши переселенцы в недостатке денежных средств для передвижения и устройства себя на новом месте. Капитал крестьянина весь виден: с ним далеко не уедешь. Казенное вспомоществование (буде оно есть) рассчитано по 31/2 коп. серебром в сутки на каждую наличную душу и по 11/2 коп. серебром на версту для каждой подводы. Однако, несмотря на ограниченность этого вспоможения, министерство государственных имуществ, при всем желании быстрого заселения Амура, распорядилось, чтобы туда ежегодно шло не более 500 семейств, ибо произведение одновременного расхода на большое переселение “обременительно для правительства”. Если принять все это в расчет и вспомнить, что 3 коп. в день переселенцу мало на самое скудное пропитание, – то станет ясно, что нужно поискать иного способа для переселений.

Допустим теперь, что у нас известен коммерческий способ переселения людей из одной местности государства в другую. Допустим и то, что общество, составившееся с целью способствовать переселению людей, позаботилось о всевозможном доставлении себе всяких выгод от своего предприятия. Положим, что судьбам еще долго неугодно будет осчастливить нашу колонизацию отменю некоторых обязательств, отмененных при заселении почтового тракта между Якутском и Аяном, [180] и посмотрим, какой вред и какую пользу может принести коммерческий способ переселения в рассматриваемом нами вопросе. Выгоды компании, принявшей на себя переселение желающих в отдаленные места России, потребовали бы от нее собрания самых многосторонних и самых достоверных сведений об открытых для

заселения местах. Те же личные выгоды компании заставили бы ее обратить внимание на всевозможное облегчение переселенцам и самого перехода. Отношения переселенцев к компанейским агентам вовсе не были бы похожи на отношения народа к чиновникам. Переселяющийся крестьянин не довольствуется коротким, отрывистым словом чиновника, отвечающего с высоты своего официального величия на его пытливый вопрос, и отходит от его благородия, частью вовсе не понимая его ответа, частью совсем не доверяя этому ответу. С агентом крестьянин разговорится до тех пор, пока поймет: и что, и как, и почему; а собственная выгода агента, получающего вознаграждение за число сделанных при его посредстве переселений, заставит его изыскивать способы разъяснить все это с терпением, не отличающим наших чиновников, у которых всегда “дела много” и которые не видят для себя никаких благ в успехах колонизации. Агенты компаний, вероятно, примут на себя и ходатайство по “выправке” бумаг переселенцам, и в качестве поверенных безграмотного или малограмотного переселенца, вероятно, “выправят” эти бумаги скорее и дешевле, чем это обходится мужикам, когда они слоняются по разным мытарствам, отдавая последний грош писарям и другим лицам, которые говорят им: “у меня твое дело”, тогда как дело совсем у другого паразита. Компания, вероятно, нашла бы возможным и открыть кредит переселенцам на выплату недоимок, которые в сильной степени задерживают заселение пустых, но непривилегированных пространств России. Словом, компания могла бы освободить переселенцев (это слово у нас более уместно, чем слово колонист, ибо у нас, собственно говоря, происходит не колонизация, а расселение по русской земле) от множества затруднений, которые теперь принимают вид непреодолимых препятствий в глазах народа, чуждающегося всякого столкновения с чиновниками и их бумагами. Правительству только останется гарантировать переселенцев от эксплуатации их переселяющимися, а народу избежать от обольщений, происходивших в некоторых других странах при колонизации коммерческим путем. В достижении первой цели правительство, обладающее законодательной и административной инициативой, не может встретить никаких препятствий, а народ не дастся в обман: ходоки скажут ему всю суть, как она есть. В таких важных случаях наш народ не легковерен, и прежде чем раз отрежет, семь раз отмерит, и отмерит непременно своим аршином. Его аршин в этом случае – ходок, и он предпочитает своего ходока печатным описаниям, так же как предпочитает мерить локтем вместо аршина, полагая, что “в аршинах иногда фальшь живет”. Вырвать такое убеждение из народа невозможно. Это нужно оставить времени; а как между тем время для расселения во многих местах срединной России уже настало и как существующий порядок выселения, со всею своею процедурю, не отвечает успехам дела, – то нужно бы, кажется, дать место коммерческому способу переселений, полагаясь и на силы правительства оградить народ от эксплуатации компаний, и на неперемное явление конкуренции между этими компаниями, и, наконец, на здравый смысл самого народа. Автор статьи, помещенной во “Времени”, находит, что посылка ходоков – мера слишком устарелая и довольно дорогая. Я ожидал этого возражения еще во время самых прений в Политико-экономическом комитете и вполне согласен, что посылка ходоков сопряжена с извещною потерей времени и денег; но как же быть, если народ не верит, да, вероятно, еще долго и не будет верить никаким описаниям? Ждать, пока придет эта уверенность? Это и невыгодно в смысле самих народных и государственных интересов, и, смею думать, в той же мере непрактично, в какой непрактична мысль, высказанная одним из членов комитета, что у нас нет нужды в расселении, потому что стоит усвоить народу высшие приемы агрикультуры, так нигде еще не будет тесно! А пока народ усвоит эти высшие приемы? А пока он уверует, что “господа” в книгах пишут правильно и толково?.. Сам же автор справедливо заметил, что в заседаниях комитета вдавались в отвлеченности; а ведь там были все люди толковые, такие люди, которые книжки сочиняют!.. Но положим, что через десяток лет будут для переселенцев и очень толковые книжки; да кто же из нас поручится, что и через этот десяток лет в книжках этих будет все, что нужно знать собирающимся переселенцам? Ведь им многое нужно знать. Им нужно знать и те поборы, которые теперь вздумали взимать некоторые новороссийские помещики за переезд через мостики, и всякие иные поборы, о которых ходок разузнает, справляясь обо всем “под рукою”, и с которыми знакомит потом собирающихся переселенцев прежде, чем им сделать бесповоротный шаг с старого места. Опять все это мы мерим десятком лет, тогда как народ теперь уже чувствует нужду в расселении и предпочитает пожертвовать полтиною с души на посылку ходока, чем опрометчиво тронуться со своего пепелища. Таким образом, хотя посылка ходоков мера весьма старая, и мера, к которой в других странах, живущих совершенно при иных условиях, нет никакой нужды обращаться, но у нас ее не только можно терпеть, но ее и трудно заменить иною мерою, не свойственной общему состоянию страны. Важнее же всего то, что на эту меру можно теперь же вполне положиться как на меру, которую народ спасет себя от обманов и при ней безопасно

воспользуется всеми выгодами, представляемыми коммерческим способом переселения. Вот в каких соображениях я указывал на ходоков в Политико-экономическом комитете и в каком снова указываю на них, говоря о необходимости немедленного допущения нового способа переселения. Надеюсь, что меня никто не упрекнет в желании отстаивать старые формы потому только, что они старые, и патриархальностью их доказывать их превосходство перед новыми способами, рациональность которых признана в Западной Европе. Я только говорю, что, принимая в расчет современное нам положение земледельческого класса, из которого выходят почти все наши переселенцы, и припоминая все то, что нужно сообразить переселенцам, трогаясь с места и запасаясь в дорогу и волчьими зубами и лисьим хвостом, – ходоки – лица еще вполне современные и подчас незаменимые не только в оценке удобств новой страны и пути к ней, но и в составлении тех соображений, которые, по словам автора, заставляют переселенца искать “не одного вещественного благосостояния, а и гарантий нравственных”. Автор “Года на Севере” С. В. Максимов, на которого я позволю себе сослаться как на известный авторитет, говоря о страданиях великорусских крестьян, расселенных по берегам Амура, говорит, что “самый существенный недостаток, обусловивший естественным образом неудачу новых населений на Амуре, состоял в том, что крестьянам отказано было в праве заблаговременно отправить на новые места депутатов, которые, будучи выбраны обществу и знакомы с его требованиями, отвечали бы за выбор мест водворения”. [181] Высшее правительство никогда в этом не отказывало. Успешное переселение в Крым полтавских крестьян объяснено тем, что “крестьяне прежде подачи просьб о переселении обыкновенно посылают от себя выборных, чтобы осмотреть место нового поселения и навести под рукою нужные справки”. После принесения ходоками хороших вестей “не приходится производить понудительного переселения, а остается только регулировать ревность крестьян к переходу, сообразуясь с размером сумм, отпускаемых ежегодно на переселения”. А если эта патриархальная мера может служить ручательством за возможность допущения у нас свободных переселений при содействии частной предприимчивости, то, полагаю, в этом смысле ее нельзя назвать совершенно непрактичной, ибо лучше, чтобы дело начало делаться немедленно, с надеждою на ходоков, чем ждать Бог весть сколько, пока народ захочет начинать его, полагаясь на книги.

Меня, может быть, еще упрекнул в том, что я придаю слишком большое значение участию коммерческих компаний в переселениях, но сомневаюсь, чтобы упрек этот был основателен. Я выражаю мое мнение с голоса очень многих известных мне практических людей. Стоит пройти бедные белорусские деревни, поговорить с чиншевыми однодворцами западного края, погугорить с казенными крестьянами многих сел Орловской, Курской и Тульской губерний – везде одна песня: “Мы бы чего! Мы бы рады душой, да чем подымешься? чем хлопотать станешь?” Укажите им на казенное пособие, “на подъем” – что они заговорят? “Да нет, да где нам хлопотиться! Мы люди темные... видно, уж лучше тут пропадать”. Становой или окружный сами объявят вызов и пособие; новое явление: “это, гляди, подвох; да куда нас погонят? да там, гляди, еще воды бьют вредные” и т. п.; а туда, куда мужичку хочется идти, то есть в места непривилегированные, не назначено пособия. Так дело и валит через пень в колоду. Идти же в “облюбованное” место “на выплат” отработком или деньгами, да еще миром, – народ, недовольный своим бытием, всегда готов, и миром всегда отстоит свои интересы на новом месте.

Еще замечательно, что во всех толках о колонизации или о русском расселении у нас всегда упускается одно обстоятельство, которого, мне кажется, не следует упускать из виду. Говоря о переселениях, у нас постоянно имеют в виду одних земледельцев. Это понятно, потому что земледельческий класс в России – самый многочисленный класс и один только до сих пор представлял людей, ищущих свободного переселения. Но теперь обстоятельства значительно изменились, и во многих других классах являются охотники оставить старые места и посвятить себя новому роду занятий в новом месте. Людей, чувствующих такую потребность, очень много между городскими сословиями: мещанами, мелкими чиновниками и отчасти между низшим духовенством – вообще между разночинцами. Люди эти вовсе не принимают в соображение при вопросе о расселении, хотя между ними очень много личностей, которые по роду своих профессий считаются на старых местах вредными или по крайней мере бесполезными членами общества, тогда как они не лишены ни способностей, ни желания сделаться полезными людьми на новом месте, при новом положении. В существовании их способностей и в искренности их желаний часто невозможно сомневаться. Но на старом месте, где они по происхождению, по воспитанию или по другим более или менее основательным причинам рассматриваются как люди класса, не назначенного к известным работам, они не могут взяться за эти работы – или по недостатку твердой воли и умения преодолеть ложный стыд, или

по недостатку капиталов, или же по родственным, семейным и многим другим причинам, которые перечислить очень трудно, но влияния которых не могут отрицать люди, не гонявшиеся в жизни за одними теориями. Переселение для таких людей единственное спасение; а оно для них будет у нас возможно только тогда, когда для получения средств к переселению станет достаточно одного заявления доброй воли переселиться на новое место и отсутствия законных препятствий [182] оставить старое. Такой бесхлопотной возможности у нас, однако, к сожалению, до сих пор еще нет, и люди, готовые к переселению, остаются бременить города, в которых они никому не нужны и в которых не находят средств для пропитания. Людей, находящихся в таком положении, у нас больше, чем обыкновенно думают. По крайней мере можно быть уверенным, что их стало бы на составление нескольких цветущих селений. Очень недавно в небольшом кружке одного из наших университетских городов носился слух, что почтенный русский ученый, гуманные статьи которого тогда производили сильное впечатление на молодое племя, оставляет службу, уезжает в свое небольшое бессарабское поместье и дает место всем, кто захочет жить около него честным сельским трудом. Боже мой, какое это было время! Какое благородное и честное стремление охватило десятки голов, самых умных, самых мыслящих голов, несмотря на то, что они с самого детства слышали только о необходимости “сделать себе карьеру”! Казалось, что новый Ланарк, расторгнутый недоброжелателями своего достойного основателя, возродится у нас. Но, увы! Стремления этим не было суждено осуществиться: хотели осуществить их иначе, но для осуществления их тогда не было средств; а после... после многое изменилось...

Жребий мира

Их по лицу земли разнес.

Бог знает, где теперь эти мечтатели! Может быть, не один из них пошел той торной дорожкой, по которой идут многие люди и добрые и честные, но не свободные от тех пятен, с которыми бы они никогда не сроднились в ином положении. Будь тогда средства – может быть, теперь указали бы в России на селение, где люди, убрав мешок кукуруз, садятся читать и Милля, и Тьера, и Роберта Оуена. Да! средств, средств к переселениям нужно! Их нужно не для одних крестьян, а для всех, кто еще не совсем погиб в тяжкой, безысходной борьбе с гнетущими условиями экономических безурядиц. Никому никогда не поздно исправиться, а оставление места, с которым связаны воспоминания об ошибках прошлого, и новый, честный, естественный образ жизни – одно из радикальных средств исправления, с которым не сравнятся результаты пентонвильского учреждения.

Но, заговорив о ходоках, я сам ушел, кажется, очень далеко, в страну обетованную, в страну, пока только едва мыслимую. Чтобы возвратиться себя на почву действительности, обращаюсь к Политико-экономическому комитету, которого я было вовсе не хотел касаться в начале моей статьи. Я не могу не сочувствовать комитету как учреждению, где подняты вопросы, самые близкие для наших интересов, и где вопросы эти обсуждались без всяких бюрократических стеснений. Теперь то время, когда комитет, по всей вероятности, снова откроет свои заседания. Я желаю им большого успеха; я желаю, чтобы результатом новых комитетских прений были конечные и ясные выводы и определения. Ему можно пожелать и еще очень многого, а главное, того, чтобы некоторые ораторы не смотрели на залу комитета как на арену для ломания копий цветословия и шли бы к решению вопросов путем более положительным и ясным, без уносчивости в пространные области всеобъемлющей науки и без неудержимого желания давать концерт на своем красноречии. Затем самый состав лиц, заседавших в комитете прошлой зимой, как мне часто доводилось слышать, подвергался осуждениям. Находили, что комитет дурно поступает, не открывая своих заседаний для гораздо большего числа посетителей. Члены комитета, сколько я помню, смотрят на это весьма различно: одни думают, что нужно расширять круг посетителей, другие этого не думают. Сторонние лица, отрицавшие всякое значение комитетских прений, нередко давали чувствовать, что собрания много бы выиграли, если бы пополнились их присутствием. Некоторых из людей, умевших проводить эту мысль, я имел удовольствие после слышать в двух заседаниях Комитета грамотности, учрежденных при Вольно-экономическом обществе, и полагаю, что Политико-экономический комитет, не воспользовавшись их сведениями и соображениями, не понес невозградимой потери; но полагаю также, что со стороны комитета было бы очень благородно расширять по возможности круг приглашаемых лиц, хотя для того, чтобы ознакомить некоторых господ с обязанностью выслушивать чужую речь до конца и говорить в свою очередь, а не тогда, когда вздумается. Некоторые заседания Комитета грамотности весной этого года показали, что нам еще не совсем знакомы самые простые законы публичных прений; а это очень печально, особенно теперь, когда мы ожидаем права говорить за себя в суде.

О ЛИТЕРАТОРАХ БЕЛОЙ КОСТИ

Если вы действительно боитесь народа, – торопитесь искоренить в нем убеждение, что вы им пренебрегаете; если вас так пугают его дурные страсти, – спешите удовлетворить его добрым и законным наклонностям.

А. Токвиль

Неисповедимым судьбам угодно поддерживать в московских периодических изданиях постоянное разномыслие с периодическими изданиями петербургскими. Разномыслие это в последнее время стало очень резко и начинает обращать на себя серьезное внимание всех лиц, считающих журналистику не забавою, а тем, чем ее должно считать, то есть мерилом общественного развития и указателем существующих направлений в данный момент этого развития. Публика, остававшаяся всегда равнодушно к нашим полемическим турнирам, покинула свой индифферентизм тотчас, как предметом журнальной полемики сделались некоторые недавние отечественные события. Эти события были, так сказать, пробным камнем, при помощи которого читатели могли, с некоторою достоверностью, определить задушевные убеждения редакций, с которыми они имели дело, не имея часто возможности знать их взгляды на самые важные вопросы. Эти же события помогли и редакциям сверить сумму принадлежащих им симпатий. Конечно, сверка эта не могла быть очень точною; но если ее было неудобно произвести положительным путем, то путем отрицательным она показала, что большинством русского сочувствия пользуется не московская пресса, не “Московские ведомости”, не “День” и не “Русский вестник”. О “Русской речи” нечего говорить, так как это девственное издание по крайней своей скромности и целомудрию никогда никого не огорчает и никого, кроме своих издателей, не радует. Обстоятельство это имело в нашем деле такое же значение, как предпосылка Приама в Троянской войне: началась не полемика, а брань, и брань самая желчная, самая необузданная и самая неосновательная, имеющая со стороны москвичей конечною целию опрофанование петербургских изданий и подорвание их кредита в обществе. С этой точки зрения брань, о которой мы сказали, должна иметь известный интерес для лиц, доверяющих петербургским органам, и потому мы считаем своею обязанностью сообщить нашим читателям об оскорбительных нападках, которые мыносим в последнее время от разнуздавшихся желчевиков московского журнального мира.

Главным борцом в этом деле, как и можно было ожидать, выступил “Русский вестник”, журнал, еще в очень недавнее время пользовавшийся весьма почтенною репутациею и общественным доверием. Недовольство редакции этого журнала петербургскою прессою стало выражаться с начала прошлого 1861 года. Сперва оно высказывалось только против свистунов, осмелившихся рассматривать с своей точки зрения и по своей манере заповедные теории и коренные положения “Русского вестника”; затем, принимая все более и более желчный характер, недовольство это касалось и других петербургских изданий, а к концу года выразилось презрительным отзывом о всей петербургской среде. В течение этого года, в котором мы имели случай следить за возрастающею яростию почтенной редакции, нам нельзя было не заметить, что ярость ее возрастала пропорционально числу живых дел, совершившихся в разных концах нашего отечества и вызвавших со стороны петербургских изданий отзывы, встречавшие в обществе более сочувствия, чем отзывы о тех же делах, произнесенные московскими изданиями. Упреки, которые давно делали “Русскому вестнику” за его постоянное и упорное стремление к англоизированию русской земли, испытывающей все неудобства привития иностранных элементов, в истекшем году показали всю свою основательность. Первые проблески жизни, первые ее проявления в тех событиях, которыми ознаменован истекший год и которых многие из нас были близкими свидетелями, озадачили ученую редакцию и показали ее несостоятельность к спокойному созерцанию обстоятельств и неуклонному созиданию сообразной им теории. Живущая идеями “Times”’а, она изблещила полную политическую наивность в тех случаях, которые приходилось обсуждать, не дожидаясь голоса английской газеты. Слепо послушная авторитетам, она забыла один из великих политических авторитетов, заповедавших придавать несравненно больше важности явлениям, которые представляет общее состояние страны, чем особенным случайностям, как бы они ни казались значительными; она упустила из виду, что есть времена, в которые люди не могут считать себя господами событий. Изучая народный дух и народную жизнь по книгам, она упустила из виду, что такой способ изучения не ставит людей в ряды лиц, способных сказать в известную минуту слово, могущее осветить общий характер времени и направить внимание массы к целям благим и существенным. Она забыла, что Токвиль и другие политические люди, руководившие в известной мере идеями своего времени, почерпали их не из печатного чтения, а обращались при обработке их исключительно к самим источникам.

Забвение всего этого подорвало авторитет журнала, ставшего на видное место благодаря чужой политической теории, рассказанной им русскому обществу в 1855 году.

Развитию этой теории “Русский вестник” предавался с таким сосредоточенным вниманием, что не заметил, как она теряла интерес новизны и вместе с тем открывала много таких сторон, которые не могли привлекать ей большого числа поклонников. Люди, мало-мальски владеющие политическим смыслом, успели взглянуть на другую сторону медали, которую “Вестник” продолжал показывать с одного бока. Правильный взгляд некоторых наших журналов на характер последних европейских событий и на побуждения лиц, принимающих участие в этих событиях, довольно ясно доказали, что не все то золото, что блестит, и что политическая наука, точно так же как и все другие науки, никогда не стоит *in statu quo*, [183] что у нее не может быть постоянных теорий, удобоприменимых во всякое время и на всяком месте. Все это одновременно приходилось доказывать “Русскому вестнику”, но он этому не верил: Англия по-прежнему остается его бессменным идеалом, по которому он хочет пересоздать нашу коренастую Русь. Между тем несогласия петербургской прессы с старческой упорностью “Русского вестника” вызвали редакцию этого журнала на такие поступки, которые изобличили в ней даже недостаток той выдержанности, которую отличается журнальная литература боготворимой ею страны. По мере того как “Русский вестник” входил в полемику, он терял свой покойный джентльменский тон, прибегал к таким приемам, которые сам ставил в вину свистунам, начал нападать на личность, а не на мнение, употреблял довольно странные каламбуры вроде того, что коснуться г. Кускова значит ущипнуть журнал “Время” “сзади”, наконец стал непоследовательным и неверным своим собственным тенденциям, и неверность эта выражалась таким образом, что, чем ближе казалась вероятность осуществления какой-нибудь части проводимого этим журналом учения, он в каком-то ужасе начинал пятиться назад, бледнел, лепетал о том, что еще не готова какая-то подкладка, и с новою яростию накидывался на органы, не намеренные противоречить естественному развитию общественных стремлений. В заключение “Вестник” публично оскорбил всю петербургскую среду, обвинив ее в сплетничестве, пассивности, бессилии и готовности помогать каким-то известным ему ловким интригам.

Это недостойное, гуртовое обвинение не может оскорблять среды, которая хорошо знает всю его неосновательность, и оно, конечно, не заслуживало бы никакого ответа, ибо такие слова... “ветер носит”; но так как оно выражено журналом, еще в недавнее время представлявшим орган целой партии, верующей, что солнцу должно всходить из Москвы, а Петербургу надлежит провалиться в гнилое болото, на котором он выстроен, то мы нашли уместным поразмыслить о правах московской прессы относиться о петербургской литературной и общественной среде так, как относится передовой московский журнал. Сравнивая заслуги здешних журналов с заслугами московских изданий, мы, во-первых, намерены говорить только о последних 5–6 годах, а, во-вторых, мы не будем касаться “дня” как органа чисто славянофильского, ожидающего зеленых изумрудов из черноземной грязи полей и не имеющего с нашими стремлениями ничего общего, кроме любви к простому народу. Не будем также мы относиться в подробности ни к “Московским ведомостям”, ни к “Русской речи”, потому что эти издания составляют пространство, в котором раздается эхо от сладкозвучных песен “Русского вестника”, [184] и, относясь к московской прессе, будем держаться только этого журнала. Прежде всего нерасположение “Русского вестника” к петербургским журналам проистекает из несогласия последних в превосходстве проповедуемой “Вестником” политической теории и из крайнего самолюбия последнего, оскорбленного этим несогласием. Затем другие обвинения петербургской прессы высказаны в редакционной статье, помещенной в ноябрьской книжке этого журнала. Они заключаются: 1) в самонадеянности, с которою литература берет за обсуждение разных предметов, и в невежестве; 2) в недостатке всякого стремления к истине и критической оценке событий; 3) в бессилии, пассивности, сплетничестве и склонности служить проискам ловких интриганов и 4) в неумении спорить о мнениях, не относясь обидным образом к личности своего оппонента.

По порядку мы должны прежде всего сказать наше мнение насчет основной причины, воспитавшей теперешнее нерасположение “Русского вестника” к петербургским журналам, то есть о теории, проповедуемой им в тридцати шести томах своего издания. Осязательный недостаток этой теории, по нашему мнению, заключается уже в том, что она очень неясно высказывается в 36 томах, составленных под редакцию людей, не обиженных замечательною силою диалектики и симпатизирующих полноте и ясности изложения вопросов; но главнейшим из ее недостатков мы почитаем ее

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
неподвижность и ее крайний консерватизм, не соображающий своих положений с движением человеческой мысли и состоянием среды. Более же всего мы не можем уважать эту теорию в том виде, в каком она приводится в “Русском вестнике” и его анемической сопутнице – “Русской речи”, потому что их пропаганда имеет все неудобства одностороннего учения и потому не может принести никакой пользы обществу, не знакомому с обратной стороной медали. “Русский же вестник” и его московские сподвижники считают почему-то совершенно неуместным переворачивать медаль обеими сторонами, как это делается в самых маленьких и дешевеньких книжечках, в которых тот же предмет рассматривается за границу (например, в “Politischer Katechismus für das frei Deutsches Volk”). Обратная сторона медали, хорошо представленная в этих маленьких трехгрошовых брауншвейгских изданиях, дает возможность видеть в идеалах “Русского вестника” такие черты, которые не могут возбуждать в себе общественных симпатий; а самому невиннейшему из петербургских журналистов небызвестны хоть эти дешевенькие немецкие издания 1848 года, и потому понятно, что петербургская журналистика не может принимать некоторых положений “Русского вестника” за основное начало политической теории, сообразной настоящему духу и направлению европейских обществ. Она не может смотреть на них с тем раболепным доверием, с которым принимали эти теории читатели первых книжек “Русского вестника”, и не считает нужным скрывать свое сомнение насчет дальновидности политических публицистов этого журнала. Отсюда происходит недовольство “Русского вестника” всеми, не принимающими его пропаганды за последнее слово цивилизации, и недовольство самим временем, которое в большинстве совершающихся событий показывает участь известных взглядов и неудобоприменимость их в вопросе о счастье народов. Чтобы вредить своим противникам – он старается профанировать и подрывать их кредит в обществе, утверждая их политическое невежество в таких вещах, которых не ведать нет никакой возможности и которые могут представляться в радужных красках разве только самым невиннейшим или самым виновнейшим почитателям ученого журнала. Дальнейшее распространение об этом пункте мы считаем неудобным и излишним, полагая, что для тех, кого интересует этот вопрос, мы выразились довольно ясно.

Второе обвинение касается недостатка в нас всякого стремления к истине и критической оценке событий. Обвинение это высказано по следующему случаю: “Один профессор, недавно вступивший на кафедру, напечатал свою вступительную лекцию (вероятно, в одной московской газете) и коснулся в ней, насколько это было возможно, некоторых современных явлений. Высказанные им замечания не пришлось по нраву толпе (?!), которая в то время вовсе не была способна подумывать о чем-нибудь спокойно. Этим обстоятельством тотчас же воспользовались ловцы рыбы в мутной воде. (О ком это речь идет?) Разные сплетни, одна другой нелепее, были пущены в ход. Не стоит исчислять их; но нельзя не упомянуть об одной, очень интересной. Вдруг во всех литературных кругах распространилось известие, что против вышеупомянутой лекции и вообще против всего, что будет написано ее автором, правительством запрещает говорить, что автор поставлен в особого рода привилегированное (курс ив подлинника) положение, которое для честного писателя совершенно невыносимо. Мы краснеем за те лица, которые выдумали, изукрасили и пустили в ход эту нелепость, – краснеем тем более, что эти господа, сколько нам известно, принадлежат не к задним рядам каких-нибудь чиновников или писак, а к передовым. Они поступали совершенно сознательно; они очень хорошо знали, что ничего подобного не было и быть не могло (?!), и только воспользовались удобным случаем выдумать и пустить в ход сплетню. Точно так же, себе на уме, поступили они и тогда, когда нужно было свалить ответственность за одну меру, возбуждившую ропот на одно почтенное лицо, очень памятное Московскому университету и несколько не повинное в этой мере. Особенно в Петербурге удаются эти сплетни, клеветы и интриги. Там вдруг разрастаются они до чудовищных размеров и охватывают все без малейшего сопротивления. Какая пассивная, бессильная, воспитанная на сплетнях и интригах среда! Никто не хочет слышать объяснений, все бессмысленно повторяют одно и то же; нет надобности до истинной правды, не возникает ни малейшая критическая попытка, все беспрекословно повторяют одну и ту же сплетню и бескорыстно обделяют аферу ловких интриганов”. Сказать откровенно, мы очень плохо понимаем, кого разумеет “Русский вестник” под именем “ловких интриганов”, которых аферу бескорыстно (хоть это хорошо) обделяет бессильная петербургская среда. Во всяком случае, вероятно, интриганы эти очень бессильны, если они нуждаются в содействии бессильной же и пассивной среды. Но, не имея средств разъяснить себе темный намек редакции, мы обратимся к тому, что выяснено в этом обвинении несколько доступнее для нашего понимания.

Обвинение в недостатке стремления к истине и критической оценке событий нам представляется столько же несправедливым, как и то, о котором мы только что

имели случай говорить, с тою лишь разницею, что последнее гораздо голословнее и бездоказательнее первого. Мы должны думать, что обвинение это связано с слухами, распространившимися об одной лекции одного профессора и одной мере, в которой, по уверению “Русского вестника”, неповинно одно лицо, памятное Московскому университету. Если мы не ошибаемся в нашей догадке, то имеем право сказать, что “Русский вестник”, как бы он ни увлекался симпатиями к словам одного профессора и мерам одного лица, не имеет никакого основания подозревать, а тем более обвинять публично петербургскую литературную среду в распространении каких бы то ни было известных ему слухов. Ему должно быть хорошо известно, что когда слухом земля полнится, тогда очень трудно бывает указать их источники; а по известным же ему обстоятельствам трудно бывает и заявлять о критическом анализе этих слухов. Но во всяком случае нет основания утверждать, что результаты исследования, выраженного “Русским вестником”, достовернее иных изысканий; а критическому авторитету “Русского вестника” ни мы, ни все русское общество не обязаны верить после тех образчиков, которые он дал нам в своих статьях об университетских реформах, о Российской Академии наук, о литературном значении князя Вяземского и о многих других вещах, на которые взгляд петербургской прессы совершенно совпал с общественным мнением и во многом оправдан последующими обстоятельствами, вызвавшими благонамеренное внимание правительства. Так, например, вопрос университетский подвергнут пересмотру и клонится к преобразованию не в духе тенденций “Русского вестника”; Академия наук не оспаривает более указаний на свою минувшую деятельность и занята внутренними реформами, которых только и желала петербургская периодическая литература; остается один князь Вяземский, о склонностях которого к самореформированию мы не имеем чести ничего знать, но и не думаем сознаваться в каких бы то ни было заблуждениях насчет его литературных заслуг. Впрочем, о силе этого талантливого и полезного писателя мы не намерены распространяться и уверены, что его благовоспитанная муза способна усладить свою цевницу читателей “Русского вестника”, в какой они находились, читая любопытную статью “О пороховых взрывах”. Справедливость заставляет нас думать, что упрек в недостатке стремления к истине и критической оценке события принадлежит, по всем правам, редакции “Русского вестника”, и принятие его петербургскою прессою на свой счет было бы похоже на присвоение чужой собственности, чем наша среда вовсе не занимается.

По третьему пункту среда наша виновна в бессилии, пассивности, сплетничестве и склонности служить проискам ловких интриганов. Обвинение также совершенно голословное и общее, лишающее нас всякой возможности – слово против слова, факт против факта – поставить наши опровержения. От этого положение наше становится гораздо затруднительнее, чем бы оно было тогда, если бы “Русский вестник” выставил на вид наши прегрешения; а уважение к вниманию публики не позволяет нам сказать только то, что это обвинение идет к нам во всех своих частях гораздо менее, чем к кому-нибудь другому, и потому мы стараемся отвечать на него сколько можем яснее. Бессилие наше, в смысле способности к обработке вопросов, составляющих настоящие современные интересы нашего народа, не может быть засвидетельствовано ничем; по крайней мере, во всяком случае силы “Русского вестника” в этом отношении нигде не превосходили сил петербургской прессы. А если “Русский вестник” не хотел обнаружить своих сил на этом поле, то это ему не делает чести. Того же, чтобы он не мог их обнаружить, мы думать не вправе, потому что он вызывается “привести в печать самое откровенное выражение мнений г. Кулиша по его любимым предметам”. Вот только в этом одном вызове мы и видим у “Русского вестника” силу, заявления которой в таком роде до сих пор не сделала ни одна петербургская редакция. Но ведь сила силе рознь... иная сила (по русской пословице) ума могила. Что же касается до силы разумения и здравого смысла, то неужели же г. Катков думает, что вся масса этих даров природы сосредоточилась в головах его, г. Каткова, г. Феоктистова и г. Е. Корша и еще двух, трех персонажей, полагающих, что на них почиет дух покойных Кудрявцева и Грановского, так, как на пророке Елисею почил дух пророка Илии? А иначе он думать не может, потому что, кроме знаменитого экономиста Густава де Молинали, обжаловавшего в “Русском вестнике” бельгийское уложение, и известной повествовательницы Ольги Н., и в “Вестнике”, и в “Русской речи” мы встречаем имена тех же писателей, которых постоянным сотрудничеством держатся петербургские периодические издания и которые не меняют своих убеждений, как белье. Зачем же вы, сильные наших дней, не откидываете работ людей, стоящих в нашей бессильной сфере? Где же, в чем ваша литературная сила? Покажите нам ее. Мы ей не верим; мы ее не видим и готовы доказать вам ваше бессилие! Мы вызываем вас, благородные лорды, на честный бой не на полусловах, не на недомолвках и голословной ругне, достойной вас и г. Аскоченского; а мы готовы с указкою в руках доказать вам, что, за незначительным

исключением, все творения, помещенные по вашему любимому предмету у вас и в газете, которую в истекшем году с необыкновенным успехом редактировал г. Феоктистов, суть бледные компиляции из статей, прочитанных вами в иностранных журналах и газетах. Мы докажем вам, что вы не сказали русскому обществу ни одной своей мысли, ни одного нового слова, а напротив, перекраивали для него только то чужое, что вам нравится, и всегда с самым крайним сторонничеством в пользу своих тенденций. Вы скрывали то, что легко могло дать обществу полную возможность самому обсудить достоинство и недостатки вашей теории, и давали ему ее на веру, проповедывали ее a priori, [185] устраняя индуктивный метод, с превосходствами которого вы не могли быть незнакомы в качестве ex-профессора философии. Извольте, при всем недосуге заниматься вами, с некоторой долей того внимания, с каким вы утопаете в вопросах об английских биллях и притязаниях венгерского сейма, мы беремся указать вам, откуда что вами компилировано и предложено вашим читателям под видом недомыслимой мудрости в течение тех лет, в которые наша бессильная среда рвалась служить обществу и правительству, раскапывая самые темные трюксы и добывая пригодные сведения и по крестьянскому делу, и по делам акционерным, и по вопросам финансовым, и по многим другим частям внутреннего благоустройства. Мы уверены, что, начав считаться с вами, петербургская пресса не даст вам права кичиться своими заслугами тому, кому служим и кому мы хотим служить до последних сил, до последней возможности; а цель нашего служения – благоденствие русского народа не на английский и немецкий манер.

Пассивность. Вы говорите, что мы пассивны, стало быть, вы противопоставляете нам себя – среду сильную и деятельную. О силе вашей мы уже говорили и надеемся поговорить о ней подробнее, если вы будете к нам столь же милостивы, сколько к г. Кулишу, которому вы обещаете поместить самое откровенное изложение его мнений насчет любимой им малороссийской народности. Мы не замедлим препроводить к вам самую откровенную статейку и полагаем, что и другие наши журналы и газеты, ко вниманию которых мы взываем, делая наше предложение, не откажутся воспользоваться вашим благодушием. Но теперь речь о нашей пассивности. На этот упрек вы, г. Катков, имеете основания еще менее, чем на все другие, потому что, не исключая почтенного Виктора Ипатьевича Аскоченского, взыскающего земных благ небесными тропами, ни одна петербургская редакция не состоит ни под чьим сторонним влиянием, не чувствует никакого желания жить по-вашему разумом английской газеты и свободна в своих стремлениях до такой степени, что московская пресса, даже в лице “Московских ведомостей”, многократно упрекала ее в дерзостной непочтительности к авторитетам. В пылу праведного гнева вы, вероятно, это запомнили. Хорошо ли, худо ли, но мы смотрим на людей и на вещи по своему крайнему разумению. Всегда и во всем мы держались и будем держаться поговорки, гласящей, что тому, кто слушает чужие речи, придется взвалить осла на плечи, и бережем своего царя в голове. Оттого мы и говорим о многих русских делах по-своему, по-русски, а не дудим шесть лет одну a-to1-ную ноту, хотя и знаем, что способность наигрывать ее доказывает постоянный вкус, но

Постоянный вкус в мужьях
всего дороже,

а там, где имеются в виду интересы, не связанные с вопросом о фамилизме, нужно хорошо знать грань, где постоянство переходит в рутинизм. Мы эту грань знаем, а вы ее, кажется, не знаете, и вот вам, к случаю, подтверждение нашего мнения. Рассуждая в 49 № вашей “Современной летописи” об университетских преобразованиях, вы вотируете, чтобы новые законоположения приходили, не разрушая старых, и уверяете, что ненарушимость старого должна быть почему-то какою-то счастливою задачею законодателя. До такого заключения можно прийти, конечно, только вследствие полного непонимания явлений, ежедневно совершающихся вокруг нас, как в мире физическом, так и в сфере общественной жизни. И там, и здесь существует один неизменный закон: нет созидания без разрушения, точно так же, как нет разрушения без созидания. Как в том, так и в другом случае нет исчезновения, а совершается одно только видоизменение. Уничтожая известным процессом какое бы то ни было тело, вы даете жизнь другим телам; внося какое бы то ни было учреждение в общественную жизнь, вы можете привить его к обществу и дать ему в нем надлежащее место только в таком случае, если вы в то же самое время разрушите те учреждения, существования которых указали на необходимость внесения новых начал. Таким образом, разрушая что-нибудь, вы непременно создаете, и наоборот – создавая, что-нибудь непременно разрушаете. Правильнее, постепенное разрушение и создание нового на место старого составляют элемент самой жизни общества. Присутствие жизни в человеческих обществах обуславливается только этими процессами. Одни закосные враги всякого прогресса и всякого движения боятся этих существенных признаков жизни. Для истинных друзей разумного

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

поступательного движения слово разрушение не имеет никакого ужасающего значения. Обратитесь хоть к русским переводам ваших же авторитетов, возьмите Токвиля и не упорствуйте хоть против него, этого великого патриота, который в самые роковые минуты, стоя между двух огней, не уставал своим пророческим голосом утверждать, что единственный способ отвлечь предвиденную им катастрофу состоит в отмене или в существенном изменении органических законов государства, но его не слушали и сочинили образец нелепости, оправдавший пророческие слова великого мыслителя. А советники, содействовавшие этой нелепости, были также умные и по-своему просвещенные люди; и потому-то не всякий советник нам близок и дорог. История рассказала нам, из каких людей выходят Гизо и Полиньяки. До сих пор, г. Катков, ни у нас, ни у вас дел не область какая-нибудь. Дела наши – наши слабые стороны; но поверьте все прошлое, приведите себе на память кое-какие не забытые еще свежие странички, вспомните, где мы стали не узнавать вас и когда вы почувствовали, что между вами и толпой нет никакой солидарности... Положите белую руку на гневное сердце и скажите: кто из нас, наша ли пассивная или ваша пухлая среда удобнее отливаётся в рудинскую форму? Повторяем вам, что о делах ни нам, ни вам толковать нечего, “толкач муку покажет”, ни мы, ни вы на это не полноправны и под Богом ходим. Но говорим, что мы по самым маленьким приметочкам, по шерсточке, по родимым пятнышкам узнаем Гизо и Полиньяков и преисполнены наиглубочайшего презрения к людям,

Чье назначенье – разговоры,
которые

Свою особу ограда,
Бездействуют, твердя:
“Неисправимо наше племя;
Мы даром гибнуть не хотим
Мы ждем: пускай поможет время,
И горды тем, что не вредим”.

Сплетничество. Среда, воспитанная на сплетнях. Разве петербургская среда воспитана на сплетнях? Разве хоть одна из наших редакций расставалась хоть с одним из своих сотрудников с такими историями, с какими “Русский вестник” расставался с своими сотрудниками, оставившими его вместе с г-жею Евгениею Тур? Разве не все мы теперь вместе, тогда как в другом городе золотое яблоко Эриды (с несколько измененною надписью) катается по Садовой, Спиридоновке, Леонтьевскому и Свечному переулкам? Наконец, разве не вся Русь величает Москву старушкою-сплетницей, и разве эта старушка в самом деле не занимается похвальным ремеслом, известным там под именем “очистительной критики”. Фу! до каких непривычных нам объяснений довел нас приличный московский журнал. Лучше остановиться, чтобы не впасть в его тон. Нам нет нужды разбирать качеств ни особой, ни целой дующей в нас огнем и жупелом среды: в городе у Антона Антоновича Сквозника-Дмухановского торговали “купцы честные и трезвого поведения”, а мясо на стол граждан все-таки попадало скверное, и хорошо было только одному “градоправителю”, изменявшемуся, по обстоятельствам, то в Антона, то в Онуфрия.

“Обделяют аферу ловких интриганов”. Это относится также к нашей среде. Что отвечать на это, читатель, когда даже не знаешь, о каких интриганах идет речь? Конечно, если бы ех-профессор Катков не пояснил, что обделка эта производится бескорыстно, то... уж черт знает что нужно было бы ему отвечать, но так как он полагает, что обделка эта производится по нашей малосмысленности и простоте, то остается... пощупать пульс у ех-профессора Каткова и сознаться, что верхние этажи ех-профессора Аскоченского находятся в большем порядке. Мы не знаем, как другие, а мы бы не прочь попросить Михаила Никифоровича объяснить нам: чьи аферы у нас обделяются? По любви к прямоте и истине он, кажется, обязан нам рассказать это. Нам будет легко разочаровать его, ибо, если бы мы обделяли “аферы ловких интриганов”, так едва ли бы ученейший московский журнал обозвал нас бессильною средою.

Наконец последнее обвинение напирает на неумение спорить о мнениях, не касаясь личности оппонента. Быть может, в этом обвинении и есть своя доля правды, но “ворон ворону глаза не выклюет”. Не тому же упрекать нас, кто щипется старческими перстами “сзади” и подражает самым непросвещенным людям, пуская гуртовые обвинения, не имеющие никаких доказательств, обвинения, за которые только и можно... позвать к суду. Нет, врачу! исцелился сам. Приемы парламентского витийства исчезли в русской схватке, и в англо-русском организме обнаруживается *delirium tremens*. [186]

Но, слава Богу, мы кончили свой тяжелый ответ на оскорбительные выходки против нашей среды. Яснее отвечать мы теперь не можем, но и не отказываемся, буде "Русский вестник" явит нам к тому свое содействие. Нам остается сказать еще "Русскому вестнику" и его анемическим сопутникам, что они очень сильно заблуждаются, полагая, что все то, что они там вычитали, нам здесь неизвестно. Мы сами очень желаем того же, о чем вы толкуете в вашей последней статье. Мы, может быть, с большим еще нетерпением, чем вы, ждем случая "высказываться до конца, доходить до цели, выразаться с полною точностью и определенностью, не ссылаясь на не зависящие от нашей воли обстоятельства и не давая вместо точного слова двусмысленного намека или общего места"; мы стараемся, при иных обстоятельствах, рассказать вам, что мы знаем то же самое, что и вы, но берем предмет, может быть, несколько поглубже, помногостороннее и обсуждаем его не а priori, как вы. А что с виду мы кажемся вам уж совсем и не книжными, и скорбными главами, так ведь с виду и кит представляется рыбою, особенно тем, кто начитался о нем старых книжек. Мы тоже счет знаем и можем разбирать, кто на чем стоит и чем поворачивает, и нам непонятно, как вы так нерасчетливо идете к подкопу нашей репутации. Ругательством и бездоказательной бранью ничего нельзя сделать в наше время, и вы могли совсем иначе повести дело до того положения, что вам бы расти, а нам бы малиться. Настала б пора милая, повели бы вы речи красные, по предмету ваших "любимых занятий"; один профессор прочел бы не одну лекцию, а один редактор наполнил бы ими не один столбец своей учено-литературной газеты, и около вас стояли бы люди с главами поникшими, с благоговением пред мудростью, получаемой вами из редакции "Times" 'а. Что вам за дело до того, какой конец у пятого действия!.. Ведь до тех пор, пока усаживаются писать сочинения вроде "Истории цивилизации", авторы таких книг сидят на разных креслах..

ВОПРОС О НАРОДНОМ ЗДОРОВЬЕ И ИНТЕРЕСЫ ВРАЧЕБНОГО СОСЛОВИЯ В РОССИИ

Вопрос о народном здоровье так тесно связан с интересами врачебного сословия, что говорить об одном, не касаясь другого, значит смотреть только на одну сторону дела; и в самом деле, почти все писанное до сих пор об этом предмете носит на себе характер самой крайней односторонности. Этим отчасти можно объяснить главную причину бесплодности многих статей, написанных в последнее время об устройстве сельской медицины; и в этом же должно искать объяснения того, что настойчивые попытки некоторых медицинских газет заявить необходимость реформ в управлении нашей медицинской части прошли в нашей печати почти никем не замеченными. Главный промах, как нам кажется, заключается в том, что одни писали только о страданиях больного народа, а другие твердили о тяжком положении врачей и недостаточном вознаграждении их труда. Резюмированием всего высказанного обеими сторонами, кажется, до сих пор никто не занимался, и в этом, конечно, нельзя никого упрекать, потому что до недавнего времени нечего было и резюмировать. Все, что сказано о беспомощном положении наших сельских жителей в болезнях, почти ограничивалось указанием более или менее резких примеров этой беспомощности при существующем устройстве медицинской части, жалобами врачей на склонность народа к "шарлатанскому лечению" и рекомендацию не очень практичных и не очень мудрых проектов об искоренении знахарей и лекарок, причем всегда предлагалось: издать правило об обязательном признании врачей народом. К сожалению, прочитав довольно длинный ряд статей, рассуждающих об этом предмете, мы вынуждены сознаться, что статьи эти свидетельствуют иногда о весьма благородном, а иногда и о весьма странном образе мыслей авторов и почти никогда не говорят о их знакомстве с делом, а тем менее о способности повернуть дело лицом к общественному вниманию.

Собственно о положении врачей и об их отношениях к начальствующим лицам у нас начали говорить очень недавно (около двух лет назад) и то в малораспространенном специальном издании, с которым едва ли кто-нибудь и знаком из людей, не принадлежащих к медицинскому сословию. Но несмотря на это, вопрос об интересах врачующего сословия обработан гораздо многостороннее и тщательнее, чем вопрос об интересах людей, требующих врачебной помощи. Этой обработкой русская литература обязана профессору университета св. Владимира А. П. Вальтеру, издающему еженедельную медицинскую газету "Современная медицина". В два года, которые продолжается это издание, оно, как мы уже сказали, успело выяснить этот вопрос настолько, что теперь можно более или менее безошибочно определить положение нашего врачебного сословия и искать меры к улучшению этого положения одновременно с изысканием средств к уничтожению беспомощности наших поселян в врачебном отношении. Из ряда статей, напечатанных в течение двух лет в газете профессора Вальтера врачами и не врачами, явствует: 1) что городские и уездные врачи, обязанные *ex officio*[187] облегчать недуги городского и сельского

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

населения, никак не могут этого сделать, потому что им нет времени лечить народ, потому что они заняты самыми разнообразными служебными обязанностями и что вследствие непрерывных хлопот по службе они отстают от науки и чем далее служат, тем менее становятся достойными звания врачей. 2) Что вознаграждение, получаемое этими медиками от казны (190 рублей серебром в год), не дает им никакой возможности жить честным образом, а вследствие того, как сказано в "Современной медицине", их по преимуществу "питают взятки" с тех статей, где медик является не врачом, а чиновником, наблюдающим за ненарушением законов о народной здравии. Понятно, что при таких условиях городской и уездный врач в большинстве случаев перестает быть в мнении общества врачом и считается только чиновником. Его официальное положение и необходимость пользоваться этим положением ради приобретений удаляют от него народ и ставят его в неблагоприятном свете перед людьми с развитыми понятиями о чести и "обязанностях". 3) Народ не любит врачей за преследование тех самоучек, которые лечат его болезни домашними средствами и теплым словом участия; и 4) в народе живет страшное отвращение к больницам и госпиталям, которое можете объяснить тем, что, по словам "Современной медицины" (1861 г. № 42), "смертность в наших госпиталях особенно велика, наука по большей части далеко от них, а честность и добросовестность еще дальше". Наклонность к чудесному и вера в таинственные силы своих знахарей в соединении с аттестациею, высказанною русским госпиталям русским медицинским профессором, не только объясняют причины народной антипатии к лечебным заведениям, но они представляют надежное ручательство за то, как пойдет дело, если врачебные порядки у нас еще долго простоят в прежнем положении. Итак, городские и уездные врачи, обязанные лечить жителей своего округа, не могут их лечить за недостатком времени, отнимаемого у них службою; а народ не обращается к их помощи потому, что видит в них чиновников и мало верит в могущество их знания, вследствие недостатка сближения с врачами и затруднения в получении лекарств. Сблизить врачующих с требующими врачевания, когда они по милости разных хитрых и мудреных мер успели уже стать в неблагоприятные друг к другу отношения, довольно трудно, а взаимные интересы их требуют этого сближения самым настоятельным образом. Теперь дело являет нам такой вид: народ гибнет без врачебной помощи, молодые врачи сотнями сидят без дела и без заработка.

Несообразность такого положения красноречивее всяких доводов говорит о необходимости немедленного устройства этой безурядицы. Вопрос в том: кому удобнее принять на себя инициативу этого устройства, обществу или правительству? Неблагоразумно было бы обольщаться надеждами, что существующий разрыв обеих заинтересованных здесь сторон может уступить одному какому-либо распоряжению, имеющему целью сблизить одну сторону с другой, хотя бы и сами они одновременно поняли, что распоряжение это очень важно для взаимной их пользы. Остается заботиться только о том, чтобы те врачи, которые приставлены помогать народу, и те, которые еще ни к чему не приставлены за неимением в России мест, стали в такие отношения к народу, из которых главным занятием их было бы лечение, а не обязанности, сопряженные с потерей познаний, дающих право именоваться врачом *de facto*. [188]

Первая мысль, которая приходит в голову при этих соображениях, уменьшить пространство районов, вверенных попечением известного врача, до той соразмерности, при которой врач может поспешить на помощь больному селянину без большой потери времени и без вреда для других больных; при этом количество районов увеличится до очень большой цифры, и эту цифру определится число действительно нужных нам теперь врачей. Число это, полагаем, будет очень велико, потому что участки должны определяться не только пространством, но и густотою населения. Врачам нужно будет дать жалование не во 190 рублей серебром в год, потому что они не будут уже стоять у дверей источников, известных теперешним городским и уездным врачам. Нужно в каждом участке учредить аптеки, без которых у нас до сих пор еще существуют многие уездные города; а как вольный аптекарь не пойдет в места, не обещающие значительных оборотов, то аптеки придется учредить на счет того, кто примет на себя инициативу устройства рассматриваемого нами дела. Но расходы, потребные на содержание действительно нужного числа врачей и на устройство аптек (без чего при существующем порядке получения лекарств назначение их врачом будет бесполезно), составят такую почтенную цифру, покрытие которой из сумм, составляющих государственный бюджет, невозможно. Кроме того, неудобство правительственной инициативы в этом деле станет осязательным, если мы примем в расчет, что нам нужно не то, чтобы в каждом участке была персона, именуемая врачом, но чтобы там был действительный врач, приятный народу и способный лечить людей, применяясь и их нуждам, образу жизни и степени умственного развития. Таким образом, нечего и думать привести врачебный вопрос в

положение, выгодное для врачебного сословия и для народа, одними усилиями правительства. Позволим себе теперь думать, что правительство, заботящееся о скорейшем предоставлении маленьким городам и селам всех средств пользоваться врачебной помощью в той мере, какую страна может обладать в настоящее время, предоставит введение нового распорядка самостоятельности сел и городов, точно так оно предоставило им содержащиеся от казны пожарные команды. Охранение от пожаров городского имущества (а между ним и казенного: казначейств, винных подвалов, соляных магазинов) и охранение собственного здоровья жителей составляет ближайшие интересы общин, и потому, как в том, так и в другом случае, полагаться на их заботливость очень основательно. Но рождается вопрос, могут ли городские и сельские общины устроить у себя врачебную часть при совершенном невмешательстве правительства, если оно признает за ними в этом деле полное право. Совершенно могут, если правительство сочтет только нужным сделать одно распоряжение. Из статей, написанных самими врачами в “Современной медицине”, видно, что прежде всего нужно, чтобы врач был врачом, не делаясь чиновником, нужно, чтобы врача любил народ. Следовательно, нужно, чтобы врачи не назначались, а скорее, избирались, потому что иначе общества, обязанные принимать врачей, назначенных без их выбора, найдут себя обязанными искать врачебную помощь у лиц, имеющих более прав на их симпатию. Нужно также освободить врачей от обязанности преследовать лекарей-самоучек, ибо долголетний опыт показывает нам, что это не уничтожает так называемого “шарлатанского лечения”, а только ставит самих врачей в неприязненное отношение к народу, привязанному к своим лекарям и симпатизирующему им как лицам гонимым и преследуемым за свою способность соперничать с врачами, приезжающими “потрошить мертвых”. Наконец, нужно подвергнуть немедленному пересмотру аптечный устав, представляющий ряд беспрерывных стеснений: увеличивать число аптек нельзя; лекарства непомерно дороги. Аптекарская такса – самая несообразная из всех такс, с которыми не могут еще у нас расстаться. Компетентные люди давно указывали на бесчисленные ее недостатки, и наконец в августе месяце прошедшего года медицинским советом издана новая такса, которая, по напечатанному отзыву магистра фармации Э. Классона, “служит новым доказательством, что у нас важные вопросы решаются людьми, мало знакомыми с предметом”.

Г. Классон говорит:

“Рассмотрев таксу с начала до конца, я не нашел ни одного параграфа, из которого можно бы видеть удовлетворительное решение задачи. При назначении новых цен составители руководствовались совершенным произволом: дешевые средства получили высокие цены, другие, стоимость которых выше, должны быть продаваемы дешевле, при третьих назначены две или три различные цены, так что нельзя знать, которую должно руководиться при назначении цен за лекарства”.

В статье магистра фармации Классона приведено несколько доказательств совершенной негодности новой аптекарской таксы. А между тем какой поднимается гвалт, когда кто-нибудь начнет хлопотать о новой аптеке. Нам нечего указывать, какими путями может правительство оказать свое содействие тому, чтобы народ не смотрел на врачей как на чиновников, чтобы аптек было столько, сколько их нужно и сколько их может существовать; тогда не нужна будет и аптечная такса, имеющая смысл только при монополии.

Получая право иметь врачей по собственному выбору и устроить врачебную часть по своему усмотрению, общество станет в этом вопросе в то самое отношение к правительству, в каком оно стоит к нему в вопросе об учреждении пожарной части. Если захочет, оно останется при тех городских, уездных и окружных врачах везде, где не будет средств или желания заменить их врачами по собственному выбору. В тех же местах, где явилось желание иного порядка и где есть средства к его осуществлению, оно получит возможность осуществиться, и общественный врач примет на себя все обязанности полицейского врача в отношении к правительству (судебно-медицинские вскрытия мертвых тел, осмотры проходящих рекрутских партий и проч.), точно на том же основании, на каком общественная пожарная команда будет отстаивать казначейство, тюремные замки и вообще все казенные здания. Почти нет сомнения, что при той же нерасположенности, которая заметна у горожан к городским, а у поселян к уездным и окружным врачам, городские общины, весьма вероятно, скорее придут к замещению городских вакансий врачами по собственному избранию, без предоставления им всяких служебных привилегий. В этом случае на города можно скорее рассчитывать, потому что в них жители чаще имеют столкновение с врачами, наблюдающими, “в видах охранения общественного здоровья”, за рынками, мясными рядами, овощными лавками, кондитерскими и

погребам; в селах эти столкновения реже и ограничиваются почти исключительно случаями судебно-медицинских вскрытий, как народ говорит, “потрошенья”. Оттого в селянине живет только одно чувство боязни к полицейскому врачу, а в горожанине это чувство смешано с другим, более неприязненным чувством, вызывающим у него больше сильное желание иного порядка в устройстве врачебной части. Кроме того, городские общества более сельских знакомы с пользою врачебной науки и обладают большими средствами обеспечить своего врача, от платы которому 190 рублей серебром в год правительство уже должно освободиться. К тому же аптеки в городах могут устроиться скорее, чем в селах, где они не всегда найдут для себя готовое помещение. Таким образом, устройство врачебной части в порядке, соответствующем действительным потребностям общества, в городах несравненно удобнее, чем в деревнях. Но в деревне люди нуждаются во врачебной помощи еще больше, потому что образ жизни поселян и разные бытовые условия их стоят в совершенной разладице с гигиеническими условиями, благоприятствующими человеческой жизни. Смертность поселян в детском возрасте может служить одним из доказательств этого положения.

Можно полагать, что в отношении городов правительству стоит только дозволить избрать городам врачей для охранения интересов общественного здоровья, и дело устроится без всякого правительственного вмешательства и без всяких с его стороны расходов. В селениях дело другое. Там мы не видим возможности обойтись без некоторого содействия правительства. Очевидно, это содействие должно состоять не в принуждении поселян обращаться за советами к врачу. В этом нет никакой пользы, а потому нет и никакой надобности. Крестьяне охотно ходят за лекарством в помещичьи дома и нередко толпами приходят к случайно (не ради “потрошенья”) заезжему в село лекарю. Следовательно, собственно отвращения от врачебной помощи у нашего народа нет. Содействие правительства нужно в представлении медикам возможности основаться в селении – это нужно по крайней мере на первое время, пока мало сказать: *laissez faire, laissez aller*. [189] Ввести врачей всюду сразу невозможно; нужно познакомить прежде народ с пользою, которую могут приносить врачи. Поэтому можно бы начать с сел государственного ведомства, которое (см. “Русский инвалид” и “Русскую речь”, 1861 год) “владеет огромными земельными участками и богатыми арендными статьями, приносящими годового дохода в общем счете около 7 коп. на десятину”. Предоставление врачам помещений, известного количества земли и некоторых хозяйственных угодий с прибавкою, если можно, небольшого жалованья, хоть соразмерно тому, какое получают сельские священники, – привлекли бы в села скитающихся в настоящее время без дела медиков и положили бы основание действительной сельской медицине в России. Такое пожертвование со стороны государственных имуществ, кажется, не было бы для него обременительным, а обеспечить врача в той же мере, в какой обеспечен священник, совершенно справедливо и необходимо, потому что иначе ничего не выйдет для народного дела. Не выйдет ничего, конечно, и из одного предоставления в пользу врачей тех угодий, какими пользуются священники, если они не получат вместе с тем и права отпускать от себя лекарства. Аптек нашему поселянину искать негде, да он и не любит бесполезных, по его понятию, проволочек; он понимает разумность платы за совет и за снадобье вместе, но не покупает рецептов. Это замечено давно очень многими и наконец засвидетельствовано в “Современной медицине” доктором Добычиным или орловским городским врачом Лебединским. Опасности от дозволения сельским врачам отпускать лекарства большим поселянам предвидеть нельзя. По крайней мере, теперь многие живущие в селах врачи отпускают же лекарства, и вреда от этого ни малейшего не происходит, а в Орле городской врач Лебединский (см. “Русскую речь”) исходатайствовал себе право снабжать бедных больных лекарствами не из наших драгоценных аптек, а прямо из лавки купца Сулова. Стало быть, не мы одни думаем, что сельским врачам (и городским, живущим в таких городах, где нет аптек) можно и должно дозволить снабжать лекарствами людей, прибегающих к их помощи. Запрещено же у нас продавать в лавках порох, продают вместо его мак, составленный из угля и селитры. Не дозволено продавать мышьяк, а можно купить мелкого сахара, от которого дохнет всякая тварь, подлежащая уничтожению, по мнению лица, купившего мелкого сахара в первой москательной лавке; а кому хочется отравиться, тот и удавится на первой веревке. Что же пользы в подобных запрещениях? Дарование сельским врачам права отпускать лекарства по цене, которая будет безобидною для них и для народа, и предоставление в пользу сельских врачей таких участков, какими пользуются сельские священники в казенных селениях, наверное, дадут возможность скорого устройства в селах медицинской части, и в устройстве этом будет гораздо более цели, чем в том, при котором два или три врача, состоящие при палате имуществ, один или два раза в год катаются по селам, стоят правительству денег и не приносят никакой пользы народу, теряющему в год одного человека из 30, тогда как народы других европейских

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
стран, стоящих несравненно ниже России по условиям, необходимым для человеческого долголетия, теряют только одного человека из 57 и даже 1 из 61. У нас очень развито недоверие к людям. Медицинская часть наша представляет совершенное подобие австрийского “контроля, контролирующего контроль”. Если держаться такой системы, то, разумеется, устройство сельской медицины и отпуск врачами лекарств представит весьма серьезную задачу со стороны контролирования действий врача; но ведь не все же существующее есть в то же время и необходимое... Эту истину создал еще древний мир, и рассуждение о ней можно встретить у Аристотеля. Да и разве в самом деле установленный нашими положениями медицинский контроль существует и может существовать на самом деле? Разве не известно, что такое наши старшие врачи и инспектора управ, имеющие право поверять и врачей, и аптеки. “Современная медицина” фактически доказала, что весь этот надзор – или только одна бессмысленная процедура, или невежественная придирчивость, или же, что всего чаще, сбор овчинок. Профессор Вальтер, которому (как выше сказано) мы обязаны собранием многосторонних мнений о русском врачебном вопросе, очень резко восстает против подчиненности врачей “профанам”. Под этим именем почтенный ученый понимает лиц, которым подчинен теперь служащий медик, госпитальный ординатор или полицейский врач. Судя по собственным наблюдениям и по статьям, разъяснявшим в “Современной медицине” вред этого невыносимого и безапелляционного подчинения медиков лицам, пережившим свои познания в медицине или вовсе никогда их не имевшим, мы вполне сочувствуем профессору Вальтеру. Но, не говоря об устройстве госпитальной части, которая не составляет предмета нашей статьи, мы не видим возможности изъять общественного врача от общественного контроля и полагаем, что общественный контроль будет справедливою и верною оценкою достоинств практического медика, и контроль этот вовсе не будет для медика так тяжел, как контроль нынешних “профанов”. Доверие или недоверие к врачу нельзя навязывать обществу, из каких бы “профанов” оно ни состояло и как бы высоко ни стоял врач по своим научным познаниям; а потому нельзя и отнимать у общества права держать известного врача или отвергнуть его. В этом праве оценивать врача и содержать его или заменять другим только и выразится вся сила общественного контроля, в который должно верить и при котором легко упразднить контроль господ, собирающих с уездных врачей по 100 рублей серебром годового оброка или не выдающих им положенного жалованья (см. письмо доктора Воронежского в “Северной пчеле”). При зависимости от общества, которому должен служить врач, он станет дорожить интересами этого общества, чтобы заставить его дорожить собою; а общественное мнение, всегда более беспристрастное, чем мнение отдельных лиц, располагающих участью нынешнего русского врача, не замедлит выразиться о нем, как в самом маленьком городке, так и в деревне. Зависимость эта необходима и не может быть тяжкою для врача, понимающего, что не человеческое общество устроено для него, а он создан для человеческого общества. Кто из врачей понял это, тот не ошибся. Есть много примеров, что врачи не только в самых маленьких городах, но и в деревнях успели приобрести себе уважение поселян и нашли у них средства к безбедному существованию. Из письма доктора Тулушева, напечатанного в 46 № “Тамбовских губернских ведомостей”, мы видим, что он отлично устроился в одной деревне и все крестьяне с охотою идут к нему лечиться. Он выписывает лекарства в сыром виде из Москвы, приготовляет их и берет за вылечку 20 коп. серебром.

20 коп. цена невелика, но если помножить ее на количество больных, то составит порядочную сумму, на которую много можно приобрести лекарств для бедных. И всю эту сумму задаром забирают наши немецкие аптекари, [190] катающие на своих рысаках членов врачебных управ и аккуратно поздравляющие их с новым годом, новым здоровьем и целостью старого порядка...

По-нашему, лучше устроиться в селе и приобрести от лечения тысячи больных мужиков 500 честных рублей (по полтиннику в кругу всякий заплатит. Один даст двугривенный, зато другой даст и рубль, и два, и яичек, и маслица, и всего, что он дает знахарю, убивающему его своим невежественным лечением), чем дополнять 190 руб. годового жалованья в городе взятками, постоянно чувствуя себя между двух огней. Многие уже понимают это, точно так как понимаем и мы, и понял Г. Добычин, рассказывавший о непризнании врачей народом и о тяжелой, невыносимой зависимости врача от всякой власти уездного городка. Доктор Добычин тоже знает, как бесполезны фискальные меры против знахарского леченья и как бессмысленна война с знахарями во всеоружии полицейского медика. Он даже знает, и почему народ предпочитает лекарям знахарей, потому что знахари не чиновники, живут с народом одною жизнью, радуются его радостями и плачут его слезами, а не “ждут рекрутских наборов”; потому что они не надуты спесью индейских петухов, а “умеют успокоить и раздражительного мужа и сварливую, капризную жену”. Но кто же

сказал, что можно жить среди своего народа отдельно, не имеющую ничего общего с ним жизнью? Что народу искать в человеке, не соединяющем своих интересов с его интересами, не сочувствующем его радостям, не скорбящем о его горе? Они чужды один другому, и им обоим плохо в этом разъединении. Народ чувствует это, но бедный, темный народ не видит средств сблизиться с “господами врачами”, чувствуют это и “господа врачи”. Первый шаг должны сделать врачи с полным убеждением, что народ не побежит от них, если они не станут смотреть на него, как на “чернь непросвещенную”, и не откажут ему не только в терпеливом внимании к жалобам на телесные недуги, но и в добром слове, способном умиротворить и согласить “раздраженного мужа с сварливой, капризной женой”. Зачем же отказывать в этом? Зачем же дано образование и просвещенность сердца, если не для того, чтобы вносить блага мира и любви в простые сердца, враждующие вследствие недоразумения, накипа тяжелой скорби или неумения справиться с своими страстями? Разве разумное, честное и осторожное вмешательство умного и просвещенного стороннего человека в семейную вражду людей, лишенных возможности не только разъезжаться и бросать детей по первому капризу, но и жить на разных половинах, – не великое христианское дело, не дело самого просвещенного человека в селении?

Мы знаем, что в быту сельского врача не все денечки будут красны, что не без досад и некоторой нужды он проживет свою жизнь, особенно сначала, пока его узнают и любят, но ведь все же положение сельского врача всегда будет лучше положения празднующегося врача, которых целые сотни мы видим в наших университетских городах. Итак, повторим, правительство одно не может ничего сделать ни для обучения народа, ни для устройства в широко разбросанных селах врачебной части; оно только может дать средства идти этому делу скорее, чем оно в состоянии идти без его содействия. Оно может освободить медиков от ношения у своего бедра немедицинского инструмента, предоставить сельским врачам право отпуска лекарств, дать в их пользование определенное количество казенных земель, приносящих около 7 коп. годового дохода с десятины, [191] предоставить общинам выбирать себе врача (который должен нести и полицейские обязанности в своем округе) и по общественному приговору заменять его другим; оно может, наконец, дозволить учреждение неограниченного числа аптек лицами, имеющими должные фармацевтические познания, и не возбранять аптекарям свободного понижения цен противу таксы. Впрочем, это само собою выйдет из конкуренции. Остальное все устроят сами общины, сам народ, с понятиями которого, по справедливому замечанию Гакстгаузена, сроднился аграрный коммунизм и который в этом коммунизме найдет средство обеспечить основные потребности всех действительно нужных общине людей. [192] Врачей общины, конечно, крестьяне признают нужными для себя людьми; но для того, чтобы они познакомились с выгодой медицинской помощи, мы не видим иного средства, как призвание врачей сначала в те села, где правительство может теперь же предоставить в пользование врачей известные поземельные угодья, то есть в села, подведомственные управлению государственных имуществ. Окрестные поселяне других ведомств сначала придут прибегать к помощи врачей, живущих в казенных селениях, а потом, постигнув выгоды приближения к себе врачей, подумают и о средствах обзавестись своим особым врачом. Многим хочется сразу разделить селения на медицинские округа и каждый из этих округов снабдить особым врачом, но это, к сожалению, невозможно, как по недостатку средств для такого дела, так и потому, что насылка врачей в села может иметь неблагоприятное впечатление на поселян, особенно если врачи не будут зависеть от общества и станут заботиться о его интересах менее, чем о расположении своих начальников.

Таким только образом, по нашему мнению, и можно положить прочное основание не призрачному, а действительному устройству в России медицинской части в городах и селениях. Обрадованные правом выбора для себя полицейских врачей, города не замедлят воспользоваться этим правом, а где городские общества не пожелают им воспользоваться, там может оставаться старый порядок. В селах же врачи явятся вскоре после того, как мы прочтем в “Северной почте”, что в село Цветынь или Добрынь, например, вызывается врач, в пользование которого предоставляется деревянный дом с тремя жилыми покоями и надворным строением, пятнадцать десятин распаханной земли в трех клинах и три десятины сенокоса. Или же другое объявление, в котором будет сказано, что я, NN, желаю быть сельским врачом, если мне дадут в селе теплую, чистую хату, клочок земли и корма для лошади и коровы. Такие простые строки обрадуют нас более многоречивых трактатов об устройстве того, чего сразу нельзя у нас устроить ни по каким иностранным образцам. Может быть, некоторые найдут, что земельный надел врача “свяжет его свободу”, как полагал один наш ученый, говоря о крестьянах, но ведь не всякое же лыко ставить в строку. Мало ли что ни сдается некоторым доктринарам? Поземельный надел в пользу врача обеспечит его прочно, прочнее денежной складчины в его пользу, и, делая

его хозяином своего участка, сделает его близким к интересам своих пациентов, сблизит его с народом и с природой. Этим окончиваем мы все, что могли предложить от себя на обсуждение людей, обративших в последнее время внимание на интересы народного здоровья. Мы не выдаем нашего мнения за что-то конченное, непогрешимое, но позволяем себе надеяться, что если бы оно дошло до нашегомышленого народа, то он, может быть, во многом согласился бы с нами и нашел бы в себе и силы, и средства пособить своему теперешнему беспомощному положению.

Мы более боимся, поймут ли нас врачи. Это для нас вопрос весьма загадочный. Конечно, г. Тулушев, а пожалуй, и г. Добычин и еще несколько человек молодых врачей, чувствующих неестественное положение русского врачебного сословия в русском обществе, поймут нас и, может быть, согласятся с нами, что для интересов самого врачебного сословия необходимы миссионеры к народу из этого же сословия и что без свободного сближения врачей с народом нельзя ожидать ничего хорошего для ежегодно возрастающего числа русских медиков. Но что скажут авторитеты, не ездящие к больным, которые платят менее 3 рублей серебром за визит? Впрочем, что бы они ни сказали, это все равно: “не ими свет начался, не ими и кончится”. Гораздо дороже мнение таких людей, как профессор Вальтер и его почтенные сотрудники, откровенно и честно обнажившие перед русским обществом все возмущающее безобразие русского медицинского управления, колоссальное невежество и корыстолюбие разных Юпитеров громовержцев медицинского Олимпа.

Между тем, по выводам Моро де Жоннеса, в России и Польше встречается изумительное долголетие и человеческий век в этих странах представляется гораздо длиннее, чем в Австрии и Италии. “Страны с умеренным климатом не принадлежат, как следовало бы полагать, – говорит Моро де Жоннес, – к числу тех, которые пользуются выгодами малой смертности; для этого они нуждаются в общественном порядке более совершенном”. Эту выписку из знакомого многим русским сочинения французского статистика мы и оканчиваем свою статью, желая русскому народу долгоденствия и благоденствия, а друзьям его изыскания верных средств к приведению страны в то положение, при каком долгоденствие становится уделом ее жителей.

О ПЕРЕСЕЛЕННЫХ КРЕСТЬЯНАХ

Обыкновенно, если при применении высочайше утвержденных положений о крестьянах встретится какое-нибудь затруднение, – возбужденный вопрос переходит на разрешение губернского по крестьянским делам присутствия. При этом оно обязано в постановлениях своих строго держаться закона и только в случае неясности его испрашивать объяснений от министерства внутренних дел, а в случае неприменимости ходатайствовать о том, чтобы министр вошел с представлением в Главный комитет об устройстве сельского сословия для изменения неприменимого закона. Вот каким путем разрешаются недоумения, возникающие при применении положений.

Просвещенная либеральность Главного комитета и министерства внутренних дел, в высшей степени похвальная деятельность большинства мировых учреждений, сознание самого дворянства в необходимости полного уничтожения крепостного права – представляют верные ручательства в том, что предпринятое преобразование достигнет своей цели.

Несмотря на это, некоторые вопросы несомненной важности ищут другого пути для их разрешения. Тысячи случаев, к которым вполне применима та или другая статья, составляют такие редкие исключения из общих правил, что разрешение их, на основании общего закона, представит полное противоречие духу законодательства. Между тем мировые учреждения не могут отступить ни на шаг от буквы закона: а так как в этих случаях он чрезвычайно определителен, то мировой посредник, на основании статьи, разрешает вопрос окончательно, и он редко доходит до губернского присутствия, которое, при помощи прокурора, совершенно легально, с совершенно правильным толкованием закона, подводит под него известный случай и уж затем не встречает никаких сомнений. Одним словом, вопросу не дают хода, и он ищет другого пути, чтобы обнаружиться. Он чувствует всю свою основательность, с разрешением его сопряжены интересы, участь тысячи людей. И обязанность литературы заявить его: только этим путем может он преодолеть препятствия, обнаружиться и, очистившись от грязи ложных понятий, предстать пред правительством для окончательного и справедливого разрешения.

Один из таких вопросов составит предмет настоящей статьи. [193]

Положим, какой-нибудь помещик Кондратьев имеет два имения в двух разных

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
великороссийских губерниях. В силу различных финансовых соображений, большую часть в виде наказания, Кондратьев до прошлого года переселил своих крепостных из одного имения в другое. Кто скажет, что такие случаи были невозможны? Кто скажет, чтоб они не были часты? А знаете ли, что значит переселить крестьянина из одной губернии в другую, за несколько сот верст? Это значит вырвать его из кружка людей, к которым он с детства привык; оторвать от места, к которому он привязан больше, чем к людям; часто – оторвать от семейства, потому что иные помещики переселяли своих крестьян, для избежания ненужных расходов, без жен и детей. Это значит бросить его к людям незнакомым, а он с детства не выезжал из села. Это значит разорвать все связи, которыми он держался на родине; разбить все основы, поддерживавшие его существование, его веру в людей, его любовь к труду.

Но вот в грустную хижину его долетело слово: свобода. Как ни смутно понятие его, соединяющееся с этим словом, первое желание крестьянина будет воспользоваться ею для возвращения на родину. Да притом, как и понять свободу без права жить на родине, без права, которым пользовалась даже большая часть крепостных? Несмотря на это, надежде его не суждено осуществиться. Всем приносит радостную весть новое положение – он один остается забытым, неудовлетворенным. Статья 7 местного Великоорусского Положения положительно определяет, что такие крестьяне получают надел с обязательным правом им пользоваться в течение 9-ти лет в том имении, где они водворены.

Но предположим, что помещик Кондратьев умер до обнародования Положения и одно из имений его перешло к одному сыну, а другое к другому. В этом случае переселенные крестьяне таких имений подлежат действию Высочайшего повеления [194] от 27 июля, на основании которого они “могут, по желанию: или оставаться на месте настоящего их водворения и сохранить за собой право на надел землю, или, отказавшись от надела в имении, где они водворены, возвратиться в то имение, где они записаны по ревизии” (то есть откуда они выселены), и в этом последнем они, в большей части случаев, имеют право на надел, даже без согласия общества, к которому припишутся. [195] Итак, крестьяне разных помещиков, переселенные из одного имения в другое, имеют больше прав, чем такие же крестьяне одного и того же помещика. Но на чем основывается это различие? За что последние не освобождаются от прикрепления к земле, тогда как первые в самом деле свободны? Разве одни не так же терпят от принудительного выселения из родины, как другие? Разве желание одних возвратиться в родное общество не так же естественно, как других, разве одни не такие же люди, как другие, и на этом основании не должны пользоваться одними общечеловеческими правами? Если на все эти вопросы должно отвечать утвердительно, то на чем же основывается законодательство, разделяя на две категории людей, в (общей) сложности составляющих одну? Наш пример показывает ясно, что в основании такого различия лежит не идея правды, а простая случайность: не умри Кондратьев – его крестьяне оставались бы на месте водворения; но он умер, и у него два наследника – и вот крестьяне его получают право возвратиться на родину; наконец, если б Кондратьев даже не умер, но оставил бы только одного сына, то крестьяне его все-таки продолжают быть прикрепленными к земле. Закон ясен; недоумения быть не может. Но чувство справедливости оскорблено. Интересы, личность тысячи людей принесены в жертву. Вопрос остается нерешенным, потому что несправедливое разрешение вопроса не уничтожает его.

Но до сих пор мы имели в виду только крестьян, переселенных из одного имения и водворенных в другом, то есть получивших там усадьбу оседлость и даже полевой надел; судьба таких людей все-таки довольно сносна; заведясь своим хозяйством, найдя на новом месте некоторое удовлетворение своим интересам, они, быть может, слабее чувствуют тоску по родине и по родным. Но возьмем вот такой случай: тот же помещик Кондратьев перевел из одного имения в другое несколько душ крестьян, которые не получили земельного надела, но их поселили в помещичьих строениях и заставили работать все 7 дней на помещика. На основании ст. 8 и 7 местного Великоорусского Положения такие крестьяне имеют право или отказаться от надела и удалиться из общества, или получить надел там, где они поселены. [196] Нечего и говорить, что они откажутся от надела и пожелают возвратиться на родину; но это они в состоянии исполнить не иначе, как если сельское общество, к которому они захотят приписаться, согласится их принять. Здесь они должны встретить тысячи непреодолимых препятствий. Во-первых, сношения с обществом. Кто не знает, какое это затруднение для большинства наших крестьян? Письменно снести с сельским обществом, изложить свое желание перейти к нему, предложить условия для такого перехода и просить своих соотечественников не отказать в приюте – да это и не

нашим мужичкам может показаться нелегким. Но, положим, первое затруднение побеждено: крестьяне толково объяснили в письме, чего они хотят, и общество их поняло. Вы, может быть, думаете, что оно тотчас им обрадуется, согласится принять и вышлет приемный приговор? Нисколько. Оно почти наверно им откажет или предложит такие условия, которые их хуже закабалят, чем самое крепостное право. Дело в том, что каждое сельское общество получает в пользование известное количество земли, смотря по числу душ, его составляющих; но при этом ежели количество земли, предоставленной обществу, не менее низшего размера, то прирезывать к ней помещик не обязан, хотя бы общество приняло к себе еще 50 человек! Такое правило бесспорно справедливо: но кто не видит – какие громадные неудобства представляет оно в нашем примере. Вот известное сельское общество, состоящее из 100 человек, получило в надел высший размер по той местности, положим, по 4 десятины на душу, что составит 400 десятин. Ежели оно примет еще хоть 10 новых членов, то, понятно, состоя из 100 человек и пользуясь прежними 400 десятинами земли, оно будет более стеснено, а вследствие этого, конечно, пожелает вознаградить себя за такие стеснения на счет новых членов. Но предположим, что общество наконец приняло условия выселенных крестьян; вы, может быть, думаете, что они теперь могут возвратиться на родину? Не тут-то было: на основании ст. 142 Общ его Положения, они должны предварительно испросить согласие помещика, то есть господина, который несколько лет тому назад их переселил. Из этого можно заключить, как облегчен их переход на родину.

Итак, безземельные крестьяне, переселяемые против их желания из одной губернии в другую, ждавшие воли, чтобы наконец снова перейти на родину, получают право такого перехода, но на условиях в высшей степени отяготительных, часто невозможных. И вот они по-прежнему прикреплены к земле, по-прежнему живут между чужими людьми и ждут не дождутся, не будет ли им другой воли, так как настоящая – не воля для них.

Не то бы было, если бы этим крестьянам, записанным по ревизии в одном, а водворенным в другом имении того же помещика, дозволено было, как крестьянам разных помещиков, получать в надел землю в одном из означенных имений, которое они выберут наравне со всеми членами сельского общества, к которому припишутся. Тогда бы им не нужно было входить в сношения с обществом, в которое переходят, и из милости просить то, что принадлежит им по праву.

Наконец, чтобы предупредить некоторые возражения, которые бы можно мне сделать, я считаю нужным сказать, что интересы самих помещиков в большей части случаев не затронуты этим вопросом: крестьяне получают надел из мировой земли, а не от помещика, и только в самых редких случаях, когда общество пользуется менее чем низшим размером, делается прирезка. Вследствие этого полного отстранения помещиков от настоящего вопроса, он выступает еще рельефнее; невольно спрашиваешь себя: почему же на разрешение всех приведенных случаев имеет влияние не положение крестьян, не их права и нужды, а то: принадлежат ли означенные имения одному или нескольким помещикам, для которых этот вопрос не имеет никакого значения.

ОТ М. СТЕБНИЦКОГО

Знакомые читателям “Северной пчелы” рассказы “Страстная суббота в тюрьме” сделались для многих поводом к разным толкам и к разным мерам, убеждающим меня, что известные лица еще недалеко ушли от того развития, в котором их имел случай наблюдать Павел Иванович Якушкин. Искренно сожалея о таком печальном явлении, я вовсе не намерен излагать последствий моего посещения петербургской тюрьмы и съезжего дома 3-й адмиралтейской части, хотя вполне убежден, что некоторые из этих последствий были бы не лишены общественного интереса. Я скажу только несколько слов по поводу беспокойства г. пристава Харламова, удостоившего мои рассказы возражениями, напечатанными в № 116-м “Северной пчелы”.

Г. Харламов, очевидно, вовсе не знакомый с литературным правом, принимает мои рассказы за что-то вроде публичного обвинительного акта и считает их личной обидою для себя, для всего уряда кварталных и для ротмистра***. Г. Харламова я вовсе не знаю и никакого желания оскорблять его не имею; кварталных зовет фартальными народ, и я не виноват, что он зовет их так. Тут, очевидно, виновато введение иностранного слова и способность русского человека переименовывать слова чуждого ему языка на свой лад. Есть места в России (например, в Малороссии, в Курской губернии и др.), где народ буквы х, хв заменяет буквою ф и наоборот ф и ф буквами хв, например вместо Федор там говорят Хведор. Там фамилию пристава исполнительных дел 3-й административной части народ произнесет не Харламов, а

Фарламов. Неужели г. приставу это показалось бы обидным, если бы Господь занес его в Курскую, положим, губернию? Отставной ротмистр*** на меня сердится!.. За что же? Не за то ли, что я сказал, что он судится за подлоги, а не подлог? Что ж! Я прошу его извинить эту типографскую ошибку. И потому я твердо уверен, что основательного права гневаться на меня за рассказы о тюрьме никто не имеет, а кто сердится без основания, тем я позволю себе припомнить русскую пословицу, что “кто сердит да не силен – грибу брат”. “Посердится, да не свернется”.

Потом г. Харламов дает какую-то великую цену доверию, оказанному мне тем, что я мог видеть тюрьмы, и замечает, что я писал вздор со слов арестантов, тогда как я мог поверить их показания справку у г. Харламова, который и не преминул сообщить публике свои “официальные” соображения. Что касается доверия, то я ему вовсе не даю и микроскопической доли той цены, какую дает г. Харламов, который, пользуясь постоянно таким доверием, вероятно, знает, что у нас оно приобретается без всяких особых заслуг, а в других странах для осмотра тюрем не требуется ничего, кроме дешевого билета за вход, и с этим билетом можно досмотреться до тех подробностей, которых я не мог заметить во время получасового пребывания в тюрьме, с которою г. Харламов близко соединяет свою репутацию. Забирать справки у г. Харламова мне не было никакой нужды, потому что я не собирался составлять доклад, а намерен был рассказать то, что видел и слышал, а не то, что пишет у себя г. Харламов и tutti frutti.[197] г. Харламов, будь он более знаком с значением литературы, вероятно, понял бы, что нам нет дела потчевать публику чиновничьими сочинениями, а мы рассказываем о вещах то, что нам в них представляется, не принимая на себя никакого обязательства отвечать за всякое слово, которое мы слышали и которое со слуха записываем и передаем обществу посредством печати. Мы, слава Богу, не следователи и не ревизоры, и, в силу нашей неофициальности, во всех странах просвещенного мира нам предоставлено безвредное право

Излагать свои воззренья
На политику министров,
Возвышенья мореходства,
Умножение таможен,
Урожай обильный репы

И вражды различных партий.

Далее г. Харламов говорит, что у меня была цель осмеять подведомое ему учреждение. Ну, целей моих, полагаю, г. Харламов знать не может и напрасно о них берется судить, а что касается злокачественности моих выражений, то кому же не приятно

Взбесить оплошного врага?
Приятно зреть, как он, упрямо
Склонив бодливые рога,
Невольню в зеркало глядится;
Приятней, если он, друзья,
Завоет сдуру это я!

Г. Харламов говорит, что заведение, состоящее при 3-й адмиралтейской части, – не тюрьма, а что-то иное. Это там у них по бумагам может значиться как угодно, а для нас, людей простых, всякое место, где человек лишен воли, – тюрьма, и в некотором смысле даже весь свет тюрьма.

(Земля человеку – и мать, и темница.)

Впрочем, я не имею ничего сказать против “официальных” соображений г. Харламова и пишу это для того, чтобы подобные ему чиновники убедились, что рассказать виденное не значит становиться в положение доносчика, обязанного, на основании известной статьи закона, подкреплять свой донос “юридическими доказательствами”. Таких порядков в литературе нет и не будет, а что я записал в моих рассказах, то действительно было в страстную субботу, и в том порука директор Л-в.

Г. Харламов еще полагает, что я стою перед ним на допросе, и говорит, обращаясь ко мне: “Наконец не угодно ли вам, г. Стебницкий, объяснить, о каких делах шла речь, когда вы ехали с полковником Л., и что вы разумеете под словами: еще кое о чем?”

Нет-с, г. Харламов, не угодно.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 24-го МАЯ

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Ни для кого не секрет, что в двух из наших университетов весьма сильно царил, а в одном и поныне царит между профессорами дух взаимной нетерпимости и темной интриги, – дух, разрушающий всякое единодушие в мероприятиях университетских советов и роняющий достоинство ученых лиц, которых это касается. Ряд безотрадных вестей об университетских несогласицах доходил до ведома общества из стен университета Московского, и еще гораздо больше собралось таких историй вокруг университета в Киеве. Московские истории давно вскрыты и достаточно разъяснены московскою печатью; киевские же еще все ожидают и вскрытия, и проверки. Местный киевский орган, “Киевлянин”, дал очень немного материалов к этому интересному делу, что отчасти и весьма понятно, потому что редактор этого почтенного издания, общеуважаемый профессор В. Я. Шульгин, некоторым образом сам был прикосновен к одной из киевских университетских историй (мы говорим о его докторском дипломе) и потому, вероятно, со всею деликатностью, свойственную человеку его положения и образованности, уклоняется быть судьей в деле, не совсем для него чуждом. Но так или как-нибудь иначе, киевские университетские распри, угрожавшие университету св. Владимира крайним расстройством и вызвавшие в защиту науки от интриг энергические и экстраординарные меры со стороны г. министра народного просвещения, до сих пор были известны только одной части публики по кратким известиям официальных органов, а другой – по частным рассказам и пересудам, которые за весьма редкими исключениями, к сожалению, почти всегда и везде носят недостойный характер злоречия и сплетен.

Киевские университетские разладицы на этих днях получили некоторое новое освещение. В “Правительственном вестнике” 14 мая № 102 напечатано следующее сообщение, которое мы приводим в подлиннике, предоставляя себе право сказать по поводу этой перепечатки несколько собственных слов.

Вот текст сообщения, о котором идет речь:

“В № 33 “Правительственного вестника” заимствована была из “Журнала Министерства народного просвещения” заметка о назначении из этого министерства некоторых профессоров в университет св. Владимира. В последствие этой заметки явилось позже в том же издании следующее к ней дополнение:

В заметке “По поводу назначения от министерства некоторых профессоров в университет св. Владимира”, напечатанной в “Журнале Министерства народного просвещения” за январь 1869 года, было сообщено, что ввиду окончательного уничтожения историко-филологического факультета в упомянутом университете – уничтожения, которое было следствием систематической забаллотировки профессоров и преподавателей этого факультета, при неимении кем их заменить, – министерство было вынуждено обратиться к чрезвычайной мере, к назначению от себя профессоров, уже забаллотированных, на основании § 72 устава университета. В дополнение к этой заметке не излишне будут привести самые факты, относящиеся к этому делу.

1.1 августа 1867 года истек срок пятилетия, на которое был избран ординарный профессор по кафедре римской словесности Деллен. Историко-филологический факультет единогласно избрал его на новое пятилетие, в сознании той пользы, которую он приносил доселе классическому образованию студентов, и руководясь тою мыслию, что весьма трудно было бы заменить его другим профессором, столь же знающим свое дело, столь же опытным и столь же добросовестно исполняющим свои обязанности. В своем представлении факультет не исчислял подробно ученых заслуг Деллена, ибо полагал, что члены совета ценят по достоинству этого почтенного профессора, известного не только у нас, но и в западном ученом мире. [198] Тем не менее совет университета св. Владимира забаллотировал его, и г. Деллен в настоящее время с пользою продолжает трудиться на своем профессорском поприще, но уже в Харьковском университете, который тотчас же выбрал его в свои профессора, как только узнал о забаллотировании его в Киеве.

2. 27 ноября 1867 г. истек срок, на который был избран ординарный профессор по кафедре философии Гогоцкий, автор “Философского лексикона”, над которым он не переставал трудиться до последнего времени и который, по мнению знатоков дела (например, покойного профессора Карпова), составляет весьма важное приобретение для нашей ученой литературы. Историко-филологический факультет, избрав единогласно этого своего достойного ученого сочлена на новое пятилетие, счел за должное на этот раз подробно исчислить перед советом его ученые и преподавательские заслуги. Тем не менее он был забаллотирован советом.

3. В январе 1869 года исполнилось двадцатипятилетие службы ординарного

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
профессора по кафедре истории русского языка и литературы Селина, которого историко-филологический факультет почтил избранием в свои деканы. В совете университета св. Владимира и он был забаллотирован.

4. Совету университета св. Владимира представлялась возможность заместить кафедру всеобщей истории, которая с 18 января 1866 г. оставалась вакантною, 31 января 1867 г. им был избран в доценты по этой кафедре магистр всеобщей истории С-Петербургского университета Бильбасов, который вскоре после того приобрел степень доктора, а вместе с нею и формальное право на возведение в экстраординарные профессора, то есть на занятие кафедры. Факультет представил его в экстраординарные профессора, но совет в заседании 17 ноября 1867 года забаллотировал его и тем лишил факультет и этого преподавателя.

Все эти забаллотировки, так последовательно и тяжело поражавшие историко-филологический факультет и, наконец, вовсе его уничтожавшие, начались, сколько можно видеть, с тех пор, как бывший профессор всеобщей истории Шульгин (ныне редактор "Киевлянина"), возведенный было советом в почтенные доктора по инициативе ординарного профессора по кафедре акушерства Матвеева (ныне ректора университета), был принужден возвратить университету свой докторский диплом, вследствие вполне основательного протеста со стороны историко-филологического факультета (поддержанного и бывшим министром народного просвещения) против возведения в докторы по одной из наук этого факультета самим советом без выслушивания предварительного мнения факультета. С тех пор, кто бы из членов историко-филологического факультета ни баллотировался в совете, был неминуемо подвергнут забаллотировке, а так как при этом совет не имел кем заменить прежних профессоров, то упомянутый факультет и был совершенно разрушен менее чем в полтора года.

Относительно окончательного разрушения историко-филологического факультета в университете св. Владимира в виду министерства народного просвещения имеются следующие факты: 1) При донесении своем, от 30 декабря 1868 года, за № 6, 490, г. попечитель киевского учебного округа представил донесение г. ректора университета, к которому был приложен список вакантных в университете кафедр. Из этого списка оказывается, что на историко-филологическом факультете из 11 кафедр, положенных по уставу 1863 года, 10 были вакантными (с причислением к ним той, которую занимал ординарный профессор Селин) и что только одна кафедра славянской филологии была занята исправляющим должность экстраординарного профессора Яроцким, не имеющим соответствующей этому званию ученой степени; 2) г. попечитель киевского учебного округа, согласно ходатайству университетского совета, вошел в министерство с представлениями, от 19 декабря 1868 года за № 6, 349, о прикомандировании к историко-филологическому факультету всех наличных доцентов сего факультета, хотя они и не прослужили в этой должности двух лет, с предоставлением им права голоса по всем делам факультета, и потом от 14 января 1869 г., за № 185, о временном прикомандировании к тому же факультету, на правах членов оного, впредь до пополнения его ординарными и экстраординарными профессорами, ординарного профессора по кафедре богословия Фаворова, исправляющего должность экстраординарного профессора по кафедре политической экономии Цехановецкого. Ни то, ни другое из этих ходатайств не могло быть удовлетворено министерством, ибо по § 10 устава к участию в факультетских собраниях допускаются только те доценты, которые прослужили не менее двух лет в этой должности; что же касается до временного прикомандирования профессоров богословия и политической экономии, то это было бы противно уставу, ибо кафедра богословия, общая всем факультетам, не приурочена ни к одному из них специально, а кафедра политической экономии отнесена к юридическому факультету, и ни совету университета, ни самому министерству не предоставлено уставом право переносить кафедры из одного факультета в другой; притом же упомянутые профессора, не принадлежа к историко-филологическому факультету, не могли бы и быть формальным образом признаны за компетентных судей по наукам, входящим в состав этого факультета. Но уже то обстоятельство, что совет университета св. Владимира выступил с такими ходатайствами, показывает, что он и сам сознавал вполне совершившийся факт окончательного разрушения историко-филологического факультета и чувствовал крайние неудобства, из сего проистекавшие, коих, конечно, нельзя было отвратить предположенными им мерами, так как они состояли в противоречии с уставом.

Что же касается до мер, принятых самим советом для восстановления историко-филологического факультета, то ему удалось привлечь к университету только двух доцентов по кафедре русской истории и одного доцента по кафедре

философии. Но хотя доценты, равно как и лекторы, и входят по § 6 устава в состав факультетов, тем не менее факультетское собрание, которому подлежат все дела, исчисленные в 11 пунктах § 23, состоит, по § 10, только из ординарных и экстраординарных профессоров факультета, и кафедра считается замещенной только в том случае, если она занята ординарным или экстраординарным профессором. Таким образом, и после принятых советом мер оставались вакантными: кафедра русской истории с 1859 года; кафедра римской словесности, которую с честью занимал г. Деллен, со времени его забаллотировки, то есть с 1 августа 1867 года; кафедра философии с 27 ноября 1867 года, когда был забаллотирован г. Гогоцкий; кафедра всеобщей истории с 18 января 1866 года; кафедра греческой словесности с 6 июля 1868 года, не говоря уже о тех кафедрах, которые были вновь учреждены уставом 1863 года и из коих ни одна еще не была замещена. Правда, некоторое время совет университета имел виды на замещение кафедры философии г. Троицким. Но ходатайства об утверждении г. Троицкого (так же, как и каких-либо других подобных же ходатайств) еще и до сих пор не поступило в министерство; а, напротив, из донесения г. попечителя киевского учебного округа, от 6 декабря 1868 года, оказывается, что согласно уведомлению, полученному им от попечителя казанского учебного округа, профессор Троицкий изъявил желание продолжать службу в Казанском университете. Министерство имело полное основание питать опасение, что и все другие виды совета окажутся не более сбыточными, чем виды его на г. Троицкого, ибо из упомянутого выше донесения г. ректора университета, препровожденного в министерство г. попечителем, от 30 декабря 1868 года, оказывалось, что для замещения кафедры греческой словесности совет университета св. Владимира думал пригласить приват-доцентов Московского университета, не имея никаких положительных на этот счет данных, и одного чеха, учителя одной из австрийских гимназий, которому во всяком случае пришлось бы предварительно приобрести высшую ученую степень в одном из университетов империи; далее относительно замещения кафедры римской словесности совет рассчитывал на экстраординарного профессора историко-филологического института г. Ионина, который, при всех своих преподавательских и других достоинствах, не имеет еще степени магистра, не говоря уже о том, что и он отказался от сделанного ему предложения; относительно же замещения кафедры философии – на отказавшегося уже, как выше было упомянуто, г. Троицкого, а относительно кафедры всеобщей и русской истории и истории русского языка и русской словесности, в донесении не было высказано даже и таких предположений.

Ввиду, с одной стороны, столь ненадежных расчетов совета, а с другой, ввиду уже совершившегося разрушения одного из важнейших факультетов и незамещения даже такой кафедры, как кафедра русской истории, с 1859 г., министерство принуждено было прибегнуть для восстановления факультета к тем чрезвычайным мерам, на которые указывал ему § 72 общего устава университета, то есть к назначению уже забаллотированных профессоров Гогоцкого и Селина, а затем в марте месяце и доктора всеобщей истории Бильбасова, который ныне определен также ординарным профессором. Но эти меры восстановили факультет далеко не в полном его виде, и совету университета св. Владимира предстоит еще употребить все зависящие от него усилия, дабы привести факультет в надлежащее состояние. Нельзя не пожелать от всей души, чтобы усилия эти увенчались полнейшим успехом и в скорейшем по возможности времени”.

Дальше этого не идет официальное сообщение, и здесь оканчивается свет, проливаемый правительственным органом на темные истории киевских университетских разладов, получивших большую и печальную известность и подрывающих пред лицом всей России репутацию высшего учебного заведения юго-западной Руси. Сдержанный тон, в котором министерство передает счет киевских забаллотировок и излагает необходимость пресечь это зло министерскою властью, имеет, очевидно, целью смягчить острое впечатление неудовольствия, возбуждаемого киевскими университетскими разладами; но тем не менее в виду все-таки остается, что необъяснимые забаллотировки, о которых идет речь, вызвали против членов университета меры довольно решительные, и хотя вполне необходимые, но тем не менее уместные лишь в применении к лицам, нравственное и умственное развитие которых не представляет особенно прочных и верных ручательств в их правоспособности управить вверенное им дело, сообразно дарованным им правам самоуправления и самоустройства. Очевидно, что университет св. Владимира не умел отнестись к предоставленному советам университетов выборному праву с тем достоинством, с каким должен понимать это право взрослый избиратель, служащий делу, а не каким бы то ни было посторонним ображениям, и за странное пользование своим правом совет киевских профессоров подвергнут г. министром внушению, которое должно послужить университету в очень памятное назидание.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Господин министр народного просвещения, которому дело университета, вероятно, было ближе, чем господам профессорам университета св. Владимира, не допустил, чтобы целые курсы студентов оставались без преподавателей, и прислал им профессоров, выбранных по личному его усмотрению. Из всего этого довольно ясно, что университет не одолел каких-то, сторонних делу образования, но тесно к нему придвинутых интриг и соображений. Таково общее впечатление, произведенное на нас сообщением “Правительственного вестника”. В какой эпохе и в каком принципе искать источного начала киевских неурядиц, мы постараемся выяснить это, хотя отчасти, в следующей статье. Грустно, однако, что какие-то темные силы воспрепятствовали образованнейшей корпорации воспользоваться благоразумно своими правами самоуправления, так что вызвали законное вмешательство административной власти к водворению порядка.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 26-го МАЯ

Возвращаемся к печальным историям в университете св. Владимира (“Биржевые ведомости”, № 139). О киевской университетской распри мы имеем некоторые сведения и помимо приведенного нами в прежней статье правительственного сообщения, и нам обещали еще доставить более подробные, – так сказать, целую летопись того, как упорными забаллотировками совет университета выживал честных и полезных прежних деятелей, не находя на их места новых, и как он, идя в этом направлении, очутился в положении лиц, не умеющих пользоваться правами свободы и обыкновенно получающих потому начальственные внушения.

До тех же пор, пока мы снова будем иметь случай возвратиться к разоблачению махинаций, действующих во вред науке и достоинству личного состава гг. профессоров Киевского университета, скажем одно, что все забаллотировки, как те, которые упомянуты в правительственном сообщении, так и те, о которых там позабыто и не сказано, не показывают никакого единообразия в суждениях и действиях Киевского университета. Чего требовали и домогались избиратели от тех, которые имели несчастье получать их избирательную оценку? Если они выше всего ставили ученость и известность людей в ученом мире, то как могли быть отвергнуты советом такие ученые люди, как Деллен, Гогоцкий и Вальтер (ныне исходатайствовавший себе место сверхштатного профессора)? Если ценимы были по преимуществу личные, общежитейские, человеческие достоинства профессора, то этому въявь противоречат другие забаллотирования, и более всех забаллотировка профессора медицинского факультета Алферьева, который хотя не написал особенно замечательных ученых сочинений, но вел свое дело, при знаниях достаточных и при безукоризнейшем, чуть не в пословицу вошедшем беспристрастии и гнушательстве всем, что носит на себе хотя малейшую тень интриги... Этот прямой и открытый человек, способный воздавать должную справедливость заслугам каждого из своих товарищей, не взирая на личные их к нему отношения и отнюдь не мешавшийся ни во что, во что только мог не вмешаться, но не позволявший в то же время передвигать собою, как пешкою, был неудобен по соображениям, совершенно сторонним науке. На него просто нельзя было рассчитывать, что он в ту или другую минуту может быть по произволу сунут туда или подвинут сюда, а минуты эти уже предчувствовались, они уже были близки, и неудобный при них профессор Алферьев был прибран из университета. Повторяем: во всех этих отвержениях так или иначе выжитых из Киевского университета людей нельзя уловить никакой одной, прямо положенной и строго и последовательно проводимой идеи, а виден только какой-то беспokoйный подбор к масти, но такой подбор, что говорить о нем, право, почти невозможно, или, по крайней мере, невозможно говорить о нем в этих строках, которыми мы сопровождаем воспроизводимое нами сообщение официальных правительственных органов. Еще раз говорим, что махинации, вызвавшие энергическое вмешательство г. министра в дело замещения вакантных кафедр Киевского университета, составляют уже целую историю, – невеселую, грустную, мало способную внушать молодежи высокие чувства почтения к своим наставникам, – но тем не менее историю, которой нужен свой дееписатель, способный представить ее во всей правде и истине “молодым людям на поучение, а старым на послушание”.

Московская университетская история, вследствие полученной ею большой огласки, пользуется гораздо справедливейшими отношениями к ней общества, чем киевская. Последняя, носясь в реющих волнах молвы, как сказано, несвободна от заслоняющего истину наноса, без которого ничего не передает досужая сплетня. Публика, заинтересованная деяниями господ профессоров Киевского университета, частью обвиняет во всех неурядицах Киевского университета национальную интригу (немецкой партии), а частью заносчивое гордыбаченье партии молодых преподавателей. Что касается до первой догадки, то она в настоящее время едва ли может иметь какое-нибудь место. Действительно, “во время оно”, хотя, впрочем, и не очень

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

давно (в конце пятидесятих годов) между киевскими профессорами русского и немецкого происхождения был некоторый племенной антагонизм. Немцы тогда одолевали русских своим большинством; но той сети нераспутаннейших интриг, с которыми познакомили университет более поздние деятели, тогда не было. Немцы во всяком случае неповинны в том, в чем их довольно легкомысленно упрекают трактующие о киевской университетской распри. Весьма многим из киевских профессоров немецкого происхождения от здешних неладов так же досталось, как и русским: Деллену и Вальтеру воздана одна и та же честь, что Гогоцкому и Алферьеву.

Так же точно не совсем основательно было бы сваливать всю вину в истории киевских забаллотировок и на молодую партию. Нет достаточных оснований утверждать, что будто бы ею именно внесен в университет и прочно водворен в его совете дух распри и интриги. Киевский университет имел несчастье познакомиться с развещающею и роняющею его в общественном мнении интригою, когда нынешняя молодая партия еще не действовала, а сидела по разным местам на школьных скамейках. Рожны друг другу стали ставить здесь гораздо ранее люди, легкомыслие которых в нынешнее время их жизни уже не может искать себе оправданий в молодости лет. В пятидесятих годах Киевский университет уже переносил частые страдания от интриг, подрывавших и достоинство совещательных бесед его совета и ронявших некоторых его профессоров во мнении студентов. В начале шестидесятих годов профессорские нелады нередко доходили до крайностей. В это время в Киеве явились профессора, адъюнкты и отчасти соискатели кафедр, которые, не ладя с советом, стремились создать себе популярность между студентами. В целях приобретения этой популярности завелись панибратские отношения нескольких таких господ с учащимися, разговоры о товарищах профессорах по окончании лекций в аудиториях, застольные беседы о том же самом с студентами за пивными столами в ресторанах и кофейнях – одним словом, пошло в ход искание популярности *per fas et ne fas*. [199] Рядом с возвышением своего авторитета обыкновенно шло принижение значения, какое имел для слушателя другой профессор; авторитеты свергались, характеры профессоров представлялись в карикатурах, совесть их заподозревалась, поступки получали неблагоприятные истолкования. Нравы студентов и их отношение к профессорам портились преднамеренно и бесцеремонно. Это недостойное злоречие, пользовавшееся значением “очистительной критики”, эта недостойная игра в “популярничанье” скоро дали свои плоды: профессорам, окритикованным в заседаниях в “шато” или в “аглицкой” кофейне, студенты скоро же начинали свистеть, лаять, останавливать некоторых из них на коридорах и делать им указания, что они мало знают, и тому подобное... Все это было заготовлено и припасено впрок не теми, кого числят ныне в молодой партии. В этой партии действительно есть люди, которые вышли из школы, которая повсеместно вела “очистительную критику” против своих собратий по профессуре, и, может быть, некоторые из этих новых деятелей преемственно продолжают то, что приняли в лета юности от своих популярных в то время руководителей, но... их ли мы главным образом станем упрекать в этом? Платон говорил: “Горе той молодежи, на глазах которой не умели себя вести старцы!” Может, молодые ученики, подняв оружие, которым в их глазах бивались их наставники, далеко превосходят своих учителей и отливают некоторым старым котам мышинные слезки. Дескать,

Любили вы других в шуты рядить,
– Угодно ль на себя примерить?

Но что делать? – таков закон судеб: все совершенствуется, и искусство делать зло и удивлять неблагодарностью подлечит сему же роковому закону. Правда, в вековечной книге сказано, что “ученик не будет больше учителя своего и посланный более того, кто его послал”, но это не касается законов прогресса, и на это некстати опираться тем, кто в свое свежее время выпевал, что

Профессор Деллен

Годен лишь для богаделен...

Судьбы совершают свое: юношество, которому внушалось шутя или не шутя, что “профессор Деллен годен лишь для богаделен”, возросло, укрепилось разумом и духом и... зачислило было профессора Деллена “по богадельням”, да так, как оно решило, не случилось. Этот уважаемый Европою полезный и достойный всякого почтения ученый приглашен другим университетом и воспитывает еще одно поколение, которое уже владеет “ошибками отцов и поздним их умом”. Профессор Деллен на закате дней своих, всеконечно, видит в этом новом поколении крепнущее сознание торжества вековечных идей, а те... “изрывающие ямы ближним своим сами впади в оную” и тем запечатлели созерцающему все это потомству роковой завет, что новому, входящему в жизнь гражданину мира передает разгибаемая перед ним рукою матери старая

пропись.

Одним словом, то, что происходило, а может быть, и поднесь происходит в Киевском университете, по нашему мнению, не должно и не может быть рассматриваемо как отдельное, одному Киевскому университету свойственное, явление. Дух, пролетевший столь недавно над умственной нивою Руси, в низменном полете своем черкнул своим крылом по кровле училища, считающего своим покровителем равноапостольного князя, и был то дух смятенный, дух бурный. Он возмутил сонные дотолы волны жизни, и в том возмущении легковесные плевелы, несясь по ветрам погоды, заносили здоровое зерно, которое прозябало, дабы дать плод свой. Что носилось над всею почти интеллигенциею страны, то не могло обминуть и Киевский университет, несмотря на то, что он стоял несколько далее других от коловорота, разносившего бурное веяние. Его стерегущие могли и должны были бы защитить его, но, может быть, это мало их озабочивало, а может быть, они бдели всеу. Судьбам было угодно дать простор роковому течению. Но “дух бурный” уже пал за горою, и позади его пути начинает уже все успокаиваться и приходить в порядок. Перед новыми преподавателями, из какой бы из них кто школы ни вышел, стоит новое молодое поколение, умственные требования которого трезвее, а нравственные принципы определеннее и строже, чем у поколения, которого шаткая молодость началась непосредственно за застоём, цепенившим жизнь, бывшую, по выражению Хомякова, чашею “всякой мерзости”.

Перед лицом нового поколения, во сретение которому жизнь русская идет в неведомой ей доселе правде и преподобии истины, должна сломать свои бодливые рога ничтожная гордыня мелкого себялюбия и уступить место высоким и святым заботам, бывшим задачею жизни Кудрявцева и Грановского, которых следующий по стопам их ученик их и ученик ученика их вечно благословит, а не осудит.

Будем ждть и надеяться, что строгий, но справедливый урок, данный г. министром народного просвещения Киевскому университету, не пройдет без самых благих последствий не только для тех, к кому он относится непосредственно, но и для всех, кому в наше великое время пробуждения русской жизни выпало счастье совершать святое дело воспитания грядущего на смену нам поколения. Да будет храм науки чист и соблюден от вменения его с местами торжищ.

АЛЛАН КАРДЕК,
недавно умерший глава европейских спиритов
Недавно умер в Париже Лев Ипполит Ривайль, известный более под псевдонимом Аллана Кардека, глава и руководитель европейских спиритов. Возвещая о его кончине, одно из русских иллюстрированных изданий поместило даже очень хорошо исполненный портрет этого мистика, снабдив, впрочем, гравюру крайне неуважительною для покойника подписью. Аллан Кардек назван “шарлатаном спиритизма” без всяких, впрочем, указаний на его шарлатанство.

Между тем в “Revue spirite (Journal d'études psychologiques)” [200] за май месяц 1869 года помещена биография г. Кардека – этого странного и во всяком случае замечательного человека, ставшего во главе нескольких тысяч созерцателей, объединявшихся и укреплявшихся в духовном единомыслии во время наибольшего разгара самого крайнего материализма.

* * *

Лев Ипполит Ривайль (псевдоним: Аллан Кардек) родился в Лионе 3-го октября 1804 г. и вовсе не был круглым невеждою, как многие о нем распускали. Напротив, он учился немало. После усвоения себе элементарного образования, он очень рано начал заниматься высшими науками и в ряду их особенно философию. Он воспитывался в Ивердене, в школе знаменитого Песталоцци, и был его искренним сторонником. Аллан Кардек ревностно распространял систему и научный метод преподавания этого известного педагога. Вначале Аллан Кардек решил было посвятить себя педагогической деятельности и, вернувшись во Францию, занялся переводом на немецкий язык различных сочинений по части воспитания. Тут он, между прочим, перевел сочинения Фенелона. Потом, в 1835 г., он открыл у себя на дому бесплатные курсы и сам читал лекции химии, физики, сравнительной анатомии, астрономии и др. Постоянно стараясь вводить в преподавание систему Песталоцци, Аллан Кардек изобрел новый метод для преподавания арифметики и составил мнемоническую таблицу истории Франции. До 1850 г. все сочинения Кардека состоят из различных учебников или других книг, которые во всяком случае написаны в целях педагогических.

Но затем с ним происходит переворот, и отсюда начинается его новая деятельность.

* * *

Проведя детство в семье католической, но в то же время воспитанный в протестантской школе в Швейцарии, Аллан Кардек представлял нечто не совсем обыкновенное в его религиозных понятиях и взглядах. На его живую и впечатлительную натуру сильно повлияла религиозная нетерпимость, которую постоянно выражали люди, его окружающие, и он, будучи еще почти ребенком, начал уже предаваться мечтам о слиянии всех религий воедино. В 1850 г. начали сильно говорить о различных проявлениях духов и о присутствии их между людьми. Аллан Кардек не отнесся к этому скептически и тотчас же посвятил себя изучению этого феноменального явления. Сначала он (по его словам) находил еще во всем, что говорили о духах, одно только проявление неизвестных нам сил природы, но потом получил какие-то спиритские открытия, из которых узнал, что те силы, о которых ведем речь, соединяют мир видимый с миром невидимым. “Убедившись в этом сообщении, – говорит биография, – Аллан Кардек признал возможным, сообщаясь с миром невидимым, разъяснить многие религиозные вопросы, которые до сих пор оставались неразрешенными. Он не стал беседовать с духами о житейских пустяках и вздорах, которыми допекают их спиритские медиумы, а заставил свои спиритские способности в сообщениях с загробным миром перейти на почву чисто религиозную”. По этому предмету Аллан Кардек написал несколько сочинений, из коих особенно имели большой успех в обществе: “Книга духов”, как руководство для изучения философии спиритизма; “Книга медиумов”, заключающая в себе учение спиритизма и объясняющая приемы медиумов; “Толкование на евангелие”, где выражена нравственная сторона спиритского учения, и мн. др. Наконец, в 1858 г. под руководством Аллана Кардека было образовано целое общество спиритов, которые держатся дружно и до сих пор собираются как с целью изучения своей непостижимой и непризнаваемой науки, так и для забот о распространении спиритизма в целом мире.

* * *

Одно из главных начал учения Аллана Кардека основано на том, что все миры всей сферы мироздания обитаемы душами, более или менее чистыми и возвышенными, которые могут совершенствоваться и возрождаться. Воспоминанием об этих покинутых мирах или стремлением к ним спиритизм объясняет различные человеческие странности и стремления. Врожденное чувство, призвание объясняется запасом знаний, приобретенных в прежней жизни; движение и прогресс народов появлением людей, прежде живших и уже совершенствовавшихся; симпатии и антипатии объясняются также прежними отношениями людей в прошедшем. Главный догмат спиритизма не тот, что “без веры нет спасения”, но он изменен так: “без милосердия нет спасения”, и таким образом проповедуются выше всего дела милосердия, безграничная веротерпимость и полная свобода мысли.

* * *

Аллан Кардек жил очень скромно, в самом тесном ограничении этого слова, – лучше сказать, он был просто беден и среди всех его знавших слыл за человека добродушного и честного. Он издавна страдал болезнью сердца и умер скоропостижно, занятый переездом на новую квартиру.

После его смерти парижское общество спиритов выбрало, вместо него, своим председателем г. М. Мале. Оригинальнее всего, что хотя этот выбор пал на г-на Мале по загробному указанию самого Аллана Кардека, но усопший глава спиритов еще все-таки продолжает и сам руководить свою общину. Спириты беспрестанно “держат общения” с духом своего прежнего учителя.

* * *

Вот несколько строк из загробных наставлений Кардека своему духовному стаду:

“Как человек, я бесконечно счастлив, видя то искреннее участие, которое вы мне оказываете; как спирит, я радуюсь, что вы так твердо решились содействовать упрочению в будущем этого нового учения. Хотя спиритизм и не есть дело рук моих, но я сделал для этого учения все, что только было в моих силах. Оттого мне было бы больно, если бы можно было предвидеть его погибель. Вы хотите поддержать общество, вы имеете искреннее желание идти твердо по начертанному пути, – это хорошо! Но помните, что желать этого нужно не только сегодня, завтра и послезавтра; нужно желать всегда. Когда воля является только по временам, порывами, это не есть воля, а каприз; но когда она с невозмутимым спокойствием руководит нашими действиями, тогда она является настоящею волею, непоколебимою в

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovnikolai.ru
действиях, плодотворною в результатах.

Доверяйте вашим силам; если вы сумеете разумно направлять их, они принесут богатые плоды; верьте в силу мысли, которая вас соединяет; она никогда не умрет. Вы можете способствовать или остановить на время ее развитие, но уничтожить идею невозможно!

Вступая теперь в новый фазис бытия, энергия должна заменить апатию, спокойствие заменить горячность. Будьте снисходительны друг к другу; старайтесь приобрести влияние на окружающих посредством милосердия и любви. О! Если бы вы знали всю силу этого рычага! Архимед смело мог бы сказать, что этим рычагом легко перевернуть весь мир! И вы преобразуете мир, друзья мои, и это преобразование будет величайшим периодом в истории человечества.

Мужайтесь и надейтесь. Надежда!.. это свет, которого ваши несчастные братья не видят за мраком гордости, невежества, материализма; не отдаляйте же от них этого света. Любите их, пусть и они вас любят, слушают и видят; тогда они прозреют и уверуют.

Как я буду тогда счастлив, друзья мои, мои братья! Тогда только я увижу, что старания мои не пропали даром и что сам Бог благословил наше дело! В этот день все небо возрадуется и возвеселится. Человечество избавится навсегда от страшного ига, которое его тяготит и давит. На земле не будет более ни зла, ни страдания, ни горя, потому что настоящие страдания и ужаснейшее горе происходят от нашего духа.

При ярком свете свободы и любви человеческой люди воскликнут: “Все мы братья!” и в сердце каждого будет одна любовь, на устах одно слово: “Бог!”

Аллан Кардек”.

* * *

Вот все общение, написанное будто бы вчера умершим человеком, через посредство другого человека, облюбованного духами для употребления его, вместо респедера к карандашу, конец которого должен чертить загробные вещания. Удивительное дело, удивителен человек во всех своих заблуждениях! Напрашиваясь в ближайшее свойство с червем, свиньей и обезьяною, он столь же пуху подобно ветрен и легковверен, как и переписываясь заживо в небожители и беседуя в этом чине с своими умершими друзьями; лишь одна, простая, прямая, благодатнейшая для человечества религия “люби ближнего, как самого себя, и не делай того другому, чего не желаешь себе”, – одна эта религия людям мала и бедна, и несостоятельна, и требует, чтобы ее оборвать, как оборвали ее материалисты, или облепить ее нелепыми пристройками, как это делают спириты. Какое низкое мнение о человеческой душе кроется под этим мнимым возвеличением духа спиритами? Стоит ли беспокоиться приходить с того света, чтобы сказать такие обыденные фразы, которые мы выше привели и которые приписываются Аллану Кардеку? Стоит ли, с другой стороны, тревожить отошедшего “страдальца жизни” для того, чтобы он после серьезнейшего акта своей жизни, – после смерти, – молот, как осел, пустыми жерновами и повторял миру избитые фразы, сочинение которых не может нисколько затруднить и самого нехитрого медиума? Стоит ли, наконец, умирать, уходить от этого тяжелого, подчас кошмарного сна жизни (как говорит Л. Н. Толстой) для того, чтобы первый досужий медиум снова стянул вас “из обителей Отца”, как стягивает шаловливый мальчишка старый лапоть с полатей, и начал бы вертеть вас перед всеми за оборы? Стоит ли, повторяем, спорить и доказывать, что жизнь наша вовсе не безответственная случайность, – доказывая это лишь для того, чтобы одна нелепость, – грубая нелепость слепого материализма, – уступила место не менее его слепому и, как видим, столь же болтливому сказочному учению, которое прозвали спиритизмом.

Жалкое, поистине жалкое шатанье, в котором колеблется со стороны на сторону “ничтожный, слабый род, достойный слез и смеха”.

* * *

Мы не хотели назвать Аллана Кардека никаким таким именем, как называют его некоторые из наших изданий. Чужая душа потемки. Может быть, покойник и не имел ни малейшей нужды прибегать ни к какому шарлатанству. Впечатлительным людям нет ничего легче, как самым искренним образом поддаваться самым нелепым заблуждениям, и если мы не зовем шарлатанами ни наших скопцов, ни хлыстов, ни лазаревщины и “всех людей Божиих”, у которых так много общего со спиритами, то

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
не видим, почему бы непременно нужно было бы звать шарлатаном Аллана Кардека? Искание живого духа свойственно было людям во все времена и, вероятно, не оставит человека до века, до переселения его “в обители многи”, но спиритские баснословия могут удовлетворить и успокоить все эти искания здравого умом человека столько же, сколько сказочное “Сезам, отворись” может поворотить гранитную скалу. Сокрытое от нас завесою смерти сокрыто не без цели, а Сокрывавший эту тайну, всеконечно, умел достичь своей цели, так что душу из смертных сени не выволокешь назад. Тем, кто это устроил, все было “предуведано и предустановлено”.

Многим оскорбленным материалистическими толкованиями евангелия и нигилистическими воззрениями на жизнь мнится, что спиритизм есть некая новая грядущая сила, которая сотрет главу материализма и примирит народы о вере единой. Так думал при жизни и Аллан Кардек, – и лгут ли на него или нет, а уверяют, что так думает он и ныне, после своей смерти. Не получаем ли мы в этом новое доказательство, что умирающие спириты и после смерти своей не только так же болтливы, как при жизни, но и так же легковверны и что бессмертные души их, прилетающие сюда, когда их вытащат, порою весьма хорошо бы для их репутации подергивать за полы.

* * *

Впрочем, мы должны сказать, что иногда духи ведут себя гораздо умнее и отвечают и неглупо, и немногословно. Мы недавно сообщали, что в Пенсильвании один дух нелживо открыл спириту месторождение петролеума, а после того в одном большом петербургском спиритском обществе одна молодая светская вдова, не находящая якобы себе нигде ни места, ни покоя от всяких злых недугов и немочей, просила медиума спросить ее покойного мужа: “что ее может радикально вылечить?”

“Не ешь досыта и работай до пота!” – отвечал через медиума нелицемерный покойник.

Это ответ, которого от лстивых и лицемерных людей, не покинувших землю, действительно, пожалуй, не скоро дождешься. Наши соотечественники, вероятно, и там держатся пореальнее французов.

“С ТЕХ ПОР, КАК МОСКОВСКИЕ СТАРООБРЯДЦЫ...”

С тех пор, как московские старообрядцы, приемлющие духовенство, поставляемое для него секретными архиереями, повздорили из-за “Окружного послания”, они никак не обретут себе вожделенного мира, а все идут к большему и большему разъединению и, вероятно, скоро вовсе разорвутся и потекут по двум различным направлениям. Последнее обстоятельство, которое мы ныне заносим на столбцы нашей газеты, показывает, что мечтать о примирении московских окружников с раздорниками не следует. Неустанно враждая, кипятясь и волнуясь, они развели свою распрю в столь великую область, что ее уже не окинешь оком и не определишь, где она может кончиться? Раскол всегда отличался тем, что неуклонно предпочитал мирить свои нелады и распри в своем собственном дворе, не вынося сора на улицу и тем не менее не привлекая начальства ко вмешательствам в его домашние дела. Где доходило до этого, там уже ничего не оставалось ждть путного. Приглашение начальства мирить общину было всегда знаком невозможности ее примирить и стимулом близкого ее распада. При призывах подобного рода обыкновенно открывается широкое раздолье интригам, и долго сдержанные страсти разливаются потоками клевет, злобы, нареканий и доносов. Одна партия, желая унижить другую, выкапывает на нее всю поддонную, другая отвечает тем же, и в результате вся община является опороченною. Тогда ей ничего более не остается, как или обречь себя на жалкое, почти позорное существование, к какому свели рижскую общину распри партии покойного Пименова с партией Ломоносова и Беляева, или... распасться (что в известном смысле гораздо достойнее и лучше). Московские поповцы поставили себя в такое положение, из которого им нет более мирного выхода. Начав раздором за окружное послание и продолжая распрю утверждением в Москве второго Антония (Гуслицкого), они шли рядом бесконечных споров и ссор до непримиримой вражды к ими же избранному попечителю Рогожского кладбища, купцу Евсевию Егоровичу Бочину (из партии раздорных), и 8-го мая партия окружных, собравшись в доме купца Банкетова, составила общественный приговор, в котором постановила “Бочина благодарить за его труды и занятия в должности попечителя, а вместе с тем для общественного спокойствия избрать из среды себя двух попечителей, достопочтеннейших граждан г. Москвы, московских первой гильдии купцов Власа Власовича Лазарева и Тимофея Ивановича Назарова, которых и просит принять на себя должность попечителей московского Рогожского богаделенного дома со всеми

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru правами, предоставленными попечителям в прежнее и настоящее время". Приговор этот, составленный в частном доме, подписан лишь полотораста домохозяйками из одних окружников. Раздорники этого приговора не подписали, действительности его не признают и, желая сохранить попечителям, по-прежнему, г-на Бочина, обжаловали самовластное смещение его окружниками московскому генерал-губернатору. Таким образом дело это вышло со двора Рогожского кладбища и пошло на суд власти, а в среде окружников составляется новый союз против г. Бочина. Старого попечителя (как некогда Пименова в Риге) усиливаются привлечь к ответственности за неодобрительное будто бы распоряжение по случаю приезда в Москву белокрыницкого митрополита Кирилла, хиротонии Антония и многих других случаев.

НЫНЕШНИЕ ВОЛНЕНИЯ В МОСКОВСКОМ СТАРООБРЯДЧЕСТВЕ (Рогожское кладбище)

В это самое время, когда мы предлагаем вниманию наших читателей наступающие строки, в общине московских старообрядцев Рогожского кладбища происходят большие усобицы, угрожающие этой общине очень нехорошими последствиями. В "дневнике" 159 нумера "Биржевых ведомостей" (15 июня) мы поместили краткое известие об этих неурядицах, а теперь хотим рассказать историю нынешних московских волнений подробнее.

В противность большинству бесчисленных преждебывших в обществе московских старообрядцев раздоров, настоящий случай не представляет никаких оснований искать причину возникших неладов в догматическом разномыслии общинников. Дело гораздо проще и, к сожалению, гораздо недостойнее, чем спор из-за убеждений.

Еще довольно задолго до тех пор, как московские старообрядцы Рогожского кладбища разошлись на две партии во взгляде на документ, известный под именем окружного послания, в общине этой шли уже большие несогласия. Нелады эти, о которых мы скажем ниже в этой же статье, вначале имели характер личной распри некоторых видных общинников. Дело всегда шло больше из-за амбиции, из-за стремления первенствовать, из-за власти распоряжаться общинным делом, наконец, из-за Винокурова, или Муравьева, или Антония Шутова, и того или другого попа. Документ, написанный достопочтенным Ларионом Егоровым и известный ныне повсюду под названием окружного послания, дал всему этому ссорному делу иной поворот и характер. Старообрядческая Москва распалась на две стороны из-за вопроса религиозного. Окружники и не принявшие окружного послания раздорники стали противниками по убеждению и совести. Раздорники хотели по-прежнему проклинать господствующую русскую церковь, окружники не находили оснований к такому ее осуждению. Негласно, но и не особенно секретно проживающий в Москве раскольничий московский архиепископ Антоний Шутов, человек характера непрямого, шаткого и уклончивого, нерешительностию своего нрава и лукавством обычая хромать на оба колена, всеусердно помог этой распри разгореться до целого пожара. Этот слабодушный и лицеприятный Антоний, забывая заповедь, запрещающую каждому мирянину, а не только лицу, облачающемуся в святительские одежды, служить в них и Богови, и Мамону, очень долгое время не принимал решительно ни той, ни другой стороны спорящих старообрядцев и, как выражаются в его пастве, "тщился не об истине, а о своем престоле". Тут произошла интереснейшая история, которая правдиво и образно изложена в статьях г. Субботина и которую повторять здесь, хотя бы и в самом кратком изложении, не время. Здесь достаточно только упомянуть, что нерешительный архиепископ Антоний, не поддержав вовремя и решительно правую сторону (околожных), очень много способствовал тому, что дело все влеклось и по мере своего влечения увеличивалось и разрасталось. Распря стала принимать характер непримиримой вражды (которого ныне доспела во всей полноте и совершенстве). Наконец, обстоятельства, опять-таки описанные у того же г. Субботина, вынудили Антония быть немножко порешительнее, и он высказался за околожников, но в это время набравшиеся ярого азарта и дерзости раздорники успели склонить белокрыницкого митрополита Кирилла на свою сторону и невелеречивый "дедушка Кирилл", побурчав: "добрэ, добрэ, да треба попроситься", перевалил на сторону раздорных. Тут на бедного "дедушку" нагрянули и "гроши", и рясы, и икра, и чай, и прочие насодательности, и белокрыницкий владыко, обуреваемый всем этим наплывом, не мог устоять и должен был, по настоянию купца Митрофана Муравьева, поставить раздорникам в Москву на их собственно раздорническую долю второго архиерея, который тоже именуется московским. Это и есть тот второй Антоний, называемый в Москве Гуслицким, или еще чаще "муравлевским". Прибытие второго архиерея в одну и ту же московскую общину не могло, конечно, принести мира, а только лишь усугубило раздор и сделало его даже безнадежным к примирению. Тут дело доходит уже до соборов Гуслицкого с ругательными попами и белокрыницкого со всем ругательным собором. Интересующихся этим курьезным делом мы опять-таки

должны посылать к тем же статьям г. Субботина, изданным ныне отдельно книжкой под названием “Современные летописи раскола”. После скандала и споров на этих соборах, одно время московских архиереев Антония Шутова и Антония Гуслицкого чуть было не помирили миром, но при самом заключении этого примирения все паки рассыпалось и не удалось. Винить в этом случае опять больше некого, как раздорническую непокладливость и самовластительство мирян над своими архиереями. Хотя белокрыницкий митрополит Кирилл и велел второму московскому епископу Антонию (Гуслицкому) “вскорости нимало немедленно лично явиться к г. архиепископу Антонию (Шутову) московскому и владимирскому для общего совета и мира церковного”, но это послание Кирилла, вместо “мира церковного”, воздвигло в среде раздорников целую бурю негодования, и когда свидание двух Антониев было совсем подготовлено и улажено, то купец Митрофан Артамонович Муравьев, видя себя не только опекуном и попечителем второго московского архиерея Антония Гуслицкого, а как бы даже его собственником по прежнему крепостному праву, объявил, “что своего Антония из дома не пустит”.

“Вы де, сказал, его там еще предадите”.

Так тем веление митрополита Кирилла и кончено, что Муравьев “своего Антония” из дома не пустил и архиереи не свиделись и не помирились.

С этих пор настали сплошные и перекрестные распри мелкого, но докучливого и раздражающего характера. Пошли жалобы митрополиту Кириллу, ябеды, клеветы и такие писания, что “дедушке Кириллу” в Австрии пришло совсем не в мочь от московских шпыняний. Он совсем не знал, в какой ему угол кидаться от одних “поносных писем”, и, наконец, даже ударился под женский покров Прасковьи Алексеевны, прося ее действовать в Москве на “московских мирноносик”, чтобы унять как-нибудь слегка и распрю, и письма “очень ругательные, что и читать невозможно”.

Из бумаг этой достославной эпохи видно, что и в среде окружников не все писали так, как писал составитель окружного послания Ларион Егорович, строгой логике и краткой глубине критических взглядов которого нельзя не отдать должной чести. Но и здесь, в окружнической среде, были писатели, исполненные духа буя и слов хулительных. Эти сочинители всячески старались превосходить друг друга в дерзостях, которыми немало унижали правоту своей партии и низводили свое положение в вопросе до степени гадкой перебранки. “Не спасет тебя ни митра, ни омофор, – писал один из таких окружников своему митрополиту, – у тебя сатана гнездо свил внутри, а прочее и писать совестно...”

Началась грязная, мужичья свалка, от которой еще год тому назад уже можно было ожидать всякой гадости, бываемой на мужичьих перебранках. Можно было ждать и не относящихся к делу покровов, и выкапыванья всякого старья, и подкопов, и подвохов, и задорных обносов, и бесцеремонных клевет, и доносов, и всего, что создало на Руси пословицу: “Мир зинет, и правда сгинет”.

Чего можно было ожидать, то и случилось.

* * *

Более правые и достойные всего сочувствия здравомыслящих людей окружники теперь не оставляли в покое раздорников и не хотели выжидать ничего ни от времени, ни от обстоятельств. Во всех последующих деяниях этой партии умного и талантливое Лариона Егорова уже не видно, а выступают другие действователи. Окружники как бы спешат не уступить враждебной им партии раздорников в сеянии смуты и ковов и даже с их стороны начинается в сем искусстве некое соревнование с раздорными. Им было мало, что они имели своего старого Антония (Шутова), что за ними оставались общее сочувствие и правда, которая рано или поздно должна победить и властвовать, им непременно понадобилось во что бы то ни стало вырвать землю из-под ног своих врагов. За это дело – “доезжать раздорников” взялись некоторые люди, для коих успех дела и торжество истины значили гораздо менее, чем торжество их личных маленьких забот и страстишек, и они распочали “гнуть не паривши” и если все сломится, то тоже, разумеется, тужить много не будут. Им лишь бы потешить обычай, а там все равно, – что второй московский архиерей Антоний Гуслицкий, или муравлевский, – сам по себе не большая спица в колеснице, это, конечно, не секрет ни для кого в Москве. Взаправду, что это в самом деле за епископ, которого Митрофан Артамонович держит, как “своего Антония”, и не пускает его из дома? С кем тут ведаться и бороться могучим и сильным людям, каких немало среди московских окружников и на которых, разумеется, всемерно рассчитывали

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
нетерпеливые вожди нового волнения в московской общине? Считаться с “муравлевским” Антонием – это окружническим большакам рук марать не на чем. Надо было рубить лес с вершины горы. Чтобы ослабить силу раздорнической партии в общине, надо было браться за общественных верховодцев той стороны: самого Митрофана Артамоновича достать было нечем и неудобно, но на дороге к нему стоял и стоит единомышленный Муравьеву купец Евсей Егорович Бочин. Этот после выхода из попечительской должности купца Досужева в настоящее время в одном своем лице сосредоточивает попечительскую власть над рогожским богаделенным домом и кладбищем, что очевидно не может быть ни приятно, ни угодно партии подписавших окружное послание.

И справедливость, и желание успеха такому доброму движению, какое вызывалось окружным посланием, все заставляет принять в этом случае сторону окружников. В самом деле, в руках попечителей (которые до сих пор распоряжаются бесконтрольно) сосредоточено очень много и силы, и власти для того, чтобы влиять на темную и страшную свою численностию массу народа. Окружники совершенно справедливо находили, что попечитель из раздорнической партии для них небезопасен. Он всегда имеет тысячи средств, состоя в этой должности, привлекать народ на сторону раздорническую и тем подготавливать окружникам мало-помалу в недалеком будущем, в критическую минуту, поражение наголову.

Окружников решительно нельзя упрекнуть, чтобы такие опасения их были неуместны и чтобы предусмотрительные заботы их о предупреждении и устранении усиления раздорников в общине были напрасны, но, к искреннему сожалению, московские окружники нынешний раз взялись за дело чересчур уже грубым и нескладным манером, и нет ничего мудреного, что на сей – по крайней мере – раз они едва ли выиграют свою справу.

Вот тот нехитрый способ, которым окружники заварили нынешнюю крутую кашу.

* * *

Желая высадить из попечителей раздорника Евсея Егоровича Бочина, окружники прежде всего озаботились стакнуться по Москве, чтобы два попечителя, которые вновь будут избраны на место Бочина (остававшегося одиноким), были избраны оба из окружников, то есть чтобы таким образом роли их с раздорниками переменялись, и раздорники потеряли бы тот перевес, который имеют нынче, благодаря единомыслию своему с попечителем. План такой столь не хитер, что как шило не таится в мешке, так и он не мог утаиться и тотчас же был и разгадан, и предусмотрен раздорническою партией. Не стесняясь тем, что окружники на своей стороне полагают большое численное преимущество (чему очень бы хотелось верить, но чему пока еще трудно верится), раздорники нимало не унывали. Они были уверены, что когда дело дойдет до выбора попечителей целым обществом, то большинство непременно окажется на их стороне, и не окружники, а они явятся полными господами положения. Некоторые, давно известные своим интригантством, раздорнические вожаки приняли уже все меры заготовить против дурно рассчитанного наскока тяжелую артиллерию народной массы. Окружнические хлопотуны тоже не бездействовали. По Москве были пущены слухи (и об этом доведено до ведома начальства), что раздорники, услышав о намерении окружников собрать общину и потребовать, чтобы попечитель Бочин подверг свои действия контролю, разослали агентов по огородной слободе, в Гуслицы и другие места, прихожие к Рогожскому кладбищу, с тем, чтобы подбить народ на свою сторону против окружников, и что будто бы все это улажено и устроено и теперь нельзя будет ни потребовать от г. Бочина отчета, потому что подогретая раздорниками толпа увидит в этом “новшества” (которыми и без того попрекают окружников), ни тем паче делать при них выборы новых попечителей, потому что даже невесть чем такие выборы могут кончиться... Численность, по меньшей мере, могла разрушить весь план окружников, и для них последняя вещь могла выйти горше первья: вместо одного Евсея Егоровича Бочина могло явиться два попечителя, и оба из раздорников, а тогда действительно, пожалуй, и в самом деле невесть бы чем покончились и самые выборы... Не говоря о самых зорнейших попреках и ругательствах, дело могло дойти и до мер более решительных... На все это явились свои знаменья, заставлявшие окружников быть как можно более предусмотрительными. Окружники приняли все это в расчет и решили, что таким путем идти опасно и что путь этот бесспорно должен быть оставлен, а вместо его надлежит избрать другой путь.

В это же время дело получает новые, неведомо откуда врывающиеся токи и новые осложнения, которые его все более и более путают и отнимают у окружнической партии много сильных преимуществ, приобретенных ими над строптивыми

раздорниками.

* * *

По всесветному обычаю, имеющему, может быть, в некоторых московских кружках даже свое особенное, исключительное развитие, всякому делу предшествуют толки, рассказы и сплетни, никогда не способные выяснять дело, но всегда значительно раздражающие заинтригованные стороны. То же самое было и здесь. Не успели окружники сделать шага, о котором лишь думали и рассуждали, как по старообрядческим кружкам Москвы разошлась молва, что окружники желают собраться одни без раздорников и не в конторе рогожского богаделенного дома, как следует по обычаю и уставу, а в частном доме у купца Банкетова и там в отсутствии раздорников выбрать для Рогожского кладбища новых двух попечителей. Разумеется, это не могло не раздражить раздорников, но испугать их это не могло. В самом деле, кто же одной части общества позволит писать приговоры от лица всех? Это было больше ничего, как необдуманная ребячливость, которая не могла принести окружникам ничего доброго. Раздорники это очень хорошо понимали и смеялись в рукав при виде всех этих затей, но в то же время и они усилили с своей стороны вредоносные хлопоты на отместку окружным. Между тем окружники, собравшись, как задумали, в доме Банкетова, все-таки прежде всего условились не доводить общественного дела до всесветного позорища, и хотя не отказывались от своего намерения высадить раздорника Евсевия Григорьевича Бочина из попечителей, но чести его гласно решили не касаться и потому постановили лишь приговор об увольнении Бочина и о избрании, вместо его, двух попечителей Лазарева и Назарова. Раздорников, разумеется, на этих выборах не было ни одного, но это окружнических хлопотунов, по-видимому, нимало и не смущало. Они уже, как выше сказано, уповали, что действуют вполне законно, и для тех, которые сомневались, выискали закон, предоставляющий им будто бы право распоряжаться выборным делом, как им заблагорассудится. Преславный закон, который хлопотуны ставили на вид созываемым им окружникам, было не что иное, как секретное сообщение московского генерал-губернатора князя Долгорукого московскому обер-полицеймейстеру от 28-го февраля 1867 года за № 85. В этой бумаге его сиятельство князь Долгоруков, в ответ на секретный рапорт обер-полицеймейстера от 26 октября 1866 года за № 2495, писал, что “выбор попечителей для рогожского богаделенного дома должен быть предоставлен по принятому обычаю собственному усмотрению раскольников с поручением местной полиции согласно Высочайшему повелению 21-го апреля 1861 г. надзора за недопущением в сем случае каких-либо беспорядков и тем устранить участие правительства в разрешении вопросов, касающихся внутреннего управления рогожским домом”.

Как ни странно, что достопочтенное московское купечество, пред которым затейники ссылались на эту бумагу, не усмотрело, что бумага эта, во-первых, требует соблюдения “принятого обычая”, а исключение раздорных и сбор в частном доме были именно нарушением обычая и беспорядком; но, однако, странность эта, по-видимому, никого не смутила и не остановила. Основавшись на этой генерал-губернаторской бумаге, московские окружники, к стыду своему, позволили убедить себя, что правительство якобы вовсе устраняется от всякого вмешательства в их общественные дела и что теперь они эти общественные дела могут ведать, как им заблагорассудится, и изъявили согласие собраться своею окружническою партией в доме Банкетова и своим единомышленным согласием зарешить все за согласных и несогласных. “Первым московским людям”, по-видимому, и в головы не приходило, что в то самое время, как они будут тешиться своею забавою в доме купца Банкетова, раздорники имеют точно такую же возможность устроить подобный же спектакль в доме своего Митрофана Артамоныча Муравьева и, согнав туда в муравьевские залы не полтора, а триста человек раздорных, выбрать попечителей из своей партии и затем претендовать, чтобы их выбор, как большегласный, был признан обязательным. На отрывочные замечания в этом роде хлопотуны возражали: “Кто же у них? Чернь одна, а у нас”... Тут шло исчисление великих имен “первых московских людей” окружнической партии, но при этом забывалось, что даже сам достопочтенный Кузьма Терентьич Солдатенков (впрочем, не участвовавший в банкетовской сходке) перед лицом закона такая же юридическая единица, как всякий калачник Васька и ямщик Протас. Все это было позабыто или пущено на авось и небо, и собрание составлено.

* * *

Собравшимся окружникам было поставлено на вид, что попечитель Бочин после выхода из попечителей Досуева управляет общественными делами один, бесконтрольно, и что управления этого в некоторых отношениях одобрить нельзя; что г. Бочин производит некоторые несоразмерные затраты, в которых он не отдает никому

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

никакого отчета. Тут были приведены на память расходы, произведенные Бочиним по случаю приезда в Москве митрополита Кирилла, и возбуждено одно очень старое дело об акциях одной из железных дорог, которые Бочин будто бы принял от одного из влиятельных лиц старой московской администрации под залог. Кроме того и кроме многих подобных указаний, поставлено на вид также, что Бочин не дает отчета в постройке так называемой антоновской богадельни на Рогожском кладбище, а между тем нынче намеревается приступить к перестройке конторы, и все это дело опять, вероятно, будет вести без отчета. Поэтому обществу представлено, что так как Бочин не хочет снести никакого над собою контроля, считает это новшеством и внушает враждебные чувства к этой мере темным людям, которые его слушаются, то единственное средство – устранить его, Бочина, от попечительства, а избрать вместо его двух других попечителей, как это было всегда прежде.

И вот 8 мая 1869 г. в доме Банкетова собралось 150 человек окружников, между которыми из числа почетнейших москвичей были следующие: Григорий Григорьев Банкетов, Иван Петрович Бутиков, Конон Анисимов Царский, Андрей Иванов Осипов, Петр Кириллов Мельников, Федор Яковлев Свешников, Андрей Захаров Морозов, Николай Иванов Рахманов, Карп Иванов Рахманов, Семен Семенов Успенский, Василий Захаров Морозов, Кузьма Александров Старокопытов, Федор Матвеев Суцов, Никита Комаров и др.; из иногородних были: богородский 1-й гильдии купец Сидор Шебаев, бронницкий купец Иван Духин и покровский Тимофей Саввинов Морозов. Мещан и вообще низшего класса людей было очень немного. Все эти 149 или 150 человек, обсудив доведенные до их сведения обстоятельства дела об управлении Бочина, постановили следующий приговор, который приводим дословно: "Московское старообрядческое общество прихожан молитвенного храма Рогожского кладбища, принося должную благодарность московскому купцу Евсею Егорову Бочину за его труды и занятия в должности попечителя рогожского богаделенного дома, вместе с тем нашло необходимо нужным и полезным для общественного спокойствия избрать из среды себя двух попечителей, достопочтенных граждан г. Москвы, московского I гильдии купца Власа Лазаревича Лазарева и Тимофея Ивановича Назарова, которых покорнейше просит принять на себя должность попечителей московского рогожского богаделенного дома со всеми правами, предоставленными общественникам в прежнее и настоящее время". За сим следуют вышеупомянутые 149 подписей.

* * *

Окружные хлопотуны, устроившие это затейное дело в доме Банкетова, были довольны. В легкомысленных головах их вовсе и не шевелилось еще сознание, что они подвели наилучшую часть рогожской общины, всех окружников в ребячливую затею, которая не может иметь никаких серьезных последствий, но отнимет у окружников изрядную часть той солидной и доброй репутации, какую они себе стяжали, положив здравую оценку разумному и честному сочинению Лариона Егорова. Приговор был подписан, и этого на первый случай затейникам было довольно. Митрофану Артамоновичу Муравьеву были настроены козлы, а этого кое-кому плуце всего только и хотелось. Может ли быть признан действительным банкетовский общественный приговор, подписанный всего 150 человеками от лица всего общества, или же он не может быть признан действительным, – это составляет вопрос, решение которого зависит от подлежащей власти. Вероятнее всего, что приговор этот будет признан недостаточным, составленным без соблюдения установленных правил, и потому будет оставлен без значения; но мы, оставляя судьбу этого документа другим, обращаемся к нашей истории. Итак: приговор составлен, но что же с ним делать далее? Эта вторая часть вопроса представляла гораздо более затруднений. А между тем раздорники, весьма понятно, только и ждали, чтобы незаконный договор был подписан. Чуть только до сведения их дошло, что вышеприведенный нами приговор окружниками уже подписан, как с раздорнической стороны о сем, как о беспорядке, было доведено до сведения московского обер-полицеймейстера, и по окружническому приговору, разумеется, никаких распоряжений к смещению Бочина и к утверждению в новых должностях Лазарева и Назарова до сих пор не сделано. Надо было пускать в ход новые пружины.. И вот семнадцатого мая окружники, участвовавшие в составлении приговора о смещении Бочина, избрали от себя ходатаев об утверждении вновь избранных ими попечителей. В этот день окружниками было подписано следующее верящее письмо: Мм. гг. Иван Петрович Бутиков, Федор Яковлевич Свешников, Иван Иванович Шебаев! Покорнейше вас просим принять на себя ходатайство у господина московского генерал-губернатора и других начальствующих лиц, где укажет надобность, об утверждении избранных нами по общественному приговору попечителей Рогожского кладбища. На это ходатайство мы вас сим уполномочиваем, и что вы по сему законно сделаете, спорить и прекословить не будем. Москва. 17 мая 1869 г.". Засим опять следуют подписи лиц, участвовавших в общественном приговоре. Таким образом в лице всего общества являются уже всего

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
только три окружнические поверенные: Бутиков, Свешников и Шебаев.

* * *

Получив такую доверенность, один из упомянутых трех уполномоченных, купец Иван Иванов Шебаев, уже единолично подал 20 мая московскому генерал-губернатору докладную записку, достопримечательное содержание которой приводим здесь в подлиннике. Вот что пишет в этой записке г. Шебаев: “При храме московского Рогожского кладбища и богаделенного дома в настоящее время находится один попечитель, московский купец Евсей Егорович Бочин, поддерживаемый купцами Муравьевым, Медведевым, Давыдом Антиповым и другими немногими лицами вопреки общественному желанию. Общество неоднократно заявляло попечителю Бочину, чтобы избрано было несколько лиц из почтеннейших прихожан для контроля как сумм, а равно и всех действий попечителя, но г. Бочин с своими приближенными лицами не соглашается подвергать свои действия общественному контролю. По этим обстоятельствам московское старообрядческое общество нашло необходимо нужным и полезным для общественного спокойствия избрать из среды себя на место Бочина двух попечителей, московских 1-й гильдии купцов Тимофея Ивановича Назарова и Власа Лазаревича Лазарева. Избрание это для сохранения общественного спокойствия и для избежания неприятных столкновений было произведено без приглашения Бочина и приближенных ему лиц, почему-то не желавших подвергать общественному контролю как расходование сумм, а также и все действия попечителя”.

Изложив это его сиятельству, Шебаев просит генерал-губернатора утвердить общественный приговор, которым сменяется Бочин и на место его назначаются Лазарев и Назаров. Два другие общественные поверенные: Бутиков и Свешников этой докладной записки с г. Шебаевым не подписали и в подаче ее генерал-губернатору не участвовали.

Отчего и почему из трех поверенных окружников единолично один Шебаев вошел к генерал-губернатору с просьбою и с разъяснением мотивов, которыми руководились окружники, а гг. Бутиков и Свешников уклонились от своей обязанности действовать сообща? – это пока остается неизвестным.

Но в то же время, как дело о самовластной смене московскими окружниками попечителя Бочина и выборе вместо его Лазарева и Назарова, на что и в первом, и во втором случае нужно было согласие всех прихожан Рогожского кладбища, остановилось на докладной записке Шебаева, руководители этого необдуманного дела сами стали сознавать, что оно должно представляться делом довольно нестройным, и пожелали яснее раскрыть перед обществом причины, по которым приговор 8 мая необходимо было составить не в полном сборе всего общества. С этою целью руководителями этого дела, где им казалось нужным, распространена небезынтересная объяснительная записка следующего содержания, которую мы печатаем в извлечении:

* * *

“В 1866 г. московский купец Досужев отказался от занимаемой им должности попечителя рогожского богаделенного дома, и после сего остался попечителем один Бочин, вопреки существующему обычаю. Прихожане Рогожского кладбища (за исключением приближенных Бочину лиц: Муравьева, Фомина, Медведева, Давыда Антипова и др.) неоднократно просили г. Бочина, чтобы он собрал совет для избрания на его место попечителей и чтобы подвергнуть себя контролю почетных прихожан кладбища, но Бочин с приближенными ему лицами не соглашался до сего времени ни на собрание совета, ни подвергать себя контролю, утверждая, что он будто бы избран и утвержден в звании попечителя правительством, почему без приказанья не может выйти из попечителей.[201] Общество терпело это до самых крайних мер...[202] в феврале 1863 г. Бочин и его приближенными был привезен в Москву белокриницкий митрополит Кирилл, и ему выдано было из общественной суммы, кроме расходов на содержание и путевые издержки митрополита, наличными деньгами 5 т. руб. После того, с доверенным своим Ефимом Крючковым, Бочин посылал за границу к митрополиту Кириллу более 4 т. р., за что он поставил партии раздорников епископа на Москву, названного новым Антонием Гуслицким. Затем был украден сундук из рогожской моленной, в коем было 68 т. руб. Сундук, как известно, после отыскан, но что в нем уцелело добра, про то пока еще никому не известно. Общество положительно желает знать, сколько общественных денег оставалось по отыскании этого сундука и где они в настоящее время находятся. Но Бочин с своими приближенными почему-то не желает подвергать и этого общественному контролю. Московское старообрядческое общество достаточно известно о том, что в последнее время, именно в январе сего 1869 г., Бочин с

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru приближенными ему в числе пяти человек, бывши в Петербурге, позволили себе принести г. NN nepозволительный подарок, [203] заключающийся в серебряном сервизе. Это было сочтено за подкуп и возвращено в общество, к крайнему конфузу, чрез московскую полицию обратно с выговором. Это могло лечь на целое московское старообрядческое общество, тогда как общество об этом положительно не знало и ложно именуящим себя депутатами не давало никакого права действовать от лица общества и пришло в крайнее негодование на Бочина с приближенными ему лицами за такие противные их действия. Выбор попечителя на Рогожское кладбище предоставляется собственному усмотрению старообрядческого общества (здесь сделана ссылка на приведенное выше предписание генерал-губернатора обер-полицеймейстеру), лишь бы не происходило во время выбора беспорядков, для чего местная полиция, согласно Высочайшему повелению, имеет наблюдение. Зная, что попечитель Бочин с своими приближенными для своей поддержки намеревался пригласить на выбор крестьян Гуслицкой волости села Коломенского и других мест Московской губернии, людей грубых, беспокойных, производивших беспорядки во время общественного собрания в октябре 1866 года (за что бывший министр внутренних дел, статс-секретарь Валуев, делал строгий выговор некоторым почетным прихожанам Рогожского кладбища), окружники должны были предупредить неизбежное нарушение общественного спокойствия, собрались для выбора попечителя в доме одного частного лица и составили приговор об избрании в попечители купцов Назарова и Лазарева и этот приговор представили его сиятельству московскому генерал-губернатору. Вот причины, почему выборы были произведены не в конторе московского богаделенного дома. Это было сделано во избежание беспорядков, которые произошли бы неминуемо, ибо Бочин и его приближенные пригласили бы на собрание крестьян Гуслицкой волости, не имеющих на это права, и они, как и прежде на собраниях, произвели бы беспорядки". Этим московские окружники и оправдывают составление ими приговора без участия всего общества.

Остановимся на короткое время на этих оправданиях и, бросив беглый взгляд на их убедительность, попробуем по мере сил наших уяснить, из-за чего собственно горит весь этот сыр-бор и при чем тут Ларион Егоров и его окружное послание, низведшее якобы "вражду в мир", как говорили раздорники в 1868 г. на белокриницком соборе?

Нельзя не сознаться, что все причины и мотивы, высказываемые ныне московскими окружниками в защиту своего несостоятельного банкетовского приговора, довольно странны и едва ли могут быть признаны достаточными для того, чтобы, основываясь на них, явное отступление от закона, допущенное в составлении упомянутого приговора, могло быть не вменено в основание к неутверждению этого приговора. Произвели ли бы, или не произвели бы раздорники беспорядков, которых опасались окружники, этого утверждать невозможно. Судя по раздорническому нраву, характерам и обычаям, судя по участию в этом деле опять тех же самых лиц, которые уже издавна прославились своею нетерпимостью и дерзостью, а со времен белокриницкого собора приобрели себе в этом роде сугубую славу, можно очень легко допустить, что беспорядки при полном сборе общества действительно были весьма возможны и что результатом этих беспорядков в самой малой степени могло быть, что раздорники перекричали бы окружников. Тогда на новых выборах в общем собрании всего московского старообрядческого общества Бочин снова был бы оставлен на своем попечительском месте. Но тем не менее общественный приговор, составленный одною частью общества без участия остальных, все-таки не может претендовать на законную силу, какую имел бы такой документ, подписанный, как следует, по крайней мере, двумя третями домохозяев. Чтобы обойтись без раздорников, окружники должны были как-нибудь иначе позаботиться об отводе их от участия в выборах, но на это они, конечно, не могли найти законных оснований. Однако же в таком случае и генерал-губернаторское сообщение обер-полицеймейстеру тоже уже ни в каком случае не могло их выручить, тем более, что оно было истолковано окружниками не по настоящему его смыслу. В этом случае вовсе нельзя похвалить верность понимания окружниками взятой им за основание бумаги, в которой генерал-губернатор очевидно говорит обо всем обществе, а не раздельно о праве окружников и раздорников, составляющих до сих пор одно и то же московское старообрядческое общество рогожского богаделенного дома. Следовательно, в бумаге этой московские окружники, если бы поняли ее здраво, а не позволяли напеть себе всякого вздора, не могли видеть никакого основания собираться отдельно и игнорировать выборное право раздорников. При всех симпатиях, которые принадлежат читателям окружного послания, поступок их в составлении отдельного приговора нельзя не осуждать и нельзя не считать поступком если не противозаконным, то во всяком случае крайне легкомысленным, необдуманым и неуместным. Этим приговором

окажники не усилили своего значения в обществе, а подорвали его и дали своим противникам основание претендовать на них и жаловаться, как на людей, которые делают весьма серьезные ошибки в понимании своего права и в соблюдении его по отношению к прочим. Об этом, сочувствуя окружнической партии, можно, и даже должно, искренне жалеть и сетовать.

По странной аналогии нынешнего московского дела с рижским старообрядческим делом здесь опять видны и боязнь многоголосой черни, и желание обойтись без участия большинства простых людей, которые, привыкнув видеть в попечителе нечто начальственное, весьма легко могут подчиняться его влиянию. Но и здесь в Москве, как и в Риге, меры к обходу этого большинства приняты, как мы видим, весьма не тонкие и не обдуманые. И здесь опять “гнут не парят, – сломят не тужат”, а между тем все подобные поломки в течение самых долгих лет дают перевес и господство темным силам, которые благоразумнее было бы не вызывать, до времени, пока нет под руками средств для управы с ними. Теперь дело московской рогожской общины поставлено в такое положение, что примирение в нем, наверное можно сказать, даже немыслимо. Почтенный автор окружного послания, Ларион Егоров, от этого последнего дела находится в стороне, и едва ли не следует сказать, что в стороне от него находится и самое окружное послание. Очевидно, что дело о догматах веры, служившее довольно долгое время одним предлогом к распри и ширмой для иных целей, теперь уже вовсе отставлено в сторону, и без всякой церемонии идет речь о личной вражде, помирить которую не представляется никакой возможности. Разгар этой вражды в последнее время все яснее и яснее выдвигает на сцену настоящие причины московских неладов, и с тем вместе остается все менее и менее средств верить, что московскую общину и “весь мир” перессорил своими окружными посланиями Ларион Егоров. Детали этой распри показывают, что и самое ополчение против окружного послания раздорниками поднято едва ли по несогласию их с этим документом, а не вернее ли, что документ этот послужил только хорошим поводом хорошенько перессориться тем, которые в душе давно друг друга ненавидели и искали “вражды в мире”, дабы хоть где-нибудь, хоть в частице общины стать верховодами и марасть своих противников. Оказывается, что и в 1867 и 1868 гг., при всех вопияниях раздорников против окружного послания, дело у них шло собственно вовсе не против окружного послания, а против людей, стоявших за окружное послание, а нередко и против таких, которые и не были ревнивыми поборниками этого акта, но которых хоть как-нибудь можно было пристегнуть к окружному посланию. Задача была в том, чтобы только отлучить известные личности и преследовать будто за окружное послание, а не за то, за что они в самом деле были ненавистны. Замечательно, что в нередких случаях злоба против Лариона Егорова со стороны окружников гораздо слабее, чем злоба против бесхарактерного, бездеятельного и мирволившего раздорникам архиепископа Антония Шутова. Если отнестись ко всей этой прошлой истории, разразившейся гуслицким и белокриницким соборами построже, то станет очевидно, что не из-за окружного послания рассорились люди, а только на окружном послании, так сказать, разрешилась давно кипевшая старинная злоба. Вот как ныче изъясняются все эти раздоры в находящихся у нас в руках записках, писанных о том времени одним из окружников, но не почитателем самого автора окружного послания.

* * *

“Гг. покойный Винокуров, бывший долгое время попечителем, М. и другие ездили в Петербург между 50 и 60 годами ежегодно. Они были люди, привыкшие к этому, а в особенности Винокуров и М. Касса находилась в их руках, а отчета не было. Сумма собиралась в больших размерах. Они, – как сказать, не знаю, было ли у них усердие, или лучше было и выгоднее, – они хотя и принимали архиепископа Антония и других духовных особ, но все-таки ходатайствовали в Петербурге у правительства заштатных себе попов или, лучше сказать, беглых от церкви. По этому ходатайству в тогдашнее время собиралась на это громадная сумма. Им в Петербурге, сколько они туда ни ездили и ни просили, всегда постоянно отказывали; но они все-таки не переставали ездить в Петербург в чаянии как будто чего-то. И вот, – как припомню, было в 1858 или 1857, – будто Винокурову и М-у в Петербурге было предложено, что будто даст уже им правительство попов, бежавших от церкви, и они сторговались на то за очень приличную цифру. И вот приехали в Москву и объявили своим в то время приверженцам, и это принято было к содействию. Егор Воробьев стал будто в тогдашнее время спрашивать архиепископа Антония владимирского: “Можно ли принять, владыко святой, если к нам обратятся попы от господствующей церкви, а вы, владыко, будете их начальствующим?” И сказано было в тогдашнее время, что будто архиепископ Антоний соизволил на это изъявить согласие об попов русского ставления, от церкви ушедших, принимать. И вот Воробьев сказал об этом Винокурову и М. Дело пошло в ход. Приступлено было с предложениями к особам,

известным в старообрядческом обществе, о сумме в больших размерах на этот предмет. И в это время Пафнутий, еще бывший епископом коломенским, [204] с своими приближенными, стали спрашивать архиепископа Антония, правда ли, что он благословил Винокурова с шайкою просить беглых попов? Архиепископ Антоний говорил господину Пафнутию: “нет, я их не благословлял”, и упросил владыка господина Пафнутия и граждан, вопреки этому, изъявить, если возможно, правительству, что мы имеем не только попов, но и архиереев, и просить, чтобы правительство дозволило иметь старообрядцам свое духовенство на правах иноверных исповеданий, а сам архиепископ Антоний уехал тогда на то время из Москвы, оставив в этом деле во главе Пафнутия с гражданами. Дело опять пошло в ход иначе, с пафнутиева направления. Просьба была написана и подана куда следует, а с тем вместе здесь дома для прежних хлопотунов и расходчиков за беглых попов запорты стали толстые сундуки с деньгами у именитых особ, особливо для Винокурова. Винокуров с приверженцами этого не облюбовали и, не захотев стерпеть такой перемены, поехали в Петербург к особе, даме (?!), обещавшей им и от них принимавшей, но она, допустив их перед себя, и спросила сперва о деньгах: привезли ли они? Они говорят: “после”, и были за то сейчас приглашены выйти вон. Вот в тогдашнее-то время они и поклялись отметить лицам, сделавшим им в этом распоряжении деньгами препятствие; приехали в Москву и сразу же стали мстить Пафнутию, как главному виновнику в рассуждении отказа принимать бегствующих попов. Это, сколь вспоминаю, было в августе. К ноябрю Винокуров и М. приготовили хорошо враждою своих приверженцев на все злобное, и вот было назначено собрание на предмет обсуждения обрядов. И в то время на собрании были архиепископ Антоний и с ним господин Пафнутий. Во время собора Григорий Агапов, бывший начиненным против Пафнутия, стал упрекать Пафнутия сначала за нововведение обрядов осенения креста, а потом дошел и коснулся его личной жизни, по слухам, носившимся тогда в народе, и оскорбил его, господина Пафнутия, тогда бывшего епископа, до самых крайностей, а Антоний в этом не остановил порицателя почему-то: или не имел решимости, или, быть может, по другим причинам. И после, когда узнали граждане, как обидел Григорий Агапов господина Пафнутия и как чтили весьма его епископский сан, то им стало прискорбно слышать оскорбление, учиненное в лицо епископу. В то время они были владыки Антония решительнее и составили приговор: уволить из попечителей Григория Агапова, и приговор в тогдашнее время сейчас был подписан почти всем обществом, за исключением Ф. Винокурова с приверженцами. Винокурову и М. это опять была большая и, можно сказать, даже страшная неприятность, так как власть их и влияние чрез удаление Григория Агапова еще упали и, скажу лучше, исчезли уже вовсе. В тогдашнее время Винокуров и М. увидели свою невзгоду и просили архиепископа Антония потерпеть немного; говорили: “Сам выйдет Григорий Агапов”. Время тогда близко было к великому посту. И на первой неделе великого поста Винокуров взял к себе архиепископа Антония и здесь еще больше обманул его обещаниями, что после пасхи Григорий Агапов из попечителей непременно выйдет, а теперь, говорил, нужно проститься, и для этого пригласил действующих в этом деле лиц для взаимного прощания, что и было сделано. Тут многие личности, кои в обществе виднее, приглашены были к Винокурову, и, когда собралось все, нам было предложено архиепископом Антонием о примирении, по случаю поста. “А Григорий Агапов, – говорил обманутый владыка, – сам выйдет после пасхи”. Мы никто не желали мириться с Агаповым, как с оскорбителем архиерейского сана, как с врагом св. церкви; но были вынуждены, потому что все это дело принял на себя в тогдашнее время лично архиепископ Антоний и сидя упрашивал нас христианскими убеждениями. Мы, нечего делать, в его угождение, раскланялись с Григорием Агаповым, М. и Винокуровым взаимно и сделали для близиру, не больше сказать, как одно иудино лобзание. Столь уж злоба наша стала лукава!

Прошел пост. На Пасхе три дня архиепископ Антоний сидел у Винокурова, и много они тут между собою келейно говорили и советовались. После, спустя довольно времени, архиепископу было предложено от нас напомнить о выходе Григория Агапова, и он поехал напомнить Винокурову его обещание, и когда сказал: “Пора теперь выйти Григорию Агапову вон из попечительства”, то Винокуров разбрался с архиепископом и чуть ли не выгнал его вон от себя за предложение оставить Агапову выгодное место, то есть попечительство. Винокуров в тогдашнее время понимал и знал, что общество на собрании выгонит из попечительства и его вместе с Григорием Агаповым. Архиепископ уехал от Винокурова, ужасно им оскорбленный. После этого Винокуров, видя, что хитростию и лестью “ничто же успевает, паче но молва бывает”, написал со своими приверженцами тринадцать пунктов обвинительных против архиепископа и хотел добиться, чтобы самого его выгнать вон из Москвы. Пункты эти, в подлиннике писанные Григорием Агаповым, были доставлены чрез Зеленова архиепископу Антонию, и он, всплавав по прочтении их от клеветы и несносной обиды, вынужден был обратиться к лицам, действующим против Григория

Агапова. Говорил архиепископ: “Простите меня, я лукаво обманут Винокуровым и его приверженцами: поверил им, что сам выйдет Григорий Агапов, и упросил вас действовать мирно, на пользу св. церкви, не зная, что так получится”. Это было в июле 1859 г. Лица действующие простили архиепископу Антонию его крайнюю ошибку и принялись иначе действовать против попечителей Винокурова и Агапова. В декабре было собрание для избрания попечителей, и всеми единогласно были выгнаны с позором Винокуров, и Григорий Агапов. И вот с сего времени сделались Винокуров да единомысленник его М. заклятыми врагами архиепископа и, что бы с тех пор владыка ни устроил или ни одобрил, все вменяли ему во зло, в ересь и даже в предательство. Злобы своей к Антонию они и не скрывали. Они говорили: “Мы выгоним и его из Москвы, если за него нас выгнали из попечителей”. Им крайне было обидно оставить столь доходное место, и эта причина главная в начале нынешней несносной вражды в нашей общине.

Окружное послание, когда было подписано и издано, в то время оно было прочтено на собрании, в коем были и Винокуров с единомысленником своим М. Они выслушали послание и одобрили оное, не найдя в нем ничего противного. Послание окружное было прочтено в черниговских слободах всем тамошним попам и вместе с тем добровольно сложившему с себя сан священника, по своему недостойнству, Григорью Добрянскому, и ему предложено было подписать снова. Это было предложение крайне ошибочное и даже неразумное, ибо, зная характер изуверства этого человека и искание его, во что бы то ни стало, снова сана священника, можно было ожидать, что он постоянно готов искать случая, как можно улизнуть из слободы в Москву и заварить здесь нечто, чтобы стать на виду. Он раскаявался, что объяснил свое недостойнство; он, как сказано, был рад уехать из слобод и стал разглашать, будто там в слободах при нем пригоняли народ к подписке окружного послания. Узнал об этом и Софроний, вечно и без возврата изверженный из сана епископа, – Степан Жиров. Этот недостойный господин, замененный Антонием, давно искал чего-либо взвести в вину на архиепископа. И вот он пишет против окружного послания свое замечание и находит в этом послании как раз счетом сто двадцать ересей, о которых и сообщил в Москву Винокурову и М. с приверженцами, что дескать окружное послание вредно и его подписать архиепископу Антонию было недостойно. Винокуров с М. при главном соучастии многоизвестного по своему еретическому учению Давыда Антипова начали ратовать против окружного послания и стали разглашать в народе, что подписавшие окружное послание непременно соединятся с единоверием, и стали увлекать простой народ этим, а сами главное имели что не против окружного послания, с коим были согласны, а желали лишь отметить чем-нибудь архиепископу Антонию и выгнать его из Москвы. И соединились тут все: и миряне, и попы, владыке Антонию недоброхотные, не исключая и самых неприятных людей, как бывший в виде епископа Софроний – Степан Жиров, и стали с тогдашнего времени рыть ров темен и глубок, чуть даже не до преисподняя, а может, и до сего докопаются. И все это напрасно кому думается, что против самого окружного послания. Это можно сказать: только к окружному вся эта злоба пристроилась, а прямой ход ее есть в отмщение архиепископу Антонию, бывшему в оные годы виною их отчуждения от власти.

Вот сокровенная, но главная причина разделения нашей общины старообрядцев, отколь и позднейшие исходят все распри”.

* * *

После такого объяснения причин разрыва московского общества рогожских старообрядцев, объяснения, в котором нет ничего возбуждающего сомнения и не верить которому нет никакого основания, – может ли быть какая-нибудь надежда к соединению этого общества в прежнем согласии, как было не до оклеветания окружного послания Степаном Жировым и попом Добрянским, а как шло до распри из-за толстых сундуков, запертых для Винокурова и М. Антонием Шутовым? Отвечать на это в данную минуту уже весьма не трудно. В Москве опять и после нынешней истории может быть “блезир” и “иудино лобзание”, но и мира не будет. Положим, что как в среде московских раздорников, так и в среде тамошних окружников нет никакого желания стремиться к расторжению общества, что и весьма понятно, потому что, разделившись надвое, рогожская община значительно бы ослабела и потеряла бы много своего значения. Кроме того, у них есть общее неудоборазделимое общественное имущество, составляющее в известном смысле заветную святыню, которой, если бы дело пришло до раздела, ни одна партия другой уступить не пожелает. Наконец, есть невещественные связи: привычка любоваться и кичиться величием, многоличностью и богатством своей общины, и хотя многим нынче вместе тесно, но им же самим порознь станет скучно, и оба Антония тоже, конечно, заканючат о мире, да и “дедушка Кирилл” на своем красноречии заиграет: “треба

прощатся”; но тем не менее все это ничему не поможет, и московское рогожское общество неминуемо должно распасться. Окончательный разрыв случится даже против желания общинников. Некоторые влиятельные люди из окружников надеются выйти из нынешнего затруднительного положения посредством избрания, вместо прежних двух попечителей, четырех, с тем, чтобы два попечителя были избраны со стороны окружников, а два со стороны раздорников. Это, по нашему мнению, новая неловкость. Этим, во-первых, окружники признают за раздорниками такое же право, каким желают пользоваться сами, и тем самым обвинят себя в том, что составили 8 мая приговор, не пригласив к нему раздорников, а, во-вторых, разве увеличение числа попечителей есть порука за тишину и мир? Если один и один не годятся, то почему же будут годиться два и два? Это будет только больше крику и больше интриг. Не будем входить в то, дозволено ли будет старообрядцам иметь четырех попечителей вместо двух, – может быть, они в этом и не встретят отказа. Для правительства это, кажется, дело безразличное; но если допустим, что это будет дозволено и что, вместо двух попечителей, съедет две пары попечителей, то в правлении снова явится опять то же самое равенство, какое было бы и при одной паре, а при равенстве голосов в управлении поставленные друг против друга два раздорника и два окружника много ли могут пообещать мира и согласия? При двух парах попечителей в обществе едва ли не настанет эпоха сугубых несогласий.

* * *

В настоящее время гостит в Москве прибывший из Хвалынска казанский старообрядческий епископ Пафнутий, человек, как известно, пользующийся большим уважением у старообрядцев. По случаю его приезда многие питают надежды: не вмешается ли казанский Пафнутий в московскую распрю и своим посредством не сведет ли враждующие партии к какому-нибудь примирению? Но рассчитывать на это, нам кажется, нет никакого основания. Во-первых, тот самый ум и солидность, которые признаются и уважаются в казанском Пафнутий, вероятно, не допустят его до вмешательства в это дело, в котором не видно ничего, кроме кипения страстей, поставивших себе задачей искать мира не путем уступок, на которых зиждется мир, а путем мести, стремящейся унижить и уничтожить своих противников. Во-вторых, известно, что Пафнутий близко знаком с ненадежным характером архиепископа Антония Шутова и давно избегает московского владыки, а с Антонием Гуслицким даже не входит ни в какие сношения. Эти же, в свою очередь, чувствуя и сознавая преимущества Пафнутия и завидуя его доброй славе, готовы, конечно, относиться к нему не лучше, как некогда Винокуров и М. относились к Антонию Шутову. Если бы Пафнутию удалось примирение враждующей старообрядческой Москвы, то это только увеличивало бы значение Пафнутия, а такая вещь разве может быть приятна московским Антониям, когда один из них знает, что ему по милости этого Пафнутия и во сне не видать архиепископского престола, а другому ведомо, что в Москве очень многие давно только и ждут, как бы Антоний Шутов поосвободил занятое им место, и тогда тотчас же будут просить на архиепископство епископа Пафнутия. Нет, Пафнутию нельзя мирить московские распри, и возлагать на него в этом смысле какие бы то ни было надежды бесполезно. Охраняя свою собственную репутацию и другие дорогие для него интересы, Пафнутий, давно удаляющийся от московских распрей, вероятно, и нынче останется от них совершенно в стороне, предоставляя всю эту сорную кашу расхлебывать тем, кто ее заварил. Это единственный способ оставаться чистым. Да и есть ли в самом деле из-за чего хлопотать умному человеку, когда примирение, из-за которого пришлось бы поднять почти невероятные труды: и обличать, и просить, и умолять, и страдать, и усовещивать, и приказывать будет снова не более – как недостойная комедия, отводом глаз минутным “блзиром” и “иудиным лобзанием”, за коим не укоснит во след и иудина измена... Чего ради трата сия будет миру словес, и чего ради будет метаем под ноги бисер уветов?... Над московскою общиною совершается судьба, ея же ни преложить, ни применить невозможно.

* * *

Post-scriptum. Предсказания наши насчет приговора, составленного окружниками в доме Банкетова, сбылись. Нам пишут из Москвы, что уполномоченные этой части общества Бутиков, Свешников и Шибаев на сих днях были приглашены к полицеймейстеру г. Ловейко, который и объявил им, что приговор, написанный в доме Банкетова, не может получить утверждения. Окружники имеют теперь еще более легкомысленное намерение обжаловать неутверждение их приговора. Искренне соболезнуем, что московские окружники так упорно стремятся достичь своих целей этим путем, которым они всего менее могут быть достигнуты. Закон, во славу нынешнего времени на Руси, стоит превыше и происков, и произвола, и, куда бы ни кидались московские окружники с своим незаконно составленным приговором, их везде будет ожидать повсеместный отказ. Этого перекапризничать нельзя, а это

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
надо наизново передумать.

ОФИЦИАЛЬНОЕ БУФФОНСТВО

В мартовской книжке “Киевской старины” помещено следующее известие:

“Шевченко, перед своим арестом в 1846 году, состоял в качестве рисовальщика при киевской временной комиссии для разбора древних актов, получая в год 150 руб. жалованья. После его ареста состоялось такое постановление комиссии:

“1847 г., марта 1-го дня. Временная комиссия для разбора древних актов, имея в виду, что сотрудник комиссии Шевченко без всякого согласия комиссии отлучился из Киева и по комиссии не занимается, – определили: исключить его из числа сотрудников комиссии с прекращением производившегося ему жалованья по 12 руб. 50 коп. в месяц”.

Определение это подписали: “председатель К. Писарев, члены: В. Чеховский, М. Ставровский и А. Селин. Скрепил делопроизводитель Н. Иванищев”.

Более к этому известию “Киевская старина” ничего не прибавляет, а между тем небезынтересно бы, кажется, узнать: кому именно пришлось в голову сочинить такое определение, приравнявшее политический арест Шевченко невяке на службу по неизвестной причине, и чем это вызвалось?

Мне кажется, как будто я могу в этом кое-что пояснить.

История, по которой были арестованы в Киеве несколько лиц, и в числе их покойный Тарас Григорьевич Шевченко, была у всех на устах в 1849 году, когда я мальчиком приехал из Орла в Киев и поселился у дяди моего, профессора Алферьева. В доме дяди, поныне здравствующего, я встречался почти со всеми молодыми профессорами тогдашнего университетского кружка и, несмотря на мою едва начинавшуюся юность, пользовался от некоторых из них благорасположением и даже доверием. В числе их были даровитый молодой ученый Пилянкевич, Якубовский и Иван Мартынович Вигура, которого в Киеве называли “Хвигура”. Теперь ни одного из них уже нет на свете, но тогда они были еще молоды и не разделяли довольно общего безусловного поклонения бибииковскому “циническому деспотизму”. Ни один из них не был сепаратистом, ни агитатором, но молодому чувству их претило то, что в характере Дмитрия Гавриловича было циничного и глумливого, а он это любил, и в киевском обществе это очень многим нравилось. Бибииковские насмешки и издевательства над людьми, обуздание которых не представляло никакого затруднения для твердой власти, передавались из уст в уста, и редко кто чувствовал, что это вовсе не нужно и не возвеличивает характера государственного человека, облеченного такими обширными полномочиями, какими пользовался Бибииков. Напротив, находились люди, которые из всех сил старались подражать Бибиикову и вторить сколько достанет остроумия. Это разводило много своего рода острословов или бонмотистов, между коими пользовались известностью по духовенству и по купечеству Виктор Ипатьевич Аскоченский, а в университетском кружке профессор Николай Дмитриевич Иванищев. Остроты Аскоченского, как вся его неуклюжая, семинарская природа, были грубы и “неистовы”, – все они отличались резкостью и дерзостью, за которую этот киевский Ювенал расплачивался несчастьями всей своей жизни, полной трагикомических скачков от наглости к пресмыкательству. Но профессор Иванищев держал себя приличнее, острил помягче и потоньше, и притом он умел буффонничать. А как к буффонству имел склонность и сам Бибииков, то иванищевские выходки смешили и тешили этого государственного человека. Выходки самого Бибиикова в буффонском роде бывали таковы, что многие из них даже нельзя изложить в печати: таков, например, случай с графиней М – й, имевшей привычку вмешивать в разговор польские слова. Иванищевские остроты бывали также не очень высокой пробы. Бибииков, по доносу исправника П – ионко, был недоволен на одного польского графа, который казался исправнику подозрительным, потому что любил толковать о политике. Бибииков захотел взять графа “на глаза” в Киев, но для ареста его никаких вин против графа не оказывалось. Тогда его пригласили в Киев, дабы “доставить ему удовольствие читать все газеты, какие получались в доме генерал-губернатора”. Граф жил в Киеве не под арестом, а только “читал газеты”. Положение его было пресмешное, и это всех тешило.

Когда Шевченко был арестован по обвинению в политической неблагонадежности, то его, разумеется, следовало бы показать исключенным из службы по распоряжению начальства. Это было бы правильно, и Дм. Г. Бибииков, конечно, не имел никакого повода скрывать этого, а тем менее кого-то бояться. Но профессор Иванищев

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
захотел сбубфонничать в бибииковском роде и, как рассказывали, устроил следующую потеху. Будучи делопроизводителем комиссии, состоявшей при генерал-губернаторе, Иванишев доложил Бибиикову, что “Шевченко стал ужасно манкировать занятиями, и не только не является на службу, но, по слухам, дошел до такой дерзости, что будто даже уехал без спроса из города”.

Бибииков рассмеялся и спросил:

– Неужто он смел уехать, никому не сказавшись?!

– Да, ваше высокопревосходительство, не сказался, – отвечал серьезно Иванишев.

Тогда и Бибииков перешел к тону серьезному.

– Что же с ним за это следует сделать по закону? – спросил он Иванишева.

А тот, продолжая комедию, отвечал:

– По закону его за неявку к должности и за самовольную отлучку следует исключить из службы.

– Ну, так и поступить по закону, – отвечал серьезно Бибииков.

Иванишев в этом роде и составил оглашенное ныне “Киевскою стариною” определение, которое подписали все члены комиссии, и между ними Ставровский, бездарно излагавший студентам историю, и Александр Иванович Селин, рассказывавший с кафедры анекдоты и стяжавший себе славу либерала, кажется, более по его свойству с покойным А. И. Герценом.

Такова, как мне помнится по рассказам, история смехотворного определения комиссии об исключении Шевченко со службы. Недостойное серьезных людей определение это было сделано солидными учеными Киевского старого, “благонадежного” университета не для чего иного, как ради генерал-губернаторской потехи...

1 марта 1847 года.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ НА КОРОТКИЙ СРОК
(Маленький фельетон)

От скуки и томительного однообразия жизни говорят будто “люди пухнут”; а опухая, теряют память и забывают то, что знали и что всем известно. На сих днях в этом роде обнаружилось небольшое, но странное приключение с могилою Шевченко.

Киевская “Заря” напечатала у себя известие о небрежном содержании “Тарасовой могилы” близ Канева. Могила поэта осыпалась, и большой деревянный крест на ней подгнил. Газета “Новости” 26 августа перепечатала из “Зари” это известие, а на следующий день (27 августа) спохватилась и поместила следующую поправку:

“Вчера мы сделали выдержку из газеты “Заря” о небрежном содержании могилы Т. Г. Шевченка, находящейся будто бы “на пути к Пекарям”. Сегодня один из почитателей Шевченко сообщает нам, что указание это неверно: “Шевченко умер в Петербурге и погребен на кладбище Новодевичьего монастыря, где над его могилой поставлен и монумент”.

Все это не так, и “один из почитателей Шевченко” имеет, очевидно, очень короткую память. Он совершенно напрасно ввел в заблуждение литераторов газеты “Новости” и их читателей, посоветовав им искать монумент Шевченко в Новодевичьем монастыре.

Покойный Шевченко действительно скончался в Петербурге, и отпевание его производилось в церкви Академии художеств, но в Новодевичьем монастыре его не хоронили, и могилы его там нет, и нет там ему никакого “монумента”. Откуда все это пригрезилось “одному из почитателей” – отгадать невозможно.

На самом деле тело Шевченко, после отпевания его в академической церкви, было временно положено в могилу в Петербурге на Смоленском кладбище, откуда потом, согласно воле усопшего и желанию его земляков и почитателей, было вынута и со Смоленского кладбища отправлено в Киев. Здесь гроб Шевченко был встречен

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
огромною толпою и стоял в церкви Рождества богородицы, что на Подоле, над самым днепровским берегом. В этой киевоподольской рождественской церкви опять правились торжественные общественные панихиды о душе покойного, а за Каневом, в трех или четырех верстах ниже этого маленького городка, “на круче”, под которою “реве ревучий”, приготовили “лирнику” “высоку могилу”. Затем гроб Тараса был поднят и при очень больших овациях отправлен в Канев, причем было произнесено множество речей и стихов на малороссийском языке. Некоторые из этих речей тогда производили такую сенсацию, что генерал-губернатор находил даже нужным позаботиться скорейшим окончанием всех церемоний погребения поэта.

Обо всем этом было много писано и переписано во всех русских газетах с исключительными пожеланиями, да будет всему этому “вечная память”, и вот едва прошло два десятка лет, как даже “один из почитателей таланта поэта” и целая редакция ежедневной газеты все это так капитально позабыли, что даже указывают могилу Шевченко там, где ее нет...

Правда, видно, что “ничто не вечно под луною”.

А что касается настоящего положения настоящей могилы Шевченко близ Канева, то она действительно такова, как описывает “Заря”. “Высока могила” по-над кручей, где “реве ревучий”, сильно поосыпалась, то есть дерновая ее облицовка и булыжные камни пообивались, и большой крест, срубленный из цельного рослого дерева, поддался влиянию сырости и ветров. Могилу давно следовало бы поправить, и деревянный крест (далеко видимый с Днепра) давно надо бы возобновить. Каневцы и другие малороссийские почитатели Тараса сами давно это видят и говорят об этом, но тут находится какая-то помеха в какой-то неясности или спорности насчет принадлежности участка земли, на коем “высыпана высокая могила”, – отчего за поправку ее не берется ни город Канев и никто другой. В каком положении теперь находится этот спор и чем он может разрешиться, местные газеты ничего не сообщают, а мы этого не знаем, да не знаем и от кого можно добиться об этом каких-нибудь обстоятельных сведений, но очевидно, что если эти уяснения еще продлятся года два, то поэтическая могила “малороссийского лирика” того и гляди что совсем рассыплется и ее высокий крест упадет.

Дело тут в том, что нет никого, кто бы лично считал себя обязанным присмотреть за Тарасовой могилою, но право ее поправить, нам кажется, невозбранно принадлежит каждому из почитателей, которых в изобилии имел среди малороссийского дворянства покойный Шевченко. Во всяком случае, там ведь еще живы роды Галаганов, Милорадовичей и Тарновских, – и, сколько нам известно, благодаря бога здравствует еще и сам Василий Васильевич Тарновский, к которому писаны покойным Шевченко задушевные письма, известные в копиях чуть не всей Украине и Малороссии. Как бы, кажется, всем им не подсыпать высококу могилу своего “батька Тараса”, тем более что для таких больших людей это дело очень нетрудное...

При упоминаниях об этой рассыпающейся могиле не раз делались ссылки по адресу Литературного фонда, но у небогатого Литературного фонда на руках немало калек, вдов и сирот, которые напоминают ему о своих вопиющих нуждах, и это, по правде сказать, важнее могил.

А редакции газеты “Новости” пока, кажется, надо бы сделать еще одну поправку в том смысле, что Шевченко действительно похоронен близ Канева, а не в петербургском Новодевичьем монастыре, и что здесь ему никакого “монумента” не ставлено. Иначе кто-нибудь, пожалуй, придет сюда искать этот монумент и, не найдя его, рассердится.

Впервые опубликована в газете “Новое время”, 1882 год, 29 августа.

ЗАБЫТА ЛИ ТАРАСОВА МОГИЛА?

По поводу странного и несколько даже смешного спора о могиле поэта Тараса Шевченки мне 30 августа довелось прочесть в одной газете, будто осыпавшуюся могилу поэта забыла не одна редакция этой газеты, “но и все его почитатели и даже друзья, как это свидетельствует полная заброшенность и жалкое состояние могилы”.

Это несправедливо и требует поправки.

Могилы Шевченки действительно осыпается, и на ней обветшал ее высокий крест, но

она совсем не позабыта “всеми почитателями”. Напротив, “народная тропа” к могиле поэта самым явным образом не зарастает, а проторена как нельзя более точно. В этом отношении, кажется, нельзя даже указать никакой другой могилы писателя, к которому бы родное племя покойника хранило бы более памяти и влечения. Я бываю в Каневе почти каждый год, потому что там, в этом городе и в его уезде, у меня есть близкие родные, у которых мне приятно отдохнуть летом. В этом же Каневском уезде находится прелестный пустынный женский “монастырек”, по прозванию “Ржищевский”, казначею которого состоит моя родная сестра инокиня Геннадия. Туда приходит много каневских крестьян, с которыми мне случалось разговаривать. Поэтому я коротко знаю, как относится малороссийский народ к “Тарасовой могиле”, я сам ее посещал не далее как прошлым летом.

Могилы Шевченки представляет не обыкновенную насыпь в величину могилы; это целый холм, или курган, насыпанный на самой возвышенной площадке очень высокой горы на правом (киевском) берегу Днепра. Гора эта, или, лучше сказать, по местному “круча”, которую возвышается в этом месте берег, к стороне Днепра оканчивается обрывом, по которому невозможно ни взойти, ни спуститься, а слева, по крутым же скатам поросшего кустарником оврага, проторено несколько извилистых “стежек”, или тропинок, по которым надо всходить к могиле. Этих “стежек” здесь очень много, потому что гора высока и пробирающиеся на нее люди, смотря по своим силам и подверженности головокружениям, избирают дорожку один поближе и покруче, а другой – подальше, но поудобнее. Оттого стежек много и они так прихотливо перекрещиваются и теряются в довольно рослом кустарнике, что взойти на гору невозможно без проводника. Проводниками обыкновенно служат дети “гончаров”, или горшечников, которые живут в хатках “под Тарасовой кручей”, и тут же из местной синей глины лепят на кружале простые молочные кувшины и варистые горшки. Провожают обыкновенно маленькие босоногие “дивчинки”, потому что мальчики, или “хлопцы”, в летнее время все на работах. В последний раз нас провожала девочка лет шести и при каждом разветвлении стежек “пыталась”: “чи мы очень, чи не очень боимся?” Судя по ответу, она брала вправо или влево и, доведя таким образом до “самой могилы”, взбежала на нее и села, крикнув: “от се тут наш Тарас”. Так же “дивчата” и сводят вниз и получают за это “шага”, то есть “грош”, или сколько кто даст. Но каневцы и другие местные люди ходят на могилу и без провожатых, и эта могила есть самое любимое место для вечерних прогулок местного простого народа. Могила посещается постоянно, и то, что она очень осыпалась, происходит именно от того, что она не позабыта. Могила осыпалась именно потому, что ее дерновой и булыжной облицовке не дают покоя, не дали ей укрепиться и срастись, как, например, окреп знаменитый “копец крулевы Боны” близ Кракова. Такой покой нужен вообще всякому земляному возведению, но он достается только тому, к которому нет большого притока живых людей. Могилу Шевченки, по несколько вульгарному, но весьма точному местному выражению, “разлазяли”, то есть отоптали ногами ее углы и бока, по которым стараются взойти на ее вершину, чтобы точно “посумовати з батьком Тарасом про свою недолю”. Это, конечно, не значит, что “про эту могилу позабыли все почитатели и друзья поэта”. Такое разрушение, какое представляет могила Шевченки, в своем роде утешительнее неприкосновенной сохранности многих и многих чисто содержимых монументов.

Место могилы Тараса прекрасное и вполне поэтическое, вид на Днепр отсюда – широкий, вольный и вдохновительный, и простые души, которые так понимал и горячо любил Шевченко, влекутся сюда неодолимою потребностью “посумовати з батьком”. Поднявшись сюда прошлым летом с братом моим Михаилом Лесковым и с нашим родственником Н. П. Крохиным, мы встретили здесь редкостной красоты молодую малороссийскую девушку с грудным ребенком. Она имела вид очень убитый, и мы с нею заговорили, сказав прежде себе: “Вот и Катря!” Оказалось, что встреченная нами красавица и в самом деле называется Катерина и что у нее такое же самое горе, какое было у воспетой Шевченком Катри. То есть горе это был ребенок, спавший на ее руках, “покинута дитына”. Разница в положениях заключалась только в том, что эта живая Катря “не з москалем покохалася”, а “служила в наймычках у вдового попа”... Мы ей дали, что могли, и оставили ее плакать на Тарасовой могиле.

Оправить могилу Шевченки, конечно, необходимо и раз что это дойдет до “старого Каченовского пана”, как называют в Малороссии В. В. Тарковского, или до других просвещенных и именитых почитателей Шевченки, – это, вероятно, скоро же будет и сделано. Но надо сделать это с толком. В Каневе я слышал мысль о том, чтобы “огородить могилу”... Это, разумеется, уберезет курган от осыпки под ногами, но, мне кажется, это совсем не нужно, ибо будет очень жалко, если у простого народа отнимется возможность приходить и “сидеть сумуючи” на самой могиле. Думается, не сообразнее ли было бы могилу не огораживать, а по одному из ее боков устроить

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
простую бревенчатую лесенку, или, по местному выражению, “сходцы”. Тогда люди могли бы свободно и удобно всходить “по сходцам” на могилу своего поэта, а могила бы не осыпалась. Иначе же, если этого не будет сделано, или если могилу огородят, то народ станет лазить к ней через ограду, и все равно новой облицовке, которой требует осыпавшаяся, снова не дадут улежаться и срастись с насыпью, а обвалят и осыпят ее, как осыпали старую. Но лучше уже пусть она осыпается, чем если ее огородят и станут затруднять живой народный прибой к ней. Это Тараса обидит.

Впервые опубликована в газете “Новое время”, 1882 год, 1 сентября.

НАРОДНИКИ И РАСКОЛОВЕДЫ НА СЛУЖБЕ

(Nota bene к воспоминаниям П. С. Усова о П. И. Мельникове)

В воспоминаниях Павла Степановича Усова о покойном Павле Ивановиче Мельникове, напечатанных в “Новом времени”, есть между прочим такой эпизод:

“В 1862 году в правительственных сферах возник вопрос о необходимости учреждения для раскольников особых школ от правительства. В августе того же года я получил приглашение министра народного просвещения, А. В. Головнина, приехать к нему. Сообщив мне о проекте подобных школ, министр просил меня указать на сотрудников “Северной пчелы”, помещавших в ней статьи по расколу, которые могли бы, по его поручению, отправиться в центры раскольничьего населения для собрания сведений о положении у них школьного дела. Я указал на П. И. Мельникова как на знатока раскола, как на человека, который лучше других мог бы заняться этим делом.

– Мельников состоит, кажется, на службе? – был вопрос министра.

– Чиновником особых поручений при министре внутренних дел.

– Следовательно, необходимо снестись с его начальством. Это для меня неудобно. Нет ли других у вас лиц?

Тогда я назвал Н. С. Лескова, предупредив, что он в знании раскола уступает Мельникову. Но, по-видимому, рекомендация Лескова понравилась министру; он записал его адрес, и Н. С. Лесков отправился с поручением министра в Ригу.

Все эти факты – мелочи, но мелочи иногда лучше освещают житейские события. Проект о правительственных школах для раскольников не был приведен к осуществлению, встретив сильную оппозицию. В № 13 “Московских ведомостей” 1864 года появилась против этих школ сильная статья, в которой доказывалось, что “можно только терпеть раскол”, что “в этом должен заключаться весь либерализм правительства”. Я указываю на эту статью по той причине, что она была перепечатана, по желанию П. А. Валуева, в “Северной почте” (№ 17, 1864 года), следовательно, вполне согласовалась с его мнением по вопросу о раскольничьих школах. П. И. Мельников был приверженцем отмены всех ограничений для раскольников, а из этой статьи видно, что взгляд П. А. Валуева был совершенно противоположный, и потому он не находил удобным или полезным для себя пользоваться знаниями своего чиновника особых поручений в делах раскола”.

Обстоятельство это передано г. Усовым неполно, и оттого является большой повод думать, как будто бывший министр народного просвещения, Александр Васильевич Головнин, послал для исследования известного раскольничьего вопроса меня, а не покойного Мельникова, не только потому, что о Мельникове ему нежелательно было сноситься с графом Валуевым, но и потому еще, что “П. И. Мельников был приверженцем отмены всех ограничений для раскольников”, а я как будто представлял собою на этот счет нечто иное, – менее расположенное к терпимости и тем более отвечающее взглядам А. В. Головнина.

На самом деле все сказанное было не совсем так, и главным образом дело двигалось совсем не теми причинами, на которые частью намекает, а частью даже прямо указывает г. Усов. Вполне вскрывать все эти (как Павел Степанович называет) “мелочи” теперь, разумеется, еще не настало время, но обстоятельства служебных неудач Мельникова, о которых упоминает г. Усов, не только могут быть разъяснены, но даже непременно требуют разъяснения. Мнение, будто “приверженность к отмене всех ограничений для раскольников” была причиной, что Александр Васильевич Головнин лишил себя услуг покойного Мельникова, – весьма ошибочно. Покойный Мельников знал дела раскола несравненно лучше меня, – в этом не может быть

никакого сомнения, потому что я тогда только учился этой материи, и Павлу Степановичу Усову, всеконечно, близко известно, что Мельников весьма долго был моим руководителем в изучении раскольничьей и “отреченной” литературы и поправлял меня в первых моих опытах по описанию бытовой стороны раскола. Взгляд на раскол я по убеждению принял мельниковский, ибо взгляд покойного Павла Ивановича, по моим понятиям, есть самый верный и справедливый. “Раскол не на политике висит, а на вере и привычке” – таково было убеждение покойного Мельникова, так и я убежден, сколько по литературе, столько же – если еще не более – по долговременным личным, искренним и душевным сношениям со многими раскольниками. С тех пор как я стал писать о расколе, – сначала в газете г. Усова, – не иначе, как под руководством Мельникова, – я нигде и никогда не смотрел на раскол как на явление свойства политического, и за то многократно и многообразно был порицаем и осуждаем последователями мнений Аф. Пр. Шапова, который, сколько известно, желал видеть в расколе “политико-демократический смысл”, будто бы только прикрытый религиозным покрывалом. Мельникову, а после и мне, поставляли в вину, что мы писали иначе, и на нас было тогда ожесточенное гонение, которое долго было в большой моде, и к этому ополчению охотно приставали многие, собственно никогда раскола не изучавшие. Гонительство это сделалось одно время так сильно, что ему подпадали даже люди сторонние, имевшие смелость или неосторожность как-нибудь сослаться в своих работах на мои наблюдения и выводы. Так, между прочим, за это в очень сильных и смелых выражениях был порицаем профессор Петербургской духовной академии Иван Федорович Нильский, который в этом проступке где-то и оправдывался и доказывал, что и на меня порою можно сослаться. Словом, я нес одинаковое с Мельниковым отвержение, но у меня было и свое разномыслие с Павлом Ивановичем: мне не нравилось и не казалось справедливым его обыкновенное относиться к чувствам староверов слишком по-чепурински, – как говорится – “с кондачка”. Приведите себе на память Потапа Максимовича Чепурина (в “Лесах” и на “Горах”), который “как начнет про скитское житие рассказывать, то так разговорится, что женский пол вон да вон”. В мельниковском превосходном знании раскола была неприятная чиновничья насмешливость, и когда эта черта резко выступила в рассказе “Гриша”, – я возразил моему учителю в статейке, которая была напечатана, и Павел Иванович за нее на меня рассердился. Все это при тогдашнем оживлении в литературе и в жизни не проходило безотзывно и бесследно, а потому я думаю, что бывший министр народного просвещения А. В. Головнин, интересовавшийся в то время вопросом о раскольничьих школах, знал, что я по части раскола представлял собою по преимуществу человека той самой школы, которую “политиканы” называли “мельниковскою”, но которую, по справедливости, можно бы назвать историческою, научною. Следовательно, нет никакого основания предполагать, что министр А. В. Головнин мог ожидать от меня исполнения поручения в ином духе, как и от Мельникова. Я удостоивался многих обвинений, начиная с либерального обвинения в “оклеветании молодежи” до консервативного привнесения мне свойств самого коварного “потаенного нигилизма”, но я никогда не давал никому никаких поводов считать меня врагом “приверженности к отмене ограничений религиозных”. И я думаю, что А. В. Головнин вовсе этого не желал, и во всяком случае он от меня этого не требовал. Напротив, посылая меня, А. В. Головнин не стеснял меня никакими указаниями и даже высказал, что ожидает от меня “только правды”, а в данном мне письме к остзейскому генерал-губернатору, барону Ливену, он просил предоставить мне свободу действий, которую я пользовался невозбранно и, по отзыву генерал-губернатора, – не предосудительно. Работа же моя – “Отчет о раскольниках города Риги, преимущественно в отношении к школам” – составлена так, как я хотел ее написать, и в том самом духе, в каком мыслил Мельников. Мне давно очень досадно, что книга эта остается неизвестною русской литературе, но в этом не моя вина. Книга эта, по распоряжению А. В. Головнина, была в 1862 году отпечатана в типографии Академии наук, кажется, всего в числе восьмидесяти экземпляров, и куда она делась и где находится – мне неизвестно. Я имею только один ее экземпляр, данный мне А. В. Головниным как автору; но в литературе немецкой она весьма известна, так как вся она почти целиком переведена и напечатана в весьма распространенной книге бывшего дерптского профессора Юлиуса Экгарта “Bürgerthum und Bureacratie” (моя записка составляет целую треть этой книги). Каким образом она туда попала – я тоже не знаю, но знаю, что и дерптский профессор и германские рецензенты его книги, выведшие на свет мою записку, находили причины указывать на ее “беспристрастие”. Короче, без жеманства скажу – ее хвалили за ее терпимость и еще кое за что. Кажется, все это должно бы представлять ручательство, что А. В. Головнин, по воле которого та записка напечатана, не желал избегать и “приверженности к отмене ограничений” и из-за этого не мог иметь побуждений отстранять Мельникова.

Причиной того, что в Ригу был послан я, а не Мельников, были два действительные неудобства – одно меньшее, а другое большее. Павел Степанович Усов, при его превосходной памяти, все-таки немножко смешал, как шло это дело. Вначале у господина министра не было плана посылать знающего раскол литератора в Ригу, а была мысль иная: именно выяснить, каковы вообще желания великорусских староверов по отношению к школам, о которых они просили. Тут внимание г. министра и остановилось на Павле Ивановиче Мельникове, но поездка самого сведущего человека с такою общюю целью представлялась крайне щекотливою и едва ли полезною. Во-первых, чтобы услышать задушевные желания староверов, – надо было скрывать свое посланничество и его цель; а это и тяжело, да и неудобно. У староверов есть своя тайная полиция, организованная во многом не хуже еврейской “пантофлевой почты”. Во-вторых же, мы недоумевали, что такое можно выяснять в школьных желаниях людей, которые совсем не имеют никаких понятий о школе? Тут как раз по пословице, – можно было “проездить не по что, и привести ничего”. Павел Иванович это предвидел и говорил, что ему, “наверно, не придется ехать”. Главная причина, почему он так думал, заключалась в том, что “чиновнику особых поручений министра маскироваться неудобно, а с своим официальным положением он ничего задушевного не узнает”. Притом Павел Иванович сам находил, что это посольство не будет приятно Петру Александровичу Валуеву, который, как явствует из воспоминаний г. Усова, был сторонником “ограничения”, тогда как Мельников, конечно, хотел стоять за “отмену ограничений”. Следовательно, действуя по совести и убеждениям, Мельников непременно должен был бы исполнить работу, поручаемую ему А. В. Головинным, в таком духе, которого не одобрял его прямой начальник, граф П. А. Валуев. Отсюда понятно, что самая простая деликатность могла удержать А. В. Головина от того, чтобы ставить нашего писателя в такое щекотливое положение к его служебному начальнику. Если же бы П. И. Мельников исполнил поручение А. В. Головина в духе “ограничений”, которые совсем не отвечали целям этого министра просвещения, то такая работа послужила бы не в пользу дела, а во вред ему. И тогда зачем бы А. В. Головину нужен был такой исполнитель?.. Вот, я думаю, в каком роде были очень простые и нimalo П. И. Мельникову не обидные соображения, которыми г. министр, однако, мог весьма основательно руководиться. А потому сказанное А. В. Головинным П. С. Усову слово, что “Мельникова командировать неудобно”, я думаю, действительно значило то самое, что оно и выражает. Ничего странного, необъяснимого и невнимательного к литературным заслугам П. И. Мельникова тут нет. Кроме же того, были, как я говорю, и другие причины, о которых упоминает сам П. С. Усов. О Мельникове ходили неблагоприятные слухи по его прежней службе... Это составляло маленькую эпопею, напечатанную в “Колоколе” А. И. Герцена. Я точно так же, как и П. С. Усов, уверен, что все на сказанное на Мельникова со стороны его небескорыстия по “наездам на раскол”, вероятно, была сплетня, но тем не менее в самой раскольничьей среде против Павла Ивановича существовало сильное предубеждение, и ему не очень-то доверяли, а всегда его побаивались, – это правда. “Волк, – говорили о нем, – так волчком и глядит”. А такое настроение староверов, конечно, не увеличивало удобства посылки к ним Мельникова по такому делу, для которого нужно было стяжать полное доверие и вызвать самую искреннюю откровенность.

Дело на этом было и остановилось, но тут подвернулось небольшое, но очень характерное событие, которое стоит вспомнить и записать, как корректив к интересным воспоминаниям г. Усова.

В те самые дни, когда вопрос о посылке меня или Мельникова колебался, петербургские староверы были неприятно поражены одною близко их касавшеюся литературною новинкою: Кожанчиков пустил в продажу первый выпуск сочинения А. Щапова “Земство и раскол” (СПб., 1862 г.). Автор книги и иные критики думали, что г. Щапов подносит этим сочинением самый милый дар староверию, но староверы, увидав, что их предков хотят представить политическими неслухами и “умыслителями”, – смутились. Такое вышло “недоразумение”, что кое место в книге автора всего более радовало, то самое староверов наиглубже огорчало. Кто любит плакать или смеяться, тот нашел бы в этом “недоразумии” причины для одного и для другого. На 33-й странице было, например, место такое: “В Поморской области возникло демократическое учение не молиться за московского государя”; староверы обиделись этой “неправдой” и заговорили: “Какие мы дымократы? что это еще за глупость! мы в его благоверии сомневаемся, но за его благочестивое житие молимся”. Часто тогда меня звали потолковать, – и вот раз вечером ко мне приехали два петербургские старовера, Пикиев и Мартьянов (один федосеевец, и другой поморец), и просили тотчас же ехать с ними в Толмазов переулоч, где в трактире “Феникс” собралась “сходка разных сословий” и желают меня видеть. Я нашел около сорока человек староверов, частью мне знакомых, но более незнакомых,

и между сими последними одного купца из Москвы, который был в Петербурге проездом из Риги и здесь много и странно рассказывал о виденных им в Риге русских староверах “изрядного обучения”, а обучение то, по его словам, “преподается в Риге, в хорошо, по древнему образцу, устроенных секретных школах”. Всем питерским это очень нравилось, и все здесь присутствующие жарко выражали одно желание, чтобы “министерство тот древний устав школы просмотрело” и после повсеместно дозволило бы “такие самые школы, в каких потаенно от власти получаютя рижские староверы”. И тут-то самими староверами было высказано желание, чтобы г. министр просвещения “оповестился о тех потаенных школах” через меня. “Тебе, говорили, мы дадим верные письма к таким людям, которые тебе всё покажут, и ты принеси министру правду; а другого, кого мы не знаем, того не хотим и тот ничего не увидит”. Тут совершенно в ином виде выяснилась ясная цель, для которой стоило послать сведущего человека именно в Ригу, да указан был и самый человек, которому сами староверы готовы были помогать, не принуждая его ни маскироваться, ни притворствоваться, – человек этот и был я. И вот тогда лишь А. В. Головнин и командировал меня в Ригу, ибо я лично представлял в себе для этой командировки такие удобства, которых другие не представляли. Вот почему и вот как образовалось это предпочтение меня перед Мельниковым, без малейшего желания г. министра унижать превосходные знания Павла Ивановича. Вышло это просто потому, что если я несколько отвечал целям министра, то еще более отвечал желаниям тех людей, для пользы которых все это предпринималось. Пренебречь этим г. министр, очевидно, не видел никакой надобности, да, сколько я могу судить, – сделать людям неприятное, когда можно сделать приятное, – не было в духе этого министра. Так я и поехал с письмами от А. В. Головнина к генерал-губернатору Ливену; от сенатора М. Н. Турунова к жандармскому полковнику (ныне генералу) Андреянову, и от староверов с четырьмя письмами к Никону Прок. Волкову, Захару Лаз. Беляеву, Ионе Федот. Тузову и Петру Андр. Пименову. Самое веское из сих рекомендательных писем было от неизвестного мне рекомендателя, и писано оно было на лоскутке синей толстой бумаги, вырванной из переплетенной счетной тетради, а заключалось в следующей несложной редакции: “Сему верь” – а вместо подписи “слово-титло” (бог знает, что оно означало).

Поручение министра А. В. Головнина было исполнено мною, не причинив его высокопревосходительству никаких досаждений, а брошюра “С людьми древлего благочестия”, которую я написал после этой поездки, вдруг была вся раскуплена и давно уже составляет библиографическую редкость. Из этой брошюры, составляющей обрезки того, что значитя в отчетной записке, напечатанной в типографии Академии наук, можно видеть, что я относился к делу с тою же целью показать излишность “ограничений”, как постоянно мыслил и П. И. Мельников. Но как записка эта, написанная двадцать лет назад, до сих пор еще не утратила своего интереса, а между тем правительственные лица, которых она касалась (главным образом, князь Суворов), уже сошли в могилу и составляют сюжет истории, то я не вижу причин оставлять ее далее в безвестности для общества и попытаюсь напечатать эту мою работу в одном из русских исторических изданий.

П. С. Усов передает, тоже как особый знак неблаговоления к Мельникову, то, что “П. А. Валуев, с самого вступления своего в должность министра внутренних дел, удалил Мельникова от раскольничьих дел и от себя”. А как мне известно, и тут не Мельников лично не годился, а в эту пору вообще разбор и разработка раскольничьих дел в настоящем научном направлении стали нежелательны, или, точнее сказать, несовместны, с целями некоторых из правителей. П. С. Усову должно бы быть известно, что прежде отстранения Мельникова предполагалось учредить целое “сотрудничество”, которое бы дружно взялось и сразу покончило с разбором и приведением в известность всех раскольничьих дел архива министерства внутренних дел. Мысль эта едва ли не исходила от М. Н. Турунова, или по крайней мере им поддерживалась, и тогда в числе лиц, сюда предназначавшихся, снова были Мельников и я. Об этом со мною, по поручению П. А. Валуева, вел переговоры граф Капнист, которому я в чистосердечном разговоре высказал мой взгляд на раскол и те мои убеждения, с которыми я могу приступить к этой любопытной, важной и до сих пор никем надлежащим образом не исполненной работе. Но, вероятно, и мои взгляды, без сомнения точно переданные графом Капнистом г. министру, показали почему-либо одинаково несовместимы, и с той поры речь о привлечении меня к занятиям делами раскола уже никогда более не возобновлялась. А вместо допущения к сим заповедным делам П. И. Мельникова со мною или меня одного доступ к ним был открыт покойному Федору Васильевичу Ливанову, который раскола хотя не знал, но имел характер и взгляд более совместные. Дело раскольничьих ф. В. Ливанов не привел в ту ясность, какой предполагалось достичь обстоятельным их разбором, но плодом его знакомства с министерскими архивами зато вышло злохудожное сочинение

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
“Раскольники и острожники”. В этой скандальной и шельмовальной книге были глубоко оскорблены и обеславлены многие из достоуважаемых людей в московском купечестве, начиная с Морозовых и Кузьмы Терентьевича Солдатенкова, а появлению этого сочинения предшествовали еще более скандальные истории вымогательства и шантажа, вскрывать которые еще не наступило время.

Личные свойства Ф. В. Ливанова, который оказался всех нас “совместимее”, достаточно известны и в Москве и в Петербурге и среди староверов и среди монашествующей братии, представители которой тоже тяжело испытывали неудобства всякого личного с этим человеком соотношения. Небезызвестен Г. Ливанов и семье литературной, которая, впрочем, никогда не считала его своим и всегда бежала всякого с ним общения. Кто рекомендовал Ливанова министру внутренних дел как знатока раскольничьей литературы и раскольничьего быта, – я не знаю, но это очень любопытно и, конечно, когда-нибудь выяснится. Но я знаю, что книги Ливанова, рассмотренные в ученом комитете министерства народного просвещения при графе Дмитрие Андреевиче Толстом, были “отклонены” и что той же самой участи они подпали в учебном комитете святейшего синода, председатель которого, покойный протоиерей Иосиф Васильевич Васильев, брал у меня для соображений мой обширный черновой доклад о сочинениях Ливанова.

Таким образом, вот кто, собственно, был настоящим заместителем Павла Ивановича Мельникова в занятиях делами раскола научно-историческим путем. Это был Ф. В. Ливанов, который в одной из своих книжек “Золотая грамота” обнаружил такое многоведение, что даже не знал, как надо перекреститься, и указывал налагать на себя не крест, а треугольник (да, это буквально так!).

Что же касается затруднений П. И. Мельникова в издательстве книги, написанной по поручению министра, то и это едва ли можно приписывать личному неблагоприятию П. А. Валуева к Мельникову. Совершенно такие самые истории случались далеко не с одним Мельниковым. Подобная вещь была, как мне известно, с покойным Алексеем Феофилактовичем Писемским и другими, а наконец, и лично со мною: в моем столе до сей минуты лежит пропущенная духовным цензором рукопись, с страшною спешностью составленная мною по настоятельному и спешному требованию трех министров. Это – приспособленный к русским простонародным понятиям перевод или пересказ известного сочинения Боссюэта, пользовавшегося особым расположением императора Александра I. Работа эта, заключающая в себе от шести до семи печатных листов, четыре года тому назад была сделана мною в две недели к празднику пасхи, процenzурована архимандритом Арсением страстными днями и... осталась лежать у меня, как вещь, по-видимому, никому и ни на что не нужная. Приказана, сделана и брошена... Почему же это так? А весьма просто! Причиной этого “было предложение литературных услуг со стороны некоего В. В. Кардо-Сысоева, который явился добровольцем и подал сочинения, отличавшиеся большою решительностью. Они были патронируемы одним учреждением, а министерством народного просвещения “отклонены” за их крайнее несоответствие приличиям и нравственности. Это и повело впоследствии к тому, что упомянутые сочинения Г. Кардо-Сысоева перестали пользоваться особыми содействиями к их распространению через акцизных надзирателей по питейной части, но деньги на издание их он получил... Таков вообще неверный удел заказных литературных работ, мнение о совместимости которых часто изменяется, прежде чем самая трудолюбивая рука в состоянии их исполнить, и Мельников в этом случае не был исключением. А можно разве сказать то, что положение чиновников из литераторов вообще часто бывает исключительным и сугубо тяжким среди чиновников, к литературе непричастных. Но это совершенно другой вопрос, и в нем покойный Павел Иванович тоже опять испытал далеко не самое обидное положение.

лучший БОГОМОЛЕЦ

(Краткая повесть по прологу с предисловием и послесловием о “тенденциях” гр. Л. Толстого)

Целый век трудиться –

Нищим умереть, –

Вот где надобно учиться

Верить и терпеть.

I. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Четыре периодические издания, выходящие в Москве, почти одновременно сделали

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru попытки остепенить нападки на графа Льва Николаевича Толстого за вредное направление, замечаемое в его простонародных рассказах. Защитники графа отмечают в направлении гр. Толстого благородство, чистосердечие и вообще тон, способный возвышать настроение читателя, а такое направление, конечно, не вредно, но полезно. Потому литературные защитники графа укоряют его наладчиков за их придирчивость, пристрастие и за их бранчивый и противный тон, подходящий к известному тону “слова и дела”. Особенного отпора в этом роде удостоился некто Г. Воздвиженский, о литературном и каком бы то ни было ином значении которого мне ничего не известно. Известно лишь одно, что этот господин обличал где-то графа Льва Н. в дурном направлении, выражающемся в том, что, по его рассказам, если человек захочет, то может спасти себя сам, “помимо пастырей”.

Судя по статье одной из московских газет (“Газета Гатцука”, № 16), поводом к нападкам с этой стороны послужил по преимуществу рассказ “Три старца”, где один архиерей увидал, что три старца, совсем не знавшие ни одной молитвы, заслужили себе, однако, благодатный дар святости и чудотворений.

Защитники графа силятся доказать его изобличителям, что наш художник своими народными рассказами не делает ничего дурного, а делает хорошее, ибо-де “и добрый самарянин менее ближе к царству небесному, чем какой-нибудь левит той же притчи”. При сем, однако, защитники графа легко уступают его порицателям то, что гр. Л. Н. будто не имеет основательных познаний в богословии.

Во имя справедливости совесть и знание понуждают протестовать против этого неосновательного и ровно ничем не доказанного мнения. Наоборот, все последние писания графа, и особенно его вступление к пересказу евангельской истории, основательно и доказательно убеждают, что граф Л. Н. знает богословские науки. Если кому-либо это нужно доказать, то и это не может представить никакого затруднения.

Если же граф Л. Н. не принимает того или другого вывода богословской науки, то это не значит, что он “не знает” этой науки, а значит только то, что он не согласен с известными выводами. Более ничего, и это очень просто и очень ясно. Но кто позволяет себе говорить, что граф будто и не знает христианского богословия даже настолько, насколько требуется этого знания от ставленника в попы, тот лишен всякого критического проникновения и напрасно уступает почву из-под ног своих.

Граф Лев Толстой хорошо знает все то, что в наших специальных курсах называется богословием. И он, очевидно, знает еще гораздо больше этого.

Еще хуже поступают защитники “графа, отстаивая его рассказы только с той стороны, что их можно стерпеть, ибо они поучают деятельной нравственности. Это нападчикам графа все равно. Напрасно им говорят, что хотя рассказы графа и имеют в своем направлении нечто не совсем удобное, но, однако, это еще можно стерпеть ради возвышенных нравственных целей тех рассказов. Им это совсем ни к чему. Для чего терпеть? За красноречие, что ли?

Нет, им надо показать и доказать, что направление рассказов графа Л. Толстого не только совсем не вредно и что оно даже одобрительно и совершенно законно. И это показать и доказать можно без всяких затруднений, если только сделать это как следует. А чтобы сделать это основательно и в порядке, только надо иметь знакомство с тою отраслью церковной литературы, откуда граф Лев Н. Толстой черпает большинство мотивов для своих народных рассказов.

Откуда берет граф Л. Н. Т. сюжеты для своих народных рассказов?

Тотчас по выходе рассказа “Чем люди живы” я имел смелость указать, что рассказ этот взят из “Народных легенд Афанасьева” – именно, из легенды о том, “как родила баба двойни”. Потом в дальнейших рассказах мне почуялись старые Пролога.

Г-н член главного правления по делам печати, Гр. П. Данилевский, посетив графа Л. Н. – ча в его тульском имении, поместил в “Историческом вестнике” описание, что он видел в рабочем кабинете графа.

Между прочим, г. Данилевский видел там Пролога.

Какие?

Есть Прологи новые, значительно сокращенные, – эти употребляются в господствующей церкви; и есть Прологи старые, более пространные, – эти печатаются о сию пору в Москве, в типографии тамошнего единоверческого монастыря, для единоверцев. Единоверческие Прологи состоят из четырех томов в лист; они продаются везде открыто, стоят 36 рублей и не разнятся в содержании ничем от старых, патриарших Прологов.

Г. П. Данилевский не отметил, какие Прологи лежат на столе графа Льва Толстого, но, судя по тому, что граф “износит” в своих народных рассказах, начитанный человек должен думать, что Л. Н – ч именно пользуется Прологами, издаваемыми типографией московского единоверческого монастыря, что отнюдь не предосудительно и никому не возбраняется

Есть ли в тех Прологах рассказы в том духе, в каком являются художественные произведения графа Толстого?

Без сомнения, есть, и вот это-то и надо было показать обличителям графа, чтобы заставить их понять всю несправедливость и неуместность их нападков на графа Толстого со стороны его направления.

Это, я надеюсь, совершенно возможно, позволительно и даже необходимо для установления правильного критического отношения к рассказам графа.

Но этого-то самого простого дела до сих пор и не было сделано, и я попробую сделать первый подобный опыт.

Я надеюсь показать, что не только нет ничего предосудительного в том, если кто-нибудь пожелает представить простого человека способным самолично хорошо управлять свой путь, но что можно представить простого человека даже содейвающим такие дела, которые приходились не по силам лицам духовным. Я все это сейчас приведу из Пролога.

II. ПОВЕСТЬ О БОГОУГОДНОМ ДРОВОКОЛЕ

Под восьмым числом сентября читаем в Прологе “слово от лимониса о мурина дровосечие” (“Благослови, отче!”).

Ради тяжести довольно неуклюжего и для многих совсем непонятного старинного допетровского церковного языка я предложу здесь эту повесть в моем пересказе – вполне близком фактически к подлиннику.

В кипрских окрестностях была однажды ужасная и продолжительная засуха. Все плоды и полевые злаки гибли, и люди, видя неминуемое бедствие от угрожающего им голода, пришли в самое тягостное уныние. Молились, просили дождя, но дождя не было.

Во главе тамошнего местного духовенства находился тогда епископ, человек, надо полагать, очень добрый, участливый и чистосердечный. Он принимал скорбь народа близко к своему сердцу и сам усердно молился, чтобы бог послал дождь на землю, но дождя все-таки не было.

И епископ и его клир всё усердно и долго молятся, а дождь все не идет. Раскаленное небо безоблачно, и солнце сожигает без милосердия все, что осталось в несчастной стране еще не сожженным.

Народ кипрский, видя, что и епископ и все духовенство о них стараются и молятся усердно, а дождя между тем все-таки нет, пришел в ужас, близкий к отчаянию.

Где же, в самом деле, искать спасения? На что еще уповать и надеяться?

Кто же еще может помолиться лучше, чем епископ, и чья молитва может быть доходнее до бога? Епископ – разве это не первое лицо во всем духовенстве, и разве кроме него есть кто-нибудь другой, кто бы лучше его знал, как надо умолить бога дать людям то, чего они у него просят?

Но дождя, повторяем, все нет, а зато был епископу “глас с неба”:

“Иди после утрени ко вратам города, и первого человека, который будет подходить

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
к городу через те ворота, – ты сейчас же удержи, и пусть он помолится, и тогда будет вам дождь”.

Епископ рассказал людям о том, что он слышал “с неба”, и все положили сойтись завтра утром рано в церковь и сделать все так, как велел пришедший с неба голос.

На следующий день, отслужив рано утреню, епископ со всем своим клиром пошли к городским воротам.

С ними, разумеется, пошли все люди, ожидавшие благодетельного чуда для истомленной земли их. Итак, все большим обществом вышли за городские ворота и стали здесь станом ожидать избранника, которого сам бог пошлет сюда, как наилучшего молитвенника.

Епископу раскинули его складное стуло и посадили его, а клир и все прочие люди стали вокруг его и смотрят вдаль: кого им пошлет господь? Все нетерпеливо желают скорее увидеть того человека, который помолится за них о дожде и будет услышан в своем молении.

И вот, долго или коротко после их томительного ожидания, вдали, на опаленных полях, что-то показалось...

Сначала невозможно было разобрать: идет ли это пеший человек или кто-то на осле едет... Далеко, да и сверкание от палящего зноя делает в глазах мреяние... Но вот предмет все приближается и становится яснее. Теперь уже видно, что это человек пеший и притом старый, изнеможенный простолюдин, весь согнутый и едва передвигающий ноги под большим и очень тяжелым оберемком дров или хвороста...

Так неужто вот это он и будет тот молитвенник, молитва которого взойдет к богу лучше, чем молитва целого клира и самого епископа?

Епископ и люди все переглянулись друг с другом и в недоумении пожали плечами. Удивительно, чтобы еле двигающийся под вязанкою дров мужик был всех лучше для вознесения богу молитвы об общественном бедствии? Но, однако, как никого другого, кроме этого старика, не показывалось, то выбирать было не из кого, и епископ решился остановить дровокола и просить его вознести к богу моление, о чем клир и епископ возсылали свои молитвы безуспешно.

А старик, кряхтя и спотыкаясь, все помаленьку подходил ближе к воротам города, и тоже, сколько зной и усталость ему позволяли, он удивлялся: что это здесь, у ворот, за необыкновенное большое собрание людей и почему с ними впереди всех сидит на стуле сам кипрский епископ?!

Конечно, удрученный тяжелою ношею старик не имел и самой отдаленной мысли, что все это большое собрание людей с епископом вышли затем, чтобы встретить именно его, согбенного нищего, и просить его молитв за весь край.

Подходит старик еще ближе и видит, что все на него смотрят и что сам епископ встает перед ним с своего места и ему, простому, бедному работнику, кланяется.

Старик оторопел, сбросил поскорее со спины на землю оберемок хворосту и говорит:

– Прости мя, отче! – и попросил у епископа благословения.

Но епископ опять поклонился ему и сказал:

– Авво, господа ради помолися о нас, да пошлет нам господь свою милость и да будет сегодня дождь на земле.

Старик изумился тому, что слышит. К чему это статочно, чтобы его, неизученного простого человека, епископ просил молиться?

– Я недостойн, – говорит, – отче, чтобы при тебе, в твоём присутствии, слова молитвы восходили из моих уст. Это тебе, отче, всех более прилично помолиться об общем бедствии, ты и помолись, а я не смею.

Но ему стали говорить, что епископ уже молился, но что бог не исполнил его молитвы и не низвел дождя на землю. “А теперь, – говорят, – на тебя указание

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
вышло епископу, и ты, как хочешь, ты не должен отказываться, а должен сейчас
стать и молиться”.

Старик все еще и тогда не решался, и потому, чтобы преодолеть застенчивость
этого дровокола, его “принуждением” поставили на колени на его хворост и
заставили молиться.

Старик более не спорил и как умел, так и начал молиться, а с неба сейчас же
заросило, и пошел сильный и благодатный дождь...

Все не знали, как довольно нарадоваться об такой благодати, и не знали, как им и
возблагодарить за нее бега и приятного ему молитвенника, которого “голос с неба”
указал как наилучшего богомольца.

А как только долгожданный дождь обильно оросил и досыта напоил жаждавшую землю и
все в полях и в садах освежилось, то повеселело и на сердцах у людей, и сейчас
пошли прохладные беседы у каждого с ближним своим. Тогда наступило время и
епископу поговорить с дровоколом, и он захотел узнать: какое житие проводит этот
человек, который богу так угоден и приятен?

Епископ так прямо его об этом и спросил, но старик не умел ему ничего о себе
отвечать, и епископу показалось, что он от него что-нибудь таит.

– Яви мне любовь, отче, – стал его упрашивать епископ. – Я не для своего
любопытства, а ради пользы многих людей прошу тебя: открой нам, чем ты так
угодил богу, что он твою молитву лучше всех слушает и дает просимое по твоему
желанию.

А старец отвечает:

– Ей, отче, не ведаю.

– Ну, для того-то и расскажи нам, как ты живешь, – и мы все станем тебе
подражать и поревнуем стать такими же, чтобы и наши молитвы шли прямо в прием
богу. Не умолчи – сказывай!

Тогда старик проговорил епископу:

– Прости меня, господин, – я все бы сказал, да мне, право, совсем нечего
сказывать. Я самый обыкновенный грешник и провожу мою жизнь в ежедневной
житейской суете и хлопотах. Мне выпала такая доля, что даже и раздумать о
богоугодных делах мне некогда, потому что я себе до старости ничего во всю жизнь
не припас и теперь, уже слабый и немощный, не имею ни отдыха, ни покоя.

– Однако в чем же проходит твоя жизнь?

– Да вот она в чем проходит: просыпаюсь я рано и выхожу из города и иду с
топором в лес. Там я нарублю хороший оберемок валежнику, который всякому
сбирать дозволено, и ташу мою связку в город, как ты видел сегодня, когда меня
встретил у ворот.

– Ну, а далее?

– А далее – в городе я продаю свой хворост на топливо, а за те деньги, которые
выручу за хворост, покупаю себе хлеба и съедаю его.

– И другого у тебя занятия нет никакого?

– Нет никакого, отче.

– А где же твое жилище?

– Жилища у меня тоже никакого нет и никогда не было. А когда я устану и мне надо
отдохнуть или переночевать, то я залезу под церковь и там под полом свернусь и
сосну.

Было это давно, и в то время церкви были маленькие, деревянные, и строили их на
“стоянах”, или, проще сказать, на столбиках, и под пол таких малых церквей можно

было согнувшись входить и там прятаться от стужи и дождя. Такие церкви были и в России, да еще и по сие время встречаются кое-где в бедных местах на севере. Под полом их находят отдых овцы, телята и нищие.

– Ну, а когда холодно или когда такая непогода, что нельзя собирать дров, – спросил епископ, – тогда что ты делаешь?

– Тогда я пережду день и два, сидя там же под церковью под полом.

– А что ж ты тогда кушаешь?

– Зачем же, не трудясь, кушать? я тогда поголодную, пока опять господь даст ведрышко, а когда станет хорошая погода, я, благословляя господя, встану и пойду опять за хворостом. Вот тебе и вся моя жизнь.

От этого простого рассказа, – Пролог говорит, – “пользу приим не малу епископ с клиросом его. Тако и вся прославиша бога о труде старче, и рекоша ему: воистину ты еси совершил писание, глаголющее: яко рече пришлец, есмь аз на земле”.

Епископ взял этого собирателя хвороста к себе и “питал его, и дал ему покой, дондеже преставися богу”.

III. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Рассказ Пролога кончен! На мой вкус, он очень благочестив, грациозен, прост и удобен для передачи его в беллетристической форме. Притом он отвечает вкусам простонародного читателя и поучает его трудолюбию, терпению и безропотности – все, что для бедного труженика нужно и полезно. Читатель, который знаком с духом народных рассказов Л. Н. Толстого, без сомнения заметит еще и то, что рассказ этот имеет самое сильное сродство с простонародными повествованиями Л. Толстого. Тут не только один дух, но один и тот же тон и направление, и вот на этом-то живом сродстве и сходстве и надлежало, кажется, давно остановиться литературным доброжелателям графа, старающимся оборонять его от возводящих “слово и дело”. Если бы рассказ, который сейчас приведен мною, был представлен как мое сочинение, без указания церковного источника, из которого я его выписал, то я, может быть, тоже рисковал бы услышать укоры за дурное направление, но теперь, указав источник, я себя этим защищаю. Это не мое направление, а это так написано в Прологе и так читается в монастыре 8-го сего сентября после воззвания: “Благослови, отче”. Пусть же наладчики графа скажут нам: разве зазорен или нечист тот источник, из которого черпаются рассказы, подобные тому, какой мы сейчас выписали? Если г. Вознесенский или иной от совоспитанных ему могут нам довести, что источник, нами цитированный, нечист и что пользоваться им опасно, то пусть они это открыто разъяснят и докажут. Если же г. Вознесенский и единомысленные ему не могут нам этого доказать, то мы не видим ничего дурного в том, что простолоудинам предлагаются нравственные повествования, схожие с историями, заимствованными из Пролога – из книги, назначаемой церковью для благочестивого и назидательного чтения.

В истории, которую мы предложили из Прологов, епископ признает лучшим богомольцем не себя, а бедного собирателя хвороста, – человека, который целый век трудился и не мог ничего собрать себе на старость, но притом не ропщет и не жалуется. – Это старая и давно известная народу история, которую Л. Толстой еще не переложил в иную форму. Но она известна уже целые века, и никакого худа от нее не было. Напротив, упоминаемый в Прологе епископ кипрский всем очень нравится. Все находят, что это, очевидно, был человек не гордого, а смиренного христианского духа, человек, который свою важность ставил ни во что, а искал только пользы народу и для того нимало не стеснялся всенародно поставить себя ниже дровокола. Такая искренность и простота всегда нравятся людям христианского настроения, и потому кипрский епископ, который приветил дровокола, кланялся ему и, наконец, даже признал его за человека, “совершившего писания”. Он ничего низко не уронил, и повторять его историю в одном или во множестве пересказов, я думаю, по суду здравомыслящих людей должно быть позволительно и даже похвально.

Таков же и тот епископ, которого вывел граф Лев Николаевич Толстой в своем рассказе “Три старца”.

Прототипы их все в Прологах.

Дух житийных сказаний – это тот дух, который в повествовательной форме всего

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

ближе знаком нашему религиозному простолюдину. Он усваивается простонародием по устным рассказам, часто очень попорченным в устной передаче, но зерно той идеи, из которой развилось повествование, всегда в нем сохранено. Оттого-то повести, написанные Толстым в этом именно духе, так и приходят “по мысли” народу... Простолюдин читает то, что до его слуха ранее доносилось с струею родимого воздуха, и граф Л. Н. Толстой, без сомнения, в полном праве идти этим, а не иным путем. В ином духе и направлении от рассказа повеет холодом, формой, муштрою, казенщиной. Почва у художника свернется под ногами и произрастит не имя живое, а терние и волчек.

Впрочем, было чье-то намерение уничтожить литературный успех графа Толстого выпуском художественных произведений “в обратном направлении”. Мы их ждем. Этот опыт должен много показать на деле, а главное – он, без сомнения, окажется безопаснее горячей полемики о достоинстве повествований, дошедших до нас через Пролога и другие житейные записи, с которыми народ наш исстари знаком, как с книгами благочестивыми и притом даже освященными церковным авторитетом.

Неловкая полемика, веденная в том духе и с теми приемами, образцы которых приведены в московских газетах, обороняющих графа Толстого, может поднять такие смущающие тени, что нелегко будет их умолить снова удалиться от вида...

Некоторые наладчики на Толстого обнаруживают очень вредное для себя заблуждение. Входя в разбор его и других современных писателей, они выражают большую самоуверенность и слишком смелое пренебрежение к ним. Они, по старине, склонны ожидать, что встретят между ними “дворянчиков французского закроя”... Это немножко изменилось: и среди современных писателей есть люди, начитанность которых в церковной литературе отнюдь не ниже семинарской и даже академической.

Удивительно, что критики графа Льва Н. Толстого даже в нем не замечают громадной начитанности!

(Р. С.) Если бы автору для полноты типа или картины или в каких бы то ни было его художественных соображениях понадобилось продолжить или развить пересказанную мною историю, то он, при начитанности в Прологах, может исполнить эту задачу, не изменяя своего правдивого тона и не отыскивая для себя никакого иного источника, кроме того, из которого он уже начал черпать. Так, например, к рассказу, взятому из Прологового чтения, положенного на 8 число сентября, берем, например, повествование Памвы под 16 ноября.

“Авво Памва посла ученика своего во Александрию град ради нужды потребы некия и продати ручное его дело”. Ученик в Александрии зашел в церковь св. Марка, и ему очень понравилось, как там служат по чину и хорошо поют. Он “изучи тропари и возвратися к старцу”, и старец заметил, что он не такой, как был прежде, – что он смущен и печален.

– Не случилось ли, – спрашивает, – тебе в городе какое несчастье?

А ученик ему отвечает:

– Естеством, отче, в небрежении кончаем дни своя в нашей пустыни (в глуши), – мы ни канонам не учимся, ни тропарям. Видел я теперь в Александрии, как там хорошо служат по чину, и слышал, как там стройно поют, и оттого я печален, сравнивая себя с ними.

Старец же отвечал:

– Да, это горе! Приближается действительно такое время, когда монахи оставят труд и последуют пениям и гласам. Что это за умиление, которое рождается от тропарей! Что хорошего монахам стоять в церкви и возвышать гласы своя, яко волове. – Св. Памва растолковал ученику своему, что то, что тому понравилось в Александрии, для трудолюбивого христианина не нужно и не полезно, а вредно, и есть “еллинские писания”, которым когда последуют, то будут и “ленивы” и “сварливы”. А если им кто напомнит о старинном житии, то они “блядуци глаголати имут: аще быхом и мы во дни тех были, – подвизалися быхом”.

И тут же сряду под тем же числом о двух пустынных, которые выпросили бога известить им: есть ли кто лучше их подвигающийся? “Глас” назвал им одного пастуха с его женою. Пустынники пошли смотреть указанных угодников и нашли

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
простого пастуха. Стали его расспрашивать: как он живет и в чем его святость? А пастух рассказал им, что он стережет своих овец и доход от стада делит натрое: одну треть на бедных, другую на путников, а третью на свои с женою потребности. С женою же живут по-христиански мирно и блюдут ложе не скверно.

Без преувеличения можно сказать, что рука устанет выписывать, сколько в Прологах есть повестей с этим “направлением”, которое сходно с направлением народных рассказов гр. Льва Толстого, и напрасно вменяется ему во злое намерение показать, что люди собственными их силами в самой скромной доле могут устроить свою жизнь так, что она станет боголюбезною. “Направление” это не графом Толстым изобретено и, конечно, с ним не окончится.

ОТКУДА ЗАИМСТВОВАН СЮЖЕТ ПЬЕСЫ ГРАФА Л. Н. ТОЛСТОГО “ПЕРВЫЙ ВИНОКУР”
Граф Л. Н. Толстой написал театральную пьесу для представления на народном театре. Пьеса называется “Первый винокур”. Заглавие это тождественно с заголовком очень распространенной в народе литографической картинки, которая тоже называется “Первый винокур”. Картину эту издавал и распространял по России недавно умерший книгопродавец Блиссмер, торговавший дешевыми книгами на Гороховой улице. Торговля эта и издательство производились Блиссмером в последнее время при известной поддержке от Василия Александровича Пашкова и графа Модеста Модестовича Корфа и их друзей. После кончины Блиссмера издательство и торговля его перешли в руки его бывшего приказчика Г. Гротте, продолжающего теперь дело Блиссмера в собственном магазине на Малой Морской. Литографированная картина “Первый винокур” наиболее распространялась, и, кажется, до сих пор наиболее распространяется, при содействии великосветских дам, сочувствовавших заботам В. А. Пашкова, вполне или отчасти. Дамы, каждый год разъезжаясь на летнее время из столицы в свои деревни, в глубь России, всегда покупали картину “Первый винокур” в очень большом количестве и, живя в деревнях, раздаривали экземпляры “Винокура” крестьянам, и те его брали и прилепливали на стенах своих изб, клетей и пунек. Покойные Ю. Д. Засецкая и М. Г. Пейкер (рожд. Лашкарева), ненавидя нетрезвость, – спустили множество экземпляров “Первого винокура” в русские селения. Не менее их потрудились в этом роде Чертковы и многие другие дамы, в поместьях которых давно явился с своей сатирой “Первый винокур”. Крестьянам “винокур” везде нравился. Сюжет картины был такой: сидит сатана и учит курить вино, а в деталях были изображены разорения и бедствия, которые приносит перевод сытного хлеба на пьяный спирт, и возникающее отсюда пьянство, разврат и преступления, и “сини очи подбиты, и увечья”, – словом, все то, что видели и что отмечали в своих сочинениях Кирилл Туровский и Кирилл Белозерский. В общем, содержание “всей картины можно хорошо выразить одною фразою преп. Кирилла: “Люди ся пропивают, а души гибнут”.

Теперь из Москвы доходят известия, в чем состоит и пьеса графа Л. Н., написанная на это же самое заглавие.

Из этих известий оказывается, что “Первый винокур” графа Толстого трактует буквально тот же самый сюжет, с которым русские села в последнее десятилетие значительно ознакомлены при посредстве картины, издававшейся Блиссмером и распространявшейся усердием великосветских дам. Пьеса составляет как бы сценарию, в котором лица, изображенные на картине, говорят слова, соответствующие их целям и их настроению. Без сомнения, у великого мастера это могло и должно было выйти прекрасно, – как о том и отзываются. Но критике, следящей за тем, что граф Л. Н. производит в его нынешнем направлении, это опять дает указание на то, что автор “Первого винокура” своих сюжетов для народных рассказов и представлений не выдумывает и не сочиняет, а что он берет их готовые из книг или с картин, давно известных народу, но по странной случайности, кажется, совсем неизвестных многим из наших критиков. Если вспомнить Карлейля и Маколея и вспомнить также их ссылки и посылки на источники и материалы, то выйдет, что Карлейль и Маколей знали их простонародные книги и картины, а наши критики как будто этим пренебрегли, и оттого они больше бойки, чем многосторонне начитаны, и дают повод к нареканиям, что они знают не все, что литературному оценщику книг знать и понимать надобно.

О КУФЕЛЬНОМ МУЖИКЕ И ПРОЧ

Заметки по поводу некоторых отзывов о Л. Толстом
Новые произведения гр. Л. Н. Толстого продолжают беспрестанно вызывать разнообразное суждения. Энергические отзывы об этих сочинениях отличаются то энтузиазмом, доходящим порою до безмерного восторга с страстным желанием сравнить перед ним все остальное вровень с землею, то излишнюю придирчивостью.

Попытки защитить многие нынешние мнения графа Л. Толстого не достигают цели. Теперь невозможно отнестись к его новейшим сочинениям с настоящим беспристрастием свободной литературной критики. Для этого, без сомнения, придет свое время, а до той поры теперь остается заботиться только о том, чтобы сохранить то, что чувствуют и как судят современные читатели, на глазах которых совершается величественный литературный успех гр. Толстого, а в то же время перед движением торжественной колесницы этого писателя с каким-то азартом производится идоложертвенное избивание литературных младенцев.

Когда настанет этот час, который не затмит величия гр. Л. Н. Толстого, но даст возможность говорить о достоинстве его сочинений с полною откровенностью, тогда для свободных от нынешних тенденций критиков может оказаться подспорьем то, что теперь упускается из виду нынешними критиками, пишущими под влиянием партийной страстности или других побуждений, литературе посторонних и не полезных.

Я не занимаюсь критикою и тем менее позволил бы себе критиковать сочинения графа Л. Н. Толстого, что и чрезвычайно трудно и чрезвычайно ответственно. Но чтобы установить точку моих отправлений к тому, что хочу сказать далее, – я оговариваюсь, что я разделяю мнение тех, кто считает графа Л. Н. великим и даже величайшим современным писателем в мире. Но из всех критиков, восхваляющих графа, по моему мнению, иностранные критики судят о нашем великом писателе лучше и достойнее, чем критики русские, а из иностранцев, кажется, всех полнее, глубже и правильнее понимает и толкует сочинения гр. Толстого – виконт Мельхиор де Вогюэ.

Таково мое личное мнение. Может быть, оно и ошибочно и даже совсем неверно, но я его сознаю искренно и пишу далее. Именно по тому уважению, какое я питаю к графу Л. Н. Толстому как к великому писателю моей родины, я не в силах отрывать от него своего внимания и не могу не отмечать того, что в суждениях о нем отзывается крайнюю несправедливостью и пристрастием. Особенно досадительным кажется, когда в толкованиях идей этого писателя – главное, или по крайней мере более значительное, как бы умышленно заслоняется идеями низшего порядка и меньшего значения.

Такое отношение к делу уже два раза побудило меня осмелиться выступить со своими замечаниями, которые я желал довести до ведома гг. критиков гр. Толстого. Я знал, что это небезопасно и что я могу за это потерпеть, но тем не менее я отважился. В первый раз я старался дать защитникам графа годное оружие для защиты Льва Николаевича от нападков на него со стороны г. Леонтьева. Я старался показать и показал, что Л. Н. Толстой согласен с Исааком Сирином, которым его упрекал г. Леонтьев, а что г. Леонтьев сочинений Исаака Сирина не знает. Это было сильное оружие для защиты графа, но оно пренебрежено – вероятно, к немалому удовольствию г. Леонтьева и тех, кому надлежало почувствовать стыд за его необразованность и рискованные ссылки на христианских писателей, которых он не читал. Второй раз я указывал на сходство сюжетов гр. Толстого с некоторыми историями из Прологов и тоже, кажется, показал то, что было нужно.

В оба раза замечания мои остались никем не опровергнутыми и даже не поправленными. Это позволяет мне надеяться, что я, пожалуй, указал нечто правильное. Иначе, конечно, мои ошибки и погрешности не прошли бы без колких замечаний со стороны критиков, расположенных к графу Толстому, и со стороны критиков, которые относятся к нему враждебно. Г-н Леонтьев, имеющий место в числе последних, должен бы, кажется, не пренебречь случаем уличить меня в неосновательности тех указаний, которые я ему сделал.

Нынче я опять вижу повод указать нечто другим критикам, увлекающимся своею страстностью и толкующим нечто пристрастно, а нечто упустительно.

Один из критиков, осуждающих нынешнее настроение графа, недавно порицал его за “легкомыслие” в объяснении известной истории, как множество людей, имевших возбужденный аппетит, обошлись с очень малым количеством пищи. У гр. Толстого это представлено так, как бы люди устыдились своей заботы о пище и великодушно стали доставать все съедомое, что у кого было с собою, не для себя, а чтобы передать его другому. Все поделились, и еще осталось. Критик называет “такой мотив чудовищным, нелепым” и еще каким-то, и в том числе “не имеющим себе подобного”.

Я не смею утверждать, вышло ли упомянутое предположение об обращении с пищей из собственной головы графа Толстого. Но считаю возможным, что “мотив” этот мог быть им и вычитан и позаимствован у автора, которого критику надлежало бы знать. Во всяком случае, следует указать этому критику, что смутивший его “мотив” (если только дело о мотиве) имеет себе неоспоримое подобие в весьма ранней литературе этого рода, произведения которой графу Льву Николаевичу, наперекор его критикам, отлично знакомы.

В книге “Лавсаик, или повествование о жизни святых и блаженных отцов”, сочинения Палладия епископа Еленопольского числом сто тридцать три жития [205] под номером девятнадцатым находится жизнеописание Макария Александрийского, а в том житии, между прочим, встречаем одно место, которое по-русски читается следующим образом:

“Когда-то прислали Макарию кисть свежего винограда, – а тогда ему (то есть блаженному Макарию) очень хотелось есть”. Но Макарий воздержался и “отослал эту кисть к одному брату, которому тоже хотелось есть”. Брат этот, подражая учителю, тоже воздержался и “послал виноград к другому брату, как будто самому ему не хотелось есть. Но и этот брат поступил так же, хотя ему очень хотелось съесть виноград. Таким образом, виноград перебывал у многих братьев, и ни один не хотел есть его. Наконец последний брат, получив виноград, отослал его опять к Макарию, как дорогой подарок. Макарий же, узнавши виноград и разведав, как все было, обрадовался, и благодарил бога за такое воздержание братьев, и сам не захотел есть”.

Описанное происшествие с кистью винограда, которую насытилась вся братия многочисленного пустынножительства, без всякого сомнения, имеет полное сходство с тем, как представляется у Толстого подобное же событие, случившееся три века ранее в той же Палестине.

Я не говорю, что изображение, данное нам в “Лавсаике” епископом Еленопольским, непременно дало гр. Льву Н. Толстому мысль совершенно так же объяснять другое событие в этом роде, но такой мотив высказан ранее Толстого, и, мне кажется, господам критикам, не расположенным к графу, не следовало бы упускать этого из вида. Или вражда ослепляет их до того, что они позабывают то, что могло бы быть им на руку в борьбе с неприятным им автором, или же они вовсе никогда и не знали того, что я считаю с их стороны забывчивостью.

По поводу “Смерти Ивана Ильича”, произведения, которое написано не в том роде, на который нападают критики, порицающие графа, – другие критики правильно превозносят неподражаемое мастерство нашего писателя, но отмечают всего сильнее его “страшный реализм” в описании хода смертной болезни и самой смерти. Тут, думается, как будто тоже несколько возобладали излишняя страстность, и за нею кое-что пропущено и кое-что прихвачено к делу без надобности. Так, например, при достойных похвалах графу некоторые из критиков в несколько приемов старались обнаруживать при этом свое особенно презрительное отношение ко всем другим писателям, которые “тоже пишут” и тоже “писателями называются”.

Это напоминает одного из героев Писемского, который, едучи в вытертой шубе, говорит ей презрительно:

– Эх ты, сволочь! А тоже шубой называешься.

Везде, где есть литература, там есть писатели и лучшие и менее хорошие; как есть это и во всех родах искусства. Пишет портреты Н. И. Крамской – пишут и другие, и иногда тоже хорошо пишут, и у них есть свои заказчики, и даже свои почитатели, и судьи искусства не срамят этих художников и не гонят их с выставок. “Пушка палит сама по себе, а мортира – сама по себе”. Благоухает роза, благоухает и ландыш. Оттого, что есть Верещагин, не резон запретить всем иным русским живописцам показываться на свет с их произведениями, которые, без сравнения их с картинами Верещагина, тоже нравятся и производят облагораживающее впечатление на вкус, а может быть, и трогают сердце...

Почему же иначе обходиться с писателями, в ряду которых Толстой первенствует?

Граф Л. Н. Толстой, без всякого сомнения, самый крупный современный литературный талант во всем свете (по крайней мере я нахожу такое мнение вполне верным), но, кажется, чем этот писатель многозначительнее, тем удобнее воздавать ему

следуемое уважение, не прибегая к обиде и унижению других, которые никак заслонять его не могут и на то не покушаются. Другие писатели, разумеется, имеют меньшие или даже несравненно меньшие дарования, но несомненно, что и они, с их меньшими дарованиями, все-таки иногда могут писать не совсем дурные вещи. Доказательством тому служит, что публикою читаются не одни произведения графа Толстого, но и произведения других авторов, – и это иногда бывает не без пользы, так как и другие авторы тоже, в свою силу, возбуждают в читателях добрые чувства и честные мысли. Отрешить от занятий литературою или заставить замолчать всех тех, кто пишет слабее, чем Л. Н. Толстой, было бы совсем не желательно и совсем не полезно в интересах самой литературы. Пока еще есть читатели, – нужны и писатели, без участия которых непременно ощутился бы недостаток в чтении. И притом в числе молодых беллетристов есть люди с хорошими дарованиями и тоже с здоровым реальным направлением. Говоря это, хочется назвать г. Гаршина, который пишет прекрасно и который далеко еще не достиг предела полного развития своего таланта. За ним, может быть, следовало бы упомянуть Короленку и молодого писателя Чехова, начинающего писать в том же реальном направлении. Еще никому не явлено ясно, чего эти люди достигнут, если станут трудиться, имея, между прочим, графа Толстого для себя образцом, а не пугалом... Их достаточно судить только с той стороны, делают ли они из своих дарований наилучшее употребление, какое избрать могут. Стараться же разочаровать их и унижить до потери всякой веры в себя – это не полезное, а вредное дело со стороны критики. Мы так не богаты талантливыми людьми, что нам надо беречь наши “всходы”, а не обескураживать людей смолodu. Обескуражить легко, но поддержать потом силы молодого писателя весьма трудно, и потому манера никого не щадить при всяком к тому случае есть, поистине, жестокая манера в критике.

Твердость в этом направлении есть, конечно, подвиг, но подвиг, которого лучше избегать.

Скажу при этом, что доходит сюда в слухах из Москвы, – и чему, я думаю, можно верить: передают, будто граф Л. Н., совершенно равнодушный нынче ко всему, что о нем самом пишут, смущается, однако, тем, что ради его, для вящего его выделения, пишут в обиду другим... Благородной душе такие вещи, в самом деле, должны быть тягостны, а может быть, и противны.

В реализме “Смерти Ивана Ильича” самое “страшное” едва ли заключается в том, на что указывают. Описанные гр. Толстым детали при смертной обстановке Ивана Ильича отнюдь нельзя считать за универсальное описание этого рода события. Смерти бывают очень различные. Смерть “праведного” и смерть “грешника” были давно предметами наблюдения и изображались их писателями реально, но не сходно одна с другою. Смерти, описанные И. С. Тургеневым, А. Н. Майковым, и смерть на поле битвы, превосходно представленная г. Гаршиным, – тоже все реальны, но каждая в своем роде. Иначе это не могло и быть. Сенека, конечно, не мог умирать так, как Иван Ильич, но смерть Сенеки вдохновительна и реальна. “Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца”. Иван Ильич не мыслил о смерти ранее; он делал свою служебную карьеру и, по немислю своему, жил так, как будто устраивался тут навеки. В этом и других дрязгах была вся задача его жизни. Он принадлежал к людям, живущим в такой среде, где мысль о конце считается неуместною, – ее гонят из головы и не допускают в разговоры. А по тому люди тут если не умирают внезапно, “скорописною смертью”, то почти всегда умирают малодушными трусами, как раз так страшно и мучительно, как умирал Иван Ильич. К смерти, составляющей, по народному выражению, “окладное дело”, надо себя приучать, и те, которые в этом успевали, по многочисленным замечаниям, умирали спокойнее и легче, – совсем не так, как умер Иван Ильич, а как умирали мудрецы, праведники и как умирают русские простолудины, из которых один еще на сих днях в Париже привел французского проповедника в восторг своим “достоинством при смерти”.

Это относится к смертям, описанным Тургеневым, и подкрепляет реальность его описаний.

Екклесиаст говорит, что “дерево куда клонится, туда и падает”.

Был в России один превосходный мастер наблюдать умирающих и реально воспроизводить их собственное предсмертное поведение и поведение их родственников и друзей. Это Иоган Амброзий Розенштраух, известный в свое время евангелический проповедник в Харькове. Он был прекрасный, умный и безусловно правдивый христианин, пользовавшийся уважением всего города (в сороковых годах). У Розенштрауха было сходство с гр. Л. Н. Толстым в том отношении, что он тоже

“почувствовал влечение к религии в зрелом возрасте, шестидесяти лет”, и пошел в бесповоротную: он “стариком сдал экзамен и сделался пастором”. Свидетельство такого человека должно внушать доверие.

По нежному участию к людям Розенштраух являлся везде, где людей посещало горе, и видел множество смертных случаев, которые и записывал у себя не для печати; но после его смерти описания эти напечатаны в книге, известной также и в русской литературе под заглавием “У одра умирающих”. Кто хочет видеть реально, но не с медицинской точки зрения сделанные описания умираний, тот не дурно сделает, заглянув в эту реальную книгу. Там целая масса наблюдений, и при всяком все один и тот же сюжет, – то есть люди умирают, но как несходно, как различно поведение всех этих умирающих и людей им близких! За реальностью в описаниях нет остановки. Рассказывается все. Вот девятилетний мальчик, возле которого нельзя стоять, не имея при себе губки с уксусной кислотой... А отец и мать обнимают и целуют его, причем, когда они нагнутся, “поднимается рой мух”, а когда они восклонятся, – “мухи опять жадно садятся” (стр. 13). Пастор устыдился, бросил из рук свою губку с кислотой, и с той поры его обоняние никогда его более не беспокоило... Работница, заливаясь в водяной болезни, говорит: “не утешайте меня, что мои страдания скоро кончатся, – я хочу страдания!” Работник умирал так долго и был так смраден, что никто не в силах был влить ему ни пищи, ни лекарства, но в соседней палате больницы дождал себе смерти другой неизлечимой больной. Этот тронулся положением смердящего и нашелся, как помочь ему: он отыскал чубук и, набрав себе в рот жидкости, стал переливать ее через чубук в горло умирающего... Писатель этот сам умер “совсем без страха”.

Я не стану делать более этих выписок, которые могут быть тяжелы для читателя. Довольно того, что все это реально, но на кончину Ивана Ильича не похоже. Но вот начинаются и сходные случаи: (стр. 32) умирает “коллежский советник М.”. – Это семейный человек, но гуляка, – он, умирая, все “зовет Пашку”, а Пашка эта была крепостная девка. Другой, Ш., человек “богатый, но с дурною славою”. Он все “неистово кричал и ругался”; но чтобы не сделать неприличия и не прослыть безбожником, по настоянию родных допустил к себе духовное лицо, но едва тот начал молиться, как умирающий расхохотался и опять начал ругаться... Действительный статский советник Б., умирая, изображал такой “ужас, что глаза его вращались как колеса и отпрыгивали”... Он “пыхтел и сопел”, так что “никто из семейства не хотел его видеть, чувствуя страх непреодолимый”. Даже “единственного его сына” Розенштраух “насильно привел к двери, но тот вырвался из рук и убежал”.

Это, кажется, будто похоже на то, что происходило при смерти Ивана Ильича, и даже, пожалуй, еще ужаснее. Замечания же достойна та странность, что в наблюдениях немца Розенштрауха во всех случаях смерти простолюдинов преобладают терпеливость и спокойная серьезность, какие отметил Тургенев, а затем во всех описаниях кончин статских и действительных статских советников преобладает нетерпение, неистовство, ужас и даже ругательства, то есть то, что поражает в смерти Ивана Ильича. То же и со стороны остающихся родственников: в простых семьях совсем не так относятся к смертельно больным, как в семьях чиновничьих. Родственники-простолюдины у Розенштрауха “обнимают больного, когда с него уже поднимается рой мух и опять садится”, а в доме действительного статского советника “все скрылись”, и “даже единственный сын, насильно подведенный к двери, убегает”.

Так неодинаково, значит, ведется это по навыкам того и другого общественного круга, и потому вся обстановка смерти Ивана Ильича представляет собою, конечно, не картину смерти вообще, а она есть только изображение смерти карьерного человека из чиновничьего круга – человека, проведшего жизнь в лицемерии и в заботах, наиболее чуждых памятованию о смерти. А потому еще раз скажу: и философские смерти А. Н. Майкова, и крестьянские смерти Тургенева, и предсмертные страдания, изображенные Гаршиным, – все они нисколько не утратили своей цены и своей реальности от того, что Л. Н. превосходно описал смерть Ивана Ильича.

В описании кончины Ивана Ильича некоторые из читателей считают за невероятное, или, как говорят, за “утрированное”, излишнее будто бы проникновение в самочувствие Ивана Ильича. Это касается того момента, когда умирающий уже терпел агонию и “опускается в темный мешок”. Так близко в нашем обществе и преклонение перед художником и недоверие к его правдивости! Однако в самом деле, возможно ли что-нибудь понимать и сознавать, так сказать, в самый момент смерти?

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
Или даже как будто сейчас после смерти.

Не превзошел ли художник художественной меры реального?

Я думаю, что мера не нарушена. Каким образом и что именно мог наблюдать граф Толстой из проявлений предсмертного самочувствия – это от нас сокрыто, но когда идет дело о том, чего мы сами не имели случая наблюдать и пронизать, то, прежде чем отрицать это, надо справиться у тех, кто наблюдал. У цитированного мною харьковского пастора Розенштрауха есть три примера, где он наблюдал, что понимание или сознание может продолжаться дольше того, когда умирающий представляется уже для всех окружающих трупом. И вдруг на мгновение является промелькновение чего-то несомненно сознательного. Одного покойника, при Розенштраухе, начали подвергать мертвецкому туалету, и при этом кто-то громко спросил: “Понял ли он, голубчик, о чем рыдала его жена?” А обмываемый мертвец неожиданно произнес: “Все”, то есть “понял все” – и затем далее в нем не заметили никакого проблеска жизни.

“Я не раз, – говорит Розенштраух, – замечал знаки внимания у почивших, и потому должно остерегаться говорить при умерших”.

Граф Л. Н., передавая, что слышит Иван Ильич, потерявший уже все другие признаки самочувствия, не сказал более этого.

При восхищении реализмом описания смертельной истории Ивана Ильича, кажется, не оценено то, что из всего реально выставленного автором есть самое ужасное. Всего ужаснее в этой истории едва ли не безучастие так называемых образованных людей русского общества к несчастью, происходящему в знакомом семействе. Люди не только совсем потеряли умение оказать участливость к больному и его семейным, но они даже не почитают это за нужное, да и не знают, как к этому приступить и чем тронуться. Не будь у них слуг для посылки “узнать о здоровье”, не будь панихид, при которых можно “сделать визит умершему”, – все знакомые решительно не знали бы, чем показать, что усопший был им знаком и что они хотя сколько-нибудь соболезнуют о горе, постигшем знакомое семейство.

Эта скудость чувства и умения сделать что-либо лучшее так ужасна, что и человек, свободный от давлений славянофильского романтизма, невольно обращает свою мысль к простонародной среде и с отрадою говорит себе:

– Да, слава богу, там это лучше.

В самом деле, как это в простонародье? Там, когда узнают о тяжело заболевшем знакомом, идут не только “узнавать” о переменах в его здоровье, но идут “послужить” ему. Люди приходят переночевать, сменить усталых родственников, ухаживать вместо них за больным или идут вместо них “доработаться” во дворе, чтобы тем “развязать руки”. Или приходящие приносят чего-нибудь “боли” (то есть болящему) – капустки, огурчиков, каши... “С пустыми руками”, без готовности помочь прийти неловко. Нужды нет – хорошо ли, то есть полезно ли и пригодно ли то, что приносят больному, на это приношение, во всяком случае, выражает истинное, а не этикетное “усердие”, а истинное усердие и помощь в эту пору нужны. Усердие отбрасывает снег, оно наколет дров, оно уберет скотину, сбегает на ключ за водою – оно же потом обмоет и в гроб положит тело умершего и снесет гроб на кладбище. В селах гробов на заказ не делают и могил наймом не копают, а все это делают из участия, по любви к живым и “по усердию к умершему”. Словом, в простонародье еще до сих пор многое при смерти ближних облегчается усердием знакомых. Иначе нельзя: “сами помирать будем”. Прийти переночевать, “послужить”, принести больному то, что можно отнять у себя самого лучшего, это все еще пока остается в русском народе, и этого нельзя не назвать прекрасным; к этому нельзя не отнестись без уважения; об этом нельзя не вспомнить без сожаления, что это совсем не так в других слоях общества, где более образованности и просвещения.

В “обществе” все это вывелось и осталось одно: “приказали узнать о здоровье”, да потом – панихида... А на панихиде миганье о картах, как изображено графом Толстым на панихиде Ивана Ильича.

Даже такая сильная проповедь тленности, как лежащий в гробу охолодевший труп знакомого человека, не в силах возвысить его приятелей хотя бы до кратковременного, но серьезного раздумья о быстротечности жизни и о неизбежности скоро идти “вслед всея земли”. А раздумье это, кажется, естественно, и оно,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
несомненно, полезно для человека, ибо хоть на время делает его менее суетным и самолюбивым, менее алчным и злым, более склонным простить свои обиды и примириться с несправедливостью, которая “скоро пройдет”.

В простонародье все это есть, хоть понемножку. Так, вы видите у присутствующих серьезные, задумчивые вздохи, слышите нередко замечания о суете и осуждение ей в себе самом.

Это человеческое и человеческое, но ничего подобного нет ни в одном из лиц, навещающих и погребавших Ивана Ильича. В них словно нет ни душ, ни сердец, и правдивый автор, описавший это, конечно, ничего не переутрировал. Родные и знакомые Ивана Ильича представлены такими, каковы они есть. Это благородные люди нашего общества, у которых есть перед простонародьем несомненные преимущества образованности.

Не странно ли это?

И удивительно, ли, что над всем этим бесчувственным сонмищем высоко возвышается и величаво стоит... “куфельный мужик”, который всех участливее, потому что он живет, зная, что ему “самому помирать придется!” Нет, это не удивительно. В той среде, из которой вышел этот убеждающий резонер пьесы, люди освоены с мыслью о смерти, а эта мысль облагораживает человека. Это давно известно. Но удивителен вывод, который делают иные из появления кухонного мужика при смертном случае в чиновном семействе.

“Соль обуюла”... Теперь она “чем осолится?” “куфельным мужиком?” Так по крайней мере некоторым думается, так многие толкуют и готовы верить, что это именно желает внушить им граф Л. Н. Толстой посредством рассказа о смерти Ивана Ильича.

Зачем иначе он взял именно в проповедники или поставил именно кухонного мужика? Другие искатели правды в лицах простонародного происхождения брали для этого старушек нянюшек, старых дворецких, преданных крепостных камердинеров (один А. П. Милюков все избирал извозчиков), а тут прямо – кухонный мужик, не связанный с семьей Ивана Ильича ни крепостною преданностью, ни благодарностью, а так... просто потому, что он мужик – самый подручный в господском доме “кухонный мужик”, который может появляться в господских комнатах.

О Тургеневе говорили, что, прежде чем что-либо задумать и писать, он приглядывался и прислушивался к тому, что говорят и чем сильнее занимаются в обществе. Оттого будто бы, когда появлялось его произведение, где описывался известный тип и характер, в обществе чувствовали, что это что-то знакомое, что об этом именно думали, говорили и художник в своем произведении только осветил и разъяснил то, что мелькало в умах, но представлялось смутно и неясно.

Случайно или нет, но то же самое вышло и с кухонным мужиком. Даже тут вышло нечто более наглядное и поразительное, и это, мне кажется, достойно быть отмеченным.

После кончины поэта графа Алексея Константиновича Толстого (автора “Смерти Грозного”) в Петербурге проживала зимою его вдова. Дом графини Толстой был одним из приятнейших и посещался очень интересными людьми. Из литераторов у графини бывали запросто и не запросто виконт Вогюэ, Достоевский, Болеслав Маркевич, Вл. Соловьев и я. Раз был проездом Тургенев. Иногда в этом доме читали, но более беседовали и иногда спорили – небесстрастно и интересно.

Вообще это была очень памятная зима, в которую в петербургском обществе получил особенный интерес и особенное значение “куфельный мужик”.

Ф. М. Достоевский тогда был на самой высоте своих успехов, по мере возрастания которых он становился все серьезнее и иногда сидел неприступно и тягостно молчал или “вещал”. О нем так выражались, будто он не говорит, а “вещает”. И он-то в ту зиму тут, в доме графини Толстой, впервые и провещал нам о “куфельном мужике”, о котором до той поры в светских салонах не упоминалось. Потом в так называемом “свете” об этом мужике говорили много, долго, страстно и не переставали поминать его даже до той самой поры, как в печати появился рассказ графа Льва Николаевича о смерти Ивана Ильича. Вообще в свете “кухонный мужик” представлял нам давно знакомое лицо, которое задолго до его пришествия предвещано было Достоевским и только ожидалось, и ожидалось не без страха. Для многих это затрапезное лицо

было полно сначала непонятного, но обидного или по крайней мере укоризненного значения, а потом для иных оно стало даже признаком угрожающего характера.

Это так сделал или приуготовил Достоевский.

Происшествие было так. Ф. М. Достоевский зашел раз сумерками к недавно умершей в Париже Юлии Денисовне Засецкой, урожденной Давыдовой, дочери известного партизана Дениса Давыдова. Ф. М. застал хозяйку за выборками каких-то мест из сочинений Джона Буниана и начал дружески укорять ее за протестантизм и наставлять в православии. Юлия Денисовна была заведомая протестантка, и она одна из всех лиц известного великосветского религиозного кружка не скрывала, что она с православием покончила и присоединилась к лютеранству. Это у нас для русских не дозволено и составляет наказуемое преступление, а потому признание в таком поступке требует известного мужества. Достоевский говорил, что он именно “уважает” в этой даме “ее мужество и ее искренность”, но самый факт уклонения от православия в чужую веру его огорчал. Он говорил то, что говорят и многие другие, то есть что православие есть вера самая истинная и самая лучшая и что, не исповедуя православия, “нельзя быть русским”. Засецкая, разумеется, держалась совсем других мнений и по характеру своему, поразительно напоминавшему горячий характер отца ее, “пылкого Дениса”, была как нельзя более русская. В ней были и русские привычки и русский нрав, и притом в ней жило такое живое сострадание к бедствиям чернорабочего народа, что она готова была помочь каждому и много помогала. Она первая с значительным пожертвованием основала в Петербурге первый удобный ночлежный приют и сама им занималась, переноса бездну неприятностей. Вообще, она была очень доступна всем добрым чувствам и отзывалась живым содействием на всякое человеческое горе. Притом все, что она делала для других, – это делалось ею не по-купечески, а очень деликатно. Словом, она была очень добрая и хорошо воспитанная женщина и даже набожная христианка, но только не православная. И переход из православия в протестантизм она сделала, как Достоевский правильно понимал, потому, что была искренна и не могла сносить в себе никакой фальши. Но через это-то Достоевскому и было особенно жалко, что такая “горячая душа” “ушла от своих и пристала к немцам”. И он ей пенял и наставлял, но никак не мог возвратить заблудшую в православие. Споры у них бывали жаркие и ожесточенные, Достоевский из них ни разу не выходил победителем. В его боевом арсенале немножко недоставало оружия. Засецкая превосходно знала библию, и ей были знакомы многие лучшие библейские исследования английских и немецких теологов, Достоевский же знал священное писание далеко не в такой степени, а исследованиями его пренебрегал и в религиозных беседах обнаруживал более страстности, чем сведущности. Поэтому, будучи умен и оригинален, он старался ставить “загвоздочки”, а от уяснений и от доказательств он уклонялся: загвоздит загвоздку и умолкнет, а люди потом все думают: что сие есть? Порою все это выходило очень замысловато и забавно. Так-то, по этому способу, он здесь и загвоздил раз “куфельного мужика”, с которым с этих пор в свете и возились чуть не десять лет и никак не могли справиться с этой загвоздкой.

Тою зимою, о которой я вспоминаю, в Петербург ожидался Редсток, и Ф. М. Достоевский по этому случаю имел большое попечение о душе Засецкой. Он пробовал в это именно время остановить ее религиозное своенравие и “воцерковить” ее. С этой целью он налегал на нее гораздо потверже и старался беседовать с нею наедине, чтобы при ней не было ее великосветских друзей, от которых (ему казалось) она имела поддержку в своих антипатиях ко всему русскому. Он заходил к ней более ранним вечером, когда еще великосветские люди друг к другу не ездят. Но и тут дело не удавалось: иногда им мешали, да и Засецкая не воцерковлялась и все твердила, что она не понимает, почему русский человек всех лучше, а вера его всех истиннее? Никак не понимала... и Достоевский этого ее недостатка не исправил. Засецкая говорила, будто она имела уже об этом ранее беседы с такими-то и с такими-то авторитетными людьми, но что ни один из них не был в этом случае счастливее Достоевского.

Это сделалось любимую темю Засецкой для отпора Достоевскому. Она думала, что если “со всеми” говорила, то и Достоевский ее воцерковлять не станет, а его это только раздражало, и раз, когда Засецкая при двух дамах сказала, что она не знает: “что именно в России лучше, чем в чужих странах?”, то Достоевский ей коротко отвечал: “все лучше”. А когда она возразила, что “не видит этого”, – он отвечал, что “никто ее не научил видеть иначе”.

– Так научите!

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
Достоевский промолчал, а Засецкая, обратясь к дамам, продолжала:

– Да, в самом деле, я не вижу, к кому здесь даже идти за научением.

А присутствовавшие дамы ее еще поддержали. Тогда раздраженный Достоевский в гнев воскликнул:

– Не видите, к кому идти за научением! Хорошо! Ступайте же к вашему куфельному мужику – он вас научит!

(Вероятно, желая подражать произношению прислуги, Достоевский именно выговорил “куфельному”, а не кухонному.)

Дамы не выдержали, и одна из них, сестра Засецкой, графиня Висконти, неудержимо расхохоталась.

– Comment! [206] я должна идти к моему кухонному мужику! Вы бог знает какой вздор говорите!

Достоевский обиделся и заговорил еще раздраженнее:

– Да, идите, все, все идите к вашему куфельному мужику!

И, встав с места, он еще по одному разу повторил это каждой из трех дам в особину:

– И вы идите к вашему куфельному мужику, и вы...

Но когда это дошло до живой, веселой и чрезвычайно смешливой гр. Висконти, то эта еще неудержимее расхохоталась, замахала на Достоевского руками и убежала к племянницам.

Одна Засецкая проводила мрачного Ф. М – ча в переднюю, и зато он, прощаясь с нею, здесь опять сказал ей:

– Идите теперь не к ним, а к вашему куфельному мужику!

Та старалась сгладить впечатление и тихо отвечала:

– Но чему же он меня в самом деле научит?

– Всему!

– Как всему?

– Всему, всему, всему... и тому, чему учит Редсток, и тому, чему учит Мэккэнзи Уоллес и Деруа Болье, и еще гораздо больше, чем этому.

Хозяйка возвратилась в свой кабинет и рассказала дамам свое прощание с Достоевским, и те еще более смеялись над данною им командировкою “идти к куфельному мужику”, который “научит всему”.

При недостатке легких тем для разговоров “куфельный мужик” с этого же вечера пошел в ход и в этот же вечер вихрем пролетел по нескольким гостиным, а в одну из них был принесен самим Федором Михайловичем).

В этот же вечер одна из дам, бывших час тому назад у Засецкой, появилась в гостиной графини Толстой и рассказала, что Достоевский на них “накричал” и “гнал их к куфельному мужику”.

– Как к куфельному мужику? К какому куфельному мужику?

– К настоящему, обыкновенному кухонному мужику, у кого какой есть на кухне.

– Зачем?

– Он нас будет учить,

- Чему?
- Всему.
- Как всему?!
- Всему, – так говорит Достоевский, – куфельный мужик вас научит всему!
- И истории?
- Не знаю.
- И географии?
- Не знаю:.. “Всему”. [207]

В числе посторонних тут были г. Вогюэ и Болеслав Маркевич, а в числе дам – супруга генерал-адъютанта Кушелева и ее племянница, молодая девушка, г-жа Ушакова.

Большинство этих лиц теперь, благодаря бога, здравствует, так же как и сама хозяйка дома, гр. Толстая, а потому читатель может верить, что я буду передавать только правду, для которой живы свидетели.

И вдруг такое течение обстоятельств: час спустя сюда же входит Достоевский. Он был мрачен и нарочито угрюм, и даже скупно награждал вниманием всегда заискивавшего перед ним Маркевича. В общие разговоры, какие тут шли, он долго не вмешивался. Беседу более всех оживляла упомянутая выше дама г-жа Кушелева, состоящая в фамильном родстве с супругою г-на Вогюэ (русскою, урожденною Анненковою). Говорили о каких-то своих и чужих порядках, причем г-жа Кушелева, делая сравнения русской и европейской жизни, обмолвилась в том же роде, в каком говорила Засецкая, а именно, что она решительно не понимает, чем русский человек лучше всякого другого и почему для него все нужно иное?

Достоевский в нее воззрился, раскрыл уста и произнес:

- Если не знаете, то подите к вашему куфельному мужику, и он вас научит.

Маркович, которому эта, живая дама часто досаждала противоречиями, встрепенулся и, раскладывая пасьянс, подсказал:

- Да, вот прекрасно... ступайте к куфельному мужику.
- Чему же он меня научит?
- Он? Он вас научит всему! – пояснил Достоевский.
- Чему? чему это всему? – добивалась дама.
- Жить и умереть, – молвил Достоевский.
- Жить и умереть, – подтвердил Маркевич, продолжая снимать пасьянс.
- Это все-таки очень обще... я ничего не могу уловить в этом... Вы скажите яснее: чему он меня будет учить?

Достоевский замолчал и стал смотреть в сторону.

Выходило немножко грубовато и неловко.

Собеседницу поддержала ее племянница, г-жа Ушакова: она сказала, что кухонный мужик – “это, конечно, очень ново и любопытно, но что, к сожалению, действительно очень трудно себе представить: чему кухонный мужик будет учить образованного человека”.

В утомленных глазах Достоевского сверкнул тусклый огонь, чрезвычайно напоминавший взгляд известного польского мистика Товианского; он нетерпеливо ответил девушке:

– Хотите узнать?

– Очень хочу.

– Так идите к нему сейчас, и вы узнаете, чему он вас научит!

И, произнося это, Достоевский указывал глазами на дверь, через которую предположительно можно было достичь из гостиной через внутренние комнаты на кухню.

Но светская девушка спокойно поблагодарила писателя за совет, и сама посоветовала ему первому пойти туда и поучиться на первый раз вежливости.

Достоевский опять обиделся, замолчал и скоро удалился, а оставшиеся после его ухода еще поговорили об этой выходке. Одни находили ее странной, другие даже неуместной, но вообще все более шутили над указанным “новым профессором”, хотя, впрочем, находили, что “это ужасно, если уже до того дошло дело, что русским образованным людям ничего более не остается, как идти учиться на кухню”.

– Образованные люди должны идти учиться к кухонному мужику!.. Он всех умнее!.. Он всему научит!.. Что за вздор! Чему же всему он научит?

Ни Достоевский, ни Маркевич никогда этого не разъяснили, хотя Маркевичу, в рассуждении его собственного спокойствия, этот кухонный мужик не дешево стоил. Достоевского не все решались трогать, да он и не часто бывал в великосветских домах, но зато к Маркевичу, который всегда отличался недостатком собственных мнений и, по выражению одного из его светских приятелей, “всегда ехал у кого-нибудь в тороках”, дамы долго и неустанно приступали с требованием разъяснить: “чему может научить куфельный мужик”?

Маркевич не давал ответа и, вздыхая значительно, клал свой пасьянс.

Он, надо думать, не знал в точности, чему может научить куфельный мужик, да, вероятно, не имел отваги и расспросить об этом у Достоевского.

Во всяком случае, оба они унесли тайну учительного значения куфельного мужика с собою в могилу, а светские люди остались в недоумении и, отчасти, в некотором страхе. И вдруг кого-то осенила мысль, что куфельный мужик – это “указание предосторожности”. Сделавшему это открытие дальше уже и говорить не дали.

– Не нужно больше... Нечего и рассказывать... – это предостережение... Как, однако, хитер и как загадочен ум Достоевского!.. Конечно, говоря о куфельном мужике, он нас предостерегал!

Но являлись люди спокойного ума и уверяли, что его в комнаты не пустят, – он все будет на кухне.

И как раз – вдруг все случилось иначе! Чего не допускали и чего не опасались, это-то и случилось. Чем Ф. М. Достоевский, как чуждый пришлец в большом свете, только пугал, то граф Л. Н. Толстой сделал. Как свой человек, зная все входы и выходы в доме, он пропустил и ввел кухонного мужика в апартаменты. Что люди, пользуясь силами жизни и растрачивая их на свои карьерные заботы, отметили, то предсмертные муки заставили одного из них принять к себе. Иван Ильич, оставленный всеми и сделавшийся в тягость даже самым близким родным, нашел истинные, в простонародном духе, сострадание и помощь в одном своем куфельном мужике. Таким образом, пришел этот предвозвещенный Достоевским мужик, не принеся с собой ни топора, ни ножа, – он принес одно простое доброе сердце, приученное знать, что в горе людям “послужить надо”. Барин сам попросил мужика прийти к нему, и вот перед отверстым гробом куфельный мужик научил барина ценить истинное участие к человеку страждущему, – участие, перед которым так ничтожно и противно все, что приносят друг к другу в подобные минуты люди светские.

Иван Ильич научился тому, чему можно научиться у куфельного мужика, – и, оздоровленный этим научением... он умер.

Граф Л. Н. Толстой своим рассказом о смерти Ивана Ильича ответил на вопрос: чему может научить куфельный мужик, – и ответил превосходно. Тому, чему мужик научает

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

в этом рассказе, он действительно научить в состоянии, и урок, им преподанный у смертного ора, превосходен. Но этому ли куфельный мужик должен был научать по программе Достоевского, со слов которого разговор о куфельном мужике около десяти лет болтался в обществе, – это остается открытым вопросом, который гр. Толстой разрешил в своем вкусе, – может быть, совсем иначе, чем тот, кто его поставил. По огромному и несогласимому разномыслию, которое граф Л. Н. твердо и решительно выражает против учительства Достоевского, следует думать, что толстовский кухонный мужик научает, может быть, совсем не тому, чему должен бы научить куфельный мужик, как представлял себе Достоевский. Вообще, нет ли основания полагать, что десятилетнее брожение куфельного мужика в несвойственных ему светских гостиных, где речи о нем завел Достоевский, не минуло тонкого, художественного слуха Л. Толстого, и, может быть, это брожение вызвало у графа доброе желание дать обществу правдивое изображение мужика. А что граф Л. Н. мог знать о долгой возне взбудораженных Достоевским дам и кавалеров с подсунутым им куфельным мужиком, – то это, кажется, более чем вероятно. Об этом, то смеясь, то негодуя, говорили и в Москве и в Петербурге и не позабыли об этом даже до самого того дня, когда вышла повесть, как Иван Ильич умер. Многие, прочтя о куфельном мужике, прямо воскликнули:

– Вот он когда пришел!

Во всяком случае, десять лет остававшийся неразрешенным в гостиных вопрос о кухонном мужике получил свое разрешение от графа Л. Н. Толстого, и разрешение это правильно и прекрасно. Мужик научает жить, памятуя смерть, он научает приходить послужить страждущему. Последовать ему очень похвально и нимало не унижительно.

Ничему отвлеченному, ни в политическом, ни в теологическом роде, куфельный мужик людей высшего общественного круга не научает. Он научает их только тому, что человеку следует соблюсти в себе, стоя на всех ступенях развития, и что дает всякому умственному преуспеянию и питательную почву и плодоносящий рост.

Когда скончался Ф. М. Достоевский, многие писатели называли его в печати “учителем”, и даже “великим учителем”, чего, быть может, не следовало, “ибо один у нас учитель” (Мф. 23, 8–10); но потом, когда смерть постигла И. С. Тургенева, – этого опять именовали “учителем”, и тоже “великим учителем”. Теперь графа Льва Николаевича Толстого уже при жизни его называют и просто “учителем” и тоже “великим учителем”... (По словам г. Вл. Соловьева, Достоевский есть тоже еще и “нравственный вождь русского народа”.) Скольких мы имеем теперь “великих учителей”? Который же из них трех больший и которого учение истинней? Это достойно себе уяснить, так как учения названных трех великих российских учителей в весьма важных и существенных положениях между собою не согласны. Достоевский был православист, Тургенев – гуманист, Л. Толстой – моралист и христианин-практик. Которому же из этих направлений наших трех учителей мы более научаемся и которому последуем?.. Есть долг и надобность уяснить себе: “все ли учителя” (I Коринф. 12, 29)... Этого “куфельный мужик” не разберет...

А думается, что разобрать это было бы делом, достойным умной и просвещенной критики, и в этом смысле могли бы быть написаны статьи, полные самого, серьезного жизненного значения.

НЕНАПЕЧАТАННЫЕ РУКОПИСИ ПЬЕС УМЕРШИХ ПИСАТЕЛЕЙ
(Библиографическая заметка)

В 4017 № “Нового времени” я прочитал известие о том, что в бумагах покойного Решетникова найдена совершенно законченная драма и что драма эта будет напечатана в журнале “Русское богатство”. По сюжету, как он вкратце передан в газете, я думаю, что находка эта сделана не на сих днях, а значительно ранее, так как такая пьеса, написанная покойным Решетниковым, была известна мне года три-четыре назад, а еще значительно ранее того она, кажется, была известна Глебу Ивановичу Успенскому, с которым нам, по одному случаю, доводилось, помнится, иметь о рукописях Решетникова переписку. Словом, пьеса Решетникова в безвестности затеряться не могла, и ее содержание и литературные ее достоинства некоторым из литераторов были известны. Но есть пьеса умершего писателя, происхождение которой, а равно и ее замечательная судьба способны возбуждать, может быть, несколько больший интерес, а между тем о существовании этой пьесы, кроме меня, кажется, никому и ничего из литературных людей не известно. Пьеса, о которой я говорю, составлена, покойным феофилом Матвеевичем Толстым, автором рассказа “Болезни воли”, который, в свою очередь, тоже составлен по “Запискам

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
доктора Крупова”. Пьеса Ф. М. Толстого называется “Нигилисты в домашнем их быту”.
Драматические и философские очерки в пяти актах и десяти картинах, с
эпилогом, сочинение Ф. М. Толстого из романа Г. Чернышевского “Что делать?”.
Пьеса эта была написана Ф. Толстым в 1863 году, и 21 августа того же 1863 года
один, чисто набело переписанный экземпляр ее был представлен в
театрально-литературный комитет. В комитете “Нигилисты в их домашнем быту” были
читаны 24 августа и записаны по журналу под № 1150. Далее на экземпляре,
возвращенном автору, значится следующая надпись: “По журналу
театрально-литературного комитета 31 августа 1863 г. не одобрено к
представлению. Председатель комитета П. Юркевич”. Экземпляр этот находится у
меня и принадлежит мне по дару самого покойного Ф. М. Толстого. О литературных
достоинствах этой пьесы я подробно говорить не стану, а сюжет ее всякому более
или менее начитанному русскому человеку должен быть понятен, так как источник,
из которого этот сюжет почерпнут, ясно указан и весьма общеизвестен. Но в пьесе
очень интересны и достойны внимания вариации и переделки, которые Ф. М. Толстой
счел нужным ввести по своему вкусу и по разным соображениям, в которых, без
сомнения, имело место и служебное и общественное положение Ф. М. Толстого. Он во
время сочинения этой пьесы носил придворное звание камергера и состоял на службе
членом главного правления по делам печати. “Нигилисты в их домашнем быту”
представлены в смягченном и примиряющем тоне. Оплотом старого порядка вещей
выведен резонер Туров, который резонирует горячо и много, но взгляды его,
впрочем, не торжествуют. Пьеса заканчивается танцами, на которые сводит все
философемы Вера Павловна, а “Туров, махнув рукою, отходит в сторону”. В числе
“действующих лиц” встречаем: Веру Павловну Лопухову, Дмитрия Сергеевича
Лопухова, Платона Петровича Гнурова, француженку Жюли и Кирсанова. Есть также
“студенты, офицеры, штатские, закройщицы и мастерицы”. В общем, пьеса
малосценична, потому что преисполнена довольно длинных и скучных трактаций, но
она, несомненно, имеет своего рода интерес для историка русской литературы, и,
сколько я понимаю, пьеса эта, вероятно, без препятствий может быть напечатана в
исторических изданиях, чего она и заслуживает.

НА СМЕРТЬ М. Н. КАТКОВА

“Память праведного с похвалами”, “честна пред господом смерть преподобных его”.
Эти слова церковных песнопений, если приложить их к явлениям, сопровождавшим
недавнюю кончину М. Н. Каткова, сопричисляют львовянского кормчего “Московских
ведомостей” к сонму праведников и навеки вплетают имя его в благоуханный венок
преподобных.

Телеграммы со всех концов родины и из центров западной политики, усердно
подобранные по графам топографической росписи в последней книжке “Русского
вестника”, должны как бы воочию напоминать падшим на забвение россиянам, что их
умерший собрат унес за собою в могилу скорбь лиц, и восседающих на высоте
императорского трона и скромно ютившихся под сенью жилищ провинциальных
чиновников. Во всяком случае, можно поручиться, что дотоле ни один русский
писатель своей смертью не принес столько работы телеграфному ведомству.
Сказалась его смерть и на работе железных дорог: из Петербурга в осиротелую
Москву не потяготился проехать сам И. Д. Делянов, чтобы над свежей могилой
лейб-пестуна и гоф-вдохновителя министра народного просвещения пролить слезу
благодарности от муз российского Парнаса, а из Парижа на погост Алексеевского
монастыря примчался республиканский монархист Поль Дерулед, сия взлелеянная на
Страстном бульваре французская ипостась того самого вольного казака Ашинова,
кого венчала скороспелыми лаврами героя XIX века властная, но не всегда
разборчивая на хулу и на хвалу рука московского громовержца.

Если эти свежие картины прикинуть к тому, как и на нашей памяти и по живому
преданию старины наша вялая и сонная родина провожала в последний путь земли не
только Тургенева или Достоевского, но даже Гоголя или Пушкина, то, пожалуй,
будущий ее летописец, учитывая в каждом случае степень проявленной ею скорби,
по, воплям усердных плакальщиц и воздыханиям телеграфных причитальщиков признает
кончину Каткова утратой более горестной, чем смерти названных только что ее
лучших писателей, а Михаилу Никифоровичу усвоит титул “князя от князей” русской
письменности.

Нужно ли говорить, как опрометчиво было бы такое признание, если оценивать,
писателя не по воплям его осиротелых оруженосцев, а по настоящему весу того, что
защищал пером своим писатель.

Что вспомнит каждый из литературного наследия Каткова при первом же упоминании

его имени? Конечно, классицизм, ради торжества которого он не только создал на весьма сомнительные приношения Полякова особый Лицей, столь же далекий от афинского, насколько П. М. Леонтьев был не похож на Аристотеля, как бы на этот счет ни судил осиротелый ныне А. И. Георгиевский, но и всю русскую школу от Ревеля до Иркутска и Оренбурга под единообразный колер греко-римского тонкословия. Но от сего “плясали лики” лишь тех чешско-русинских иродов, от усердия которых “сбытся реченное Иеремией-пророком, глаголющим: ужас в Раме слышан бысть, плач, и рыдание, и вопль мног”, раздавшийся в каждой русской семье, над чадами коей с 1877 года, по указке М. Н., творили свои стогне эксерсицы австрийские изверженцы, в гостеприимных складках русской порфиры нашедшие убежище от подчас весьма заслуженной кары венских и пражских полицейских. Не подумал впопыхах каждодневного писания страж монархии и про то, каким удобрением для всходов на монархической ниве явятся ораторы и историки республиканских Афин и Рима, лучшие страницы свои пропитавшие неутомимой ненавистью к тиранам. Он будто не видел, как много дров кладет на костер неизбежной в первую голову из-за его же работы русской революции руками призванных им из-за Карпат бездушных шультмейстеров, беспощадно выбрасывавших на улицу всякого живого юншу, не способного познать сладость Кюнера и мудрость Юлия Цезаря... Фелькеля.

Но это наше, семейное, домашнее горе, а нам испокон веков не привыкать стать к тому, чтоб над детьми нашими измывался “всяк человек лукав и жесток в начинаниях и человек зверонравен”. Но гоня своих “яко же вран по горам”, М. Н. еще большую, едва ли не всемирную славу стяжал в 1863 году писаниями по польскому делу, посадивши в Вильну Муравьева и руководя передовицами из московского кабинета в многострадальной Литве и Польше, вызывая одинаково ярый восторг политических кликуш в стиле Антонины Блудовой и несказанную зависть своих бессильных подражателей вроде И. П. Корнилова или профессора Кояловича. Теперь, когда прошел угар порушенной отчизны, видно, что в пылу священного восторга М. Н. не разглядел и не сообразил, на чью мельницу льет воду, не понимая, какого непримиримого и лютого врага готовит России и русским в каждом поляке, согнанном с отцовского будынку и лишенном права даже с сыном разговаривать на языке своих отцов. Одной рукой, по сю сторону Вислы, поддерживая дворянство, эту миражную опору трона, а другой, по ту сторону той же самой Вислы, натравляя на всякого пана и шляхтича оравы самой разнузданной черни только потому, что и эти стервятники жаждали урвать перо от крыла ненавистного Каткову одноглавого польского орла. Слепая власть и немая печать возносили кадильницы, полные фимиама, к стопам московского Талейрана, забывшего как раз про основное правило последнего: *toujours pas trop de zèle*, [208] и, на наш скромный суд, куда ближе подходил к именитому дипломату наш безвестный законоучитель, который, глядя на пламеневших неугасимой ненавистью сосланных и к нам в Орел после руины 1830 года поляков, говорил: и чего их сюда нагнали! Сидели б они себе по цукерням за марципанами, а нам и своего горя не избыть, а не то чтоб еще соседей жать да разорять. И пусть епископ Амвросий, проводивший в могилу пламенным словом благоволившего к нему редактора, взвесит на весах своей епископской совести, кто ближе подходил к Христу – орловский ли немудрый попик или превосходительный трибун Страстного бульвара?

Утвердив в прошлое царствование за собой титул непререкаемого политического оракула статьями по польскому вопросу, в нынешнее Катков от маленького Парижа на берегах Вислы перенес свою опеку на большой на берегах Сены и, сильно гневаясь на Бисмарка за нежелание признать в нем Дельфийского оракула, а не грамотного наследника Ивана Яковлевича Корейши на Шеллинговой подкладке, стал работать на многоплодной для себя стезе франко-русского союза. Но и тут шоры личных пристрастий скрыли от него опасность общения неограниченного монарха с самым открытым и победным воплощением республиканской власти. Но “скрытое великим уявися малым”, и этим еще летом один пастор в беседе с нами сравнил русского царя, заключающего союз с французским президентом, с семейной дамой, отдающей свою дочь в пансион содержательницы непотребного дома. Похвалы, расточаемые сего случая ради катковскими курантами по адресу весьма щедрой на оплату таковых республиканской власти, – это, конечно, очень сильный удар по зданию монархии, внушающий мысль, что, стало быть, республика вовсе не столь гнусное зло, коль скоро по нужде и русский царь принимает от нее руку помощи. Герцен и Миртов со своими женевскими подголосками сделали, пожалуй, меньше для примирения русской мысли с приемлемостью республиканского строя, чем столь искренне оплаканный государем Катков. Союз этот, подрубая внутри страны с корнем дерево ее исконного уклада, подводит нас под неисчислимые беды европейской войны, на которую, конечно, вынуждены будут пойти наши соседи немцы, коль скоро мы так тесно

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

связались с их врагом, и сами французы, которые только потому и берут себе на повод казацкого медведя, что ждут его помощи в час того реванша, без мечты о котором ни один француз и не ляжет и не встанет.

В одной старинной, правда отреченной, книге предуказано, будто всякий покойник вратарю царства небесного должен предъявить складень с изображением содеянного им при жизни. Суздальские богомазы без труда составят таковой для душеньки благоволившего им Каткова: классицизм, разгром Польши, франко-русский союз займут створки этого оправдательного триптиха. Кто по намекам наших беглых строк с достаточной ясностью сообразил, во что России обошлись и еще обойдутся в грядущем эти дары Каткова, тот, пожалуй, подумает, что И. Д. Делянов обнаружил бы большую прозорливость, если бы смиренно сидел на паперти армянской церкви и не утруждал себя поездкой в Москву на похороны Каткова.

ТЕМНЕЮЩИЙ БЕРЕГ

Всякая курица на насест хочет.

Эстонская пословица.

На сих днях мне привелось прочитать в петербургских газетах, что “бердянское городское общество ходатайствует о неприменении к нему циркуляра министра народного просвещения, ввиду того что бердянское общество, сооружая гимназию, имело в виду именно дать возможность получить в гимназии образование детям небогатых родителей из городского и сельского населения, то есть именно тому разряду детей, который министерским циркуляром отстраняется от гимназий”. Газета “Неделя”, в которой это известие напечатано, присовокупляет, что, “вероятно, такие затруднения новое распоряжение вызвало и в других городах”.

Соображения “Недели” совершенно справедливы, доказательством чего служит заявление русских в Гельсингфорсе, чувствующих себя в приниженном положении перед согражданами финского происхождения.

На окраинах государства это действительно обозначается резче и чувствуется сильнее. Я прожил нынешнее лето на острове Эзеле, в г. Аренсбурге, где есть классическая гимназия. Это есть единственное среднее учебное заведение для всего населения островов Эзеля, Даго, Мона, Вормса, Нука, Оденсгольма и других меньших островов здешней группы.

В Аренсбургской гимназии обыкновенно обучается средним числом около ста пятидесяти учеников, и из них едва двадцать пять – тридцать принадлежат к дворянским или чиновничьим семьям, а все прочие огулом относятся к тому разряду детей, который министерским циркуляром отстраняется от гимназий”. Бердянск схож в своем положении с Аренсбургом в том отношении, что оба эти города не могут похвалиться населением их родовой знати, а население их торговое и простонародное.

На острове в 1881 году насчитывали до ста тысяч жителей, а дворянских семей считается 38, из коих далеко не все живут в своей Озилии. А потому в гимназии в Аренсбурге, как и в Бердянске, преобладает элемент простонародный. Но Бердянск сравнительно с Аренсбургом – большой туз и капиталист по зажиточности своих граждан, тогда как Аренсбург – бедняк. Это городок крошечный и до того лишенный торгового значения, что здесь нет ни одного значительного капиталиста. В Аренсбурге нет ни одного купца первой гильдии, а все его граждане, за исключением очень небольшого числа чиновников, есть только мелочные торговцы, ремесленники да чернорабочие, – по преимуществу рыбаки и судоходы. В Аренсбурге все мало-мальски видные граждане на перечете, и те, по общему понятию о торговле, должны быть отнесены к разряду “мелочников”. Вильденберг мнет кожи и подвозит грузы к пароходам; Цаунит, Швальбах и Исаева торгуют в лавках при своих квартирах и ведут торг смешанный, меточной и галантерейный, и нитками, и иглой, и обувью, и письменными принадлежностями; Рар, Рейхард, Ланге и двое других Исаевых и Константинов также мелочники – одни торгуют бакалеєю, чаем и сахаром и табаком, глиняною и стеклянною посудой и духами; еще двое других Исаевых и Томсон торгуют на базаре горшками, косами, кимрскою обувью, ситцем, гвоздями и веревками. Такова торговая аристократия или знать Аренсбурга. Все остальные торговцы, которых, по незначительности их, вовсе не поименовываю, представляют уже совершенное ничтожество в торговом смысле; но все они кормятся от своих торговых занятий и все нужны для разнообразных потребителей, а притом они все, или почти все, – сами получили образование в своей гимназии, и все имеют вкус к образованию. Они все желают воспитывать своих детей в своей же

Аренбургской гимназии и жили до сих пор в полной уверенности, что это так и будет. Им всегда казалось, что существующая в Аренбурге гимназия для того именно здесь и существует, чтобы поддерживать общую образованность во всем без исключения населении островов Эзеля, Даго, Вормса и Мона, а не для одних двадцати пяти – тридцати мальчиков дворянского и чиновничьего рода. В этом же духе относятся к этому и эзельские ремесленники – и портной Круль, и портной Виншток, и часовщик Шотц, и сапожники, и мясник Трофен, и булочник Петриг, и колбасник Линк, и корабельные плотники, и лоцмана предместья Торри, и даже одинокие женщины-вдовы, живущие вязаньем шерстяных вещей для приезжающих сюда на лето русских дам. Все эти мызники и горожане хотя люди бедные, но все они имеют уважение к образованности и твердо верят в ее практическую пользу, а потому они непременно желают, чтобы их дети могли получить образование в гимназии. Дошедшее теперь до их ведома министерское распоряжение об отстранении их детей от права учиться в гимназии только потому не повергает их в отчаяние, что они с неодолимой, упрямою наивностью считают это за “невозможное”. Они мотают головами, как их эстонские клеппера, и говорят: “Это невозможно есть! – Это сопровтив Петра Великого”. Но если они ошибаются, и то, что им кажется “невозможностью сопровтив Петра Великого”, – окажется на самом деле возможным, то тогда в Аренбурге произойдет неминуемый гимназический крах, ибо для двадцати пяти – тридцати учеников дворянского и чиновничьего звания содержать целую гимназию будет не резонно, и ее, без сомнений, придется закрыть, а с этим столь же неминуемо все понимающее смысл образования население столь больших островов, как Эзель, Даго и Мон, будет лишено средства к образованию и станет поневоле погружаться в невежество. А это не только опечалит всех здешних жителей, отстраняя их от довольно общего и довольно сильного стремления к образованию своих детей, но отзовется самым невыгодным образом на экономических и политических условиях края. С таким невежеством, в котором привыкли жить граждане маленьких городков в серединной России, нельзя жить на островах, где толкаются и шведы, и датчане, и заграничные немцы. Немецкие торговцы балтийского поморья все имеют гимназическое или равное гимназическому образование и принимают к себе на службу тоже только таких молодых людей, которые получили образование. Невежде из “молодцов” – как бы он молодецват ни был – здесь придется и скоротать свой век в черной работе или на побегушках. В числе приказчиков крошечного Аренбурга людей с гимназическим образованием более, чем в Москве или Петербурге. То же самое в Ревеле, в Пернове, в Либаве, в Риге и в Дерпте, а меж тем все эти люди из очень бедных семейств – их отцы чинили сапоги приезжим сюда русским “кургастам”, а их матери и сестры даже теперь выжут нам “ревматические носки” из невытой шерсти и стирают наше грязное белье... И хотя они промышляют средства к жизни стиркою и вязаньем, но, однако, содержат в гимназии своих младших сыновей и братьев, чтобы те выросли и получили возможность зарабатывать более, чем достает чернорабочий... Возвратить им теперь их питомцев недоученными или отстранить от гимназии тех, которых они туда подготовили, – это, по их мнению, будет равносильно тому, что отнять у них самую главную надежду на то, что подготовленный ими сын или брат достигнет большего заработка и лучшего положения и тогда успокоит старость родителей и поддержит остальное семейство...

Отнять этакую надежду у семейств не будет ли значить – отнять слишком многое и слишком драгоценное, с потерей чего почти невозможно примириться в настоящем и невозможно ничем утешиться в будущем.

Но дело это имеет еще одну сторону, где экономические условия частных лиц находятся в тесном и неразлучном соприкосновении с условиями общего государственного значения.

Эзельцы, дагероты и монцы, равно как и другие побережные эсты и латыши, во множестве занимаются мореходством. Они прирожденные моряки, и роль их очень велика в русском мореходстве, – что и хорошо рассказано и доказано в статьях латыша г. Вольдемара, напечатанных в “Русском вестнике” покойного Каткова. Простые сельские люди из эзельцев и дагеротов служат во множестве на пароходах и купеческих парусных судах, а более образованные служат капитанами, шкиперами, подшкиперами и штеерманами. Между сими последними есть значительное число людей с образованием средних училищ, и хороший капитан или шкипер с образованием всегда имеет преимущество перед соответственным лицом, не получившим образования. Шкипер, кроме своего чисто технического мореходного дела, должен иметь общие сведения, которые дает образование. Он должен знать относящиеся к его делу законы, математику, географию и иметь коммерческие познания – где что производится и куда то производство имеет сбыт. Шкипер судна идет с деньга ми,

чтобы в случае недостатка наемного груза сделать покупку и знать, куда ее отвезти, где выгодно сбыть. Он должен быть немножко начитан и, как говорят, – “стоять au courant” [209] с тем, что делается на свете. Иначе он будет без фрахтов и, по морскому выражению, “станет блуждать как дурак”. Чтобы не быть “блуждающим дураком”, он непременно должен иметь общее среднее образование. В портах, куда он заходит, он сидит на берегу, в кофейне или в клубе, с шкипером иностранным – с заграничным немцем, с шведом или финляндцем, и старается того понять и даже перехитрить и во всяком случае не удариться перед ним лицом в грязь. Для всего этого опять, кроме мореходного знания, надо иметь такую образованность, чтобы не быть во всем ниже всякого встречного заграничного собрата. И потому понятно, что моряк латыш или эстонец очень заботится о том, чтобы быть не хуже иностранца. Для этого у шкипера каждой эстонской, шхуны есть с собою и европейское платье работы местного Круля или Бинштока, и для этого же он выучился хорошо говорить по-немецки и немножко по-русски, а иногда и по-французски. Все это ему необходимо, и все это он, как сын бедных родителей, мог получить только в той гимназии, где он учился на деньги, добытые матерью и сестрами за стирку белья “кургастам”... Что же будет теперь, если его сын или младший брат не попадут в эту гимназию, – если они будут “отстранены” и останутся невеждами... После этого их шкиперами не возьмут, а они должны будут идти в простые матросы – “травить канат” да поднимать якорь. Такое положение не приведет ли их в отчаяние, и не возьмутся ли они за старину – зажигать потихоньку темной ночью фальшивые огни под опушкой лесов на опасных берегах близ маяков Фильзанда и Дагерорта, чтобы наводить суда на рифы, а потом “спасать” эти разбиравшиеся суда посредством полнейшего разграбления их груза...

Береговое пиратство, которым славились в старину Эзель и Даго, несмотря на нынешние преследования его законом, все-таки еще не совсем исчезло и составляет по преимуществу промысел береговых не задачников, и чем не образованнее и малосведущее шкипер, тем он легче примет разведенный на берегу фальшфейер за маяк, точно положения которого он не умеет высчитать, стоя на палубе своей шхуны. Он может отлично крепить паруса, отдавать шкоты, но хронометр, цифры и морские карты будут с ним не в ладах, и пират Фильзанда или Дагерорта начнет ловить на огонь морских угрей и, как пить даст, – “посадит его на грядку”, а потом придет его спасать и... грабить (что иногда почти одно и то же).

С отстранением эстонской молодежи на Эзеле, Даго и Моне от гимназии, существующей в Аренсбурге, уровень эстонской образованности упадет до нуля, и это не будет ли в противоречии с теми видами правительства, для которых не требуется, чтобы эстонская или латышская народность в здешнем крае принижалась и темнела в своей умственности. А это неизбежно должно случиться, если здесь отстранить от гимназии простолюдинов, ибо тогда на Эзеле, Даго и Моне, равно как и на всем южном побережье финского залива, останутся с воспитанием только чиновники из немцев, а эсты и латыши будут чернорабочие, без выхода...

Вся та среда, из которой при содействии Аренсбургской гимназии до сих пор выходили люди среднего образования, нужные здесь, на суше и на море, утонет во тьме нищеты и невежества, и бедный край обеднеет еще более. Тогда останется господствовать на суше немецкий барон, а на море финны с севера.

– Придет, – говорят, – финн и спихнет с воды и латыша и эста. Финну есть вольно учиться. Наш южный берег потемнеет, а финляндский все освещается, светом: эсты и латыши будут матросами, а финны заступят везде шкиперами.

Так говорят здешние дети, сохраняя полную уверенность и “надежду на Петра Великого”, что “это невозможно”. Невозможно, чтобы за недостатком местных образованных людей пришел финн с севера, а “Мaa-mies” (муж земли) и “Мaa-roika” (сын земли) очутился у него в поношении... Это грозит полным обнищанием и всесторонним понижением их острова в темноту. Но, к счастью, кажется еще не все кончено: и эсты, может быть, недаром уповают “на Петра Великого”, как русские на Николу милостивого... В русских газетах пишут, будто устранительное распоряжение еще не решено, – и будет еще обсуждаться в законодательном порядке. Надо желать, чтобы к той поре было известно все, что стоит быть принятым в соображение при обсуждении вероятных последствий отстранения от гимназий простолюдинов. То, что я здесь писал, кажется, может пригодиться при обсуждении положения длинного побережья, противоположного Финляндии, молодым ребятам которой соли на хвост не насыпано...

Пока же что будет разъяснено, – новый учебный год на Эзеле начался по-старому,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
то есть в гимназию приняты все те дети, которых родители их привели и которые к следованию за учебным курсом оказались годными.

Осень 1887 года.

ПРЕСЫЩЕНИЕ ЗНАТНОСТЬЮ
Melior optima pessima..[210]

На первых днях этого года В. А. Кокорев высказал в “Новом времени” свое мнение о купцах, получивших чины действительного статского советника. По мнению г. Кокорева, таких купцов не для чего титуловать “превосходительствами”, а довольно называть их “высокостепенствами”. Это, кажется г. Кокореву, как будто ближе подходит к торговому положению упомянутых генералов и более отвечает народному представлению о разнице в сановитости людей служилых и людей торговых.

Без сомнения, в народном рассуждении о генералах есть разница: ина слава принадлежит солнцу, ина же воздается луне, и звезда от звезды разнствует, а между тем титул “превосходительства” ассимилирует во едину статью всех удостоенных. В этом его преимущество, но в этом же его недостаток, против которого в России давно уже слышится сдержанная, но очень едкая горечь. О ней еще говорил Леруа Болье, заметивший в своем любопытном сочинении о России, что у нас необыкновенно много “превосходительств” и что чрез это названный титул у нас не только совсем пал и утратил свое возвышающее значение, но он даже служит теперь к некоторой шутке и насмешке.

В словах г. Кокорева видна та же горечь и желание защитить превосходительный титул от посягательства на него со стороны людей торгового звания, а равно оградить и самих этих людей от неблагоприятного воздействия на них превосходительного титула.

Так как обстоятельного и специального “сочинения о “генералах” в нашей литературе нет (ибо труд П. И. Чичикова в печати не появлялся), то вопрос о вреде или о пользе от большого размножения превосходительных лиц может быть трактован очень свободно, но он прежде всего нуждается в верном фактическом представлении положения, в каком находится “превосходительство”.

Заботы Кокорева могут, много помочь купечеству, если знатность по чину купцам вредна, но что касается самого превосходительного титула, то он не много выиграет от того, что его не будут прилагать к тайным советникам из людей торгового сословия. По правде говоря – идет им это или не идет, но ведь их покамест еще очень немного. Одни департаментские делопроизводители или столоначальники ежегодно дают такой прирост в генеральстве, что оскудения никогда не произойдет, и собственно чину превосходительства не поможет эта крохотная очистка.

С превосходительным титулом у нас в самом деле происходит нечто очень странное и неблагоприятное для его возвышающего значения. Г-на Кокорева стоит благодарить, что он заговорил об этом. Манера заменять собственное “крестное” имя человека титулом, который даст известный чин, имеет нечто неприятное, и многие давно говорили об этом как о вредном обычае, который пора бы оставить, не для одних купцов, а для всех вообще, – по крайней мере вне службы.

Как от этого одни сами отбивались, а другие прочих сдерживали, это представляет картинку, или, лучше сказать, ряд картинок, которые, может быть, не скучно будет теперь перепустить перед глазами, по случаю возбужденною г. Кокоревым интереса к “истории о генералах”.

В нашем флоте в самую блестящую его пору, при командирах, имена которых покрыты неувядаемою славой и высокими доблестями чести и характеров, все избегали употребления титулов в разговоре. Там крепко жил простой и вполне хороший русский обычай называть друг друга не иначе, как по крестному имени и отчеству. Не только капитан корабля, но и адмирал, командующий эскадрою, называли офицеров по имени и отчеству, а офицеры точно так же называли своих старших, то есть их именами и отчествами, а не превосходительствами. Таких славных героев, как Нахимов и Лазарев, подчиненные с семейною простотою называли в разговоре Павел Степанович, Михаил Петрович, а эти знаменитые адмиралы в свою очередь также называли по имени и отчеству офицеров. По титулам чина или по уряду должности

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
величали только тех, кого не знали как звать по имени, и это считалось за неудобство, для избежания которого старались немедленно узнать имя и отчество человека. Такого простого обычая держались все, и флот дорожил этой простотой; она не оказывала никакого дурного влияния на характер субординации, а напротив, по мнению старых моряков, она приносила пользу.

“Чрез произношение имени, – рассказывают старые моряки, – все приказания начальника получали приятный оттенок отеческой кротости и исполнялись с любовью; а ответы подчиненных с таким же именованием старшего придавали всяким объяснениям и оправданиям сыновнюю искренность”.

Многие почтенные люди из старых моряков вспоминают об этом обычае с большим сожалением, что он вывелся и заменился отношениями “общеевропейского образца”. Но стоит ли это сожаления на самом деле?

Моряки всегда немножко суеверны и имеют много примет, но если верить их приметам, то они, кажется, имеют основание жалеть, что их старый морской обычай “семейности” заменился “образцом общеевропейской форменности”.

“Во все это время, пока мы говорили друг другу по-человечески, – замечают моряки, – флот наш не знал служебных злоупотреблений низкого свойства: офицеры гнушались лжи, и не было ни взяток, ни обманов. Мы себя берегли от этого”.

Обычай называть друг друга по именам стали подрывать нововведениями в Балтийском флоте, “поблизости к Петербургу”, но на Черном море именованье продолжало держаться до самой Севастопольской катастрофы, когда Черноморский флот уничтожился и остатки Черноморских морских офицеров пошли вразброд. В печальном рассеянии они забыли старые предания своей семьи, и те, которые смешались с Балтийцами, научились у них употреблять в разговоре титульные обороты.

Утраченный “обычай доброй простоты” оставался дорог многим из моряков и имел своих маньяков, для которых представлял своего рода мистическое значение. В доказательство его живучести стоит вспомнить об одном из таких маньяков, каким был не очень давно умерший контр-адмирал Андрей Васильевич Фрейганг. Это был превосходнейший человек, которого кто знал, тот его и любил и уважал за его необыкновенную чистоту и добрую душу. Его знали множество людей, и из них, конечно, многие еще живут нынче. Он был “политик вне партий” и “золото без лигатуры”; ему был друг славянофил Гильфердинг, и он пользовался особенным уважением Каткова. К Фрейгангу Катков чувствовал сердечное влечение и не раз говаривал: “чтобы немножко себя освежить, надо в Фрейганга посмотреться”. Худой, слабый здоровьем, но живой, подвижной и беззаветно добрый старичок, обвязанный гарусным шарфиком и с кортиком, который постоянно ерзал на его тощем тельце и сбивался с бока назад или наперед, Андрей Васильевич всегда о чем-нибудь хлопотал или кого-нибудь устраивал. Он беспрестанно являлся где-нибудь “просителем за людей”, и притом просителем самым неотступным, настойчивым и бесстрашным. Чуть, бывало, при нем скажут о чьем-нибудь горе или несчастье, он сейчас придет в беспокойство – слезы на глазах, и начинает себя допрашивать: “Кого я знаю? Кто может помочь? К кому побежать?” И как только вспомнит – сейчас “побежит”. Но о себе и о своем семействе он не просил никого и жил на самые крошечные средства. Словом, это был превосходный и редкий человек, которого при жизни его называли “праведником” и “Нафанаилом, в нем же лести неть”! Между тем в ряду забот Фрейганга было большое печалование об исчезновении простоты во взаимных отношениях во флоте, – он не мог примириться, что у них “прежде говорили друг с другом по-человечески, а потом стали упоминать потитульно”. В этом Фрейганг видел “начало болезни”, которая непременно принесет большой вред всему организму. Михаил Никифорович Катков один раз слушал, слушал, как Фрейганг об этом рассказывал, и говорит после:

– Что это такое за прелесть! Он говорит, точно будто Давид на арфе играет, – все досады и неприятности при нем успокаиваются.

В одно время Михаил Никифорович имел деловые свидания с графом Петром Андреевичем Шуваловым.

Случалось, что сильно впечатлительный Катков даже “укрывался” в идиллический домик на Песках, где жил Фрейганг, и говорил, что он там находит успокоение. Но послужить восстановлению крестных имен во флоте Катков, разумеется, не озабочивался, а Фрейганг об этом помнил и обнаружил свой мистицизм.

Когда пронесся слух, что в морском ведомстве обнаружилось первое большое злоупотребление, Катков случился в Петербурге и жил на Сергиевской, в доме Зейферта. Один раз, когда здесь говорили об упомянутом слухе, вдруг в комнату вбегает торопливой походкой в своем шарфике Фрейганг и говорит с волнением:

– Слышали? Совершилось! страшное пророчество совершилось!.. Ужас, позор и посрамленье! наши моряки, наши до сих пор честные моряки обесславлены: среди нас есть люди, прикосновенные к взяткам!.. А он это предсказывал, я это напоминал, я говорил, что это предсказано, и это так сделается, вот и сделалось – и исполнилось, как он предсказал.

– Кто предсказал?

– Павел Степаныч!

– Какой Павел Степаныч?

– Как “какой Павел Степаныч”!.. Нахимов!

И Фрейганг рассказал какой-то давний случай, когда покойный Нахимов был недоволен каким-то продовольственным распорядителем или комиссионером и стал его распекать, а тот, начав оправдываться, стал беспрестанно уснащать свою речь словами “ваше превосходительство”. Это так взорвало адмирала, что он закричал:

– Что я вам за превосходительство! Что это еще такое! Вы имени моего, что ли, не знаете, или прельщать меня превосходительством вздумали? У меня имя есть! Это вы ваше превосходительство, а моряков нельзя так звать, они вашим ремеслом не занимаются. Тогда их можно будет “так” звать, когда и они этим станут заниматься.

Праведный бедняк, адмирал с петербургских Песков, глубоко верил, что, перестав называть друг друга по именам, а начав величать по титулам, – моряки подверглись роковой порче.

Замечают тоже, что имя при настоящей заслуженной известности человека приобретало у нас такую известность, что самые фамилии делались ненужными для более точного обозначения лица.

В Орле один купец, тяжело оскорбленный в сороковых годах неистовством губернатора Трубецкого, выйдя из терпения, сказал ему:

– Тиран! я больше не боюсь, что ты князь, я Николаю Семеновичу пожалуюсь.

– Какому Николаю Семеновичу! – закричал Трубецкой.

– Тому, который стоит за правду.

И замечательно, что Трубецкой, человек невежественный и, по выражению епископа Смарагда, – “умоокраденный”, узнал, однако, кого ему называют, и с злорадством воскликнул:

– Мордвинова больше нет!

Никакой курьер из самых зычных, прокричав: “генерал идет”, – не может внушить того впечатления, которое ощущалось, когда, бывало, кто-нибудь шепнет на московском бульваре:

– Вон Алексей Петрович топчется.

Мало ли в Москве было разных Алексеев Петровичей, но все знали, что так называют Ермолова и что перед этим тучным, тяжело передвигавшим свои ноги стариком надо встать и обнажить головы. И все почтительно поднимались и кланялись ему иногда в пояс. Это делалось с удовольствием, не за страх, а за совесть.

Тут была, впрочем, немножко и манифестация: кланяясь старику, как бы заступались за него и сожалели, что его “Ерихонский забил”. (А от Закревского отворачивались – будто его не видели.)

Этого же Алексея Петровича при настоящей смете надо вспомнить и по другим причинам. Самого Ермолова, разумеется, не принято было титуловать “превосходительством”, а его просто звали Алексеем Петровичем или “батюшкой Алексеем Петровичем”, но едва ли не он первый ввел у нас вышучивание чиновных титулов.

Алексей Петрович звал своих лакеев “надворными советниками”, а ему любили подражать и другие, и с него пошла по Москве мода звать “надворных советников” как птиц на свист или “на ладошку”. Из домов мода давать лакеям эту несоответствующую кличку перешла в те гостиницы, где прислуга “ходит по-штатски”. Потом это в числе образцов московского барского тона было привезено в Петербург и получило здесь широкое применение. Лакеев начали звать “советниками” в домах и ресторанах, а потом и в трактирах низшего сорта, где посещающая публика “отливает серостью”, а “услужающие подают во фраках”. Таких служащих “серый гость” и теперь зовет на клик: “надворный советник”.

– Советник, подай пару чаю!

Князь Мещерский (то же имя) иногда кое во что попадает, и он верно замечал, что у нас, к сожалению, высшие не всегда подают лучший пример низшим, а напротив, растлевают целомудренность простолюдина.

С титулом “превосходительства”, впрочем, произошло еще несколько других случайностей, о которых стоит отметить.

Когда стало очень много людей, крестные имена которых вышли из употребления со дня производства этих лиц в чин, дозволяющий ставить титул “превосходительства”, то началось большое затруднение: как различать и помнить, кто из штатских в каком чине? А между тем многие штатские генералы довольно обидчивы, и никому нет охоты оскорблять их умалением чести. Отсюда в обществе явилось опасение: как бы не ошибиться, и тогда, по пословице “лучше перебавить, чем недобавить” – пошли ставить всем “превосходительство”. Кому надо и кому не надо – все равно, пусть получает приданье чести и не обижается. Делалось это по самым серьезным соображениям: “да тихое житие проживем во всяком благочестии”, но повело к другой неожиданности: чрез эту сообразительность “превосходительство” явилось сеянное и не сеянное. Куда ни склонит слух свой почтительный человек, везде он слышит “превосходительство”, а разберется делами, и узнает, что он принимал за генерала “какую-то фитюльку”.

Чтоб выйти из фальшивого положения, оставалось обижаться (на кого?) или самому над собой хохотать.

Это легче.

Юмористический же и наблюдательный ум нашего простонародья всю эту картину созерцал, подметил, что в ней смешно, и началось повсеместное вышучивание “превосходительства”. Начался ряд шуток, сколько колких и неуважительных, столько же неуловимых и неудобонаказуемых. В городском простонародье теперь величают “превосходительством” всех, “которых солидность позволяет”. Отсюда постоянно можно слышать, как городской простолюдин, один спроста, а другой с лукавиной, величают превосходительством почтового приемщика, акцизника, торгового депутата и особенно полицейского пристава, а иногда даже и околоточника, если он “фасонист”. Всяк, к кому есть нужда или просьба, титулуется от просителя “превосходительством”, и титулуемый это приемлет и ничего же вопреки глаголет. Иногда же такое “величание” продельвается и без всякой нужды, прямо на смех, чтобы безнаказанно вышучивать какую-нибудь мелкую особу и вместе с тем опозлять звание, обязывающее к почтительному отношению. Любои разносчик и загулявший мастеровой, титулуемый “превосходительством” околоточника, которого он за глаза зовет “фараоном”, конечно знает, что он издевается над тем, кого дразнит “превосходительством”, но остановить его невозможно: он за это ничего не боится, потому что он будто опасается ошибиться, и он упорно продолжает приставать на гулянье:

– Ваше превосходительство, пьян я типерича или еще не пьян? Разрешите!

Словом, на улице городской народ сумел испортить “превосходительству” всю линию, и здесь теперь у нас ad libitum[211] всяк стал “превосходительством”, а чего

много и что не в редкость, то и не в почете. Самые большие и самые постоянные обожательницы генеральского звания – петербургские кухарки, и те уже перестают гордиться житьем у генералов. В одном сатирическом журнале кухарка жалуется другой, что “теперь всяк говорит: я сам себе генерал”. Иного рода и характера смятение доставляет “превосходительство” в домашних беседах и в коллегиальных заседаниях: тут “превосходительство” как бы отомщевает за себя тем, что портит разговорную речь беспрестанной присыпкой: “я вашему пшество говорил”, “нет, ваше пшество мне не говорили”, “ах, ваше пшество, верно, не расслышали”. И так далее до бесконечности и, можно сказать, до тошноты. От этого неуместного и смешного присказничества страдает и наполняется канцелярского безвкусия русская живая речь, и это не только в заседаниях, где тоже надо бы говорить дело, а не комплименты, но даже и в гостиных, при дамах. Есть чиновные дома, где и самих дам отитловывают... Все это давно осмеивается, но тем не менее все это продолжается и ныне дошло уже до такой степени пресыщения, что умный человек из купечества поднимает голос, чтобы оградить от такого события свое торговое сословие.

Сыты!

Что касается надписаний на конвертах, о чем упоминает г. Кокорев, то надписи в русском вкусе бывают очень разнообразны. Пишут купцам: “его чести”, “его милости”, “его степенству” и даже пишут и “его высокостепенству”, а когда просят у них “корму”, тогда титулуют их и “высокопревосходительствами”. Это, конечно, так и останется, хотя бы решено было не признавать генералов из торговцев за превосходительства. “Называться” у нас можно всякому как угодно: это еще разрешено Хлестаковым Бобчинскому.

– “Пусть называется”.

По части надписаний замечательно другое: почтовые письменосцы рассказывают, что наверно треть адресов нынче надписывается с титулованием адресатов “превосходительствами”. Это опять, без сомнения, свидетельствует не то, что “русская нация” возлюбила “превосходительство”, а то, что она изволит им со скуки забавляться. Я еще недавно видел проштемпелеванный письменный конверт, на котором была надпись: “Его превосходительству Александру Семенычу Бакину в своем заведении”. Бакин же этот оказался трактирщик, и тот, кто адресовал письмо “его превосходительству в его заведение”, конечно знал, что он пишет не генералу, а что он просто балуется – смеется над генеральством. Почтальон кидает письмо на стойку, крикнет на смех: “Генерал, получи!” – и бежит далее. Публика “грохочет”. Шустрый парень похвалится:

– Дай срок, и я дяде Миките адрист с генеральством надпишу. Ребята смеяться будут.

И пишут, да и хорошо делают, потому что, в самом деле, пока человек живет, ему все чести прибывает, а другой человек издалека лишен возможности знать: на какую он степень зашелся.

В Петербурге еще недавно жил в собственном доме, на Бассейной, присяжный стряпчий Соболев. Он был известен как казуист в своем роде и кроме того написал в свою жизнь множество доносов – особенно на Некрасова, В. Ф. Корша и А. А. Краевского (он открыл, что Корш – венгерец). Черновые этих произведений проданы на вес букинисту Николаю Свешникову, а у него куплены мною. Этот стряпчий обращал внимание правительственных лиц и на злоупотребления в выставке несоответственных титулов на адресованных письмах и предлагал меры – как это прекратить. Такие письма он предлагал “не доставлять”, но, вероятно, его предложение оставлено без внимания.

Большой беды, однако, во всем этом, может быть, еще нет. Покойный Аксаков предлагал когда-то сразу всех “произвести в дворяне”. Тут русские люди делают нечто в том же роде: они сами себя “в междуусобной жизни” возводят в превосходительство, и таким образом все безобидно выравниваются, но значение превосходительного титула на скале серьезного почитания, конечно, так глубоко уронено, как никогда не ронялось ни “благородие”, ни “высокоблагородие”, ни “степенство”. Но почему живой народный ум вышучивает одно “превосходительство”, а не вышучивает ни благородия, ни высокородия? Не потому ли, что благородные и высокородные сохраняют за собою “имя человека”, а с превосходительным титулом соединился неприятный русскому чувству обычай упразднить в разговоре

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
человеческое имя? В одной раскольничьей книге прямо осуждается “вести речь не по имени человеку”. [212] Следовательно, превосходительное титулование главным образом досаждают не на бумагах, а в живых общественных сношениях между людьми. Это неважно для нас, частных людей, не призванных думать “о престиже превосходительства” – в надписях и бумагах. Так как с почина г. Кокорева теперь довелось об этом говорить, то нам дороги не адресации, а наша русская разговорная речь, – дорого наше общежитие и наш прекрасный язык с его характерною теплотою обращения, и о том, что нами в этом отношении утрачено, мы вправе напомнить обществу. Пусть генералов из торговцев пишут по бумагам как угодно, но пусть люди хранят вне службы свои имена, какие (по Феокриту) “всяк при рождении себе в сладостный дар получает”. Это может сделать само общество – даже женщины, если только они последуют завету императрицы Екатерины, чтобы входящие в дом их “оставляли чины за порогом”.

У нас еще в очень недавние годы жили дамы, которые были к этому чутки и очень умно стояли за хороший вкус в своем доме.

Позволю себе ввести здесь маленький рассказ из собственных личных воспоминаний.

В Кромском уезде Орловской губернии, в селе Зиновьеве, жила помещица Настасья Сергеевна, рожденная кн. Масальская. Она в юности получила блестящее образование в Париже и пользовалась общим уважением за свой ум и благородный, независимый характер. Состояние у нее было среднее (пятьсот душ), но хорошо поставленный дом ее был открыт для званных и незванных. Ее очень почитали и ездили к ней издалека, не ради пышности и угощений, а “на поклон” – из уважения. В зиновьевском доме было хлебосольно, но просто, приятно и часто очень весело. Кроме того, зиновьевский дом был также в некотором роде источником света для округа. Большинство соседей брали здесь книги из библиотеки, унаследованной хозяйкою от Масальского, и это поддерживало в окружном обществе изрядную начитанность.

Когда меня мальчиком возили в Зиновьеве, Настасья Сергеевна была уже старушка, но я отлично ее помню и с нее намечал некоторые черты в изображениях “боярыни Плодомасовой” (в “Соборянах”) и “княгини Протозановой” (в “Захудалом роде”). О ней говорили, что “она всем дает тон”, и вот что я раз видел насчет этого тона.

В губернаторство кн. Петра Ивановича Трубецкого (которого Настасья Сергеевна “не желала видеть за грубость”) прибыл из Петербурга в Орел сановник или важный чиновник Телепнев. Не могу вспомнить, какая у него была должность, но только он приехал по высочайшему повелению для каких-то расследований по делу о поджогах и о еретиках двух сел – Большой и Малой Колчевы, высланных впоследствии на Кавказ или в Сибирь. По моему тогдашнему ребячеству я в точности этих дел не разумел и теперь подробно сказать о них не могу, но только касалось это именно того, о чем я упоминаю. Телепнев сам происходил, кажется, из орловских дворян, но возвысился по служебной карьере в Петербурге. В Орле он был встречен отменно и с “притрепетом”: к нему не знали как подойти, но очень радовались, что он “губернатору нагнал холоду”. Все около Телепнева вертелось, искали чести ему представиться, и кто этого достигал, те ему льстили и лебезили, друг на друга ябедничали, – доносили на губернатора, на опеку и на предводителя Глебова, которого сами опять бессменно много лет кряжу выбирали в ту же должность. Телепнев был, кажется, “прозорлив”, он держал себя гордо и свысока “всматривался в губернатора”, деяния которого, впрочем, слишком ярко горели у всех на виду. С Телепневым были два “привозные чиновники” с приснопамятными именами: Иван Иваныч и Иван Никифорыч. Эти посещали избранные дома в обществе и рассказывали, как много значит их принципал и какие он перед своим отъездом получил от государя Николая Павловича словесные полномочия. Помню, что все повторяли, будто государь, кроме данных Телепневу инструкций – еще особо в продолжительной аудиенции, “проводил его до дверей кабинета и все еще растолковывал”. Что тут было правда, что неправда, ничего не знаю, но только перед Телепневым, как говорится, все в лоск клались и находили удовольствие поползать.

О святках, именно на второй день рождества, к Настасье Сергеевне в Зиновьево съехались гости – “поздравлять старушку с праздником” Собрались, по обыкновению, к обеду, с тем чтобы проводить вместе весь день и разъехаться вечером после ужина. Собрание было пестрое: соседи дворяне, достаточные и бедные, приживалки и приживальщицы, уездный казначей из Кром, который “получал к празднику живностию за то, что не притеснял крестьян по квитанциям”; уездный доктор, дьяконица Марья Николаевна (которая была, собственно, дьяконская дочь, – робкая пожилая девушка, особенно уважаемая Настасьей Сергеевной “за добродетель и скромность”),

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
“англофасонистый” кромской предводитель князь Александр Алексеевич Трубецкой (“оратор, агроном и мот”), пышная красавица Шубина и испитой, сухой дворянин Казюлькин, по прозвищу “Нетленное Фигаро”. Это был, что называется, “субъект”. [213] Он жил в холодном, полуразрушенном доме в своем разоренном именье при впадении Гостомли в Рыбницу, одевался в венгерку с шнурами, отлично говорил по-французски, весь свой век разъезжал по гостям на ледащей тройке в веревочной упряжи; сватался ко всем барышням и от всех получал решительные отказы, но нимало этим не обижался; довольно мило играл на цитре и охотно “представлял” на вечерах Гамлета, Танкреда и ослепленного Велизария. Домой он попадал только изредка, и то случайно и неохотно, ибо здесь, “по неосторожности своей, зависел от ключницы”. Словом, сбиралось множество гостей, и вдруг, совершенно ни для кого неожиданно, из окон залы заметили еще незнакомый возок на почтовых, и через несколько минут человек докладывает о Телепневе (как его звали по имени и отчеству – не помню).

Хозяйка приказала “просить”, но сама осталась на своем диване, – зато многие гости пришли в замешательство. Они закопошились и начали охорашиваться, а дьяконица Марья Николаевна тотчас же соскользнула со стула и уплыла вон в дальние комнаты к экономке. Кроме самой хозяйки, только один еще дворянин Казюлькин, по прозвищу “Фигаро”, стоял твердо и держал себя с достоинством. Он даже начал пощипывать свои редкие усы, что у него обыкновенно выражало неудовольствие и гнев и предшествовало часто какой-нибудь резкой и нелепой выходке.

При такой-то обстановке Телепнев вошел. Как человек воспитанный и светский, он умно представился хозяйке, получил ее привет и был усажен в ближайшее к ней кресло. Но тут сейчас и пошла порча компании: дворяне стали к Телепневу приближаться, подсесть, и слышалось величание его “превосходительством”. У хозяйки раз и два тряхнулись на чепце оборки, а Фигаро начал переходить от одного гостя к другому и язвительно шептал:

– Что же вы далече сидите?.. идите поближе и повеличайте его превосходительство.

Потянуло по зиновьевскому дому таким тоном, про какой тут и не слыхивали. Даже две дамы уже запревосходительствовали.

Фигаро смотрел на хозяйку с выражением ужаса и гнева и показывал ей глазами, что “это невозможно”!

– Я, мол, свое дело исполняю, я стою на страже и кричу: “Татары идут!”, а ты знай, как их отражать.

Вскоре это и случилось, и Фигаро был утешен: когда один из гостей особенно зачастил “превосходительством”, хозяйка извинилась и поправила его, сказав:

– Нашего почтенного гостя зовут так-то и так-то. (Она назвала Телепнева по имени и по отчеству.)

А через несколько минут, когда другой опять запревосходительствовал, – она опять сделала то же самое, и когда начал такую историю третий, то Телепнев уже сам сказал ему:

– Мое имя и отчество – если угодно – так и так.

Настасье Сергеевне это было очень приятно, а “Фигаро” перестал щипать усы, и опять настал “простой тон”, как всегда бывало: гости смеялись, шутили, весело отобедали, потом катались на тройках, из которых одною превосходно правил князь А. Трубецкой, а Фигаро выехал на своих одрах в веревочной упряжи, и в его-то ветхие сани сели самые милые дамы и барышни и с ними заезжий вельможа. Фигаро захотел отличиться, вздумал обгонять заводских коней Трубецкого и всех своих пассажиров вывалил, а одров утопил в сугробах. Дамы и сановник, вываленные в снег, возвратились в дом пешком и были в таком веселом расположении, что смеху и шуткам не было конца. Телепнев хохотал больше всех и даже участвовал в присуждении наказания для Фигаро, который должен был за свою неловкость танцевать качучу с кастаньетами в женском платье. Когда же вечером Телепнев, спешивший в город Кромы, уезжал ранее других, хозяйка провожала его до передний и, проходя с ним через библиотеку, извинилась (она любила извиняться) и сказала ему по-французски:

– Вы меня, пожалуйста, извините, что я давеча говорила всем ваше имя: у нас разговор в другой форме не в обычае. За хлебом за солью все равны... Я ожидаю, что вы мне это простили и не сочли за неуместное.

Телепнев улыбнулся, почтительно поцеловал ее руку и отвечал, что он сохранит самое лучшее воспоминание о ее милом обществе, в котором провел очень приятный день в жизни.

– Ну, а я благодарю вас еще более. И нам в вашем обществе было очень приятно. А если бы иначе, то все бы начали себя другим образом чувствовать... неодинаково... Марья Николаевна, которая в желтой шали, дьяконица, она мне большой друг, я ее уважаю за добродетели, а она бы сконфузилась и убежала, а Казюлькин очень добрый и благородный, но легко обижается и может колкость сказать.

Дворянин же Казюлькин и сам выступил на сцену: когда сановник в передней одевал шубу, он отвесил ему поклон и сказал напутствие:

– Счастливым путь и всего хорошего. Как честный человек и дворянин, прошу пожать вашу руку. Казюлькин. Очень рад, что вам было весело. Нагоняйте губернатору холоду, а сами не простудитесь, захватите от нас тепла в шубу. Я просьб не имею, но буду иметь честь вам представиться.

И он действительно ездил на своих одрах и мочалах в Орел и сделал Т – ву “визит без надобности”, но не был принят и не обиделся.

– Что же такое, – говорил Казюлькин, – здесь он свой тон держит, а мы там свой выдержали. Это порядок: всякий бестия на своем месте.

Приходский иерей при погребении Настасьи Сергеевны отличился тем, что сказал действительно правдивое слово: “Сия-де была для многих примером: она о всех лучше предусматривала и учреждала в своем домостроительстве; она совмещала благородство с простотою и разум со снисхождением; она соединяла вкуче разлученные неравенством, якобы все были равны во имя всех создавшего бога”.

Исчезновение таких дававших тон обществу хозяек есть чувствительная утрата в нашей общественности, и она теперь сказывается скукою домашних собраний и всем тем, что мы видим, наблюдая всеобщее и повсеместное неумение жить сколько-нибудь весело, даже при огромнейших затратах. Веселье и ум удалились, а их заменили шум и дорогостоящая аляповость, которую раньше всех стали вводить у себя “прибыльщики” и “компанейщики”, принесшие собою очень дурной пример и соблазн в общежитие.

Великорусская народная поэзия представляет самыми мелочными и ненасытными честолюбцами купцов: купец постоянно в звать лезет, он “мошной вперед прет”. Не заслугами, а опять “мошной родства добывает и чести прикупает”. Купец “к князю за стол мостится”, купец “в пуд медаль ищет”, он “с дворянином ровняется”, дочь за майора выдает, за сына боярышню сватает, на крестины генерала просит и т. п.

Малороссийская поэзия, изобилующая наивным юмором и ирониею, тоже уловила и осмеяла эту черту, представив, как русским купцам везде всё кажутся чины и знатность. Это находим в смешной песенке, как “комарь с дуба упал”. Он летел с страшным стуком и грохотом и расшибся до смерти; а хохлы подняли своего комаря и похоронили его с большою почестью. Они “изробили комарику золотую трумну (гробницу), красным сукном ее одевали, золотыми цвяшками ее обивали”, а потом “высыпали (то есть насыпали) комарику высоко могилу”. Могила далеко завиделась. Тут сейчас и появляются великорусские купцы из Стародубья. “Едут купцы-стародубцы, пытаются: що се за покойник: чи то грап, чи князь, чи полковник?” Иначе купцы не могли себе представить, чтобы народная любовь и усердие могли бы кому-нибудь “высыпати высоко могилу”. Но малороссийские паробки, стоя на могиле своего комаря, внушительно отвечают “купцам-стародубцам”:

Се не грап, не князь, не полковник,

А се лежить комарище – на все вїйсько таманище.

Так будто “хлопци втерли носа мосховьским купцам-стародубцам” и сами остались

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
великолепно сидеть и думать на “высыпанной комарику высокой могиле”.

Пресыщение важностью, о котором заговорили после получения превосходительных титулов торговыми людьми Ветхого и Нового закона, – тоже завели у нас купцы. На этот счет можно найти подтверждения у князя М. М. Щербатого в книге “Об упадке нравов в России.” и еще более в любопытнейшей книге Е. П. Карновича “Богатства частных лиц в России”. И это очень понятно, что разбогатевшие “прибыльщики и компанейщики” – люди без вкуса и без воспитания – не могли заботиться о “хорошем тоне”, которого они и не понимали, а искали только одного – “похвальбы знакомством с знатными особами, без различия внутренних их качеств”. Купцы первые начали без стыда и без зазора нанимать захудавших военных и канцелярских генералов “сидеть в гостях” на крестинах и на свадьбах. Вся забота шла только о том, чтобы за столом было кому говорить: “.ваше превосходительство”. Дворяне над этим снисходительно смеялись и говорили, что этому нечего удивляться, что прибыльщики да приказные, как люди невоспитанные и насчет чести и благородства равнодушные, не могут иметь благородной гордости. И действительно, что бы ни говорили о дворянстве, разность во вкусах оказалась несоизмеримая – дворянские кружки все-таки всегда были умнее и интереснее. “Тон” воспитанности и образованности, без сомнения, удерживался в “среднем дворянстве”, которое Герцен правильно назвал “биющейся жилой России”. “Прибыльщики” из дворян и из купцов в самом своем прибыльничестве держали себя не одинаково: дворянин (по Терпигореву) “ампошировал”, а купец (по Лейкину) “пхал за голенище”. Напханное за голенища держалось крепче. О простоте они понимали различно: что одним казалось лишней претензионностью, в том другие видели упрощение. Всеволод Крестовский где-то рассказывает, что один купец из евреев, произведенный в действительные статские советники, сказал ему:

– Зачем вы всё беспокоитесь припоминать мое имя: вы называйте меня без церемонии просто: “ваше превосходительство”.

Простота людям этого сорта не нравится.

Почтенный ветеран нашей литературы И. А. Гончаров в последних своих очерках о “слугах” правильно замечает, что “простые (то есть необразованные) люди простоты не любят”. Для благородной простоты, без сомнения, нужна воспитанность, но воспитанности у нас очень мало. Что в этом положении ни затей – все выйдет не в том вкусе, как хочется и как бы следовало.

Г-н Кокорев желает, чтобы жалованных в чины купцов не называли превосходительствами, а титуловали их высокостепенствами. Притом, как теперь превосходительство очень попримелькалось – высокостепенство, пожалуй, будет свежее и оригинальнее, но все это ведь только новые фантазии на ту же старую тему, и пользы от этого никакой. С высокостепенствами может случиться то же самое, что происходит с превосходительствами, и “сын отца не познает”.

Есть опыты еще в ином роде: в Москве около “великого писателя земли русской” и здесь между его почитателями крепнет “содружество простого обычая”. Весь неписанный устав этого союза заключается в сохранении благопристойной простоты в жизни – люди эти сами освобождают себя от всего, что им кажется ненужным и излишним. Между прочим, они также не произносят и не пишут никому титулий, а называют людей прямо их собственными именами.

Велико ли тесто вскиснет на этой закваске – неизвестно, но во всяком случае в идее это проще и глубже, чем фантазия об учреждении “его высокостепенства”. На фантазии пойдут вариации, и разведется опять новая докучная басня.

“Ученейший Беда” (bedae), например, стоит, конечно, выше всех коммерции советников, а между тем его называют только “Беда достопочтенный” (venerabilis). А бывший московский генерал-губернатор Закревский, говорят, будто имел такую фантазию, что, призывая к себе одного из главных тузов московского торгового мира, называл его иногда “почти полупочтеннейший”. Вот какие можно выдумывать вариации! А потому, может быть, несколько правы те, кому кажется, лучше всего говорить просто: “здравствуйте, Лев Николаевич”, “прощайте, господни Кокорев”.

БИБИКОВСКИЕ “МЕРЫ”

Недавно между некоторыми газетами произошел обмен мыслей об университетских попечителях, причем было вспомнуто о попечительстве Бибикова и отмечен тот факт, что Бибикову “не приходилось призывать в университеты полицейские и

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
военные команды для подкрепления своего нравственного авторитета”.

Д. Г. Бибиков действительно в университет полиции и солдат не вводил, но нельзя сказать, чтобы во время его попечительства солдаты совсем не принимали никакого участия в исправлении погрешностей университетской и вообще учащейся молодежи киевского учебного округа. По крайней мере, многим известны два очень памятные примера в этом роде. Теперь небезынтересно будет привести их на память в виде исторической иллюстрации и поправки.

В Киеве жил и недавно скончался прекрасный практический врач и профессор Сергей Петрович Алферьев. Он занял профессорскую кафедру при университете в 1848 или 1849 году. Вскоре же он получил на свои руки одного юношу, из близкого покойному семейства. Молодой человек был достаточный дворянин и, поступив в число студентов, свел в тогдашнем студенческом круге “аристократические” знакомства. Между прочим, он был знаком с племянником Дмитрия Гавриловича, Сипягиным, который находился за расточительность в опеке, а нравственным руководителем и охранителем при нем был “учрежден” весьма известный впоследствии редактор “Домашней беседы”, Виктор Ипатьевич Аскоченский. Сипягин и Аскоченский жили в одном из флигелей генерал-губернаторского дома в Липках.

Студенты в бибиковское время позволяли себе сильные кутежи, за которыми следили педеля университетского инспектора Тальбера и один из его субинспекторов по фамилии Дудников. Он, однако, и сам был большой кутила и погиб странною смертью – упал у себя дома хмельной на ночную посуду, порезался и истек кровью (дело об этом напечатано в сборнике “замечательных процессов” Любавского).

В числе отчаяннейших кутил и счастливых волокит особенно славились Сипягин, Котюжинский и тот молодой человек, который жил у Алферьева и о котором теперь идет речь.

Раз студенты вели себя более чем нескромно и побили педеля, а потом оскорбили субинспектора. Дело дошло до попечителя.

Д. Г. Бибиков потребовал к себе Алферьева вместе с его воспитанником. Когда они приехали, то профессора пригласили в кабинет, а студента удержали в приемной. Бибиков расспросил Алферьева о семейном положении и образе мыслей молодого человека. Алферьев отвечал, что провинившийся студент принадлежит к хорошему дворянскому семейству, а образ его мыслей есть – легкомыслие.

– Барчук? – молвил Бибиков.

– Да, барчук.

– Оставьте его здесь, – я с ним поговорю.

Затем профессор вышел, а студента сейчас же позвали в кабинет. Алферьев подождал немножко в дежурной комнате, но не дождался выхода юноши, а зато видел, что почти тотчас, как студент вошел в кабинет, туда были позваны два дежурившие в передней жандарма.

Это заставило сильно обеспокоиться за юношу. От дежурившего же чиновника профессор узнал, что Бибиков прямо из своего кабинета послал молодого человека с этими двумя жандармами другим ходом во флигель. Тревога профессора еще более усилилась.

– Я считал его погибшим, – говорил Алферьев и бросился к Писареву (правителю канцелярии) просить о помощи.

Писарев был занят и принял профессора не скоро, так что Алферьев вернулся к себе домой часа через три, но зато, к крайнему его удивлению, он застал студента уже возвратившимся, и совсем не в той тревоге, в которой тот был с той минуты, как его потребовал Бибиков.

– Что с тобой было? – опросил Алферьев.

– Ничего особенного, – отвечал студент. – Бибиков был со мною даже очень ласков.

– Ты что-нибудь лжешь?

– Нет, право. Конечно... сначала он было немножко посердился, но потом... ничего... даже дал папироску и отпустил.

– Дал тебе папироску?!

– Дал.

– И ты у него курил?!

– Курил.

– Ты врешь, – а впрочем, это твое дело.

Так это и осталось.

Окончился год; молодого человека, покурившего у Бибикова папироску, перевели на второй курс; стало время студентам разъезжаться на каникулы. Веселые товарищи опять собрались на прощанье покурить за Днепром в трактире Рязанова. Питомец Алферьева был там же и, охмелевши, заснул на диване. А в это время у его товарищей вышло недоразумение с прислугой. Стали шуметь и кричать, что кого-то “надо бить”.

При слове “бить” спавший мгновенно пробудился, вскочил и заговорил:

– Бога ради, бога ради! Господа!.. Не надо бить, а то меня Бибиков опять выпорет!

Очевидцем этого события был в числе прочих покойный муж известной писательницы Марко Вовчок, Аф. Вас. Маркович, который сначала принял это за бред, а потом ужасно огорчился. Куритель после каникул в университет более не возвращался, а проф. Алферьев впоследствии не раз рассказывал этот анекдот многим, и из людей, которые его слышали, по сей день еще многие живы.

Подтверждение же этого события я слышал потом здесь, в Петербурге, от Аскоченского, который во время рассказанного события жил в том самом флигеле генерал-губернаторского дома, куда жандармы отвели молодого человека.

Аскоченский говорил, что он “по соседству слышал, как студент курил бибиковскую папиросу”.

– Вы, конечно, поняли, что там делалось?

– Разумеется – воздавали похвалу на полу.

– И вам не припало на сердце как-нибудь за него заступаться?

– Как?

– Ну, я не знаю как... Вы там жили и могли знать, к кому пойти, кого просить.

– Потому-то, что я все это знал, – я ничего и не сделал. “Припадание на сердце” могло принести только многосторонний вред и никакой пользы.

Был ли такой случай единственным во время попечительства Бибикова или подобные вещи повторялись по мере надобности, – об этом, по словам Аскоченского, “ничего достоверного сказать невозможно”.

После того как студент, оскорбивший педеля и субинспектора, выкурил у Бибикова папироску, явился и другой случай, который произошел вполне гласно и потому может быть рассказан без сокрытия имени пострадавшего.

Один взрослый ученик седьмого класса 2-й киевской гимназии по фамилии Шварц (сын зубного врача Адама Шварца и брат известного в Киеве акушера Александра Ад. Шварца) не стерпел придирчивости учителя и ударил его при всем классе. За это Бибиков велел его высечь перед собранием всех учеников 2-й гимназии, и приказание это было исполнено через солдат, и притом так, что молодой человек лишился чувств (помнится, ему дали двести ударов), а потом он был забрит в

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
солдаты и послан в отдаленную местность, где и находился очень долго.

Повторяю, что эта вторая история отнюдь не страдала прикровенностью, в которой, может быть, заключался недостаток внушительности первого случая. Несчастный и предосудительный поступок Шварца и постигшее его наказание были известны всему городу, и суровая расправа над ним всех привела в большой ужас, но через некоторое время опять случилось нечто с одним субинспектором...

Основываясь на сказанном, не следует ли прибавить к характеристике попечителя Бибикова, что он хотя и не призывал полицейских команд в университет, но пользовался, однако, такими их услугами, к которым ни до него, ни после него не обращался никакой другой попечитель.

О ХОЖДЕНИИ ШТАНДЕЛЯ ПО ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

В сказании сем не мало, но много писано неправды, и того ради еще бы отчасти нечто было и праведно писано, ни в чесом же ему яти веру подобает.

(Из соборного приговора 1678 г.)

Молодой человек, по имени Штандель, побывал в Ясной Поляне у Льва Николаевича Толстого и описал свое хождение в двух номерах “Русского курьера”. По общему мнению, он был нескромен и совсем не щадил Л. Н. и его друзей, которые показались этому путешественнику не такими умными и серьезными людьми, каких он ожидал встретить. За свою развязность и бойкость г. Штандель получил от некоторых газет очень основательные и вполне им заслуженные замечания, но все до сих пор касались этого дела со стороны нравственной, а никто не попытался отнести критически к фактической стороне штанделевского сказания. Между тем это довольно интересно и отчасти “возможно”. Возможно, например, проверить то: верно ли и основательно ли Штандель разузнает и наблюдает факты и точно ли и обстоятельно он их излагает в своих описаниях.

Предлагаю здесь кое-что в этом роде на пробу.

1) Г-н. Штандель написал (“Русский курьер”, № 244), что Ясная Поляна находится будто в Тульском уезде. Это неверно. Ясная Поляна очень близко от Тулы, но тем не менее она состоит в Кропивенском уезде, а не в Тульском.

2) Штандель пишет, что “первое здание сельца (Ясной Поляны) есть особняком стоящая маленькая церковь”. И это неверно. – Во-первых, селение, где есть церковь, называется не “сельцо”, а село, а во-вторых, в Ясной Поляне совсем нет церкви. Ближайший к Ясной Поляне приходский сельский храм находится на расстоянии двух верст.

3) Штандель рассказывает о “соседе” Льва Николаевича Толстого, г-не Кузминском, – как этот “сосед” будто “махнул рукой на свои пажити”, и вообще как он небрежно хозяйствует – “поздно встает и рано засыпает, придерживаясь традиций доброго старого времени”. Штандель думает, что “поздно вставать” – это значит “придерживаться традиций доброго старого времени”! И это неверно, но всего более г. Штандель ошибается в том, что у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне есть “сосед” – Кузминский. Такого соседа у Л. Н. – ч нет, а у него есть родственник (свояк) по фамилии Кузминский (председатель петербургского окружного суда), который просто гостит иногда в Ясной Поляне и гостил в то время, когда туда приходил Штандель. Ни хозяйства, ни построек, ни пажитей у г. Кузминского в Ясной Поляне нет, и яснополянское сельское хозяйство решительно ничего не приобретает и ничего не теряет от того, каких воззрений держится г. Кузминский на отвлеченные вопросы и в котором часу он засыпает и просыпается во время своих летних каникул.

4) По словам Штанделя, Л. Н. – ч познакомил его с “Павлом Ивановичем Гайдуковым, служащем при “Посреднике”. И это неверно. При “Посреднике” прежде не было и теперь нет служащего человека с фамилией “Гайдуков”, да и у Льва Николаевича не было в гостях “Гайдукова”, а был у него в ту пору Павел Иванович, да только не Гайдуков.

5) Штандель пишет: “на работу приходит он (Л. Н.), его дочь, Гайдуков и некая Марья Александровна. Она из крестьянок и, очевидно, пользуется расположением Льва Николаевича”. И тут сказанное о происхождении Марин Александровны несправедливо. Мария Александровна Шмидт вовсе не из крестьянок и даже не из так называемых низших, “непривилегированных” классов, а она дворянка, дочь доктора, женщина, получившая очень хорошее образование и занимавшая прежде должность

классной дамы в одном известном воспитательном заведении в Москве. Люди, имеющие счастье знать эту просвещенную, добрую и благородную женщину, уважают ее и почитают за “истинную христианку”.

6) В конце 6-го столбца Штандель сообщает, что Л. Н. говорил с “мужиком” и как этот мужик подтрунил над ним, Г. Штанделем. Это, однако, совсем не был мужик, а это был весьма известный художник Ге, который и мог позволить себе немножко пошутить с Г. Штанделем.

7) Штандель еще один раз обращается к Марье Александровне Ш., с полной уверенностью, что она есть настоящая необразованная крестьянка, показывает ее необразованность. Он пишет: “Марья Александровна охотница поговорить. Я заподозрил ее в неискренности убеждений. Странно как-то видеть крестьянку, выросшую в деревне и только понаслышке говорящую решительно обо всем. Когда Л. Н. сказал ей, что я работал в газетах, она с апломбом заявила (?!):

– В ретиратуре? (слышав раньше о литературе)”. Г-н Штандель, очевидно, был уверен, а может быть, успел уверить и кого-нибудь из читателей “Русского курьера”, что Марья Александровна по необразованности своей слышит слово “литература”, а сама не умеет чисто выговаривать это чуждое крестьянскому слуху слово и произносит “ретиратура”. Г. Штандель опять ошибается и смешит всех, кто знает, о ком идет дело. Та, о которой Г. Штандель говорит и которую он принимает за необразованную крестьянку, неспособную выговорить слово “литература”, – сама не чужда литературе, и вдобавок, ее участие в литературе почтенно, а не смешно и не скверно. “Ретиратура” есть шуточное слово, переделанное в насмешку из слова “литература”, и оно выпущено в свет совсем не Марьей Александровной в Ясной Поляне летом 1888 года. Оно бродит давно и повсеместно повторяется шутки ради теми, на чей взгляд кажется, будто в литературе идет что-то “ретирующее” или отступающее от добрых целей и заветов. Марье Александровне, очевидно, показалось, что и представленный ей писатель тоже принадлежит к “ретиратуре”.

Довольно удивительно, что Г. Штандель, который где-то “работает в газетах”, – никогда этого слова не слышал, а услышав, не понял его шуточного значения.

8) Штандель описывает, как он провел время “до обеда”, а потом, что подавали “за обедом” и чем угостил его от обеденного стола Павел Иванович не-Гайдуков, а между тем на самом деле Г. Штандель за обедом в яснополянском доме не был и даже издали не видал, как там обедают. Обедают в яснополянском доме в пять часов пополудни, а Штандель был в доме только во время завтрака и за столом с яснополянской семьей не сидел, а Павел Иванович не Гайдуков принес ему кушанье со стола, от завтрака, который Штандель счел за обед или по ошибке, или потому, что он, может быть, еще не знает, чем в русском доме отличается обед от завтрака.

И 9) При доме яснополянского помещика Г. Штандель видел “гору цветов”. На самом же деле при доме есть только небольшой цветник, как бывает при подгородных петербургских дачах, но никакой “горы цветов” нет. “Гора цветов”, равно как и церковь, которой в Ясной Поляне нет, но которую Г. Штандель тем не менее там “видал”, кажется как будто должны быть отнесены к числу видений, объяснить которые хотя и нельзя, но зато и доверять им не следует.

К этим коррективам, выбранным мною из письма моего доброго и правдивого приятеля Павла Ивановича не-Гайдукова, напिताвшего Г. Штанделя мясом в яснополянском доме, следует прибавить еще следующее замечание: Г. Штандель, оказывается, пробыл в Ясной Поляне всего только четыре часа. Из этих четырех часов он два часа провел в бодрственном состоянии, а два часа проспал в кабинете у Льва Николаевича. Из двух же часов бодрственного состояния Г. Штандель провел полчаса за мясным завтраком, который принес ему из общей столовой Павел Иванович не-Гайдуков. Следовательно, на все наблюдения и на философские разговоры с человеком такой всемирной известности, как Лев Николаевич, и на споры с не-Гайдуковым, с Ге и мнимую крестьянку Марьей Александровной Г. Штандель имел всего на все полтора часа, или девяносто минут. Да и в эти же девяносто минут он еще и поработал – сходил “барчуком, подвернув штаны, на грязный колодезь” и принес ведро воды, и слышал, как все над ним в это время смеялись.

Таким образом, выходит, что менее чем в девяносто минут Г. Штандель успел сделать девять совершенно фальшивых наблюдений, средним числом он каждые десять минут принимал что-нибудь одно за другое или даже видел то, чего совсем нет.

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

Это, думается, очень характерно и должно выразительно рекомендовать его наблюдательность и степень доверия, которую такой корреспондент в состоянии внушать к себе. А между тем именно с этой-то, чисто фактической стороны литературный опыт Штанделя о Льве Н. Толстом до сих пор оставался без надлежащего освещения, и потому он не пользуется всем тем вниманием, какого по справедливости заслуживает. Краткое восполнение в этом роде не будет излишним.

Приведенные мною фактические поправки к сказанию г. Штанделя во всяком разе свидетельствуют, что “в сказании сем не мало, но много написано неправды, и того ради, еще бы отчасти нечто было и праведно писано, – ни в чесом же ему яти веру подобает”.

Так судили и приговаривали соборы, и можно думать, что кто такому суждению и ныне последует, – тот ошибки не сделает.

ДЕВОЧКА ИЛИ МАЛЬЧИК?

(Десятый грех недостовверного Штанделя)

Г-н Штандель напечатал 31 октября в “Русском курьере” большие возражения против сделанных мною указаний на фактические неточности и ошибки, допущенные им 4 сентября в описании жизни и общества в Ясной Поляне. Замечаниями моими г. Штандель нимало не убеждается и не конфузится того, что он написал 4 сентября о яснополянском доме, – напротив, он желает сконфузить других, а на меня подействовать своими убеждениями. Полезный урок всегда хорошо получить от всякого, в каком бы возрасте ни находился поучающий, но опытность заставляет принимать всякое поучение с обсуждениями и с проверкою.

Г-н Штандель в новой статье своей (31 октября) пишет, что он наблюдал хорошо и в том, что у него случились ошибки и неточности, – не он виноват: мог-де и Лев Николаевич “перевернуть” фамилию. Марья Александровна и другие друзья Льва Николаевича теперь наводят г. Штанделя на воспоминание об “одичалых свиньях”, которые испугали этого молодого человека в Ясной Поляне, а мне он замечает, что для наблюдений отнюдь не всякому человеку нужно мною времени. Другому довольно только накинуть глазом или просунуть нос. Г. Штандель говорит: “Когда я вхожу в душную избу, я уже при входе духоту ощущаю; когда я подхожу к выгребной яме, я издали чувствую запах”. Я этому верю, но что г. Штандель верно передает то, что он видел в Ясной Поляне, – этому я не верю, и теперь (после статьи 31 октября) в его основательность становится еще труднее поверить, – и именно вот по какой нижеследующей причине. В статье 31 октября г. Штандель, упомянув о том, как Лев Николаевич Толстой мог “перевернуть” фамилию не-Гайдукова, – объясняет, как случилось и то, что сам он, г. Штандель, сделал неверное сообщение о г. Кузминском. Он пишет (31 октября): “Относительно г. Кузминского у меня говорилось, что встреченная мною деревенская девочка, указывая на расположенный по горе дом, сказала: “А вона усадьба-то – белый дом – то барина Кузминского”. Поверять слов девочки я не имел охоты”. Верю, но нельзя делать все только то, на что есть охота, – часто нужно бывает делать и то, к чему обязывает долг, – и это тоже порою выходит интересно и полезно. Этому и в нынешнем случае есть подтверждение. Прочитав, что г. Штандель 31 октября пишет о девочке, я справился с тем, что он писал 4 сентября о мальчике, и нашел, что это тогда было записано не на девочку, а на мальчика. Вот как это место читается в “Русском курьере”, 4 сентября, № 244.

“По улице пустота; только собаки лают и заступают дорогу. Встретился еще какой-то босоногий мальчик. “Ясная Поляна?” – спросил я его. Он испуганно метнулся с дороги и неохотно ответил: “Поляна”. – “Проводи-ка меня, мальчик, до графской усадьбы, – я тебе пятачок дам”. Мальчик остановился”.

Они идут, и мальчик (а не девочка) говорит г. Штанделю:

“А вона усадьба-то, белый дом-то барина Кузминского”.

Если г. Штандель даст себе труд хоть без охоты проверить, “как у него говорилось”, то он увидит, что “говорилось” именно так, то есть на мальчика, а не на девочку.

Г-н Штандель на меня сердится, что я его останавливаю мелочными указаниями на шаткость и сбивчивость его показаний. Что делать? И все дело-то это не очень крупного значения, а когда утрачиваешь к кому-нибудь доверие, тогда уже присматриваешься ко всему, что характеризует известную личность, но жалко то,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

что сам г. Штандель все старается еще увеличить сумму своих несообразностей! Зачем он 4 сентября написал, что разговаривал с “босоногим мальчишкой”, а теперь уверяет, что это была “девочка”, а не мальчик... Это совсем подрывает к нему всякое доверие. А он еще повторяет это два раза: “встреченная деревенская девочка”. – “Проверять правдивость слов девочки я не имел охоты”.

Последний несчастный опыт должен убедить г. Штанделя, что в его положении не лишнее проверять правдивость даже собственных слез, чтобы мальчики и девочки не прыгали один вместо другой и не становились обличителями крайней сомнительности всего повествования этого недостоверного, но “неунывающего россиянина”.

ВЕЛИКОСВЕТСКИЕ БЕЗДЕЛКИ

В сороковых годах молодые люди у нас, собираясь вместе, часто играли в фанты. Это теперь совершенно пренебрежено и оставлено. Никому от этого, разумеется, ни жарко, ни холодно, но вот что замечательно: в домах, где пробовали или пробуют возвратиться к покинутым фантам, – это теперь не удастся и не удастся потому, что задача фантов оказывается не по силам обществу. Это не важно, но это характерно! Задают, например, одну из стариннейших фантовых задач: “сказать три правды и три неправды”. Фант очень легкий, и достается он очень красивой молодой девушке, окончившей курс в известном образовательном заведении. Она живет в обществе, – или, как теперь опять говорится: “выезжает в свет”, – и “в свете” она, конечно, говорит и правды и неправды, но это тогда, когда она их не различает и сыплет, как снег из рукава, а когда по условиям игры нужно сочинить и подать “три правды и три неправды”, – она этого не может. Ей такое творчество оказывается не по силам. Она конфузится, краснеет, никнет и сходит с фанта сконфуженная, совсем не исполнив задачи, или просит себе “что-нибудь попроще”. Ей это слишком мудрено! А между тем бабки наши в своей молодости отделявали такие фанты без затруднений. Странное явление: лгать внучки могут, не хуже, чем в старину лгали их бабушки, а художественного творчества даже в области лжи и клеветы у них стало меньше, чем бывало в минувшее время. И шпильки и булавки как будто притупели...

Не меньше странного также обнаруживают фанты и с познаниями. Недавно в одном доме с реставрированными фантами молодому человеку с высшим образованием выпало: “назвать из того, что он видит, три предмета из царства прозябаемого, царства ископаемого и царства животного”. Молодой светский человек запутался в этих “трех царствах”, так что “и не вышел наружу. Сукно, холст и шелковая материя у него все пошли в “царство растительное”, но зато из царства животного он ничего не нашел перед своими глазами. Ему старались помочь – усиленно говорили о находящихся в комнате шерстяных тканях, горящих стеариновых свечах и его собственных перчатках, – но он все-таки не нашел ничего принадлежащего к “животному царству”.

– Но ваши перчатки! – подсказал ему кто-то потерявший терпение.

– Ах. Это я знаю, – отвечал молодой человек, – но они ведь не лайковые, а замшевые.

Так справляются с фантовой стариною, но есть кое-что и в новом роде.

Так как реставрация фантов все-таки обещает, кажется, побыть в моде, то к ней навстречу и в пособление спешит с своим предложением всегда на все тороватая коммерция. Вышли “альбомы призваний”. Это взято с английского. Обыкновенный альбомчик с печатными вопросами, против которых тот, кому выпадает фант, должен написать ответы. Их уже и прозвали: “Вопросные пункты”. Вопросов много – числом сорок шесть, и все они просты и кратки, но между тем с ответами на них, вероятно, встретится много головомщины. Вот для образца некоторые из этих сорока шести вопросов: Какую цель преследуете вы в жизни? В чем ваше счастье? Чем или кем вы желали бы быть? К какому народу вы желали бы принадлежать? Долго ли бы вы хотели жить? (вечно.) Какою смертью вы хотели бы умереть? (Я желаю быть бессмертным, – бессмертною.) К какой добродетели вы относитесь с наибольшим уважением? (к скромности, – при которой я могу быть виднее.) К какому пороку вы откоситесь с наибольшим снисхождением? (к честности.) Что вы более цените в женщине? (Доступность.) Ваше мнение о современных молодых людях? (Ребята теплые.) К чему вы стремитесь: покоряться или чтобы вам покорялись? (Проваливайте мимо! Мы сегодня уже подавали.) Ваш любимый писатель в прозе? (Маркиз де Саад.) Ваш любимый поэт? (Барков.) Ваша любимая героиня в романах? (Нана.) Ваш любимый художник? (Сухаровский.) Ваше любимое изречение? Ваша

любимая поговорка? какое настроение души вашей в настоящее время? Искренно ли вы отвечали на вопросы? (Против всех сих вопросов одна скоба и один общий ответ: “Убिरайтесь вы к черту!”)

С аглицкого или еще с какого обыкновения заимствована эта игра в “вопросные пункты”, но думается, что наша предупредительная коммерция не хорошо рассчитала и что у нас в эти альбомчики много писать не станут.

ХОДУЛИ ПО ФИЛОСОФИИ НРАВОУЧИТЕЛЬНОЙ

Несмотря на чисто русское свое название, “ходули” в старину назывались еще иначе. Есть книжка под заглавием “Ифика и политика, или философия нравоучительная”, со множеством гравюр, исполненных на меди. Она напечатана во Львове в 1760 году, и в ней на 51-й странице представлен человек на ходулях, изрядно смахивающий на г. Дорнона: он в легких полусапожках, в панталонцах диагоналями, в коротеньком тулупчике и в круглом колпачке. Под ним надпись:

“На высокоступцах чуден есть ходящий.

Но есть чудеснейший – высокомыслящий”.

“Ходули” называются в той книге “высокоступцы”, а объясняются они с точки зрения “нравоучительной философии” в следующем роде: “Детское обретается игралищное орудие некое: высоступцы или от дыбания дыбы именуемое. Которого игры составляюще малые дети употребляют сице: еже высшим им зретися подставляют высоступцы оные ногам и тако играюще ходят на них возвышении. Таковому неции детскому подобящеся уму, аки бы некоего возвышенно силою всех пред собою в низайших судят быти. Что же случается? Яко и дети оные множицею долу опровергаются, тако и сии горделивии еще горже страждут, изступлением бо ума содержими ни себя убо познавают, ниже сущия пред ногами зрят и падают иде (где), же не чают”. К тому же человеку, который поднялся на ходули, или на “высоступцы”, или на “дыбы”, – нравоучительная философия наставляет подойти и проговорить: “Что простираеши вью? Что вежди возносиши и яко всех держа так воздухошествуеши? Ни ли хотел бы еще да и крила тебе израстут? Человек убо сый, а уже летати ищешь! Волоса не можешь сотворите бела или черна, а уже не ступаеши по земли!.. Что же тя нареку? Аше ты реку пепел, и прах, и дым, и персть, то еще не изражу твою худость, и опухлость, и напыщение, и возгорение, и всю тщету твою”. Идущий на ходулях, или “высоступцах”, по философии “пепла всякого худейше бывает”, и его непременно ждет “скорая погибель”, а всем людям, просто по земле ходящим, это должно послужить к пользе и к назиданию: видя, сколь сие “есть многобедно”, все должны “взыскать отсюда во всем к полезному смирению”.

Вот добрый пример – как должно к самым малым вещам относиться, философски и нравоучительно! А кстати обращаю внимание, что тут же есть и разъяснение замеченной кем-то непонятности в том: почему говорится “конь поднялся на дыбы”? “Неужели-де и лошадей на дыбу поднимали?” Вполне ясно и очевидно, что тут разумеется не “дыба”, составлявшая орудие пытки (“виска”), а дыбы – ходули. “Конь поднялся на дыбы” значит, что конь взвился, что он как бы стал на ходули и “воздухошествует, и простирает вью, и вежди возносит, и летати ищет”.

НЕСКЛАДИЦА О ГОГОЛЕ И КОСТОМАРОВЕ

(Историческая поправка)

Только на сих днях я получил из Петербурга июньскую книжку “Исторического вестника”, где в первый раз прочел в подлиннике рассказ “о гоголевской жилетке”, сообщенный Иеронимом Иеронимовичем Ясинским со слов помещика Михольского. Рассказ этот уже был цитирован в некоторых изданиях, и гг. рецензенты признали его за “очень вероятный”, но мне он кажется совершенно невероятным, и я желаю изложить в нижеследующих строках, почему он невероятен.

Память таких людей, как Гоголь и Костомаров, без сомнения, стоит того, чтобы и в мелочах на них не наводили ничего напрасного. С этой точки зрения я и позволяю себе считать не напрасным мое вмешательство в суждения об анекдотическом случае с жилетом.

Вначале я должен напомнить вкратце: как это дело представлено у Иеронима Иеронимовича Ясинского, писавшего свое сообщение со слов помещика Михольского.

Некто Михольский, провинциальный фронт и человек, “тяготевший к аристократам”, приехал в 1847 или в 1848 году в Киев для того, чтобы “экипироваться” перед свадьбою; а один из его знакомых свез его к Михаилу Владимировичу Юзефовичу, который в ту пору ожидал к себе в гости Гоголя и собрал у себя к его встрече

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
молодых профессоров Киевского университета. В числе профессоров при этой встрече были будто бы “Павлов и Костомаров”.

“Профессора были одеты в новенькие вицмундиры и, в ожидании великого человека, переговаривались вполголоса”. Ожидали его очень долго, а когда Гоголь приехал и “Юзефович побежал” его встречать, “профессора, сидевшие перед этим, встали и выстроились в ряд”.

“Гоголь входил, понунив голову; на нем был темный гранатовый сюртук, и Никольский в качестве франта обратил внимание на жилетку Гоголя. Эта жилетка была бархатная, в красных мушках по темно-зеленому полю, а возле красных мушек блестели светло-желтые пятнышки по соседству с темно-синими глазками. В общем, жилет казался шкуркой лягушки” (стр. 596).

Гоголь повел себя перед гостями Юзефовича странно и неучтиво: он не отвечал на поклон “выстроившихся” профессоров и отделялся банальными выражениями, когда Юзефович “бросился представлять ему профессоров, называя их по именам: Павлов! Костомаров!” (597).

Ни одному из тогдашних молодых ученых Гоголь не подарил ни малейшего внимания, но “воззрился в жилет Никольского, тоже бархатный и тоже в замысловатых крапинках, но в общем походивший не на шкурку лягушки, а на шкурку ящерицы”.

Сосредоточась на жилете Никольского, Гоголь спросил этого франта:

“Мне кажется, как будто я где-то вас встречал... Да; я вас встречал... Мне кажется, что я видел вас в каком-то трактире и вы там ели луковый суп”.

Затем “Гоголь погрузился в молчание, глядя на жилет Михольского, и вскоре сделал общий поклон гостям и направился к выходу”.

Профессора только его и видели, но это их нимало не смутило, а напротив, они пришли в самое приятное настроение – стали есть и пить за здоровье Гоголя и кричать ему “многие лета”.

Причин странной неучтивости писателя никто из профессоров не доискивался, но помещик Никольский ее открыл, эту причину, и сообщил о ней Иер. И. Ясинскому.

“Это я отравил Гоголю жизнь своею жилеткою”, – сказал Михольский и в подкрепление своей догадки представил почтенному писателю следующие соображения.

На другой день после встречи Гоголя с Михольским у Юзефовича к Михольскому “прибежал жидок от портного” и “на милость бога” просил “уступить” пленивший Гоголя жилет за любую цену. При этом “жидок” рассказывал, что “приезжий из Петербурга господин купил себе жилет у Гросса (киевского портного)”, но та жилетка только “подобна” той, какую имел Михольский, а между тем “приезжий из Петербурга господин теперь требует: подавай ему точно такую, как эта”.

Михольский сейчас же отгадал, что “приезжий из Петербурга”, про которого упоминал еврей-фактор, есть не кто иной, как Гоголь (стр. 598), и жилета своего ему не уступил, а сказал:

“Ты хоть и Гоголь, а такой жилетки у тебя нет, как у меня!.. И хотя он три раза посылал – я не дал”.

Этим исчерпывается сущность исторического рассказа, который многим рецензентам показался “весьма вероятным”, а я его считав не только сомнительным, но даже совсем отвергаю возможность такого события при созданной Михольским обстановке

Я говорю, что рассказанного Михольским происшествия с жилетом не могло произойти в Киеве ни в 1847, ни в 1848 годах, ни позже, до самой кончины Гоголя, и вот тому мои доказательства.

1) Весь 1847 год Гоголь провел вне России, за границу, и, стало быть, в этом году Михольский никак не мог встречать его в Киеве у Юзефовича. Следовательно, событие, о котором Михольский рассказывал И. И. Ясинскому, можно исследовать только разве в пределах 1848 года; но тут мы увидим, что из всех указаний Михольского ни одно друг с другом не сходится и не согласуется.

2) Гоголь в январе 1848 года отправился из Неаполя в Иерусалим, а оттуда, весной 1848 года, приехал в село Васильевку, в Полтавской губернии, и жил в Малороссии целое лето. А потому хотя и возможно допустить, что Гоголь в конце лета или “по осени”, может быть, и заезжал в Киев, но он в это время никак не мог встретить там на вечере в числе профессоров Николая Ивановича Костомарова, так как Н. И. Костомаров, как известно, был арестован в Киеве накануне своей свадьбы, в Фомино воскресенье, 30 марта 1847 года, и в 1848 году уже находился на высылке, из которой не возвращался и во все остальное время у кончины Гоголя (1852).

3) Михольский сказал И. И. Ясинскому, будто посыльный “жидок” говорил ему, что “приезжий господин” (в 1848 году) “купил жилетку у Гросса”, но этому нельзя верить. Никакой “жидок” не мог сказать Михольскому такого вздора, потому что портного Гросса в 1848 году в Киеве еще не было, а лучшими и модными портными в то время были там: Червяковский, Мирецкий, и немного позднее – Вонсович. Портной же Гросс прибыл в Киев и просиял на киевском Крещатике только в 1855 или в 1856 году, то есть тогда, когда Гоголь уже перешел в лучший мир, а тело его было погребено на московском кладбище.

Особенно удивительно, как Михольский мог так напутать о портных, при посредстве которых киевским щеголям только и можно было хорошо экипироваться в 1847 или 1848 годах. В качестве франта Михольский, кажется, непременно должен бы знать, кто из портных был тогда славен в Киеве.

И 4) Михольский сказывал г-ну Ясинскому, что факторство о жилете вел “жидок, прибегавший от портного”, – но этого тоже быть не могло. В то время (при генерал-губернаторе Бибикове) в Киеве не было на постоянном жительстве ни ремесленников, ни посыльных из евреев. Единственное исключение представлял собою одиноко обитавший на Печерске “резчик печатей Давидзон”, который жил в Киеве по особенному усмотрению генерал-губернатора, “как ремесленник, необходимый для присутственных мест и почтовых учреждений”. Но этот Давидзон был человек очень старый и больной и на посылках не бегал, а почитал для себя за большую тягость даже то, что он должен был приходить и исполнять какие-то специальные занятия в кабинете почтового чиновника, на визитных карточках которого значилось: “статский советник Блюм, киевский почтовый люстратор”.

Итак, я считаю ясно установленным, что Гоголь в 1848 году не мог встретить в Киеве Костомарова, что жилета в 1848 году нельзя было покупать в Киеве у Гросса и что посыльные евреи в 1848 году по Киеву не бегали. А три такие нескладницы в одной маленькой истории о жилете совсем подрывают всякое доверие к рассказчику, и мне кажется, что Михольский, кроме “качеств франта”, которые заметил в нем Иероним Иеронимович Ясинский, обнаружил еще и качества человека чрезвычайно забывчивого или неискусного выдумщика.

Особа Михольского мне лично нисколько не известна, и самое имя это я впервые узнал только из “Исторического вестника”.

НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО

Словарь 1865 года, заключающий в себе “объяснение 25000 иностранных слов, вошедших в состав русского языка”, благодаря находчивости и ревности русских журналистов устарел и не удовлетворяет уже надобностям, которые ощущает и должен ощущать современный читатель. Новые слова иностранного происхождения вводятся в русскую печать беспрестанно и часто совсем без надобности, и – что всего обиднее – куются в тех. самых органах, где всего горячее стоят за русскую национальность и ее особенности. Так, например, в “Новом времени”, которое пустило в ход “эвакуацию” и другие подобные слова, вчера еще введено в употребление слово “экстрадиция”... Порта с Болгариею заключила конвенцию об “экстрадиции”... Если кто не догадается, что это должно значить, то пусть он не беспокоится искать “экстрадиции” в “словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка”, – там этого нового русского слова нет.

Пусть теперь не знающий иностранных языков читатель думает и гадает, что это такое значит “экстрадиция”?!

И. С. Аксаков говаривал, что “за этим стоило бы учредить общественный дозор, – чтобы не портили русского языка, – и за нарушение этого штрафовать в пользу бедных”.

Теперь бы это и кстати.

ЗАМОГИЛЬНАЯ ПОЧТА ГОНЧАРОВА

Люди, бывшие в переписке с покойным Иваном Александровичем Гончаровым, получают от лиц, исполняющих последнюю волю усопшего, – конверты, заделанные и подписанные старческой и слабою рукою почившего писателя. Надписи на конвертах сделаны с очевидным большим усилием, так что в иных едва можно узнать след сходства с гончаровским почерком, в его здоровое время. По дрожанию руки писавшего надо думать, что заделка этих конвертов составляла заботу И. А. Гончарова в самое последнее время его угасавшей земной жизни. В конвертах этих знакомые покойного писателя находят свои письма, которые они когда-либо писали Гончарову. Он все эти письма сберег и перед уходом отсюда, “из земного круга”, в бёрежи и в порядке аккуратно возвращает их замогильною почтою, и притом со всею скромностью, – запечатанными его хладевшею рукою, дабы ничей любопытный посторонний глаз не читал того, что не для него писано, и ничьи болтливые уста не разглашали того, что люди сообщали друг другу по тому или другому поводу для личного обмена мыслей, а не для “большой публики”. Человек этот, просивший у всех скромности к его письмам, находящимся в чьих-либо посторонних руках, показывает приведенным образчиком своих отношений к чужим письмам, что не одному себе “выпрашивал снисхождения”, как думают охотники видеть все в дурном свете, а что Гончаров действительно придавал большую важность неприкосновенности письма каждого человека и сам строго берег всякое чужое письмо от опасности открыть его тем, до кого письмо не касается, и сделать через то писавшему лицу рано или поздно совсем неожиданный, часто и очень неприятный и неудобный сюрприз – вдруг появиться у всех на глазах с своим писанием, назначавшимся только для известного лица, а не для всей большой публики...

Деликатность Гончарова не только приятно и отрадно видеть, как последний знак осмотрительного и опрятного отношения к людям именитого и достославного человека, но надо стараться остановить на нем внимание молодых людей, чтобы это не прошло бесследно, а дало бы хороший плод, возбудив в молодых людях охоту последовать примеру благородного старика. Такое исследование Гончарову можно бы оказать именно в знак глубокого уважения к его деликатности и к его завету щадить в каждом человеке – неприкосновенность его личных чувств и сношений его с людьми ему близкими. А кроме молодых, тут также есть урок и некоторым старшим людям, которые слишком не церемонились с попадавшими в их руки письмами сторонних лиц... Если деликатность Гончарова некоторые называют “крайностию”, то пусть говорящие таким образом вспомнят только, что за суета была поднята распубликованием писем Тургенева и Крамского! Как трясли их кости, когда оставшиеся на земле знакомцы этих покойников с азартом пережившего сверстника стали трясти свои “портфели” и вытащили из своих ящиков тургеневские письма и, наконец, предали их тиснению для разбора: кого, чем и для чего заденут и как оскорбят и опечалят?..

Пусть и случай, до которого касалось письмо, уже минул, или пусть даже ниже выяснилось все в обратном смысле и последующее совсем изменило отношение автора письма к тому, кому оно было написано... Все равно: ату его!.. Валяй! Печатай!

Жестокие нравы!

Если Гончаров клонит к крайности, то и те тоже влекли к другой крайности. Человек с деликатным чувством, конечно, не затруднится выбрать: какая из этих двух крайностей лучше.

СТРАНА ИЗГНАНИЯ

Под этим заглавием недавно поступила в продажу книжка, составленная из путевых очерков и заметок одного из известных ученых русских офицеров, Сергея Ивановича Турбина. Почтенный автор этих очерков на своем веку изъездил Россию во всех направлениях и имеет с нею хорошее знакомство, а также талант рассказывать виденное правдиво, образно и беспристрастно. Поэтому все появлявшиеся до сих пор заметки полковника Турбина всегда бывали очень интересны; ныне же вышедшая его книжка еще более полна этого интереса, так как в ней собраны очерки и картины краев отдаленных и малоизвестных. Это картины “страны изгнания”, то есть Сибири.

О Сибири писано немало, хотя и не особенно много; но то, что написано о ней полковником Турбиным, так непосредственно и своеобразно характеризует этот далекий край, что книжечка его никак не может быть лишнею для того, кто желал бы познакомиться с бытовою жизнью в “стране изгнания”. Рекомендую с этой стороны

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
упомянутую книжку, мы, конечно, не затруднились бы указать на обилие хороших замечаний автора об устройстве сибирского хозяйства и проч., но всех этих заметок не перечислишь, да и в одном беглом перечне их нет никакой пользы. Для того чтобы ознакомить читателя с интересной и необыкновенно легко читаемой книжкой Г. Турбина, гораздо лучше привести из нее небольшие, но очень живые сцены, яркие картинки, которые могут служить образцом мастерства автора рассказывать с задушевною безыскусственностью и простотою. Не затрудняясь особенно тщательным выбором, берем три встречи полковника Турбина: 1) с каторжным бродягою, 2) с ссыльным поляком и 3) с добровольными переселенцами.

Встреча с каторжным бродягой произошла в селе Заводоуховском, где полковник переменял лошадей и сварил себе раков и ел их. Вот как он рассказывает об этой встрече:

“Бряцанье цепи прервало мое гастрономическое наслаждение.

– Хозяин, что это такое?

– А надо быть, бродягу ведут.

Я выглянул в окно. Перед домом стоял рослый детина, с окладистой светло-русою бородой, в ножных кандалах, одетый в плохой побуревший армяк и стоптанные бродни, и при нем, в виде конвойного, дряхлый старичок десятский с палочкою.

– Подайте Христа ради! – проговорил бродяга.

Хозяин подал большой кусок пшеничного хлеба.

– Здравствуй, братец! – сказал я.

– Здравия желаю, ваше высокоблагородие.

– Ты какой губернии?

– Херсонской.

– Отчего же так чисто говоришь по-русски?

– Да я только родился в Херсонской губернии, а у меня отец и мать были русские.

– Ты, верно, из солдат?

– Точно так, ваше высокоблагородие.

– Где служил?

– В N кирасирском полку, ваше высокоблагородие.

– Имени не скрываешь?

– Никак нет, ваше высокоблагородие: Семен Васильев Сляров.

– За что же ты попал сюда?

– Долго рассказывать, ваше высокоблагородие.

Вот рассказ Семена Слярова, с которым мне еще раз пришлось встретиться:

– Служил я, ваше высокоблагородие, как уже докладывал, в N полку. Характер у меня, то есть, самый неподходящий: не уважил я раз вахмистру – тот ротмистру; расправа в то время была известно какая; я заартачился, до грубости дошел большой; ну, под суд отдали; прошел полторы тысячи и попал в арестантскую роту.

– А потом?

– Потом, ваше высокоблагородие, не мог потрафить в арестантской роте.

– И что же?

– Да ничего. Попал под суд, прогнали сквозь строй, лишен солдатского звания и сослан в каторжную работу в Александровский винокуренный завод; оттуда бежал, пойман, наказан плетью, с постановлением литеры Б. ниже локтя, с назначением в Петровский железный завод, откуда бежал вторично и добровольно явился в Омутинской волости.

– И не добровольно, а поймали, – вмешался десятский.

– Почтенный старичок, где же поймали? Как бы я хотел уйти, нечто ты укараулишь? Смотри.

Скляров тряхнул ногою, и деревенские кандалы слетели.

– Ты это видишь? То-то же!

– Куда же ты пробирался?

– Да куда глаза глядят. Мы, бродяги, всё больше так ходим. А что, ваше высокоблагородие, об манифесте ничего не слышно?

– О каком манифесте?

– Да вот памятник в Новгороде открывают, так по этому случаю?

Слухи и толки о манифесте по случаю открытия новгородского памятника в Сибири были повсеместны, и бродяги сильно на него рассчитывали.

– Что же теперь с тобою будет?

– Да ничего. Накажут плетью, поставят слово како (с. к., то есть ссыльно-каторжный) на руке и на лопатке и пошлют в нерчинское ведомство. Вы, ваше высокоблагородие, куда изволите ехать?

– В Иркутск.

– Бывал-с, город хороший.

– Послушай, Скляров, ты правду мне говорил?

– А на что же мне лгать? Приедете в Иркутск, можно справиться в экспедиции о ссыльных по статейному списку.

– А из нерчинского ведомства уйдешь, или оттуда трудно?

– Это, ваше высокоблагородие, глядя по делу. Трудного большого нет. Оттуда всего больше бегают. Года вот мои проходят – вот что-с! Мне ведь без года пятьдесят, ваше высокоблагородие.

На вид ему было не больше сорока.

– Надо полагать, ваше высокоблагородие, в Сибири недавно?

– Отчего ты так думаешь?

– Да нашим братом интересуетесь. Поживите, присмотритесь; тут нас много.

– По дороге буду встречать?

– Никак нет-с. Наши тут всё сторонами пробираются, маршрут свой имеют. До самой Бирюсы, то есть до иркутской границы, по большой дороге не ходим. Ну, а там если б ехали весной, то как бараны идут. Теперь, к осени, становится меньше, а всё будут попадаться. Только теперь настоящих старых бродяг мало; в тех местах по осени идут больше перваки. Настоящие мастера проходят раннею весной.

– Ты же из каких?

– Да я что, всего по второму. А есть молодцы: кругом шестнадцать, или кругом

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
Иван Иванович, значит весь в клеймах. По десятому и больше. Раза по два на приковку к тачке осужден.

Склярлов видимо одушевился.

– Ну, а встретишься с таким, ничего?

– Я, ваше высокоблагородие, докладывал – бараны, бараны и есть. Мухи не обидят, не то что человека. Христа ради попросят: дали – спаси господь; нет – на здоровье.

– Ну, кое-когда и забижают, – заметил хозяин.

– С голоду разве, да и то не всегда. А что вот этим калужским, что под Омутинским живут, об тех толковать нечего. Когда-нибудь припомнят.

Мне объяснили, что живущие в Омутинской волости новоселы-калужане очень часто ловят бродяг и представляют по начальству. Склярлов был задержан ими же.

– Послушай, Склярлов, ты человек бывалый, скажи, где лучше: в арестантских ротах или на заводах?

– Это, ваше высокоблагородие, как кому. Для человека свободного, например для мужика, для мещанина, для приказного звания, для господ, в заводах много лучше, сравнения нет, а вот для человека казарменного, как наш брат, – беда просто..

– Отчего же это?

– Да как же, с малолетства тебя одевали, кормили, вот привычки и нет, как с собою обойтись. В заводах дадут тебе паек, жалованье, – распоряжайся, как знаешь. А наш брат, известно, жалованье – в кабак, с пайком тоже обойтись не умеет: привык к готовому. А в арестантской роте я сыт, обут, одет; сидеть под замком привык сызмала, а работа не бог знает какая. Общество большое, всё свои. А вот свободным, так тем в арестантских ротах шибко круто приходится, особенно которые с Кавказа, а на заводах – ничего, скоро обживаются.

Расспросы и наблюдения, сделанные мною после, привели к убеждению, что эти слова Склярлова положительно верны.

Лошади были уже давно готовы, и нужно было ехать.

– Счастливо оставаться, ваше высокоблагородие! – крикнул по-солдатски Склярлов.

Я ему подал целковый, он не взял.

– Много даете, ваше благородие: вам дорога дальняя, – пожалуйста гривенник, больше не нужно”.

Вот и вся сцена, но какая глубокая, потрясающая и характерная сцена. Этот Склярлов стоит перед вами как живой, и стоит не оболганный и облаянный, а Глеб Успенский, а очищенный и омытый своею безропотною скорбью, которую передает с такою сердечною простотою г. Турбин.

Теперь образец сцен другого рода.

Автору начинают встречаться ссыльные поляки, из которых ни один не хочет сознаться, за что он сослан, и все объявляют себя политическими. Настоящие политические поляки их терпеть не могут и чуждаются, но тем не менее те все-таки отыгрывают свои политические роли. Лиц этого сорта очень много; но мы возьмем одно наиболее приятное исключение, – это поляк Z..., сосланный за продажу своей лошади, – единственный ссыльный поляк, не объявляющий себя политическим.

Вот что рассказывает о нем г. Турбин:

“На почтовой станции ко мне явился человек, показавшийся по наружности отставным солдатом, но прежде чем я успел предложить ему вопрос: где он служил? – я услышал от него такую рекомендацию: “Z., bytu cżłachcic z wielienskiego, rozbawionu wszelkich praw” (то есть бывший виленский шляхтич, лишенный всех

прав).

На мой вопрос: за что же он посбавлен прав? – я ожидал ответа – за что-нибудь в политическом роде, но услышал: “Za sprzedaz własnego konia”. [214] За этим последовал длинный и, как видно, много раз повторенный рассказ, что Z... продавал собственную лошадь, в которую вклепался “пся вяра жид”, и продавца судили и осудили как вора. В рассказе часто упоминались пани matka и пан брат, последний не иначе, как с прибавлением “бестия”. Не последнее место занимал также пан исправник, с прибавлением “галган” и “лайдак”. О пане городничем тоже было сказано, что когда Z... с лошадью был приведен в полицию и ему там сделали импертиненцию (дерзость), то он “сдубельтовал”, то есть отвечал тем же, с удвоением. Z... был единственный встреченный мною в Сибири поляк (а я их встречал много) без примеси политики. Не знаю, насколько справедлив рассказ шляхтича, но в литовских местечках не раз мне случалось видеть, как у бедняков крестьян и мелких шляхтичей отбирали их собственный скот по жидовским претензиям. А тут еще присоединилось ответное дубельтованье сделанной импертиненции.

Подъезжая к селу Осмутинскому, со мною встретилось десятка два подвод, возвращавшихся порожняками. Лица, одежда и самая упряжь показались знакомыми. Громко сказанные слова: ен (он) и яны (они) сразу объяснили мне, что это за люди и почему показались знакомыми.

– Здравствуйте, братцы! Вы курские?

– А курскаи, усе (все) как есть курскаи. А твоя милость откелича? С наших сторон, что ли-ча? – посыпались вопросы.

– Нет, братцы, я орловской, только долго жил в Курске.

– Орловской, что значит сосед, усе едино. – Ребята, снявши шапки, побросали телеги и обступили повозку. Молодые парни, по курскому обычаю, молча разинули рты (признак особого внимания). Душою я невольно перенесся на родину.

– Давно вы переселились?

– Дамно. Годов тридцать есть; ети усе понародились здесева; я мальчонкой пришел, – отозвался мужик постарше. – Стариков много примерло, а кое-какие ешшо есть.

– Где же вы живете?

– А тут поблизости, версты четыре.

– И где четыре! ня буде четырех, – три.

– Я тебе говорю, четыре.

– А я тебе говорю, три.

Спор поднялся”.

Полковник Турбин заинтересовался земляками и велел свернуть в их деревню, которую они называли “Плетневе”, потому что выселены из села этого наименования в Курской губернии. Описав весьма живо, кратко и картинно свой въезд в село и изменение в costume курян в Сибири, автор так описывает их тоску по родине.

“Поместившись в большой и довольно чистой горнице, я стал расспрашивать о житье-бытье, и мне рассказали вот что:

– Таперича ничего, как будто попривыкли, а попервоначалу – беда. Пуще всего бабы голосом голосили. У нас они, сам знаешь, привыкли два раза в год к Владычице, Знаменью Коренской божьей матери ходить, а здесь етаго заведения нетути – ну и тосковали. Другое, опять наша сторона садовая, а здесева нет тебе ни яблочка, нет тебе ни дульки, – етим скучали. Верить ли, отселева баб пять, должно быть, у Коренную, к девятой пятнице ходили. Что ж, бог привел, поворотились. Пробовали мы и яблони садить, семечками, стало быть; взойдет, растеть, а там пропадет. Что будешь делать. Климант такой, что ли-ча? А вот насчет хлебушка – ничего, земля уродимая. Пашаница растеть, рожь, только настоящей аржи тут самая малость, больше ярица. Скус тот же, а силы нет. Насчет скотинки тоже слободно, а чтоб

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
лошадей крали, как по нашим местам, здесева не слышать.

– А каковы соседи?

– Всякие есть: и худые и добрые... Насчет сибирских, мы их чалдонами дразним, больше чаями занимаются, а работать не охочи. Иные живут справно, а есть и нищета. А то вот недалеко новоселы калуцкие: к пахоте непривычны, народ лесной, то бедуют, то есть так бедуют, что боже мой!..

Подали самовар, и, нечего греха таить, кажется, не чищенный со дня покупки.

– Э, да вы чай пьете?

– Нет, мы к нему непривычны; молодые стали баловаться. Его мы больше про чалдонов держим: яны без етаго не могут.

– А чалдоны у вас часто бывают?

– А то как же? Известно, по-соседски: хлебушка когда купить, когда взять до новины.

– Разве у них нет хлеба?

– Есть, как не быть, да всё меньше супроти нашего, им так не спяхать: мы на том стоим”.

В этой заботе о хлебе притупляются и со временем врачуются или гаснут порывы *nostalgiae*, [215] и переселенец становится старожилом, а потом и туземцем, которого новые пришельцы, в свою очередь, станут дразнить чалдоном, а он их считать необразованными мужиками.

Удивительная эта привилегия нашего русского человека слыть образцом невежества даже среди своих же братьев, которые имели случай только обазиятиться, и у г. Турбина очень много чрезвычайно интересных наблюдений над этими пионерами русской цивилизации в Сибири, но мы уже остановимся на том, что рассказали. Кажется, и этого довольно для того, чтобы дать понятие об этой книге тем, кто ее не читал, но может прочесть с большим для себя удовольствием и с пользой.

Недавно нам довелось сказать в “Русском мире” несколько сочувственных слов в похвалу превосходным народным сценам П. И. Мельникова и указать, что не народный жанр в повествованиях этого рода опостылел читателям, а опостылела манера жанристов Успенских, Левитова и других, прославивших за специалистов в изображении народных сцен, тогда как их справедливее, кажется, просто считать специалистами для сочинения сцен нелепых и безвкусных. Теперь же мы очень рады возможности, говоря о книге С. И. Турбина, еще раз показать, что народные сцены могут быть и интересны и приятны, если у автора, который их рассказывает, есть настоящая наблюдательность, положительный ум и добрая воля оглядеть “Ивана Ивановича кругом”, а не с одной той стороны, откуда он пошлее, злее и отвратительнее.

Материал все тот же самый, но что под пером гг. Мельникова и Турбина, а еще более под пером г. Льва Н. Толстого выходит занимательно и прекрасно, то под другими перьями нередко становится безобразно и поистине отвратительно. В чем же тут секрет? Очевидно, в том, что народные сцены хороши, когда они пишутся людьми сведущими, талантливыми и чуткими, но сцены эти отвратительны, когда они сочиняются холодными паяцами, которые всегда имеют свойство надокучать своим кривляньем всякому, кто еще не извратил своего вкуса до того, чтобы предпочитать художника фигляру.

Впервые опубликовано в газете “Русский мир”, 1872 год, 9 мая.

ТОВАРНЫЕ КАБИNETЫ

С.-Петербург, четверток, 22-го февраля 1862 г

Журнал “Промышленность” заявляет мысль, которая, вероятно, не раз занимала уже умы передовых людей нашего промышленного мира. Мысль эта та, что для умственного и нравственного развития русских коммерсантов было бы весьма полезно устроить в думе библиотеку, музей товароведения и вечерние классы. Наше именитое купечество, вероятно, оказало бы щедрое содействие для первого обзаведения,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
издатели книг не затруднились бы сделать значительную уступку в пользу библиотеки, а наши ученые руководили бы преподаванием, составлением музея и пр. Получать книги из библиотеки на дом за ничтожную плату, обозревать ежедневно музей, слушать ежедневно лекции – это такие прекрасные вещи, которые мало-помалу привлекли бы серьезное внимание многих любознательных коммерсантов и весьма много способствовали бы умственному и нравственному развитию гостинодворских мальчиков и молодых приказчиков. Журнал “Промышленность” того мнения, что следовало бы сделать “обязательным для мальчиков посещение вечерних классов”. Что касается лекций, то здесь, по его мнению, должно было бы читать: промышленную экономию, товароведение, бухгалтерию и отчасти торговое право. Относительно музея товароведения можно надеяться, что появление его в Петербурге было бы встречено всеми сословиями с большим сочувствием, и никто не отказался бы от посильного пожертвования. Каждый потребитель пожелает узнать и признаки добротности товара, и лучшие фирмы, и сходную цену, а потому музей товароведения вскоре сделается настоящим справочным местом для всех жителей столицы и отличною школою для всего промышленного сословия. Образчики всевозможных товаров появились бы очень скоро со всех концов России, от всех производителей. Иностранцы не замедлили бы также украсить наш музей своими произведениями. Таким образом, мало-помалу музей товароведения, разрастаясь все больше и больше, сделается нашею постоянною всемирною выставкою, русскою товарною консерваториею и т. п. По примеру Петербурга вскоре, а может быть и одновременно, появились бы такие же музеи в Москве и в других центрах русской промышленной и торговой деятельности”.

Подобного рода пожелания мы как-то давно читали и в “С.-Петербургских ведомостях”. Несколько лет тому назад там шла речь о будто бы “замечательно богатом” товарном кабинете здешнего коммерческого училища; возвещалось даже опубликование его каталога; но вот прошли годы, а о товарном кабинете училища и о степени доступности его для публики ни слуху, ни духу о сю пору нет. Если этот товарный кабинет действительно не миф, то чего ж лучше, как поставить его в основу предполагаемой русской товарной консерватории?

УВЛЕЧЕНИЯ СЕРДЦА И ГОЛОС РАЗУМА

Из писем, которыми время от времени удостоивают нас некоторые из деревенских подписчиков “Северной пчелы”, мы могли заметить, что помещики начинают становиться в разлад с некоторыми из представителей местных мировых учреждений. Не имея полномочия давать гласность письмам, не назначенным для печати, и признавая многие из них даже неудобными к напечатанию, мы тем не менее считаем себя обязанными сказать несколько слов о характере сообщенных нам неудовольствий. Замечательно, что нет открытых жалоб на уклонение посредников от исполнения своих обязанностей по своекорыстным или иным неблагоприятным побуждениям. Все упреки, делаемые мировым посредникам, заключаются в том, что они действуют пристрастно в пользу одного из двух сословий, между которыми они поставлены. Неудовольствия эти, очевидно, происходят от того, что представители каждой стороны желают себе большей доли участия от посредников и, забывая трудное положение этих лиц, ставят их не медиаторами, а, так сказать, сословными адвокатами. Имея перед собою письма помещиков, временнообязанных крестьян и людей, проживающих в деревнях без всякого прямого соотношения к мировым учреждениям, мы сверяли тон выраженных ими неудовольствий. Неудовольствия помещиков на пристрастие посредников в пользу крестьян выражаются с скорбью, чувством негодования и некоторым разочарованием в возможности достижения целей, указанных мировым учреждениям. Письма временнообязанных крестьян большею частью имеют своим предметом жалобы на непонимание посредниками народных нужд, а не на лукавство или криводушие. К тому же число писем, полученных нами от временнообязанных крестьян, относительно к числу собранных помещичьих писем как 1 к 7, что можно отчасти объяснить безграмотностью крестьян и непривычкою к сношениям с общественными органами. Письма деревенских жителей, не имеющих прямых столкновений ни с помещиками, ни с крестьянами, ни с мировыми учреждениями, отличаются объективностью и составляют в наших глазах дорогой материал в настоящем вопросе. Не имея права не доверять ни первым, ни вторым, мы даем особую цену третьим, как показаниям людей сторонних и лично в этом деле не заинтересованных, а потому и свободных от чувств, волнующих крестьян и помещиков. Из всего, что мы перечитали, нам стало ясно, что не только помещики и крестьяне очень часто не довольствуются беспристрастием посредников и желают иметь в их лице каждый своего сторонника дома и сословного адвоката на мировом съезде, но и сами посредники очень легко впадают в такое сторонничество. Неблаговидных побуждений, вроде побуждений, обыкновенно движущих сердцами жрецов фемиды, им, однако, не приписывают; да и сторонничество это более выражается в

пользу крестьян, чем в пользу землевладельческого класса. Стало быть, здесь нет и места недостойным подозрениям: перекупить продажную совесть если кто может, то уж, наверное, не беднейшая сторона, не крестьяне, а симпатии посредников видимым образом склоняются на сторону крестьян.

Возможность такого вывода из полученных нами известий по крестьянскому делу значительно ослабила неприятное впечатление, произведенное на первый раз заявленными неудовольствиями. Несмотря на то, что сделанный вывод нисколько не устраняет существующего факта, – мы очень радуемся, что из него невозможен вывод иного свойства. Сожалея о недостатке строгого беспристрастия в мировых посредниках, обязанных служить правде, а не личным симпатиям, мы находим для них некоторое оправдание в том, что симпатии их ложатся на сторону слабую. В нашей стране это явление совершенно новое и весьма отрадное. В нашей стране написана басня (см. Крылова “Волк и ягненок”), по которой

У сильного всегда бессильный виноват.

У нас до сих пор еще никто не решился поднять голос против этого грустного замечания покойного баснописца, и мировые посредники первые позволяют нам, в их служебной деятельности, провидеть тонкую полоску молодой зари, готовой осветить день, когда не всегда у сильного бессильный будет виноват. Это доброе движение в пользу слабейшего всеми средствами челобитчика обязывает простить посредникам их некоторое неумение держаться на высоте строгой справедливости. Как люди слабые и с замираньем сердца глядящие на первые попытки народа заявить свое человеческое право перед теми самыми людьми, перед которыми это самое право, сжатое тяжелым гнетом произвола, так долго, долго молчало, – мы сами чувствуем во многих случаях невозможность роли холодного бесстрастного судьи и, может быть, сами впали бы в ошибки упрекаемых посредников. Но, призванные выразить на заявленные факты наше мнение и содействовать, по мере сил, уменьшению возникающих то здесь, то там неудовольствий, – мы обязаны заставить молчать свои симпатии и взглянуть на дело по совести и по разуму.

Мы сказали, что, с нашей точки зрения, увлечения посредников в пользу слабейшей стороны можно простить. Мы нарочно употребили слово простить и не написали вместо него извинить. У нас часто смешивают понятия, выражаемые этими двумя совершенно разнозначными словами. Что можно простить из уважения к душевному настроению человека и обстоятельствам, при которых это настроение выражается в характере его действий, того часто нельзя извинить, рассматривая эти действия с критической точки зрения по отношению к последствиям, которые они способны вызвать. Прощать можно сердцем, извинять только разумом, в силу обстоятельств, затруднявших или делавших вовсе невозможным неуклонное стремление к исполнению известных обязанностей. Посредников, жертвующих народу некоторую долю справедливости и беспристрастия, не простить за это так же трудно, как трудно извинить им уклонение от строгого исполнения обязанностей нелицеприятных разбирателей.

Если вникнуть глубже и внимательно обсудить последствия замеченного сторонничества, то в нем можно открыть временную пользу для народа и довольно капитальный вред для всего общества (из которого мы, как известно нашим читателям, не исключаем ни одного класса).

Временные послабления в ущерб справедливости приучают народ к изысканию средств обходить закон и поддерживают сложившуюся на Руси поговорку: “Закон, что конь, куда повернешь, туда и поедешь”. Мы не можем вполне разделять некоторых мнений “Русского вестника” о законности, которые он иногда высказывал не в связи с отстаиваемой им и нами теорией законодательства. По нашему мнению, в нашем положении о законности только и можно говорить в связи с этой теорией. Но мы не согласны оправдывать произвола, хотя бы и самого милосердного. Мировые посредники, по самому характеру своих обязанностей, поставлены в весьма выгодное положение. Они всегда могут поступать по справедливости, которая всегда доступна народному смыслу. Следуя этой справедливости, они никого не обидят, и если на них будут затем слышаться какие-нибудь жалобы, то жалобы эти принесут более чести их смыслу, чем бесчестия их репутации. Сверх того, неуклонным следованием по указанию строгой справедливости они укрепят в обществе прочное доверие к мировому учреждению и положат предел проидам и каверзам, к которым наше общество приучено бюрократиею. Понятное и простительное пристрастие посредников в пользу слабейшей стороны неминуемо должно отразиться на нравах представителей этого сословия весьма невыгодным образом для успехов преуспения страны.

Посредники могут со временем испытать то неприятное угрызение совести, какое испытывают родители, не держащиеся равных отношений ко всем своим детям. Семейные любимцы приобретают несчастную слабость всегда ожидать для себя исключительного снисхождения. Избалованные исключительною родительскою благосклонностию, они требуют такой же благосклонности и от сторонних людей, с которыми сталкиваются, выходя за порог отеческого дома, где нет родительских ласк, а где их ждут строгие обязанности гражданина. Жизнь для них делается тяжелее, чем для всякого другого, усвоившего себе понятия о справедливости и законе возмездия. Только тяжким путем внутренней ломки, производимой вследствие получаемых со всех сторон щелчков, они узнают ошибки своих воспитателей, когда большая часть жизни уже истрачена, а другая готова сложиться в ряд суетливых сборов к повороту, не доходя до которого умирают целые тысячи повихнутых в детстве людей.

Нынешние мировые посредники поставлены в такие отношения к народу, в которых можно найти много общего с картиною семейной неправомерности. Сословные перегородки падают; образование становится все более и более доступным для всех и каждого. С образованием для всех открыты все пути общественной деятельности. Новые мировые и муниципальные учреждения дают место участию всех сословий. Народ из своей крестьянской семьи вступает в права русских граждан и должен вынести за свою деревенскую рогатку не причуды избалованного ребенка, а любовь к справедливости, способность судить по ней и уметь ей повиноваться, как божескому закону. Справедливость и беспристрастие во всяком случае выше потворства, чем бы оно ни вызывалось. Гг. посредники и вообще члены мировых учреждений должны помнить, что нравственно возрастающее сословие само может со временем упрекнуть их в ошибках своего нынешнего воспитания и заставить их прочувствовать недостаток серьезности в отношениях к двум сторонам, которые они обязаны примирить, блюдя беспристрастно и справедливо обоюдные их интересы.

Гг. посредники, а еще более некоторые помещики, жестоко заблуждаются. Они, спустя рукава, полагают, что, после великой реформы 19-го февраля, благородная рука спокойно отдыхает от трудов по окончанию плана, который призовет людей, освобожденных ею от крепостного ярма, к участию в полной гражданской жизни. Пусть они верят, что эпоха летаргического сна для России минула! Пусть чресла наши будут препоясаны, дабы новые великие указания не застали нас, "яко тать в ночи"! [216]

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НА ПУТИ ГОЛОВОЛОМНОЙ НАУКИ

С.-Петербург, воскресенье, 29-го апреля 1862 г

Мы знаем, что первый убийца на белом свете был Каин и что страшное дело совершил он простою дубиной; знаем, что внук его отбил и насадил железный наконечник на эту дубину и, стало быть, из дубины вышло копье; знаем, что правнук его выгнул лук, натянул на него тетиву и придумал стрелы – те же, только усовершенствованные, копья; потом явился меч; за ним панцирь и шлем; мы знаем, наконец, что на этом изобретении гений человека на несколько тысяч лет приостановился.

Но вот явился чернец, искавший философского камня и нашедший – порох; за порохом явилась пушка; за пушкой – пицаль; за пицалью – ружье, сперва с кремнем, потом с пистолетом и нарезным стволом, и наконец явились нарезная пушка и броненосный фрегат.

На все эти вовсе не волшебные изобретения понадобилось человеку шесть или семь тысяч лет. Есть дело гораздо проще и несравненно вероломнее всех пушек и броненосных фрегатов. Стоит нагрузить несколько гондол бомбами, посадить в эти гондолы человека по три команды, подвязать их к воздушным шарам, подняться на воздух и бросить сотню, другую бомб на корабли неприятеля, стоящие в доках, на здания и стогны городские, на государственные и частные банки – не станет банков, не станет и кредита, или, пожалуй, наоборот: купцы окончательно сядут на мель; заводы и фабрики прекратят работы, работники помрут с голоду, а те, которые не помрут, возьмутся за дальнострельные ружья и постоят за себя; загорится междоусобица, пойдет резня такая, какие не раз бывали в старые годы, когда разгневанный господин и непокорный раб не давали друг другу никакой пощады. Поляется кровь рекой, и целые царства сотрутся с лица земли.

Ведь проект недурен? Сверх того, что недурен, он дешев, не отяготит ничьей государственной казны. И, пожалуйста, не бракуйте его, не говорите, что вы равнодушно не можете смотреть на эту бойню.

“Уж если горе пить, так лучше сразу!”

Прошли те годы, когда и люди дрались за славу, в потеху своих коноводов-завоевателей. В наше время пришлось жить тише воды, ниже травы или драться так, чтоб клочья летели, чтоб небу было жарко: ведь в настоящее время не возьмет никто друг друга за ворот за несоблюдение каких-нибудь китайских церемоний.

Проект, о котором идет речь, представляет и другие огромные выгоды. Ведь чтобы переносить таким образом по воздуху бомбы из одной области в другую, потребуется изыскать средства к управлению воздушным шаром, а найдите это средство, и вы будете удачливее Саула, сына пастыря Киса. Изыскав средство бросать бомбы, куда нам нужно, мы дадим политическую автономию всему человеческому роду. Мысль тогда будет свободна, как воздух. Шар земной обратится в общую для всех обитель; тогда законы и уставы не втиснут нас в какой-нибудь угол, в отрезанное пространство; с свободой возрастет и окрепнет наука; с наукой – доблесть; с доблестью – благоденствие, и мы заживем, как боги Олимпа! Такова доля, которую уготовала бы нам матушка Ева, если б не отведала запретного плода. Вот философский камень, до которого следовало бы добиваться нашим ученым.

Тогда сами собою разлетелись бы вдребезги все брони, все нарезные и ненарезные пушки Армстронгов и Эриксонов. Войска сделались бы бесполезны: их распустили бы восвояси. Порох шел бы только на начинку шутих; пушки переливались бы на котлы и кастрюли, мечи обратились бы в плуги и заступы; солдаты превратились бы в отцов семейств и в работников; подати уменьшились бы не наполовину, а на три четверти; государственный долг погасал бы без всяких потрясений; школы набились бы битком, а кабаки опустели бы, и тогда по всей земле гуляй да и только! Поищите, друзья мои, средства управляться с воздушным шаром: в этом средстве благоденствие рода человеческого.

И сдается нам, что не канет в вечность XIX век, не указав на это средство, и тогда на белом свете начнется такой переворот, перед которым все перевороты, пережитые дедами и отцами нашими, покажутся песчинкой пред громадным утесом. И не думайте, что при этом перевороте польется кровь, заревут пушки; нет, дети наши кинут под стол всю нашу философию и станут говорить о нас, как мы теперь говорим об антропофагах. То-то будет хорошее время! Идите своим путем, поборники Эриксона и Армстронга! Мы не пойдем за вами, а придержимся стези правды и разумной свободы.

УСТНОСТЬ И ГЛАСНОСТЬ

С.-Петербург, пятница, 6 июля 1862 г
Замечательный по своему беспристрастию в оглашении слабых сторон нашего негласного суда “Журнал Министерства юстиции” заявляет в июньской своей книжке следующий, к несчастью, вероятно, не единственный и не исключительный случай, весьма характеристически доказывающий, что таинственность решений, придирчивость и обрядность устарелых форм и пристрастность как результат злоупотребления личным влиянием и склонности играть смыслом слов закона в ту или другую сторону, глядя по ветру, сыздавна уже возбудили вполне основательное недоверие в правдивость наших судей. В этом сознается и сама почтенная редакция названного нами официального органа, и вот факт, только с одной стороны выказывающий в особом блеске талантливость наших чиновных судей в изыскании способов к тому, что на тривиальном языке известной породы людей называется “выжать сок” или “сделать срывку”!

В одном недалеком от столицы уездном суде, в июне 1853 года, производилось у купца с помещиком дело о взаимных между ними личных обидах. Купец этот проживал в имении своего соперника и держал у него на аренде дегтярный завод. Суд счел необходимым вызвать купца в свое присутствие и сделать ему священническое увещание. Купец явился, но суд потребовал удостоверения в его личности. Купец представил свой паспорт за 1851 год и приложил контракт на арендувание завода. Казалось бы, что требование исполнено? Но уездный суд решил, что так как у купца нет “узаконенного вида”, то заключить его в острог. Стряпчий не успел еще пропустить этого определения, а суд уже поспешил привести его в исполнение. Чрез несколько дней сын несчастного представил отцовский паспорт за 1853 год и просил освободить отца из острога. Но уездный суд нашел, что купец все-таки должен судиться за “бесписьменность”, а потому и представил на разрешение тв-ского губернского правления вопрос о том: следует ли арестанта, купца такого-то,

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

впредь до решения дела освобождать из острога? Пока пришел благоприятный для притесненного купца ответ, несчастный шестьдесят пять суток просидел в остроге ни за что, ни про что, а судьям все это, верно, прошло почти задаром!

Что действия уездного суда явно противозаконны, насильственны и носят на себе характер сословной раздражительности – это понятно каждому. Сам “Журнал Министерства юстиции” их не одобряет, и вот его суждения: суду вовсе не было надобности и никакого основания требовать от купца удостоверения в его личности; но, раз его потребовав, ему следовало удовольствоваться представленными документами. Если б даже у купца и действительно не было письменного вида, то и тогда он не мог подлежать заключению в острог, потому что по закону (ст. 1221, ч. 1, т. XV) за неимение письменного вида виновный подвергается лишь денежному взысканию. Сверх того, купцы и мещане подлежат (по статье 10 и 11, ч. 2, т. XV) ведомству городских магистратов и ратуш, а не уездных судов. Да наконец, спрашивает почтенный орган министерства юстиции, какое основание имел уездный суд удерживать купца в остроге после представления его паспорта сыном?

Мы сказали, что судьям проделка, по обыкновению, прошла почти задаром; ограничились, быть может, выговором, подтверждением или чем-нибудь вроде этого. Отдали ли их под суд, изгнали ли с судейского кресла; взыскали ли убытки, понесенные купцом – сколько от задержки течения его торговых дел, столько же и от срама, которому он подвергся невинно – это дело темное! Но мы видим, что от них высшее место требовало “объяснения”, и господа неумытные судьи, по свидетельству “Журнала Министерства юстиции”, в оправдание свое приводили – что бы вы думали? – они приводили в свое оправдание “неведение закона” и “злодейскую наруганность”, которой они испугались, хотя и не испугались сами кривить правосудием. Но точно ли в этой бесстыдной увертке наши правосуды руководились только крайним невежеством, а не иными, более грязными побуждениями – этого мы знать не можем. Официальный орган министерства юстиции обращает внимание публики на то, что в уездном суде, где сыграли с купцом такую не достойную суда драму, выборные члены были: один заседатель – отставной подпоручик, а другой заседатель и сам уездный судья – оба отставные поручики.

Мы вполне соглашаемся с почтенной редакцией “Журнала Министерства юстиции” во всем, в чем она не противоречит собственным нашим, уже не раз высказанным убеждениям; и потому с охотой выписываем собственные ее слова, смысл которых читатели наши часто привыкли встречать на столбцах “Северной пчелы”. Вот эти слова, знаменательные на страницах такого органа, каков “Журнал Министерства юстиции”:

“Чтоб ограничить злоупотребления нашей судебной власти, внушить народу доверие к судебным местам, – должно ввести публичность и устность. Они составляют нашу насущную потребность. Злоупотребление судей, бесконечно продолжающиеся процессы, несправедливые приговоры на основании мертвых протоколов, недоверие народа к суду – вот печальные факты, требующие немедленных и радикальных изменений!”

УЧЕНИЕ, СЛУЖЕБНЫЕ ПРАВА И СРЕДСТВА. – ЧИНОВНЫЙ ПРОЛЕТАРИАТ КАК ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННОМУ СТРОЮ

Замолкший с прошлой осени вопрос об университетах и вообще о русских учебных заведениях поднимается снова. На этот раз его возбуждает г. Скуратов, поместивший в “Русском вестнике” статью “Об организации и служебных правах нашей учебной системы”. Имея в виду, что в настоящее время происходит рассмотрение проектов нового положения для университетов, гимназий и сельских училищ, мы считаем себя обязанными отозваться на статью г. Скуратова.

Читателю легко догадаться, что автор симпатизирует английской учебной системе и что статья его не идет в разлад с прежними статьями “Русского вестника”, на которые яростно накинулись все, не исключая “Times”’а и невиннейшего журнала, окончившего свое однолетнее существование под просвещенною редакциею г. Феоктистова. В осенних статьях по университетскому делу между прочим много говорилось об экзаменах и собственно о финансовой стороне вопроса. Г. Скуратов в своей статье касается того и другого. Оставляя в стороне собственно вопрос о существующих у нас университетах и не решая, какую роль они должны играть при общей реформе в нашей учебной системе, он полагает, что в них должно слушать лекции, а экзаменователем соискателей ученых степеней всего приличнее Академии наук или особым экзаменаторским комиссиям. Даровое или очень дешевое обучение, по его мнению, “если и может быть допущено, то разве только в народных первоначальных школах, а никак не в средних и высших учебных заведениях”. К этому заключению, с

которым довольно трудно согласиться, автор приходит, однако, на основании весьма логических построений. “Мы никак не можем понять, – говорит он, – почему и с какой целью народ может быть обязан на свой счет давать высшее образование обыкновенным, посредственным способностям, пока не доказано, что желающих учиться на свой счет недостаточно для снабжения государства нужным числом образованных людей в разных сферах общественной деятельности. Исключение может быть сделано из общего правила только для возбуждения соревнования учеников вообще и для доставления тем из них, которые покажут необыкновенные способности, возможности продолжать свои занятия, не кляня своей судьбы и не испытывая на себе сказанного Гегелем, что в душе, поработанной вседневными нуждами, нет места для свободной деятельности разума”. Г. Скуратов полагает, что “первая ступень реформы должна состоять в том, чтобы молодые люди получали в школах умственное и нравственное развитие, а учеными, по той части, к которой они будут чувствовать охоту, предоставьте им сделаться самим. Далее, чтоб воспитание в собственном смысле началось у нас или в закрытых заведениях, или в гимназиях, где учение производится по катехитической методе, а не посредством лекций, которые приличны людям, только вполне развитым и приготовленным к самостоятельной и полноправной жизни”. Г. Скуратову очень не нравится принятая у нас немецкая организация учебной части, и он безусловно сочувствует английской, где университетское образование – удел людей состоятельных, ибо годовое содержание студента, например, в Оксфордском университете обходится около 1500 рублей серебром. Отвергая немецкую организацию, по которой в Петербурге явилась академия, когда в России еще не было школ, г. Скуратов рекомендует организацию английскую, при которой обучение в высших заведениях, университетах, доступно немногим, но где зато есть очень хорошие школы, без расплывшихся программ и без права давать воспитаннику “вексель” на известное положение в чиновной иерархии. Г. Скуратов вообще против предоставления всяких исключительных прав людям за их образование, и мы, вместе с ним, тоже против этих прав. Положительно вредно для страны, если в ней учатся не для просвещения своего разума, а для получения патентов, которые Альберт де Брольи очень удачно назвал векселем, в силу которого “патентованный считает себя вправе получить какое-либо место. Если оно ему не дается, то он считает правительство, какое бы оно ни было, монархическое или республиканское, неисправным должником и делается его непримиримым врагом” (“Русский вестник”, июнь 1862 г., стр. 692). Г. Скуратов берет одно место из статьи г. Лескова (“Русские люди, состоящие не у дел”. “Русская речь”, 1861 г., № 52-й), где автор говорит, что “в последнее время у нас явилась весьма чувствительная цифра людей, воспитанных по программе, которая во второй четверти настоящего столетия составляла идеал русского воспитания, а потом вдруг признана несостоятельною, и воспитанные по ней люди поставлены лицом к лицу с неприятным положением не получить никакого запроса на свой труд.. Заштатные чиновники, вместе с множеством молодых людей, вышедших из учебных заведений, остаются у нас без дела и без хлеба. В одном Петербурге насчитывают в таком положении несколько тысяч человек; нет города, городка, где бы не встречалось этих несчастных прообразов пролетариата на земле русской”. К этому факту, взятому из статьи г. Лескова, автор очень удачно подставил “результаты из сочинения Рилья “Die bürgerliche Gesellschaft”. [217] Рилья говорит здесь, что “Германия производит более умственных продуктов, нежели сколько она может потреблять и покупать, что доказывает болезненное состояние национального труда, неестественное разделение рабочих сил. Несоразмерность воображаемого общественного положения с действительным выходит наружу преимущественно в этой группе. Какая насмешка над нашими государственными учреждениями, что в 1848 г. чиновники низших разрядов, эти воспитанники, приемши правительства, составили целые массы, стремившиеся к разрушению исторического общественного порядка, тогда как горожане, крестьяне и поденщики оставались спокойными! Именно тот самый общественный слой, которым правительство в Германии особенно занималось *ex officio*, [218] наиболее показывает следы общественного разложения. Исключительное предпочтение чисто умственного труда и пренебрежение промышленного с начала XVIII столетия овладело целым поколением, как изнурительная лихорадка. Бюрократическое правительство забыло о самостоятельных силах промышленности и торговли, потому что, по его воззрениям, судьбы общества зависели от ученого и чиновничьего люда. Вследствие этого покровительства и предпочтения, ремесленник, полагавший прежде свою честь в том, чтоб его дети и внуки продолжали его ремесло, считал своею обязанностью посылать сына учиться в университет. Бедные вдовы голодали и просили милостыню для того только, чтоб их дети могли выйти в ученые, и плакали от радости, когда за свои трудовые гроши доставляли им средство поступать в чиновничий пролетариат”. “Если таковы последствия казенно-литературного образования, получаемого во французских и немецких учреждениях, то едва ли может быть какое-нибудь сомнение, говорит г. Скуратов, относительно результатов, которых

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

можно ожидать в России, где с дешевизной казенного образования соединяется еще переход в высшее, привилегированное состояние (дворянство). И у нас так же, как в Германии, наиболее выходит наружу в этой группе несоразмерность воображаемого общественного положения с действительным, что делает из этих людей одно из двух – или честных, но недовольных врагов общественного устройства, или слишком довольных им взяточников”. Г. Скуратов признает вредным размножение дворянства: он указывает на то, что девять десятых московских нищих – дворяне; что испанские гидальго нищенствуют, питаются монастырскими подачками, в то время как рабочие пришельцы наживают деньги, и что польская шляхта, чванясь своими привилегиями, упустила из своих рук промышленность, захваченную евреями. Все это Г. Скуратов привел для того, чтобы доказать неуместность чуждого элемента, “внесенного в нашу учебную систему ошибочными мерами нашего законодательства”. “Наши ученые заведения, – говорит он, – рассчитаны именно на таких людей, которые пойдут в них не ради науки, а для приобретения чинов и прав дворянского состояния”.

Из всего сказанного видно, что Г. Скуратов считает доступность и дешевизну высшего образования для всех классов вредною, ибо она развивает в людях стремление к усвоению себе права привилегированного сословия, и потому он находит позволительным сделать это образование менее доступным. Мы смеем с ним не согласиться.

Зная английскую и немецкую организацию учебной части, мы находим, что для нас ни та, ни другая не годятся. “Times” или, пожалуй, его русский корреспондент вовсе не так опрометчив в своих суждениях об отношении нашего общества к учебным учреждениям, как это кажется Г. Скуратову и почтенному журналу, в котором напечатана его настоящая статья. Мы не можем желать, чтобы университетское образование обходилось дороже, и всякий цене для получения этого образования положительно отвергаем. Вот наши основания:

“Прообразы пролетариата на земле русской”, как выразился Г. Лесков в приведенной Г. Скуратовым статье, к несчастью, действительно существуют, но “явление это существует таким образом, что его самобытность непосредственно отрицается” Пролетариат этот явился у нас только частью вследствие “несоразмерности воображаемого общественного положения с действительным”, а главным образом его устроили другие причины, которых нет ни в Англии, ни в иной стране пролетариата, и общество наше здесь виновато только пассивным образом. Пролетариат чиновный создан весьма понятным стремлением заслужить себе известный чин для того, чтобы иметь известное положение в обществе, а главное, уйти от тягостей, лежащих на податных сословиях. Это произвело тот страшный наплыв людей в службу, который наконец произвел “русских людей, состоящих не у дел”, то есть русских пролетариев, неспособных ни к чему, кроме службы, и оставленных без службы. Это прямое следствие сословных привилегий, к которым каждый человек склонен стремиться, если привилегии эти обещают ему какие-нибудь выгоды в его быте.

“Умственных продуктов”, которых, по наблюдениям Рия, Германия производит более, нежели сколько она может потреблять, наша страна в таком количестве не производит. У нас положительно нет почти людей образованных, а есть люди, имеющие право служить за то, что они учились. У нас не только в уездных, но даже и в губернских городах люди с университетским образованием встречаются довольно редко, а с хорошим образованием, пригодным не для одной службы, еще реже. За примерами ходить не далеко. Журналистика наша не бог весть как велика, а в способных сотрудниках редакции встречаются довольно осязательный недостаток. Г. Скуратов указывает другой пример отсутствие хороших домашних учителей, лишаящее возможности давать детям домашнее воспитание. (Г. Скуратов – против домашнего воспитания, и мы на днях поговорим о его взгляде на этот предмет.)

В неспособности наших чиновных пролетариев ни к чему, кроме службы, виноваты, во-первых, предания, в которых зрело наше племя, во-вторых, недостаток задушенной с детства воли и энергии, и, наконец, несостоятельное учение по казенной программе, напоказ, да навыввалку. Тут ученье ради прав, а не ради науки сослужило свою службу и голосом всех “русских людей, состоящих не у дел”, вопиет об отмене этих прав в целях возведения науки в ее настоящие права открывать обществу пути к его благоденствию. Но делать высшее образование доступным только по какому-то ценсу – с какой же это радости? Да и на кого же надеяться – то, если положиться только на людей, отвечающих ценсу? Г. Скуратов приводит речь профессора Каченовского, по словам которого, люди известного слоя “являются в университет, как баричи, для того, чтобы просветиться слегка, смиренно получить диплом и потом гордо носить титул образованного человека в

кругу невежд... Эти господа собственно гости в университете, они граждане салонов, кроме того, есть люди, которые попадают в университет по ошибке, внося с собой военный дух и стремясь неотразимо в гусары". А если г. Скуратов уж привел это место из речи Каченовского, то какой же разговор заводить о доступности университетов только людям с известными средствами? Не верует ли г. Скуратов в быстрые превращения общественного направления? Мы так этому не верим и желаем, чтобы для пользы нашего отечества университеты были открыты и доступны всем и каждому. Г. Скуратов указывает на 16000 мировых судей, безвозмездно служащих английскому народу, которому выгоднее вместо денег платить почетом. Понимаем. Что ж? Давай Бог! Мы не ратуем за жалование от короны кому же нужны французские префекты? Но зачем же нам слой с исключительными правами на большую образованность? Тенденции г. Скуратова по сочувствию к английскому аристократизму могут оставаться своим порядком, ибо аристократизм в известном отношении отвергать не практично, да и нельзя, но поднимать цену ученья для того, чтобы бедные, но ленивые особи сословного аристократизма не шатались в числе нищих, а занимались непременно физическим трудом, – резонов не находим. Чванство, губящее нищенствующее русское безземельное дворянство, есть прямое следствие того самого китайского самообольщения, которое держит испанского гидальго у монастырских стен, а польского шляхтича в качестве придворного гаера у ясновельможного пана. Когда бы они были учнее и умнее, так не были бы тем, чем они есть. Они ленивы и гадки не вследствие того, что их приучили к умственному труду, а вследствие того, что они не приучены ни к какому труду.

Мешает делу науки стремление к чинам, дарующим дворянство, ну, и дай Бог, чтоб за обучение себя никаких "векселей" человеку не давалось, а дворянство само по себе бедного человека теперь не завлечет. С тем, как уничтожено крепостное право, как готовятся другие реформы, уравнивающие общественные тягости, – охота добиваться дворянства, кажется, уж отпала. Да и не все ли равно, если de potine[219] все будут дворяне? Для мирового института и для других прочих учреждений, когда таковые пожалуют, непременно установятся свои пределы, которых не отвергнет общественный смысл. Еще ни один дворянин из пашущих земель в Курской губернии никогда не заявлял претензии быть губернским предводителем дворянства и в совестные судьи не шел. Избирательный ценс совсем особая статья, и припутывать его к вопросу о доступности университетов для совершенно неразвитого государства просто... нехорошо. Мы желаем думать, что г. Скуратов увлекся англomанией, и не утверждаем, что...

Умысел другой тут был:
Хозяин музыку любил.

А что г. Скуратов говорит о финансовой стороне университетского вопроса, то это ни более, ни менее как изобличает в нем знакомство с политико-экономической наукой. Доказывать ему, что общество должно жертвовать на училища и что это просто выгодно самому обществу, – довольно долго. Пусть он полюбопытствует сообразить выводы, показывающие влияние нравственного развития народа на богатство страны; пусть хоть статистику Кольба посмотрит или вспомнит, чем англичане объясняют успехи швейцарской промышленности? Не понимаем также, зачем это экзаменовать университетских студентов в С.-Петербургской Академии наук? Какую пользу тут видит автор?.. Опять положим, что петербургский студент все равно придет и в храм российской премудрости; ну, а киевский, харьковский, казанский? Тем, по образу пешего хождения, это совершать будет неудобно. Уж если автору нравится так централизация, который мы, в известных случаях, безусловно не отвергаем, то лучше же, кажется, допустить меньшую централизацию сборов на содержание высших училищ.

Г. Скуратов сетует тоже, что "нет ничего легче, как вывести простолюдина в дворяне; но нет ничего труднее, как сделать из дворянина плебея". Да зачем же и делать-то? Что г. Скуратова занимает: слово? "Да ведь слово – звук пустой". Это все само собой сделается. Не все же только дворяне-помещики, дворяне-чиновники, да дворяне-нищие; есть уж много и дворян наборщиков, и сапожников, и даже извозчиков. Немножко терпения – возьмутся за ум сами. А теперь, пока они еще бредят правами и навывередки рвутся пристраивать чад в училище правоведения, дающее право претендовать на должность, да в пансионы, не дающие ровно ничего, кроме возможности сказать, что "моя дочь в пансионе была", – с ними ничего не поделаешь. Их образумит жизнь, а не регламентации учебных порядков; иначе же их ничто не образумит.

Что же касается русского пролетариата, к которому г. Скуратов сопоставил

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
результаты, выведенные Рилем из событий 1848 года, в которых германские пролетарии заявили себя ярыми врагами общественного строя, то у нас вовсе не тот пролетариат. Германскому пролетарию не к чему приложить своих рук, и правительства не могут придумать, куда направить эти руки, а у нас дел – непочатый угол. Остановка за тем только, чтобы большинству этих пролетариев открыт был доступ к богатствам страны. Пособия, нужные для этого дела, не могут быть обременительными, и тогда останется в пролетариате только ленивый. Пересмотрев статью г. Лескова, на которую ссылается г. Скуратов, мы видим, что в ней идет дело именно о неестественности пролетариата, появляющегося у нас вследствие экономических и административных неурядиц, и о необходимости прекратить это зло в самом зародыше, а совсем не об опасностях от разрушительных способностей пролетариев и еще меньше об угрожающем дворянству наплыве. Тут простое дело: доктора медицины здесь, например, служат переводчиками при газетах или корректорами, а народ пропадает без медицинской помощи. Тысячи людей спят и видят кусочек земельки, а мы только похваливаемся нашими степями. О наших благотворителях даже на Афоне знают, а ссуды на начало дела бедному человеку сыскать негде. Вот ведь он каков пока, наш пролетариат-то! Ему пока еще можно очень легко помочь, но, разумеется, не нужно откладывать дело в долгий ящик.

УЧЕНЫЕ ОБЩЕСТВА

Мы теперь поговорим только о двух русских ученых обществах, которые у нас славятся своею независимостью, изобилием средств и многоговорением. Эти общества: Русское вольно-экономическое и Географическое. Оба они в мае закрыли свои заседания и наговорили себе кучу любезностей.

Над Русским вольно-экономическим обществом не смеялся только тот, кто его не знает. Русское географическое общество покоится под сенью безвестности. Издаваемого им журнала никто не читает, потому что читать его нельзя было даже и по заказу, а зазнали его немножко только по Политико-экономическому комитету, в котором назад тому года с два затронули довольно живые и жизненные вопросы. Так, например, заговорили о единстве мер, весов и монеты; о причинах денежного кризиса в России; о затруднениях в русской торговле и о русской колонизации. Даже “Искра”, сатирический журнал, посвященный преимущественно и исключительно разработке домашних отношений русских писателей, обитающих в С.-Петербурге и в Москве, отозвалась о полезной деятельности этого комитета и, разумеется, прошла на его счет. Затем сказал о нем словечко “Современник” и хроникер “Отечественных записок”. Журнал “Время” заговорил о комитете не шутя. Он почуял в нем силу и заметил ему, что комитет не умеет пользоваться этой силой. Ставя вопрос таким образом, он исключительно отнесся к мнению одного члена общества “о русском расселении”. Член, мнения которого обратили на себя внимание “Времени”, ответил на замечание этого журнала письмом, в котором развил свою мысль о необходимости предоставления свободы русскому расселению и пр. Из всего сказанного этим письмом мы теперь помним только общее впечатление, равносильное отчасти мнению “Искры”, осмеявшей многоглаголение и ничегонеделание Политико-экономического комитета.

С тех пор мы внимательно следили за этими двумя обществами, и теперь, когда они (в мае месяце) окончили свои блистательные заседания, дождавшись их умилительно-красноречиво заключительных речей, скажем о них наше мнение.

В два года, в течение которых мы присматривались к обоим этим обществам, они сделали едва ли что-нибудь годное и чему-нибудь полезное. Это были истые “говорильни”, в которых Иван Васильевич Вернадский пламенным потоком своих речей вводил в полемический жар своего благородного друга и ученого противника Владимира Павловича Безобразова, а благородный друг и ученый противник красноречивого Ивана Васильевича Вернадского не менее красноречивый Владимир Павлович Безобразов возражал своему благородному другу и ученому противнику Ивану Васильевичу Вернадскому. Гости сидят, слушают всю эту трескотню словоизвержения и скучают; но соответственная обстановка ученых зал заставляет их думать, что они дело делают. Ни один вопрос, зарешавшийся в этих заседаниях, ничем не заявил себя в русской жизни. Скажут, что ученые общества не влиятельны, что они не властны реформировать что-нибудь на самом деле, что их задача разобрать вопрос только в теории. Допустим, что это частично правда; но где же хотя одна доконченная теоретическая работа? Где хотя одна дельная монография, составленная в этих обществах после долговременных и многословных дебатов? Их нет. Есть только бесконечные “журналы заседаний”, где видно, что в той или другой говорильне присутствовало столько-то и столько-то членов, что Иван Васильевич Вернадский и Владимир Павлович Безобразов потешились при обстановке

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru

довольно эффективной и позволили перекинуться умным словом господам Скачковым, Семеновым, Небольсиным, Перозио и tutti quanti.[220] Вот вам один род деятельности, исключительно приятный самим рыцарям: В. П. Безобразову и И. В. Вернадскому.

Второе, это выборы членов и секретарей. Тут опять наивлиятельнейшим лицом является В. П. Безобразов. Кого же выбирают? Возьмите-ка записки географического общества: каких географов вы там не увидите?! Словом, Географическое общество, кажется, ничем не руководствуется при выборе новых членов, или, может быть, оно и руководствуется, но руководствуется такими соображениями, которые приличны только нашим обществам quasi-филантропическим.[221] Влиятельные люди в правительственной сфере восходят, текут и сходят с горизонта, и если, в соображениях В. П. Безобразова с товарищи, достаточно какому бы то ни было лицу сделаться влиятельным чиновником, чтобы попасть в члены ученого Географического общества, то они очень скоро так укомплектуют свои ученые общества, что действительно ученому человеку и влезть будет некуда, да и делать, пожалуй, нечего.

Наконец, есть экспедиции. От этих экспедиций ждешь города, а они возвращаются с лукошком. Дурно ли они составляются, или они импонированы в своей деятельности, мы отвечать не будем, но результаты их слабы, бедны, даже... почти ничтожны.

Затем есть еще отдельные спосыланьца. Не знаем хорошо, кто именно и в каких географических или экономических соображениях спосылал в прошедшем году В. П. Безобразова по неким местностям срединной России; но из замечательных вещей, описанных им во время этой поездки, знаем хорошо, что такие апостолы географии, этнографии и статистики не могут принести пользы, и если они нужны для слагания комплиментов своему обществу, воспевая в лице общества самих себя, то пусть уж их на этот предмет и употребляют. А писать экономические очерки, докапываться до живца народного промысла и хозяйства им не след. Общество, пользующееся талантливыми трудами даровитых рассказчиков, глубоко зачерпывающих народную жизнь и осмысленно ставящих народные нужды, средства и стремления, вряд ли будет читать г. Безобразова. Ученое же общество не найдет ничего в его писаниях ни для одного вывода, а если оно может найти, так отчего же оно не сделало этого в течение целого года?

Все, что можно рекомендовать прочесть из годовых трудов двух ученых русских обществ, это коротенькая статья Бера, а затем можно смело рекомендовать не читать более ничего в "Записках Географического общества", ни в "Трудах Общества вольно-экономического". Не стоит времени тратить на эту бессодержательную чушь.

Можем похвалить Географическое общество только за то, что оно, окончив заседания нынешнего года, решилось вверить редакцию своих записок г. Бестужеву-Рюмину. Дай Бог час добрый и след долгий. Владея средствами, назначенными для издания, и имея под рукою кучу материалов, из которых всегда можно скомбинировать хорошие вещи, г. Бестужев-Рюмин может делать "Записки" книгою удобочитаемую, если обставит редакцию людьми, способными к работе.

В числе членов Географического общества есть литераторы, печатающиеся во всех журналах, — отчего мы не видим ни одной их строки в "Записках Географического общества"? Мы бы рекомендовали г. Бестужеву-Рюмину обратить на это внимание.

Но и там, и возле него, что-то опять поставлен неотразимый Владимир Павлович. Жаль, очень жаль, и непонятно, как это он так "конституируется" в Географическом обществе, что везде он нужен.

О вольно-экономической говорильне доброго сказать еще менее можно. Ни милости, ни богатые дары Екатерины II, ни внимание Александра I, ни другие более или менее сильные содействия ничего не поделали с этим сословным собором, с этими экономистами, ни разу не умевшими производительно распорядиться принадлежащими обществу капиталами. Ходить в эту говорильню можно только разве для того, чтобы наслаждаться способностью милых соотчичей пересыпать из пустого в порожнее с убеждением, что от этого кому-то или чему-то есть будто какая-то польза!

А что делает или сделал Ученый комитет государственных имуществ? князь В. Ф. Одоевский, сочувствуя задачам этого комитета, все старался ввести туда свежих

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
людей, примкнул к нему своим содействием нескольких литераторов; что ж они там говорят? Ничего. Этих членов туда и не зовут, кажется.

Впервые напечатано в 1863 году.

ЧАЯНИЕ НАГРАДЫ. – НАДЛЕЖАЩИЕ ПРИНОШЕНИЯ

С.-Петербург, вторник, 16-го мая 1862 г

Мы с некоторого времени получаем по городской почте письма от неизвестных нам лиц. Письма эти так интересны, что, выбрав из них одно, самое удобное для печати, мы сообщаем его нашим читателям как документ, способный характеризовать состояние умов известной части русского общества и веселить сердца наших апостолов невежества.

Вот это письмо:

“Г. редактор!

На днях были напечатаны в вашей газете две статьи: одна, кажется, из “Нашего времени”, а другая “Учиться или не учиться”. Что это такое? Неужели вы хотите сделать из вашей до сих пор порядочной газеты какую-то мусорную яму, куда можно валить всякую дрянь. Как можно нападать на безответных; веть (sic![222]) вы хорошо знаете, что возражения от них быть не может или может быть это сделано в чаянии награды? В таком случае вы не примените уведомить и об этом, для того чтобы публика могла по крайней мере вполне оценить это новое благонамеренное направление вашей газеты.

Подписчик (sic)”.

Г. редактору “Северной пчелы”.

Мая 6-го дня, 1862 г.

Никаких наград мы не получали и не желаем их получать. Это очень хорошо знают и те, от кого нам предсказывают награды, и те, которым народное счастье дороже суетного наслаждения “опасными занятиями”. Мы не уважаем ни деспотов, ни анархистов и чтим честных и просвещенных людей, которые, когда что-нибудь делают, то знают, что делают, а не ставят все на шашку единственно по любви к искусству.

Это наш ответ всем авторам полученных нами писем за помещение статей вроде “Учиться или не учиться?”.

—

Недавно нам случилось прочитать в протоколах одного из губернских по крестьянским делам присутствий жалобу какого-то управителя на мещанина, с которым он, должно быть, почему-нибудь не поладил. Обвинение заключалось в том, что такой-то мещанин, проживая в селении “самовольно”, втолковывает крестьянам разные ложные и вредные понятия. При строгости мер, принятых с прошлого года в отношении так называемых подстрекателей, обвинение это было весьма серьезно. Кто не знает, что иному управителю стоит только столкнуться со станowym приставом и подставить двух свидетелей из загуляющих дворовых – и участь оговариваемого лица становится довольно безутешною? Кто не знает или не подозревает, что самими дерзкими, самыми упорными противниками благополучного и мирного исхода крестьянского дела являются вовсе не крестьяне и, конечно, не помещики, а так называемые доверенные приказчики, управители и главноуправляющие, сами вышедшие из мужиков и из дворовых людей? Эти представители власти абсолютной, чувствуя, что теперь они утрачивают все свое значение и перестают быть безответственными пашами и полновластными решителями судеб крестьянского мира, возмущаются каждым явлением, сколько-нибудь радостным, и стараются заклеить именем бунтовщика всякого, кто искренно и от души пожелает познакомить крестьян с их правами и обязанностями. Для людей, которым на свете нет ничего святого, конечно, ничего не стоит составить надлежащий акт, в каком духе кому будет угодно; дело завязывается, запутывается, и оговариваемое лицо заключается точно в тенетах, из которых нет никакой возможности высвободиться, особенно если хорошо уладится вопрос о так называемых дополнительных документах. Из парижского процесса князя Воронцова с издателем “Будущности” князем Долгоруковым (что перепечатано уже в

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
русских газетах и журналах) явствует, что князь Долгоруков, готовясь к изданию своей Родословной книги, разослал ее программу ко всем знатным лицам с приглашением доставлять ему свои документы для проверки показаний официального источника – Бархатной книги. По получении этих бумаг, князь Долгоруков отвергал их, если они не сопровождалась “надлежащим приношением”, или так называемыми “дополнительными документами”. В Париже всенародно провозглашено при публичном судопроизводстве и потом повторено во всех газетах, что эти выражения в России понятны каждому: пришлите документы – значит, дайте денег. (См. брошюру “Procès du prince Woronzow, contre le prince Pierre Dolgoroukow, et le Courier du Dimanche. Tribunal civil de la Seine, première instance”. Paris, [223] 1862).

Вот, вероятно, в силу этого-то обаятельного значения и поспешил с своими “дополнительными документами” г. коллежский секретарь Лаговский (см. “Северную пчелу” № 78-й), хлопотавший получить тепленькое, по его мнению, место питейного ревизора! Г. Лаговский сам говорит, что он изведаль уже сладости питейной службы в ставропольском окружном комиссионерстве, “для исполнения разных по акцизу порученностей, успел и ознакомиться с этою отраслюю познаний”. И вот эти практические люди, твердо веруя, что новых, честных идей всюду разом не привьешь, а что старая грязь все-таки, помаленьку да помаленьку, будет продолжать спокойно царить над русским чиновным миром, стоят себе на одном и том же: пускай себе заводят новые порядки! Мы свое возьмем! Все-таки понагреем руки!

Многие были возмущены не столько поступком г. Лаговского, сколько остроумным и честным решением этого скандального дела со стороны департамента податей и сборов. Зачем, говорят они, неизвестное лицо, которое г. Лаговский хотел подкупить, не возвратил этих денег прямо ему лично с приличною головомойкою инстанциями? Зачем департамент податей и сборов публиковал про этот скандал и на всю Россию огласил г. Лаговского? Зачем таинственные “дополнительные документы”, в числе тысячи целковеньких, записаны на приход по книге сумм, департаменту не принадлежащих? Многие и очень многие ломали голову, как бы оправдать г. Лаговского и, в порыве великодушного сочувствия, сочиняли целые истории с гуманным намерением выпутать г. Лаговского из беды.

“Пусть скажет он, – говорили они, – что свою тысячу рублей он совершенно нечаянно вложил в конверт, надписанный на имя управляющего питейными сборами! У него было подготовлено два пакета: один для отсылки к приятелю тысячи рублей, а другой для представления дополнительных документов, актов, метрического свидетельства или там чего-нибудь другого... Его несчастье то, что он обложился пакетами по рассеянности. Но за что же так ошельмовать чиновника на всю Россию?”

– Теперь он с этими тысячью рублями простись навеки! Ужасный штраф! – заметил один из присутствовавших.

– Может быть, что он их по крохам собрал от бедных родственников, – присовокупил третий.

– Вытребовать-то их назад нет никакой возможности! – со вздохом сказал другой.

– И вступиться-то за свою честь нельзя: как раз под суд упрячут, – заметил четвертый.

– Кабы прежде, без огласки отдали бы под суд, г. Лаговский непременно оправдался бы, то и денешки возвратили бы ему, – подумавши, сказал один из говоривших; – ну, а теперь, как дело пошло такою дорогой, ему остается только смириться, молчать, улизнуть из Петербурга или из Москвы, купить себе хуторок и зажить себе хоть и барином, но скромненько, не обращая уже на себя общественного внимания.

– Нет-с! этого так оставить нельзя! – воскликнул тот, кто напирал на оскорбление чести. – Тот, кто донес департаменту и чье имя мне, к досаде моей, неизвестно, тот ведь сгубил г. Лаговского. Его самого нужно теперь сгубить! Вот мой план каков: г. Лаговский должен немедленно подать прошение, что, дескать, я сейчас только из газет известился о варварском злодеянии, против личности и чести моей злокозненно предпринятом. Дело совсем не так было, как оно описано. Я – невинная жертва изверга; только изверг рода человеческого мог оговорить меня в преступлении, о котором я и понятия никакого не имею. Выслушайте меня и судите! Я действительно подавал прошение управляющему питейными сборами и просился на место старшего ревизора. Но я просился туда не в целях нажиться, а потому что

служба самая благородная та, которая тесно связана с просвещением народа и с отучением его от прежних гнусных пороков. По месту прежнего моего служения я знал все слабые и черные стороны дела и, веря в нынешний прогресс, обрел себя служению общему делу на стезе прежних питейных откупов. Я навещался не раз к будущему своему начальнику, но положительного и удовлетворительного ответа от него никогда не получал. В словах его слышались только разные отдаленные намеки и поведки, до истинного смысла которых добираться я не желал. Не желая напрасно терять время на то, чтоб ежедневно навещаться о ходе дела, я решился написать откровенное изложение своих мыслей будущему своему начальнику и высказать ему все максимы жизни, которые мне, как и всякому благородному человеку, были хорошо известны. Я придал своему писанию вид не обыкновенного письма с милостивым государем и прочими околичностями, а простой записки в третьем лице, как будто какой-нибудь статьи, и не подписал ее, а чтоб видели, чьи эти мысли и куда они клонятся, я вложил в пакет свою визитную карточку. Вдруг нынче из газет узнаю, что на меня кладут нареkanie, будто бы я за место, на которое хотел поступить, давал тысячу рублей! Да помилуйте, у меня и тысячи копеек не было! Я человек бедный, но честный, и честь – единственное мое богатство. Теперь и его меня лишили изверги! Требую суда строгого, требую дорогого окупа за оскорбление чести.

Оратор, так горячо защищавший интересы г. Лаговского, был уверен, что, если б повернуть дело в эту сторону, то он, г. Лаговский, выйдет сух из воды, а всем прочим достанется – таки на порядках. Та только и беда, что надо отказаться от тысячи рублей и притвориться совершенным бедняком, гордым и надменным своею бедностию.

Чем кончили и на каком плане остановились лица, посвятив четверть часа времени сочувствию к незавидной судьбе г. Лаговского, мы не знаем; но вот и еще один анекдот, или быль, тоже о чиновнике, заимствуемый нами из официально оглашенного губернским начальством документа. (Делаем эти пояснения для лица, цензирующего наши статьи.)

С коллежским секретарем Цаппе случилось замечательное несчастье. 29-го января он, по дороге из Нарвы в Ямбург, потерял тюк с 2 928 листами гербовой бумаги разных сортов и разных достоинств, от листа в триста рублей до обыкновенной пятнадцатикопеечной. Тюк, конечно, вещь не маленькая, и обронить его чрезвычайно мудрено, а потерять и совершенно непонятно; даже отговориться крепким сном никак нельзя, потому что, при подобных отговорках, незачем, стало быть, и содержать охранной стражи из часовых и сторожей или специально для этой цели приставляемых к казенному имуществу чиновников. Утрата казенного имущества, за которое теперь должен поплатиться г. Цаппе, по прежним, в то время еще не возвышенным ценам на гербовую бумагу, составляет на 2 928 листов 5 043 рубли 95 копеек. То-то, думаем мы, многие начнут придумывать всевозможные *circumstances atténuantes*, [224] чтобы выпутать из беды бедного г. Цаппе!

Примечания

1

По новейшим официальным сведениям, считается городов:

- " губернских..... 51
- " областных..... 6
- " состоящих под особым управлением..... 9
- " уездных..... 435
- " окружных..... 29
- " безуездных и заштатных..... 113
- " пригородов, посадов и местечек..... 1362

Приведение в точную известность всех городских поселений представляет весьма много затруднений как по различию в составе управления разными частями империи, так и по неопределенности в наших законах разграничения городских поселений от сельских, вследствие чего те и другие нередко смешиваются.

Статьи. Николай Семенович Лесков Leskovniko1ai.ru

Для приведения этого предмета в ясность министерство внутренних дел несколько лет тому назад приступило к составлению и печатанию полного официального списка городских поселений. До настоящего времени отпечатаны два тома этого издания, куда вошли 24 губернии и области.

2

“Православный собеседник”, январь 1863 г.: “О браке православных с неправославными”

3

Всякая всячина, здесь: во всякие другие (итал.).

4

От яйца, т. е. с самого начала – Лат.

5

Чтобы горничные девки не баловались. См. статью “О проституции”

6

См. № 7-й, 17-го февраля 1862 г., фельетон.

7

Бескорыстно – Итал.

8

Этой книжке сделана была критическая оценка в “Страннике” за 1876 г. (см. рецензию Пр-ова в январской книжке, стр. 15–22) (прим. Лескова).

9

Нужно заметить, что г. Ливанов, как видно, вовсе не знает того, что “трезвон” принято производить только тогда при проезде архиерея, когда он едет в церковь совершать божественную службу; во всех же остальных случаях он ездит по городу без звона (прим. ред. журнала).

10

В приведенных строках, по нашему мнению, слышится тенденциозное намерение со стороны г. Ливанова, роняя якобы значение учебников наших известных педагогов, расчистить тем самым место для его пресловутой “золотой грамоты”, хрестоматии и иных прочих произведений ливановской литературной фабрики (прим. ред. журнала).

11

В существующем положении вещей – Лат.

12

См. “Петербургский сборник”, изданный Николаем Некрасовым, стр. 212.

13

Человеку свойственно ошибаться (лат.).

14

Подлинные слова (лат.).

15

Таких складов устроено пока до 25-ти.

16

Эти сельские учителя могут быть со временем помощниками священников, занимающихся по большей части делом народного образования.

17

Отец семейства (Лат.)

18

О государственной измене (Лат.)

19

Все то же (Лат.)

20

Слава богу – Итал.

21

Напрямик, без иносказаний – Франц.

22

Тышкевич, главный наследник огромного состояния графа Ивана Тышкевича, (должно полагать) не откажется занять место покойного дяди в ряду учредителей литовской железной дороги.

23

В прежнем положении – Лат.

24

О времена, о нравы! (лат.)

25

“Отцы и дети”. Роман Тургенева. “Русский вестник”, февраль 1862 г., с. 511.

26

Изгнанника (франц.).

27

В этом доме помешались: совет министра, 1-е и 2-е отделения департамента общих дел, департаменты: полиции исполнительной, хозяйственный с чертежною, духовных дел иностранных исповеданий, земский отдел по крестьянскому делу, центральный статистический комитет с замечательною библиотекою, казначейство, архивы (некоторые из них уцелели)

28

Прохожий! не оплакивай его жребий,
ибо, если бы он жил, ты был бы мертв.
Эпитафия Робеспьеру. См. “Картины революции” Вальтер-Скотта.

29

Надо принимать мир таким, какой он есть, а не таким, каким он должен быть (франц.).

30

“Наши закадычные” – Франц.

31

Так называемыми (Франц.)

32

Так называется, на типографском языке, исправление опечаток и других ошибок, происшедших в тексте от поспешности или невнимательности наборщика. Мы должны прибавить, что в наборе, сделанном женщинами, было несравненно меньше ошибок, нежели в обыкновенном наборе ученика-наборщика.

33

Для понимающего слово достаточно (лат.).

34

Следует выслушать и другую сторону (лат.).

35

См. “Германия” Гейне. Caput IX. “Поэты всех времен и народов”, изд. Костомарова и Берга.

36

Следовательно – Лат.

37

Не к месту; ни к селу, ни к городу (франц.).

38

О святая простота! (лат.)

39

К праотцам – Лат.

40

Желательно было бы более ясное определение права назначать обыски

41

1649 г. 29-го янв. (1) глав. XXI, ст. 51, 87; 1731 г авг. 3-го (5, 822); 1767 г. июля 16-го, 1774 г. июля 29-ю, 1775 г. ноября 7-го и мн. др.

42

Талантливый автор этой статьи приводит здесь и в обзоре содержания прочих книжек г. Погосского такие возмутительные по своему цинизму сцены и фразы, что из уважения к нравственному чувству читателей мы вынуждены их исключить. А между тем в иллюстрированной газете “Пчела”, издаваемой Микешиным (№ 42), Погосский рекомендуется как превосходный народный писатель, который может иметь самое благотворное воспитательное влияние на народную массу!.. Избави ее бог от такого влияния (ред. журнала).

43

Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку (лат.).

44

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru
“Морской сборник”

45

Харьковский акционер остроумно подтрунил над алеутским гражданством; быть может, он найдется с тем же остроумием отразить и дерзость креола.

46

Подарены Петром I греческому монаху, а тем перепроданы Капони, по имени которого ныне и называются (прим. Лескова.).

47

Недрогнувшей рукой (лат.).

48

Дидрон, Руководство по христианской иконографии. Париж, 1845 (франц.).

49

Обеспечьте мне хорошую политику, и я вам обеспечу хорошие финансы. Барон Луи (франц.)

50

Цивильный лист (франц.)

51

Цивильные листы (франц.)

52

Россия сосредоточивается (франц.)

53

Заранее, независимо от опыта (лат.)

54

Сравнение не есть доказательство (франц.)

55

Автор, разъясняя официальное значение слова предлагает, дает ему обязательное значение слова предписывает. Так, министр предлагает губернаторам, прокурорам, стряпчим и т. п.

56

“Русская беседа” за 1858 г., кн. 1-я, отд. критики.

57

Полное собрание русских летописей. II, 83.

58

“Русская беседа” за 1856 г. кн. 4-я, отд. “Смесь”, стр. 108–111.

59

Отзыв ошашковского духовенства городскому обществу, приглашавшему его к участию в городском благоустройстве.

60

Просвещенная редакция “Русского вестника” поставила нам на вид одну нашу перемолвку с лицами, осмеявшими в “Гудке” наши хлопоты о волонтерах. На насмешку шутов шуткою и отвечали.

61

Извлечено из “Христианского чтения” за декабрь месяц 1861 г.

62

Всех таковых – Итал.

63

Чистая доска – Лат.

64

Наиподлиннейшие слова – Лат.

65

За реформы всегда, за утопии никогда – Франц.

66

Поскребите русского (англомана), и вы найдете татарина (франц.).

67

“Научное описание императорского леса в Беловеже”, с. 62.

68

В высоком романтическом стиле – Нем.

69

Лес – Франц.

70

Шедевром – Франц.

71

Прекрасный немец – Франц.

72

я люблю тебя – Нем.

73

“Замок цветов” и “Сад Мабиль” – Франц.

74

Прощай – Франц.

75

“Коварство и любовь” – Нем.

76

Быть или не быть? (Англ.)

77

“Из предыдущего”, на основании ранее известного (лат.).

78

Вопреки всему (франц.).

79

Чем меньше у нас будет власти, тем больше авторитета (влияния) (франц.).

80

Ораторами делаются, поэтами рождаются (лат.).

81

Вариант: Воспомнут, мудрый, о тебе (Прим. Лескова).

82

Воюющими сторонами (франц.).

83

Эксцессами (франц.)

84

А, черт возьми, дорогой сударь (франц.).

85

На отцов мы надежд не полагаем: все ожидания наши сосредоточены на детях, на поколении подрастающем. Кстати, вменяем себе в приятную обязанность упомянуть, что “Тульские епархиальные ведомости” успешно продолжают печатание престонародных поучений, экспромтом говоренных учениками местной семинарии. Последнее произведение в этом роде, которые мы прочли, – это популярная проповедь и толкование о том, что за смысл во фразе: “судьба”, да “на роду написано”.

86

Юридическая фикция (лат.).

87

Так! – Лат.

88

Добрый табак сделал три дара – Семинарская латынь

89

Всех других такого же рода – Итал.

90

Чистая доска (Лат.)

91

Не комитет (Нем.)

92

Доказательства такого прискорбного невежества бездна, и к числу их, конечно, должно отнести довольно всеобщее убеждение, что северо-западный край России есть земля польская, или курioзное недоумение многих, откуда взял г. Серов ветулийскую жену (Юдифь) (прим. Лескова.).

93

Все возможно в природе – Франц.

94

“Тоска по родине” – Нем.

95

“Царь и плотник” – Нем.

96

Домой – Франц.

97

За свои красивые глаза – Франц.

98

Наедине – Франц.

99

В пару – Франц.

100

Умение, ловкость, сноровка – Франц.

101

Корабле-призраке – Франц.

102

Корабль-призрак. Счастливого путешествия, дорогой дядя! – Франц.

103

Золотой молодежи – Франц.

104

Недрогнувшей рукой – Лат.

105

В чем принимает большое участие также русский купец Морозов.

106

Самоуправление – Англ.

107

См. разговор Тяпкина-Ляпкина с Сиворенком-Дмухановским в комедии Гоголя “Ревизор”.

108

Объяснение это появится завтра или послезавтра; оно замедлилось отсутствием нашего фельетониста из Петербурга.

109

Поменьше рвения, главное, поменьше рвения, господа! (франц.)

110

И отлично, и ладно (итал.).

111

З. Л. Беляев воспитывался на общественный счет в существовавшей, до 1829 года, при рижском гребенчиковском заведении староверческой школе, и ныне считает себя как бы обязанным возратить седмерицею деньги, истраченные обществом на его образование, жертвуя их на пользу беспомощного юношества.

112

Тайны Парижа, тайны Лондона – франц.

113

Доверенное лицо – Лат.

114

Метрические книги в еврейских обществах ведутся крайне неаккуратно и часто вовсе не ведутся или утрачиваются, надо полагать, с умыслом, под влиянием *arrière pensée* (Задняя мысль – франц.). – Прим. Лескова.

115

Прекрасное *pandant* (Параллель – франц.) к селивановскому губернатору, который подписывался “Оператор”. См. “Провинциальные воспоминания”. – Прим. Лескова.

116

Непременное условие – Лат.

117

“Для вящей славы” – Лат.

118

Необходимо условие – Лат.

119

Впоследствии я слышал, что один из этих молодых людей покончил расчет с жизнью с помощью утиральника. Дай Бог, чтобы это было несправедливо. – Прим. Лескова.

120

Надо принимать мир таким, каков он есть, а не таким, каким он должен быть – франц.

121

По правилам русского словосочинения мы сказали бы: “Несколько мыслей против нескольких слов” etc, но, может быть, автор усвоил себе другие склонения. – Прим. Лескова.

122

Неизвестная, неоткрытая земля – Лат.

123

Наиподлиннейшие слова – Лат.

124

Мы не давали им такой представительности. Привилегия на это определение, по всем правам, принадлежит г. Ф. Б. Мы только скорбели о том, что сила обстоятельств, голос голодного желудка и частый недостаток честного заработка доводит многих полицейских врачей до неразборчивости в приобретениях, следствием чего взяточничество обращается в ремесло, сопутствующее уряд полицейского медика. Мы не брали в расчет “рыцарей чести”, героев, а говорили об обыкновенных людях, каковы и Вы, и я, и целый свет. Не нравственные уроды, а люди со слабостями. – Прим. Лескова.

125

Юридически, формально – Лат.

126

Фактически, на деле – Лат.

127

Мы уверены, что г. Лесков может исполнить то, что обещает. – Ред.

128

Смотри комедию “Ревизор” (Сквозник-Дмухановский). – Прим. Лескова.

129

Нам очень жаль, что мы потеряли из вида доктора медицины П-бо, восставшего против невежества врачебной управы и потерявшего место с невыгодным для него переводом. – Прим. Лескова..

130

Непременное условие – Лат.

131

Белой горячкой – Лат.

132

По желанию, на выбор – Лат.

133

См. исследование А. Думашевского: “Библиотека для чтения”. Январь 1861 г. – Прим. Лескова.

134

Приличный, порядочный – Франц.

135

“Библиотека для чтения”. Январь 1861 г., стр. 11 – Прим. Лескова.

136

См. “Библиотека для чтения”, статья А. Думашевского – Прим. Лескова.

137

Всеми правдами и неправдами – Лат.

138

Пусть будет выслушана и другая сторона – Лат.

139

Наложница – Лат.

140

По желанию, согласию – Лат.

141

По праву – Лат.

142

Наиподлиннейшие слова – Лат.

143

Der Viehn muß – (шутл.) он обязан (сделать это) – Нем.

144

Позволять; предоставить идти своим ходом – Франц.

145

Так! – Лат.

146

По своей специальности – Лат.

147

Вторая причина – Лат.

148

Третья причина – Лат.

149

Своего рода – Лат.

150

За и против – Лат.

151

См. “Басни Крылова”. – Прим. Лескова.

152

См. эпиграф. – Прим. Лескова.

153

Рассказ г. Аскоченского, следившего 8 суток за одним коллегой. Интересно бы

Статьи. Николай Семенович Лесков Leskovniko1ai.ru

узнать: что побуждало г. Аскоченского подсматривать за дверью врача? Верно, и до его слуха доходила клевета, что врачи в рекрутских присутствиях непростительно взяточничают. Зачем он до сих пор не опроверг этой клеветы хоть на страницах “домашней беседы”? – Прим. Лескова.

154

Сухово-Кобылин (“Свадьба Кречинского”). – Прим. Лескова.

155

Из слов самого германского педагога видно, что цифра лет, посвященных им принудительному просвещению немцев в их философской родине, несколько увеличена его соседом и должна выразиться числом 23. – Прим. Лескова.

156

В Нью-Ленарке – Англ.

157

Сразу, внезапно – Лат.

158

Выписано разом из одного петербургского журнала. – Прим. Лескова.

159

Предоставьте идти своим ходом – Франц.

160

“Вестник промышленности” обращает внимание на эту жалобу в Англии, “где juries (Присяжные – Англ.) в делах о промышленности избираются из специалистов”, и спрашивает: “Каково же решение и разбор таких дел должен быть там, где чиновник считается специалистом всего потому только, что он чиновник?” – Прим. Лескова.

161

Холуйский уезд, известный особого рода иконописью. – Прим. Лескова.

162

Местное название. См. “Русский вестник”, август месяц 1861 г., “Путевые записки В. Безобразова” – Прим. Лескова.

163

Туда – Нем.

164

Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку – Лат.

165

Г. Аскоченский тогда мог смеяться. Москаль, то есть солдат, будочник, ему, вероятно, не мог сделать замечания за сигару. Немного ниже это станет понятно. – Прим. Лескова.

166

В Италии

167

Для совершенно не знакомых с малороссийским языком постараемся рассказать

Статьи. Николай Семенович Лесков Leskovniko1ai.ru
по-русски значение этих слов малоизвестной русским поэмы:

Народ страдает там в неволе,
А на апостольском престоле
Чернец откормленный сидит:
Людскую кровью он торгует,
В аренды царства раздает. –
Великий Боже! Суд твой всеу,
И всеу царствие твое...

168

Нам случалось слышать много других поэтических произведений г. Аскоченского, написанных такою же рифмованною прозою, образчик которой мы представили читателям. Сколько мы помним, общее внимание всегда останавливалось на эротических его произведениях, которые с жадностью списывались гимназистами. У одного известного нам журналиста мы видели эротические сочинения Виктора Ипатьевича, собранные систематически, и полагаем, что выдержки из этой скромной коллекции рано или поздно появятся в печати как материал для определения значения литературной деятельности редактора “Домашней беседы”.

169

Солдатом тебя сделают. – Прим. Лескова.

170

Слушайте ж еще лучшую. – Прим. Лескова.

171

Небольшой переулочек в Киеве. – Прим. Лескова.

172

Кусок хлеба, или что-нибудь. – Прим. Лескова.

173

Тарас Григорьевич был необыкновенно щедр к бедным и никогда не находил в себе силы отказать тому, кто его о чем-нибудь просил. Г. Чужбинский в своих воспоминаниях приводит несколько фактов, доказывающих, что щедрость к бедным была сильна в Шевченке до того, что он не хотел видеть обманов. “Я и сам знаю, – отвечал он, – та нехай лучше тричі меня одурят, а все-таки у четверте подам тому, хто справди не бачив шмотка хліба”. Участие к страданию других приводило его нередко к самым наивным сценам. – Прим. Лескова.

174

Г. Аскоченский, как уже сказано выше, воспитал племянника Дмитрия Гавриловича Бибикина г. Сипягина и жил с своим воспитанником в генерал-губернаторском доме. – Прим. Лескова.

175

См. “Домашняя беседа”. 1861 г. Вып. 31. – Прим. Лескова.

176

Месторождение г. Аскоченского. – Прим. Лескова.

177

См. “Заселение верховьев Амура” С. В. Максимова (Морской сборник. 1861. Окт. Кн. 10) и речь полковника Венюкова, напечатанную в протоколах комитета. – Прим. Лескова.

178

Так называемая – Франц.

179

Я говорю о вольных переселениях в места, не пользующиеся особыми привилегиями, какие даются переселяющимся на Амур или на Мангышлакский полуостров, на восточном берегу Каспийского моря. – Прим. Лескова.

180

Переселенцы, освобожденные от представления увольнительных приговоров, от платежа податей на 20 лет и от рекрутства навсегда. Таким образом, однако, переселено только 25 семейств. – Прим. Лескова.

181

Морской сборник. 1861. Кн. 10. – Прим. Лескова.

182

Например, подсудимость. – Прим. Лескова.

183

В прежнем положении – Лат.

184

Справедливость требует сказать, что “Русская речь” один раз повредила резонансу, отказавшись разделять мнение “Русского вестника” об университетах, и пристала к мнению “Times”’а. Но высшая ее заслуга – молчание о том, о чем не умели смолчать ни “Ведомости”, ни “День”, ни “Вестник”. “Доброе молчание, по крайней мере, – ни в чем не ответ”. – Прим. Лескова.

185

Заранее, независимо от опыта – Лат.

186

Белая горячка – Лат.

187

Официально – Лат.

188

Фактически, на деле – Лат.

189

Пусть они делают, что хотят; пусть все идет своим чередом – Франц.

190

“Экономический указатель” свидетельствует что в России до сих пор нет аптек, принадлежащих русским. – Прим. Лескова.

191

См. “Русскую речь” (внутреннее обозрение) и “Русский инвалид”, 1861 г. Ноябрь месяц – Прим. Лескова.

192

Тенгоборский в своем известном труде (о производительных силах России) свидетельствует, что “идея общины природна русскому народу во всех проявлениях

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovniko1ai.ru его жизни” и касаться его коммунистических устройств, по замечанию Тенгоборского, – “опасно”, ибо этому народу “противен корпорационный дух западного мещанства”. – Прим. Лескова.

193

Из постановлений губернских присутствий видно, что этот вопрос был уже не раз возбуждаем мировыми учреждениями, но, не встречая неясности в соответствующем ему законе, губернские присутствия не давали ему хода. – Прим. Лескова.

194

О крестьянах, записанных в имении одного помещика и водворенных в имение другого. – Прим. Лескова.

195

См. означенное Высочайшее повеление. – Прим. Лескова.

196

На основании ст. 142 Общего Положения всякий желающий приписаться к сельскому обществу должен испросить приемный приговор онога. – Прим. Лескова.

197

Всякая всячина – Итал.; зд.: всякие другие

198

О превосходных изданиях “Carmen Saeculare” Горация и “Германии” Тацита, напечатанных в киевских же “Университетских известиях” за 1865–1867 годы, был недавно еще помещен отзыв г. Помяловского в “Журнале Министерства народного просвещения” за декабрь 1868 года.

199

Всеми правдами и неправдами – Лат.

200

“Спиритическое обозрение (Журнал психологических исследований)” – Франц.

201

Замечательно, что тем же самым отговаривался некогда и рижский попечитель г. Пименов, и этим отговариваются и другие, так необычна здесь кажется самая простая и законная проверка. Если такие требования действительно были, то удивительно, что г. Бочин им противился. В чем дело и в чем спор, если у него все в порядке?

202

Разумеется, печатая эту записку, мы не отвечаем ни за одно ее указание.

203

В подлинной пояснительной записке названо одно должностное лицо, которому был поднесен этот подарок, но мы признаем неуместным упоминать имя этого лица в печати.

204

Ныне православный инок Чудова монастыря в Москве.

205

Путешествия Палладия Еленопольского происходили между 388 и 404 годами по Р. Х.

Статьи. Николай Семенович Лесков Leskovniko1ai.ru
Книга “Лавсаик” состоит из письма к правителю Лавсу, ста тридцати трех жизнеописаний и заключения. Странное и непонятное для объяснения название “Лавсаик” книга эта получила потому, что она написана Палладием “по желанию знаменитого мужа Лавса, занимавшего весьма важную должность при византийском дворе. Писана она по-гречески и переведена на другие языки – в том числе и на русский. Любителям житийных повестей “Лавсаик” всегда был известен (прим. Лескова).

206
Как! (франц.)

207
В “Историческом вестнике” теперь печатаются воспоминания Соллогуба, который рассказывает, что Ф. М. Достоевский в начале своей писательской карьеры был очень застенчив. В последние годы жизни его он в этом отношении сильно изменился: застенчивость его оставила – особенно после поездки в Москву на пушкинский праздник. Ф. М. не стеснялся входить в великосветские дома и держал себя там не столько применяясь к тамошним обычаям, сколько следуя обычаям своего собственного нрава. Задумчивую серьезность его не все умели отличать от дерзости, с которой, впрочем, она иногда очень близко соприкасалась (прим. Лескова).

208
Всегда без лишнего усердия (франц.).

209
В курсе (франц.)

210
Лучшее лучше худшего (лат.).

211
По желанию (лат.).

212
“Честь обычай изменяет и помышления надмевает”. Сын одного угольщика получил высокий сан. Его стали титуловать. Отец пришел к нему и спрашивает: “Знаеши ли мя?” Сын отвещает: “Отче, не знаю уже сам себя – а како тебя могу знати” (прим. Лескова).

213
Фамилия Казюлькин не должна никого удивлять. У нас по дмитровскому рубежу жил еще дворянин Клопиков, который был скуп, как Плюшкин, и так же, как Плюшкин, ходил с ключами, в женской куцавейке и с головою, повязанною женским повойником (прим. Лескова).

214
За продажу собственной лошади (польск.).

215
Тоски по родине (греч.).

216
Принося нашу благодарность деревенским подписчикам, поделившимся с нами своими соображениями о домашних делах, мы просим их не забывать, что дела эти всегда нам очень близки и всегда найдут в нас самое живое сочувствие. Письма, адресованные в редакцию без назначения их к печати, никогда не пойдут никуда

Статьи. Николай Семенович Лесков leskovnikolai.ru
дальше адреса, но не пройдут без отзыва. Письмам же, которые, с согласия писавших, можно дать гласность, мы никогда не откажем в месте на столбцах нашей газеты. Мы не отвечаем за сторонние мнения и не даем никому права считать эти мнения солидарными с нашими; но считаем неуместным отказывать общественному мнению в возможности выразиться так, как оно слагается, независимо ни от какого стороннего влияния.

217
“Гражданское общество” (нем.).

218
По обязанности (лат.).

219
По имени, по названию (лат.).

220
Все прочие (лат.).

221
Якобы филантропическим (лат. quasi – якобы, мнимый)

222
Так! – лат.

223
“Процесс князя Воронцова против князя Петра Долгорукова и “Courrier du Dimanche”. Гражданский суд департамента Сена, первой инстанции”. Париж – Франц.

224 Смягчающие обстоятельства – Франц.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://leskovnikolai.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!